ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ТОМ ШЕСТИДЕСЯТЫЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

РЕДАКЦИЯ

В. В. ВИНОГРАДОВ (ГЛАВ. РЕД.), И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН,
С. А. МАКАШИН и М. Б. ХРАПЧЕНКО

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 5 · 6

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО – ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ДЕКАБРИСТЫ-ЛИТЕРАТОРЫ

II

КНИГА ПЕРВАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 5 · 6

ГОД ИЗДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

НОВОНАЙДЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. Ф. ОРЛОВА, В. Ф. РАЕВСКОГО, Н. А., А. А. и М. А. БЕСТУЖЕВЫХ, Ю. К. ЛЮБЛИНСКОГО, А. И. ОДОЕВСКОГО, А. И. ЯКУБОВИЧА, В. Л. ДАВЫДОВА, Г. С. БАТЕНЬКОВА

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ М. Ф. ОРЛОВА

ДВА ПРИКАЗА М. Ф. ОРЛОВА ПО 16-й ДИВИЗИИ (1820—1821)

Публикация С. С. Волка и П. В. Виноградова

В литературном наследии декабристов военная тема представлена довольно широко. Достаточно вспомнить такие значительные по своим художественным и научным достоинствам произведения, как «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки, «Рассуждение о жизнеописаниях Суворова» и другие статьи Н. М. Муравьева, «Мысли о теории военных знаний» И.Г. Бурцова, записка В. Ф. Раевского «О солдате», а также два приказа по 16-й дивизии М. Ф. Орлова.

К сожалению, военные приказы офицеров-декабристов почти не опубликованы. Между тем поиски их в архивах могли бы дать результаты.

Два известные ранее приказа Орлова относятся один — к самому началу, другой — к концу пребывания его на посту командира 16-й дивизии [1]; вновь найденные приказы относятся к середине этого периода. Это позволяет сделать вывод, что на всем протяжении командования Орлова пропаганда суворовско-кутузовских принципов воспитания солдат велась им систематически.

Замечательная попытка борьбы с аракчеевским режимом в армии принадлежала членам Кишиневской управы Союза Благоденствия.

Кишиневская ячейка Тайного общества оформилась с приездом М. Ф. Орлова— нового командира расквартированной в Бессарабии 16-й дивизии. В эту ячейку входили, кроме Орлова, один из его бригадных командиров генерал П. С. Пущин, командир полка полковник А. Г. Непенин, офицеры В. Ф. Раевский, К. А. Охотников, И. М. Юмин, возможно, и некоторые другие лица.

Дом Орлова стал политическим клубом, в котором горячо обсуждались общественные события и велись споры о планах ближайших действий. Особое место в беседах декабристов, несомненно, занимал вопрос об уважении и доверии солдат.

Орлов, уже давно добивавшийся должности дивизионного командира, едва приняв 16-ю дивизию, издал известный приказ от 3 августа 1820 г., категорически запрещавший офицерам истязать и грабить солдат. Орлов распорядился читать этот приказ в каждой роте. Кроме того, он обещал дать в следующих приказах «правила для поведения» офицеров. Отмена телесных наказаний для солдат была необычайно смелым в тогдашних условиях нововведением, которое особо отметил в письме к П. А. Вяземскому Пушкин, частый гость Орлова в те годы [2].

Декабристы подняли на новую ступень суворовско-кутузовские традиции и методы воинского воспитания. Это определило взгляды декабристов на военное обучение, на обращение с солдатами, заботы об их здоровье, питании, грамотности, защиту их чести и достоинства. Декабристы не только искореняли рукоприкладство и казнокрадство — доверие солдат к себе они укрепляли братским к ним отношением. Орлов недаром заявлял в первом же своем приказе: «Я сам почитаю себе честного солдата и другом и братом». Он, так же как и Раевский, не гнушался близости с рядовыми вне строя.

П. И. Долгоруков записал в дневнике о совершенно необычайном для армии аракчеевского времени происшествии: 1 января 1822 г. командир 16-й дивизии давал

в Кишиневе новогодний завтрак, на который наравне с офицерами были приглашены лучшие солдаты дивизии [3].

Пробуждая у солдат патриотические чувства, ревность и охоту к воинскому делу, офицеры-декабристы стремились сплотить вокруг себя солдатские массы, подготовить их к активному участию в предстоящем государственном перевороте. Многое сделал в этом направлении Раевский, солдаты которого отказались давать на суде показания, могущие повредить их командиру. Любви и доверия солдат добился, при поддержке Раевского, Непенина и других офицеров, и Орлов. Секретный агент доносил: «Нижние чины говорят: дивизионный командир — наш отец, он нас просвещает. 16-ю дивизию называют орловщиной» [4].

Это подтверждается и рассказом подполковника Ф. П. Радченко, согласно которому Орлов «весьма в короткое время приобрел неограниченную доверенность солдат» [5].

Без сомнения, близости с нижними чинами члены Тайного общества добились личным хорошим к ним отношением, но многое было утверждено в сознании солдат и самими приказами, имевшими окраску протеста против аракчеевских порядков в армии.

В развитие распоряжений дивизионного командира издавали свои приказы в новом духе также командир 32-го егерского полка А. Г. Непенин и командир 9-й роты этого полка В. Ф. Раевский.

Действие этих приказов было весьма ощутимо для 16-й дивизии — побеги прекратились совершенно, в то время как в 17-й дивизии они продолжались.

Агитация офицеров-декабристов не могла остаться безрезультатной. Среди солдат, жадно прислушивавшихся к словам любимых командиров, крепло сознание необходимости борьбы с деспотизмом и тиранией. Известно, что в январе 1821 г. на Московском съезде Союза Благоденствия Орлов мог уже поручиться за свою дивизию.

О пробуждении стихийного протеста солдат против произвола и палочного режима свидетельствовали и волнения в Камчатском полку в декабре 1821 г.

События в Камчатском полку, как и последний известный нам приказ Орлова, привлекавший к суровой ответственности офицеров, истязавших солдат, послужили корпусному командиру Сабанееву предлогом для вмешательства. «Дело» Раевского, арестованного в феврале 1822 г. за революционную пропаганду, помогло окончательно сломить подозрительную командованию 2-й Армии «систему» Орлова.

Когда Сабанеев начал следствие против Орлова, он тотчас отменил его приказы и, по словам Раевского, даже приказал их сжечь. Сабанеев специально допытывался, с какой целью они доводились до сведения солдат. Обвиненный Сабанеевым в ослаблении дисциплины, в покровительстве «первому вольнодумцу в армии» Раевскому, в панибратстве с подчиненными, Орлов в 1822 г. был отстранен от командования дивизией и вплоть до своего ареста в 1825 г. состоял в резерве. За ним, безусловно, наблюдали, ибо Александр I самолично отметил его как одного из наиболее зараженных духом вольномыслия генералов. Вслед за отставкой Орлова были уволены со службы Непенин, Охотников, Липранди. Кишиневская управа перестала существовать.

Новонайденные два приказа Орлова публикуются по копиям (не вполне исправным) ЦГВИАЛ [6].

1

ПРИКАЗ ПО ДИВИЗИИ

18 октября 1820 г. № 27

С несказанным удовольствием видел я из собранных сведений по прошедшему м⟨еся⟩цу, что число побегов чрезвычайно уменьшилось. Со всей дивизии бежало в сентябре только 16 человек, тогда когда в августе бежало 37, а в июле — 49. Столь важный успех приписываю я попечительности гг. полковых командиров, которых я от всего сердца благодарю, особливо г. полковника Соловкина и г. подполковника Адамова 2⟨-го⟩, у коих ни одного человека не бежало в течение прошедшего месяца. Я не премину представить их начальству, которое, конечно, за долг себе поставит изъявить также им свою благодарность [7].

Теперь мы можем судить из оного, к чему ведет доброе обхождение с подчиненными [8]. Едва начали управлять частьми, нам вверенными, с отеческою попечительностью, как большая часть побегов уже прекратилась. Еще шаг, и наша дивизия, порицаемая сперва пред всеми прочими, послужит вскоре для них примером верности и устройства. Я прошу господ полковых командиров и всех частных начальников вспомнить, что солдаты такие же люди, как и мы, что они могут чувствовать и думать, иметь добродетели, им свойственные, и что можно их подвигнуть ко всему великому и славному без палок и побоев [9]. Пускай виновные будут преданы справедливому взысканию закона, но те, кои воздерживаются от пороков,

М. Ф. ОРЛОВ
Рисунок А. С. Пушкина, 1821 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

заслуживают все наше уважение. Им честь и слава. Они достойные сыны России, на них опирается вся надежда отечества, и с ними нет врага, которого не можно бы было истребить.

Говорите, господа начальники, часто с солдатами, входите в их нужды, не пренебрегайте участью ваших товарищей, вспоминайте им о славных делах россиян, доведите их до того, чтоб они умели почитать память великих наших мужей Суворова, Румянцева, Кутузова и прочих полководцев, возжигайте в сердцах их желание славы, и вы сами увидите, как скоро ваше старанье вознаградится совершенным успехом [10]. Чтоб каждый солдат надевал с гордостью почтенный русский мундир, что⟨б⟩ он с уверением владел своим ружьем и чтоб на каждом шагу его видна бы была гордая поступь русского солдата — первого по мужеству и терпению из всех солдат вселенной.

Приказ сей прочитать во всех ротах, подлинный подписал генерал-майор

Орлов 1-й

2

ПРИКАЗ ПО ДИВИЗИИ

29 марта 1821 г. № 26
Дивизионная квартира. Кишинев

1-е

При получении рекрут в полки, гг. полковые командиры, обратить особое внимание на приказ г. корпусного командира от 25 генваря 1817-го года за № 16-м, который в копии прилагается, надеясь, что они, входя

в смысл предписаний начальства, постараются приохотить рекрут солдатскому ремеслу хорошим обхождением и точным исполнением правил, предписанных в вышеупомянутом приказе. Ежели хорошее обращение с самими солдатами есть одно из непременных моих правил, то кольми паче нужно с людьми неопытными, которые, оставляя семейства их и спокойную жизнь поселян, переходят в новый и строгий круг солдатского действия. Прошу неотступно гг. штаб и обер-офицеров не спешить ставить рекрут на ногу совершенно фронтовую и более стараться на первых порах образовать их нравственность, чем телодвижение и стойку. Мы будем иметь целую зиму для доведения их по фронту должного вида, а теперь можно заняться единственно тем, чтоб они не только старались, но и любили военное ремесло. Рекрут, образованный терпением, сделается хорошим солдатом, а тот, который выправлен одними побоями, легко может придти в отчаяние и старается уклониться бегством от лишней строгости начальства. Не позабывайте, господа, что мы стоим на границе и что прекратившиеся побеги могут легко возобновиться.

⟨2-е⟩

По истечении Святой недели при начатии снова фронтовых упражнений, господа начальники, обратить особенное внимание на стреляние в цель [11]. Для сего предписываю г. поручику 32-го Егерского полка Витту, ездившему в корпусную квартиру для учения некоторых правил, учредить в учебном дивизионном батальоне мишень и стрельбу, по правилам ему данным, и всем господам офицерам учебного батальона вникнуть в оные правила и при распущении батальона передать оные своим полковым командирам.

Господин майор Логвинов особенно займется, чтоб гг. офицеры поняли сию часть во всей точности и могли бы так же оную передать в полки.

Подлинный подписал генерал-майор

Орлов 1-й

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Приказы М. Ф. Орлова от 3 августа 1820 г. и 6 января 1822 г. см. в кн.: М. О. Гершензон. История молодой России. М.—Пг., 1923, стр. 37—40; «Декабристы», 1926, стр. 60—63; «Декабристы. Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика». Сост. Вл. Орлов. М.— Л., 1951, стр. 467—469.

[2] Письмо от 2 января 1822 г.— Пушкин, т. XIII, стр. 35.

[3] П. И. Долгоруков. 35-ый год моей жизни или два дни вёдра на 363 ненастья.— «Звенья», IX, 1951, стр. 22.

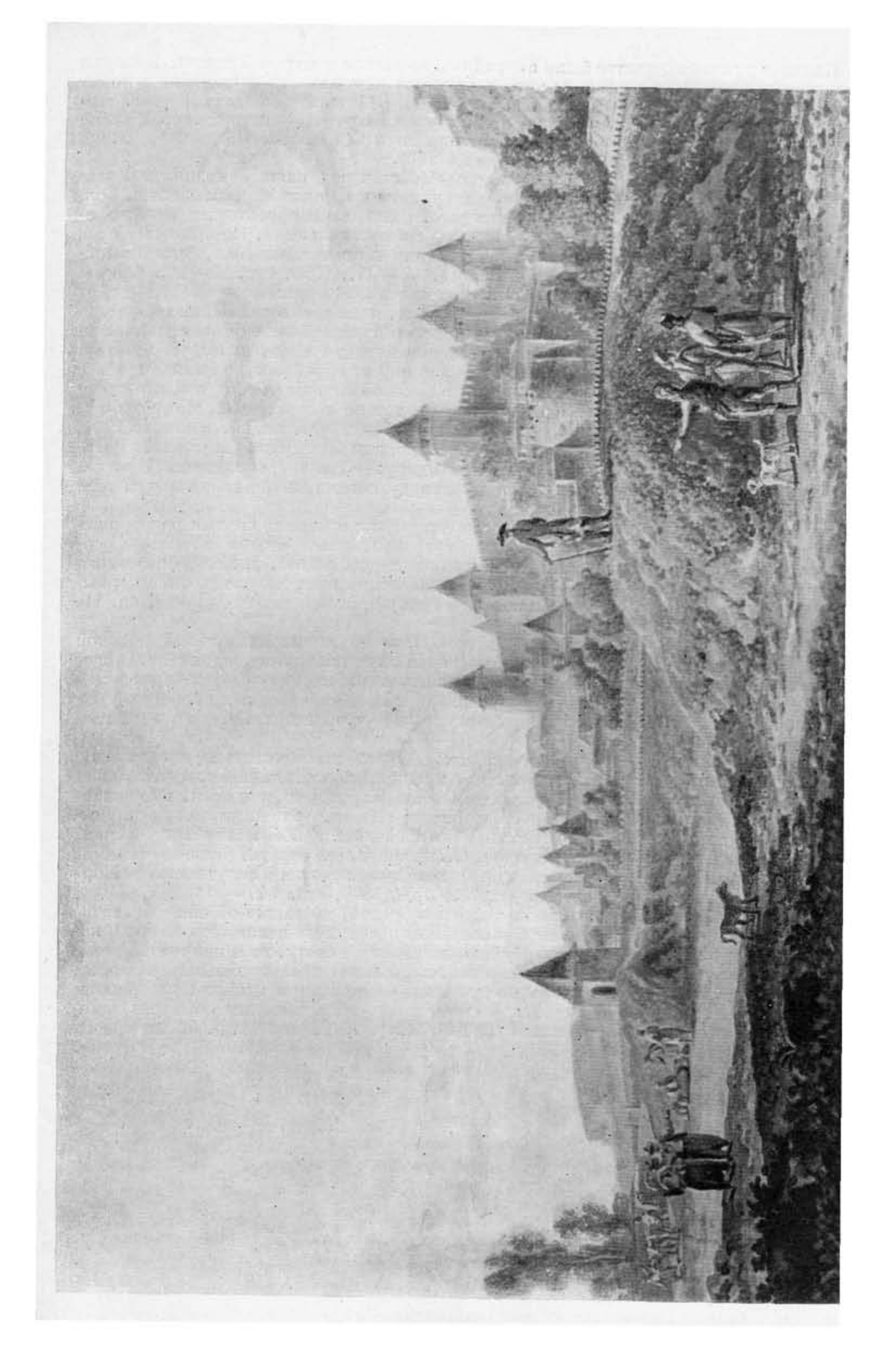
[4] «Русская старина», 1883, № 12, стр. 657.

[5] Архив Академии наук СССР, ф. № 100, д. 201, бумаги Н. Ф. Дубровина (воспоминания о Раевском Ф. П. Радченко), л. 3.

[6] Приказы М. Ф. Орлова (в копиях) обнаружены в «деле» В. Ф. Раевского.— ЦГВИАЛ, ф. № 9, Главного военно-судного управления, 2-е отд. Аудиториатского департамента, оп. 11, д. 42, литера Б, т. VI, лл. 387—387 об. и 389 (приказ от 18 октября 1820 г.), л. 388—388 об. (приказ от 29 марта 1821 г.).

[7] Причины дезертирства Орлов справедливо видел в жестоких побоях и истязаниях солдат, а также в полуголодном их существовании из-за казнокрадства. О том, до какого размера доходило дезертирство, красноречиво свидетельствуют цифры, приводимые Сабанеевым. С 1816 по 1821 г. из его корпуса выбыло умершими 3600 и столько же бежавшими («Сборник Русского исторического общества», т. 73. СПб., 1890, стр. 578). Жесточайшие наказания не могли прекратить бегства; некоторые пытались бежать в 4, 5, 6-й и даже в 9-й раз!

[8] В приказе от 9 декабря 1820 г. по 32-му Егерскому полку (№ 177) А. Г. Непенин требовал, чтобы все командиры «сколь наивозможно пеклись о сбережении нижних чинов» (ЦГВИАЛ, ф. № 535, Полевого аудиториата 2-й Армии, оп. 1, д. 324, л. 455). В приказе по роте В. Ф. Раевский провозглашал своей обязанностью постоянно заботиться, чтобы «солдаты были довольны и молодцы, словом, как должно быть солдатам русским» (там же, ф. № 9, оп. 11, д. 42, литера В, т. X, л. 7).



[9] Палки и рукоприкладство были заурядным явлением в царской армии. Недаром так распространена была во 2-й Армии, в которую входила 16-я дивизия, поэма «Жизнь солдатская», известная еще с начала века. «Я отечеству защита, а спина моя избита, я отечеству ограда, в тычках, палках—вся награда»,— говорит герой песни заслуженный русский солдат (Архив Академии наук СССР, ф. № 100, оп. 1, д. 296, л. 1; ср. «Лит. наследство», т. 9-10, 1933, стр. 143).

А. В. Поджио вспоминал с негодованием: «Побои и род палок входили в неотъемлемое право каждого какого бы ни было начальника и в каком он чине ни был. Солдат был собственною принадлежностью каждого. Били его и ефрейтор, и унтер-офицер, и фельдфебель, и прапорщик, и так далее до военоначальника. Не было ему суда и всякая приносимая жалоба вменялась ему в вину и он наказывался, как бунтовщик» (А. В. Поджио. Записки декабриста. М.— Л., 1930, стр. 23—24). Примечательно совпадение свидетельств Поджио с теми признаниями, которые исходят от начальника Орлова — командира 6-го корпуса генерала Сабанеева. Сабанеев, заслуженный боевой генерал, был всегда бесконечно далек от какой-либо оппозиционности, однако и он, скрепя сердце, терпел аракчеевские порядки и пруссаческую муштру, насаждавшиеся в войсках. Сабанеев писал: «В полку от ефрейтора до командира все бьют и убивают людей, и как сказал некто: в русской службе убийца тот, кто сразу умертвит, но кто в два, три года забил человека, тот не в ответе» (Н. Морозов. Воспитание генерала и офицера, как основа побед и поражений. Вильна, 1909, стр. 100). Подчиненный Сабанееву командир 17-й дивизии Желтухин, по словам Раевского, однажды приказал батальонному командиру: «Сдери с солдат кожу от затылка до пяток, а офицеров переверни к верху ногами, не бойся ничего, я тебя поддержу».

Во исполнение приказов Орлова телесные наказания отменили своими распоряжениями также Раевский и Непенин. Непенин требовал, чтобы «побои палками и особенно кулаком по лицу совершенно были истреблены» (ЦГВИАЛ, ф. № 535, Полевого аудиториата 2-й Армии, оп. 1, д. 324, л. 455), а Раевский приучал своих солдат к выполнению приказаний «не с под палок, а по долгу и с охотою» (там же, ф. № 9, оп. 11, д. 42, литера В, т. X, л. 7).

[10] В воспитании патриотических чувств солдат на примерах русской военной истории первую роль, разумеется, играли единомышленники Орлова в дивизии. О своих беседах с юнкерами Раевский писал: «Взошел я на кафедру (перед 9 егерской ротою) и<...>загремел о подвигах предков наших, о наших собственных подвигах и будущих наших подвигах, о Румянцеве при Кагуле, о Кутузове при Бородине» («Красный архив», 1925, № 6, стр. 300).

[11] Войска готовились в начале двадцатых годов исключительно для парадов и смотров. Обучение стрельбе было забыто, все время поглощала нелепая, мучительная для солдат муштра. Характерны признания Сабанеева, ничего, впрочем, не сделавшего для облегчения участи солдат своего корпуса: «Не могу равнодушно видеть уныние и изнурение войск русских, измученных бесконечным и беспрестанным учением, примеркой и переделкой аммуниции и проч. <...> Ученье день и ночь, даже со свечами. Солдаты не имеют ни минуты отдохновения. От того побеги, от того смертность» («Сборник Русского исторического общества», т. 73. СПб., 1890, стр. 577—578).

Офицеры-декабристы заботились не только о боевой, но также об общеобразовательной подготовке солдат. В дивизии Орлова была развернута целая сеть школ, в которых всякий рядовой не только мог обучиться грамоте и счету, но и получить первоначальные сведения из истории и географии. С первых же дней пребывания молодых рекрут в 16-й дивизии революционно настроенные офицеры приступали к их начальному обучению. Раевский предписывал в своей роте «всем молодым солдатам заниматься изучением грамоты прилежно» (ЦГВИАЛ, ф. № 9, оп. 11, д. 42, литера В, т. X, л. 6 об.).

ПИСЬМА М. Ф. ОРЛОВА к П. А. ВЯЗЕМСКОМУ (1819—1829)

Публикация и комментарии Л. Я. Вильде
Вступительная статья М. В. Нечкиной

Эпистолярное наследие выдающегося декабриста Михаила Орлова неотъемлемо входит в состав ценнейших первоисточников декабристского движения. Широкие общественные интересы Орлова делают его письма необычайно разнообразными по темам и насыщенными большой проблематикой, — проблематикой той эпохи, когда, по словам Пестеля, «дух преобразования заставляет везде умы клокотать». Орлов был связан с передовыми деятелями того времени — с Вл. Раевским, С. Г. Волконским, П. А. Вяземским, П. Д. Киселёвым. Это делает его переписку еще значительней. Тем более мешает научному исследованию несобранность его эпистолярного наследства, разбросанного по разным изданиям и архивным фондам, а подчас и вовсе утраченного. Опубликовано немного писем Орлова. В 1880 г. Павел Вяземский напечатал, по документам Остафьевского архива, письмо Орлова к отцу — П. А. Вяземскому от 9 ноября 1822 г. со строками о Пушкине [1]. Письмо Орлова в Париж к членам Комитета Общества начального образования от 11 марта 1818 г., помещенное в 1900 г. в «Отчете имп. Публичной библиотеки» за 1896 г., раскрывает отношение автора к ланкастерскому обучению. Н. П. Кашин напечатал в «Былом» письмо Орлова к Н. Б. Юсупову от 8 июля 1822 г. с предложением продать ему хрустальную фабрику [2]. П. С. Попов соединил в работе под заглавием «М. Ф. Орлов и 14 декабря» многочисленные тексты из следственного дела Орлова с его письмом к Д. В. Голицыну от 22 декабря 1825 г.[3] Весьма интересны опубликованные А. А. Сиверсом два письма Орлова к Д. П. Бутурлину, разоблачавшие крепостное право и крепостника-адресата. Письма эти получили широкое распространение среди современников и ходили по рукам как нелегальная агитационная литература. [4]

В сущности, этим и ограничивались до последнего времени публикации эпистолярного наследия Орлова, о богатстве которого читатель мог судить также и по обширным цитатам из его неизданной переписки в работе М. О. Гершензона [5]. Все остальное оставалось вне поля зрения исследователя. После длительного — почти тридцатилетнего — перерыва в 59-м томе «Литературного наследства» были напечатаны два письма Орлова к Вяземскому, посвященные критике «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. В настоящем томе публикуются шестнадцать писем Орлова к Вяземскому, относящихся к 1819—1829 гг.

Письма эти также являются документами большого значения. В них отразились многие явления культурной жизни эпохи, литературные споры и мнения. Здесь дается и характеристика отдельных журналов — от «Московского телеграфа» до ничтожных «Галатеи» и «Бабочки». Наиболее существенны планы Орлова и Вяземского издавать журнал. Мысль об издании журнала неразлучно сопутствовала декабристскому периоду жизни Орлова.

Особенно важно в письмах Орлова отражение декабристской идеологии их автора. Вяземский не был членом Тайного общества, и поэтому, несмотря на всю близость с ним

Орлова, было бы необоснованно искать в письмах последнего прямых политических высказываний. Но конспиративная деятельность Орлова, известная из других документов, относящихся главным образом к периоду его пребывания в Петропавловской крепости, дает своеобразный ключ к идейному смыслу публикуемых писем.

Вяземский едва ли знал, что ведет споры и делится сокровенными мнениями с членом Союза Благоденствия, активным участником развертывавшейся борьбы.

Основание раннего тайного общества «Ордена русских рыцарей», созданного Орловым и М. А. Дмитриевым-Мамоновым в 1814—15 гг., хронологически предшествует переписке. Но дальние концы завязавшихся тогда отношений и последующее развитие политической проблематики, стоявшей в центре внимания Орлова, получают известное отражение в публикуемых письмах. С этого Общества, собственно, и нужно начинать комментарий писем — оно органически связано с последующей политической эволюцией декабриста Михаила Орлова.

Еще в 1814 г. Орлов — страстный русский патриот,— вернувшись из заграничных походов, «взошел в переписку» с Дмитриевым-Мамоновым на предмет организации тайного политического общества «Орден русских рыцарей». Общество должно было, правда в весьма своеобразной форме, повести борьбу с крепостничеством и абсолютизмом в России. Ранний проект Орлова и Дмитриева-Мамонова,повидимому сохранившийся под заглавием «Пункты преподаваемого во внутреннем ордене учения», относился, очевидно, к 1814 г. и представляет собою причудливое сплетение передовых освободительных идей с феодально-аристократическими взглядами, заимствованными отчасти из английских источников [6]. Проект этот был, так сказать, «первой пробой» политического пера Орлова, кратким увлечением,— его даже забыли уничтожить в тревожные дни обысков и арестов в декабре 1825 г. Реальная политическая действительность перечеркнула первый неудачный опыт и поставила на очередь в следующем же 1815 г. новые темы. Польский вопрос был одним из первых. Орлов, будучи близок к правительственным кругам, лучше других был осведомлен о проекте польской конституции 1815 г., «дарованной» Александром I Польше с высоты престола, в то время как Россия оставалась без конституции; слухи о дальнейшем присоединении к Царству Польскому исконных земель древней Руси — белорусских, литовских и украинских территорий не могли не волновать Орлова. Сторонник значительных социальных преобразований, единых как для всей России, так и для Польши, нужных и той и другой, Орлов был последовательным противником политической самостоятельности Польши. Он полагал, что Польша должна существовать как единое целое с обновленной Россией. Нельзя не усматривать в этом черту его дворянской ограниченности, но в то же время нельзя смешивать его точку зрения с позицией реакционных шовинистических кругов. Царский проект под личиной фиктивной «самостоятельности», подкрепляемой как аристократической конституцией, так и обещаниями вернуть прежние территории, стремился укрепить в Польше старый сословно-феодальный строй, крепостническое угнетение и господство аристократии. Противник крепостного права и абсолютизма, Орлов в равной мере хотел крушения феодального строя как для России, так и для Польши. Протест против демагогических проектов царизма содействовал радикализации программы Орлова — Мамонова. Новый их проект возник как ответ на события 1815 г. Перед нами уже республиканская программа с двухпалатным парламентом под названием «Народная веча»; вече делится на палату «наследственных вельмож» и «палату мещан». Наследственность представительства вельмож и «неприкосновенность» их уделов свидетельствуют о серьезных аристократических пережитках программы. Но с верхушки общественной пирамиды в этой программе уже свергнуто самодержавие: «тираноубийство», повидимому, рассматривается как путь к достижению поставленной цели. Верный друг Орлова Денис Давыдов, посвященный в существо его замыслов, недаром писал Киселеву об Орлове: «Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть абсолютизма в России» [7].

Можно определенно сказать, что Орлов не остановился на этом этапе, а со свойственной ему стремительностью продолжал двигаться дальше, преодолевая свои аристократические предрассудки. Вместе с тем он старался завербовать сторонников и создать настоящее тайное общество. Известно о прикосновенности к его замыслам

Николая Тургенева. Имеются основания предполагать, что и М. Н. Новиков, племянник известного просветителя, повидимому, вступил в Общество Орлова и начал работу над проектом республиканской конституции. В феврале 1817 г., в поисках новых членов организации, Орлов открылся молодому подполковнику Гвардейского генерального штаба Александру Муравьеву и узнал, что существует другое тайное общество, также поставившее своей целью преобразование России. Это Общество было недавно организовавшимся Союзом Спасения — самой ранней организацией декабристов. «Не присоединяясь к ним, я с ними сблизился»,— показывал Орлов. Оба общества, однако, не слились. «Переговоры сии кончились тем, что они обещались не препятствовать один другому, идя к одной цели, и оказывать себе взаимные пособия»,— показывал Никита Муравьев [8].

Так возникла полная осведомленность Орлова о делах Союза Спасения. Связь, очевидно, продолжалась и в последующие годы. Орлов был знаком с уставом Союза Благоденствия — «Зеленой книгой», написанным в 1818 г. Сам Орлов относит свое вступление в Союз Благоденствия к 1820 г. Как ни был скрытен он в своей «Записке» императору, написанной в стенах тюрьмы, ему пришлось признаться, что в июле или августе 1820 г., когда он, будучи назначен начальником 16-й пехотной дивизии, проезжал через Тульчин, на него «обрушились» Пестель, Фонвизин и Юшневский и стали доказывать, что если он знает «все их тайны», то «не великодушно мне самому оставаться вне опасности. Я поддался этому доводу» [9]. Таким образом, вступление Орлова в Союз Благоденствия — несомненный, признанный им самим факт. Последующее приглашение его на съезд Союза Благоденствия от Кишиневской управы, приглашение, им принятое, — доказательство как его причастности к организации, так и того, что он возглавлял Кишиневскую управу. По свидетельству же Никиты Муравьева, он вступил в Союз Благоденствия в 1818 г. вслед за Николаем Тургеневым, — это показание, на мой взгляд, вполне соответствует действительности.

Публикуемая серия начинается письмами, относящимися ко времени пребывания Михаила Орлова в Союзе Благоденствия.

Письма эти пронизаны духом свободолюбия; в Орлове все более зреет протест против политики «двуличного Януса» (выражение Вяземского) — Александра I. Орлов — страстный сторонник представительного правления («В кого влюблен? В представительное правление, во все благородные мысли, во всех благородных людей, в числе коих и тебя помещаю» — письмо от 28 февраля 1820 г.). «Живет» он «с Бенжаменом Констаном, с Бентамом и прочими писателями сего рода» (там же). Находящийся в Варшаве Вяземский для Орлова обитает «на краю рабства» и может, «так сказать, отворив окошко... набираться вольным и свежим воздухом» (письмо от 23 июня 1820 г.). Тревожные вопросы: «Надеются ли ⟨поляки⟩ на присоединение наших провинций? На чем надежда сия основана?» (письмо от 28 февраля 1820 г.) — вновь уводят нас к прежней концепции Орлова, противника присоединения к Польше российских земель. Эта концепция — политическая установка большой группы декабристов, представителей Северного общества. Вопрос этот остался до конца спорным в декабристской среде, он горячо обсуждался и в исходе деятельности Союза Спасения и накануне восстания 14 декабря. Последним решением декабристов была передача вопроса о Польше на усмотрение Великого собора или Учредительного собрания, на которое предполагался вызов польских представителей.

Политическая жизнь Польши стоит в центре внимания Орлова, он жаждет вникнуть в характер ее конституционной практики, хочет живого общения между русским и польским народами. Примечательны его слова о дружбе народов в ходе рассуждения о необходимости издавать в Варшаве журнал, отражающий политическую и культурную жизнь Польши («короткое знакомство есть основание дружбы между людьми как между народами» — письмо от 22 марта 1820 г.). Жажда кипучей деятельности отличает Орлова, и деятельность эта в интересующие нас годы — пропагандистская. Сформировать передовое общественное мнение — вот цель Орлова. Он отчетливо сознает деление общества на два лагеря — на передовой лагерь друзей свободы, «влюбленных» в представительное правление, и лагерь реакционеров, «гасителей» — врагов света и свободной жизни. В этом отношении, до политической терминологии включительно

Орлов при всем своем своеобразии — типичный декабрист. Борьба с «гасителями» была лозунгом передовой декабристской молодежи. Свидетельство Орлова, что известное его выступление в Киевском библейском обществе имело именно эту цель, поистине замечательно. Он смело выбрал неожиданную для друзей свободы трибуну и возвестил свои лозунги в страстной речи против «гасителей» [10]. Посылая другу эту речь (которую ему так и не удалось самому опубликовать, ибо, как он сам сознает, его речь «в *типографическую службу* принятой быть не может»), Орлов пишет: «Есть части изрядные, кои писаны были мною con amore *. Ты легко отгадаешь по сему, что я говорю о картине наших гасителей и противников просвещения. Хотя сия часть слишком длинна в сравнении с прочими, но я для нее сочинил всю речь...» (письмо от 22 августа 1819 г.).

Овладеть трибуной печатного слова — главная мысль Орлова. Он понимает всю невозможность издания «свободомыслящего вестника» в Киеве, но думает, что может быть Вяземскому, занимающему важный пост в Варшаве, удастся это в условиях Польши. «Там хотя не существует еще вольное книгопечатание, но, по крайней мере, оное торжественно обещано». Вопрос о политическом журнале живо занимает Орлова. Он намечает в письмах контуры его довольно широкой и конкретной программы, предполагая напечатать перевод польской конституции, опубликовать «все без изъятия» депутатские прения в польской «каморе», помещать статьи о польской словесности и европейские новости (письма от 28 февраля и 22 марта 1820 г.). Свобода печати — его страстное желание, цензура ненавистна ему — публикуемые письма содержат яростные выпады против цензоров.

Но чем дальше читаем мы письма Орлова, тем острее ощущаем, что автор их все более теряет надежду на успех своих планов, все отчетливее убеждается, что надежда на общественную деятельность в царской России иллюзорна, а упования на «общественное мнение» лишены почвы. Надо действовать иначе. Если уже во втором из публикуемых писем Орлов жалуется на «бесполезную и томительную деятельность» и скорбит, что любимое его «дитя» — надежда, рождаемая всеми его политическими преобразовательными замыслами,— «к несчастию, час от часу чахнет»,— то дальше этот мотив звучит все сильнее: «...когда благодать низойдет на нас? Когда слеза рабства иссохнет на ланитах, украшенных улыбкою вольности? Неужели не доживу до сего благословенного мгновения?..».Присущая ему жажда действия нарастает. Но как действовать, если «нет связи, нет цели, нет узла, словом, нет ничего?» (письмо от 15 июня 1820 г.).

Мысль о революционной организации, о революции и о своем в ней участии не покидала Орлова. Как дворянский революционер, он боялся самостоятельности народных масс. Но он считал себя и подобных себе свободолюбцев способными руководить революционными действиями. Он напряженно ждал решающей минуты и готов был принять в событиях самое активное участие, с наивной восторженностью веря, что «найдись у нас десять человек истинно благомыслящих и вместе даровитых, все приняло бы другой вид» [11]. В 1819 г. Орлов писал А. Н. Раевскому: «Пусть иные возвышаются путем интриг, в конце концов они падут при всеобщем крушении и потом уже не поднимутся, потому что тогда будут нужны чистые люди. Я понимаю, что мои слова несколько загадочны, но их смысл мне вполне ясен, и, может быть, когда-нибудь и вы признаете правильной мою точку зрения и всю мою систему. Может быть также я не увижу даже зари того прекрасного дня, о котором мечтаю, но от того моя система не станет менее верной для тех, кто переживет меня» [12].

Эти настроения Орлова усилились в 1820 г., и встреча его в Тульчине с Пестелем, Юшневским, Фонвизиным, конечно, была преднамеренной. Трудно было в двадцатых годах людям типа Орлова оставаться в стороне от событий. В России восставали военные поселения, волновался Дон, шло брожение в гвардейских полках. На Западе происходили открытые революционные выступления. Испанская революция, начавшаяся в январе 1820 г., торжествовала победу. Орлов был членом Союза Благоденствия в мо-

---

* с любовью (итал.).

мент его крупного поворота к новым программным и тактическим решениям. На петербургском совещании 1820 г. руководители Союза Благоденствия по докладу Пестеля единодушно голосовали за республику. Оформлялась тактика военного удара по самодержавию, обсуждалось участие в выступлении войск, ставился вопрос о цареубийстве. Орлов действовал, собственно, уже не в Союзе Благоденствия, как таковом,— «Зеленая книга» в тот момент уже пережила себя,— он был участником преобразования нарождающейся новой организации, принимавшей республиканскую программу и тактику военного переворота. Если бы Орлов общался с второстепенными членами, можно было бы задать вопрос, знал ли он обо всех этих переломных событиях в жизни Общества. Но он был связан с южанами и с Пестелем,— человеком, не только знавшим больше других, но явившимся той активной силой, которая повернула Общество на новый путь. Орлов связался с южным филиалом Союза Благоденствия и уехал из Тульчина в Кишинев, получив имена членов, находившихся в Кишиневе. Письмо к Вяземскому от 15 октября 1820 г. написано всего через полтора-два месяца после этого тульчинского свидания. Член Союза Благоденствия, переходившего к новой программе и тактике, он ехал в Кишинев принимать 16-ю дивизию. Поскольку Общество готовилось к военному выступлению с участием в нем восставшей армии, надо думать, что новый командир принимал дивизию со сложным чувством — едва ли он уже тогда не предполагал возможность ее революционного использования.

В письме к Вяземскому от 15 октября 1820 г. он с сарказмом отмечает бессодержательность речи министра Мостовского польским депутатам в Варшаве. Как и следовало ожидать, Орлов и на этом новом этапе развития своей идеологии остается сторонником конституционного строя: «Я в первый раз читал речь депутатам нации, в которой говорят о частной выправке солдат, о рекрутской школе и о палатках, в которой министр возвещает народу, что он пользуется всеми правами конституции, то, что не время вводить ни вольного книгопечатания, ни суда присяжных, ни даже рассуждения о бюджете. Вот, однако же, весь смысл сей речи, в которой, впрочем, много есть блестящих выражений и французского мишурного витийства»

Краткое письмо из Москвы от января 1821 г., несомненно, связано с Московским съездом Союза Благоденствия. Орлов приехал в Москву для участия в съезде. Остановился он у Вяземских. Как известно, его выступление на съезде произвело огромное впечатление и радикальность его предложений вызвала разноречивые толки, позже откликнувшиеся в ожесточенной полемике потомков [13]. Мне представляется, что С. Н. Чернов правильно выяснил существо столкновения и подтвердил характер предложений Орлова [14].

Записка Грибовского — документ вполне достоверный — передает содержание выступления Орлова на Московском съезде 1821 г. следующим образом: во-первых, Орлов ручался «за свою дивизию», — ясно, что речь шла о ее роли в предстоящем военном революционном выступлении; при этом — как в трудных случаях на войне — он требовал «полномочия действовать по своему усмотрению»; во-вторых, Орлов настаивал на организации нового тайного общества под названием «Невидимые братья», которое руководило бы революционной борьбой [15]. Из глухих намеков, переданных доносчиком в ироническом тоне, можно усмотреть, что Орлов думал не только об объединенном руководстве движением внутри России, но и о какой-то координации его с разгоравшимся час от часу западноевропейским движением, — по крайней мере, Грибовский упоминал о греческом народе. Напомним, что возглавивший греческое восстание Александр Ипсиланти был в Кишиневе завсегдатаем дома Орлова. «Перед своим великим и неудачным предприятием нередко посещал сей дом с другими соумышленниками русский генерал князь Александр Ипсиланти»,— свидетельствует Ф. Ф. Вигель [16]. В доме, где свободолюбцы «с жаром витийствовали», многое могло быть известно. 6 марта 1821 г. Ипсиланти со своими сторонниками уже перешел Прут (границу России) и возглавил начавшееся еще до этого греческое восстание. За месяц с лишним до этого события Орлов, знавший Ипсиланти, говорил о готовящемся восстании греков. Едва ли поэтому случайна ссылка на необходимость

связи русского движения с греческим в речи Орлова на Московском съезде 1821 г. Можно догадываться, что Орлов что-то сказал в своей речи и о материальной базе движения, поскольку он говорил о денежных взносах участников Общества в единый центр (отрасли Общества по «народам», «как бы лучи сходились к центру и приносили дани неведомо кому»,— иронизировал Грибовский). Далее Орлов говорил о необходимости «в лесах» завести тайные типографии— «или литографию», добавляет И. Д. Якушкин в своих «Записках», — там «можно было бы печатать разные статьи против правительства и потом в большом количестве рассылать по всей России» [17]. Особенно изумило участников Московского съезда, умеренных членов Союза Благоденствия, предложение Орлова печатать также поддельные царские ассигнации, чтобы приобрести средства для выступления и вместе с тем подорвать кредит правительства. Предложения Орлова надо понять в их совокупности: все они были связаны с центральным замыслом — немедленным военным выступлением. Якушкин — участник съезда, — державшийся тогда умеренных политических позиций, даже предположил, что Орлов в связи с предстоящей женитьбой на Екатерине Раевской решил порвать с Обществом и поэтому внес столь необычные предложения.

Но, зная характер Орлова, никак нельзя даже на минуту предположить что-либо подобное.

Все эти факты в какой-то мере могут служить комментарием к словам Орлова в январском письме к Вяземскому: «На крае света занят теми же мыслями и томлюсь тою же грустию, как и в самом отечестве».

Предложения Орлова не были приняты Московским съездом, и он уезжал, остро ощущая разрыв с тем течением, которое возглавило съезд и ликвидировало Союз, чтобы под прикрытием ликвидации создать новую организацию. Но Южное общество с Пестелем во главе, как известно, не признало постановлений Московского съезда о ликвидации Союза и решило «общество продолжать». Поскольку Кишиневская управа Союза Благоденствия была с самого начала частью южной организации и связана с Тульчиным, а Пестель после основания Южного общества ездил в Кишинев (он был там в апреле и мае 1821 г., то есть через месяц после основания Южного общества), нет сомнений в том, что он там виделся с Орловым, с которым только что договаривался в Тульчине, и говорил на интересующие обоих темы. Деятельность Кишиневской управы после Московского съезда и основания Южного общества была весьма интенсивной.

Арест В. Ф. Раевского в феврале 1822 г. и северными и особенно южными декабристами воспринимался как арест члена своей организации. Связь Раевского и К. А. Охотникова с Орловым не вызывает сомнений. Поэтому деятельность Кишиневской управы — доказательство того, что, порвав с Московским съездом, Орлов не порвал с Тайным обществом. Два его радикальных приказа по 16-й дивизии относятся ко времени после разрыва с Московским съездом, — один из них (от 29 марта 1821 г.) публикуется выше. Эти приказы и новонайденные письма к Вяземскому, по датам относящиеся ко времени после Московского съезда, служат сильнейшим доказательством того, что Орлов ни в малейшей мере не отказался после выступления на съезде от своих убеждений. Этот ложный слух об Орлове, когда-то распространявшийся его политическими противниками в разгар острой борьбы и подхваченный доносчиком Грибовским, должен быть полностью отвергнут. Его опровергают приказы Орлова, деятельность Кишиневской управы после съезда, слова Раевского (который из темницы просил передать Орлову, что он никого не выдал и «нигде себе не изменил»), благородное поведение Орлова во время восстания Камчатского полка. Замечательно рассуждение Орлова в публикуемом ниже письме к Вяземскому от 9 сентября 1821 г. по поводу отставки последнего: «Или ты был полезен или нет. В первом случае должно было остаться и продолжать быть полезным, или изыскать новое средство подвизаться на новую пользу». Яркая тирада Орлова о цензуре свидетельствует, что он попрежнему, если не еще больше, ненавистник «гасителей» — в письме от 25 ноября 1821 г. он заявляет: «Донесения частных и подлых шпионов всегда более или менее позлащены клеветою. Их выгода явственна. От них требуются известия, и они места свои потеряли бы, ежели б не доставляли каких-нибудь донесений ⟨...⟩ Мои пись-

ма подлежат, вероятно, также их критике. Кто из них довольно чист душою, чтоб видеть во мне гражданина, а не вздорного болтуна? Они сами так подлы и так привыкли к подлостям всякого рода, что все деяния, все слова, все мысли, кои не походят на их дела, на их клеветы, на их соображения, должны казаться им буйственными. Ежели им угодно, пусть прочитают сие письмо. Оно послужит им, может быть, уроком, ежели какие-нибудь уроки могут действовать на их сердце и ум».

21 декабря в 7 часов вечера Орлов был арестован в своем московском доме. Из «уважения» к заслугам его брата Алексея Орлова, одного из палачей декабристов, Николай I «помиловал» Михаила Орлова, исключив его со службы и сослав в его деревню на безвыездное житье под «бдительный тайный надзор» местного начальства (в 1831 г. ему было разрешено переехать в Москву). Его письмо от 20 июня 1826 г. написано в Москве, где Орлов останавливался проездом из Петропавловской крепости (в сопровождении фельдъегеря Белоусова) в калужскую деревню Милятино, место его ссылки. Хотя в последующих письмах (мы имеем в виду последние пять писем, завершающих настоящую публикацию) обличительный тон резко меняется, письма эти все же представляют интерес для историка русской культуры. Любопытен острый, хотя в основном все же сочувственный отзыв о «Московском телеграфе». Критикуя его слабые стороны, Орлов опять высказывает попутно свои давние чаяния видеть «хоть один порядочный журнал в отечестве». Живой интерес к русской литературе остается стойкой чертой Орлова — ему хочется в феврале 1828 г. «снова начать ⟨...⟩ переписку, попрежнему и судить и рядить литературные дела...». В последнем из публикуемых писем он выражает желание встретиться с Вяземским, хотя бы на несколько часов, побеседовать с другом и «показать ему, что гонения судьбы не выбили ни мыслей из головы, ниже́ чувств из сердца». Но говорить в письмах откровенно — нельзя: «По неверности сообщений я на одно из твоих писем не отвечал. Что сказать? Когда я не знаю, чем это все кончилось? Да и как говорить за тридевять земель? Когда увидимся, то язык мой развяжется, и ты услышишь все, что я думаю и чувствую».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] П. П. Вяземский. А. С. Пушкин. 1816—1825 по документам Остафьевского архива.— «Берег», 1880, № 74 от 6 июня; отд. оттиск: СПб., 1880, стр. 53—55.

[2] «Былое», 1925, № 5, стр. 45—46.

[3] П. С. Попов. М. Ф. Орлов и 14 декабря.— «Красный архив», 1925, № 6, стр. 151—155.

[4] А. А. Сиверс. Два письма М. Ф. Орлова к Д. П. Бутурлину. — «Декабристы и их время», I, стр. 199—205.

[5] М. О. Гершензон. История молодой России. М.— Пг., 1923, стр. 9—78.

[6] Проект не вполне точно опубликован А. К. Бороздиным под заглавием «Краткий опыт» в издании: «Из писем и показаний декабристов». СПб., 1906, стр. 148—153.

[7] М. О. Гершензон. Указ. соч., стр. 15.

[8] ВД, т. I, стр. 306; т. III, стр. 12, 16; «Красный архив», 1925, № 6, стр. 160 («Записка М. Орлова о тайном обществе»). Существенное значение имеет свидетельство хорошо осведомленного Никиты Муравьева о времени вступления в Тайное общество Михаила Орлова. Рассказав об основании Союза Благоденствия в Москве в 1818 г., Муравьев добавляет: «Члены, оставшиеся в П⟨етер⟩б⟨урге⟩, вступили также в Союз Благоденствия. Между тем г. Орлов не успел в своем намерении составить Общество. Представитель его в П⟨етер⟩б⟨урге⟩ Николай Тургенев вступил в С⟨оюз⟩ Бл⟨агоденствия⟩ и он сам последовал сему примеру в Москве, где принял его Александр Муравьев, вышедший в отставку и поселившийся там» (ВД, т. I, стр. 307). В этом свидетельстве вступление в Союз Благоденствия Николая Тургенева и Орлова поставлено в прямую связь. Александр Муравьев вышел в отставку в октябре 1818 г., а в сентябре уже уехал из Москвы (ВД, т. III, стр. 17, 18), следовательно, принятие Орлова в Союз Благоденствия могло произойти не позже этого времени.

[9] «Красный архив», 1925, № 6, стр. 161.

[10] «Во всяком времени, во всякой земле,— говорил Орлов в своей речи,— родится несколько людей, образованных как бы нарочно природою, чтоб быть противниками всего изящного и защитниками невежества <...> Любители не древности, но старины, не добродетелей, но только обычаев отцов наших, хулители всех новых изобретений, враги света и стражи тьмы, они суть настоящие отрасли варварства средних веков <...> они стязают для себя все дары небесные, все сокровища земные, все превосходство и нравственное и естественное, а народу предоставляют умышленно одни труды и нетерпение; от сих правил родились все уничтожительные системы правления для рода человеческого, системы, коих начало должно искать не только в честолюбии законных преемников власти, сколь в пагубных изобретениях ласкателей земных владык и друзей невежества» («Сборник Русского исторического общества», т. 78. СПб., 1891, стр. 523—524).

[11] Письмо Орлова к А. Н. Раевскому (1819 г.)— цитировано М. О. Гершензоном в «Истории молодой России». М.— Пг., 1923, стр. 17.

[12] Там же, стр. 17.

[13] Н. М. Орлов. Михаил Федорович Орлов.— «Русская старина», 1872, № 5, стр. 775—781 (спор с «Записками» И. Д. Якушкина); Е. И. Якушкин. Съезд членов «Союза Благоденствия» в Москве 1821 г. (Ответ Н. М. Орлову).— «Русская старина», 1872, № 11, стр. 597—602 (сын И. Д. Якушкина отстаивает правильность сведений, сообщенных в «Записках» отца); Н. М. Орлов. Съезд членов «Союза Благоденствия». 1821 г.— «Русская старина», 1873, № 3, стр. 371—375.

[14] С. Н. Чернов. К истории политических столкновений на Московском съезде 1821 года.— «Ученые записки Саратовского гос. университета», 1925, т. IV, стр. 103—139.

[15] Записка М. К. Грибовского, ранее известная по копиям, впервые полностью опубликована по подлиннику Ю. Г. Оксманом в изд. «Декабристы», 1926, стр. 109—116 («Записка о Союзе Благоденствия, представленная ген. А. Х. Бенкендорфом Александру I в мае 1821 года»).

[16] Ф. Ф. Вигель. Записки, т. II. М , 1928, стр. 212.

[17] Якушкин, стр. 43.

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуемые 16 писем М. Ф. Орлова находятся в ЦГЛА, в Остафьевском архиве Вяземских (фонд № 195). Четыре письма (от 22 августа 1819 г., 22 марта 1820 г., 9 сентября 1821 г. и 20 июня 1826 г.) вклеены П. П. Вяземским в составленный им альбом автографов, т. II (ед. хр. 5083, лл. 61—73), остальные письма хранятся в отдельной папке (ед. хр. 2480).

Два письма из этой связки — от 4 мая и 4 июля 1818 г.,— заключающих в себе критику Орловым «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, опубликованы Л. Я. Вильде в «Лит. наследстве», т. 59, 1954, стр. 565—567.

Кроме публикуемых нами писем, в Остафьевском архиве хранятся еще 15 писем и записок Орлова к Вяземскому, имеющих узко биографический характер. Одно из них (от 28 февраля 1821 г.) посвящено его женитьбе на Е. Н. Раевской, другие — просьбе помочь греку Спартамо и оказать содействие певице Каталани 2-й (два письма без даты периода 1822—1825 гг.), просьбе помочь А. Л. Давыдову устроить его сына в какое-нибудь учебное заведение в Москве (от 1 февраля 1825 г.), просьбе прислать книги в Милятино (от 28 ноября 1826 г.) и семейным делам Орловых и Вяземских (от 23 июля 1822 г., 26 июля, 13 августа 1823 г., 24 октября 1826 г., 23 февраля 1831 г., 12 октября 1835 г., 10 сентября 1837 г. и три записки без даты).

Восемь писем Орлова (1832—1834 гг.) посвящены истории печатания его книги «О государственном кредите», вышедшей в 1833 г. в Москве. Письма эти имеют узко специальный, экономический характер. Они готовятся к печати Л. Я. Вильде при участии С. Я. Борового в «Записках Отдела рукописей» Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 17 («Новые материалы о книге декабриста М. Ф. Орлова „О государственном кредите“»).

В том же фонде находятся восемь писем Орлова к Вере Федоровне Вяземской конца 1820 — начала 1830-х гг. (ед. хр. 3402). Из них мы публикуем наиболее интересные строки в примечаниях к письмам Орлова к Вяземскому от 26 января 1827 г. (№ 12) и от 18 февраля 1828 г. (№ 14).

1

⟨Киев. 22 августа 1819 г.⟩

Любезный Асмодей[1], давно к тебе я не писал — время летнее полно для нас хлопот. Теперь, слава богу, все кончилось или скоро кончится, а у вас скоро начнется[2]. Желал бы я побывать в Варшаве и посмотреть на наших приёмышных братьев, как они управляют колесницей представительства. Это дело трудное — ежели запряжена волами, то все кнут нужен; ежели помчится слишком быстро, то может повалиться и весь народ за собой стащить в пропасть. Отпиши, пожалуй, мысли твои на ход дела и что будет интересного, то дай знать. Я все тот же: изнемогаю от отечественной горячки. Неужели не благословит бог увидеть когда-нибудь счастие России? Soleil de ma vie, qui fuit si rapidement et qui est prêt à m'abandonner, puisse-tu du moins de tes derniers rayons éclairer le bonheur de ma patrie!* Так говорил некто, коего имя позабыл, но коего слова, столь сходствующие с мыслями моими, глубоко врезались в мое сердце[3].

Посылаю к тебе речь мою в Киевском Библейском обществе[4]. Есть части изрядные, кои писаны были мною *con amore***. Ты легко отгадаешь по сему, что я говорю о картине наших гасителей и противников просвещения. Хотя сия часть слишком длинна в сравнении с прочими, но я для нее сочинил всю речь и, следственно, чувствуя погрешность, не хотел переменить. Сделай одолжение, ежели найдешь какой-нибудь галлицизм или много галлицизмов, то уведомь меня. Прийму с благодарностью и на другой раз остерегусь.

Денис наш женат и я его женатого уже видел и смеялся над ним[5]. Что ему вздумалось распложать свою татарскую рожу? Но он счастлив. Любит и любим. Чего же больше?

Я скоро отправляюсь в Крым. Хочется посмотреть полуденный сей край. Хочется полюбоваться на виды и посмотреть на миндали и виноград, не странно ли им расти в России. Оттуда отправлюсь в Одессу, а потом возвращусь в Киев и поеду в ноябре в Москву. Неужели не придется нам с тобой там встретиться? Хорошо бы было. Но можно ли? Питаю надежду. Постарайся, мой друг, приехать к нам. Ежели же поедешь чрез Киев, то уведомь меня. Останусь до твоего приезда и вместе пустимся в путь.

Варенья тебе не послал прошлого года, ибо от ненастья было весьма мало фруктов, а старого варенья посылать не хотел. Нынче, надеюсь, буду счастливее. — Прощай. Люби меня и пиши.

Михаил Рейн[6]

Сего 22-го августа 1819.
гор. Киев.

Кланяйся княгине Асмодеевне и поцелуй всех асмодеюшек твоих[7].

[1] Асмодей — арзамасское прозвище Вяземского.

[2] Под словами: «... все кончилось или скоро кончится, а у вас скоро начнется» — Орлов, вероятно, имеет в виду летние военные маневры в Киеве и польские политические дела.

[3] Источник цитаты не установлен.

[4] Речь Орлова была произнесена на торжественном заседании Киевского отделения Библейского общества 11 августа 1819 г. Трибуну этого реакционного Общества Орлов использовал для пропаганды идей в духе Союза Благоденствия, в частности для пропаганды взаимного обучения. Речь его распространилась по России в многочисленных списках (напечатана в «Сборнике Русского исторического общества», т. 78. СПб., 1891, стр. 519—528).

* Солнце моей жизни, движущееся столь быстро и готовое уже покинуть меня, о, если бы ты могло своими последними лучами озарить счастье моей родины (франц.).

** с любовью (итал.).

Вяземский восторженно откликнулся на речь Орлова в письме к А. И. Тургеневу от 29 августа 1819 г. («Ост. архив», т. I, стр. 299—300).

[5] Д. В. Давыдов (1784—1839)— поэт, близкий друг Орлова, в это время — начальник штаба 7-го пехотного корпуса в Херсоне; женился весной 1819 г. на С. Н. Чирковой.

[6] Рейн — арзамасское прозвище Орлова.

[7] «Княгиня Асмодеевна» — Вера Федоровна Вяземская (1790—1886)— жена П. А. Вяземского. —«Асмодеюшки» — их дети.

2

〈Киев. 28 февраля 1820 г.〉

Любезный друг, на твое письмо, давно уже полученное[1], я не отвечал по сих пор, частью оттого, что природой одарен отличною леностью, а частью оттого, что судьбой осужден на бесполезную и томительную деятельность. Постараюсь на тысячу твоих вопросов отвечать, да после сам держись.

Чем я занимаюсь? Вздорными бумагами, посреди коих письма к друзьям есть полезнейшее и приятнейшее дело.

В кого влюблен? В представительное правление, во все благородные мысли, во всех благородных людей, в числе коих и тебя помещаю. Живу с Бенжаменом Констаном[2], с Бентамом[3], и прочими писателями сего рода. Иногда от нашего бракосочетания родятся уродливые выписки, записки и пр. Из всех детей, прижитых мною, любимое есть *надежда*, но, к несчастию, час от часу чахнет.

Напечатана ли речь моя? Нет, она в *типографическую службу* принятой быть не может. Il y a de la roture dans son fait*. А бродит партикулярно из рук в руки. И то не худо[4].

Что делает Денис в когтях у Гименея? Еще не кряхтит, а нежится. Ему кажется странным быть счастливым. Он греется под подолом. Ничего не пишет, живет в Москве и ожидает наследника или наследницу[5].

Твои комиссии прекрасной Софье [6] переданы. Я ей сказал, что ты всякое утро, вставши с постели, молишься на восток с тех пор как ее полагаешь в Киеве, и всякий день трижды, а иногда и более повергаешься к ее стопам. Они пробыли все контракты и теперь уехали на масляной в Петербург. Чудная красавица, а все что-то не то. Красота без стыдливости для меня точно как мятые груди без шнуровки. Конец ответу.

Теперь я начинаю тебя запрошать.

Что ты делаешь?

Что делают в Польше?

Надеются ли на присоединение наших провинций? На чем надежда сия основана? [7]

Каковы выборы?

Какие будут предметы будущих прений?

Кто из людей употребленных более имеет весу?

Когда ждут царя?

И пр. и пр. и пр. в сем роде[8].

Пришли мне la Diète de 1818[9].

Прощай, друг Асмодей

Рейн

Сего 28-го февраля 1820 года.
Киев.

Пришли твои сочинения, ежели есть что-нибудь новое. Издавать журнала здесь в Киеве не буду, воля твоя — а затей русский журнал в Варшаве и помести там все без изъятия прения вашей каморы. Вот слава тебе, вот честь. Я подпишусь на многое количество экземпляров.

* В ней слишком много плебейского (франц.).

АВТОГРАФ ПИСЬМА М. Ф. ОРЛОВА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 1820 г.

Листы первый и последний

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Напиши мне об этом предмете несколько строк, а я тебе о сем напишу огромное письмо. Пожалуй подумай и скорее отвечай. Я даже пойду на сотрудничество и на разделение убытков. Но делать должно осторожно[10].

[1] Это письмо Вяземского не дошло до нас.

[2] Бенжамен Констан (1767—1830)— французский политический деятель и публицист. Один из лидеров буржуазно-либеральной оппозиции периода реставрации.

[3] Иеремия Бентам (1748—1832)— известный английский публицист и философ, идеолог буржуазного либерализма, поборник капиталистического строя. Пользовался большой популярностью в России. Сочинения его издавались на русском языке еще в начале XIX в.

[4] Орлов пытался издать свою речь в Библейском обществе (см. о ней письмо № 1 и прим. 4 к нему). Однако президент Общества, министр народного просвещения и духовных дел А. Н. Голицын обвинил Орлова в нарушении цели Общества, которая заключалась в раздаче Библии (см. «Ост. архив», т. I, стр. 306—307).

А. И. Тургенев, приятель Орлова, в это время — директор департамента Министерства просвещения и духовных дел и секретарь Библейского общества, к которому Орлов неоднократно обращался по этому поводу, не хотел ничего предпринять. Он полностью разделял точку зрения Голицына и считал, что подобное выступление может принести много неприятностей Орлову. Вяземский, знавший возражения А. И. Тургенева, писал ему, что только в том виде, в каком хочет Орлов реорганизовать работу Библейского общества, оно может принести пользу («Ост. архив», т. I, стр. 346—347).

[5] О женитьбе Д. В. Давыдова см. письмо № 1 и прим. 5 к нему.

[6] Софья — Софья Станиславовна Потоцкая, с 1821 г. жена П. Д. Киселева. Вяземский называл ее «Минервой» (см. «Ост. архив», т. I, стр. 338 и др.).— Семья Потоцкой — мать ее, Софья Константиновна (1765—1822), и сестра Ольга Станиславовна, впоследствии Нарышкина (1802—1861).

[7] Вот, что отвечал Вяземский Орлову на этот вопрос в середине марта 1820 г. из Варшавы: «Вообще все желают более твердого владения тем, что им уже хартией отмежевано, чем новых прав и новых уступок. Этими словами отвечаю тебе и на запрос: „надеются ли на присоединение наших провинций?“. Конечно, надеются, но иногда заманиваются вырвать у них изо рту кусок хлеба, который они только что жевать начали: черт ли им велит смотреть на пирог, как он ни будь для них лаком?

„На чем сия надежда основана?“ — На двусмысленности слов двуличного Януса ‹Александра I›».

Среди аристократических польских кругов упорно держалось мнение о присоединении к Царству Польскому украинских, белорусских и литовских земель. Надежды на это присоединение особенно усилились в связи с намеками Александра I о расширении территории Царства Польского, сделанными им в речи при открытии Польского сейма в марте 1818 года (S. Kieniewicz. Przemiany społecznei gospodarcze w Krolestwie Polskim (1815—1830). Warszawa, 1951, str. 89). Речь Александра I произвела большое впечатление не только в Польше, но и в России. Многие, в том числе и Орлов, принимали обещание царя всерьез. В действительности же Александр I никогда не собирался расширять территорию Царства Польского. Его «обещания» были политическим маневром, предназначенным для заграничных газет.

[8] Орлов, как это видно из его писем, очень интересовался положением дел в Царстве Польском. Этот интерес ведет свое начало еще с момента образования Царства Польского, когда Орлов решительно высказался как против его создания (по его выражению «восстановления Польши»), так и против предоставления ей конституции. Так он написал «Протест против учреждений, дарованных Польше», под которым собирал подписи известных деятелей. Узнавший об этом Александр I потребовал «Протест» у Орлова, но тот отказался представить документ, заявив, что бумага эта у него пропала. Результатом явилась опала Орлова.

Орлов утверждал в двух «Записках о тайном обществе», что свой «Протест» он писал в 1815, а не в 1817 году.

В первой «Записке» он сообщал следующее: «Наступили события 1815 года. Основание Польского царства, *бесполезность моих хлопот при царствовавшем тогда государе*, против этого плана, убеждение, что в Польше существует тайное общество, которое незаметно работает над ее восстановлением ‹...› значение, благодаря которому польский вопрос все больше выдвигался в планах государя или казался выступающим на первый план, так как это было время создания Литовского корпуса,— все эти причины, взятые вместе, внушили мне мысль связать противодействие польской системе с моими первоначальными планами ‹создать тайное общество.— *Л. В.*›. В связи с этим *в 1816 и отчасти в 1817 г.* вместе с Мамоновым я был занят одним делом» («Красный архив», 1925, № 6, стр. 160.— Курсив наш.— *Л. В.*).

Как видим, Орлов совершенно ясно указывает на то, что бесполезные хлопоты по польскому вопросу относились не к 1817 г., а к более раннему времени, так как, не-

добившись успеха тогда, он в 1816 и в начале 1817 г. приступил к созданию новой тайной организации.

Еще более конкретно он об этом пишет во второй «Записке о тайном обществе»: «Государь изволил отправиться в Вену, и вскоре разнеслись слухи о восстановлении Польши.<...> *Я тогда же* <т. е. в 1815 г.—*Л. В.*> написал почтительное, но, по моему мнению, довольно сильное письмо к его императорскому величеству. Но сие письмо, известное генер<ал>-адъютанту Васильчикову, у меня пропало еще не совсем доконченным, и сведение об оном, дошедши до государя, он долго изволил на меня гневаться» (Довнар-Запольский. Мемуары, стр. 3. — Курсив наш. — *Л. В.*).

Итак, Орлов связывает время написания своего «Протеста» против восстановления Польши с Венским конгрессом, точнее с его заключительным актом, относящимся к концу мая — началу июня 1815 г., когда был решен окончательно вопрос о Польше (Н. К. Шильдер. Император Александр I. СПб., 1897, т. III, стр. 316—318).

Из вышесказанного следует, что едва ли правы М. О. Гершензон и М. К. Азадовский, относящие написание «Протеста» Орлова к 1817 г. (М. О. Гершензон. История молодой России. 1923, стр. 12; М. К. Азадовский. Затерянные и утраченные произведения декабристов. — «Лит. наследство», т. 59, 1954, стр. 628).

Самый факт написания Орловым «Протеста» был широко известен в свое время. Об этом вспоминали И. Д. Якушкин и Н. И. Тургенев (Якушкин, стр. 38; Н. Тургенев. Россия и русские. М., 1907, стр. 52). Но Якушкин, передавая эту историю, нигде не указывал, что «Протест» относится к 1817 г.

Что касается Н. И. Тургенева, то в его воспоминаниях имеется ряд противоречий. Так, он писал, что «создание польского королевства и особенно речь на открытии представительного собрания произвели в России известную сенсацию». Тургенев здесь объединил два события, отстоящие одно от другого почти на три года.

Как известно, торжественное восстановление Польши происходило 9/21 мая 1815 г. Тогда же Александр I писал Чарторыйскому о своих намерениях дать Польше конституцию. Первый же польский Сейм состоялся в 1818 г. (15/27 марта), и на нем Александр I выступил с речью.

Говоря о том, что «генерал Орлов составил что-то вроде протеста против учреждений, дарованных Польше, и хотел представить его императору с подписями некоторых генералов», Тургенев не указывал времени написания «Протеста» и можно предполагать только, что это было в 1815 г., так как в 1818 г. Орлов находился в Киеве и никаких протестов не писал.

Вероятнее всего, Орлов писал «Протест» и собирал под ним подписи в конце апреля или в самом начале мая 1815 г., когда была решена судьба Польши на Венском конгрессе и Александр I делал намеки на то, что даст Польше «внутреннее расширение» (Н. К. Шильдер. Император Александр I, т. III, стр. 317). Необходимо отметить, что если бы Орлов писал «Протест» в 1817 г., это должно было бы как-то отразиться в дневнике Н. Тургенева за этот период, так как Тургенев был очень близок с Орловым. Отрицательное отношение Орлова к «восстановлению Польши» было исключительным явлением в среде декабристов. Как известно, громадное большинство декабристов и особенно члены Южного общества были решительными сторонниками создания независимой Польши.

[9] Орлов просит прислать ему протокол польского Сейма за 1818 г.

[10] Вяземский отвечал на это письмо Орлова в середине марта 1820 г. из Варшавы: «Наконец ты откликнулся письмом от 28 февраля. Спасибо за ответы: вот мои, на твои запросы.

„Что я делаю?"

— То, что можно делать, когда в жизни, как и почти во всякой русской жизни, нет ничего положительного и, так сказать, ощутительного. Терпеливее в беспредельности произвольных соображений, надежд, до сей поры несбыточных, сожалений горестных: чувствуешь в себе избыток движений и не знаешь, куда приложить эти движения; почва убегает из-под рук, и ветер развевает семена прекрасных предположений. Я долго думал о средствах, нам предстоящих, врезать след жизни нашей на этой земле упорной и нам сопротивляющейся, и нашел одно: заняться теоретическим образом задачею *уничтожения рабства*. Составить общество, в коем запрос сей разберется со всех сторон и в пользу всех мнений (разумеется, истина будет на нашей стороне); после того, утвердивши на основании надежном сие мнение, вышедшее чистым и искушенным из горнила прений разносторонних, пустить его в ход, а за ним, как за точкою начальною, повлекутся все последствия благотворные. Если самим не придется нам дожить до созрения сей мысли, то, по крайней мере, от признательности потомков счастливейших не ускользнет память бытия нашего. В одном письме к Тургеневу изъяснил я мысли свои подробнее и удачнее; главными опорами моего мнения есть то: 1-е, что рабство крестьянское, как уродство на государственном теле, и более еще — как единственная стихия революции при настоящем политическом быте России, должно непременно уничтожено быть; 2-е, что хотя действие и срезание этого нароста принадлежит правительству, но предварительные советывания принадлежат,

несомненно, дворянам-помещикам. Я напишу к Тургеневу, чтобы он тебе мое письмо прислал: я тогда писал сгоряча.

Впрочем, живу: день мой — век мой. Имею несколько приятных знакомств и живу здесь потому, что в России мне душно: сплю и вижу, как убраться под другое небо и ожидать, чтобы слово *отечество* получило какой-нибудь смысл на языке у русского ⟨...⟩

„Каковы выборы?"

— Много было очень хороших, но вообще система выборов здесь очень порочна. Большая часть избирателей — люди неимущие и многие безграмотные: обедами, попойками, а иногда и просто обманами добываются выборы. Например: подносят лист к безграмотному; спор идет о двух кандидатах; он держится одного, ему подносят лист о другом, и он велит вписываться на этом листе, тогда, когда голос подает о другом.

„Какие будут предметы будущих прений?"— Должны были совещаться* о свободе тиснения, которая хартиею обеспечена, но еще никаким законом не утверждена. Теперь собираются ее до открытия Сейма прибрать в когти. Занды, Лувели, Тистевуды мерещатся всем правительствам ⟨...⟩

„Кто из людей, употребленных более или менее wighs*" (кажется, ты то написал)?

— Отличие, звание, как камзолы, которые надевают в желтых домах, усмиряют самых бешеных. Большая часть из занимающих первейшие места в царстве были действующими лицами в революции 1794 года и, так сказать, воспитана революциею французскою. Но иные от усталости, другие от гибкости покоятся на розах torys**. Делами едва ли не все torys, словами все wighs, и решительно сказать можно, что господствующий образ мыслей есть либеральный, или лучше — европейский; уши не терзаются в гостиных звуками азиатских мнений, и истины политические, которые у нас теплятся под спудом, здесь на виду и общи ⟨...⟩

„Когда ждут царя?"

— В конце августа или начале сентября, на шесть недель.

„И пр. и пр. и пр. в сем роде?".

— Кажется, прочего довольно было. Конечно, ты прав: хорошо бы в Варшаве издавать русский журнал! Но мне никак нельзя: я один или, еще и того хуже, не один; надеюсь однако ж во время Сейма сообщать известия о прениях, если не бог, а люди позволят. Ты просишь чего-нибудь нового от меня. Но ты ведь до стихов не охотник, а прозою статский советник и кавалер Яценков, урожденный Яценко, позволяет говорить только о погоде и то еще с осторожностию» («Архив Тургеневых», вып. 6, стр. 377—380).

3

⟨Киев. 22 марта 1820 г.⟩

Так как ты не шутя пишешь ко мне о журнале, то я также, оставя шутки в сторону, скажу тебе мои мысли.

Как ты хочешь, чтоб здесь в Киеве издавался журнал? Здесь нет ни писателей, ни читателей, ни типографии, ни цензуры. Странно бы видеть свободомыслящий вестник, напечатанный славянскими буквами, сочиненный попами или монахами, и коего каждая книжка отсылалась бы на смотр в Харьков или Петербург. Да и всё под моим ведомством, я, коего и так, каждое письмо, каждое слово, каждое дело, подлежит цензурному присмотру. А вот мысль моя, которую прошу обдумать.

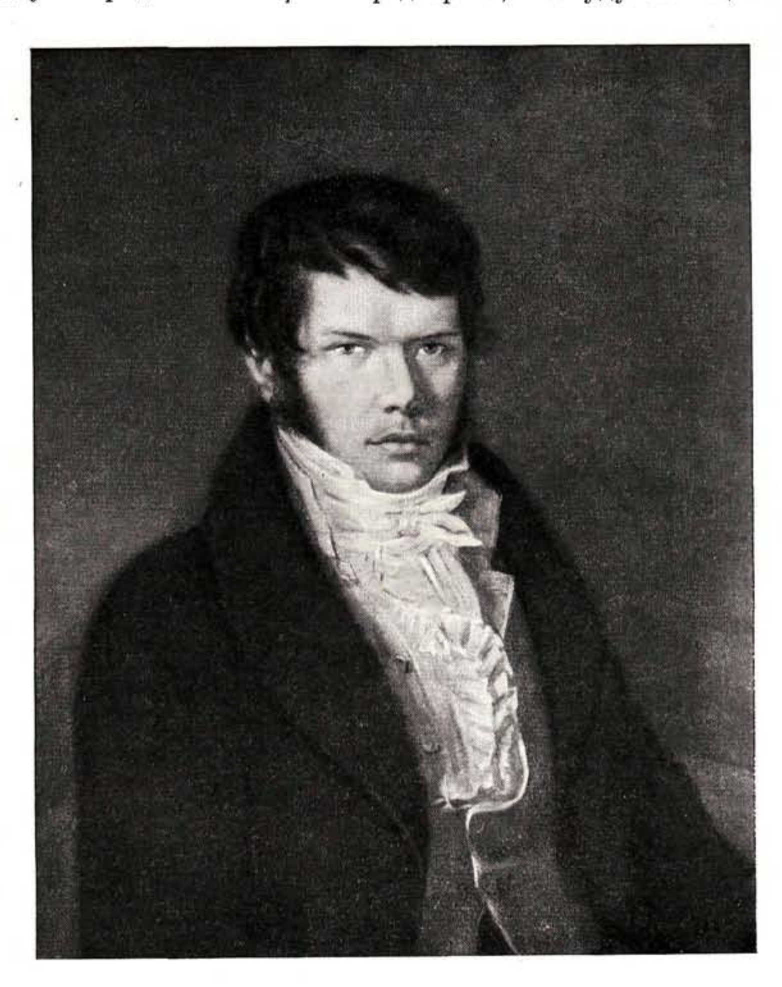
Самое настоящее место для издания журнала это Варшава. Там отголосок европейского просвещения более отдается. Там хотя не существует еще вольное книгопечатание, но, по крайней мере, оное торжественно обещано. Там ты имеешь свое пребывание постоянно. Сколько предлогов для издания журнала рождаются, так сказать, из самой сущности вещей? Не стыдно ли, что посюда польская конституция еще не переведена на российский язык? Не стыдно ли, что в России неизвестно, о чем поляки рассуждали на последнем сейме? Не стыдно ли, что непроницательная завеса неизвестности покрывает от нас все покушения поляков на Россию? Ты определен, кажется, судьбою, чтоб сорвать сию завесу, чтоб показать, с одной стороны, то, что делается для водворения свободного правления в Польше, а, с другой, то, что предпринимается

* виги (англ.).— Здесь Вяземский прочел неверно слова Орлова.— *Ред.*
** тори (англ.).

для уничтожения российской славы. Я знаю, как трудно сие исполнить, но у тебя есть голова и перо, у тебя родилось, судя по письму твоему, то священное пламя, которое давно согревало мое сердце и освещало мой рассудок. Тебе предстоит честь и слава.

Показавши цель, покажу и средства.

Проект журнала должен быть составлен в самом умеренном духе. *Во-первых*: в оном должно показать намерение сплесть новый узел к соединению двух народов. *Во-вторых*: предварить, что будут помещены статьи



П. А. ВЯЗЕМСКИЙ
Портрет маслом К.-Х. Я. Рейхеля, 1817 г.
Всесоюзный музей А. С. Пушкина, Ленинград

о польской словесности, дабы познакомить с оною россиян. *В-третьих*: можно сказать и о постановлениях, опираясь на истину, что короткое знакомство есть основание дружбы между людьми как между народами. *В-четвертых*: начать журнал переводом конституции, потом изложением последнего заседания, наконец, переводом речей. К сему политическому изложению можно прибавить перевод каких-нибудь стишков, басенок и проч. *В-пятых*: известие о происшествиях в Европе гораздо скорее доходит до Варшавы, нежели до России, почему и можно будет помещать

оные в подробности, опираясь в проекте на истину, что Россия перестанет платить значительную дань чужим землям за их журналы. Сие весьма нужно, хотя единственно для соревнования с гимнами «Инвалида»[1].

Форма журнала должна быть та же, что и французских ежедневных газет. Имя журнала предлагаю: *Российский наблюдатель в Варшаве.* На предприятие я сам внесу значительную вкладку. Остальной капитал можно набрать акциями.

Тебе надобно собрать сотрудников, из коих один решится, может быть, на сие дело. Он наш арзамасец, а именно *Никита Муравьев.* Он недавно оставил службу и, сколько я знаю, горит желанием быть полезным[2]. Я, Николай Тургенев, Дашков[3] и Сергей Тургенев[4] в Царь-Граде, Блудов[5] в Англии и прочие арзамасцы будут твоими сотрудниками. Таким образом самое разделение наше послужит к успеху.

Я, с моей стороны, один помещу до двухсот экземпляров. По крайней мере, надеюсь исполнить сие обещание.

Каков тебе кажется мой план? Чтоб не перебивать твоих мыслей, ни одного слова более не прибавлю. Оставляю сие на твое размышление и с нетерпением ожидать буду твоего ответа[6].

Рейн

Сего 22 марта 1820-го года.
Киев.

Письмо написано под диктовку. Рукой Орлова сделаны только отдельные вставки, дата и подпись.

[1] «Русский инвалид»— официальная газета военного ведомства, изд. с 1813 г.

[2] Н. М. Муравьев — в это время поручик Гвардейского генерального штаба. 13 января 1820 г. вышел в отставку. Еще в 1817 г., когда Н. И. Тургенев и Орлов задумали издавать журнал литературного общества «Арзамас», Муравьев должен был в нем участвовать в качестве историка и публициста.

[3] Дмитрий Васильевич Дашков (1784—1839)— один из организаторов «Арзамаса». С 1818 по 1820 г. состоял при русской миссии в Константинополе (см. о нем далее, стр. 486 и 495).

[4] Сергей Иванович Тургенев (1790—1827)— младший из братьев Тургеневых, был близок со многими декабристами и разделял их взгляды. С января 1820 г. по июнь 1821 г. состоял при русской миссии в Константинополе.

[5] Дмитрий Николаевич Блудов (1785—1864)— организатор и активный член «Арзамаса». С 1817 по 1820 г. служил советником, а затем поверенным в делах русского посольства в Англии, позднее — один из составителей и главный редактор «Донесения Следственной комиссии» 1826 г., министр внутренних дел и председатель Государственного Совета.

[6] Вероятно, Вяземский предпринимал какие-то попытки для создания журнала в Варшаве, но они окончились неудачей. 18 сентября 1820 г. он, очевидно, по этому поводу писал С. И. Тургеневу: «Я было намеревался доставлять в Россию *вести о свободе*, весьма умеренной и обузданной, вести о действиях здешнего сейма, нам не чуждых, ибо, как ни говори, а они у вас не только что под носом, но часто могут быть и на носу, но, как я писал Орлову, в обширной спальне России никакие будильники не допускаются, и я намерения своего в дело провести не мог» («Архив Тургеневых», вып. 6, стр. 8).

4

⟨Киев. 15 июня 1820 г.⟩

Любезный друг, сделай одолжение, извести меня, получил ли ты письмо мое, писанное чрез г. Скибицкого[1]. Я о сем не имею ни малейшего известия.

Благодарю тебя за твои ласковые брани. Не беспокойся, любезный Асмодей, у нас из блохи делают слона. Я не столь неосторожен, как ты думаешь[2]. Я не Вральман, а жертва Вральманов, которые на мою шею сваливают все свои грехи. Что касается до того, что тебе сказывали в Варшаве обо мне, то сие не должно тебя пугать за меня. Господа пересказчики или меня не поняли, или дали моим словам совсем посторонний смысл. Ежели ты одобришь мою речь, то можешь и все одобрить во мне, ибо я ничего не говорю сильнее того, что написал[3].

Рассуждения твои прекрасны, да и мои не худы[4]. Дело только в том, что рассуждения рассуждениями и кончатся. Нет связи, нет цели, нет узла, словом, нет ничего. В монархе вижу отдаленное намерение, в себе и некоторых других обретаю страстное желание, но в массе не нахожу ничего, кроме бесчувственного бытия. Мы так напуганы, что и счастья боимся. Какая жатва может быть на поле, которое зарастим осокою? Всякий день озаряет постепенность к падению всего общества. Я не люблю пророчить о дурном. В 1812 год, когда все отчаявались в спасении Отечества, я и несколько других проповедовали, что все будет спасено. Но теперь вижу опасность другого рода. Не грозой побита будет жатва, но червями съедена, а червей трудно искоренить. У нас так много пресмыкающихся животных, что нельзя ступить, чтоб кого-нибудь не раздавить. Но довольно о сем предмете. Ты так забранишься, что трудно будет и разделаться с тобою. Я тебя знаю. Ты из дружбы ко мне готов меня и разлюбить.

Мне видно долго будет жить. Я так расхохотался от известия о смерти моей, что едва не надселся. Благодарю еще раз за надгробное слово, только уверяю, что оно мне неприлично[5].

У меня был здесь Тургенев и жил дни с четыре. Он едет в Царь-Град и теперь уже там, вероятно[6]. Я кой-что нового узнал, неожиданного, приятного сердцу гражданина. Ты меня понимаешь. Хвала тебе, избранному на приложение. Да будет плод пера твоего благословен во веки. Но когда благодать низойдет на нас? Когда слеза рабства иссохнет на ланитах, украшенных улыбкою вольности? Неужели не доживу до сего благословенного мгновения? Вот надежды мои, вот от чего биение сердца и волнение ума. Друг мой, тогда только назову себя счастливым, когда мы все вместе счастие вкусим.

Я переменяю службу. Из Киева еду в Бессарабию, в Кишинев, где назначен командиром 16-ой пехотной дивизии. Пиши туда.

Твой друг Рейн

Сего 15-го июня 1820-го.
Киев.

[1] Франциск Фаддеевич Скибицкий — вице-референдарий при польской Комиссии духовных дел и народного просвещения.

[2] Письмо Вяземского к Орлову с «ласковыми бранями» не дошло до нас.

[3] Общественная деятельность Орлова в Киеве и особенно его речь на заседании Библейского общества привлекли к нему всеобщее внимание. Осенью 1819 г. Орлов приезжал в Москву и пытался увидеть своего товарища М. А. Дмитриева-Мамонова, с которым он вместе организовал первое в России тайное общество «Орден русских рыцарей» (1814—1817) (см. о нем обзор М. К. Азадовского — «Лит. наследство», т. 59, стр. 609—611, а также прим. 1 к письму № 9). В это время Мамонов был душевно болен. 16 апреля 1820 г. Н. И. Тургенев писал брату Сергею из Петербурга: «Об Орлове Мих⟨аиле⟩ здесь говорили всякий вздор. Будто он, будучи в Москву, ездил к своему приятелю гр. Мамонову, тот будто его не принимал, и Орл⟨ов⟩ выломал дверь, чтобы войти к нему. Потом говорили, что Орлов рассуждал везде о конституции и проч. и проч. А, наконец, сказали, что он ездил в Москву, чтобы рассмотреть с Мам⟨оновым⟩ сделанную ими конституцию для России. Этот последний слух дошел и до государя. Последнее, что слух до государя дошел, кажется верно» («Письма Н. Тургенева», стр. 207).

Повидимому, тот же слух несколько позже дошел и до Варшавы. Выступление Орлова в Библейском обществе связали с разговорами о конституции, которые он якобы вел с Мамоновым.

[4] Вероятно, речь идет о намерениях Вяземского создать Общество, которое способствовало бы отмене крепостного права в России (см. прим. 8 к письму № 2). Как видно из текста письма, Орлов очень скептически относился к проектам своего увлекающегося друга.

[5] Вяземский писал А. И. Тургеневу 27 марта 1820 г. о пережитых им волнениях в связи со слухами, распространившимися в Варшаве о мнимой смерти Орлова («Ост. архив», т. II, стр. 32).

[6] О С. И. Тургеневе см. прим. 4 к письму № 3.

5

⟨Киев. 23 июня 1820 г.⟩

Мне сказали, любезный Асмодей, что ты в Петербурге. Пишу к тебе, чтоб тебя уведомить о письмах моих, на коих не имею никакого ответа. Я писал тебе чрез Скибицкого. Пожалуй, уведомь, получил ли сие письмо. Я писал тебе также ответ на твою надгробную речь. Но сего последнего ты получить еще не мог, ибо я недавно адресовал его в Варшаву[1]. Пожалуй, перепишись, чтобы оно было к тебе доставлено. Мне бы весьма было неприятно, ежели б оное письмо попалось в чужие руки.

Я еду, любезный друг, в дальный край, за тридесятое царство и отдаляюсь от центра России с некоторым печальным духом, которого сам себе пояснить не могу. Хотя мое желание исполнилось, хотя я чувствовал бы себя обиженным, ежелиб правительство не дало мне сего знака доверия, однако же я не могу без горести переселиться среди молдаван и греков, коих ни язык, ни образ мыслей, ни намерения, ни желания не могут согласоваться с моими чувствами. Я чувствую себя изгнанником. Я вне круга моего, я брошен без компаса на неизвестное море и отдаляюсь от отечества, не зная, когда в оное возвращусь, ибо мое намерение есть приковать себя к новой моей должности так, как прикован был к старой[2]. Пожалей обо мне, ты, который в пустыне варшавской, где никакое эхо не отвечает сердцу твоему, можешь чувствовать то, что я чувствую, и, следственно, понимать мои изречения. Но ты, по крайней мере, в сношении с кипящей Европою, ты живешь на краю рабства и, так сказать, отворив окошко, можешь набираться вольным и свежим воздухом, а я напротив того, буду приперт к Азии, отдален от белого света, и принужден жить посреди низкого народа, коего и предрассудки мне неизвестны и не любопытны. Жребий мой не слишком завиден, хотя многие может быть и завидуют. Какая бы разница, ежели б я получил дивизию в Нижнем Новгороде или в Ярославле. Я был бы как рыба в воде. Но что делать? Должно решиться, и я возьмусь за гуж от всех сил сердца и рассудка.

Вот тебе письмо вроде посланий покойного Иеремия, пророка блаженной памяти и меланхолического свойства. Этот вздор может позабавить тебя на некоторое время и я получу от тебя в отраду несколько строчек, коими буду любоваться в уединении. Пиши ко мне, любезный друг, твои и бранные письма для меня приятны. Я на каждом слове останавливаюсь и вижу, что ты любишь меня и Россию. Сие радует сердце мое и дает мне надежду на будущее.

Прощай. Твой верный Р е й н

Сего 23-го июня 1820.
Киев.

[1] «Ответ на надгробную речь»—предыдущее письмо.

[2] Орлов получил в это время, благодаря содействию своего друга П. Д. Киселева, начальника штаба 2-й Армии, командование 16-й пехотной дивизией этой армии, стоявшей в Кишиневе.

6

⟨Кишинев. 15 октября 1820 г.⟩

Любезный Асмодей, виноватого бог простит. Получил твое письмо с приложениями[1]. Покорнейше благодарю за послание и за посылку. Я с удовольствием прочитал речь государеву[2]. Трудно было говорить Европе в нынешних обстоятельствах. Я говорю Европе, а не Польше, ибо точно сия речь более касается общих политических дел, нежели частных польских. Что ж до речи господина Мостовского[3], то это другое дело. Выработанные речения не скрывают от проницательности опытных глаз недостаток существенных мыслей. Я в первый раз читал речь депутатам нации, в которой говорят о частной выправке солдат,

О

ГОСУДАРСТВЕННОМЪ

КРЕДИТЪ.

Сочиненіе

писанное въ началѣ 1832-го года.

МОСКВА.

въ типографіи августа семена,
при Императорской Медико-Хирургической Академіи.

1833.

КНИГА М. Ф. ОРЛОВА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕДИТЕ». ЭКЗЕМПЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ, 1833

«Его сиятельству милостивому государю князю Петру Андреевичу Вяземскому от сочинителя М. Орлова в знак дружбы и уважения»

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

о рекрутской школе и о палатках, в которой министр возвещает народу, что он пользуется всеми правами конституции, то, что не время вводить ни вольного книгопечатания, ни суда присяжных, ни даже рассуждения о бюджете. Вот, однако же, весь смысл сей речи, в которой, впрочем, много есть блестящих выражений и французского мишурного витийства.

Мы здесь смирно живем, то есть не я, а все другие. Что ж касается до меня, то я проехал уже 600 верст верхом и сажусь еще на коня, чтоб проехать снова 800. Объезжаю всю границу, мне поверенную, и после только моего возвращения отдохну немного. Моя жизнь, друг мой, мне нравится, хотя она и не весьма приятна с первого взгляда. Много занятий, много трудов, много движения. А это мне и нужно. Дни молодости улетели безвозвратно. Я об них не жалею. Дни старости только бы не так скоро явились. Против дряхлости я вооружен умеренностию, спокойствием духа и самими моими занятиями.

Прощай, любезный Асмодей, извини мое краткое письмо, но ей-ей нет времени. Пиши ко мне. Вот мой адрес:

Е⟨го⟩ п⟨—ву⟩ м. г. М⟨ихаилу⟩ Федор⟨овичу⟩ Орлову. Командиру 16-й пехотной дивизии в г. Кишиневе в Бессарабии. Прощай, твой друг

Орлов

Сего 15-го октября 1820.
Кишинев.

P. S. Я получил также и первое твое письмо[4], но на то нет времени отвечать.

[1] Упомянутое письмо Вяземского не дошло до нас.

[2] Имеется в виду выступление Александра I на открытии 2-го польского Сейма в Варшаве 1/13 сентября 1820 г. Речь эта была переведена Вяземским с французского на русский язык (текст ее в переводе Вяземского напечатан в «Ост. архиве», т. II, стр. 411—414).

[3] Тадеуш Антоний Мостовский, гр. (1766—1842) — министр внутренних дел и полиции в княжестве Варшавском (1812—1815) и в Царстве Польском (1815—1825), а затем сенатор. Его речь, произнесенная 1/13 сентября 1820 г. на Сейме, была напечатана в петербургском журнале «Le Conservateur impartial», 1820, № 76.

[4] Это письмо Вяземского также не дошло до нас.

7

⟨Москва. Январь 1821 г.⟩

Любезный Асмодей, твоя Вера Асмодеевна приняла меня как родного брата, и насильно заставила писать к тебе письмо. Я приехал в Москву на 8 дней. Тебя не увижу, ибо возвращаюсь в свое степное уединение. На крае света занят теми же мыслями и томлюсь тою же грустию, как и в самом отечестве. Тебе то и другое известно. Прощай, любезный друг, на досуге напишу длинное письмо. Теперь обращаюсь по необходимости к скромному молчанию.

Твой друг Рейн

Это письмо, вероятно, было написано в январе 1821 г., когда Орлов приезжал в Москву на съезд Союза Благоденствия. Действительно, Орлов пробыл в Москве всего несколько дней и уехал в Киев (М. О. Гершензон. История молодой России. М. — Пг., 1923, стр. 33).

8

⟨Одесса. 9 сентября 1821 г.⟩

Любезный друг, твое письмо меня обрадовало чрезвычайно, ибо известия, дошедшие до нас, представили твои обстоятельства гораздо в худшем виде. Нам писали, что ты выключен из службы, а не сам ее оставил, что тебе запрещен въезд в обе столицы, а не в одну только Варшаву, и что, наконец, тебе приказано два года прожить в одной деревне. Я, признаюсь, не мог сообразить столь строгого наказания с обыкновенным действием нашего правительства, которое до сих пор в подобных случаях

избегало излишних гонений. Теперь я ясно вижу, что все сие произошло от одних только личностей[1].

Скажи мне, зачем ты оставил службу? Ежели к тому ты убежден был собственными твоими делами, то нет слова: ты хорошо сделал; но ежели ты изволил разгневаться и, желая еще служить, оставил службу, то это непростительно. Или ты был полезен или нет. В первом случае должно было остаться и продолжать быть полезным, или изыскать новое средство подвизаться на новую пользу. Во втором случае надобно было давно оставить мундир в строгом смысле философическом. Вспомни, кому ты служишь? Отечеству. Оно тебя не отвергало и не отвергнет. Что касается до частных неприятностей от начальствующих лиц, то кто оных не имел? Сколько полезных людей было выгнано из молдавской армии при Каменском?[2] Сии же самые люди дослужились до важных мест, невзирая на сию неудачу, и, оставшись при делах, дошли до управления важными частями оных.

Впрочем, я совсем не понимаю твоих преступлений. Ежели ты страдаешь за то, что предпочитаешь логику Мануэля[3] софизмам Вилеля[4] и Корбьера[5], то твое несчастие может завлечь тьму людей и меня первого. Я думал, что время гонения за политический образ мыслей прошло и что в нынешнем веке можно предпочитать с равной безопасностию Фокса[6] — Питу[7] и Фенелона[8] — Боссюэту[9]. Неужели я ошибался? Буду осторожнее.— За то ли, что уехал, не представившись его высочеству? Это ты дурно сделал, но я полагаю, что простое замечание более бы подействовало на тебя, чем строгое взыскание? Других причин в письме Новосильцова я не вижу. Впрочем, чтоб судить о сем, надобно знать все подробности твоего дела, а я оных не знаю. Что ты не унываешь, в сем я уверен сам по себе и тебе не нужно меня о том уверять. Желал бы только, чтоб ты употребил с пользою трудное нынешнее твое существование. Вооружись пером и сядь за работу. Судя по тому, как ты написал жизнь Озерова[10], я уверен, что ты можешь сделать оборот в прозе нашей и дать ей более точности и остроты. Займися прозою, вот чего не достает у нас. Стихов уже довольно, особливо что называется у французов *Poêsies lêgères**. Пора предпринимать образование словесности нашей в большом виде, в философическом смысле, строгими сочинениями или полезными переводами. Вот поприще, открытое пред тобою. Цензура не всегда будет препятствием. Она теперь так глупа, что само правительство скоро принуждено будет сокрушить собственное свое орудие. Впрочем, сочинение твое может ждать удобнейшего случая несколько лет. Это не беда. Ежели будешь работать истинно для пользы, то твое сочинение не умрет и переживет и Зона[11], и Тимковского[12], и всю собратию цензурных гасителей. Ежели ты примешь мой совет, то напиши, какой изберешь предмет. Я сочинением твоим буду весьма заниматься, ибо по всем дошедшим до меня слухам твой ум совершенно созрел и ты готов к обработанию важнейших политических предметов.— Подумай хорошенько о сем моем предложении и будь уверен, что найдется много людей, которые будут уметь ценить твои труды и не оставят имени твоего без прославления[13].

Вот уже целый месяц нет никаких известий. В Царь-Граде все смирно. В Морее и Архипелаге греки владычествуют. О прошедшем не пишу, ибо почитаю, что все уже известно.

Прощай, любезный друг. Повинуйся моим советам и иди по такой стезе, где личности не могут тебе прекратить путь к *пользе и славе*.

Твой друг М. Орлов-Рейн

Сего 9 сентября 1821.
Одесса.

P. S. Пиши в Кишинев.

---

* легкой поэзией (франц.).

Летом 1821 г., находясь в Москве в отпуску, Вяземский получил от своего начальника, полномочного делегата при Правительствующем совете Царства Польского, Н. Н. Новосильцова извещение о приказе Александра I, воспрещавшем ему возвращаться в Варшаву. Оппозиционные настроения Вяземского были хорошо известны правительству, так как письма его подвергались перлюстрации. В. к. Константин жаловался царю на Вяземского, говоря, что тот держится «принципов, несогласных с видами правительства» (Полн. собр. соч. Вяземского, т. II. СПб., 1879, стр. XVIII; ср. статью Н. Кутанова <С. Н. Дурылина> «Декабрист без декабря». — «Декабристы и их время», II, стр. 206—213).

[2] Николай Михайлович Каменский, гр. (1778—1811) — генерал от инфантерии, в 1810 г. — главнокомандующий Молдавской армией.

[3] О Мануэле см. стр. 200 настоящего тома.

[4] Жозеф Виллель (1773—1854) — французский политический деятель, сторонник абсолютизма, в 1821 г. — глава кабинета министров.

[5] Жак Жозеф Корбьер (1767—1853) — французский государственный деятель, крайний роялист. Особенно сильно проявилась его реакционная деятельность в 20-х годах, когда он занимал ряд министерских постов, в частности пост министра внутренних дел (в 1821 г.).

[6] Чарльз Джемс Фокс (1749—1806) — английский политический деятель, представитель оппозиции в английском парламенте.

[7] Вильям Питт, младший (1759—1805) — английский политический деятель, член Палаты общин, глава кабинета, боровшегося с Наполеоном.

[8] Франсуа Фенелон (1651—1715) — французский писатель, автор «Похождений Телемака, сына Улисса».

[9] Жак Бенин Боссюэ (1627—1704) — французский писатель, историк, епископ. Идеолог католической реакции и абсолютизма. Крайне реакционная система его политических взглядов и философия истории изложены в «Политике, основанной на священном писании» и в «Рассуждении о всемирной истории».

[10] Речь идет о работе Вяземского «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» (СПб., 1817). Статья эта приложена к первому изд. сочинений Озерова (см. Полн. собр. соч. Вяземского, т. I, стр. 24—60).

[11] Зон — чиновник Особенной канцелярии Министерства внутренних дел, ведавший театральной цензурой.

[12] Иван Осипович Тимковский (1768—1837) — петербургский цензор (1804—1821).

[13] Вяземский отвечал Орлову 10 ноября 1821 г. из Остафьева: «... Ты спрашиваешь, отчего я пошел в отставку и приводишь мне в пример изгнанных из Молдавской армии. Но не сказано ли им было, что они из армии удаляются для того, что главнокомандующий не может ужиться с ними? В таком случае они хорошо сделали, что в службе остались, ибо служили не Каменскому. И мне, если было бы сказано, что я при варшавском месте оставаться не могу, потому что не нравлюсь которому-нибудь из вышних лиц, которые, разумеется, нужнее меня правительству, то, повинуясь без ропота приказанию, уважил бы его справедливость и право. Но если удаленным сказано было официально, что они неспособны к полевой службе, что присутствие их в армии не только бесполезно, но и вредно, то, по-моему, не хорошо они сделали, что, воротившись с носом, пошли совать его в другие места в ожидании будущих щелчков.

Мне объявлено, что мой *образ мыслей и поведения* противен духу правительства, и в силу сего запрещают мне въезд в город, куда я добровольно просился на службу. Предлагая услуги свои в другом месте и тому же правительству, которое огласило меня отступником и почти противником своим, даюсь некоторым образом под расписку, что вперед не буду *мыслить и поступать по-старому.*

Служба отечеству, конечно, священное дело, но не надобно пускаться в излишние отвлеченности; между нами и отечеством есть *лица*, как между смертными и богом — папы и попы. Веруй в бога и служи ему дома как хочешь, но при людях у одних целуй туфлю, а у других руки, которые иногда и туфли грязнее. Вот оправдание. Теперь приступлю к объяснениям и пополнениям. Я и до опалы хотел идти в отставку, не умея ужиться не с начальствами, а со службою. Мне и самому казалось неприличным быть в глубине совести своей в открытой противоположности со всеми действиями правительства; а с другой стороны, унизительно быть хотя и ничтожным орудием его (то есть не делающим зла), но все-таки спицею в колесе, которое, по-моему, вертится наоборот.

Я не рожден действовать сам собою и уметь приносить пользу личную в общем беспорядке. Я сравниваю себя с термометром, который не дает ни холода, ни тепла, но живее и скорее всего чувствует перемены в атмосфере и умеет показывать верно ее изменения. При других обстоятельствах и я мог бы быть полезен, но там, где жарят или знобят наудачу, где никаким признакам не верят, никаких указателей не требуют, там я вещь лишняя и лучше мне лежать заброшенным в углу, чем висеть чинно на стене и давать крови своей, подобно ртути, то опускающейся, то стремящейся вверх, поочередно кипеть от негодования или остывать от уныния. Мое намерение и

М. Ф. и Е. Н. ОРЛОВЫ

Рисунок А. С. Пушкина в альбоме Е. Н. Ушаковой, 1829 г.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

прежнее было заглянуть к себе в деревню, устроить свои дела, а потом ехать в чужие края и прошататься, пока не стоскуется по домашнем хлебе или обстоятельства не потребуют, чтобы каждый гражданин стоял на часах на своем месте <...>

Занимаюсь по просьбе одного петербургского общества известием о жизни и стихотворениях Дмитриева. Если ты был доволен моим Озеровым, то надеюсь, что еще будешь довольнее моим Дмитриевым. Я на просторе и на досуге развернулся, многого не договорил, на иное намекнул. Недели через две, кажется, должен отделаться. А там мне самому хотелось бы себе для постоянной работы задать перевод полезного сочинения. На нем сел бы я на год или на два и мог бы еще наездничать по сторонам. Присоветуй мне, какую перевесть бы книгу. Может быть, я решусь с легкой твоей руки. Ты прав, пора словесности нашей приняться за дело и бросить игрушки. Вот что говорю в своем *Известии*: „Желательно, чтобы данный им пример (в *Ермаке* и *Освобождении Москвы*) — почерпать вдохновение поэтическое в источнике истории народной,— увлек за собою более подражателей. Источник сей ныне расчищен рукою искусною и в недрах своих содержит все то, что может вдохнуть жизнь истинную и возвышенную в поэзию; пора вывести ее из тесного круга общежительных удовольствий и вознести на степень высокую, которую она занимала в древности, когда поучала народы и воспламеняла их к мужеству и добродетелям государственным“. M-me Staël говорит dans ses Dix années d'exil, que les auteurs russes ont composé jusqu'à ce temps du bout des lévres*.

Далее продолжаю, приведя это замечание: „постараемся избегнуть сего справедливого упрека и пусть поэзия, мужая вместе с веком, отстает от ребяческих игр, украшающих цветами ее продолжительное отрочество“.

Это все хорошо желать, но в исполнении встречается точка с запятою, то есть: Министерство просвещения и Тимковский. Дай нам не полную, но умеренную свободу печатания, сними с мысли алжирские цепи — и в год словесность наша преобразуется Все, что плывет теперь на поверхности, поглотится пучиною, а сокровенное всплывет на воду. Ты не знаешь, до какой степени ценсура наша давит все то, что не словарь, а подобие мысли. Некоторые примеры ее строгости и нелепости уморили бы со смеху

* Мадам Сталь говорит в книге «Десять лет изгнания», что русские писатели до сих пор сочиняли все по принуждению (франц.).

Европу. Как посмотришь на то, что печаталось при Екатерине, даже при Павле, и то, что теперь вымарывается из сочинений! У меня есть перевод всей польской конституции, хартии и образовательных уставов. Хочу испытать, допустят ли до печати. Такой перевод мог бы любопытен быть у нас и со стороны занимательности политической и опыта языка нашего в новом роде» (Полн. собр. соч. Вяземского, т. II. СПб., 1879, стр. 108—110).

9

‹Кишинев. 25 ноября 1821 г.›

Ты, я думаю, чрезвычайно сетуешь на меня, что давно к тебе не писал. Любезный друг, я так обременен разного рода делами, что не имею ни времени, ни охоты переписываться с самыми любезнейшими из моих приятелей, в числе коих и ты, конечно, помещен. Притом скажу, что с тобою привык говорить искренно, а почта искренности не терпит. Самые позволительные сетования на ход дел нынешнего времени могут истолкованы быть в худую сторону. Я сие испытал собственным опытом. Не знаю, кто мой инквизитор, но полагаю, что есть охотник к сему почтенному ремеслу, и потому закуси язык. Сижу в безмолвии и не смею поверить непросвещенным цензорам те мысли, кои без страха и без всякого взыскания мог бы объявить самому начальству. Тут-то и вся беда. Донесения частных и подлых шпионов всегда более или менее позлащены клеветою. Их выгода явственна. От них требуются известия, и они места свои потеряли бы, ежели б не доставляли каких-нибудь донесений. Оттого без всякого разбора помещают в оных все свои умствования, ложные и не ложные, употребляют клевету, марают людей невинных, толкуют во зло все их мысли, стращают начальство и приготовляют его к несправедливости. Мои письма подлежат, вероятно, также их критике. Кто из них довольно чист душою, чтоб видеть во мне гражданина, а не вздорного болтуна? Они сами так подлы и так привыкли к подлостям всякого рода, что все деяния, все слова, все мысли, кои не походят на их дела, на их клеветы, на их соображения, должны казаться им буйственными. Ежели им угодно, пусть прочитают сие письмо. Оно послужит им, может быть, уроком, ежели какие-нибудь уроки могут действовать на их сердце и ум.

Ты мне пишешь, мой друг, чтоб я тебя сблизил с Мамоновым[1]. Я бы весьма желал сего, но как приступиться к неприступному? Расстроенное его здоровье не позволяет ему выезжать. К себе никого не принимает и положил это правилом. Кроме меня никто его не видал уже несколько лет. Впрочем, постараюсь исполнить твое желание и для тебя и для него. Вы, познакомясь поближе, будете любить друг друга, ибо и он почтенный человек во многих отношениях. Я давно от него писем не имел, а теперь пишу чрез тебя. Ты сам письмо не отвози, а пошли чрез человека, и ожидай его разрешения.

Башмаки получил[2]. Что я ‹тебе›* за них должен? Жена тебе кланяется ‹и› * знакомится с твоей женой. Ты, когда узнаешь ее, полюбишь, ибо она достойная женщина во всех отношениях. Прощай, мой друг.

Твой истинный друг
Михаил Орлов

Сего 25 ноября 1821,
Кишинев.

P. S. Я видел Дашкова и Сергея Тургенева в Одессе и очень им порадовался[3]. У нас все на военной ноге, а за границею на разбойничьей. Когда позволят зарядить ружья, не знаю, а кажется время прибли-

* Здесь автограф поврежден.— *Ред.*

жается, где после семилетнего спокойствия начнется час испытания военного[4].

Прощай.

Приложенные письма перешли.

[1] Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов (1790—1863) — друг Орлова, участник Отечественной войны 1812 г. член Союза Благоденствия. Отошел от дел в 1817 г. вследствие душевного заболевания. В 1825 г., после восстания декабристов, его бумаги были на просмотре у правительства. Среди них был найден проект республиканской конституции (см. о нем также прим. 3 к письму № 4 и стр. 14).

[2] В письме от 28 февраля 1821 г. Орлов, уведомляя Вяземского о своей женитьбе, просил выслать ему несколько дюжин дамских башмаков (письмо это не публикуется нами).

[3] О Д. В. Дашкове и С. И. Тургеневе см. письмо № 3 и прим. 3 и 4 к нему.

[4] Орлов, очевидно, имеет в виду обострившиеся отношения России с Турцией. 29 июня 1821 г. русское посольство выехало из Константинополя.

10

〈Киев. 9 ноября 1822 г.〉

Любезный друг, письмо твое с изображением прелестной твоей хари я получил исправно и спешу тебе отвечать[1]. Ждал тебя в Крыму, в Одессе, во всей южной России, а ты рыскал по северу. Надеюсь, что, по крайней мере, успею тебя захватить в Москве, когда нынешний год туда явлюсь. Между тем посылаю жене твоей, у коей целую ручку, несколько банок варенья киевского, уплачивая тем старый мой долг и замазывая тебе сахаром рот за все твои упреки.

При сем следует также большое письмо от Пушкина, разбраненного тобою[2]. Я не знаю, что он к тебе пишет, но этот молодой человек сделает много чести русской словесности. «Кавказский пленник» в некоторых местах прелестен, и хотя последние стихи похожи несколько на сочинение поэта-лауреата (lauréat), можно их простить за красоты общего[3].

Дело мое идет и продолжается[4]. Чужие краи и отечество полнилось странными слухами, и посреди общего вранья трудно постичь настоящий ход дела[5]. Об оном я распространяться не буду, но вообрази себе собрание глупой черни, смотрящей на воздушный шар. Одни говорят — это черт летит, другие — это явление в небе, третьи — чудеса и пр. и пр. Спускается балон, — и что ж? Холстина, надутая газом. Вот все мое дело. Когда шар спустится — вы сами удивитесь, что так много обо мне говорили. Впрочем, все сие дело меня крепко ожесточило и тронуло до крайности. Ежели я достиг равнодушия, то чрез сильную борьбу. Теперь я спокоен и надеюсь, что те, кои с первого маха хотели меня сбить с ног, ушиблись сами о меня и кусают себе пальцы.

Прощай, любезный Асмодей, до свидания.

Орлов

P. S. По поверке нашлось, что сахарной замазки не посылаю на сей раз, но пошлю на будущий. Прощай.

Сего 9-го ноября 1822.
Киев.

Это письмо впервые было опубликовано (не совсем точно) П. П. Вяземским в статье «А. С. Пушкин 1816—1825 по документам Остафьевского архива». — «Берег», 1880, № 74, от 6 июня; отд. отт.: СПб., 1880, стр. 53—55.

[1] Упомянутое письмо Вяземского не дошло до нас.

[2] Письмо Пушкина к Вяземскому не сохранилось.

[3] «Кавказский пленник» был в это время новинкой: он вышел в свет между 25 августа и 2 сентября 1822 г. (М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951, стр. 352).— *Поэт-лауреат* — английский поэт-романтик Роберт Соути (1774—1843).

[4] «Дело» Орлова — предание его суду за бунт в Камчатском полку. См. об этом публикацию М. К. Азадовского «Воспоминания В. Ф. Раевского» (стр. 118 настоящего тома) и сообщение С. С. Волка и П. В. Виноградова «Два приказа М. Ф. Орлова по 16-й дивизии (1820—1821)» (стр. 8).

[5] 14 августа 1822 г. во французской газете «Constitutionnel» появилась статья «О возмущении солдат 16-й пехотной дивизии и о мятежном духе во всех полках корпуса генерала Сабанеева» (ЦГИА, ф. № 109, 1 эксп., д. 61, ч. 177, л. 71'.

11

〈Москва. 20 июня 1826 г.〉

Любезный друг, знаю всю твою дружбу и умею ее ценить. И брат в Петербурге и жена в Москве доказывают на тебя как ты благородно чувствуешь, как ты берешь участие в друзьях твоих, как ты стоишь грудью за них и как ты не отходишь в несчастии от тех, которых в счастии любил. Прийми, любезный друг, истинное изъяснение моей дружбы и моей благодарности за то, что во все мое отсутствие ты и жена твоя ни на минуту не оставляли мою жену без утешений. Бог вам за это заплатит когда-нибудь, а я, мой друг, с чувством нежнейшей дружбы прижимаю тебя к сердцу моему.

Я сейчас еду в деревню, и это письмо отдано будет тебе твоей женою при твоем возвращении.

Прощай, друг мой.

Михаил Орлов

Сего 20-го июня 1826.
Москва.

Написано после освобождения Орлова из Петропавловской крепости, где он находился в заключении по делу декабристов с 29 декабря 1825 г. по 16 июня 1826 г.

Благодаря заступничеству его брата, генерал-адъютанта А. Ф. Орлова, человека, близко стоявшего к Николаю I, М. Ф. Орлов отделался только исключением из службы и высылкой в имение Милятино Масальского уезда Калужской губ. В Москве он был проездом.

12

〈Е. Н. ОРЛОВА — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ〉 *

〈Милятино.〉 26 января 1827 г.

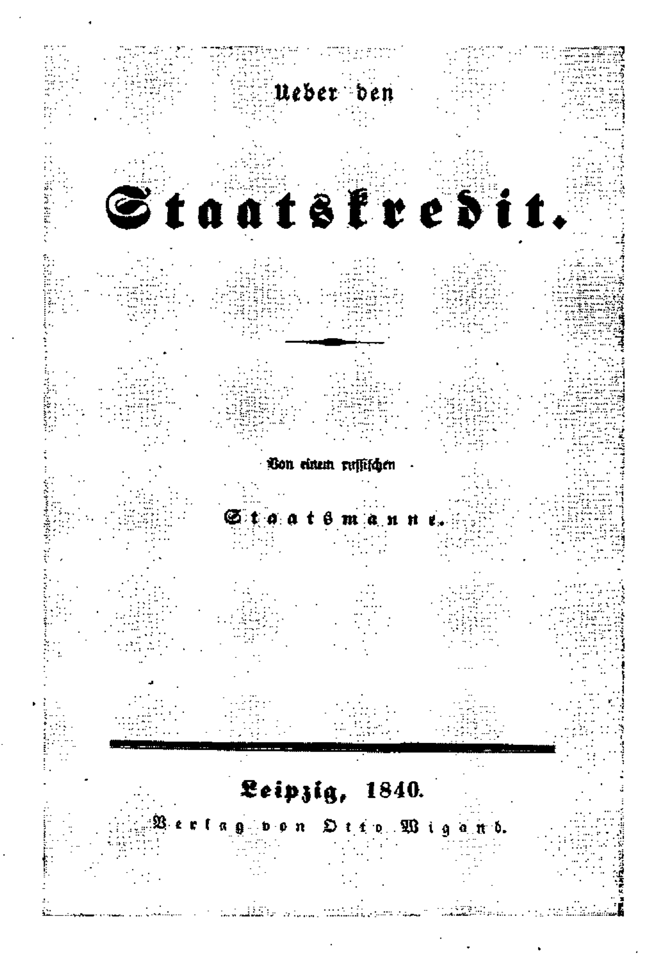
Милый друг, Панин, податель этого письма[1], вручит Вам две хрустальных шкатулки для медали Байрона; посылаю их Вам, чтобы доказать Вашему мужу, что я занималась его интересами, а задержал медаль мой господин и повелитель для того, чтобы иметь формы. Если шкатулки не подойдут, надо мне заказать другие[2]. П〈анин〉 передаст Вам также две хрустальных шкатулки для драгоценностей; посмотрите, подойдут ли они Вам. Дорогой друг, постарайтесь достать мне белого бархату для вышивки; посылаю Вам все деньги, которые у меня есть, и прошу Вас купить мне шерсти оттенков пунцового мака у голландского еврея, который никогда не продает в кредит. Я хотела бы еще несколько оттенков синих. Купите мне еще 8 арш〈ин〉 тюля, немного шире, чем приложенный здесь, с краями или без них.

«Телеграф» получен, прочитан, обсужден, прокомментирован и в общем довольно хорошо принят милятинскими аристархами, но письмо из Дрездена[3], но увы, даже ошибочное употребление слов не ускользнуло от их критики. Предоставляю Михаилу заботу развернуть все это.

До свидания, дорогие друзья, да пошлет вам бог мир и довольствие, которое превосходит богатство

* Перевод с французского.

АНОНИМНОЕ НЕМЕЦКОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ М. Ф. ОРЛОВА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕДИТЕ», ЛЕЙПЦИГ, 1840 г.
Титульный лист


Ueber den

Staatskredit.

Von einem russischen

Staatsmanne.

Leipzig, 1840.

Verlag von Otto Wigand.

⟨ОРЛОВ — ВЯЗЕМСКОМУ⟩

С «Телеграфом» тебя поздравляю. Ежели он далек еще от хорошего журнала в строгом смысле, по крайней мере, он лучше всех прочих. Полевому принадлежит честь редакции, но вижу по всему, что благонамеренность принадлежит тебе и твоему влиянию. Перевод отрывка Сея прекрасен[4]. Журналистика очень мила; разбор библиографический очень хорош. И правду сказать, там говорено то, о чем я всякий раз, как читал журналы, гневался. Азбука — не книга, а географии наши едва не много выше правил Недоросля насчет географии[5]. Твои рассуждения о словах также хороши, только то, что тебе сперва говорил, то и теперь скажу[6]. A force de vouloir bien dire vous êtes un peu abstrait*. Иногда надобно два раза читать, чтоб понять, а когда поймешь, то мысль по нутру.

Прощай, любезный друг, целую тебя в курносый твой нос.

Скажи добрейшей княгине, что я теперь счастлив в любви, как и в дружбе. У меня появился маленький друг и большой друг, то есть маленькое сито и большое сито, через которые я просеиваю. Это не мой каламбур, а Робера Гискара, или Робера химика, или Робера храброго, или Робера горбатого[7].

---

* Из желания лучше выразиться, ты впадаешь в абстракцию (франц.).

** *Слова, заключенные в звездочки, написаны по-французски.*

⟨*Рукой Е. Н. Орловой:*⟩

Я послала Д. Давыдову наш пробный слепок с медалей.

В архиве Вяземских сохранились еще письма М. Ф. и Е. Н. Орловых к В. Ф. Вяземской, характеризующие их литературные интересы. Приводим из них выдержки:

⟨*Рукой Е. Н. Орловой:*⟩

⟨Милятино.⟩ 9 февраля 1827 г.

«... Читали ли Вы в „Сыне отечества", кажется, очень оригинальное произведение, названное драматической поэмой — „Ижорский" ⟨В. К. Кюхельбекера⟩? Прошу извинить меня, если я иного мнения, чем Вы, но я нахожу это чудесным. Что говорит Ваш муж? Я бы охотно взяла его своим оракулом в литературе. Русская песня напоминает мне Дельвига, не он ли автор этих стихов?

Посылаю Вашему мужу медаль Байрона, чтобы утешить его за то, что его медаль все еще у Михаила...».

⟨*Рукой М. Ф. Орлова:*⟩

«... Я задерживаю Байрона в медали до тех пор, пока не найду средства инкрустировать его поэтико-хромую фигуру в хрустале столь же чистом, как глубина моего сердца ⟨...⟩

Сцена „Ижорского" прекрасна. Это самое замечательное из всего, что я читал за долгое время. Это покойный г-н Шекспир соблаговолил вдохновить поэта, кто бы он ни был, и если всё остальное будет соответствовать этой сцене, это будет произведение, достойное быть поставленным рядом со „Сном в летнюю ночь" и с „Бурей"...».

(Не издано. Подлинник на франц. яз. — ЦГЛА, ф. № 195, ед. хр. 3402, лл. 1—2).

⟨*Рукой Е. Н. Орловой:*⟩

⟨Милятино.⟩ 12 июня ⟨1827 г.⟩

«... Посылаю вам Байронов и Тальма; вскоре у нас будут более совершенные, которые мы разделим...».

⟨*Рукой М. Ф. Орлова:*⟩

«Посылаю вам двух Байронов и двух Тальма. Один из Байронов и один из Тальма — для Пушкина. Другой для вас ⟨...⟩

Прошу Вас передать тому, кто из всех людей Вам наиболее напоминает Байрона, почтительнейшее уважение человека, который хотел бы для увеличения своей мошны делать *стекла* столь же чистые, как его *стихи* *.

Хорошо сказано?

Михаил Орлов

Как могли напечатать в „Телеграфе" статьи по химии без моего позволения?..»

(Не издано. Подлинник на франц. яз. — ЦГЛА, ф. № 195, ед. хр. 3402, лл. 3—4).

[1] Панин — вероятно, Виктор Никитич (1801—1874), в это время дипломат, впоследствии министр юстиции.

[2] В имении Орлова — Милятино — был фарфорово-хрустальный завод. Вследствие конкуренции и неумения вести хозяйственные и торговые дела Орлов понес из-за завода большие убытки. Он постоянно нуждался в деньгах. После смерти Орлова за ним числился долг в 1 200 000 руб. (Гос. Литературный музей, ф. М. Ф. Орлова, шифр 21012 / 124, л. 1 об.).

[3] Речь идет о первом номере «Московского телеграфа» за 1827 г.

«Письмо из Дрездена» — извлечение из письма А. И. Тургенева из Дрездена от 11/26 ⟨!⟩ декабря 1826 г., посвященное европейским книжным новинкам, напечатано с примечаниями Вяземского. — «Московский телеграф», 1827, № 1, стр. 90—98; № 2, стр. 162—165; за подписью Э. А., то есть Эолова арфа — арзамасское прозвище Тургенева.

[4] Орлов имеет в виду перевод статьи Ж.-Б. Сэя «Сущность политической экономии», исполненный Н. А. Полевым.— «Московский телеграф», 1827, № 1, стр. 33—57; № 2, стр. 101—121.

[5] В библиографическом отделе «Московского телеграфа», 1827, № 1, напечатана анонимная рецензия на три книги по географии — Г. Пятунина, В. Запольского и И. Гейма (стр. 80—88).

[6] «Рассуждения о словах» — статья Вяземского «О злоупотреблении слов».— «Московский телеграф», 1827, № 1, стр. 6—23.

Смысл каламбура не удалось установить. — Робер Гискар (ок. 1015—1085) — один из норманских авантюристов, основавших неаполитанское королевство.

* Каламбур, основанный на созвучии слов: стёкла (verres) и стихи (vers) (франц.).—*Ред.*

13

Сего 6-го июня 1827. Милятино

Любезный друг, давно я к тебе не писал и мои письма так малозначущи, что ты о них, вероятно, не очень горюешь. А у меня не только рука не шевелится охотно, но и язык весьма сделался ленивым. Иногда по целым дням не соберусь мысль одну выразить, и так не удивляйся, что и при сей верной оказии мое письмо едва будет значительнее обыкновенных.

Не могу, однако же, не написать несколько слов о «Телеграфе», ибо я знаю, что ты в нем берешь большое участие. При первом взгляде можно увидеть отличительную черту сего журнала от всех прочих, кои печатаются в России. Сии последние суть средства для набивания кармана, а «Телеграф» один имеет цель развития просвещения. Благонамеренность оного во всякой строке оного видна и весьма заметно, что «Телеграф» не есть просто spéculation littéraire*, как пр⟨очие⟩. Но ежели сие удовлетворительно для сердца, надобно еще, чтоб и разум находил вдоволь пищу вместе приятную и полезную.

С этой стороны «Телеграф» не столь удовлетворителен, хотя и более прочих. Во-первых, должно совершенно отстать от браней и колких возражений. Сделав особенное отделение для журналистики, вы сделали большую ошибку, ибо поставили себя в некоторую необходимость ругаться со всеми. Конечно, сия статья часто весьма забавна и привлекает читателей par le scandale**; но и у вас есть много несправедливостей. Например: вы враги «Северной пчелы», а приятели «Инвалиду», не по достоинству сих журналов, но единственно по положению и отношениям вашим с редакторами. Однако ж должно признаться, что в «Северной пчеле» известия приходят скоро и несколько портретов нравов очень удачно отделаны, как Зозо[1] и другие; а в «Инвалиде» первые сочинения это сочинения И. И. Дибича[2], ибо кроме приказов нечего читать. Сверх того, Воейков, будучи в состоянии сделать гораздо лучше, не хочет трудиться и переносит все хорошие статьи в «Славянин», так что часто в «Инвалиде» вопрос, а в «Славянине» ответ, что и доказывает ясно его цель, стремящуюся единственно к принуждению читателей покупать оба журнала для получения целого[3]. Таковой торговый оборот едва ли согласен с совестью. Против оного, однако же, никто не восстает и вы продолжаете браниться с «Пчелой» и дружиться с хромым «Инвалидом».

С другой стороны, периодическая обязанность ругаться с «Пчелой» завлекает вас в изыскания не только дурных толков, пустых сплетней, бессмысленных, слабых или неверных выражений, но делает, что каждая опечатка для вас клад. Из сего выходит часто разбор мелкий и недостойный вашей благонамеренности.

Д. Р. К. заставил меня хохотать и очень много и очень от сердца. Приискано хорошо, и Д. Р. К. одурачен совершенно; но я признаюсь, что таковото рода шутку я бы не снес без нетерпения и ежели б вы не имели дело с «Пчелой» без жала, то я бы побес⟨по⟩коился о тебе[4].

Хочешь ли пример полезного из «Телеграфа»? Я много найду, но в особенности укажу на разбор юридических сочинений. Вот статья полезная и хорошо соображенная[5]. Таким образом должно и другие обрабатывать но придираться к словам тебе совсем не годится.

Еще скажу, что в «Телеграфе» заметно весьма пристрастие не только к романтической литературе, которая, конечно, имеет свое обширное достоинство, но и к романтической туманной философии, к романтическим туманным исследованиям древностей. Поверь, что из числа всех твоих читателей нет десятерых, которые бы прочитали и поняли статью о мифо-

---

* литературное предпринимательство (франц.).

** скандальностью (франц.).

логии северных народов[6]. Это слишком замысловато, не только для России, но для Франции и для Англии; одни только немцы могут дышать в сей атмосфере туманной и отвлеченной, ибо для них одних замысловатость есть гений и предположение—истина. Мы слишком глупы, французы слишком умны, а англичане слишком положительны, чтоб в таковом чтении найти какую-либо прелесть (charme). Надобно, по моему мнению, стараться заменить таковые статьи другими, более положительными и приспособленными к детскому состоянию народного нашего просвещения. Для сего литература Франции (ne vous en déplaise*) более годна нам, чем немецкая.

Вот мои замечания на «Телеграф». Ежели б я был в Москве, ежели б я был свободен жить, где хочу, ежели б не обращали на меня особенного надзора, и я бы сделался твоим сотрудником и я бы счастлив был, ежели б видел хоть один порядочный журнал в отечестве. Постарайся исправить «Телеграф» и придать ему еще несколько более полезности, и я предвещаю, что никто из читающих не будет жить без «Телеграфа». Как ты Пушкина отдал на сожрание Погодину и не причел его к твоим сотрудникам?[7]

Le combat d'Argant et de Tancrède a beaucoup de bon et les vers à Zénèide sont charmants**[8].

Целую чистенькие ручки княгини и твои чернилом замаранные лапы.

Михаил Орлов

[1] Зозо — персонаж морально-нравоучительной статьи Булгарина «Нравы. Рецепт, как разориться из приличия», высмеивавшей великосветских денди («Северная пчела», 1827, №№ 31—32).

[2] Орлов, очевидно, имеет в виду военные приказы, заполнявшие газету «Русский инвалид».

[3] А. Ф. Воейков одновременно редактировал газету «Русский инвалид» (1822—1838) и журнал «Славянин» (1827—1830).

[4] Речь идет о заметке Вяземского «Журналистика», напечатанной в «Московском телеграфе», 1827, № 3 (за подписью: Журнальный сыщик). В ней были такие строки: «Не знаем, правда ли, но нам сказывали, что подписные буквы под письмами на Кавказ: Д. Р. К., не заглавные трех прозваний, как бы то казалось с первого взгляда, а просто три согласные буквы одного названия» ⟨дурак⟩ (стр. 126).

Инициалами «Д. Р. К.» подписывался Н. И. Греч в критических заметках, направленных главным образом против «Московского телеграфа».

[5] Критический разбор девяти русских юридических сочинений, написанный Н. А. Полевым.— «Московский телеграф», 1827, № 4, стр. 309—325; № 5, стр. 62—84 (за подписью: Н. П.).

[6] Орлов имеет в виду перевод исследования Ф.-И. Моне «Историческое обозрение мифологии северных народов Европы».—«Московский телеграф», 1827, № 7, стр. 167—190; № 8, стр. 251—278; № 9, стр. 25—34.

[7] Пушкин был постоянным сотрудником «Московского вестника», издававшегося М. П. Погодиным с января 1827 г.

[8] «Единоборство Арганта с Танкредом» (из шестой песни «Освобожденного Иерусалима») Тассо в переводе С. Е. Раича и стихотворение Пушкина «Княгине З. А. Волконской» были напечатаны в «Московском вестнике», 1827, № 10 (май).

14

Милятино. Сего 18 февраля 1828

Любезный друг, у меня дом переделывают и все книги в ящиках. Я буду разбирать библиотеку не прежде двух недель и тогда не забуду прислать «Мельмота»[1]. Поздравляю тебя с свадьбою Карамзиной Катерины Михайловны[2]. Мать ее[3] должна быть весьма рада, а все, что веселит и радует почтенных людей, мне знакомых, радует и веселит меня.

---

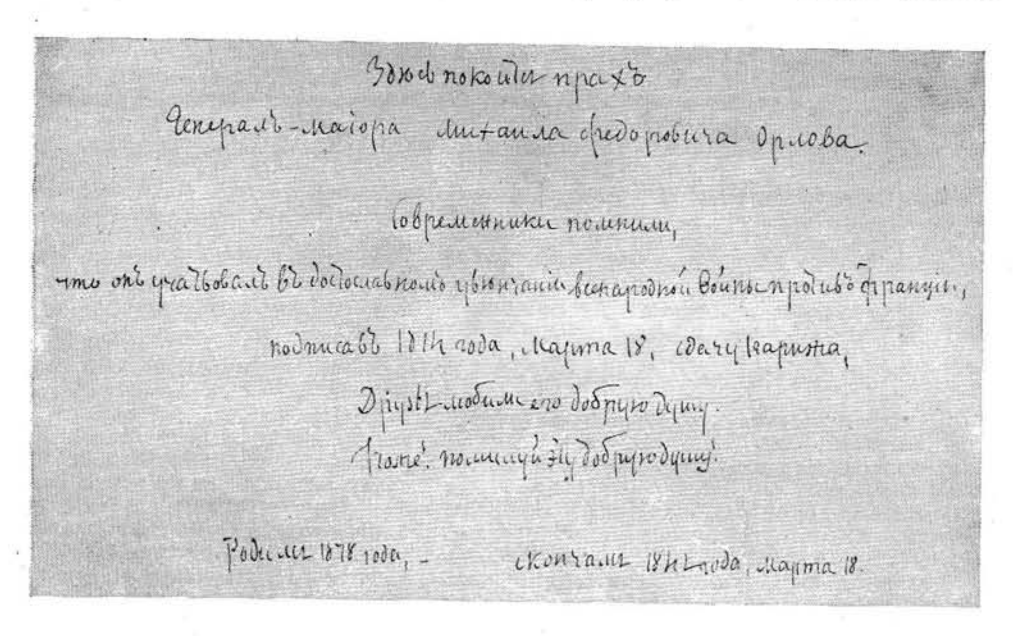
* не обижайтесь (франц.).

** В единоборстве Арганта с Танкредом много хорошего, а стихи Зинаиде прелестны (франц.).

Поздравляю также тебя с первым нумером «Телеграфа», в нем есть опыт романа вроде W. Scott*, и мне подражание показалось весьма удачно[4]. Что же касается до «Гайдамака»[5], то не столько понравился. Мало живости и все автор на сцене.

В моем положении никакой перемены нет, кроме того, что я с женою расстался на 5-ть месяцев, что меня довольно огорчило. Свидание мое с братом по всем прочим сторонам меня совершенно успокоило. Я с ним виделся в Твери, куда ездил на несколько часов[6].

Как хорош «Граф Нулин»![7] Только жаль, что по вступлению я думал, что жена — старуха, и после только увидел, что она молода и хороша


Здѣсь покоится прахъ
Генералъ-маіора Михаила Федоровича Орлова.

Современники помнили,
что онъ участвовалъ въ достославномъ увѣнчаніи всенародной войны противъ Франціи,
подписавъ 1814 года, Марта 18, сдачу Парижа,
Друзья любили его добрую душу.
Боже! помилуй эту добрую душу.

Родился 1878 года, — скончался 1842 года, Марта 18.

ЭПИТАФИЯ М. Ф. ОРЛОВУ. НАПИСАНА РУКОЮ П. Я. ЧААДАЕВА, 1842 г.
В дате рождения Орлова описка — нужно: «1788»
Литературный музей, Москва

собою. Молодые женщины нашего времени и в деревне не встают с постеле, когда мужья их едут на охоту, с восходом солнца.

Мы можем, если хочешь, снова начать нашу переписку, попрежнему и судить и рядить литературные дела. Что делает твоя супруга? Каково она переносит свое произвольное изгнание из столицы? Я к ней скоро буду писать и приберегу все старые мои шутки, которые, по милости ее, у ней одной еще в моде.

Прощай, любезный друг, я тебя душевно люблю и в глаза и за глаза. Люби меня и не забывай.

Твой друг Михаил Орлов

1 «Мельмот» — роман «Мельмот-скиталец» (1820) ирландского писателя Шарля Роберта Матюрена (1782—1824).

18 марта 1828 г. Орлов писал В. Ф. Вяземской:

«...Я наконец нашел том „Мельмота". Посылаю его Вам. Это чудо, что мне удалось его поймать, и возможно, что это объясняется его дьявольской природой.

Как Вы находите этот шедевр по таланту и по дерзости? Ему не достает только оказаться Гёте, чтобы заставить всю Германию поверить в привидения и всерьез. Это —

* В. Скотта (англ.).

эпиграммка против литературных мнений Вашего мужа. Вы можете передать ее ему под Вашим именем...» (Не издано. Подлинник на франц. яз.— ЦГЛА, ф. № 195, ед. хр. 3402, л. 6 об.).

[2] У Орлова описка. Речь идет о Екатерине Николаевне Карамзиной (1805—1867) — дочери Н. М. Карамзина, вышедшей 27 апреля 1828 г. за П. И. Мещерского.

[3] Екатерина Андреевна Карамзина (1780—1851) — вдова историографа, сестра Вяземского по отцу.

[4] В «Московском телеграфе», 1828, №№ 1—3 (январь—февраль) печатался исторический роман Н. А. Полевого «Симеон Кирдяпа» (за подписью: Н. П.). Вероятно, именно это произведение Орлов назвал «опытом романа вроде W. Scott».

[5] «Гайдамак. Малороссийская быль» О. М. Сомова, напечатанная в «Невском альманахе на 1827 год» (стр. 242—286; за подписью: Порфирий Байский).

Вяземский одобрительно отозвался о ней в рецензии на «Невский альманах» («Московский телеграф», 1827, № 3, стр. 249—250; за подписью: Ас. Б.).

[6] 2 октября 1827 г. Орлов уведомил начальника Главного штаба Дибича, что ему по хозяйственным делам необходимо съездить к своему тестю Н. Н. Раевскому в его имение Болтышку Киевской губ. Разрешение было дано, но одновременно последовало предписание киевскому генерал-губернатору, «дабы за генерал-майором Орловым учрежден был там секретный надзор» (ЦГИА, ф. III Отд., 1 эксп., д. 61, ч. 177, л. 12).

Пока Орлов был в Болтышке, на него поступил донос от Витта. Витт сообщал, что до него дошли известия, будто бы Орлов собирается ехать в Одессу, что во время пребывания Орлова в Болтышке туда без разрешения приезжали Фурнье и Олизар, привлекавшиеся к следствию по делу декабристов, за которыми также был учрежден секретный надзор (ЦГВИА, ф. № 36, оп. 4/847, ед. хр. 286, св. 19, лл. 23, 31—32).

По распоряжению Николая I Дибич писал Н. Н. Раевскому (старшему) 23 ноября 1827 г.:

«Милостивый государь
Николай Николаевич!

Дошло до сведения государя императора, что зять Вашего высокопревосходительства, генерал-майор Орлов, находясь в киевской Вашей деревне, располагает провести зиму в Одессе. Его императорское величество, быв уверен в образе мыслей Ваших, полагать изволит, что Вашему высокопревосходительству нельзя не согласиться, что при нынешних обстоятельствах таковое намерение г-на Орлова не может быть удобно исполнено и что в отвращение могущих встретиться по оному затруднений приличнее бы было возвратиться ему на сей раз в свои поместья.

Его величество, уважая родственную связь Вашу с г. Орловым, желает, чтобы Ваше высокопревосходительство, представив ему все неудобства сего предполагаемого путешествия, убедили его последовать Вашему, ко благу его клонящемуся совету. Причем его величество остается уверенным, что генерал-майор Орлов, по объявлении ему о сем, не замедлит через неделю же возвратиться в свои поместья попрежнему» (Гос. Литературный музей, ф. М. Ф. Орлова, шифр 21012/320; ЦГВИА, ф. № 36, оп. 4/847, ед. хр. 268, св. 19, л. 29).

В ночь с 4 на 5 декабря 1827 г. Орлов был вынужден уехать из Болтышки, указав точно путь своего следования (ЦГВИА, там же, л. 36). Естественно, что все эти события очень взволновали Орлова. Вероятно, он написал своему брату Алексею, что хочет с ним увидеться. Для встречи братьев потребовалось специальное разрешение царя (ЦГИА, ф. III Отд., 1 эксп., д. 61, ч. 177, л. 15).

[7] «Граф Нулин» был напечатан в альманахе «Северные цветы» на 1828 г.— Строки из письма Орлова, посвященные «Графу Нулину», впервые опубликованы в «Лит. наследстве», т. 58, 1952, стр. 67.

15

Милятино. Сего 23 сентября 1828

Наконец, любезный друг, ты возвратился в Москву. Мы получили недавно письмо от твоей супруги, которая нас извещает об этом.

Твое письмо, писанное из Saratovie Petrie où vous vous êtes empêtré*, заставило нас хохотать[1]. Я не мог не вспомнить тех счастливых времен, когда я также пользовался беседою и пудовыми анекдотами кубического П⟨етра⟩ А⟨ндреевича⟩. Только от тебя ожидал не одной шутки, а целой Петрияды[2]. Вот истинно романтический предмет. Чини перо и пиши.

* из Саратова ⟨игра слов⟩, где вы застряли (франц.)

У меня на столе десяток разных сочинений, начатых и не окончивающихся. Я их перебираю и перечитываю часто, а как дело придет до писанья, то лень превозмогает и дело остается на будущее время. Тут соединены исторические, драматические, литературные предметы с науками и с экономией политическою[3]. Чем более на себя смотрю, тем более удостоверяюсь, что моя голова есть не что иное как беспорядочная библиотека. Между прочими не хочешь ли занять у меня и обделать романтическую комедию. Вот в чем дело состоит. Ее можно, как ты хочешь, сделать карикатурною, политическою, живописною (pittoresque) драмою, в три, четыре, шесть, десять актов,— обнимающею всю вселенную или часть оной.

1-й акт — в Париже — выбирай, что хочешь и какое хочешь общество.

2-й акт — в Лондоне — то же.

3-й акт — в России — то же.

4, 5, 6, 7, 8 и пр.— в Вене, в Гётингене, в Америке и пр.

Акт последний. Все это едет и сбирается в Карлсбад или Спа. Тут начинается кутерьма. Тут же и развязка.

Вот тебе канева на сцены драматические, современные. Если попадется на счастливую минуту, то может выйти довольно забавно. Выгода та, что можно писать целым обществом, отчего не только само сочинение, но и образ сочинения будет романтическим. Шутки в сторону. Тут, конечно, не будет единства мыслей, но зато премилая и преприятная разнообразность.

Что твоя revue trimestrielle?*[4] И я бы тут пустился наудачу. Запиши, пожалуй.

Да неужели нам с тобою долго еще не видаться? Теперь, кажется, можно разрешить.

Целую тебя от всего сердца.

Михаил Орлов

Жена бьет челом твоему курносому сиятельству. Тут же и письмо твоей супруге. Тут же и узоры для нее.

Нет добра без зла. Ты писал из Saratovie Petrie, и мы хохотали. А вот это меня с ума свело: куда писать к твоей жене — в Пензу или в Саратов? Моя жена-хлопотунья спорит до слез, что в Симбирск. Выведи из недоумения и дай адрес твоей жены-хохотуньи.

[1] Письма П. А. и В. Ф. Вяземских к Орловым не дошли до нас.

[2] «Петрида»— поэма А. Д. Кантемира, начатая и не законченная им.

[3] Орлов, очевидно, уже в это время начал работать над книгой «О государственном кредите», изданной анонимно в 1833 г. в Москве.

[4] Этот замысел Вяземского не известен.

16

Милятино. Сего 28 марта 1829

Полагаю, любезный друг, что ты также обретаешься в Саратовии Петреевне, куда очень редко *не вороны*, а умные люди заносят свои кости — туда и пишу, ибо ежели твоя супруга, по свойственному дамам любопытству, раскроет и прочитает сие письмо, то беда будет невелика. Она на седьмой строке узнает, что я люблю ее и тебя от всего сердца и, вероятно, так вас буду любить до конца жизни, разве прежде смерти сойду с ума.

Как бы мне хотелось видеться с тобою! Как бы желал, хотя несколько часов, побеседовать с Асмодеем и показать ему, что гонения судьбы не

* трехмесячное обозрение (франц.).

выбили ни мыслей из головы, нижé чувств из сердца. В этом свидании освежилась бы старинная наша дружба, тем более для меня священная, что мы сделались друзьями и друзьями не величались на словах. По неверности сообщений я на одно из твоих писем не отвечал. Что сказать? Когда я не знаю, чем это все кончилось? Да и как говорить за тридевять земель? Когда увидимся, то язык мой развяжется, и ты услышишь все, что я думаю и чувствую.

Мое житье-бытье все прежнее. Единообразие оного никак не изменяется. От 11-ти часов вечера до 3 и 4-х часов ночи я учусь, пишу и читаю. За дверью живет батюшка[1] и часто, когда я гашу свечу, он свою зажигает. Встаю в 10 часов и баландаюсь до 12-ти. От 12-ти до 3-х брожу по фабрике[2], надзираю за работою, выдумываю и хлопочу, потом обедаю с хорошим аппетитом. После делаю тьму дурных шуток и фамильных поговорок, читаю вслух Theodore le Clerc ⟨?⟩[3] или что-либо другое, а потом все мы расходимся. Сын[4] мой парень хоть куда. Он ветрен, но в нем, надеюсь, будет прок, если до прока судьба его допустит. Дочь[5] моя очень мила, и счастлив ты, площадной волокита, что ее не видал, а то бы она тебе голову свернула. Представь себе курносую фигуру, совершенно тебе подобную, и ты поймешь, как можно в нее влюбиться. Одних очков недостает, да не только фигурою, но и качествами ума и привычками на тебя походит. Или танцует, или марает бумагу... других занятий нет.

Благодарю тебя за то, что рекомендовал мне «Галатею»[6]. Ну уж «Галатея»! Ай да «Галатея»! То-то «Галатея»! Ай да пастушка! И я воображал, что Раич умный человек! Сражение Арганта и Танкреда[7] меня несколько увлекло, но «Галатея» разуверила. Одна страница «Телеграфа» лучше всего издания «Галатеи», хотя и «Телеграф» с некоторых пор несколько сшибся с дороги. Но все он остался журналом дельным (estimable), а «Галатея» хочет быть забавным и то втуне.

У нас еще проявилась «Бабочка»[8], которая на место того, чтоб летать, как червяк ползает. Но, однако же, все имеет преимущество над «Галатеею»... Бумага удивительно *мягка!..*

Прощай, любезный друг, целую тебя от всего сердца и желаю, чтобы как-нибудь судьба свела нас вместе не на час, не на два, но на год и более. То-то бы поболтал вдоволь.

Твой друг Михаил О.

[1] Батюшка — Николай Николаевич Раевский (старший), гостивший в это время у дочери в Милятине.

[2] Фабрика — хрустальный завод Орлова. См. о нем прим. 2 к письму № 12.

[3] Не удалось установить, о каком романе идет речь.

[4] Сын — Николай Михайлович Орлов (1822—1886).

[5] Дочь — Анна Михайловна Орлова, в замужестве Яшвиль (1826—1887).

[6] «Галатея» — литературный журнал, издававшийся в Москве в 1829—1830 гг. С. Е. Раичем. Во вступительной статье издатель, характеризуя свой журнал, писал: «Галатея — бабочка, как дать ей направление?» («Галатея», 1829, № 1, стр. 2).

[7] О «Сражении Арганта и Танкреда» см. письмо № 13 и прим. 8 к нему.

[8] «Бабочка» — газета, выходившая в Петербурге с 1 января 1829 г. по 1831 г.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В. Ф. РАЕВСКОГО

ВОСПОМИНАНИЯ В. Ф. РАЕВСКОГО

Публикация и вступительная статья М. К. Азадовского

I

Вот уже более трех четвертей века как в декабристской историографии мелькают упоминания о «Записках» Владимира Федосеевича Раевского [1]. Печатались отрывки из «Записок», приводились отдельные цитаты из них, но сами «Записки» в целом оставались неизвестными и как будто где-то скрытыми. О них неоднократно вспоминали в дни юбилея 1925 г., а Н. О. Лернер напечатал даже специальную заметку под заглавием «Где бумаги В. Ф. Раевского?» [2], явно рассчитывая на отклик лиц, осведомленных о судьбе затерянных «Записок». Однако напоминания и призывы оставались без отклика, и можно было думать, что этот ценнейший памятник истории раннего декабризма безвозвратно погиб.

Впервые после 1825 г. имя Владимира Раевского стало широко известно русскому обществу из заметки в герценовской «Полярной звезде» (1861) [3]. Заметка эта представляла собою перепечатку официального сообщения о приговоре Раевскому и его брату Григорию и сопровождалась анонимными примечаниями, принадлежащими самому В. Раевскому, под заглавием: «Замечания, написанные в 1849 году». Эти «Замечания» и были, по существу, первопечатной автобиографической запиской Раевского. Через десять с небольшим лет они были воспроизведены уже в легальной печати на страницах «Русской старины» под заглавием «Заметки Влад. Фед. Раевского, написанные им в Сибири. 1844»; в общем оглавлении тома этот отрывок имеет более распространенное заглавие: «Заметки Вл. Фед. Раевского о заключении его в крепость, следствии и суде над ним и его братом в 1822—1827 гг., по подозрениям в участии их в политическом заговоре (написаны в Сибири, 1844 г.)». Опубликованы они были ревностным собирателем декабристских материалов и хранителем декабристских традиций, Е. И. Якушкиным [4].

«Заметки» 1844 г. не были мемуарами в подлинном смысле этого слова,— они имели скорее вид справки, в которой автор кратко излагает свое дело, останавливаясь, главным образом, на трагической судьбе своего младшего брата. Некоторые факты, приведенные в «Заметках», сознательно излагались неточно, на что обратил внимание уже первый биограф В. Ф. Раевского — П. Е. Щеголев. Он же правильно определил смысл этих неточностей. Данные «Заметки» были написаны, говорит он, «по поводу официальной бумаги» и имели целью «указать несоразмерность понесенного Раевским наказания с материалом улик» [5].

Е. И. Якушкин не сопроводил своей публикации никакими пояснительными замечаниями ни об источнике напечатанных им «Заметок», ни об их авторе, биография которого была в то время еще совершенно неясной и даже просто неизвестной [6]. Но уже в следующем году в столичных литературных кругах появились сведения о существовании другого, более полного текста «Записок» Раевского. Они оказались в г. Енисейске, в руках деятеля «Земли и воли» Л. Ф. Пантелеева, отбывавшего в 60—70-х годах ссылку в Восточной Сибири. Об этом сообщил редактору «Вестника Европы», М. М. Стасюлевичу, сам Пантелеев. Поводом для письма Пантелеева явилась печатавшаяся в 1873—1874 гг. серия статей П. В. Анненкова «Пушкин в Александровскую

эпоху», — в одном из очерков Анненков говорил (на основании «Воспоминаний» И. П. Липранди) и о Раевском. Л. Ф. Пантелеев извлек из бывшей у него рукописи Раевского отрывок, в котором упоминался Пушкин, и переслал его Стасюлевичу как материал для биографии поэта. Этот отрывок был опубликован в шестой книжке «Вестника Европы» за 1874 г.[7] и затем многократно целиком перепечатывался в различных статьях и исследованиях, посвященных Пушкину или Раевскому. В упомянутом письме Пантелеев сообщил и ряд дополнительных сведений (извлеченных им из тех же «Записок») о взаимоотношениях Пушкина и Раевского, а также об аресте последнего; эти сообщения были частично использованы Стасюлевичем в краткой заметке, которой он сопроводил публикацию сообщенного Пантелеевым отрывка. Заканчивая письмо, Пантелеев писал: «Если вы найдете не лишним передать мое сообщение г. Анненкову, то, на всякий случай, покорнейше прошу его не давать огласки ни моему имени, ни даже тому, что сообщенное известие заимствовано из записок Раевского (последнее по совершенно случайным и временным обстоятельствам). Я однако имею надежду, что записки Раевского не долго будут оставаться под спудом, по крайней мере, то, что в них есть интересного»[8]. О «Заметках», напечатанных в «Русской старине», и об их отношении к находящейся у него рукописи Пантелеев ничего не говорит,— возможно даже, что он и не знал о них.

Однако, несмотря на заверение Пантелеева, «Записки» в печати так и не появились, и попрежнему продолжал оставаться неизвестным и неясным облик их автора, о котором проникали в печать и распространялись изустно самые противоречивые сведения[9]. В начале 1880-х годов редактор «Русской старины» М. И. Семевский получил от наследников Раевского ряд материалов об их отце (письма, стихотворения), но все эти материалы, пролежав в портфеле редакции около десяти лет, увидели свет лишь в 1890 г.[10]

Только в 1903 г., после появления в «Вестнике Европы» известной статьи П. Е. Щеголева[11], имя Раевского прочно вошло в историю русского революционного движения. В этой статье Щеголев ничего не говорит о каких-либо рукописных материалах Раевского,— очевидно, тогда еще они не были ему известны; в новой же редакции своей статьи (1913) он уже щедро пользуется этими материалами, неоднократно приводя цитаты из них и высказывая сожаление, что они остаются неизданными.

Ценные пополнения в этот скудный фонд отрывков и цитат из мемуаров Раевского были сделаны в 1912—1913 гг., когда в «Современнике» и в «Сборнике статей в честь Д. Ф. Кобеко» появились две главы из «Записок» Раевского, относящиеся к двум различным эпохам[12]. Одна публикация представляла собою заметки Раевского о его путешествии из Сибири в Европейскую Россию, совершенном им уже после амнистии (1858), другая содержала воспоминания Раевского о пребывании (1827) в крепости Замостье и о свидании с в. к. Константином Павловичем. В примечаниях к последней публикации комментатор также ссылался на неопубликованную рукопись воспоминаний и даже приводил из нее некоторые отрывки. Из глухих упоминаний публикатора можно было сделать вывод, что в его руках находится и подлинный основной текст «Воспоминаний» Раевского. В эти же годы появилось в печати и хранившееся в архиве Стасюлевича упомянутое выше письмо Л. Ф. Пантелеева[13]; его появление неизбежно должно было вновь подогреть интерес к становившейся уже легендарной рукописи «Записок» первого декабриста. И действительно, вскоре по выходе тома «Архива Стасюлевича» с письмом Пантелеева Лернер обратился к нему с запросом о судьбе рукописи. Пантелеев ответил: «Да, была в моем обладании часть бумаг, уцелевших после смерти В. Ф. Раевского; но еще лет 20 тому назад дал я эти бумаги одной особе в Петербурге для прочтения и даже для обработки. Особа ничего не сделала, т. е. ничего не извлекла; зато так удачно переслала их мне, что бумаги никогда не дошли до меня. Брошены ли они были посланцем, или попали в чьи-нибудь руки, — это покрыто мраком неизвестности»[14].

Сам Пантелеев невысоко ценил эти «Записки» и несколько скептически относился к их автору. «Бумаги не высокого значения, — писал он в том же письме. — Уже на старости лет Раевский принялся за свои воспоминания, несколько раз начинал и не кончил. Он, главным образом, распространялся о своем деле, придавая ему огромную

важность, равно как и самому себе. Но в то же время не видно, чтобы он был участником в тайных обществах декабристов»[15]. Видимо, эта недооценка «Записок» и смутное представление об их авторе и его значении в истории декабристского движения и явились причиной равнодушного отношения Пантелеева к утрате рукописи, — по крайней мере из его письма не видно, чтоб им предпринимались какие-либо энергичные и решительные шаги для ее отыскания. Не находил он нужным остановиться на данном эпизоде и в собственных «Воспоминаниях»[16].

Совершенно очевидно, что той «особой», о которой с раздражением писал Пантелеев, но мог быть П. Е. Щеголев, так как к последнему нельзя было бы отнести упрек в неиспользовании рукописи. К тому же, если бы Щеголев действительно имел в своих руках данную рукопись и обладал правом на ее воспроизведение, он не преминул бы этим воспользоваться. Можно сделать вывод, что в распоряжении Щеголева были лишь отдельные выписки из другой аналогичной рукописи — подлинный же текст «Записок» Раевского в то время, когда он работал над новой редакцией его биографии, находился в чьих-то других руках.

Новое понимание декабристского движения и задач его изучения, выработанное советскими исследователями, и, в частности, усилившийся интерес к представителям наиболее демократического и революционного течения в декабристской среде не могли не отразиться самым благотворным образом и на изучении роли Раевского. В результате пересмотра прежних точек зрения и специальных архивных разысканий и явился ряд работ, в новом свете изображающих личность Раевского и его деятельность. Даже первый и основной биограф Раевского, П. Е. Щеголев, в сущности, еще неясно представлял себе личность Раевского и его действительное значение в истории декабризма; он видел в нем лишь типичнейшего представителя вольнодумства александровской эпохи, не выделявшегося сколько-нибудь заметно из среды других деятелей того времени. И только в этом плане усматривал он «некоторое право» Раевского «на память потомства». Весьма невысоко ценил первый биограф Раевского и его поэтическое творчество; его стихи имели, по мнению Щеголева, лишь историко-литературное значение,— главным же образом в связи с Пушкиным, на творческом развитии которого как-то отразилась кишиневская встреча с пылким революционером; сами же по себе стихи Раевского,— утверждал он,— лишены какой-бы то ни было самодовлеющей эстетической ценности и интересны, главным образом, как материал для биографа[17].

Иное понимание образа и дела Раевского воссоздавали советские исследования, цикл которых был открыт в 1925 г. статьями и публикациями Ю. Г. Оксмана (письма Раевского к товарищам по Тайному обществу, стихотворное послание к Г. С. Батенькову и его же записка «О солдате» — один из интереснейших памятников декабристской публицистики)[18]. Через десять лет тем же исследователем был опубликован незаконченный очерк «Вечер в Кишиневе», где в полубеллетристической форме Раевский воссоздавал один из литературных споров, происходивших между ним и его кишиневскими друзьями во главе с Пушкиным. В этом споре Раевский формулировал свои эстетические позиции[19].

Еще более плодотворным для изучения Раевского оказалось последнее десятилетие. Исследованиями и публикациями Л. Сперанской, В. Г. Базанова и П. С. Бейсова[20] фонд сочинений Раевского обогатился ценнейшими и разнообразными материалами: стихотворения, письма, наброски художественных отрывков в прозе, официальные заявления и протесты, политические и публицистические трактаты, автобиографические наброски и записки,— среди последних появилась и «собственноручная автобиографическая записка» Раевского, написанная им в 1858 г., во время пребывания в Петербурге[21], специально для И. П. Липранди. В свете этих новых материалов и исследований Раевский предстает перед нами уже не как рядовой деятель своего времени, а как выдающийся представитель начальной поры революционного движения, как замечательный пропагандист и организатор, как незаурядный поэт, как писатель-политик с ярко выраженными элементами демократической и революционной мысли и, наконец, как талантливый и блестящий публицист.

В этот поток новых материалов о Раевском включаются, наконец, и его «Воспоминания, первая страница которых восемьдесят лет тому назад была опубликована

Пантелеевым. Совершенно неожиданно они были обнаружены несколько лет тому назад в одном из ленинградских книжно-антикварных магазинов [22].

Эти «Записки» представляют собою две тетради: одна — in 8°, другая — in 16°. Обе писаны рукой Раевского и имеют вид черновых записей с большим количеством поправок и помарок. Содержание первой (в дальнейшем будем называть ее условно тетрадь *А*, а другую — тетрадь *Б*): 1) глава, содержащая рассказ об аресте, помеченная на первой странице датой: 6 февраля 1841 г.; 2) рассказ о пребывании в крепости Замостье и о свидании с в. к. Константином Павловичем; 3) рассказ об объявлении приговора и 4) глава «Воспоминаний» под заглавием «Путь в Сибирь». Все эти главы не составляют тесно связанного повествования, но каждая из них представляет собою небольшое самостоятельное целое; кроме того, в той же тетради находятся краткие воспоминания о войне 1812 г., вернее — размышления о ней,— и составленный Раевским перечень важнейших дат его жизни («Мой формуляр»). Открывается тетрадь записью отрывка из проповедей Массильона и нескольких афоризмов.

Из проповеди Массильона Раевский выписал следующее место: «C'est ainsi que les jugements injustes deviennent des sources de malédiction dans les familles. Dieu redemande à la quatrième géneration le sang que L'injustice d'un seul de leurs ancêtres assis sur les tribunaux et trop dévoué aux passions d'autrui, fit téméraírement repandu: on voit ces maisons, frappés d'une main invisible, étonner le monde par leur décadence; et jusqu'á la fin les neveaux portent sur leur front l'iniquite de leur pères»*.

За этим отрывком следуют «афоризмы»:

«I. Не делай и не желай того другому, чего себе не желаешь.

II. Чужая тайна есть чужая собственность. Подлый человек только решается огласить вверенную ему, даже неважную тайну.

III. Читай евангелие со вниманием, если хочешь сделаться добрым человеком.

IV. Молчание очень часто равняется уму.

V. Самая глупая книга может быть в отличном переплете и обратно».

Эти афоризмы составляют одно целое с выписанной цитатой из Массильона и в некоторой степени определяют правила поведения Раевского на следствии.

На последней странице тетради *А* записано: «Никита Михайлович Муравьев родился 1795 года в июле месяце. Умер в с. Урик в 18 верстах от г. Иркутска 1843 года 27 апреля».

В эту же тетрадку была вложена копия главы, содержащей рассказ о пребывании в крепости Замостье, с поправками в ней рукой самого Раевского. Очевидно, эту главу он предполагал тогда же поместить в печати, для чего и была приготовлена данная копия,— по этой копии глава и опубликована в 1913 г. В. М. Пушиным.В копии она имеет заглавие «Воспоминание. Крепость Замостье и разговор с цесаревичем Константином Павловичем в 1826 году сентября месяца» [23].

Тетрадь *Б* объединяет в одном переплете печатное издание «Донесений Следственной комиссии» (без каких бы то ни было заметок на полях или в тексте; имеются лишь в некоторых случаях подчеркивания) и рукописную главу, в которой содержится рассказ о пребывании Раевского в Петропавловской крепости и о допросе его Следственной комиссией. Одна страница из этой рукописи вырвана и утрачена. В той же тетради — в начале ее —отдельный листок с записью событий, имевших место в Иркутске в 1827—1830 гг.; листок озаглавлен — «Замечательные события при Лавинском» [24]. Приводим эту небольшую запись полностью:

«Замечательные события при Лавинском [52].

Донесенье его на председателя Горлова и ссылка государственных преступников в Нерчинские рудники [26].

---

* Так, несправедливые приговоры становятся источником жестоких семейных бедствий. С четвертого поколения взыскивает господь кровь, дерзко пролитую из-за несправедливости кого-то из предков, заседавшего в суде и чрезмерно угождавшего страстям других; и мы видим, как эти семьи, пораженные невидимой рукой, изумляют мир своим упадком; и до конца дней своих несут потомки на своем челе печать неправедности их отцов (франц.).

Архиерей Иереней после многих странных его деяний, неприличных поступков, доносов и вмешательства в гражданские дела признан был за помешанного в уме. Узнавши это, он старался речью возмутить народ, но к счастью не успел, и жандармский подполковник Брянчанинов увез его из Иркутска [27].

Приезд Анштена [и] Дове из Швеции для разыскания уклонения магнитной стрелки и Германа — из Пруссии»[28].

Однако совершенно очевидно, что ныне обнаруженная рукопись не является единственным текстом мемуаров Раевского: наряду с ней существовала (и, может быть, существует где-либо и сейчас) другая редакция этих «Воспоминаний». Такой вывод подсказывает сопоставление с ее текстом тех отрывков, которые цитирует в своей статье П. Е. Щеголев: бо́льшая часть их отсутствует в настоящей рукописи и, несомненно, заимствована из какого-то другого источника. Так, например, Щеголев приводит по рукописи Раевского характеристику его отца, Федосия Михайловича Раевского: «Отец мой,— говорит В. Раевский,— был отставной майор екатерининской службы; человек живого ума, деятельный, враг насилия, он пользовался уважением всего дворянства». В нашей рукописи этих строк нет; отсутствуют в ней также и приводимые далее Щеголевым цитаты, содержащие характеристику преподавания в Московском благородном пансионе, замечания Раевского о значении войны 1812 г., о его изучении Руссо и Монтескье, о пребывании в главной квартире 2-й Армии и др. Отсутствует в настоящей рукописи и цитируемый Щеголевым рассказ о предложении, сделанном Раевскому генералом Киселевым: купить свободу ценою предательства [29], — очень вероятно, что этот рассказ находился на вырванной и утраченной странице (в тетради *Б*).

II

В общем историю создания текста «Воспоминаний» В. Ф. Раевского можно, с некоторой долей условности, представить так: «Воспоминания» были начаты Раевским в 1841 г., в девятнадцатую годовщину его ареста, что он и подчеркнул поставленной в начале текста датой. Он довел «Воспоминания» до рассказа об отправлении его в Тираспольскую крепость и на этом почему-то временно свою работу оборвал. В 1844 г. Раевский начал новые «Записки», но уже в иной форме и имея в виду какое-то особое их назначение. Это тот отрывок, который был опубликован сначала Герценом, а затем в 1873 г. Е. И. Якушкиным. В 1858 г. Раевский опять возвращается к «Запискам»; им написаны заметки о поездке в Россию, составлена автобиографическая памятка для Липранди. Тогда же он возобновляет и работу над мемуарами. Об этом свидетельствуют заключительные строки написанной в 1841 г. первой главы «Воспоминаний». Первоначально она заканчивалась следующим образом: «Вот причина и начало девятнадцатилетних моих страданий»; затем эти строки зачеркнуты и исправлены; ныне они читаются так: «Вот причина и начало шестилетнего заточения, тридцатилетней жизни в ссылке. Его сибирская жизнь началась в 1828 г.,— стало быть, слова о тридцатилетней ссылке могли быть написаны не ранее 1858 г. Общественное оживление этих лет, которое он имел возможность непосредственно наблюдать во время своей поездки в Россию, свидания со старыми друзьями, встречи с бывшими товарищами по изгнанию, естественно, должны были побудить его вновь вернуться к начатому и оставленному замыслу. Возможно, что некоторым дополнительным стимулом послужило и составление автобиографической записки для Липранди.

Раевский пересматривает теперь текст 1841 г.— приводит в соответствие с современной хронологической датой последние строки и, очевидно, тогда же пишет воспоминания о встрече с Константином и об окончательном приговоре. Следующие же главы (по нашему расположению: вторая и пятая) относятся к более позднему времени: они написаны в 1863—1865 гг., вероятнее всего — именно в 1864 г. Это устанавливается следующими соображениями: во второй главе Раевский, перечисляя членов Союза Благоденствия, упоминает имя М. Н. Муравьева и при этом добавляет: «в настоящее время генерал-губернатор в Вильне». М. Н. Муравьев был назначен виленским губернатором в мае 1863 г., в апреле 1865 г. он был уже уволен, а в следующем году скончался; из этого следует, что данная глава «Воспоминаний» не могла быть написана

ранее конца 1863 г. и во всяком случае не позже весны 1865 г. К тому же времени относится и пятая глава, содержащая рассказ о путешествии в Сибирь, ибо в ней Раевский упоминает о смерти Батенькова. Батеньков умер в конце 1863 г.,— стало быть, и эта глава должна быть отнесена к 1864 г.[30] О 1864 г., как времени составления этой главы, свидетельствует и «Мой формуляр», заканчивающийся 1863 годом.

Таким образом, дошедшие до нас «Воспоминания» оказываются по своему происхождению разновременными. Первая глава была написана в 1841 г., вторая — в 1864 г., третья и четвертая относятся к 1858 г., последняя — к 1864 г. Расположение глава в тетрадях позволяет восстановить и самый процесс образования текста «Воспоминаний»: сначала была написана (в 1841 г.) в тетради *А* первая глава; в 1858 г. Раевский вернулся к ней, выправил прежний текст и дополнил двумя новыми главами (третьей и четвертой). Затем работа над мемуарами вновь оборвалась на несколько лет, до 1864 г. В этом году им была написана, уже в другой тетради — тетради *Б*, глава о суде и пребывании в Петропавловской крепости (глава вторая). Она заняла собой почти всю небольшую тетрадь, и для дальнейшего продолжения Раевский вновь обратился к тетради *А*, внеся в нее последнюю, пятую, главу, там же записав «Мой формуляр». Так как заметки о 1812 г. находятся в той же тетради, занимая место между последней главой и «Моим формуляром», то их следует также датировать 1864 годом. Вероятно, тогда же были сделаны и карандашные заглавия первой и третьей глав.

Вполне понятно, почему именно в 1864 г. Раевский вновь вернулся к работе над мемуарами. К этому влекла прежде всего сама эпоха, влек проявившийся в русском обществе этих лет огромный интерес к событиям «первой битвы за свободу»; в эти же годы одни за другими появляются в печати мемуары декабристов и других деятелей начала века, причем в некоторых из них упоминалось имя Раевского. Все это не могло не стимулировать Раевского к возобновлению и завершению давно начатой работы; возникла потребность дать свою оценку событий и самому рассказать историю своей жизни и своего участия в делах Тайного общества. Быть может, сыграли в этом некоторую роль и недавние клеветнические выступления Бакунина, отрицавшего значение Раевского в деле декабристов и искажавшего причины его ссылки.

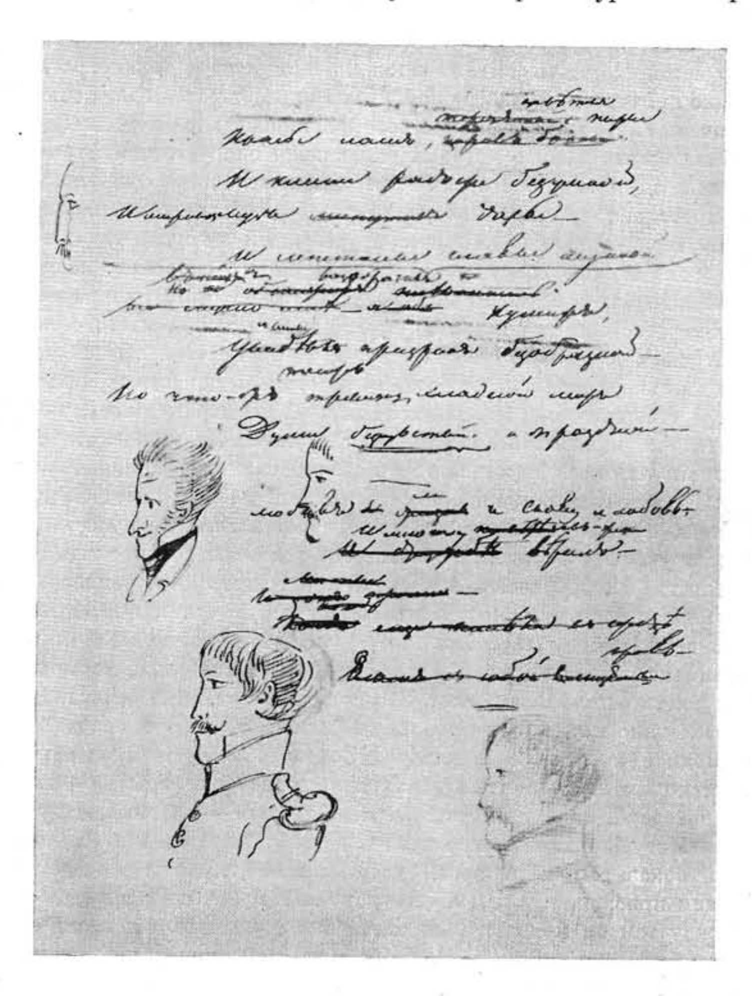
Возникает вопрос, какой же текст «Записок» цитировал П. Е. Щеголев? Точно определить этот источник в настоящее время еще нельзя, но установить его общие контуры до некоторой степени возможно. Большинство приводимых Щеголевым цитат относится к раннему периоду биографии Раевского: воспоминания об отце, о Московском благородном пансионе, о прибытии в главную квартиру Витгенштейна, затем несколько цитат заимствовано из рассказа об аресте и о поездке в Сибирь. Таким образом, соответствие между источником Щеголева и нашей рукописью можно установить лишь в рассказе об аресте и ссылке. Очевидно, была еще какая-то, более поздняя редакция. В 1868 г. Раевский пишет сестре о «трех переходах» своей жизни: юность, арест и пребывание в крепости, ссылка. «Воспоминания» охватывают лишь «второй переход» и заканчиваются начальным периодом третьего этапа его жизни. Раевский хотел создать связи и законченное изображение всех этих «переходов» и в четвертый раз (если не считать «Заметок» 1844 или 1849 гг.) обратился к составлению своих мемуаров, начав их теперь с рассказа о своей юности и стремясь придать им характер последовательного изложения главнейших событий своей жизни. Записки же 1858—1864 гг. явились для Раевского предварительными записями, которые он и подверг новой обработке, как об этом позволяют судить некоторые из приводимых Щеголевым цитат. Его письмо к сестре, в котором он делает краткий обзор трех основных этапов («трех переходов») своей жизни и наиболее подробно говорит о пребывании в Сибири,— как бы завершает цикл его мемуарных заметок, служа своеобразной концовкой незавершенных воспоминаний[31].

III

«Воспоминания» Раевского в той редакции, в какой они дошли до нас, представляются и незаконченными и неполными. Но и в таком виде они служат ценнейшим вкладом в литературное наследие декабристов и могут быть поставлены наравне с самыми лучшими страницами декабристской мемуарной литераутры, являясь важным

историческим свидетельством о той эпохе, когда, по словам В. И. Ленина, «монархи то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами Радищевых и «спускали» на верноподданных Аракчеевых...»[32].

В нашей исторической литературе до сих пор еще недостаточно полно изучен вопрос о солдатских настроениях и идейной жизни солдатских масс в пору подготовки декабрьского восстания. В одном из своих этюдов П. Е. Щеголев ставит вопрос о сознательном участии солдатских масс в выступлении Сергея Муравьева и решает его



В. Ф. РАЕВСКИЙ

Рисунки А. С. Пушкина (два нижних) на полях черновой рукописи «Послания к В. Ф. Раевскому», 1822 г.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

отрицательно. «Почему же Черниговский полк последовал за своим вождем, — спрашивал он, — потому ли, что их побуждало к этому отчаянное экономическое положение, сознанное ими, или потому, что в любви к своему батальонному командиру не допускали мысли, что он ведет их не к добру — когда мы поставим этот вопрос, мы должны выбрать последний ответ. Тягость службы и ненормальность тягостей вряд ли ясно сознавались в то время, хотя недовольство и было»[33]. Это суждение, высказанное впервые в 1908 г., Щеголев полностью повторил и в 1925 г. Однако за последние двадцать пять лет накопилось немало материалов, которые позволяют совершенно иначе освещать поставленную проблему. Обнаруженные солдатские прокламации,

солдатские стихи и памфлеты, новые факты пропагандистской деятельности декабристов,— преимущественно членов Южного общества и Общества Соединенных Славян,— восстановленные исследователями образы энтузиастов — участников движения из среды самой солдатской массы (Анойченко, Шутов, Малафеев и др.) — в корне нарушают выводы и точки зрения дореволюционной историографии [34].

Но было ли у самих декабристов отчетливое и ясное представление об этих настроениях? В декабристской мемуарной литературе этот вопрос совершенно не освещен; материал для ответа на него приходится черпать, главным образом, из показаний декабристов на следствии, в которых они, конечно, не всегда бывали точны и искренни, а порой и сознательно затушевывали какие-либо стороны или, наоборот, сгущали краски. И должно признать, что многие крупнейшие представители движения и даже сами вожди его очень смутно представляли себе подлинный характер солдатских настроений,— идейная жизнь масс, в которых они видели опору готовящегося революционного восстания, оказывалась для них скрытой и неведомой. Они уловили дух недовольства и протеста в армии, но не умели разобраться в его причинах и понять его сущность. Бестужев-Рюмин категорически утверждал на суде, что «негодование солдат существовало прежде возмущения» [35], когда же его спросили, на чем основывает он свое утверждение, Бестужев-Рюмин отвечал: «Сие было мнение всего Общества ⟨...⟩ Почерпнутое же оно из слышимых нами ропотов солдат на тягость и продолжительность службы» [36].

В трудах о декабристах не раз уже цитировалось показание Матвея Муравьева-Апостола, представляющее собой наиболее подробную характеристику солдатских настроений, как они рисовались декабристам. Муравьев-Апостол видел основную причину готовности армии к восстанию — в разрушении дисциплины, основанной «на душевном уважении к начальникам» [37]. Причины этого разрушения заключались, по его убеждению, в обкрадывании солдат их начальниками, в грубости и жестокости, в длительности ученья и парадов, в обилии штрафованных солдат и т. п. Таким образом, и в свидетельстве М. Муравьева-Апостола, и в решительном заявлении Бестужева-Рюмина на первое место выдвигаются невыносимые материальные и правовые условия солдатской жизни, мотивы же социального угнетения и социальной несправедливости оказались ими не раскрытыми; возможно, что они сознательно избегали говорить о них в своих показаниях на следствии. Это понимание идейных оснований «солдатских ропотов «обусловило и характер пропаганды декабристов среди солдат,— и только некоторые «славяне» (то есть члены Общества Соединенных Славян) затрагивали в своих пропагандистских и агитационных выступлениях не одни профессиональные и экономические интересы, но и темы рабства и отношения к правительству. Из декабристов-«неславян» эту же линию энергично и настойчиво проводил Раевский. Поручик Михалевский показывал на допросе, будто Раевский говорил солдатам о возможности нарушения присяги, так как и «государь нам присягал с народом хорошо обращаться», между тем он мучит народ; стало быть, «он изменил свою присягу, следственно, и мы бы могли изменить» [38]. Михалевский очень сгущает краски, но едва ли его показание в целом выдумано и ложно. Сам Раевский в «Воспоминаниях» именует Михалевского не лжесвидетелем, как, например, Сущева и других юнкеров, а предателем. Политическая пропаганда была положена и в основу педагогической деятельности Раевского в ланкастерской школе. Поэтому чрезвычайно важна та характеристика «духа армии», которую дает Раевский в «Воспоминаниях». Говоря о намерении Тайного общества произвести «военную революцию», Раевский пишет: «На 2-ую Армию можно было смело рассчитывать ⟨...⟩ Солдаты в 16-й дивизии готовы были на отчаянное дело. Несколько полковых командиров 1-й Армии, революционное движение гвардейских полков в Петербурге, 14 декабря, пример Черниговского пехотного полка, в котором баталионный командир Апостол-Муравьев собрал полк и пошел ко 2-й Армии, доказывали, как легко было тогда двинуть полки под одно революционное знамя». Раевский говорит не о готовности солдат идти за своими восставшими командирами, но об их *революционной готовности*. Раевский ближе других стоял к солдатским массам [39], и его свидетельство о революционных тенденциях 2-й Армии представляет исключительный исторический интерес и ценность.

«Воспоминания» Раевского заполняют существенный пробел в декабристской мемуарной литературе, освещая период в жизни Тайного общества, когда члены его подготовляли солдат к активному и сознательному участию в предстоящем восстании. Именно в этой атмосфере возникли такие памятники декабристской публицистики и агитационной литературы, как политическая записка Раевского «О солдате» и «Православный катехизис» Сергея Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина. Вместе с тем эти «Воспоминания» более отчетливо раскрывают наличие наиболее последовательной революционной линии в самой декабристской верхушке, к которой должно с полным правом причислить и Раевского.

IV

Жизнь Раевского настолько тесно сплетена с историей важнейших очагов декабристского движения на юге (Кишинев и Тульчин), что новые подробности его биографии сплошь и рядом приобретают более широкое значение, помогая уяснить и осмыслить многие факты в судьбах Тайного общества, в частности, обнаруженные ныне «Воспоминания» дают возможность внести очень существенные дополнения в историю так называемого «разгрома кишиневской организации» в 1822 г. и пересмотреть некоторые сложившиеся и, казалось, прочно установленные точки зрения на этот вопрос[40]. Одним из центральных моментов в этой «истории» является факт уничтожения обнаруженного в бумагах Раевского списка членов Тайного общества. Впервые об этом стало известно из «Записок» Якушкина: «...когда попал под суд капитан Раевский, заведывавший школою взаимного обучения в дивизии Михайлы Орлова,— рассказывает он,— и генерал Сабанеев отправил при донесении найденный у Раевского список всем тульчинским членам, они ожидали очень дурных для себя последствий по этому делу. Киселев призвал к себе Бурцова, который был у него старшим адьютантом, подал ему бумагу и приказал тотчас же по ней исполнить. Пришедши домой, Бурцов очень был удивлен, нашедши между листами данной бумаги список тульчинских членов, писанный Раевским и присланный Сабанеевым отдельно; Бурцов сжег список, и тем кончилось дело»[41]. П. Е. Щеголев называл этот рассказ «удивительной историей» и, видимо, считал его мало достоверным, однако сообщение Якушкина вполне подтвердилось материалами следственных дел о декабристах. Об этом случае Следственной комиссии стало известно по доносу Майбороды, которому имел неосторожность рассказать о нем Пестель. По версии Майбороды, Киселев, рассматривая в присутствии Бурцова бумаги, присланные Сабанеевым, уронил нечаянно на пол написанный на четвертушке бумаги список старших членов Тайного общества. Бурцов незаметно поднял этот список, спрятал в руках мундира, «а после оный сжег». Спрошенные по этому поводу Бурцов и Пестель подтвердили донос Майбороды, причем Пестель добавил, что он слышал об этом от Юшневского, Аврамова и доктора Вольфа[42]. О том же спрашивали Лорера, который также подтвердил этот рассказ[43]. Между «Записками» Якушкина и доносом Майбороды существует некоторое расхождение. По версии последнего, все дело свелось к счастливой для членов Тайного общества случайности: небрежность Киселева и ловкость Бурцова помешали своевременно раскрыть тульчинских заговорщиков. Якушкин же излагает этот эпизод как акт сознательного вмешательства Киселева, который, по убеждению мемуариста, «знал о существовании Тайного общества и смотрел на это сквозь пальцы»[44]. Что же касается Пестеля, Лорера и других спрошенных по этому поводу лиц, то они, по словам Якушкина, ограничились подтверждением доноса Майбороды, не сообщая никаких новых подробностей и явно избегая их из опасения новых вопросов. Раевский в своих «Воспоминаниях» также рассказывает об этом эпизоде с Бурцовым, и его свидетельство является в данном случае, конечно, вполне авторитетным.

По рассказу Раевского, Сабанеев «один на один» спросил его о значении этого списка. Раевский отвечал, что он «записывал всегда передовых людей по образованию и уму», которых встречал или о которых слышал. «Только-то?» — спросил Сабанеев и на этом прекратил свой допрос. Затем этот список он послал Киселеву, запросив его: «следует ли сделать вопрос майору Раевскому об этих лицах?» Киселев получил

эту бумагу при Бурцове и дал ему прочитать ее, затем,— рассказывает Раевский,— «положил бумагу в стол и вышел вон Бурцов воспользовался этим случаем, вынул бумагу и список и бросил в печь»[45]. Таким образом, «Воспоминания» Раевского вполне подтверждают версию Якушкина о сознательном попустительстве Киселева[46]. Но значение этого сообщения Раевского гораздо шире и глубже, ибо проливает свет на ряд сложнейших явлений запутанного дела Раевского и всего следствия о кишиневских декабристах[47]; оно помогает осмыслить и поведение главнейшего действующего лица в процессе Раевского — генерала Сабанеева. Раевский и в «Воспоминаниях», и во всех официальных обращениях, и в автобиографии, написанной для Липранди, резко обвинял Сабанеева, считая его пристрастное и злобное отношение причиной всех своих несчастий. С другой стороны, поведение Сабанеева во время следствия над Раевским и суда над ним вызвало ряд серьезных нареканий со стороны высших судебных органов. Председатель Военно-судной комиссии при Литовском отдельном корпусе генерал Дурасов указал на ряд «беспричинных упущений, неправильностей и даже противозаконностей». Дурасов обратил внимание на «сокрытие» от суда «мелких обстоятельств», потерю ряда важных бумаг, оставление без внимания многих «прикосновенных лиц» и т. д. Вообще ему казалось, что в производстве самого следствия было обращено гораздо большее внимание на «малозначащие обстоятельства». Полевой аудиториат также находил, что дело исследовано Сабанеевым «не во всех частях». Сабанеев проявил медлительность в аресте Раевского и в захвате бумаг Охотникова, дав тем самым возможность уничтожить важнейшие документы; он не дал хода показаниям штабс-капитана Тулубьева, сообщавшего о восхищении Раевского «итальянскими происшествиями», не препроводил в Комиссию всех отобранных у Раевского бумаг, некоторые же из них вообще удержал у себя, помешав тем самым Военно-судной комиссии изучить их; сам он также, по мнению Полевого аудиториата и генерала Дурасова, не сумел в них разобраться должным образом, не проверил тщательно сведений, сообщенных майором Юминым, и,— самое главное,— не выяснил и не выяснял вопроса о существовании «какого-либо Общества» и о принадлежности к нему Раевского и других «прикосновенных лиц»». Военно-судной комиссией было установлено— и это полностью вошло затем во «всеподданнейший доклад»» Дибича — девять пунктов «отступлений» (то есть упущений) Сабанеева; в одном из пунктов было прямо указано, что Сабанеев «не спросил Раевского, не принадлежал ли он к какому-либо Обществу». Последний пункт («К») был формулирован следующим образом: «Многие упущения военного суда, означенные подробно в выписке 〈комиссии〉 военного суда, при войсках Литовского корпуса учрежденной, падают также на ответственность генерала Сабанеева, потому что суд сей производился, даже самая выписка из дела составлялась по личным его, генерала Сабанеева, надзором. Он, при начале суда, дал собственную инструкцию суду, что должно делать, кого о чем и как спрашивать, оставив все оригинальные бумаги у себя, препроводил только выписку из оных, предоставив самому себе по черновым бумагам, у Раевского отобранным, делать надлежащие разыскания: каковым действием и ограничил власть суда в назначенных им самим пределах»[48]. Таким образом, по заключению Дибича, Сабанеев явно не справился с данным ему ответственным поручением. Этот официальный вывод довольно прочно вошел в последующую историческую литературу и сохранился в ней вплоть до сегодняшнего дня. «Нити от Тайного общества находились в руках Киселева и Сабанеева, но распутать сложный клубок заговора им так и не удалось». Сабанеев «не сумел раскрыть существование в 16-й дивизии Тайного общества и ничего не сделал для выяснения политических взглядов Орлова»,— подводит итог следствию и суду В. Г. Базанов[49]. Базанов видит в этой «неудаче» Киселева и Сабанеева исключительно заслугу Раевского. Бесспорно, поведение Раевского во время следствия и суда, где он проявил замечательную стойкость, выдержанность, смелость, находчивость, сыграло огромную роль, но необходимо учесть и другие обстоятельства. Ошибки, допущенные Сабанеевым, настолько очевидны и, можно сказать, настолько элементарны, что их трудно объяснить лишь недосмотром или оплошностью со стороны Сабанеева или, наконец, его бездарностью, как можно заключить из построений некоторых исследователей. Такие явные промахи как-то плохо вяжутся с известным нам обликом Сабанеева и его репутацией. Сабанеев был до-

статочно прозорлив и хитер, и трудно допустить, чтобы он мог оказаться столь наивным, беспомощным и совершенно сбитым с толку отпором Раевского. Поведение Сабанеева невольно подсказывает другой вывод и заставляет искать другие мотивы его поступков. Напрашивается вывод о сознательном расчете и определенной линии поведения Сабанеева: он не захотел распутать дело до конца. Он упорно вел следствие по одному, и очень узкому, пути, концентрируя все обвинение вокруг одного Раевского, тщательно индивидуализируя его дело, ограничивая его пределами исключительно дисциплинарных проступков, не переводя в плоскость общеполитическую и старательно избегая расширить круг привлеченных лиц. Между тем в его распоряжении были определенные указания Главной квартиры 2-й Армии и Главного штаба. Ссылаясь на высочайшее повеление, начальник Главного штаба князь П. М. Волконский рекомендовал «обратить особенное внимание не только на противузаконные действия самого подсудимого, майора Раевского, но и на всех прикосновенных лиц, более или менее причастных поступкам подсудимого»[50]. Сабанеев этого явно не выполнил.

В 1821 г. Киселев задумал учредить во 2-й Армии тайную полицию. По его поручению был составлен проект положения и инструкция для агентов. Проект не был утвержден, но агенты все же существовали и деятельно работали. В инструкции агентам особенно рекомендовалось выяснить, не существует ли офицерских «клуба, ложи и проч.»[51]. Сабанеев был прекрасно осведомлен об этой инструкции, ибо принимал деятельнейшее участие в создании во 2-й Армии тайной полиции, но сам он почти совершенно оставил в стороне вопрос о разного рода офицерских организациях и не делал никаких сколько-нибудь настойчивых попыток к раскрытию их.

Наиболее характерным и показательным является эпизод со списком: рассказ о нем Раевского дает ясный ключ к уяснению поведения Сабанеева. Что произошло? Сабанеев обнаруживает список, призывает к себе Раевского и допрашивает его, вопреки обыкновению и требованиям закона, без каких бы то ни было свидетелей: «один-на-один», по выражению Раевского. Он выслушивает явно вздорный и, по существу, издевательский ответ и делает вид, что вполне удовлетворяется им. Затем, отказываясь от какой-либо собственной инициативы в данном деле, пересылает список Киселеву с наивнейшим в его устах вопросом: «следует ли сделать запрос майору Раевскому об этих лицах?». Мало того, допрашивая Раевского «один-на-один», не привлекая своих помощников к разбору обнаруженных новых обстоятельств, Сабанеев тем самым фактически скрыл от них содержание важнейшего документа. Под стать Сабанееву в данном случае и поведение Киселева: он не только не удивляется столь, по меньшей мере, странной нерешительности и нераспорядительности Сабанеева, но и сам делает ряд «несообразных» шагов. Не важно даже, сознательно он дал возможность Бурцову уничтожить этот изобличающий документ или здесь имела место «счастливая случайность»,— важно, что он в дальнейшем не проявил никакого интереса к этому документу. Он не ответил Сабанееву и не привлек к ответственности Бурцова за совершенное им служебное преступление. Очевидно, и Сабанеев и Киселев хорошо знали, что́ они делали. К этому следует добавить, что Бурцов, имя которого также находилось в этом списке, был лицом особо близким Киселеву и в свое время оказал ему крупную дружескую услугу, явившись единственным секундантом в дуэли Киселева с Мордвиновым[52].

Правда, впоследствии, когда история со списком раскрылась, обоим им — и Сабанееву и Киселеву — грозили крупные неприятности, однако и тот и другой полагали, что действуют весьма осторожно и без риска. Сабанеев перекладывал всю ответственность на Киселева, а Киселев вполне рассчитывал на такт и осторожность заинтересованных лиц, в первую очередь Бурцова. Бурцов же сообщил об этом событии тем, чьи имена находились в сожженном списке, в том числе и Пестелю, но последний и совершил непростительную ошибку, посвятив в эту тайну Майбороду.

Нап авляя дело Раевского почти исключительно в русло дисциплинарных проступков, Сабанеев преследовал определенную цель. В его планы не входило раскрытие и изобличение Тайного общества. Утрата списка возбудила искреннее недоумение и тревогу со стороны Военного суда в Замостье. Раевскому был поставлен прямой вопрос: «Не знаете ли вы причины, почему генерал Сабанеев не спрашивал вас о

выше упомянутых бумагах письменно, а только словесно, и не был ли при том кто-нибудь?» Раевский ответил на это: «Я видел, что корпусный начальник держал все сии листки в своих руках, но почему он не сделал мне запрос, точно определить не могу»[53].

Сабанееву было невыгодно и даже опасно обнаружить гнездо заговорщиков во вверенном ему корпусе, ибо это значило бы признать собственную близорукость и беспечность, наглядно показать отсутствие бдительности, в чем его уже упрекал царь: «Сабанеев дожил до седых волос, а не видит, что делается у него в корпусе». Раскрытием и обнаружением у себя в корпусе Тайного общества он бы полностью подтвердил обидное подозрение царя и его успех стал бы неминуемым его же поражением. Этим и объясняются «странное» поведение Сабанеева во время суда и его многочисленные «упущения». Его промахи были сознательны и нарочиты,— но он очень искусно и упорно вел свою линию. Нет сомнений, что он ясно разобрался в положении дел,— да и невозможно было бы в этом не разобраться, учитывая, что в его распоряжении были сообщения агентов тайной полиции, покаянные показания Юмина и, наконец, в его руках был список, в значении которого трудно было сомневаться и который, во всяком случае, надлежало тщательно изучить. Сабанеев и сделал свои выводы. При полном содействии и участии Киселева Тайное общество в 16-й дивизии было разгромлено втихомолку. Арестован был лишь один Раевский,— но и то не за принадлежность к Тайному обществу, а по другим причинам,— все же остальные были убраны другим путем. Сабанеев добился отстранения от командования Орлова, а потом и вовсе удаления его из армии, удалил из армии генерала Пущина и полковника Непенина, заставил выйти в отставку ближайших друзей Раевского — Охотникова и Липранди. Таким образом, весь круг Орлова — Раевского был удален из армии и из Кишинева.

Помимо этих узко личных мотивов надлежит учесть еще и другие соображения, которые также диктовали Сабанееву осторожность в отношении к Тайному обществу. В начале 1822 г. ситуация была еще настолько неясной, что едва ли кто-нибудь мог бы отважиться на решительный шаг открытого изобличения и разгрома организации, в рядах которой, по общему мнению и слухам, находились влиятельнейшие лица, в том числе якобы крупнейшие деятели армии: Ермолов, Н. Н. Раевский, Киселев и другие. Представление об огромном значении и силе Тайного общества разделял и сам царь. Известен рассказ Якушкина о словах Александра I, сказанных им начальнику Главного штаба П. М. Волконскому: «Эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении; к тому же они имеют огромные средства».— «Он был уверен,— добавляет Якушкин,— что устрашающее его Тайное общество было чрезвычайно сильно»[54]. Ермолов говорил М. А. Фонвизину об Александре: «Он вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся». Этот разговор происходил в 1821 г.[55]

Либеральная легенда, очень долго и упорно державшаяся в русской исторической науке и не вполне изжитая до сих пор, утверждала, что Александр I сознательно отказался принимать какие-либо репрессивные меры против Тайного общества ввиду собственных былых увлечений либеральными идеями. Получив в 1821 г. от Бенкендорфа донос Грибовского, он будто бы сказал Васильчикову: «Не мне быть жестоким» или «Не мне их карать»[56]. Если такие слова и были действительно сказаны, то все же трудно поверить в их искренность: не они выражали подлинные мысли и опасения Александра I. И, конечно, иные соображения руководили им, когда он провозглашал свою политику милосердия. Якушкин, отражая общедекабристское мнение об Александре, называл его «жестоким» и «бессмысленным деспотом»[57]. Суровая расправа с семеновцами и восставшими военными поселянами отчетливо показала, что Александр I не останавливался перед самыми беспощадными карами в тех случаях, когда дело касалось какого-либо проявления ненавистного ему духа протеста.

Недавно была выдвинута новая концепция для объяснения «загадочного» поведения Александра I. По мнению проф. С. Б. Окуня, донос Грибовского и не мог вызвать каких-либо решительных карательных мер, ибо тот изображал Тайное общество уже фактически распавшимся. Факт же существования в прошлом Союза Благоденствия не вызывал опасений, важно было лишь принять меры для предупреждения возникновения тайных организаций в будущем. По этому пути якобы и пошел Александр I, издав постановление об организации тайной военной полиции, о закрытии масонских

лож, об обязательной подписке чиновников о непринадлежности к Тайному обществу и пр.[58] Но «Записка» Грибовского вовсе не имела такого успокаивающего характера, какой приписывает ей С. Б. Окунь. В ней приводились тревожные сведения о «беспокойном духе в войсках, особенно в гвардии», сообщалось о влиянии «людей, участвующих в Обществе», на столичного военного генерал-губернатора, сообщалось о революционной готовности 16-й дивизии и т. п. Самый факт ликвидации Союза Благоденствия представлялся автору «Записки» лишь искусным ходом для создания нового, более конспиративного и потому более опасного Общества [59]. Все это отнюдь не могло внушать успокоения, но, наоборот, указывало на необходимость решительных мер, на чем и настаивал Бенкендорф.

Бездействие и нерешительность Александра I объясняются другими причинами: они заключаются прежде всего в его преувеличенных представлениях о силе и значении Тайного общества и в том страхе, который оно ему внушало. Он был убежден, что преследование Общества и арест главнейших его участников не дали бы никаких результатов. Хорошо осведомленный С. П. Шипов приводит характерную фразу Александра, сказанную им кому-то из своих приближенных (Бенкендорфу?) в ответ на предложение немедля приступить к репрессивным мерам против Тайного общества: «Il ne faut pas donner de coups d'épée dans l'eau» ⟨«не следует пронзать шпагой воду»⟩, то есть не следует производить бесплодных усилий.[60] В прекращение же деятельности Общества Александр явно не верил; наоборот, он был убежден, что во власти последнего находится вся армия. Незадолго перед смертью он писал Николаю: «Есть слухи, что пагубный дух *вольномыслия* или либерализма разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается и между войсками; что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии: *Ермолов*, *Раевский*, *Киселев*, *Михаил Орлов*, *Дмитрий Столыпин* и многие другие из генералов, полковников, полковых командиров, сверх сего, большая часть разных штаб- и обер-офицеров» [61]. В этом письме — ключ к разгадке поведения Александра. Встревоженный революционным движением в Испании и Италии и в еще большей степени напуганный принимавшими массовый характер восстаниями крестьян и фабричных в России, волнениями в армии, восстаниями военных поселян, Александр боялся забросить искру в пороховой погреб. Преувеличивая силы и размеры заговора, он опасался, чтобы в Западной Европе не стало известно о наличии революционных организаций в России. Это, казалось ему, очень невыгодно отозвалось бы на его престиже. Первый вопрос Александра к Чаадаеву, привезшему ему известие о возмущении Семеновского полка, был: не могли ли наблюдать происшествие иностранные послы.

На открытых и крутых мерах борьбы с тайными обществами настаивал Бенкендорф, но эта настойчивость привела его в конце концов к опале, которой он подвергся в последние годы царствования Александра I. Точка зрения царя на этот вопрос и его настроения были хорошо известны кругу его ближайших сотрудников, а от них они становились известными шире. Осведомлен был о них, конечно, и Сабанеев. К тому же он, несомненно, и сам разделял общее мнение о принадлежности к Тайному обществу многих высших чинов армии, в том числе Киселева. Все это заставляло Сабанеева действовать осторожно, и этим, прежде всего, объясняется изъятие из дела Раевского списка членов Тайного общества и пересылка его Киселеву. Этим же объясняется и его тактика по отношению к Орлову, Непенину, Охотникову. Пущину, Липранди, Таушеву: Сабанеев стремился к «тихому» и «бескровному» искоренению заговора в 16-й дивизии.

V

Раевский разгадал игру Сабанеева и очень искусно раскрыл перед судом в Замостье ее сущность. Раевский дал понять, что его из каких-то соображений боялись расспрашивать о Тайном обществе, что Сабанееву по каким-то причинам невыгодно было открыть существование Общества и обнаружить его участников. Интересо-

вались, по словам Раевского, его знакомствами в Вологде, Костроме, Рязани, Вознесенске, но старательно обходили молчанием вопрос о его ближайших связях. «Очевидно было опасение,— прямо говорил он,— не укажу ли я вместо Вологды и Вознесенска на Тульчин»[62]. «Не мое дело проницать в тайный ход всего дела»,— заявил он, но при этом подчеркнул, что во все время процесса ему не было задано ни одного вопроса или «хотя бы темного намека ни о Непенине, ни об Орлове, ни об Охотникове» (хотя письма Раевского к последнему фигурировали в деле, как обвинительный материал против Раевского), ни о «Зеленой книге», ни о списке, ни о подозрительных связях, которые могли иметь место.— «Я — не Фуше и не Талейран,— говорил он,— но если бы было мне повелено открыть тайну там, где находились два сообщника, из коих один доказывает, три человека явно подозреваемые, список, на котором находятся имена подозреваемых, ссылка хотя и на умершего, но не менее того, члена Общества,— то я бы отдал голову свою в заклад, что без насильственных мер, без принуждений дело было бы раскрыто со всею ясностью». Свои рассуждения он заканчивал ложно-пафосным, риторическим заключением: «Вот как раскрываются дела в пользу государя и государства!»[63] Это был очень тонкий ход Раевского: он одновременно и защищался сам и наносил сильный удар Сабанееву, кроме того, Раевский прямо указывал, что своевременное раскрытие Общества в 1822 г. могло бы предупредить восстание 1825 года[64].

Эта новая тактика Раевского была вызвана изменившейся ситуацией. В 1827 г. Раевский уже не опасался повредить кому-либо своими показаниями. Все те, которых он мог бы назвать, уже были раскрыты. Дальнейшее запирательство в принадлежности к Тайному обществу было уже бессмысленно, потому что участие в нем Раевского было совершенно прочно установлено Следственной комиссией в Петербурге. Пестель, Юшневский, Орлов, Комаров, Лорер и другие назвали Раевского в числе членов Тайного общества; названо было его имя и в доносе Майбороды. Раевский же признавал свое участие лишь в Союзе Благоденствия и категорически отрицал связь с Южным обществом. На этом он особенно настаивал перед военным судом в Замостье. Такой метод защиты был ему подсказан и освобождением от наказания почти всех бывших членов Союза Благоденствия, не вошедших после закрытия последнего в новую организацию. Свое же молчание о Союзе Благоденствия во время предыдущего следствия Раевский объяснял тем, что его об этом не спрашивали или не хотели спрашивать. Он уверял, что если бы его спросили о списке, то он «с полною откровенностию объяснил бы значение оного». Расчет Раевского оказался правилен. Ни одна из трех последних судивших его инстанций (Следственная комиссия в Петербурге, Военно-судная комиссия в Замостье, Особая комиссия в Петербурге же под председательством Левашева) не признала Раевского виновным в принадлежности Южному обществу, и он был осужден лишь за свой «преступный» образ мыслей и за разлагающую деятельность в армии.

Намеки и обвинения Раевского были настолько резки, что от него в дальнейшем потребовали уже прямых доказательств осведомленности Сабанеева о заговоре. Раевский увидел, что он зашел слишком далеко и не настаивал на буквальном смысле своих слов. Он заявил, что «нигде ни словесно ни письменно не говорил, чтобы генерал Сабанеев знал о заговоре; сообразив же теперь весь ход произведенного над ним дела, утверждается только в предположениях своих или догадках, что тайная связь Общества, коему принадлежал он, Раевский, с прочими, была известна генералу Сабанееву, однако же никаких точных доказательств на сие, ниже средств, не имеет». Между тем суд вполне разобрался в смысле и значении этих оговорок, и в к. Константин счел нужным подать особый рапорт Николаю[65]. Этот рапорт представляет собою сплошной обвинительный акт против Сабанеева как лица, имевшего возможность еще в 1822 г. предупредить восстание 1825 г. и по каким-то соображениям не сделавшего этого.

Председатель военного суда, генерал Дурасов, в своем рапорте графу Куруте, а фактически Константину, писал еще более отчетливо и резко: «Одним словом, дело майора Раевского такого роду, что все, повидимому, старались открыть маловажные его преступления, а главнейшие были упущены из виду». В частности, он особо подчеркивал, что генерал Сабанеев всеми силами старался открыть «пустые разговоры Раевского», а «о существовании Союза Благоденствия не только не сделал никакого совер-

шенно разыскания, хотя уже знал обо всем этом, но даже в рапорте своем не упомянул об нем ни слова» [66]. Здесь же было отмечено полное невнимание Сабанеева к показаниям, изобличающим Раевского в небрежении к религиозным обязанностям и даже в кощунственном отношении к ним [67].

В. Ф. РАЕВСКИЙ
Фотография, 1863 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Мы остановились подробно на этой стороне процесса Раевского, так как она служит важным и необходимым дополнением ко многим страницам «Воспоминаний» Раевского и помогает отчетливее выяснить его взаимоотношения с Сабанеевым. Раевский говорит о Сабанееве с величайшим негодованием. Он понял, что Сабанеев принес его в жертву, что дело о его дисциплинарных проступках невероятно раздуто Сабанеевым. Он видел, что ближайшие его товарищи и сочлены по Тайному обществу были освобождены от суда и наказания, и исключительность своего положения объяснял всецело коварной политикой Сабанеева и его оскорбленным самолюбием. «Очень

знаю,— писал он в автобиографической записке 1858 г.,— что генералу Сабанееву нужен *был я один.* Он был человек желчный и мстительный»[68].

Основные пункты рапорта Константина, составленные на основе резюме Дурасова, вошли и в окончательное постановление последней судившей Раевского Комиссии (под председательством Левашева) и в доклад Дибича. Сопоставляя эти замечания с заявлениями на суде Раевского, легко можно убедиться, что все основные указания на упущения Сабанеева подсказаны самим Раевским и даже порой в его формулировках. Обвинения были настолько серьезны и опасны для Сабанеева, что Дибич, не имея возможности обойти их молчанием, счел необходимым в том же заключении подробно остановиться на заслугах Сабанеева в деле Раевского и категорически отрицал возможность раскрытия и предупреждения заговора в 1822 г.[69]

Страницы «Воспоминаний», посвященные Киселеву, оказались утраченными, сохранилось только несколько заключительных строк. Однако нетрудно установить, как Раевский объяснял поведение Киселева. В «Послании к друзьям» Раевского имеются такие строки:

Предатель рабским языком
Дерзнул вопрос мне сделать смелый,
Но я умолк перед судом!

В. Г. Базанов относит эти строки к оказавшемуся предателем майору Юмину[70]. Но, во-первых, едва ли Раевский нашел бы нужным упоминать в своем патетическом послании о такой мелкой и ничтожной фигуре, как Юмин; во-вторых, Юмин не мог ставить Раевскому никаких вопросов, потому что был не судьей, а лишь свидетелем; в-третьих, Раевский по поводу показаний Юмина не молчал, а дал подробную характеристику его доноса («три страницы» «неясностей и хаоса», говорил он об этих показаниях), и, наконец, в-четвертых, непонятно, какой же именно вопрос «дерзнул сделать» Юмин. Мы считаем, что приведенные строки относятся не к Юмину, а к Киселеву. Именно Киселев осмелился сделать Раевскому дерзкое и оскорбительное предложение купить свободу ценою предательства и, в частности, показаниями против Орлова. Именно об Орлове ничего не говорил («молчал перед судом») Раевский. Предателем же он называет Киселева, как бывшего близкого друга Орлова. Это предположение вполне подтверждается страницами не опубликованных еще в целом воспоминаний подполковника Ф. П. Радченко: «Я не знаю, виноват ли генерал Орлов или нет,—ответил Раевский Киселеву,— но кажется, до сих пор вы казались быть его другом»[71].

Добавим, что сообщение о постыдном предложении Киселева включено Раевским не в повествование о суде и следствии, но в рассказ об Орлове; это обстоятельство дает возможность полностью проследить и установить ход мысли Раевского.

В рассказе Раевского о судах над ним и приговорах есть неточность. Он пишет, что Сабанеев заменил смертный приговор первого суда шестью годами высылки в одну из отдаленных губерний. Здесь — несомненная ошибка: такой конфирмации Сабанеева не было,—по крайней мере, в огромном следственном деле о Раевском нет никаких следов ее. Сабанеев предложил заключить Раевского, «как вредного для общества человека», в Соловецкий монастырь, «или другое какое место, где бы вредное распространение его образа мыслей не могло быть поводом к нарушению спокойствия». «Если же,— добавлял Сабанеев,— приводимые против Раевского свидетельства» будут недостаточны для его обвинения, то удалить его «от службы» и «иметь его под строгим полицейским надзором»[72]. В таком виде этот приговор был утвержден и главнокомандующим 2-й Армией.

Как же могла возникнуть такая ошибка у Раевского? Быть может, таково было первоначальное намерение Сабанеева и о нем стало известно Раевскому, все время имевшему тесную связь «с волей», может быть, кто-либо из его информаторов сообщил неверные сведения,— Раевский же был убежден, что именно таково было первоначальное решение Сабанеева, впоследствии им почему-то измененное. Раевский мог так думать и потому, что ему было известно о намерении Сабанеева ходатайствовать в 1825 г. лично перед царем о его (Раевского) прощении. Об этом сам Сабанеев писал Раевскому, когда тот находился в Тираспольской крепости[73]. Впрочем, позже он и это письмо,

видимо, считал неискренним, по крайней мере, отношение Раевского к Сабанееву после этого письма не изменилось; не упоминает он об этом письме и в «Воспоминаниях». Очень вероятно, что письмо Сабанеева было неискренним и вызвано опасениями, что его тактика в отношении Тайного общества будет разгадана и раскрыта Раевским, как это в действительности и произошло. Может быть, Сабанеев уже был осведомлен об этом.

Аналогичную ошибку делает Раевский и относительно в. к. Константина во всех автобиографических заметках и записках: и в «Заметках» 1844 г., и в автобиографической записке 1858 г., и в настоящих «Воспоминаниях» он пишет об оправдании его Константином. И в данном случае материалами следственного дела это сообщение не подтверждается. Да и трудно допустить — особенно памятуя напряженную обстановку в семье Романовых в первые годы после восшествия на престол Николая,— чтобы в. к. Михаил Павлович да и сам Николай решились так резко игнорировать мнение брата. Между тем в «Заметках» 1844 (или 1849) года Раевский пишет категорически: «Мнение Михаила Павловича утверждено, цесаревича Константина Павловича — уничтожено»[74]. Приговор Военно-судной комиссии в Замостье, работавшей под непосредственным наблюдением Константина, был иной: Комиссия нашла, что дело Раевского невероятно запутано, что для его разбора и решения нужно было бы вызвать и допросить около 1000 свидетелей, что лица, которых нужно было допросить, находятся в разных городах и потому недоступны для суда, что утрачен целый ряд документов, что остались непоправимо невыясненными важнейшие обстоятельства дела и пр., вследствие этого Военно-судная комиссия не сочла возможным вынести «окончательный приговор» и считала необходимым «создать ⟨для этой цели⟩ специальную особую Комиссию». Вот это решение и было утверждено Константином и принято Николаем; по его приказанию была учреждена для окончательного рассмотрения дела Раевского Комиссия под председательством Левашева, которая и вынесла приговор,— приговор не оправдательный, но все же возвращающий свободу: вменить Раевскому «в наказание нахождение его под судом и арестом с лишком пять лет» и отставить от службы, «с тем, чтобы впредь ни к каким делам не определять» и «не дозволять ему выезжать из того места, которое изберет себе жительством»[75]. С этим приговором не согласился в. к. Михаил Павлович, заменивший его лишением дворянства, чинов, орденов и пожизненной ссылкой в Сибирь, что и было утверждено Николаем. Михаил Павлович не забыл, видимо, дерзкой выходки Раевского в Следственном комитете[76].

Ошибка Раевского непонятна. Не было ли и в данном случае какого-либо обещания со стороны Константина, сдержать которое он не сумел или не захотел? У Раевского же были все основания рассчитывать на благоприятное решение его дела Константином. Константин с самого начала отнесся к нему благосклонно и ласково, как будто действительно чувствовал какую-то симпатию к своему узнику: он значительно облегчил условия его содержания в крепости. Это поведение Константина обусловило ошибку Раевского, и оно же в значительной степени определило характер посвященной Константину главы «Воспоминаний». В противоречии с большинством декабристских авторов, Раевский говорит о благородных качествах Константина и о его популярности. Правда, он тут же добавляет, что не уверен, была ли бы счастлива под его управлением России, но и при этой оговорке панегирик Константину в устах Раевского производит странное впечатление. Едва ли, однако, эти страницы можно объяснить только личным чувством признательности со стороны Раевского,— в своей характеристике он отразил настроения некоторой части дворянской общественности, видевшей в Константине антагониста его царствующему брату. В 20-е годы очень много говорили о недовольстве Константина реакционной политикой Александра, о его отрицательном отношении к военным поселениям, о его симпатиях к низшим классам населения и даже о его сочувствии идее освобождения крестьян от крепостного рабства[77]. Во власти этих настроений находились в те годы юные Герцен и Огарев. По собственному признанию Герцена, он отдал год жизни «поклонению этому чудаку». «Он был тогда народнее ⟨то есть популярнее⟩ Николая,— пишет Герцен,— отчего, не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, любили его»[78].

О том же свидетельствует и Огарев. В недавно найденном и опубликованном автобиографическом отрывке «Моя исповедь» он пишет, дополняя рассказ Герцена: «Нам казалось, что Константин был действительно обманут, что он несравненно лучше Николая, что он человек свободы, и тебе ⟨то есть Герцену⟩ пришла мысль, что нам надо присягнуть ему и пожертвовать всем для его восстановления. Мы взяли листок бумаги, написали присягу и подписались. Перо, которым мы подписались, хранилось у кого-то из нас, как святыня»[79]. Любопытно совпадение дат: Герцен и Огарев вспоминают здесь 1826 год; рассказ Раевского воспроизводит его настроение 1827 года.

Эти настроения вместе с личным чувством признательности и благодарности и обусловили особый тон соответствующей главы «Воспоминаний». Но вместе с тем у Раевского была, несомненно, и другая цель; эти панегирические страницы, по существу, полемичны. Изображение Константина контрастирует с обликом солдафона Михаила.

VI

С историей кишиневской организации тесно связан и крайне запутанный и усложненный новейшими исследованиями вопрос о братьях Липранди и об их отношении к Тайному обществу. О принадлежности к Тайному обществу старшего брата, Ивана Петровича Липранди, авторитетно свидетельствовал декабрист С. Г. Волконский, недоумевавший, как этот блестящий передовой человек сделался впоследствии «тайным и усердным сыщиком и даже в конце концов пострадал за свое чрезмерное шпионское усердие[80]. О принадлежности Липранди к Союзу Благоденствия показывал на следствии Комаров[81], однако сам Липранди категорически отрицал свое участие в Обществе и сумел убедить в этом судей, добившись полного оправдания. В своих «Воспоминаниях» Липранди отрицал не только свое участие в Тайном обществе, но даже какую бы то ни было свою осведомленность о его существовании. Однако свидетельство Волконского казалось столь бесспорным и авторитетным, что почти все исследователи, касавшиеся вопроса о принадлежности Липранди к Союзу Благоденствия, решали его утвердительно.

Но сравнительно недавно — не столько в результате привлечения каких-либо новых архивных материалов, сколько путем различного рода изобретательных интерпретаций и домыслов — были выдвинуты иные точки зрения. Биография Липранди оказалась под пером новейших исследователей весьма усложненной. Если П. Е. Щеголев еще только допускал возможность шпионской деятельности Липранди во время его пребывания на юге, то Л. П. Гроссман уже безоговорочно именовал его «политическим авантюристом» и «мрачным провокатором». Еще далее пошел С. Я. Штрайх, который совершенно произвольно и вне какой-либо точной исторической документации воссоздавал провокаторскую деятельность Липранди накануне 1825 года. С. Я. Штрайх утверждал, что дружба Липранди с Пушкиным и Раевским преследовала исключительно осведомительские цели; именно он был истинным виновником ареста Раевского, — и потому-то, чтоб скрыть свое участие, уехал накануне ареста из Кишинева в трехнедельный отпуск. Эта длительная поездка и отпуск вызваны были, по концепции С. Я. Штрайха, тем, что «заговорщики были уже вспугнуты и искали в своих рядах предателей». Эти фантастические домыслы встретили поддержку со стороны С. Я. Гессена, подкрепившего их новыми — и столь же произвольными — соображениями[82].

Новый пересмотр «дела Липранди» был сделан П. А. Садиковым[83]. Ему удалось весьма убедительно доказать, что нет никаких оснований обвинять Липранди в провокаторской деятельности во время его пребывания на юге, в период дружбы с Пушкиным и Раевским: «...в начале двадцатых годов Липранди далеко еще не был тем, чем стал впоследствии». Но вместе с тем Садиков категорически отрицал участие Липранди в Союзе Благоденствия; ошибочное же свидетельство Волконского он объяснял тем, что мемуарист спутал двух братьев Липранди; членом Тайного общества был не И. П. Липранди, а его младший брат, Павел. В. Г. Базанов не только вновь возвращается к прежней гипотезе, но утверждает даже, что И. П. Липранди вместе с Раевским и Охотниковым принадлежали к основному активу кишиневской группы[84]. Воспоминания Раевского окончательно разрешают этот спор и вполне распутывают

этот весьма важный для истории всех декабристских организаций в Бессарабии вопрос: Орлов, действительно, поручил Раевскому принять обоих братьев Липранди, но Раевский уклонился, «отозвавшись» тем, что «и без принятия в Общество на них рассчитывать можно». Таким образом, выясняется, что, видимо, ни один из братьев Липранди не состоял в Тайном обществе, но что они оказывали ему различные услуги. Очевидно, И. П. Липранди был о многом осведомлен, в частности, он помогал Раевскому найти оказию для передачи письма Непенину, через него Раевский передал «на волю» стихи и важные письма и т. п. Должно отпасть и категорическое утверждение Садикова об услуге, оказанной кишиневским декабристам младшим Липранди. По мнению Садикова, именно П. П. Липранди спас их от провала, отказавшись взять при обыске у Раевского его книги, среди которых находился Устав Общества («Зеленая книга») с хранившимися в нем расписками принятых Охотниковым членов[85]. В. Г. Базанов совершенно справедливо усомнился в правильности и законности такого вывода. Нет никаких оснований думать, что П. П. Липранди знал о хранении Ра вским «Зеленой книги» и уже тем более не мог знать, что в последней находились расписки[86]. Вероятно, и сам Раевский обнаружил расписки после ухода Липранди и Радича,— и сразу поспешил сжечь и книгу и расписки. Непонятно, как он мог забыть об этом накануне, после предупреждения Пушкина. Здесь уместно вспомнить замечания ряда мемуаристов о неосторожности Раевского, в чем упрекал его и генерал Орлов.

Но Раевский подчеркивает, что все остальные бумаги, которые могли повести к его обвинению,— а стало быть и к обвинению других членов Общества,— он успел уничтожить. Это сообщение устанавливает в полной мере значение услуги, которую оказал не только Раевскому, но и всем декабристам Пушкин. Спас кишиневскую организацию от провала не Павел Липранди, как уверяет П. А. Садиков, а Пушкин. Не будь его предупреждения, Раевский не уничтожил бы заблаговременно всех уличающих документов[87], и тогда кишиневскую группу не могли бы спасти ни стойкость Раевского на допросах, не нежелание Сабанеева раскрывать у себя в корпусе существование Тайного общества. Обнаружение же кишиневской организации не только привело бы немедленно к аресту ее членов, но быть может и к аресту всех тульчинских декабристов во главе с Пестелем и Юшневским. Таков в конечном счете исторический смысл и значение услуги, оказанной делу декабристов великим поэтом.

В рассказе Раевского остается неясным, почему он, столь ревностно заботясь об усилении кадров Тайного общества, предпочел иметь братьев Липранди лишь в качестве близких Обществу лиц, а не прямых участников его. Возможно, что уже тогда у Раевского были какие-то опасения, не позволявшие ему довериться до конца обоим братьям. Здесь Раевский чего-то не договаривает. Поведение Павла Липранди во время ареста Раевского, о чем последний рассказывает в своих «Воспоминаниях», вполне оправдало его осторожность.

Впрочем, Раевский вообще многого не договаривает в «Воспоминаниях», а некоторые факты своей деятельности как бы затушевывает. Он, например, очень глухо говорит о своем участии в Южном обществе. Читая «Воспоминания» Раевского, можно иногда даже усомниться (как это и сделал их первый читатель, Л. Ф. Пантелеев), действительно ли состоял в нем Раевский. И только некоторые беглые намеки автора вполне рассеивают эти сомнения, в частности, таково упоминание о передаче ему Орловым «Зеленой книги» после ликвидации Союза Благоденствия. Ясно что Орлов передал ему Устав Общества не для архивного хранения, а для дальнейшей организации работы и для вербовки новых членов. Это сообщение Раевского бросает свет и на позицию Орлова, позволяя думать, что обычная версия о полном отходе его от дел Тайного общества после московского совещания 1821 г. нуждается в значительном пересмотре. К этой же мысли ведут и многократные и настойчивые заявления Раевского о его молчании об Орлове, во время следствия. Об этом он писал и в стихах:

Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил..

Пестель на следствии показывал: «Ежели бы действительно мы нашлись в готовности и в необходимости начать возмутительные действия, то я полагал нужным освободить из-под ареста майора Раевского, находившегося тогда в Тирасполе, в корпусной квартире генерала Сабанеева» [88]. Это показание Пестеля свидетельствует о том, как высоко ценили вожди восстания революционную деятельность и энергию Раевского. Несомненно, учитывая эти свойства его характера, а также его популярность в солдатских массах, Пестель предполагал назначить Раевского одним из военачальников.

Вторая глава «Воспоминаний», то есть та глава, где Раевский говорит о своем участии в Тайном обществе, имеет несколько конспективный характер. Быть может, он предполагал посвятить Южному обществу особую главу, но вероятнее другое предположение: в своих мемуарах он сравнительно глухо говорит о своей личной революционной деятельности. В автобиографической записке 1858 г. он совсем не упоминает о ней и даже отрекается от некоторых стихов своих. Только один раз, в позднем письме к сестре, он совершенно четко и категорически заявляет о своей связи с общедекабристским движением: «Брат твой прежде других (по неясному подозрению только)—был арестован и заключен в крепость Тираспольскую. Тайна оставалась тайною, и только 14-го декабря 1825 г. она объяснилась на Сенатской площади» [89]. Такая осторожность вызвана была, по всей вероятности, опасением повредить рассказом о своем революционном прошлом служебной карьере безгранично любимых им сыновей [90].

Очень показательно в этом отношении и характерно воспоминание о полковнике Непенине. Раевский рассказывал, как при его беседе с Непениным о целях Общества, последний сказал ему: «Мой полк готов. За офицеров и солдат ручаюсь — надоело ничего не делать». Этот рассказ раскрывает подлинные убеждения и настроения Непенина в начале 1820-х годов. Однако Раевский эти строки затем вычеркнул. Вполне понятно, почему он это сделал. Непенину удалось добиться оправдания,— он утверждал на суде и сумел убедить в этом своих судей, что не имел никакого понятия о подлинных целях и замыслах Союза Благоденствия и что он искренно полагал его Обществом, преследующим лишь патриотически-филантропические и нравственно-просветительные цели. Когда Раевский писал «Воспоминания», Непенин уже умер,— и тем не менее он не хотел, — в интересах, может быть, семьи Непенина, — изобличать покойного товарища в неправде, хотя бы и вынужденной. Здесь уместно вспомнить афоризм, внесенный Раевским на страницы тетради «Воспоминаний»: «Чужая тайна есть чужая собственность. Подлый человек только решается огласить вверенную ему, даже неважную тайну» [91].

В окончательном тексте Непенин охарактеризован лишь как «храбрый, боевой офицер, честный, откровенный и беспечный, как все тогдашние военные люди». Раевский упоминает о Непенине только в связи с Союзом Благоденствия, но рассказ о его тогдашних настроениях и предупредительное письмо, которое Раевский писал ему перед своим арестом, заставляют предполагать близкие связи Непенина и с Южным обществом.

О нарочитой сдержанности Раевского в его «Записках» достаточно наглядно свидетельствуют вычеркнутые фразы; так, например, при перечислении задач Тайного общества он писал первоначально: «Время не назначалось, но приготовление началось»,— но затем это четкое указание на начало работы по подготовке восстания он зачеркнул. Характерен также намек в последней главе: описывая свой сибирский путь, он говорит: «Я припомнил ⟨...⟩ мою цель».

VII

«Воспоминания» Раевского позволяют — хотя и косвенно—разобраться во взаимоотношениях его со ссыльными декабристами. Эти взаимоотношения изображаются обычно как взаимнонедоброжелательные: и сам Раевский будто бы не любил своих товарищей по ссылке и чуждался их, и декабристы сторонились Раевского, не считали его принадлежащим к их среде, именовали «псевдодекабристом» и даже считали «предателем» [92]. В качестве источников этих слухов приводят рассказы и сообщения доктора Н. А. Белоголового, чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Муравьеве

Б. В. Струве, М. С. Волконского (сына декабриста) и главным образом письмо М. А. Бакунина к Герцену, в котором содержится подробный рассказ о взаимоотношениях декабристов и Раевского и дана уничтожающая характеристика последнего [93].

Благодаря Бакунину, его отрицательная характеристика Раевского проникла и на страницы «Колокола», где Раевский оказался изображенным не как политический ссыльный и бывший революционер, а как какой-то темный делец, «хитрый и пронырливый приказчик по питейной части», как некий агент «питейной инквизиции», стремящийся разыгрывать роль «всесильного человека» при генерал-губернаторе и им выгнанный [94].

Здесь не место останавливаться на этой стороне дела. Отметим только коротко что свидетельство Бакунина было явно пристрастно и опиралось не на показания самих декабристов, которых Бакунин уже и не застал в Иркутске, а отражало, главным образом, суждения о Раевском, исходившие из круга муравьевской камарильи, особенно возненавидевшей Раевского после известной иркутской дуэли Беклемишева и Неклюдова. Эта дуэль расколола иркутское общество на две партии: партия протеста, активнейшим участником которой был Раевский, возглавлялась Петрашевским; Бакунин же, из личных видов и соображений, примкнул к официозной партии и оказал ей огромную поддержку, выступив с обширной корреспонденцией о дуэли в «Колоколе» [95].

Конечно, никто из ссыльных декабристов не мог называть Раевского «предателем» и отрицать его революционную роль в прошлом. В Западной Сибири жили великолепно осведомленные о роли и значении Раевского в истории Тайного общества Батеньков, Басаргин, Фонвизин, Якушкин, и никто из них не мог ни прямо, ни косвенно явиться источником клеветнической информации Бакунина; из восточносибирских декабристов о деятельности Раевского были вполне осведомлены Волконский, Поджио, Муханов, Никита Муравьев, Лунин, Юшневский. С некоторыми из них Раевский был знаком еще до ареста, с некоторыми познакомился во время суда и следствия; Поджио, несомненно, слышал о Раевском от Пестеля. Таким образом, ссылка Бакунина на декабристов должна быть категорически отведена.

Но некоторые трения между иркутскими декабристами и Раевским действительно существовали: об этом сохранилось прямое свидетельство И. Д. Якушкина, приезжавшего в 1854 г. в Иркутск для свидания с сыном Вячеславом, служившим чиновником особых поручений при генерал-губернаторе графе Н. Н. Муравьеве [96]. Трения эти вытекали не из отрицательного отношения к личности Раевского, а из принципиальных расхождений в оценке многих вопросов современности. О сущности этих разногласий дает представление тот же Бакунин. При всем личном пристрастном отношении к Раевскому он не мог отказать ему в огромном уме, наблюдательности, знании разных слоев русского общества и особенно в превосходном знании Сибири. Это — «самая живая и умная статистика Сибири»,— писал о нем Бакунин [97]. Вместе с тем он отмечал и еще одну черту в характере и мировоззрении Раевского, которая,— даже по словам Бакунина,— выгодно отличала его от декабристов. Отмечая на разные лады «нравственное превосходство» декабристов, Бакунин не мог не признать умственного превосходства и *подлинного демократизма* Раевского. «Раевский,— пишет Бакунин,— по существу своему, как истый русский человек, с ног до головы демократ». Бакунин сопровождает это замечание различными оговорками, характеризуя демократизм Раевского как «демократизм цинический», идущий не «от сердца», а из соображений себялюбивых, эгоистических, но не может отказать Раевскому в строгой последовательности и принципиальности его демократической мысли. Раевский в изображении Бакунина — демократ «по совершенно русскому уму», «дельному, здоровому, не допускающему ни фикций, *ни жалких примирений* ⟨курсив наш.— *М. А.*⟩. По всему образу мыслей он — демократ и социалист quand même *, хотя в жизни он готов действовать и по ⟨со⟩всем другим направлениям. Того же нельзя сказать о большинстве декабристов — за весьма редкими исключениями, они были и есть либералы, так что при всем признании превосходства Пестеля они еще до сих пор *невольно* косятся на него как на пророка русской и даже славянской демократии...» [98]. Эта характеристика,

---

* несмотря ни на что (франц.).

где Бакунин преодолел свое политиканство, которым отмечены все его действия и выступления в Сибири, позволяет разобраться в причинах и сущности принципиальных споров и разногласий между Раевским и декабристами. Следует подчеркнуть, что сведения о резких спорах и столкновениях падают на 1850-е годы, когда у многих декабристов особенно ярко проявились примиренческие настроения, враждебное отношение к демократическим и революционным явлениям литературной и общественной жизни, симпатии к славянофильству и т. д. Сибирские дискуссии в декабристской среде захватывали, несомненно, и темы их прошлого, уже ставшего историей. Сохраненное Бакуниным именование декабристов «вифлеемскими младенцами» свидетельствует об отрицательном отношении Раевского к тактике декабристов во время восстания 1825 г., когда вожди движения не смогли и не сумели организовать должным образом революционную энергию масс. Это убеждение является и основной тенденцией «Воспоминаний» Раевского.

«Воспоминания» Раевского позволяют более отчетливо уяснить и воссоздать атмосферу страстных споров в иркутской ссылке в 1850-е годы. В 1855 г., то есть в то самое время, когда по свидетельству Якушкина, произошло наиболее резкое охлаждение в отношениях Раевского и остальных декабристов, Е. И. Якушкин-сын писал из Сибири своей жене о разочаровании, пережитом им при встречах со ссыльными декабристами. Он с горечью сообщал, что некоторые из них «ударились в мистицизм», что «прежние понятия не совсем сходятся у них с новыми» и что, наконец, есть такие, которые относятся с недостаточным уважением к «своему делу», за «которое столько лет страдают»[99]. Этими «новыми настроениями» пропитаны и многие декабристские мемуары. В ином, прямо противоположном, духе написаны «Воспоминания» Раевского; читая их, вполне постигаешь, что̀ разделяло в то время Раевского и его товарищей по делу и изгнанию; его мемуары свидетельствуют о сохранившемся революционном темпераменте автора, о его пылком революционном патриотизме, политической активности, о живом, неугасаемом и непримиримом чувстве ненависти к крепостническому строю и деспотизму. По своей свежести и живости незавершенные «Воспоминания» Раевского могут быть поставлены в один ряд с мемуарами братьев Бестужевых, Горбачевского или Якушкина, в основе которых лежит идея «защиты своего дела». Подобно им, они сохраняют непосредственную свежесть переживаний и тот строй мыслей и чувствований, который привел их авторов в ряды Тайного общества. Так же как и Горбачевский, Раевский стремился запечатлеть светлые образы главнейших деятелей движения — таковы образы Орлова и Охотникова. Все это обеспечивает бесспорную историческую, общественную ценность публикуемых «Воспоминаний» Раевского.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Первое упоминание о рукописи «Записок» Раевского относится к 1874 г.— см. прим. 7.

[2] «Каторга и ссылка», 1926, № 2, стр. 143—145.

[3] «Рассказы о временах Николая I. III. Братья Раевские».— «Полярная звезда на 1862», кн. 7, вып. 1. Лондон, 1861, стр. 107—111.— Ранее имя В. Ф. Раевского появилось на страницах «Колокола» в корреспонденции из Иркутска («Под суд», 1 июля 1860 г.), но в неверном освещении, какое придал ему Бакунин. Возможно, что Герцен опубликовал в 1861 г. заметку о братьях Раевских, главным образом, для того, чтобы реабилитировать В. Ф. Раевского и исправить свою ошибку, заключавшуюся в помещении письма Бакунина с ложными и оскорбительными сведениями о Раевском.

[4] «Русская старина», 1873, № 3, стр. 376—379; оглавление «Русской старины». Том седьмой.— Там же, № 6, стр. IV.— Следует обратить внимание на различную датировку «Заметок» в «Полярной звезде» и в «Русской старине»: у Герцена — 1849 год, в «Русской старине»—1844 год. Быть может, в одном из изданий допущена опечатка?

[5] Щеголев. Декабристы, стр. 17.

[6] Чтобы восполнить этот пробел, вероятно остро ощущавшийся читателями, в майской книжке того же журнала появилось краткое сообщение о важнейших моментах биографии Раевского, написанное тем же Е. И. Якушкиным («Русская старина», 1873, № 5, стр. 720).

[7] *Л.* Заметка по поводу статьи П. В. Анненкова о Пушкине.— «Вестник Европы», 1874, № 6, стр. 857—858.— Заглавие дано Стасюлевичем.

[8] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке». Под ред. М. К. Лемке, т. III. СПб., 1912, стр. 658 (в дальнейших ссылках сокращенно: Стасюлевич). П. В. Анненков при переиздании своих статей отдельной книгой целиком включил этот рассказ в свое изложение. О происхождении рукописи и о том, каким образом она оказалась у него, Л. Ф. Пантелеев ничего не сообщает. По всей вероятности, он получил ее от дочери Раевского, Веры Владимировны, бывшей замужем за Ф. В. Ефимовым, который в 1870-х годах служил в Красноярске. Позже в Красноярск переехала и вторая дочь Раевского, Софья Владимировна, в замужестве Дьяченко. Временные и случайные затруднения, препятствовавшие немедленному опубликованию, о которых упоминал в своем письме Пантелеев, заключались, видимо, в каких-либо семейных спорах вокруг литературного наследия Раевского. Очень вероятно, что некоторые из членов семьи Раевского противились публикации материалов, свидетельствовавших о революционном прошлом их отца.

[9] После заметки о Раевском в «Полярной звезде» его имя появилось в печати, в вышедших также в 1861 г., в Лондоне, «Записках» И. Д. Якушкина, где автор дважды с большим уважением упоминал о нем как о деятельном члене Кишиневской управы Союза Благоденствия. Более подробно говорил о Раевском И. П. Липранди в своих «Заметках», написанных по поводу статей П. И. Бартенева «Пушкин в южной России» («Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди».— «Русский архив», 1866, № 9, стб. 1214—1490; о Раевском — стб. 1446—1452, 1469—1470; перепечатано: «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников». Л., 1950). В 1871 г. имя Раевского было вскользь упомянуто в книге С. В. Максимова «Сибирь и каторга», ч. III. СПб., 1871, а в следующем году — в «Записках» Н. В. Басаргина (сб. «Девятнадцатый век», ч. I. М., 1872).

Смерть Раевского в 1872 г. прошла совершенно незамеченной, не вызвав никаких некрологов или заметок. О малой популярности Раевского в литературе и исторической науке дореволюционного периода свидетельствует и долго существовавшая путаница вокруг его имени и фамилии: то его путали с другими Раевскими, то искажали его имя. Так, например, Л. Н. Майков именовал его Василием (Л. Н. Майков. Пушкин. СПб., 1899, стр. 455), а М. К Лемке — Викентием (см. Герцен, т. XXII, стр. 507); отчество же сплошь и рядом писалось: Федорович.

[10] «Владимир Федосеевич Раевский в 1822—1846 гг.».— «Русская старина», 1890, № 5, стр. 365—380. В том же 1890 г. в «Сборнике Русского исторического общества» (т. 73) была опубликована переписка П. Д. Киселева с А. А. Закревским, где неоднократно упоминалось имя Раевского. Позже на страницах «Русской старины» появился ряд писем Раевского к родным (1902, № 3; 1903, №№ 4 и 9).

[11] П. Е. Щеголев. Владимир Раевский и его время.— «Вестник Европы», 1903, № 4, стр. 509—561; отдельно издано под заглавием: «Первый декабрист Владимир Раевский. Из истории общественных движений в России в первой четверти XIX века». СПб., 1905; изд. 2—1907; в переработанном виде с многочисленными дополнениями вошло в сборник статей Щеголева «Исторические этюды» (СПб., 1913), а затем в его книгу: Декабристы, 1926 (в дальнейшем все ссылки на эту статью делаются по изданию 1926 г.).

[12] П. Е. Щеголев. Возвращение декабриста.— «Современник», 1912, № 12, стр. 287—300 (перепечатано в книге Щеголева «Декабристы»); «Из воспоминаний майора В. Ф. Раевского о цесаревиче Константине Павловиче. (Посещение цесаревичем Константином Павловичем майора В. Ф. Раевского в сентябре 1826 г. в крепости Замостье)». Сообщил В. М. Пушин.— «Сборник статей в честь Д. Ф. Кобеко». СПб., 1913, стр. 239—246.

[13] См. прим. 8.

[14] Н. О. Лернер напечатал это письмо целиком в своей статье в «Каторге и ссылке», 1926, № 2, стр. 143—145.

[15] Там же, стр. 143—144.

[16] Л. Ф. Пантелеев. Из воспоминаний прошлого. Ред., статья и коммент. С. А. Рейсера. М.— Л., 1934.

[17] Щеголев. Декабристы, стр. 9.

[18] Ю. Г. Оксман. Из писем и записок В. Ф. Раевского.— «Красный архив», 1925, № 6, стр. 297—314; Послание В. Ф. Раевского Г. С. Батенькову (1815).— «Атеней», кн. III, 1926, стр. 6—7 и 26—28.

[19] «Вечер в Кишиневе» (Из бумаг «первого декабриста» В. Ф. Раевского). Публикация Ю. Г. Оксмана.—«Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 657—666.

[20] Л. Сперанская. Автограф В. Ф. Раевского. — «Лит. критик», 1939, № 2, стр. 211—217; Базанов. Раевский; В. Г. Базанов. Декабристы в Кишиневе. Кишинев, 1951; ряд статей и публикаций П. С. Бейсова: «О литературном наследстве В. Ф. Раевского». —«Сибирские огни», 1938, № 3-4, стр. 123—131; «Неопубликованный Раевский».—«Волжская новь», кн. 10, Куйбышев, 1940, стр. 271—287; «Тайное общество братьев Раевских в Курске».— «Лит. альманах», кн. II. Курск, 1940, стр. 270—276; «Поэт-декабрист В. Ф. Раевский».— «Лит. Ульяновск», I, 1947, стр. 125—131; «Новое о Раевском».— «Ульяновский сборник», стр. 210—346; «О курсе поэзии Раевского».— «Вопросы философии», 1950, № 3, стр 352—357; «Курс

поэзии В. Раевского».—«Ученые записки Ульяновского гос. пед. ин-та», вып. IV, 1950, стр. 224—236; В. Раевский. Стихотворения. Вступ. статья, подготовка текста и примечания В. Г. Базанова («Библиотека поэта», малая серия, изд. 2). Л., 1952, стр. 5—52.

[21] Полное заглавие этой записки—«Собственноручная автобиографическая записка»; написана Раевским в 1858 г. во время поездки в Европейскую Россию. По сообщению И. П. Липранди («Русский архив», 1866, стб. 1438), эта «Записка» была написана для него с официальной целью. Очевидно, Липранди обещал Раевскому хлопотать о его реабилитации. Этим и объясняется наличие в данной записке разного рода неточностей и умолчаний, в частности, Раевский категорически отрицает свое участие в Тайном обществе после закрытия Союза Благоденствия и даже отрекается от своих стихов, писанных им в тюрьме (см. «Ульяновский сборник», стр. 222 и 225).

[22] Ныне эта рукопись хранится в собрании В. А. Крылова в Ленинграде; за предоставленную мне возможность ознакомиться с ней приношу глубокую благодарность члену Союза советских писателей М. А. Сергееву и инженеру-геологу В. А. Крылову. Последнего благодарю также за содействие и помощь в подготовке рукописи к печати.

[23] Об этом см. прим. 12. Следует подчеркнуть, что все цитаты из «Воспоминаний», которые были включены в примечания публикатора, находятся в данной рукописи. В отличие от Щеголева, именующего рукописные мемуары Раевского, которыми он частично пользовался, «Записками», В. М. Пушин называет их «Воспоминаниями», то есть так, как озаглавлена и найденная рукопись. Это позволяет думать, что данная рукопись находилась в течение некоторого времени в распоряжении Пушина, но, по неизвестным причинам, осталась неопубликованной. Откуда она попала в антиквариат, установить не удалось.

[24] В данной записи соединены события разных лет: отправка декабристов на нерчинские заводы — 1826 г., дело Горлова — 1828 г., «бунт Иринея»—1831 г., приезд норвежских астрономов —1829 г. Раевский, очевидно, имел в виду составить перечень важнейших событий, происходивших в Иркутске. К какому году относится данная запись и имела ли она продолжение, установить пока не удалось.

[25] Александр Степанович Лавинский (1776—1844)— генерал-губернатор Восточной Сибири; во время его управления краем состоялась отправка декабристов в Сибирь и распределение их по тюрьмам и местам поселений, о чем и упоминает далее Раевский («ссылка государственных преступников в Нерчинские рудники»). В Нерчинские рудники была направлена первая партия декабристов (Волконский, Трубецкой, Давыдов, Борисовы, Оболенский, Арт. Муравьев, Якубович); первоначально они находились в Николаевском и Александровском винокуренных заводах и в Усольских соляных варницах, в октябре 1826 г. все они, по представлению Лавинского, были переведены в Нерчинские рудники (Б. Николаевский. Первые декабристы в Иркутске.— «Сибирские записки», 1919, № 3, стр. 10—30; см. также: В. Изгачев. С ошибочных позиций. (О книге В. Соколова «Декабристы в Сибири»).— «Забайкалье». Лит.-худож. альманах, кн. I. Чита, 1947, стр. 298—304).

[26] Николай Петрович Горлов — председатель Иркутского губернского правления, исправляя временно должность генерал-губернатора во время отсутствия из Иркутска Лавинского, очень гуманно отнесся к прибывшей в Иркутск первой партии декабристов и разместил их вблизи Иркутска вместо того, чтобы отправить в дальние рудники. По заявлению Лавинского, против Горлова было возбуждено дело «За беспорядки при распределении государственных преступников» (см. С. Н. Чернов. Декабристы на пути в Благодатск.— «Каторга и ссылка», 1925, № 5, стр. 267—275). С. Н. Чернов обратил внимание на то, что Горлов, во время его пребывания в Томске, был вместе с Батеньковым основателем, управляющим и мастером масонской ложи «Восточное светило» и почетным членом ложи «Избранного Михаила», в составе которой было немало будущих декабристов. О ложе «Восточное светило» см. А. Н. Пыпин. Русское масонство. XVIII в. и первая четверть XIX в. Пг., 1916, стр. 468—472.—Секретарем ложи был Г. С. Батеньков (там же, стр. 469).

[27] Об Иринее — см. далее, стр. 88.

[28] Раевский говорит о приезде в 1829 г. в Иркутск участников сибирской экспедиции для магнитных наблюдений — норвежского ученого астронома Ганстина (Hansteen) (1784—1873) и лейтенанта Дуэ (Due). Описание путешествия Ганстина переведено на немецкий и французский языки: «Reise-Erinnerungen aus Sibirien». Leipzig, 1854; «Souvenirs d'un voyage en Siberie». Paris, 1857.

До Иркутска вместе с ними совершил путешествие немецкий ученый Адольф Эрман (Раевский называет его «Герман»), отправившийся затем в северо-восточную часть Сибири. В Якутске он встретился с А. А. Бестужевым,— и эта встреча, о которой он подробно рассказал в своей книге (A. Erman. Reise um die Erde durch Nord-Asien und die beiden Oceane in den Jahren 1828, 1829 und 1830, vol. I—V. Berlin, 1838—1848), дала повод для знаменитой поэмы Шамиссо о Ал. Бестужеве и Рылееве (см. М. П. Алексеев. Немецкая поэма о декабристах.— «Бунт декабристов», стр. 372—382; М. К. Азадовский. Поэма Шамиссо об А. Бестужеве.— «Сибирские огни»,

1926, № 3, стр. 148—157). В этой же книге (т. III, стр. 80—81) Эрман рассказывает о встрече в Иркутске с Раевским (перевод этих страниц дан в статье Ф. Кудрявцева «Первый декабрист В. Ф. Раевский в Олонках». — «Сибирь и декабристы». Иркутск, 1925, стр. 68—69). Раевский сообщил Эрману о причинах своей ссылки, определенно указав на свою причастность к делу декабристов и подчеркнув, что основным поводом послужила его пропагандистская деятельность среди солдат. В передаче Эрмана многие факты биографии Раевского оказались искаженными (особенно в той части, где речь идет о его пребывании в Сибири), но его рассказ имел большое значение как первое известие в печати о Раевском, революционере-декабристе. Эрман называет его «участником последней поэтической революции». Встреча Эрмана с Раевским, по всей вероятности, произошла в квартире А. Н. Муравьева, исполнявшего в то время должность иркутского городничего.

[29] Щеголев. Декабристы, стр. 10, 12, 13, 17, 31.

[30] Раевский упоминает и о присылке ему после смерти Батенькова портрета последнего. Из письма к сестре явствует, что этот портрет он получил в январе 1864 г. («Русская старина», 1903, № 4, стр. 186).

[31] «Письмо декабриста майора Владимира Федосеевича Раевского к сестре его Вере Федосеевне Поповой».— «Русская старина», 1902, № 3, стр. 601—602.— В одном из неопубликованных писем 1868 г. Раевский говорит о намерении написать воспоминания о своем сорокалетнем пребывании в Сибири.

[32] В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 28.

[33] Щеголев. Декабристы, стр. 247—248.

[34] С. Н. Чернов. Из истории солдатских настроений в начале 20-х годов.— «Бунт декабристов», стр. 56—128; М. К. Одинцова. Декабристы-солдаты.— «Сборник трудов Иркутского гос. университета», в. XII, 1927, стр. 31—50; Ее же. Солдаты-декабристы.— «Сибирские огни», 1928, № 6, стр. 217—221; ВД, т. VI. Примечания Ю. Г. Оксмана, стр. 205—270; Г. С. Габаев. Солдаты—участники заговора и восстания декабристов.— «Декабристы и их время», II, стр. 357—364; С. Я. Гессен. Солдатские волнения в начале XIX века. М., 1929; Его же. Солдаты и матросы в восстании декабристов. М , 1930; О. Багалий. Солдатські маси в декабристському рухові.— Сб. «Декабристи на Україні», т. I. Київ, 1926; В. Ганцова-Берникова. Отголоски декабрьского восстания 1825 г.— «Красный архив», 1926, № 3, стр. 196—204.

[35] ВД, т. IX, стр. 33.

[36] Там же, стр. 83.

[37] Там же, стр. 241.

[38] ИРЛИ. Дело комиссии военного суда при Литовском военном корпусе. Ответные пункты майора Раевского по черновым его бумагам (№ 3168, XVI в., л. 52 об.). В дальнейших ссылках: ИРЛИ.

[39] Ю. Г. Оксман. Указ. соч.— «Красный архив», 1925, № 6, стр. 309—310.

[40] О разгроме кишиневской организации Тайного общества см. назв. выше работы П. Е. Щеголева, Ю. Г. Оксмана, В. Г. Базанова и др. Последней сводкой биографических данных о В. Ф. Раевском является очерк С. Ф. Коваля «Декабрист В. Ф. Раевский». Иркутск, 1951.

[41] Якушкин, стр. 36—37.— В комментарии С. Я. Штрайха к этому месту (стр. 542) допущена неточность: об этом эпизоде Следственная комиссия узнала не из заявления самого Бурцова, как пишет комментатор, а из доноса Майбороды.

[42] ВД, т. IV, стр. 77 и 121.

[43] Лорер, стр. 305, 312.

[44] Якушкин, стр. 36. О роли Киселева в уничтожении этого документа см. далее, в примечаниях к письму Раевского к Киселеву от 20 октября 1840 г., стр. 151. Самый текст документа, восстановленный Раевским по памяти во время следствия, см. в работе Ю. Г. Оксмана «Воззвание к сынам Севера».— «Очерки из истории движения декабристов». М., 1954, стр. 459.

[45] Дополнительные подробности к данному рассказу Раевского находятся в его показаниях на суде. Сабанеев спросил его: «А что у вас за список между бумагами?»— и когда Раевский начал уже писать ответ, «Сабанеев потребовал его к себе на квартиру», где находился «один только аудитор Бобышев», но в присутствии последнего «разговора о списке не было», и Сабанеев спрашивал его лишь относительно других бумаг. После того, как Следственная комиссия по делу о декабристах выяснила (по доносу Майбороды) характер этого списка, Раевский уже не мог далее настаивать на своем объяснении происхождения списка, какое он сделал на допросе у Сабанеева, и дал такое показание: «Я имел альбом, в который вносил замечательные обстоятельства относительно ко мне и мысли мои». Этот альбом он подарил «одному дитяти», отдельные же листы с записями вырвал и положил в свой портфель. На одном «из сих листков» были имена тех членов Общества, о которых он узнал от Комарова (ИРЛИ, указ. дело, л. 37). В списке были имена Пестеля, Фонвизина, Орлова, Юшневского, Аврамова, Комарова, Бурцова, Тургенева, Охотникова, А. Муравьева и Граббе (там же, л. 36 об.). По показанию Бурцова, в списке были еще имена Ивашева, Басаргина и Крюкова (ЦГИА, ф. № 48, д. 149, л. 12).

[46] О взаимоотношениях П. Д. Киселева с декабристами см. исследование Н. М. Дружинина «Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева». т. I. М.—Л., 1946, стр. 259—269.

[47] Дело Раевского разбиралось в нескольких инстанциях; в «автобиографической записке» 1858 г. Раевский говорит о двух следствиях и трех судах («Ульяновский сборник», стр. 222), на самом деле и следствий и судов было гораздо больше. Первоначально дело Раевского разбиралось в Военно-судной комиссии при 16-й дивизии, приговорившей его к смертной казни. Второй инстанцией был Полевой аудиториат 2-й Армии, третьей инстанцией — Главный аудиториат. Оттуда дело перешло в Следственную комиссию, учрежденную для разбора дел о восстаниях 1825 г., а затем в военный суд (иначе: Военно-судная комиссия при Литовском военном округе). Следующей (шестой) инстанцией была Особая комиссия под председательством Левашева, специально назначенная для окончательного рассмотрения дела Раевского. Последней инстанцией была конфирмация в. к. Михаила Павловича, утвержденная Николаем.

Многократное рассмотрение дела было вызвано «протестами» Раевского и его жалобами на пристрастное ведение суда и следствия. Вызов в Следственную комиссию и перевод из Тираспольской крепости в Петропавловскую последовал на основании показаний некоторых декабристов о принадлежности Раевского к Южному обществу. О вынесенных этими инстанциями различных приговорах см. во вступительной статье. Сложные перипетии дела Раевского изложены во «Всеподданнейшем докладе» Дибича («Декабристы», 1926, стр. 183—196).

[48] «Всеподданнейший доклад...» — «Декабристы», 1926, стр. 193—195.

[49] Базанов. Раевский, стр. 37, 41.—Более подробно останавливается автор на этом вопросе в работе: «Декабристы в Кишиневе». Кишинев, 1951 (стр. 68—79). Но его утверждение, что «фактически возникло дело не о майоре Раевском, а о Тайном обществе декабристов в Кишиневе», неверно. Еще более несостоятельно заключение П. С. Бейсова: генерал Сабанеев прилагал «все силы для раскрытия» «злодейской шайки» («Ульяновский сборник», стр. 320). Это утверждение Бейсова тем более непонятно, что — как можно судить по его публикации — ему доступно было все многотомное следственное дело о Раевском, хранящееся в ЦГВИАЛ.

Попытку порвать с традиционным пониманием роли Сабанеева в процессе Раевского сделал С. Коваль (указ. соч., стр. 37): по его мнению, Сабанеев скрыл часть бумаг Раевского, так как в них могли содержаться материалы, компрометирующие его самого.

Однако это объяснение не подтверждается существующими материалами. Некоторый ключ к пониманию роли Сабанеева в процессе Раевского дает его собственное письмо к А. А. Закревскому от 18 ноября 1822 г. Явно предвидя возможные и вполне естественные упреки в недостаточном раскрытии всех обстоятельств дела (особенно же по вопросу о Тайном обществе) и стремясь застраховать себя от них, он писал: «Шесть недель ровно жил я в 32-м Егерском полку для известного дела Раевского, производимого по высочайшей воле под надзором моим. Дело ясное, но свидетельства слабые, словом, многосложное дело сие требует много изустных объяснений, *особливо по предмету Союза* и приглашения за Днестр к Вознесенску. *Боюсь и сам впасть в подозрение в послаблении* производимого над Раевским дела, но я уверен, что всякий другой и того бы не сделал, что я сделал» и т. д. («Сборник Русского исторического общества», т. 73. СПб., 1890, стр. 588—589.— Курсив наш).

[50] Цитируется по книге: В. Г. Базанов. Декабристы в Кишиневе, 1951, стр. 65.— Автор ссылается на высочайшее повеление от 31 июля 1822 г., сохранившееся в бумагах Н. Ф. Дубровина.

[51] А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. I. СПб., 1882, стр. 232; см. также: В. Г. Базанов. Декабристы в Кишиневе, стр. 56.

[52] А. П. Заблоцкий-Десятовский. Указ. соч., т. I, стр. 178.— В письме к Николаю I Киселев позже оправдывал себя тем, что «записка», найденная у Раевского, не была озаглавлена как «список членов Тайного общества», почему и он и Сабанеев не могли в этом деле разобраться, Бурцов же, конечно, сразу понял, в чем дело (там же, стр. 252).

[53] ИРЛИ, указ. дело, лл. 36—37 об.

[54] Якушкин, стр. 51.

[55] Там же, стр. 53.

[56] Н. К. Шильдер. Император Александр I. Его жизнь и царствование, т. IV. СПб., 1905, стр. 204.

[57] Якушкин, стр. 15.

[58] С. Б. Окунь. История СССР. 1796—1825. Курс лекций. Л., 1948, стр. 397—398.

В. Г. Базанов полагает, что значение «Записки» Грибовского было ослаблено личными разъяснениями М. А. Милорадовича и Ф. Н. Глинки (Базанов, стр. 103—104). Однако никаких фактических данных для подтверждения своего заключения автор не приводит.

[59] Записка М. К. Грибовского («Записка о тайных обществах в России») опубликована в «Русском архиве», 1875, № 3, стр. 423—430; более исправно — в сб. «Декабристы», 1926, стр. 109—116.

[60] Воспоминания С. П. Шипова.— «Русский архив», 1878, № 6, стр. 183.— Очень характерно сообщение А. А. Жандра. На вопрос Д. А. Смирнова, почему правительство, зная о существовании Союза Благоденствия, «его не уничтожило, прямо и ясно», Жандр отвечал: «Вот, подите, прямо и ясно не уничтожало, а лиц, которых подозревало, как участвующих в нем, преследовало. Всех понемножку выгоняли или из службы, или из столицы» (Из неизданных материалов Д. А. Смирнова к биографии А. С. Грибоедова.— «Исторический вестник», 1909, № 4, стр. 136; ср. «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». М., 1929, стр. 257).

[61] Н. К. Шильдер. Указ. соч., стр. 330.

[62] ИРЛИ, указ. дело, л. 39.

[63] Там же, л. 40 об.

[64] ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 42, т. I, ч. 1, л. 6.— На следствии в Петербурге Раевский искусно вплетал в свои показания имя Киселева: «Генерал Киселев,— говорил он,—через несколько недель после ареста моего спрашивал меня лично о существовавшем Союзе. Он обещал мне свое покровительство и милосердие государя ⟨...⟩ Но я знал тогда менее, чем теперь — и неужели генерал Киселев не делал никаких длительных разысканий по сему предмету тогда же, прежде или после» (ЦГИА, ф. № 48, д. 149, л. 16 об.).

[65] ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 42, т. IIIа, ч. 1, лл. 2, 6, 47, 48.

[66] Там же, т. III, лл. 8—12.

[67] Священник Луцкевич, один из главных доносчиков на Раевского, заявил на следствии, что Раевский не бывал на исповеди (ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 42, т. I, л. 62). В показаниях других свидетелей отмечалось неуважительное отношение Раевского к религии и церкви: «Раевский прихаживал в церковь в шлафроке, туфлях, с трубкою и нередко заглушал обедню криком песенников, собранных у его квартире ⟨!⟩».—«Сие столь важное обстоятельство, — писал презус Военно-судной комиссии Дурасов,—⟨генерал Сабанеев⟩ оставил без дальнейшего исследования» (там же, т. IIIа, л. 91).

[68] «Ульяновский сборник», стр. 225.

[69] Щеголев. Декабристы, стр. 69.

[70] Базанов. Раевский, стр. 41.

[71] В. Г. Базанов. Декабристы в Кишиневе. Кишинев, 1951, стр. 66.

[72] Щеголев. Декабристы, стр. 63.

[73] 19 ноября 1825 г. генерал Сабанеев частным письмом сообщал Раевскому, что намерен во время своего пребывания в Таганроге «просить милости у государя» об его (то есть Раевского) освобождении и «тот день почтет себе счастливейшим днем в жизни» (ИРЛИ, указ. дело, лл. 40—41).

[74] «Русская старина», 1873, № 3, стр. 378.

[75] Щеголев. Декабристы, стр. 66.

[76] О столкновении с Михаилом Павловичем в Следственной комиссии Раевский позже рассказал в письме к Батенькову: «После моих ответов на вопросы великий князь Михаил Павлович спросил у меня: „Где Вы учились?“ Я ответил: „В Московском университетском благородном пансионе“.— „Вот, что я говорил..., эти университеты. Эти пансионы!..“ Я вспыхнул. Мне было только 30 лет.—„Ваше вы⟨сочест⟩во, Пугачев не учился ни в пансионе, ни в университете...“» («Ульяновский сборник», стр. 308)

[77] Семевский, стр. 178.

[78] А. И. Герцен. Былое и думы, ч. I, гл. III (Герцен, т. XII, стр. 56).

[79] «Лит. наследство», т. 61, 1953, стр. 693.

[80] Волконский, стр. 318.

[81] Довнар-Запольский. Мемуары, стр. 30.

[82] Л. П. Гроссман. Исторический фон «Выстрела».— «Новый мир», 1929, № 5, стр. 217—231; С. Я. Штрайх. Знакомец Пушкина — И. П. Липранди.— «Красная новь», 1935, № 2, стр. 213—218; С. Я. Гессен. — В кн.: Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936, стр. 22, 587—588.

[83] П. А. Садиков. И. П. Липранди в Бессарабии 1820-х годов.— «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», вып. VI. М.—Л., 1941, стр. 266—295.

[84] Базанов. Раевский, стр. 39.

[85] П. А. Садиков. Указ. соч., стр. 280.

[86] Базанов. Раевский, стр. 45—46.— В доказательство своего предположения о принадлежности Павла Липранди к Тайному обществу и что именно к нему направился Раевский (после предупреждения его Пушкиным об аресте) с целью разузнать какие-либо подробности П. А. Садиков ссылается, главным образом, на то, что Ивана Липранди в это время уже не было в Кишиневе, так как он выехал накануне ареста Раевского. Как показывают «Воспоминания» Раевского, И. П. Липранди во время ареста Раевского еще находился в Кишиневе и именно к нему направился Раевский после разговора с Пушкиным.

[87] В «Воспоминаниях» Раевский недоумевает, каким образом попал к Сабанееву список с именами членов Тайного общества; по всей вероятности, список этот находился в числе бумаг, выкраденных у Раевского Сущевым, о чем Раевский сообщил в перехваченном письме к Непенину («Красный архив», 1925, № 6, стр. 306).

[88] ВД, т. IV, стр. 192.— По мнению Ю. Г. Оксмана, «появление в революционных войсках В. Ф. Раевского предусматривалось ⟨Пестелем⟩ в декабре 1825 г. как необходимая предпосылка последнего, неосуществленного плана переворота» («Красный архив», 1925, № 6, стр. 310).

[89] «Русская старина», 1902, № 3, стр. 602.

[90] Такую догадку высказывает и П. С. Бейсов, стремясь объяснить умолчания и неточности «автобиографической записки» 1858 г. («Сибирские огни», 1938, № 3-4, стр. 129), однако его утверждение, что Раевский смотрел на своих детей «как ⟨на⟩ продолжателей своего дела» (там же), является совершенно необоснованным и не опирается ни на какие известные нам материалы. Наоборот, все, что известно о сыновьях Раевского, в корне противоречит такому утверждению.

[91] По аналогии с данным случаем можно сделать предположение, что такими же соображениями руководствовался Раевский и в своем рассказе о Липранди. Последний был еще жив, когда Раевский писал свои «Записки»; Липранди удалось скрыть свою связь с Тайным обществом, и раскрытие подлинной его роли в истории ранних революционных организаций могло бы отразиться на его служебной карьере. Но в 1864 г., то есть во время составления Раевским его «Записок», отношение Раевского к Липранди должно было очень измениться, и едва ли он стал бы думать о дальнейшем его преуспевании: в это время Липранди уже был окончательно разоблачен как руководитель секретной полицейской агентуры Министерства внутренних дел и главный виновник ареста Петрашевского и членов его кружка. Чрезвычайно знаменательно, что разоблачающие Липранди материалы были опубликованы в той же книжке лондонской «Полярной звезды», где впервые появились и «Заметки» Раевского (см. выше прим. 3).

[92] Б а з а н о в. Раевский, стр. 26, 47—48 и др.

[93] Н. А. Б е л о г о л о в ы й. Воспоминания и другие статьи. М., 1897, стр. 57; Б. В. С т р у в е. Воспоминания о Сибири. 1848—1854. СПб., 1889, стр. 26—27; В о л к о н с к и й, стр. 477; М. А. Б а к у н и н. Собр. соч. и писем, т. IV. М., 1935, стр. 336—338. — К этим свидетельствам В. Г. Базанов присоединяет также показание М. Ф. Орлова, категорически отрицавшего свою связь с Раевским и давшего в 1825 г. несколько ироническую характеристику его (см. указ. соч., стр. 26). Но, совершенно очевидно, что Орлов давал сознательно ложное показание: снижая роль и значение Раевского, он выгораживал и его и, главным образом, себя; впоследствии же, когда Орлов изменил свою тактику, он назвал имя Раевского как одного из наиболее деятельных членов Тайного общества.

[94] Приложение к «Колоколу» — «Под суд», л. 6, от 1 июля 1860 г., стр. 63.— Приказчиком по питейной части именует Раевского Бакунин, имея в виду его службу у откупщика Пономарева (Раевский ведал перевозкой вина из Александровского винокуренного завода, расположенного вблизи с. Олонки).

[95] Дуэль состоялась 16 апреля 1859 г.; похороны Неклюдова превратились в общественную демонстрацию; речь на могиле говорил Петрашевский. Наиболее обстоятельно история этой дуэли изложена в исследовании: В. И. С е м е в с к и й. М. В. Буташевич-Петрашевский в Сибири («Голос минувшего», 1915, № 3, стр. 31—38); см. также: М. Л ю б а в с к и й. Русские уголовные процессы. СПб., 1867, т. II, стр. 64—107; Автобиография С. С. Шашкова.— «Восточное обозрение», 1882, № 32 от 4 ноября, стр. 12; Б. М и л ю т и н. Генерал-губернаторство Н. Н. Муравьева в Сибири.— «Исторический вестник», 1888, № 12, стр. 612—619; «Сборник старинных бумаг, находящихся в музее П. И. Щукина», т. X, стр. 265; М. К. А з а д о в с к и й. Очерки литературы и культуры в Сибири. Иркутск, 1947.—Иркутские корреспонденции о дуэли были напечатаны в приложении к «Колоколу»—«Под суд» (л. 2 от 15 ноября 1859 г.— «Убийство Неклюдова в Иркутске»). Среди материалов «Софийской» коллекции бумаг Герцена—Огарева недавно обнаружено письмо Ф. Н. Львова, написанное со слов Раевского, содержащее чрезвычайно ценные и до сих пор не известные факты, относящиеся к этой дуэли. Письмо публикуется в 63-м томе «Лит. наследства». О позиции Бакунина и его отношениях с иркутским обществом см.: С е м е в с к и й, стр. 45 — 50.

В числе причин, приведших к резкому разрыву между Бакуниным и кругом Петрашевского, Семевский указывает и на очень скоро обозначившиеся принципиальные расхождения между ними и на нежелание Петрашевского признавать авторитет Бакунина. Эти личные моменты очень ярко окрашивают письмо Бакунина, посвященное Петрашевскому и Раевскому.

[96] «Летописи», стр. 446.

[97] М. А. Б а к у н и н. Указ. соч., стр. 337—338.

[98] Там же, стр. 332—336.

[99] «Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных». Приготовил к печати и снабдил примечаниями Е. Е. Якушкин. М., 1926, стр. 30.

ВОСПОМИНАНИЯ[1]

⟨I⟩

1841 г. февраля 6.

⟨МОЙ АРЕСТ⟩[2]

1822 года февраля 5 в 9-ть часов пополудни кто-то постучался у моих дверей. Арнаут, который стоял в безмолвии передо мною, вышел встретить или узнать, кто пришел? Я курил трубку, лежа на диване.

— Здравствуй, душа моя! — сказал мне, войдя весьма торопливо и изменившимся голосом, Алекс⟨андр⟩ Сергее⟨вич⟩ Пушкин.

— Здравствуй, что нового?

— Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе.

— Доброго я ничего ожидать не могу после бесчеловечных пыток * Сабанеева[3] ... но что такое?

— Вот что: Сабанеев сейчас уехал от генерала (1). Дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но, слыша твое имя, часто повторяемое, я, признаюсь, согрешил — приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя непременно надо арестовать; наш Инзушко (2), ты знаешь, как он тебя любит, отстаивал тебя горою. Долго еще продолжался разговор, я многого не дослышал, но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано, что ничего открыть нельзя, пока ты не арестован.

— Спасибо, — сказал я Пушкину, — я этого *почти* ожидал! Но арестовать штаб-офицера по одним подозрениям отзывается какой⟨-то⟩ турецкой расправой. Впрочем, что будет, то будет. Пойдем к Липранди — только ни слова о моем деле[4].

Пушкин смотрел ** на меня во все глаза.

— Ах, Раевский! Позволь мне обнять тебя!

— Ты не гречанка[5], — сказал я ***.

Арнаут (3) подал мне шпагу, перчатки и шляпу. Липранди жил недалеко, на дворе было очень темно; в окнах у него светлело ****.

— У него гости, — сказал я, — пойдем.

Мы вошли. Оба брата (4) весьма обрадовались. — «Что нового? Что нового?» — закричали все присутствовавшие. — «Спросите у Павла Петровича (майор Липранди 2-й, брат), он доверенным и полномочным министром генерала Сабанеева».

— Это правда, — отвечал он, — но если бы вам доверял Сабанеев, как мне, вы также не захотели бы нарушить правил и доверия***** и чести.

— Это правда! Я знаю и не сержусь на вас, но я не так скромен, как вы.

Разговор сделался общим.

Подполковник Иван Петр⟨ович⟩ Липранди женат был на француженке в Ретели[6]. Жена его умерла в Кишиневе. У нее осталась мать; одного доктора жена — француженка также; пришли к ней провести вечер. Эта докторша была нечто вроде г-жи Норман (5). Я попросил ее загадать о моей судьбе[7]: пики падали на моего короля. Кончилось на том, что мне предстояли чрезвычайное огорчение, несчастная дорога и неизвестная отдаленная будущность. Я посматривал то на Пушкина, то на Павла Липранди. Наши взоры встречались. В 11 часов мы разошлись.

---

* *Первоначально*: самовластительных мер

** *Первоначально*: посмотрел

*** *Далее зачеркнуто*: Ни одной черты не изменилось, все тот же насмешливый взгляд. Я не отвечал ни слова.

**** *Первоначально*: много свечей.

***** *Первоначально*: справедливости

6 февраля 822 года. г. Кишинев

Возвратясь домой, я лег и уснул спокойно. Я встал рано поутру, приказал затопить печь. Перебрал наскоро все свои бумаги и все, что нашел излишним, сжег. Со мною на одной квартире жил капитан Охотников[8]. Любимец и друг генерала Орлова (6), он находился при нем. Как образованный, служивший долго и богатый человек, он оставался на службе потому только, что служил с Орловым и что на службе полагал более принести пользы Обществу (7). С отъездом генерала Орлова в Киев он уехал в Москву, где имел много родных и связей. Его бумаги оставались у меня. Я не решился их жечь, потому что не полагал в них ничего важного. Он был очень осторожен.

Часов в 8-мь пришел ко мне старший юнкер Шпажинский с рапортом о благополучии школы.

— Прикажете ли выпустить юнкеров из карцера? * Генерал Сабанеев прислал за ними. Он присылал за ними ночью, но его посланный, конечно, уведомил его, что они под арестом. Все тетради наши давно у него, но он доискивается еще чего-то. В ланкастерской школе у⟨нтер⟩-о⟨фицеру⟩ Дуку обещал офицерский чин, если он выдаст все писанные прописи.

— Какие прописи? — спросил я.

— Не знаю.

— И я также не знаю (8). Юнкеров отпустите к Сабанееву. Я сегодня в классах не буду и может быть совсем не буду. Я вас прошу быть честным человеком — вот все, чего я за труды и попечения мои об вас требовать могу. Рапортовать ко мне более прошу не приходить, но юнкеров в классы сбирать моим именем. Прощайте, Шпажинский!

У юнкера навернулись слезы. Он вышел.

Двух часов не прошло, как дрожки остановились у моих дверей. Я не успел взглянуть в окно, а адъютант генерала Сабанеева, гвардии подполковник Радич, был уже в моей комнате.

— Генерал просит вас к себе, — сказал он мне вместо доброго утра.

— Хорошо, я буду!

— Но, может быть, у вас дрожек нету, он прислал дрожки.

— Очень хорошо. Я оденусь.

Я приказал арнауту подать трубку и позвать человека одеваться. Разговаривать с адъютантом о генерале было бы неуместно, хотя Радич был человек ** простой и добросовестный. Я оделся, сел с ним вместе на дрожки и поехал.

Этот роковой час 12-й решил участь всей остальной жизни моей. Мне был 27-й год. До сих пор жизнь моя, несмотря на ее превратности, шла, если не спокойно, по крайней мере согласно с моими склонностями *** и желаниями. Я служил войну 812 года в артиллерии, потом был корпусным адъютантом по артиллерии, вышел в отставку, определился в Егерский полк штабс-капит⟨аном⟩, переведен в кирасиры по желанию отца моего, где произведен в ротмистры, но, не желая оставаться в кирасирском полку, я перешел обратно в 32-й Егерский полк, в дивизию к г⟨енералу⟩ Орлову. В 1820 г. произведен в майоры, принял баталион, но по желанию генерала Орлова сдал баталион и принял в управление военную школу, заведенную им при 16 дивизии для юнкеров и нижних чинов. Всегда в обществе вышних начальников, я привык понимать их****. Война научила меня знать ничтожество людей, которым нередко ***** вверена власть вследствие долговечности и долготерпения на службе. С живым воображе-

* *Первоначально*: из тюрьмы
** *Далее зачеркнуто*: скромный
*** *Далее зачеркнуто*: страстями
**** *Далее зачеркнуто*: и к обхождению с ними.
***** *Первоначально*: большею частию

нием* я на службе предался более, нежели в училище**, чтению и учению. Новые идеи, Европа в сильном политическом пароксизме, все содействовало, чтобы освежить голову, подвести все страсти, убеждения мои, понятия мои к одному знаменателю.

С самоуверенностию *** я вошел в дом Сабанеева. Он был в зале; посреди залы стоял большой стол, на столе в беспорядке навалены

РУКОПИСЬ ВОСПОМИНАНИЙ В. Ф. РАЕВСКОГО, 1841 г.

Лист с записью о полученном от Пушкина 5 февраля 1822 г. предупреждении о готовящемся аресте Раевского

Собрание В А. Крылова, Ленинград

бумаги. По правую сторону, в некотором отдалении и ближе ко входу, стояли три юнкера из моей школы. Сущев (9) — главный доносчик, Перхалов и Мандра [9]. По левую руку у стены адъютанты генерала Сабанеева; прямо против дверей, в которые я вошел, у другого конца стола, на котором стояло кресло, стоял генерал Сабанеев, как бы ожидая моего прихода.

---

* *Первоначально*: С сильными страстями и горячим воображением

** *Первоначально*: в школе

*** *Далее зачеркнуто*: и холодным духом

Прежде, нежели ударил последний час прежней моей жизни, надо описать *того человека *, который самопроизвольно, без законов, стыда и совести*, решился прозвонить ** этот час.

Сабанеев был офицер суворовской службы и подражал ему во всем странном, но не гениальном; так же жесток, так же вспыльчив до сумасбродства, так же странен в обхождении — он перенял от него все, как перенимают обезьяны у людей. Его катехизис для солдат в глазах благомыслящих людей сделал его смешным и уродливым. Его презрение ко всему святому, ненависть к властям обнаруживались на каждом шагу. Его презрение к людям, в особенности к солдатам и офицерам, проявлялось в дерзких выражениях и в презрительном *** обхождении, не только с офицерами, но с генералами.

Росту не более 2-х аршин и 3-х вершков, нос красный, губы отдутые, глаза весьма близорукие, подымающиеся и опускавшиеся, как у филина, рыже-русые волосы, бакенбарды такого же цвета под галстух, осиплый и прерывистый голос, речь, не имеющая никакого смысла, слова без связи. Он говорил с женою (10) (которую отнял у доктора Шиповского), с адъютантами ****, как будто бы бранился. Человек желчный, спазматический и невоздержанный — он выпивал ежедневно до 6 стаканов пунша, и столько же вина, и несколько рюмок водки.

Может быть, кто-нибудь сочтет слова или описания мои пристрастными. Но я пишу для будущего поколения*****, когда Сабанеева давно уже нет. Впрочем, он имел много благородного******, если действовал с сильными. Он знал военное дело, читал много, писал отлично хорошо, заботился не о декорациях, а о точных пользах солдат [10], не любил мелочей и сначала явно говорил против существовавшего порядка ******* и устройства администрации и правления в России и властей. Так что до ареста моего он был сам в подозрении у правительства. При Александре его поддерживал только *Дибич*, по свойствам, виду, качеству, количеству, роду, склонению и спряжению — родной брат Сабанеева.

Едва я вошел или едва ему доложили, что я вошел, он сделал несколько шагов вперед... Замешательство заметно у него было не только на лице, но в самих движениях...

— Здравствуйте! Вот юнкера говорят, что вы в полной школе сказали: что я не боюсь Сабанеева! — сказал он тихим голосом. — Что вы скажете на это?

— Я ничего сказать не имею, кроме того, что я хорошо не помню, говорил ли я это им.

— Если вы не помните, то они вас уличат.

— Я улик принять не могу. Эти юнкера по требованию вашему только сегодня были выпущены из карцера, и дело не так важно, чтобы нужны были улики.

— Но я хочу знать, говорили ли вы?[11]

Я полагаю, что если бы я сказал: «не говорил» или «извините, что говорил»,— и самолюбный человек, может быть, кончил бы ничем... Но этот тон, это требование, моя вспыльчивость, вызов с юнкерами на очную ставку — решили всё.

— Я повторяю, что я не помню, но если, ваше превосходительство,

---

* *Далее зачеркнуто*: который дерзнул

** *Первоначально*: пробить

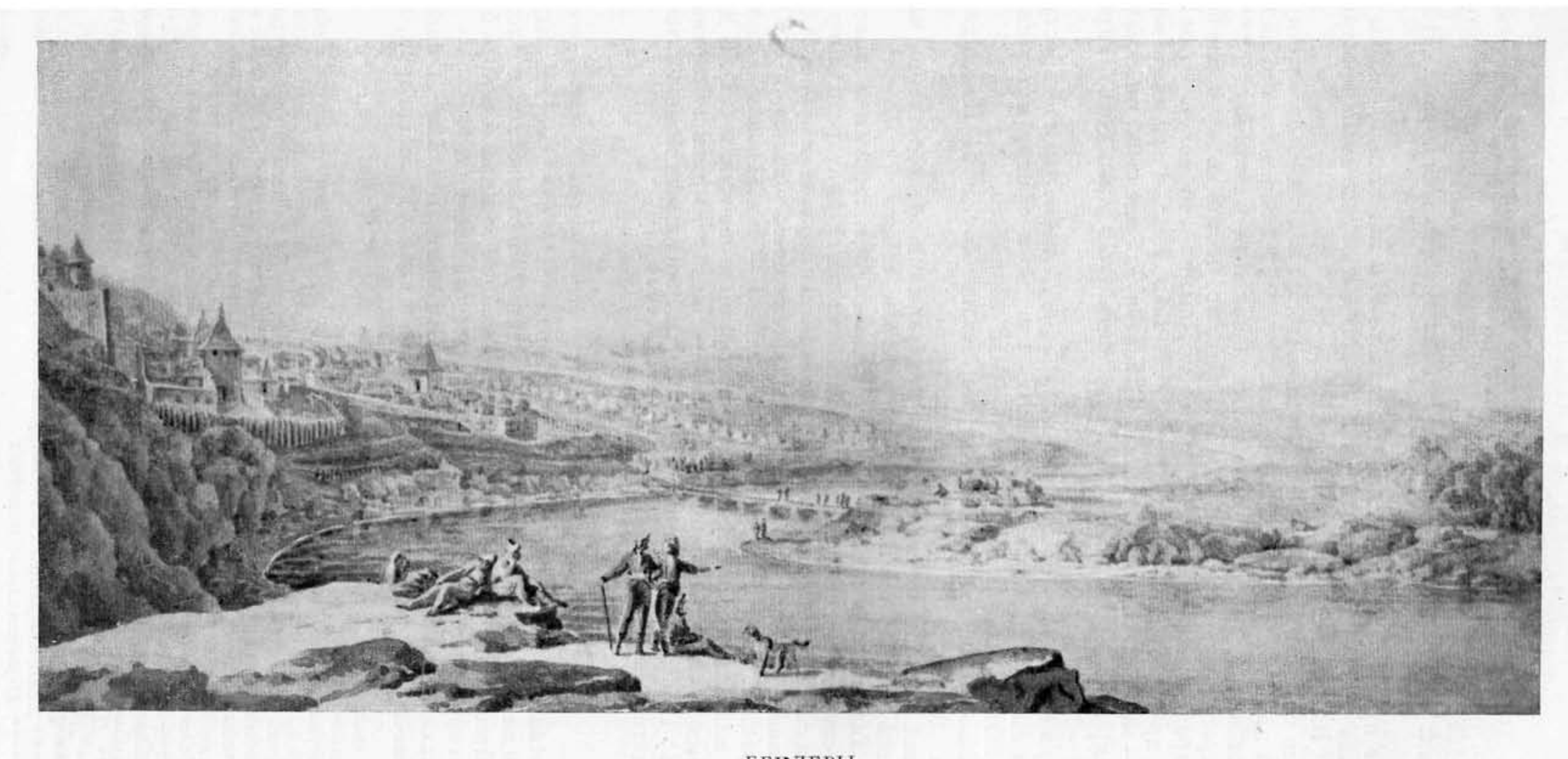
*** *Первоначально*: унизительном

**** *Далее зачеркнуто*: и с любимцами как

***** *Далее зачеркнуто*: как отчет творцу, не для света — для детей: они прочтут эти строки, когда меня не будет.

****** *Далее зачеркнуто*: и высокого

******* *Далее зачеркнуто*: вещей



БЕНДЕРЫ

Акварель М. М. Иванова, 1790-е гг.

Всесоюзный музей А. С. Пушкина, Ленинград

требуете *, чтоб я вас боялся, то извините меня, если я скажу **, что бояться кого-либо считаю низостью ***.

Не ожидая подобного ответа, у Сабанеева все лицо повело судорогами. Он закричал: «Не боитесь? Но как вы смели говорить юнкерам... Я вас арестую!»

— Ваше превос‹ходительство›! Позвольте вам напомнить, что вы не имеете права **** кричать на меня... Я еще не осужденный арестант.

— Вы? Вы? Вы преступник!..

Что было со мною, я хорошо не помню, холод и огонь пробежали во мне от темя до пяток; я схватился за шпагу *****, но опомнился и, не отняв руки от шпаги, вынул ее с ножнами и подал ее Сабанееву ******. «Если я преступник, вы должны доказать это, носить шпагу после бесчестного определения Вашего******* и оскорбления я не могу». Этим заключилась драматическая сцена********. Я знал, что так или иначе меня арестуют,— как сказал мне Пушкин. Сабанеев был вне себя, он схватил шпагу и закричал: Тройку лошадей, отправить его в креп‹ость› Тираспольскую!

— 1-вое, я нездоров, чтобы сейчас ехать; 2‹-е›, я знаю, что я не преступник, и хотя вы будете стараться доказать это, но я офицер и телесных насилий и пыток Вы делать ********* права не имеете.

— Хорошо, если вы нездоровы, вы останетесь здесь. Подождите. Послать за доктором и освидетельствовать.

Он вызвал подполковника Радича в другую комнату, с четверть часа продолжалась конференция. Радич и генерал вышли.

— Г-н Липранди, вы поедете с г. Радичем и возвратитесь вместе.

Для ‹о›свидетельства прислан был дивизионный доктор Шуллер [12], который дал свидетельство, что при нервном моем потрясении нужен отдых и пользование и что сильные движения для меня очень опасны, и тут же прописал рецепт. «А лекарство можете вылить»,— сказал он мне шопотом. Через полчаса все мои бумаги были забраны и опечатаны (11). К дверям моим был приставлен двойной караул. — Через семь дней я отправлен в креп‹ость› Тираспольскую. Вот причина и начало шестилетнего заточения, тридцатилетней жизни в ссылке **********.

Примечания

1) Пушкин в юношестве своем за *Оду к свободе*********** сослан был в г. Кишинев на службу и отдан на руки наместнику Бессарабской области, генерал-лейтенанту Инзову [13]. Он искал сближения со мною и вскоре был в самых искренних ************, дружеских отношениях.

2) Происхождение или рождение генерала Инзова есть *тайна*[14]. В пеленках он привезен был в дом князя Трубецкого и сдан для воспитания, где

* *Далее зачеркнуто*: от меня невозможного

** *Далее зачеркнуто*: что я ни вас и никого

*** *Первоначально*: бояться кого-либо из людей воспрещает мне религия и образ моих понятий о людях; надо, чтобы я очень дурно был устроен морально, и чтобы ваше пре‹восходительст›во были сложены физически иначе, чтобы заставить себя бояться, и хотя я не помню, говорил ли я юнкерам, но вам [позвольте спросить вас: разве вам так нужно, чтобы я боялся вас?] прямо и при них могу сказать, что я вас вовсе не боюсь.

**** *Первоначально*: доложить, что я не преступник, и вы не получили

***** *Далее зачеркнуто*: Я сделал два или четыре шага вперед. Сабанеев отскочил на два назад — я схватил за эфес моей шпаги

****** *Далее зачеркнуто*: я вспомнил, что я сделал неосторожный ужасный шаг

******* *Далее зачеркнуто*: я не имею права

******** *Первоначально*: Этим заключил я драматическую выходку.

********* *Далее зачеркнуто*: без высочайшей воли

********** *Первоначально*: девятнадцатилетних моих страданий

*********** *Далее зачеркнуто*: и в обнаруженных правилах не в духе правительства

************ *Первоначально*: коротких

пробыл до 16-летнего возраста. 16-ти лет отдан на службу к князю Репнину, откуда начинается его служебное и жизненное поприще. Он был всегда самый добросовестный человек, мягкосердый и целомудренный до старости. По доброте его души, мы всегда его называли: Инзушко.

РУКОПИСЬ ВОСПОМИНАНИЙ В. Ф. РАЕВСКОГО, 1863—1865 гг.
Лист с записью о приеме Раевского в Союз Благоденствия в июле 1819 г.
Собрание В. А. Крылова, Ленинград

3) После разбития корпуса князя Ипсилантия, сброд, составлявший его ополчение, перешел на нашу сторону. В том числе и арнауты — шайки знаменитых разбойников Иоргаки и Дмитраки. У этих арнаутов, или албанцев, разбой есть ремесло. Они чрезвычайно храбры, сильны и честны[15]. Я имел одного при себе. Он с жаром, почти со слезами, просил у меня позволения «Сабанеева *резай*!», т. е. зарезать Сабанеева, когда меня арестовали.

4) Иван Петрович Липранди. Подполковник. Переведен против воли из свиты его вели⟨чества⟩ по квартир⟨мейстерской⟩ части в Камчатский пехотный полк за то, что он подал прошение о переводе из свиты в Смоленский драгунский полк, которым командовал граф Ностиц, и Павел Петрович перешел из лейб-гренадерского полка в 32-й Егерский полк майором, потом флигель-адъютант за Варшавский штурм, и ныне генерал от инфантерии и корпусный начальник [16].

5) Говорят: известная г-жа Норман предсказала ш⟨табс⟩-кап⟨итану⟩ Каховскому, что он будет повешен.

6) Генерал Орлов, Михаил Федорович, командир 16-й дивизии, член Общества *Союза Общественного Благоденствия*. Впоследствии был в крепости и отставлен от службы. Брат его Алекс⟨ей⟩ Федорович молил государя за него и все обвинения приписывал мне, будто бы от излишней доверчивости его ко мне.

7) Тогда Общество не имело еще цели истребить существующую или царствующую династию. Приготовление к конституции, распространение света или просвещения и правил чистейшей добродетели — было основанием установления этого Общества. Исполнение еще в отдалении, когда умы будут готовы, о чем сказано особо.

8) Прописи есть совершенный вымысел или Сабанеева или юнкера Сущева, а эти мечтательные прописи играют важную роль в моем обвинении.

9) Презренное подлое существо, которое было орудием Сабанеева для составления на меня обвинения. Тварь, которую я избавил от строгого судебного приговора и помогал деньгами из сожаления к его бедности [17].

10) Генерал Сабанеев зазвал на ночь к себе жену доктора Шиповского и не отпустил ее обратно к мужу, которого перевел в другой корпус, а потом публично женился, тогда как она не имела развода с первым мужем. Вот как существуют в России * церковные и гражданские законы для** людей высокопоставленных.

11) В квартире моей был шкаф с книгами, более 200 экземпляров французских и русских. На верхней полке стояла *Зеленая книга* — Статут Общества Союз⟨а⟩ Общ⟨ественного⟩ Благоденствия и в ней четыре расписки принятых Охотниковым членов и маленькая брошюра: «Воззвание к сынам севера» [18]. Радич спросил у Липранди: брать ли книги? Липранди отвечал: «что не книги, а бумаги нужны». Как скоро они ушли, я обе эти книги сжег и тогда был совершенно покоен.

Примечание о Гамалее [19]

Мне нужно было доставить письмо к командиру полка, в котором я служил, полковнику Непенину. Но я боялся отправить по почте. Иван Петрович Липранди рекомендовал мне черноморского флота Дунайской флотилии лейтенанта Гамалею. Этот офицер *** взял на себя эту комиссию (полк стоял в Измаиле) и передал это письмо полковнику Непенину при бригадном генерале Черемисинове ****. Этот последний взял письмо у беспечного полковника, прочитал его, не возвратил Непенину и переслал к Сабанееву. Письмо не заключало в себе ничего особенно важного, но я начал письмо так: «что генерал Сабанеев с ума сходит, бьет и терзает солдат» и проч., а далее: «если вам будет запрос обо мне, я надеюсь, что вы дадите ответ благородный».

---

* *Первоначально*: Вот как делаются дела в России.

** *Далее зачеркнуто*: сильных

*** *Далее зачеркнуто*: с жадностию

**** *Первоначально*: бесчестным образом генералу бригады Черемисинову.

⟨II⟩

1819* года в июле месяце я принят в Общество в Тульчине[20]. Общество это именовалось: Союз *Общественного* Благоденствия, а не просто Союз Благоденствия, как говорится в отчете Комиссии. Зеленую книгу предварительно дал мне прочитать генерал-майор Мих⟨аил⟩ Алекс⟨андрович⟩ Фон-Визин[21].

Подписка, которую я дал, была следующего содержания: «Прочитавши Устав Союза Общественного Благоденствия и не найдя в нем ничего противного данной мною присяге, согласен быть членом и обязуюсь хранить в тайне о существовании Общества и вносить в оное двадцатую часть моих доходов». В Тульчине я был проездом** из Курской губернии, где я служил ротмистром в Малор⟨оссийском⟩ Кирасирском полку и перешел в 32-й Егерский полк капитаном. Полк стоял в Бессарабской области в г. Аккермане. 16-й дивизией командовал Мих⟨аил⟩ Федор⟨ович⟩ Орлов, дивизионная квартира находилась в г. Кишиневе.

В квартире капитана Комарова, свитского офицера[22], собирались члены Общества по вечерам[23]. У него я познакомился *** почти со всеми:

генерал-майор М. А. Фон-Визин,

генер⟨ал⟩-интендант Юшневский,

князь Барятинский — адъютант свитский Витгенштейна,

кап⟨итан⟩ Бурцов — адъют⟨ант⟩ Киселева,

полковник Пестель — адъют⟨ант⟩, впослед⟨ствии⟩ коман⟨дир⟩,

подпол⟨ковник⟩ Абрамов — адъютант Киселева, впослед⟨ствии⟩ команд⟨ир⟩,

кап⟨итан⟩ Ивашев — адъютант главно⟨командующего⟩,

кап⟨итан⟩ Басаргин — адъют⟨ант⟩ Киселева,

полковник Пятин — полковник Генера⟨льного⟩ ш⟨таба⟩ в отставке.

Тут находились проездом из Крыма в Москву подполк⟨овник⟩ Лунин и Никит⟨а⟩ Мих⟨айлович⟩ Муравьев — оба в гражданской одежде.

Вечера были шумными. Дело шло о цели и средствах.

Впоследствии: Пестель, Абрамов и Бурцов при производстве в чины приняли полки: Вятский, Украинский и Казанский. Генерал Фон-Визин сдал Егерскую бригаду князю Сергею Григорь⟨евичу⟩ Волконскому — также члену Общества.

Из общих этих шумных толков я видел, что Общество имело целию: правление конституционное, т. е.: ограничение власти самодержца представительною палатою, освобождение крестьян, уничтожение привилегий или равенство перед законом, развитие просвещения, т. е. умножение учебных заведений и народных школ, свобода слова и печати, судопроизводство****.

Школы взаимного обучения или ланкастерские во многих полках были открыты. Свобода слова была развита. О правительстве толковали не стесняясь. Я узнал о многих значительных лицах, принадлежащих к Обществу.

В Петербурге:

Кавелин — настав⟨ник⟩ великих князей

Никол⟨ай⟩ Ив⟨анович⟩ Тургенев — дейст⟨вительный⟩ ста⟨тский⟩ совет⟨ник⟩

генерал-адъютант князь Долгоруков

генер⟨ал⟩ Бибиков

---

* *Первоначально*: 1818

** *До этого зачеркнуто*: я числа не помню

*** *Далее зачеркнуто*: с теми офицерами, членами Общества, которых не знал прежде. Вот список членов Общества, которые тогда находились в Тульчине

**** *Далее зачеркнуто*: Время не назначалось. Но приготовление началось

Норов — впоследствии министр
князь Трубецкой — полковник
Никита Мих⟨айлович⟩ Муравьев
Лунин
Федор Глинка и несколько гвардейских офицеров
Шипов — полковник
обер-прокурор Краснокутский

В Москве:

Александр Муравьев — полковник
Мих⟨аил⟩ Муравьев — полковник, в настоящее время генерал-губернатор в Вильне
Фон-Визин — генерал
граф Бобринский
князь Шаховской
граф Мамонов
и много других значительных лиц и молодых людей, которые впоследствии из Петропавловской крепости выпущены за неимением доказательств и улик.

Многих достойных не принимали только потому, что уверены были в сочувствии их к делу.

В разных местах:

Граббе — полковник, в н⟨астоящее⟩ вр⟨емя⟩ генерал от кавалерии
Повало-Швейковский — командир полка
Канчиялов — командир полка
Муравьевы-Апостолы Сергей и Матвей
Артамон Муравьев — командир полка
Фон Бригген
Якушкин
Генерал Алек⟨сандр⟩ Львович Давыдов, полковник Василий Льв⟨ович⟩ Давыдов — братья по матери генерала от кавалерии Ник⟨олая⟩ Ник⟨олаевича⟩ Раевского.

Мордвинов адмирал, Сперанский и генерал Раевский были в подозрении. Об них спрашивали косвенно, уклоняясь высказать явное подозрение.

В 16-й дивизии, которою командовал Орлов:
сам Мих⟨аил⟩ Фед⟨орович⟩ Орлов
майор Вл⟨адимир⟩ Раевский
капит⟨ан⟩ Охотников
полковник Непенин.

Орлов поручил мне принять двух братьев Липранди (Липранди старший, в настоящ⟨ее⟩ время действ⟨ительный⟩ ст⟨атский⟩ совет⟨ник⟩, а младший — генерал от инфантерии) и майора Гаевского. Но я отозвался тем, что и без принятия в Общество на них рассчитывать можно.

Я пробыл в Тульчине 5 дней. Там была главная квартира 2-й армии. Главнокомандующим был граф Витгенштейн, всеми любимый и уважаемый храбрый генерал. Он принял командование после генерала Бенигсена, уже сильно устаревшего. Начальником штаба армии был генерал П. Д. Киселев *.

Наконец, я должен был выехать из Тульчина. Генерал Фон-Визин крепко обнял меня и передал мне письмо к генералу Орлову следующего содержания:

* *Первоначально*: Абрамов, Бурцов, Басаргин были его ⟨Орлова⟩ адъютанты. Пестель, князь Барятинский были адъютанты главнокомандующего, доктор Вольф

Здесь я не включил тех лиц, которые приняты после 1822 года. Они составляют большинство адъютантов графа Витгенштейна и свитских офицеров 2-й армии.

«Мы посылаем к тебе Раевского, которого ты уже знаешь по слуху. Киселев возвратился из Вознесенска, куда ездил по требованию государя. Между прочим, государь сказал ему об *Сабанееве* (корпусном начальнике 6-го корпуса): „Il faut avoir l'oeil sur lui, — il ne m'aime pas" *. Если нужно будет, постарайся поместить Раевского адъютантом к нему и проч.».

Я явился в Кишинев Орлову. Высокого роста, атлетических форм, весьма красивый — он имел манеры, которые обличали в нем в вышней степени самолюбие. Впоследствии я скажу об нем более.

Дивизия стояла в лагере. Орлов приказал мне явиться в полк, принять роту и устроить школу взаимного обучения.

32-й Егерский полк стоял лагерем около кре⟨пости⟩ Аккермана. Командир полка, полковник Непенин, был храбрый, боевой офицер, честный, откровенный и беспечный, как все тогдашние военные люди[24]. Он был членом Общества. Его принял ⟨в⟩ 1817 году полковник Бистром**[25]. Полк выступил из лагеря по квартирам. Я устроил полковую школу для солдат и принял 9-ю Егерскую роту. Несколько месяцев я командовал ротою.

В исходе 1820 года я был произведен в майоры и принял 2-й батальон 32-го Егер⟨ского⟩ полка. 1-й и 3-й батальоны ушли в Измаил. Я остался со 2-м батальоном в Аккермане.

В это время капитан Охотников писал ко мне от имени Орлова, чтобы я приехал в дивизионную квартиру. Я отправился.

Военные школы для юнкеров и взаимного обучения для солдат были уже устроены. Генер⟨ал⟩ Орлов предложил мне сдать батальон и принять эти школы в мое ведение. Я согласился.

Предметы преподавания:

русский язык
математика
география
история[26].

О родах правления внесено было в политическую географию[27]. В тетрадях русского языка внесены были стихи, выбранные мною из книг, пропущенных цензурою[28].

Историю преподавал я словесно.

Математику преподавал адъютант Орлова, бывший инженерный офицер, Друганов.

ПРИЧИНЫ ЗАГОВОРА

1812, 1813 и 1814 год загладили Аустерлицкую бойню и постыдный Тильзитский мир и доказали Европе всю силу или могущество не правительства, а народа русского. Не только немцы, но англичане и французы с уважением встречались с русскими офицерами, любовались сильными, стройными, боевыми и всегда веселыми русскими солдатами. Победа за победою положили конец войне. В 1816 г. войска возвратились в Россию.

Избалованные победами, славою и почестями, они встретили в отечестве недоверие правительства, неуважение к храбрым начальникам и палочную систему командования.

Аракчеев был временщик. Тупой, бесчувственный, мелочный капрал, проживший всю жизнь в Петербурге, он был самый гнусный раб царя и палач народный.

---

* Нужно смотреть за ним, — он не любит меня (франц.).

** *Далее зачеркнуто*: «Что много толковать, —сказал он мне, когда я говорил о цели Общества. — Мой полк готов. За офицеров и солдат ручаюсь — надоело ничего не делать».

Военные поселения, это злодейское учреждение, погубило тысячи народа — история выскажет, что такое эти поселения! Вместо военных, храбрых генералов всю власть, все доверие отдавали таким начальникам, как Рот, Шварц, Желтухины. Знаменитым генералам Отечественной войны оказывали только наружное уважение.

Шпионство развилось.

Восстановление царства Польского и намерение Александра присоединить отвоеванные наши русские древние владения* к Польше произвели всеобщий ропот.

Жестокое обращение великих князей Николая и Михаила с солдатами.

Бесчеловечное управление Сакена и Дибича в 1-й армии, где жалобы солдат считались за бунт **. Приказы по армии наполнены были приговорами за грубости и дерзости против начальников. Поездки государя за границу, где, как говорили, он отзывался с презрением о народе русском. Огромные расходы на эти поездки. Ограничение и падение учебных заведений; строгая цензура и, главное, недоверие к русским и подозрение в революционных тенденциях войска... производили из конца в конец России толки и ропот.

С начала царствования кроткий, либеральный Александр, под влиянием Австрии и Аракчеева, потерял и любовь, и доверие, и прежнее уважение народа. Россия управлялась страхом. Крепостное право (как он обещал) не было уничтожено. Об обещанной конституции и думать *** [не смели]. Все изменилось.

Аракчеева простой народ, в особенности раскольники, считали антихристом. Новые полковые командиры, школы Клейнмихеля, несмотря на заслуги и георгиевские кресты, засекали солдат, выгоняли заслуженных офицеров.

Московский университетский пансион, основанный в 1777 году под попечительством таких лиц, как Мих⟨аил⟩ Ник⟨итич⟩ Муравьев, Ив⟨ан⟩ П⟨етрович⟩ Тургенев, приготовлял юношей, которые развивали **** новые понятия, высокие идеи о своем отечестве, понимали свое унижение, угнетение народное. Гвардия наполнена была офицерами из этого заведения. Весьма замечательно то обстоятельство, что дети М. Н. Муравьева, попечителя Московского университета, Никита и Александр, и сын Ив⟨ана⟩ Пет⟨ровича⟩ Тургенева, Николай Ив⟨анович⟩ Тургенев, приговорены и Муравьевы сосланы в каторжную работу. Тургенев из-за границы по вызову не поехал в каторжную работу.

Дети знаменитых генералов:

Коновницына — сын, юноша, офицер, отдан матери,

Раевского — два сына и два зятя, из коих сыновья освобождены, Орлов на год осужден к заключению в крепости, князь Волконский сослан в каторжную работу,

Депрерадовича — сын возвращен отцу.

Пестель — сын генерал-губернатора Сибирского повешен,

Муравьевы-Апостолы — дети сенатора — Сергей повешен, Матвей в каторжную работу, Ипполит убит.

У *генерала Раевского*, кроме двух сыновей, двух зятьев, были взяты два брата по матери — генерал и полковник Давыдовы. Полковник Василий сослан в каторжную работу, и адъютант Раевского, капитан Муханов, также; бывший его адъютант, Капнист, был под допросом, но выпущен. Сам Н. Н. Раевский перечислен из корпусных командиров в Государственный Совет [29].

---

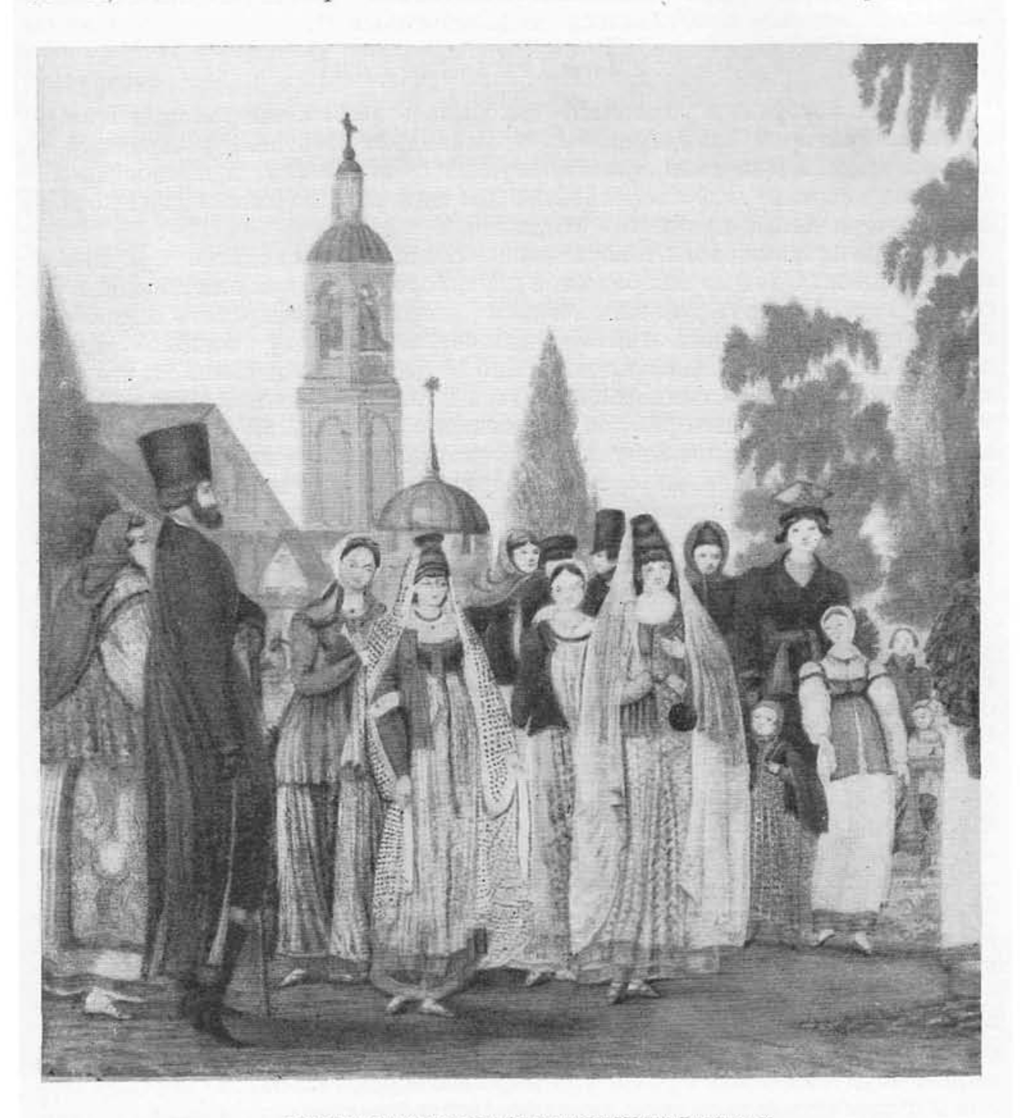
* *Первоначально*: присоединить завоеванные провинции

** *Далее зачеркнуто*: оправдание офицеров начальников за дерзость

*** *Первоначально*: и говорить

**** *Первоначально*: разносили

1821 года в феврале месяце генерал Орлов возвратился из Москвы и объявил мне, что Общество *Союз Обществ⟨енного⟩ Благоденствия* уничтожен, что в Москве принято было много молодых людей, нескромных и



МОЛДАВАНЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ КОСТЮМАХ
Акварель неизвестного художника, 1820-е гг.
Отдел истории русской культуры Эрмитажа. Ленинград

неблагонадежных. Капитан Охотников, который был на съезде, подтвердил то же, но Орлов «Зеленую книгу» передал мне [30].

ДОНОС ШЕРВУДА

В этом же году гвардии корнет или поручик Вадковский за разные насмешки против двора, каламбуры и нескромные суждения был схвачен и отправлен в Армейский уланский полк. В этом полку он познакомился с унтер-офицером Шервудом и по молодости и нескромности рассказал ему

о существовании заговора, о котором он сам хорошо не знал. Шервуд (англичанин) воспользовался этой откровенностию, сделал секретный донос *, вследствие чего была назначена тайная справка, но так как дело было неясное, то и оставалось недоконченным [31].

АРХИМАНДРИТ ИЕРЕНЕЙ

Школа, которою я управлял, находилась вблизи митрополии Кишиневской. Ректором семинарии был архимандрит Иереней, развратный и хитрый монах. Два семинариста, студенты богословия, в ночное время зашли на квартиру, где квартировали два юнкера. Две миловидных хозяйских дочери были причиною ссоры.

Юнкера позвали своих товарищей по соседству; как водится, принялись за богословов. Один из них бежал, а другого моим именем они посадили на гауптвахту. Поутру, узнавши все дело, я приказал выпустить семинариста. Но дело не кончилось этим. Иереней явился к Орлову с жалобой. Орлов потребовал меня. Я рассказал подробно все дело. Орлов смеялся, а я сказал Иеренею, что ему стыдно вмешиваться в такое скандальное дело. Монах взбеленился. Ушел и через два дни вошел с формальною просьбою: «наказать виновных». Орлов поручил произвести следствие майору Гаевскому. Юнкеров приговорили на сутки в карцер. Монах еще более озлился.

В это время в Кишиневе было огромное стечение греков и молдаван из-за границы по случаю восстания греков и после поражения их в Молдавии турками**. В Кишиневе основана масонская ложа, которую открыл пол⟨ковник⟩ Пестель, в нее приняли одного... ***.

Архимандрит Иереней вошел в донос.

Военную школу он представил как рассадник безверия и вольнодумства, масонскую ложу как скопище якобинцев и карбонариев, и то и другое описывал как скоп или заговор, имеющий целью ниспровержение власти. Подозрительное правительство верило. Иеренея сделали архиереем в Рязани. Впоследствии он был в Иркутске и за разные беспорядки, ложные доносы и проч. сослан на смирение в один из вологодских монастырей, где, говорят, русские барыни считали его чуть не за святого [32].

В Кишинев была прислана тайная полиция.

Орлов по привычке говорил очень свободно. За обедом у него редко было менее 15 или 20 чел⟨овек⟩; два брата Липранди, Охотников, майор Гаевский, я, несколько свитских офицеров, А. С. Пушкин ****— были всегдашними посетителями [33].

Бригадный генерал Пущин[34] и Болховской[35] часто обедали и проводили вечера у него.

Между тем, члены Общества, рассеянные в России, развивали новые понятия, неудовольствие и ропот против тяжелого правления. Генер⟨ал⟩ Орлов мог рассчитывать на свою дивизию. Полковые командиры были уверены в своих офицерах и солдатах. В гвардии общий ропот. Гвардейский Семеновский полк взбунтовался.

Генерал Орлов подал прошение в отпуск в Киев на 28 дней. Ему дали бессрочное увольнение. По отъезде его корпусный командир Сабанеев приехал в Кишинев.

Орлов имел неосторожность, отдавая приказ по дивизии о предании суду майора Вержейского Охот⟨ского⟩ полка и капитанов Брюханова и Ширмана[36] за жестокие поступки их ⟨с⟩ солдатами, между прочим выразиться так: «Разверните листы истории и вы увидите, что все тираны погибли или должны погибнуть». Этот приказ предписано было прочитать при ротах.

---

* *Первоначально*: донос Аракчееву

** *Далее зачеркнуто*: Кто первый подал мысль не знаю, только

*** *Пропуск в рукописи. — Ред.*

**** *Первоначально*: стихотворец А. С. Пушкин

Слово «тиран» всегда относилось к деспотической власти. Сабанеев приказ этот остановил. Меня не было в Кишиневе, когда был написан и разослан этот приказ. Возвратясь в Кишинев, я заметил г⟨енералу⟩ Орлову о неловкости такого приказа [37]. После отъезда Орлова в Киев, к тестю его, генер⟨алу⟩ Н. Н. Раевскому, началось следствие. Сабанеев приехал в Кишинев. Император писал к Киселеву: «Скажите Сабанееву, что, доживши до седых волос, он не видит, что у него делается в 16-й дивизии».

После многих глупостей и беззаконий, насилий и пыток кончилось на том, что Вержейского и Брюханова и Ширмана освободили, и в Камчатском пехотном полку в роте Брюханова фельдфебеля Дубровского и 5 рядовых лишили военного звания, наказали кнутом и сослали в Сибирь в каторжную работу. Совершенно безвинно! Сабанеев полагал, или ему внушено было, что эти частые жалобы и волнения суть следствие тайных внушений. Орлов пользовался необыкновенной любовью, верованием солдат. Телесные наказания были воспрещены. Ласковое его обращение, его величественный вид, его всегда веселое лицо, его доступность для всех — внушало солдатам доверенность, привязанность до восторженности. На смотрах, когда он подъезжал к фронту, солдаты, не дождавшись его приветствия «здорово, братцы!», встречали его громким криком «ура!»... Конечно, правительство это знало *...

... Киселев отвечал мне, что это не его воля, что он сделает мне письменный запрос. На письменный запрос я отвечал, что *«я ничего не знаю»*[38].

В 1822 ничего особенного в движении Общества не было. В Следстве⟨нной⟩ комиссии мне делали дикие вопросы о командовании ротою, баталионом, о связи моей с Орловым, о военных школах, о каких-то прописях в солдатской школе (которых не было), о внушениях солдатам, о неуважении к религии. Одним словом сочиняли, выдумывали вопросы, на которые отвечал я письменно, обращая большею частию в шутку эти вопросы [39]. Сабанеев бесился, обвинить меня невозможно было. Письменных улик не было. Спросы в школах ничего не разъяснили. Но запросы солдатам в 32-м Егерском полку совершенно его сбили с толку. Солдат 9-й роты, которою я командовал, пытали, 5 человек кавалеров сослали в Оренбург на линию. Роту предписано было разбить по другим ротам. Сабанеев, по уверению одного предателя из офицеров (Михалевского), надеялся, что солдаты будут показывать на меня, но во всех шести ротах, которые Сабанеев лично допрашивал, солдаты громко, не останавливая⟨сь⟩, и несмотря на угрозы Сабанеева, отвечали или, лучше сказать, кричали: «Майор Раевский приказывал нам служить верою и правдою богу и великому государю до последней капли крови!». Никогда я не говорил ничего подобного солдатам, но также не делал никаких внушений, которые бы могли повредить мне.

Большая часть, или, вернее сказать, за исключением двух офицеров, все остальные были за меня и по допросам отвечали отрицательно **[40].

Полкового командира Непенина отрешили от полка. Но на место его назначен был подполковник Лишин, человек благородный и знакомый мне прежде. Все попытки Сабанеева разбивались, как об каменную стену.

Я написал стихи в крепости «К друзьям из Тирасполя» и «Скворец», которые разошлись по рукам секретно [41]. Сабанеев донес, «что солдаты находятся в возмутительном положении, что допрашивать их невозможно», а пытать также он не решался сам, а офицеры не согласились бы, да и полк стоял на Дунае — следственно, ожесточенные солдаты могли легко переправиться за Дунай.

---

* *Далее вырван лист. — Ред.*

** *Первоначально*: ничего не показали.

Меня содержали очень строго, но офицеры и солдаты очень хорошо знали, за что и почему я арестован, и потому оказывали мне не только уважение, но считали как бы обязанностию услуживать мне во всем. Мои знакомые тайно видались со мною или в моей тюрьме или в ночное время за стенами моего заключения. Я знал все, что мне нужно было знать[42]. Деньги я имел и не отказывал себе ни в чем.

Наконец надо было кончить. Судная комиссия приговорила меня, в силу ⟨135-го⟩ артикула военных законов, «за слова, которые бунт произвели или могли произвести, лишить живота или наказать телесно».

Я не подписал ни выписки из дела, ни конфирмации. Сабанеев положил мнение: не лишая меня чинов, сослать на 6 лет в одну из отдаленных губерний[43].

Я потребовал бумаги и написал протест. Протест этот представил Киселеву в бытность его в Тирасполе. Он передал его в полевой аудиториат 2-й армии[44].

В 1823 году назначен был царский смотр второй армии в Тульчине. Государь из Киева пригласил с собою генерала Раевского. В присутствии его он сказал, что «16-я дивизия дурна». Этим он хотел оскорбить Раевского, потому ⟨что⟩ зять его, Орлов, командовал этой дивизией. Вообще, этот смотр произвел дурное впечатление не только на солдат, офицеров и генералов, но на самого граф⟨а⟩ Витгенштейна. После смотра Пестель и Юшневский уехали в Киев на контракты. Там назначено было свидание с Апостолами-Муравьевыми. После кратких переговоров решено было усилить Общество и действовать решительно. Цель Общества — произвести военную революцию.

На 2-ю армию можно было смело рассчитывать. Отдалением Орлова и моим арестом солдаты 16-й дивизии были взволнованы, многие офицеры узнали, другие догадывались, в чем дело. Бесчеловечные пытки в Камчатском и Охотском полку, оправдание майора Вержейского и кап⟨итана⟩ Брюханова и наказание кнутом невинных солдат и фельдфебеля в Камчатском полку вместо страху произвели злобу и явный ропот в боевых солдатах. Солдаты в 16-й дивизии готовы были на отчаянное дело.

Несколько полковых командиров 1-й армии, революционное движение гвардейских полков в Петербурге, 14 декабря, пример Черниговского пех⟨отного⟩ полка, в котором баталионный командир Апостол-Муравьев собрал полк и пошел ко 2-й армии, доказывали, как легко было тогда двинуть полки под одно революционное знамя. Но все эти замыслы, все эти приготовления разыгрались очень дурно.

Я уже сказал, что первым доносчиком был Шервуд, которого назвали *Верным*.

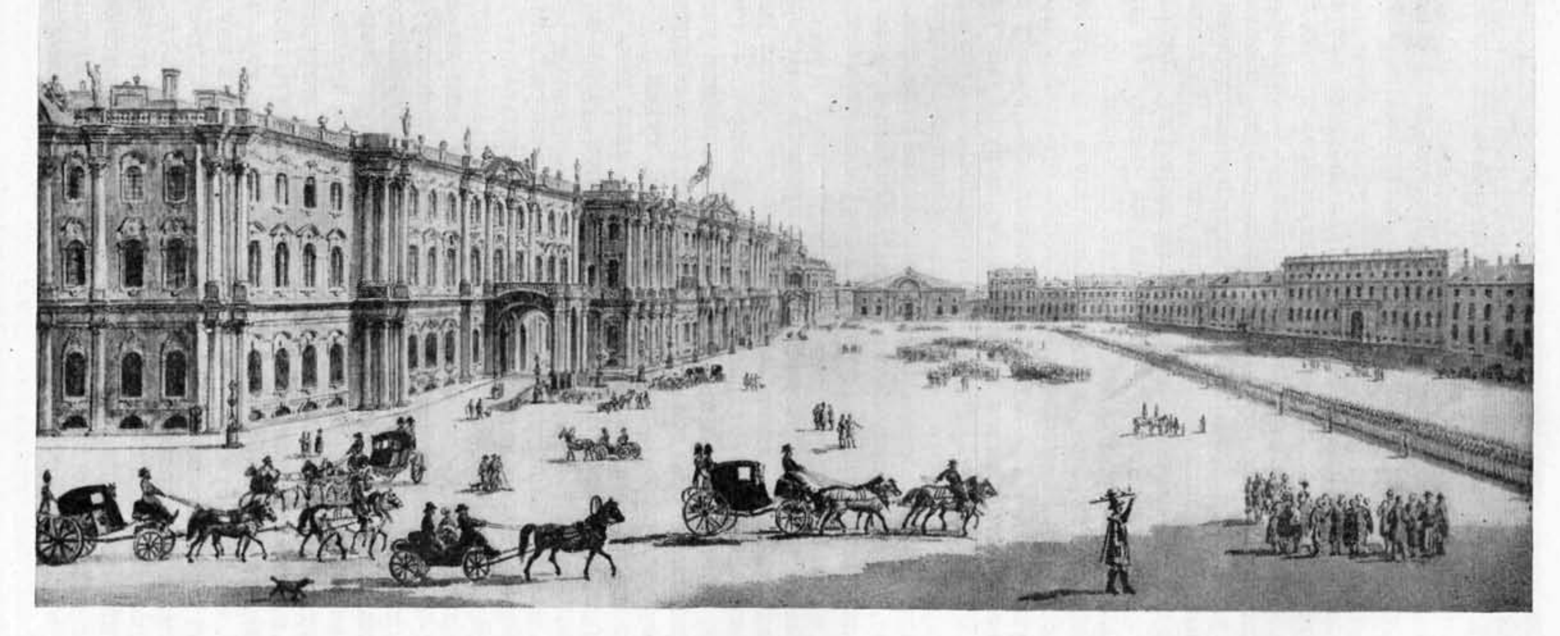
Второй доносчик был *Майборода*. Донос его получен накануне самого восстания в Петербурге.

Вот причина.

Пестель, принявши полк, застал полковым казначеем этого Майбороду. Неизвестно почему, Майборода ему понравился. Впоследствии оказалось, что у казначея суммы не достает. Пестель внес свои деньги и сменил его. Как капитан Майборода принял роту. Вскоре рота объявила на него претензию в невыдаче жалованья и растрате ротных денег. Полковой командир объявил, что если он не внесет денег, то будет предан суду.

К несчастию, Пестель был слишком откровенен с Майбородой, когда тот был казначеем. Пестель не принял его в Общество, но открыл, что в России есть Тайное общество и назвал многих офицеров 2-й армии.

Майборода, не имея денег и не ожидая пощады, на высочайшее имя подал донос. Он пришел во-время. Во 2-ю армию, в главную квартиру,



ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

Акварель неизвестного художника, 1820-е гг.

Музей истории Ленинграда

послали генер⟨ала⟩ Чернышева, и всех фельдъегерей разослали забирать по списку.

В Южном обществе никто не приготовлялся к восстанию, всех брали врасплох.

Доверчивость и откровенность Пестеля были причиной всему. *Третий* доносчик был Яков Ростовцев, воспитанник Пажеского корпуса[45].

В генваре месяце 1825 года генерал Сабанеев потребовал меня к себе. У него был в руках список, написанный моей рукою, в котором значились имена большей части членов Союза Общественного Благоденствия. Я удивился... все бумаги, сколько-нибудь обвиняющие меня, были мною уничтожены, как и «Зеленая книга», накануне моего ареста[46]. Один на один он спросил меня, какой это список? Я отвечал, что я записывал всегда передовых людей по образованию и уму, которых встречал, или по слуху. — «Только то?» — спросил он меня. «Только!» — отвечал я. Письменного запроса он мне не делал. Но я узнал впоследствии: генер⟨ал⟩ Сабанеев список этот послал к Киселеву с вопросом: следует ли сделать запрос майору Раевскому об этих лицах? Киселев при Бурцове получил эту бумагу и дал прочитать. Потом положил бумагу в стол и вышел вон. Бурцов воспользовался этим случаем, вынул бумагу и список и бросил в печь. Впоследствии, когда дело раскрылось, Сабанеев донес об этом списке государю, потому что все на списке бывшие офицеры были уже взяты и ⟨находились⟩ в казематах Петропавловской крепости. Бурцову был сделан запрос, и Бурцов сознался во всем[47]. Он был в числе раскаявшихся. Ему дали полк на Кавказе, где он был изрублен черкесами.

1826 г. в начале февраля я был отправлен в Петербург. Капитан Бурман, адъютант Сабанеева, должен был сдать меня дежурному генералу. Из дежурства меня отправили в Зимний дворец. Тут в нижнем этаже были кухни, где помещали привозимых пленников или узников. Над каждым было поставлено по два фурштадских солдата с обнаженными саблями. Кушанье приносили с царской дворцовой кухни.

На другой день вошел фельдъегерь, взял меня с собою и привел ко входу в Эрмитаж. Я вошел в переднюю, через несколько минут меня позвали.

Я вошел в большую картинную залу. Генерал Левашев подозвал меня к небольшому столику и указал мне садиться.

1-й вопрос его был: Родственник-ли я генералу Раевскому?

О⟨твет⟩: Очень далеко, и генерал меня едва ли знает.

2⟨-й⟩: Принадлежал-ли я к Тайному обществу?

О⟨твет⟩: До 1821 года принадлежал, но ⟨в⟩ 1822 году был арестован и содержался в кре⟨пости⟩ Тираспольской и с тех пор ничего не мог знать.

Левашев начал мне делать вопрос за вопросом о военных школах, о действиях Орлова и проч. Я заметил, что он затрудняется писать мои ответы, и попросил позволения писать мне самому. Он отвечал: «очень хорошо» и повернул ко мне бумагу. Ясно и вразумительно я сказал все, что нужно было. Он взял бумагу. — «Подождите», — сказал мне и ушел к государю. Минут через пять возвратился, переговорил с фельдъегерем, — и меня прямо из Эрмитажа отправили в Петропавловскую крепость, где фельдъегерь при записке сдал меня коменданту Сукину. Комендант обошелся со мной очень вежливо. Посадил меня и до прихода плац-адъютанта разговаривал со мною. Когда я вышел с плац-адъютантом Николаевым, сани были у подъезда. Часу в десятом ночи, мы подъехали к Кронверкской куртине, меня ввели в 3-й номер, под черный каменный свод. Небольшое окно с толстой железной решеткою, кровать, стол, стул, кадочка — составляли принадлежность каземата. Дверь с небольшим окошечком за занавескою снаружи и желез-

ные крепкие запоры и часовой при 5 или 6 номерах хранили безопасность узника.

Ночник с постным конопл⟨яным⟩ маслом освещал каземат.

— Вы извините, но я обязан обыскать вас, — сказал мне плац-адъютант.

— Я знаю это, — ответил я, — но по приезде в Петербург меня уже в Зимнем дворце обыскивали при сдаче и отправке сюда, да при отправке в Петербург также обыскивали — но, пожалуй, если Вам этого хочется.

Я говорил это шутливо и пл⟨ац⟩-адъюта⟨нт⟩ не стал обыскивать.

Тяжела была жизнь в Петропав⟨ловской⟩ крепости. Тюфяк был набит мочалом, подушки также, одеяло из толстого солдатского сукна. Запах от кадочки, которую выносили один раз в сутки, смрад и копоть от коноплияного масла, мутная вода, дурной чай и всего тяжелее дурная, а иногда несвежая пища и, наконец, герметическая укупорка, где из угла в угол было только 7 шагов.

Плац-майор Подушкин и один из плац-адъютант⟨ов⟩ — Трусов и Николаев — ежедневно осматривали * тюрьмы наши. Когда я был заключен, в казематах считалось уже до 400 ч⟨еловек⟩ арестованных по разным куртинам Петропавловской крепости.

Через 5 или 6 дней ко мне явился священник для увещания. С духовными лицами я всегда охотно разговаривал, а в каземате я даже обрадовался его приходу. Этот был протопоп Казанского собора. Он начал с того, что государь сказал: «Если б эти люди просили у меня конституции не с оружием в руках, я бы посадил их по правую руку у себя».

— Послушайте, — сказал я, — здесь в казематах до 400 чел⟨овек⟩. Неужели все с оружием в руках требовали конституции? И до сих пор посадил ли государь хоть одного человека по правую руку у себя? Священник мой замолчал. Разговор не клеился. Я был уже опытный арестант. Он вышел [48].

ЦЕРЕМОНИАЛ

Через два дня плац-майор Подушкин ночью, часов в 11, вошел ко мне. Он вывел меня из каземата и попросил очень учтиво позволения завязать мне глаза. И, не дожидаясь ответа, каким-то платком туго завязал мне. Мы сели в сани, остановились, он вывел меня за руку и ввел в комендантский дом и посадил за ширмы. Натурально, находясь один, я приподнял платок и видел, как выходили и входили в эту комнату разные лица, но кто именно, не мог отличить. Через полчаса плац-майор подошел ко мне, взял за руку и привел к дверям другой комнаты. Он отворил дверь, снял с меня повязку и, указав на двери, сказал: «Войдите».

Я вошел. Передо мною явилась новая картина: огромный стол, покрытый красным сукном. Три шандала по три свечи освещали стол, по стенам лампы. Вокруг стола следующие лица: Татищев, по правую сторону его — Михаил Павлович, по левую — морской министр, князь Голицын, Дибич, Чернышев, по правую — Голенищев-Кутузов, Бенкендорф, Левашев и Потапов. Блудов, секретарь, вставал и садился на самом краю правой стороны.

Вопросы:

1) Принадлежал-ли я к Тайному злоумышленному обществу?

Надо заметить, что всех других спрашивал Чернышев; не знаю, почему мне делал вопросы Дибич.

2) Знал ли Орлов тетради, по которым преподавалась география и русский язык? Кто их составлял?

3) Орлов показывает на Вас, что Вы были один из самых деятельных членов Общества.

---

* *Первоначально*: заключенных

В это время Блудов зашумел бумагами. Так как Блудов сидел на самом конце стола по правую руку, а я стоял у самого стола, то я невольно взглянул и увидел в руках его книгу, написанную рукою Орлова, и по переплету узнал одну из 20 или более белых книг, которые были у Орлова, из которых и я брал для себя несколько экземпляров. В дверях этой комнаты я увидел Алек⟨сея⟩ Фед⟨оровича⟩ Орлова, брата Мих⟨аила⟩ Фед⟨оровича⟩, который за подвиг 14 декабря получил графское достоинство.

4) Почему у меня в тетрадях названо конституционное правление *лучшим*?

5) Почему я назвал правление в России *деспотическим*?

6) Кого я знал из членов Тайного общества? Кто принимал меня?

7) Какую цель имело Общество?

8) Хвалил ли я перед солдатами бунт Семеновского полка? Других вопросов хорошо не помню.

⟨Ответы:⟩

1) Я принадлежал к Тайному обществу под названием Союз Общественного Благоденствия; прочитавши «Зеленую книгу», я не нашел в ней ничего противного данной мною присяге. Такого содержания дал я подписку. Предложил мне вступить в Общество ш⟨табс⟩-капитан Филиппович (он умер) [49].

На 2-й вопрос я отвечал: тетради составлял я *. Гене⟨рал⟩ Орлов не требовал тетрадей, и сам я ему не представлял.

На 3) Я не знаю, почему ген⟨ерал⟩ Орлов так говорит обо мне? Я с ним не имел других сношений, как подчиненный с начальником. Если Орлов имеет какие-либо доказательства, то я прошу дать мне очную ставку с ним.

На 4) Конституционное правление я назвал лучшим потому, что покойный император, давая конституцию царству Польскому, в речи своей сказал: что «я вам даю такую конституцию, какую приготовляю для своего народа». Мог ли я назвать намерение такого императора иначе?

⟨На⟩ 5) В России правление монархическое, неограниченное — следственно, чисто самовластное, и такое правление по-книжному называется деспотическим.

— Вот видите, — сказал Дибич, обратясь к другим членам. Потом, обратясь ко мне, сказал: «У нас правление хотя неограниченное, но есть законы».

Привязки Дибича начинали меня волновать. Я отвечал, что Иван Васильевич Грозный и... Дибич не дал мне продолжать и громко сказал:

— Вы начните от Рюрика.

— Можно и ближе. В истории Константинова для Екатери⟨нинского⟩ института на [82-й] стра⟨нице⟩ сказано: «в царствование императрицы Анны, по слабости ее, в 9 лет казнено и сослано в работы 21 тысяча *русских* дворян, по проискам *немца* Бирона».

Я сделал ударение на слова «русских дворян» и «немца» (Дибич был немец).

— Вы это говорите начальнику Штаба его им⟨ператорского⟩ величества [50].

Все молчали. Только великий князь Михаил Павлович отозвался: «Зачем было юнкеров всему этому учить?»

— Юнкера приготовлялись быть офицерами, офицеры — генералами...

Дибич, рассерженный вопросом Михаила Павловича, вскрикнул: «Не все-же учить только маршировать, но не так учить, как он...». Он отодвинул от себя бумаги к Чернышеву и сказал: «Александр Иванович! спрашивайте!»

---

* *Далее зачеркнуто*: делал выписки из книг и потому

На 6) Я показал Филипповича, полковника Бистрома, кап⟨итана⟩ Охотникова (все трое померли), о других я слышал от Охотникова и генер⟨ала⟩ Орлова, но, опасаясь ошибиться, не могу назвать, чтоб не сказать ложь, да после 4-летнего заключения в крепости забыл имена.

О принятии в Общество я показал прежде на ш⟨табс⟩-кап⟨итана⟩ (свитского) Филипповича.

На 7) Общество имело целию конституцию, вследствие желания императора, но, как известно, многие противудействовали этому желанию, то Общество хотело содействовать тайно.

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА,
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО.
и прочая, и прочая, и прочая.

Отъ Г. Аккермана до Г. Одессы, Кишинева и Тирасполя и обратно 32 Егерскаго полка Майору Раевскому ...

— изъ почтовыхъ давать по — двѣ — лоша и съ проводникомъ —
за указные прогоны безъ задержанія. Дана въ Г. Аккерманѣ
— Апреля 25 дня 1821 года.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВСЕМИЛОСТИВѢЙШАГО ГОСУДАРЯ Моего, отъ Арміи Генералъ-Лейтенантъ Исправляющій должность Полномочнаго Намѣстника Бессарабской Области, Главный Попечитель и Предсѣдатель Комитета о Колонистахъ Южнаго Края Россіи и Орденовъ: Св: Великомученника и Побѣдоносца Георгія 3-го класса, Св: Равноапостольнаго Князя Владиміра 2-й Степени большаго Креста, Св: Анны 1-й Степени алмазами украшенной, Іоанна Іерусалимскаго Командоръ, Королевскаго-Прусскаго Краснаго Орла 2-й Степени, Французскаго Почетнаго Легіона 2-й Степени, имѣющій золотую Шпагу, алмазами украшенную, съ надписью: за храбрость Кавалеръ и серебренную Медаль установленную въ память 1812 года.

ПОДОРОЖНАЯ НА ПРОЕЗД ИЗ АККЕРМАНА ДО ОДЕССЫ, КИШИНЕВА И ТИРАСПОЛЯ, ВЫДАННАЯ В. Ф. РАЕВСКОМУ 25 АПРЕЛЯ 1821 г.

Военно-исторический архив, Ленинград

Несколько других вопросов заключались о тетрадях в школе.

В примерах грамматических были стихи: 10 первых стихов «Перуанец к испанцу» Гнедича и «Пери и ангел» Жуковского. Пример начинался 20-ю стихами прежде и оканчивается:

Богам угодное деянье,
Она (пери) сказала, я нашла,
Пролита кровь сия была,
Во искупление свободы

и следующие затем до 10 стихов ниже.

Я отвечал, что все это случайные выписки из книг, пропущенных цензурою.

Наконец меня отпустили. Тот же церемониал, т. е. отправили в каземат с завязанными глазами. Дорогою плац-майор сказал мне:

— Ну, батюшка, я думал, что вам прикажут — прикрепить шпоры. Это значит: наденут кандалы. Вероятно, он подслушивал у дверей. За

смелые ответы, как я узнал после, обыкновенно переводили в худший каземат и заковывали в кандалы. Но я, говоря в Комитете, смягчал голос и отвечал очень вежливо, не изменяя, впрочем, содержания моих оправданий.

На другой день я получил пакет из Комитета и притом чернильницу с перьями. Я прочитал вопросы и потребовал еще бумаги — мне дали счетом.

Сверх сделанных мне запросов словесно — прибавлено:

1) Что 8 членов Общества утверждали, что я принадлежал к Обществу и хорошо знал цель Общества.

Я просил очных ставок с ними.

2) Какие лица записаны у меня на списке, который генер⟨ал⟩ Сабанеев показывал мне?

Я отвечал, что я не помню, о каком списке вопрос, если мне его покажут, я сочту обязанностию объяснить.

3) Так как из всего видно, что вы вооружались против существующего порядка, то где и как и почему я действовал так? И делал внушения юнкерам? И когда у меня родилась первая мысль о восстании против правительства?

Я отвечал, что я никогда не вооружался против существующего порядка, но иногда говорил против существующего беспорядка, о чем я буду иметь честь представить особо.

⟨4)⟩ Где вы воспитывались? Какими науками занимались?

Я отвеч⟨ал⟩ — воспитывался в Моск⟨овском⟩ унив⟨ерситетском⟩ пансионе. Математическими и военными[51].

Я попросил еще бумаги и представил новый протест и особо письмо государю императору о брате моем, корнете Григории Раевском, который был взят в Одессе и уже содержался 4 года в Шлиссельбургских казематах[52].

Впоследствии было еще несколько незначительных письменных запросов.

Мое дело кончилось.

В июле месяце, числа не помню, унтер-офицер Соколов вошел ко мне встревоженный[53].

— Ваше выс⟨око⟩благородие, у вас был плац-адъютант или плац-майор?

— Нет, — отвечал я.

— Вам приказано одеваться?

— Нет.

— Слава богу, — сказал он, перекрестясь.

— Сегодня ночью большой конвой в кандал⟨ах⟩ прошел мимо моих дверей. Что это такое? — спросил я.

— После! после! — сказал Соколов и торопливо вышел из моей комнаты.

В пристройке Кронверкской куртины был дом, принадлежащий бывшему коменданту Сафонову. Чуть свет я услышал необыкновенный стук вдали. Окно мое было прямо против дома. Я был в 3-м № Кронверкской куртины.

Направо от дому, шагах во 100, на крепостном укреплении стояла толпа людей. Это было часа в 4 утра. Тусклое окно мешало сначала видеть хорошо, но с рассветом я увидел очень ясно, что на валу сделана платформа, поставлено два столба и на столбах перекладина.

Вслед за тем рота Павловского гвардейского полка вошла в ворота и стала лицом к дому. Чрез несколько минут въехали двое дрожек. На одних был протопоп Казанского собора, на других пастор. Они вошли в дом. У дверей дома стояло 6 человек.

В этом доме находились, как все это я узнал после, Пестель (лютеранин), Сергей Апостол-Муравьев, Рылеев, Каховский и Бестужев-Рюмин.

Через полчаса из этого дома вышли один за одним 5 человек, осужденные на смерть. Они шли один после другого под конвоем с обеих сторон солдат Павловского полка.

Все они были одеты в белых, длинных саванах. У каждого на груди была привешена черная доска с надписью: преступник такой-то. Они взошли на вал и потом на платформу. На перекладине было привязано пять веревок с петлями. Внизу стояла скамейка.Осужденные были в ножных кандалах, им очень трудно было стать на скамейку, но им помогли. Потом два человека в куртках начали накладывать петли на каждого и, когда кончили, дернули скамейку из-под ног, и — двое осталось на виселице, трое упали: Апостол-Муравьев, Рылеев и Пестель [54]. Их стащили с платформы и опять поставили на скамейку, надели петли крепче, дернули скамейку и они остались на виселице.

Во время экзекуции приезжал корпу⟨сный⟩ началь⟨ник⟩ Воинов и другие. Через полчаса трупы сняли, сложили на телегу и увезли в ворота. Рота сделала направо и вышла — раздался новый стук. Виселицу и платформу разобрали.

Остальных осужденных вывели из казематов. Снимали с них ордена, эполеты и ломали шпаги над головами и бросали в разведенный огонь.

Трубецкой, Барятинский и, кажется, Ивашев были выведены перед полками, в которых считались,— и та же церемония.

По окончании экзекуции приговоренных начали развозить в Сибирь, в крепости: Шлиссельбургскую и Свеаборг. Впоследствии всех перевели в Сибирь, кроме Батенькова, который 20 лет просидел в Петропавловской креп⟨ости⟩.

13—15 июля дежурный генерал Потапов прислан был уговорить или предложить мне подписать выписку и конфирмацию Сабанеева, и взять мой протест обратно. Я попросил прочитать мне мое обвинение в дежурстве, в фельдъегерской, в присутствии Потапова, Ноинский, правитель канцелярии, мне прочитал выписку из дела — я не согласился и 17-го числа письменно просил нового суда.

Через две недели меня отправили в Варшаву и оттуда в кр⟨епость⟩ Замосць.

⟨III⟩

РАЗГОВОР С ЦЕСАРЕВИЧЕМ КОНСТАНТИНОМ ПАВЛОВИЧЕМ И ПОСЛЕДСТВИЯ [55]

1822 года февраля 6 я арестован и отправлен в крепость Тираспольскую. 1826 года в генваре месяце меня отправили в крепость Петропавловскую, в том же году в августе месяце увезли в Варшаву, а оттуда в крепость Замосць.

Не буду описывать подробно перемену декораций. Везде одни и те же каменные стены, железная решетка, крепкий замок, крепкий караул и — равнодушие приставников.

На дороге из Петербурга в Варшаву я встретил цесаревича, едущего на коронацию, но он не говорил со мною, а послал только за фельдъегерем, который вез меня. Что говорил цесаревич, Яковлев мне не сказал. По приезде в Варшаву меня посадили в ордонанс-гауз, и первое лицо, встретившее меня, был комендант ордонанс-гауза, или плац-майор полковник Аксаментовский. На другой день меня посетил комендант Варшавы —

генерал Левицкий, и на тот же день генерал Димитрий Димитриевич Курута, друг от детских лет цесаревича, самый кроткий, добродушный и благородный человек. При коронации он сделан графом [56]. Весьма ласковый, учтивый и откровенный разговор его мало подействовал на меня, особливо на сердце и язык. Я видел, что с теми, кого приготовляли к виселице, накануне обходились столь же почтительно, как с людьми, которые избраны к вышним должностям. Известно, что быка, которого готовят на убой, кормят и содержат лучше других быков.

Однако я чувствовал какую-то доверенность к графу Курута, и потому до половины объяснил ему свое дело; а из бумаг он мог видеть, что по государственному преступлению я не обвинен *.

Содержание в варшавском ордонанс-гаузе было отличное. Поутру кофе, его подавала 15-летняя прекрасная девушка, дочь ветерана, моего стража; обед из ресторации на 4 блюда, белый и пеклеванный хлеб. Ввечеру чай и та же девушка; ужин из 3-х блюд.

Приятные ** темничные воспоминания! Стеклы замазаны; скамейки, стол и кровать приколочены к полу. Воздух чистый, комната высокая и довольно пространная. Чего ж желать более или лучше для жителя тюрьмы?

Близ меня находились еще две комнаты, занятые какими-то узниками. Об одном я узнал темно, что он русский священник. Не тот ли, который благословлял знамены Сергея Апостола-Муравьева? [57] О другом я не мог узнать. Увы! Я пробыл так коротко в этом темничном наслаждении. Через 8 дней мне был объявлен отъезд в крепость Замосць. «Опять в крепость, — подумал я, — когда это кончится!» Через 3 дня я был в креп⟨ости⟩ Замосць. Над щебревской брамою (воротами) было 6 номеров. В 1-й номер поместили меня; во 2⟨-м⟩ сидел на короткое время артиллерийский русский офицер за какие-то шалости; в 3⟨-м⟩ — пан Дунин, поручик отставной, за религию, *в цепях*; в 4⟨-м⟩ — мой меньшой брат Григорий [58]; в 5-м, и самом худом, номере — майор Уминский или Гумницкий, по политическому преступлению, осужденный в работу в цепях; в 6-м номере никого не было.

Комендантом крепости был генерал Гуртиг, пренесносный и низкий человек. Плац-майор и адъютанты — трава. Обед, кофе и ужин получались из трактира довольно хорошие, каземат светлый, содержание вообще несравненно лучше крепости Петропавловской. Обхождение приставников учтивое. Вообще в Царстве Польском люди если не сострадательнее русских, то несравненно мягче в обхождении.

Крепость Замосць окружена болотами, и потому с самого начала я почувствовал боль в ногах; ни ванн, ни бани не было или, по крайней мере, комендант не позволял мне ходить, прогуливаться также не позволялось. Осенний, сырой воздух подействовал еще сильнее: я получил скорбутную с пятнами горячку. Меня перевезли в военный гошпиталь. К счастию, дивизионный доктор Любельский, с знаком военного ордена и Почетного легиона (он служил прежде у Наполеона в армии), был человек знающий, приветливый, внимательный, и одно посещение его уже облегчало меня. Боли в членах уменьшились и я стал оправляться.

В это время великий князь цесаревич возвратился с коронации в Варшаву. В Замосцье ожидали его приезда. Меня обратно перевели в каземат. Я был очень слаб, но в каземате мне воздух казался лучше, нежели в больнице.

— Шестой год, как я путешествую по тюрьмам; человек много может выдержать, — думал я, — но когда же будет конец?

---

* *Первоначально*: оправдан.

** *Далее зачеркнуто*: сладкие

Наконец явился человек, которому определено было окончить мою подсводную тюремную жизнь! Я ожидал великого князя с нетерпением, я знал, что он зайдет ко мне.

Не помню числа, когда приехал великий князь в Замосць. Я видел его сначала в окно с большою свитою. Кроме коменданта крепости, при нем был инженерный генерал Малетский, Гауке, начальник польской артиллерии, кто-то из адъютантов, инженерные, артиллерийские и начальники полка и бригады, расположенных в крепости и близ кре⟨пости⟩ Замосць.

Наконец он повернул на вал, где находился мой каземат — я был в ожидании... дверь моего каземата отворилась настежь. Цесаревич вошел, за ним начала входить вся свита, но он сделал знак рукою, вошедшие вышли вон и дверь затворили. Я легко поклонился ему, стоя у своей кровати.

Передо мною стоял человек, который отказался от владычества русской империи, человек, который не знал, до какой степени сильна к нему любовь простонародная и русского войска; человек, которого враждебные нам поляки * начинали любить. — Не мое дело судить, сделал бы он Россию счастливой, но знаю наверное, что он имел прекрасную душу и счастливый такт окружать себя людьми добрыми и благонамеренными. Европейцы, особливо французы, судили о нем весьма несправедливо, полагая его отломком варварских времен России. Он не любил политики, дипломатических споров и толков, но он был князь праводушный, любил все русское и русские его любили ** [59].

Печать печали и болезненного состояния заметны были на лице его. Он казался очень усталым. У меня в каземате было одно стуло, я подал его цесаревичу; он сделал знак учтивости и сел.

Цесаревич был росту довольно высокого, сутуловат, хорошо сложен, все формы и округления его корпуса доказывали силу; совершенно круглое лицо, серо-голубые глаза и над ними весьма густые белые и нависшие брови придавали ему вид суровый (но только вдали); лицо белое, как снег, и на нем, вместо прежнего живого румянца, оставались только два алые круга; на голове светлорусые, редкие волосы. Весьма малый нос отымал красоту всего лица, рот посредственный, нижняя губа немного вперед. Вот точь-в-точь его портрет, когда я видел его в последний раз. На нем был польский конноегерский вицмундир, уже поношенный, и никаких отличий, кроме медали 1812 года.

— Здравствуйте, майор! Каким образом вы попали ко мне?

— Ваше высочество, дело мое начато еще в 1822 году, я находился под арестом и судом в крепости Тираспольской. Судная комиссия была под надзором генерала Сабанеева ***, он не мог найти ничего незаконного по службе и потому навел на меня политические подозрения, но я не признал ни суда, ни конфирмации, не подписал выписки и приговора и протестовал. Протест мой подал начальнику штаба генералу Киселеву. Конечно, протест и дело лежали под сукном до восшествия на престол нового государя. По прошествии почти 4-х лет я был вытребован в С.-Петербург и посажен в крепость Петропавловскую, и дело мое приобщено к общему делу о государственных преступниках. Там я оправдался. Но всем известно, что генерал Дибич—друг Сабанеева ****, оправдать меня совершенно после 4-летнего заключения — значило бы обвинить Сабанеева; дело шло о майоре и генерале от инфантерии — мне предложили, по повелению государя, взять мой протест обратно, и подписать

* *Первоначально*: непостоянные, легкомысленные поляки

** *Первоначально*: все русское и нравился русским.

*** *Первоначально*: Судил меня генерал Сабанеев

**** *В оригинале рукописи было вписано*: Сабанеева не в очередь произвели в генералы от инфантерии и пожаловали в Бессарабии 10 000 десятин земли.

выписку и приговор. Но отдали совершенно на мою волю — и 3 дня на размышление. После 6-ти, а не трех дней я отвечал решительно, что я выписки и приговора Сабанеева не подпишу, что чувствую себя совершенно правым и заключил мой рапорт генерал-адъютанту Потапову тем, что я прошу только суда под надзором такой особы, которая бы не боялась самых близких лиц у престола.

Не знаю почему, только цесаревич перехватил мою речь и сказал: «То есть Вы просились ко мне?» — «Точно так, Ваше высочество!» Хотя я не просился, но отвечать иначе — значило бы сказать во вред себе.

Цес⟨аревич⟩: Вы не ошиблись! Здесь четыре стены, никого нет в этой комнате, я не судья, все, что вы скажете, останется в этих стенах, только говорите правду, как отцу. Я хочу знать дело не из бумаг.

В продолжение 5-ти лет привыкши думать, рассчитывать, отвечать, иногда сочинять в оправдание мое — мне нетрудно было рассказать дело мое и весь процесс со всею хронологической точностию, ясностию и судебным ходом и порядком, выставить себя совершенно правым* без лжи и отступлений, и доказать причины моего ареста и действия *первого* суда, как они были — рассказ продолжался не более получаса, лицо цесаревича прояснилось, он, казалось, был доволен.

— Только то? Справедливо ли это, майор?

— Ваше высочество, увидите мое дело и за ложь будете иметь право наказать меня.

— Если только, вам опасаться нечего! Но я вижу и знаю, что генерал Орлов во всем виноват, и его надо бы было повесить из первых.

Он встал.

— Неправда ли у меня в казематах лучше, как в Петропавловской? Там душно, темно, сыро, меня брат посылал навещать *арестантов* — там было очень дурно.

— Точно так, ваше высочество, но каземат для арестанта...

Цес⟨аревич⟩: Верю, верю, но что ж делать?

Я: Этот номер немного течет в сводах во время дождя,и, когда натопят печь и закроют, отзывается сыростию.

Цесаревич: Впрочем, это лучший номер.

Он взглянул на своды, на верх и довольно громко кликнул: «Малет, Малет!». Инженерный генерал вошел (он служил в польском войске и выпросил себе фамилию Малетский, чтоб не носить одного имени с известным французским заговорщиком, генералом Малет).

— Малет, надо непременно и хорошо поправить этот каземат — посмотрите, — сказал Константин по-французски ** и указал на течь свода. Генерал поклонился и вышел.

Цес⟨аревич⟩: Что ж вам еще нужно, майор?

— Позвольте мне писать домой к моим родным, я не получаю денег. У меня управляет имением меньшой брат[60] и, сколько я понять могу, имение мое пропадет в его руках, я дал ему на управление доверенность.

Цес⟨аревич⟩: Пишите домой, что вам нужно, письма ваши адресуйте на имя графа Курута и запечатывайте их. Я все сделаю, что только законно. Ну прощайте, будьте покойны. Я вижу, что это все дело не ваше, а Орлова ***[61].

— Позвольте, Ваше высочество, просить Вас еще милости.

Цес⟨аревич⟩: Какой?

Я: Гулять в крепости!

---

* *Первоначально*: выставить совершенно чистую мою сторону

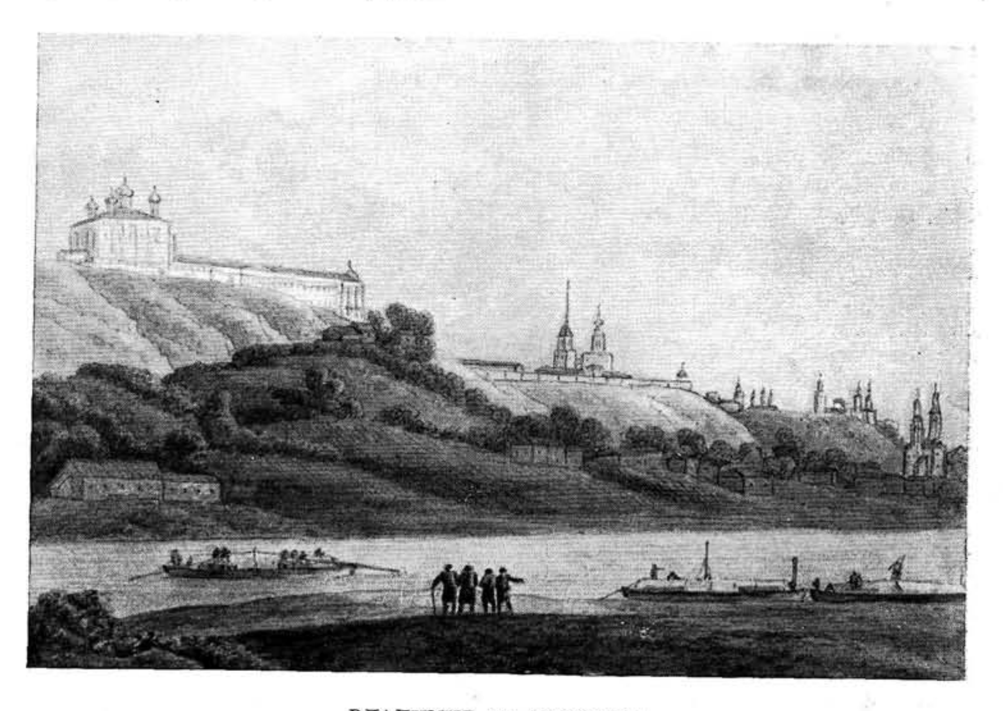
** *В оригинале рукописи*: Il faut reparer ici, arranger comm'il faut. Le major passera dans une autre chambre, mais au plus vite.

*** *Первоначально*: все дело Орлова.

Цес⟨аревич⟩: Нет, майор, этого невозможно! Когда оправдаетесь, довольно будет времени погулять; а теперь пишите, оправдывайтесь, а гулять — после, когда освободитесь.

Я увидел, что князь не так понял и прибавил:

— Ваше высочество, хотя здесь лучше, нежели в крепости Петропавловской, но душно, без всякого движения, я опять могу заболеть; ни бани русской, ни ванн также нет; в Петропавловской нас водили гулять в сад по крепостному валу поочереди...



ВЛАДИМИР НА КЛЯЗЬМЕ

Акварель А. Е. Мартынова из альбома художника: «Живописное путешествие при Российском посольстве в Китай», 1805 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

— Да! Да! —подхватил цесаревич. — Вы хотите прогуливаться на воздухе для здоровья, а я думал погулять, т. е. попировать. Это другое дело. — Гуртиг! — закричал князь.

И комендант крепости, генерал Гуртиг (которого впоследствии повесили на фонаре во время польской революции), вошел:

— Майору позволено прогуливаться по крепости всякий день для здоровья, ходить в баню и ванны, когда пожелает, и писать к графу Куруте.

Цесаревич сказал это Гуртигу по-польски, хотя Гуртиг был немец и говорил очень хорошо по-французски. С этими словами благодетельный, превосходный, этот князь вышел, сделавши мне легкий знак головою; из окна я видел, что он долго не говорил ни слова...

Следствие посещения:

1) Каземат мой переделали.

2) В баню я ходил всякую субботу; прогуливаться — почти всякий день.

3) Письма мои отправлены домой. Цесаревич прислал мне из собственных денег 500 рубл⟨ей⟩ при весьма учтивом письме; из дому получил я 1500 руб.

4) На имение мое положено запрещение, чтобы брат не промотал.

5) Конфирмация Цесаревича состояла в следующем: из всего дела вовсе не видно, чтобы майор Раевский был виноват, в чем его обвиняют, и потому мнение мое — возвратить его на службу с вознаграждением или без вознаграждения, а если и затем остаются какие-либо подозрения на счет его, Раевского, и мне вовсе неизвестные, то отставить его от службы и отправить в свое имение, где находиться под надзором местного начальства *[62].

⟨IV⟩

В КРЕПОСТИ ЗАМОСЦЬ И КОНФИРМАЦИЯ

1827 года октября 28 подписана была моя конфирмация в Петербурге. В ноябре месяце, числа не упомню, вошел ко мне в каземат плац-майор Краснодембский и попросил меня одеться. За ним вслед вошел лейб-казачий пятидесятник Семенцов.

Я оделся и вышел вместе с плац-майором. На площади выстроен был против ордонанс-гауза в каре или, вернее, в три фаса польский полк, содержавший караул в крепости Замосць. Меня вывели на средину. Тут находился весь штат крепостного начальства: комендант генер⟨ал⟩ Гуртиг, плац-майор Краснодембский, плац-адъютанты: Плеснярский, Юрковский и Муржиновский и проч.

Аудитор прочитал громко мне следующую конфирмацию (1): «Хотя майор Раевский, по удостоверению Комиссии, и не принадлежал к составленному *после* 1821 года злонамеренному Обществу, и дальнейшее об нем исследование по Комитету о государственных преступниках прекращено было, но за всем тем собственное его поведение, образ мыслей и поступки столь важны, что по всем существующим постановлениям подлежал бы он *лишению жизни*, и потому насчет его находя приговор Комиссии не соответствующим обнаруженным преступлениям, его высочество (Михаил Павлович) полагал майора Раевского, лиша чинов, заслуженных им орденов св. Анны 4-го класса, золотой шпаги с надписью „за храбрость", медали за 1812 год и дворянского достоинства, удалить как вредного в обществе человека в Сибирь на поселение» (2).

Шпаги надо мной не ломали. Но эполеты я отстегнул сам и бросил на землю, скинул военный сюртук, и вестовой подал мне черный гражданский сюртук, который я приказал взять с собою, потому что предвидел по намекам о предстоящей перемене моего значения. Чтение этой безбожно-несправедливой конфирмации я выслушал с внутренним удовольствием: мне уже тяжело было жить в заточении. Затем за плац-майором я должен был следовать в ордонанс-гауз. Я вошел туда *новым* человеком.

Мне дозволено было сесть. За столом, покрытым красным сукном, сидело несколько лиц мне незнакомых. Аудитор начал чтение. Сначала выписку из производства дела генералом Сабанеевым. Сабанеев конфирмовал: «Не лишая чинов и орденов, майора Раевского сослать в один из отдаленных городов России на шесть лет».

Высочайше утвержденный Комитет над государственными преступниками, вследствие протеста моего, представил новую, краткую выписку на решение государя. Государь решил назначить новую Военно-судную комиссию в крепости Замосць, великий князь Константин Павлович назначил презусом генерала Дурасова. Выписка из дела, которую мне прочитали, не заключала ничего важно-обвинительного, но я и эту выписку не подписал, как и сабанеевскую. Великий князь Конс⟨тантин⟩ Павлович конфирмовал, как сказано выше, совершенно оправдывая меня. В таком виде

* *Первоначально*: полиции.

дело поступило в Петербург. По неизвестным причинам в Петербурге оно приняло другой оборот (3): назначена была новая Комиссия под председательством генерала Левашева и под надзором великого князя Михаила Павловича. Конфирмация выписана выше, и, кроме этой конфирмации, я узнал тут, что полевому аудитору сделали выговор за то, что он, вследствие моего протеста, нашел производство дела генералом Сабанеевым пристрастным и в некоторых случаях противозаконным.

Меньший брат мой, корнет Раевский (который просидел пять лет в крепости Шлиссельбургской совершенно безвинно по подозрению только в

НИЖНИЙ НОВГОРОД и СОЕДИНЕНИЕ РЕКИ ОКИ С ВОЛГОЮ
Акварель А. Е. Мартынова из альбома художника: «Живописное путешествие при Российском посольстве в Китай», 1805 г.
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

сношениях со мною), вследствие письма моего об нем к государю императору, из Шлиссельбургской крепости был перевезен в крепость Замосць, где оказался совершенно лишенным рассудка; его отправили домой на попечение родственников, где он по возвращении вскоре умер.

Я возвратился в мой каземат по окончании чтения. Меня там дожидался уже лейб-казачий пятидесятник * Семенцов. Тройка лошадей была готова, вещи мои уложены, и в исходе ноября я сел, и лошади помчали нас — куда? В Сибирь.

Старший брат мой Александр, шт.-кап. гвардейского уланского полка прежде ареста моего — умер.

В продолжение ареста и заключения моего в крепости другой старший брат мой Андрей, майор по службе, литератор и переводчик *«Стратегии»* эрц-герцога Карла, — умер [63].

Корнет Григорий взят в Одессе и заключен в крепость Шлиссельбургскую, где не выдержал и сошел с ума и по возращении домой — умер.

---

* *Первоначально*: урядник

Сестра Наталья Алисова в молодых летах умерла.

Отец не выдержал таких один за одним ударов — умер. Итак в продолжение заключения моего я потерял отца, двух братьев и сестру.

Примечания

1. Полная конфирмация была тогда напечатана в Московских ведомостях 1827 года, в 94-м номере.

2. О брате моем, корнете Раевском, мне не читали. Бедный! он заплатил жизнию только за подозрение *, за любовь к брату!

3. Сабанеев был друг Дибича. Орлов защищал брата своего пред государем и, конечно, выставил меня как главного виновника по влиянию моему на Орлова и вероятно и представил стихи мои «К друзьям», которые ходили тогда по рукам. Об этих стихах мне был запрос уже в Сибири [64]. В них, обращаясь к Пушкину, я говорил:

Сковала грудь мою, как лед,
Уже темничная зараза,
Холодный узник отдает
Тебе сей лавр, певец Кавказа...
Оставь другим певцам любовь.
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление, на плаху,
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шопотом роптать.
Пора, мой друг, пора воззвать
Из мрака век полночной славы
Царя-народа дух и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече
И преклоняло ** издалече
Князей кичливых рамена.

Впоследствии я переменил так:

Сковала грудь мою, как лед,
Уже темничная зараза,
Жилец темницы отдает
Тебе сей лавр, певец Кавказа.
Оставь другим певцам любовь.
Любовь ли петь, где стынет *** кровь,
Где власть с надменною улыбкой
За слово, мысль, за смелый взор
Грозит допросами и пыткой.
Повсюду видит заговор,
Ведет невинного на плаху.
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шопотом роптать.

---

* *Далее зачеркнуто*: Отец мой запретил ему ехать ко мне, но он взял одну из старых наших, т. е. моих или других братьев, подорожную, подскоблил год и по этой подорожной уехал ко мне. В конфирмации этот поступок назван *фальшивым*, а непослушание отцу — *развратом*.

** *Первоначально*: сокрушало

*** *Первоначально*: зябнет

Пора, мой друг, пора воззвать
Из мрака век протекшей * славы
Народа силу, власть и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече
И преклоняло издалече
Князей кичливых рамена.

Эти ли стихи или другие были в руках у Бенкендорфа, потому что при запросах стихи не были приложены. Вот почему я и отвечал, что «я не знаю, какие стихи мне приписывают? под моим именем мог писать и другой» [65].

⟨V⟩
ПОЕЗДКА В СИБИРЬ

Ноябрь 1827 г

Лошади были готовы, на дворе было холодно. На мне была ватная шинель, которая в такие морозы согревать не могла. Купить шубы негде было, да и некогда. Много столпилось народу около моей повозки. «Постойте! Подождите!» — закричал гарнизонный артиллерийский русский офицер. «Что такое?» — спросил я. — «Сейчас, сейчас!», — и он побежал во всю мочь. — «Подождем», — сказал я пятидесятнику Семенцову. Минут через пять этот бедный офицер тащил в руках волчью шубу. — «Вам будет холодно в одной шинели», — проговорил он, запыхавшись, и бросил шубу в повозку. «Ваша фамилия?» — спросил я. — «Подпоручик *Коняев*». Я встал с повозки, обнял его и невольные слезы выступили у меня. Коняев, Коняев... долго твердил я дорогой... Он вовсе меня не знал...

Дорога наша была на *Витебск*. В г. Орше купил я повозку, оставленную каким-то фельдъегерем, за 25 руб. ассиг. На станциях и дорогою пятидесятник Семенцов, кроме весьма учтивого обращения и заботливости обо мне, называл меня «ваше высокоблагородие». Я, смеясь, спросил его, почему он так титулует меня, когда я уже не майор, а ссыльный? «Его высочество (Констан⟨тин⟩ Павлович) призывал меня и сам лично приказал так называть вас». Даже и в этом было видно соучастие великого князя ко мне. Семенцова не мог я уговорить садиться при мне; он ухаживал за мною, как лично мне подчиненный. Я расстался с ним в *Витебске*. По распоряжению цесаревича, из Витебска назначен уже был чиновник. В подорожной сказано было: «чиновнику такому-то с преступником». Из Витебска спокойно, без понуждений, с остановками по моему желанию, мы приехали в *Смоленск*. Губернатором был Храповицкий. Он послал за полицмейстером и сдал ему меня: «Господин преступник до отправки пробудет у вас». При слове «г-н преступник» я улыбнулся. Губернатор заметил это и сказал: «Извините, так сказано в подорожной». Но тон губернатора, мягкий и учтивый, доказывал, что он не желал оскорбить меня. Через несколько часов при полицейском чиновнике мы отправились в *Москву*. Весьма учтивое, даже услужливое обращение чиновника меня удостоверило, что русский чиновник, как и солдат, сочувствует всегда несчастию. В крепостном заключении я убедился в готовности солдат помогать или облегчать положение, сколько возможно, находящихся в заточении.

МОСКВА

В Москве гражданским губернатором был, кажется, Жеребцов. Я его не видал и не выходил из повозки. Чиновник передал бумаги у губернатора в канцелярии. Губернатор распорядился отправить меня в тюремный замок. Жандарм верхом (которому была дана записка обо мне) провожал нас.

* *Первоначально*: народной

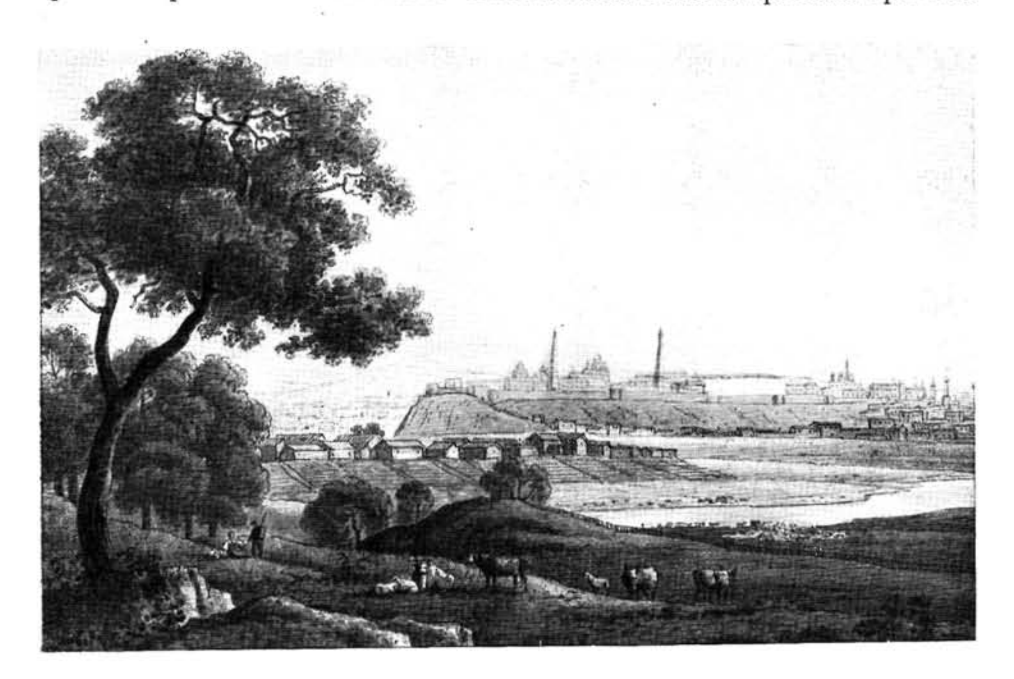
Повозка моя въехала во двор. Смотритель тюремного замка принял меня и отвел в офицерскую комнату караульного офицера.

Имени и фамилии этого смотрителя я не помню, но знаю, что он был штабс-капитан. Чрез полчаса не более он вошел в комнату, где я находился, и попросил к себе. Я вошел. У него был накрыт небольшой стол и поставлен суп и жаркое. Он предложил мне *откушать*. Без церемоний я отобедал, один, потому что был уже час третий. Хозяйничала в комнатах жена ли его или экономка — я не мог узнать. Человек он был средних лет, весьма доброе и простодушное выражение лица предрасполагало к нему. Мы разговорились. Он рассказывал мне, что политические арестанты — барон Соловьев, Бечасный[66] и некоторые другие — из Москвы были отправлены в партии арестантов пешком. Это известие испугало меня. Я просил позволения писать к губернатору, но он сказал мне, что прокурор будет завтра и что я могу отнестись к нему. Тут подали чай. Он отправился в арестантские, а я ушел в офицерскую караульню, где и ночевал. В карауле стоял карабинерный офицер и, вероятно, из корпуса, потому что, кроме фронта, он ничего не разумел и был совершенный младенец по понятиям. Часу в седьмом смотритель вошел и пригласил меня напиться у него чаю. Мы уже были как старые знакомые. Часов в 11 приехал прокурор, он доложил ему обо мне. Прокурор вошел в офицерскую комнату, и я объяснил ему, что, по распоряжению великого князя цесаревича, меня следовало отправлять на почтовых до места водворения, и что я опасаюсь, чтобы из Москвы не отправили, как некоторых других, при партии и, наконец, прошу убедительно не задержать мою отправку из Москвы. Прокурор записал и обещал доложить губернатору.

Обедать я также был приглашен смотрителем; после обеда разговорились, и он рассказал мне любопытный и страшный эпизод из его жизни. ⟨В⟩ 1801 году[67] он был юнкером гвардии. В памятное число ⟨11 марта⟩ он стоял в карауле во внутренних покоях во дворце и в коридоре, который вел в комнаты императора Павла I. «Я ожидал уже смены в ночное время, часы уже пробили, как увидел, что несколько генералов шло пря⟨мо⟩ в комнаты государя. Сдача была: „никого не впускать“, — я сделал на руку и остановил. В ту же минуту на меня бросился офицер и два солдата, зажали рот, вывели вон и сдали в караульню как важного секретного арестанта. Через два дня с фельдъегерем я был отправлен в гарнизон на Аландские острова. В шведскую войну я поступил в N полк. За отличие во многих делах получил Георгия и произведен в унтер-офицеры. Во время проезда императора Александра I в Финляндии в 1809 году я был назначен к нему на ординарцы. Государь принимал нас, и после того я объявил князю Волконскому, что имею важное дело передать лично его величеству. К⟨нязь⟩ Волконский доложил государю и, возвратясь, сказал мне, чтобы я передал ему то, что я имею сказать, но я решительно объявил, что никому не скажу, кроме самого государя. Через полчаса князь Волконский возвратился. Мне приказано было снять всю амуницию, т. е. перевязь и портупею с тесаком, и потом он же ввел меня в комнату государя. Я взглянул на Волконского и остановился говорить. „Что тебе нужно? Говори...“ Я взглянул на Волконского и молчал. Государь сделал знак Волконскому, и, когда он вышел, я безостановочно рассказал всю историю государю. Он очень был смущен и спросил меня, знают ли другие это дело? Я отвечал, что до сих пор я никому не говорил, и никто не знает, за что я прислан сюда. Наконец, государь сказал: „Хорошо, я справлюсь, а ты ступай и молчи“.

Никто не знал, зачем я был у государя, и никто не спрашивал. Но через месяц в приказе было объявлено: унтер-офицер N производится за отличие в прапорщики, потом в подпоручики, поручики, наконец в штабс-капитаны с назначением смотрителем в Тюремный замок в Москву и с двойным жалованьем, — и все это в полтора года. И вот теперь я совершенно

покоен, несмотря, что хлопот довольно». Я разделял чувства этого доброго человека и высказывал ему мои опасения насчет отправки при партии. Он сам ничего не знал, но обнадеживал меня. Я отужинал у него и отправился в офицерскую караульню, где уже собирался ложиться спать, как добрый смотритель почти вбежал ко мне: «За вами! За вами приехали и лошадей привели!» — сказал он мне радостно. За ним вошел гарнизонный офицер высокого роста и грубым голосом обратясь ко мне: «Милостивый государь! Я должен вас принять и доставить в г. Владимир». Несмотря на непривлекательную наружность офицера я обнял и поцеловал его... Через четверть часа я был готов. Моя повозка была запряжена тройкою



КАЗАНЬ

Акварель А. Е. Мартынова из альбома художника: «Живописное путешествие при Российском посольстве в Китай», 1805 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

лошадей. Я простился с добрым, честным смотрителем, он проводил меня до повозки, и, когда я уже уселся, мы пожали друг другу руки... Лошади тронулись, и железные вороты затворились за нами. Офицер оказался очень добрый человек, дорогою он острил по-своему и был очень внимателен ко мне. Мы заезжали в постоялые дома и в трактиры и очень не скучно доехали до *Владимира*.

Во *Владимире* был губернатором Курута, племянник Димитрия Димитриевича, известного любимца и друга цесаревича Кон⟨стантина⟩ Павл⟨овича⟩. Неизвестно почему он назначил еще конвойного солдата и с ружьем. Я удивился. Но чиновник его канцелярии сказал мне, что тут бывают по дороге разбои и губернатор опасается, чтобы не было нападения на нас. Я смеялся.

Как проехал я Нижний Новгород, хорошо не помню, но при мне был один только офицер, солдата уже не было. Рано поутру мы приехали в *Казань*. Губернатором был барон Розен. Мы вошли к нему; при мне он распечатал бумаги. Начал спрашивать меня о дороге, каково я ехал и проч. В ответах моих я объяснил ему, что с братьями его, Романом

Федоровичем и Петром Фед‹оровичем›, я близко знаком. Оба они были полковниками в Тамбовском пехотном полку.

Через час явился к нему смотритель тюремного замка, П. Ив. Кирилов. Я поступил на его руки, с ним мы уехали в замок. Он привел меня в комнаты, которые сам занимал, и, пробывши со мною с час времени, сам уехал и оставил меня хозяином в своей квартире. Чай, обед и ужин были для меня готовы. Сам же он, недавно женившись, проводил большую часть времени у жены, которая жила в городе. Он и ночевал там. От него узнал я историю об убийстве полковника Штерича (1), о которой я слышал прежде.

Через два дня я выехал из Казани. Кирилов дал мне на дорогу 3 картуза хорошего табаку, и предупредительность и заботы о моем содержании относительно пищи и отдыха остались памятными для меня.

Из Казани в Пермь я ехал также под надзором гарнизонного офицера и с тою же льготою. Мы останавливались в трактирах и я ночевал, где пожелал. Со мною были деньги, и я не отказывал себе ни в чем.

Мы приехали в *Пермь*. Губернатором был известный Тюфяев, который из низкого сословия, без всякого образования добился губернаторского места[68]. Хитрый, поддельный, готовый на всякую подлость, даже преступление, для угождения начальству, он из канцелярских служителей по разным канцеляриям и должностям в столице добился до чинов, а за личные послуги, и может быть по сделке, назначен был в Пермь губернатором. Везде и все жаловались на его несправедливость, жестокость и лихоимство, но напрасно — он имел сильную поддержку в Петербурге (2). Мы приехали к его дому. Он взял бумаги от офицера, прочитал их и очень учтиво спросил меня о дороге, о холоде и проч., а затем повел мне показывать разные церковные вещи, недавно ему присланные для церкви, устроенной в каком-то женском заведении. Между тем приехал полицмейстер, я был передан ему и часа через три выехал из Перми тем же порядком.

СИБИРЬ

Наконец мы проехали грань: Уральские горы... Геркулесовские столбы. Я в Сибири!

Я воображал себе Сибирь холодной, мрачной, страшной, заселенной простодушным и бедным народом и вдруг увидел огромные слободы, где не было ни одной соломенной крыши, и народ разгульный и бойкий. Обхождение со мною вольное, но не обидное.

— Ты, верно, из тех, что провозили?

— Да.

— Чудо! Давно, давно таких оказий не бывали! а можно спросить за какую провинность?

— Трудно объяснить.

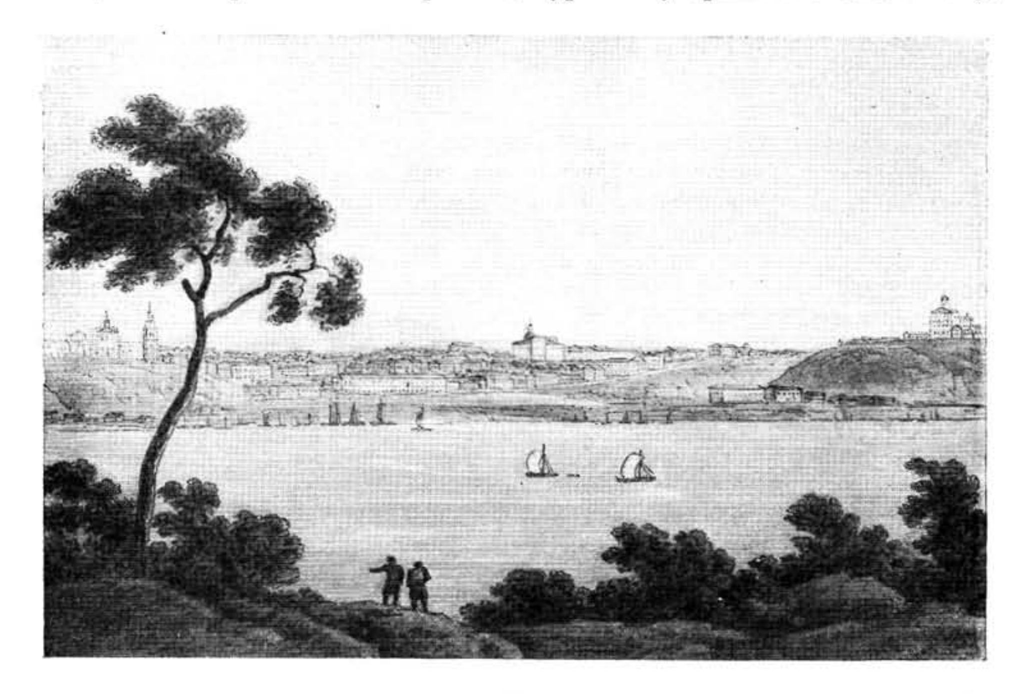
— Понимаем, понимаем, т. е. оно... тово... — и обыкновенно начинались рассуждения...

Такие спросы от крестьян и их заключения, всегда клонящиеся не в обвинение наше, меня нередко занимали. Сибиряк — не русский. Он хитрее, бойчее, но скрытнее русского. Всегда под бесчеловечной властию приезжающих русских чиновников, которые управляют самовластнее помещиков, сибирские крестьяне научились лгать, обманывать и унижаться перед этими чиновниками, которые наезжают в Сибирь для приобретения денег и чинов[69].

Мы приехали в *Тобольск*, прежнюю столицу Сибири (3), и подъехали к дому губернатора. Губернатором был Бантыш-Каменский, известный автор «Знаменитых людей в России»[70], человек обходительный и образованный. Он сделал мне несколько вопросов, послал за полицмейстером Василевским и сдал ему с тем, чтобы я был помещен в его доме. Мне отвели

во флигеле две комнаты. В Тобольске начались морозы, настоящие сибирские, иногда выше 40°. Я через полицмейстера просил у губернатора позволения пробыть и отдохнуть недели две в Тобольске. Он прислал доктора Попова освидетельствовать меня как больного...

В то время два сенатора, Безродный и к⟨нязь⟩ Куракин, ревизовали Западную Сибирь [71]. Губернатор опасался, чтобы ему не поставили в вину снисхождение ко мне. Как водится, Попов написал свидетельство, что я сильно болен как от продолжительной дороги, так и от моральных тревог, и что далее следовать никак не могу. Я остался в Тобольске. К величайшему моему утешению, доктор Попов оказался мне человеком как бы своим. Отец его был протопопом в гор. Тиме Курской губернии. Не знаю почему,



ПЕРМЬ

Акварель А. Е. Мартынова из альбома художника: «Живописное путешествие при Российском посольстве в Китай», 1805 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

отец мой очень любил этого протопопа, который нередко приезжал к нам, и отец мой всякий раз снабжал его водкою с завода и деньгами, конечно, не более 10 руб., сколько могу припомнить. Доктор Попов это знал и сам мне рассказал отношения моего отца с его отцом, вследствие чего доктор просил губернатора о дозволении взять меня к нему на квартиру на лечение. Губернатор разрешил, и я переехал к нему. Это было в исходе декабря месяца. Здесь я пробыл три недели и никуда не выезжал. Между тем, доктор передал мне только о том, что председатель Приказа П. И. Кирилов (соименник казанского Кирилова, но вовсе не родственник) настаивал, что меня следует отправить в партии. Такая новость встревожила меня.

Я попросил бумаги и написал к Бантышу-Каменскому письмо следующего содержания:

«В⟨аше⟩ п⟨ревосходительство⟩.

До меня дошли слухи, что из Тобольска я буду отправлен в партии с арестантами. Смею уверить вас, что объявление об отправке меня в партии будет моим смертным приговором, а Тобольск — гробом» и проч.

Письмо это лекарь Попов передал губернатору, который положил это письмо в карман и, улыбаясь, сказал: «Успокойте его, скажите, что это неправда».

Я пробыл в Тобольске три недели. Когда я сказал доктору, что «пора ехать», он удерживал меня, ссылаясь на сильные морозы. Это было генваря в начале. Но жить без дела и в ожидании дальнего пути мне наскучило.

Губернатор прислал ко мне казачьего пятидесятника, который явился ко мне на квартиру со словами: «Имею честь явиться для следования с вами». Я засмеялся еще более, когда он данные ему бумаги стал подавать мне. — «Эти бумаги должны быть у тебя, — сказал я ему, — и ты везешь меня в Томск». — «Слушаюсь». — «Вот, — подумал я, — нового рода отправка». Попов распорядился приготовить мне на дорогу *пельменей*. Уложили полмешка и поставили штоф вина на случай сильных морозов, хотя я водки и не пил, но на «случай». Он вместе с ветеринаром Стегачевым провожал меня до первой деревни. Тут мы простились. — «Мы рассчитываемся с вами за дружеские сношения наших отцов», — сказал я, обнимая его, и у нас обоих выступили слезы. Станции три я был очень встревожен и печален. Я припомнил мой дом, моего отца, мою боевую жизнь в 1812 году, мою цель — и вот на тройке с казаком еду по снежной сибирской дороге. — Еще 3000 верст впереди... Но все-таки не в казематах, а на чистом воздухе. Эта мысль успокаивала меня. Мы приехали в *Томск* прямо к дому губернатора. Эту должность исполнял в то время Соколовский. Мы вошли в дом. Он принимал нас в зале, где было несколько молодых чиновников. Старик, еще свежий, с открытым и добрым лицом. Он едва только распечатал бумаги и взглянул, тотчас обратился ко мне:

— Вы, конечно, еще не обедали?

— Закусывал, — отвечал я.

— Понимаю эти закуски. Мы уже пообедали, но я не отпущу вас без обеда. — Он обратился к молодому человеку (это был сын его, Владимир) [72] и что-то сказал ему... Казаку сказал: «Ступай, братец, к повозке». Другой молодой человек попросил меня в другую комнату, при мне накрыли стол и подали обед. Я пообедал хорошо, разговаривая с этими молодыми чиновниками. После обеда один из них, Фи⟨лософ⟩ Алек⟨сандрович⟩ Горохов, предложил мне остановиться у него в доме [73]. Я благодарил его. Сын Соколовского спросил у меня, долго ли я намерен пробыть в Томске?

— Это зависит от губернатора, — ответил я.

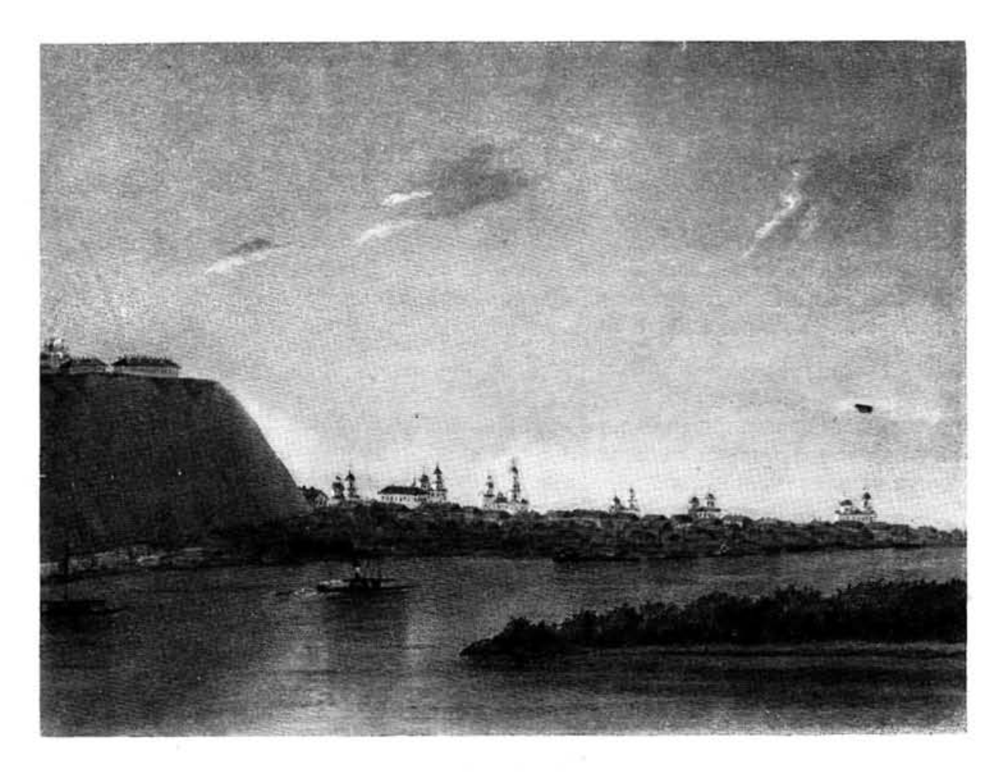
— Губернатор отдает на вашу волю.

— Поблагодарите его... День или два.

Мы ушли все вместе. Повозка моя следовала за нами. У Горохова был свой дом, большой и удобный. Казака отпустили. Хозяин предложил мне отдохнуть, и я уснул крепко в теплой комнате. К чаю собрались к нему те молодые чиновники, которых я видел у губернатора, а именно: Н. А. Степанов, сын красноярского губернатора [74], Владимир Соколовский, известный впоследствии стихотворением «Мироздание» и другими, а главное несчастиями, которые были следствием его пылкого характера, лекарь Репьев и Аргамаков, сын бывшего почтмейстера. Он отозвал меня в сторону, вынул письмо и подал мне; я тотчас узнал почерк Г. С. Батенькова, моего товарища и друга [75]. В 1824 году он писал к нему: «Может быть, известный тебе В. Ф. Раевский будет проезжать чрез Томск, поручаю и прошу тебя снабдить его деньгами и всем, что для него нужно, а я рассчитаюсь с тобою и проч. и проч.». — «Все изменилось, — сказал я. Этот любимец и сотрудник Сперанского и самый близкий и доверенный человек при Аракчееве, так же, как и я, посажен в крепость и может проедет здесь» (4). Вечер провели мы очень приятно. Я еще пробыл один день между этими благородными, честными людьми и попросил отправки. Мне назна-

чили пятидесятника из казаков, и я простился с ними, сожалея, что мне не назначено остаться в Томске на поселение *.

Я ехал не на почтовых, но на земских или обывательских лошадях. В Сибири нет гостиниц, а если есть постоялые дворы, то они содержатся для обозных извозчиков и приказчиков, всегда зимою наполнены людьми и всегда грязны. И потому я останавливался на земских квартирах, т. е. в домах, которые нанимаются для исправников, заседателей и приезжающих чиновников. Тут всегда тепло и чисто. Крестьянское общество хозяевам дает некоторые льготы и платит деньгами. На этих квартирах обыкновенно хозяева очень услужливы и имеют все, что нужно для пищи, и,



ТОБОЛЬСК
Этюд маслом П. М. Кошарова, 1860-е гг.
Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

кроме того, прислуживают большей частью хозяйские дочери, весьма не застенчивые и не жестокосердые... Надо заметить, что в Сибири практика предшествовала и развивалась прежде теории об эмансипации женщин.

Мы приехали в *Красноярск*. Писатель или, вернее, литератор Степанов был губернатором [76]. Мы вошли к нему. Он ничего не говорил со мною, прочитал бумаги и послал за полицмейстером. Часа через три я выехал из Красноярска тем же порядком (5).

В исходе февраля 1828 года мы приехали в *Иркутск*. Сильных морозов уже не было. Губернатор Цейдлер отправил меня в полицию. В полиции мне дали особую комнату, где содержались иногда чиновники. Комната была грязная. Клопы и блохи не давали спать. Мне сказали, что я назначен к отправке за Байкал, вследствие чего я решился писать к губер-

* *Далее зачеркнуто*: В исходе февраля 1828 года я приехал в Иркутск. Губернатором был Ив. Бог. Цейдлер.

натору. В письме моем я просил позволения купить в лавках, что мне нужно, и затем о скорой отправке, если возможно в гор. Верхнеудинск, где тогда находился в частной ссылке полковник Генерального штаба, Александр Николаевич Муравьев[77]. Письмо мое я закончил следующими словами: «Я не ожидал, чтобы, достигнувши конца моего назначения, я был посажен в полицию. Дорогою я не сделал никакого преступления; что я не важный государственный преступник, это Вы можете видеть из моих бумаг *, а что я не грязный преступник, прилагаю вам три письма, писанные ко мне в крепость Замосць графом Димитр⟨ием⟩ Димитриевичем Курута, по приказанию цесаревича Константина Павловича». Письма эти были написаны прямо на мое имя, весьма уважительно, и в одном из них цесаревич выслал мне 500 руб., как я сказал выше.

Вслед за моим письмом городничий возвратил мне письма гр. Куруты и объявил, что я могу перейти на квартиру. В виде прислуги мне назначили десятника, а через две недели приказано было поселить меня в Иркутском округе, только не в ближайших волостях к городу.

На этом основании я был назначен в Идинскую волость. С⟨ело⟩ Олонки я сам выбрал. Исправник Лобызев из военных, строго честный и бескорыстный чиновник, без всякого проводника разрешил мне ехать в волостное правление и отдал все касающиеся до меня бумаги мне самому в руки. Проездом вещи мои я оставил в Олонках, а сам уехал в Каменку и на другой день возвратился в Олонки[78].

Примечания

1) Полковник гвардии Штерич отпросился в отпуск в Херсонскую губернию, чтоб осмотреть свое имение. С управляющим своим он уехал на хутор. Штерич в коляске и в военном сюртуке, управляющий на дрожках и в шинели. У Штерича дорогою в коляске что-то изломалось, и начинал падать дождь. Штерич взял дрожки и шинель управляющего и поехал обратно. На половине дороги из-за одного кургана раздались два выстрела, и обе ружейные пули попали прямо в Штерича. Он тут же испустил дух. Молодой кучер, который правил лошадьми, привез его мертвого. Началось следствие... Виновных не могли отыскать. Государь послал своего флигель-адъютанта раскрыть дело. По следствию оказалось девять человек виновными. Преступников наказали кнутом, заклеймили и сослали в каторжную работу в Сибирь.

Между тем в Казани один острожный арестант-бродяга сильно заболел; перед смертию он попросил священника, прокурора и смотрителя и сознался, что он с товарищами по найму крестьян за 5000 рублей сторговались убить управляющего, и *ошибкою* по одежде и дрожкам убили самого господина вместо его слуги, что после этого они на выставленных лошадях уехали за 100 верст, а оттуда уже разошлись в разные стороны, что он пропил свои деньги, а товарищ в Рязани или Симбирске завел лавочку и торгует.

Губернатор приказал позаботиться о здоровье этого арестанта. Он оправился. Осужденных предписано от министра остановить. За товарищем послали в тот город, где он торговал.

Чем дело кончилось, я не знаю, потому что выехал из Казани.

2) Тюфяев переведен был губернатором в Вятку. В бытность там наследника (ныне императора) весь город жаловался на него, вследствие чего он был исключен из службы. Смерть его была оригинальна. Чтоб прекратить свою длительную и позорную жизнь, он ангажировал пять камелий, сам разделся и им приказал — и в несколько дней так истощил себя, что умер от удара.

* *Первоначально*: Дорогою я не сделал никакого преступления и меня нет в общем списке государственных преступников.

3) До ревизии Сперанского в Сибири был один генерал-губернатор. Последним был Пестель — отец знаменитого полковника Пестеля, который был повешен. По предложению Сперанского, Сибирь разделена на восточную и западную, и в каждой особый генерал-губернатор.

4) Подполковник Гаврило Степанович Батеньков после решения дела оставлен был в крепости Петропавловской. Конечно, из опасения связей и влияния его в Сибири. Он просидел в заточении двадцать лет и потом отправлен в Томск. Когда государь Александр II возвратил права сосланным политическим преступникам, Батеньков по предложению помещицы Елагиной, уехал в Калугу, где 1863 году октября 29, 73 лет умер, — и тело его увезено и похоронено в имении Елагиной. Мне после смерти его прислали его карточку при письме от г. Цурикова.

5) Впоследствии Степанов за отъездом генерал-губер⟨натора⟩ Лавинского в Петербург управлял как старший губернатор. По прибытии в Иркутск он посылал за мною и просил меня не сердиться за холодный прием, и я бывал у него по вечерам.

⟨VI⟩

⟨ЗАМЕТКИ О ВОЙНЕ 1812 ГОДА⟩

Я не буду описывать военные мои похождения в 1812 и 1813 году. Истории Данилевского и Богдановича[79] сказали почти все, что следовало сказать об этой ужасной войне. Я составлял единицу в общей числительности. Мы, или вернее сказать все, вступали в бой * с охотою и ожесточением против этого нового Атилы. О собственных чувствах я скажу только одно: если я слышал вдали гул пушечных выстрелов, тогда я был не свой от нетерпения, и так бы и перелетел туда... Полковник это знал и потому, где нужно было послать отдельно офицера с орудиями, он посылал меня. Под Бородиным я откомандирован был с двумя орудиями на «Горки». Под Вязьмою также я действовал отдельно, после Вязьмы — 4 орудия на большую московскую дорогу, по которой преследовали корпус Даву. Вся действующая армия повернула на Ельну.

Конечно, я получил за Бородино золотую шпагу с надписью «За храбрость», ⟨произведен⟩ в чин прапорщика; Аннинскую за Вязьму, чин подпоручика за 22 сентября и поручика за авангардные дела. Тогда награды не давались так щедро, как теперь. Но я искал сражений не для наград ** только, я чувствовал какое-то влечение к опасностям и ненависть к тирану, который осмелился вступить в наши границы, на нашу родную землю.

От Вязьмы началась погибель или мор несчастных, которых этот тиран завел в Россию, в Москву. Сражение при Малом Ярославце решило участь французов и он пошел обратно *** по опустошенному и безлюдному **** пути. Не только деревень, домов уже по всей дороге до Смоленска не было — одна зола и трубы от печей кое-где стояли. Платов шел по Духовской дороге, мы под командой генерала Грекова — по Московской. Направо и налево от дороги сидели и валялись кучи умерших и умирающих французов, немцев, поляков, итальянцев и даже испанцев... Около огней некоторые глодали мясо дохлых лошадей, другие в беспамятстве глодали или кусали трупы своих лежачих товарищей; на лицах их выражались бессмыслие или страх; большая часть была в помешательстве. Мы проходили

* *Первоначально*: в нумерации тех, которые бились, искали битв

** *Далее зачеркнуто:* я об них вовсе не думал. У меня были крепкие нервы и жизненные силы подкреплялись патриотизмом и ненавистью к тирану.

*** *Первоначально*: От Малого Ярославца дали ему толчок обратно. [У меня я чувствовал как бы]

**** *Первоначально*: разоренному

мимо этих несчастных совершенно равнодушно. Я не чувствовал ни сострадания, ни злобы ⟨...⟩.

Наполеон, это чудовище, бич человечества, бросил армию, дорогою сказал несколько ласкательных * слов легковерным** полякам и ускакал в Париж. Там кончилась война, эта страшная драма, где принесено в жертву только для потехи зверских наклонностей и театральной славы одного чудовища более 500 тысяч неповинных жертв! ***.

Французы казнили бедного Людовика XVI, а этому палачу народному кричали: «Vive l'Empereur!»**** Жалкий, легкомысленный, раболепный народ! Его дурачил и посылал на убой Наполеон I, теперь делает то же Наполеон III ⟨...⟩.

Я бы спросил, что чувствовал Наполеон, когда после Бородинского сражения 40 тысяч трупов и раненых,стонущих и изнемогающих людей густо покрывали поле, по которому он ехал? А сколько тысяч семейств оплакивали преждевременную потерю отцов, детей, братьев, мужей, любовников, опору семейств и все эти несчастья от произвола, от жажды владычества одного. По расчету самому точному 3 миллиона в продолжение его владычества было конскриптов[80], которые все погибли в войнах и походах. Почему человека, гражданина за убийство одного только такого же гражданина, женщину за убийство своего младенца наказывают смертию..., а смертоубийство массами называют победою?

Несправедливая война, и вообще война, если ее можно избежать договорами, уступками, должна рассматриваться судом народным, и виновников такой войны предавать суду и наказывать смертию[81]. Тогда войны были бы реже — и тысячи, десятки,сотни тысяч людей молодых,крепких и здоровых уцелели бы от насильственной смерти.

1812 года была народная война со всеми ужасами и варварством. Наполеон в Смоленске расстрелял двух помещиков за патриотизм. Из церквей наших войска Наполеона делали конюшни, образа кололи и топили ими. Смоленск, Вязьму, Дорогобуж сожгли французы. Из деревень большой дороги крестьяне бежали, угоняя скот, забирая с собою все имущество, при проходе казаки поджигали пустые села. Об Москве не говорю. Пребывание французов там описано очевидцами, конечно, верно и отчетливо. Народ русский зверски рассчитывался за пожары, насилие, убийства, свою веру.

МОЙ ФОРМУЛЯР

Родился 1795 года марта 28 ⟨в⟩ Курской губернии Старооскол⟨ьского⟩ уезда в слободе Хворостянка.

1803. Поступил в Московский университетский благородный пансион.

1810. Вышел из пансиона.

1811 года. Определился в Дворянский полк.

1812. По экзамену произведен прапорщиком артиллерии 21 мая.

1812. За отличие в сражениях получил золотую шпагу «За храбрость», св. Анны 3-го класса (ныне 4-го), чин подпоручика и поручика.

1813. Вышли за границу.

1815. Возвратился в свои пределы. Поступил адъютантом к корпусному начальнику артиллерии.

1817. Вышел в отставку штабс-капитаном. Того же года тем же шт⟨абс⟩-капитанским чином поступил в 32-й Егерский полк.

1817 года. Переведен в Малороссийский кирасирский полк. Произведен в ротмистры.

---

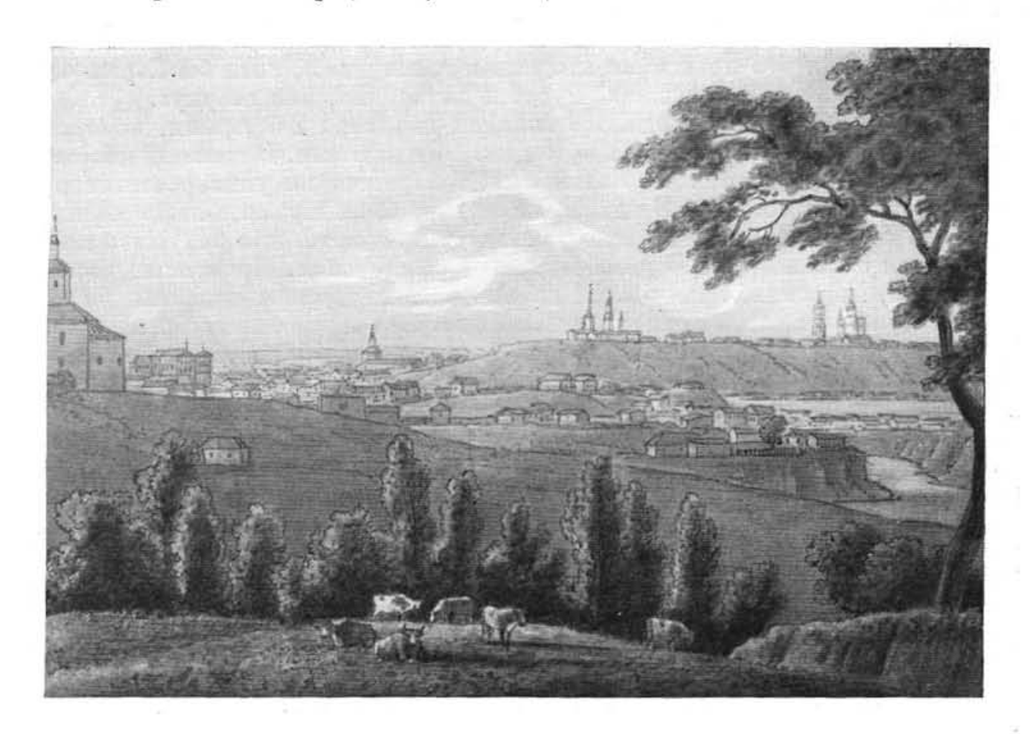
* *Первоначально*: успокоительных

** *Первоначально*: легкомысленным

*** *Далее зачеркнуто*: По учету некоторых писателей в правление Наполеона погибло более 3 миллионов солдат в разных войнах.

**** Да здравствует император! (франц.).

1818. Обратно перешел в 32-й Егер⟨ский⟩ полк. В Тульчине проездом поступил в Тайное общество. Полк стоял в Аккермане.
1820. Произведен в майоры. Принял батальон. Сдал батальон и принял в управление военные школы в г. Кишиневе.
1822. Школы опечатаны, и я 6 февраля арестован и отправлен в креп⟨ость⟩ Тираспольскую.
1822, 823, 824, 825. В крепости Тираспольской.
1826. В генваре перевезен в крепость Петропавловскую.
1827. Перевезен в кре⟨пость⟩ Замосць.



ТОМСК

Акварель А. Е. Мартынова из альбома художника: «Живописное путешествие при Российском посольстве в Китай», 1805 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

1828. В Сибирь на поселение.
1829 года. Женился.
1857 Августа 26. Возвращены права дворя⟨нства⟩.
1863. Ездил в Россию и на родину и в том же году возвратился [82].

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. ВЫПИСКИ ИЗ «ЗАПИСОК» В. Ф. РАЕВСКОГО, НАХОДИВШИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ П. Е. ЩЕГОЛЕВА [83]

⟨1⟩ «Отец мой был отставной майор екатерининской службы; человек живого ума, деятельный, враг насилия, он пользовался уважением всего дворянства».

⟨2⟩ «Кто были учители первого в России учебного заведения? Самые посредственные люди в нижних классах. В вышних классах большею

частию (исключая двух или трех профессоров во все 8 лет моего пребывания) педанты, педагоги по ремеслу, профессора по летам, парадные шуты по образу и свойству. И этим-то людям было вверено образование лучшего юношества в России».

⟨3⟩ «17-ти лет я встретил беспощадную, кровавую войну. Это был 1812-й год — война, роковая в известном смысле для иностранцев, принимавших в ней участие, и для наших, уцелевших,— для событий 14-го декабря».

⟨4⟩ «В 1816 году мы возвратились из-за границы в свои пределы. В Париже я не был, следовательно, многого не видал; но только суждения, рассказы поселили во мне новые понятия; я начал искать книг, читать, учить то, что прежде не входило в голову мою, хотя бы Esprit des Lois Монтескье, Contrat social Руссо я вытвердил, как азбуку».

⟨5⟩ «В Тульчине находилась главная квартира 2-й Армии, которою командовал граф Беннигсен, а потом кн. Витгенштейн. В главной квартире у меня было много близко знакомых, товарищей по университетскому благородному пансиону. В главной квартире было шумно, боевые офицеры еще служили... Аракчеев не успел еще придавить или задушить привычных гуманных и свободных митингов офицерских. Насмешки, толки, желания, надежды... не считались подозрительными и опасными. Беннигсен уже устарел и впадал в ребячество. Его сменил Витгенштейн, начальник кроткий, справедливый и свободомыслящий. Оба они были весьма популярны, и того и другого генералы, офицеры и солдаты любили и почитали».

⟨6⟩ «Когда еще производилось надо мною следствие, ко мне приезжал начальник штаба 2-й Армии генерал Киселев. Он объявил мне, что государь император приказал возвратить мне шпагу, если я открою, какое тайное общество существует в России под названием „Союза Благоденствия". Натурально, я отвечал ему, что „ничего не знаю. Но, если бы и знал, то самое предложение вашего превосходительства так оскорбительно, что я не решился бы открыть. Вы предлагаете мне шпагу за предательство?" Киселев несколько смешался. — „Так вы ничего не знаете?" — „Ничего"...» [84].

II. ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА к В. Ф. ПОПОВОЙ

⟨21 мая 1868 г.⟩

...Жизнь мою ты знала только по рассказам. Но внутренняя, настоящая моя жизнь впоследствии разъяснилась моим крепостным заключением. Любил ли меня отец наравне с братьями Александром и Андреем, — я не хотел знать, но что он верил мне более других братьев, надеялся на меня одного, — я это знал. Он хорошо понимал меня и в письмах своих, вместо эпиграфа, начинал: «не будь горд, гордым бог противен»; в моих ответах я начинал: «унижение паче гордости»... Я воспитывался с братьями вместе, братья не были дружны между собою, но оба они искренно любили меня; и когда мать наша посылала нам деньги на конфекты в пансион, и всегда мне менее, нежели каждому из них, — они делились со мною поровну и как бы стыдились за мать. Я не просил никогда у отца денег, даже выигранные мною в карты в Хворостянке отдавал ему. Насколько любил я сестер моих — и Наталья, и Александра очень хорошо знали, — когда в Петербурге с Петербургской стороны в Смольный монастырь, зимою, в 30 градусов мороза, в легкой шинельке сверх мундира, в кивере и в холодных сапогах, я ходил пешком, чтобы только повидаться, поцеловаться с ними... Оба брата вступили в службу раньше меня, но в одиннадцати сражениях я получил два чина за отличие и обогнал их, а двадцати пяти лет я уже был майором и имел два военных ордена. 1822 года 6-го февраля я был арестован. Этим арестом кончилась моя светлая, обществен-

ная жизнь, — началась новая, можно сказать, подземная, тюремная. Шесть лет продолжалась она. Меня перевозили из крепости в крепость: сначала в Тираспольскую, потом в Петропавловскую, наконец, в крепость Замосць. Здесь решилась моя будущность — спокойно я выслушал мою конфирмацию перед польскою бригадою, скинул мой военный мундир и как поселенец отправлен в Сибирь под строгим надзором, на почтовых. В Иркутске уже знали и ожидали моего приезда. Я был встречен с любопытством, вниманием и, со стороны начальников, очень вежливо.

Ты видишь, что жизнь моя состояла из трех переходов: с 17-ти лет я встретил беспощадную кровавую войну. И чтобы не описывать подробностей, я вот как стихами высказал (в моем послании к Саше) это роковое вступление в жизнь:

Среди молений и проклятий,
Средь скопища пирующих рабов,
Под гулами убийственных громов
И стонами в крови лежащих братий,
Я встретил жизнь, взошла заря моя...

Я из-за границы возвратился на родину уже с другими, новыми понятиями. Сотни тысяч русских своею смертью искупили свободу целой Европы. Армия, избалованная победами и славою, вместо обещанных наград и льгот, подчинилась неслыханному угнетению. Военные поселения, начальники такие, как Рот, Шварц, Желтухин и десятки других, забивали солдат под палками; крепостной гнет крестьян продолжался, боевых офицеров вытесняли из службы; восстановление всегда враждебной нам Польши, усиленное взыскание недоимок, увеличившихся войною, строгость цензуры, новые наборы рекрут и проч. и проч. — производили глухой ропот... Власть Аракчеева, ссылка Сперанского, неуважение знаменитых генералов и таких сановников, как Мордвинов, Трощинский, сильно встревожили, волновали людей, которые ожидали обновления, улучшений, благоденствия, исцеления тяжелых ран своего отечества... И вот причины, которые заставили нас высказаться так решительно и безбоязненно: дело шло о будущности России, об оживлении, спасении в настоящем. И брат твой прежде других (по неясному подозрению только)—был арестован и заключен в крепость Тираспольскую. Тайна оставалась тайною, и только 14-го декабря 1825 г. она объяснилась на Сенатской площади. Из Тирасполя я был отправлен в креп⟨ость⟩ Петропавловскую; по решении дела протестовал, меня отправили в Царство Польское, в креп⟨ость⟩ Замосць, а 1827 года октября 25-го участь моя была решена, — через месяц на почтовых меня отправили в Сибирь на поселение. После шестилетнего крепостного заключения, я, наконец, дышал свежим воздухом, видел людей, мог говорить с ними, мне дозволяли обедать на постоялых дворах, ночевать не в тюрьме, не под замком; чиновники и офицеры, которые назначались губернаторами тех губерний, через которые я проезжал, обходились со мною не только вежливо, но с непритворным уважением. Я потерял чины, ордена, меня лишили наследственного имения, но умственные мои силы, физическая крепость, мое имя — оставались при мне.

После жизни военной и тюремной, ⟨с⟩ 1827 или, вернее, 1828 года, начинается жизнь *ссыльная*. Вот уже 40 лет, как я в Сибири...

III. ОТРЫВКИ ИЗ БУМАГ В. Ф. РАЕВСКОГО

Одесса. 8 декабря ⟨1820 г.⟩

...Прости мне, несравненный друг! Увлекаемый минутным движением презренного плотского, я могу — я еще жертвую чувствами; я еще делю их... ах! прости, чувства мои не могут иметь участия в простой, грубой

физике... мгновенный проступок не унизит меня перед тобою! Чувства, душа, мысль моя принадлежат тебе, — а признание есть вернейший залог моей искренней твердой любви. Я — человек, следственно могу делать ошибки, свойственные человеку, но я имею душу, и она принадлежит тебе без всякого совместничества! вчерашнюю ночь еще я видел, я обнимал тебя, я видел тебя в одежде невинности! И это таинственное сновидение не обмануло меня, — я знаю, я уверен, что ты принадлежишь одному мне. Ты не унизишь меня в глазах моих. Я надеюсь на лучшее, надеюсь на будущее. И в сладком уверении еще мечтаю о прошедшем упоении!..

Куда сокрылись вы, блаженные минуты, когда в объятиях ее я забывал грозные кары железного рока, когда минута моей разлуки казалась мне жертвою несносною! Ах! сколько раз, устремя взоры на ангельское лицо ее, я читал всю душу, все совершенство мыслей, ей одной принадлежащее! Так я был на той степени счастья, которое не променял бы тогда на радости видеть себя спасителем моего отечества, я забывал вас, братия! Я забывал долг мой — и, падая на руки прелестной волшебницы, казалось, терял все существо мое, жил, дышал и наслаждался ею, цель моя была — она — предмет честолюбия и желаний она, и грозная разлука дала мне постигнуть, что я мог быть человеком с нею!.. Я помню слова несравненной: «Ты можешь быть полезнее там! может быть, для меня теряешь ты много!»... И слезы жестокие заглушали во мне тайные минутные порывы великого...[85]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Текст «Воспоминаний» Раевского печатается нами по новой орфографии и с исправлениями пунктуации; опущены также такие особенности правописания, как «Кишенев», «сдравствуйте», «ето», «екипаж», «перьгой», «Перьмь», окончания «ой» в прилагательных, «ичь» в отчествах («Васильичь», «Петровичь») и пр. Цифры в скобках здесь и ниже поставлены самим Раевским и обозначают номера его собственных примечаний. Под строкой приводятся наиболее значительные варианты.

[2] Подзаголовок «Мой арест» написан карандашом на последней странице главы.

[3] Раевский имеет в виду суровые наказания, постигшие участников так называемого бунта в Камчатском полку. Капитан Брюханов, — один из наиболее жестоких командиров, — разозленный действиями каптенармуса, мешавшего ему наживаться на провиантских ассигновках, воспользовавшись первым же незначительным промахом последнего, велел наказать его палками. Рота, возмущенная явной несправедливостью наказания, вырвала товарища из рук наказывавших его унтер-офицеров, отняв у последних также и палки. М. Ф. Орлов, рассмотрев дело, признал претензии солдат правильными и отдал под суд капитана Брюханова. Сабанеев пересмотрел дело, в результате чего Брюханов был освобожден от суда, а виновники «беспорядков» наказаны кнутом и сосланы в каторжные работы (ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 42, т. III, лл. 75 и след.). Главный виновник — фельдфебель Дубровский был наказан 81 ударом кнута, трое рядовых (Казурский, Куценко и Рябчинский) получили по 70 ударов (см. подробное изложение дела в книгах Б а з а н о в а: Раевский, стр. 70—73 и «Декабристы в Кишиневе», 1951, стр. 41—50). Наказание было произведено таким образом, что, действительно, имело характер пытки, о чем сохранилось ценнейшее свидетельство в записи служившего тогда в Кишиневе П. П. Долгорукова (см.: М. А. и Т. Г. Ц я в л о в с к и е. Дневник Долгорукова.— «Звенья», IX, 1951, стр. 43—44, 130—131). По сообщению Долгорукова, все наказанные через несколько дней умерли.

[4] Этой фразой обрывалась публикация отрывка в «Вестнике Европы», 1874. № 6.

[5] Намек на Калипсо Полихрони, которой тогда увлекался Пушкин.

[6] Р е т е л ь — город во Франции.

[7] М-м Л е н о р м а н (1772—1843)— французская писательница, пользовавшаяся репутацией гадалки. Ее сочинения имеют мемуарный характер, некоторые посвящены предсказаниям политических событий. Штабс-капитан Каховский, которому, как говорит в своем примечании Раевский, Ленорман якобы предсказала повешение (см. стр. 82),— декабрист Каховский. П. И. Бартенев сообщил тот же рассказ в применении к Сергею Муравьеву-Апостолу («Русский архив», 1871, № 1, стр. 262). Этот эпизод связывается также и с именем Рылеева (Ф. И. Т и м и р я з е в. Страницы прошлого.— «Русский архив», 1884, № 1, стр. 172).

[8] Константин Алексеевич О х о т н и к о в (1794?—1824?) — капитан 32-го Егерского полка, адъютант Орлова и предшественник Раевского по заведованию дивизионной школой, участник Отечественной войны 1812 г., один из руководителей киши-

невской группы Южного общества. Биографические сведения о нем очень скудны; в «Алфавите декабристов» о нем кратко сказано: «принадлежал к числу членов Союза Благоденствия и, по показаниям, был одним из деятельнейших членов» (стр. 144). Охотников вместе с Орловым принимал участие в Московском съезде 1821 г. и принадлежал к тем, кто, не согласившись с ликвидацией Общества, начал энергично создавать новую организацию. Активная роль Охотникова в Тайном обществе после ликвидации Союза Благоденствия вполне подтверждается и «Воспоминаниями» Раевского. С большим уважением отзывается Раевский об Охотникове и на следствии, характеризуя его как человека «строгой жизни» и «чистой добродетели без личных выгод». «Я тайно завидовал,— говорил Раевский в своих показаниях,— что человек, почти одних со мною лет, так далеко ушел от меня в совершенстве нравственном — и поклялся истребить последние недостатки в себе самом» («Красный архив», 1925, № 6, стр. 299). В характере Охотникова было много черт, сближавших его с Раевским: суровый ригоризм, строгая принципиальность, повышенная требовательность к людям. «Он прекраснейший и достойнейший человек, и я люблю его от всей души,— писал об Охотникове Орлов,— но у него привычка говорить другому в лицо самые грубые истины, не догадываясь, что каждая из них бьет того словно обухом по голове» (М. О. Гершензон. История молодой России. М.— Пг., 1923, стр. 34). Письма Раевского к Охотникову, захваченные у последнего, фигурировали в деле как обвинительный материал против Раевского (опубликованы Ю. Г. Оксманом в «Красном архиве», 1925, № 6, стр. 300—306).

[9] Эти три юнкера были основными свидетелями обвинения в деле Раевского; наиболее ревностным из них был Сущев (см. прим. 16).

[10] Сабанеев ранее сам выступал с приказами, запрещающими жестокое обращение с нижними чинами. На эти приказы ссылался во время следствия М. Ф. Орлов, утверждая, что его распоряжения и приказы были «в духе» приказов Сабанеева. Он приводил в пример приказы Сабанеева от 24 октября 1814 г., 10 октября 1818 г., 19 августа 1819 г. и 21 сентября 1820 г. В последнем приказе Сабанеев писал: «Жестокость с нижними чинами есть мера власти, законами возбраняемая...»; «Образование нижних чинов не должно и не может быть поводом к разрушению драгоценного для отечества их здоровья. Сперва сберечь, а потом выучить. Вот правило неизменяемое ни в каком случае. Девять убить, десятого выучить — принадлежит времени иного века». Орлов очень осторожно комментирует этот приказ. Если бы,— говорил он,— в его приказе было последнее выражение, то «конечно, оно представлено было бы в числе актов моего обвинения» («Дело о поведении генерал-майора Орлова в командовании 16-й пехотной дивизией».— ЦГВИАЛ, ф. № 9, оп. 26, д. 1, л. 50 об.).

[11] Сабанеев придавал большое значение этому обстоятельству. В инструкции Военно-судной комиссии, составленной им и определявшей, какие вопросы должно поставить Раевскому, был специальный пункт: «О разговорах с нижними чинами на счет мой»: «Спросить Раевского какую надобность имел он завести обо мне разговор с солдатами, а по второму пункту сего же отделения сделать очную ставку с теми юнкерами, коих присылал он ко мне сказать, что меня не боится» (ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 42, т. IV, л. 33). Раевский в своем ответе объяснил, что «такой поступок с его стороны был бы просто глупостью» (там же, л. 99).

[12] Федор Михайлович Шуллер — штаб-лекарь, главный врач 16-й дивизии, крупный специалист по чуме. Из Кишинева был переведен на Кавказ, где и погиб во время вспышки чумы в завоеванных русскими крепостях. О нем см.: Е. Г. Вейденбаум. Кавказские заметки.— Иллюстрированное приложение к газ. «Тифлисский вестник», 1899, № 7; Его же. Кавказские знакомцы Пушкина.— «Пушкин и его современники», вып. VIII. СПб., 1908, стр. 12—14. «Шуллера, умершего в чуме», Пушкин включил в свое «Поминание». Шуллер принадлежал к кишиневскому кругу знакомых Пушкина и Раевского и вместе с ними принимал участие в масонской ложе «Овидий» (Семевский, стр. 315—317). О Шуллере неоднократно упоминает в своем «Дневнике» и П. И. Долгоруков (см. прим. 3).

[13] Под «Одой к свободе» Пушкина Раевский разумеет оду «Вольность».

[14] Иван Никитич Инзов (1768—1845) считался современниками сыном Павла I. Сводка материалов об Инзове и о его взаимоотношениях с Пушкиным сделана Б. Л. Модзалевским (Пушкин. Письма, т. I. М.—Л., 1926, стр. 209—210). Биографы Инзова подчеркивают его религиозность, интерес к мистическим сочинениям и вместе с тем резко отрицательное отношение к крепостному праву. Новые материалы для характеристики Инзова находятся в упомянутом выше «Дневнике» П. И. Долгорукова.

[15] То, что пишет Раевский в 1841 г. об Ипсиланти и его армии, не отражает отношения декабристов и самого Раевского к греческому восстанию 1821—1827 гг. Декабристы и Пушкин горячо приветствовали греческое восстание. Пестель внимательно изучал опыт Гетерии и уже в июне 1821 г. докладывал о ней на одном из собраний Тайного общества в Петербурге. А Раевский, находясь в Тираспольской крепости, написал в 1822 г. стихотворение «К друзьям в Кишинев», где выразил уверенность, что греческое восстание пробудит «народный сон и гидру дремлющей свободы». Упоминаемые в воспоминаниях Раевского албанцы действительно активно участвовали в

греческом освободительном движении против турецкого ига, поддерживая повстанцев своими вооруженными отрядами.

16 Сводка биографических сведений о братьях Липранди с указанием всех библиографических источников дана в статье П. А. Садикова (см. выше, стр. 73).

17 О юнкере Сущеве, разоблачая его поступки, Раевский подробно говорит в своем «Протесте» («Ульяновский сборник», стр. 228—229; Базанов. Раевский, стр. 17—19). Знакомство Раевского с Сущевым началось в Московском благородном пансионе, где они вместе учились. Впоследствии Сущев служил в 32-м Егерском полку, похитил у своего ротного командира деньги, бежал из полка, был пойман, находился под судом, который, однако, признал его действовавшим в припадке психического расстройства и оправдал, после чего он был определен в тот же полк юнкером и одно время жил у принявшего в нем большое участие Раевского. В. Г. Базанов полагает, что Сущев был не только «лжесвидетелем», но и агентом тайной полиции (Раевский, стр. 33). Это соображение представляется вероятным и, может быть, именно оно послужило причиной необычного для того времени оправдания Сущева.

18 Брошюра под таким названием не упоминается более нигде в декабристской историографии. Подробнее о ней — см. в статье Ю. Г. Оксмана «Воззвание к сынам Севера». — «Очерки из истории движения декабристов». М., 1954, стр. 451—474 и в нашем обзоре («Лит. наследство», т. 59, стр. 612).

19 Эти строки в тексте Раевского выделены и предшествуют по месту в тетради остальным примечаниям; ради удобства мы поместили их в конце примечаний. Письмо, о котором идет здесь речь, находится в следственном деле о Раевском и опубликовано Ю. Г. Оксманом («Красный архив», 1925, № 6, стр. 306—307). Вопреки утверждению Раевского, что письмо «не заключало в себе ничего особенно важного», оно имело очень большое значение, представляя собой осторожную информацию и предупреждение. Под видом несерьезной, приятельской болтовни Раевский сообщал Непенину о приезде Сабанеева, об отмене последним всех приказов Орлова, о возобновлении в полках побоев и о намерении Сабанеева дискредитировать Орлова в политическом отношении; тут же он извещал своего корреспондента о доносе Сущева и осторожно предупреждал о возможном вызове на допрос Непенина. Зачеркнутые варианты свидетельствуют, что Раевскому остались неясными причины поведения в данном случае Гамалеи: неосторожность, легкомыслие или сознательное предательство.

20 В автобиографических материалах дата вступления в члены Тайного общества указывается Раевским различно. В записке «Мой формуляр» и в той редакции «Воспоминаний», выписки из которых были в руках П. Е. Щеголева, он называл 1818 г. Дата 1818 г. находилась первоначально и в тексте настоящей главы.

Подробно вопрос о дате вступления Раевского в Тайное общество обследован Ю. Г. Оксманом в работе «Воззвание к сынам Севера» («Очерки из истории движения декабристов». М., 1954). Как устанавливает Ю. Г. Оксман, время вступления Раевского в Тайное общество точно документируется июлем 1820 г. (стр. 454—458).

21 Противоречивы также сообщения Раевского о том, кем был он принят в Тайное общество. Первоначально он сослался на умершего капитана Филипповича (см. стр. 95), на суде в Замостье он назвал Комарова; Комарова он называет и в «Автобиографической записке» 1858 г. В настоящих же «Воспоминаниях» говорит о Фонвизине. Как известно, Комаров и сам признался, что принял Раевского; возможно, что о существовании Общества Раевский узнал и от Комарова и от Фонвизина. На следствии в Петербурге он говорил, что его приняли «Комаров или Филиппович (точно не помню)» (ЦГИА, ф. № 48, д. 149, л. 15).

22 Николай Иванович Комаров (1796—1853) — член Союза Благоденствия. В процессе декабристов сыграл предательскую роль, разоблачив огромное количество членов Тайного общества. Из записи (от 15 мая 1853 г.) в не опубликованном до сих пор полностью дневнике Л. В. Дубельта выясняется, что Комаров покончил с собой: «Застрелился отставной д. с. с. Н. И. Комаров. В его комнате нашли записку его руки, чтобы никого в его смерти не винили, что он сам лишил себя жизни, и пакет с надписью: „Отдать дежурному фл.-ад. при е. и. в.“» (цит. по корректуре подготовленного П. А. Садиковым, но не вышедшего в свет издания «Заметок и дневника» Дубельта).

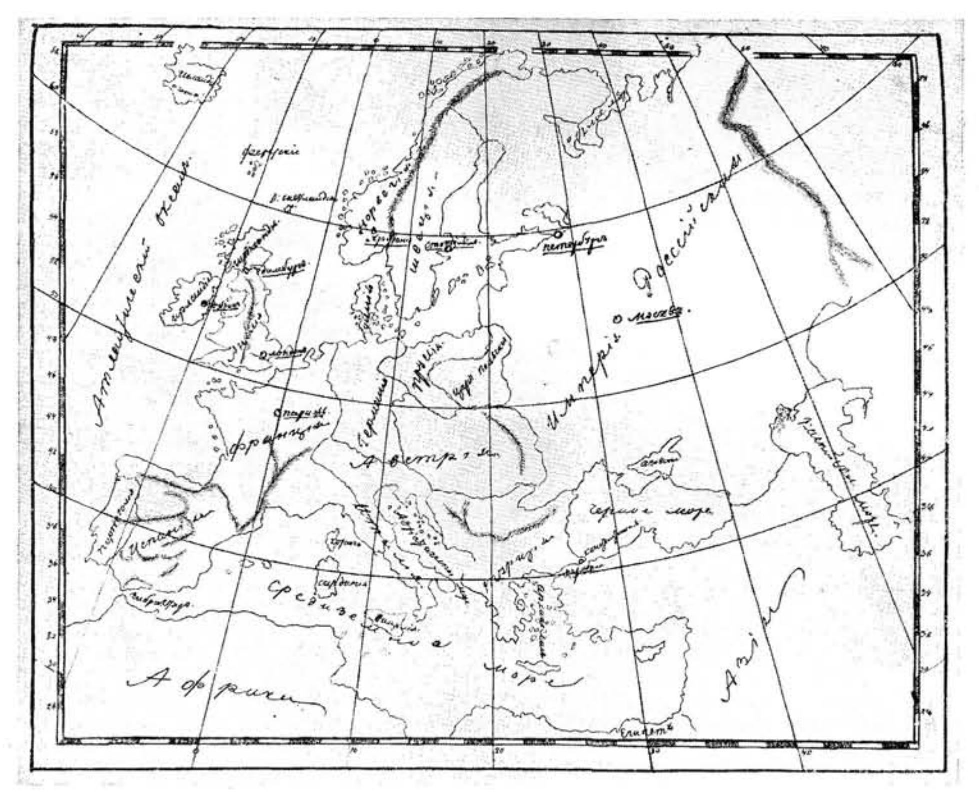
Сводку материалов о Н. И. Комарове см. далее в статье Ю. Г. Оксмана, стр. 140—141.

23 Здесь и далее Раевский перечисляет известных ему в то время членов Тайного общества. Подробные биографические сведения о включенных в данный перечень лицах находятся в «Алфавите декабристов». Абрам Сергеевич Норов (1795—1869), впоследствии министр народного просвещения, и Александр Львович Давыдов (1773—1833) членами Тайного общества не состояли и внесены Раевским в список ошибочно. Раевский, очевидно, спутал А. С. Норова с его старшим братом, подполковником Василием Сергеевичем Норовым (1793—1853), который действительно был членом Тайного общества в 1820 г. Фамилия полковника Пятина в «Алфавите декабристов» не названа; Раевский упоминает о нем в письме к Приклонскому от 25 октября 1818 г. («Ульяновский сборник», стр. 300). С некоторыми из упомянутых в данном перечне лиц Раевский позже встретился в иркутской ссылке (это — Трубецкой, Волконский, А. Н. Муравьев, Н. М. Муравьев, Юшневский, Лунин, Арт. Муравьев).

24 Андрей Григорьевич Непенин (1787—1845) — полковник 32-го Егерского

полка, член Союза Благоденствия с 1819 г. (принят Пестелем и Кальмом, а не Бистромом, как отмечено в «Воспоминаниях» Раевского). В 1826 г. был арестован и привлечен к суду. Активная роль его в Тайном обществе осталась необнаруженной (см. выше, стр. 66) и в основную вину ему было поставлено лишь «слабое смотрение за Раевским» (ВД, т. VIII, стр. 137, 259—260). В 1827 г. вновь было поднято дело о Непенине, но сразу же прекращено. Раевский отмечает «беспечность» Непенина, отдавшего в руки генерала Черемисинова столь важное письмо. Эту же черту характера Непенина отмечает и Липранди («Русский архив», 1866, стб. 1436). О Непенине см.: В. С. Арсеньев и И. М. Картавцов. Декабристы-туляки. Тула, 1926, стр. 40—41.

[25] Федор Антонович Бистром — полковник, впоследствии генерал-гевальтигер 2-й Армии; умер в 1825 г. В «Алфавите декабристов» глухо упомянуто, что он был принят в Южное общество в 1821 г. (стр. 36); о его роли в Союзе Благоденствия и о нем самом имеются очень скудные сведения.



КАРТА ЕВРОПЫ, НАРИСОВАННАЯ В. Ф. РАЕВСКИМ, 1810-е гг.

Военно-исторический архив, Ленинград

[26] В следственном деле сохранились указания, что классы были разделены на «верхний» и «нижний». «Находящимся в верхнем по желанию преподавать можно французский язык. В Добавление в высшем классе: физика, натуральная история, мифология» (ЦГВИАЛ, указ. дело, т. XII, л. 50).

[27] «Политической географии» Раевский придавал особо важное значение: в нее входили по его программе изложение разных типов государственного правления, характеристика классов (сословий) России и т. д. Конспект лекций Раевского по географии сохранился и находится в его следственном деле (там же, лл. 244—247). Обзор и характеристику материалов следственного дела, относящихся к педагогической деятельности Раевского, см. в кн.: Базанов. Раевский, стр. 93—103.

[28] Раевский, действительно, пользовался для грамматических примеров цитатами лишь из дозволенных цензурою литературных произведений, но выбирал для этой цели наиболее острые в политическом отношении вещи, как, например, стихотворение Гнедича «Перуанец к испанцу», или же подбирал из них цитаты таким образом, что нейтральные произведения приобретали чуждое их духу политическое звучание (например, «Пери и ангел» Жуковского). В бумагах Раевского оказалась переписанной и ода Рылеева «К временщику» (см. «Ульяновский сборник», стр. 335—338).

[29] Называя Коновницына, Раевский путает двух братьев. «Отдан матери», то есть освобожден от наказания, был младший брат, Иван Петрович Коновницын (1806—1867 или 1871), но Раевский ничего не мог знать о нем, так как в 1820—1821 гг. он еще учился в Пажеском корпусе; старший же брат, Петр Коновницын (1802—1830), был разжалован в нижние чины; солдатскую службу отбывал сначала в Семипалатинске, затем на Кавказе; в 1828 г. за отличие в боях ему было возвращено офицерское звание. Дети генерала Н. Н. Раевского: Александр (1795—1868)— отставной полковник и Николай (1801—1843)— полковник Харьковского драгунского полка; оба они были привлечены к следствию и арестованы, но затем освобождены. Николай Николаевич Депрерадович (1802—1884), в 1822 г. был корнетом кавалергардского полка; после 14 декабря переведен в Нижегородский драгунский полк, находившийся на Кавказе. Как и в предыдущем перечне (см. прим. 23), Раевский ошибочно называет в числе членов Тайного общества А. Л. Давыдова, ошибочно также и его сообщение об аресте А.Л.Давыдова.

[30] В оправдательной записке М. Ф. Орлов уверял, что он никогда не имел «Зеленой книги». «Тут <в 1820 г.> я прочитал также и устав, который обещан был мне в копии, но никогда не прислан» (Довнар-Запольский. Мемуары, стр. 6); свидетельство Раевского опровергает это заявление Орлова.

[31] Федор Федорович Вадковский (1800—1844)— один из выдающихся деятелей декабристского движения, хотя в исторической литературе его значение часто освещается неверно. Вадковский является автором исторического очерка «Белая Церковь» («Воспоминания и рассказы деятелей Т. О.», т. I, стр. 188—201) и ряда стихотворений и сатирических куплетов («Декабристы». Сборник, под ред. П. М. Головачева. М., 1907, стр. 4—6; «Красный архив», 1925, № 3, стр. 318—319). Наиболее полная характеристика Вадковского принадлежит Н. М. Дружинину: «Семейство Чернышевых и декабристское движение».— Сб. «Ярополец». М., 1930, стр. 23—32; см. также: Бестужевы, стр. 772—773.— В фамилии Шервуд Раевский всюду пишет «т» вместо «д».

[32] Архиепископ Ириней (Нестерович) (1783—1864) был назначен в Иркутск в 1830 г. специально, чтобы «подтянуть» иркутскую епархию, которую Синод и Николай I считали «распустившейся» при правлении предшественника Иринея, архиепископа Михаила («Русская старина», 1880, № 11, стр. 746). Однако самовластные действия Иринея, его вмешательство в гражданское управление и столкновения с представителем краевой власти восстановили против него генерал-губернатора Лавинского, которому удалось добиться отозвания Иринея. Приказом Синода Иринею было предложено покинуть Иркутск, но он отказался повиноваться, признал указ подложным и обратился за помощью к народу. Он явился на главную гауптвахту, потребовал коменданта города генерал-майора Покровского, «а сам стал среди фронта солдат и произносил речи к солдатам и народу, собравшемуся на площади прямо гауптвахты, не совсем приличные и неуместные» («Иркутская летопись. Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова». — «Труды Восточно-Сибирского отдела Русского географического об-ва», № V. Иркутск, 1911, стр. 243). 21 ноября Ириней был увезен из Иркутска специально прибывшими из Петербурга флигель-адъютантом полковником Гоголем и жандармским подполковником Брянчаниновым. «Бунт Иринея» вызвал довольно обширную литературу, перечень ее см.: В. И. Межов. Сибирская библиография. СПб., 1892, т. II, №№ 9686—9701; дополнительно: Э. И. Стогов. Очерки, рассказы и воспоминания, III. Бунт архиепископа Иринея.— «Русская старина», 1878, № 9, стр. 99—117; «Из бумаг С. Д. Нечаева». — «Русский архив», 1893, № 5, стр. 136—143.

Рассказ Раевского и его характеристика личности Иринея («развратный и хитрый монах») представляется ценным дополнением к существующей мемуарной литературе. Ириней не отрицал своего доноса на Раевского, наоборот, очень гордился им и в разговоре с иркутским городским головой хвалился тем, что раньше других раскрыл «зловредное для государства учение, которое преподавал бывший тогда майором <...> Раевский юнкерам в военном бессарабском лицее» («Русская старина», 1882, № 10, стр. 102).

Крупную роль в удалении Иринея из Сибири сыграл декабрист А. Н. Муравьев, занимавший в то время должность иркутского городничего. В сущности только благодаря письмам Муравьева к его влиятельным друзьям в Петербург удалось Лавинскому одержать победу в борьбе с Иринеем и добиться его удаления из Иркутска. Муравьев в письмах называл Иринея «зверским, лютым, корыстолюбивым и соблазнительным архиепископом» («Русский архив», 1893, № 5, стр. 137). Возможно, что соответствующую информацию о предыдущей деятельности Иринея Муравьев получил именно от Раевского, с которым он во время своего пребывания в Иркутске поддерживал тесную дружескую связь. Совершенно неправильное освещение позиции Муравьева в этой борьбе дает С. Я. Штрайх, в изображении которого борьба Иринея с местной властью принимает несвойственные ей черты принципиального протеста (С. Я. Штрайх. Раскаявшийся декабрист.— «Красная новь», 1925, №12, стр.155—157).

[33] Об обедах у Орлова, на которых всегда возникали страстные политические и литературные дискуссии, сообщает ряд мемуаристов (Липранди, Вигель и др.); Вигель особенно подчеркивает выступления Раевского (Записки. СПб., 1892, ч. VI, стр. 115). М. О Гершензон приводит отрывок из письма Ек. Ник. Орловой к брату ее, Александру Раевскому: «У нас беспрестанно идут шумные споры — философские, по-

литические, литературные и др.; мне слышно их из дальней комнаты» («История молодой России». М.— Пг., 1923, стр. 34).

[34] Павел Сергеевич Пущин (1785—1865)— бригадный генерал в дивизии Орлова, член Союза Благоденствия и масонской ложи в Кишиневе («Овидий»), адресат послания Пушкина (1821). В связи с «беспорядками» в Камчатском полку (см. выше, стр. 118) был вынужден, по требованию Сабанеева, выйти в отставку. Подробнее о нем см. в настоящем томе, стр. 521—523.

[35] Дмитрий Николаевич Бологовской (1775—1852)— бригадный генерал, участник убийства Павла I. Сводка биографических сведений о нем сделана Б. Л. Модзалевским (Пушкин. Письма, т. II. М.—Л., 1928, стр. 319—321; Дневник Пушкина. М.— Пг., 1923, стр. 191—195); см. также «Звенья», IX, 1951, стр. 101.

[36] Майор Охотского полка Вержейский, так же как и Брюханов, принадлежал к числу наиболее жестоких и беспощадных командиров. Раевский говорил о нем в своих показаниях: «За то, что унтер-офицер Кочнев солдатку его батальона, с которой он ⟨Вержейский⟩ был в непозволительных связях, назвал непотребной женщиной, дал 700 ударов палками и тесаками по обнаженному телу и когда тот не кричал, велел принести несколько пригоршней соли и, втерши ему в спину, дал еще 300 ударов — всего 1000» (ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 42, т. III, л. 84). Отданный под суд Орловым (в приказе от 6 января 1822 г.), Вержейский был освобожден Сабанеевым, но затем все же был снова отдан под суд и умер, находясь под следствием.

[37] Раевский не вполне точно передает выражения приказа Орлова: Орлов не употребляет в нем термина «тиран», но говорит об «извергах»: «Обратимся к нашей военной истории,— писал в приказе Орлов,— Суворов, Румянцев, Потемкин, все люди, приобревшие себе и отечеству славу, были друзьями солдат и пеклись об их благосостоянии. Все же изверги, кои одними побоями доводили их полки до наружной исправности, все погибли или погибнут» («Декабристы», 1926, стр. 63).

[38] Как можно полагать по контексту, здесь находился рассказ о предложении Киселева выдать Орлова и других членов Тайного общества (см. Приложение I; Щеголев. Декабристы, стр. 31).

[39] Вопросы, поставленные Раевскому, были разделены на 10 групп, или «отделений», соответствующих пунктам обвинения:

«Отделение первое: О прописях в полковой ланкастеровой школе употребляемых; о разговорах Раевского с юнкерами и нижними чинами, бывшими в полковой ланкастеровой школе; о прописях и книгах, употребляемых в дивизионной школе взаимного обучения; разговоры Раевского с офицерами о свободе, равенстве, вольности, конституции и тому подобном; о притеснениях, делаемых правительством; о предложении к составлению дружеского какого-то к тому Союза и обещании колец тем, кто будет принадлежать сему сословию, и, наконец, о кольце и связях Раевского в Каменке» (ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 42, т. IIа, л.3 об.).

«Отделение второе: Похвала поступка Семеновского полка перед офицерами и нижними чинами и другие противозаконные при сем случаи и выражения» (там же, л. 32 об.).

«Отделение третье: О фамильярном и дружеском обхождении Раевского с нижними чинами; о внушениях, им делаемых; о непочтительности Раевского к старшим; о советах Раевского обходиться с нижними чинами, как он сам; о толковании о тиранстве и о потворстве, делаемом нижним чинам по службе; о своевольной выдаче порционных денег в своей роте и внушении нижним чинам других рот, что он сие в роте, им командуемой, исполнил; о назывании телесного наказания варварством; о равенстве между всеми людьми; о рассказах Раевским, что в каком-то полку солдаты подняли полковника на штыки; о позволении расстрелять или на штыки поднять полкового командира или адъютанта за напрасный привод роты в Аккерман; о приказании роте принять на штыки подполковника Неймана, если он будет наказывать солдат роты Раевского и о беспорядках и грабеже при пожаре, случившемся в Аккермане» (там же, лл. 50 об.—51 об.).

«Отделение четвертое: О приглашении нижних чинов за Днестр к Вознесенску» (там же, л. 102 об.).

«Отделение пятое: О поведении Раевского во время управления его дивизионной школой и внушениях, делаемых юнкерам в оной находившимся» (там же, л. 110 об.).

«Отделение шестое: О письмах Раевского к разным лицам» (там же, л. 119 об.).

«Отделение седьмое: Относительно рассуждений Раевского с юнкерами и нижними чинами о корпусном командире» (там же, л. 133 об.).

«Отделение восьмое: О проступке 3-й карабинерной роты» (там же, л. 135 об.).

«Отделение девятое: О поступках штабс-капитана Цыха по показанию Раевского» (там же, л. 139 об.).

«Отделение десятое: О Союзе Благоденствия» (там же, л. 142 об.).

[40] Это сообщение Раевского подтверждается материалами следственного дела.

[41] Стихотворение Раевского «Скворец» было впервые опубликовано в «Русской старине» (1890, № 5, стр. 371—372) под заглавием «На смерть моего скворца»; другой список сохранился в Ульяновском архиве («Ульяновский сборник», стр.216). «К друзьям из Тирасполя» (другие заглавия: «К друзьям», «Послание к друзьям», «К друзьям в Кишинев», «Послание к друзьям в Кишинев») известно во многих списках; неоднократно печаталось в зарубежных изданиях с приурочением к имени Рылеева или

Полежаева. Как стихотворение, принадлежащее Рылееву, оно было включено в лейпцигское издание: «Стихотворения К. Ф. Рылеева. С его жизнеописанием». Лейпциг, 1862 (стр. 35—39). В легальной печати впервые появилось в указанной выше книжке «Русской старины» (стр. 365—368). Другие редакции, извлеченные из разных архивов, были опубликованы: М. А. Цявловским. Эпигоны декабристов («Голос минувшего», 1917, № 7-8, стр. 85—90); Л. Сперанской. Автограф В. Ф. Раевского («Лит. критик», 1939, № 2, стр. 213—216); П. С. Бейсовым. Поэт-декабрист В. Ф. Раевский («Лит. Ульяновск», I, 1947, стр. 130—131) и «Неопубликованный Раевский» («Волжская новь», № 10, 1940, стр. 285—287).

[42] Раевский, находясь в крепости, завоевал глубокое уважение и симпатии к себе со стороны несущих караульную службу офицеров и подчинил их своему влиянию. Липранди рассказывает, что ему удалось иметь свидание с Раевским во время прогулки последнего в сопровождении преданного ему унтер-офицера («Русский архив», 1866, № 10, стб. 1450); состоялось же это свидание с ведома и под покровительством коменданта крепости. Через находящихся в крепости офицеров, как, например, штабс-капитан Мозевский, поручик Бартенев, Раевский передавал из крепости написанные им там стихотворения, оправдательные записки, письма.

[43] Об этом приговоре — см. выше, стр. 62.

[44] «Протест» опубликован В. Г. Базановым (Раевский, стр. 192—214) по тексту, хранящемуся в ЦГВИАЛ (ф. № 9, д. 42, т. III, лл. 608—643), и П. С. Бейсовым («Ульяновский сборник», стр. 225—243).

[45] Раевский не совсем точно излагает историю доносов: кроме доносов Шервуда и Майбороды, был еще донос Бошняка, завербованного в качестве агента начальником южных поселенных войск, гр. Виттом («Записка Бошняка» с комментариями Б. Е. Сыроечковского напечатана в «Красном архиве», 1925, № 9, стр. 195—225). Последовательность же доносов была такова: в сентябре 1825 г.— донос Шервуда, в октябре — Бошняка, в ноябре — Майбороды.

[46] Здесь некоторое кажущееся противоречие с первой главой «Воспоминаний», возникающее вследствие неточности выражений Раевского. «Зеленая книга» была им уничтожена не «накануне ареста», как он пишет, а фактически уже во время ареста, то есть когда он находился еще под стражей в своей квартире, но до увоза его в Тираспольскую крепость.

[47] См. выше, стр. 55.

[48] Священник, о котором упоминает здесь Раевский,—протоиерей Мысловский, имя которого многократно встречается в мемуарах и переписке декабристов. В оценке его личности со стороны декабристов нет единодушия: очень положительную оценку давали Оболенский, Трубецкой, А. Муравьев, Якушкин, Лорер, отрицательную — Басаргин, Завалишин, Муханов, Лунин (см. Бестужевы, стр. 711—712). Раевский, как видно из его рассказа, сразу же отнесся к Мысловскому настороженно и подозрительно. Возможно, что он был уже предупрежден о Мысловском Басаргиным, с которым Раевский имел возможность переговариваться (Басаргин, стр. 56).

[49] Николай Иванович Филиппович (ум. в 1825 г.)— капитан, старший адъютант начальника Главного штаба 2-й Армии по квартирмейстерской части. В «Алфавите декабристов» о нем сказано: «Многие показали, что он принадлежал к Союзу Благоденствия к Тайному обществу и принимал деятельнейшее участие в распространении оного посредством приема членов» (стр. 193).

[50] Об этом эпизоде упоминает в своих записках А. М. Муравьев: «Майор Раевский, человек блестящего ума, говоря о немцах, заставил Дибича подпрыгнуть в своем кресле» («Воспоминания и рассказы деятелей Т. О.», т. I, стр. 130). «История» Константинова, на которую ссылался Раевский,— «Учебная книга истории государства Российского, составленная из новейших отечественных творений Егором Константиновым с присовокуплением летоисчислительных таблиц», ч. I—II. СПб., 1820. На учебник Константинова Раевский ссылался и во время суда в Замостье. Отвечая на обвинения в «осудительном отношении» к царствованию Екатерины, он заявлял: «О протекшем царствовании дозволено говорить истории, не только сочинению, определенному лежать в портфеле. Ссылаюсь, начиная от г. Карамзина до г. Константинова; сей последний на стр. 133 и 135 второй части учебной книги для институтов не только говорит о жестоком правлении императрицы Анны, но он говорит о слабости ее к любимцу своему Бирону, исчисляет жертвы падения, по проискам сего министра, выводит число одних дворян до 21 000 погибших на плахе или в Сибири в 9 лет; называет лица — говорит о казненных по подозрению за мнимое преступление по ложным доносам и проч.» (ИРЛИ, 3168, XVI 6, лл. 16 об. — 17).

[51] Этот ответ вызвал обмен резкими репликами между Раевским и в. к. Михаилом Павловичем (см. выше, стр. 73).

[52] О Григории Раевском см. стр. 103—104, 125, 526.

[53] Об унтер-офицере Соколове и его неизменном сочувствии к заключенным подробно рассказывают Лорер (стр. 105—106, 122—123), Розен (стр. 90, 95); видимо о нем же упоминает А. С. Гангеблов («Воспоминания декабриста». М., 1888, стр. 100—101).

[54] Сообщения декабристов и других лиц о казни противоречивы. Так, например,

Горбачевский утверждал, что с петли сорвались Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол и Каховский; М. Бестужев подтверждает первые два имени, третьим же, по его сведениям, был Рылеев. Николай Бестужев говорит о Рылееве, Каховском и Муравьеве-Апостоле. По версии Раевского: Рылеев, Муравьев, Пестель. Имя Пестеля называют и другие мемуаристы. Официальное сообщение петербургского генерал-губернатора («Былое», 1906, № 3, стр. 232) совпадает с рассказом Н. А. Бестужева. В. к. Николай Михайлович оспаривал правильность этой версии («Казнь пяти декабристов 13 июля 1826 года и император Николай I».— «Исторический вестник», 1916, № 7, стр. 109), но источников своего утверждения не указывал.

[55] Эта глава была опубликована В. М. Пушиным в «Сборнике статей в честь Д. Ф. Кобеко». СПб., 1913, стр. 239—246; печатается по тексту писарской копии с поправками рукой Раевского. Раевский всюду называет «Замостье»— «Замосць», то есть так, как оно звучит по-польски. Мы сохраняем эту особенность и в настоящей публикации. Первоначально было озаглавлено: «Крепость Замосць и разговор с цесаревичем Константином Павловичем в 1826 году сентября месяца»; позже карандашом на последней странице написано другое заглавие, которое и сохраняется нами. Раевский именует Константина цесаревичем, хотя в это время он был уже только великим князем.

[56] Раевский в этой главе идеализирует не только Константина, но и некоторых его приближенных. Другие источники не оправдывают такого отзыва о Куруте. См. далее письмо Раевского к Куруте, стр. 145—147.

[57] Священник, благословлявший «знамены Сергея Апостола-Муравьева»— Даниил Федорович Кейзер. Он благословил полк на выступление и прочел войскам после молебна «Катехизис» С. И. Муравьева-Апостола. Приговором суда был лишен сана и сослан в арестантские рабочие роты в Бобруйск, а позже находился на поселении в одном из сел Смоленской губернии, где крайне бедствовал. Впоследствии ему были возвращены гражданские права, но в восстановлении сана отказано. О Кейзере и его судьбе — см. в статье П. Е. Щеголева «Катехизис Сергея Муравьева-Апостола» («Минувшие годы», 1908, № 11; вошло в сборники «Исторические этюды» и «Декабристы»).

[58] О деле своего брата Григория (1803—1831?) Раевский говорит более подробно в следующей главе; о нем же он неоднократно писал в различных автобиографических записках и заметках, в «Замечаниях», появившихся в «Полярной звезде», в «Заметках», опубликованных Е. И. Якушкиным, и в «Автобиографической записке» 1858 г. Имя Григория Раевского внесено в «Алфавит декабристов», где о нем сказано: «хотя по виду не имеет он более 18 лет, но образ мыслей его весьма развращен и непозволителен» (стр. 161).

[59] Об отношении Раевского к Константину и о некоторой нарочитости данной характеристики см. вступительную статью (стр. 63—64).

[60] Младший брат Раевского — Петр Федосеевич. О нем и о его участии в подпольной организации, якобы существовавшей в 1830 г. в Курске, см. в статье П. С. Бейсова «Тайное общество братьев Раевских в Курске» («Лит. альманах», кн. II. Курск, 1940, стр. 272—275). Однако Бейсов слишком буквально понял текст обнаруженных им документов, не учитывая их явно провокационного и лживого характера.

[61] В. к. Константин ненавидел М. Ф. Орлова и был недоволен его помилованием: Декабрист Розен сообщал, что «одно очень важное лицо сказало своим приближенным. „Орлова следовало бы повесить первого“» (Розен, стр. 426). М. О. Гершензон считал, что этим «важным лицом» являлся Николай I («История молодой России». М.— Пг., 1923, стр. 72); это же утверждение повторил и В. Г. Базанов («Декабристы в Кишиневе», 1951, стр. 91). Рассказ Раевского бесспорно решает вопрос о «лице», упомянутом Розеном. В письме к Николаю I Константин писал: «Что касается Орлова, то меня ничто в нем не удивляет, как и во всей шайке» («Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи». Подготовил к печати Б. Е. Сыроечковский. М.— Л., 1926, стр. 181). Ненависть Константина к Орлову в значительной степени объясняет и отношение великого князя к Раевскому, дело которого казалось ему лишь незначительной частью общего дела Орлова.

[62] О конфирмации в. к. Константина см. вступительную статью (стр. 62).

[63] Андрей Федосеевич Раевский (1794—1822)— поэт и литератор, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. О нем см. в настоящем томе, стр. 518—519.

[64] Запрос о стихах, о котором упоминает Раевский, был вызван доносом Василия Раевского (см. указ. статью П. С. Бейсова «Тайное общество братьев Раевских...», стр. 273—274). В Иркутском губернском архивном бюро хранится дело «О бумагах, найденных у бывшего майора Раевского, находящегося на поселении в Олонках» («Сибирь и декабристы». Иркутск, 1925, стр. 187). Об этом см. в настоящем томе, стр. 133.

[65] См. прим. 41.

[66] Владимир Александрович Бечаснов (1802—1859)— прапорщик 8-й артиллерийской бригады; Вениамин Николаевич Соловьев (1798—1871)—штабс-капитан Черниговского полка; оба принадлежали к Обществу Соединенных Славян. Они, как и другие участники восстания Черниговского полка, отправлены были из Москвы в Сибирь пешком. С ними вместе шли Мозалевский, Быстрицкий и Сухинов. Из Москвы они были отправлены 1 января 1827 г. и прибыли в Нерчинск в феврале 1828 г.

[67] У Раевского описка: 1800 г.

[68] Кирилл Яковлевич Тюфяев (1775—1840-е гг.) — пермский губернатор; впоследствии был губернатором в Вятке, во время пребывания там в ссылке Герцена (см. «Былое и думы», ч. II, гл. XIV — Герцен, т. XII, стр. 254—270); подробные биографические сведения о нем и характеристику его административной деятельности см. в комментариях М. К. Лемке (там же, стр. 367—380).

[69] В этих замечаниях сказался отголосок характерных для общественных настроений в Сибири 50—60-х годов споров о местных деятелях и приезжих чиновниках, которых именовали «навозными» (игра слов: «навозные», т. е. «привезенные», «навезенные» и «навозные» в собственном смысле этого слова).

[70] Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский (1788—1850)— губернатор в Тобольске (1826—1828), историк и археограф, автор ряда био-библиографических трудов; крупнейший из них — «Словарь достопамятных людей русской земли» (1836—1847). Очень много сделал для благоустройства Тобольска, в частности, большое внимание было обращено им на организацию школ, больниц и т. п., но вследствие настойчивой борьбы его со взяточничеством нажил много врагов из среды чиновничества. Его опасения, о которых упоминает Раевский, действительно, оправдались. В результате пристрастной и явно несправедливой ревизии 1827 г.(см. прим. 71) он был уволен со службы и лишь в 1834 г. ему удалось добиться реабилитации; свои воспоминания об этом периоде жизни он озаглавил: «Шемякин суд в XIX столетии» («Русская старина», 1873, № 6, стр. 735—784). К проезжавшим через Тобольск декабристам относился с большим участием и благожелательностью, стараясь по возможности облегчить тяжелые условия их путешествия (см.: Розен, стр. 142).

[71] О ревизии Западной Сибири сенаторами В. К. Безродным и Б. А. Куракиным см.: Б. Л. Модзалевский. Декабристы на пути в Сибирь.— «Декабристы». М., 1925, стр. 99—127 (с подробной библиографией).

[72] Владимир Игнатьевич Соколовский (1808—1839)— писатель, автор поэмы «Мироздание» (1832), романа «Две и одна, или любовь поэта» (1834) и др.; ему же приписывается известное стихотворение на смерть Александра I и воцарение Николая I («Русский император в вечность отошел; ему оператор брюхо распорол...»). В 1834 г. был арестован вместе с Герценом и Огаревым по делу «о лицах, певших пасквильные стихи». Содержался в Шлиссельбургской крепости, потом был сослан в Вологду, где и скончался. См. о нем: Герцен, т. XII, стр. 225—226, 231—235; Н. М. Сатин. Из литературных воспоминаний («Русские пропилеи», т. I. М., 1915, стр. 195—201).

[73] Философ Александрович Горохов (1796—185?) в 1828 г. был чиновником канцелярии губернатора, в 1833—1838 гг. служил прокурором, впоследствии крупный золотопромышленник. Бессмысленно-роскошная жизнь, которую он вел, привела его к полному банкротству, сопровождавшемуся разорением большого числа доверившихся ему людей. Во время пребывания в Томске Батенькова оказал ему ряд существеннейших услуг и очень заботился о создании ему благоприятных условий. См. о нем: А. В. Адрианов. Томская старина. Томск, 1912, стр. 69—74; И. Д. Серебренников. Из томской старины. Сад Горохова.— «Труды Томского краевого музея», т. I, 1927, стр. 49—52.

[74] Николай Александрович Степанов (1807—1877)— один из талантливейших русских карикатуристов, сотрудник «Искры», позже редактор «Будильника»; сын А. П. Степанова (см. прим. 76). В 1827 г. находился на службе в Главном управлении Восточной Сибири, принимал деятельное участие в местной культурной жизни, между прочим, пытался организовать первый карикатурно-сатирический журнал в Сибири («Минусинский раскрыватель»).

[75] Дружба Раевского с Батеньковым (1793—1863) началась еще во время совместного пребывания их во Втором кадетском корпусе в Петербурге. Ко времени ранней дружбы с Раевским Батеньков относил и первое проявление у него «свободных идей». О их связи и переписке см. далее, стр. 135—136.

Непонятно, на основании каких источников Б. С. Мейлах утверждает, что Батеньков и Раевский были связаны «по совместной работе в Тайном обществе» («Поэзия декабристов». Вступит. статья, подготовка текстов и прим. Б. С. Мейлаха. Л., 1950, стр. 822). Никакими известными материалами это указание не подтверждается, да едва ли и может быть подтверждено, так как Батеньков с 1817 по 1821 г. находился безвыездно в Сибири и в Тайное общество вступил перед восстанием. Ошибочное утверждение Мейлаха повторено и в антологии В. Н. Орлова «Декабристы». М.—Л., 1951, стр. 618.

[76] Александр Петрович Степанов (1781—1839) — писатель, участник походов Суворова. С 1822 по 1831 г. был губернатором в Красноярске, значительно поднял культурную жизнь города; по его инициативе был организован в Сибири первый литературный альманах («Енисейский альманах», 1828); сам он являлся автором ряда стихотворных и прозаических произведений о Сибири; пытался организовать в Красноярске Общество для изучения местного края, но не получил разрешения Николая I. Важное краеведческое значение имеет двухтомный труд Степанова «Енисейская губерния» (1835). К проезжавшим через Красноярск декабристам Степанов относился очень внимательно, о чем свидетельствуют в своих воспоминаниях М. А. Фонвизин («Общественные движения», стр. 58) и Басаргин (стр. 93). Это послужило

для Степанова источником крупных служебных неприятностей. Последнее обстоятельство явилось и причиной холодного приема им Раевского. В архиве «Русской старины» (ИРЛИ) сохранилась копия рукой М. А. Бестужева письма А. П. Степанова к М. К. Юшневской (от 12 июля 1830 г.), в котором он просил «ни в какой переписке с Россией» не упоминать его имени (ИРЛИ, ф. № 604, ед. хр. 6, л. 205 об.).

[77] Александр Николаевич Муравьев (см. о нем выше, стр. 122), как отошедший от Тайного общества и оказавший «искреннее раскаяние», был приговорен к ссылке в Сибирь без лишения чинов и дворянства. Первоначально он был отправлен в Якутск (1826), но в конце того же года переведен в Верхнеудинск и затем (с апреля 1828 г.) назначен городничим в Иркутск. Позже был председателем Иркутского губернского правления, тобольским губернатором, председателем Вятской уголовной палаты и т. д. Свой жизненный путь он закончил генерал-лейтенантом и сенатором. В 1858 г. Раевский встретился в Нижнем-Новгороде с А. Н. Муравьевым, где последний был в то время губернатором. Встреча произвела тяжелое впечатление на Раевского. «Муравьев был честный, благомыслящий человек,— писал он в своих заметках,— но не имел 〈так у Щеголева, может быть, не знал?〉 практической жизни. 〈...〉 К тому же он был мистик» («Современник», 1912, № 12, стр. 295—296).

[78] Некоторые подробности о своей жизни в Олонках Раевский сообщил в письме к сестре, В. Ф. Поповой («Русская старина», 1902, № 3, стр. 603—605). Раевский очень много сделал для поднятия экономического благосостояния олонских крестьян, создал первую постоянную сельскую школу, знакомил крестьян с усовершенствованными методами сельского хозяйства, снабжал их различными семенами, которые ему присылали из Европейской России, и пр. Большое значение для Олонок и окрестного населения имели опыты Раевского в области огородничества. По свидетельству С. В. Максимова, арбузы на иркутском рынке появились впервые из огорода Раевского. Особенно был знаменит сад, взращенный Раевским, частично сохранившийся и до настоящего времени (см. Ф. А. Кудрявцев. Первый декабрист В. Ф. Раевский в Олонках.— «Сибирь и декабристы». Иркутск, 1925, стр. 70). Наконец, Раевский являлся постоянным и неизменным защитником крестьянских интересов. Еще в 1925 г. в Олонках были крестьяне, помнившие Раевского. Несколько рассказов крестьян о Раевском записано в 1925 г. Ф. А. Кудрявцевым (указ. соч., стр. 69—70) и автором настоящих примечаний. Дом Раевского сохранился до настоящего времени,— ныне в нем помещается сельская школа его имени. Сохранилась и могила Раевского на Олонском кладбище. На могильной плите надпись: «Под сим камнем погребено тело Владимира Федосеевича Раевского. Родился 28 мая 1795 г., умер 1872 года». Рядом с могилой Раевского — могилы его жены и сына Михаила.

[79] Раевский имеет в виду труды военных историков: А. И. Михайловского-Данилевского. Описание Отечественной войны 1812 года. СПб., 1839 и М. И. Богдановича. История Отечественной войны 1812 г., тт. I—III. СПб., 1859. Высокая оценка этих сочинений не оправдывается ни их фактической, ни идейной стороной.

[80] Конскрипция — система всеобщей воинской повинности, установленная Французской революцией 1789 г. В «Записке о государственном управлении» Пестель писал: «Лучший способ для набора ратников состоял бы, по моему мнению, в соединении правил французского набора (конскрипции) с правилами российского набора» («Русская правда». Ред. П. Е. Щеголева. СПб., 1906, стр. 143).

[81] Вопрос о несправедливых войнах и способах добиться их прекращения занимал Раевского еще до ареста. Эта тема усиленно дебатировалась на обедах у М. Ф. Орлова. Отголоски этих споров сохранились в известных заметках Пушкина о вечном мире (Пушкин, т. XII, стр. 189), в которых принято видеть запись различных суждений, высказывавшихся во время споров на эту тему у Орлова (см. Б. В. Томашевский. Пушкин и вечный мир.— «Звезда», 1930, № 7, стр. 227—231). Споры касались главным образом проекта аббата Сен-Пьера («Projet de traité conclu pour rendre la paix perpetuelle entre les souverains chrétiens», 1713, в трех томах) и критических замечаний о нем Руссо («Jugement sur le projet de paix universelle», 1761). Как видно из записей Пушкина, основной темой дебатов был вопрос о мирном и революционном путях разрешения проблемы прекращения войн и установления вечного мира.

Мысли о войне как великом зле для народов, видимо, не раз служили предметом обсуждения братьев Раевских: аналогичное высказывание находится и в «Воспоминаниях о походе 1813 и 1814 годов» Андрея Раевского. Рассказав о виденном им в Лейпциге случае гибели грудного младенца на руках матери от пролетевшего мимо ядра, он восклицает: «Мне рассказывали много подобных случаев; сердце терзается, взирая на ужасные страдания человечества! И есть люди, которые говорят с благоговением о жестоких завоевателях! Злодей, виновный в умышлении на жизнь одного человека, подвергается поносной казни; тира , проливающий кровь миллионов, почитается великим!» (назв. соч., ч. I, стр. 136).

[82] Записи в «Моем формуляре» особенно ясно свидетельствуют о том, что память на года у Раевского была очень слаба — отсюда многочисленные противоречия во всех его датировках. В «Моем формуляре» произвольно объединены два проезда Раевского через Тульчин (1818 и 1820 гг.) — в один; 32-й егерский полк «стоял в

Аккермане» не в 1818, а в 1820—1821 гг.; в майоры Раевский был произведен не в 1820, а в 1821 г.; тогда же он «принял в управление» школы; в Россию он ездил не в 1863, а в 1858 г.

[83] В «Приложение» мы включаем:

1) Цитаты из рукописи «Записок» Раевского, которые находились в распоряжении П. Е. Щеголева. Перепечатываются из книги: Щеголев. Декабристы: 1 (стр. 10), 2 (стр. 12), 3 (стр. 12), 4 (стр. 13), 5 (стр. 17), 6 (стр. 31). Кроме этих цитат, в статье П. Е. Щеголева приведен еще отрывок (стр. 30), полностью соответствующий тексту первого примечания Раевского к первой главе «Воспоминаний».

2) Отрывок из письма Раевского к сестре В. Ф. Поповой от 21 мая 1868 г. О значении этого письма см. вступительную статью (стр. 52).

3) Отрывки из бумаг Раевского. Извлечены из «Дела Комиссии военного суда при Литовском военном корпусе» (ИРЛИ Печатается впервые — по писарской копии — назв. дело, лл. 24 об.—25). В военно-судном деле эти отрывки именуются «письмом к неизвестной». Так же объяснил происхождение этого документа и сам Раевский.

По поводу этого письма Раевскому был задан Комиссией вопрос: к кому и когда это письмо писано; зачем он находился тогда в Одессе; какой смысл имели слова: «я забывал вас, братия! Я забывал долг мой»? Каких братий и какой долг имел он в виду? Что означали слова о «радости видеть себя спасителем» отечества? «Для чего же вы, писавши сие письмо в мирное и счастливое состояние России, изъяснились здесь таким образом, как бы отечество наше было в опасности?». И, наконец, приводя «слова несравненной»: «ты можешь быть полезнее...» и т. д., Военно-судная комиссия спрашивала: «Кто сказал вам означенные слова? Какой в них смысл подразумевается? Какие тайные порывы великого крылись тогда в вашем сердце и чего великого?» (там же, л. 25—25 об.). Раевский отвечал, что письмо писано им к женщине, к какой—«определить точно не может», ибо «не помнит». На вопрос о времени ответить явно уклонился, заметив лишь, что в Одессе бывал очень часто «для своих и казенных надобностей». Спрошенный вновь по тому же вопросу, должен был уже назвать более точно дату, сказав, что это письмо было писано в 1820 или 1821 г. На остальные пункты отвечал так: «я забывал вас, братия, я забывал долг мой — значит, что я для любви забывал все на свете: и друзей и обязанности мои в отношении к семейству, службе и проч.». По поводу слов «об опасности отечества» заявил, что он не говорил ни о какой конкретной опасности: «я не определяю ни настоящего, ни прошедшего, ни будущего — я говорю о подвиге, который мне кажется выше других подвигов — и потому-то слова мои значат: славно видеть себя спасителем отечества, но счастия быть с тобою не променял бы я на сию славу». На последний же вопрос («о словах несравненной») отвечал так: «я никакого тут особенного смысла не разумею, слова сии могли быть сказаны при разлуке: ты можешь быть полезнее там, то есть,— где требует долг, честь и твое звание присутствия твоего. Разве порывы темного, т. е. необнаруженного, скрытого стремления к всему славному, высокому, благородному воспрещено? Сии чувства, несмотря на шестой год моей неволи, не угасли еще в душе моей...» (там же, л. 25 об.). Сбитая с толку ответами Раевского, Комиссия пыталась еще раз вернуться к этому вопросу, особенно требуя разъяснения, почему, поскольку письмо было писано к женщине, в нем имеется обращение к братиям. Раевский отвечал на это: «сие относилось к товарищам, к тем, которые милы сердцу моему; я забывал обязанности мои для женщины, дабы сильнее выразить как сильна была страсть сия, для которой забывал я все на свете» (там же, л. 26).

Последний вопрос был задан Раевскому, почему на это письмо не было обращено внимания в предшествующих судебных инстанциях Раевский отвечал: «Любовное мое письмо, конечно, ни в ком не могло возродить подозрения, тем более, что оно нигде не заключает двусмыслия» (л. 28).

Военно-судная комиссия удовлетворилась этими объяснениями и более не возвращалась к данному «письму».

[84] В упомянутом выше «письме» в «Под суд», сохранившемся в «Софийской коллекции» бумаг Герцена и Огарева (см. выше, стр. 74), Раевский сообщал: «Главною причиною ареста Раевского было желание Сабанеева узнать что-нибудь о тайном обществе, к которому он принадлежал, потому что правительство уже знало, хотя и смутно, о его существовании. Император Александр I поручил начальнику штаба 2-й армии г. Киселеву (теперь послом в Париже) спросить Раевского, какой тайный союз существует в России, и если он, Раевский, откроет его, то возвратить ему шпагу. На это Раевский отвечал: „По какому праву вы считаете меня таким низким человеком, чтобы я продал за шпагу мою честь и совесть? Ваше предложение, если бы я действительно принадлежал к какому-нибудь обществу, поставило уже меня в необходимость молчать“. Киселев потребовал письменного ответа — Раевский отвечал, что он ничего не знает».

[85] Об этом отрывке см. ниже, в публикации Ю. Г. Оксмана, стр. 129—130.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА В. Ф. РАЕВСКОГО (1827—1866)

ПИСЬМА к Г. С. БАТЕНЬКОВУ, Н. Ф. БЕРДЯЕВОЙ, Л. Ф. ВЕРИГИНОЙ, Д. И. ЗАВАЛИШИНУ П. Д. КИСЕЛЕВУ, Д. Д. КУРУТЕ, В. Г. РАЕВСКОМУ, С. И. ЧЕРЕПАНОВУ

Публикация и вступительная статья Ю. Г. Оксмана

I

Письмо В. Ф. Раевского от 1 февраля 1822 г. к его другу и политическому единомышленнику полковнику А. Г. Непенину, посланное с оказией из Кишинева в Аккерман, где оно сразу же было перехвачено военно-полицейской агентурой, явилось, как известно, ближайшим поводом для ареста автора письма и для начала дознания по делу о революционной пропаганде в войсках 16-й пехотной дивизии. Все старое бессарабское гнездо Союза Благоденствия оказалось таким образом под ударом и, если бы не своевременное уничтожение Раевским большей части его бумаг, в руках следственных органов было бы гораздо более данных, чем те, которыми располагали разоблачители «первого декабриста» при формулировке важнейших обвинительных пунктов. Но, как на предварительных этапах дознания, так и в позднейших заключениях военно-судных комиссий, остатки обширной корреспонденции Раевского неизменно являлись предметом самого пристального изучения. Скудный эпистолярный материал, обнаруженный в его личном архиве, существенно дополняли его письма, изъятые при обыске у его ближайших друзей. Особенно ценными в этом отношении были письма Раевского к члену Союза Благоденствия капитану К. А. Охотникову. Приобщенные к следственному делу Раевского в качестве вещественных доказательств, его девять писем к Охотникову из села Каракмазы, Аккермана и Одессы за время с 23 ноября 1820 г. по 25 июля 1821 г., равно как и отмеченное выше письмо к А. Г. Непенину, вошли в научный оборот только в 1925 г., после опубликования этих документов по автографам в журнале «Красный архив» [1]. Еще позже в распоряжении исследователей оказались четыре интереснейших письма Раевского к капитану П. Г. Приклонскому, его другу и сослуживцу периода 1816—1817 гг. Эти письма, очень небрежно опубликованные в 1949 г. в «Пушкинском сборнике» Ульяновского педагогического института [2], до сих пор не заняли подобающего им места ни в политической, ни в литературной биографии поэта-декабриста.

Из переписки Раевского, предшествовавшей его аресту, до нас дошли еще два его письма к неизвестной молодой женщине, фамилию которой он назвать на следствии отказался. Одно из этих писем (с датой «Одесса, 8 декабря»), предъявленное Раевскому на допросе в Замостье, печатается в настоящем томе «Литературного наследства» (см. стр. 117—118); другое (от 28 октября), опубликованное в одном случайном издании еще в 1913 г., не только ни разу не упоминалось в литературе о Раевском, но даже библиографически нигде не было учтено [3].

Несмотря на то, что оба эти письма датированы только месяцем и числом, время их написания не вызывает сомнений: они относятся к 1820 г., когда Раевский вновь был зачислен в 32-й Егерский полк, стоял со своей ротой в окрестностях Аккермана и имел возможность часто бывать в Одессе. В письме от 28 октября еще свежи первые впечатления Раевского от Бессарабии, духовное одиночество в которой мотивирует и всю

тональность его обращения к любимой женщине: «Сколько времени протекло моей разлуки с тобою! При всех переменах моего положения я остался одинаков в чувствах моей любви! ⟨...⟩ Единообразная картина здешней страны еще более усиливает во мне желание скорее обнять тебя, милая Гаша» и пр. Второе письмо (от 8 декабря) явно следует за первым, развивая и варьируя некоторые из затронутых в нем тем [4].

Нетрудно ответить и на вопрос, почему эти письма остались в бумагах Раевского. Поскольку перед нами не черновики, мы должны рассматривать оба эти автографа Раевского как копии, сделанные им самим с оригиналов, своевременно отправленных по назначению. Много работая в начале двадцатых годов над автобиографическими повестями (ни одна из них, впрочем, не была доведена им до конца), Раевский, видимо, рассматривал и некоторые из своих писем как материал для беллетристических опытов. Неудивительно поэтому, что судьям Раевского, равно как и его позднейшим биографам, не всегда удавалось правильно определить грань, отделяющую корреспонденцию Раевского от его политической публицистики и художественной прозы. Так, например, отрывок из письма от 8 декабря 1820 г. объединен был во время его допросов с явно беллетристическим наброском: «Куда сокрылись вы, блаженные минуты, когда в объятиях ее я забывал грозные кары железного рока» и т. п. Точно таким же образом, без всяких документально-текстологических оснований (другая бумага, другой цвет чернил, не говоря уже о тематических и логических неувязках), в рукопись известного политического трактата Раевского «О рабстве крестьян» включен был в процессе дознания листок, на котором его автор закрепил для памяти несколько пламенных тирад, подлежавших, вероятно, вставке в письмо к кому-нибудь из его товарищей по тайной организации: «Нет, не одно честолюбие увлекает меня на поприще деятельной жизни! Любовь есть страсть минутная, влекущая за собой раскаяние. Но патриотизм, сей светильник жизни гражданской, сия таинственная сила, управляет мною. Могу ли видеть порабощение народа, моих сограждан, печальные ризы сынов отчизны, всеобщий ропот, болезнь и слезы слабых, бурное негодование и ожесточение сильных — и не сострадать им?. . О Брут и Вашингтон! Я не унижу себя, я не буду слабым бездушным рабом,— или с презрением да произносит имя мое мой ближний» [5].

Мы приводим эти несколько строк полностью, потому что они очень выразительно характеризуют тематику и фразеологию не дошедшей до нас части политической переписки Раевского периода 1820—1822 гг.

Как известно, вопрос о масштабах этой переписки остается до сих пор открытым, так как биографы не располагают достаточным фактическим материалом, который позволил бы установить, был ли Раевский в процессе своей революционной работы непосредственно связан с Тульчинским центром тайного общества или вся агитационно-пропагандистская деятельность его направлялась и контролировалась лишь Кишиневской управой Союза Благоденствия. Существенные уточнения в этот круг проблем могут внести, как нам представляется, некоторые строки из письма Раевского к Охотникову от 23 ноября 1820 г.: «Я не был в Одессе, не получал ни откуда никаких известий и сам прекратил со всеми переписку, ибо на два письма не отвечал в Тульчин ни слова [6]. Но знаю и ведаю, что все идет хорошо, и, соглашаясь с твоими же словами, я теперь *у моря жду погоды*» [7].

Если мы вспомним политическую обстановку осени 1820 г., то легко уясним и значение писем из Тульчина, полученных Раевским, и основания его отказа от ответа на них, и смысл этого якобы спокойного ожидания «у моря погоды», в действительности прикрывавшего большую внутреннюю тревогу. В Петербурге лишь месяц назад ликвидированы были волнения в лейб-гвардии Семеновском полку,— волнения, которые сам Александр I безоговорочно связал с деятельностью тайных обществ. Мятежный полк подлежал военному суду и ждал раскассирования, в войсках гвардии начались массовые репрессии, в столице усилился политический сыск. В руководящих кругах Союза Благоденствия в Петербурге и Москве события последних месяцев 1820 г. сразу же вызвали большую настороженность, а затем некоторую панику и явно ликвидаторские настроения. В Тульчине и в Кишиневе было спокойнее, но все же Раевский счел необходимым на время прервать переписку со своими товарищами по революционной работе.

Выдержка, проявленная Раевским в ноябре 1820 г., очень знаменательна, так как именно он сделал правильные выводы из уроков восстания Семеновского полка и раньше, чем кто-либо из современных ему «дворянских революционеров», широко использовал этот опыт в своей агитационно-пропагандистской работе среди солдат 32-го Егерского полка. Как свидетельствует один из разделов позднейшего обвинительного акта по «делу» майора В. Ф. Раевского, «когда узнал Раевский о случившемся лейб-гвардии в Семеновском полку происшествии, то при офицерах и нижних чинах 32 Егерского полка, равно и в дивизионной юнкерской школе, одобряя буйственный поступок солдат Семеновского полка, называл их молодцами; о чем при исследовании утвердили как штаб- и обер-офицеры, так и нижние чины 32-го Егерского полка; из них же подпоручик Клименков дополнил, что Раевский при собрании роты, объявляя нижним чинам о происшествии Семеновского полка, говорил: „Придет время, в которое должно будет, ребята, и вам опомниться“»[8].

Зима 1820/21 г. была периодом расцвета агитационно-пропагандистской работы в полках 16-й пехотной дивизии, которые являлись в эту пору наиболее подготовленными к вооруженному восстанию частями 2-й Армии, а потому и требовали особенного внимания к себе со стороны руководства Тайного общества. Положение не изменилось и после формальной ликвидации Союза Благоденствия на Московском съезде в январе 1821 г. Как известно, Пестель не признал роспуска тайной организации, создал в Тульчине новый центр, не зависящий ни от Петербурга, ни от Москвы, а перестройку прежней «управы» ограничил лишь устранением из нее всех случайных, ненадежных или оппортунистически настроенных элементов. Трижды в течение 1821 г. Пестель приезжал в Кишинев. Правда, все эти поездки (первая из них датируется временем с 26 февраля по 8 марта, вторая — с 28 марта по 14 апреля и, наконец, третья— второй половиной мая — началом июня 1821 г.) связаны были с поручениями Главного штаба 2-й Армии, но трудно себе представить, чтобы вождь Тайного общества не проявил в эту же пору никакого интереса к деятельности своих старых товарищей, не поддержал бы их морально, не скрепил бы организационно.

Выход за пределы уставных положений Союза Благоденствия, осуществленный Раевским в его агитационно-пропагандистской деятельности, не может быть правильно объяснен, если не будут учтены известные признания Пестеля во время процесса декабристов. «Тайное наше общество,— утверждал Пестель,— было революционное с самого начала своего существования — и во все свое продолжение не переставало никогда быть таковым». И далее: «Содержание Зеленой книги Союза Благоденствия было не что иное, как пустой отвод от настоящей цели на случай открытия Общества и для первоначального показания вступающим членам, коим всем после вступления делалось сие совершенно известным»[9]. Разумеется, К. А. Охотников, возвратившись в феврале 1821 г. из Москвы, довел до сведения всех бессарабских членов Союза Благоденствия формальное постановление о ликвидации Союза. Но, судя по тому, что в линии политического поведения как самого Охотникова, так и Раевского ничего после этого не изменилось, а устав и документы Союза и расписки его членов остались неуничтоженными, можно полагать, что в Кишиневе, как и в Тульчине, деятельность Тайного общества продолжала развиваться в том же направлении, в каком она велась и во второй половине 1820 г. В прежнем направлении продолжал свою агитационно-пропагандистскую работу и Раевский, перевод которого в конце июля 1821 г. в Кишинев открывал в этом отношении гораздо бо́льшие возможности, чем те, которыми он располагал прежде. Попытка Н. И. Комарова во время процесса 1825—1826 гг. представить Раевского основателем в 1821 г. «в 32 егерском полку» особого Общества с «новым родом идей», якобы чуждых Союзу Благоденствия, не заслуживает внимания, так как сам же Комаров признает, что после лета 1820 г. он Раевского уже не видел и судит о его «деле» со слов Сабанеева и Киселева.

К сожалению, ни одно из писем Раевского, направленных в 1820 и в 1821 гг. в Тульчин, до нас не дошло. Не сохранилось ни одного и из ответных писем его политических единомышленников. Одни из этих документов были уничтожены им вместе с большею частью его архива, другие — друзьями Раевского, сразу после его ареста.

В числе писем, уничтоженных Раевским перед его арестом, были письма не только его товарищей по революционной работе, но и письма его литературных друзей, родных и случайных знакомых. От гибели уцелела лишь краткая записочка Пушкина к Раевскому, не имевшая политического значения, а потому сохранившаяся в бумагах поэта-декабриста, опечатанных в 1822 г. и сданных через пять лет аудиториатом 2-й Армии в Военно-судную комиссию в крепости Замостье. Эти бумаги приобретены были впоследствии М. И. Семевским и около 1905 г. оказались в распоряжении П. Е. Щеголева, по копии которого записку Пушкина впервые опубликовал П.А.Ефремов в своем издании сочинений поэта [10].

Во время своего заключения в Тираспольской крепости Раевский в течение 1822—1825 гг. широко пользовался возможностями нелегального общения со своими родными и близкими. Через караульных офицеров и солдат, а иногда и через друзей, проникавших в стены тюрьмы, Раевский передавал на волю не только письма, но и стихотворные свои произведения, имевшие характер революционных прокламаций и сразу же получавшие массовое распространение [11]. Этим произведениям «певца в темнице» повезло более,чем его письмам, из которых за эту пору до нас дошло только два его полуофициальных письма к начальнику штаба 2-й Армии генералу П. Д. Киселеву.

В первом из этих писем, от 24 февраля 1823 г., Раевский, опираясь, вероятно, на какие-то устные заверения Киселева в готовности ему помочь, просил о передаче его «дела» в какую-нибудь более авторитетную и независимую от И.В. Сабанеева инстанцию, чем Военно-судная комиссия при штабе 6-го пехотного корпуса. С этой просьбой связана была и другая. «Прошу вас еще об одной милости,— писал Раевский,— если можно испросите мне позволение у корпусного начальника на два дня побывать в Кишиневе: я нечаянно был взят сюда — следственно, все мои дела остались там неустроены. Я должен отдать генералу Орлову денежный отчет за шестимесячное управление школою. Деньги на расход получал я не от него — и росписок никаких нет: весь мой экипаж, и лошадь, и два человека остались там без всякого распоряжения; некоторым я остался должен, другие — мне. А так как приятных последствий от дела моего я ожидать не могу, судя по чрезвычайно строгим мерам, взятым вначале, то позволением этим, ваше превосходительство, доставите мне случай привести в порядок мои дела и быть вам еще благодарным» [12].

Второе письмо Раевского к Киселеву связано было с представлением им 1 сентября 1823 г. в Полевой аудиториат 2-й Армии дополнительных материалов к поданному им еще в начале года «протесту» против грубых правонарушений, имевших место в процессе предварительного дознания по его делу. Принося благодарность Киселеву за содействие в скорейшей передаче своего первого протеста по назначению, Раевский 5 сентября 1823 г. писал: «Я не обманулся в надеждах моих, относясь к праводушнейшему и благороднейшему из людей. Вы подали мне руку помощи в то время, как помощь Ваша была для меня нужнее всего, тогда как я неожиданно и безвременно неправосудием был брошен на край моей погибели ⟨...⟩ Вы не могли сделать для меня более, но вы сделали все, что предписывал Вам возвышенный образ мыслей, все, на чем я основываю надежды мои к оправданию.

Я покорюсь безропотно жребию моему, если правосудие найдет меня виновным и подпишет приговор мой. Но где бы я ни был, какая бы участь ни ждала меня — везде и за предел жизни я унесу признательность мою к Вам» [13].

В своих официальных обращениях к начальникам, в том числе и к самым большим, Раевский обычно не терял чувства собственного достоинства и с некоторой даже аффектацией подчеркивал высоту своего интеллектуального и морального уровня, свое презрение к компромиссам всякого рода, независимость и прямоту. От этих норм поведения Раевский не отступил и в пору своего пребывания в Петропавловской крепости, куда он был доставлен из Тирасполя после событий 14 декабря. Так, например, даже в таком стандартно-уничижительном документе, как «прошение на высочайшее имя», Раевский, обращаясь в апреле 1826 г. к Николаю I с просьбою о «милосердии или великодушном смягчении участи» [14], обошел совершенным молчанием все факты своей революционной работы и настаивал лишь на формальной своей непричастности к деятельности тайных организаций, возникших после ликвидации Союза Благоденствия в

1821 г. Таково же было и письмо Раевского к военному министру генералу А. И. Татищеву от 19 апреля 1826 г., в котором он мотивировал свое обращение к царю отнюдь не раскаянием в своем революционном прошлом, а лишь окончанием следствия по его делу в Комитете для следственных изысканий о злоумышленных обществах [15].

До нас не дошло, как это уже отмечалось выше, ни одного из частных писем Раевского периода его шестилетних странствий по тюрьмам и этапам [16]. Менее значима для биографов Раевского потеря всех писем к нему за эти же годы, особенно тех, которые узник получал в официальном порядке, с разрешения крепостного начальства. Но и среди этих писем были, надо полагать, весьма интересные. Так, переписка генерал-адъютанта Левашева с военным министром Татищевым, относящаяся к лету 1827 г., позволяет установить, что командир 6-го пехотного корпуса генерал И. В. Сабанеев, по инициативе которого начато было следствие по делу Раевского, впоследствии настолько изменил свое отношение к нему, что в 1825 г. собирался даже ехать в Таганрог к Александру I, чтобы лично ходатайствовать об освобождении арестованного. Генерал Левашев в своем рапорте об этом приводил несколько строк из письма Сабанеева к Раевскому: «Успех в ходатайстве об освобождении вас почел бы я ⟨знаком⟩ наивеличайшей ко мне милости государя императора и день тот наисчастливейшим днем в моей жизни». Ссылаясь на показания Раевского, генерал Левашев отмечал, что «сие письмо и другие четыре, от него же, Сабанеева, полученные, отдал он, Раевский, инженер-поручику Бартеневу для вручения родственникам его, Раевского». Несмотря на то, что Бартенев, арестованный в свое время за установление нелегальной связи с Раевским в Тираспольской крепости, показал, что он действительно «получил от майора Раевского три письма к сему последнему от генерала Сабанеева, кои и опечатаны вместе с прочими его бумагами» [17], этих писем ни в «деле» Бартенева (этот самый И. Д. Бартенев впоследствии дружен был с Белинским и Герценом и сотрудничал в «Современнике» 1847 г.), ни в других следственных материалах обнаружено в 1827 г. не было. Неразысканными эти письма Сабанеева к Раевскому остаются и до сих пор.

II

Проживая с 1828 г. в с. Олонках (в 85 километрах от Иркутска) сперва на положении ссыльного поселенца, а затем государственного крестьянина, Раевский поддерживал постоянную связь со своими родными, пользуясь для этого не только почтой, но и нередкими оказиями из Иркутска в Харьков и Курск [18]. Эти полулегальные формы связи Раевского с родиной явились одним из поводов для привлечения его к секретному дознанию, производившемуся в Курске в 1831 г. по совершенно фантастическому доносу отставного поручика В. Г. Раевского (двоюродного брата Владимира Федосеевича) о том, что сам он (В. Г. Раевский) и многие из его родственников являются организаторами тайного общества, имеющего целью цареубийство и вооруженное восстание с помощью некоторых заговорщиков, уцелевших от арестов после 14 декабря [19]. Обыск, произведенный в связи с этим изветом у Раевского в Олонках 16 ноября 1831 г., не дал оснований для новых политических обвинений, но в числе отобранных у Раевского бумаг оказалось несколько черновиков его собственных писем (к сестрам, к свояку, к П. М. Муравьевой) и большая пачка деловых писем к нему его родных и некоторых из иркутских знакомых [20].

Этот эпистолярный материал, сохранившийся до наших дней в архиве III Отделения, проливает яркий свет на те условия, в которых Раевскому пришлось вести борьбу за существование в первые годы его ссылки. Особенно богато бытовыми сведениями письмо Раевского к Н. Н. Бердяеву, мужу его сестры Надежды Федосеевны. Подробно осведомляя о своем материальном положении, Раевский осенью 1831 г. писал: «Обстоятельства мои очень изменились ⟨...⟩ Цены на извоз понизились, а норма вздорожала и теперь я не могу получить в год более 400 или 500 рублей при всем верном расчете. Если из дому мне не пришлют денег, то я должен буду продавать то, что успел составить себе, т. е. самое нужное. Здесь хлеб так возвысился, что можно бы

почесть за голод <...> Воровство, грабеж и убийство здесь суть такие новости, о которых слышишь ежедневно; убить, зарезать, отравить, утопить — суть слова, которые в уезде и в городе слышишь беспрестанно, без внимания, без соучастия, одним словом, как о вещи, которая быть должна, с совершенным равнодушием. Я здесь только три года, а уж два раза имел военные встречи с варнаками (так называют здесь каторжных беглых). Недавно отца жены моей работники ограбили, отняли четырех лошадей, самому прострелили щеку и нижнюю челюсть из ружья дробью и, добивши дубинами, полагая мертвым, бросили в лесу <...> Таковы случаи очень часты, с невооруженной рукою не только ездить, но и спать в доме опасно. Вот куда бросила меня судьба! <...> Я не принадлежу к числу людей, плачущих, вынуждающих, требующих сострадания, и молчу, поскольку молчать возможно, но мысль о будущем ужасает меня» [21].

В бумагах, отобранных у Раевского, оказалось и письмо от 1 октября 1831 г., написанное от имени его жены, Авдотьи Моисеевны, к его сестре, Александре Федосеевне Раевской. Письмо это дошло до нас в двух вариантах, один из которых представляет собою автограф В. Ф. Раевского, а другой — копию с этого автографа, сделанную рукою Авдотьи Моисеевны. Эта копия была просмотрена и выправлена Раевским, а затем, вероятно, вновь переписана и отправлена по назначению. Раевский придавал большое значение этому письму и, не полагаясь на дипломатические способности своей малограмотной жены, сам выработал текст ее обращения к А. Ф. Раевской. Задачей письма было закрепление родственных отношений жены и дочери Раевского с его сестрами накануне предполагавшейся поездки к последним А. М. Раевской. Поэтому нас и не должны удивлять строки, включенные Раевским в письмо, составленное им самим от имени его жены: «Любовь Владимира Федосеевича к вам так велика, что ни мне, ни себе, только вам решается он вверить воспитание и самую жизнь своей Саши, которую любит он без ума [22]. Я счастлива любовью вашего братца — он часто говорит мне, что если бы он был в счастии, то почитал бы за несчастие иметь другую жену, не меня <...> Он бывает мрачен и задумчив, но редко, бывает даже сердит, но на минуту... Я привыкла к нему. Мы плакали, читая письмо ваше, милая сестрица! Нам не нужно никакой помощи, только любите нас, особливо пишите чаще; вы не поверите, как он мучился целый год, когда вы не писали к нему<...> Теперь все прошло. Он привез мне письмо ваше из города и сказал: Бог правосуден, они меня любят также. Письмом вашим вы сделали его гораздо моложе... [23] Но смерть вашего братца привела его в какую-то мрачную задумчивость. Откровенно скажу вам: он не любил его и говорит, что при жизни его никогда бы не отпустил к вам ни дочери, ни меня» [24].

Признания Раевского в его письмах к сестрам и их мужьям, в отличие от многих других его писем и высказываний мемуарного порядка, обильно уснащены сентенциями на религиозно-философские темы. Эти «лирические отступления» в письмах Раевского к его родным ни в какой мере не характеризуют его подлинного образа мыслей и круга интересов, а вынуждены обстоятельствами. Лишенный приговором военного суда всех прав на родовое имущество и испытывая в ссылке тяжкие материальные лишения Раевский мог воздействовать на своих сестер, расхитивших его часть отцовского наследства, апелляцией не к закону, а лишь к их совести и к принципам христианской морали. Отсюда и все намеки Раевского на «божий суд», на «высший промысел», на «загробное возмездие»; отсюда и все рассуждения его, с одной стороны, о «прекрасном и спасительном кресте», а с другой — о «ближних», без «участия и любви» которых жизнь его «не может соделаться покойною и приятною». Мы можем очень сурово расценивать эти тактические компромиссы писем Раевского к его сестрам, но в то же время должны признать, что для этих ханжей и лицемерок была более понятна именно такая фразеология. Материалистические традиции ослабели в мировоззрении Раевского лишь под конец его жизни.

Попытка привлечения Раевского в конце 1831 г. к дознанию о курском злоумышленном обществе, несмотря на то, что самое существование этого Общества оказалось провокационным мифом, имело своим следствием почти полное прекращение переписки «первого декабриста» [25]. Разладились и его отношения с сестрами, которым он не писал уже по целым годам. По собственному признанию Раевского, один из этих перерывов

всех его даже почтовых связей с родными продолжался около восьми лет. Таким образом, писем Раевского к его родным было вообще очень немного, но и из этих немногих писем до сих пор в печати известно только пять. Все они адресованы Вере Федосеевне Поповой и относятся к периоду с 15 декабря 1859 г. по 21 мая 1868 г. (опубликованы в «Русской старине» 1902 и 1903 гг.) [26]. Особенно богато конкретным автобиографическим и бытовым материалом последнее из этих писем, являющееся мемуарным документом большого исторического звучания [27]. Понятно, почему факты и формулировки именно этого письма являются уже в течение полувека непременной принадлежностью всех характеристик Раевского.

Первым публикатором и комментатором писем Раевского к его родным был внук декабриста, В. В. Раевский. Им же напечатано было в «Русской старине» 1903 г. и письмо Раевского к его дочери, Вере Владимировне, по мужу Ефимовой, от 25 сентября 1856 г.[28] Это был единственный эпистолярный документ, появившийся в печати из всей обширной переписки Раевского с членами его семьи — с женой, с тремя дочерьми и пятью сыновьями. Корреспонденция эта охватывала период в сорок лет и, видимо, погибла полностью, если не считать обрывка еще одного письма Раевского к В. В. Ефимовой, от 10 апреля 1857 г. В этом письме (оно хранилось в бумагах В. В. Раевского и передано было последним П. Е. Щеголеву) уцелели строки, позволяющие установить, во-первых, точную дату одного из портретов В. Ф. Раевского и, во-вторых, время получения им родовых документов. «Посылаю вам мой фотографический портрет,— писал Раевский дочери и зятю.— Он по общему уверению чрезвычайно похож. Я на днях получил из дому по требованию мо⟨ему⟩ мою наследственную грамоту на дворянство, родословную и герб нашего рода из герольдии, полученные отцом моим еще в 1801 году. Мое имя есть в родословной — следственно, значится по герольдии и потому для детей моих одно только метрическое свидетельство нужно» [29]. Повышенный интерес Раевского к этим документам объясняется борьбой за восстановление прав его детей, родившихся в сибирской ссылке. Дело в том, что в основном списке декабристов, амнистированных 26 августа 1856 г., имя Раевского отсутствовало, так как он был осужден не Верховным уголовным судом в 1826 г., а особой Военно-судной комиссией в 1827 г. Действие указа об амнистии распространено было на Раевского с некоторым опозданием, 4 сентября 1856 г., в результате специального представления о нем генерал-губернатора Восточной Сибири. Получение родовых документов сняло с Раевского последние ограничения в его гражданских правах.

III

Одним из ближайших друзей Раевского еще по кадетскому корпусу, а затем по походам 1812—1814 гг.,по процессу декабристов и по сибирской ссылке, был Г. С. Батеньков. О характере их отношений мы хорошо знаем и по воспоминаниям Раевского, и по нескольким его стихотворным посланиям к Батенькову периода 1815—1819 гг. К более позднему времени, к периоду 1819—1821 гг., следует отнести те несколько писем Раевского, о которых Батеньков упомянул в одном из своих показаний после 14 декабря: «В 1819 году сверх чаяния получил я три или четыре письма от Раевского. Он казался мне как бы действующим лицом в деле освобождения России и приглашал меня на сие поприще» [30]. Трудно сказать, вкралась ли в первую строку этого признания случайная ошибка или Батеньков сознательно отклонился от истины, отнеся уничтоженные им письма Раевского к 1819 году. Так или иначе, но «действующим лицом в деле освобождения России» Раевский стал только после своего вступления в Тайное общество, то есть не раньше лета 1820 г. В 1819 г. Раевский еще не был членом Союза Благоденствия и даже не знал о его существовании, а потому никак не мог и Батенькова «приглашать» в эту пору на «сие поприще».

Переписка Раевского с Батеньковым, оборвавшаяся не раньше 1821 г., возобновилась лишь через четверть века, уже в Сибири. 9 марта 1846 г. Батеньков, после двадцатилетнего одиночного заключения, доставлен был с фельдъегерем в Томск, где, по собственному его признанию, в течение нескольких месяцев, был «дик, отвык жить и едва говорил» [31]. Этим объясняется то, что он не ответил на первые три записки,

присланные ему Раевским из Иркутска и Олонков. Первая из этих записок, наброcанная Раевским в спешке, карандашом, без даты и посланная с какой-то оказией, сохранилась в архиве Батенькова и до сих пор не появлялась в печати; время ее написания — видимо, весна 1846 г.:

В Томск. Гавриле Степанычу Батен⟨ькову⟩. Прошу зайти и сказать от меня все, передать мои чувства, рассказать о моем быте. Он может писать ко мне, адрес⟨уя⟩ письмо на имя гражданского губернатора для передачи мне. Я буду также отвечать.

Влад. Раевский[32]

Олонки.

Из следующих шести известных нам писем Раевского к Батенькову пять опубликовано П. С. Бейсовым в 1949 г., а шестое печатается в настоящем томе «Литературного наследства». Почти все эти письма имеют большой исторический интерес, много уясняя и в ранних этапах биографии Раевского и в его общественно-политических позициях позднейшей поры [33]. С Батеньковым Раевский никогда не хитрил и старался быть в полной мере откровенным. Поэтому и все признания его в этих письмах гораздо более полновесны, чем в письмах к сестрам или к лицам, с которыми он связан был официальными отношениями.

Письма Раевского к Батенькову начала шестидесятых годов тематически и хронологически смыкаются с его же письмами к романисту и археологу А. Ф. Вельтману. Личные отношения с последним, завязавшиеся еще в Кишиневе в 1821 г. и возобновленные в 1858 г. в Москве, Раевский поддерживал перепиской, которая с самого начала велась, однако, несколько вяло и вовсе оборвалась через шесть лет. Вельтман не разделял, видимо, ни взглядов, ни интересов Раевского. В этом отношении очень показательны строки последнего в письме к Вельтману от 15 марта 1860 г.: «Ты живешь в давно минувшем и слишком углубился в символические, загадочные предания и сказки, чтобы думать о настоящем, которое теперь двусмысленно и темнее прошедшего».

Всего дошло до нас пять писем Раевского к Вельтману за время с 3 февраля 1859 г. по 3 декабря 1864 г.[34] Эти письма, равно как и письма к Батенькову, вносят много существенных дополнений и уточнений в рассказы Раевского о политических грезах его юности, о шестилетних скитаниях по тюрьмам, о сорока годах подневольной жизни в Сибири, о впечатлениях от поездки на родину в 1858 г. В письме Раевского к Батенькову от 25 июля 1861 г. сохранился, например, следующий эпизод, относящийся к событиям 1826 г. «Я помню, когда я был призван в Комитет 1826 года. После моих ответов на вопросы великий князь Михаил Павлович спросил у меня: „Где вы учились?“ Я ответил: „В Московском унив⟨ерситетском⟩ благородном пансионе“. „Вот, что я говорил... эти университеты. Эти пансионы!“ Я вспыхнул... „Ваше высочество, Пугачев не учился ни в пансионе, ни в университете...“»[35].

С исключительной трезвостью расценивал Раевский в своих письмах и политическую ситуацию кануна «реформ» шестидесятых годов. Его ненависть к самодержавно-крепостническому строю, его неверие в благие намерения руководителей государственного аппарата, его презрение ко всем видам буржуазно-либерального прекраснодушия и резко выраженный протест против «гомеопатических» методов социально-политического реформизма позволяют признать, что из всех своих сверстников Раевский наиболее близко подошел к революционно-демократическим установкам публицистики Чернышевского и Добролюбова. В этом отношении очень показательно его письмо к Батенькову от 29 сентября 1860 г.: «Относительно настоящего и будущности России я с сожалением смотрю на все. Сначала я с жадностью читал журнальные статьи, но, наконец, уразумел, что все эти вопросы: гласность, советы, стремления, новые принципы, прогресс, даже комитеты — игра в меледу. Государство, где существуют привилегированные и исключительные касты и личности выше законов, где частицы власти суть сила и произвол без контроля и ответственности, где законы практикуются только над сословием или стадом людей, доведенных до скотоподобия, там не гомеопатические средства необходимы. В наше время освобождение крестьян было ближе к делу» [36].

Эти высказывания Раевского являются документальным подтверждением меткости той общей характеристики, которую ему дал в это самое время Бакунин в письме от 7 ноября 1860 г. из Иркутска к Герцену: «Раевский очень, очень умный человек, и, в противность Завалишину, он не педант-теоретик-догматик, нет, он одарен одним из тех бойких и метких русских умов, которые прямо бьют в сердце предмета и называют вещи по имени ⟨...⟩ Он циник в душе, в сущности ничем не увлекающийся, но разговор его, остроумный, блестящий, едкий, в высшей степени увлекателен. Завалишин постарел, он — нет, его и теперь заслушаться можно ⟨...⟩ Раевский по существу своему, как истый русский человек, с ног до головы демократ, демократ, правда, школы цинической, но все-таки демократ, если не по сердцу, исключительно принадлежащему к ego-критической партии, зато по уму дельному, здоровому, не допускающему ни фикций, ни жалких примирений, совершенно русскому уму. По всему образу мыслей он — демократ и социалист quand même *»[37]. Несколько более осторожно, но по существу не противореча этой характеристике ни в целом, ни в деталях, писал впоследствии о Раевском известный соратник Чернышевского В. А. Обручев, отбывавший в 1862—1863 гг. каторжные работы в том самом Александровском водочном заводе, с которым связан был в течение многих лет многообразными деловыми отношениями Раевский. «В Александровском заводе,— писал В. А. Обручев,— жил Владимир Федосеевич Раевский, современник декабристов и всегда причислявший себя к ним — он и был им ⟨...⟩ Для меня несомненно, что в нем погибла личность выдающаяся по уму, энергии, и если не поэтическому, то, во всяком случае, стихотворному дарованию».

В воспоминаниях В. А. Обручева запечатлены и портретные черты Раевского этой поры: «Небольшого роста, довольно плотный, он носил коротко остриженные волосы и бакенбарды, быть может несколько подкрашенные, но все еще черные. Русская речь — отличная, своеобразная. Минутами, когда он читал стихи или рассказывал что-нибудь возбуждающее, к нему возвращалась осанка человека властного, бесстрашного. Стихов он мне читал много, но я помню только две строки о том, как в Новегороде

... сокрушали всенародно
Князьям кичливым рамена.

Всего интереснее были его рассказы о недавнем сибирском проконсуле Муравьеве, о сочиненном им сибирском сепаратизме, его стремлении унизить сибиряков, не давать им ходу и весь состав чиновников прислать из России»[38].

В бумагах Батенькова сохранился автограф одного из писем Раевского к этому «проконсулу» Сибири (судя по отсутствию даты, подписи и обращения к адресату, это был не оригинал письма, а копия с него, сделанная Раевским для Батенькова)[39]. В этом письме, относящемся к сентябрю 1860 г., Раевский разоблачал ту кампанию «лжи и клеветы», которая велась против него некоторыми влиятельными чиновниками генерал-губернаторской канцелярии. Их «ябеда» подрывала Раевского и морально, и материально, обусловив, в конечном счете (как свидетельствует письмо престарелого декабриста к В. Ф. Поповой от 21 мая 1868 г.), и полное его разорение в середине шестидесятых годов.

Всего нами учтено 41 письмо Раевского (не считая фрагмента «Нет, не одно честолюбие увлекает меня...»). Письма эти относятся к пятнадцати адресатам и, охватывая период в пятьдесят лет, с 1818 по 1868 г., хронологически распределяются следующим образом: 1) письмо к П. Г. Приклонскому от июля — августа 1818 г.; 2) к нему же от 25 октября 1818 г.; 3) к нему же от 16 апреля 1819 г.; 4) к нему же от 1 ноября 1819 г.; 5) к неизвестной от 28 октября 1820 г.; 6) к К. А. Охотникову от 23 ноября 1820 г.; 7) к неизвестной от 8 декабря 1820 г.; 8) к К. А. Охотникову от 1 мая 1821 г.; 9) к нему же от начала мая 1821 г.; 10) к нему же от 17 июня 1821 г.; 11) к нему же от 25 июня 1821 г.; 12) к нему же от начала июля 1821 г.; 13) к нему же от 14 июля 1821 г.;

* несмотря ни на что (франц.).

14) к нему же от 22 июля 1821 г.; 15) к нему же от 25 июля 1821 г.; 16) к А. Г. Непенину от 1 февраля 1822 г.; 17) к П. Д. Киселеву от 24 февраля 1823 г.; 18) к нему же от 5 сентября 1823 г.; 19) к Николаю I от 19 <?> апреля 1826 г.; 20) к А. И. Татищеву от 19 апреля 1826 г.; 21) к Н. Н. Бердяеву от конца сентября 1831 г.; 22) к П. М. Муравьевой от конца 1831 г.; 23) к Г. С. Батенькову от первой половины 1846 г.; 24) к нему же от весны 1846 г.; 25) к нему же от конца 1846 г.; 26) к В. В. и Ф. В. Ефимовым от 25 сентября 1856 г.; 27) к В. В. Ефимовой от 10 апреля 1857 г.; 28) к А. Ф. Вельтману от 3 февраля 1859 г.; 29) к В. Ф. Поповой от 15 декабря 1859 г.; 30) к А. Ф. Вельтману от 14 февраля 1860 г.; 31) к нему же от 15 марта 1860 г.; 32) к Н. Н. Муравьеву от сентября 1860 г.; 33) к Г. С. Батенькову от 29 сентября — 6 октября 1860 г.; 34) к нему же от 10 февраля 1861 г.; 35) к нему же от 25 июля 1861 г.; 36) к В. Ф. Поповой от 23 декабря 1861 г.; 37) к ней же от 11 января 1864 г.; 38) к А. Ф. Вельтману от середины 1864 г.; 39) к нему же от 3 декабря 1864 г.; 40) к В. Ф. Поповой от 21 июля 1865 г.; 41) к ней же от 21 мая 1868 г.

К числу этих эпистолярных документов в настоящем издании присоединяется еще 11 писем Раевского, обращенных к восьми адресатам.

Два из этих писем, самые ранние, к Д. Д. Куруте (1827) и к П. Д. Киселеву (1840), несмотря на их полуофициальный характер, дают большой материал для уяснения условий борьбы Раевского за улучшение его тюремного быта в Замостье и за расширение возможностей работы в Сибири. Другими письмами Раевского, иллюстрирующими эти этапы его жизни, мы не располагаем.

Третье из публикуемых писем обращено к Г. С. Батенькову (1848). Посланное с верной оказией из Иркутска в Томск, оно призвано было как-то заполнить брешь, образовавшуюся в их давних дружеских взаимоотношениях, и вылилось поэтому в автобиографический документ очень большого значения. Раевский с исключительной откровенностью осведомлял Батенькова о важнейших фактах своей биографии за четверть века, начиная от ареста и заключения в крепость в 1822 г. и кончая последними событиями своей сибирской жизни. В письме нет ни слова о революционных бурях 1848 г., но, конечно, прежде всего этими уроками истории, этими живыми впечатлениями от гибели последних цитаделей абсолютизма на Западе, обусловлен был весь тот пафос, которым проникнута исповедь Раевского и вся та боевая зарядка, которая позволила ему через тридцать лет после его политического крушения рассматривать дело декабристов как «дело всего человечества». Особенно интересны в этой связи и высказывания Раевского, характеризующие застойный быт помещичьей России сороковых годов. Раевский утверждал: «Там нечего делать: разврат и рабство, бедность и гордость, невежество и притязания на ум <...> Россия, по моему мнению, мало отошла от России времен Иоанна Грозного». С ненавистью и презрением Раевский говорил о вырождении русской правящей аристократии, не делая исключения и для тех представителей ее, которые оказались в рядах декабристов.

К числу тех немногих ссыльных декабристов, в которых Раевский видел своих единомышленников и соратников по активному участию в общественно-политической жизни Восточной Сибири, принадлежал Д. И. Завалишин. Публикуемые впервые в настоящем томе четыре письма Раевского к нему за время с 1854 по 1861 г. не только проливают свет на характер их отношений, но и дают ценный материал для правильного понимания причин скептического отношения их обоих к либерально-дворянскому реформизму пятидесятых и шестидесятых годов.

«Общество, чтение и опыт — лучший университет, а Сибирь я считаю самой высшей академией»,— иронически отмечал Раевский в письме к Завалишину в 1854 г. Тридцатилетний стаж в этой «высшей академии» и позволил ему избежать тех ошибок, от которых иногда не были свободны даже самые зоркие из его современников. Этот же живой опыт общественно-политической и хозяйственной деятельности в Сибири помог Раевскому в пору революционной ситуации правильно понять взгляды Чернышевского и Добролюбова. Готовясь к поездке в Петербург и Москву, Раевский с горечью писал в конце 1857 г. Завалишину, что он ничего не ждет от либерально-дворянской общественности, которая «гниет» на корню.

Из писем Раевского к его родным в настоящей публикации впервые печатаются два письма к сестрам, Н. Ф. Бердяевой и Л. Ф. Веригиной (1855), и одно письмо к двоюродному брату — В. Г. Раевскому (1865). Письма эти дают богатый материал для уяснения трудностей материального быта ссыльного декабриста, дважды ограбленного своими сестрами: в первый раз — при дележе родового имущества в 1831 г. и во второй — при захвате ими же в 1855 г. наследства А. Ф. Раевской. Бездушие родных Раевского, с его, конечно, ведома и согласия, заклеймено было и в печати. Так, в газете «Будущность», издававшейся эмигрантом П. В. Долгоруким в Лейпциге, дважды отмечалось в 1861 г. недостойное поведение сестер Раевского, участь которого «близка сердцу всех друзей свободы» (см. об этом далее, стр. 167—168).

Последнее из неизвестных до сих пор писем Раевского относится к концу 1866 г. и обращено к литератору С. И. Черепанову, его старому сибирскому знакомцу. Это письмо является единственным известным нам откликом Раевского на глубоко, видимо, взволновавшую его публикацию в «Русском архиве» 1866 г. известных записок И. П. Липранди о Пушкине, в которых впервые, и притом полным голосом, сказано было о близких литературных и личных отношениях «первого декабриста» с Пушкиным. Записки Липранди открывали широкие возможности для выступления в печати и самого Раевского. Трудно сейчас сказать, в какой мере публикации «Русского архива» стимулировали запись рассказа поэта-декабриста о его последней встрече с Пушкиным в ночь с 5 на 6 февраля 1822 г. Еще труднее судить о том, имел или не имел этот рассказ — один из шедевров мемуарной литературы о Пушкине — какое-нибудь продолжение в не дошедших до нас полностью «Записках» Раевского. Но, независимо от того или иного ответа на эти вопросы, новые свидетельства Раевского о Пушкине в его письме к Черепанову представляют большой интерес. Этот интерес ни в какой мере не парализуется тем обстоятельством, что некоторые суждения Раевского о великом поэте, никак не отвечая общеизвестным фактам, слишком явно перекликаются с нигилистическими парадоксами незадолго перед тем появившейся статьи Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский» («Русское слово», 1865). Письмо к Черепанову не оставляет никаких сомнений в том, что как литературный критик и теоретик Раевский нисколько не двинулся вперед после своих известных споров с Пушкиным в 1821—1822 гг. (см. прим. к письму № 11). В этом отношении «опыта истории» для него не существовало, и полемику с Пушкиным престарелый декабрист закончил в тех же тонах, в которых он ее вел почти полвека назад в Кишиневе. Мы не знаем, читал ли Раевский статьи Белинского и дошли ли до него высказывания о Пушкине в работах Герцена и Огарева, но чрезвычайно характерно, что в своей ошибочной трактовке творчества Пушкина и его места в мировой литературе автор «Певца в темнице» солидаризировался не с основоположниками революционно-демократической критики и историографии, а с литературно-политическими памфлетами Писарева.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ю. Г. Оксман. Из писем и записок В. Ф. Раевского.— «Красный архив», 1925, № 6, стр. 300—306.— В брошюре С. Ф. Коваля «Декабрист В. Ф. Раевский» (Иркутск, 1951) сделана была попытка изменить датировки трех из этих документов. Так, письмо Раевского от 23 ноября 1820 г. С. Коваль произвольно относит к 1821 г. (стр. 55), не учитывая ни содержания письма, ни отметки «с. Каракмазы». Между тем в с. Каракмазы Раевский стоял со своей ротой именно в 1820 г., а с июля 1821 г. до самого ареста был уже в Кишиневе. Еще более странно датировать декабрем 1821 г. (стр. 58—59) два летних письма Раевского, из которых одно имеет в автографе точную дату «25 июня», а другое, судя по его содержанию (прибытие в Аккерман генерала Вахтена), непосредственно за ним следует. Об обстоятельствах, обусловивших захват чинами 6-го пехотного корпуса письма Раевского к Непенину, см. стр. 82 и 121.

[2] «Ульяновский сборник», стр. 298—302.—Уклонившись от комментирования этих исключительно интересных документов, П. С. Бейсов не разобрался и в их хронологии. Между тем точная датировка всех писем Раевского к Приклонскому не представляет особых трудностей. Самое раннее из этих писем (в публикации Бейсова — № 3, без даты) посвящено впечатлениям Раевского от прибытия в 32-й Егерский полк и от знакомства с Непениным. Известно, что в этот полк Раевский впервые был зачис-

лен 2 июля 1818 г. Следовательно, первое из писем к Приклонскому («Любезный и несравненный друг Приклонский! По прибытии моем в полк...» и пр.) надлежит датировать июлем — августом 1818 г. К этому же году относится и второе письмо Раевского, имеющее дату «25 октября». Третье письмо Раевского от 16 апреля, относится к 1819 г. и писано из с. Хворостянки (Курской губернии). Последнее из писем Раевского к Приклонскому, датированное 1 ноября, относится к тому же 1819 г.— об этом свидетельствуют упоминание о встрече с Батеньковым, происшедшей в этом году, и предложение подписаться в 1820 г. на «Украинский вестник». См. об этом периоде деятельности Раевского стр. 518.

Следует отметить, что в письмах Раевского к Приклонскому от 25 октября 1818 г. и от 16 апреля 1819 г. упоминается в числе других его каменец-подольских приятелей некий Лунин («Ульяновский сборник», стр. 298 и 300). Совершенно произвольная попытка отождествления этого Лунина с известным декабристом М. С. Луниным впервые получила отражение в одном из протоколов Военно-судной комиссии, рассматривавшей «дело» Раевского в крепости Замостье в 1827 г. Однако это недоразумение разъяснилось очень быстро, так как нетрудно было установить, что М. С. Лунин ни в период 1817—1819 гг., ни позже в Каменец-Подольске не бывал. Не учитывая этого обстоятельства, П. С. Бейсов в статье «Общественно-политические взгляды В. Ф. Раевского» вновь смешал знаменитого декабриста с его каменец-подольским однофамильцем и на основании этих «сближений» внес не мало досаднейших искажений в политическую биографию молодого Раевского («Ученые записки Ульяновского гос. пед. института», вып. V, 1953, стр. 428—431).

[3] Письмо Раевского к неизвестной опубликовано А. Чеботаревской в книге «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века». М., 1913, стр. 435, со следующей справкой: «Сообщено в рукописи П. Е. Щеголевым». Нынешнее местонахождение этого документа неизвестно.

[4] См. выше публикацию М. К. Азадовского, стр. 128.— Возможно, что молодая женщина, к которой адресованы были письма Раевского, была той самой его каменец-подольской приятельницей, о которой он упоминал в письме к П. Г. Приклонскому от 1 ноября 1819 г. («Ульяновский сборник», стр. 302).

[5] Автограф Раевского, который мы считаем концом его письма к одному из товарищей по тайной организации (первые листы этого письма до нас не дошли), сохранился в той части его архива, которая приобщена была к «делу» Раевского в качестве вещественных доказательств его «преступного образа мыслей» (ЦГВИАЛ, архив Аудиториатского департамента Военного министерства, 1827, д. 42, т. 12/XI, л. 321). При опечатании бумаг Раевского листок со строками «Нет, не одно честолюбие...» случайно оказался присоединенным к рукописи «О рабстве крестьян» (то же дело, лл. 315—320). Это произвольное канцелярское соединение разрозненных бумаг Раевского осталось не замеченным ни его судьями в 1822—1827 гг., ни позднейшими исследователями (Б а з а н о в. Раевский, стр. 113; П. С. Б е й с о в — «Ульяновский сборник», стр. 252). Впервые отрывок «Нет, не одно честолюбие...» был изъят В. Г. Базановым из трактата «О рабстве крестьян» в издании «Стихотворения В. Раевского» 1952 г. (стр. 223). Но в самый текст Раевского здесь вкрались досадные ошибки: слова, подчеркнутые в автографе Раевского сотрудниками следственных органов, приняты были за авторскую правку и выделены в печати курсивом. Разумеется, и эпитет царя «кроткий» (неизвестно кем в автографе зачеркнутый) мог звучать в устах Раевского в 1820—1821 гг. только иронически.

[6] Наиболее вероятным адресатом писем, отправленных Раевским в эту пору в Тульчин, был капитан Н. И. Комаров, которым Раевский и был введен летом 1820 г. в Общество (ЦГИА, ф. № 48, д. В. Ф. Раевского, л. 15; ср. «Ульяновский сборник», стр. 221; Б а з а н о в, Раевский, стр. 32—33). Как и И. Г. Бурцов, Н. И. Комаров был товарищем Раевского еще по Московскому университетскому благородному пансиону. В Тульчине он принадлежал к числу противников Пестеля и вместе с Бурцовым возглавлял зимою 1820/21 г. умеренно-либеральное крыло Тайного общества. В январе 1821 г. на московском съезде членов Союза Благоденствия Комаров был делегатом от Тульчинской управы и после формального постановления о ликвидации Союза навсегда отошел от подпольной работы. 10 января 1825 г. Комаров был назначен состоять при 5-м пехотном корпусе и выехал из Тульчина. Во время следствия по делу декабристов, не подвергаясь аресту, он был вызван в Петербург, куда и прибыл по командировке от 19 декабря 1825 г. Дав, по официальной формулировке «Алфавита декабристов», «подробные и чистосердечные показания», полковник Комаров очень облегчил работу следственных органов, а на своих товарищей по процессу произвел впечатление предателя. Эта репутация отчасти подтверждается формуляром Комарова, обнаруженным нами в архиве Министерства внутренних дел: не вернувшись в армию, он 9 февраля 1826 г. был переименован в коллежские советники и определен чиновником особых поручений при министре финансов; 16 сентября 1826 г. назначен архангельским вице-губернатором; 3 марта 1828 г. переведен в Петербург и назначен председателем комитета по устройству Технологического института; 27 февраля 1830 г. переименован из статских советников в полковники с назначением обер-квартирмейстером действующей армии в Польше; с 27 февраля 1838 г. по 7 мая 1840 г.

состоял симбирским губернатором (Формулярные списки чинов Министерства внутренних дел в ЦГИАЛ). Судя по характеру всех упоминаний Раевского о Комарове, он не знал о его предательской роли в процессе 1825—1826 гг. Об этом свидетельствует и его «Послание к К...ву» («Изгнанник с маем и весной тебя приветствует, друг милый...»), писанное в 1828 г. (В. Раевский. Стихотворения. Л., 1952, стр. 262—263). Н. П. Огарев, характеризуя Комарова в своем «Разборе книги Корфа», отмечал, что о нем в Симбирске «еще и теперь иногда вспоминают как об одном из самых скверных губернаторов; выбыл оттуда вследствие грязной ссоры с жандармским полковником» (Н П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, 1952, стр. 235). Резкий отзыв об «известном подлеце» Комарове в связи с случайной встречей с ним в Италии дает Н. М. Языков в письме к родным от 28 декабря 1842 г. («Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 646). После выхода в отставку действительный статский советник Комаров жил некоторое время за границей, а затем в Петербурге, где и застрелился в мае 1853 г. Причины его самоубийства неизвестны. В примечаниях Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса к «Алфавиту декабристов» не только отсутствуют установленные нами биографические данные о Н. И. Комарове (нет даже его отчества), но и вся справка о нем ошибочно переплетена с фактами биографии его однофамильца — корнета Т. В. Комарова (ВД, т. VIII, стр. 327). В примечаниях к запискам декабриста Н. В. Басаргина инициалы Комарова ошибочно обозначены «П. Н.» (Басаргин, стр. 10, 13, 284).

[7] «Красный архив», 1925, № 6, стр. 302.— Как свидетельствуют показания Раевского в Следственной комиссии в 1826 г., он познакомился с Охотниковым в Кишиневе летом 1820 г. и виделся с ним «не более пяти или шести раз», но «узнал Охотникова из общей молвы и общего о нем мнения короче, нежели из обращения с ним. Этот человек, получая несколько тысяч в год от отца, тратил на себя одно жалованье. Получаемые же <им> деньги были принадлежностью бедных; все несчастные в Кишиневе знали его. Я сам был свидетелем, когда Охотников, не имея денег, продал последний бриллиантовый перстень (подарок короля прусского) за 3000 левов, дабы обеспечить участь одного израненного и бездомного офицера, служившего с ним вместе турецкую и французскую войну. Он купил ему виноградный сад и дом близ Кишинева. Известно мне, что здесь не место исчислять достоинства Охотникова, но это самоотвержение для общей пользы, строгая жизнь и чистая добродетель без личных видов глубоко врезалась в груди моей. Я тайно завидовал, что человек почти одних со мною лет так далеко ушел от меня в совершенстве нравственном,— и поклялся истребить последние недостатки в себе самом» (ЦГИА, ф. № 48, д. 149, лл. 13—14).

Об исключительном авторитете, которым пользовался Охотников в кругах передовой общественности этой поры, и о внимании к нему Пушкина говорится и в воспоминаниях И. П. Липранди («Русский архив», 1866, № 9, стб. 1252—1253; о покупке Охотниковым сада бездомному инвалиду — см. в этих же воспоминаниях, стб. 1284). Для биографии Охотникова очень ценны сведения из письма М. Ф. Орлова к жене от апреля 1823 г. (М. О. Гершензон. История молодой России. М.—Пг., 1923, стр. 34) и письмо Охотникова к П. А. Вяземскому от начала 1821 г. («Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 36). См. также сб. «Очерки из истории движения декабристов». М., 1954, стр. 452, 469—474, и данные М. К. Азадовского, стр. 118—119 настоящего тома.

[8] П. Е. Щеголев. Декабристы, стр. 60.— Об этом же эпизоде—см. дополнительные документальные материалы: Базанов. Раевский, стр. 11—12.

[9] ВД, т. X, стр. 16; ЦГИА, ф. № 48, д. 87, л. 14—14 об. Цитируем по публикации С. Н. Чернова в сб. «Декабристы и их время», II, стр. 56.— Это отношение к основным положениям «Зеленой книги» лишь как к прикрытию подлинных революционных целей Тайного общества известно было и Раевскому. Какова бы ни была степень личной близости Пестеля к Раевскому, автор «Русской правды» очень высоко расценивал и организаторские и пропагандистские способности Раевского. Освобождение последнего из крепости входило в число первоочередных мероприятий, подлежавших осуществлению по планам Пестеля в первые же дни восстания войск 2-й Армии. «Ежели бы действительно мы нашлись в готовности и в необходимости начать возмутительные действия,— показывал Пестель в 1826 г.,— то я полагал нужным освободить из-под ареста майора Раевского, находившегося тогда в Тирасполе, в корпусной квартире генерала Сабанеева» (ВД, т. IV, стр. 192). С этими планами Пестеля связано было и признание А. В. Поджио о его беседе с В. Л. Давыдовым (23 декабря 1825 г. в Каменке) о том, что «хотя Волконский прежде предлагал лично спасти майора Раевского и что хотя он много делал обещаний, но что теперь нечего <на него> надеяться» (ЦГИА, ф. № 48, д. 401, л. 44). Мы не отмечаем здесь гипотезы П. С. Бейсова о возможном участии Раевского в разработке некоторых положений «Русской правды» («Ученые записки Ульяновского гос. пед. института», вып. V, 1953, стр. 477—479), так как предположение это противоречит решительно всем фактам политической биографии Пестеля и хронологии «Русской правды». Показания Н. И. Комарова цитируются нами по книге: Довнар-Запольский. Мемуары, стр. 36.

[10] А. С. Пушкин. Соч., т. VIII. СПб., 1905, стр. 590 (без даты, с условным отнесением к 1821—1822 гг.); ср. Пушкин, т. XIII, стр. 36.— Факсимильное

воспроизведение записки, нынешнее местонахождение которой неизвестно, см. в «Лит. наследстве», т. 16-18, 1934, стр. 659.

Записка адресована «г-ну майору Раевскому». Так как в майоры Раевский произведен был приказом от 22 апреля 1821 г., а в Кишинев переселился в начале августа того же года (см. письмо Раевского к Охотникову от 25 июля 1821 г.— «Красный архив», 1925, № 6, стр. 305), то и записку Пушкина к Раевскому надлежит датировать осенью 1821 г. или зимою 1821/22 г.

[11] О распространении нелегальных стихотворений Раевского, писанных им во время заключения в Тираспольской крепости, см. библиографическую справку В. Г. Базанова (Раевский, стр. 129—130), а также следственные данные о сношениях Раевского в Тирасполе с подпоручиком Бартеневым и прапорщиком Политковским («Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 664—666) и публикацию П. С. Бейсова «Дело Мозевского», в которой дана краткая информация о материалах дела III Отделения «О доносе мичмана Дюмутье на штабс-капитана Мозевского, рассевавшего <в 1822 г.> между офицерами и частными людьми возмутительные сочинения майора Раевского» («Ульяновский сборник», стр. 58—73).

[12] ЦГИАЛ, ф. № 958, оп. 1, 1823, д. 439, л. 1—1 об.— Сообщено Л. Я. Вильде.

[13] Там же, л. 2—2 об.

[14] ЦГВИА, ф. № 36, оп. 4/847, дело канцелярии дежурного генерала Главного штаба, 1826, № 53, лл. 11—14. — Сообщено Л. Я. Вильде. В этом прошении об освобождении из крепости Раевский писал: «В 1821 году объявлено мне было, что Общество более не существует. В 1822 г., февраля 6, я был арестован и с этого злополучного дня я видел только изменение темниц и стражи — не обществ. Пятый год длится неволя моя, самые воспоминания о сословии, коего уже не существовало, изгладились из памяти моей. Ныне, при открытии важного дела, шесть членов из всего числа включили меня в новое, злонамеренное Общество, о коем никогда я не слыхал» (л. 11 об.). Заканчивалось прошение изъявлением готовности принять любой приговор: «Самая отдаленная ссылка, жизнь на диких Алеутских островах, даже самая ссылка в работы, была бы мне знаком величайшей милости в сравнении с должайшей неволею, которую изведал я бедственным опытом» (л. 13 об.).

[15] Там же, лл. 16—17.— Дата письма Раевского на имя А. И. Татищева устанавливается канцелярской отметкой на прошении царю, которое при этом письме препровождалось: «К г-ну военному министру писано 19 апреля по секр<етному> жур<налу> № 736».

[16] О содержании не дошедших до нас писем Раевского, посланных к родным из крепости Замостье в 1826—1827 гг., мы можем судить по рапорту его на имя генерала Д. Д. Куруты от 4 апреля 1827 г. «При отправлении меня из крепости Петропавловской,— писал Раевский,— не получил я ни одежды, ни собственных денег 180 рублей ассигнациями, кои по прибытии в С. Петербург отобраны у меня были в Зимнем дворце. В продолжении же 8-ми месячного пребывания там и таковаго же времени здесь вид одежды моей, состоящей из одного сюртучка, рейтузов и шинели, приходит в совершенную ветхость, а так как назначенного мне, по указанию, жалования 31 рубля ассигнациями едва достаточно на стол и самые мелочные издержки, то не имею чем поправить как одежду, обувь, так и белье и осмеливаюсь наинижайше просить ваше сиятельство о милостивом разрешении отправить письмо, при сем представляемое, к брату моему. Сверх того, после смерти отца моего оставшееся имение управляется сим меньшим братом моим по доверенности моей, которую отослал я к нему из крепости Тираспольской в исходе 1826 года; следовательно, оная может быть и не действительна, а так как на имении состоит более 200 тысяч долгу, доходы основаны на заведении, как-то: виноградных заводах и суконной фабрике,— то без доверенности принятие заводов по подрядам не может быть законно и верно, отчего не только кредит, но и самое имение, находящееся по долгам в залоге, может пасть» (ЦГВИАЛ, ф. № 648, ч. II, св. 59, д. 4661, д. 743.— Сообщено П. С. Бейсовым). См. об этом далее, стр. 148 и 162.

[17] ЦГИА, ф. № 48, д. 149, лл. 65—67.— Сообщено И. В. Порохом.— О линии поведения Сабанеева см. выше соображения М. К. Азадовского, стр. 55—63.

[18] В одном из показаний В. Г. Раевского в Курской следственной комиссии 1831 г. о нелегальных связях В. Ф. Раевского с его родными (см. далее прим. 19) отмечалось, что «возвратившийся из Иркутска 3-й гильдии купец Романенко доставил от Владимира Раевского сестре его Александре письмо, коим Раевский именует Романенко своим приятелем и благодетелем». Этот купец «по сомнению в знакомстве с Владимиром Раевским» был сразу же допрошен, но от дальнейшего дознания освобожден. О приезде Романенко из Иркутска в Хворостянку упоминается в письме А. Ф. Раевской к брату от 11 июля 1831 г. См. далее прим. 23.

[19] Дело по доносу В. Г. Раевского рассматривалось в течение всей второй половины 1831 г. особой следственной комиссией, образованной в Курске под председательством генерал-майора корпуса жандармов графа П. И. Апраксина. Комиссия установила, что извет Раевского лишен всякого основания, а сам доноситель должен был признать, что «извет свой составил наудачу, имея в виду случайное открытие где-либо

зла». За «ложный донос о заговоре против правительства, оклеветание разных лиц по участию будто бы в мятежнических тайных обществах, за развратное поведение» В. Г. Раевский был приговорен к лишению чинов и дворянства и к ссылке в Сибирь в каторжную работу (ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., 1831, д. 500). От отбытия наказания Раевский был освобожден лишь в 1843 г., после чего служил в Иркутске на солеваренном заводе. Материалы дела В. Г. Раевского положены в основание статьи П. С. Бейсова «Тайное общество братьев Раевских в Курске» («Лит. альманах», кн. 2, Курск, 1940, стр. 270—276). Следует отметить, что некоторые из выводов этой статьи о возможности существования в Курске тайного общества во главе с братьями Раевскими основаны не на критическом изучении всех документов «дела», а на произвольном усвоении Бейсовым фантастических измышлений В. Г. Раевского в тех его «показаниях», от которых сам же он отказался.

[20] Об обыске у В. Ф. Раевского в 1831 г. см. материалы статей Ф. Кудрявцева «Первый декабрист В. Ф. Раевский в Олонках» (сб. «Сибирь и декабристы». Иркутск, 1925, стр. 71—72) и П. С. Бейсова «К вопросу о литературном наследии первого декабриста В. Ф. Раевского» («Сибирские огни», 1938, № 3-4, стр. 123—131). Как свидетельствуют материалы «дела» 1831 г. (см. прим. 19), в числе изъятых у В. Ф. Раевского бумаг оказались две незначительные записочки к нему и к его жене декабриста А. Н. Муравьева от 9 июня и 10 ноября 1831 г. и около пятидесяти писем к нему сестер Александры, Натальи, Марии и Веры и братьев Григория и Петра за время с 1827 по 1831 г. Письма сопровождались обычно посылками разных домашних вещей и продуктов.

[21] Письмо Раевского к Н. Н. Бердяеву (см. о нем стр. 133—134) сохранилось в приложениях к отмеченному выше делу III Отделения (ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., 1831, д. 500, л. 45). Это письмо относилось к сентябрю 1831 г. и осталось недописанным, вероятно потому, что Раевский, получив письма сестер о смерти брата Петра, не счел уже нужным обращаться к помощи Бердяева.

[22] Раевский с конца 1829 г. был женат на Авдотье Моисеевне Середкиной (1811—1876), олонской крестьянке.— Александра Федосеевна Раевская (род. 30 мая 1798 г., умерла около 1855 г.) — старшая из сестер декабриста. О ней см. далее, стр. 159—162.— Саша — дочь Раевского, родившаяся в 1830 г.

[23] Раевский имеет в виду письмо А. Ф. Раевской от 11 июля 1831 г., в котором были следующие строки: «В продолжении всех четырех лет мы часто со слезами представляли себе вашу жизнь и ваше крайнее положение, но не имели возможности помогать вам, теперь же с кончиною брата Петра Федосеевича мы бы могли все для вас сделать, но мы получаем от опекунов на все содержание наше по 100 р. на месяц, нас теперь пятеро, по сколько же нам достанется, тут и стол, и чай, и сахар, и людей одеть, и экипаж сделать, ибо у нас, кроме тяжелой четвероместной кареты, ничего нет,— имение все без исключения в опеке по долгам: Хворостянка в 7000 подушных, Улыбышево и Морквино за подушные и в Совет до 30 000, заводы без действия, мельницы в расстройстве, суконная фабрика уничтожена; спокойствие наше зависит от снисхождения кредиторов <...> Grégoire обещает разделиться с нами поровну, у нас теперь 500 душ; между нами условие можем сделать такое, что каждая из нас обязана будет высылать вам ежегодно по 500 р. или по тысяче, сколько потребуете вы сами, и мы счастливы будем, ежели вы не будете ни в чем нуждаться» (ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., 1831, д. 500, прилож., лл. 47—48). Ни одно из этих обещаний выполнено, однако, не было. См. далее, стр. 159—162.

[24] ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., 1831, д. 500, прилож., лл. 107—109.

[25] 11 января 1833 г. Иркутское губернское правление обратилось к губернатору Восточной Сибири с особым секретным представлением «О переписке ссыльного Раевского». В этом документе отмечалось: «Согласно предписаниям вашего высокопревосходительства от 21 ноября 1831 и 18 февраля 1832 г., все письма от ссыльного Владимира Раевского и к нему следовавшие отправляемы были в Комиссию, учрежденную по высочайшему повелению в Курске, но о получении оных последовали отношения курского гражданского губернатора, который уведомил, что упомянутая комиссия закрыта еще в ноябре месяце 1831 г. и что письма Раевского переданы по адресам. Вследствие чего и получив ныне от здешней почтовой конторы поданное на почту ссыльным Раевским письмо, следующее в город Старый Оскол на имя Александры Раевской, я считаю обязанностью испросить разрешение вашего высокопревосходительства как поступить с письмом сим и вообще с будущею перепискою Раевского».

В ответ на это представление генерал-губернатор Лавинский предложил руководствоваться «во всех подобного рода случаях» его предписанием от 16 мая 1831 г. о «точном и непременном исполнении по Восточной Сибири постановлений касательно переписки ссыльных» (Иркутский областной архив, ф. Главного управления Восточной Сибири, картон 5, д. 92, лл. 13—19).

[26] «Русская старина», 1902, № 3, стр. 599—606; 1903, № 4, стр. 183—188. В примечаниях к этим письмам В. В. Раевский дал краткие, но очень ценные справки о В. Ф. Поповой и ее окружении.

[27] Мы имеем в виду письмо Раевского к В. Ф. Поповой от 21 мая 1868 г., особенно тесно связанное с важнейшими из страниц его записок. См. публикацию М. К. Азадовского в настоящем томе, стр. 52.

[28] «Русская старина», 1903, № 9, стр. 582—583.

[29] Письмо Раевского к В. В. Ефимовой от 10 апреля 1857 г. дошло до нас без первого полулиста. Его автограф (второй полулист почтовой бумаги большого формата) предоставлен был в наше распоряжение П. Е. Щеголевым в 1929 г. Из этой части письма мы печатаем только наиболее интересные строки.

[30] Довнар-Запольский. Мемуары, стр. 160; ср. «Атеней», кн. III, 1926, стр. 26—28.

Послание к Батенькову («Когда над родиной моей...»), начатое в 1815—1816 гг., закончено было лишь после свидания Раевского с его адресатом в 1819 г. Биографы Раевского, исходя из неправильного предположения о вступлении его в Союз Благоденствия еще в 1818 г., а не летом 1820 г., как это было в действительности, ошибочно толкуют послание к Батенькову, как свидетельство разочарования Раевского в работе Тайного общества. См., например, С. Ф. Коваль. Декабрист В. Ф. Раевский, 1951, стр. 35.

[31] «Русские пропилеи», т. II. М., 1916, стр. 108.

[32] ЛБ (фонд Елагиных). Иркутским гражданским губернатором, на имя которого просил писать Раевский, с 1839 по 1848 г. был А. Н. Пятницкий. Материалы для его характеристики см. в «Воспоминаниях и рассказах деятелей Т. О.», т. II, стр. 362.

[33] «Ульяновский сборник», стр. 303—310.— Письма Раевского к Батенькову, опубликованные П. С. Бейсовым по автографам ЛБ (фонд Елагиных), не комментированы.

Первые два из дошедших до нас писем Батенькова мы относим к первой половине и к концу 1846 г., два следующих письма имеют точные даты (29 сентября—6 октября 1860 г. и 25 июля 1861 г.) и, наконец, последнее, от 10 февраля, на основании бесспорных внутренних данных должно быть приурочено к 1861 г.

В печатные тексты писем к Батенькову вкралось много ошибок, иногда весьма существенных. Так, например, в автографе: «И. И. здесь», а Бейсов печатает: «Пущин И. И. здесь» (стр. 303); в автографе: «В 1812 г. мы оба с ним поступили в самые боевые арти⟨ллерийские⟩ роты—он в 17⟨-ю⟩ лег⟨кую⟩ Башмакова, я в 23⟨-ю⟩ бат⟨арею⟩ Гулевича»— в публикации Бейсова нет фамилии Башмакова (стр. 304); Раевский пишет: «30 лет Россия не жила, но судорожно *двигалась* только под барабанный бой»— в публикации Бейсова «только» отсутствует, а предшествующее слово не подчеркнуто (стр. 305); вм. «эти подвиги» печатается «свои подвиги» (стр. 305); вм. «29 сентября 1860 г.»— «28 сентября 1860 г.»; вм. «Я писал к Любенкову»—«к Любикову» (стр. 310). В строке: «не взирая на привилегии, касты и заведения, должны были ехать в Сибирь» не прочтены слова: «не взирая» (стр. 308) и т. д. Совершенно обессмыслена в печати небольшая недатированная записка Раевского, относящаяся, вероятно, к середине 1846 г. Ввиду того что из шести строк этого автографа правильно прочитаны Бейсовым только две, приводим подлинный текст записки полностью:

«При всяком случае, а в особенности теперь, рад писать к тебе Гаври⟨ла⟩ Степан⟨ыч⟩. Не ожидаю ответа, и — извиняю тебе. По крайней мере от Ив. Ив. Пущина я узнал о тебе столько, сколько знать желал. Прощай. Обнимаю тебя. В. Раевский. Олонской крестьянин».

[34] По автографам, хранящимся в архиве А. Ф. Вельтмана в ЛБ, опубликованы П. С. Бейсовым в «Ульяновском сборнике», стр. 311—314. Одно из этих писем, датируемое в автографе «14 февраля. С. Олонки», без года (№ 3 в публикации Бейсова), явно предшествует письму от 15 марта 1860 г. (№ 2 в публикации Бейсова) и по содержанию должно быть отнесено к тому же 1860 г. Письмо, датируемое в автографе «3 декабря 1864 г.» (№ 4 в публикации Бейсова) неверно датировано Бейсовым 3 февраля 1864 г. Более сложен вопрос о датировке нескольких рекомендательных строк Раевского о штабс-капитане корпуса горных инженеров И. В. Баснине (письмо № 5). Посылая через него на имя Вельтмана «пакет» со своими бумагами, Раевский разъяснял, что в числе их находятся «стихи и мое дело по убийству». Это «дело» связано было с разбойничьим нападением на Раевского в самом начале 1864 г., когда он был тяжело изувечен и едва не умер. Таким образом, и записка № 5 должна быть отнесена к 1864 г.

В бумагах Вельтмана сохранилась еще одна незначительная записка Раевского без даты (предупреждение о приходе вечером в гости), относящаяся, видимо, ко времени его пребывания во второй половине 1858 г. в Москве. Первые строки автографа (с обращением к адресату) оборваны.

И. В. Баснин — сын известного сибирского промышленника, переселившегося в 50-х годах в Москву. О В. Н. Баснине и о его замечательной библиотеке в Иркутске см. свод данных в книге М. К. Азадовского «Очерки литературы и культуры в Сибири». Иркутск, 1947, стр. 16—17.

[35] «Ульяновский сборник», стр. 308.

[36] Там же, стр. 304.

[37] «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». Под ред. М. П. Драгоманова. СПб., 1906, стр. 150—151.

[38] «Вестник Европы», 1907, № 6, стр. 572—573.

[39] «Ульяновский сборник», стр. 310—311.

1. Д. Д. КУРУТЕ

〈Крепость Замостье. 8 октября 1827 г.〉

Светлейший граф!

Письмо к брату моему имея честь представить Вашему сиятельству, осмеливаюсь наипокорнейше испрашивать разрешения Вашего об отправлении оного [1].

Хотя милости, оказанные мне в моем заключении, и лишают меня права вновь утруждать Ваше сиятельство просьбами, но я осмеливаюсь повторить только то, о чем я уже просил, и о том, что было милостиво разрешено

Ф. М. РАЕВСКИЙ — ОТЕЦ ДЕКАБРИСТА

Портрет маслом неустановленного художника. Местонахождение оригинала неизвестно. Воспроизводится по фотографии, принадлежавшей сыну декабриста В. В. Раевскому

Собрание Ю. Г. Оксмана, Саратов

Вами по воле его императорского высочества цесаревича [2]. Я очень знаю, что просить более, значило бы употребить во зло сострадание и попечительное человеколюбие Вашего сиятельства.

Сначала, после личного дозволения его императорского высочества прогулок для воздуха, мне дозволено было выходить в места открытые и через улицы, но вскоре все улицы названы были местами публичными, мне показаны были прогулки по засараями и конюшнями — там, где зи-

мою снег выше колена — вот почему во всю прошлую зиму пользовался я свежим воздухом не более шести раз.

После весьма милостивого письма Вашего сиятельства мне разрешено было прохаживаться между валом и крайними строениями крепости (наравне с другими находившимися здесь арестованными офицерами).

С выездом комиссии мало-помалу прогулки сии сокращены до того, что мне показали одну самую тесную и нечистую улицу в крепости, под стенами задних фасов госпиталя, артиллерийских польских казарм и базильянского монастыря. Сперва, под предлогом, что мне *неприлично* ходить там, где работают арестанты, или где они содержатся, потом господин комендант лично объявил мне, что «первое дозволение дано было по ошибке». Первый предлог я не знаю чему приписать, ибо доселе ни суд, ни целый свет не обвиняли меня в связях с колодниками и ворами; второй еще более непонятен, ибо один или два раза можно пройти ошибкою по улице, а не четыре месяца сряду... По отнятии сего дозволения вот уже более трех месяцев как я не выходил далее 10 шагов от дверей.

Снисходительное дозволение ходить в купальни вовсе от самого начала не имело исполнения, ибо оные названы также местами публичными — как будто бы русские и польские бани, или лазни, не одинаково суть места публичные. Сверх того никто не ходит в ванны ни для публики, ни перед публикой, но и самая публика здешняя состоит из нескольких инвалидных и полковых офицеров, весьма посредственного числа жидов и ремесленников, с коими не имел бы я отрады входить в знакомство, не только ныне, но и на свободе; в сих купальнях, или лазинках, находятся отдельные покои, кои замыкаются; со мною ходит плац-адъютант и солдат в баню, а им не только каждый житель, но и каждое дитя известно. Генерал Дурасов[3], видя слабость моего здоровья и твердо зная, что я здесь не имею ни знакомых, ни связей, просил за меня господина коменданта, но просьба сия, по выезде его, осталась без исполнения, а дабы не совсем пренебречь приказание Вашего сиятельства, господин комендант посылал меня в лазарет купаться в тех ваннах, где моются солдаты в разных заразительных болезнях. Дозволение равняющееся воспрещению. Русская баня топилась прежде в две и в три недели раз, но по неизвестным мне причинам вот уже 5 недель как она не топилась.

Сиятельнейший граф! Я бы не жаловался на отнятие сих предоставленных мне милостей, если бы нарушил правила моим положением на меня возложенные, я бы равнодушно видел сие утешение, если бы заключение мое было следствием вины и определение наказания, я бы вовсе молчал, если бы здоровье мое могло вынести сии опыты и, наконец, не осмелился утруждать Ваше сиятельство среди многотрудных занятий, еслиб приезжающие сюда генералы опрашивали заключенных, но вот уже другой год как я здесь, и скоро пойдет седьмой моего узничества... и их не считают за наказание — сие заключение есть только мера для узнания виновен ли я или нет.

Ваше сиятельство изволили видеть, каким путем первая комиссия[4] шла к моему обвинению, — она составила не дело, но отличный судебный мозаик, в котором склеен вид вины, а не вина. Между тем не дни, не недели, не месяцы, но год проходит моей неволи, и я вдали не вижу конца моим бедствиям... Ах, с благодарностию принял бы я ныне какое бы то ни было наказание... дабы спастись от заключения.

Сиятельнейший граф! Чувствительному сердцу Вашему, человеколюбивой душе Вашей, конечно, известно, сколь тягостна участь человека, у которого в 24 часа отворяют только три раза дверь для подания пищи. Здесь лишен он всего, что называется в мире радостью. Здесь нет товарища для облегчения душевных мук. Целый мир его есть шесть кубических шагов.

Но если высшая власть, обеспечивая себя или общество от вредного или подозреваемого человека, по милосердию и человеколюбию предоставляет ему некоторые выгоды и, отделяя от людей, не отнимает, но предоставляет средства к сохранению здоровья и жизни, то почему же власть, посредствующая для собственных видов и выгод, уничтожает сии милости. Я знаю, что если бы повелено было надеть на меня железа и ввергнуть в подземный каземат, то исполнение с получением приказания не имело бы двух минут промежутка. Никто не сказал бы, что это для меня невыгодно и неприлично. Почему ж человеколюбивые, кроткие меры находят препятствия и невозможность в исполнении?

Мне кажется, как строгость, так и милость, когда они суть следствие воли вышней власти, иметь должны одинаковый вес.

Здесь как будто бы желают отнять последнее утешение в узах: веру в милосердие, кротость и великодушие наших русских венценосцев и повелителей. Но сомневаться в том, в чем я уверен, в чем имею столько трогательных и несомненных для меня доказательств, значило бы иметь душу черную и неблагодарную.

Я вижу, что для меня учинено все, что можно, но у меня почти все отнято, что учинено, и если не совсем, то для того только, чтобы сказать, что не отнято.

Вот почему осмеливаюсь вновь прибегнуть к снисходительному и сострадательному вниманию Вашего сиятельства. Я ничего более испрашивать не смею, как только, чтобы мне позволено было ходить в местах более открытых для воздуха, по крайней мере по осеннему времени, где есть мостовые, где зимою не занесено бывает снегом, и один только раз в неделю в купальни, кои находятся возле русских бань, и то тогда только, когда русская баня не топится, другие невыгоды я еще могу перенесть.

Сиятельнейший граф! Не отвергните сей единственной просьбы моей; если я переживу бедствия мои, последствия только могут доказать, что я не заслужил отвержения, что отеческое внимание ваше обращено было не вотще... Мне нет в моем положении другой опоры, кроме провидения и Вас, — лишение сей опоры не только бы усугубило бедствия мои здесь, но оно приблизило бы меня к крайней безнадежности.

Я никогда не осмеливался просить невозможного и несообразного. Я наинижайше и наиубедительнейше прошу только того, что может еще скрасить преждевременно остывающую жизнь мою.

Исполненный наиглубочайшим уважением, беспредельной преданностию и признательностью, имею счастие пребыть Вашего сиятельства обязанным, наипокорнейшим и преданным слугою

Владимир Раевский

1827 года. Октября 8 дня
Крепость Замостье.

Автограф. ЦГВИАЛ, ф. Главного аудиториата, 1826, д. 71 (дела по военно-судной части Литовского корпуса, присланные из Варшавы), лл. 102—105.

В бумагах, изъятых у Раевского в 1831 г., сохранилось ответное письмо Д. Д. Куруты от 20 октября 1827 г., в котором последний сообщал: «Письмо Ваше ко мне от 8-го числа сего октября я вносил во всенижайший доклад его императорскому высочеству цесаревичу, и по соизволению его высочества цесаревича предложено мною теперь же г-ну коменданту крепости Замостья, польских войск бригадному генералу Гуртигу, дозволить Вам: ходить в баню или в ванну во всякое время, когда Вы пожелаете, и сверх того — для поддержания Вашего здоровья чистым воздухом— прохаживаться в крепости, в тех местах, где не бывает многолюдства» (ЦГИА, ф. III Отделения, 1831, д. 500, л. 53).

Дмитрий Дмитриевич Курута (1770—1838)— генерал-лейтенант, начальник штаба в. к. Константина Павловича, главнокомандующего войсками, расположенными на территории Царства Польского. Характеризуя Куруту как администратора, пользовавшегося репутацией человека «кроткого и добродушного», Раевский говорит, что сам он вовсе не склонен был на эти слухи полагаться. См. об этом стр. 98.

[1] Это было, видимо, уже второе письмо Раевского к брату из Замостья, так как об отправке первого он ходатайствовал еще 4 апреля 1827 г. См. об этом выше, стр. 142, прим. 16.

Бесконтрольно распоряжаясь имуществом, подлежавшим разделу между всеми наследниками (о ценности его см. письмо № 6 и примечания к нему), П. Ф. Раевский растратил бо́льшую его часть и в течение нескольких лет не оказывал ссыльному брату почти никакой материальной поддержки. П. Ф. Раевский умер от холеры 16 июня 1831 г. в Курской тюрьме, преданный суду по ложному доносу В. Г. Раевского (см. об этом выше, стр. 133). Еще не зная о кончине Петра, В. Ф. Раевский писал о нем Н. Н. Бердяеву: «... провидению угодно было наказать меня таким братом, которого ни совесть, ни стыд, ни увещание, ⟨ни⟩ самое приличие не могут заставить быть братом. Я презираю его» («Ульяновский сборник», стр. 343).

[2] Раевский имеет в виду официальное письмо Д. Д. Куруты на его имя от 1/12 апреля 1827 г.: «Его императорское высочество изволило приказать мне уведомить Вас, что как в высочайшем его императорского величества повелении о предании Вас суду при войсках Литовского отдельного корпуса сказано, чтобы во время производства оного суда содержать Вас в крепости Замостье,— следовательно, дозволение жить Вам на особой квартире, а не в каземате, не может иметь места; впрочем, насчет изъяснения, что якобы теперешнее место содержания Вашего хуже того, какое имели Вы в Петропавловской крепости,— его императорское высочество изволил отозваться, что изволил бывать в той крепости и, зная настоящее место содержания Вашего, при сравнении одного с другим, находит сие последнее гораздо лучшим, нежели в Петропавловской крепости» (ЦГИА, ф. III Отделения, 1831, д. 500, л. 52).

[3] Генерал-майор Д у р а с о в — председатель Военно-судной комиссии по делу Раевского, учрежденной в крепости Замостье в 1827 г.

[4] Военно-судная комиссия по делу Раевского, организованная в 1822 г. при штабе 6-го пехотного корпуса под председательством генерала И. В. Сабанеева. См. письмо № 2, прим. 1.

2. П. Д. КИСЕЛЕВУ

⟨Иркутск. Около 20 октября 1840 г.⟩

Сиятельнейший граф!

После смерти генерала Сабанеева, составленное им обвинение, его суд, его решение никому столько не известны, как Вашему сиятельству[1]. Мой протест, разбор процесса и мнение полевого аудиториата были в руках Ваших. Ваше сиятельство, переходя от трудных подвигов к новым подвигам славы и чести, могли забыть подробности дела, но сущность, основанная тогда на одних сомнительных изысканиях генерала Сабанеева, не могла быть изглажена из памяти Вашей[2].

С раскрытием Комитета о государственных преступниках, в генваре месяце 1826 года, я был вытребован из крепости Тираспольской в крепость Петропавловскую. По окончательному решению Комитета о тайном злоумышленном обществе я был оправдан, и решением этим разъясняются изыскания и подозрения генерала Сабанеева[3]. Я не стану тревожить прах его; расчет за девятнадцатилетние мои несчастия он перенес в ту инстанцию, где нет степеней и оговорок.

По исполнении приговора над виновными мне предложено было июля 13-го 1826 года через генерал-адъютанта Потапова подписать выписку из дела и приговор генерала Сабанеева, т. е. признать его обвинение справедливым и взять мой протест против него обратно. Я надеялся оправдаться и потому просил как милости нового суда, вследствие чего в августе месяце того же года я был отправлен из крепости Петропавловской сперва в Варшаву, потом в крепость Замосцъ. По расследовании дела приговор сей высочайше учрежденной Комиссии и конфирмация его императорского высочества цесаревича заключалась в том, чтоб возвратить меня попрежнему на службу, а если и затем остаются какие-либо подозрения, то отставить от службы, включая долговременный арест в наказание, и удалить в свое имение под надзор начальства[4]. В этом виде дело мое поступило опять в Санктпетербург. Но новая Комиссия при Первом гвардейском корпусе была составлена; определение высочайше учрежденной Комиссии было найдено несовместным с моею виною, и четвертым и последним приговором я

был лишен чинов, орденов, дворянского достоинства и удален как вредн в обществе человек в Сибирь на поселение. Высочайшая конфирмаг была напечатана в «Московских ведомостях» 1827 года ноября 2 в 94-м номере.

1837 года в июле месяце, почти чрез десять лет моей ссылки в Сиб бывший генерал-губернатор Восточной Сибири генерал-лейтенант Бро

А. А. РАЕВСКАЯ —МАТЬ ДЕКАБРИСТА

Портрет маслом неустановленного художника. Местонахождение оригинала неизвестно. Воспроизводится по фотографии, принадлежавшей сыну декабриста В. В. Раевскому

Собрание Ю. Г. Оксмана, Саратов

ский, обратя отеческое внимание на мой быт, мою новую жизнь и пра ходатайствовал чрез его сиятельство графа Бенкендорфа, дабы мне волено было вступить в Сибири в гражданскую службу. Ответ на пред ление его превосходительства получен от 15 числа марта 1840-го год № 1352-м. Его сиятельство объясняет, что он не решился войти со все даннейшим представлением обо мне потому, что я подвергся озна ному выше приговору за неблагонамеренные поступки против пра тельства [5].

Если бы его сиятельству известно было, что прежде ссылки моей находился шесть лет в строгом крепостном заключении, что по Комите

о государственных преступниках я был оправдан, что две конфирмации не определили мне даже лишения чинов и дворянского достоинства, что по четырем комиссиям ни один человек не найден причастным к моему обвинению, следственно все вредное (если оно и было) относилось ко мне одному, без влияния на других, что между прошедшими поступками и образом мыслей моих и настоящей новой жизнию лежит промежуток в девятнадцать лет, то есть более трети всей жизни моей, — то, конечно, по известному целой России мягкосердию и человеколюбию его сиятельства, он не отказался бы уважить и дать ход представлению и ходатайству бывшего генерал-губернатора Восточной Сибири.

Третий год как я страдаю изнурительной болезнью без надежды к исцелению; после утраты так давно всех общественных и наружных достоинств, для меня, собственно, нет уже ни почестей, ни вознаграждений; но я имею четырех детей: двух дочерей и двух сыновей от 9-ти до 2-х летнего возраста.

Я женился здесь в Сибири. Ни жена, ни дети не могли разделять давно прошедшей вины моей. Но с отказом графа Бенкендорфа я вижу с облитым кровию сердцем, что они должны разделять со мною при жизни и получить в наследство: мою сентенцию и титул ссыльного! Мне жить недолго, и хотя сыновья мои еще не в ревизии, но со смертию моею переход из этого сословия жене моей с детьми будет невозможен, а новым дополнением к своду законов относительно ссыльных и каторжных от 14 августа сего года я лишен права перейти в мещане или вступить в гильдию.

Я приехал в Сибирь в звании поселенца; здесь по сибирскому учреждению на общем положении переименован в крестьяне; все государственные крестьяне поступают в ведомство министра государственных имуществ[6].

Как отец, по священному долгу, я прошу за детей моих, как крестьянин я решился прибегнуть с просьбою к министру, которому вверено благосостояние мое, как и миллионов крестьян; как ссыльный я осмеливаюсь просить начальника, которому известны вина и служба мои.

Я бы не осмелился обеспокоить Ваше сиятельство, если бы не имел душевной веры в великодушие Ваше и если б просьба моя выходила из обыкновенного порядка дел. По представлению генерал-губернаторов Восточной и Западной Сибири многие сосланные по уголовным преступлениям не только на поселение, в работу, служили и служат в присутственных местах в звании канцелярских служителей и некоторые получили уже чины офицерские. Многие даже из государственных преступников возвращены в службу военную, из них некоторые также офицерами или в отставке. Были примеры милосердия, что виновным дозволялось вступить в гражданскую службу первым офицерским чином.

Болезнь и лета лишают меня возможности заслуживать вину мою на поле чести; и хотя титул канцелярского служителя не откроет мне пути к заслугам, но это звание, как милость, сотрет титул ссыльного, перенесет детей моих в круг, где способности могут открыть им путь к лучшим должностям, удалить их от примеров порока, нераздельного здесь с крестьянским бытом, и допустит, не краснея за отца, быть в обществе людей.

Если предстательства бывшего генерал-губернатора Восточной Сибири, господина генерал-лейтенанта Броневского недостаточны, я осмеливаюсь надеяться на то же снисходительное внимание и подобные же выгодные отзывы настоящего генерал-губернатора Восточной Сибири, господина генерал-лейтенанта Руперта! Девятнадцать лет такой жизни, как моя, могли примирить виновного с законами. Ваша слава, Ваши подвиги поставили Вас так близко к престолу.

Предстательство Ваше, слова Ваши не могут быть не уважены. С высокой волею и возможностию творить добро, Ваше сиятельство, не только первым офицерским чином, но званием канцелярского служителя подарите

целое семейство новой, лучшей жизнию и спасете четырех малолетных детей от наследственного наказания и нравственной погибели[7].

С истинным высокопочитанием и неограниченной преданностью имею счастие пребывать Вашего сиятельства всепокорнейший слуга, бывший маиор 32-го Егерского полка

Владимир Раевский

Автограф. ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., 1837, д. 157, лл. 6—9 (2-й пагинации). Выдержки из этого письма опубликованы Ф. А. Кудрявцевым в сб. «Сибирь и декабристы». Иркутск, 1925, стр. 72—73. Датируется на основании сопроводительного письма генерал-губернатора Восточной Сибири В. Я. Руперта от 21 октября 1840 г. на имя Киселева. О письмах Раевского к Киселеву от 24 февраля и 5 сентября 1823 г. см. выше стр. 132.

Павел Дмитриевич Киселев, граф (1788—1872)— генерал-адъютант, начальник штаба 2-й Армии с 1819 по 1828 г., тесно связанный личными и служебными отношениями с вождями Южного общества, впоследствии организатор и руководитель Министерства государственных имуществ (с 1839 по 1856 г.), лидер антикрепостнического меньшинства в государственном аппарате николаевской поры.

Принимая ближайшее участие в 1822—1824 гг. в следствии по делу Раевского (материалы об этом см. в «Сборнике Русского исторического общества», т. 78. СПб., 1891, стр. 90—93), Киселев своевременно принял все меры к тому, чтобы этот персональный политический процесс не перерос в большое судебное дело о Союзе Благоденствия и о его южных «управах» (см. об этом выше, стр. 57).

Вся эта история, вскрывшаяся во время процесса 1826 г. в связи с доносом Майбороды и с показаниями о событиях 1822 г. Бурцова и Раевского, заставила Киселева представить Николаю I объяснения, в которых подтверждался только факт уничтожения Бурцовым криминальных документов, а вина самого Киселева смягчалась тем, что он якобы немедленно тогда же доложил о происшедшем главнокомандующему (А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. I. СПб., 1882, стр. 157—161, 242—255; т. IV, стр. 37—42). С этим эпизодом связан интересный рассказ А. Н. Бурцовой, вдовы Бурцова. Как свидетельствует В. Андреев в своих записках «Из кавказской старины», Бурцова «раз в откровенной беседе мне сказала: „Если бы мой покойный муж при допросе в Петербурге согласился показать, что он исполнил одно распоряжение (какое распоряжение — она не сказала) по своему произволу, а не по словесному приказанию начальника штаба, то он был бы теперь жив, но в Сибири, на каторге. Тщетно Бенкендорф и Чернышов уговаривали его мягко и с угрозами, чтобы он принял на себя исполнение этого распоряжения, так как начальник штаба 2-й Армии,— говорил он,— отказывается в отдаче такового приказания; муж мой стоял на своем и требовал очной ставки. Дать очную ставку Киселеву с ним считали почему-то неловким,— говорила Анна Николаевна,— мужа моего освободили, взяв у него только полк“» («Кавказский сборник», т. I, 1876, стр. 86).

[1] О роли Сабанеева в «деле» Раевского см. материалы доклада начальника Главного штаба на имя Николая I в 1827 г. (Щеголев. Декабристы, стр. 59—70), а также «протест» Раевского от 1 сентября 1823 г. («Ульяновский сборник», стр. 225—243) и стр. 59—63 настоящего тома. В «Автобиографической записке» 1858 г. Раевский отметил факт посещения его Киселевым в 1822 г. в Тираспольской крепости: «Начальник штаба 2-й Армии генерал Киселев был у меня в крепости и предложил возвратить шпагу и выпустить из-под ареста, если я открою, какой в России существует „Тайный союз“. Выявить прошедшее и уже более года не существующее, выставить людей на обвинение бездоказательно — я не мог и не смел вследствие законов совести и потому я не принял шпагу и остался в крепости» (там же, стр. 221).

[2] Раевский, апеллируя к этим документам, имел в виду не политическую сущность своего «дела», а лишь формальные правонарушения, допущенные Сабанеевым и его подчиненными в процессе предварительного дознания и в заседаниях военного суда. Это обстоятельство снижает значимость не только «протеста», поданного Раевским 1 сентября 1823 г. через Киселева в Главный аудиториат, но и всех его позднейших оправдательных записок. На этих же своих наивных формально-казуистических позициях Раевский пытался остаться и в той «Автобиографической записке», которую он рассчитывал представить в 1858 г. царю через генерала П. П. Липранди.

[3] Раевский писал об этом еще более определенно в «Автобиографической записке» 1858 г.: «Комитет о злоумышленном обществе не нашел меня виновным и освободил от Верховного уголовного суда, чем уничтожил все попытки ген⟨ерала⟩ Сабанеева облечь дело мое в форму политического преступления» («Ульяновский сборник», стр. 223). В действительности же Раевский был освобожден от Верховного уголовного суда не потому, что его дело признано было не имеющим «формы политического преступления», а оттого, что ему удалось убедить Комитет о злоумышленных обществах в том, что он, Раевский, являлся членом лишь Союза Благоденствия, а о тайных

обществах, действовавших после 1821 г., уже «совершенно ничего» не слыхал (ВД, т. VIII, стр. 160). Поэтому для рассмотрения дела Раевского учреждена была, по повелению Николая I, специальная Военно-судная комиссия в крепости Замостье. Об «оправдании» Раевского в 1826 г. не было и речи.

[4] Раевский неверно информирует Киселева о решениях Комиссии военного суда, рассматривавшей его дело в Замостье, и о конфирмации ее решений в. к. Константином Павловичем. Как свидетельствуют материалы этой Военно-судной комиссии, она представила цесаревичу Константину Павловичу 22 марта 1827 г. особый рапорт, в котором устанавливалось, что, несмотря на существеннейшие правонарушения, допущенные Сабанеевым в процессе следствия и суда над Раевским, «преступления» последнего обнаруживаются «довольно ясно» как материалом дознания 1822—1823 гг., так и в некоторой части собственными признаниями подсудимого. Константин Павлович, согласясь с заключением комиссии о необходимости доследования всех обстоятельств «дела Раевского», 14 апреля 1827 г. довел до сведения Николая I обо всех ошибках, допущенных Сабанеевым в производстве следствия, и заключил свой рапорт следующими соображениями: «Имея в виду, что настоящее дело по важности как предметов, так и лиц, к нему прикосновенных, требует рассмотрения в вышнем судилище, но между тем проходило уже оно через разные инстанции и, наконец, состояло в рассмотрении Аудиториатского департамента Главного штаба, следственно в обратное рассмотрение оного поступить не может. С другой стороны, дабы не обременять высочайшей особы вашего императорского величества рассматриванием сего многосложного и запутанного дела, я полагал бы моим мнением: для разбора оного назначить особую комиссию, из лиц, имеющих право войти в подробное изыскание всех без исключения предметов, до кого бы оные ни относились, соображаясь при том сведениями и обстоятельствами дела, произведенного в бывшем в С. Петербурге над государственными преступниками Комитете» (ЦГВИАЛ, дело Аудиториатского департамента, № 42, литера А, т. III, лл. 3—4). Это заключение, не дающее никаких оснований для суждения о том, что оно клонилось к «оправданию» Раевского, явилось основанием для создания четвертой Военно-судной комиссии по делу о революционной пропаганде в 1820—1822 гг. в войсках 16-й пехотной дивизии. Докладом этой комиссии, утвержденным командиром гвардейского корпуса и конфирмованным царем 15 октября 1827 г., закончилось «дело» Раевского.

[5] Генерал-лейтенант Броневский, ходатайствуя, в своем обращении от 31 июля 1837 г. к Бенкендорфу, о разрешении принять Раевского «на гражданскую службу канцеляристом», опирался на указ Правительствующему сенату от 22 июля 1837 г., пятым пунктом которого предоставлено было «главным местным начальствам, по усмотрению их, разрешать сосланным в Сибирь дворянам, по истечении 10 лет после их ссылки, вступление в государственную службу нижними чинами». Ходатайство Броневского отклонено было на том якобы основании, что Раевский не принадлежал к категории тех ссыльных, на которых распространялось действие указа от 22 июля 1837 г. (ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., 1837, д. 157, лл. 1—4, 2-й пагинации).

[6] С. И. Черепанов, познакомившийся с Раевским и с его семьею в середине тридцатых годов, вспоминал: «В Александровском заводе я первый раз встретился с своего рода знаменитостию — крестьянином в модном фраке, цилиндре и т. п., говорившим о самых возвышенных предметах и бойко по-французски» («Древняя и новая Россия», 1876, № 8, стр. 377). Очень рано сведения о жизни Раевского в Сибири проникли и в зарубежную печать. Мы имеем в виду рассказы о встречах с Раевским в Иркутске в 1829 г., вошедшие в книгу немецкого ученого Адольфа Эрмана «Reise um die Erde» (Berlin, 1838, Bd. II, S. 80—81). Материалы Эрмана дали основание для упоминаний о Раевском в книге Шницлера «Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas et particulièrement pendant la crise de 1825» (Paris, 1847, t. II, p. 16).

[7] Киселев, не входя в рассмотрение письма Раевского по существу и ограничившись отметкой о «непринадлежности» к нему «настоящей просьбы», 11 декабря 1840 г. сделал распоряжение о направлении письма Раевского в III Отделение на благоусмотрение Бенкендорфа, который ходатайство Раевского отклонил (ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., 1837, д. 157, лл. 5 и 12).

3. Г. С. БАТЕНЬКОВУ *

〈с. Олонки. Июнь—август 1848 г.〉

Я получил письмо твое от ... апреля[1]. Что я чувствовал, ты можешь себе представить, слезы долго мешали мне читать, — дети должны были успокоить мое нетерпение. Когда я мог уже читать сам, я прочитал его несколько раз... я выспрашивал, выпытывал каждое слово, я видел в каждом

* Публикация этого письма и комментарии к нему принадлежат Е. П. Федосеевой.

слове самого тебя... я не сердился, но был печален — зачем письмо твое состоит из трех страничек?

Я не мечтатель; время разъяснило, опыт высказал нам обязанности наши на земле. Первая, детская мысль, конечно, развилась, расцвела воображением, она не принесла того плода, которого ожидали люди, но эта мысль укреплена только размышлением, разнообразными картинами, с которыми в разных видоизменениях все человечество говорит одно и то же. Я не сожалею о прошедшем. У меня 6 ч⟨еловек⟩ детей: 2 дочер⟨и⟩ и 4 сына [2]... Я смотрю на них с извинительным самолюбием, с надеждою, что мысль моя остается после меня на земле. Почему ты не со мною? Ты бы обнял меня, я в этом уверен. Ты был бы полезен и мне и детям моим. Как это случилось, что чувства, тайный голос не шепнули тебе вместо Томска выбрать Иркутск? [3]

Чтобы успокоить тебя насчет положения (материального) моего, я в нескольких словах разъясню. Я писал к Ф. А. ⟨Горохову⟩ [4], искал выгодной должности не для того, чтобы бросить мой оазис, нет — бросить приобретение 20 лет невозможно без чрезвычайно важных требований и указаний. Я хотел только как приказчик, который едет на Ирбит или Мажары⟨?⟩, иметь дело, комиссию даже, не трогая моего семейства с места. Я имею столько, чтобы прожить в довольстве с моим семейством, но в запасе ничего не имею, и на образование, учение, воспитание детей, как бы я хотел, — недостает. Я сам занимаюсь ими, но отцовские уроки не могут быть так точны и определительны, к тому же меня беспрерывно отвлекают хозяйственные занятия. Я хочу променять мой труд, мои способности на деньги, а деньги употребить на детей. Друг мой! Дети мои выросли не на паркете, но ты отличил бы их с первого взгляда в самом лучшем кругу от других детей, в этом я уверен. Мне нужно только то, чтобы деньги начали приучать их к труду, остальное разовьется. Итак, будь покоен, не нужда заставляет меня хлопотать о выгодной должности.

Теперь познакомлю тебя с прошедшим. В Тирасполе кончилось мое поприще жизни общественной, т. е. 1822 г⟨ода⟩ февраля 6. Тебе, я думаю, известно, что я управлял военными школами. ⟨В⟩ 1819 г. я поступил в общество *Союз обществ⟨енного⟩ благоденствия* Зеленой книги. В 1823 году из того же составилось новое, к которому ты при конце принадлежал. 4 года пробыл в креп⟨ости⟩ Тираспольской, 8 месяцев в Петропавловской, слишком год в креп⟨ости⟩ Замосць. Из Замосць — прямо в Иркутск на почтовых. 1⟨-я⟩ конфирмация генерала Сабанеева определила мне 6-летнюю частную ссылку в один из дальних городов России; Комитет о госуд⟨арственных⟩ прест⟨упниках⟩ ничего не сказал; меня перевезли в Варшаву, оттуда в креп⟨ость⟩ Замосць. Новая комиссия или, лучше сказать, цесаревич определил: или выпустить меня с вознаграждением или, вмен⟨ив⟩ арест, отставить и находиться под надзором местного начальства в своем имении. Наконец, решение это нашли слабым. Четвертый заоч⟨ный⟩ суд определил мне ссылку. Михаил Павлович конфирмовал. Государь утвердил. Вот история моего удивительного процесса. Я нигде не подписал выписки, нигде не признал конфирмации. Подал два протеста: один графу Витгенштейну, другой — в Комитет [5].

Ты хорошо понимаешь, что это не упорство, а уверенность, что за различие моих понятий, образа мыслей судить не следовало. Так я понимаю, это не фиксация, даже не конёк, но чистый расчет. Я уверен, что и четвертый суд сделал бы тоже определение, как и прежние три, т. е. или ничего или оправдал, если бы судил не заглазно. Не считая себя виновным и не оправдываясь, я доказывал справедливость моих понятий, я просил доказательств, доводов, убеждений, потому что все действия и понятия мои почитал справедливыми, законными даже. Видно, провидению так нужно было. Ты поймешь еще лучше весь ход дела, если

я подкреплю несколькими стихами из тех немногих дум, которые я писал в крепостях и в ссылке.

Смысл и содержание всех этих судов и судей слились в один простой вопрос:

«Ты людям славы зов мятежный,
Твой ранний блеск, твои надежды
И жизнь цветущую принес —
Что ж люди?»... С чистою душою,
О добродетель, не искал
Я власти, силы над толпою.
Не удивленья, не похвал
От черни я безумной ждал,—
Я не был увлечен мечтою,—
Я был весь твой, я жил тобою,
Что скажут люди, я не знал!..[6]

Это — смысл мой жизни. Теперь ты понимаешь хорошо, что мне оправдываться было бы дико и смешно. Далее, в ссылке: сначала завелась переписка — к какому разряду преступников меня причислить? Ответ был: *к общему*; по крайней мере, я считал его милостию. Через год я выписался в крестьяне, а с этим титлом сопряжены права, я ими воспользовался: занимался делами откупа, закупом хлеба и перевозкою вина, получал с лишним 3000 р⟨ублей⟩ жалованья сверх части оборотов. Женился здесь и — не ошибся, что случается весьма редко[7].

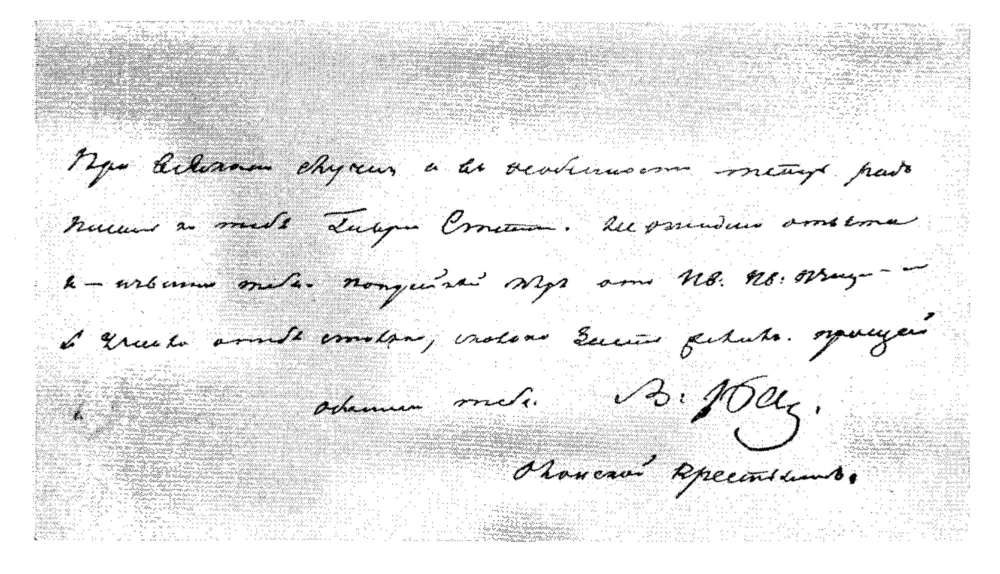
9 лет был болен затвердением печени, 9 лет ожидал смерти. Но я понял, что жизнь моя без этих физических страданий была бы не полна. Состояние мое заключается в доме в с⟨еле⟩ Олонках, в 80 верст⟨ах⟩ от города, на Ангаре, 30 десятин⟨ах⟩ земли, мельнице о двух поставах, 13 лошадях, 15 ⟨головах⟩ рог⟨атого⟩ скота и 40 штук⟨ах⟩ английских, откормленных свиней. Я наделал много построек, имею отличный сад, снимаю средним числом ежегодно более 150 отличных арбузов, дынь до 100 шт⟨ук⟩. Сверх того занимаюсь перепродажею хлеба собственно сам или по комиссии, но последнее — редко.

Старшей дочери 18 лет, второй —14; сыновей 4 — от 12-ти до 2-х лет. Дети все свежие, стесненность и недостаток воспитания заменяются натуральными или врожденными способностями. Да, если бы ты был со мною! Ты бы увидел представителей моих перед новым прозаическим безжизненным поколением. В гимназию отдать детей я боюсь. Надо жить самому в городе, а я на это решиться не могу: ни состояния, ни желания нет. В деревне 3 или 4 тысячи для меня довольно, а в городе жить так, как я живу здесь, нужно до 6 или 7 тыс⟨яч⟩, — вот для чего я и хотел или искал иметь должность, которая доставила бы мне возможность жену и детей моих содержать в Иркутске. Я уже 19 лет женат, жена может сама распоряжаться.

Генер⟨ал⟩-губерн⟨атор⟩ Броневский, г⟨енерал⟩-г⟨убернатор⟩ Руперт, гр⟨аф⟩ Киселев, сестра моя Надежда Бердяева хлопотали о дозволении мне выслуживаться здесь, но звучное: *нет!* — было всякий раз ответом[8]. Сестра Над⟨ежда⟩ недавно просила г⟨рафа⟩ Орлова о дозволении мне отправить детей моих к родствен⟨никам⟩ в Россию для образования — то же самое: *нет*. Видно нужно, чтобы они остались здесь. Верю с Шекспиром, что в мире есть тайны, которых никакой мудрец не видит и не понимает у себя под носом. Я как-то сильно надеюсь на милость всевидящего бога. Здоровье мое возродилось после 9-летних мучений, еще ни одного седого волоса, все зубы крепки, зрение хорошо, но пишу и читаю с очками — вот весь ущерб физический. Воображение, память, конечно, не юношеские, но эту утрату заменил безошибочный взгляд на лица, действия и предметы. С кем бы я ни говорил, я чувствую, что я вправе

говорить, как думаю, — вот приобретения или изменения моральные. Теперь ты видишь меня и мой быт.

Если тебе невозможно будет проситься хотя на горячие минеральные воды сюда, что, может быть, для тебя было бы очень полезно, то я найду случай видеться, быть у тебя в Томске. Мне не хочется умереть, не обнявши тебя. Я был в кругу лучшего юношества в России, но если чувствовал к кому-нибудь нечто вроде дружбы, так это по сравнению ⟨!⟩ с тобою. Напрасно судьба держала нас всегда на двух противоположных краях России, —ты всегда был со мною, и те же чувства, то же направление, те же нравственные успехи были причиною, что одно и то же определение положило конец нашей общественной деятельности. В Петропавл⟨овской⟩ кре-



АВТОГРАФ ЗАПИСКИ В. Ф. РАЕВСКОГО К Г. С. БАТЕНЬКОВУ, 1846 г.
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

п⟨ости⟩ узнал я, что ты тут же. В Сибири узнал я, что тебя нет здесь. Все, кто знал тебя, считали тебя умершим в Шлиссельбурге. Много перестрадал я за тебя. Эта неизвестность, тайна у дверей, мысль, что *никто* в мире не знает, где я, что я, — тяжеле всего в заключении. 20 лет! О друг мой, понимаю твою гробовую жизнь! В 6 лет темничного заключения я, по крайней мере, посетил после Тираспольской темницы Петропавловскую, Варшавский ордонанс-гауз, Замосць, — все разнообразные стражи, судьи, стены, — я не роптал и не ропщу. При конце прилагаю стихи, которые я написал здесь, ожидая развязки в моей драме [9]. Они высказывают то, чего простая холодная проза выразить не может.

Твое письмо от апреля получил я через губернатора. Июнь, следственно, оно шло обыкновенным порядком — чрез 3-е Отд⟨еление⟩ к⟨анцелярии⟩ е. в. Я буду отвечать так же, но это отправляю при случае. К осени приготовь мне ответ на это. Выскажи мне все... все... Ох, друг мой! Мрачны, тяжелы были думы мои о тебе... Но не сожалей, — неосторожно, даже не извинительно, были цель или средство к достижению цели (мы перемежали одно с другим), но ты выкупил эту ошибку. Молю бога, чтобы в последние годы твоей жизни ты был здоров. Если бы ты был с нами, мы сберегли бы здоровье твое. Жена и дети мои давно знают тебя, они привыкли думать и видеть моей головою и моими глазами. Ты внес бы новую жизнь к нам. Конечно, у тебя есть близкие добрые приятели в Томске [10],

но понимают ли они требования твоей души? Знают ли они, что лежит у тебя на сердце? Прочтут ли они в твоем молчании твои думы? Нет, конечно, нет. Понятия их, желания, требования умственные — не шли вместе или рядом с твоими. Они даже не остановятся размышлением, не будут и не могут знать, в чем состоит существенное твое удовольствие. Не печалься, мы переменили только место, форму, и это относительно — при общем неустройстве; но польза этой перемены не подвержена гаданиям и толкам, а жизнь пройти лучше так, как мы прошли, нежели протянуть ее без боли, без движений и без пользы и цели. Что отняли люди, то отдаст бог.

В ответ на совет твой пристроить в дом Мар⟨ии⟩ Ник⟨олаевны⟩ Волк⟨онской⟩[11] детей моих разъясняю тебе: 1. ты не знаешь детей моих, 2. ты не знаешь княгини Мар⟨ии⟩ Ник⟨олаевны⟩. Одна из дочерей моих жила около года у ней. Мои дети не рождены пожирать, поедать чужой труд, ходить на помочах, бояться укушения блохи, проводить жизнь в пляске; мои дети — плебеи, им предстоит тяжелый умственный труд — как средство для жизни и в жизни. Наши понятия не сошлись и не сойдутся, да подобные люди и понятий ни о чем иметь не могут. Малограмотные по беспечности родителей, малоземные по направлению от детства, безжизненные от дурного, бестолкового физического направления и подготовления, они, эти люди, достойны более сожаления, нежели упреков, они суть как трава в поле, которая не идет в пищу скоту и потому только вредна, что не приносит пользы. Если бы ты посмотрел на вашего диктатора, на его половину [12], на Волк⟨онского⟩ и других, — ты понял бы меня, что ожидания, мысль, видения ваши были детская ошибка. Большое, огромное, дипломатическое дело, дело всего человечества в руках воспитанников театральной школы или дирекции! [13]

О твоей жизни при Аракчееве я многое узнал от бывшего его дворец кого, музыканта и иногда писца Сем. Ал. Алексеева, который с женою принесены в жертву при совершении тризны над телом его любовницы. Этот Алексеев был прощен. К нему прислали сына из Грузина по его просьбе. Он недавно умер[14].

Податель сего письма может тебе дать точное понятие о нашем состоянии, положении в этом свете, обо всем: он несколько лет жил в 15 верстах от нас, бывал часто у нас и мы бывали у них.

Осенью ты получишь другое письмо и приготовь ответ на это. Расскажи мне все. Мне писали, что ты был очень болен, но это известие получил я после твоего письма. Я не знаю как, чем могу я утешить, успокоить тебя. Молю бога, чтобы он дал тебе столько же силы, столько же ясных дней, как мне в этой ссылке. За умственную или душевную твою крепость я покоен, но силы физические, конечно, потерпели много от 20-летней однотонной, темной, оцепенелой жизни.

Теперь дам отчет о моем прежнем семействе. Сестра Наталья умерла, она была замужем за весьма честным и хорошим человеком — Алисовым; оба они уже померли и оставили 3 ч⟨еловек⟩ детей и 400 душ, хорошее имение. Сестра Александра осталась девушкой, ей до 50 лет; она вызывает дочь мою Александру и назначает наследницею, если приедет. Надежда за Бердяевым. Другие три за Веригиным, Поповым и Городецким; были еще два брата меньшие — оба померли. Один из них, самый младший, пробыл 5 лет в Шлиссельбурге по подозрению, был в Замосце при производстве суда надо мною, найден невинным и возвращен домой, чтоб умереть[15].

Я во все время не получил ничего из дому. Второй брат, промотав, что мог, вошел в большие долги, умер и оставил остатки только некогда отличного имения; сестры разделили эти остатки и досталось каждой по 100 душ с небольшим[16]. С того времени, как я женился, имею детей здесь

и привык к климату, т. е. акклиматизировался, — я прежнюю родину не считаю родиной... там всё было бы мрачно, напоминало бы прежнюю цветущую, юную, прекрасную жизнь, мечты, которые обещали мне рай земной! Отца, братьев, сестер, людей, которые любили меня. Там нечего делать: разврат и рабство, бедность и гордость, невежество и притязания на ум — вот как я вижу и понимаю людей в том крае, где родился. Здесь все еще ново, здесь все отзывается европейской сивилизацией, понятиями уже не русскими. Россия, по моему мнению, мало отошла от России времен Иоан⟨на⟩ Грозного. Наружный лоск, лакировка кожи не доказывают прочности ее; ⟨я⟩ не безусловный чтитель Монтескье, но совершенно согласен с его определением России и народа, особливо дворянства русского[17]. Сибирь для меня еще ближе потому, что я нашел здесь все выгоды, все средства к жизни без помощи от родных, и потому, что здесь никто не встретит меня с обидным предубеждением.

Это письмо написано давно, но поездка подателя все отлагалась и отлагалась до сего дня. С того времени перемен много.

Я получил ⟨письмо⟩ от управляющего рязиловскими приисками Якорнова, он предлагает мне дело по приискам, найму рабочих на прииски, вызывает в Усть-Анжу, где Преображенская контора. Не может ли г. Осташев[18] мне доверить то же дело? Я сегодня выезжаю туда, т. е. в Усть-Анжу. У них новостей много: Г. М. тебе расскажет все[19]. Не только голова, тело мое требует неопределенно-сильной деятельности с тех пор как я здоров.

После поста старшую дочь мою я отдаю, или она выходит замуж за молодого, образованного, нравственного человека. Он заседателем за неимением мест лучше, два года как приехал из Вильно, дворянин, фамилия его Бернатович. Все подробности узнаешь от подателя. Мы имеем отличного генерал-губернатора[20]. Сибирь давно, давно была под одной спекулятивной промыш⟨ленной⟩ и обидной для человечества администрацией. Наконец, государь сделал прекрасный, безошибочный выбор: и генер⟨ал⟩-губ⟨ернатор⟩ и губернатор и приехавшие с ними чиновники, кажется, воодушевлены той высокой идеей, которую так рьяно, так зычно высказывает девятнадцатый век или начало этого века*. Прости, мой друг! Молю бога о твоем *счастии*, как ты понимаешь его. Пиши ко мне больше. Я не могу тебе высказать всего, что чувствую, что хотел бы сказать. Обнимаю много, много раз и вижу тебя перед собою... кончать не хочется, но надо кончить. Сегодня ехать, ближе к тебе 1000 верстами, но все еще не к тебе.

Прощай. В. Раевский

Все тебя обнимают, целуют и жена и дети.

Автограф. ГПБ. Архив Г. С. Батенькова, № 21. Дата письма определяется на основании содержащихся в нем свидетельств о семье Раевского — упоминание о 18-летнем возрасте старшей дочери Александры, родившейся в 1830 г., и отсутствие данных о сыне Вадиме, родившемся 16 октября 1848 г. В самом тексте указано время получения Раевским апрельского письма Батенькова: *июнь*.

О переписке Раевского с Батеньковым см. стр. 135—136. О самом Батенькове см. далее статью Т. Г. Снытко «Г. С. Батеньков-литератор», стр. 289—320.

[1] Письмо это не сохранилось.

[2] У Раевского было девять человек детей, из них шесть сыновей и три дочери. Сыновья: Константин (род. 1830 г.— ум. в том же году), Юлий (род. 1836 г.), Александр (род. 1840 г.), Михаил (род. 15 ноября 1844 г.— ум. 2 апреля 1882 г.), Валерий (род. 1846 г.— ум. 15 июля 1902 г.) и Вадим (род. 16 октября 1848 г.— ум. 27 июля 1882 г.). Дочери: Александра, по мужу Бернатович, Вера, по мужу Ефимова, Софья, по мужу Дьяченко.

[3] О прибытии Батенькова в 1846 г. в Томск см. выше, стр. 135—136.

---

* Не в политическом бурном, нестройном виде, который я отвергал, но в точных и ясных идеях о пользе, достоинстве человечества и прочем.— *Прим. В. Ф. Раевского.*

[4] Философ Александрович Горохов — сибирский золотопромышленник, приятель Батенькова. См. о нем выше, стр. 110, 126.

Раевский представил не два, а три протеста: 1) в феврале 1823 г. в Полевой аудиториат 2-й Армии; 2) 1 сентября 1823 г. главнокомандующему 2-й Армии П. Х. Витгенштейну (озаглавлен: «Дополнение» к протесту); 3) в 1826 г. в Следственный комитет (озаглавлен: «Оправдание»).

[6] Раевский цитирует строки из своего послания к дочери Александре Владимировне Бернатович («Мой милый друг, твой час пробил...»). В общеизвестной позднейшей редакции послания строки эти существенно изменены.

[7] О жене Раевского см. прим. 22 к вступительной статье.

[8] Об этих хлопотах за Раевского см. выше, письмо № 2 и прим. к нему.

[9] Это стихотворное приложение к письму не сохранилось.

[10] Батеньков жил в трех верстах от Томска в своем доме («Соломенном дворце»).

[11] Мария Николаевна Волконская, урожд. Раевская (1807—1867).

[12] Сергей Петрович Трубецкой (1790—1860) — один из организаторов и вождей Северного общества. Жена его — Екатерина Ивановна.

[13] Иронически характеризуя князей С. Г. Волконского и С. П. Трубецкого как «воспитанников театральной школы», Раевский имеет, вероятно, в виду наличие у них обоих лишь так называемого «домашнего образования» и близость их с актерами и актрисами, собиравшимися в салоне начальника театральной школы А. А. Шаховского, известного драматурга и режиссера. Об этом салоне см. сводку материалов в примечаниях к «Воспоминаниям П. А. Катенина о Пушкине» («Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 646—647).

[14] Семен Ал. Алексеев — дворецкий в имении Грузино, крепостной Аракчеева. «Сей дворовый человек имел на своей ответственности мирской заемный банк, вел в Грузине всю домашнюю переписку и был первым дворовым человеком. Получает он 600 рублей жалования, особую квартиру, все содержание, няньку к его детям и имеет собственного капиталу в мирском банке 1500 рублей» (ГПБ, архив Н. К. Шильдера, к. 36, № 16, л. 7). Имел детей: сына и дочь. Был женат на Дарье Константиновой, принимавшей 10 сентября 1825 г. участие в убийстве Настасьи Минкиной, фаворитки Аракчеева. Во время следствия по этому делу сознался «в разговорах, коим ⟨и⟩ внушил некоторым из дворовых людей, а в числе их и самому убийце, о убийстве покойной». (Из донесения Клейнмихеля Александру I от 15 ноября 1825 г. Копия.— Там же, л. 27).

[15] Григорий Раевский, арестованный в Одессе в 1822 г. См. о нем выше, стр. 103—104, 125.

[16] О разорении родных Раевского после смерти его отца см. выше, стр. 142.

[17] О высказываниях Монтескье о русском дворянстве см. далее письмо № 8, прим. 4.

[18] Иван Дмитриевич Асташев — томский золотопромышленник, один из ближайших друзей Батенькова.

[19] Кто такой «Г. М.» — установить не удалось.

[20] Николай Николаевич Муравьев (с 1858 г. граф Амурский) (1809—1881) — генерал-губернатор Восточной Сибири с 5 сентября 1847 г. по 19 февраля 1861 г. См. о нем письма №№ 8 и 11

4. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ *

⟨Иркутск. Конец 1854 г.⟩

Убедительно прошу Вас, почтенный и благородный Димитрий Иринархович, не остави⟨ть⟩ Юлия своим вниманием, советами, указаниями. Жизнь его начинается. Ветренность и рассеянность или рассеяние не помешают ему понимать все хорошее, полезное и благородное. Общество, чтение и опыт — лучший университет, а Сибирь я считаю самой высшей академией. Остаюсь всегда искренно, неограниченно уважающий Вас

Влад. Раевский

Автограф. ГИМ, ф. № 250 (Д. И. Завалишина), ед. хр. 3, л. 39.

Датируется по времени выезда Ю. В. Раевского из Иркутска на службу в Читу в конце 1854 г. В начале 1855 г. В. Ф. Раевский писал о нем сестре: «Старший сын мой, Юлий, в экспедиции на Амуре, за отличие произведен в офицеры...» (см. стр. 160). В 1858 г. сотник Ю. В. Раевский был адъютантом военного губернатора Забайкальской области генерала М. С. Корсакова. О Ю. В. Раевском см. в воспоминаниях В. Ф. Раевского о поездке в 1858 г. в Москву и в его же письме к В. Ф. Поповой от 15 декабря 1859 г. («Русская старина», 1903, № 4, стр. 183—184).

---

* Публикация этого письма, как и остальных писем к Завалишину (№№ 7—9),— М. Ю. Барановской.

Блестящая политическая и интимно-бытовая характеристика Раевского и Завалишина дана в письме М. А. Бакунина к Герцену от 7 ноября 1860 г. («Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». СПб., 1906, стр. 150—152. См. выдержки из этого письма выше, стр. 137).

5. Л. Ф. ВЕРИГИНОЙ

⟨Иркутск. Начало 1855 г.⟩

Милый и добрый мой друг
Любовь Федосевна!

После нежданной и преждевременной смерти сестры нашей, Александры Федосевны, каждую почту я ожидал уведомления от тебя, я думал, что, возлагая последнюю волю и все надежды свои в исполнении на тебя, она

Е. М. РАЕВСКАЯ — ЖЕНА ДЕКАБРИСТА
Фотография, принадлежавшая сыну декабриста В. В. Раевскому
Собрание Ю. Г. Оксмана, Саратов

умирала покойно и последний ее взгляд и мысль обратилась на тебя, мой друг[1].

Прилагаю копию с письма ее к тебе[2]. Доверенность или уверенность ее к тебе так сильна, трогательна, что я без слез никогда не мог читать этого письма; с тою же доверенностию пишу к тебе теперь, мой милый друг, ангел мой, — участь и вся будущность твоего брата, его больной жены и восьми человек детей в твоих руках.

В продолжение 30 лет я не просил и не получал ни одной копейки от сестер моих[3], я не получил ничего из наследства отца и матери моей, я переносил все лишения и надеялся только на бога, на труд и собственные силы.

Ни с кем не хотел я делиться моими тайными муками, тем более с сестрами, у которых были свои заботы. Необходимость заставила разъяснить тебе мое настоящее положение: две дочери мои замужем за чиновниками, которые получают хорошее жалованье, но смерть, болезнь, даже лишение места может ввергнуть их в бедность, а у меньшей дочери уже есть дети; хотя они дворяне, но у них нет ни родового, ни приобретенного имения.

Старший сын мой, Юлий, в экспедиции на Амуре; за отличие произведен в офицеры, но жалованье в службе казачей так мало, что я должен поддерживать его. Два сына в гимназии: один — в 5-м, другой — в 4-м классах. Содержание их мне стоит до 500 руб. серебром. Трое малолетных детей еще дома на руках у матери, которая девятый уже год больна. Этих трех надо также приготовлять, как старших. Я получаю жалованье, из которого содержу все семейство; на днях сгорела мельница, которая приносила мне до 250 руб. сер. в год. При таких расходах денег у меня нет.

Тяжел мой труд! Необходимость заставляет меня нередко стоять и принимать приказания от таких людей, которые и дело свое знают хуже меня и по званию своему стояли бы в передней вашей.

Со страхом смотрю я на будущность детей моих, мне уже 60 лет.

Исполнением завещания и ангельской святой воли сестры нашей ты подаришь все семейство брата своего новой и лучшей жизнию; после долговременных тяжелых испытаний на земле, при конце жизни я вздохну легче и благословлю вас и единственное дитя твое, а бог услышит мольбы мои. Ты сама мать и хотя положение наше не одинаково, но ты понимаешь чувства мои... У тебя одно дитя, у меня 8 человек в неопределенном положении.

Прощай, мой милый друг. Поспеши! уведомить меня обо всем, я пишу сегодня к всем сестрам. В одном из писем Александры Федосевны я вычитал: «Сестры любят вас, они понимают положение ваше, в них я уверена».

Засвидетельствуй мое почтение Александру Михайловичу[4], я остаюсь всегда тот же с искренней любовью брат твой

Влад. Раевский

Копия, скрепленная подписью Раевского, в собрании Ю. Г. Оксмана (Саратов). Любовь Федосеевна Веригина (1808—1881)— сестра В. Ф. Раевского.

[1] Раевский имеет в виду завещание А. Ф. Раевской, о котором см. письмо № 6.

[2] Письмо это не сохранилось.

[3] Отец Раевского умер 16 марта 1824 г. Мать — 6 февраля 1810 г. Из четырех братьев Раевского к концу 1831 г. в живых не осталось ни одного.

В бумагах, отобранных у Раевского при его аресте в 1822 г., сохранился листок, на котором его рукою сделан перечень всех братьев и сестер Раевских с указанием точных дат их рождения. В перечень этот он включил сведения и о себе самом, но не отметил даты рождения своего брата Александра, умершего весною 1819 г. (см. «Ульяновский сборник», стр. 298). Приводим эту справку полностью, по автографу ЦГВИАЛ (архив Главного аудиториата, дело Раевского, 1827, т. 12/XV, л. 189):

«Андрей — 1794, генваря 15	Петр — 1801, октября 29 дня
Влад<имир> — 1795, марта 28	Григорий — 1803, декабря 19
Наталья — 1796, апреля 17	Марья — 1806, июля 23
Александра — 1798, мая 30	Вера — 1807, июля 3
Надежда — 1800, сентября 7	Любовь — 1808, августа 27».

[4] Александр Михайлович Веригин (1809—1875) — муж Л. Ф. Раевской (с 1835 г.), помещик Курской губернии.

6. Н. Ф. БЕРДЯЕВОЙ

<с. Оловки. 5 марта 1855 г.>

Любезный и бесценный друг мой Надежда Федосевна.

Давно, очень давно не получал я писем от тебя и потому, не зная где ты, решился чрез Зин<аид>у Николаевну послать это письмо, по содержанию столь важное для меня[1].

Тебе известно, что добрая сестра моя, Александра Федосевна, заботилась передать мне и детям моим свое имение. В 1850 году ты мне писала об этом и сделала вопрос: «Как это сделать?» Я не отвечал потому, что мне было тяжко и совестно рассчитывать на имение при жизни и переписываться о смерти сестры моей, которую я так любил и которая ко мне была ближе всех.

Все сестры хорошо знают, что со дня ссылки моей в продолжение 29 лет я не получал от них никакого денежного пособия, я не просил и не требовал, надеясь на бога и собственные силы.

Но разбери и рассуди справедливо: законы определили лишить меня имения, но те же законы никогда *не воспрещали* привести в деньги часть, принадлежащую мне, и передать мне. Не прямой ли я наследник после матери и отца? Судебным приговором я лишен права владеть имением, но не права наследства, не родового моего происхождения, т. е. называться и быть сыном своих отца и матери и братом сестер моих. Ты скажешь: «имение их было расстроено и потом поступило в опеку». Согласен. Но разве я расстроил имение и разве сестры мои отступились от расстроенного имения?.. Нет, они даже не уведомили меня о расточительности Петра — я ли виноват?

Как скоро я узнал, что у них делалось дома,— я лично и потом письменно решился представить цесаревичу Константину Павловичу опасения мои насчет отцовского и материнского наследства (материнское имение Хворостянка было свободно от долгов), и повелением его императорского высочества тогда же наложено было *запрещение* на мою часть имения. По этому распоряжению у меня хранится переписка. «Имение было в опеке, опека не имела права вмешиваться в это дело». Точно так, но сестры имели полное, неотъемлемое право вознаградить меня за имение, *приобретенное ими вследствие моего несчастия*. Если бы я не был сослан, много ли бы они получили? Права их основаны на погибели только брата и брат этот еще жив[2]...

Они ничего не сделали в пользу брата своего и прямого наследника, ничем не обеспечили меня. Следственно, не законами и высшей властию, но судом и приговором сестер моих я осужден на бедность, тяжелый труд и нищету до гроба... Что я им сделал? Я виноват перед законами, не перед ними. Сначала я почувствовал справедливое негодование, мне было стыдно и обидно за них, но я был в силах трудиться и простил им в душе. Но простил ли им бог — это еще тайна... Последствия докажут. Не на розах уснула добрая сестра и друг мой Александра Федосевна.

По крайней мере, умирая она спешила, старалась успокоить свою совесть, она завещала и отдала *все* имение моим детям, написала духовную, которая, к сожалению, не засвидетельствована по форме (но благородное дело, дело чести и справедливости не подчиняются или не требуют юридических форм). В письме этом она *умоляет* Любовь Федосевну привести непременно в исполнение ее завещание и передать имение детям моим. Не это одно, все письма ее выражают и повторяют одно и то же святое чувство и желание. Дело это тяжело лежало у ней на душе.

«Как это сделать?» — был твой вопрос. *Очень просто — выполнить свято и буквально завещание сестры.*

Прокурор Ефимов и горный исправник Бернатович, оба родовые или потомственные дворяне, следственно, обе мои дочери имеют право на владение поместьями. Старший сын мой, Юлий, уже произведен за отличие в офицеры и с чином войскового старшины приобретает потомственное дворянство.

Не вызывая человеколюбие, соучастие, честь, совесть и религию, так сильно говорящих за меня, я прошу одной холодной справедливости. Милый друг мой, мы оба ушли далеко от колыбели и скоро придет

неизбежный, роковой расчет за наши дела на земле. Не откажи мне в единственной и убедительной моей просьбе: напиши к Любови Федосевне и другим сестрам: ты знала непременную волю покойной сестры, которая так сильно и трогательно выражена в письме к Люб⟨ови⟩ Фед⟨осевне⟩. Исполнение ее завещания не есть *жертва* с их стороны, но мир с совестью, условие справедливости и чести и мир с богом.

У всех сестер моих есть чем жить, я ничего не имею. Какая будущность предстоит мне, когда усталость и лета подавят мои физические и моральные силы? У меня на отчете еще 6 челов⟨ек⟩ детей. Юлий на службе, два сына в гимназии, трое малолетных дома и больная жена. Младшей дочери 4 года, мне уже 60.—29 лет в трудах, иногда до изнурения, провел я жизнь мою в ссылке. Бог, один только он, и взгляд на жену и детей поддерживал мои силы. Кроме такого же труда и бедности я ничего не могу оставить моим детям. Говорить и думать о будущности моих детей мне всегда было больно и тяжело. Не светла она!

«В последние минуты твоей жизни *помни*, что на тебе лежит огромная обязанность сделать счастливым целое семейство и *успокоить прах мой*».

Друг мой, милая сестра, пожалейте нас и умершую сестру. И я умру спокойно и с признательностию[3]. Дети мои, не зная жизни комфортной, будут знать, что они обязаны новой, безбедной и лучшей жизнию *вам*. Прощай, ангел мой. В надежде, что голос мой отзовется и не заглохнет в твоем добром сердце, я с тою же искреннею любовью

Остаюсь брат твой Влад. Раевский

1. Вера Федосевна писала мне коротенькое уведомление, а потом не отвечала.

2. Любовь Федосевна не пишет ни слова — подожду и буду писать чрез губернатора. Мне нужен решительный ответ.

3. Письмо мое к Любови Федосевне и письмо к ней же от Александры Федосевны прилагаю[4].

Марта 5 дня 1855 года
С. Олонки.

Копия, скрепленная подписью Раевского, в собрании Ю. Г. Оксмана (Саратов).
Надежда Федосеевна Бердяева (р. 1800) — сестра В. Ф. Раевского.

[1] Зинаида Николаевна — З. Н. Траскина, дочь Н. Ф. Бердяевой, жена харьковского губернатора А. С. Траскина.

[2] Как свидетельствует справка курского гражданского губернатора от 15 октября 1827 г., после смерти отца В. Ф. Раевского осталось около трех тысяч десятин земли и 500 душ крестьян, из коих 300 заложены были с 1818 г. в московском Опекунском совете. Все же остальное имущество находилось под запретом впредь до удовлетворения казенных и партикулярных долгов Ф. М. Раевского на сумму около 172 тыс. руб. (ЦГВИАЛ, д. 42, т. II, лл. 45—46). О гибели этого имущества см. выше, стр. 142 и 156.

[3] Сестры не выполнили завещания А. Ф. Раевской ни после настоящего письма, ни после свидания их с Раевским в 1858 г. Сведения об ограблении Раевского его сестрами попали в зарубежную нелегальную печать. Это причинило немало огорчений Раевскому и вызвало его разрыв с двумя из сестер. В письме к В.Ф. Поповой от 21 мая 1868 г. Раевский с горечью отмечал: «Веригина имеет деньги на поездку в Париж и отказывает мне в такой незначительной помощи. О Бердяевой мне и говорить больно: она, после сорокалетней разлуки, не хотела видеться со мною. Я ли виноват, что в „Будущности" огласили их поступок со мною? Неужели они думают, что это тайна» («Русская старина», 1902, № 3, стр. 605). Об этом см. далее, письмо № 10, прим. 5.

[4] См. письмо № 5 и прим. к нему.

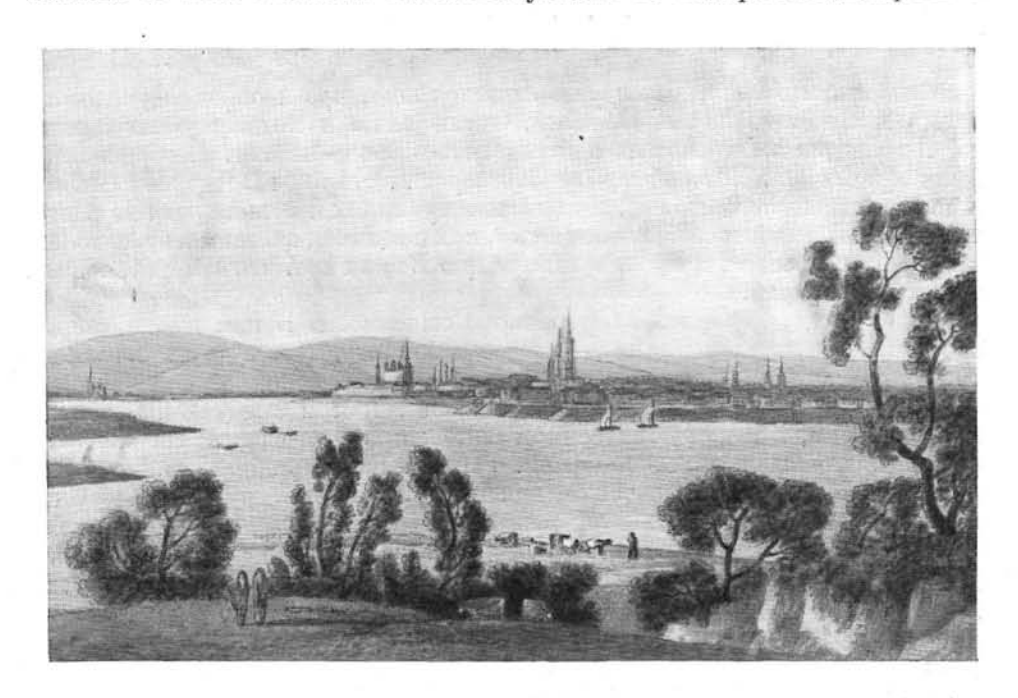
7. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

⟨Александровский завод.
12 сентября 1857 г.⟩

На письмо Ваше, Димитрий Иринархович, я не отвечал тогда же потому, что думал отправить сына моего раньше и с ним писать[1].Теперь отправляю его. Но сегодня узнал я, что Вы имеете желание переехать

в Иркутск[2] или совсем уехать в Россию; если б Вы спросили моего мнения, я бы вот что сказал: при Ваших познаниях и если Вы захотите пустить их в дело и цену — в Иркутске будете иметь безбедное содержание и Ваш труд, благородный и полезный, не будет занятием без последствий и признательности, как в Чите.

Если Вы будете в Иркутске, я также просил бы Вас, как и теперь, просить Вас взять ⟨моего сына⟩ на Ваше попечение и на условиях более для Вас выгодных. К Федору Владимировичу[3] писал я о предметах и времени занятий с Вами, т. е. 4 дня в неделю математикою и французским языком за 20 р. сер. в месяц. Назначение дней и разделение предметов зависит от Вас. О книгах также Вы узнаете от Федора Владимировича.



ИРКУТСК

Акварель А. Е. Мартынова из альбома художника: «Живописное путешествие при Российском посольстве в Китай», 1805 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Конечно, по моему мнению, алгебра будет основанием. В языке французском выговор, глаголы, перевод и ученье на память стихов. Но главное — последовательность и чтобы сын мой не терял времени.

В надежде на Ваши знания и на Ваше желание быть полезным я безусловно вверяю Вам сына моего. Ученье есть будущность его. Он имеет память и способность, но дурное направление. Ученье в гимназии притупило или сбило врожденное, а исправить или поправить еще время не ушло, тем более, что он понимает свою пользу и нрава спокойного. Вы все увидите сами.

Конечно, если б я имел возможность и более средств, я умел бы оценить Ваш труд и пользу сына. Но и теперь не отказываюсь по успехам его употребить все, что могу, чтобы выразить мою признательность.

От Федора Владимировича деньги за ученье, когда Вам угодно или нужно, прошу получать. Книги я выписал из Москвы и по получении доставлю в Читу.

Простите. Всегда уважавший и уважающий Вас искренне и желал бы прибавить вечно-признательный Вам

Владимир Раевский

12 сентября 857.

Автограф. ГИМ, ф. № 250 (Д. И. Завалишина), ед. хр. 3, лл. 33—34.

[1] Письмо это не сохранилось. О М. В. Раевском см. далее, письмо № 8.

[2] Переезд Завалишина в Иркутск не состоялся. О тяжелых условиях его жизни в Чите в эту пору см.: Завалишин, стр. 426—428.

[3] Федор Владимирович Ефимов (1823—1882)— действительный статский советник, член Совета Главного управления Восточной Сибири, муж второй дочери Раевского, Веры.

8. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

〈Александровский завод.〉
20 декабр〈я〉 857 года

Вы извините меня, Димитрий Иринархович, что я опоздал уведомлением о получении письма Вашего[1]. Очень знаю и потому умею ценить то, что следовало бы уважать и признавать в Вас — не моя, но общая справедливая оценка. Вот почему за 300 верст от столицы Восточной Сибири я послал сына моего к Вам[2]. При наших правилах и в наши лета не расточают пустых учтивостей. Я говорю так, как понимаю, а понимаю уже вследствие навыка, опыта и проч. и благодарю Вас за все, что Вы разъяснили в письме Вашем.

Теперь буду говорить откровенно о сыне моем. В нем много добрых свойств, одно из важнейших — он умеет молчать, чего в других моих детях нет.

Но, к сожалению, иркутская гимназия, как и все учебные заведения в России, в таком болезненном положении, что самый свежий, здоровый индивидуум при сообщении заражается смрадной, гнилой этой лазаретной язвою. А излечение впоследствии очень трудно. Я это понимаю.

Мой сын ленив, беспечен, груб, вследствие этой заразы; он еще молод умом, и это — к счастью... потому что другие опаснейшие припадки не успели поразить его... Я взял его из 6-го класса; из познаний его вы видите,каков должен быть экзамен из класса в класс? Конечно, Вам предстоит радикальное врачевание, но потому-то я и решился вверить Вам, не находя и не видя нигде благонадежнее. Я буду уметь быть Вам признательным тем более, что Миша был моим любимым сыном в детстве.

Весною, т. е. в мае месяце, я сбираюсь ехать, т. е. съездить, в Россию. Посмотреть людей и себя показать. Но что я ни слышу, ни читаю, ни вижу из писем от родных и знакомых, меня не утешает[3]. Журналистика кричит или хрюкает о каком-то прогрессе, сивилизации, о новой эре — и ни с места! Русские переняли все пороки от иностранцев и ни одной добродетели, сказал кто-то, а Монтескье сказал, я помню, что русское дворянство прежде развратилось, нежели просветилось... Следственно, гниение началось прежде развития[4]... Чего же ожидать и что я увижу? Меня мысль эта ставит в затруднительное положение. Но все-таки я рассчитываю, что поездка по России несколько освежит меня после 30-летней трудовой жизни[5].

Отчего бы Вам не проехаться в Иркутск, зимою это не трудно... Генерал хотел быть в генваре[6], Корсаков в феврале[7], но новых и положительных известий от генерала и об генерале никаких еще нет и потому я ничего не пишу к Вам. Мне кажется, после Севастопольского штурма Россия впала в какое-то апатическое положение, а журналистика в горячечном бреду.

Прощайте. Всегда и искренно и душевно уважающий Вас

В. Раевский

Автограф. ГИМ, ф. № 250 (Д. И. Завалишина), ед. хр. 3, лл. 35—36.

[1] Письмо это не сохранилось.

[2] Михаил Владимирович Раевский (1844—1882) — второй сын Раевского, в эту пору юнкер артиллерийской бригады, стоявшей в Чите, впоследствии войсковой старшина. О нем см. выше, письмо № 7.

[3] Раевский никогда не разделял либеральных иллюзий, характерных для огромного большинства амнистированных декабристов в период «реформ» шестидесятых годов. В этом отношении очень показательны его письма к Г. С. Батенькову 1860—1861 гг. См. о них выше, стр. 136—137.

[4] О скептическом отношении Раевского к дворянско-либеральной общественности см. вступительную статью, стр. 138.

Раевский имеет в виду высказывания Монтескье о «русском дворянстве» в «Духе законов» и в «Персидских письмах». Он хорошо помнил и «Вечер у Кантемира» Батюшкова (1816). В уста Монтескье здесь вложены сентенции о нецелесообразности сатиры «на нравы, которые еще не установились»: «Гораций и Ювенал осмеивали пороки народа развратного, но достигшего высокой степени просвещения», русское же дворянство еще не вышло из состояния «хаоса», демонстрируя сатирику лишь «грубое слияние всего порочного, смешение закоренелых предрассудков, невежества, древнего варварства, татарских обычаев с некоторым блеском роскоши азиатской, с некоторыми искрами просвещения европейского! Какая тут пища для поэта сатирического? Могут ли проникнуть тонкие стрелы эпиграммы сквозь тройную броню невежества и уязвить сердце, окаменелое в пороках, закаленное в невежестве?» (К. Н. Батюшков. Соч., т. II. СПб., 1885, стр. 233—234. Ср. М. П. Алексеев. Монтескье и Кантемир.—«Вестник Ленинградского университета», 1955, № 6, стр. 55—78).

[5] О впечатлениях Раевского от поездки в Россию в 1858 г. см. его записки (Щеголев. Декабристы, стр. 79—83) и письмо к Батенькову от 29 сентября 1860 г. («Ульяновский сборник», стр. 303—307).

[6] «Генерал»— генерал-лейтенант Н. Н. Муравьев (см. о нем письмо № 3, прим. 20 и письмо № 11); об отношениях Муравьева с Раевским см. отмеченное выше письмо последнего к Батенькову от 29 сентября 1860 г.

[7] Михаил Семенович Корсаков (1826—1871) — генерал-майор, забайкальский военный губернатор, ближайший сотрудник и преемник Н. Н. Муравьева.

9. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

⟨с. Олонки. Начало января 1861 г.⟩

Если правда, что Вы уезжаете из нашей в настоящее время наркотической Сибири[1], обязали бы много, если б повидались со мною или проездом чрез Олонки или уведомили меня и я приехал ⟨бы⟩ в Иркутск. Сын мой Юлий из Варшавы приехал повидаться со мною и в исходе генваря едет обратно. Наши новости, я думаю, для вас не тайна[2].

Всегда и искренно уважающий

Влад. Раевский

Автограф. ГИМ, ф. № 250 (Д. И. Завалишина), ед. хр. 3, л. 37.

Дата записки определяется ее содержанием: Ю. В. Раевский приезжал к отцу из Варшавы в январе 1861 г. («Ульяновский сборник», стр. 309).

[1] Резко отрицательная характеристика общественно-политической жизни Сибири в 1858—1861 гг. дана в письмах Раевского к Батенькову от 29 сентября 1860 г., 10 февраля и 25 июля 1861 г. («Ульяновский сборник», стр. 306—310).

[2] Раевский имеет, вероятно, в виду предстоящие перемены в аппарате управления Восточной Сибири в связи с освобождением Н. Н. Муравьева от должности генерал-губернатора.

10. В. Г. РАЕВСКОМУ

⟨Олонки.⟩ 27 декабря 1865 г.

Почтенный, любезный и благородный друг и брат мой Владимир Гаврилович.

У меня недостает слов как благодарить вас за ваше участие в моей судьбе, за любовь к моим детям и искренний радушный прием их. Миша мой возвратился, и я как будто ожил[1]. Он сказал мне более, нежели письмо ваше. Он повторил мне то, что говорило мне всегда сердце мое: т. е. что Наталия Гавриловна и вы для него ближе всех других родных[2]. С самых

молодых лет после отца моего я любил Гаврилу Михайловича более всех моих родных[3], а сестер ваших более, нежели моих родных сестер. Вас я оставил младенцем, когда я уехал в Бессарабию, откуда уже не возвратился на родину, и после шестилетнего заключения ⟨с⟩ 1827 году уже был в Сибири, которая сделалась моей новой родиной. Долго описывать вам мою жизнь и трудности, с которыми я должен был бороться, чтобы дать детям моим то значение, которое принадлежало им по происхождению.

Вы видели Вадима, Юлия, Мишу, и не знаю, видели ли, но, кажется, и Сашу вы знали; вторая дочь моя замужем за Ефимовым, который, не имея еще 40 лет, председателем губернского суда, имеет и Анны и Станислава с короною на шее и 10 лет был прокурором. У них уже 4 сына. Последняя дочь моя, София, в Иркутском институте, через год должна выдти[4]. Вам известно, что во все время моей ссылки сестры не прислали мне ни одной копейки. У меня были силы, но усиленный труд и заботы утомили меня, и мне слишком 70 лет. Я не могу сказать, чтобы я устарел, ослаб, но мне не достает уже той деятельности и тех сил, которые так долго заставляли меня искать труда, работы или, лучше сказать, средств к жизни, к содержанию семейства и воспитанию детей. Мне нужен отдых. Честным трудом я не мог обеспечить себя и устроить будущность детей моих. Хотя занимался я такими делами, где, при малейшем нарушении моих убеждений и правил, я мог приобресть значительные деньги, но быть в разладе с моей совестью значило бы унизить себя в собственных глазах. Я смело иду к концу моей жизни.

Я не просил сестер моих о помощи, хотя по смерти отца и братьев я остался единственным наследником всего имения, которое разделили сестры мои вследствие несчастия моего, моей ссылки. Я жил безбедно в Сибири, но если бы не милостивый бог, я бы в этой ссылке, без помощи родных или брошенный ими, мог бы попасть в нищету, совершенно в безвыходное положение и умереть где-нибудь на соломе, в избе, пропитываясь подаянием, или, что всего вернее, прекратить жизнь мою самоубийством, проклиная безжалостных и бесчувственных сестер. И эти проклятия, конечно, дошли бы к богу! Но всемогущий бог дал мне силы. Мне было утешительно, весело трудиться для жены и детей моих, я не проклинал сестер моих, но я жалел их, старался в душе моей оправдывать их... но вышло не так. Александра Федосе⟨вна⟩ написала мне духовную, но не форменную, и Веригина насмеялась над этой духовной. В Петербурге я бы мог просить прямо государя императора. Так мне советовали мои близкие знакомые, я оставил дело до личного свидания. В Хворостянке она написала мне от себя духовную, которую не приняли за неформенностью в Опекунском совете. Впоследствии они уничтожили и это духовное завещание вследствие того, что в запрещенных заграничных газетах «Будущности» и «Колоколе» было напечатано, что Веригина и Бердяева, сестры политического ссыльного Раевского, ограбили его[5]. Во-первых, я не посылал в эти газеты этой публикации, во-вторых, я слышал, что там напечатан был список *всех* гнусных родственников, которые, пользуясь несчастьем своих родных, присвоили себе наследство и бросили на голодную смерть в Сибири тех людей, которые были виновны пред государем и законами, но не пред человечеством и тем более родственниками. Правительство не воспрещало помогать или посылать деньги осужденным. Благородных примеров было много. Сюда в Сибирь приезжали даже невесты из России и выходили здесь уже за осужденных замуж. А жены почти все уехали за мужьями, посланными в работу. Кня⟨гиня⟩ Волконская (урожденная Раевская), генеральша фон-Визин, две Муравьевых и некоторые еще пережили несчастье свое и возвратились с мужьями на родину. Некоторые, как Муравьева (урожденная графиня Чернышева), княгиня Трубецкая (урожд. де-Лаваль) не дожили до этого счастливого решения и погребены здесь в Сибири.

Конечно, мне очень грустно, даже обидно, что сестры мои попали в список бесчестных, подлых родственников, но, к счастию, они не носят фамилии нашей, фамилии Раевских, и обесславлено имя мужей их. Так как Веригины, уничтоживши духовную, продали имение Иас⟨афу⟩ Алек⟨сандровичу⟩ Попову[6], то об этом наследстве и говорить нечего, но я вам прилагаю копию с подлинного письма* Н. Ф. Бердяевой, в котором она говорит, что Алек⟨сандра⟩ Федосе⟨евна⟩ перед смертию поручила выдать мне 3000 рублей, от которых она отпереться не может. Копию с этого письма я послал к Иас. Алек. Попову. Пусть Веригина отдаст мне эти 3000 рублей, и я прощу ей поступок со мною насчет Александры. Эти три тысячи совершенно поправили бы дела мои. Прилагаю также некоторые письма, которые могут служить пояснением в этом темном деле. Тысячу раз благодарю вас за соучастие. Относительно завещания доброй сестры моей Веры Федосеевны сыну моему Вадиму своего имения — других актов, полагаю, не нужно, потому что высочайшее разрешение напечатано почти во всех газетах[7], да и кто наследники? Дети мои теперь имеют право на наследство, в наследстве отказано *нам* для того, чтобы мы, возвратясь, не подымали с родными процессов за *наше* бывшее наследство, до детей наших это вовсе не касается, они уже наследники, получивши и права и потомственное дворянство. Относительно грамоты на дворянство и родословной — у меня есть из Герольдии, полученные отцом моим, и которые я вытребовал, когда мне возвратили дворянство[8]. Эти документы были в Хворостянке. В этой родословной внесено мое имя и двух старших и двух младших моих братьев.

Любезный, и добрый, и неоцененный мой друг и брат, все ваши заботы обо мне и любовь и дружбу видит бог и «его же мерою мерите, возмерится и вам». У него в руках награда вам, а я с самой чистой душевной любовью обнимаю вас и, как отец, благословляю. Пишите ко мне чаще. Детей ваших целую.

Владимир Раевский

С праздником вас поздравляю.

Автограф. ЦГИА, ф. № 279 (Якушкиных), ед. хр. 330.

Владимир Гаврилович Раевский — двоюродный брат декабриста, майор, служивший в Комиссии гвардейского ремонтирования.

[1] Миша —третий сын Раевского, казачий офицер. См. о нем выше, письмо № 8, прим. 2.

[2] Наталья Гавриловна Раевская — двоюродная сестра декабриста. Ее письма сохранились в архиве III Отделения в числе бумаг, отобранных у Раевского в Олонках в 1831 г. в связи с ложным доносом, сделанным В. Г. Раевским (братом Наталии и Владимира), о существовании в Курске тайного общества, разделяющего идеи декабристов (см. выше, стр. 133).

[3] Гавриил Михайлович Раевский — отец адресата письма, помещик Курской губернии (умер 6 января 1831 г.).

[4] О сыновьях и дочерях Раевского см. выше, письмо № 3, прим. 2. Старшая дочь декабриста, Александра Владимировна («Саша»), после смерти своего первого мужа К. О. Бернатовича, смотрителя Александровского винного завода, вышла замуж в 1865 г. за красноярского окружного врача Г. А. Богоявленского. В бумагах последнего в 1900 г. в г. Владимире-Волынске обнаружена была рукопись записок В. Ф. Раевского о поездке его в Москву и Петербург в 1858 г.

[5] В «Колоколе» никаких данных о неблаговидных поступках сестер Раевского не появлялось, но в газете «Будущность», издававшейся эмигрантом П.В. Долгоруким в Лейпциге, в статье «Поступок господ Поджио», отмечалось, что «общественное мнение» заклеймит родственников Поджио, захвативших имение осужденных декабристов, как оно уже заклеймило «имена госпожи Бердяевой и госпожи Веригиной, которые, соединясь обе вместе, обокрали родного брата своего Владимира Федосеевича Раевского» («Будущность», 1861, № 15, от 4 августа, стр. 119). В одном из следующих номеров

* Подлинную я перешлю к вам. Это письмо отправляю к вам страховым, оно не может затеряться.— *Прим. В. Ф. Раевского.*

указывалось, что, несмотря на поступившие в редакцию формальные возражения Веригина, газета выражает надежду на то, что «А. М. Веригин и супруга его не оставят деятельным участием и достаточною, постоянною помощью В. Ф. Раевского, который пострадал за свободу России и потому участь его близка сердцу всех друзей свободы» («Будущность», 1861, № 121, от 21 октября, стр. 168). Глухой отклик Раевского на эту публикацию см. в его письме к В. Ф. Поповой от 23 декабря 1861 г. («Русская старина», 1903, № 4, стр. 185). См. также письмо № 6, прим. 3.

[6] Иосаф Александрович Попов (1818—1875) — муж В. Ф. Раевской, новооскольский предводитель дворянства. Об отношениях Раевского с семьей Поповых см. в письме его к В. Ф. Раевской («Русская старина», 1902, № 3, стр. 599—606).

[7] 30 сентября 1865 г. распубликован был указ Сенату о признании имения жены поручика В. Ф. Поповой, по смерти ее, собственностью племянника ее, дворянина Вадима Раевского. Имение это, с. Морквино Курской губернии, занимало площадь в 1014 десятин. В. Ф. Попова пережила, однако, своего племянника.

[8] О документах этих см. выше, стр. 135.

11. С. И. ЧЕРЕПАНОВУ

6 декабря 866. Иркутск

Милостивый государь Семен Иванович,

На два обязательных письма Ваши считаю обязанностию отвечать удовлетворительно. Издатель «Рус⟨ского⟩ архива» г. Бартенев давно писал ко мне и просил сведений о Пушкине, знавши о дружеских отношениях моих с ним[1]. Я не отвечал потому, что нужно было употреблять часто личное местоимение. Липранди в статье своей сказал довольно, но он многого не знал или забыл, и я могу сделать замечания или пояснения, если усвоенная лень не одолеет. 8, 9 и 10-й №«Рус⟨ского⟩ архива» у меня на столе[2]. Благодарю Вас, очень благодарю за труд Ваш переписывать так много, тем более, что это ясно говорит мне о Вашем внимании и расположении ко мне.

Я Пушкина знал как молодого человека со способностями, с благородными наклонностями, живого, даже ветреного, но не так, как великого поэта, каким его признали на святой Руси за неимением ни Данта, ни Шекспира, ни Шиллера и проч. знаменитостей. Пушкина я любил по симпатии и его любви ко мне самой искренней. В нем было много доброго и хорошего и очень мало дурного. Он был моложе меня 5-ю или 6-ю годами. Различие лет ничего не со⟨с⟩тавляло. О смерти его я очень, очень сожалел и, конечно, столько же, если не более, сколько он о моем заточении и ссылке[3].

Относительно Вашей или, вернее, нашей родины, к сожалению, ничего утешительного сказать не могу. Забайкальский край сильно разорен — Амур поглотил материальные его силы... Амур, о котором мы с Вами некогда мечтали, в настоящее время — бездонная яма, в которую всыпали уже более 30 миллионов невозвратного капитала, а будет ли толк — темно. С самого начала дело испорчено. Мы хлопотали о блеске, о славе, о наградах, а о пользе и будущности и не думали. Для устройства края посылали сверчков молодого поколения. Тяжелую руку наложил Муравьев на Восточную Сибирь и передал ее в наследственное управление своему воспитаннику[4]. И прежние мирные, светлые дни прошли безвозвратно. Уж, конечно, я оставлю мою родину в том же тумане под теми же черными тучами. Мне 72 года.

Вы бы не узнали Иркутска. Вместо трех отделений Главного управления Восточной Сибири — в настоящее время 6. Было 7. На каждом шагу Вы встретите офицера, казака, солдата. Генералов военных 6, гражданских — действительных ст⟨атских⟩ советников до 10, губернаторов на Амуре 2, в Забайкальской и Якутской областях 2, в Иркутске и Красноярске 2; итого — 6, кроме генерал-губернатора.

В Иркутске в откупное время было 16 кабаков, теперь 400! Завод винокуренный на всю Восточную Сибирь был *один* — теперь 18 частных вин⟨ных⟩ заводов. Видите ли, какой прогресс! А между тем на всю Вос-

точную Сибирь — на 6 губерний, на 2 миллиона жителей — *одна* и единственная гимназия со 120-тью воспитанниками. Муравьев на предложение министра просвещения Норова устроить университет в Вост‹очной› Сибири отстоял безграмотность в Сибири и отверг предложение как ненужное и не только бесполезное, но вредное. Уездные и приходские училища только по отчетам значатся, ни порядочных учителей, ни воспитанников почти нет. Сибирские чиновники составляют класс чернорабочих в администрации. Вся сила, власть, награды, право взяток в руках выписных из России чиновников[5]. При Муравьеве началась эмиграция купцов и даже чиновников из Вост‹очной› Сибири. В настоящее время 14 купеческих домов обанкротились. Три года уже как ржаного хлеба пуд стоит выше рубля. Одним словом, из 19-го столетия мы перешли в первую половину 18, и если будет так, то подвинемся в 17-й. Вот Вам краткий поверхностный отчет о нашей родине.

В 1858 году я ездил в Россию; был в Москве, Петербурге, на моей родине — Курской губернии. Но и в России не лучше Сибири. Наши «меньшие братья» спились с кругу, измельчали, оподлились до омерзения... да и крепостные ничем не проявляли стремления, жажды свободы. Им как будто навязали ее, они не знают, как справиться с нею. Чтобы исправить, спасти народ, необходима повсеместная *обязательная* грамотность, а не миллион — если не более — кабаков, откуда выносятся все преступления, болезни, растление, истощение и неестественная смертность.

Мы в Олонках не один раз вспоминали Вас, Ваш приезд к нам, мои поездки на Тункинские минеральные воды, рябчиков, которых Вы нам привозили. Но все это давно прошедшее как-то обаятельно еще на меня действует! Иногда я бываю еще молод.

У Вас в Казани прокурором Ф. Ф. Ольдекоп — честный, благородный, самостоятельный человек[6], он был здесь советником, имел неприятности, но, уважаемый всеми, оставил по себе самую для него лестную память. Я советую Вам познакомиться с ним. Посылаю через Вас ему мое прежнее душевное уважение и желание всевозможного лучшего. Письмо мое Вы можете показать ему. Вероятно, и в Казани он пользуется всеобщим вниманием, расположением и уважением.

Я думаю, в газетах Вы читали о бунте поляков на кругоморской дороге[7]. В 3 дня дело было кончено, но описано как Бородинская и Лейпцигская битвы! Четырех расстреляли. Я собираюсь писать записки за 40 лет о Вост‹очной› Сибири, т. е. со дня моего приезда в ссылку.

Еще раз душевно благодарю Вас за Ваши письма и память обо мне и очень буду рад, если получу ответ на след‹ующие› вопросы: где Вы странствовали все это время? Что у Вас там делается? Какие у Вас специальные занятия в Татарской Руси? Также обяжете, если пришлете творение Завалишина[8]. Прощайте, желаю Вам всевозможных благ и остаюсь всегда и искренне уважающий

Влад. Раевский

Автограф. ЦГИА, ф. № 1463, оп. 2, ед. хр. 611.—Помета С. И. Черепанова: «Пол‹учено› 30‹-го›. Казань».

Семен Иванович Черепанов (1810—1884)— литератор, автор «Воспоминаний сибирского казака». В 30—40-х годах служил в Иркутске, Чите и Вятке, впоследствии жил в Казани, деятельно участвуя в московских газетах и журналах. О впечатлениях Черепанова от его первых встреч с Раевским в Иркутске см. выше, письмо № 2, прим. 6. В воспоминаниях Черепанова сохранилось свидетельство о том, что им послана была в «Русскую старину» специальная заметка о Раевском, оставшаяся ненапечатанной («Древняя и новая Россия», 1876, № 8, стр. 382).

Эта заметка, обнаруженная недавно в архиве «Русской старины», позволяет установить, что С. И. Черепанов, познакомившийся с Раевским еще в 1833 г., особенно часто встречался с ним в период с 1840 по 1843 г. как в Иркутске, так и на Тункинских минеральных водах («Ученые записки Ульяновского гос. пед. института», вып. V, 1953, стр. 548—551). Следует отметить существенную ошибку в воспоминаниях

Черепанова, принявшего рассказ декабриста Ю. К. Люблинского о М. Н. Волконской («молодой Раевской», то есть Раевской по отцу) за сведения о жене В. Ф. Раевского.

[1] П. И. Бартенев обращался к Раевскому, видимо, в процессе подготовки к печати или доработки своего исследования «Пушкин в Южной России» («Русская речь и Московский вестник», 1861, №№ 85—104). Характерно, однако, что в публикации Бартенева имя Раевского не упоминается ни разу.

[2] Раевский имеет в виду публикацию «Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди» («Русский архив», 1866, № 9, стб. 1213—1284; № 10, стб. 1393—1491). Воспоминания И. П. Липранди, внося существеннейшие дополнения и поправки в работу П. И. Бартенева «Пушкин в Южной России», впервые ввели в широкий научный оборот и данные о близких литературно-политических взаимоотношениях Пушкина и Раевского в Кишиневе в 1821—1822 гг. Об истории публикации воспоминаний Липранди в «Русском архиве» — см. «Пушкин». Ред. М. А. Цявловского («Летописи Государственного Литературного музея», кн. 1). М., 1936, стр 548—558.

[3] И. П. Липранди, характеризуя в своих записках литературно-исторические дискуссии Пушкина и Раевского в 1821—1822 гг., отмечал, что «Пушкин, как вспыльчив ни был, но часто выслушивал от Раевского, под веселую руку обоих, довольно резкие выражения и далеко не обижался, а, напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского. В одном, сколько я помню, Пушкин не соглашался с Раевским,— когда этот утверждал, что в русской поэзии не должно приводить имена ни из мифологии, ни исторических лиц древней Греции и Рима, что у нас и то и другое есть свое и т. п.» («Русский архив», 1866, № 9, стб. 1256). Литературно-теоретическая платформа Раевского этой поры была необычайно близка взглядам той группы писателей революционного лагеря, которая возглавлялась Катениным и Грибоедовым и к которой в той или иной мере примыкали Кюхельбекер, Рылеев, А. Одоевский, драматург А. А. Жандр, критики Н. И. Бахтин, Д. П. Зыков, Д. Н. Барков, молодые поэты В. В. Григорьев и Н. М. Языков. Именно этот круг имел в виду К. А. Полевой, говоря о литераторах начала двадцатых годов, «убежденных, что прежде всего надобно быть чистым сыном своего отечества, заимствовать силу и краски у своего народа и воскрешать старинный, а, если можно, то и древний быт, древний язык, древние понятия, потому что все это в нынешнем русском мире образовано слишком уж по-иностранному» («Московский телеграф», 1833, № 8, стр. 566). С этих позиций критиковал Пушкина и Раевский в своем послании «К друзьям в Кишинев», требуя от автора «Кавказского пленника» создания национально-исторической эпопеи с обнаженной революционной тематикой.

Эти давние литературно-политические споры (см. о них «Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 657—666) и вспомнились Раевскому в 1866 г. при чтении им новых публикаций о Пушкине — записок И. П. Липранди, во-первых, и статей Писарева в «Русском слове»— во-вторых. Под непосредственным воздействием памфлетов Писарева в некоторых высказываниях Раевского о Пушкине определилась и та претенциозно-снисходительная интонация, наивность и бестактность которой не выдерживают никакой критики.

[4] «Воспитанником» Муравьева Раевский называет М. С. Корсакова, генерал-губернатора Восточной Сибири с 1861 г. Об этих администраторах см. письма №№ 3 и 10.

[5] Характеристика Восточной Сибири, даваемая здесь Раевским, очень близка к его высказываниям на эту же тему в письме к Батенькову от 10 февраля 1861 г. («Ульяновский сборник», стр. 309—310).

[6] Карл Карлович (он же Федор Федорович) Ольдекоп (род. в 1810 г.)— отставной поручик, затем чиновник Государственного заемного банка, привлекавшийся к секретному дознанию по делу Петрашевского в 1849 г. С 1860 г.— советник губернского суда в Иркутске, один из разоблачителей беззаконий восточно-сибирской администрации, переведенный в 1861 г. в Казань, где впоследствии (до 1867 г.) был губернским прокурором. В «Адрес-календаре на 1868 г.» имя его уже не значится. Сведения о его «особом мнении» по делу о дуэли Беклемишева и Неклюдова см. в статье Герцена «Граф Муравьев-Амурский и его поклонники» («Колокол», 1861, л. 109; Герцен, т. XI, стр. 251).

[7] Раевский имеет, вероятно, в виду специальные корреспонденции из Иркутска, печатавшиеся в газете «Голос», 1866, №№ 332—336. Опровержение «частных корреспонденций о возмущении ссыльных поляков в Сибири» опубликовано было в официальной «Северной почте» от 17 августа 1866, № 177; ср. Н. Берг. Восстание поляков на Кругобайкальской дороге.— «Исторический вестник», 1883, № 3, стр. 558—574.

[8] Раевский имеет в виду одну из статей Завалишина на сибирские темы, печатавшихся в «Современной летописи» 1866 г. В этом же году Завалишин опубликовал «Дело о колонии „Росс“» («Русский вестник», 1866, № 3, стр. 36—65).

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИКОЛАЯ, АЛЕКСАНДРА и МИХАИЛА БЕСТУЖЕВЫХ

РАССКАЗ НИКОЛАЯ БЕСТУЖЕВА «ПОХОРОНЫ» (1829)

Публикация и вступительная статья И. С. Зильберштейна

С полной точностью установить состав литературного наследия Николая Александровича Бестужева сейчас уже невозможно. Поразительна разносторонность этого высокоодаренного человека: Бестужев писал стихи, рассказы, повести и в то же время занимался научными исследованиями в области истории, экономики и точных наук, с увлечением вел путевые записки, писал мемуары, переводил и, наконец, в годы ссылки и поселения настойчиво трудился над очерками, характеризующими богатство края, быт и нравы народов Сибири, собирал материалы для словаря местной народной речи и работал над статьями, трактующими вопросы, которые волновали мастеров русского изобразительного искусства. При этом ни одна из работ Николая Бестужева не была работой дилетанта: Николай Бестужев — профессионал, находившийся на высоком уровне познаний и мастерства в каждом из занимавших его видов литературного и научного творчества.

Многие работы Николая Бестужева утрачены безвозвратно. Одни погибли после разгрома восстания, когда участники тайных обществ и их друзья уничтожали свои архивы; другие погибли в Читинском остроге и в Петровской тюрьме, когда осужденные декабристы уничтожали свои бумаги в ожидании «осмотров»; частично погибли и на поселении, когда поселенцам грозили обыски. И все же в архивах сохранилось немало произведений Николая Бестужева, остававшихся невыявленными до самого последнего времени; кое-что, несомненно, и сейчас еще не приведено в известность [1]. С полным основанием можно предположить, что исследователи, продолжая углубленные розыски, обнаружат произведения Николая Бестужева, до сих пор неизвестные. Тому порукой находки последних лет. Так, в 1952 г., через 130 лет после написания, было найдено замечательное исследование Николая Бестужева «Опыт истории российского флота», в котором он выступает в качестве историка, впервые создавшего широкую картину развития русского флота с древнейших времен до времени Петра I. Из объемистой рукописи этого труда в 311 листов было раньше известно лишь краткое введение и отрывок, озаглавленный «Сражение при Гангоудде 1714 года», которые успел опубликовать сам автор [2]. Недавно нам удалось разыскать одно из тех беллетристических произведений Николая Бестужева, которые он написал в «казематскую эпоху», то есть в годы пребывания в Читинском и Петровском острогах. Это — рассказ под названием «Похороны».

I

Свыше полувека в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина хранится альбом, содержание которого в карточном каталоге обозначено так: «Альбом, подаренный Капнист, Александре Алексеевне (списки и выписки стихотворений, писем декабристов, своих воспоминаний, изречений и др. материалов 1827—1860-х годов). Рукою Н. И. Лорера». И это — все, что сообщает карточка каталога о содержании альбома. Неудивительно, что в течение полувека ни один из многочисленных исследователей декабристского движения, работавших в Отделе рукописей Румянцевской, а затем, с 1924 г., Государственной библиотеки СССР имени

В. И. Ленина, альбомом этим не заинтересовался: судя по листу использования рукописи, альбом ни разу не был рассмотрен никем из них. Между тем в карточке каталога дана лишь обобщенная, глухая характеристика материала и никак не учтено то, что в альбом вписаны тексты интереснейших литературных произведений и документов, связанных с историей декабризма. Эти рукописи и документы до сих пор не изданы, а подлинники их утрачены.

Альбом этот весь, от первой до последней страницы,— а всего их 174 — писан рукою декабриста Н. И. Лорера в 1866 г., в «благословенной Малороссии», как называл он Украину, где родился и где провел последние годы своей жизни. Воспитывался Лорер в семье П. В. Капниста, в которой он, по собственному утверждению, «был принят, как сын». И на всю жизнь Лорер сохранил самые дружеские отношения не только с семьей П. В. Капниста, но и с членами семьи его брата — известного писателя-вольнолюбца, противника крепостного строя, автора «Ябеды» и «Оды на рабство». Дочь писателя, С. В. Капнист-Скалон, неоднократно упоминающая в своих мемуарах имя Н. И. Лорера, пишет: «С детства мы были очень дружны». В другом месте она говорит о Лорере: «товарищ детства моего ⟨...⟩, которого мы любили истинно, как самого близкого родного»[3]. Дружен был Лорер и с сыном писателя, подполковником А. В. Капнистом, членом Союза Благоденствия, адъютантом Н. Н. Раевского. После восстания декабристов А. В. Капнист подвергся трехмесячному заключению в Петропавловской крепости, затем был освобожден «со вменением ареста в наказание», а в начале 1827 г. уволен от службы. Вторую половину жизни А. В. Капнист провел в своем родовом имении Обуховке, в Полтавской губернии. Лореру, после четырнадцатимесячного заключения в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и шестилетнего — в Читинском и Петровском острогах, после пяти лет поселения в глуши Тобольской губернии и, наконец, после военной службы на Кавказе, длившейся четыре года, было разрешено поселиться — без права выезда — в имении брата, в с. Водяное Херсонской губернии. Здесь в 1849 г. его посетила С. В. Капнист-Скалон. В пятидесятых годах, когда Лорер был освобожден от надзора, а затем и от всех ограничений, он часто приезжал в Обуховку, где жил А. В. Капнист с семьей. В своих воспоминаниях С. В. Капнист-Скалон рассказывает, что в первый приезд Лорер «встречен был с искренней дружбой, любовью и с живым участием людьми, которые с детства привыкли его любить и не переставали горевать о нем во все тяжкие годы его изгнания. В это-то время он рассказал нам историю жизни своей»[4].

В середине шестидесятых годов Лорер работал над своими воспоминаниями[5]. Не раз, повидимому, отрывки из них он читал друзьям в Обуховке, читал и сохраненные им в копиях литературные произведения своих «соузников», написанные в острогах. Среди слушателей самой, быть может, внимательной была старшая дочь декабриста А. В. Капниста, любимица Лорера, двадцатилетняя Александра Алексеевна (1845—1920)[6]. Б. Н. Чичерин, познакомившийся с ней в те годы, рассказывает: «Я увидел прелестный ангельский лик, напоминавший мадонны Беато Анджелико. Это был женский образ ⟨...⟩, полный грации и поэзии»[7]. Александре Капнист Лорер и подарил альбом, в который вписал отрывки из своих воспоминаний, фрагменты из переписки с товарищами по каторге и некоторые из литературных произведений декабристов. Подарок был сделан в рождественские дни 1866 года.

На крышке альбома, обтянутой скромным темнозеленым коленкором, вытеснены инициалы владелицы и дата: «А. К. 1866»[8]. Открывается альбом стихотворным посвящением, принадлежащим перу Лорера. Приводим его полностью:

АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСЕЕВНЕ КАПНИСТ

Пусть нежной думой — жизни цветом —
Благоухает твой *альбом!*
Пусть будет дума та заветом
И верным памяти звеном!
И ⟨ежели⟩ *альбома* данник
Окончит грустный путь земной,

И, лучшей жизни новый странник,
Навек разлучится с тобой,—
Взгляни с улыбкою унылой
На мысль, души его завет,
Как на пустынный скромный цвет,
Цветущий над могилой.

Ноября 27
1866 г.

На следующем листе вписан текст послания Пушкина декабристам («Во глубине сибирских руд...»), в то время в России еще не опубликованный. Далее в альбом вписаны вперемежку стихи, рассказы, письма, отрывки из мемуаров, разные афоризмы и рассуждения, почерпнутые из произведений русских и иностранных писателей. Лорер включил сюда отрывки из своих воспоминаний — о пребывании в Петропавловской крепости, о смерти А. Г. Муравьевой в Петровском заводе, о знакомстве и встречах с А. И. Одоевским и М. Ю. Лермонтовым и др. Тексты некоторых из этих отрывков не вполне совпадают с текстом опубликованных «Записок» Лорера. Значительный интерес представляют включенные в альбом фрагменты из переписки декабристов, в печати до сих пор не известной: письма самого Лорера к Е. И. Трубецкой (1833 г., из Кургана), к А. И. Коновницыной (из Кургана), к Херхеулидзевой (6 октября 1839 г., из Тамани), письма к Лореру декабристов А. Е. Розена, А. Ф. Бриггена, В. Н. Лихарева. В альбоме помещены также тексты писем к Лореру поэта М. В. Дмитревского, знакомого Лермонтова по Кавказу. Наибольшее число литературных произведений, внесенных в альбом, принадлежит А. И. Одоевскому: это стихи «К Янушкевичу», «Ты знаешь их, кого я так любил...», «На смерть П. П. Коновницына», «Два образа», «Далекий путь» и «Звучит вся жизнь, как звонкий смех...». Лорер был дружен с Одоевским, поэтому можно отнестись с доверием к его комментариям, которые следуют в альбоме за стихотворениями. Так, Лорер сообщает, что в стихотворении «Два образа» поэт «почтил память» своей умершей матери и убитого Грибоедова (это до сих пор не было известно: редактор последнего издания сочинений Одоевского писал: «О чьих именно образах вспоминает в этом стихотворении Одоевский,— сказать не можем» [9]). В альбом включены произведения С. И. Муравьева-Апостола и А. П. Барятинского. На листах 17—22 альбома Лорер вписал текст рассказа Николая Бестужева «Похороны».

II

Первое — и до настоящего времени единственное — краткое указание на самый факт существования рассказа «Похороны» появилось в 1931 г. Публикуя по рукописи отдельным изданием воспоминания Лорера, М. В. Нечкина указала: «После страницы „Записок“ с заключительными стихами и датой, на следующей странице начинается: „Прибавление к моим запискам: копии с писем и литературных произведений в прозе и стихах,—товарищей моего изгнания в Сибири“». Вслед за тем приведен перечень девятнадцати литературных произведений и писем, вошедших в «Прибавление», и в их числе: «Н. Бестужев. Похороны. Рассказ» [10]. В том же примечании исследовательница пишет: «Так как это „Прибавление“ не содержит текстов, автором которых являлся бы Н. И. Лорер, мы не публикуем его в настоящем издании». В заключение М. В. Нечкина сообщала, что «ценные материалы» из этого «Прибавления» будут использованы ею «в подготовляемых к печати работах о декабристах». Но рассказ Бестужева так и не был издан, а рукопись воспоминаний Лорера, хранившаяся еще в 1930-х годах вместе с «Прибавлением» в Фундаментальной библиотеке общественных наук Академии наук СССР, в годы Великой Отечественной войны оказалась утраченной [11].

Но зато до наших дней дошли копии обеих рукописей, снятые еще при жизни Лорера. Дело в том, что в конце шестидесятых годов Лорер передал редакции журнала «Русский архив» рукопись своих воспоминаний вместе с «Прибавлением». В редакции все это было скопировано, а в 1874 г.— уже после смерти автора — вместе с отрывками из «Записок», относящимися к пребыванию Лорера в Кавказском корпусе, под

общим заголовком «Прибавление к моим запискам», напечатано, однако далеко не полностью. В журнале появились всего лишь четыре текста (да и то с пропусками и искажениями), извлеченные из «Прибавления»: два стихотворения А. И. Одоевского, письмо А. Ф. Бриггена к А. Е. Розену от 15 ноября 1833 г. из Пелыма, содержащее сведения о фельдмаршале Минихе, и стихи Пушкина «Во глубине сибирских руд...». Так, в случайной подборке, среди другого материала, было впервые напечатано в России обращение Пушкина к декабристам [12]. Частично опубликованные, копии «Записок» и «Прибавления» пролежали затем в редакции «Русского архива» без дальнейшего использования сорок с лишним лет, а после революции поступили в Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Но в каталоге Отдела хранящаяся здесь копия «Записок» не отмечена, нет в каталоге и ссылочных карточек на те литературные и документальные тексты, которые содержатся в «Прибавлении» к воспоминаниям Лорера. Наконец, в выпущенном в 1951 г. печатном указателе воспоминаний, хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, где сообщены сведения о копии «Записок» из бумаг «Русского архива», нет ни слова о том, что к этому списку мемуаров Лорера приложены копии литературных произведений и писем декабристов [13].

Вот причины, по которым рассказ Николая Бестужева до сих пор находился в безвестности, несмотря на то, что рукою Лорера он был переписан в альбом, подаренный Александре Капнист, несмотря на то, что рассказ содержался в «Прибавлении» к мемуарам Лорера, а также в копии «Прибавления», снятой редакцией «Русского архива». Несмотря на все это, рассказ Бестужева оставался вне поля зрения исследователей. А между тем еще девяносто лет тому назад, работая над своими воспоминаниями, Лорер мечтал обнародовать в качестве приложения к ним известные ему произведения и письма декабристов. Мечта его не только не осуществилась, но многие из тех текстов, которые он бережно сохранял, до сих пор не опубликованы. Неопубликованным оставался и сохраненный Лорером в копии рассказ Николая Бестужева «Похороны».

III

Где и когда рассказ этот был написан?

Под текстом рассказа, внесенного в альбом Капнист, Лорер написал: «От Николая Бестужева передано Н⟨иколаем⟩ И⟨вановичем⟩ Л⟨орером⟩. Ос⟨трог⟩ Чита. 1833». Судя же по копии «Русского архива», текст рассказа, приведенный в основном экземпляре «Прибавления», снабжен был такой надписью, сделанной рукою того же Лорера: «Николай Бестужев. Писано в Остроге Чита. 1831 года» [14]. Эти указания Лорера не только исключают друг друга, но и содержат также явные ошибки. Прежде всего с января 1833 г. Лорер был уже не в «остроге», а на поселении: в конце декабря 1832 г. он получил приказ отправиться на жительство в местечко Мертвый Култук за Байкалом. В Читинском же остроге декабристы были заключены лишь до 7 августа 1830 г.; в этот день двумя партиями они были отправлены пешком во вновь отстроенную тюрьму на территории Петровского завода; сюда они пришли 23 сентября и здесь находились до тех пор, пока не окончился срок приговора.

Где и когда был написан рассказ,— об этом Лорер сообщает противоречиво. Противоречия неудивительны,— указания сделаны были Лорером через тридцать пять лет после выхода из тюрьмы. Противоречия эти можно устранить. Прежде всего следует учесть, что люди чаще ошибаются в обозначении даты, чем в обозначении местности; *где* произошло событие, помнится, как правило, отчетливее и дольше, чем *когда* оно произошло. По всей вероятности, Лорер правильно обозначил место, где был написан рассказ,— Чита, тем более что в обеих копиях оно совпадает. А если предположить, что место указано правильно, можно исправить и хронологические ошибки. Как известно, в Читинский острог Николай Бестужев был доставлен в середине декабря 1827 г.,—значит, рассказ был написан не ранее 1828 г. и не позднее первой половины 1830 г. Правильнее же всего, как мы постараемся доказать далее, датировать «Похороны» 1829 годом.

Существует множество документальных свидетельств о том, с каким увлечением декабристы в Читинском остроге отдавались занятиям наукой и литературой, как серьезно изучали они иностранные языки. Рассказывая о культурной жизни в остроге, Д. И. Завалишин подробно останавливается на литературных занятиях. «Литературные произведения были очень многочисленны,— пишет он.— Не говоря уже о перево-

Александрѣ Алексѣевнѣ
Капнистъ.

Пусть нѣжной думой — жизни цвѣтомъ —
Благоухаетъ твой Альбомъ!
Пусть будетъ думы та завѣтомъ
И вѣрнымъ памяти звеномъ! —
И если — Альбома данникъ
Окончитъ грустный путь земной, —
И лучшей жизни новый странникъ,
На вѣкъ разлучится съ Тобой, —
Вѣтви съ [illegible] увялой
На мысль, души ея завѣтъ,
Какъ на пустынный скромный цвѣтъ,
Цвѣтущій надъ могилой.

Генваря 27.
1866 г.

СТИХОТВОРЕНИЕ Н. И. ЛОРЕРА, ПОСВЯЩЕННОЕ А. А. КАПНИСТ И ВПИСАННОЕ В ПОДАРЕННЫЙ ЕЙ АЛЬБОМ, 1866 г.
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

дах, было много и самостоятельных творений. Поэтические произведения Одоевского и басни Бобрищева-Пушкина заняли бы с честию место во всякой литературе. Корнилович и Муханов занимались изысканиями, относившимися к русской старине, и пр. Занятия политическими, юридическими и экономическими науками были общие и по этим предметам написано было много статей. Для обсуждения всех новых произведений были устроены правильные собрания, которые называли в шутку академией. Очень

развита была также легкая и сатирическая литература; для некоторых стихотворений была сочинена и музыка»[15]. Завалишин называет имена лишь немногих декабристов, занимавшихся в остроге литературой; в действительности их было значительно больше.

Деятельно и разносторонне с первых дней пребывания в Читинском остроге работал и Николай Бестужев. Он не только занялся всевозможными техническими усовершенствованиями и изобретениями, не только уделял время созданию портретной галереи декабристов, но принял большое участие и в литературной жизни товарищей. В этом не было ничего неожиданного, так как тем самым он, по существу, лишь продолжал свою прежнюю деятельность: в последние годы перед арестом Бестужев систематически работал в области художественной прозы. Сам он в «Воспоминании о Рылееве» сообщает о повести, законченной им незадолго до ареста и прочитанной поэту-декабристу; повесть эта произвела на Рылеева большое впечатление. А в альманахе «Северные цветы» на 1826 г., уже тогда, когда Бестужев находился в Петропавловской крепости, появился — разумеется под псевдонимом — его рассказ «Трактирная лестница». Работу в области художественной прозы Бестужев не оставлял и в Читинском остроге: там он набросал несколько морских повестей, там он, повидимому, если и не успел закончить, то во всяком случае начал писать рассказ «Шлиссельбургская станция» («Отчего я не женат»)[16]. Отзвуком тех же интересов явился и рассказ «Похороны».

Естественно возникает вопрос: не было ли у Николая Бестужева каких-либо других планов, когда он создавал это произведение, кроме желания прочитать его узкому кругу своих товарищей по каторге? На вопрос этот мы имеем возможность ответить.

Одним из наиболее энергичных людей в кругу декабристов, заточенных в Читинском остроге, был Петр Александрович Муханов. Он сам был литератором и до ареста, состоя в звании штабс-капитана лейб-гвардии Измайловского полка, пробовал свои силы в разнообразных литературных жанрах: написал либретто к комической опере А. А. Алябьева «Лунная ночь, или домовые»[17], писал статьи по военным и историческим вопросам для «Сына отечества», «Северного архива», «Московского телеграфа», выступал в качестве мемуариста и переводчика. В дни следствия по делу декабристов вышел в свет альманах «Урания» на 1826 г., в котором был напечатан (подписанный буквами Z.Z.) очерк о московской жизни— «Святая неделя», автором которого был уже арестованный в то время Муханов. В годы, предшествовавшие декабрьскому восстанию, Муханов, будучи знаком со всеми выдающимися писателями эпохи, не чужд был и организаторской деятельности в области литературы. Особенно дружен был он с Рылеевым, посвятившим ему думу «Смерть Ермака». Из их переписки — несомненно, весьма значительной по объему — до нас дошли лишь четыре письма Муханова и одна доверенность Рылеева. Но и по ним можно судить о той большой помощи, которую Муханов оказывал своему другу в его литературных начинаниях[18]: он принимал активное участие в выпуске отдельных изданий «Дум» и «Войнаровского», помогал Рылееву получить для «Полярной звезды» произведения видных писателей,— в том числе Пушкина,— сообщал ему суждения таких людей, как Пушкин и М. Ф. Орлов, о его новых книгах. В 1825 г. Муханов пытался осуществить издание военного журнала и с этой целью направил начальнику Главного штаба письмо, в котором сообщал, что лучшие тогдашние военные писатели обещали сотрудничать в этом журнале. К письму была приложена подробная, широко задуманная программа журнала. Никакого интереса к этому предложению начальник Главного штаба не проявил. Вскоре Муханову был объявлен выговор за то, что он обратился с тем же предложением в Московский университет, предварительно не испросив согласия своего начальства,— в этом было усмотрено нарушение военной дисциплины[19].

С новой силой энергия Муханова пробудилась в стенах Читинского острога. Именно он, как свидетельствует Михаил Бестужев, был в Чите инициатором литературных вечеров. Муханов, с мнениями которого в вопросах художественного творчества декабристы очень считались, несомненно, побуждал товарищей к занятиям литературой, особенно рекомендуя взяться за перо тем из числа пишущей братии, кто пришел в острог опустошенным и разбитым. Именно Муханову и принадлежала идея попытаться выпустить в свет альманах, составленный из произведений декабристов; идея эта получила горячую поддержку среди заключенных и побудила их написать стихотво-

АВТОГРАФ ПИСЬМА П. А. МУХАНОВА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ ОТ 12 ИЮЛЯ 1829 г. ОБ ИЗДАНИИ АЛЬМАНАХА «ЗАРНИЦА», СОСТАВЛЕННОГО ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕКАБРИСТОВ

Было переслано нелегальным путем из Читинского острога

Центральный архив литературы и искусства, Москва

рения, басни, рассказы, повести. Вот что вспоминает об этом замысле Михаил Бестужев: «Муханов как председатель нашего общества и как истый любитель русской литературы и компетентный ценитель ее упросил некоторых дам написать в Петербург к родным и попытать, не будет ли позволено нам печатать наши сочинения, т. е. сочинения всего нашего литературного кружка, так как, по его мнению, уж очень довольно было написано очень дельного по всем отраслям литературы. Дамы согласились. Писали в Петербург — в Петербурге просили, ходатайствовали, и ответом было — молчание» [20]. До нашего времени дошел замечательный документ, связанный с тем же замыслом,— письмо от 12 июля 1829 г., которое Муханову удалось нелегальным путем переслать из Читинского острога в Москву своему приятелю П. А. Вяземскому. Письмо это гласит:

Вот стихи, писанные под небом гранитным и в каторжных норах. Если вы их не засудите — отдайте в печать. Может быть, ваши журналисты Гарпагоны дадут хоть по гривенке за стих. Автору с друзьями хотелось было выдать альманах *Зарница* в пользу невольно заключенных. Но одно легкое долетит до вас. Не знаю, дотащится ли когда-нибудь подвода с прозой. Замолвьте слово на Парнасе: не подмогут ли ваши волшебники блеснуть нашей *Зарнице*? Нам не копить золота: наш металл — железо, а желание заработать — Say, Constant, le comte Sismondi etc. * Впрочем, воля ваша, только избавьте стихи от «Галатеи».

Z. Z.

12 июля 1829. Ч‹итинский› о‹строг› [21].

Письмо это примечательно во многих отношениях. Как видно из письма, Муханов и все те, кто был вместе с ним, верили, что задуманный альманах удастся издать.

* Сэй, Констан, граф Сисмонди и т. д. (франц.).

Заслуживает внимания в этом письме и выражение «каторжные норы», заимствованное Мухановым из пушкинского послания декабристам.

Вместе с этим письмом Муханов переслал Вяземскому тетрадь со стихами А. И. Одоевского. Некоторые из этих стихов удалось напечатать в 1830 г. в «Литературной газете», остальные были опубликованы в альманахе «Северные цветы» на 1831 г.— в обоих случаях, конечно, анонимно. Стихи эти были первыми произведениями Одоевского, появившимися в печати.

Что еще предполагалось включить в «Зарницу»— в точности неизвестно. В отдел поэзии могли, конечно, войти стихи и басни П. С. Бобрищева-Пушкина, А. П. Барятинского, В. Л. Давыдова, Ф. Ф. Вадковского, В. П. Ивашева. А чем была бы нагружена «подвода с прозой», которую Муханов намеревался послать вслед за стихами? Сведений об этом нет. Но можно не сомневаться, что в отдел прозы прежде всего должны были войти рассказы Николая Бестужева: в культурной жизни Читинского острога он принимал самое активное участие и мимо такой идеи, как попытка выпустить литературный альманах, он никак пройти не мог.

Вот почему можно предположить, что рассказ «Похороны» Бестужев писал для «Зарницы». Если наше предположение правильно,— «Похороны» были написаны именно в 1829 году [22].

Весьма возможно, что название для альманаха было придумано Николаем Бестужевым. Еще в 1818 г. в научной статье, напечатанной им в «Сыне отечества», он объяснял, что такое зарница [23]. Зарницами, которые Бестужев наблюдал в Сибири, он восхищался в письмах к родным и к друзьям, именуя их «великолепными картинами», «великолепными явлениями» [24]. Давая альманаху, задуманному на каторге, название «Зарница», Бестужев и его товарищи вкладывали в это слово глубокий смысл: если в столице не могло быть слышно грома той грозы, которая бушевала в сердцах декабристов, то выпущенный в свет альманах «Зарница» с произведениями заключенных сверкнул бы молнией без грома и служил бы свидетельством того, что революционеры не сломлены и в «каторжных норах» живут умственною жизнью. Но «Зарница» не «блеснула», на свет не появилась, и тем самым не оправдались надежды Муханова, Бестужева и всех сотрудников альманаха, надеявшихся увидеть свои произведения в печати хотя бы под псевдонимом или совсем без подписи. Более того: рукописи, заготовленные для «Зарницы», спустя несколько лет вообще погибли.

Произошло это так. В январе 1833 г. Муханов вышел на поселение. Здесь он мог уже вести переписку со своими петербургскими и московскими друзьями, с чьей помощью все еще надеялся выпустить альманах. Но проект этот кончился катастрофой.

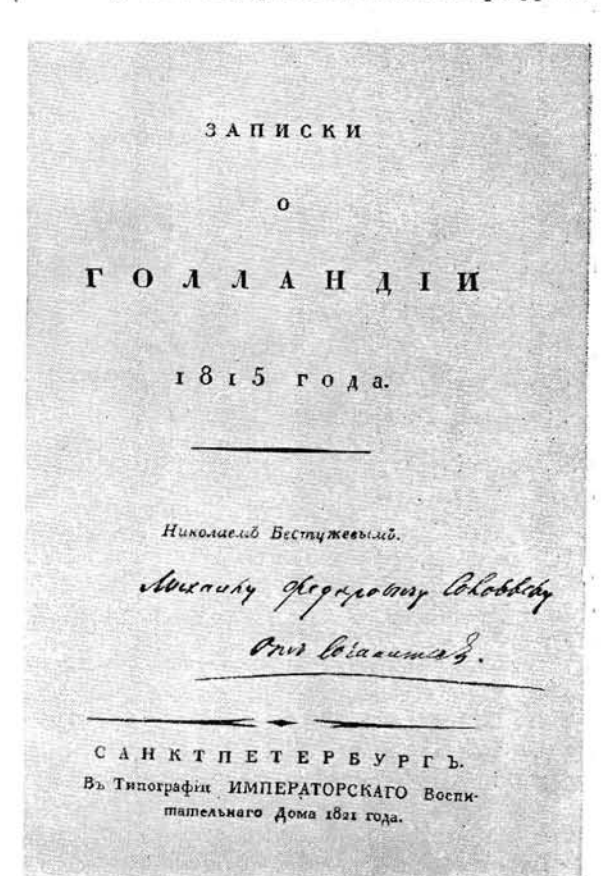
Сохранилась следующая краткая запись беседы, которую редактор «Русской старины», М. И. Семевский, вел в 1869 г. с Михаилом Бестужевым относительно литературных занятий декабристов на каторге: «Муханов устроил литер‹атурные› вечера, сочинял, переводы устраивал,— рассказывал Михаил Александрович.— Я тоже участвовал: я представил о Шекспир‹овой› драме; после того я читал морскую повесть, Купер, подражатели, — „Случай — великое дело“ — по просьбе Муханова. Все дамы просили читать, брат Николай читал. Мух‹анов›: „Я поеду на посел‹ение›, напечатаю“... Известие от Мух‹анова› тайное, были обыски. Я сжег все бумаги,— у тебя черновая — отдай... Окна заклеены» [25]. Смысл этой записи уясняют те страницы воспоминаний Михаила Бестужева, где речь идет о «казематской эпохе» и о том, что̀ стряслось с Мухановым на поселении: «То была самая цветущая эпоха стихотворений, повестей, рассказов и мемуаров. Тогда были написаны те повести, которые недавно напечатаны с именем брата Николая, и многие другие, уничтоженные при периодических мерах строгости или других обстоятельствах. Тогда же был написан целый ряд морских повестей, из коих самые лучшие были сожжены Мухановым при домовом обыске полиции на поселении, по доносу одного чиновника. Все они были отданы ему, как многие сочинения брата Николая, для напечатания... Черновые мы сохранять боялись от казематских обысков, и так все они погрузились в Лету» [26]. В каземате Михаилом Бестужевым была написана повесть о наводнении, которое он наблюдал 7 ноября 1824 г. в Кронштадте.

Вот что сообщает он о судьбе рукописи: «Беловая погублена Мухановым вместе с пятью другими повестями, из коих одна: „Случай — великое дело“ — была очень не худа»[27]. Поступок Муханова, о котором с таким явным осуждением говорит Михаил Бестужев, станет совершенно понятен, если вспомнить судьбу Лунина, находившегося на поселении неподалеку от Муханова: в 1841 г. после «самого строгого» обыска у Лунина были отобраны все бумаги, а сам он заключен в Акатуйскую тюрьму, где вскоре и погиб.

Цитируемые нами строки воспоминаний Михаила Бестужева дают некоторое представление о количестве принадлежавших декабристам литературных произведений, которые были взяты Мухановым с собой по выходе из тюрьмы на поселение: их было немало[28]. И все они погибли в глухой тайге — в том числе и те «многие сочинения брата Николая», о которых говорит Михаил Бестужев. Среди этих погибших произведений находилась, повидимому, и рукопись рассказа Николая Бестужева «Похороны». Вот почему никаких сведений о ней в литературе никогда не появлялось и в списках произведений Николая Бестужева, составленных его братом и сестрой, название рассказа ни разу не было упомянуто[29].

IV

В Читинском остроге и в Петровской тюрьме Лорер принадлежал к числу ближайших друзей Николая Бестужева. Лорер сам не был чужд литературным занятиям и превосходно рассказывал: его устные рассказы о заграничных походах были положены Николаем Бестужевым в основу сюжета повести «Русские в Париже 1814 года». Выходя на поселение, Лорер скопировал некоторые из произведений своих товарищей, в том числе один рассказ Николая Бестужева. Лорер высоко ценил литературный


ЗАПИСКИ

О

ГОЛЛАНДІИ

1815 года.

Николаемъ Бестужевымъ.

Михаилу Федоровичу Соловьеву

От сочинителя.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Въ Типографіи ИМПЕРАТОРСКАГО Воспитательнаго Дома 1821 года.

КНИГА Н. А. БЕСТУЖЕВА «ЗАПИСКИ О ГОЛЛАНДИИ 1815 ГОДА». ЭКЗЕМПЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ М. Ф. СОЛОВЬЕВУ, 1821 г.

«Михаилу Федоровичу Соловьеву от сочинителя»

Литературный музей, Москва

талант Николая Бестужева и ставил его, как писателя, в один ряд с Александром Бестужевым. В 1833 г., вскоре после отъезда из Петровской тюрьмы, пережив ряд злоключений, Лорер писал Е. И. Трубецкой: «Если б я был Александр или Николай Бестужев, то охотно описал бы Вам, княгиня, со всею подробностию все сии места, хотя вскользь мною виденные; но я как не поэт и притом плохой грамотей, то спешу освободить Вас от утомительного и нескладного рассказа» [30]. А в своих воспоминаниях Лорер прямо называет Николая Бестужева «отличным писателем» [31]. Действительно, отличным писателем выступает Бестужев и в публикуемом здесь впервые произведении.

Предназначая рассказ для печати, Бестужев не мог говорить полным голосом, писать так, как ему хотелось. Тем не менее в рассказе звучит социально-обличительная тема. Рассказ явно направлен против тех, кто сначала был не чужд передовых общественных устремлений, а потом охладел к ним: в молодости покойника отличали «благородные порывы» (здесь вспоминаются пушкинские строки: «мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы»), у него были мысли «прямого, ясного, нелицеприятного изложения». Но с годами он изменился, перешел в другой лагерь. А когда умер, то в кругу «большого света», к которому принадлежал, смерть его не нашла, по существу, никакого отклика.

Бестужев выступает здесь обличителем лицемерия и бездушия «высшего» общества. Мастерской рукой срывает он присущую этому обществу маску приличия, скрывающую холодный эгоизм и полное равнодушие к людям «в этой обширной пустыне, которую зовут большим светом»[32]. Если учесть, что написан рассказ, повидимому, не позже 1829 г., придется признать его одним из первых — по времени — прозаических произведений, в которых обличаются фальшь и душевная пустота аристократических кругов. Вот почему с полным основанием следует считать, что в своей художественной прозе Николай Бестужев в какой-то степени предвосхищает критику светской среды, зазвучавшую в тридцатых годах в прозаических произведениях В. Ф. Одоевского, Александра Бестужева. Когда Николай Бестужев писал «Похороны», не только не были напечатаны, но не были даже написаны произведения этих авторов, в которых обличался «большой свет». В 1834 г. В. Ф. Одоевский опубликовал повесть «Княжна Мими», где светское общество названо «страшным» и где писатель говорит, что оно «держит в руках и авторов, и музыкантов, и красавиц, и гениев, и героев», что «оно ничего не боится — ни законов, ни правды, ни совести»; а за год до этого была напечатана повесть Александра Бестужева «Фрегат Надежда», где изображен «ледяной» свет, в котором «под словом не дороешься мысли, под орденами — сердца», свет — это сборище пустых и самовлюбленных лиц. «Русский Пелам», в котором Пушкин характеризует людей «высшего» общества одним словом «паразиты», и «Рославлев», где дана гениальная зарисовка «светской черни», так и остались неосуществленными замыслами.

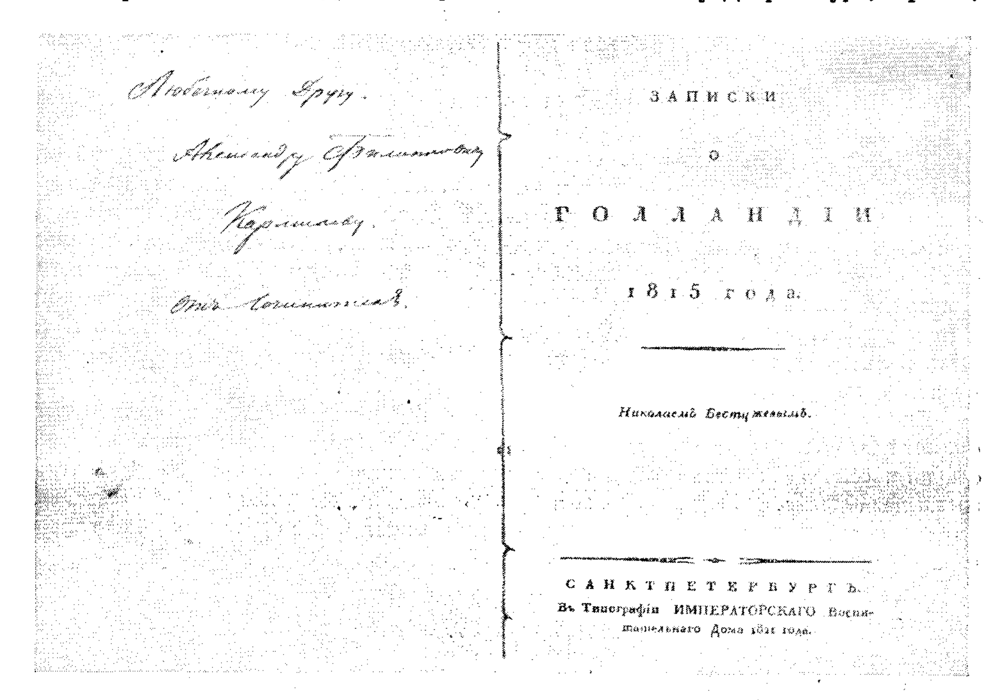
Важно отметить, что ни Петропавловская крепость, ни Шлиссельбургский каземат, ни Читинский острог не сломили Николая Бестужева, не изменили идейной направленности, которая была присуща его прозе в годы, предшествовавшие декабрьскому восстанию. Он и в тюрьме не утратил чувства ненависти к той социальной несправедливости, против которой с оружием в руках вышел на Сенатскую площадь. Через четыре года после ареста и жестокого приговора создает он рассказ «Похороны», где, как и в рассказе «Шлиссельбургская станция», выступает против тех кругов, которые являлись опорой самодержавия и крепостничества. Темы этих рассказов свидетельствуют также, что Бестужев интересовался вопросами личной и общественной морали [33].

Но в исторических условиях николаевской поры литературно-художественные замыслы писателя-декабриста не могли получить, естественно, полного осуществления.

Рассказ «Похороны» не только значителен по мысли, но интересен и по выполнению. Прочитав очерк Николая Бестужева «Об удовольствиях на море», появившийся в «Полярной звезде» на 1824 г., Вяземский, сообщая Александру Бестужеву свое мнение об альманахе, писал: «В прозе предпочтительно понравилась мне статья

вашего брата: есть много занимательности, движения, краски в слоге» [34]. Владимир Муханов, человек широких литературных интересов, писал своим братьям о том же альманахе «Полярная звезда» на 1824 г.: «венец» прозаической части — «ясная проза Бестужева (Н.)» [35].

Называя Николая Бестужева «замечательным писателем», известный французский беллетрист Виктор Д'Арленкур, побывавший в России, приводит в своих мемуарах следующее мнение о нем Н. М. Карамзина: «Если кто-нибудь и мог бы продолжить мои „Письма русского путешественника", то это Николай Бестужев» [36]. Вяземский считал даже, что Николай Бестужев как писатель более даровит, чем Александр. Когда А. И. Тургенев, прочитав в 1843 г. книгу Д'Арленкура, спросил,



КНИГА Н. А. БЕСТУЖЕВА «ЗАПИСКИ О ГОЛЛАНДИИ 1815 ГОДА» ЭКЗЕМПЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ А. Ф. КАРМИЛЕВУ, 1821 г.
«Любезному другу Александру Филипповичу Кармилеву от сочинителя»
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

о каком Николае Бестужеве идет там речь, Вяземский ответил: «Д'Арленкур говорит о Николае Бестужеве, который писал в „Полярной звезде" морские письма и сослан в Сибирь. Он в самом деле, говорят, был гораздо умнее и дельнее брата своего, Марлинского, и писал лучше его» [37]. Рассказ «Похороны» написан умелой рукой и по своему художественному уровню не уступает произведениям Николая Бестужева первой половины двадцатых годов (при оценке этого рассказа следует учесть, что в силу каких-то причин он не был, повидимому, окончательно отделан автором).

Александр Бестужев, в то время рядовой Кавказского корпуса, писал братьям в Петровскую тюрьму: «Боже мой, сколько пользы схоронено между вами! Какой бы ход дали литературе руки ваши, если б им дали безделицу — гусиное перо! Неужели они так дороги?». В большей степени, чем к Михаилу, строки эти относятся к Николаю. А два года спустя Александр Бестужев сообщал ему: «Я принялся за перо и написал полуморскую повесть „Фрегат Надежда"; вторая половина ее должна вам понравиться, ибо я чувствую, что моей чернильницей было сердце. Мало-помалу я сам начинаю признавать свое призвание, я чувствую, что в голове моей совершается мир. Может статься, я не буду в состоянии его выразить; но тот, кто напишет на

могиле моей: *он был недосказанный поэт* — не солжет». И далее: «Но ты, Николай, для чего потерян для нашей словесности и ты...»[38]. Через несколько лет с тем же горестным вопросом обратился к Николаю Бестужеву Павел Бестужев. Рассказывая об этом в письме к родным, Николай Александрович тут же поведал о причине, по которой совсем не в полную силу занимался на каторге и на поселении литературой: «Брат Павел писал ко мне ныне письмо, в котором, между прочим, говорит: неужели я отказался вовсе от литературы? И неужели правительство откажет мне в позволении печатать, если я обращусь к нему с просьбою? 〈...〉 Мы же с братом Мишелем, конечно, не отказались бы что-нибудь писать, если б была возможность напечатать, но рука не движется, когда знаешь, что твой труд осужден будет на вечное затворничество в том столе, на котором он родился»[39]. О том же говорила М. И. Семевскому сестра Бестужевых, Елена Александровна: «Жаль, что он весь отдался хронометрам, столярне, точильне, живописи, он был слесарь, золотых дел мастер.— Пиши ты, Николушка,— говорила я.— Да рука не поднимается писать,— отвечал он, — ведь знаю, что это ни к чему не поведет, не напечатают» [40].

Те немногие произведения, которые в виде томика «Рассказов и повестей старого моряка Н. Бестужева» были выпущены Е. А. Бестужевой в 1860 г., уже после смерти автора, вызвали глубокое сочувствие читателей. Вот один из тогдашних отзывов: «Прочитав его „Повести и рассказы старого моряка“, всякий видит, что это только пробы писателя в разных родах, но пробы, обещавшие писателя не одностороннего, не пристрастного, не отличавшегося каким-нибудь наружным способом выражения, а писателя умного, дельного, наблюдательного, которого произведения могли бы долго жить в литературе и долго пользоваться уважением критики. В нем вырабатывался писатель, которым бы гордилась русская литература» [41].

Единственное отдельное издание произведений Николая Бестужева вышло около ста лет назад в искалеченном цензурой виде [42]. Его повести, рассказы, путевые записки, очерки и сейчас представляют интерес как памятники реалистической литературы эпохи декабризма. Вот почему пора подумать о новом, дополненном новонайденным материалом издании литературно-художественных произведений Николая Александровича Бестужева

ПРИМЕЧАНИЯ

В основу настоящей публикации рассказа «Похороны» нами положен текст, собственноручно вписанный Лорером в альбом, подаренный им А. А. Капнист. В этот текст внесены исправления в соответствии с копией, сделанной со списка рассказа, переданного Лорером в начале семидесятых годов редакции «Русского архива» (сопоставление обоих списков дало возможность исправить некоторые неточности и восстановить целые фразы, пропущенные в альбомной записи). Тем не менее наличие двух списков не гарантирует полной реконструкции текста несохранившейся авторской рукописи, так как и в одном и в другом из указанных списков имеются явные пропуски и ошибки. Лорер и в молодые годы не был силен в правописании, а рассказ Бестужева он копировал уже стариком, в возрасте семидесяти с лишним лет (орфографическими ошибками и неправильными оборотами речи изобилует и рукопись воспоминаний Лорера, см. замечания М. В. Нечкиной, редактора отдельного издания этих воспоминаний — стр. 14, 408, 419). Вот почему оба его списка изобилуют погрешностями, хотя в распоряжении Лорера и была в свое время подлинная авторская рукопись «Похорон». Вспоминая о Лорере, Михаил Бестужев рассказывал: «Не обладая большою образованностью, он между тем говорил на четырех языках (французском, английском, немецком и итальянском), а ежели включить сюда польский и природный русский, то на всех этих шести языках он через два слова в третье делал ошибку» (Бестужевы, стр. 263). Сам Лорер, по собственному признанию «плохой грамотей», обратился к А. А. Капнист на 80-м листе альбома со следующей просьбой: «Когда будете читать мои *выписки*, которые я не успел просмотреть, прошу Вас, добрейшая Александра Алексеевна, Вашей рукой исправить некоторые погрешности 21-го декабря 1866». Так, Лорер сам признавал, что в текст рассказа «Похороны», вписанный им в альбом, могли вкрасться те или иные ошибки. Явные описки исправлены нами без оговорок, а слова, по нашему предположению пропущенные, заключены в угловые скобки.

[1] Совершенно несомненно, что в различных изданиях 1810—1820-х годов могут быть обнаружены произведения Николая Бестужева, которые были им самим напеча-

саны анонимно в период до 14 декабря. Так, например, его перу, по нашему мнению, принадлежит рецензия на книгу В. Б. Броневского «Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Д. Н. Сенявина, от 1805 по 1810 год», появившаяся без подписи в «Сыне отечества», 1819, ч. 51, № 3, стр. 132—136 (нашу атрибуцию см. во втором полутоме, в исследовании «Николай Бестужев и его живописное наследие», прим. 197).

[2] Г. Е. Павлова. Декабрист Николай Бестужев — историк русского флота. М., 1953.

[3] С. В. Капнист. Воспоминания. Редакция и примечания Ю. Г. Оксмана.— «Воспоминания и рассказы деятелей Т. О.», т. I, стр. 314 и 339.

[4] Там же, стр. 398. — В воспоминаниях С. В. Капнист целая глава (седьмая) посвящена Лореру: она написана на основе рассказов самого декабриста о его пребывании в Петропавловской крепости, в Читинском и Петровском острогах, на поселении и в Кавказском корпусе.

[5] На последней странице рукописи воспоминаний помечено: «Сельцо Водяная. Августа 5-го 1867 г.» (Лорер, стр. 275).

[6] Вадим Модзалевский. Малороссийский родословник, т. II. Киев, 1910, стр. 294.

[7] «Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Московский университет». Вступительная статья и примечания С. В. Бахрушина. М., 1929, стр. 152.

В 1871 г. Б. Н. Чичерин женился на А. А. Капнист (см. «Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и московская дума». М., 1934, стр. 42—45). В 1889 г. поэт П. И. Капнист посвятил ей стихотворение (см. Сочинения П. И. Капниста, т. I. М., 1901, стр. 152).

[8] Шифр альбома — ф. ОР, 59/16, лл. 17—22 об.

[9] Одоевский, стр. 399.

[10] Лорер, стр. 419—420.— Несмотря на такое указание, Л. А. Лебедева в своей диссертации «Литературная деятельность декабриста Н. А. Бестужева» (Иркутский гос. университет имени А. А. Жданова, 1948) ни словом не упоминает о рассказе «Похороны».

[11] Рукописные материалы, хранившиеся в Фундаментальной библиотеке общественных наук Академии наук СССР, в 1944 г. были переданы в московское

ПЛАВАНІЕ

ФРЕГАТА ПРОВОРНАГО

въ 1824 году.

Александру Васильевичу Устинову от плававшего.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

Въ Морской Типографіи

1825 года.

КНИГА Н. А. БЕСТУЖЕВА «ПЛАВАНИЕ ФРЕГАТА ПРОВОРНОГО В 1824 ГОДУ». ЭКЗЕМПЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ А. В. УСТИНОВУ, 1825 г.

«Александру Васильевичу Устинову от плававшего»

Собрание И. М. Саркизова-Серазини, Москва

отделение Архива АН СССР, но в это время рукописи Лорера в Фундаментальной библиотеке уже не было.

[12] «Русский архив», 1874, № 9, стр. 703—708. — Письмо Бриггена к Розену, здесь опубликованное, в действительности представляет собою несколько отрывков из двух его писем, текст которых в «Приложении» приведен полностью. — Указание на то, что рукопись Лорера была передана в «Русский архив» им самим, сделано П. И. Бартеневым при первой публикации отрывков из «Записок»: «Печатается с подлинника, сообщенного покойным автором († в мае 1873)» («Русский архив», 1874, № 2, стр. 361).

[13] «Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина. Отдел рукописей. Указатель воспоминаний, дневников и путевых записок XVIII—XIX вв. (из фондов Отдела рукописей)». М., 1951, стр. 96.

[14] Шифр копии «Записок» Лорера и «Прибавления» из бумаг «Русского архива» — М. 6051 (две папки). Текст рассказа «Похороны» находится на лл. 64—69 второй папки.

[15] Завалишин, стр. 273.

[16] Не существует никаких документальных данных, которые позволяли бы утверждать, как это делают некоторые исследователи, что рассказ «Шлиссельбургская станция» был написан во время пребывания Бестужева в Петровской тюрьме в 1830—1831 гг. (см.: Бестужевы, стр. 624; «Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика». Составил Вл. Орлов. М.—Л., 1951, стр. 641). Больше оснований предполагать, что над этим рассказом Николай Бестужев начал работать еще в Читинском остроге (где он написал и миниатюрный портрет Л. И. Степовой, образ которой запечатлен в рассказе «Шлиссельбургская станция»; об этом портрете см. во втором полутоме, в нашем исследовании «Николай Бестужев и его живописное наследие».

[17] П. Н. Арапов. Летопись русского театра. СПб., 1861, стр. 320.

[18] «Ты привык получать от меня письма об делах твоих», — так начинает Муханов письмо к Рылееву от 13 апреля 1824 г. («Сочинения и переписка К. Ф. Рылеева». Изд. 2. Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1874, стр. 305).

[19] Михаил Соколовский. Эпизод из истории русской военной журналистики. — «Русский инвалид», 1903, № 190, от 29 августа; ср. А. А. Сиверс. П. А. Муханов. Материалы для биографии. — «Памяти декабристов», I, стр. 158.

Сохранилось письмо Муханова к известному военному историку А. И. Михайловскому-Данилевскому с предложением принять участие в организуемом им журнале («Русская старина», 1900, № 10, стр. 217—218).

[20] Бестужевы, стр. 292; ср. стр. 290. — Под «дамами» М. А. Бестужев подразумевает жен декабристов, добровольно последовавших в Сибирь за своими мужьями; они не были лишены права переписки.

[21] Автограф письма сохранился в Остафьевском архиве Вяземских (ЦГЛА, ф. № 195, ед. хр. 2449, л. 1). На то, что автор письма — Петр Александрович Муханов, впервые указал И. А. Кубасов (Одоевский, стр. 72). Письмо приводится нами с некоторыми исправлениями пунктуации и орфографии.

Следует отметить, что буквами Z. Z. Муханов подписывал свои письма и до ареста (см., например, письмо его по литературным вопросам к М. П. Погодину, относящееся к периоду до 14 декабря и подписанное теми же буквами. — ЛБ, шифр Пог/II, 46/40). Это и дало основание Погодину, выпустившему в 1826 г. «Уранию», поставить те же буквы под очерком Муханова, напечатанном в альманахе.

«Галатея» — еженедельный журнал, издававшийся С. Е. Раичем в Москве с января 1829 г.

[22] В отдел прозы альманаха «Зарница» должны были войти, конечно, и произведения Муханова. Весьма возможно, что произведения эти были записаны в те тетради, которые Муханов передал для отправки в Россию Х. М. Дружинину, участнику Оренбургского тайного общества, находившемуся в заключении в Читинском остроге вместе с декабристами, а в августе 1830 г. вышедшему на поселение; Дружинин запрятал эти тетради вместе с несколькими письмами декабристов в ящик с двойным дном. О том, что находилось в ящике, узнал провокатор Медокс, который и донес об этом жандармам (см. С. Я. Штрайх. Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX века. М., 1929, стр. 111).

[23] Флота лейтенант Николай Бестужев. О электричестве, в отношении к некоторым воздушным явлениям. — «Сын отечества», 1818, ч. 50, № 46, стр. 31.

[24] «Письма из Сибири декабристов М. и Н. Бестужевых», вып. 1. Селенгинский период 1839—1841. Иркутск, 1929, стр. 107. — Письмо Николая Бестужева к И. И. Свиязеву от 2 августа 1851 г. из Селенгинска.— Не издано; Архив Бестужевых, ед. хр. 23, лл. 56 об.—57.

[25] Цитируем по автографу записи М. И. Семевского. — Архив Бестужевых, ед. хр. 2, л. 127 об.; неточно — Бестужевы, стр. 391.

[26] В одном из своих позднейших писем И. И. Пущин, рассказывая о переведенных им в Читинском остроге записках Франклина, сообщает о судьбе этой рукописи следующее: «Послали ее и другие переводы к одному родственнику Муханова, здешнего моего товарища, — все кануло в море: ни слуху, ни духу. Сколько ни справлялся, ничего нет.

Черновую рукопись я истребил по случаю бывшего тогда тюремного осмотра. Нельзя было сохранить эту контрабанду: чернила были запрещены» (Пущин, стр. 156).

[27] Бестужевы, стр. 158, 285. — Сохранилось авторитетное свидетельство Е. И. Якушкина (сына декабриста) о том, что Николай Бестужев передал в конце 1832 г. Муханову, уезжавшему из Петровской тюрьмы на поселение, рукопись своих воспоминаний о Рылееве (см. *Е. Я.* По поводу воспоминаний о К. Ф. Рылееве. — «Девятнадцатый век», кн. I. М., 1872, стр. 351). Это может служить прямым подтверждением того факта, что Муханов, уезжая из Петровской тюрьмы, увез с собой интереснейшие произведения декабристов, там написанные.

[28] Характерно, что еще в 1845 г. В. К. Кюхельбекер в письме к М. Н. Волконской послал для Муханова свое стихотворение «Тень Рылеева»: «В качестве чего-то, что может заинтересовать Муханова, посылаю Вам стихи, совершенно забытые их автором. Казимирский их воскресил. Они были созданы в Шлиссельбурге в 1827 году» («Лит. наследство», т. 59, 1954, стр. 471).

[29] Список печатных и рукописных произведений Николая Бестужева, составленный его братом Михаилом, — см. в изд.: «Воспоминания Бестужевых». М., 1931, стр. 326. Список, составленный Е. А. Бестужевой, приложен к письму ее к Н. Д. Свербееву от 10 ноября 1859 г. (ЦГИА, Отдел личных фондов, ф. № 1063, оп. 1, ед. хр. 64).

[30] Текст своего письма к Е. И. Трубецкой Лорер вписал в альбом, подаренный Капнист, — лл. 73—75.

[31] Лорер, стр. 148.

[32] Письмо Николая Бестужева к сестрам от 8 января 1847 г. из Селенгинска. — Не издано; Архив Бестужевых, ед. хр. 9, л. 257.

[33] Этические проблемы занимали важное место среди тех проблем, которые интересовали Николая Бестужева и до его заточения в тюрьму. О высоких моральных качествах Николая Бестужева свидетельствует, в частности, пространное письмо его к брату Александру, относящееся к 1816—1817 гг.; здесь имеются такие строки: «Всякий человек, прежде нежели сделается военным, бывает человеком; оставя военную службу должен также быть человеком, следовательно, права и поступки каждого должны везде быть одинаковы, сколько бы раз он ни переменял свое состояние» («Памяти декабристов», I, стр. 8—14).

[34] В. Е. Якушкин. К литературной и общественной истории 1820—1830 годов. — «Русская старина», 1888, № 11, стр. 323.

[35] «Письма Владимира Алексеевича Муханова братьям, 1824—1831 гг.» — «Щукинский сборник», вып. V. М., 1906, стр. 271.

[36] Vicomte d'Arlaincourt. L'Étoile Polaire. Paris, 1843, t. I, p. 332—333. («Письма русского путешественника» Д'Арленкур в своих воспоминаниях ошибочно именует «Voyage de Russie»). Возможно, что отзыв Н. М. Карамзина о Николае Бестужеве сообщил Д'Арленкуру Д. Е. Василевский, наставник и близкий друг Бестужева; о своем знакомстве с Д'Арленкуром Василевский писал Николаю Бестужеву из Парижа 10 сентября 1821 г. (Архив Бестужевых, ед. хр. 16, л. 12 об.).

[37] «Ост. архив», т. IV, стр. 236 и 239.

[38] Первое письмо датировано 14 мая 1831 г., второе — 15 января 1833 г. — «Русский вестник», 1870, № 6, стр. 510 и № 7, стр. 48; цитируем по автографам, хранящимся в ИРЛИ (Архив Бестужевых, ед. хр. 11, лл. 117 об. и 140 об.).

[39] Письмо от 28 февраля 1840 г. — «Письма из Сибири декабристов М. и Н. Бестужевых», стр. 36—37.

[40] Бестужевы, стр. 410. — Характерно, что когда в 1854 г. Николай Бестужев, уже пятнадцать лет находившийся на поселении, прислал в Петербург И. И. Свиязеву агрономическое описание Забайкальского края с просьбой поместить в «Журнале министерства государственных имуществ», то Свиязев для напечатания даже «без обозначения имени автора» счел нужным обратиться за разрешением в III Отделение. Резолюция Дубельта гласила: «Можно, но никак не упоминая ни имени, ни места откуда» (см. «Письма из Сибири декабристов М. и Н. Бестужевых», стр. 126).

[41] «Заметки неизвестного о декабристах и о русских моряках прежнего времени». — «Щукинский сборник», вып. IV. М., 1905, стр. 177.

[42] Даже через четыре года после того, как Николай Бестужев умер, и через три года после того, как оставшиеся в живых декабристы были амнистированы, официальные цензурные инстанции не разрешали выпустить это издание под фамилией автора. «Вот уже около месяца, как я тщетно до сих пор хлопочу об отмене запрещения здешнего цензурного комитета и самого министра печатать сочинения брата Николая под собственной его фамилией», — писала 15 декабря 1859 г. Е. А. Бестужева Н. Д. Свербееву (ЦГИА, Отдел личных фондов, ф. № 1063, оп. 1, ед. хр. 64). Лишь в следующем году ей удалось добиться разрешения на выпуск этой книги под названием «Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева».

Некоторая часть тиража издания 1860 г., оставшаяся нераспроданной, была выпущена Е. А. Бестужевой в 1874 г. в новой обложке и под видоизмененным названием: «Морские сцены, повести и рассказы старого моряка Н. Бестужева».

ПОХОРОНЫ

«Г-жа N.N. с малолетними детьми, с прискорбием извещая о кончине супруга ее N.N., случившейся сего августа в день, просит пожаловать числа на погребение и вынос тела из дому, состоящего в N части в квартале и проч.»

Неожиданная смерть этого человека, на погребение которого приглашали, была причиною моего чрезвычайного удивления. Еще не прошло недели, как я видел его в цвете лет, окруженного милым семейством, женою и детьми, посреди блестящего круга знакомых, игравшего знатную роль в большом свете, где все обещало ему светлую будущность. Мы были с ним знакомы с детства, даже в летах первой молодости, я думал, что мы были дружны, но вскоре различная участь наша, оставившая меня на той же ступени, где я стоял, и призвавшая его в круг большого света, разочаровала меня. Мы остались знакомы, т. е. я получал приглашения на свадьбу, обеды и прочее; но развлечения и обязанности и все, что называется жизнью большого света, не оставляли бывшему другу моему времени, чтоб позаботиться о дружбе нашей. Изредка только, если случалось ему заставать меня дома, когда у него было намерение оставить карточку, он забегал ко мне на минуту, а иногда, забываясь, при воспоминании старинных наших связей, оставался на несколько часов; но тут я видел всегда другого человека от прежде бывшего товарища. Его живость исчезла, вместо благородных порывов, столь приятных в юноше, заступила какая-то равномерная важность, вместо простосердечной остроты, доставлявшей нам некогда приятные минуты, явилась тонкая ирония, которой наружность носила на себе печать строжайшего приличия, но которой смысл всегда был ядовит; образ его мыслей, суждений лишался прежнего прямого, ясного и нелицеприятного изложения. Вместо оных являлось всегда осторожное, не полное, иногда двусмысленное мнение, от которого он готов был отпереться каждую минуту.

Мы с ним были несогласны во многом: он упрекал меня, что я не люблю большого света; я приводил в свое оправдание его собственную перемену; он доказывал, что большой свет не любит излишеств и порывов; я видел во всем этом свете одну только холодность; на это он отвечал, что все защищаемое мною составляет одни странности и что я с ними — *оригинал*, а это большая брань в большом свете, и, следственно, будучи *оригиналом*, я не мог быть другом светского человека.

Как бы то ни было, я все любил его и когда получил приглашение на похороны, мне стало горько известие о его безвременной кончине; я представлял себе горесть жены, детей и домашних, участие знакомых и собрался на похороны, чтоб разделить общее чувствование печали с теми, кои, подобно мне, казалось, всегда были расположены к этому человеку.

Я не поспел на вынос и должен был проехать прямо в церковь. Там, посредине стояла высокая катафалка. Ступени ее были обиты черным сукном; бархатный балдахин со множеством страусовых перьев и гербом фамилии осенял стоявший на катафалке гроб; множество свеч горело кругом; множество людей всякого звания волновались около гроба; священство, пение, молитвы, дым кадильный, окружавший облаками сию необыкновенную сцену, — все это возбудило во мне скорбное ощущение. Воображение, развивая все происшествия первой жизни моей цепью, которой первое звено составляло нашу дружбу с покойным, невольно приковывало последнее кольцо этой цепи к гробу, передо мной стоявшему. Мысли быстро катились и наполняли грудь; наконец ей стало тяжело. Я забылся и заплакал; слезы мои катились не долго; меня пробудил от моей забывчивости глухой шум полувнятных вопросов, полуотвеченных слов, — я окинул

Похороны.

Г-жа N: N: — съ малолѣтними дѣтьми, съ прискорбiемъ извѣщая о кончинѣ супруга ея N: N: случившейся сего Августа въ — день, проситъ пожаловать числа на погребенiе и выносъ тѣла изъ дому состоящаго въ N: Квартале, и пр. проч:

Неожиданная смерть этого человѣка на погребенiе котораго приглашали меня, была причиною моего чрезвычайного удивленiя. Еще не прошло недѣли, какъ я видѣлъ его въ цвѣтѣ лѣтъ, окруженнаго милого семейства, жены и дѣтьми, посреди блестящаго круга знакомыхъ, игравшаго значущую роль въ большомъ свѣтѣ, гдѣ ему обѣщало свѣтлую будущность. Мы были съ нимъ знакомы съ дѣтства, даже въ лѣтахъ первой молодости, я думаю что мы были дружны, но вскорѣ различная участь наша оставившая меня на ~~той~~ той же степени гдѣ я стоялъ и призвавшая его въ кругъ большаго свѣта, разлучили меня; мы остались знакомы: т: е: я получалъ приглашенiе на свадьбу, обѣды и прочее; но развлеченiе и обязанности и все что называется жизнью большаго свѣта, не оставляли бывшему другу моему времени чтобъ позаботиться о дружбѣ нашей. — Изрѣдка только, если случалось ему заставать меня дома, когда уже было некогда оставить карточку, онъ забѣгалъ кой когда на минуту а иногда забывался при исполненiи старинныхъ

РАССКАЗ Н. А. БЕСТУЖЕВА «ПОХОРОНЫ», ВПИСАННЫЙ Н. И. ЛОРЕРОМ В АЛЬБОМ, ПОДАРЕННЫЙ ИМ А. А. КАПНИСТ, 1866 г.

Лист первый

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

глазами собрание и увидел, что взоры всех были обращены на меня. Тут я только вспомнил, что нахожусь посреди большого света, где приличие должно замещать все ощущения сердца и где наружный признак оных кладет печать смешного на каждого несчастливца, который будет столько слаб, что даст заметить свое ⟨внутреннее⟩ движение. Признаюсь, к первой слабости я прибавил другую: мне стало стыдно, — я удалился в угол и, мало-помалу оправившись от замешательства, стал равнодушнее замечать, что предо мною происходило.

Но там ничего не происходило. Казалось бы, что этот обряд должен был сопровождаться чувствованиями, приличными сему торжественному действию, где смерть похитила у семейства супруга, отца, подпору, где каждый член осиротелой семьи внезапно потрясен печальною переменою образа жизни, милой привязанности, где скорбь так прилична, где слезы так необходимы. Но это с большим великолепием отправленное погребение было так же монотонно, как обед, бал или свадьба в большом свете. Супруга и дети покойного, по этикету, должны были оставаться дома; другие родственники, провожавшие гроб, не имели причин ни радоваться, ни печалиться; остальные поезжане или были приглашены также по этикету и с нетерпением ожидали конца похорон или любопытствовали видеть богатый гроб и пышность, окружавшую бренные останки человека большого света.

И так, ни в одном глазе не было слез; не было печального лица, какое-то убийственное равнодушие и холодность царствовали во всем этом сборе, который волновался, прибывал, убывал и не производил на душу никакого впечатления. Сначала по заботливости, с какою некоторые дамы обыскивали свои ридикюли, чтобы удостовериться, с ними ли скляночки спиртов и солей, я полагал, что печальная сцена не обойдется без обмороков, слез и других припадков женской чувствительности; но похороны миновались без всякого случая, подобного грозе, пронесшейся над городом, где много громовых отводов, молча выискивающих молнию, не давая ей разразиться. Думаю, что в самом деле спирты и духи служили сими отводами.

Наконец, обряд был совершен. Меня всегда утомляла эта торжественность, в которой никто никогда не принимает участия, как будто все сии приготовления делаются вовсе не для тех, кои на них приглашаются.

Я был рад, когда кладбище мало-помалу опустело, и я остался один между мертвых, столь же безмолвных и холодных, как люди того сословия, откуда я только что вырвался.

Долго ходил я между гробов и собирался идти домой, как вдруг сквозь ограду кладбища увидел что-то необыкновенное, привлекшее мое внимание, но чего я не мог рассмотреть, ибо начинало уже смеркаться—и движение черного предмета, попеременно скрывавшегося и появлявшегося из-за памятников и кустов, мешало определить образ оного.

Я был в самом отдаленном краю кладбища и, видя, что предмет моего любопытства приближается к воротам, сел на могилу в ожидании развязки; наконец оный показался, повернул ко мне и я увидел, что это были похоронные дроги со стоящим на них черным гробом. Лошадь была покрыта черною попоною; лошадью правил человек в черной же епанче, в большой шляпе с распущенными полями. За гробом не было никого, но когда дроги приближались, я увидел большую черную собаку, которая шла с опущенной головою и повисшими ушами, изредка оглядываясь на стороны, и боязливо поджимала хвост при малейшем шуме, производимом колесами повозки около кустарников или голосом кучера, ободрявшего тощую и уставшую лошаденку.

— Кого ты привез, любезный друг? — спросил я повозчика.

— Бедного старика, — отвечал он, — которого полиция хоронит от себя.

— Разве у него не было никого родных или знакомых?

— Никого, кроме этой собаки, которую я не могу отбить от гроба.

Эти слова поразили меня, я не мог отказать движению участия, взволновавшему мою душу, встал и пошел за гробом. Собака сначала отбежала на несколько шагов, но я кликнул ее и она, будто бы узнав мои внутренние побуждения, приблизилась опять и хотя не отвечала на мои ласки, но шла со мною рядом без боязни, изредка только помахивая хвостом, когда я время от времени хотел ее погладить.

Я привел себе на память утренние сцены, но мысли мои так были встревожены нечаянностью этой встречи, что я не мог себе дать отчета, нахожу ли сходство между теми и другими похоронами или вижу между ними какую-нибудь разность. Впрочем, мне было не до сравнений. Гроб подъехал к самому дальнему концу кладбища, где стояла маленькая избушка, из которой вышел навстречу могильщик; он узнал полицейского повозчика и с досадою сказал:

— Опять бедняк! От этих голяков только натираем мозоли без всякой выгоды, — и так поздно! Нельзя отдохнуть после дневного труда.

— Не печалься, добрый старик, — сказал я, выступая из-за гроба, — потрудись закопать этого покойника, он остался не без друзей и приятелей, я заплачу́ тебе за труд твой.

Могильщик в удивлении снял шляпу, повозчик обернулся ко мне, посмотрел с изумленным видом, ибо он не заметил, что я следовал за мертвым, слез с козел, и оба, ни слова не говоря, начали снимать гроб, поглядывая на меня искоса. Один взялся за лопату, другой хотел оборачивать лошадь, но я посулил ему на водку, если он поможет спустить гроб в могилу. Он покачал головою, сложил руки, оперся на дроги и в таком положении остался ждать конца действия.

Могила была вырыта, начали опускать покойника. Собака, стоявшая в одинаковом положении подле гроба, в эту минуту подняла жалостный вой, начала бегать кругом, наконец, спрыгнула в яму и, не взирая на усилия могильщика, не хотела оттуда вылезть. Если он хотел взять ее, она лаяла, грозила зубами, глаза ее горели, шерсть поднималась щетиной.

— Ударь ее заступом, — сказал повозчик, — пусть останется в одной могиле с хозяином: ведь он и сам умер, как собака.

— Боже сохрани! — сказал я с негодованием. — Я хозяин собаки с этой минуты — и никто не смей тронуть ее!

Но могильщику не нужно было увещания: ему стало жаль собаки. Он оперся на заступ, опустил голову на руки и с сожалением смотрел на нее.

— Что же мне делать, барин? — сказал он тихим голосом, по которому заметно было внутреннее его движение.

Я слез в могилу и старался приласкать собаку. Она не лаяла, не злилась за то, что я гладил ее, но когда ⟨я⟩ хотел ее брать, она поднимала такой страшный вой, что руки мои невольно опускались от ужаса. Наконец, мне удалось накинуть ей на шею петлею платок и вытащить ее из могилы.

Когда засыпали яму, бедное животное сделалось тише. Я заплатил обоим рабочим, велел могильщику выложить могилу дерном и хотя с трудом, но потащил собаку за собою, несмотря на ее визг и упорство. За кладбищем она успокоилась и вскоре я повел ее без сопротивления.

Если нравственные чувствования в человеке располагают людей в его пользу, если непритворная горесть, если скорбь несчастия заставляют нас принимать участие в разумном существе, одаренном душою чувствительною, долженствующею необходимо быть хранилищем сих ощущений, сколь более неожиданность встречи сих благородных свойств разительна в животном, которого грубый *инстинкт*, как называют его люди, простирается не далее потребностей самосохранения.

Конечно, инстинкт может научить собаку подавать платок, отыскивать потерянную вещь и делать множество других фиглярских затей, но не он научил ее любить даже до самоотвержения.

В этот и на другой день напрасно я старался обласкать и накормить нового знакомца; он лежал в углу, печально отвечал на мои ласки легким движением хвоста; часто подходил к запертой двери, и когда она отказывалась уступать его лапе, он с жалостным стоном опять ложился на старое место.

Я привязался чрезвычайно к этой собаке, придумывал разные способы, как бы ее заставить есть; наконец, уже на третий день мне пришло в голову сводить ее на могилу хозяина и там попробовать ее накормить. Истощавшая и слабая, она с радостным лаем бросилась за мною, бодро добежала до кладбища, но почти обессиленная и с знаками прежней горести легла подле свеже-сложенной дерновой могилы. С полчаса, как бы уважая ее горесть, я не смел начать моего испытания, но после, сев на могилу, положив ее голову к себе на колени и с обыкновенными ласками растворив ей рот, положил небольшой кусок мяса. Нельзя представить моей радости, когда я увидел, что она проглотила этот кусок! Я дал ей другой, третий, наконец, столько, что было довольно для ее подкрепления.

Коротко сказать, моя собака отказывалась всегда есть у меня дома, принимала пищу только на могиле и убегала всякий раз туда, как скоро находила возможность; но я не терял надежды мало-помалу приучить ее к себе, водил ее на могилу и, чтоб она не бегала туда без меня, запирал ее вверху в комнате, куда ходил сам.

Однажды я собрался вести в обыкновенное время моего пленника, к которому я более и более чувствовал привязанность, как один мой знакомый посетил меня с известием о некотором важном деле. Прогулка была отложена, я запер опять собаку вверху и занялся разговором. Важность предмета похищала минуту за минутою, несколько часов прошло, но материя не истощалась, — как вдруг услышали мы оба будто на улице что-то упало. Знакомец мой сидел подле окна и, выглянув, посмотрел во все стороны, но, ничего не видя, спокойно продолжал разговор; прошел еще час, пока мы кончили беседу, и когда он ушел, я в ту ⟨же⟩ минуту бросился наверх, зная тоску бедного животного, если урочное время проходило, и что же?.. В ужасе увидел только пустую комнату, в коей растворенное окно разительно объяснило мне загадку падения, слышанного нами во время разговора!..

Я выбежал на улицу, полагая, что невозможно сойти с места после такого скачка; но там ничего не было, кроме нескольких капель крови! Я побежал на кладбище.

И точно — верная собака дошла до кладбища, всползла на могилу, и когда я подошел к ней, она едва собралась с силами приподнять голову. Я не знал, что делать: оттирал ее, ласкал, но ни ласки, ни попечения не помогали. Через несколько минут она подняла голову, поглядела на меня такими глазами, выражение которых было значительнее тысячи слов, полизала мне руку — и умерла!..

Я прошу прощения у тех людей, которые найдут мой рассказ о собаке слишком долгим. Заключу тем, что, по-моему, нет памятника, более говорящего сердцу, как тот, который поставлен после сего на Немецком кладбище Васильевского острова Гансу Дитриху Гантвиху и на котором лежит мраморное изображение верной собаки...

ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА БЕСТУЖЕВА к П. А. ВЯЗЕМСКОМУ (1823—1825)

Публикация и комментарии К. П. Богаевской
Вступительная статья Н. Л. Степанова

Среди «фаланги героев», «богатырей, кованных из чистой стали с головы до ног»,— как назвал Герцен людей 14 декабря,— видное место занимает А. А. Бестужев (Марлинский), ближайший друг и соратник Рылеева. Наряду с Рылеевым, Раевским, Кюхельбекером и другими писателями-декабристами Александр Бестужев являлся пропагандистом передовых, свободолюбивых идей.

Блестящий прозаик, одаренный поэт, выдающийся критик и теоретик литературы, Бестужев оставил заметный след в русской литературе. Его разнообразная и плодотворная литературная деятельность была трагически оборвана событиями 14 декабря. Однако, несмотря на длительное тюремное заключение и тяжелые условия ссылки в далекой Сибири, а затем солдатской службы на Кавказе, Бестужев не прекращал своей творческой работы. За годы им был написан ряд наиболее известных его повестей, стихотворений, этнографических очерков.

I

Литературная деятельность будущего декабриста началась в 1818 г., когда он впервые выступил в журналах с переводами и критическими статьями. В 1820 г. его избрали членом Вольного общества соревнователей просвещения и благотворения. Знакомство в мае 1822 г. с Рылеевым, который, по свидетельству самого Бестужева, «пылким своим воображением» «увлекал» его, привело Бестужева в состав Северного общества. Принятый Рылеевым в январе 1824 г. в члены Тайного общества, Бестужев стал вскоре одним из наиболее видных его участников, горячо поддерживая Рылеева в борьбе с ликвидаторскими настроениями умеренной части Общества. Все поведение Бестужева в течение последнего, решающего года существования Северного общества свидетельствует об его активной, выдающейся роли в подготовке назревавших событий. Не менее важна и литературная деятельность Бестужева, осуществлявшего идейно-пропагандистскую программу Тайного общества. Критические статьи и повести Бестужева развивали и пропагандировали идеи гражданского патриотизма и воспитывали в духе передовых, революционных идеалов декабристов. Особенно большое значение имело издание декабристского альманаха «Полярная звезда».

Светские и служебные успехи молодого блестящего гвардейского офицера, адъютанта герцога Виртембергского, были своего рода прикрытием этой кипучей революционной деятельности. А. Бестужев все время находился в центре событий, он без колебаний присоединился к Рылееву в вопросе о революционном перевороте и свержении царя.

О серьезности и широте его политических взглядов свидетельствует и такой замечательный документ, как обращение к Николаю I, написанное Бестужевым во время следствия в Петропавловской крепости (в декабре 1825 г.). В «письме», являющемся по существу настоящим политическим трактатом, Бестужев дает глубокий анализ причин возникновения декабристского движения, проницательно и метко характеризуя экономическое и политическое состояние России, положение различных классов и сословий

на протяжении первой четверти века. Бестужев в своем трактате указал на решающее значение общенародного патриотического подъема в Отечественную войну 1812 года, знаменовавшего «начало свободомыслия в России». «Еще война длилась,— писал Бестужев,— когда ратники, возвратясь в дом, первые разнесли ропот в классе народа. „Мы проливали кровь,— говорили они,— а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь тиранят господа“». Бестужев рисует потрясающую картину угнетения помещиками крепостных, лихоимства, злоупотреблений и казнокрадства чиновников. Он говорит о росте недовольства политикой царизма среди самых разнообразных слоев населения: мещанства, купечества и передовых кругов дворянства. «Везде честные люди страдали, а ябедники и плуты радовались»,— заключает эту картину вопиющего произвола Бестужев. В своем письме он выдвигает целый ряд предложений и проектов, направленных на преодоление феодально-крепостнической системы и, что̀ особенно интересно и существенно, ряд мероприятий, открывающих путь капиталистическому развитию народного хозяйства.

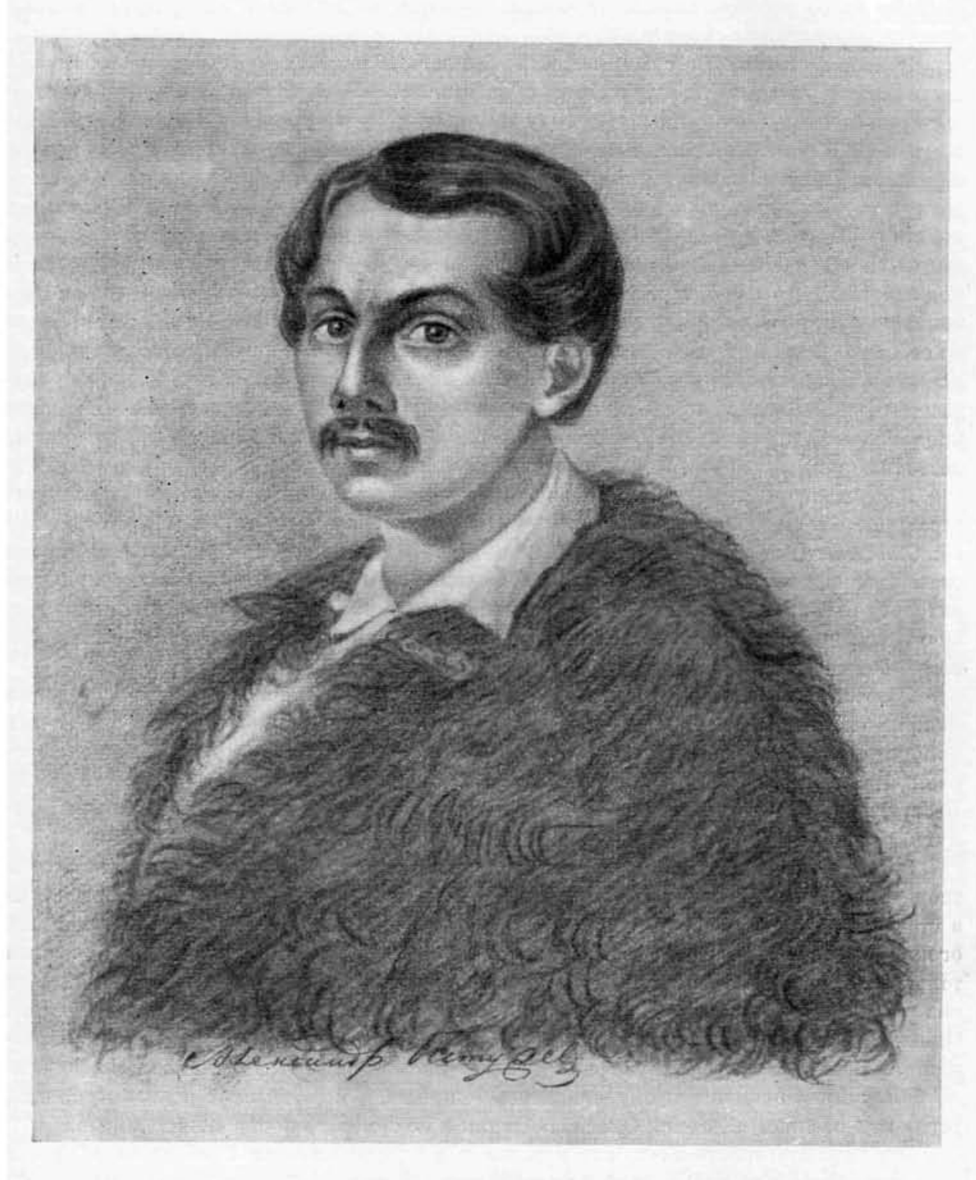
Весьма значительную и активную роль сыграл Бестужев в дни, предшествовавшие восстанию, вместе с Рылеевым проявив решительность и энергию как в обсуждении плана переворота, так и своим непосредственным участием в нем.

Бестужев привел на Сенатскую площадь Московский полк, распропагандированный его пламенной речью. Как видно из следственного дела, Бестужев 14 декабря «ходил по ротам Московского полка, говорил сильно и возбудил нижних чинов к мятежу». Убедившись в поражении восстания, Бестужев явился на гауптвахту Зимнего дворца и был на следующее утро заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. В донесении Следственной комиссии он обвинялся в том, что, «по собственному признанию, умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии, возбуждал к тому других; соглашался также и на лишение свободы императорской фамилии. Участвовал в умысле бунта привлечением товарищей и сочинением возмутительных стихов и песен. Лично действовал в мятеже и возбуждал к оному нижних чинов». Все эти обвинения довольно полно характеризуют революционную деятельность Бестужева, отнесенного в приговоре, наряду с важнейшими участниками восстания, к «первому разряду», то есть приговоренного к смертной казни. Лишь по прочтении приговора ему объявлена была царская «милость» — замена смертной казни двадцатилетней каторгой.

Около четырех лет провел Бестужев в заключении и ссылке в Сибири. В 1829 г. он был определен рядовым в Кавказский корпус. Однако эта новая «милость» мало облегчила судьбу писателя. Бесправное положение рядового в действующей армии, изнурительный климат, неусыпный полицейский надзор — все это подтачивало его надорванное здоровье. Единственным проблеском в этой кочевой и безрадостной жизни явилась для Бестужева возможность печататься, хотя ему пришлось скрыть свое имя под псевдонимом «Марлинский». В 1830 г. в «Сыне отечества» была напечатана его повесть «Испытание», за которой последовал ряд других повестей и очерков, вновь принесших широкую известность ссыльному писателю. Производство Бестужева в первый офицерский чин в конце 1836 г. за проявленную в боях храбрость, дававшее возможность оставить военную службу, не было утверждено Николаем I. На ходатайство Воронцова разрешить Бестужеву оставить военную службу для занятий «словесностью» царь ответил отказом. 7 июня 1837 г. Бестужев был убит в сражении около мыса Адлер. Наряду с Рылеевым, Пушкиным, Грибоедовым и Лермонтовым Герцен поместил Александра Бестужева в почетном и горестном мартирологе жертв николаевского царствования.

II

В литературной и общественной жизни двадцатых годов критическая деятельность Бестужева сыграла выдающуюся роль. Его знаменитые ежегодные обзоры в «Полярной звезде» на 1823, 1824 и 1825 гг. с особенной полнотой выражали взгляды декабристов и явились важными этапами в развитии русской критической



А. А. БЕСТУЖЕВ

Рисунок неизвестного художника, 1830-е гг.

Исторический музей, Москва

и эстетической мысли. В своих статьях Бестужев смело пропагандировал и развивал те общие принципы, которые были сформулированы в уставе Союза Благоденствия и сводились к требованию общественной, гражданской направленности литературы. Настаивая на ее воспитательном значении, декабристы видели в литературе мощное средство пропаганды своих идей.

В своих статьях Бестужев сочетал четкость и остроту критического анализа с постановкой важных теоретических проблем. Эстетические принципы революционного романтизма, положенные в основу его критических суждений, сводились прежде всего к требованию национальной самобытности русской литературы, к отстаиванию ее тесной связи с жизнью, выражению в ней передовых гражданственных идей. Бестужев резко выступал против «безнародности» тех писателей, которые пытались вместо обращения к русской жизни и к национальным истокам литературы следовать иноземным образцам. Восставая против преклонения перед иностранным, Бестужев подчеркивал, что каждая литература имеет свой национальный характер, свои особенности, которые должны уважаться и цениться: «...все образцовые дарования носят на себе отпечаток не только народа, но века и места, где жили они, следовательно, подражать им рабски в других обстоятельствах невозможно и неуместно. Творения знаменитых писателей должны быть только мерою достоинства наших творений». Чувство национальной гордости, требование, обращенное к писателям, создавать произведения, достойные своего народа, являются основой статей Бестужева.

Бестужев правильно оценил возросшую политическую и общественную роль литературы, особенно сказавшуюся в пору Отечественной войны 1812 года: «Тогда слова: *Отечество* и *слава* электризовали каждого. Каждый листок, где было что-нибудь отечественное, перелетал из рук в руки с восхищением». В противовес этому оживлению литературы в период войны общественное внимание к ней, по мнению критика, в последующие годы угасло, «ход словесности» замедлился, что и привело к «совершенному оцепенению словесности».

В обзорах «Полярной звезды» Бестужев выдвигал на первое место произведения Фонвизина, Крылова, Грибоедова, Жуковского и Пушкина, видя в этих писателях наиболее полное выражение гения русского народа и национального своеобразия русской литературы. В статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» (1823) Бестужев дает характеристику всей прошлой литературы, желая тем самым подчеркнуть, насколько широки и плодотворны традиции русской культуры.

Заслугой критика-декабриста является и та высокая оценка, которая дана была им творчеству Пушкина и Грибоедова. «Новый Прометей,— писал Бестужев о Пушкине в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России»,— он похитил небесный огонь и, обладая им, своенравно играет сердцами». Особенно высоко оценил Бестужев только что появившуюся поэму Пушкина «Кавказский пленник», сказав о ней, что она «блистает роскошью воображения и всею жизнию местных красот природы». Однако, несмотря на эту восторженную оценку творчества Пушкина, в своем понимании его Бестужев был все же ограничен принципами романтической эстетики. Особенно близкими и понятными ему оказались «южные», романтические поэмы Пушкина, тогда как реализм «Евгения Онегина» он так и не сумел до конца понять.

Эту ограниченность Бестужев преодолел в оценке комедии Грибоедова «Горе от ума», известной в то время лишь в рукописных списках. «„Горе от ума"— феномен,— говорит Бестужев,— какого не видали мы от времени „Недоросля". Толпа характеров, обрисованных смело и резко; живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах, невиданная доселе беглость и природа разговорного русского языка в стихах — все это завлекает, поражает, приковывает внимание». Подчеркивая жизненность характеров, «зеркальную» правдивость комедии Грибоедова, Бестужев во многом выходил за пределы своей романтической концепции искусства, хотя он так и не смог признать победы реализма, как начала нового этапа в развитии русской литературы.

Проницательную и глубокую оценку дал Бестужев и творчеству Крылова, увидав в его баснях выражение национального характера русской литературы и острую политическую сатиру. «...его каждая басня — сатира,— писал Бестужев в

«Полярной звезде» на 1823 г., — тем сильнейшая, что она коротка и рассказана с видом простодушия». Борясь за национальную самобытность литературы, Бестужев, как и другие декабристы, нередко отождествлял ее с национальной исключительностью. Тем более существенно отметить высокую оценку им передовых явлений западно-европейской литературы. Он с огромным уважением и восхищением говорит о «гениях всех веков и народов» — Шекспире, Мольере, Вольтере, Тассе («Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов»). Особый интерес представляет его восторженный отзыв о Байроне, вызванный смертью английского поэта (в письме к Вяземскому от 17 июня 1824 г.): «Мы потеряли брата, князь: в Бейроне, человечество — своего бойца, литература — своего Гомера мыслей». Бестужев подчеркивает, что этого «исполина» изгнали «клевета и зависть» из его отечества.

Деятельность Бестужева-критика высоко оценил Белинский, охарактеризовавший умение Бестужева остро и смело откликаться на литературно-общественные вопросы. Говоря о его «обозрениях» в «Полярной звезде», Белинский отмечал, что «от этих обозрений сыры-боры разгорались, поднимались страшные чернильные войны; обозрения давали жизнь литературе, — в них принимала жаркое участие даже и публика, не только сами литераторы». Этот темперамент критика и идейную целеустремленность политического борца Бестужев проявил как в критической деятельности, так и в своей переписке, во многом ее дополнявшей.

III

Существенной частью критической деятельности Бестужева является его переписка. В письмах он высказывается более откровенно и непосредственно, чем в статьях. Видное место в эпистолярном наследии Бестужева принадлежит его письмам к Вяземскому, публикуемым ниже.

Отношения Бестужева с Вяземским заслуживают особого внимания, знаменуя собой попытки декабристов привлечь к участию в Тайном обществе новых членов из среды передовых литераторов тех лет. В двадцатые годы Вяземский — один из наиболее близких к декабристам писателей. Друг Пушкина, М. Ф. Орлова и ряда других общественных и литературных деятелей, в той или иной мере связанных с декабристским движением, Вяземский в этот период во многом был близок и к их программным установкам. Убедившись в лицемерии политики Александра I и его «конституционных» начинаний, Вяземский проникся оппозиционными настроениями и весьма скептически и ядовито отзывался об Александре I и всей императорской фамилии в своих интимных разговорах и письмах. «Нас морочат и только; великодушных намерений на дне сердца нет ни на грош, — писал он в августе 1820 г. о царе А. И. Тургеневу. — Хоть сто лет он живи, царствование его кончится парадом, и только». Разочарование в конституционных планах Александра I все больше толкало Вяземского на сближение с декабристами, на переход от либерального салонного фрондёрства к более активным формам политического протеста. С наибольшей полнотой и определенностью эти настроения Вяземского сказались в стихотворении «Негодование» (1820), которое по одному из более поздних (1827) безыменных доносов называлось даже «катехизисом заговорщиков». «Негодование» Вяземского включается в круг таких близких декабристам поэтических деклараций, как «Вольность» и «Кинжал» Пушкина, послание «К временщику» Рылеева и др. В своих бичующих стихах Вяземский дает смелое обличение александровского режима:

Насильством прихоти потоптаны уставы;
С поруганным челом бесчеловечной славы
Бесстыдство председит в собрании вельмож.

В этом стихотворении Вяземский поднимался до декабристского пафоса, предвещая близящееся торжество свободы:

Он загорится день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной боязни.

Раздастся песнь побед, вам, истины жрецы,
Вам, други чести и свободы!

Вяземский сам распространял списки «Негодования» в письмах к близким ему лицам.

Оппозиционное настроение Вяземского этих лет сказалось и в ряде острых эпиграмм и в стихотворении «Петербург», которое из-за цензурных препон могло быть напечатано лишь в отрывке в «Полярной звезде» на 1824 г. В 1822 году Вяземский выступил и с программным предисловием к отдельному изданию «Бахчисарайского фонтана» Пушкина, в котором отстаивал принципы национально-романтической эстетики, близкие воззрениям декабристов. Таким образом, в годы, непосредственно предшествовавшие декабрьским событиям, Вяземский во многом сближался с декабристами, хотя и тогда едва ли его можно было считать «декабристом без декабря». Республиканские планы декабристов, их программа широких демократических реформ и, в особенности, решение осуществить вооруженный переворот были чужды Вяземскому. В дальнейшем, после разгрома декабристов, начиная с конца 20-х годов, Вяземский проделал эволюцию вправо, завершив ее переходом в правительственный лагерь.

Знакомство Бестужева с Вяземским состоялось в феврале 1823 г., во время пребывания Бестужева в Москве. В записях о поездке в Москву, имеющих характер дневника, Бестужев в первые дни отмечал «знакомство с Вяземским». Имя Вяземского неоднократно встречается и в последующих московских записях Бестужева, свидетельствуя о частых встречах и беседах между ними. Эти личные встречи делают весьма правдоподобным предположение, что поездка Бестужева имела целью наладить связь с прогрессивными кругами Москвы, в частности с Вяземским. Хотя сам Бестужев был принят в Тайное общество позже (в январе 1824 г.), но с начала 20-х годов его близость с Рылеевым и сотрудничество с ним по редактированию «Полярной звезды» делали Бестужева одним из литераторов, близких к Обществу и в той или иной мере выполнявших его поручения. Разговоры Бестужева с Вяземским в Москве, вероятно, не ограничивались лишь литературными темами. Вспоминая через много лет свои отношения с декабристами, Вяземский писал, стремясь реабилитировать себя в отношении связей с декабристами: «Мне говорили после, что Якубович и Александр Бестужев были откомандированы в Москву, чтобы меня ощупать и испытать. Они у меня обедали. Разговор коснулся и немцев в России. В продолжение споров я сказал наотрез, что не разделяю этих lieux communs*, которые в ходу у нас». Речь здесь идет, однако, о вторичном приезде Бестужева в Москву в конце апреля 1825 г., когда Бестужев был в Москве одновременно с А. И. Якубовичем и вновь встретился с Вяземским. Именно в это время, будучи уже членом Тайного общества, Бестужев пытался привлечь в Общество и Вяземского. Об этой поездке Бестужев сообщал в письме к Рылееву от 12 мая 1825 г. Во всяком случае непосредственным результатом первой поездки Бестужева явилось привлечение Вяземского к участию в «Полярной звезде». «Пишите ко мне, пишите для публики, для „Полярной звезды"»,— призывал Бестужев Вяземского в письме от 23 мая 1823 г., вскоре по возвращении в Петербург. Самый тон и характер этой переписки Бестужева с Вяземским, относящейся к 1823—1825 гг., свидетельствует о том, что общий контакт был между ними установлен. Это переписка людей во многом сходящихся в оценке общественных и литературных явлений. Естественно, что обоим корреспондентам приходилось соблюдать сугубую осторожность в переписке, просматривавшейся полицией, и, упоминая о вопросах политического порядка, прибегать к отдаленным и туманным намекам. В письмах Бестужева его прямые указания на тяжесть «почтового красноречия», следовательно он знал что-то о внимании полицейских властей к его переписке. Но и эти намеки характерны, так как они являлись продолжением разговоров, которые велись при личных встречах. Так, в первом же письме из Петербурга Бестужев как бы между строк сообщает: «Манюэль занимает многих, а парады — почти всех...». Учитывая, что как раз в это время Манюэль,

* общих мест (франц.)

ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА:

Взглядъ на Рускую словесность въ теченіи 1823 года.

Въ старину, науки зажигали свѣтильникъ свой въ погасающихъ перунахъ войны, и цвѣты краснорѣчія всходили подъ тѣнію мирныхъ оливъ. Въ наши времена, когда состояніе ученаго и воина не сливается уже въ одну черту, мы видимъ совсѣмъ противное: Топографъ и Антикварій повѣряютъ свои открытія подъ знаменемъ браннымъ; громъ отдаленныхъ сраженій одушевляетъ слогъ авторовъ и пробуждаетъ праздное вниманье читателей; газеты превращаются въ журналы и журналы въ книги; любопытство растетъ, воображенье недовольное существенностью, алчетъ вымысловъ,

1

Печатать.
А. Бестужев.

публикѣ; впрочемъ надобно и то сказать, что Руской языкъ, подобно Германскому въ XVIII вѣкѣ, возвышается нынѣ, не смотря на неблагопріятныя обстоятельства. Теперь ученики пишутъ такимъ слогомъ, котораго самые Геніи сперва рѣдко добывали, и теряя въ численности твореній, мы выигрываемъ въ чистотѣ слога. Одинъ недостатокъ — у насъ мало творческихъ мыслей. Языкъ нашъ можно уподобить прекрасному усыпленному младенцу: онъ лепечетъ сквозь сонъ гармоническія звуки, или стонетъ о чемъ-то; — но лучъ мысли рѣдко блуждаетъ по его лицу. Это младенецъ говорю я, но младенецъ-Алкидъ, который въ колыбели еще удушалъ змѣй! — И вѣчноли спать ему?

P. S. Лишь теперь вышло въ свѣтъ: *Путешествіе около свѣта*, Г. Головнина. Первая часть онаго посвящена разсказу и описаніямъ, истинно романическимъ; слогъ оныхъ проникнутъ занимательностію, дышетъ искренностію, цвѣтетъ простотою. Это находка для моряковъ и для людей свѣтскихъ. Еще спѣшимъ обрадовать любителей поэзіи: маленькая и какъ слышно и какъ несомнѣнно, прекрасная Поэма А. Пушкина: *Бахчи-Сарайской фонтанъ*, уже печатается въ Москвѣ.

Александръ Бестужевъ.

ЛИСТЫ ВЕРСТКИ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» НА 1824 г. С АВТОРСКОЙ ПРАВКОЙ А. А. БЕСТУЖЕВА ЕГО СТАТЬИ «ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1823 ГОДА»

Листы первый и последний.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

глава либеральной оппозиции во французской палате депутатов, выступил с речью, истолкованной как панегирик революции 1793 г., и был исключен из палаты, — интерес «многих» к этому политическому событию, противопоставленный увлечению парадами в придворных кругах, весьма характерен.

Бестужев нередко касается в письмах столь острых политических тем, что его намеки приобретают недвусмысленный характер. Так, в письме от 5 сентября 1823 г., спрашивая Вяземского о московских новостях в связи с приездом в Москву Александра I, Бестужев с едкой иронией замечает: «Теперь государь осчастливил москвичан своим воззрением—и кривой рог изобилия опрокинулся над великими тузами. Веселее ли от того Москва?— сказывают здесь, что Голицын для показу государю велел всем отставным выбрить усы насильно, чтобы дать им европейский вид?— О просвещение! если это правда, даже если и неправда, то выдумка стоит России». Такие полные горечи, негодующие признания, выдающие оппозиционные настроения Бестужева, часто встречаются в его письмах. Так, в письме от 17 июня 1824 г., откликаясь на живо заинтересовавшее его предложение Вяземского о «составлении общества для издания книг», Бестужев с грустной иронией говорит о полной невозможности такого предприятия в России: «Оглянитесь кругом себя и кого найдете Вы помощниками радушными?». Не видя сил, которые могли бы поднять такое большое дело, Бестужев напоминает и о цензурных рогатках.

Письма Бестужева к Вяземскому наглядно рисуют и ту борьбу, которую приходилось вести писателям-декабристам с представителями литературной реакции. Бестужев выступает против реакционных эпигонов классицизма, группировавшихся в Петербурге вокруг кн. Цертелева, а в Москве — вокруг «Вестника Европы», возглавлявшегося в те годы Каченовским. Журнал Каченовского к этому времени стал оплотом литературной и политической реакции. Однако реакционный характер деятельности Каченовского Бестужев разглядел не сразу, находя в нем «кой-какие литературные заслуги» (письмо от 28 января 1824 г.). Лишь под влиянием писем Вяземского и, главным образом, полемики, возникшей по поводу его предисловия к «Бахчисарайскому фонтану», в которой особенно явно выразилась консервативная позиция «Вестника Европы», Бестужев решительно и резко осудил Каченовского. В письме от 1 марта 1824 г. Бестужев с негодованием отзывается о критике Каченовского на «Полярную звезду», видя в его статье «созвездие глупости, мерзости и дурного вкуса». В письме от 7 мая 1824 г. Бестужев дал непримиримо-отрицательную оценку реакционным эпигонам классицизма, замечая по поводу полемики Вяземского с М. Т. Каченовским и М. А. Дмитриевым, разгоревшейся после выхода предисловия к «Бахчисарайскому фонтану»: «Бой Ваш с классиками много занимал меня, ответы Ваши радовали, но скажу правду — эти животные не стоили ответа; им правда и ум, как к стене горох».

Уже первое письмо Бестужева свидетельствует об активной роли его в Вольном обществе любителей российской словесности, издававшем журнал «Соревнователь просвещения». Положению в Обществе «левого», прогрессивного крыла литераторов, возглавлявшегося декабристами Ф. Н. Глинкой и Рылеевым, и борьбе их с реакционной группировкой Бестужев посвящает довольно много места в письмах к Вяземскому. Декабристы и близкие к ним писатели рассматривали Вольное общество как один из легальных филиалов Союза Благоденствия, а затем Северного общества, стараясь направить литературную деятельность Вольного общества на путь пропаганды декабристских и вообще прогрессивно-патриотических идей.

Письма Бестужева полны забот об издании «Полярной звезды». Бестужев неоднократно сообщает Вяземскому о необходимости привлечь новых сотрудников, чтобы сделать издание идейно и художественно значительным. Так, в письме от 5 апреля 1823 г. он просит Вяземского помочь ему получить материалы для альманаха от поэта-партизана Дениса Давыдова и молодого поэта Ознобишина, а также просит Вяземского прислать его собственные произведения. Письма Бестужева свидетельствуют о том, как упорно декабристы привлекали в «Полярную звезду» лучшие передовые литературные силы двадцатых годов. Вместе с тем переписка его с Вяземским демонстрирует, в каких трудных условиях, в обстановке какого цензурного

гнета приходилось осуществлять издание альманаха. Жалобами на цензуру полны многие письма Бестужева. Несмотря, однако, на все эти издательские трудности, несмотря на цензурные запреты, сокращения и искажения публикуемых материалов, выход каждой книжки «Полярной звезды» становился подлинно литературным событием. «Нынешняя „Звезда“ у нас разошлась в 3 недели до одного экз⟨емпляра⟩»,— сообщал Бестужев Вяземскому 28 января 1824 г.

Подготовляя издание «Полярной звезды» на 1825 г., Бестужев высказывает Вяземскому свои опасения по поводу ее содержания и негодует на происки Воейкова, напечатавшего в своем журнале «Новости литературы» отрывки из «Братьев разбойников» Пушкина, переданных поэтом для «Полярной звезды». Стремясь сделать «Полярную звезду» влиятельным и популярным изданием, Бестужев ревниво относится к другим альманахам, вроде «Северных цветов», издававшихся Дельвигом, опасаясь ухода из «Звезды» ее наиболее видных сотрудников. В письме к Вяземскому от 20 сентября 1824 г., жалуясь на Дельвига как издателя «Северных цветов», Бестужев даже говорит, что может быть придется отложить издание «Полярной звезды» на 1825 г. «до времен более благоприятных, чем нынешние, хотя,— добавляет он,— и не хочется сойти с поля без бою». Однако эти слова рассчитаны были прежде всего на то, чтобы побудить Вяземского прислать для «Звезды» стихи и получить материал у ряда московских писателей. Письма Бестужева наглядно показывают, какую настойчивость и энергию приходилось проявлять издателям «Звезды», чтобы сделать свой альманах идейно и художественно полноценным и содержательным. Поэтому так сильно задет был Бестужев замечанием Вяземского, что «Полярная звезда» на 1824 г. «не имеет блеска прошлогодней», так как в ней якобы «много детского лепетания» и «мало мыслей».

В ответном письме от 28 января 1824 г. Бестужев с горечью упрекает цензуру, которая «обрезала наши червонцы, а многие медали и вовсе выбросила вон»; в частности, это относилось и к стихам Вяземского, переданным им для альманаха, что и вызвало негодование их автора. Бестужев предстает здесь как поборник идейной, активно воздействующей на общество литературы, как теоретик декабристского революционного романтизма.

В письмах Бестужева к Вяземскому проходит литературная жизнь 1823—1825 гг. Бестужев упоминает о событиях этих лет, дает оценки литературным произведениям, как мы уже упоминали, со скорбью откликается на смерть Байрона. Особенно большой интерес представляют его высказывания о Пушкине, Грибоедове, Рылееве, Крылове, Жуковском. Несмотря на то, что в «Полярной звезде» печатались произведения Жуковского, Бестужев в письмах говорит с иронией о том, что «пудра стала его стихия», намекая на близость Жуковского ко двору, сурово осуждавшуюся декабристами (письмо от 1—18 января 1824 г.). Многократные упоминания о Пушкине, находившемся в эти годы вне Петербурга (сначала в южной ссылке, затем в Михайловском), почти все связаны с получением его произведений для «Полярной звезды», объединившей уже в 1823 г. крупнейших писателей прогрессивного лагеря.

Пушкин и его творчество занимают одно из центральных мест в критических статьях и письмах Бестужева. Он приветствовал появление романтических поэм Пушкина, в особенности выделив «Цыган», в которых, по его словам,— гений Пушкина, «откинув всякое подражание, восстал в первородной красоте и простоте величественной». Однако положительно отозвавшись о первой главе «Евгения Онегина», Бестужев, недооценил последующих, в которых особенно полно проявился реализм Пушкина.

В целом критическая деятельность Бестужева оставила заметный и глубокий след в развитии русской критической мысли своим утверждением национального характера русской литературы, требованием ее идейной, передовой направленности.

Публикуемые здесь письма А. А. Бестужева к Вяземскому насыщены большим количеством общественных и литературных фактов, изобилуют меткими и острыми оценками современной литературной жизни, дают наглядное представление о характере литературно-эстетических взглядов критика-декабриста и несомненно займут видное место в его критическом и эпистолярном наследии.

1

⟨Петербург. 21 марта 1823 г.⟩

Ваше сиятельство,
князь Петр Андреевич,

С грустью расстался я с Москвою, которая красна для меня стала дружеством Вашим[1]. Я уехал неожиданно, чтоб не грустить ⟨в⟩ минуту решительности — иначе долго б, долго б не собрался я выбраться из любезного Вашего круга. Не скажу Вам ничего о дороге, потому что не люблю вспоминать неприятного и еслиб не боковые мои клавикорды, то я бы навечно выключил 4-ри ⟨!⟩ сутки пути из жизни и памяти. Зато шехерезадин мой сон в Москве никогда не запомнится ⟨!⟩! — В Петербурге очень скучно и *сухо*. Манюэль[2] занимает многих, а парады почти всех; я же не могу еще оглядеться и потому до сих пор ничего не делал. — В обществе соревнователей на 6-й неделе будет публичное заседание, меня просили написать что-нибудь повеселее, и от этого я в большом затруднении — по приказу трудно забавничать. Хочу написать что-нибудь вроде вечера на биваке, не знаю только как то удастся! — Не пришлете ли Вы чего-нибудь? Общество просило меня замолвить о том перед Вами[3].

Обдумывая план поездки своей в татарский Рим Ваш, я вижу, что это — дело не легкое: описывать общество — весьма щекотливо, потому что, хваля его беспрестанно, наскучишь, а приправлять анекдотами и странностями — беда. Далее историческая сторона картины хороша, но что скажешь после Карамзина? да и многие ли охотники до истории! — придется лепить мозаик из посторонних предметов, как видно, и только клеить его московскою мастикою[4].

Сделайте одолжение, князь, засвидетельствуйте мое искреннее уважение Ивану Ивановичу Дмитриеву, которого доброту и благосклонность, столь сродную талантам великим, я чувствую вполне, хотя и не умею выражать ее, — у меня для дружбы и признательности есть только чувства, а не слова. При случае мой поклон Жихареву[5], Гагарину[6], В. Л. Пушкину и всем, кого любите Вы сами. О прочем напишу на днях, ибо теперь спешу к генералу[7]. Будьте здоровы, и веселы, и счастливы, и успешны.

Весь Ваш Александр Бестужев

1823. Марта 21-го дня.

Все публикуемые здесь письма Бестужева печатаются по автографам, сохранившимся в Остафьевском архиве Вяземских (ЦГЛА, ф. № 195, ед. хр. 1450, лл. 1—31 и ед. хр. 5084, т. III, лл. 111—112), кроме письма № 3, находящегося в Отделе рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

Даты писем и названия мест, откуда они были посланы, унифицированы нами.

[1] Бестужев был в Москве с двадцатых чисел февраля по 13 марта 1823 г. К этому времени относится и его знакомство с Вяземским (см. записки Бестужева о поездке в Москву в 1823 г. — «Памяти декабристов», I, стр. 56—59). До личных встреч Бестужев еще 27 декабря 1822 г. вместе с Рылеевым обращался к Вяземскому с просьбой участвовать в «Полярной звезде» на 1824 г. (см. «Лит. наследство», т. 59, 1954, стр. 138—140).

[2] Жак-Антуан Манюэль (Manuel, 1775—1827) — французский политический деятель, глава либеральной оппозиции в Палате депутатов, друг Беранже, не раз воспетый последним. 26 февраля 1823 г. Манюэль выступил в Палате депутатов с протестом против вмешательства Франции в гражданскую войну в Испании. Эта речь была истолкована как панегирическое воспоминание о революции 1793 г. Манюэль был обвинен в оправдании цареубийства и исключен из Палаты 3 марта он был выведен из нее жандармами, что послужило поводом для большой антиправительственной демонстрации в Париже. Известия об этом событии появились в петербургских газетах в двадцатых числах марта («Le conservateur impartial», 1823, №№ 20—22 от 9, 13 и 16 марта н. ст.). Подробное сообщение о речи Манюэля было опубликовано в «С.-Петербургских ведомостях» 20 марта. Смелое выступление французского депутата не могло не взволновать русское передовое общество и в первую очередь — будущих декабристов.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ИЗДАТЕЛЕЙ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» П. А. ВЯЗЕМСКОМУ НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ АЛЬМАНАХА НА 1825 ГОД

«Князю Петру Андреевичу Вяземскому от издателей»

Автограф А. А. Бестужева

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

[3] О заседании в Вольном обществе любителей российской словесности см. письмо от 23 мая 1823 г. (№ 3).— Повесть «Второй вечер на бивуаке» Бестужев на заседании не читал, а напечатал в «Соревнователе», 1823, ч. XXIII, кн. I, стр. 3—28.

2 апреля ‹1823 г.› Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Если встретишь полярного Бестужева, скажи ему, чтобы он отдал две мои басни, взятые им у меня, в Общество соревнователей для какого-то торжественного заседания, я ему дам что-нибудь другое для будущей „Звезды“» («Ост. архив», т. II, стр. 308).

[4] О поездке в Москву Бестужев не написал ничего.

[5] Степан Петрович Жихарев (1788—1860) — литератор и театрал, член «Арзамаса», впоследствии мемуарист.

[6] Гагарин — один из братьев В. Ф. Вяземской: Василий Федорович (ум. в 1829 г.; см. о нем письмо № 14) или Федор Федорович (1786—1863) — участник Отечественной войны 1812 г., член Военного общества, привлекавшийся к следствию по делу 14 декабря.

[7] Генерал — Августин Августинович Бетанкур (1758—1824), генерал-лейтенант, директор Института корпуса инженеров путей сообщения. Бестужев с 5 мая 1822 г. состоял адъютантом при Бетанкуре. По словам Греча, Бестужев увлекся дочерью Бетанкура, но отец не допустил их брака (Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.— Л., 1930, стр. 474).

2

‹Петербург. 5 апреля 1823 г.›

Ваше сиятельство,
князь Петр Андреевич,

Третьего дни Александр Иванович Тургенев обрадовал меня новостью о рождении Вам сына[1], а нам — будущего товарища. Сердечно поздравляю и Вас и супругу Вашу, а желания мои благополучия новорожденному выскажу я шёпотом по приезде в Москву; надеюсь, что судьба не сглазит его до первого нашего свидания.

Литературных новостей в Петербурге совсем нет, а сплетней очень много. У Жуковского большое горе — сестра его Марья Андреевна умерла в Дерпте, и он приехал туда в день самых похорон[2]. Сказывают, это произвело на него ужасное впечатление, и кто, знавши его, тому не поверит! — Если Вы любопытны к новостям дворским, то я скажу Вам, что князь Волконский едет к водам за границу, князь Меньшиков и Закревский тоже[3]. Уменьшение армии уже в ходу; впрочем, все идет так же хорошо, как и прежде.

Прилагаю здесь Фон Визина «Кориона», которого пожертвовал я Обществу года за два; но усерднейше прошу князя приказать его списать, а оригинал прислать обратно[4]; с меня его вскорости потребуют и не дадут жить на белом свете, если оный затеряется. В обмен на эту кожаную древнюю монету мы с Рылеевым надеемся получить от Вашего сиятельства несколько новых монет с новым штемпелем таланта. Впрочем, и без того я считаю вас должником «Полярной звезды», вследствие Вашего обещания — и в этом случае я буду самым набожным заимодавцем, а сроки выходят[5]... à propos des poésies*, князь, постарайтесь прочесть ваше московское произведение Алекс. Дмитриева «Credo» на Волкова, которое начинается так: «Я верую, что он по глупости один»[6],—пресмешная вещь, но здесь в письме ее нет, а я незнаком был с цитатором и потому она ускользнула от копировки. Еще пощупайте молодого стихотворца, едва у Вас известного,— это Ознобишин. У меня есть две его прелегкие штучки из Парни. Внимание Ваше ободрит его, да и мы уверимся, можно ли от него чего-нибудь дождаться[7].— Денису Васильевичу замолвите словцо об обещанном[8],— я уже начал было пиеску «*Партизанский привал*»[9], но за недостатком материалов остановился.— Простите, князь, что я бременю Вас просьбами — это в полной уверенности, что Вы по любви своей к литературе и, смею надеяться, по приязни к новому знакомцу, тем не поскучаете.— Последняя моя просьба будет — дружеский привет Федору Толстому[10].

Московские красавицы иногда снятся мне.— Графиня (князь отгадает которая[11]) занимает в снах моих не последнее место, и это смешение старого с новым погружает меня в какое-то раздумье и лень, поверите ли до того, что я разучился писать, не говорю уже вязать свои идеи формами. Глупая должность убивает утренники мои и так проходит время[12]. Часы стоят, а месяцы — бегут. В Москве было иное!

Здравие и радость князю; этого желает преданный Вам душою

Александр Бестужев

С. Петерб‹ург›
5 апреля 1823.

[1] 28 марта 1823 г. у Вяземского родился сын Петр (ум. 18 апреля 1826 г.). Об этом см. письмо Вяземского к А. И. Тургеневу («Ост. архив», т. II, стр. 306).

[2] Марья Андреевна Мойер, рожд. Протасова (1793 — 18 марта 1823 г.) — племянница и предмет многолетней любви Жуковского.

[3] Бестужев имеет в виду удаление из Главного штаба всех противников Аракчеева: кн. П. М. Волконского (1776—1852) — начальника Главного штаба, кн. А. С. Меншикова (1787—1869) — директора канцелярии Главного штаба, А. А. Закревского (1786—1865) — дежурного генерала Главного штаба. Об этом же А. И. Тургенев писал Вяземскому 6 апреля 1823 г. («Ост. архив», т. II, стр. 310). Об отношении Бестужева и Рылеева к названным лицам см. в статье Ю. Г. Оксмана «Агитационная песня „Царь наш—немец русский“» в 59-м томе настоящего издания (стр. 72, 74, 82).

[4] «Корион» — перевод Фонвизина комедии Грессе «Сидней». Вяземский 10 мая вернул рукопись Бестужеву (см. «Русская старина», 1888, № 11, стр. 316).

[5] В апреле—мае 1822 г. Рылеев от своего и Бестужева имени обращался к Вяземскому с той же просьбой (см. «Лит. наследство», т. 59, 1954, стр. 138—140). — Об участии Вяземского в «Полярной звезде» на 1824 г. см. прим. 8 к письму № 6.

* кстати, о стихах (франц.).

[6] В стихах А. Дмитриева высмеивался А. А. Волков, сотрудник «Московского телеграфа», являвшийся, очевидно, предметом насмешек в кругу литераторов. 25 мая 1825 г. С. Д. Нечаев писал Бестужеву: «...пусто, как в голове поэта Волкова» («Русская старина», 1888, № 12, стр. 593). Упомянутое «Credo» Дмитриева в печати неизвестно.

[7] Дмитрий Петрович Ознобишин (1804—1877) — поэт и переводчик, сотрудник журналов и альманахов 1820—30-х годов.

[8] Бестужев познакомился с Д. В. Давыдовым в Москве тогда же, когда и с Вяземским (см. прим. 1 к письму № 1). В «Полярную звезду» на 1824 г. Давыдов ничего не прислал.

[9] Произведение Бестужева с таким названием до нас не дошло.

[10] Федор Иванович Толстой, по прозвищу «Американец» (1782—1846) — приятель Вяземского, высмеянный в «Горе от ума» Грибоедова, в эпиграмме Пушкина «В жизни мрачной и презренной...» и в послании «К Чаадаеву». Вяземский в 1818 г. написал послание «Ф. И. Толстому». Бестужев познакомился с Толстым в Москве 23 февраля 1823 г. (см. «Памяти декабристов», I, стр. 56).

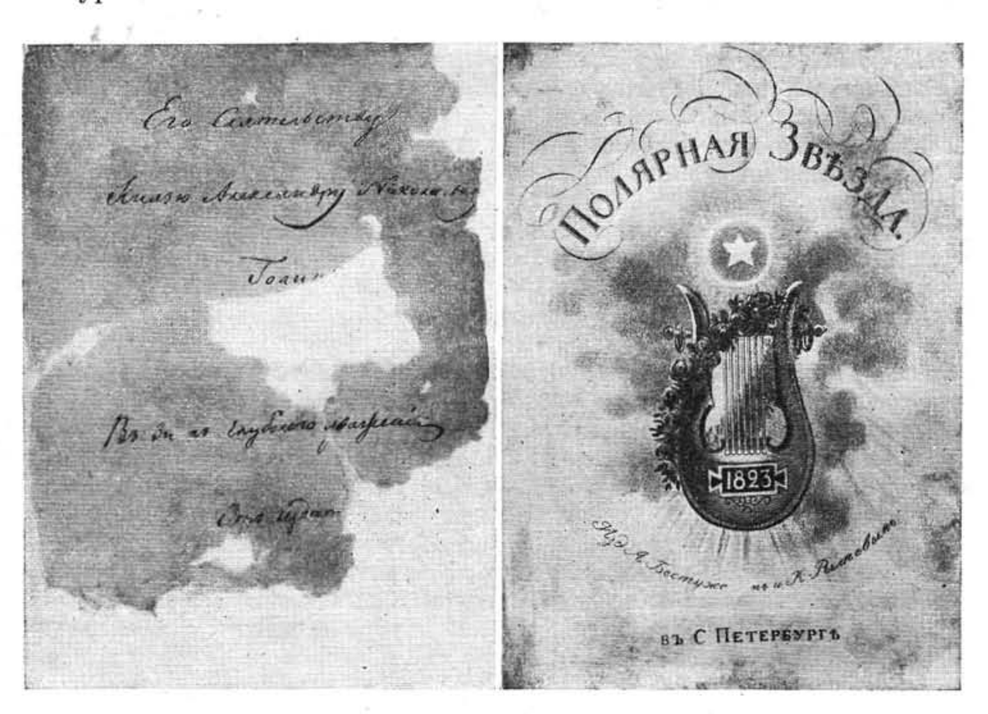
[11] Возможно, что Бестужев имеет в виду А. П. Кутайсову — см. о ней прим. 16 к письму № 7.

[12] О должности Бестужева см. прим. 7 к письму № 1.

3

〈Петербург. 23 мая 1823 г.〉

Простите меня, любезнейший князь из всех знакомых мне князей, что давно не писал к Вам; тому причиной было публичное заседание Общества. Я поджидал окончания, чтобы рапортовать Вам об успехе; теперь начинаю, хотя и не от яиц Леды, хотя и не от яиц прошедшей святой недели, но почти с того же — с предуготовительных собраний, которые были весьма бурны.



«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» НА 1823 ГОД. ЭКЗЕМПЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ИЗДАТЕЛЕЙ А. Н. ГОЛИЦЫНУ

«Его сиятельству князю Александру Николаевичу Голицыну. В знак глубокого уважения от издателей»

Автограф А. А. Бестужева

Надо Вам сказать, князь, что у нас в Обществе, бог весть отчего, завелись партии. Гнедич, которого сменили с вице-президентства, есть посеребренная пружина первой. Он посредством Дельвига и Плетнева, как сквозь решето, просевает слухи, которые отравляются, пройдя змеиный рот Воейкова. Следствием оных было неудовольствие Ф. Глинки на Греча и на Общество, которые, как он думает, желают его затмения[1]. Другая партия есть партия положительного безвкусия; у ней голова — князь Цертелев[2], а хвост (тела нет) — Борис Федоров[3] и еще два или три пополззня. Есть и цензурные или, лучше сказать, полицейские партизаны, именно — Воронов[4]; прочие суть благомыслящие гласные, полугласные и без слов. Число последних статистов, как водится, есть наибольшее.

Сперва споры были — назначить или не назначать публичного чтения. Тому иные противились, потому что сами ничего не сделали; другие сомневались, сделают ли что-нибудь путное остальные; но как всякий из званных хотел попасть в избранные — большинство решило: назначить. Пошел перебор пьес. Я предложил между прочими и Ваш отрывок из биог р⟨афии⟩ почтенного нашего поэта И. И. Дмитриева, но как рукопись была в цензуре, он до последнего заседания не был читан[5]. В последнее я предложил Обществу исключить из числа назначенных для чтения пьес разбор од Державина Цертелевым, чистый вздор, где, кроме: *прекрасно, неподражаемо, божественно*, забавного было одно имя сочинителя[6]. Но чтоб не показать пристрастия — и свой «2-й вечер на бивуаках». Цертелев вóззрился, шумел, защищал красоту своей пьесы, восстав против неформы суда, однако ж шары покатились и он слетел кубарем. — Вслед за этим Греч читал Ваш отрывок. Цертелев воскликнул против неформы, говоря, что теперь уже поздно назначение, но я доказывал неправоту, Греч настоял в исполнении и пьеса избрана была 19-ю против 4-х. Собрание исполнилось 22-го мая, т. е. вчера, в зале Державиной. Народу было много, мелькали и звезды, и перья, и султаны, — чтение началось в $7^1/_2$ часов. Греч изложил во введении занятия и цель Общества и кончил благодарностию Общества председателю, который по болезни* не мог теперь присутствовать.

Булгарина статья была очень занимательна, однакож у нас еще не умеют ценить исторических занятий. Туманскому аплодировали и стóит; были звонкие стихи и новые картины. Корнилович всем понравился, его читал мой брат очень внятно. Рылеева «Ссыльный» полон благородных чувств и резких возвышенных мыслей, — принят с душевным ободрением. Никитин читал Вашу статью — она всем полюбилась и потому, что просто высказана, и потому, что любят героя оной. Рукоплескали. Я прочел Пушкина маленькую пьеску: «Прощание с жизнию». Пушкин — везде Пушкин. Лобанова перевод из «Федры» — хорош, Борис Федоров — гадок, словесный вор и чтец преотвратительный — не знаю, как и когда прошла сквозь оппозицию его пьеса. — В заключении Измайлов смешил более своею тушею, чем стихами. Но вообще публика была довольна очень и все прошло прекрасно. Просят поскорее еще[7].

Вот, любезный князь, вести об заседании; теперь пойдут кумовства и весточки. — Просьба или, лучше сказать, жалоба Ваша лежит у министра «*чающа движения воды*»[8], но ни один ангел не сходит возмутить ее. Даже А⟨лександ⟩р Ив⟨анови⟩ч Тургенев ничего не делает; а цензура делает свое. Замечания ее на пьесу Олина классической глупости и варварского деспотизма[9]. Критика Ваша на Булгарина прекрасна и здесь ходит по рукам прежде растления, хотя я и не совсем согласен, но и силою доказа-

---

* Вообразите, князь, что предложение благодарности Ф. Гл⟨инке⟩ нашло противников в Обществе. Но левая (т. е. правая) сторона восторжествовала; он теперь не был из каприза, но со всем тем Общество обязано ему благодарностию за труды и согласие, а за редкий его нрав — уважением. Гнедич с причетом не был тоже.— *Прим. Бестужева.*

тельств и слогом Вашим доволен как нельзя больше, и больше гораздо прежнего[10]. Она пропущена, разумеется, с некоторыми пропусками. — Ваше послание зацепил к⟨нязь⟩ Цертелев, человек, как видно из его творений, ничтожный, с лубочным вкусом, а, как заметно из его поступков и мнений, — способный на всякое низкое дело[11]. Он малороссиянин. — Измайлов, как видно, хотел иронизировать цензуру, да сам, обрезанный ею, напечатал ей акафист; простите ему это невольное прегрешение — он, право, добрый человек[12]. — Впрочем, кроме приказов Уварова, здесь нет никаких литературных новостей[13].

Я стыжусь говорить о себе — ничего не делая, ни о чем не заботясь. — Генерала своего я уже оставил дней 12-ть [14]. Ищу другого места, потому что вступать во фронт не охотник, да и кому охота жить с конями и с лошадиными офицерами! Эта нерешительность вредит мне — и я веду каждый день до вечера.

Благодаря Вас, князь Петр Андреевич, за письмо Ваше[15], прошу удостоить повторениями; каждое из них мне подарок. Пишите ко мне, пишите для публики, для «Полярной звезды». Она уже формируется. Будьте счастливы, князь, этого желает истинно привязанный к Вам

Александр Бестужев

P. S. Еще ответец: защитник мой, ломавший за меня с Жандром указки, был Яков Толстой. Прекрасный малый, но, как видите, плохой критик[16]. Я с ним мало знаком. — Комедию «Гофмейстер» поищу, хоть весьма сомневаюсь успеть в поисках. Об ней, что называется, и слух простыл, не только след[17].

23 мая 1823.

ЛБ. Шифр М. 9514/5. Впервые неточно опубликовано Н. П. Барсуковым в «Старине и новизне», кн. 8. Пб., 1904, стр. 30—32.

[1] Н. И. Гнедич был вице-президентом Вольного общества со второй половины 1821 г. до мая 1823 г., когда на его место был избран Н. И. Греч. Замена Гнедича Гречем вызвала неудовольствие президента и идейного вдохновителя общества Ф. Н. Глинки, который в связи с этим перестал посещать заседания.

Подробный комментарий к заседанию Вольного общества любителей российской словесности 22 мая 1823 г. и к «предуготовительным собраниям» см. в кн.: Базанов, стр. 259—286.

[2] Николай Андреевич Цертелев, князь (1790—1869) — автор работ о древнерусской поэзии.

[3] Борис Михайлович Федоров (1798—1875) — реакционный литератор, один из информаторов III Отделения.

[4] Дмитрий Акимович Воронов — литератор и переводчик.

[5] Бестужев имеет в виду биографию И. И. Дмитриева, написанную Вяземским и приложенную к 6-му изданию сочинений баснописца («Стихотворения Дмитриева». М., 1823).

[6] Речь идет о статье Н. А. Цертелева «О философских или нравоучительных одах Державина». На собрании Общества 16 мая, посвященном обсуждению программы публичного заседания (о котором пишет Бестужев), чтение статьи Цертелева было отвергнуто.

[7] Статья Булгарина — «Отрывок о Марине Мнишек». — Туманский выступал со своим стихотворением «Век Елисаветы и Екатерины II. Отрывок из послания к Державину». — Н. А. Бестужев читал статью А. О. Корниловича «Об увеселениях в царствование Петра Великого». — Отрывок из поэмы Рылеева «Войнаровский» («Ссыльный») читал Туманский. — А. А. Никитин читал отрывок из биографии И. И. Дмитриева, написанной Вяземским; Б. М. Федоров — стихотворение «Ободрение», А. Е. Измайлов — свои басни: «Бегун и кляча», «Так да не так», «Сметливый эконом» и басню Вяземского «Мудрость».

Стихотворение Пушкина под названием «Прощание с жизнью» — неизвестно.

Об упомянутом заседании Вольного общества появилось в печати несколько благожелательных отчетов («Соревнователь просвещения и благотворения», 1823, № 6, стр. 292—303; «Сын отечества», 1823, № 21, стр. 37; «Северный архив», 1823, № 11, стр. 373—378). См. также письма А. И. Тургенева к Вяземскому от 22 и 25 мая 1823 г. («Ост. архив», т. II, стр. 325—326).

[8] Бестужев имеет в виду прошение Вяземского в Главное училищ правление с жалобой на цензора Красовского, не пропустившего какое-то его произведение в «Сыне отечества» (это прошение опубликовано в «Русском архиве», 1896, № 6, стр. 293—295). См. об этом также письма Вяземского к А. И. Тургеневу от 21 января, 7 февраля, первой половины марта 1824 г. и письмо С. И. Тургенева к Вяземскому от 13 марта 1824 г. («Ост. архив», т. II, стр. 297, 299, 304).

[9] Имеются в виду преследования бездарного поэта В. Н. Олина (ок. 1788—1840-е годы) цензором Красовским (см. о нем прим. 3 к письму № 9).

[10] «Критика» Вяземского — «Замечания на краткое обозрение русской литературы 1822 года, напечатанное в № 5 „Северного архива“ 1823 года». После длительных цензурных мытарств «Замечания» появились в «Новостях литературы», 1823, № 19, стр. 81—92 (см. также «Ост. архив», т. II, стр. 315, 317).

[11] Речь идет о послании Вяземского «И. И. Дмитриеву», напечатанном в «Полярной звезде» на 1823 г.

[12] Имеется в виду басня А. Е. Измайлова «Добрый человек».

[13] Речь идет, вероятно, о приказах командира гвардейского корпуса генерал-адъютанта Ф. П. Уварова (1773—1824).

[14] Бестужев имеет в виду свою службу при генерале Бетанкуре (см. письмо № 1).

[15] Письмо Вяземского к Бестужеву от 10 мая 1823 г. см. в «Русской старине», 1888, № 11, стр. 316—317. О настоящем письме Бестужева Вяземский упоминает в письме к А. И. Тургеневу от 31 мая 1823 г. («Ост. архив», т. II, стр. 326—327).

[16] Несколько строк Бестужева в обозрении «Взгляд на старую и новую словесность в России» о переводах А. А. Жандра вызвали возмущенную статью последнего «Разговор от Полярной звезды» в «Сыне отечества», 1823, № 8 (стр. 64—72). За Бестужева вступился Я. Н. Толстой (скрывшийся под инициалами: Я. Т.) в «Письме к А. А. Бестужеву (в Москву)», напечатанном в «Сыне отечества», 1823, № 12 (стр. 223—229). Бессодержательная полемика между Жандром и Толстым продолжалась еще в нескольких номерах «Сына отечества» (№ 14, стр. 310—312; № 15, стр. 32—35; № 16, стр. 83—86; № 17, стр. 124—128).

[17] «Гофмейстер» — комедия Д. И. Фонвизина. — В упомянутом письме от 10 мая 1823 г. Вяземский просил Бестужева поискать в Петербурге список этой комедии. В «Письме к издателю С. О.» (помеченном августом 1823 г.), обращаясь к читателям с призывом доставлять ему неизвестные произведения Фонвизина, Вяземский писал и об утраченной комедии «Гофмейстер» («Сын отечества», 1823, № 37, стр. 165—166).

4

С. Петербург. 5 сентября 1823 г.

Вы мелькнули у нас на мгновение, любезнейший князь Петр Андреевич, и улетели веселиться в родную Москву; а мы здесь скучаем да скучаем по обычаю, и только разговоры с москвичами разглаживают на лбу незваные морщины.

Праздник петергофский был довольно угрюм сам по себе[1], но мне он показался еще неприятнее от того, что навязалась на шею неприятность. Один полковник Семеновского полка сказал мне грубо, — разумеется, что я отвечал грубостью; он *пожаловался* и комендант посадил меня на 5 минут под арест. Из этого вышла шумная история, потому что адъютанта герцогского не имели права посадить под арест[2]. Впрочем, я действовал по-рыцарски и смею думать, что вышел из этого казуса с честью без пятна и с совестью без укора. Все было забыто наравне с бегством Алины Волконской[3], и пр. и пр. и пр., и теперь идет попрежнему.

Скажите, князь, каково проводите Вы свое время? и часто ли заглядываете в матушку белокаменную и к соседям своим? — Теперь государь осчастливил москвичан своим воззрением — и кривой рог изобилия опрокинулся над великими тузами. Веселее ли от того Москва? — сказывают здесь, что Голицын для показу государю велел всем отставным выбрить усы насильно, чтобы дать им европейский вид? — О просвещение! если это правда, даже если и неправда, то выдумка стоит России.

Позвольте просьбою своею о присылке милых стихов Ваших для «Полярной звезды» и для неполярных ее издателей, напомнить о слове, не забыть их[4]. Пора уже настала к печатанию и мы спешим не на шутку.

Почтеннейшему Ивану Ивановичу сердечный поклон мой. Я уверен, что князю это будет не в отягощение, равно как и поклоны любезнейшему

СТРЕЛОК
Рисунок А. А. Бестужева, 1831 г.
Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Федору Ивановичу и Денису Васильевичу, который обещал мне прислать кое-что о Белыничах — и посадил на мель[5]. — Рылеев свидетельствует Вам свое почтение, а я присоединяю к этому уверение в нелестной к Вам привязанности и дружбе.

Александр Бестужев

P. S. Здесь был Баратынский, у которого мы купили его сочинения за 1000 рублей[6]. Пушкин недавно ко мне писал, где и о Вас было слово[7]. Если увидите Ст. Нечаева, сделайте одолжение, напомните ему о обещании собрать для нас у московских стихотворцев статьи[8].

[1] Петергофский праздник — «день тезоименитства» Александра I 30 августа. О петергофском торжестве Бестужев писал матери 3 сентября 1823 г. («Памяти декабристов», I, стр. 40).

[2] 7 июля 1823 г. Бестужев был назначен адъютантом герцога Александра Виртембергского, главноуправляющего путями сообщения. Должность эта очень тяготила Бестужева (см. его карикатуру на герцога на стр. 209 настоящего тома).

[3] Алина — Александра Петровна Волконская, впоследствии Дурново (1804—1859), дочь П. М. Волконского.

[4] Об участии Вяземского в «Полярной звезде» на 1824 г. — см. прим. 8 к письму № 6.

[5] Иван Иванович — Дмитриев; Федор Иванович — Толстой («Американец»); Денис Васильевич — Давыдов. См. о них прим. к письму № 2.

[6] В письме к Бестужеву и Рылееву (без даты, но явно относящемся к этому времени) Баратынский сообщал, что посылает им тетрадь своих стихотворений для издания («Русская старина», 1888, № 11, стр. 321—322). См. также письмо № 12.

[7] Пушкин писал Бестужеву 13 июня 1823 г. из Кишинева: «Признаюсь, что ни с кем мне так не хочется спорить, как с тобою да с Вяземским — вы одни можете разгорячить меня...» (Пушкин, т. XIII, стр. 64).

[8] Степан Дмитриевич Нечаев (1792—1860) — литератор и археолог, член Союза Благоденствия, сотрудник «Полярной звезды», «Вестника Европы», «Благонамеренного», «Мнемозины». Бестужев познакомился с Нечаевым в Москве 24 февраля 1823 г. и скоро с ним сошелся (см. «Памяти декабристов», I, стр. 56). Два письма Нечаева к Бестужеву 1825 г. напечатаны в «Русской старине», 1888, № 12, стр. 592—593; 1889, № 2, стр. 319—320.

5

Петербург. 13 октября 1823 г.

Конечно, почтеннейший князь, Вы не получили письма моего в исходе августа писанного, потому что пеняете в своем за молчание?[1] Впрочем, мое теперь дело благодарить Вас за любезное послание Ваше от 2-го сентября, которое, однакож, получил я по приезде из 4-х недельного вояжа с своим герцогом по северным тундрам Олонецкой и Новогородской губерний. Время нам благоприятствовало, дорога не утомляла, местоположения приятнейшие, но как делить приятных впечатлений было не с кем, то можете себе представить, что время текло по капле и скука незваная теснилась ко мне в коляску. — Только что приехал сюда — надобно было постреляться — и, слава богу, все кончилось дружелюбно. Противник мой промахнулся, а я играл великодушного. (Между скобками — это секрет)[2]. Теперь принимаюсь за свою любезную любовницу, которая от Вас, любезный Петр Андреевич, дожидается венериного пояска, а я как модный чичероне благодарю вас за прежний ей подарок: «Негодование». Это ужас как идет к красавицам. Жуковский дал нам свои письма из Швейцарии — это барельеф оной. Пушкин прислал кой-какие безделки; между прочими в этот год увидите там кой-каких новичков, которые обещают многое — дай бог, чтоб сдержали обет[3], а безголового инвалида Хвостова никак не пустим к ставцу. Он уже не путем заврался.

Здесь был слух о войне с турками. Принцесса Шарлотта сводит всех с ума[4]. Княгиня Александра[5] изволила выкинуть. Князья большие и маленькие глупы попрежнему — вот перечень дворовых и политических наших вестей. Что касается до меня, я уже начинаю замечать, что выкроен не по придворному манеру и что мне долго с своею королевскою шишкою[6] не ужиться. Я люблю давыдовскую жизнь, а тут всякий шмель думает, что проглотил Макиавеля[7].

Будьте моим предстателем у Дениса Васильевича; почтенному Ивану Ивановичу сердечное уважение, а Федору Ивановичу попрошу Вас сказать, что мы часто его вспоминаем.

Эпиграммы Ваши на наших ханжей весьма милы — признаюсь, что мы расхохотались, в первый раз прочитав их[8]. Притча уже ходит по городу — и все авторы поют: кому вынется, тому сбудется [9].

Рылеев поручил мне благодарить Вас за вспоминанье и с тем по обычаю свидетельствует свое почтение. Но гр. Толстой, через которого теперь пишу, торопит меня, и потому, к сожалению моему, а к Вашей отраде, я ставлю точку, желая Вам всех возможных благ, т. е. веселья, здоровья и свободы.

Весь Ваш Александр Бестужев

⟨*Приписка А. А. Муханова*⟩ [10]

Прошу Вас, почтеннейший князь Петр Андреевич, не думать, чтоб я позабыл исполнить поручение Ваше присылкою Лас-Казаса; не мог до сих пор достать, несмотря на обещания многих [11]. Но, как кажется, удастся обмануть цензорных дозорщиков; обещают на днях выдать; я тогда не замедлю переслать Вам или привезу сам, чего тем более желаю, что буду иметь снова случай лично засвидетельствовать Вам мое истинное уважение.

Покорный ко услугам Ваш
Александр Муханов

P. S. Прошу Вас принять на себя труд сказать душевный мой поклон г. Фед⟨ору⟩ Ивановичу.

[1] Письмо Бестужева к Вяземскому от конца августа не сохранилось. Письмо Вяземского к Бестужеву от 2 сентября ⟨1823 г.⟩ на которое последний отвечает, см. в «Русской старине», 1888, № 11 стр. 317—319.

[2] О своей поездке по северному краю в сентябре — октябре 1823 г. с герцогом Виртембергским и о дуэли с Рингером по возвращении Бестужев писал подробно 3 марта 1824 г. Я. Н. Толстому в Париж («Русская старина», 1889, № 11, стр. 375).

[3] Бестужев имеет в виду «Полярную звезду» на 1824 г. Об участии в ней Пушкина см. прим. 6 к письму № 7. В числе «новичков» Бестужев, очевидно, считал А. С. Хомякова и А. Г. Родзянку, а может быть, и В. К. Кюхельбекера.

[4] Принцесса Шарлотта — принцесса Виртембергская, впоследствии в. к. Елена Павловна (1806—1873), жена в. к. Михаила Павловича. Приехала в Россию 30 сентября 1823 г. См. о ней письмо № 9, а также «Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 25—27, 134—136.

[5] Княгиня Александра — будущая императрица Александра Федоровна, жена в. к. Николая Павловича (1798—1860).

[6] «Королевская шишка» — герцог Виртембергский.

[7] Макиавель — Маккиавелли.

[8] В упомянутом письме от 2 сентября 1823 г. Вяземский послал Бестужеву две «Надписи к портретам»: «Подлец вертлявый по природе» и «Кутейкин в рясах и с скуфьею». Первая из них направлена против Магницкого (см. о нем прим. 1 к письму № 9).

[9] Упоминание Бестужева о «притче» вносит новые штрихи в предисторию создания декабристских агитационных песен. В архиве Вяземского сохранились списки семи «подблюдных песен» (см. о них «Декабристы и их время», 1951, стр. 12—14). Из них три заканчиваются припевом:

Кому вынется,
Тому сбудется:
А кому сбудется,
Не минуется.
Слава!

Припев этот сопровождает наиболее революционные песни: «Как идет мужик...» «Вдоль Фонтанки реки...», «Как идет кузнец...».

На основании публикуемого письма можно утверждать, что в конце февраля — начале марта 1823 г. Бестужев у Вяземского в Москве читал какую-то свою сатирическую

ГЕРЦОГ
АЛЕКСАНДР ВИРТЕМБЕРГСКИЙ
Рисунок (шарж) А. А. Бестужева
Бестужев был адъютантом герцога
Институт русской литературы АН СССР
Ленинград

песню с припевом: «Кому вынется, тому сбудется». По всей вероятности, эта песня послужила прототипом будущих агитационных «подблюдных» песен, которые создавались Бестужевым и Рылеевым в 1824—1825 гг. (см. показания Бестужева от 10 мая 1826 г. — ВД, т. I, стр. 457—458).

[10] Александр Алексеевич Муханов (1800—1834) — двоюродный брат декабриста, адъютант А. А. Закревского. См. о нем далее, письмо № 8.

[11] Эммануил-Августин Лас-Казас (Las-Casas, 1766—1842) — камергер Наполеона, сопровождавший его на о. св. Елены. Муханов имеет в виду воспоминания Лас-Казаса «Memorial de Saint-Hélène, où journal où se trouve consigné, jour par jour, tout ce qu'a dit et fait Napoléon durant XVIII mois». Paris, 1823—1824. Вяземский назвал мемуары Лас-Казаса «одною из важнейших книг» своего столетия (Полн. собр. соч., т. II. СПб., 1879, стр. 228).

6

С. Петербург. ⟨1—18 января 1824 г.⟩

Любезнейший, добрейший и почтеннейший из князей, князь Петр Андреевич, я приношу к Вам свою повинную голову за свое долгое молчание; но не обвиняйте меня в неблагодарности, а скорей припишите это моему скучно-ветреному нраву и лености, которая в беспрестанной ссоре с приличиями света и с желаниями сердца. Хоть для своих, если не для святых святок [1], простите ленивцу, чтоб я мог попрежнему болтать перед Вами всякие пустяки, не боясь оговорки.

Скажите по совести, князь, Ваше мнение о «Полярной» нынешнего года, — чей же суд может быть полезнее, как не Ваш, и я очень любопытен ведать его. Что касается до здешнего света, то мнения о ней многосторонни. Дамы (как я и предполагал) не столь хвалят новую, потому что проза в ней не в их вкусе. Напротив, г-да мужчины прилепляются к прозаической части и говорят, что она дельнее прошлогодней [2]. Прошу теперь отделить истину от причин, заставляющих так говорить, и потом еще вычесть из суммы авторское самолюбие, которое *дробями* замешается всюду! Правду сказать, критика и без проса ⟨!⟩ берется за это дело, но пружины тем не менее видны и мелочная зависть шипит изо всех углов. Даже, поверите ли, что те люди, которых мы считали беспристрастнейшими в свете, завидуют успеху (т. е. я разумею: расходу) «Звезды» и хотят ее зубами стянуть с светского горизонта; но мы смеемся, а она продается. Сказывают, туча рецензий готова рассыпаться на меня за обозрение и в Москве и в Питере, но я буду отвечать только на дельные, на глупости же — молчать: у меня нет мелких для убогих умом [3]. Цензура в этот раз натешилась над нами и над Вами, как Вы и видели по непомещенным пьесам. Из Пушкина запрещено 4 пьесы, из других — несть числа, зато сам князь Глаголь доволен невинностию новорожденной [4]; в этот раз, однакож, хоть мы не поместили виршей Хвостова*, зато уступили приличиям, местами напускали ряпушки в стерляжий садок свой. Так прокрался туда бессмысленный Родзянка и добрый, но хромающий и стихами Норов, Влад. Измайлов с баснею, которая, конечно, не попадет в историю, и еще кой-кто из заштатных стихотворцев [5]. Поблагодарите почтеннейшего Ивана Ивановича за его басенки, они всем очень нравятся и вообще они так хороши, что многим безымянность автора прозрачна, и *мой башмак тебе не в пору* служит лозунгом соединения [7]. Ваш молоток и гвоздь оборотился уже пословицей,

* À propos de Khwostoff: ce matin au palais il m'a recité une épigramme (dite a nonyme, mais palpablement de lui) lancée contre moi, en voici le resultat; il était un peu difficile de retenir les vers ⟨Перевод: Кстати о Хвостове: нынче утром во дворце он прочел мне эпиграмму (якобы анонимную, но, несомненно, ему принадлежащую), направленную против меня, вот ее выводы: было трудновато запомнить стихи⟩. *Бестужев весь Парнас ос⟨в⟩етил*, он увидел даже *Сафу* (возрадуйся, *Сушков*) [6], а графских *моряков*, точно как Крылова «Любопытный», и *не приметил*. Comment cela vous plait? C'est une perle pour notre Doyen Dmitrieff; c'est un trait impayable pour la biographie de metroman ⟨Как это вам нравится? Это жемчужина для нашего старейшины Дмитриева; это уморительная черта для биографии метромана⟩. — *Прим. А. А. Бестужева.*

хотя и не *давным давно*, по крайней мере, *на долго*, покуда существуют молотки; но как *дело уже в шляпе*, то я, право, тоскуя все об одном и *давая волю рукам*, боюсь Вам наскучить и потому обращаюсь к другому[8].

Денис Васильевич не смиловался, и ничем чего ⟨!⟩ не прислал нам, а его бы слог-сабля загорелся лучом, вонзенный в «Звездочку». Не теряю надежды *наперед*, потому что он любил быть всегда впереди[9]. — Обрадуйте однакож партизана-Тацита тем, что Александр Муханов достал весь журнал Фиоллиской кампании[10] да еще кой-какие любопытные вещи и теперь их переписывает. — Я слышал, что Вы и Денис Васильевич участвуете в периодическом издании вроде альманаха... Уведомьте, какого рода, когда оно будет и наперед желаю всевозможного успеха, надобно немного растатарить Москву и снова перевести в нее метрополию вкуса и словесности[11]. Жуковского видел утром у выхода, он здоров и пудра стала его стихия[12]; мне Ваша кузина Карамзина[13] сказывала, что Вы собираетесь сюда — пожалуйте соберитесь, князь, да уж не на чашку мороженого, а на месяца два на побывку — Вы найдете, что не один я вас люблю много и премного. Если меня что-нибудь здесь взбесит, то я кинусь отдохнуть душою к Вам в белокаменную и тогда я лично выскажу многое.

Весь Ваш Алекс. Бестужев

P. S. Veullez bien, mon prince, de faire mes hommages à m-me Votre épouse*.

Дата оторвана. Датируется периодом времени между выходом в свет «Полярной звезды» на 1824 г. (о которой идет речь в письме) — 21—22 декабря 1823 г. и содержанием письма Бестужева к Вяземскому от 28 января 1824 г., написанного, несомненно, после настоящего письма.

[1] Намек на известный сатирический ноэль Вяземского «Святки», при жизни автора не увидевший света.

[2] Прозаическая часть «Полярной звезды» на 1824 г. представлена была следующими произведениями: «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года» Бестужева, его же повести: «Замок Нейгаузен», «Роман в семи письмах»; «Об удовольствиях на море» Н. А. Бестужева; «Путешествие по Саксонской Швейцарии» и очерк «Рафаелева мадонна» Жуковского; «Модная лавка» Булгарина; статья «Об увеселениях российского дворянства при Петре I» А. О. Корниловича; «Две аллегории» Ф. Н. Глинки; «Два синонима» Д. М. Княжевича и «Витязь буланого коня» О. И. Сенковского.

[3] О «Полярной звезде» на 1824 г. в печати появилось несколько отзывов: «Соревнователь просвещения», 1824, № 1, стр. 20—41 (О. С. ⟨Сомов⟩); «Русский инвалид», 1824, №№ 49, 50, 52, 53, 56, 59, 67, 73, 78, с 26 февраля по 28 марта (подпись: К.); «Лит. листки», 1824, № 1, стр. 27—29 (без подписи). См. также прим. 2 к письму № 8.

[4] Цензура не пропустила стихотворений Пушкина: послание «Кривцову» («Не пугай нас, милый друг...»), послание Алексееву («Мой милый, как несправедливы...»), послание В. Л. Пушкину («Что восхитительней, живей...») и «Иностранке» (см. письмо Рылеева к В. И. Туманскому от 3 октября 1823 г. — Рылеев. Соч., стр. 472—473). Князь Глаголь — очевидно, А. Н. Голицын, известный своим ханжеством.

[5] Речь идет о стихотворениях: А. Г. Родзянко «К милой», «Ответ С. Т. П.», В. В. Измайлова «Автор и мыши», А. С. Норова «Прощание Нееры» (у Норова не было одной ноги, — отсюда — «хромающий»). Под «заштатными стихотворцами» Бестужев, очевидно, подразумевает В. Вердеревского, М. П. Загорского и В. С. Филимонова, поместивших по стихотворению в «Полярной звезде» на 1824 г.

[6] Эпиграмма Д. И. Хвостова на Бестужева нам неизвестна. Николай Васильевич Сушков (1796—1871) — автор лирической трагедии «Сафо» (1824), о которой Бестужев отозвался в своем обзоре очень иронически: «„Сафо“ имеет только один недостаток, именно, — что героиня пьесы топится в 4-м, а не в 1-м акте».

[7] И. И. Дмитриев напечатал в «Полярной звезде» часть своих апологов («Орел и филин», «Богач и поэт», «Собака и перепел», «Подснежник» и др.) за подписью: ***.

«Да мой башмак тебе не в пору» — цитата из басни Дмитриева «Башмак, мерка равенства».

[8] Бестужев цитирует стихотворения Вяземского, опубликованные в этой же книжке «Полярной звезды»: «Молоток и гвоздь», «Воли не давай рукам», «Давнымдавно» и «В шляпе дело».

---

* Благоволите, князь, передать мое почтение Вашей супруге (франц.).

[9] В это же время Бестужев послал Д. В. Давыдову «Полярную звезду» с письмом (см. ответ Давыдова от 18 февраля 1824 г. — «Русская старина», 1888, № 11, стр. 328—329). В дальнейшем Давыдов также «не смиловался» и в «Полярную звезду» на 1825 г. не дал ничего.

[10] Об А. А. Муханове см. письма №№ 5 и 8.

Что называет Бестужев «журналом Фиоллиской кампании», установить не удалось.

[11] Речь идет о «Мнемозине» (см. также письмо № 7), в которой Вяземский поместил стихотворения: «Прощание воина», «К гр. Чернышеву в деревню» и две эпиграммы (напечатаны в первой и второй частях), а Давыдов — «Извлечение из записок. Кампания 1808 г.» (напечатано в первой части).

[12] Писатели декабристского лагеря сурово осуждали Жуковского за близость ко двору. Бестужеву принадлежит эпиграмма на Жуковского, долго приписывавшаяся Пушкину, «Из савана оделся он в ливрею /На пудру променял свой лавровый венец». В последнем издании «Стихотворений» Бестужева эпиграмма датируется 1824—1825 гг. (Л., 1948, стр. 16). Нам кажется правильнее отнести ее к началу 1824 г., так как она очень близка по настроению к строкам публикуемого письма.

В названном издании редактор предпочел почему-то худший текст эпиграммы (из сборника Н. В. Гербеля 1861 г.) с вариантом: «На ленту променял лавровый свой венец». См. об эпиграмме и об отношении декабристов к Жуковскому — также в воспоминаниях М. А. Бестужева «Мои тюрьмы» (Бестужевы, стр. 54).

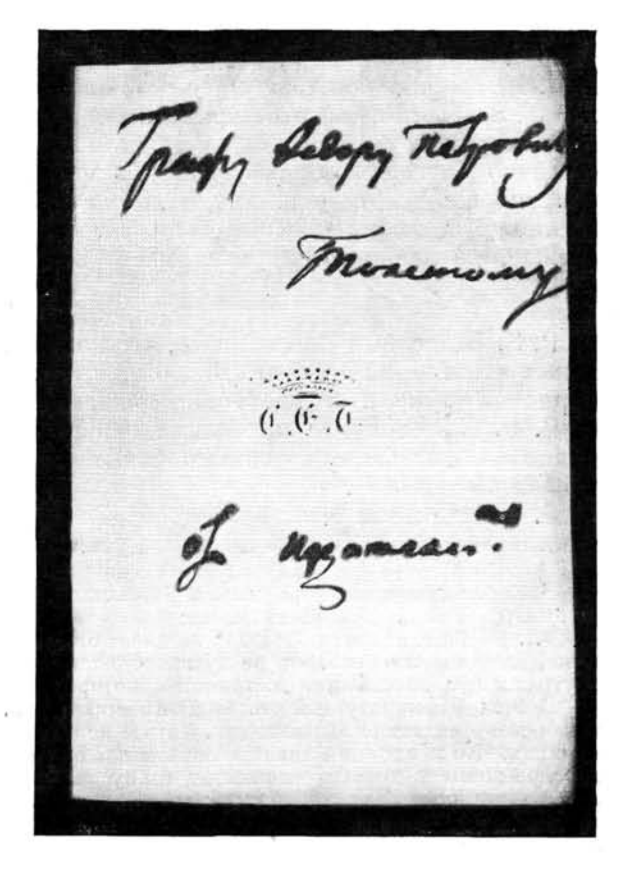
[13] Бестужев, очевидно, имел в виду племянницу Вяземского — Софью Николаевну Карамзину (1802—1856), старшую дочь историка.

7

С. Петербург. 28 генваря 1824 г.

Письмо Ваше, почтеннейший Петр Андреевич, получил я сегодня и отвечаю на него немедленно. Благодарю за откровенность в суждении о «Полярной»; в нем на три четверти я совершенно согласен, в остальном отбился от мнения Вашего, вероятно, от того, что смотрел с другой точки — переберем это по порядку Вашего письма, которое теперь перед глазами и, конечно, всегда останется в памяти. За лепетанье нашей поэзии я, конечно, ни перед богом, ни перед добрыми людьми не виноват — это бумажные цветки вымученной фантазии, это китайская живопись, в которой хороши одни лишь краски. Цензура обрезала наши червонцы, а многие медали и вовсе выбросила вон — поневоле довольствуешься бряцающею медью [1]. — Зато, если в наших пьесах не было отличных, в них (кроме родзянкиных) не было зато и вовсе дурных, и говоря Башуцкого словами, они все, право, чистоплотны [2]. «Послания к Людмилу» я не хвалил, о «Дер<евенском> философе» отозвался двусмысленно, тем более о его авторе. *Комический дар* не есть еще *дар к комедии*; впрочем, вы угадываете, не читав его [3]. В «Лукавине» я виноват без всякого лукавства. Писарева стоило бы отделать путем за его *шашни*: переводит пьесу с скверного французского перевода, выпускает лучшие сцены и смеет еще «Школу злословия» выдать за свое сочиненье! [4]. Это чересчур по-гостинодворски. За немца моего немного заступлюсь, ибо знаю и чувствую в природе человеческой подобные страсти, а писал это по внушению сердца и не в подражание Шиллеру, след<ственно>, оно не могло меня увлечь вне природы — век мною взятый представлял тому тысячные примеры и я могу подкрепить это историческими доводами. О брате — не судья, но в Жуковском нахожу не сцены, а декорации [5]. Пушкин виден у нас как в обломках зеркала — он поскупился на сей раз; однакож ода Баратынского, князь, на счастие, право, стоит взгляда; даже Дельвиг оперился в полярное путешествие и, конечно, редкие из альманахов французских были так богаты хорошенькими безделицами, как наш, хотя я согласен, что они бесцветны перед взором ума [6].

Насчет Каченовского — если вы меня укоряете в пристрастии, то и мне кажется, что Вы от него не совсем изъяты [7]; об этом уже был у нас и спор у любезнейшего Федора Ивановича [8]: я в нем нахожу кой-какие литературные заслуги — Вы не признаёте вовсе никакого достоинства.



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ИЗДАТЕЛЕЙ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» Ф. П. ТОЛСТОМУ НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ АЛЬМАНАХА НА 1825 ГОД

«Графу Федору Петровичу Толстому от издателей»

Автограф А. А. Бестужева

Собрание Ю. Г. Оксмана, Саратов

Радикальность реже обыкновенного, а потому, думаю, и случайность справедливости вероятнее упадет на мою сторону. Впрочем, если бы я и уверился в противном, то быстрый скачок от прошлогодней хвалы к укорам не показался ли бы странным? Зато другие мнения, конечно, не имели влияния на мой суд, — я не боюсь никому говорить правды и не жертвую своей совестию в угоду благодетелей, которых, слава богу, у меня и нет; но как бы не грех мне был, напр⟨имер⟩, если бы убил я Сергея Глинку?...[9]

Вы еще худо знаете нашу цензуру, любезнейший князь, когда воображать можете, что она бы позволила ремарку *о некоторых* причинах, не позволивших напечатать Ваших стихов. А мы многое бы потеряли, еслиб отказались от такого наследства, как седьмая часть Ваших стихов. Что ж обезобразила принелепая, в том каемся, но поставьте себя на нашем месте и скажите, отказались ли бы Вы украсть, как Прометей, не только взять попросту, огнь с неба, чтоб оразумить свою мраморную статую?[10] — «В шляпе дело» получено нами от А. Измайлова и здесь в большом ходу. Вас мучит старинный грех, т. е. последний куплет? Помилуйте, князь, надобно ж чем-нибудь платить *за простой* в России[11]. — Гнедич ничего беглого ⟨!⟩ не написал и потому ничего и не дал, но Раич прислал нам пьесу, но между двух глаз будь сказано, ученическую, и бесцветную, и малозвучную[12]. — Кончив о словесности, позвольте повести словечко о Вас самих, в светском и ученом отношениях: веселы ли, плодны ли Вы ныне? Я хочу бить челом о том, за что Вы меня поразили, т. е. написать на 1824 год коротенькое обозрение. — Князь! Будьте отцом родным: обновите это тощее поле! Но кроме того, Вы у меня в долгу: обещанная Вами проза не получена, и я надеюсь, что Вы нас *выручите теперь из беды*: у Вас выходит *четверогранный альманах*, у нас Дельвиг и Слёнин

грозятся тоже *Северными цветами* — быть банкрутству, если Вы не дадите руки[13]. — Жду ответа и, если можно, задатка, чтоб смелее сиять в будущем. Нынешняя «Звезда» у нас разошлась в 3 недели до одного экз‹емпляра›. Здесь все, даже безграмотные, читают ее — c'est la fureur!* — К Вам вряд ли удастся, отдохнуть умом и душою. Между тем вторично и сердечно благодарю Вас за правду, я вспоен на ней и потому это лестно и приятно для меня, — столько же, как полезно, слышать ее от умнейшего из князей и любезнейшего из людей. Простите ‹и› будьте добры, как прежде, до любящего и уважающего Вас

Алек. Бестужева

P. S. Я позабыл Вам описать, что недавно мы давали обед всем участникам «Полярной звезды». Вид был прелюбезный: многие враги сидели мирно об руку и литературная ненависть не мешалась в личную[14].

P. S. Я пользуюсь пробелами, чтобы сказать, что издание И‹вана› Ивановича (я бью ему челом) пошло в расход и Вашим предисл‹овием› все восхищаются[15].

P. S. Я сейчас услышал, что графиня Кутайсова выходит замуж за Алексея Голицына! Счастливый путь!..[16]

[1] Бестужев отвечает на письмо Вяземского (с разбором «Полярной звезды») от 20 января 1824 г. Вяземский писал:

«... Вообще, кажется, „Звезда" не имеет блеска прошлогодней, оттого ли, что она хуже, или только оттого, что не лучше: что также есть порок. Разумеется, говорю о внутреннем, а не внешнем достоинстве, которое на этот год превосходнее ‹...›

В Вашей литературной статье много хорошего, но опять та же выисканность и какая-то аффектация в выражениях. Также не одобряю какую-то подчиненность в суждениях. Что за охота выставлять Загоскина? Его „Послание к Людмилу" площадное, плоское по мыслям и стихосложению, взапуски выхваляемое петерб‹ургскими› и москов‹скими› журналами, точно как будто переродило его. Дайте себе труд его прочесть, и Вы, верно, со мною согласитесь. „*Деревенского философа*", верно, Вы и не читали, а не то и не решились бы похвалить. В сценах Лукавина мало дарования, воля Ваша! В сказке Вашей есть места прекрасные; но не люблю немецких шуток садовника и немецкого самохвальства в злодействе. Подобные лица в свете не встречаются, а только в драмах немецких и мелодрамах французских. В прозе предпочтительно понравилась мне статья Вашего брата: есть много занимательности, движения, краски в слоге. Сцены Жуковского очень хороши; стихи Пушкина прелесть! Точно свежий, сочный, душистый персик! Но мало в них питательного. Прочие стихотворения, признаюсь, довольно бледны, одноцветны, однозвучны. Все один напев! Конечно, и в них можно доискаться отпечатка времени, и потому и они не без цены в глазах наблюдателя; но мало признаков искусства. Эта тоска, так сказать, тошнота в стихах, без сомнения, показывает, что нам тошно: мы мечемся, чего-то ждем и Вы очень удачно намекнули об этом в своем предисловии. Но со всем тем, здоровое сложение, крепость не поддается нравственной немочи. Смотрите на Пушкина! И его грызет червь, но все-таки жизнь выбрасывает из него отпрыски цветущие. В других этого не вижу; ими овладел маразм и сетования их замирают» («Русская старина», 1888, № 11, стр. 322—323. — Цит. по автографу ИРЛИ, 9290—9/LIII б. 60).

[2] Александр Павлович Башуцкий (1803—1876) — адъютант генерала Милорадовича, в обществе слывший за хорошего рассказчика; впоследствии литератор (печататься начал с 1834 г.).

[3] Бестужев писал в своем обзоре: «„Деревенский философ", комедия г. Загоскина, развертывает забавные черты наших баричей, доказывая комический дар автора» (стр. 7).

[4] Бестужев в обзоре упомянул комедии А. И. Писарева «Лукавин» и «Пир мудрецов», как «заметные» произведения, появившиеся в «Вестнике Европы» (стр. 11).

[5] Бестужев говорит о герое своей повести «Замок Нейгаузен», об очерке Н. А. Бестужева «Об удовольствиях на море» и о переводе Жуковского из «Орлеанской девы» Шиллера.

[6] В «Полярной звезде» на 1824 г. было напечатано девять стихотворений Пушкина («Друзьям», «Нереида», «Адели», «К Морфею», «Редеет облаков летучая гряда...», Отрывок из послания В. Л. Пушкину, «Простишь ли мне ревнивые мечты...», «Домовому», «Надпись к портрету Вяземского»), так что жалобы Бестужева на великого поэта были необоснованны. — Ода Баратынского — «Истина». — Дельвиг дал в альманах

* это фурор (франц.).

две русских песни («Что, красотка молодая...», «Голова ль моя, головушка...»), два романса («Не говори, любовь пройдет...», «Прекрасный день, счастливый день...») и «Сонет С. Д. П<ономарев>ой».

[7] В своем обзоре Бестужев писал: «„Вестник Европы", патриарх русских журналов <...>, по части прозаической шел обыкновенным своим твердым шагом» (стр. 11).

Вяземский, давний враг Каченовского, бурно реагировал на эти строки в письме от 20 января 1824 г.: «Что значит, что „Вестник Европы" идет своим твердым шагом, ослиным что-ли? Нет тверже ослиного шага, а в доказательство служит то, что по горам их употребляют. Вы из Каченовского точно делаете помазанника! Как ни глуп, как ни скучен, как ни бесплоден, а все с каким-то благоговением говорится о его величестве. Как не видать что „Вестник Европы" держится своею давностью и своею законностию (légitimité), как фамилия Атридов или Бурбонов. Сам собою он ничтожен; посмотрите его отчеты о московском театре. Какой неурожай на мысли и на слова! Какой запор в голове! Я слишком Вас знаю, чтобы не твердо быть уверенным в мнении Вашем о Каченовском, если спроситесь литературной совести; зачем же Вам подчинять себя побочным условиям, околичностям? Оставим это поденщикам книжным, цеховым ремесленникам; но кому же быть независимым, если не нам, которые пишем из побуждений благородного честолюбия, бескорыстной потребности души? Хорошо „Благонамеренному" и ему подобным вытягиваться перед „Вестником Европы" с пальцами по квартирам <!> и с улыбкою раболепства на холопских устах. Они точно видят в нем какое-то превосходство в журналах с третьим Владимиром на шее! Поверьте мне, вот степень и род уважения их. Я коротко и глубоко знаю эту сволочь. Достоинство писателя у нас упадает с каждым днем и, если малому числу избранных не поддерживать его, то литература сделается какою-то казенною службою, полицейским штатом, или и того хуже, каким-то отделением Министерства просвещения. Независимость — вот власть, которой должны мы служить верою и правдою. Без нее нет писателю спасения! И ум, и сердце его, и чернила — все без нее заплеснет» («Русская старина», 1888, № 11, стр. 324.— Цит. по автографу ИРЛИ).

[8] Федор Иванович — Толстой («Американец»). См. о нем прим. 10 к письму № 2.

[9] Сергей Николаевич Глинка (1775—1847) — брат Ф. Н. Глинки, писатель. В данном случае Бестужев имеет в виду Глинку, как редактора «Русского вестника», одного из наименее интересных журналов того времени.

[10] Речь идет о вольнолюбивом стихотворении Вяземского «Петербург», из которого в «Полярной звезде» появилась только первая половина. Вторая же часть стихотворения, призывающая Александра I дать русскому народу свободу, была исключена издателями альманаха из-за цензурных соображений и впервые увидела свет только после Октябрьской революции (Избранные стихотворения Вяземского. Редакция, статья и комментарии В. С. Нечаевой. М.— Л., 1935, стр. 137—141).

Здесь Бестужев отвечает на строки письма Вяземского: «Но Вы поступили со мною беззаконно, выпустив меня на позор несчастным скопцом. Я писал к Жуковскому, что для выгоды книжки Вашей и моей предпочел бы я, если ничего моего не напечатали бы Вы, а сказали в особенном замечании, что из присланного к. Вяземским ничего в этой книжке не печатается по некоторым обстоятельствам. Таковое замечание сделало бы фортуну мою и Вашей книжки» («Русская старина», 1888, № 11, стр. 323—324. —Цит. по автографу ИРЛИ).

[11] Песня Вяземского «В шляпе дело» кончалась куплетом, восхваляющим Александра I как победителя Наполеона, что не соответствовало оппозиционному настроению автора в двадцатых годах (см. статью Н. Кутанова <С. Н. Дурылина> «Декабрист без декабря». — «Декабристы и их время», II, стр. 201—290).

7 января 1824 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Меня скопцом вывели в „Полярной" <...> Да неужели было у меня: „Русский царь в шляпе"? Понять не могу и припомнить, когда доставил им эту песню, написанную мною тотчас после двенадцатого года, когда это выражение было точно в народном употреблении. Не люблю ни писать задним числом, ни думать задним умом, ни чувствовать задним чувством. Всему свое время и свое место. Я сгорел, как прочел этот стих» («Ост. архив», т. III, стр. 1).

[12] Ничего за подписью Раича в «Полярной звезде» в эту пору не появилось.

[13] Вяземский не прислал своей прозы для «Полярной звезды». Обозрение литературы за 1824 г. пришлось Бестужеву писать самому.

«Четверогранный альманах» — «Мнемозина» В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского, объявленная с самого начала как издание в четырех частях. См., например, информацию о ней в «Литературных листках», органе Булгарина, где высмеивался будущий альманах именно за количество частей (1824, № 2, стр. 67). Здесь же сообщалось о распродаже 1500 экз. «Полярной звезды» в течение трех недель (стр. 64), а в № 4 «Литературных листков» — о предстоящем издании «Северных цветов» и о соперничестве их с альманахом Бестужева и Рылеева (стр. 149—150).

Бестужев писал 3 марта 1824 г. Я. Н. Толстому в Париж: «Г-н Сленин и Дельвиг издают на 25-й год „Северные цветы", точно то же, что и наша „Звезда": это спекуляция промышленности. Им завидно, что в три недели мы продали все 1500 экземпляров — посмотрим удачи!..» («Русская старина», 1889, № 11, стр. 376). О враждебных

взаимоотношениях между издателями «Полярной звезды» и «Северных цветов» и анализ причин этой неприязни см. в комментариях Ю. Г. Оксмана к письму Рылеева к Булгарину в 59-м томе настоящего издания (стр. 147—152).

[14] Бестужев записал 20 января 1824 г. в своей «Памятной книжке»: «С Рылеевым давал (у меня) обед участникам полярности. Были Крылов, Шаховской, Измайлов, Греч и все, все почти литераторы. Было ввечеру довольно весело» («Памяти декабристов», I, стр. 61).

[15] Об издании сочинений И. И. Дмитриева см. прим. 5 к письму № 3.

[16] Александра Павловна Кутайсова, в замужестве Голицына (1804—1881) — приятельница Вяземских. См. ее письмо к Вяземскому о Пушкине в «Лит. наследстве». т. 58, 1952, стр. 84.

8

СПБ. 1 марта 1824 г.

При сей верной оказии[1] не мог преминовать, чтоб не написать к Вам, почтеннейший князь, несколько слов на полете. Здесь очень скучно и потому не дивитесь, что я не посылаю к Вам часто такой болезни, ⟨от⟩ которой и у Вас в белокаменной, я думаю, некуда деваться. Теперь я сижу дома и в великом — греческом и литературном посту — приготовляюсь к царству небесному, потому что с каждым днем нищаю духом. Между прочим учусь по-англински и уже читаю довольно бегло: это для меня не лишнее впредь — до сих пор я не принимался за перо — до того обленился. Скажите, князь, не рассердились ли Вы на меня за противоречие последнего письма? Я не думаю этого, но вижу теперь, что много давал ходу Каченовскому, который, кажется, выжил из ума: пора его и из ослиного седла выбить — он уже чересчур зазнался. Я никогда не мог поверить, чтоб в 19-м веке можно было писать такие критики, какую он выпустил на «Пол⟨ярную⟩ зв⟨езд⟩у» — это созвездие глупости, мерзости и дурного вкуса. Думаю скоро на нее отвечать[2] — сколько позволит цензура, которая стоит за глупость en plaidant ainsi sa cause *. Муханов расскажет Вам остальное, а Вы, князь, хоть кое-что, часок Вашего обихода уделите мне. Рылеев простреленный лежит на одре недуга[3]; Жуковский пишет оды на перчатки, калину и малину[4]; Воейков затраурил свой нос[5], Гнедич рассуждает о колыбели Омера и гробе Ахиллеса, Крылов ест попрежнему, а мы все ждем с нетерпением двух последних томов Карамзина[6]. — Будьте здоровы для себя и прилежны для нас, всех нас.

Прощайте, почтеннейший и любезнейший из князей, — меня торопят,

весь Ваш Алекс. Бестужев

[1] Оказия — ехавший в Москву Александр Алексеевич Муханов (см. о нем письмо № 5). О получении этого письма и о разговоре с Мухановым Вяземский писал Бестужеву 9 марта 1824 г. («Русская старина», 1888, № 11, стр. 329).

[2] Поверхностный и бессвязный анонимный отзыв о «Полярной звезде» на 1824 г. был опубликован в «Вестнике Европы», 1824, №№ 1—4. Об отношении Бестужева к Каченовскому см. письмо № 7.

[3] Рылеев дрался 22 февраля 1824 г. на дуэли с прапорщиком лейб-гвардии финляндского полка кн. К. Я. Шаховским и был ранен навылет в ногу. 3 марта 1824 г. Бестужев писал Я. Н. Толстому об этом эпизоде: «Кн. Ш. свел связь с побочною сестрою Рылеева, у него воспитанною, и что всего хуже, осмелился надписывать к ней письма на имя Рылеевой. Сначала он было отказался ⟨стреляться⟩, но когда Р⟨ылеев⟩ плюнул ему в лицо — он решился» («Русская старина», 1889, № 11, стр. 375—376. См. также «Русский архив», 1871, стб. 943—944 и «Памятную книжку» Бестужева— «Памяти декабристов», I, стр. 64).

[4] Об отношении Бестужева к Жуковскому см. также в письме № 6 и прим. 12 к нему.

[5] А. Ф. Воейков был разбит лошадьми. См. цит. письмо Бестужева к Я. Н. Толстому от 3 марта 1824 г.

[6] Бестужев имеет в виду перевод Гнедичем «Илиады» Гомера и выход X и XI томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Они вышли в свет в 1824 г.

---

* защищая, таким образом, себя самое (франц.).

9

С. Петербург. 7 мая 1824 г.

Видно мне судьба, любезнейший князь, начинать все мои письма извинениями в лености, не скажу в молчаньи, — за него легко простить меня. Тому, однакож, много достаточных причин, ибо каждый раз, когда берусь я за перо для разговора с отлучными друзьями, невозможность говорить

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ А. А. БЕСТУЖЕВА «РЕВЕЛЬСКИЙ ТУРНИР», НАПЕЧАТАННОЙ В «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЕ» НА 1825 ГОД

Гравюра С. Ф. Галактионова

то, что чувствуешь, что видишь, что знаешь, проливает желчь в душу и темноту на письмо; я не могу привыкнуть к этому мерзкому *почтовому* красноречию, и потому не люблю тревожить своего забытья досадой, а Вам скучать форменными строками, годными для любого приказа. Еще, я зарылся теперь в богатом руднике английской литературы и особенно английской политики, потому что я хорошо разумею уже богатый язык богатейшего и свободнейшего из народов. Признаюсь Вам, князь, что я пристрастился к политике, да как и не любить ее в наш век — ее, эту науку прав, людей и народов, это великое, неизменное мерило *твоего* и *моего*, этот священный пламенник правды во мраке невежества и в темнице самовластия. Но как тяжко это познание! Как горестна эта зоркость!! Лекарь истаевающий в чахотке — есть изображение того русского, кто

европейскими глазами посмотрит вокруг себя; но и самое отчаяние не лишено надежды — я стою между распадающимся духом и телом России и гляжу вдаль.

Перестанем — это раздирает сердце.

Чтоб не прыгнуть сразу к предметам занимательнейшим, я расскажу Вам здешние новости: начну с поповских. Магницкий, как пиявица, высосав, что можно было от Голицына, предал его Аракч⟨ееву⟩, и срезал его под корень. Здесь был выписной фанатик, некто Госнер (пастор), который сделал в Петербурге раскол своими проповедями, полоумно-дерзкими; но как немцам все позволено, то он продолжал пороть свое. Переводят его на русский. Попов поправляет, Бируков подмахивает, Греч печатает, — и Магницкий доносит на сочинителя в богохульстве. В самом деле, он там толковал даже, что, вероятно, у Марии были и другие дети, ибо сказано: Иисус был *первородный*, что Иоаким выгнал ее из дому за разврат и тому подобное. Государь, прочитав эти нота бене, велел судить Бирукова, запрещают продажу, таскают Греча, высылают из Руси Мессию, а говорят у Голицына отберут министерство просвещения[1]. Итак, век ханжей церковных прошел, но цензура все не милостивее. Потом делят (как говорят) Россию на сатрапства, по 8 губерний в каждое; наконец, важнее всех, новость есть та, что завтра будет огромный парад для показу Елене Павловне (которая попала в *брак*) солдатиков.

Бой Ваш с классиками много занимал меня, ответы Ваши радовали, но скажу правду — эти животные не стоили ответа; им правда и ум, как к стене горох. Лучший из них последний (т. е. 2-й в «Дамском журнале»), мысли в нем видно, что устоялись, и пирамида доказательств основана не на остром конце. «Второй» слишком поспешен и больше относится к особе, нежели к статье Вашей — вообще же они без сумнения далеко оставляют за собой этого школьника Дмитриева, достойного ученика Каченовского[2]. Может быть, я завязался бы и сам в эту стычку ранее, но, отваженный от критики Красовским[3], я взбесился и решился молчать. Признаюсь также, что боюсь обнажить свое ржавое критическое оружие. Мое негодование, вероятно, превозможет все. Я не из тех, которые говорят: не нашу тысячу рубят!

Измайлов, этот целовальник русского Парнасса, написал на Булгарина басню *Слон и собаки*, довольно смешную в грязном роде, где задел и меня[4]. Я смеялся.

Занятия мои, как сказал я, в ученье и чтении английских произведений в прозе — поэзию берегу для полного удовольствия в совершенном познании. Сам ничего не пишу. Накидал повестишку в рыцарском, забавном роде[5], но еще не сослонил ⟨!⟩ ее. Со всем тем, хотя я расцветаю чужим умом, — я вяну духом со дня на день. Скука одолевает меня, люди не привлекают, свет потерял всю цену: я прозябаю, а не живу. Пожалейте меня, любезный князь, я пожелаю Вам в замену не походить на меня, и быть всегда тем же для друзей и словесности.

Ваш Александр Бестужев

[1] Михаил Леонтьевич Магницкий (1778—1855) — в эти годы попечитель Казанского учебного округа (1819—1826).

Иоганн Госнер (1773—1853) — лютеранский священник, член Библейского общества, живший с июня 1820 г. в Петербурге и имевший там большой успех как проповедник. Речь идет о его книге «Geist des Lebens und der Lehre Jesu Christi» (1820 г.), которую перевели на русский язык почитатели Госнера, в том числе директор Департамента народного просвещения В. М. Попов (под заглавием: «Дух жизни и учения Иисуса Христова в Новом Завете»). История с книгой Госнера содействовала победе над А. Н. Голицыным клики Магницкого и архимандрита Фотия. После этой истории Голицын вынужден был выйти в отставку, книга была сожжена, а все участники отданы под суд (см. об этом воспоминания Н. И. Греча «Дело Госнера» в его кн.: «Записки о моей жизни». М.—Л., 1930, стр. 575—691).

[2] Бой Ваш с классиками — полемика Вяземского о классицизме и романтизме в связи с его предисловием к «Бахчисарайскому фонтану». Первый выпад был сделан М. А. Дмитриевым в «Вестнике Европы», 1824, № 5 (стр. 47—62 — «Второй разговор между классиком и издателем Бахчисарайского фонтана» за подписью: N.) и был подкреплен неким «Бывшим журнальным клевретом» (там же, в статье «Особая переписка», стр. 76—78). Вяземский ответил в «Дамском журнале», 1824, № 7 (стр. 33—39). Дмитриев продолжил свои нападки в «Вестнике Европы», 1824, № 7 (стр. 196—211), но уже за полной подписью: Михаил Дмитриев. Об окончании полемики см. в кн.: М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951, стр. 465—466.

«Лучшим» Бестужев называет второе выступление Вяземского в «Дамском журнале», 1824, № 8 (стр. 63—82: «Разбор Второго разговора, напечатанного в № 7 „Вестника Европы“»). — «Второй» — «Второй разговор» Дмитриева.

[3] Александр Иванович Красовский (1780—1857) — член Петербургского цензурного комитета (1821—1828), прославившийся своей тупостью и ханжеством.

[4] В басне А. Е. Измайлова «Слон и собаки» изображен «задорный пес» Брылан, схватившийся со слоном. Бестужеву в ней посвящены следующие строки:

«Стой, толстый, стой!»
Кричит Брылан: «как смел обидеть ты дворняжку?»
— Какую? — «Завирашку».
Проси прощения. Не то, брат, на дуэль!
Заставлю пролежать в сарае шесть недель.

(Сочинения А. Е. Измайлова, т. I. СПб., 1849, стр. 78—80).

«Завирашкой» Измайлов называл Бестужева (см. письма Измайлова к М. Л. Яковлеву 1825 г. — «Памяти декабристов», I, стр. 241—242, а также «Лит. наследство», т. 59, 1954, стр. 536 и 540).

[5] «Повестишка в рыцарском, забавном роде» — «Ревельский турнир», появившийся впоследствии в «Полярной звезде» на 1825 г.

10

Петербург. 17 июня 1824 г.

Мы потеряли брата, князь, в Бейроне, человечество — своего бойца, литература — своего Гомера мыслей[1]. Теперь можно воскликнуть словами Библии: куда сокрылся ты, лучезарный Люцифер! «Смерть сорвала с неба эту златую звезду», и какое-то отчаянное эхо его падения отозвалось в сердцах у всех людей благомыслящих. Я не мог, я не хотел верить этому, ожидал, что это журнальная смерть, что это расчетливая выдумка газетчиков, но, это была правда, ужасная правда. Он умер, но какая завидная смерть... он умер для Греции, если не за греков, которые в кровавой купели смыли с себя прежний позор. Он завещал человечеству великие истины, в изумляющем дарованьи своем, а в благородстве своего духа пример для возвышенных поэтов. И этого-то исполина гнала клевета, и зависть изгнала из отечества, и обе отравили родимый воздух; история причислит его к числу тех немногих людей, которые не увлекались пристрастием к своему, но действовали для пользы всего рода человеческого.

Вы спрашиваете меня, почтеннейший Петр Андреевич, для чего я не пишу в журналы[2], но я до сих пор совсем не имею времени, скача беспрестанно по дорогам для обозрения, так что мне не удается попасть на проселочную дорогу словесности. Притом теперь уже не поздно ли вновь начинать войну; критики опадают, как листья, но дерево живет веки, и, конечно, все выходки М. Дмитриева с товарищи и вкладчики столь же мало замарали известность вашу[3], как Прадоны[4] славу Вольтера. Безыменные брани доказали публике и характер и вздорность человека, который не стоит имени, которое на него надето, и, как видно, кажется ему хомутом, ибо он снимает его, чтобы набрыкаться в своем виде. Ей богу, досадно, что эти господа из критики сделали ослиную челюсть и воображают, что они Сампсоны[5]. Мысль Ваша, любезный князь, о составлении

общества для издания книг принадлежит к мечтам поэта, а не к прозаической истине нашего быту; она делает честь Вашему сердцу — но, князь, может быть только оно одно из Ваших друзей и товарищей не устарело в холоде самолюбия и не иссохло от расчетов. Оглянитесь кругом себя и кого найдете Вы помощниками радушными? Одни могут, но не захотят, а другие при всем желании не могут, ибо тут нужны деньги и деньги. На расход же надеяться нечего — в этой главе Вы всегда ошибались, князь, воображая, что у нас в самом деле читаются и расходятся книги. При том не забудьте также, какими глазами будут смотреть на это цензоры и министры. Нет, нет.

«Мы видим сны золотые, а сами от голоду мрем».

Россию нельзя сравнивать с Францией; у нас не позволяют и читать энциклопедии, не только писать что-нибудь подобное. Но главное неудобство есть недостаток доброй воли. Назовите мне, кроме И. И. Дмитриева, хоть одного значущего человека, который бы захотел там участвовать? — Если ж и назовете, то обманетесь.

Меня очень порадовала весточка, что Вы готовите для нас кое-что... Жду с нетерпеньем этого. — У Дельвига будет много хороших стихов[6] — не надо бы и нам, старикам, ударить в грязь челом, а это дело господ поэтов. Я завидую Вашей жизни — посреди семейства, вдалеке от сплетней и рядом с природою — Вы должны быть спокойны и на пороге у счастия. Может скоро увижусь с Вами в Москве или в Остафьеве — не забудьте до тех пор искренне Вас любящего

Алекс. Бестужева

P. S. Рылеев потерял мать и сам болен[7]. Он вам, однакож, не забыл свидетельствовать своего уважения.

[1] О смерти Байрона (19 апреля 1824 г. в Миссолунгах) было сообщено в «Русском инвалиде», 1824, № 122 от 23 мая и в петербургской французской газете «Le conservateur impartial», 1824, № 43 от 27 мая.

[2] Письмо Вяземского к Бестужеву с этим вопросом не дошло до нас.

[3] О полемике Вяземского с М. А. Дмитриевым см. письмо № 9 и прим. к нему.

[4] Прадон (1630—1698) — бездарный и беспринципный французский критик, имя которого сделалось нарицательным.

[5] По библейскому преданию, Самсон побил филистимлян ослиной челюстью.

[6] Бестужев имеет в виду альманах Дельвига «Северные цветы» на 1825 г. См. о нем выше, стр. 213—216.

[7] Мать Рылеева умерла 2 июня 1824 г.

11

〈*А. А. Муханов*〉

〈Петербург. 23 июня 1824 г.〉

Премного благодарен Вам, любезнейший князь, за письмо Ваше от 20-го мая. Письмо к Бестужеву немедленно доставил[1]. Благодарю Вас также за участие, приемлемое Вами в моей болезни. Я точно болен, князь; жаль, что не прикидываюсь; в последнем случае имел бы какие-нибудь особенные наслаждения. Вот скоро два месяца как не выхожу из комнаты, и нет надежды, чтоб прежде месяца еще выпустили. И без того несносно жить в казенной духоте нашей столицы. Нет дня, чтоб не слышно было чего-нибудь новенького да *хорошенького*!! Дня три тому назад как фельдъегерь, прямо с манёвров, умчал кавалергардского Вадковского, брата того, которого до сих пор душат в Витебске; и тем же чином в армию за светлые мысли[2], а наше зрение, как неправедных: не терпит ярких лучей солнечных. Век бы жить в тьме кромешной! Кстати о тьме кромешной: знаете ли от чего Булгарин, этот литературный недоносок, расписался в пелёнках своего младенческого ничтожества? Ему нужда в Шутовском:

Петербург. 17. июня 1824.

АВТОГРАФ ПИСЬМА А. А. БЕСТУЖЕВА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ ОТ 17 ИЮНЯ 1824 г. О СМЕРТИ БАЙРОНА

Листы первый и последний

Центральный архив литературы и искусства, Москва

говорят, ищет места и службы при театре — сей час хвост опахалом и ну вилять им и рычать на тех, на кого уськнут[3]. Впрочем, чтож тут и мудреного? Эти гады на поприще литературном точно то же, что немцы у нас на поприще гражданском, — поденщики: потеют над топорной работой из рубля с копейками. Какая им нужда до пользы и доброго имени!

Посылаю Вам вышедшие недавно стихи Языкова[4]; он подает, кажется, несомнительные надежды и возвышенною душою отрывается от толпы стихотворцев-прозаиков и людей прозаических, которых душёнки могли бы только идти в сотенный счет приданого какой-нибудь престарелой вдовушке или девы Свиньиной. Сделайте одолжение, любезнейший князь, потрудитесь переслать эти стихи Денису Васильевичу. Посылаю Вам также книжку Я. Толстого[5]; полагаю, что Вы еще оной не читали. — Плащ, который я брал у Вас в страстную пятницу, был на другой же день к Вам отослан; впрочем, я пишу домой, к брату, чтобы он розыскал, кто носил и кому отдал; сожалею, что я могу быть виною утраты оного. — Поездка брата Николая в Варшаву с каждым днем откладывалась и только на днях решилось, что он не едет; письма Ваши вследствие этого были тот же час доставлены Туркуле[6], расписку коего при сем прилагаю. Брат должен получить от него к Вам посылку, которую лично вручит Вам в Москве, в которую на днях выезжает. — Поздравляю Вас, любезнейший князь, с наступающими именинами Вашими[7]; сердечно сожалею, что не могу сделать этого под остафьевскими липами, с стаканом шампанского в руках. Прошу Вас не позабывать искренне и премного Вас любящего

Александра

23-го июня 1824. С. Петербург.

⟨*А. А. Бестужев*⟩

P. S. Русский бог вкуса мог бы сказать: vous êtes Pierre et sur cette Pierre je bâtirai mon temple* — и я, взявши за текст эту библейскую шараду**, начинаю приписку свою поздравлением с днем Вашего апостола и желанием провести оный и следующие дни веселее нас, горемык, летающих около московских друзей своих только мыслию. Не поверите, любезный князь, как здесь удушливо скучно! Служба отснедила тело и булавками убивает душу. Одна только и есть отрада, что сойдешься с Мухановыми да потолкуешь о том, что было, и о том, чего не будет. Подпольные на лубочном Парнасе нашем сплетни отбивают охоту писать, а цензура, как водится, обескрыливает остальное. Шишков еще не сделал ни *шиша* доброго[8]; журналисты наши пишут много худого, а я, по выражению Пушкина, гляжу на все это, как старая сводня

«на шашни молодых ⟨...⟩»[9].

Если около 15 июля случится Вам быть в Москве, то я надеюсь дружески поздороваться с Вами лично — кажется герцог берет меня с собою[10]. До тех пор прощайте.

Ваш душою
Александр Бестужев

P. S. Говорят М. Дмитр⟨иев⟩ опять написал что-то грязное? Если это правда — то не отвечайте ему[11], князь, сделайте, как Ваш патрон, — перейдите через это море грязи, не омочив ноги[12]. Все их выходки не будут стоить Вашей словесной походки.

---

* Ты — камень и на сем камне воздвигну церковь мою (франц.)⟨цитата из евангелия⟩. — Шутка Бестужева применительно к имени Вяземского — Петр (Pierre).

** Замечено классиком, что это не шарада, а каламбур. — *Прим. А. А. Бестужева.*

⟨*Приписка Н. А. Муханова*⟩

И я, любезнейший князь, от души поздравляю Вас с Вашими именинами и благодарю Вас за воспоминание; надеюсь иметь удовольствие на днях лично заверить душевное уважение преданного Вам

Николая Муханова[13]

[1] Эти письма в печати неизвестны.

[2] Федор Федорович Вадковский (1800—1844) — офицер кавалергардского полка, активный член Северного и Южного обществ, автор сатирических стихов. 19 июня 1824 г. «за неприличное поведение» переведен из гвардии в Нежинский конно-егерский полк; умер в ссылке в Сибири. См. о нем т. 59 настоящего издания, стр. 472—473, 706.

Брат его—Александр (р. 1801—ум. после 1837 г.),поручик 17-го Егерского полка, член Северного общества с 1823 г., впоследствии освобожденный Следственной комиссией.

[3] О чем идет речь — установить не удалось.

[4] Речь идет, видимо, об элегиях Языкова — «Скажи, воротишься ли ты» и «Не улетай, не улетай», напечатанных в мартовской книжке «Новостей литературы» 1824 г.

[5] Имеется в виду вышедшая в январе 1824 г. в Париже брошюра Я. Н. Толстого: «*Quelques pages sur l'Anthologie russe, pour servir de rêponse à une critique de cet ouvrage, insêrée dans le Journal de Paris, du 2 janvier 1824*» ⟨Несколько страниц о Российской антологии в виде ответа на критику этого труда, напечатанную в «Парижской газете» от 2 января 1824 г.⟩

[6] Игнатий Лаврентьевич Туркул (1797—1856) — главный директор канцелярии статс-секретариата Царства Польского, знакомый Вяземского по Варшаве.

[7] Именины Вяземского были 29 июня по ст. ст.

[8] Александр Семенович Шишков (1754—1841) — писатель консервативного лагеря, адмирал, в это время министр народного просвещения и глава цензурного ведомства.

[9] Цитата из послания Пушкина к Дельвигу («Друг Дельвиг, мой парнасский брат...»), не опубликованного при жизни автора. Пушкин начал этим стихотворением письмо к Дельвигу от 23 марта 1821 г. (Пушкин, т. XIII, стр. 24—25).

[10] Бестужев попал в Москву только в апреле 1825 г., сопровождая туда принца Оранского.

[11] Полемика Вяземского с М. А. Дмитриевым по поводу предисловия к «Бахчисарайскому фонтану» закончилась в начале мая 1824 г. в «Вестнике Европы», № 8 («Возражения на разбор Второго разговора» М. А. Дмитриева) и в «Дамском журнале», № 9 («Мое последнее слово» Вяземского). См. об этом письмо № 9 и прим. к нему.

[12] Бестужев подразумевает евангельскую легенду об Иисусе Христе и апостоле Петре, переходивших по воде, как по суше.

[13] Николай Алексеевич Муханов (1802—1871) — корнет л.-гв. гусарского полка, адъютант генерал-адъютанта П. В. Голенищева-Кутузова.

12

Петерб⟨ург⟩. 20 сентября 1824

Никогда еще не писал я к Вам от столь чистого сердца, почтеннейший Петр Андреевич, как теперь, тем более, что долее виноват я был в молчании; хотя до половины невольно, ибо все лето напролет скитался по дорогам, и месяц целый, вековой, провел в Риге[1]. Теперь пишу к Вам, чтобы отвесть душу, огорченную подлостию людскою и вместе с жалобою слить и просьбу свою о помощи литературной. Из копии с письма нашего к Воейкову увидите Вы, каков он человек; но если узнаете низкие пружины, заставляющие его действовать, то подивитесь и пуще ничтожной зависти и корысти человеческой[2]. План «Северных цветов» им начертан и недаром, это уже и он сам говорит, но, чтобы подорвать нас,употребляет он все средства. Мутят нас через Льва с Пушкиным; перепечатывают стихи, назначенные в «Звезду» им и Козловым, научили Баратынского увезти тетрадь, проданную давно нам, будто нечаянно. Одним словом делают из литературы какой-то толкучий рынок. Вследствие этого однако ж мы весьма бедны стихами — выручите нас, князь, попросите у Ивана Ивановича о том

же[3]. Иначе мы должны будем отложить издание до времен более благоприятных, чем нынешние, хотя и не хочется сойти с поля без бою. Слёнин, конечно, имеет все денежные выгоды на своей стороне, ибо сам продавать будет, а выгоды брать ни за что, ни про что, заплатив только треть Дельвигу за торг чужими стихами[4]. Следств⟨енно⟩ ему с полгоря давать лучшее издание; но мое мнение — взять простотой, коли сущность хороша, и потому даже не хочется и виньеток делать, ибо раньше я не успел, занятый службою и расстроенный кой-какими обстоятельствами, а Рылеев убитый потерею матери и сына и болезнию своею и своей жены[5]. Впрочем, когда успеем, то постараемся и это сделать, хотя, по гравёрам судя, потеря и без них велика не будет.

Я познакомился с Грибоедовым, но еще не сошелся с ним, во-первых, потому что, то он, то я здесь не жил, а, во-вторых, мне кажется, что он любит поклонение[6], и бог Аполлон ему судья за сведенье с ума Кюхельбекера: какую чуху, прости господи, напорол он в своей «Мнемозине»![7] Впрочем, в два или три свиданья наши я видел в нем и любезного европейца и просвещенного *человека* — две редкие вещи в одной особе, особенно на Руси. Мы говорили о вас, любезнейший князь,—и я помирился с человечеством и литературою.

Скажите, князь, что́ вы запали на поле словесном? От Вас ни словечка в журналах, и я перелистываю их без станций, не находя вашего имени! На земле дожди, а там — засуха, и только одна саранча напоминает нам, что в них есть общее с житейским. У нас так лучше — из эфемерных журнальных статеек нашли средство вывесть донос. Борис Федоров (с позволения сказать, тоже писака) подал на в⟨ысочайш⟩ее имя просьбу, к министру просвещения донос, что Булгарин хочет унизить царствующий род, критикуя его статью, где Булг⟨арин⟩ уличает его в ложной ссылке на Брюса, означая свадьбу Петра I-го позже[8]. Тот представил оригинал книги, но чем это кончится — неизвестно! Каково, князь! и эти люди смеют называть себя литераторами, и этих людей терпят на свете, в обществе! О времена! Поверите ли, князь, что чем дольше живу я, тем несноснее становятся мне люди и тем менее я нахожу их. Это было бы и с Вами, любезнейший из князей, еслиб благородное сердце Ваше могло понять черноту других сердец — и, конечно, не я сорву повязку обольщения с глаз ваших, ибо с этим неразлучна потеря едва ли не лучшей мечты жизни. О князь, Ваше бы сердце разорвалось на части, еслиб узнали вы дела и мысли тех, кого считаете лучшими своими друзьями[9] — для одного этого не зову себя другом Вашим, чтобы в будущем не делить нарекания, как в настоящем не похожу я на них чувствами, люблю и уважаю Вас от сердца.

Александр Бестужев

P. S. Нельзя ли поспешить присылкою — мы принимаемся за печатание?[10]

[1] О своей служебной поездке в Польшу, Эстонию и Ригу Бестужев подробно писал матери 21 августа 1824 г. («Памяти декабристов», I, стр. 42—44).

[2] Речь идет об известном письме Бестужева и Рылеева к А. Ф. Воейкову от 15 сентября 1824 г. Это обращение было вызвано незаконной публикацией Воейковым в издаваемом им журнале «Новости литературы» (1824, июль, № 9) тридцати пяти стихов из «Братьев разбойников» Пушкина, отданных поэтом для «Полярной звезды» на 1825 г. Воейков неоднократно грешил перепечатками произведений, опубликованных в «Полярной звезде» и в других изданиях, в частности стихотворений Пушкина, Дельвига, Вяземского, Рылеева (подробный перечень их см. в «Письме к издателю» — «Лит. листки», 1825, июнь, № 11-12, стр. 438—443 — «О легком для издателей и тяжелом для читателей средстве издавать книги и журналы», за подписью: «Ваш читатель Н. В.»). Письмо Бестужева и Рылеева, в котором они объявляли о своем разрыве с Воейковым, впервые напечатано (по автографу Бестужева) Н. И. Мордовченко в сб. «Лит. архив», т. I. М.—Л., 1938, стр. 422. Бестужев упоминает о нем в письме к сестрам от 8 сентября 1824 г. («Памяти декабристов», I, стр. 47 и 69). Черновик ана-

логичного обращения издателей «Полярной звезды» к Воейкову в 1823 г. опубликован в т. 59 настоящего издания (стр. 140).

[3] О напряженных отношениях между издателями «Полярной звезды» и кругом Дельвига см. письмо № 7 и прим. 13 к нему.

Л е в — Лев Сергеевич Пушкин (1805—1852) — младший брат поэта.— О тетради Баратынского см. письмо № 4 и прим. 6 к нему.— И в а н И в а н о в и ч—Дмитриев.

[4] Иван Васильевич С л ё н и н (1789—1836) — петербургский издатель и книгопродавец. Принимал участие в издании двух первых книжек «Полярной звезды», был одним из инициаторов альманаха «Северные цветы».

[5] Смертью годовалого сына Рылеева — Александра — была вызвана болезнь его самого и его жены (см. письмо Бестужева к матери от середины сентября 1824 г.— «Памяти декабристов», I, стр. 48). О смерти матери Рылеева см. письмо № 10 и прим. 7 к нему.

[6] Знакомство Бестужева с Грибоедовым состоялось у их общего приятеля, Н. А. Муханова, по словам Бестужева, в августе 1824 г. Строки настоящего письма дополняют незаконченные воспоминания Бестужева 1829 г. «Знакомство с Грибоедовым» (Б е с т у ж е в ы, стр. 523—530). В единственном дошедшем до нас письме к Бестужеву (от 22 ноября 1825 г.) Грибоедов тепло вспоминает о своих встречах с издателями «Полярной звезды». (Г р и б о е д о в. Полн. собр. соч., т. III, 1917, стр. 182). Об отношениях Грибоедова с Бестужевым см.: Н. К. П и к с а н о в. Грибоедов. Исследования и характеристики. Л., 1935, стр. 161—190; Н е ч к и н а. Грибоедов (стр. по указателю) и комментарий М. К. Азадовского в изд.: Б е с т у ж е в ы, стр. 803—807.

[7] Бестужев имеет в виду известную статью Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», напечатанную во второй части «Мнемозины» (1824).

[8] Булгарин в статье «Отзыв издателя „Северного архива" и „Литературных листков" почтенному издателю „Отечественных записок" (ad interium) Б. М. Федорову» («Лит. листки», 1824, № 13-14, стр. 47—51) выступил против статьи Федорова «Екатерингофский дворец Петра Великого», напечатанной в «Отеч. записках», 1824, № 51. Одним из пунктов «обвинений» Федорова в неточности было указание Булгарина на неверную дату венчания Петра I с Екатериной: вместо 1711 г. — 1707 г. (стр. 48). Полемика на эту тему продолжалась в №№ 53 и 55 «Отеч. записок» и в № 18 «Лит. листков». — О Б. М. Федорове см. письмо № 3 и прим. 3 к нему.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ИЗДАТЕЛЕЙ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» М. А. ДМИТРИЕВУ НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ АЛЬМАНАХА НА 1825 ГОД

«Михайлу Александровичу Дмитриеву от издателей»

Автограф А. А. Бестужева

Библиотека Московского университета им. М. В. Ломоносова

[9] Бестужев, очевидно, намекает на Дельвига и Жуковского — см. прим. 3.
[10] В «Полярную звезду» на 1825 г. Вяземский дал два стихотворения: «Графиням Чернышевым» и «Того-сего».

13

СПБ. 3 ноября 1824 г.

Не подивитесь, любезный князь, что в прошедшем письме я писал к Вам такими черными чернилами—это было в припадке досады, которые часто и нехотя на меня находят. Впрочем, хотя там было мало складу, зато много правды. Молчание Ваше, правда, меня беспокоило; я думал, уж не рассердился ли князь за мистификацию, но ответ Ваш мне был отводом души. Благодарю сердечно за участие, которое берете Вы в «Звезде» и в звездочетах — это утешительно еще более как человеку, чем как издателю[1]. Жуковский с нами и в прошлом году и в нынешнем поступил иначе: обещал горы, а дал мышь. Отдал «Иванов вечер» и взял назад; а теперь (мне, признаюсь, всего досаднее, что я так искренно писал к нему) в то самое время отказал на мое письмо, уверяя, что ничего нет, когда отдавал Дельвигу новую элегию[2]. Я дивлюсь только в этих людях: из какого дохода они лгут и очки другим вставляют? Впрочем, я уже отсердился и теперь только смеюсь на подобные сплетни. Насчет издания «Полярной» — мы никогда и не думали экономить, но невозможность издать к новому году заставила меня говорить о ненадобности виньеток. Теперь это уже решено — они будут. Болото приготовим славное — были бы словесные черти хороши. А нельзя не признаться, что до сих пор у нас еще нет мастерских штук, хотя стихов столько, что Лапландию натопить можно. Пушкин ни гу-гу. Советуете ли Вы напечатать «Разбойников» или нет? Я в сомнении, ибо Воейков подвел нас[3]. Раич прислал отрывок из «Иерусалима», но это широко, как разлив Волги; часть однакож напечатаем[4]. В обозрении не премину сказать моего мнения о лике Лжедмитриева[5]. Не даст ли настоящий своего «Каплуна»? — что смотреть на качан, изъеденный червями латыни[6]. Грибоедов Вам кланяется, я сегодня его видел. Я от его комедии в восхищеньи и преклоняю колено перед даром самородным — это чудо! Одна только шутка о баснях могла бы обессмертить его. Цензура его херит — он в ипохондрии, но с тех пор как лучше его узнаю, я более и более уважаю его характер и снисхожу к его странностям[7]. Здесь нового ничего, кроме печатного, нет. Рекомендую Вам подателя этого письма г-на Оржинского, моего доброго приятеля[8]. Вы его полюбите, если он это заслужит. Денис Васильевич может о нем сказать более, а я хотя бы и хотел, но спешу. Будьте счастливы, любезнейший князь.

Этого желает Вам искренно Вас почитающий

Алекс. Бестужев

[1] Письма Вяземского к Бестужеву за это время не дошли до нас. Об участии Вяземского в «Полярной звезде» на 1825 г. см. прим. 10 к письму № 12.

[2] Жуковский поместил в «Полярной звезде» на 1824 г. «Путешествие по Саксонской Швейцарии», очерк «Рафаелева Мадона» и сцену из «Орлеанской девы» Шиллера; в «Полярной звезде» на 1825 г.— только «Отрывки из писем о Швейцарии». «Северные цветы» на 1825 г. Жуковский, наоборот, щедро одарил своими элегиями («Привидение», «Таинственный посетитель», «Ночь», «Мотылек и цветы»).— Баллада «Иванов вечер» (под заглавием «Замок Смальгольм») появилась в «Соревнователе просвещения», 1824, № 2.

[3] В «Полярную звезду» на 1825 г. Пушкин дал отрывок из «Цыган» и поэму «Братья разбойники». Не пропущенное цензурой в 1823 г. «Послание к Алексееву» удалось провести через цензуру в 1824 г. Об эпизоде с Воейковым см. письмо № 12 и прим. 2 к нему.

[4] Бестужев и Рылеев напечатали в «Полярной звезде» на 1825 г. отрывок из «Освобожденного Иерусалима» Тассо — «Армидин сад», в переводе Раича.

[5] В обзоре «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и в начале 1825 годов» Бестужев отозвался отрицательно о выступлениях М. А. Дмитриева против Вяземского

КНИГА А. А. БЕСТУЖЕВА «ПОЕЗДКА В РЕВЕЛЬ» ПЕРВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ, 1821 г.

Титульный лист

ПОѢЗДКА

ВЪ РЕВЕЛЬ.

сочиненіе А. БЕСТУЖЕВА,

Члена ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ Вольныхъ С. Петербургскихъ Обществъ: Любителей Словесности, Наукъ и Художествъ, и Соревнователей Просвѣщенія и благотворенія.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,

въ типографіи Александра Плюшара.

1821.

в «Вестнике Европы», не называя Дмитриева по имени (стр. 20—21). О полемике Вяземского с Дмитриевым см. письмо № 9 и прим. 2 к нему.

[6] Басня И. И. Дмитриева «Орел и каплун» входила в собрание его сочинений с 1810 г. — Качан — М. Т. Каченовский (см. о нем письмо № 7 и прим. 3 к нему).

[7] О знакомстве Бестужева с Грибоедовым см. письмо № 12 и прим. 6 к нему. Хлопоты Грибоедова об издании «Горя от ума» не увенчались успехом. Как известно, комедия полностью увидела свет только после смерти автора, в 1833 г.

Бестужев в упомянутом обозрении литературы 1824 — начала 1825 г. восторженно отозвался о «Горе от ума», назвав его «феноменом, которого мы не видали от времен „Недоросля“» (стр. 17). Его впечатления от чтения комедии см. также в воспоминаниях «Знакомство с Грибоедовым» (Бестужевы, стр. 526—527).

Шутка о баснях — реплика Загорецкого:

...А если б, между нами,
Был цензором назначен я,
На басни бы налег; ох! басни смерть моя!
Насмешки вечные над львами! Над орлами!
Кто что ни говори:
Хотя животные, а все-таки цари (д. III, явл. 21).

[8] Оржинский — Николай Николаевич Оржицкий (1796—1861), отставной штабс-ротмистр Ахтырского гусарского полка, незаконный сын гр. П. К. Разумовского, поэт. По заключению Следственной комиссии, «знал о существовании и цели общества — введении конституции, но вступить в оное не согласился». Был у Рылеева вечером 13 декабря 1825 г., знал о восстании, но не донес, за что и был разжалован в рядовые («Алфавит декабристов», стр. 142). Бестужев познакомился с Оржицким 2 января 1824 г. («Памяти декабристов», I, стр. 60). См. характеристику его в «Памятных записках 1828 и 1829 гг.» П. А. Бестужева (Бестужевы, стр. 370—371), а также показания Рылеева о нем и его о Рылееве в т. 59 настоящего издания (стр. 194. 224—225) и далее письмо № 15.

14

СПБ. 12 генваря 1825 г.

Желаю, князь, чтобы счастье переменилось к Вам на лучшее, но чтобы Вы для меня остались те же. Я не мог приехать в Москву, потому что товарищи мои по аксельбанту разъехались по отпускам, да и «Звезда» была в забытьи до сих пор. Но будущей зимой заеду в белокаменную на 3 месяца, чтобы хорошенько с ней ознакомиться. Благодарю Вас за выписку из «Меркурия», но он у нас полтора месяца прежде был и мы с удовольствием читали ответную статью P. B. G. Очень мило и умно написана. Однакож, говорят, Катенин вóззрился и пишет в Париж бранную очень отместку [1]. Для того и Н. Муханов удержался печатать в «Conservateur». Здесь были литературные комедии, так что мы со смеху умирали — Булгарин пьяный мирился и лобызался с Дельвигом и Б. Федоровым, точно был тогда чистый понедельник! [2] Все мелочные страстишки вышли наружу, и каждый изъявил свое неудовольствие вслух. Это было на ужине у Никитина [3]. Лобанов, напр⟨имер⟩, признался, что он сердит на всех, зачем его мало хвалят, и просил извинения у Чеславского, что он убил его переводом «Федры» [4] — и пр. и пр. Праздники я провел здесь очень шумно, возлияния Вакху были часты и сильны, и я думал, что я возродился для московской моей жизни, — помните ли геркулесовы наши подвиги, любезнейший князь! Право, я с удовольствием вспоминаю вихрь, в котором я у Вас кружился, и жажду попасть на несколько времени в такой же. — Каковы кажутся Вам «Северные цветы»? Здесь их покупают и не хвалят — как то у Вас? Мне стихи Дельвига лучше всех нравятся. Жуковский на излёте. Крылов строчит уже, а не пишет. Пушкин не в своей колее, а главный недостаток книжки есть совершенное отсутствие веселости — не на чем улыбнуться. Разве над добродушием Плетнева, который возвышает тропарь свой в акафисте Боратынскому и прочим [5]. Впрочем, не подумайте, что тут говорит зависть — я наперед говорю, что наша «Звезда» не многим будет лучше «Цветов», — мы не имели ни ловкости, ни время, ни расположения для улучшения своего альманаха. Впрочем, что будет, то будет, а будет то, что бог даст [6]. Присылайте только подмогу, любезный Петр Андреевич, — мы начали печатать уже. Цензура строга и глупа попрежнему и здесь день за днем валит без отмены и без замены. Грибоедов со мною сошелся — он преблагородный человек; его комедия сводит здесь всех с ума — и по достоинству. Пущин едет к Пушкину, — здесь славят его «Цыган» [7], а 1-я пес⟨нь⟩ «Онегина» пропущена без всяких выемок [8]. Рылеев посылает к Вам письмо к Муханову и, в случае его отбытия, просит покорнейше по нем распорядиться [9]. — Будьте счастливы, любезный и почтенный князь, и не забывайте

ленивца А. Бестужева

[1] Речь идет о полемике, завязавшейся в парижском журнале «Le Mercure de dix-neuvième siècle» вокруг имени П. А. Катенина. В 77-й книжке «Le Mercure» (от 25 сентября 1824 г.) появилась (за подписью: L... N...) статья Н. И. Бахтина (друга Катенина) — «Quelques notes d'un Russe présentement à Paris, sur l'Anthologie russe de M. Dupré de St.-Maure» ⟨Несколько замечаний русского, находящегося в Париже, на Российскую антологию г-на Дюпре де Сен-Мора⟩ (стр. 505—521), в которой была дана высокая оценка творчеству Катенина (стр. 515—516). В 82-й книжке (от 30 октября 1824 г.) того же журнала В. Ф. Гагарин выступил с резким возражением против панегирика Бахтина Катенину, ссылаясь также на авторитет Бестужева и Вяземского, в форме «Lettre à l'éditeur du Mercure» ⟨Письмо к издателю Меркурия⟩ (за подписью: Le P. B. G.; стр. 181—184).

У Бестужева в публикуемом нами письме сообщаются не совсем точные сведения о продолжении полемики — в парижском «Mercure» с возражениями Гагарину выступил тот же Бахтин («Lettre à l'éditeur du Mercure», книжка 85 от 20 ноября 1824 г., стр. 333—336), а Катенин послал полемическое письмо из Кологрива в «Сын отечества» и в «Вестник Европы», которое Греч и опубликовал в «Сыне отечества», 1825, № 3, стр. 333—335 («Письмо к издателям»; с датой 23 декабря 1824 г.).

См. также отклики Катенина в его письмах к Бахтину от начала 1825 г. («Русская старина», 1911, № 6, стр. 584, 590, 592).

В обзоре литературы в «Полярной звезде» на 1825 г. Бестужев беспристрастно упомянул об этой «парижской междуусобице».

[2] О ссоре Дельвига с Булгариным, происшедшей в середине 1824 г. на почве конкуренции «Северных цветов» с «Полярной звездой», см. статью Ю. Г. Оксмана («Лит. наследство», т. 59, 1954, стр. 147—152). О Федорове см. письма №№ 3 (прим. 3) и 12.

[3] Андрей Афанасьевич Никитин (ум. в 1855 г.) — литератор и переводчик, один из основателей Вольного общества любителей российской словесности.

[4] Михаил Евстафьевич Лобанов (1787—1846)—драматург и переводчик, член Российской академии. — «Федра» Расина в переводе М. Е. Лобанова вышла в свет в 1823 г.— Иван Богданович Чеславский (1790—1844)—поэт и переводчик. Его перевод «Федры» печатался в «Благонамеренном», 1821, № 7-8, стр. 10—14 и в «Соревнователе», 1823, № 2, стр. 203—217 (отд. изд. вышло в 1827 г.).

[5] Поэтическая часть «Северных цветов» на 1825 г. была представлена следующими произведениями — Дельвига: «Романс» («Друзья, друзья! Я Нестор между вами...»), «Песня» («Наяву и в сладком сне...»), «Русские песни» («Скучно, девушки, весною жить одной...», «Пела, пела пташечка...») и идиллия «Купальницы»; Жуковского: «Привидение», «Таинственный посетитель», «Ночь», «Мотылек и цветы»; Крылова: «Муха и пчела», «Богач и поэт», «Прихожанин», «Лев состарившийся», «Три поцелуя», «Лисица и осел»; Пушкина: «Песнь о вещем Олеге», «Демон», «Прозерпина» и отрывки из «Евгения Онегина»; Баратынского: «Оправдание», «Сонет» («Мы пьем в любви отраду сладкую...»), «Череп», «Звездочка»; Вяземского: «Простосердечный ответ», «Черта местности», «Младый певец», «Недовольство», «К журнальным близнецам» и ряда других поэтов.

Под «акафистом» Плетнева Бестужев подразумевает его статью «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах».

[6] «Что будет, то будет, а будет то, что бог даст» — слова Богдана Хмельницкого, взятые Бестужевым как эпиграф к VII главе его повести «Ревельский турнир» («Полярная звезда» на 1825 г., стр. 96).

[7] И. И. Пущин в это время уже был у Пушкина в Михайловском, куда приехал 11 января 1825 г. Из Михайловского Пущин привез для «Полярной звезды» на 1825 г. начало «Цыган». О цели этой поездки см. «Лит. наследство», т. 59, 1954, стр. 148.

[8] Первая глава «Евгения Онегина» вышла в свет 14—16 февраля 1825 г.

[9] Это письмо Рылеева к П. А. Муханову до нас не дошло. Речь в нем шла, очевидно, об издании «Дум» или «Войнаровского», которыми занимался в Москве Муханов (см. доверенность Рылеева Муханову от 14 ноября 1824 г. и письмо Рылеева к Вяземскому от 12 января 1825 г. — «Лит. наследство», т. 59, 1954, стр. 142—144).

15

Санкт-Петербург. 16 генваря 1825 г.

Здесь куча новостей, любезнейший князь Петр Андреевич, и Оржинский[1] возьмется порассказать Вам наше житье-бытье. Скука смертельная и того гляди, что за пустое слово улетишь, куда ворон костей не заносил. Скажите, сделайте одолжение, кто на меня написал критику в защиту немцев? Это была пренизкая штука; нападать на такие вещи, против которых писать нельзя*, подло. Я было слова два-три написал против других пунктов, да опоздал в прошлом году, а в нынешнем не хочется. Я подозреваю тут, et pour cause**, Полевого, которого «Телеграф» здесь забавит нас[2]. — Одолжите меня, князь, в лице Оржинского — познакомьте его в хороших домах — охота смёртная отведать ваших московских обществ. Помните, что «Полярная» уже под прессом и ждет Вас.— Рылеев кланяется, а я остаюсь

Вашим Александром Бестужевым

В автографе описка: 1824 г.

[1] Оржинский — Н. Н. Оржицкий. См. о нем письмо № 13 и прим. 8 к нему.

[2] Предположение Бестужева об участии Н. А. Полевого в статье против него, видимо, действительно было не лишено основания. В «Московском телеграфе», 1825, № 8, апрель, в рецензии на «Полярную звезду» на 1825 г. (за подписью: А.) автор ее

* немцы у нас капитольские цыплята[3].— *Прим. А. А. Бестужева.*

** и не без основания (франц.).

возражал Бестужеву на пренебрежительную оценку немецкой литературы в его обзоре (стр. 327).

В статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» Бестужев иронически отозвался о журнале Полевого «Московский телеграф» (стр. 22).

[3] Бестужев имеет в виду легенду о гусях, спасших Рим и ставших священными. Он высмеивает здесь привилегированное положение немцев в александровской России.

16

Петербург. 30 октября 1825 г.

Я на Вас очень сердит, любезнейший князь: дважды были Вы в Петербурге и ни разу не удостоили меня посещением; это мне тем более чувствительно, что в последнюю побывку Вашу мне не удалось с Вами слова сказать... все в Царском да в Царском, а коли в столице, то кстати ли в аристократическом кругу вспомнить о старом приятеле! Даже и не заслали сказать, когда бы Вас увидеть. Как приятель (я думал так), казалось, мог бы я иметь право на уголок в Вашей памяти, хотя и на походном положении, как знакомый даже — притязание на визит? Как бы то ни было, я сердился от чистого сердца, потому что искренно люблю Вас, и пусть эта откровенность Вам докажет, что я не люблю держать за душой ничего[1]. В Москве, думаю, мы помиримся. Я сбираюсь туда в начале декабря. Мы начинаем печатать «Полярную» и у ледяного моря нашей словесности ждем погоды. Стихотворная часть больно слаба у нас. Пушкин не пишет ни к кому и напишет ли? Бог весть. Прочие или ничтожны или ленивы[2]. Многие (в том числе и Вы) обещают — и только. Как думаете сдержать свое слово? Как князь или как поэт? Дайте весточку. У Вас *Океан* есть, у Вас есть, несомненно, и другие достойные Вас пьесы[3]. Мне не верится, чтоб ревельские красоты не одушевили Ваше перо. Стоит только пошарить в карманах да *переписать*. Как, однакож, трудно последнее — я испытал на деле. Помните ли?[4]

Засвидетельствуйте мое уважение княгине и скажите, что я с большим удовольствием вспоминаю оранские балы. И тем живее, что здесь вовсе отказался от танцев и света. Нарышкина баснею мелких офицериков стала, все сватает дочь... Будьте здоровы, веселы, любезнейший князь, и вспомните хоть раз, если не Александра Бестужева, то Бестужева, издателя «Полярной звезды».

Ваш А. Б

[1] Вяземский ответил на эти упреки Бестужева письмом от 18 ноября 1825 г. из Остафьева («Русская старина», 1889, № 2, стр. 321).

[2] Несостоявшееся издание альманаха Бестужева и Рылеева на 1826 г. должно было выйти под заглавием «Звездочка» (см. его содержание в «Русской старине», 1883, № 7, стр. 43—100).

Пушкин дал в «Звездочку» только отрывок из третьей главы «Евгения Онегина».

[3] Стихотворение Вяземского «Океан» неизвестно.

[4] Не намекает ли Бестужев здесь на свое нежелание переписать для Вяземского «подблюдные песни» (см. письмо № 5)?

ПИСЬМА МИХАИЛА БЕСТУЖЕВА к М. Ф. РЕЙНЕКЕ (1856—1857)

Публикация и вступительная статья Б. И. Мусатова

«Наши декабристы 1825 г. страстно любили Россию»,— писал Герцен. Высокое чувство патриотизма, приведшее их с оружием в руках на Сенатскую площадь, «чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия» [1], они пронесли через всю жизнь. Его не заглушили ни орудийные выстрелы 14 декабря 1825 г., ни глухое безмолвие Петропавловской крепости, ни кандальный звон в сибирских «каторжных норах». Оторванные от внешнего мира, декабристы продолжали на каторге и в ссылке служить народу: они развернули многостороннюю просветительскую и краеведческую деятельность.

Лучшие, образованнейшие люди своего времени, они стали исследователями «быта, нравов, языка, преданий, религии, песен населяющих Сибирь народов; они изучали ее климат, ее природу, ее растительный и животный мир; они вводили усовершенствования на ее заводах и на ее полях; они стали учителями, лекарями, просветителями ее населения» [2].

Почетное место в истории культурного развития Сибири принадлежит Михаилу Александровичу Бестужеву (1800—1871). Моряк, писатель и ученый, М. А. Бестужев был одним из активных руководителей восстания 14 декабря. Незадолго до восстания он перешел из флота в лейб-гвардии Московский полк, где развил систематическую агитацию, готовя полк к революционному выступлению. 14 декабря он первым привел свою роту на Сенатскую площадь, весь день находился во главе Московского полка, мужественно руководил обороной, а когда солдаты, под огнем артиллерии, вынуждены были отступить — попытался восстановить военный строй и повести солдат по льду Невы на штурм Петропавловской крепости.

По приговору суда М. А. Бестужев был осужден на вечную каторгу, позже замененную ссылкой.

Три письма М. А. Бестужева, публикуемые ниже, извлечены из архива друга его юности — известного гидрографа, вице-адмирала М. Ф. Рейнеке. Относятся они к 1856—1857 гг. В них отражен духовный облик старого декабриста, не сломленного ни каторгой, ни ссылкой, ни лишениями: Михаил Бестужев интересуется событиями общественной и политической жизни, попрежнему полон глубокой веры в великое будущее родины.

Бо́льшую часть жизни Михаилу Бестужеву пришлось провести за Байкалом. В этом далеком краю он видел не только место каторги и ссылки, но и богатейшую область родной страны. Бестужев пытливо наблюдал начинающийся там подъем, изучая природные богатства, таящиеся в недрах Забайкалья, занимался акклиматизацией новых растений. Правительство не заботилось о том, чтобы заселить край, и отдавало полезные ископаемые на расхищение иностранным предпринимателям. Это возмущало Бестужева.

Упорно занимаясь самообразованием, увлекаясь механикой и практическим освоением разных ремесел, Михаил Бестужев еще в читинском каземате, вместе с декабристом К. П. Торсоном, разрабатывал усовершенствования, которые должны были облегчить труд кораблестроителей и матросов. Там же, в каземате, работал он над

гидравлическим пароходным двигателем, позже вошедшим в употребление в Германии и в Америке. Поселившись в Селенгинске, Михаил Бестужев в числе других бытовых нововведений, полезных для обихода местных жителей, распространял изобретенный им экипаж—так называемый «сидейка»,—удобный для передвижения в горных местностях Забайкалья (этот экипаж сохранился в сибирском быту до сих пор). Михаил Бестужев с гордостью писал: «...теперь нет ни одной горной тропы, по которой бы самый бедный бурят не ездил на экипаже, который они называют бестужевкой» (письмо от 4 февраля 1857 г.).

В своих письмах Михаил Бестужев уделяет большое внимание перспективам будущего развития великой страны, вышедшей к Тихому океану. России предстояло освоить и заселить огромные районы Приамурья, открытые русскими землепроходцами в XVII в. Еще задолго до того, как Амур был закреплен за Россией, эти вопросы волновали многих декабристов; они одни из первых оценили громадное экономическое и стратегическое значение этого единственного крупного водного пути, соединяющего Восточную Сибирь с Тихим океаном. Пестель в «Русской правде» (гл. I, § 2) выдвинул требование, чтобы «все течение Амура, начиная от озера Далая, принадлежало России». Выход на восток, по мысли Пестеля, диктовался не только необходимостью «твердого установления государственной безопасности», но «больше бы доставил выгоды России и преимущества для ее торговли, а равно и для устройства флота на Восточном океане», улучшил бы состояние «восточных сибирских народов», при общении с которыми нужно «способствовать к смягчению суровых нравов и введению просвещения и образования».

Размышляли об Амуре и другие декабристы: В. И. Штейнгель еще в 1812 г. «имел случай <...> сообщить адмиралу Мордвинову свою мысль о возможности разведать Амур» [3]. М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев-Мамонов и Н. И. Тургенев в своем проекте преобразований предусматривали «построение гавани при устьи реки Амура» [4]. По словам В. Ф. Раевского, Амур был мечтой его юности [5], а Д. И. Завалишин, возвращаясь в 1824 г. из Калифорнии через Сибирь, имел не только «намерение подняться по Амуру», чтобы исследовать его, но и составил проект, «заключающий в себе занятие Амура и острова Сахалина» [6].

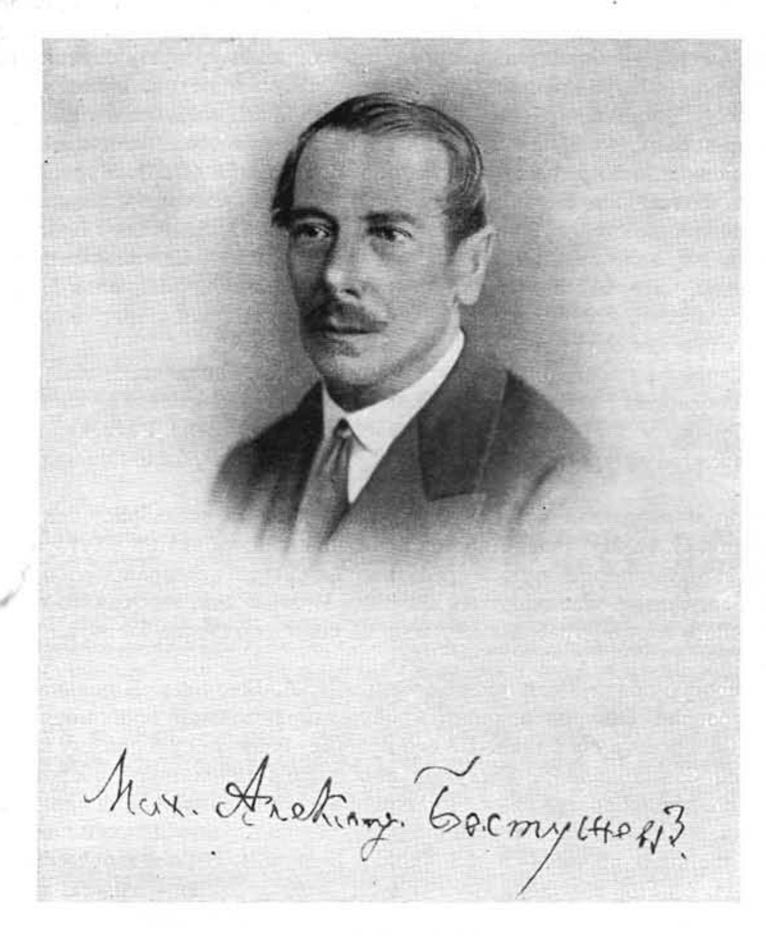
Вопросы, связанные с Амуром, продолжали интересовать декабристов и в Сибири. Например, Завалишина, собравшего еще в каземате разносторонний материал об Амурском крае и составившего подробнейшую карту Забайкалья, Амур, как и прежде, интересовал с точки зрения его будущего освоения [7].

Но особенно пристальное внимание обратили декабристы на Амур в последний период своей сибирской ссылки, в те годы, когда Англия, США и Франция начали закабалять Китай, а над русским Востоком нависла угроза английской экспансии. Именно с этими событиями связывают декабристы необходимость быстрейшего освоения Амура. «Я той веры, что на Амуре должен быть флот, и тогда Англия поплатится китайскою и индийскою торговлею» [8],— писал Штейнгель в 1854 г. в разгар переговоров западных держав с Китаем. Западные державы требовали открытия всей китайской территории для беспошлинной торговли английскими товарами, требовали официального разрешения на ввоз в Китай опиума [9]. А Николай Бестужев, делясь в начале Крымской войны с Завалишиным своим желанием «поколотить» англичан, «этих вероломных островитян, за их подлую политику во всех частях света», и предвидя их посягательства на русский Дальний Восток, писал, что «надобно поскорее занимать Сахалин и ближайшие к нему берега, а иначе англичане влезут к нам в карман» [10].

Естественно, что первые шаги Г. И. Невельского и Н. Н. Муравьева, предпринятые для разрешения амурской проблемы, вызвали в декабристской среде самый горячий отклик. Декабристы оказывали помощь участникам экспедиций и в оживленной переписке делились друг с другом радостями и сомнениями относительно амурских дел [11]. Некоторые декабристы (Завалишин, Штейнгель, Торсон) стали постоянными советчиками Муравьева в его амурских начинаниях.

Одним из энтузиастов амурского дела был и М. А. Бестужев. Сторонник быстрого и решительного освоения Приамурья, открывавшего путь к Приморью, он мечтал о рас-

цвете края, о перенесении на Амур «деятельности русских моряков», о создании в его устьях «нового Севастополя». Едва только амнистия 1856 г. развязала руки М. А. Бестужеву, он сразу же принял деятельное участие в разрешении важнейшей задачи — необходимо было установить судоходство на Амуре: в условиях сибирского бездорожья на судоходство возлагались большие надежды. Имея ясное представление о рутинности бюрократического аппарата крепостнической России, М. А. Бестужев в частной



М. А. БЕСТУЖЕВ
Фотография, 1860-е гг.
Надпись внизу сделана А. Е. Розеном
Институт русской литературы АН СССР ,Ленинград

инициативе видел средства к пробуждению края. Ему отвратительна была служба в «коммерческом мире» и «зависимость от золотых мешков» [12] и все-таки он принял предложение купеческой иркутской компании провести большой караван барж по Амуру до Николаевска.

Отправляясь в «длинный», опасный и многотрудный путь по Амуру, который в ту пору был еще мало исследован, Бестужев с горечью замечал, что чисто коммерческий характер поездки не даст ему времени на «более подробное изучение этой реки и ее жителей». Однако его амурский дневник [13], а также путевые письма [14], адресованные жене и сестрам, свидетельствуют о пытливости автора и разносторонних наблюдениях, сделанных им во время плавания.

Характеризуя эти материалы, входящие лишь в настоящее время в научный оборот, современный исследователь пишет, что они «являются ценнейшим свидетельством

об условиях, в которых происходили первые амурские сплавы <...> в них с большой художественной силой и выразительностью воссозданы картины величественной природы Забайкалья и берегов Амура». И в дневнике и в путевых письмах Бестужев выступил «в полной мере художником-бытописателем Забайкалья и Амурского края» [15].

Поездка по Амуру дала Бестужеву возможность глубже понять и должным образом оценить методы, которыми разрешался амурский вопрос. Вернувшись весной 1858 г. в Селенгинск, он отправил своему другу — декабристу Штейнгелю целую серию писем «об Амуре»,— обличительных и критикующих амурскую политику правительства. Сообщая Д. И. Завалишину о том, что эти письма, «ходя в Петербурге из рук в руки, наконец, попали в руки царя», Бестужев пишет, что он «этим обстоятельством доволен: во-первых, он в них не увидит противоречия твоим статьям, а во-вторых, и его я не пощадил, потому что, как ты ни обвиняй графа <Н. Н. Муравьева>, коренное зло есть половинные меры и недостаток энергии в высшем правительстве» [16].

Значительное место в публикуемых письмах Бестужева занимает Крымская война. Война эта надолго приковала к себе внимание декабристов. Бессильные помочь защитникам родины, которые кровью расплачивались за ошибки Николая I и за бездарность его генералов, декабристы с тревогой ловили сведения о трагедии Севастополя, о действиях русских солдат на Дунае, Кавказе, Камчатке.

Не доверяя ни иностранным, ни русским газетам, попадавшим в их руки, декабристы искали верных известий с поля брани. Встречи декабристов с участниками Камчатской обороны [17] или долгожданные письма от адмирала Рейнеке, заключавшие «в себе множество интересных подробностей о Севастополе», были для них настоящими событиями.

Собирая и передавая известия с фронтов в места декабристских поселений, И. И. Пущин, М. И. Муравьев-Апостол и Якушкин образовали в Ялуторовске так называемый «стратегический пункт» [18]. Накануне смерти расспрашивал о Севастополе Николай Бестужев. А шестидесятисемилетний Волконский, как только началась осада героического города, требовал перевода на севастопольские бастионы простым солдатом [19].

С жадностью ловил вести о ходе войны и М. А. Бестужев. В письме от 2 января 1855 г. он просил Рейнеке точно описать доблестные подвиги русских моряков, все подробности Синопского сражения. По его просьбе, Рейнеке прислал ему карты рейда и окрестностей Севастополя [20]. Бестужев восхищался героической обороной Севастополя, вдохновляемой товарищами его юности — Нахимовым и Корниловым. «...каждый русский, и в особенности каждый моряк, должен гордиться таким падением, которое сто́ит блестящих побед»,— писал Михаил Бестужев. Веря в творческие силы русского народа, он был убежден, что «из пепла этого славного гнезда, вспрыснутого кровью стольких тысяч врагов и соотчичей, должен снова вырасти великий морской город».

* * *

Михаил Францевич Рейнеке (1801—16 апреля 1859), которому адресованы публикуемые здесь письма М. А. Бестужева,— основоположник русской гидрографии, академик, исследователь Белого моря, Лапландских берегов и Финского залива,— был одним из давних друзей М. А. и Н. А. Бестужевых. Он учился вместе с Михаилом Бестужевым в морском кадетском корпусе, а затем, встречаясь с ним в Петербурге и в Архангельске, тесно сблизился и со старшим братом его — Николаем. Однако общался Рейнеке с будущими декабристами только на почве научных интересов.

Дружеское расположение Рейнеке к Бестужевым сохранилось и после 1825 г., когда от «государственных преступников» отшатнулось большинство друзей. Позже Рейнеке писал в одном из писем к Бестужевым «мыслию часто, очень часто бываю я в дебрях Селенгинска, в гостях у друзей, мною уважаемых с детства» [21]. Он завязал с изгнанниками переписку, в которой попрежнему продолжал «толковать о предметах технических», о флоте, а в годы Крымской войны, находясь в Севастополе и Николаеве, сообщал им подробности военных операций. Переписка велась главным образом с Ни-

колаем, а после его смерти—с Михаилом Бестужевым, и Рейнеке очень дорожил ею. В неизданном его дневнике 25 декабря 1854 г. записано: «Сегодня, как будто подарок на елку, получил я два письма от Н. А. Бестужева из Селенгинска. Это порадовало меня <...> День занимался письмами к Н. А. Бестужеву» [22].

Часть писем Рейнеке к М. А. и Н. А. Бестужевым хранится в ИРЛИ. Помимо того, что эти письма дают возможность судить о научных интересах ссыльных декабристов, они свидетельствуют и об огромной популярности М. А. Бестужева среди моряков — его бывших товарищей по морскому корпусу и сослуживцев. «Ваши письма прочел я в беседах с Влад. Пав. Романовым, Николкою Пущиным, Петром Лутковским и даже носатый Павел Подушкин нарочно пришел ко мне, чтобы узнать об Вас. А. Б. Озерский тоже просил меня прочесть предпоследнее письмо Ваше»,— писал Рейнеке М. А. Бестужеву 13 мая 1856 г.[23] «Корнилов,— писал он 23 марта 1854 г. Н. А. Бестужеву,— вспоминает с удовольствием, как за 30 лет пред сим поручен он был Михаилу Александровичу и как тот заботился о нем — тогда юном мичмане, за это шлет он спасибо» [24].

Публикуемые письма М. А. Бестужева к Рейнеке хранятся в Центральном государственном архиве военно-морского флота СССР в Ленинграде (фонд М. Ф. Рейнеке, № 1166, оп. 1, д. 4).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. И. Герцен. Нашим врагам. — Герцен, т. XXI, стр. 207.

[2] Л. К. Чуковская. Декабристы—исследователи Сибири. М., 1951, стр. 24.

[3] В. И. Штейнгель. Записки.— «Общественные движения», стр. 377.

[4] «Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего устройства». Под ред. А. К. Бороздина. СПб., 1906, стр. 146.

[5] См. настоящий том, стр. 168.

[6] Завалишин, стр. 74, 90, 259.

[7] По словам Завалишина, он еще в тридцатые-сороковые годы «приготовлял основания для разрешения амурского вопроса» (Завалишин, стр. 274). Сообщение Завалишина подтверждено документально. Так, например, А. К. Сиверс, один из помощников сенатора-ревизора Толстого, еще в 1844 г., то есть за четыре года до начала деятельности Н. Н. Муравьева в Восточной Сибири, ознакомившись с планами Завалишина по преобразованию края, писал ему: «Сообщенные мне сведения о преобразовании края, и для пользы самого края, и в видах подготовления к разрешению амурского вопроса я читал с живейшим вниманием» («Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири». Очерк, редактированный и изданный... В. П. Сукачевым. М., 1891, стр. 51).

См. также диссертацию Л. А. Сокольского «Декабристы в период сибирской ссылки и после „амнистии“ (1840—1860-е гг.)». М., 1954 (ЛБ).

[8] «Летописи», стр. 385.

[9] Ху Шен. Агрессия империалистических держав в Китае. М., 1951, стр. 38—39.

[10] С. В. Максимов. Николай Александрович Бестужев. (По его письмам).— «Наблюдатель», 1883, № 3, стр. 112. Письмо датируется, по указанию С. В. Максимова, 11 марта 1854 г. Подлинник неизвестен.

[11] С. Марков. Ялуторовск — Амур — Камчатка. Декабристы в 1854 году.— «Омская область», 1940, № 2, стр. 67—72.

[12] Бестужевы, стр. 438.

[13] Не издано. —ИРЛИ, ф. № 604, ед. хр. 22; отдельные выдержки из него приведены в статье М. К. Азадовского (см. следующее прим.), стр. 215—216.

[14] М. К. Азадовский. Путевые письма декабриста М. А. Бестужева (Забайкалье и Амур. Чита).—«Забайкалье», 1952, № 5, стр. 216—237.

[15] Там же, стр. 216—237.

[16] ГИМ, ф. № 250, ед. хр. 1, л. 99 об. Письмо М. А. Бестужева к Д. И. Завалишину от 17 сентября 1860 г. — В многочисленных статьях, посвященных амурскому вопросу и напечатанных в «Морском сборнике» и других изданиях, Завалишин всю вину за неудовлетворительный ход освоения Амура возлагал на Восточно-Сибирскую администрацию, на генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева. — Письма М. А. Бестужева к В. И. Штейнгелю не сохранились.

[17] С. Марков. Указ. соч.

[18] «Летописи», стр. 99.

[19] Волконский, стр. 496.

[20] ИРЛИ, ф. № 604, ед. хр. 16, лл. 133, 135—136.

[21] Там же, л. 140. Письмо от 7 сентября 1855 г.

[22] ЦГАВМФ, ф. № 1166 (М. Ф. Рейнеке), ед. хр. 8, л. 113.

[23] ИРЛИ, ф. №, 604, ед. хр. 16, л. 141.

[24] Там же, лл. 123 об. — 124 об.

1

Селенгинск. 1 января 1856 г.[1]

Получив Ваше письмо, многоуважаемый Михаил Францевич, в последних днях истекавшего года, я отложил удовольствие ответа для того, чтоб начать новый год приятною беседою с Вами. Желаю Вам всего лучшего, а главное — здоровья, столь необходимого Вам в теперешнем положении, как для того, чтоб Вы имели силы совершенно покончить многолетние, полезные Ваши занятия, так и для преодоления новых трудов, предстоящих Вам по управлению новых должностей, вверенных правительством Вашей опытности и попечению[2].

Севастополь пал, но пал с такою славою, что каждый русский, и в особенности каждый моряк, должен гордиться таким падением, которое стóит блестящих побед. К сожалению, подобная слава не покупается дешево: Россия потеряла трех героев, черноморские моряки — трех славных адмиралов, Вы — одного из друзей, а я — двух товарищей моей юности[3].

С П. С. Нахимовым я был дружен еще бывши кадетом, когда его и мой брат были корпусными офицерами. Впоследствии судьба нас свела в Архангельске, кажется в то же время, когда и Вы там были, а это были самые счастливейшие дни моей юности[4]. Время быстро летело в дружеских беседах с ним, в занятиях по службе и приятных развлечениях, какими был так обилен в то время город Архангельск, как Вы это сами, вероятно, помните. Я живо помню бал в клубе и потом ужин. Там мы танцевали и пировали с ним в последний раз. Я пошел на «Крейсере» в Кронштадт, а он был вызван М. П. Лазаревым для кругосветного путешествия.

С почтенным семейством В. А. Корнилова я познакомился по возвращении из Архангельска, через Фандер-Флита, бывшего вице-губернатора в Архангельске, в доме которого я был принят как родной, и на дочери которого был женат М. П. Лазарев. Я уже был лейтенантом, когда В. А. Корнилов вышел из корпуса на службу и нежно любящая его мать просила меня не оставлять сына ее добрыми советами. Но судьба решила иначе. Милый наш Володя (как мы его все называли) отправился в кругосветный вояж[5], а я перешел в гвардию, где служил в одном батальоне со старшим его братом, благородным, умным Александром Алексеевичем.

Ближайшим знакомством с Михаилом Петровичем Лазаревым[6] я обязан моему экзамену в лейтенанты: он был моим экзаминатором. До самой последней минуты, когда он на фрегате «Крейсер» отправился к берегам Охотского моря, я, пользуясь его ласковым приглашением, наслаждался его умною, поучительною беседою, тем более для меня ценною, что сам, точно так же как и он, страстно любил море. В то время мы с К. П. Торсоном приводили к окончанию «новые штаты» для вооружения и внутренних перемещений кораблей, и советы М‹ихаила› Петровича, его замечания и верность взгляда на все, касающееся до корабля, были драгоценны[7]. Со своей стороны и он, никогда не упускавший случая заставить молодого офицера высказывать свои мнения, требовал от меня подробностей, относящихся до фрегата «Крейсера», на котором я прибыл из Архангельска и исправлял должность вахтенного офицера и который он в то время исправлял заново для кругосветного похода.

Из этого Вы можете заключить, добрый, старый друг наш, Михаил Францевич, сколько драгоценного, святого заключал для нас Севастополь в стенах своих, для нас, не имеющих ничего, кроме прошедшего, и потому сколько мы ценили Ваши письма, заключающие в себе множество интересных подробностей о Севастополе. К сожалению, брат не мог дождаться последнего из них и посылок его сопровождавших. Но мой долг принести Вам искреннюю благодарность за те приятные минуты, которыми Вы подарили меня последней посылкой. Вы своею доброй душою и будучи

душою моряк поняли, чем можно усладить горькие минуты бывших моряков.

Вы спрашиваете, что я сделал с семенами акации?[8] Вот Вам полный отчет. Некоторые мы посадили в грунт и осенью часть их покрыли соломой для предохранения от жестоких зимних морозов, а часть оставили непокрытою, чтобы увидеть, выдержат ли они наш холод и бесснежье. Несколько семячек мы посадили в горшки и думали нынешнею весною их высадить в грунт. Но мы не знаем, какой грунт необходим для них? И потому Вы нам сделаете всем большое одолжение, если потрудитесь уведомить об этой статье. По нескольку семячек я отправил в Нерчинск, в Иркутск и Кяхту. И, наконец, 4 семячка посланы в Барнаул к одной страстной почитательнице крымской природы, где она была, и которая с восторгом вспоминала о крымской акации. Вообразите ее радость и удивление, когда она получит семена ее любимых растений совершенно с другого конца русского мира. О дальнейших результатах я Вас уведомлю впоследствии.

Простите, добрейший друг Михаил Францевич, что объем письма перешел за границы моего желания, с которым я принялся за перо. Я бы не должен был во зло употреблять Вашего снисхождения и отнимать у Вас дорогое время на чтение моего марания. И поэтому спешу кончить, заключив письмо просьбою сестер моих[9] передать Вам их чувства истинного уважения. О своих чувствах я не хочу писать: им было бы тесно в форменных рамках обычной подписи. Скажу только: дарите хоть иногда строчкою того, кто

весь Ваш Михаил Бестужев

P. S. Будьте столь добры, уведомите нас о братьях П. С. Нахимова, В. А. Корнилова и о семействе М. П. Лазарева. Еще я попросил бы Вас сказать что-нибудь об Аполлоне Александровиче Никольском[10]. Он был в постоянной переписке с нами, но со времени смерти его жены — как будто канул в воду...

[1] Пометы М. Ф. Рейнеке: «Получ⟨ено⟩ 9 марта»; «Ответ 13 мая».

[2] Сообщая М. А. Бестужеву о своей деятельности, Рейнеке писал 7 сентября 1855 г.: «Я назначен 30 августа директором Гидрографического депо, председателем Ученого морского комитета и инспектором Корпуса штурманов. Эти три обязанности, при необходимых занятиях по уплате старых долгов в отчетах и обработках съемки Балтики и при моей хворости, для меня очень тяжелы» (ИРЛИ, ф. № 604, ед. хр. 16, л. 139 об.).

[3] Речь идет о П. С. Нахимове, В. А. Корнилове и В. И. Истомине.

Рейнеке был близким другом П. С. Нахимова. 7 сентября 1855 г. он писал М. А. Бестужеву: «С детства моего Павел был лучшим и ближайшим моим товарищем, приятелем и, наконец, другом не по одному холодному светскому званию, а и по искренности чувств взаимной привязанности нашей» (ИРЛИ, ф. № 604, ед. хр. 16, л. 139).

[4] М. А. Бестужев, служивший в Архангельске с 1819 г. по 22 июня 1821 г., встречался там с П. С. Нахимовым в 1821 г. В марте того же года в Архангельск был командирован и Рейнеке.

[5] Владимир Алексеевич Корнилов (1806—1854) в 1823 г., выйдя из Морского корпуса, должен был отправиться на шлюпе «Смирный» в Тихий океан, но во время шторма в Северном море шлюп был поврежден и путешествие отменено.

[6] Михаил Петрович Лазарев (1788—1851) — адмирал; с 1833 г. исполнял должность главного командира Черноморского флота и портов.

[7] Константин Петрович Торсон (1790—1851) — капитан-лейтенант флота, член Северного общества, осужден по II разряду. Талантливый морской офицер, он проводил опытное перевооружение корабля «Эмгейтен», имевшее большое значение для улучшения русского флота. Однако организатор этой работы был оставлен в тени, а честь преобразования была присвоена морским министром, адмиралом Моллером. О совместном труде Торсона и М. А. Бестужева над выработкой «новых штатов» кораблей см.: Бестужевы, стр. 258—259, 297, 421—423 и др.

[8] Здесь, как и в следующих письмах, речь идет о семенах крымской акации из сада П. С. Нахимова, полученных М. А. Бестужевым от Рейнеке в 1855 г. Попытка Бестужева вырастить в Забайкалье крымскую акацию интересна не только как своеоб-

разный способ увековечить память севастопольских героев; это был один из опытов акклиматизации в Сибири новых растений, который проводили декабристы.

[9] Сестры Бестужевы — Елена (1792—1874), Мария (ок. 1795—1889) и Ольга (ок. 1795—1889) — после смерти матери, отпустив на волю 30 душ крепостных, переехали в 1847 г. в Селенгинск, где и оставались до 1858 г.

[10] А. А. Никольский — секретарь Ученого комитета Морского министерства.

2

Селенгинск. 1 сентября 1856 г.[1]

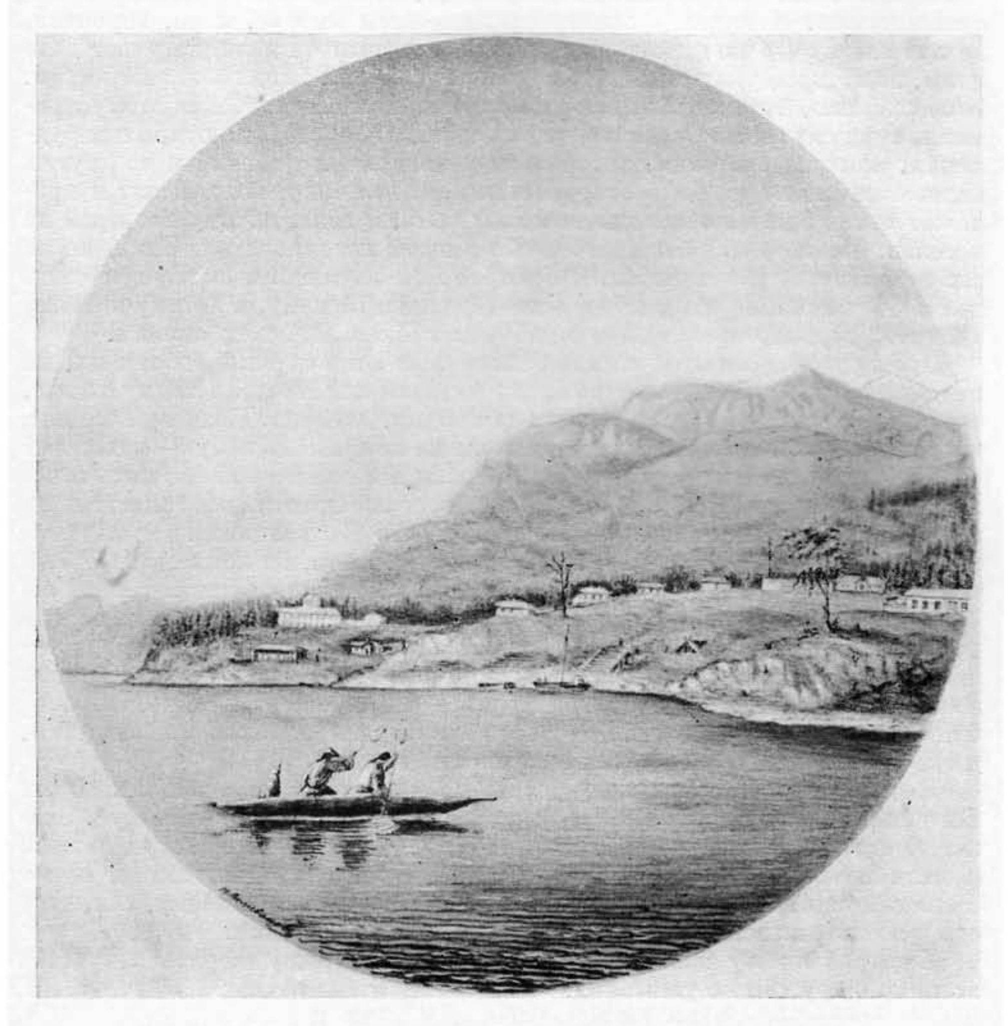
Благодарю Вас, многоуважаемый друг мой, Михаил Францевич, за письмо Ваше от 2 июля. Ваши письма — это цветы, приносимые на могилу усопшего. Ваши беседы и весточки с того, с Вашего света, вдувают душу и заставляют сердце биться тою жизнью, какою оно билось во время óно, в сообществе друзей, о которых Вы упоминаете. Немного уже их осталось, и Вы справедливо говорите, что в наши лета подобные потери невозвратимы. Неумолимая смерть с каждым взмахом косы теснее и теснее зачерчивает круг нашего морального существования и с каждым взмахом ее косы наше одиночество становится все безотрадней. Зато как дорого должны мы ценить приязнь тех немногих друзей, коих провидение нам оставило для услаждения последних дней нашей жизни, и в этом отношении бог не обвинит меня в неблагодарности. Я еще раз благодарю Вас за Ваши письма.

Для нас, похоронивших с собою наше настоящее и будущее, осталось одно прошедшее, чем мы жили и живем. Юность и самую поэтическую часть нашей жизни — молодость мы провели в море. Это — наше прошедшее, и потому Вы можете себе представить, как нам были дороги известия не только об наших однокашниках, но и обо всех моряках — как родных, о флоте — как о родине. Следуя с напряженным вниманием и сердечным участием за осадою Севастополя, для полноты картины нам недоставало подробностей, и Вы, добрейший Михаил Францевич, как истый моряк, сочувствуя нам, удовлетворили наше желание. К сожалению, последнее письмо Ваше и посылка уже не застали в живых брата, а он только об них думал и говорил даже до последних минут своей жизни. Мы уже предугадывали падение Севастополя, тем не менее нам хотелось знать, из каких материалов образовался пепел будущего гнезда черноморского феникса. Да! Из пепла этого славного гнезда, вспрыснутого кровью стольких тысяч врагов и соотчичей, должен снова вырасти великий морской город, но орлы или совы будут там гнездиться — вот вопрос, разрешение которого мы узнаем за пределами гроба.

Лазаревы рождаются веками, лучшие его ученики почти все погибли, а уцелевшая кровь севастопольского богатыря перелилась в другие жилы, где может быть заплесневеет от застоя. Вы можете видеть, как для меня интересно современное состояние нашего флота. К сожалению, следить за успехами его не так-то легко заброшенным за семь тысяч верст на край обитаемого мира. Но бога ради, не подумайте, что я говорю в надежде расшевелить Ваше доброе сердце, — с моей стороны это было бы непростительным эгоизмом. Могу ли я требовать подобной жертвы от Вас, принесшего на алтарь отечественного служения молодость и здоровье и теперь посвящающего науке все свои досуги. Я только хочу Вам представить свое положение, очень похожее на положение человека, выброшенного бурею на необитаемый остров. Кое-когда мелькнет вдали парус, кое-когда пристанет к нему мореходец... Из бесед с ними, запечатленных по большей частью личностью, или отрывчатых известий мы имеем кое-какие понятия, но это далеко не то, чего бы хотелось. Даже официальные сведения до нас доходят не всегда исправно. Например, мы выписываем «Морской сборник»; прошлый год он присылался исправно; третьего года нам только выслали

6 книжек и то в конце года, и нынешний год до сей минуты мы не получили ни одного нумера. О нашем флоте мы более узнаем из иностр⟨анных⟩ газет, но всегда ли им можно доверять?

Наступает время, когда в наше соседство переселяется частная деятельность русских моряков, когда на устьях Амура возникает, ежели не Севастополь (ему не тут место), по крайней мере, Рига, и когда новый Николаев[2] (потому что так его имя) закипит торговой деятельностью. Но до



ГОРОД СОФИЙСК НА АМУРЕ
Рисунок Н. П. Поливанова, 1860-е гг.
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

того вожделенного времени много утечет воды из Амура, несмотря на то, что этот благословенный край щедро наделен дарами природы; много сокровищ сокрыто и в недрах земли и рассыпано по ее поверхности, где дуб растет в соседстве дикого винограда и где за солдатскую пуговицу дают по соболю; со всем тем этому заветному краю недостает только безделицы: народонаселения. А откуда его взять? Из Забайкалья? Но и здесь его так мало, что недостает рук, чтобы подбирать разбросанные богом дары. Я уже не говорю о тех дарах, которые скрыты в земле и которые только ожидают,

кому придет охота взять их. В доказательство я Вам приведу один из сотни примеров. Вам уже, вероятно, известно, что недалеко от Иркутска финляндский уроженец Алибер, не говорю нашел, а стал разрабатывать богатое месторождение графита, равного, ежели не выше, достоинством знаменитого брокминского, которого рудники уже совсем иссякли[3]. У меня в руках есть образцы забайкальского графита из двух мест, достоинством гораздо высшие брокминовских. Здесь все только гоняются за золотом и оставляют без внимания то же золото, но только не в таком блестящем костюме. Я видел у одного старика-ламы многие, и то, вероятно, не лучшие из его коллекции минералов, которым он даже не умеет дать цены, но которые указывают, что́ можно со временем ожидать от этого края. К сожалению, буряты скрывают места их нахождения. Какие этому причины, трудно узнать. Страх ли, что их заставят работать на открытых рудниках, или опасаясь лам, которые из религиозных понятий и из других видов запрещают им быть откровенными. И эти сокровища лежат и пролежат тунно еще многие годы, а может быть, и века, потому что край не населен. Можно было бы много и обо многом потолковать с Вами, но не все то можется, чего хочется. И без того моя болтовня вышла за пределы должного внимания к зрению и долготерпению Вашему, а потому я спешу кончить, отрапортовав Вам о состоянии севастопольских акаций.

Прошедшею осенью я посадил пять семячек в горшки, облив их, по наставлению Вашему, кипятком. Из пяти вышли три, но такие тощие, что весною, вскоре после пересадки на грядки, погибли. Тогда же, осенью, я посадил 6 зерен прямо в грунт и даже не покрыл на зиму — и что же? Они выдержали наши 40-градусные морозы и из шести взошло пять и все лето благополучно росли, но лист и цвет совершенно отличен от настоящих акаций и подходит к нашей дикой акации, что́ Вы увидите из приложенного листочка. Весною я посадил в гряды 20 семян, из коих вышло 17, и все росли лето и теперь все целы. Вышина их полтора аршина. На зиму я их закрою, а на весну рассажу. О участи акации в других местах я еще не получил сведений. По слухам, в Нерчинском — принялась, а в Кяхте — нет, — и не мудрено, потому что местоположение Кяхты — это песчаная яма, в которой летом можно задохнуться от жара; может быть, ей расти будет привольнее на Чикое, на устье речки Кирани, в Чикой вливающейся, и где загородные домы многих кяхтинских купцов.

Позвольте в заключение попросить Вас кланяться всем тем, о которых Вы упоминаете в Вашем письме, и особенно Петру С. Лутковскому[4]. Скажите, что его дружеское расположение ко мне всегда присносущно моей памяти и что я никогда не забуду нашего последнего свидания. Кисет с его табаком всегда у меня дополняется новым запасом табаку, так, чтоб его всегда развести старым, как делают с рейнвейном.

Еще раз прошу извинить за болтовню и прошу верить в чувства истинной дружбы и уважения.

М. Бестужев

Брокман
Алибер
Забайкальский

P. S. Прилагаю пробы разных карандашей и листики акации.
Цветки желтые[5].

[1] Пометы Рейнеке: «Получ‹ено› 20 октября»; «Ответ 10 ноября».

[2] Имеется в виду Николаевск на Амуре, возникший в 1852 г. В 1854 г. он стал военным портом, в 1856 г.—административным центром Приморской области. Это было время быстрого развития города и его торговой деятельности. По замыслу генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева, Николаевск должен был стать центром колонизации и торговли, чему должно было способствовать его положение на судоходном Амуре. Однако надежды эти не оправдались, а после присоединения к Рос-

сии правого берега Амура порт перенесен был во Владивосток (1872), а административный центр — в Хабаровск (1880).

[3] Алибер (1820—1905) в 1848—1858 гг. разрабатывал месторождение графита на Ботогольском кряже, примерно в 400 км к юго-западу от Иркутска, снабжая графитом карандашную фабрику Фабера в Нюрнберге.

«Брокминский» графит — графит, который в первой половине XIX в. добывали в Комберлендском графстве и обрабатывали на фабрике Брокмана (Англия).

[4] Петр Степанович Лутковский (ок. 1800—1882) — брат Ф. С. Лутковского (1803—1852), привлекавшегося к следствию по делу декабристов. П. С. Лутковский был морским офицером, с 1849 г. — контр-адмиралом. Он поддерживал дружеские отношения с М. А. Бестужевым и А. А. Бестужевым, который посвятил ему рассказ «Страшное гадание» («Московский телеграф», 1831, № 5, стр. 36).

[5] К письму прикреплен сургучом листик акации и сделана приписка рукой Рейнеке: «Это акация от семян, посланных мною из сада П. С. Нахимова».

3

Селенгинск. 4 февраля 1857 г.[1]

Для испытания друзей несчастье есть лучший пробирный камень, который тотчас отличит настоящее золото от поддельного. Эта афоризма невольно пришла мне на мысль, когда я взялся за перо, чтоб отвечать на последнее письмо Ваше, добрый, благородный друг, Михаил Францевич! Невольно я пробежал мысленно горизонт моей прошлой жизни, где многие звездочки отрадно сияли лучами дружбы. И что ж теперь? Многие закатились под горизонт на веки веков, многие померкли, еще не закатившись; зато некоторые, прежде невидимые, теперь сияют для меня алмазным блеском звезд первой величины и отрадно греют меня на старости теплым светом дружбы. Примите это за выражение моих задушевных чувств к Вам, за прямые слова старого моряка, который лгать не умеет и особенно, когда он это говорит, может быть, в последний раз; но, может быть, и не в последний, ежели провидение сохранит меня, то все-таки я долго, долго буду лишен удовольствия беседовать с Вами письменно. Вас это удивляет; между тем, это сущая правда. На днях я, оставляя жену и детей, отправляюсь на Амур, а потом в Америку.

Правительство, после горьких опытов, избрало простой и верный путь: отправлять все тяжести, следующие на Амур, *подрядом*. Компания иркутских купцов, приняв на свою ответственность доставку 150 000 пудов тяжести на устье Амура, предложила мне почетный титул адмирала 60-ти больших барж, для препровождения их в Мариинский и Николаевский посты. По сдаче там грузов они поручили мне отправиться в Америку для того, чтоб купить там речной пароход для плавания по Амуру и еще одно морское судно для плавания по Тихому океану. В каком из американских городов я могу приобресть покупкою эти суда — я сам не знаю, точно так же, как я не знаю, какою дорогою я возвращусь на родное пепелище: может быть, на пароходе или на купленном корабле кругом мыса Горна, а может быть, через Кронштадт в Селенгинск. В первом случае мне предстоит удовольствие посетить американские, португальские и испанские города Америки со включением Сандвичевых островов и Шанхая; во втором — Англию, Данию и колыбель моего морского поприща — Кронштадт, а проездом — мою родную колыбель, Петербург, где, может быть, я хотя мгновенно обниму тех, которые меня неодолимо влекут к себе, несмотря на расстояние верст и городов[2].

Этот маршрут очень короток, но заключает в себе длинный, опасный и многотрудный путь. Вы, как человек дела, а не слова, лучше всякого можете угадать, чтó мне предстоит преодолеть, особенно после 30-летней летаргической смерти. До этой минуты, лишенные возможности быть существенно полезными обществу, мы жили в абстрактивном мире. Мы с жадностью следили за каждым шагом в области ума и науки. Мы поглощали с ненасытимою жаждою все, что мир духовный творил, и мы

были умны теоретически! К счастью и, может быть, исключительно к моему счастью, я предугадал, что с подобною системою занятий можно легко сойти с ума. Я начал умственные занятия перемешивать с занятиями более практическими, материальными; я изучил более шести языков; я был попеременно портной, сапожник, переплетчик, слесарь, кузнец, лудильщик, шорник и ювелир. Брат мой избрал часовое мастерство, и этим только путем мы избегли с ним и помешательства ума и сохранили свое, уже угасающее зрение. Шестнадцать лет, проведенные нами на поселении в Селенгинске, брат мой преследовал свою задушевную идею: упростить до возможности морские хронометры и, следовательно, сделать их доступными самым бедным мореходцам; а я — распространением особенного рода экипажа, мною изобретенного, который, будучи приспособлен к местности, мог бы приносить возможную пользу. Я достиг цели своих намерений: теперь нет ни одной горной тропы, по которой бы самый бедный бурят не ездил на экипаже, который они называют бестужевкой. Этот же экипаж, несколько усовершенствованный, но до крайности простой и дешевый, во всех городах Забайкалья и даже в притязательном на моды Иркутске — в большом употреблении.

Монаршая милость развязала нам руки и ноги; нам возвратили свободу действовать и идти на все четыре ветра, но это легко сказать, да нелегко сделать. Путы, связывавшие нас слишком тридцать лет, глубоко въелись и в тело и в душу нашу. Со всеми нашими теоретическими познаниями по всем отраслям наук мы все-таки недоросли в практической науке жизни. К тому же, когда ожившего человека поднимают из гроба, то дают ему хоть немного поесть, чтоб он снова не умер с голоду, а у нас отняли этой милостью и последний кусок, которым мы питались. Нас сделали снова дворянами, граждана⟨ми⟩ города, т. е. подвергли всем тягостям городских повинностей и в то же время лишили земель и казенного содержания, единственных средств существования нашего[3].

Но полно об этом, для Вас нисколько не интересном предмете. Я об этом упомянул только для того, чтоб Вам объяснить необходимость моей решимости, оставив всё, пуститься в такой дальний и трудный вояж[4].

А со всем тем, как он ни труден, а сколько заключает в себе прелести, даже прелести новизны, как, например, плавание по Амуру. И то правда, что, для меня, как начальника сплавной флотилии, можно бы пожелать, чтоб эта река была не так *нова*, а главное — не так капризна и в своем течении и в прибыли воды, но, даст бог, со временем мы и ее разузнаем, да поразведаем. Теперь в нашем штабе составляется довольно подробная карта ее течения — разумеется, только еще с отдельных описей; вероятно, она Вам будет сообщена по принадлежности. Николай Николаевич Муравьев[5] мне обещал подарить один экземпляр, но едва ли успеют кончить к моему отплытию.

В ученом отношении Амур уже почат во многих точках и многими очень дельными молодыми учеными. С большей частью из них я познакомился и, вероятно, еще снова встречусь на Амуре. Как досадно, что мое плавание чисто коммерческое, и потому время — как капитал чужой — я не имею права тратить на более подробное изучение этой реки и ее жителей. По рассказам всех, кто там был, это новый мир, даже в ученом отношении. Но все это еще не уйдет от меня. Если мне удастся приобрести хорошенький речной пароход, вероятно, я же останусь его командиром, и тогда мне будет полная свобода для изучения. Теперь же я даю себе непременный зарок — одно: посадить по всему течению Амура на каждом нашем ночлеге по нескольку семячек севастопольских акаций и особенно ниже города Сахалин-Улаги[6], там где Амур, склоняясь к югу, орошает самую благодатную почву винограда, дубов и вязов. К ним присоединю я косточки одной из лучших родов владимирских вишен, и когда, со временем,

АВТОГРАФ ПИСЬМА М. А. БЕСТУЖЕВА К М. Ф. РЕЙНЕКЕ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 1857 г.
Лист последний
Центральный архив военно-морского флота. Ленинград

эта великолепная амурская аллея разрастется, то грядущее поколение юных моряков, отправляясь Амуром на службу в будущий Севастополь на Тихом океане, будет отдыхать под их сенью, составляя планы будущей жизни, незабвенная слава трех погибших под Севастополем адмиралов и их учителя навеет на душу их благородную решимость подражания к таким высоким образцам, и они поблагодарят старого моряка, насадившего эти деревья.

Я еще не решился в выборе: какого рода купить пароход? — винтовой, колесный или гидравлический, точно так же, как еще колеблюсь между деревянным и железным. Железный, без сомнения, будет сидеть меньше в грузу и будет легче. Но эти выгоды влекут за собою тысячи препятствий. Не говоря уже о склепке частей кузова в Николаевском посте, где еще так мало даже посредственных слесарей, малейшая починка кузова в местах ненаселенных будет совершенно невозможна, тогда как деревянный кузов может быть построен на устье Амура, а установка машины, привезенной на купленном корабле, не будет сопряжена с большими затруднениями, а тем менее и починка во время плавания в местах, изобилующих прекрасным строевым лесом. Касательно же выбора из трех родов пароходов я бы отдал предпочтение гидравлическому, и если этот род уже вошел в употребление, по примеру рейнских пароходов, и в Америке, то я непременно куплю гидравлический как самый удобный для плавания по реке, где при крутых поворотах между гранитных скал быстрота течения увеличивается. Этот род пароходов еще и потому близок моему сердцу, что основная идея двигателя пришла мне на ум тридцать лет тому назад в Чите, когда мы читали длинные диссертации о способах предохранить колесные военные пароходы от выстрелов неприятеля.

В то время покойный К. П. Торсон не оставлял усовершенствовать свой проект об улучшениях касательно нашего флота, я занимался изучением

механики и по его программам составлял ему разные машины, как-то: пильная машина, чтобы экономически выпиливать корабельные шпангоуты и прочие кривые деревья, экономическое составление кораб⟨ельных⟩ мачт, постройка и конструкция наборных шлюпок, катеров и баркасов, опреснение морской воды в камбузе и т. подобное. Когда мы прочитали разные проекты о предохранении пароходных колес от действия неприятельских ядер, то Торсон мне предложил, от безделья, решить этот вопрос. Я тут же при всех слушателях (потому что мы читали все журналы и газеты *вместе*, ради сокращения времени) я тут же сказал: «Для чего, господа, изобретатели привязались к одной идее колес, как будто механика не может ничего выдумать лучше. Почему не выдумать другого двигателя, который бы мог быть скрыт в подводной части корабля и, таким образом, естественно, будет предохранен от действия ядер?» «La critique est aisée, mais l'art est dificile»*, — заметили мне некоторые, и мое самолюбие было затронуто за живое. Ночь я продумал и к утру был готов проект нового двигателя.

Я придумал сделать в подводной части корабля, по обе стороны старнпоста, два цилиндрические отверстия, расположенные по направлению киля, в которых должны ходить два глухие поршня, всасывая и выпуская два столба воды попеременно; так что, когда один столб воды выходит из цилиндрического отверстия, и, упираясь в воду, сообщает судну поступательное движение, другой столб воды, бросаясь в цилинд⟨рическое⟩ отверстие, дает судну то же поступательное движение вперед. Вы это увидите на прилагаемом чертеже**. Этот механизм очень прост; глухие поршни в глухих цилиндрах не требуют тщательного надзора, а попеременное их действие имеет совокупное действие, доставляющее поступательный ход судна вперед; и вместе с сим дают возможность усилить действие руля, когда потребуется быстро уклонить судно в одну сторону. Тогда Вам только стоит удержать один пистон, чтоб другой помогал рулю.

Но полно болтать. Я исписал два листа, и мне все кажется, что я не высказал и сотой части того, о чем я хотел бы поговорить с Вами.

Ежели я буду иметь возможность писать Вам с дороги, то напишу. Если же нет, то ждите моего письма из Селенгинска.

Поклонитесь от меня всем, кто меня еще не забыл, и особенно П. Лутковскому. Наше последнее свидание на заставе Иркутской никогда не забудется мною[7]. У меня цел *кисет*, подаренный им, и я его беру с собой на Амур.

Вас уважающий М. Бестужев

[1] Помета Рейнеке: «Получ⟨ено⟩ 7 апреля».

[2] Из этого плана осуществилась лишь первая его часть: поездка М. А. Бестужева в мае — сентябре 1857 г. по Амуру до Николаевска.

[3] М. А. Бестужев имеет в виду 15-десятинные наделы пахотной и сенокосной земли, отведенные декабристам-поселенцам по распоряжению правительства в 1835 г.

[4] О том, что после амнистии выплата декабристам ежегодных пособий (по 114 р. 28 к.) была прекращена, свидетельствует и Поджио. «Горбачевский, лишась пособия, остался на мели без всяких средств», — сообщал он в 1857 г. Волконскому (ИРЛИ, ф. № 57, оп. 1, ед. хр. 228, л. 33). Позже некоторым декабристам удалось добиться возобновления пособия, но Бестужев упорно от него отказывался (Бестужевы, стр. 438).

[5] Николай Николаевич Муравьев (Амурский) (1809—1881) — генерал-губернатор Восточной Сибири (с 1847 по 1861 г.).

[6] Сахалин Ула-Хотон — манчжурское название г. Айгун.

[7] Обстоятельства «последнего свидания на заставе Иркутской» выяснить не удалось; очевидно, оно состоялось во время проезда Бестужевых в декабре 1827 г. через Иркутск в читинские казематы. Известно, что П. С. Лутковский с 1823 по 1828 г. был начальником иркутского адмиралтейства. См. о нем также письмо № 2, прим. 4.

---

* Критиковать легко, творить трудно (франц.).

** *Далее в письме нарисован чертеж (см. воспроизведение на стр. 243).*

АВТОБИОГРАФИЯ Ю. К. ЛЮБЛИНСКОГО

Публикация | Н. П. Чулкова |*

PAMIETNIK r. 1829 d. 12 LIPCA

Julian syn Kaźmierza Motosznowicz, nazwany Lublińskim, od wsi Lublińca, przez przodków Swoich posiadaney, leżacey nad Rzeką Bugiem, oddzielającym Wolyň od Maley-Polski, rodzil sił na Wołyniu r. 1798. d. 6. Listopada. Po stracie Oyca, Matka Wdowa oddała do Szkół Międzyrzecza Koreckiego r. 1803. Tam pod dozorem Xięży Pijarów do r. 1809 zostawał. W tak młodym wieku przeszedłszy Szkoły Powiatowe, nie doświadczony czas długi bez istotnego zatrudnienia przepedził: dopiero w roku 1817 w czasie przemiany Rządu Gubernii Wołyńskiey, za powodem Senatora Siwersa, został wybrany przez Obywateli Powiatu Nowogrod-Wołyńskiego Zasidatelem Sadu Niżnego. Lecz gdy chęć Nauk odwodziła od dalszego sprawowania Posługi Obywatelskiey, w tym celu udał się do Lyceum Krzemienieckiego, gdzie rok jeden słuchał dawanych tam przedmiotów Po skończeniu roku Opiekun Wileńskiego Uniwersytetu życząc Sobie, aby się zatrudnił sprawami piśmiennemi tegoż Uniwersytetu i jego wydzialu, niemógł Julian Lubliński odmówić, zwlaszcza, że dla ułatwienia tych spraw potrzeba było tylko kilka miesięcy. Zawsze bowiem mial to na Widoku ażeby sprawami krajowemi zatrudniony, niezabierał sobie drogiego czasu, który na Nauki poswięcił. Wszakże wkrótce miał do tego p przychylna porę: nie zaniechał udać się do Uniwersytetu Warszawskiego, tam przez rok 1819 w pożądanem zajęciu się nie miał przeszkody. Aż w roku 1820, gdy uczniowie Warszawscy, w których on znajdował się liczbie, zamierzając zbliżył się do siebie i mieć ścisleysze stosunki, zbierali się na przeznaczone mieysce dla udzielania wzajemnego, wiadomści Naukowych. Gdy Mlodzi neprzestając tak chwalebnem postanowieniem swojem, któremu Rząd tameczny przeciwić się niechciał, uwiedzeni wspominaniem dla siebie przyjemnem, acz nie zgadzającem się z czasem, obchodzili Konstytucyą 3 Maja, tedy Rząd, widząc zdradzone zaufanie swoje, jednych wysłał z Warszawy, drugim wyjechać kazał, innym napomnienia przez Zwierzchność Szkolną dawszy, pozwolił kończyć Nauki. W liczbie tych i Julian Lubliński był pomieszczony.

Kalinowski, jeden z Uczniów, którym kazano wyjechać z Warszawy, udał się do Krakowa. Ztamtąd jakoby wysłany został od obywateli Krakowskich do Stanów Włoskich (które, jak wiadomo, w r. 1820 powstały) dla oświadczenia radości, że szczęśliwie zamiary swoje do skutku przywiodły. Lecz wkrótce, bo w r. 1821, Włochy do dawnego porządku przywrócone, gdy przy sądzeniu Osób, którzy byli przyczyną powstania, Zwierzchność, mająca naywiększy wpływ w Rządzie Królestwa Polskiego dowiedziała się, że pomieniony Kalinowski powrócił nazad do granic Polskich, rozkazała go śledzić i poymać. Lecz Kalinowski, kryjący się, kilkakrotnie łapany, pomimo

* Редакция внесла ряд уточнений и дополнений в работу покойного Н. П. Чулкова.

wszelkich sledzeń uszedł. Julian Lubliński miał ścisłą znajomość i przyjaźń z Kalinowskim, nadto odbierał od niego częste pisma. Z tego względu Zwierzchność wyżeý pomieniona czyniła jemu zapytania, więziła i nakoniec, gdy w niczem obwinić nie mogła, wysłała go w r. 1822 w pętach do Miasta Nowogrod-Wołyńska, aby tam pod dozorem Policyj zostawał i ztamtąd nigdzie nie wyjeżdżał.

W Mieście tem kwaterowała 8a Artylleryjska Brygada, któreý Officerowie Andrzeý i Piotr Borysowie, będąc już znajomi z Krewnemi Juliana Lublińskiego, łatwo się i z nim zaznajomili. Trzeba wiedzieć, że ci Borysowie z kilku innymi dawnieý byli w Towarzystwie pod nazwiskiem Друзей природы i ufając pomienionemu Lublińskiemu, życzyli sobie, żeby do ich Towarzystwa należał. Lubliński przeyrzawszy prawidła, przekładał Borysowym zatrudnienia, jakie się zdawały w zaprowadzonem przez nich Towarzystwie. Borysowie zrażeni obojętnościa, którą im Lubliński okazywał, zgodzili się na przemianę, jakąby potrzebną upatrywał. Lubliński mniemając, iż na uchyleniu nienawiści, jaką tchną ku sobie Rossyanie i Polacy wiele zależy, podał swoje myśli, które przyjęte były powodem zachęcenia wielu Osób do wstąpienia w Towarzystwo Słowian i do połączenia się onych z Towarzystwem Rossyjskiem nazwaném południowem. Późniey wzięty do Peterzburgu, sądzony, na trzy lata do robót ciężkich skazany, a potem na poselenie.

Перевод:

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА 1829 г. ИЮЛЯ 12 ДНЯ

Юлиан Казимирович Мотошнович, прозванный Люблинским по селу Люблинец, находившемуся во владении его предков и расположенному на берегу реки Буг, которая отделяет Волынь от Малой Польши, родился на Волыни 6 ноября 1798 г. После смерти отца мать отдала его в 1803 г. в училище в Межречье Корецком. Он оставался там под наблюдением ксендзов пияров до 1809 г. Окончив в таком юном возрасте уездное училище и не имея опыта, он долгое время провел без настоящего дела и только в 1817 г., во время смены управления Волынской губернии по случаю ревизии сенатора Сиверса, был выбран жителями Новград-Волынского уезда в заседатели нижнего земского суда. Однако стремление к научным занятиям отвлекло его от дальнейшей службы по выборам, и он поступил с этой целью в Кременецкий лицей, где в течение одного года изучал преподаваемые там предметы. По окончании учебного года попечитель Виленского университета выразил желание, чтобы Люблинский занялся приведением в порядок делопроизводства этого университета и его факультетов. Юлиан Люблинский не мог отказаться тем более, что для выполнения этой работы достаточно было нескольких месяцев; при этом он всегда имел в виду, чтоб служебные занятия не отнимали у него дорогого времени, которое он мог посвятить науке. Вскоре ему представился благоприятный случай заняться наукой, и он не замедлил поступить в Варшавский университет; там в течение 1819 г. ничто не препятствовало его занятиям. Но в 1820 г. варшавские студенты, в числе которых он находился, решили сблизиться друг с другом и установить между собой более тесные отношения; они стали собираться в назначенном месте для взаимного обмена научными сообщениями. Когда молодежь, не прекращая следовать такому своему похвальному решению, которому не препятствовали и тогдашние власти, увлеклась приятным для нее, но не отвечающим духу времени воспоминанием и отметила день конституции 3 мая, власти, видя свое доверие обманутым, одних выслали из Варшавы, другим велели уехать, а третьим, сделав выговор через университетское начальство, разрешили кончить курс. В числе последних был и Юлиан Люблинский.

Pamiętniki. r. 1829 d. 12. Lipca.

Julian syn Kaźmierza Motoznowicz, nazwany Lublińskim, od wsi Lublińca przez przodków swoich posiadaney, leżącey nad Rzeką Bugiem, oddzielającym Wołyń od Matey-Polski; rodził się na Wołyniu r. 1798. d. 6. Listopada.— Po śmierci Oyca Matka wdowa, oddała do Szkół Międzyrzecza Koreckiego r. 1803.— Tam pod dozorem Xięży Pijarów do r. 1809 zostawał.— W tak młodym wieku przeszedłszy Szkoły Powiatowe, niedoświadczony, czas długi bez istotnego zatrudnienia przepędził: dopiero w roku 1817. w czasie przemiany Rządu Gubernii Wołyńskiey, za powodem Senatora Siwersa; został wybrany przez Obywateli Powiatu Nowogrodwołyńskiego, Zasiadatelem Sądu Niższego — Lecz gdy chęć Nauk, odwodziła od dalszego sprawowania Posługi Obywatelskiey; w tym celu udał się do Lyceum Krzemienieckiego, gdzie rok jeden słuchał danych tam przedmiotów. Po skończeniu roku Opiekun Wileńskiego Uniwersytetu życząc sobie, aby się zatrudnił sprawami piśmiennemi tegoż Uniwersytetu i Jego wydziału, niemógł Julian Lubliński odmówić, zwłaszcza że dla ułatwienia tych spraw, potrzeba było tylko kilka miesięcy. Zawsze bowiem miał to na widoku, ażeby sprawami Krajowemi zatrudniony, niezabierał sobie drogiego czasu, który na Nauki poświęcił. — Wszakże wkrótce miał do tego przychylną porę: niezaniechał udać się do Uniwersytetu Warszawskiego,

Warszawskiego, tam przez rok 1819 upożądanym zajęciu się, nie miał przeszkody.— Aż w roku 1820 gdy Uczniowie Warszawscy, w których on znaydował się liczbie, zamierzając zbliżyć się do siebie, i mieć ściślejsze stosunki, zbierali się na przeznaczone mieysce, dla udzielania wzajemnego wiadomości Naukowych; gdy Młodzi, nieprzestając tak chwalebnem postanowieniem swojem; któremu Rząd tameczny przeciwić się niechciał: uwiedzeni wspomnieniem dla siebie przyjemnem, acz niezgadzającem się z czasem, obchodzili Konstytucyą 3° Maja.— Tedy Rząd widząc zdradzone zaufanie swoje, jednych wysłał z Warszawy, drugim wyjechać kazał, innym napomnienia przez Zwierzchność Szkolną dawszy, pozwolili kończyć Nauki.— W liczbie tych: Julian Lubliński był pomieszczony.—

Kalinowski jeden z Uczniów, którym kazano wyjechać z Warszawy, udał się do Krakowa. Zkąd jakoby wysłany został od Obywateli Krakowskich, do Stanów Włoskich, (które jak wiadomo w r. 1820 powstały); dla oświadczenia radości, że szczęśliwie zamiany swoje do skutku przywiodły.— Lecz wkrótce bo w r. 1821. Włochy do dawnego porządku przywrócone, gdy przy sądzeniu Osób, które były przyczyną powstania; zwierzchności mające

РУКОПИСЬ АВТОБИОГРАФИИ Ю. К. ЛЮБЛИНСКОГО, 1829 г.

Листы 1, 2

Центральный исторический архив, Москва

mającą największy wpływ w Rządzie Królestwa
Polskiego dowiedziała się; że pomieniony Ka
linowski powrócił nazad do granic Polskich;
rozkazała go śledzić i poymać – Lecz Kalinow-
ski kryjąc się, kilkakrotnie łapany; pomi-
mo wszelkich śledzeń uszedł – Julian Lublin
ski miał ścisłą znajomość i przyjaźń z Ka-
linowskim, nadto odbierał od niego częste pis-
ma – Z tego względu Zwierzchność wyżej pomie
niona, czyniła jemu zapytania, więziła, i
nakoniec gdy w niczem obwinić niemogła,
wysłała go w r. 1822. w ostatku, do Miasta No-
wogrodWołyńska, aby tam pod dozorem Poli
cyi zostawał, i z tamtąd nigdzie niewyjeżdżał –

W Mieście tem Kwaterowała 8e Arty-
lleryjska Brygada, której Officerowie Andrzej
i Piotr Borysowie, będąc już znajomi z
Krewnemi Juliana Lublińskiego, łatwo się
i z nim zaznajomili – Trzeba wiedzieć, że
ci Borysowie z kilku innymi, dawniej by-
li w Towarzystwie, pod nazwiskiem [illegible]
Przyrody, i ufając pomienionemu Lublińskie-
mu, życzyli sobie, żeby do ich towarzystwa
należał – Lubliński przejrzawszy prawidła,
przekładał Borysowym zatrudnienia, jakie
się zdawały w zaprowadzonem przez nich
Towarzystwie – Borysowie zrażeni obojętno
ścią, którą im Lubliński okazywał, zgodzili
się

zgodzili się, na przemianę, jakąby potrzebną
upatrywał – Lublińscy mniemając; iż na
uchyleniu nienawiści, jaką tchną ku sobie
Rossyanie i Polacy więcej zależy: podał swo-
je myśli, które przyjęte; były powodem, za
chęcenia wielu Osób do wstąpienia w Towarzy
stwo Słowian, i do połączenia się onych
z Towarzystwem Rossyjskiem nazwanem
południowem – Póżniej wzięty do Petersburga
sądzony, na trzy lata do robót ciężkich ska-
zany, a potem na poselenie –

РУКОПИСЬ АВТОБИОГРАФИИ Ю. К. ЛЮБЛИНСКОГО, 1829 г.
Листы 3, 4
Центральный исторический архив, Москва

Калиновский, один из тех студентов, которые получили приказание выехать из Варшавы, отправился в Краков, а оттуда якобы был послан гражданами Кракова передать итальянскому парламенту (который, как известно, был создан в 1820 г.) чувство радости по поводу того, что итальянцы счастливо достигли осуществления своих целей. Но вскоре, в 1821 г., в Италии был восстановлен старый порядок; во время суда над зачинщиками восстания начальствующие лица, имевшие наибольшее влияние в управлении Царства Польского, узнали, что упомянутый выше Калиновский возвратился обратно в пределы Польши, и отдали приказ выследить его и поймать. Но Калиновский, несмотря на неоднократные преследования и розыски, скрылся и бежал. Юлиан Люблинский, близко знавший Калиновского и находившийся с ним в дружеских отношениях, часто получал от него письма. В связи с этим вышеупомянутые правящие лица учинили Люблинскому допрос, посадили его в тюрьму и, в конце концов, когда ни в чем не смогли обвинить, выслали его в 1822 г. в кандалах в Новград-Волынск с тем, чтобы он там оставался под надзором полиции и никуда оттуда не выезжал.

В этом городе была размещена 8-я артиллерийская бригада, офицеры которой, Андрей и Петр Борисовы, зная уже родственников Юлиана Люблинского, легко с ним познакомились. Надо сказать, что эти Борисовы с несколькими другими были издавна членами Общества, называвшегося «Друзья природы»; доверяя Люблинскому, они пожелали, чтобы и он вступил в их Общество. Люблинский, познакомившись с уставом, указал Борисовым на те трудности, которые имели место в основанном ими Обществе. Борисовы, неприятно удивленные холодностью, проявленной Люблинским, согласились на изменения, которые он считал необходимыми. Люблинский, полагая, что многое зависит от уничтожения ненависти, которую питают друг к другу русские и поляки, изложил свои мысли об этом; они были приняты и способствовали вступлению многих лиц в Общество славян и присоединению их к русскому Обществу, называвшемуся Южным. Позднее Люблинский был увезен в Петербург, привлечен к суду и приговорен к трем годам каторжных работ с последующим поселением.

Автограф. ЦГИА, ф. № 279, оп. 1, ед. хр. 852.

* * *

Юлиан Люблинский, один из основателей Общества Соединенных Славян, принадлежит к числу тех декабристов, о которых сохранилось очень мало сведений. Известно, что до того, как он вступил в русское Тайное общество, он был уже членом какого-то польского тайного общества. И. И. Горбачевский сообщает, что в 1823 г. Люблинский в кандалах был привезен из Варшавы к себе на родину, в Новград-Волынск, и отдан под надзор полиции за участие в польском тайном обществе [1], но в каком именно — Горбачевский не указывает. В статье «Польские общества 20-х годов и декабристы» Н. И. Коробка говорит: «Загадочным остается отношение к польскому движению поляка Люблинского, одного из основателей „Общества Соединенных Славян“. Никаких данных, указывающих на связь его с польским движением, нет, но идея, которую он вносит в Общество, родственна идее ложи „соединенных славян“, созданной польскими масонами» [2]. М. В. Нечкина высказала предположение, что Люблинский был членом Патриотического общества: «...не находился ли в числе захваченных членов этого общества Юлиан Казимирович Люблинский?» [3].

В Сибири Люблинский написал записки. В 1862 г. Герцен назвал их среди других записок декабристов, которые он намерен был издать [4]. В книге Б. Г. Кубалова «Декабристы в Восточной Сибири» находим сообщение дочери Люблинского, что записки ее отца были похищены у него вместе с чемоданом, когда он ехал из Сибири на Волынь,

в Славуту [5]. Таким образом, не вызывает сомнений, что записки действительно существовали; а раз еще при жизни Люблинского Герцен держал их в руках, то, очевидно, существовала и копия, но она тоже исчезла бесследно.

Публикуемая нами краткая автобиография Люблинского сохранилась в архиве потомков декабриста Якушкина. Это — четыре страницы почтовой бумаги большого формата. Сравнение почерка с автографом Люблинского, опубликованным в пятом томе «Восстания декабристов», не оставляет сомнений, что автобиография написана рукою Люблинского. Как попала она в архив Якушкиных, неизвестно. Вероятно, она была передана Е. И. Якушкину, сыну декабриста, кем-нибудь из декабристов или близких к ним лиц, подобно архиву другого основателя Общества Соединенных Славян — П. И. Борисова. Быть может, автобиография Люблинского была получена Е. И. Якушкиным от отца.

Автобиография (написанная по-польски в третьем лице) датирована 12 июля 1829 г. Люблинский был доставлен на каторгу в Нерчинские рудники 4 апреля 1827 г., срок работ окончился для него летом 1829 г., и 30 июля он был поселен в Тункинской крепости. Следовательно, автобиография написана была, по всей вероятности, в Нерчинске, незадолго до освобождения Люблинского, но для кого и с какой целью — неизвестно.

Сведения, которые Люблинский дает об Обществе Соединенных Славян, очень кратки и не прибавляют ничего существенного к тому, что нам известно из других источников и прежде всего из показаний самого Люблинского. Из его рассказов на следствии и в автобиографии явствует, что к предложению братьев Борисовых вступить в их Общество он сначала отнесся отрицательно. Выслушав Борисовых, Люблинский ответил, что организация задуманного ими Общества связана с большими трудностями. Борисовы предложили ему указать, какие изменения в их проекте он считает необходимыми. Тогда-то Люблинский и предложил основать Общество Соединенных Славян для сближения русского и польского народов.

Таким образом, для изучения вопроса об организации Общества автобиография не дает, сравнительно с материалами следствия, ничего нового.

Иначе обстоит дело с показаниями Люблинского о других периодах его жизни. Автобиография подтверждает догадки исследователей об участии Люблинского в польских тайных обществах. Однако вместо точного ответа на интересующий историка вопрос она вносит новые недоумения и ставит на очередь новые вопросы, искать разрешения которых можно только в польских архивах.

Находясь под следствием, Люблинский скрыл не только свое участие в польском тайном обществе, но и вообще все свое прошлое. Каких-нибудь три года назад он был арестован и привезен из Варшавы в Новград-Волынск, тем не менее он счел возможным утаить этот факт от Следственного комитета. Так и остался неизвестным Комитету целый период жизни Люблинского — 1817—1822 годы. На допросе, учиненном ему В. В. Левашовым, Люблинский дал такие показания: «В Польше и Литве Общества не знал и не подозревал существование оного». Во время дальнейшего следствия Люблинский утверждал: «Никакого известия о польских обществах, существующих в Германии, Франции и Италии, не имел и никакого сведения о сношениях польских обществ с Южным не имел тоже». Когда Люблинского спросили, где он учился, он умолчал о том, что учился в Кременецком лицее и в Варшавском университете, отнеся предложенный ему Комитетом вопрос к одному только начальному воспитанию. (В другом показании он повторил: «Начальное мое воспитание было в училищах Межерецких у ксендзов пияров».) На вопрос о службе он ответил, что «в государственной службе не находился» [6].

В автобиографии Люблинский дает ценные сведения о многих сторонах своей жизни. Оказывается, в 1817 г., после смены начальствующих лиц Волынской губернии, совершившейся вслед за ревизией сенатора Сиверса [7], Люблинский был избран в заседатели Новград-Волынского нижнего земского суда. Между прочим в адрес-календаре на 1818 г. [8] в должности заседателя земского суда показан коллежский регистратор Люблинский, но, к сожалению, без упоминания имени и отчества, что существенно, так как у Юлиана Люблинского был брат Селестин. Селестин Люблинский

умер до 1826 г. в чине губернского секретаря [9], место службы его неизвестно, однако и он мог служить по выборам дворянства. Упоминание в календаре при фамилии Люблинского классного чина, который в деле показан не был (в деле Люблинский именуется просто дворянином), дает право предположить, что для получения чина он сдавал экзамен. Люблинский не только служил по выборам дворянства, но и образование получил значительно более широкое, чем то, о котором он счел возможным сообщить на следствии. Стремление к научным занятиям заставило его отказаться от службы в суде и поступить в Кременецкий лицей. Этот лицей пользовался тогда в Польше большой известностью; там преподавались математика, а также науки словесные и юридические. В Кременце Люблинский пробыл только год. На него обратил внимание попечитель Виленского учебного округа и университета князь Адам Чарторыйский и предложил ему привести в порядок канцелярское делопроизводство Виленского университета. Люблинский принял предложение Чарторыйского, продолжая в то же время научные занятия. В 1819 г. он поступил в Варшавский университет (основанный в 1816 г.), а в 1820 г. стал членом студенческого кружка, преследовавшего, по его словам, чисто академические цели. Какое-то событие, связанное с воспоминаниями о конституции 3 мая 1791 г., погубило кружок: одни его члены были исключены из университета и высланы из Варшавы, другие — получили выговор, но им было разрешено остаться в университете и закончить образование. В числе оставленных был и Люблинский. Однако закончить образование ему не пришлось.

Люблинский был дружен со студентом Калиновским, попавшим, по его словам, в число тех, кто был исключен, и уехавшим в Краков (тогда вольный город). Переписка Калиновского с Люблинским заставила начальство обратить внимание на Люблинского: он был арестован и заключен в тюрьму. Никакого обвинения предъявить ему не могли, и в 1822 г. (а не в 1823) выслали на родину в Новград-Волынск под надзор полиции с запрещением оттуда выезжать.

Необходимо разобраться в показаниях Люблинского о студенческих годах его жизни и об участии в студенческих организациях. Люблинский говорит, что он был членом студенческого кружка, который существовал легально и ставил перед собой одни только научные цели. Кружок был ликвидирован из-за пропаганды студентами конституции 3 мая. Что же это был за кружок?

Существующая литература дает сведения о нескольких польских тайных кружках, предшествовавших созданию «Патриотического общества» [10]. Так, в Варшавском университете с конца 1817 г. и до 15 июля 1819 г., в соответствии с университетским уставом, существовали студенческие союзы, целью которых было совместное изучение наук и организация взаимопомощи («Союз друзей», «Общество почитателей наук», «Литературное общество», «Союз любителей народности», «Союз студентов Варшавского университета» и др.). 15 июля 1819 г. царским правительством были запрещены все существовавшие кружки, запрещено было и открывать их впредь. Таким образом, Люблинский, поступивший в университет в 1819 г. (надо полагать, осенью), не застал ни одного легального студенческого кружка.

В начале 1820 г. студенты Виктор Хельтман и Л. Пионткевич основали тайное общество «Союз вольных поляков» (Związek wolnych polaków). Союз издавал собственную политическую газету «Dekada polska», которая выходила с января 1821 г. до мая. В мае 1821 г. Союз вынужден был прекратить свое существование по следующей причине: Хельтман и Пионткевич решили выпустить в виде приложения к своей газете (открыто продававшейся в розничной продаже) текст конституции 3 мая 1791 г. Ректор университета, узнав об этом, сделал 2 мая донос прокурору, а прокурор сообщил полиции, которая и приняла меры против распространения листка. Поступок студентов вызвал сильнейший гнев цесаревича Константина Павловича: в попытке пропагандировать конституцию 3 мая он увидел проявление революционного духа. Издатели были арестованы. Хельтман был заключен в тюрьму, а потом, по высочайшему повелению от 30 мая 1821 г., как литовский уроженец, отослан в Литовский корпус и зачислен канониром в 24-ю артиллерийскую бригаду. Пионткевича, еще несовершеннолетнего, пытались завербовать в шпионы, когда же это не удалось, доставили 10 июля на галицийскую границу и выслали из Польши.

Существование Союза обнаружено не было, но, лишившись своих руководителей, Союз распался сам собой.

Люблинский рассказывает, что он участвовал в студенческом кружке, который прекратил существование из-за попытки ознаменовать годовщину конституции 3 мая. Такая участь постигла «Союз вольных поляков». Можно сделать предположение, что Люблинский принадлежал именно к этому Союзу. Такое же мнение высказал и автор новейшей работы о декабристах и Польше — Баумгартен [11].

Однако факты, сообщаемые Люблинским, нуждаются в критической проверке: попытка издания текста конституции 3 мая повлекла за собой кары только для основателей Союза, уничтожила и самый Союз, но его члены остались неизвестны правительству и не были наказаны; разгром студенческих организаций действительно произошел около этого времени, но по другому поводу. Характеристика Союза, сделанная Люблинским, тоже не соответствует действительности: ее можно применить и к легальным кружкам, существовавшим до 1820 г., а не только к «Союзу вольных поляков».

Что же представлял собой на самом деле «Союз вольных поляков», к которому, по всей вероятности, принадлежал Люблинский? Каков был социальный состав Союза?

Задачу свою Союз видел в борьбе за политическую свободу, в борьбе против тирании и деспотизма; целью его было восстановление независимой Польши, ее объединение. Такую цель называли в своих показаниях арестованные члены Союза: каждый член Союза должен носить в сердце своем Речь Посполитую. Увлечение конституцией 3 мая 1791 г. характерно для политических целей Союза: конституция 3 мая оставляла за шляхтой все права и привилегии, она мало изменяла положение мещанства и не улучшала участи крепостных крестьян. Но для своего времени она все же была прогрессивной, открывая уничтожением liberum veto* путь к дальнейшим реформам государственного строя Польши, и потому пользовалась симпатией либеральной части польского общества. Характеризует настроения Союза и то обстоятельство, что его основатель, Хельтман, после 1831 г. стал одним из вождей демократической части польской эмиграции и противником Чарторыйского.

Внешние формы Союза были заимствованы у масонов. Во главе стоял капитул под председательством Пионткевича, носившего звание великого магистра. Учреждены были три ложи: имени Костюшки, Коллонтая и Рейтана; каждая ложа выбирала своих представителей в капитул. Обряд приема новых членов был обставлен мистическим ритуалом (черепа, стилеты, горящее пламя) и сопровождался пением гимна; принимаемый приносил присягу. При встрече друг с другом члены делали символические знаки пальцами, изображая соединенную Польшу, и произносили лозунги: «Всё и ничего», «Отчизна и смерть». Известно сорок членов Союза, значительную часть которых составляли студенты университета. Если судить о составе Союза по фамилиям членов и по немногим данным, которые сообщает Аскенази об их происхождении, то следует сделать вывод, что члены Союза вербовались из представителей средней и мелкой шляхты и интеллигенции. Пионткевич был сыном арендатора, но среди членов Союза и предшествовавшего ему кружка мы встречаем и представителей аристократии.

Члены Союза обязывались соблюдать строжайшим образом тайну его существования; за нарушение тайны полагалась смерть. Когда после 3 мая 1821 г. были арестованы Хельтман и Пионткевич, оставшиеся на свободе члены организации постарались уничтожить все документы, и Союз действительно не был обнаружен. Люблинский, как член Союза, строго соблюдал клятву, данную им при приеме, и не открыл тайны ни в 1821 г., после своего ареста, ни в 1826 г., на следствии по делу декабристов, ни в 1829 г., когда писал автобиографию. Это умолчание свидетельствует об антиправительственном характере Союза, подлежащем сокрытию.

Как уже сказано выше, порядок событий в автобиографии не соответствует действительному ходу вещей. Люблинский рассказывает, что попытка издания конституции 3 мая 1791 г. вызвала разгром студенческих организаций, наказание студентов и отъезд Калиновского в Краков. Из Кракова Калиновский отправился в Неаполь,

* Право каждого из членов польского сейма своим единоличным протестом уничтожить постановления сейма (лат.).

а после восстановления в Италии старого режима возвратился к границам Польши и тут подвергся преследованиям со стороны полиции. Люблинский был арестован за сношения с Калиновским, заключен в тюрьму и выслан в 1822 г. на родину, под надзор полиции. В действительности же ход событий был иной: 15 июля 1819 г., после попытки студентов Варшавского университета образовать свой Союз, были запрещены легальные студенческие организации; в начале 1820 г. возник тайный «Союз вольных поляков», а в начале 1821 г. член его, Калиновский, отправился с Ф. Келлером и другими студентами, исключенными из университета, в Краков, чтобы образовать там местный отдел польского студенческого Союза. Издание листовки с текстом конституции 3 мая 1791 г. ко дню годовщины конституции в 1821 г. вызвало арест основателей Союза, Хельтмана и Пионткевича, и прекращение деятельности Союза, оставшегося, однако, неизвестным правительству, а поездка краковских студентов в Варшаву в июле 1821 г. повлекла за собой повсеместные аресты польских студентов, преследование Калиновского и арест Люблинского (возможно, впрочем, что последние два обстоятельства были вызваны поездкой Калиновского в Неаполь). Существование «Союза вольных поляков» было обнаружено уже после высылки Люблинского на родину. Таким образом, Люблинский все события, происшедшие до 3 мая 1821 г., относит к более позднему времени. Это, конечно, простая ошибка памяти.

Калиновский был членом «Союза вольных поляков». Поездка его в Краков — факт, не вызывающий сомнения, но произошла эта поездка не после 3 мая 1821 г., как утверждает Люблинский, а гораздо раньше: в начале 1821 г. несколько исключенных из Варшавского университета студентов, членов «Союза вольных поляков», во главе с Келлером и Калиновским поехали в Краков, чтобы завязать сношения с тамошним студенчеством. По словам Люблинского, Калиновский из Кракова отправился в Неаполь в качестве представителя краковского населения. Никаких подробностей об этой поездке Люблинский не рассказывает, да и вообще не говорит об организационной работе Калиновского в Кракове. Возникают вопросы: каким образом краковское население избрало своим представителем Калиновского? Не был ли он послан краковским отделом студенческого Союза, который был им организован, в качестве представителя в Неаполь, в какую-нибудь карбонарскую организацию? Ответа на эти вопросы мы не получаем. Если то, что сообщает Люблинский, действительный факт, то он чрезвычайно важен: им устанавливаются сношения польских революционеров с итальянскими карбонариями. Люблинский ошибается лишь в том, что относит поездку Калиновского ко времени после 3 мая 1821 г. Если Калиновский действительно ездил в Неаполь, то его поездка должна была произойти до 24 марта 1821 г.: в это время австрийцы вступили в Неаполь и восстановили старый порядок. После 24 марта Калиновский оставаться в Неаполе не мог и должен был вернуться в Польшу (возможно, что и в Краков). По словам Люблинского, на суде над вожаками неаполитанской революции вскрылось участие Калиновского в неаполитанской революции. За Калиновским началась полицейская слежка, однако ему удалось бежать. Вполне возможно, что попытки арестовать Калиновского начались с того момента, когда он, возвратившись из Неаполя, намеревался проникнуть через польскую границу, и продолжались после того, как он создал краковскую тайную организацию студентов. Калиновский пробрался в сентябре того же года во Вроцлав, чтобы поступить в университет, и в октябре стал членом польской корпорации «Polonia». Угодливая готовность прусских властей исполнять все требования Новосильцева сделала пребывание Калиновского небезопасным и здесь; тогда он переехал в Познань, где и скрывался у разных лиц. Только в июне 1826 г. Калиновский вернулся в Варшаву и был взят властями, но по неизвестным причинам никакая кара его не постигла. Аскенази считает Калиновского провокатором и шпионом, однако это не находит подтверждения в других источниках. Во всяком случае в памяти Люблинского Калиновский остался революционером. Дальнейшая судьба Калиновского пока неизвестна.

Когда именно был арестован Люблинский по данному делу, тоже неизвестно. Сам он ставит свой арест в связь с поездкой Калиновского в Неаполь и перепиской с ним; значит, арест его мог произойти приблизительно в апреле или же после 15 июля 1821 г., когда шли общие аресты студентов.

Следствие по делу арестованных было закончено осенью, и приговор утвержден в декабре 1821 г. В начале 1822 г. дело было передано административному совету Царства Польского для исполнения приговора. Тогда же, вероятно, и был отправлен на родину Люблинский, попавший в число лиц, отданных под надзор полиции.

Летом 1822 г. возникло новое большое дело — о «Патриотическом обществе», основанном Валерианом Лукасинским, и о национальном масонстве.

«Патриотическое общество» было основано в начале мая 1821 г., то есть как раз в те дни, когда разыгралась история с опубликованием текста конституции 3 мая 1791 г. и фактически перестал существовать «Союз вольных поляков». Вслед за «Патриотическим обществом» власти обнаружили тайные общества в Литве, что совершенно неожиданно помогло раскрыть и «Союз вольных поляков» [12].

Дело о «Союзе вольных поляков» было поручено той же Комиссии, которая вела следствие по делу Лукасинского. Но в это время Люблинского в Варшаве уже не было. Потому ли, что роль его в Союзе была незначительна, потому ли, что никто из членов Союза не вспомнил о нем в своих показаниях, но к делу он привлечен не был.

Перейдем к выводам, которые можно сделать на основании изучения автобиографии Люблинского. Написана она в Сибири в июле 1829 г., перед тем, как Люблинский с каторги был отправлен на поселение. Она подтверждает некоторые факты его жизни, известные ранее, и пополняет наши сведения о нем новыми данными. Перед Следственным комитетом Люблинский скрыл свое прошлое: в 1817—1822 гг. он не жил в Новграде-Волынске, а служил по выборам дворянства, учился в Кременецком лицее, работал в канцелярии Виленского университета, слушал лекции в Варшаве и состоял членом «Союза вольных поляков», тайного политического общества, которое он, ради конспирации, изобразил в автобиографии как легальный студенческий кружок. Верный своей клятве, Люблинский не выдал тайны Союза. Фактически «Союз вольных поляков» перестал существовать еще в 1821 г., но оставался неизвестным правительству до 1825 г., когда эту тайну открыл Хельтман. Люблинский пострадал раньше, чем существование Союза было раскрыто: его арестовали в 1821 г. за связь с Калиновским, который, по утверждению Люблинского, подвергся преследованиям правительства за сношения с неаполитанскими революционерами, а согласно гипотезе проф. Аскенази — за организацию краковского отдела польского студенческого союза.

В автобиографии Люблинский излагает события не в их действительной последовательности, а с ошибками в хронологии, что объясняется естественным для мемуариста запамятованием. Представляет большой интерес рассказ Люблинского о поездке Калиновского в Неаполь для установления связи с неаполитанскими революционерами. Этот рассказ пока другими свидетельствами не подтвержден, но если он соответствует истине — ценность его для истории революционного движения в Польше очень велика.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Горбачевский, стр. 369.

[2] Исторический сборник «О минувшем». 1906, стр. 221.

[3] М. В. Нечкина. Общество Соединенных Славян. М.—Л., 1927, стр. 92.

[4] «Колокол», 1862, № 143. Здесь в статье «„Записки" декабристов» читаем: «Мы предполагаем издавать „Записки" отдельными выпусками и начать с „Записок" И. Д. Якушкина и князя Трубецкого. Затем последуют „Записки" князя Оболенского, Басаргина, Штейнгеля, Люблинского, Н. Бестужева» (Герцен, т. XV, стр. 463).

[5] Б. Г. Кубалов. Декабристы в Восточной Сибири. Иркутск, 1925, стр. 205.

[6] ВД, т. V, стр. 412, 414, 418, 419.

[7] «Ревизия сенатора Ф. Ф. Сиверса» происходила в 1815—1816 гг. и была вызвана борьбой польских помещиков с русской администрацией в лице губернатора Комбурлея. Борьба окончилась победой помещиков. Об этой ревизии см. показания современников в статье «Волынская революция».— «Киевская старина», 1883, т. I.

[8] Месяцеслов с росписью чинов на 1818 год. СПб., 1818, стр. 517.

[9] М. В. Нечкина. Указ. соч., стр. 24.

[10] Szymon Askenazy. Łukasiński, t. I—II, 1908; M. Mochnacki. Dziela, I—II. Posnań, 1853; L. Baumgarten. Dekabryści a Polska. Warszawa, 1952.

[11] L. Baumgarten. Dekabryści a Polska. Warszawa, 1952, str. 29.

[12] Szymon Askenazy. Łukasiński, т. I, стр. 262—263, 386—387; т. II, стр. 11, 103, 187—214.

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ПИСЬМА А. И. ОДОЕВСКОГО

Публикация М. А. Брискмана

I. СТИХОТВОРЕНИЯ «ВЕНЕРА НЕБЕСНАЯ» И «ЗАЧЕМ НОЧНАЯ ТИШИНА»

Встреча Н. П. Огарева на Кавказе с декабристами и, в частности, с А. И. Одоевским — эпизод, необычайно ярко иллюстрирующий связь между русскими революционерами двух поколений.

«Встреча с Одоевским и декабристами,— писал Огарев,— возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я — идущий по их дороге, я — обрекающий себя на ту же участь... это чувство меня не покидало. Я написал в этом смысле стихи, которые, вероятно, были плохи по форме, потому что я тогда писал много и чересчур плохо, но которые по содержанию наверно были искренни до святости, потому что иначе не могло быть. Эти стихи я послал Одоевскому после долгих колебаний истинного чувства любви к *ним* и самолюбивой застенчивости. Часа через два я сам пошел к нему. Он стоял середь комнаты; мои стихи лежали перед ним на стуле. Он посмотрел на меня с глубоким, добрым участием и раскрыл объятия; я бросился к нему на шею и заплакал, как ребенок. Нет! и теперь не стыжусь я этих слез; в самом деле, это не были слезы пустого самолюбия. В эту минуту я слишком любил его и их всех, слишком чисто был предан общему делу, чтоб какое-нибудь маленькое чувство могло иметь доступ до сердца. Они были чисты, эти минуты, как редко бывает в жизни. Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению — поколения, принявшего завет и продолжающего задачу»[1].

Огарев, очевидно, имел в виду свое ныне широко известное стихотворение «Я видел вас, пришельцы дальних стран...», впервые опубликованное в 1902 г. под заглавием: «К декабристам».

Воспоминания Огарева на долгие годы определили восприятие образа Одоевского и его поэзии. Огарев нарисовал в прозе («Кавказские воды») и в стихах («И если б мне пришлось прожить еще года...») в высокой степени поэтический и благородный облик поэта-декабриста, «чей стих мне был как песнь серебряная звонок».

Одно из центральных мест в воспоминаниях Огарева — рассказ о том, как Одоевский читал в Железноводске стихи: «...Мы пошли в лес, по дорожке к источнику. Деревья по всей дорожке дико сплетаются в крытую аллею. Месяц просвечивал сквозь темную зелень. Ночь была чудесна. Мы сели на скамью, и Одоевский говорил свои стихи. Я слушал, склоня голову. Это был рассказ о видении какого-то светлого женского образа, который перед ним явился в прозрачной мгле и медленно скрылся.

Долго следил я эфирную поступь...

Он окончил, а этот стих и его голос все звучали у меня в ушах. Стих остался в памяти; самый образ Одоевского, с его звучным голосом, в поздней тишине леса, мне теперь кажется тоже каким-то видением, возникшим и исчезнувшим в лунном сиянии кавказской ночи...» [2].

Стихотворение Одоевского, строку из которого запомнил Огарев, оставалось до сих пор неизвестным.

Публикуем ныне это стихотворение — «Венера небесная» по списку, обнаруженному нами в фонде Якушкиных, в Центральном государственном историческом архиве в Москве. Список этот находится в одной тетради со списками трех известных стихотворений Одоевского: «На смерть Веневитинова», «Послание к Е...» («Как я давно поэзию оставил...»; по другому списку «Послание» печаталось под заглавием «Поэзия»; здесь несколько иной текст) и «К отцу» (здесь озаглавлено: «Песнь к отцу»). По своему содержанию «Венера небесная» совершенно соответствует рассказу Огарева, а наличие цитируемой им строки не оставляет никаких сомнений в авторстве Одоевского. Окончательно в авторстве Одоевского убеждает то, что в бумагах Муханова находится автограф первоначального и незаконченного текста этого стихотворения [3].

«Венера небесная», очевидно, написана — во всяком случае, начата — еще в Сибири, — иначе автограф не мог бы оказаться в бумагах П. А. Муханова. Интерес этого стихотворения не только в том, что оно дополняет рассказ Огарева и расширяет круг известных нам произведений Одоевского, написанных после каторги и дошедших в ничтожном количестве.

ВЕНЕРА НЕБЕСНАЯ

Клубится чернь: восторгом безотчетным
Пылает взор бесчисленных очей;
Проходит гул за гулом мимолетным;
Нестройное слияние речей
Растет; но вновь восторг оцепенелый
Сомкнул толпы шумливые уста...
Не мрамор, нет! не камень ярко-белый,
Не хладная богини красота
Иссечена ваятеля рукою;
Но роскошь неги, жизни полнота;—
И что ни взгляд, то новая черта,
Скользя из глаз округлостью живою,
Сквозь нежный мрамор дышит пред толпою.
Все жаждали очами осязать
Сей чудный образ, созданный искусством,
И с трепетным благоговейным чувством
Подножие дыханьем лобызать.
Казалось им: из волн, пред их очами,
Всплывает Дионеи влажный стан
И вкруг нее сам старец-Океан
Еще шумит влюбленными волнами...
Сглянулись в упоеньи: каждый взгляд
Искал в толпе живого соучастья;
Но кто средь них? Чьи очи не горят,
Не тают в светлой влаге сладострастья?
Его чело, его покойный взор
Смутили чернь; и шопотом укор
Пронесся,—будто листьев трепетанье.
«Он каменный!»— промолвил кто-то. «Нет,
Завистник он!»— воскликнули в ответ,
И вспыхнула гроза; негодованье,
Шумя, волнует площадь; вкруг *него*
Толпятся все теснее и теснее...
«Кто звал тебя на наше празднество?» —
Гремела чернь. «Он пятна в Дионее
Нашел!» — «Ты богохульник!» — «Пусть резец
Возьмет он: он — ваятель!» — «Я—поэт».

СПИСОК СТИХОТВОРЕНИЯ А. И. ОДОЕВСКОГО «ВЕНЕРА НЕБЕСНАЯ», 1820—1830-е гг.

Из бумаг И. Д. Якушкина

Центральный исторический архив, Москва

И в руки взял он лиру золотую,
Взглянул с улыбкой ясной, и слегка
До звонких струн дотронулась рука;
Он начал песнь младенчески простую:

«Легкие хоры пленительных дев
Тихо плясали под говор Пелея;
Негу движений я в лиру вдыхал,
Сладостно пел Дионею.

*

В образ небесный земные красы
Слил я, как звуки в созвучное пенье;
Создал я образ, и верил в него, —
Верил в мою Дионею.

*

Хоры сокрылись. Царица ночей,
Цинтия томно на небо всходила;
К лире склонясь, я забылся... но вдруг
Замерло сердце: явилась

*

Дочь океана! Над солнцем Олимп
Светит без тени; так в неге Олимпа,
В светлой любви без земного огня
Таяли очи небесной.

*

Сон ли я видел? Нет, образ живой;
Долго следил я эфирную поступь,
Взор лучезарный мне в душу запал,
С ним — и мученье и сладость.

*

Нет, я не в силах для бренных очей
Тканью прозрачной облечь неземную;
Голос немеет в устах... но я весь
Полон Венеры небесной».

* * *

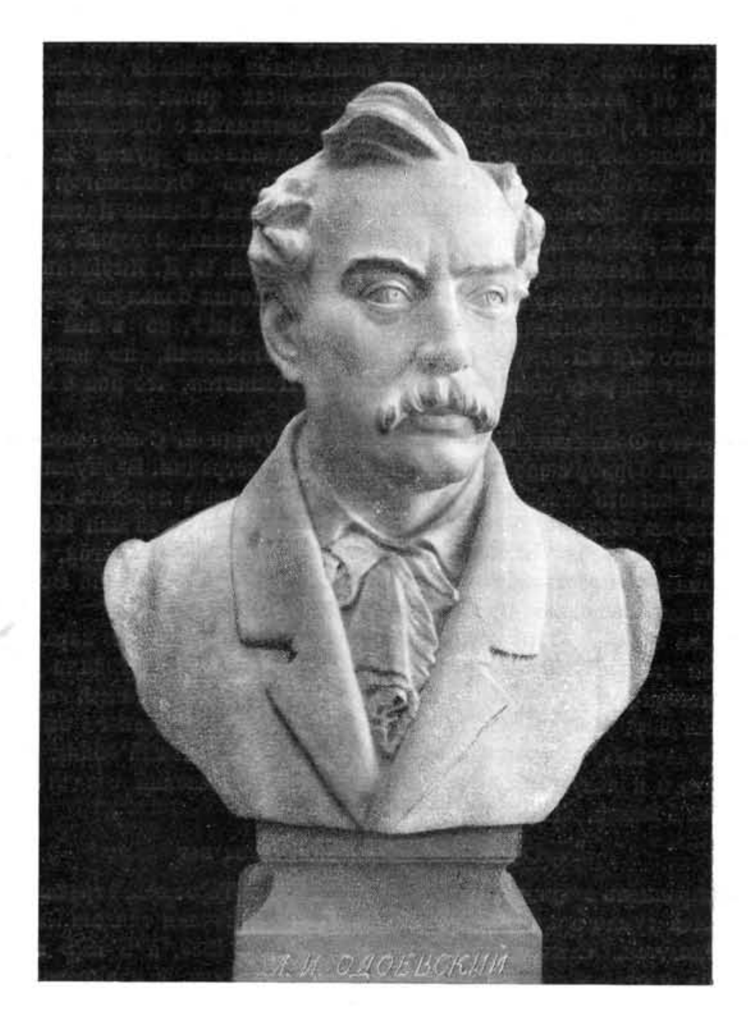
В сборнике произведений Одоевского 1883 г. было впервые напечатано стихотворение, начинающееся строками:

Зачем ночная тишина
Не принесет живительного сна
Тебе, страдалица младая?

Когда было написано это стихотворение, оставалось до сих пор неизвестным; смысл его казался темен.

Буржуазно-либеральная критика стремилась затушевать революционное содержание творчества Одоевского, представить его поэзию прежде всего как поэзию страдания. Стихотворение «Зачем ночная тишина...» было истолковано как автобиографическое и послужило основанием для глубоко неверной характеристики творчества поэта-декабриста. Пониманию стихотворения как автобиографического мешало, однако, то, что в нем идет речь о страданиях и недуге женщины, о ее жалобах. Н. А. Котляревский вышел из затруднительного положения, объявив, будто в стихотворении имеется в виду «душа поэта». Тем самым все становилось на свое место; в соответствии со своими утверждениями: «чем ближе подходил поэт к 1839 году, последнему в его жизни, тем все явственнее слышался ему этот

призыв смерти», Котляревский мог назвать стихотворение «Зачем ночная тишина...» ярким изображением «предсмертной агонии „души поэта“»[4]. Ю. И. Айхенвальд конкретизировал это символическое толкование, назвав в свою очередь стихотворение «предчувствием смертельной болезни», которая свела Одоевского в могилу[5]. И все это базировалось лишь на уверенности, что стихотворение «Зачем ночная



А. И. ОДОЕВСКИЙ

Бюст (мрамор) работы Н. В. Дыдыкина, 1952 г.

Дирекция художественных выставок и панорам Министерства культуры СССР, Москва

тишина...» написано на Кавказе, хотя никаких доказательств такой датировки не существовало и ее надо было еще установить.

Окутывавшие поэзию Одоевского мистическим туманом пустые в сущности фразы Котляревского и Айхенвальда оказали воздействие и на советских исследователей. Доныне стихи «Зачем ночная тишина...» считаются чуть ли не последним произведением Одоевского, а эта точка зрения укрепляет уверенность в том, будто перед смертью поэт-декабрист осмыслил всю свою жизнь лишь как страдание; в статьях и комментариях фигурирует «душа поэта», и исследователи продолжают привлекать стихотворение для характеристики творчества Одоевского и его душевного состояния в кавказский период.

В последних строках стихотворения нехватало рифм—это наводило исследователей на мысль об «оборванности» — «поэзия его как будто раскололась, разбилась»[6].

Обнаруженные нами в Центральном государственном литературном архиве в Москве два списка стихотворения «Зачем ночная тишина...» помогают установить, когда оно было написано, и правильно его осмыслить[7]. Оба списка дают полный текст стихотворения. Как теперь выясняется, оно печаталось с пропуском одной строки (29-й) и без конца (19 строк). Вот почему исчезли рифмы. При подготовке к печати издания 1883 г. листок с девятнадцатью последними строками остался незамеченным, так как он находился в архиве Вяземских (послужившем источником для издания 1883 г.) отдельно от материалов, связанных с Одоевским.

Второй список сопровождается припиской, сделанной рукой Е. П. Нарышкиной (жены декабриста М. М. Нарышкина, друга Одоевского): «Стихи Александра Ивановича Одоевского, писанные им во время болезни Натальи Дмитриевны Фон-Визин, с рассказов Ивана Дмитриевича Якушкина, который ходил за больною в Чите, в доме Александры Григорьевны Муравьевой. И. Д. Якушкин был старинным другом Михайла Александровича Фон-Визина. Лечил больную Фердинанд Богданович Вольф. Болезнь именовалась la danse de St. Gui *, но в ней что-то выражалось духовного как бы искушение. Бред был поэтический, по натуре больной, которая выходит из ряда обыкновенных людей. Помнится, что она болела в зиму 29-го года»[8].

Известно, что Фонвизина была женщиной незаурядной. С неутомимой энергией она вела в Сибири борьбу с злоупотреблениями администрации. Вернувшись в Россию и не имея возможности освободить крестьян, она пыталась передать свои имения в казну. Характерны слова И. Д. Якушкина в письме к ней от 13 мая 1855 г.: «Много благодарю Вас за подробности, которые Вы мне сообщили о подвигах, совершенных Вами по управлению крестьянами. Я радовался, видя, как усердно Вы исполняете служение, возложенное на Вас провидением»[9].

Все, что мы знаем о Фонвизиной, свидетельствует о сильном характере. Но ее экзальтированность, повышенная религиозность, страстность доходили до болезненности, почти истеричности. В Сибири она много и часто болела, тяжело переживая тамошнюю обстановку. Можно думать, что стихотворение Одоевского было не стихотворением «на случай», а попыткой воспроизвести своеобразный облик Фонвизиной. Хорошо зная ее и пользуясь рассказами Якушкина, Одоевский создал выразительную картину ее болезни. Любопытно, что к стиху

Страдала я в сей жизни! силы нет

мы находим параллель в одном из ее писем из Сибири: «Терзаюсь, страдаю и только!».

Мистический туман вокруг стихотворения «Зачем ночная тишина...» теперь полностью рассеивается. Стихотворение написано не в 1839, а в 1829 году. Это не стихи о душе поэта, а стихи об определенной женщине, с конкретной судьбой.

Правда, стихотворение относится к числу наименее удачных, наименее значительных из дошедших до нас произведений Одоевского. Но дошло их до нас так немного, что мы не можем пренебрегать и этим, пусть мало интересным стихотворением. Основная же ценность найденных материалов в том, что они позволяют опровергнуть созданную легенду: стихотворение вовсе не автобиографично.

Приводим текст стихотворения по обнаруженным спискам. Ранее были неизвестны строки 29 и 32—50:

Зачем ночная тишина
Не принесет живительного сна
Тебе, страдалица младая?
Уже давно заснули небеса;
Как усыпительна их сонная краса,
И дремлющих полей недвижимость ночная!
Спустился мирный сон, но сон не освежит

* пляска св. Вита (франц.).

Тебя, страдалица младая!
Опять недуг порывом набежит,
И жизнь твоя, как лист пред бурей, задрожит!
Он жилы нежные, как струны, напрягая,
Идет, бежит, по ним ударит; и в ответ
Ты вся звучишь и страхом и страданьем;
Он жжет тебя, мертвит своим дыханьем,
И по листу срывает жизни цвет;
И каждый миг, усиливая муку,
Он в грудь твою впился, он царствует в тебе!
Ты вся изнемогла в мучительной борьбе;
На выю с трепетом ты наложила руку;
Ты вскрикнула; огнь брызгнул из очей,
И на одре безрадостных ночей
Привстала бледная; в очах горят мученья;
Страдальческим огнем блестит безумный взор,
Блуждает жалобный и молит облегченья...
Еще проходит миг; вновь тянутся мгновенья...
И рвется из груди чуть слышимый укор:
«Нет жалости у вас! постойте! вы так больно,
Так часто мучите меня...
Нет силы более! нет ночи, нету дня,
Минуты нет покойной. Нет! довольно
Страдала я в сей жизни! силы нет...
Но боль растет: все струны натянулись...
Зачем опять вы их коснулись,
И воплей просите в ответ?
Еще — и все они порвутся! Ваши руки
Безжалостно натягивают их.
Вам разве сладостны болезненные звуки,
Стенящий ропот струн моих?
Но кто вы? Кто из вас и злобный и могучий
Всю лиру бедную расстроил? Жизнь мою
Возьмите от меня: я с радостью пролью
Последний гул земных раззвучий,
И после долгих жизни мук
Вздохну и сладко и покойно;
На небе додрожит последний скорбный звук;
И все, что было здесь так дико и нестройно,
Что на земле, сливаясь в смутный сон,
Земною жизнию зовется,—
Сольется в сладкий звук, в небесно-ясный звон,
В созвучие любви божественной сольется».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н. П. Огарев. Кавказские воды.— Избранные социально-политические и философские произведения, т. I. М., 1952, стр. 406.

[2] Там же, стр. 413.

[3] ЦГИА, ф. № 279, ед. хр. 1048, лл. 3 об. — 4 об.; ф. № 1068, оп. 1, ед. хр. 721, л. 7—7 об.

[4] Н. А. Котляревский. Декабристы кн. А. Одоевский и А. Бестужев СПб., 1907, стр. 94.

[5] Ю. И. Айхенвальд. Силуэты русских писателей. М., 1917, стр. 57.

[6] В. Г. Базанов. Поэты декабристы. М.—Л., 1950, стр. 215.

[7] ЦГЛА, ф. № 195, ед. хр. 5612, л. 109; ф. № 368, ед. хр. 1, лл. 3—4.

[8] Там же, ф. № 368, ед. хр. 1, л. 4 об.

[9] Якушкин, стр. 422.

II. ПИСЬМА к И. Д. ЯКУШКИНУ

Из писем Одоевского за 1833—1836 гг., то есть за то время, когда он жил на поселении в Восточной Сибири, в селе Елани, известны были до сих пор лишь письма к отцу, да два полуофициальных письма к иркутскому губернатору И. Б. Цейдлеру и к брату его, Ф. Б. Цейдлеру. Ни одного письма Одоевского к друзьям-декабристам до сих пор обнаружено не было. Тем больший интерес представляют публикуемые ниже два письма его к И. Д. Якушкину. Письма эти дополняют наши сведения об Одоевском в ссылке и свидетельствуют об идейном и психологическом единстве, характерном для многих ссыльных декабристов.

О взаимоотношениях Одоевского и Якушкина неизвестно почти ничего. Предполагается, что Якушкину (вместе с Анненковым и Юшневским) принадлежит отзыв об Одоевском, переданный провокатором Медоксом: «Одоевский — ангельской доброты. Пиит и учен; знает почти все главные европейские языки. По богатству был в Петровском остроге в числе тамошних магнатов. Несмотря на богатство, он всегда в нужде, ибо со всеми делится до последнего» [1]. Е. П. Оболенский писал о Якушкине, вспоминая Читинскую тюрьму: «...не без пользы протекло это время для Ивана Дмитриевича: он умел возбудить в юношах, бывших с нами, желание усовершенствоваться в познаниях, ими приобретенных, и помогал им по возможности и советом, и наставлением. Часто по целым часам хаживал он с юным Одоевским и возбуждал его к той поэтической деятельности, к которой он стремился»[2]. Публикуемые письма также свидетельствуют об авторитете Якушкина для Одоевского и об интересе Якушкина к его поэтической деятельности.

Письма печатаются по автографам, хранящимся в ЦГИА в Москве (ф. № 279, Якушкиных, оп. 1, ед. хр. 87, лл. 1—4).

1

〈27 февраля 1834 г. с. Елань〉

Прошел год с тех пор как я расстался с Вами, любезный Иван Дмитриевич! [3] и я еще ни разу не писал к Вам; но Вы — не правда ли? — Вы были уверены, что я Вас помню. Иногда много лиц проходят мимо меня длинною вереницею, но Вы одни из тех, которых мое воображение живее осуществляет, долее задерживает перед глазами. Отчего так? Кажется, мы не часто и не много уверяли друг друга в чувствах взаимной приязни: а между тем — я верю в Вашу дружбу. Сколько раз брал я в руки Вашего Бейрона! Нередко бывает, что я и строки не прочту в нем; но непременно заведу с Вами беседу, — без всякого спора, мирно и дружно, с искреннею и неизменною любовью.

Знаете или нет: *где я* и *каково мне?* Но, во всяком случае, я уверен, что Вы только об одном у меня спросите: *что* я? Да как Вам отвечать? Тот же? Нет, по врожденному самолюбию, право, мне кажется: несколько лучше! потому, что я чаще бываю с самим собою. Впрочем, не спрашивайте, что я произвел? Почти ничего. Читаю много, творю мало; но зато если у меня (авось!) что-либо выльется, то, без всякого сомнения, с большей отчетливостью против прежнего; ибо, благодаря моему одиночеству, я могу весь жить в моем предмете: внешний мир меня не развлечет.

Нет! хотя я и не Циммерман, но, после годового опыта, я, право, не согласен с Петром Николаевичем [4].

Прощайте. Дайте мне пожать Вашу руку и повторить, что я Вас помню живо и люблю горячо: есть чувства, которые глубоко западают в мою душу.

Вам преданный Александр Одоевский

27 фев〈раля〉 1834

P. S. Дружески поклонитесь от меня И. И. Пущину: я дорожу его памятью; скажите Фердинанду Богдановичу [5], что я сохранил к нему те же

чувства: приязнь за приязнь и признательность за то, что не криво гляжу на мир, хоть в вещественном смысле.

2

⟨6 февраля 1836 г. с. Елань⟩

Mon cher Иван Дмитриевич,

Je ne suis pas oublieux de mon naturel; vous le savez — je vous aime comme toujours.

Je vous remercie pour Votre Silvio; il m'a fait éprouver un sentiment de tristesse indicible, en me faisant repasser dans un quart d'heure de lecture huit années de mon existance[6]. Si je n'ai pu me défendre d'un moment de tristesse, je suis en général résigné et d'une patience à toute épreuve, — ainsi que vous le savez vous-même. Amoureux de ma solitude qui est complète, — je ne fais aucune démarche pour un changement de lieu de séjour, — et je n'ai aucun désir poignant sinon celui de voir mon père à qui ont avait promis de nous réunir pour un peu de temps à Курган. Les voeux de mon père n'ont pu être réalisés à ce qu'il paraît, — puisque cette affaire traîne depuis huit mois. — Que faire? Il faut encore s'y résigner. Je ne dois plus le revoir ici-bas[7].

Adieu, mon bon et cher Иван Дмитриевич; je Vous aime et estime du fond de mon âme, et Vous prie de ne pas m'oublier.

J'attends le mois de juillet avec impatience: peut-être pourrai-je vous voir à Белектуй[8]. Lorsque vous passerez par Irkoutsk, dites-en un mot au gouverneur-général qui est un galant homme. Je Vous embrasse bien tendrement.

Tout-à-vous à jam⟨ais⟩
Alexandre O d o ⟨e v s k y⟩

Le 6 Février ⟨1836⟩

Serrez la main à Pouschine.

Que fait la pauvre *лавочка*?[9], comme le dit Наталья Дмитровна?[10].

⟨П е р е в о д:⟩

Дорогой Иван Дмитриевич,

Я не забывчив по природе; я люблю Вас как всегда — Вы это знаете.

Спасибо Вам за вашего Сильвио; он заставил меня испытать чувство невыразимой грусти, напомнив мне за какие-нибудь четверть часа чтения восемь лет моего существования[6]. Хоть я и не мог противостоять минутной грусти, я, вообще, человек покорный и, как Вы сами знаете, обладаю испытанным терпением. Влюбленный в свое полное уединение, я не предпринимаю никаких шагов для перемены моего местопребывания, — и у меня нет никаких сильных желаний, если не считать желания увидеться с отцом, которому было обещано соединить нас ненадолго в Кургане. Желания моего отца, повидимому, не могли осуществиться—поскольку это дело тянется уже восемь месяцев.—Что делать? Надобно и тут покориться. Не видать его мне больше на этом свете[7].

Прощайте, добрейший и дорогой Иван Дмитриевич; я Вас люблю и уважаю всей душой и прошу Вас не забывать меня.

Жду с нетерпением июля: быть может, мне удастся повидаться с Вами в Белектуе[8]. Когда Вы будете проезжать через Иркутск, замолвите об этом словечко генерал-губернатору — он человек порядочный. Дружески Вас обнимаю.

Всегда Ваш Александр О д о ⟨е в с к и й⟩

6 февраля ⟨1836 г.⟩

Пожмите руку Пущину.

Что делает несчастная *лавочка*?[9], как говорит Наталья Дмитровна?[10]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] С. Я. Штрайх. Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX века. М., 1929, стр. 135.

[2] Якушкин, стр. 486.

[3] Одоевский выехал с Петровского завода в январе 1833 г., был поселен сначала при Тельминской суконной фабрике, а затем в июне 1833 г., после запрещения Николаем I декабристам жить в заводских селениях, был переведен в с. Елань, в 36 верстах от Иркутска.

[4] Одоевский имеет в виду весьма популярную в конце XVIII — начале XIX в. книгу швейцарско-немецкого моралиста Иоганна-Георга Циммермана «Об уединении относительно к разуму и сердцу» (последний русский перевод издан в 1822 г.). Об этой книге вспоминал и Н. И. Лорер, касаясь своего поселения в Кургане.

Петр Николаевич — священник Мысловский, посещавший декабристов в Петропавловской крепости и впоследствии переписывавшийся с Якушкиным и его семьей (см. о нем подробнее в настоящем томе на стр. 124).

[5] Декабрист Ф. Б. Вольф — врач, очевидно, лечивший Одоевского.

[6] Речь идет о книге Сильвио Пеллико «Мои темницы» (1833). О впечатлении, произведенном этой книгой на декабристов, см. Бестужевы — в статье и прим. М. К. Азадовского, стр. 651, 659, 664, 712—713.

[7] Хлопоты отца Одоевского частично увенчались успехом, и в июле 1836 г. ссыльный декабрист был переведен в г. Ишим Тобольской губ. Но с отцом Одоевский встретился лишь по пути на Кавказ, в 1837 г.

[8] Якушкин выехал на поселение в 1836 г., тем самым и данное письмо датируется 1836 г. — Белектуй — ближайшая к Елани почтовая станция.

[9] Лавочка — повидимому, ходячее выражение в среде ссыльных декабристов. Например, Якушкин писал И. И. Пущину 14 марта 1841 г., непосредственно после слов о Муравьевых и, в частности, об А. М. Муравьеве: «Несчастная лавочка: торговцы в ней, приходя сами в ветхость и упадок, не только забывают о драгоценном товаре своем, но, кажется, еще всеми силами стараются истребить его ценность» (Якушкин, стр. 275); ср. также в письме Ф. Ф. Вадковского к И. И. Пущину (10 сентября 1842 г.) о А. З. Муравьеве: «Перечитывает старые романы и беспрестанно ездит в город, в иные дома, т. е. *к лицам значащим*, несколько тайком от наших; остер и зол более, чем когда-нибудь, но жалко, что иногда для остроты выдает лавочку!» («Декабристы на поселении». М., 1926, стр. 82).

[10] Наталья Дмитровна — Н. Д. Фонвизина. См. о ней стр. 618—621 настоящего тома.

ПРИЛОЖЕНИЕ

«СЛАВЯНСКИЕ ДЕВЫ» (МУЗЫКА ДЕКАБРИСТА Ф. Ф. ВАДКОВСКОГО НА СТИХИ ОДОЕВСКОГО)

Декабрист Федор Федорович Вадковский был скрипачом и композитором. Однако его музыкальные произведения до сих пор оставались неизвестными.

Вадковским было положено на музыку стихотворение Одоевского «Славянские девы», неоднократно исполнявшееся декабристами в казематах Петровского завода. Об этом писали Н. П. Огарев, М. А. Бестужев и Д. И. Завалишин. Но характеристики, данные Огаревым и Бестужевым музыке Вадковского, на первый взгляд представляются противоречивыми. По словам Огарева, «она носит характер романса того времени ⟨...⟩, которого задумчивая прелесть, вышедшая из слияния русской песни с европейской музыкой, для непредубежденного останется изящной». Огарев находил, что «в мотиве Вадковского есть талант, но в целом выработка ученическая», и хотя Огарев располагал музыкальным текстом, он не воспроизвел его из-за многочисленных,— как он писал,— ошибок [1]. Бестужев, описывая первое исполнение «Славянских дев» на Петровском заводе, в день годовщины 14 декабря, называет сочинение Вадковского гимном: «...гимн был аранжирован превосходно,— мотив его очень близко подходил к мотиву гимна „Боже, царя храни“ Львова, и точно как будто бы гимн Львова был скомпанован по его образцу. В последнем куплете, где речь относится прямо к России и где Вадковский, неприметными оттенками гармонии переходит в чисто русский мир и заканчивает мотивом русской песни,— все присутствующие невольно встрепенулись, а особливо, когда послышался в этом куплете упоительно задушевный голос Тютчева» [2].

Славянскія дѣвы.

Петровской Заводъ за Байкаломъ.

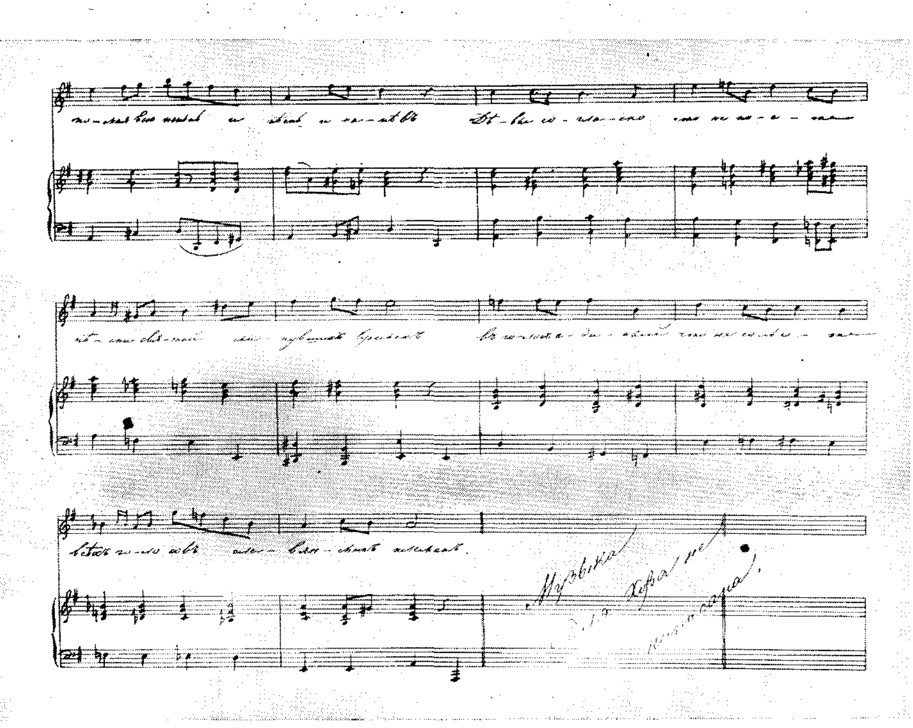
1835 годъ.

Слова А. Одоевскаго.
Музыка Ф. Вадковскаго

Пѣснь первая. Славянскія дѣвы

ПЕСНЯ «СЛАВЯНСКИЕ ДЕВЫ». МУЗЫКА Ф. Ф. ВАДКОВСКОГО НА СЛОВА А. И. ОДОЕВСКОГО. ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД, 1835 г. СПИСОК РУКОЙ И. И. ПУЩИНА, 1857 г.

Листы заглавный и первый

Центральный архив литературы и искусства, Москва

ПЕСНЯ «СЛАВЯНСКИЕ ДЕВЫ». МУЗЫКА Ф. Ф. ВАДКОВСКОГО НА СЛОВА А. И. ОДОЕВСКОГО. ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД, 1835 г. СПИСОК РУКОЙ И. И. ПУЩИНА, 1857 г.

Листы 2, 3

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Пѣснь вторая. Старшая Дѣва.

ПЕСНЯ «СЛАВЯНСКИЕ ДЕВЫ». МУЗЫКА Ф. Ф. ВАЛКОВСКОГО НА СЛОВА А. И. ОДОЕВСКОГО. ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД, 1835 г. СПИСОК РУКОЙ И. И. ПУЩИНА, 1857 г.

Листы 4, 5

Центральный архив литературы и искусства, Москва

ПЕСНЯ «СЛАВЯНСКИЕ ДЕВЫ». МУЗЫКА Ф. Ф. ВАДКОВСКОГО НА СЛОВА А. И. ОДОЕВСКОГО. ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД, 1835 г. СПИСОК РУКОЙ И. И. ПУЩИНА, 1857 г.

Лист последний

Центральный архив литературы и искусства, Москва

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ И. И. ПУЩИНА Н. Ф. ЗДЕКАУЕРУ НА СПИСКЕ ПЕСНИ «СЛАВЯНСКИЕ ДЕВЫ», 1857 г.

Центральный архив литературы и искусства, Москва

В новонайденной тетради рукою И. И. Пущина переписаны (в 1857 г.) «Славянские девы» — слова и ноты [3]. Тетрадь эта была подарена Пущиным петербургскому врачу, профессору Н. Ф. Здекауеру, что явствует из надписи на последней странице. Приводим эту надпись:

Добрый и почтенный Николай Федорович, когда Вы будете слушать эту музыку или читать самую песнь — отголосок нашей мечты, может быть, несбыточной, — вспомните человека, который вполне Вам сочувствует и всегда сохранит воспоминание отрадной встречи с Вами и приятных бесед о том о сем.

Душевно Вам преданный И. П.

7-го апреля 1857
С. П. бург.

Список стихотворения Одоевского совпадает с одним из уже известных вариантов.

В записи музыкального текста допущено несколько очевидных ошибок, которые, однако, не мешают получить общее представление о нем. Текст этот — яркая иллюстрация к рассказу Бестужева. Тетрадь Пущина позволяет также убедиться, что обе характеристики музыки Вадковского — и та, которая была сделана Огаревым, и та, которую дал Бестужев, — хотя и не вполне точны, но в известной мере соответствуют действительности и дополняют друг друга.

К сожалению, музыку для хора, то есть для припева, Пущин не записал, и это не дает нам возможности точно характеризовать форму произведения Вадковского.

Торжественные, маршевые вступления к обеим частям, самостоятельность и двучленность построения каждой, чередование минора и мажора — все это объясняет, почему Бестужев говорит о музыке, созданной Вадковским, как о гимне (сравнение с музыкой Львова вызывает, впрочем, полное недоумение — настолько между ними нет ничего общего; возможно, что речь шла о припеве, который не дошел до нас). Но все же Огарев охарактеризовал ее более точно, чем Бестужев: музыка «Славянских дев» ближе к русскому романсу двадцатых — тридцатых годов, чем к гимну. Широко льющаяся мелодия, перекликающаяся с народно-песенными интонациями, кое-чем напоминает алябьевского «Соловья» и даже (во второй части песни) увертюру к «Ивану Сусанину» М. И. Глинки (15-й такт). Замысел Вадковского отличается широтой и серьезностью, хотя нельзя не согласиться с Огаревым, что «в целом выработка ученическая». Так, чрезмерно обширный диапазон вокальной партии (две октавы) должен был чрезвычайно затруднять исполнителя — недаром Тютчев жаловался Бестужеву: «Кажется, спою, но как — это другое дело. Злодей Вадковский измучил меня, mon cher! Вытягивай ему каждую нотку до последней тонкости, как она у него написана на бумаге». Впрочем, можно предположить, что первая и вторая части написаны для разных голосов — тогда становятся понятными слова Бестужева: «в последнем куплете ⟨...⟩ послышался ⟨...⟩ голос Тютчева» [4].

Тетрадь И. И. Пущина не только знакомит нас с музыкальным творчеством Ф. Ф. Вадковского; она помогает глубже понять значение для ссыльных декабристов стихотворения Одоевского.

В литературе уже отмечалось, что стихотворение Одоевского «Славянские девы» отразило некоторые из идей Общества Соединенных Славян и интерес декабристов к польскому национально-освободительному движению. Популярность этого стихотворения среди декабристов—свидетельство понимания ими того значения, которое имела борьба русского народа против царизма для национально-освободительной борьбы славянских народов. Характерно, что в вариантах Бестужева и Розена последняя строка, вместо «Сладкую песню с ними запой», читается так: «Радостно песню свободы запой».

Надпись, сделанная Пущиным на экземпляре «Славянских дев», — новое и убедительное доказательство глубоко идейного восприятия декабристами стихотворения

Одоевского «Славянские девы», которое Пущин называет «отголоском нашей мечты, может быть, несбыточной...».

Тетрадь Пущина, кроме того, позволяет установить существенный, не известный до сих пор, факт из жизни декабристов на Петровском заводе.

Вспоминая о первом исполнении «Славянских дев», М. А. Бестужев рассказал и о создании им песни «Что ни ветр шумит...», посвященной восстанию Черниговского полка и С. И. Муравьеву-Апостолу. Комментируя рассказ Бестужева, М. К. Азадовский подверг сомнению датировку песни, предложенную М. И. Семевским,— 1835 год, так как Бестужев вспоминал о 1829 или 1830 годе. Однако из рассказа Бестужева ясно, что песня была им написана тогда же, когда Вадковский сочинил музыку к «Славянским девам», а Пущин датирует музыку 1835 годом. Таким образом, даты Семевского и Пущина совпадают, и датировка Семевского подтверждается.

Но Семевский указывает не только год, а и день: 29 декабря[5]. Это — не случайное число, это — день восстания Черниговского полка.

Картина, нарисованная Бестужевым в его воспоминаниях, уточняется и проясняется. Десятилетнюю годовщину восстания 14 декабря и десятилетнюю годовщину восстания Черниговского полка торжественно отмечали декабристы. Для первой Вадковский создал музыку на стихи Одоевского (сам Одоевский к этому времени уже был на поселении), для второй — Бестужев написал песню «Что ни ветр шумит...».

В рассказе Бестужева оба эти события слились в одно и отнесены к другому времени. Но это не удивительно. Бестужев писал свои воспоминания через 35 лет после событий, о которых идет речь. Ошибка Бестужева очевидна уже из того, что он писал: «14 декабря 1829-го или 30-го года — не могу припомнить, но только в каземате Петровского острога»[6], а в действительности в 1829 г. декабристы были еще в Чите. Кроме того, элемент беллетризации в рассказе Бестужева наличествует несомненно.

Таким образом, тетрадь И. И. Пущина позволяет нам ознакомиться с музыкальным творчеством Ф. Ф. Вадковского и существенно уточняет даты сочинения музыки к «Славянским девам» и песни «Что ни ветр шумит...».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н. П. Огарев. Кавказские воды.— Избранные социально-политические и философские произведения, т. I. М., 1952, стр. 408.

[2] Бестужевы, стр. 294—295.

[3] «Славянские девы. Петровский завод, за Байкалом. Слова А. Одоевского. Музыка Ф. Вадковского. 1835-й год». На 6 лл.— ЦГЛА, ф. № 392, ед. хр. 6.

За помощь, оказанную в разборе музыки Вадковского, приношу благодарность А. С. Ляпуновой.

[4] Бестужевы, стр. 293, 295.

[5] Архив Бестужевых, ед. хр. 5569, л. 202 об.; Бестужевы, стр. 771.

[6] Бестужевы, стр. 292.

О ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. И. ЯКУБОВИЧА

Статья М. К. Азадовского

Литературное наследие декабристов до сих пор еще не собрано и не выяснено в полном объеме. Многие произведения погибли и утрачены, другие все еще затеряны среди архивных документов, третьи таятся в старых журналах или газетах под неразгаданными и нераскрытыми псевдонимами. Остается не выясненным и не установленным до конца и самый круг имен декабристов-литераторов. Совершенно выпало из этого круга имя Александра Ивановича Якубовича.

А. И. Якубович вообще обойден исторической наукой: нет не только какого-либо посвященного ему монографического очерка, но нет и общепринятой точки зрения на его роль в декабристском движении и на его личность в целом. Образ Якубовича представляется неясным и противоречивым. Нет единодушия по отношению к нему и среди самих декабристов: одни считали его искренним и пылким революционером, другие — хвастуном и бретером. В восстании он сыграл, бесспорно, роковую роль как человек, не выполнивший возложенных на него весьма важных и ответственных поручений.

Поведение же его в самый день 14 декабря поражает своей непоследовательностью и противоречивостью: то он, ссылаясь на сильную головную боль от раны, отказывается выйти на площадь, то принимает на себя командование над восставшим полком, то исчезает с площади, то вновь появляется — на этот раз уже в роли не то парламентера, не то разведчика во вражеском лагере[1]. Противоречиво и непоследовательно было и его поведение в сибирской ссылке, что часто раздражало его товарищей по изгнанию[2]. В исторических сочинениях Якубович трактуется чаще всего как «типичный бретер» и как случайная фигура в революционном движении.

Однако есть целый ряд фактов, заставляющих отказаться от слишком упрощенных воззрений на личность Якубовича и его деятельность[3]. К этому обязывает прежде всего его «Записка», поданная из крепости Николаю I. В ней Якубович выступает как подлинный гражданин-патриот, как политический мыслитель, много и глубоко размышлявший о судьбах родины. В своей «Записке» он писал об общем состоянии управления, о финансовой политике правительства, о системе законодательной работы, о позорном состоянии судопроизводства, о положении основных сословий. Особенно замечательны разделы о положении крестьян и солдат[4]. Эта «Записка» заставляет вспомнить характеристику, которую дал Якубовичу Денис Давыдов, называя его «богатырем-философом»[5].

В 1825 г. в «Московском телеграфе» было напечатано послание «К Я—у», то есть «К Якубовичу»:

Кавказских рыцарей краса,
Пустыни просвещенный житель!
Ты не одним врагам гроза,—
Судьбы самой ты победитель.

Как богатырскою пятой
Вражду черкеса попираешь,
Так неприступною душой
Тоску изгнанья презираешь.

Герой-мудрец! Ты искупил
Двойной ценой венец героя:
В бедах покой свой сохранил,
И щит был общего покоя.

Кисловодск.
10 августа 1823 [6].

С. Н.

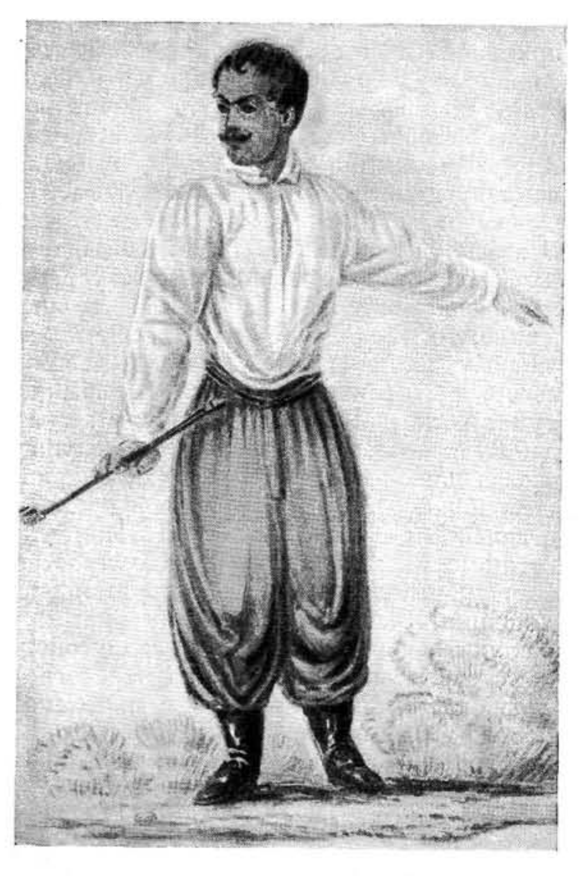
«С. Н.» —это, конечно, Степан Нечаев, член Союза Благоденствия; после 14 декабря он резко повернул вправо и сделал блестящую бюрократическую карьеру, но в это время он еще вращался в кругу республиканской молодежи, вполне разделяя ее убеждения.

К этим свидетельствам нужно добавить поздние строки Н. Н. Муравьева-Карского. На склоне лет, вспоминая минувшие годы и былых друзей и знакомых, он писал: «Отличные качества его ⟨Якубовича⟩ достойны всякого уважения» [7]. Следует подчеркнуть, что эти строки написаны человеком, взыскательным в своих отношениях с людьми, и написаны тогда, когда уже были известны сложные перипетии биографии Якубовича.

Правильному пониманию облика Якубовича препятствует и крайняя скудость биографических материалов. Его мемуары погибли, его эпистолярное наследие сохранилось в незначительном объеме и даже то, что опубликовано, не всегда попадало в круг зрения исследователей[8].

Совершенно не освещен и не исследован вопрос об участии Якубовича в литературной жизни своего времени, хотя данные для постановки такого вопроса имеются. В ноябре 1825 г. в «Северной пчеле» (№ 138) появилась небольшая статья, озаглавленная: «Отрывки о Кавказе. (Из походных Записок.) (*Письмо к издателям „Сев⟨ерной⟩ пч⟨елы⟩“*)». Подписаны эти «Отрывки» инициалами: *А. Я.* Статья начиналась следующим обращением к издателям: «Вы хотели иметь что-нибудь из моих Записок в вашем журнале. Согласен удовлетворить сему желанию, уверен будучи, что досуг солдата на биваках не поднимет журнальной войны и не введет меня в бесполезный труд тратить время на антикритики. На сем только условии берусь познакомить вас с племенами Кавказа и образом их войны. Приступаю».

«Отрывки» распадаются на две части: в первой автор сообщает о быте и характере некоторых племен Северного Кавказа, другая озаглавлена: «Из замечаний о войне горцев северной покатости Кавказа», с подзаголовком: «Поход днем и ночью харцизей». Последнее слово разъяснено автором как «хищник на черкесском языке». Автор «Записок» не дает подробного описания быта населения, его внимание привлекала лишь одна сторона жизни горцев — воинская, поэтому и характеристики его очень общи и касаются главным образом отношения горцев к войне, свободе, славе, взаимоотношениям с неприятелем. Вот пример его определений народного характера: «народ свободный, храбрый, трудолюбивый, отличные стрелки из ружей». «Самая природа, своими красотами и ужасами возвышает дух сих горцев; внушает любовь к славе, презрение к жизни и порождает благороднейшие страсти, теперь омрачаемые невежеством магометанства и кровавыми обычаями». Наиболее подробно говорит он о племени, называемом им абазехами; он превозно-



А. И. ЯКУБОВИЧ
Рисунок декабриста Н. П. Репина (?)
Музей революции, Ленинград

сит их за свободолюбие, жажду подвигов, отвагу, но сурово порицает коварство в сношениях с неприятелем. «Абазех свободен, не терпит другой власти, кроме обычаев и страстей; беден, но храбр. Нищета, оружие, любовь к буйной свободе и известности — вот наследие отца, к сыну преходящее, вот начало его независимости!». «Мир с сим народом, — утверждает автор, — так же неверен, как и их частная дружба; корыстолюбие и измена главные их пороки». Он находит, что во многих отношениях они напоминают старинных рыцарей: «Сии тевтоны 19 столетия презирают своих соседей, и равно бич другу и недругу». Характеристику этого племени он завершает излюбленным романтическим образом контраста между благословенной природой и мрачными и беспокойными страстями человека: «В климате приятнейшем, среди величественной природы, где с небольшими усилиями человек мог бы найти изобилие и покой, сие племя храбрых злодеев, как дикие звери, кроется от самых лучей солнца».

Во второй части запечатлены военные столкновения, участником которых бывал сам автор. «Не раз обманутый слетом коршуна или горного орла, — рассказывает он, — брал я ненужные предосторожности; а иногда, утомясь беспрерывною бдительностию многих месяцев, и не обращая внимания на столь ничтожное явление, распустив поводья, дав свободу коню, ехал покойно с поникнутой головой, как вдруг топот конский, пальба и вражеские крики: *ги марджа!* ⟨«восклицание при нападении» — примечание автора⟩ пробуждали меня».

Приведем один отрывок, по которому можно составить более отчетливое представление и о содержании данных «Записок» и об их стиле. В этом отрывке автор описывает одно из столкновений с горцами и методы,

применяемые ими в борьбе с врагами; особенно подробно останавливается он на характере вождей горцев — «белатов»: на их уменье руководить боем, наблюдать природу, ориентироваться во всякой обстановке. «Расторопность и сметливость белата, — пишет он, — неимоверны: в самую темную ночь, когда небо покрыто облаками, партия редко удаляется от направления. Белат, заметив ветр и весь будучи предан своему намерению, чувствует малейшее его изменение, часто проверяя себя компасом. В звездную же ночь Полярная звезда, Большая и Малая Медведица — их вожатые; созвездие Лиры указует им часы; в случае же, когда компас разобьется или потеряется и сухая погода мало увлажит росою землю, тогда первая кочка служит компасом: приложив руку, согретую за пазухой, к четырем сторонам возвышения, влажнейшею определяют север, и направление берется с необыкновенною верностию. Одни только туманы иногда рассеивают партии: тут ясак ⟨то есть «искры, огнивом добытые» — примечание автора⟩ служит сигналом: были случаи, что засада нашей передовой стражи, умерив осторожность, в мрачную осеннюю ночь, проникнутая влагой туманов, в тиши, прерываемой только отдаленным гулом быстрого потока, видит блеск на холме, в равнине; сотни искр сыплются на большом пространстве и в разных направлениях. Караульные толкнули друг друга, шопотом из уст в уста перешло: это хищники! Защелкали курки у ружей; новая жизнь; все превратились в слух и зрение, и вот выстрел, другой, десятки с обеих сторон; тут с криками скачут хищники к месту тревоги; новая пальба; на постах маяки зажжены; как звезда за тонким облаком, виднеет огонь сквозь густоту паров; грянула вестовая пушка; эхо повторило весть гибели злодеям, и хищники, боясь быть окруженными, с клятвами и угрозами, протяжно перекликаясь, скачут обратно в горы».

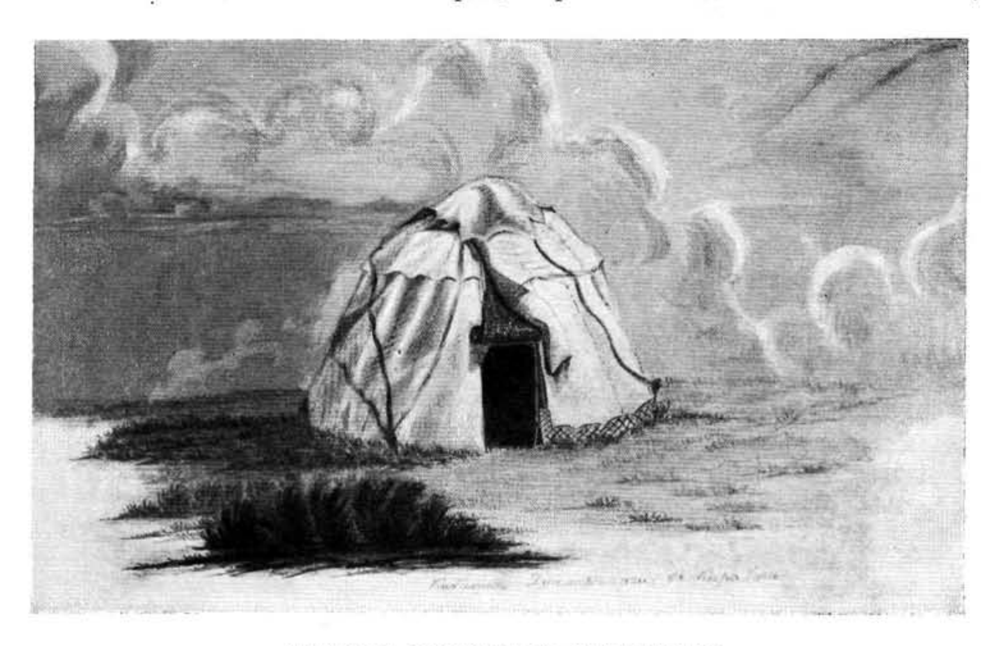
Эти заметки сразу же обратили на себя внимание читателей. Одним из первых откликнулся на них Пушкин: «Кстати: кто писал о горцах в Пчеле? — спрашивал он в письме к Александру Бестужеву. — Вот поэзия! Не Якубович ли, герой моего воображенья?..»[9]. Этот вопрос и эту догадку повторяли вслед за Пушкиным многие исследователи, но никто не решился ни отвергнуть предположение Пушкина, ни безоговорочно признать его. Комментируя данное письмо, Б. Л. Модзалевский утверждал, что статья в «Северной пчеле» могла бы быть приписана Якубовичу «с большой долею вероятности», но его смущало то, что о литературных опытах Якубовича «ничего не известно»[10]. Это же суждение, с еще большей осторожностью и большими оговорками, повторил Г. В. Прохоров. «Утверждать категорически, что статья в „Северной пчеле“ о горцах написана Якубовичем, нельзя, но об этом можно говорить как о факте, весьма вероятном», — писал он[11].

Редактор второго тома «Восстания декабристов», А. А. Покровский, анализируя показания Якубовича, пришел к заключению, что Якубович «принадлежал к числу тех людей, которые лучше умеют говорить, чем писать»[12].

Таким образом, вопрос Пушкина и поныне остается без ответа. За сто тридцать лет историко-литературная наука ни на шаг не продвинулась в решении вопроса и не пошла дальше робкой и осторожной гипотезы. Попрежнему единственным аргументом служат лишь общий характер статьи да инициалы, которыми она подписана. Однако оснований для более уверенного и определенного суждения об имени автора этих отрывков немало. Прежде всего попробуем суммировать все, что для определения автора можно извлечь из самой статьи. Устанавливается, во-первых, что автор данных отрывков — человек, непосредственно знакомый с бытом народов Северного Кавказа; во-вторых, что он жил на Кавказе в начале двадцатых годов или немного ранее; в-третьих, что на Кавказе он нахо-

дился не в качестве путешественника-туриста или гражданского чиновника, а как человек военный, неоднократно принимавший участие в столкновениях с горцами; в-четвертых, что автор их вел походные записки; в-пятых, что он в момент публикации своей статьи находился уже в Петербурге и встречался с издателями «Пчелы», и, наконец, в-шестых, что его имя и фамилия обозначались инициалами *А. Я.*

Все эти данные вполне соответствуют биографическим данным о Якубовиче. Он был на Кавказе с 1818 по 1823 г.; известно, что он хорошо знал Кавказ и любил о нем рассказывать; многократно повторяемые им рассказы воспринимались слушателями как отделанные литературные произведения; находился он в отряде генерала В. Г. Мадатова, а позднее участвовал в военных действиях в Кабарде, Карачае и Адыгее. В частности,



«КИБИТКА ХУНЛАР-АГИ В КАРАБАГЕ»
Акварель А. И. Якубовича, 1818—1823 гг.
Исторический музей, Москва

Якубович принимал участие в покорении Казикумыхского ханства. В Петербурге Якубович жил в 1824—1825 гг. и был лично знаком с Булгариным и Гречем. Нужно подчеркнуть, что среди лиц, писавших о Кавказе, нет никого, к кому можно было бы отнести инициалы *А. Я.*, и они вполне закономерно расшифровываются как *Александр Якубович.* Наконец, и общий тон и колорит этих очерков, их «романтический дух» вполне соответствуют облику Якубовича, что и отметил такой чуткий и внимательный читатель, как Пушкин. Следует добавить, что друзья Якубовича, в том числе Денис Давыдов, усиленно уговаривали его записать и напечатать свои рассказы о горцах и о своих воинских подвигах. «Куда бы хорошо сделали, если бы в свободные часы взяли на себя труд описать ваши наезды и поиски! Любопытно видеть разницу партизанской войны в вашей стороне с партизанскою европейскою войною: La dernière n'est qu'une plante exotique, sa véritable patrie est le Caucase»*, — писал Якубовичу Д. В. Давыдов 14 марта 1824 г.[13]

* Последняя только экзотическое растение, ее истинная родина — Кавказ (франц.).

«ВОДОНОС ИМЕРЕТИН В ТИФЛИСЕ»
Акварель А. И. Якубовича, 1818—1823 гг.
Исторический музей, Москва

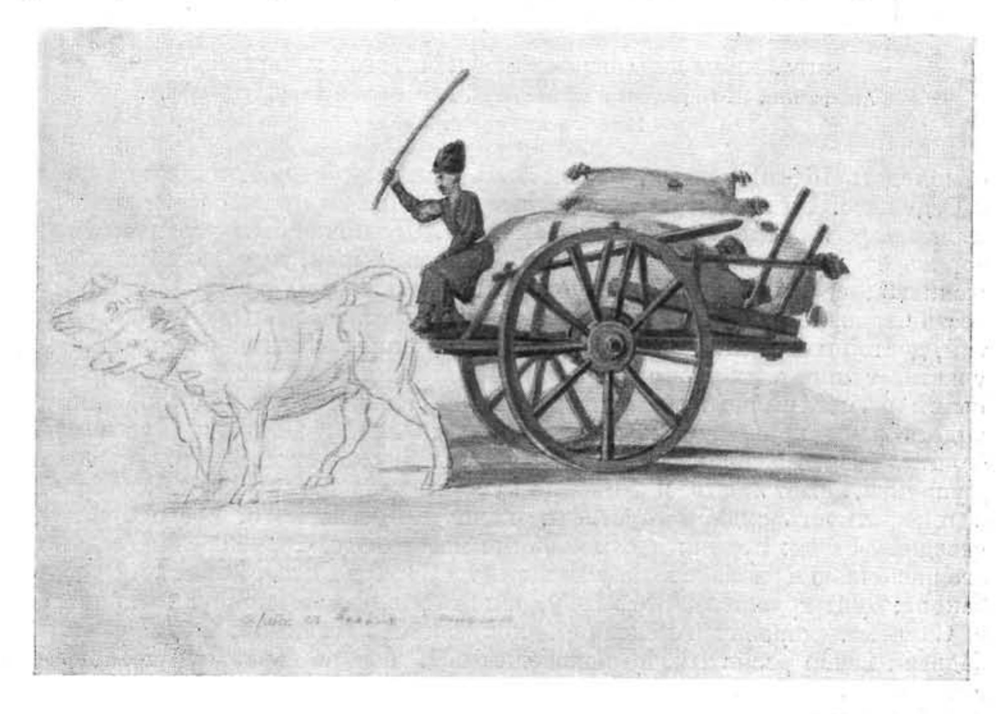
Некоторые же из знакомых Якубовича были убеждены в существовании его «Записок»; быть может, слышал об этом и Пушкин.

Все эти соображения образуют в совокупности достаточно серьезное основание для признания именно Якубовича автором «Отрывков». Но все же они являются лишь косвенными доказательствами и не могут считаться окончательными. Есть возможность присоединить к этим доводам еще одно свидетельство, которое позволяет совершенно безоговорочно приписать данную статью Якубовичу. Это сохранившийся набросок письма Якубовича к А. А. Бестужеву-Марлинскому.

А. А. Бестужев и Якубович познакомились в 1823 г. Знакомство их очень быстро перешло в близкую дружбу; дружеские отношения сложились у Якубовича и с братьями Александра Бестужева — Николаем и Михаилом. В мае 1825 г. Александр Бестужев писал Рылееву: «Главная моя утеха — Якубович. Ты его полюбишь, его напрасно много бранят»[14]. Однако 14 декабря стало резкой гранью в отношениях братьев Бестужевых к Якубовичу. Александр даже перед судьями не мог скрыть своего раздражения против Якубовича и разочарования в нем и характеризовал его как «хвастуна»[15]. Негодование Михаила нашло яркое отражение в его «Записках», — даже через 45 лет, вспоминая день 14 декабря, Михаил Бестужев не мог хладнокровно говорить о Якубовиче. Его поступки он называл «унизительными» и его «измену» считал одной из главнейших причин неудачи восстания[16].

Однако пребывание Александра на Кавказе явилось поводом для нового сближения Бестужевых с Якубовичем; в переписке братьев имя Якубовича начало появляться очень часто, особенно в письмах, где речь шла о Кавказе. В одном из писем 1836 г. Николай Бестужев писал Александру: «Якубович благодарит тебя за поклон и приписку; велит сказать, что ему снится и видится Кавказ, и ежели он еще живой выйдет на посе-

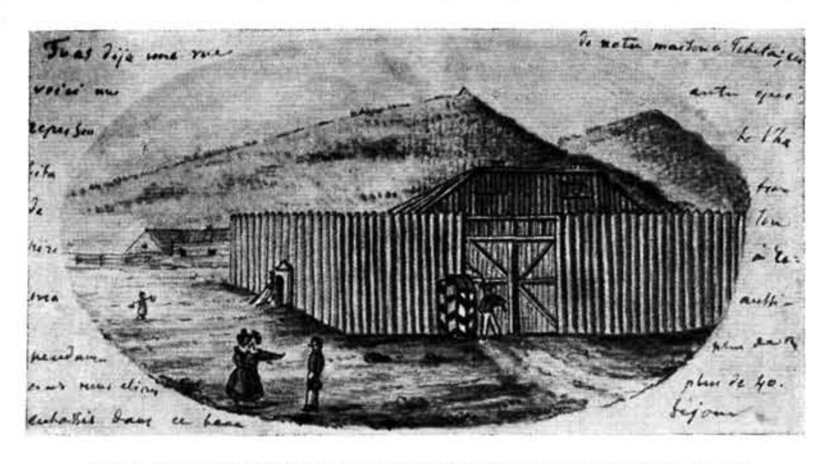
ление, то хочет туда проситься. Быть может, ты будешь его командиром»[17]. Якубович посылал через Александра поклоны на Кавказ своим прежним друзьям. В 1835 г. Александр Бестужев писал о сохранившейся на Кавказе памяти о Якубовиче: «Линейцы — молодцы: все очень помнят Александра Ивановича; черкесы — тоже. Но все те, которым он кланялся, кроме Атажука, или умерли, или убиты»[18]. Кавказские повести Марлинского Якубович встретил с восторгом. Он не только с энтузиазмом читал их, но и комментировал, поясняя аудитории Петровского завода те или другие особенности «местного колорита», которым изобиловали писания Марлинского. В особенное восхищение привела Якубовича повесть «Мулла-Нур», восторженно принятая, впрочем, и всеми обитателями Петровской тюрьмы. Свое мнение об этой повести Якубович решил изложить в особом письме к автору. Но так как сам он не имел права писать письма, то, очевидно по совету Николая Бестужева, он составил текст для включения его в письмо Н. и М. Бестужевых, вернее, в письмо, писанное от их имени М. К. Юшневскою[19]. Этот текст, в котором Якубович говорит о себе в третьем лице, Николай Бестужев и использовал в своем письме, но далеко не полностью; он взял из него лишь чисто фактическую часть, отбросив общие рассуждения и оценки. Осталось за бортом и то, что составляет особую прелесть этого письма: его лиризм, его романтическое восприятие истории Кавказа и его взволнованный патриотический пафос. Но, к счастью, сохранился и подлинный текст письма Якубовича, хотя, повидимому, тоже не полностью. Сохранился он в виде трех листков, писанных рукою Якубовича, из которых два находятся в рукописном отделе ГПБ в составе бумаг Н. К. Шильдера[20], а третий — в ИРЛИ в числе документов «Архива Бестужевых»[21]. Эта разрозненность, надо полагать, и послужила причиной невнимания к этому памятнику со стороны многих исследователей декабристского



«АРБА С ВИНОМ—ТИФЛИС»
Акварель А. И. Якубовича, 1818—1823 гг.
Исторический музей, Москва

движения, неоднократно пользовавшихся в своих разысканиях материалами этих собраний. На одном из листков, находящихся среди бумаг Н. К. Шильдера, сбоку рукою М. А. Бестужева написано: «Письмо Якубовича к брату Алек⟨сандру⟩». Приводим этот текст полностью:

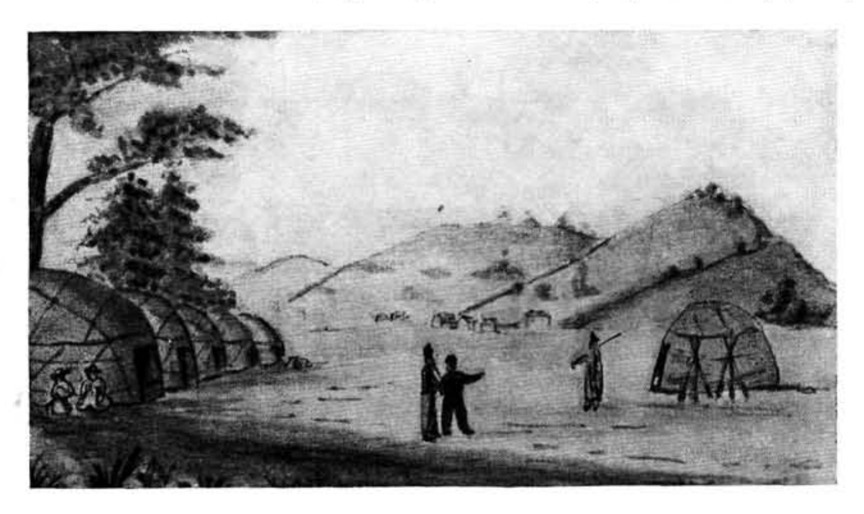
Читая «Мулла-Нур», Якубович изъяснял нам некоторые места, где ты не хотел сделать пояснений, как-то: обрубленный хвост лошади, слово тюксуб ⟨?⟩ в персидском смысле, пляску на байраме ⟨?⟩, гулянье в садах и летнее положение закавказских дам. Самуг и Тенга он находит, что описаны с верностью очевидца. В экспедицию против Сурхаб-хана Казикумыхского он несколько раз был в тех местах, командуя мусульманской конницей. Знаменитый брат Аслан-хана Курахского прежде штурма Хойерлека был убит возле него; два брата, владельцы Табарасанские, в особенности Юсуф, были его даеты, — и ты подарил ему счастие



ЧИТА. ЖЕНЫ ДЕКАБРИСТОВ ПЕРЕД ОСТРОГОМ У ЧАСТОКОЛА
Акварель А. И. Якубовича в письме А. И. Давыдовой к детям, 1829—1830 гг.
Исторический музей, Москва

отмолодеть 16⟨-ю⟩ годами, перенестись в жизнь боевую, полную надежд и будущего. Он просит тебя обратить внимание на нравы *Адыге* и воспоминания [его времени] в большой Кабарде. Что может быть поэтическее ⟨!⟩ черкес от дня рождения до смерти? Аталык-Абрек, кунак, ханлык ⟨?⟩, женитьба с тайной лакедемонцев, самая смерть и их тризны имеют прелесть баснословных времен. Он тоже указывает тебе на несколько событий, достойных золотого твоего пера: поражение лезгин на берегу Йоры и участие тушин с их беспримерной отвагой и нравами чисто патриархальными; в Алла-Верды, монастыре против Телавы, можно ⟨было⟩ иногда видеть этих храбрецов и красавиц их женщин. Подвиги Нурмамедабелата, смерть генерал-лейтенанта Гулякова, отважность неподражаемая Дуванова, жестокость и кончина Гуссейн-хана Шекинского, храбрость и превратность судьбы Мустафы, хана Ширеванского, с его орлиным гнездом фетаги; пороки и самовластие последнего Карабах-хана с дикой его роскошью и злодейскими умыслами на Сафара Гюль-Магмета и Рустамбекова; бунт грузин в ⟨18⟩12 году, смерть майора Подлока с товарищами в Сиглахе, царевич Александр, кочующий изгнанник, непреклонный бедный, вечно разбитый, но непобедимый[22]. Теперь перейдем на Север — осада и геройская защита *Наура* во время лже-пророка! Обычаи и удаль линейных казаков, братоубийство князя Рослам-бека Мисостова; адъютант Потемкина, человек образованный, — злодей, убийца; ступив на родную землю: грызение совести и раздел крови между убийцами, — вот

канва для целого романа. Неукротимый Тау-Султан и Ханука. Смерть первого от руки его брата Магомета Атажука, красота жены Атажукиной, которая шила когда-то Якубовичу черевички; истребление алтиничников, смерть последнего *Шеремета*, соименного и ведущего род от предков Шереметевых. Сколько крови было пролито со времени великого Петра[23] нашими храбрыми, сколько трудов было понесено бесстрашными: Хевсуретск⟨ие⟩ горы — Лезгиностан — Дагестан, Чечень — Кисти — Кицерган — Эльборус, верховье обеих Зеленчуков — Урупа Лабы — Белой сотни раз оглашались победными кликами русских, — и кто передал их подвиги? Кто поднял труд дела и имена их передать соотчичам! Горцы о черепа их тупили шашки, свинцом дарили смерть или догробние страдания — и никто, никто не помянул отдавших все в скарб отечественной славы. Ты — изгнанник, судьба, может быть, предназнач⟨а⟩ет ⟨тебе⟩



ПЕРЕХОД ДЕКАБРИСТОВ ИЗ ЧИТЫ В ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД. ДНЕВКА

Акварель А. И. Якубовича в письме А. И. Давыдовой к детям, август—сентябрь 1830 г.

Исторический музей, Москва

воскресить умершие имена, двинуть на состязание будущих героев Кавказа. Тебя переводят на всемирный язык. Познакомь же все народы Европы с частицей родной нашей славы, покажи и докажи, что нам много лет еще ждать дряхлости и ⟨*нрзб.*⟩, что мы так богаты делом. Соедини, познакомь рыцарство Кавка⟨за⟩ с 19 веком и просто ⟨*нрзб.*⟩ его жизнью.

На этом письмо Якубовича обрывается.

Публикуемое письмо окончательно решает вопрос об имени автора статьи в «Северной пчеле»; оно является тем звеном, которое соединяет отдельные разрозненные факты в одну сплошную цепь доказательств. Оставляем в стороне даже вопрос о близости стиля, так как в данном случае может иметь место единая литературная традиция и доводы такого рода легко оспорить, — важнее другое: близость, доходящая порою до полного совпадения в трактовке темы. В отношении к народам Кавказа, в понимании и трактовке народного характера письмо и очерк едины: они совпадают и в общей направленности интересов, и в определении сущности характера горцев, и в восторженной оценке их воинских подвигов. Как и в очерке, автора письма интересуют лишь формы воинского быта народов Кавказа, и только в этом плане он подбирает темы и сюжеты для художественного изображения и разработки; вопросы же гражданского быта и мирной жизни населения и в очерке и в письме

совершенно не затронуты. И в этом отношении сам Марлинский с его широким интересом к разным сторонам народной жизни значительно превосходил своего советчика. В письме Якубович советует особое внимание обратить на народ адыге, — в очерке «Северной пчелы» идет речь об абадзехах — одном из племен адыгейской народности.

Сходство проявляется и в методе показа народного характера: автор, наряду с такими чертами характера, которые ему представляются возвышенными и благородными, показывает и черты прямо противоположные: коварство, предательство и т. п., — в письме таким же образом противопоставлены героические и бытовые страницы истории Кавказа, например защиты Наура и коварное братоубийство Рослам-бека. В письме и очерке мы наблюдаем не только единое понимание, но и *одинаковую формулировку*. В обоих произведениях некоторые горские племена сравниваются со старинным рыцарством: в очерке горцы названы «тевтонами XIX столетия» (то есть меченосцами), в письме говорится о «рыцарстве Кавказа». Такое единство интересов, сходство в трактовке темы и единство формулировки позволяет, при наличии дополнительных соображений, изложенных выше, сделать вывод о единстве происхождения этих двух литературных памятников. Письмо Марлинскому и отрывки из «Походных записок» принадлежат, несомненно, одному и тому же автору.

Письмо Якубовича имеет еще частный, но очень существенный историко-литературный интерес, так как служит ценнейшим комментарием к поэме Лермонтова «Измаил-бей». Рекомендуя своему другу в качестве сюжета для «целого романа» историю братоубийства Рослам-бека, Якубович, конечно, не мог еще знать, что на эту тему уже создана поэма. Написанная в 1832 г. поэма Лермонтова в печати появилась лишь в 1843 г., и, несомненно, Якубович впоследствии познакомился с ней. Нельзя не пожалеть, что не сохранилось никаких известий о том, как была воспринята эта поэма старым декабристом — героем кавказских войн. Письмо же его проливает свет на один из важнейших эпизодов поэмы. Вопрос о прототипах поэмы Лермонтова выяснен сравнительно недавно, когда исследованиями Л. П. Семенова и С. А. Кривича[24] была установлена историческая подлинность ее основных персонажей. Это были двоюродные братья (у Лермонтова — родные) Измаил-бей Атажуков и Рослам-бек Мисостов, оба полковники русской службы. Измаил-бей служил в войсках Потемкина и Суворова, принимал участие во взятии Очакова и Измаила, был ранен и представлен самим Суворовым к награде за выдающуюся храбрость. Рослам-бек был одно время адъютантом Потемкина (о чем упоминает и Якубович), позже он перешел на сторону горцев и сделался их предводителем в борьбе с русскими.

С. А. Кривич установил историческую правдивость поэмы Лермонтова, но комментатору остался неясным эпизод смерти Измаила. В тех источниках, которыми располагал автор, упоминалось лишь о смерти Измаила в бою. «У Лермонтова же он погибает от пули коварного Рослам-бека — завистника-брата. Не знал ли Лермонтов, — пишет С. А. Кривич, — о каких-то таинственных обстоятельствах смерти Измаила». «Лермонтов был окружен людьми, которые могли настолько хорошо знать обстоятельства жизни и деятельности Измаил-бея, что они, эти люди, могли сообщить такие факты, которые не получили широкой огласки»[25].

Письмо Якубовича позволяет более точно установить обстоятельства смерти Измаила. Измаил-бей погиб в 1811 г., Якубович прибыл на Кавказ в 1818 г., то есть тогда, когда об Измаиле и Рослам-беке могли рассказывать лица, непосредственно знавшие и того и другого и прекрасно осведомленные о фактах их биографии. Якубович называет Рослам-бека совершенно определенно — братоубийцей. Таким образом, лермонтовская версия на-

ходит вполне точное подтверждение в словах такого надежного свидетеля, каким является в данном случае Якубович. Якубович был знаком с родичами Измаила; жена одного из них — Магомета Атажука — шила ему черевички; не ему ли посылал он поклон через Марлинского?

Интерес данного письма для науки не ограничивается, однако, его биографическим или историко-литературным значением; оно является ценным документом, свидетельствующим о декабристской трактовке кавказской проблемы вообще.

Декабристы понимали историческую необходимость войны на Кавказе, но они видели и оборотную сторону медали,—то, что война служила целям колониальной политики царизма.

Еще в 1820 г. М. Ф. Орлов, раздумывая о действиях Ермолова на Кавказе и осуждая общую систему его мероприятий по отношению к национально-освободительному движению горцев, писал: «Так же трудно поработить чеченцев и другие народы того края, как сгладить Кавказ. Это дело исполняется не штыками, но временем и просвещением, которого и у нас неизбыточно...»[26]. Таким образом, признание необходимости кавказских войн сочеталось у декабристов с резко отрицательным отношением к жестоким методам усмирения и к царившему на Кавказе произволу и насилию со стороны царской военной и гражданской администрации, естественно вызывавшими решительный отпор со стороны горцев. Эта декабристская точка зрения нашла воплощение в кавказских повестях и рассказах Марлинского и она же лежит в основе письма Якубовича.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Новая интерпретация поведения Якубовича на площади в день 14 декабря дана М. В. Нечкиной в ее исследовании («Восстание 14 декабря 1825 г.» М., 1951, стр.87—91). Интерпретация эта такова: Якубович подходил к Николаю I и разговаривал с ним не по собственной инициативе, а выполняя «поручения от бывшего штаба восстания, на некоторое время еще сохранившего на площади слабый оттенок прежней руководящей роли», причем он был послан «не в качестве парламентера, а именно как разведчик» (там же, стр. 89). М. В. Нечкина ссылается на показания Кюхельбекера и Щепина-Ростовского; но если бы такое поручение действительно было, о нем знали бы и другие декабристы, имевшие бо̀льшую причастность к руководству восстанием, например братья Бестужевы. Однако никто из них не знал об этом «поручении штаба» ни в день восстания, ни позже, когда обсуждались все подробности неудавшегося восстания (см. Бестужевы, стр. 73—74).

[2] Об этом см., например, письмо Ф. Ф. Вадковского к И. И. Пущину от 10 марта 1840 г. («Записки Отдела рукописей Всесоюзной б-ки им. В. И. Ленина», вып. 3. М., 1939, стр. 29).

[3] На необходимость такого пересмотра указывал Н. К. Пиксанов в предисловии к опубликованным им материалам из архива В. Л. Давыдова («Историк-марксист», 1926, № 1, стр. 183).

[4] Напечатано впервые в сб.: «Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего устройства». Под ред. А. К. Бороздина. СПб., 1906, стр. 75—81.

[5] «Русская старина», 1888, № 11, стр. 331.

[6] «Московский телеграф», 1825, № 10, стр. 130—131.

[7] «Записки Н. Н. Муравьева-Карского».—«Русский архив», 1888, № 1, стр. 79.

[8] Замечательное во многих отношениях письмо Якубовича к отцу распространялось в многочисленных списках наравне с предсмертными письмами казненных декабристов. Н. М. Языков писал брату Александру: «Сделай милость, пришли мне, если можешь достать, писем казненных и в Сибирь отправленных несчастных: это любопытно и в политическом, и в психологическом отношении; я имею только два из них: Рылеева — к жене и Якубовича — к отцу» («Языковский архив», вып. I. Под ред. Е. В. Петухова. СПб., 1913, стр. 266). Отметим не учтенную в «Библиографии декабристов» Н. М. Ченцова перепечатку этого письма в «Курском сборнике» (вып. VI, 1904).

[9] Письмо к А. А. Бестужеву от 30 ноября 1825 г. — Пушкин, т. XIII, стр. 244.

[10] Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I. М.— Л., 1926,

стр. 529. Там же обширная сводка основных библиографических материалов о Якубовиче (стр. 527—529).

[11] «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», вып. 6. М., 1941, стр. 261.

[12] ВД, т. II, стр. 403.

[13] «Русская старина», 1888, № 11, стр. 332.

Ср. отзыв о Якубовиче на Кавказе в кн.: В. Потто. История 44 драгунского Нижегородского полка, т. II. СПб., 1893, стр. 165—167.

[14] «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», вып. 6, стр. 259.

[15] ВД, т. I, стр. 434—436.

[16] Бестужевы, стр. 106—107.

[17] «Бунт декабристов», стр. 365.

[18] «Русский вестник», 1870, № 7, стр. 61.

[19] «Бунт декабристов», стр. 368.— Письмо Н. А. Бестужева, в котором использован текст Якубовича, датировано 5 февраля 1837 г. Началом февраля этого года следует, очевидно, датировать и письмо Якубовича.

[20] ГПБ. Архив Н. К. Шильдера, карт. 32, ед. хр. 33, лл. 248—249.

[21] Архив Бестужевых, ед. хр. 6, л. 208—208 об.

[22] Якубович говорит в данном случае о сыне царя Ираклия II, царевиче Александре Ираклиевиче (1768—1844), ведшем в течение ряда лет упорную и непримиримую борьбу с русскими. Явно не понимая истинных корней политической деятельности царевича Александра, Якубович изображает его в идеализированно-романтических тонах; в действительности же царевич Александр был тесно связан с персидским правительством и являлся фактически его агентом, поддерживая притязания последнего на Грузию и Закавказье. См. сводку исторических материалов о деятельности царевича Александра и его борьбе с русскими в книге: Вано Шадури. Друг Пушкина — А. А. Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси, 1951, стр. 170—185.— «Бунт грузин в 1812 году», о котором упоминает Якубович, был также организован царевичем Александром (там же, стр. 182).

[23] Здесь кончается текст ГПБ; далее от слов «нашими храбрыми» и до конца следует текст архива Бестужевых.

[24] Л. П. Семенов. Лермонтов на Кавказе. Орджоникидзе, 1939, стр. 36—38; С. А. Андреев-Кривич. Кабардино-черкесский фольклор в творчестве Лермонтова. Нальчик, 1949, стр. 9—84. — Л. П. Семенов определил впервые прототип Рослам-бека; относительно же Измаил-бея он писал: «Прототип самого Измаила нами пока не установлен, но в его облике и судьбе есть характерные для этой эпохи черты» (стр. 38). Прототип Измаила определил С. А. Кривич (указ. соч., стр. 20—35).

[25] С. А. Кривич. Указ. соч., стр. 44.

[26] Письмо М. Ф. Орлова к А. Н. Раевскому от 13 октября 1820 г. — М. О. Гершензон. История молодой России. М.—Пг., 1923, стр. 28—29.

От редакции. Когда настоящая статья была уже набрана, в редакцию поступило указание М. О. Косвена о том, что в архиве историка П. Г. Буткова (1775—1857) имеется небольшое извлечение из статьи «Северной пчелы». Бутков озаглавил это извлечение следующим образом: «Из № „Северной пчелы" 1825 г., ноября 17, статья: Отрывки о Кавказе, соч. А. Я. (NB Якубовича)» (ЦГВИА, ф. ВУА, кол. 482, д. 192, лл. 138—139).

Публикуемые в этой статье акварели А. И. Якубовича предоставлены редакции М. Ю. Барановской. Они хранятся в Государственном Историческом музее в Москве. Кавказские акварели относятся к 1818—1823 гг. и входят в собрание, принадлежавшее Н. Н. Муравьеву-Карскому. Сибирские — были исполнены Якубовичем в 1829—1830 гг. для писем А. И. Давыдовой к ее детям. Находятся в альбомах Давыдовых.

САТИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ В. Л. ДАВЫДОВА

Публикация А. Л. Дымшица

Василий Львович Давыдов был одним из выдающихся декабристов, ближайшим помощником и единомышленником Пестеля. Свои передовые республиканские воззрения, свою непримиримую ненависть к самодержавию Давыдов сохранил и в годы сибирской каторги. О большой идейности, мужестве и нравственной силе Давыдова свидетельствуют многие дошедшие до нас исторические и литературные материалы, в том числе и сочиненные им в Сибири эпиграммы и басни.

Давыдов родился в 1792 г. в Москве. Он происходил из просвещенной дворянской семьи, которая дала отечеству ряд видных общественных и государственных деятелей, прославленных своими патриотическими заслугами перед русской армией времен борьбы с Наполеоном, перед русским освободительным движением и русской литературой. Давыдов был единоутробным братом героя Отечественной войны генерала Н. Н. Раевского, отца друзей Пушкина — Александра и Николая Раевских. Он состоял в родстве с героем Отечественной войны и известным писателем Денисом Давыдовым, с декабристами М. Ф. Орловым и С. Г. Волконским, которые были женаты на племянницах Давыдова.

Шестнадцатилетним юношей Давыдов принял участие в боях против армии Наполеона и с честью прошел через ряд сражений Отечественной войны и последних кампаний 1813—1814 гг. Он был дважды ранен, состоял адъютантом знаменитого полководца — Багратиона. В 1816 г. Давыдов получил звание подполковника, в 1820 г. вышел в отставку полковником.

Живя на юге России, в имении своей матери — Каменке, часто бывая в Киеве, наезжая в Петербург, Давыдов был тесно связан с самыми передовыми кругами русского общества.

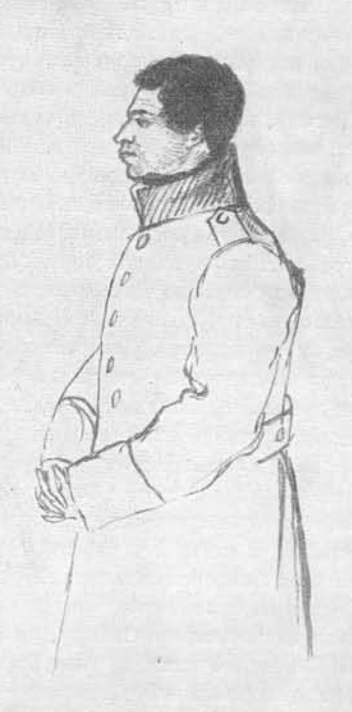
Враг самодержавия и сословных предрассудков, противник крепостничества и республиканец по убеждениям, Давыдов вступил в Союз Благоденствия и вскоре выдвинулся в ряды руководителей Южного общества. В Тайное общество он был принят К. А. Охотниковым, ближайшим сподвижником Орлова и В. Ф. Раевского в их агитационной деятельности среди солдат. Здесь Давыдов близко сошелся с Пестелем и Юшневским и проявил себя как один из активных деятелей декабристского движения, поддерживавший связи между Пестелем и Никитой Муравьевым, вербовавший новых членов в Тайное общество и руководивший так называемой Каменской управой Южного общества. Давыдов принял в Общество В. Н. Лихарева и ряд других лиц[1], он был связан с революционно настроенным французским эмигрантом, полковником русской армии графом Полиньяком, который впоследствии, как показал после ареста Пестель, «отправился во Францию по собственным своим делам и получил при сем случае поручение от Общества узнать, существует ли во Франции какое-либо тайное общество, и потом нас о том уведомить»[2]. В 1820 г. В. Л. Давыдов пытался (но неудачно) завербовать в Тайное общество Дениса Давыдова. В 1821 г. в Каменке он общался с Пушкиным и сблизился с ним, о чем свидетельствует известное пушкинское послание ⟨В. Л. Давыдову⟩ «Меж тем, как генерал Орлов...».

После закрытия Союза Благоденствия Давыдов стал одним из руководителей Южного общества. Еще в 1822 г. в Киеве, у Давыдова, происходили собрания, на которых обсуждались вопросы об учреждении в России республики и о необходимости цареубийства. Давыдов был в числе тех «заговорщиков», которые положительно и бескомпромиссно отвечали на эти вопросы. В начале 1823 г. на собрании деятелей Южного общества, которое происходило в Каменке, у Давыдова, Пестель читал отрывки из «Русской правды». Здесь снова заговорили о цареубийстве, и Давыдов выступил как политический единомышленник Пестеля. Год спустя Давыдов участвовал в разработке плана покушения на царя во время намечавшегося смотра войскам одного из пехотных корпусов в районе Белой Церкви. Этому плану не суждено было сбыться, но самый замысел чрезвычайно характерен для революционной решимости руководства декабристов-южан [3].

Когда в 1823 г. Южное общество разделилось на три управы — Тульчинскую, Каменскую и Васильковскую,— Давыдов (вместе с С. Г. Волконским) возглавил Каменскую управу [4]. Вскоре из-за неосторожности и легковерия В. Н. Лихарева — родственника и соратника Давыдова — в Каменскую управу проник шпион, действовавший по заданию графа И. О. Витта, начальника южных военных поселений. Этим шпионом и провокатором, следившим за деятельностью Давыдова и его товарищей и составившим после их ареста официальную записку в адрес властей, был А. К. Бошняк. В пространном документе, сочиненном Бошняком, Давыдов охарактеризован как активнейший деятель декабристского подполья, как убежденный враг аристократии и республиканец [5] (в своих выводах Бошняк не ошибался: Давыдов действительно был ближайшим единомышленником и помощником Пестеля и С. И. Муравьева-Апостола. Из Киева он ездил в Петербург как доверенное лицо от Южного общества, возил письмо Пестеля к Никите Муравьеву). Другой доносчик, капитан Майборода (в показаниях от 22 декабря 1825 г.), также охарактеризовал Давыдова как ближайшего помощника Пестеля и одного из наиболее влиятельных членов Южного общества [6].

После разгрома декабрьского восстания, в январе 1826 г., Давыдов был арестован, доставлен в Петербург и заключен в крепость. Его приговорили к «смертной казни отсечением головы». Смертная казнь была затем заменена каторгой. В Сибирь его отправили в кандалах, и каторжные работы он отбывал в Нерчинске, Чите и Петровском заводе. В сентябре 1827 г. Давыдов был переведен в Читу, куда к нему приехала жена. Из Читы он продолжал поддерживать связи с И. И. Пущиным, Е. П. Оболенским, И. Д. Якушкиным, А. З. Муравьевым, И. В. Поджио и другими ссыльными декабристами. Только в 1839 г. Давыдов был переведен на поселение в Красноярск, где пробыл шестнадцать лет, так и не дождавшись амнистии. Тяжелые каторжные работы, частые болезни, издевательства местного начальства, суровые условия ссылки — все это долго не могло сломить боевого духа Давыдова. Лишь под конец своей жизни он стал поддаваться пессимистическим настроениям, вызывавшим справедливые нарекания со стороны его друзей. Умер он в Красноярске 25 октября 1855 г.

Оставшиеся после смерти Давыдова литературные документы немногочисленны. Письма его, известные нам по публикациям С. Я. Штрайха, Н. К. Пиксанова и Л. Р. Ланского [7], относятся к годам заключения в крепости, сибирской каторги и ссылки и обращены к ссыльным товарищам или к родственникам. В силу условий, в которых находился Давыдов, его письма не могли содержать политических рассуждений или деклараций и были посвящены главным образом бытовым темам. Однако и в этих письмах нравственный облик Давыдова и отдельные черты его социальных воззрений выступают в достаточно четком и весьма привлекательном виде. Особенно интересно в этом отношении письмо Давыдова к брату — П. Л. Давыдову, в котором он просит прислать книги, нужные ему для воспитания детей: «Умоляю тебя, милый брат, прислать мне все эти книги. Ты понимаешь, как я нуждаюсь в них, будучи навеки отрезан от цивилизованного мира и вынужденный быть единственным учителем моих детей» [8]. Очень показателен при этом выбор книг, сделанный Давыдовым для осуществления его педагогической задачи. Своих детей он намеревался учить точным наукам и географии, естествознанию и языкам, но особое внимание он уделял изучению социальных наук — отечественной истории, политической экономии, философии. Характер



В. Л ДАВЫДОВ НА ДОПРОСЕ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Рисунок А. А. Ивановского, 1826 г.

Внизу надпись: «Василий Львович Давыдов на слова, что тайные общества наши были модою и подражанием немецкому Тугенд-бунду — отвечал: „Извините, господа! Не к немецкому к Тугенд-бунду, а просто к *бунту* я принадлежал“»

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

этих занятий становится вполне очевидным, если учесть повышенный интерес Давыдова к книгам о русском народе и его истории, к трудам французских просветителей, к истории древнего мира. Примечательно, что Давыдов просит брата прислать ему «всю коллекцию мемуаров по истории и истории революции французской и английской».

Чрезвычайно интересны лишь недавно опубликованные высказывания Давыдова о «Ревизоре» и «Мертвых душах» Гоголя, восторженным почитателем которого был ссыльный декабрист. «...Я завидую вашему знакомству с г. Гоголем, мои дорогие дети,— писал он дочерям 8 февраля 1841 г.,— мне известна его комедия „Ревизор" и некоторые другие его сочинения, и я составил себе самое высокое мнение о его таланте. Это писатель, созданный для того, чтобы быть достойным представителем нашей литературы, так же, как он мог бы представлять и всякую иную 〈...〉 Вы не можете судить об удивительной правдивости кисти Гоголя, о vis comica, о глубине этого поэта, и, однако, вы имели удовольствие слышать его „Ревизора". Я прочел его раз десять и перечту еще снова: по моему мнению, это — шедевр». Сообщая впоследствии свои впечатления от «Мертвых душ», которые он перечитал несколько раз, Давыдов восклицает: «Без спора, г. Гоголь — наш лучший современный писатель, и он далеко опередил всех остальных»[9]. Таким образом, сатирический талант и глубокий реализм великого писателя нашли в Давыдове одного из самых восторженных ценителей.

Показательными для характеристики политических взглядов Давыдова являются его стихотворения, написанные в жанрах сатирических и юмористических. Давыдов не был поэтом-профессионалом, и стихи его возникали как отклики-импровизации на злободневные темы. Именно так воспринимались они и его товарищами по ссылке. Михаил Бестужев, рассказывая на склоне своих лет редактору «Русской старины» М. И. Семевскому о жизни декабристов в Сибири, упомянул о «стихотворчестве» Давыдова. С его слов М. И. Семевский записал, что «Давыдов басни шутливые писал», и занес на бумагу несколько стихотворений Давыдова [10].

Впервые о стихотворных импровизациях Давыдова стало известно из публикации М. К. Азадовского, извлекшего из архива М. И. Семевского три стихотворения, сообщенные М. А. Бестужевым по памяти [11]. Уже из этих записей стихов Давыдова стало очевидно, что «шутливые» стихи его были весьма острого политического содержания, что Давыдов после разгрома декабризма сохранил ненависть к самодержавию и выражал ее в форме сатирических стихотворений.

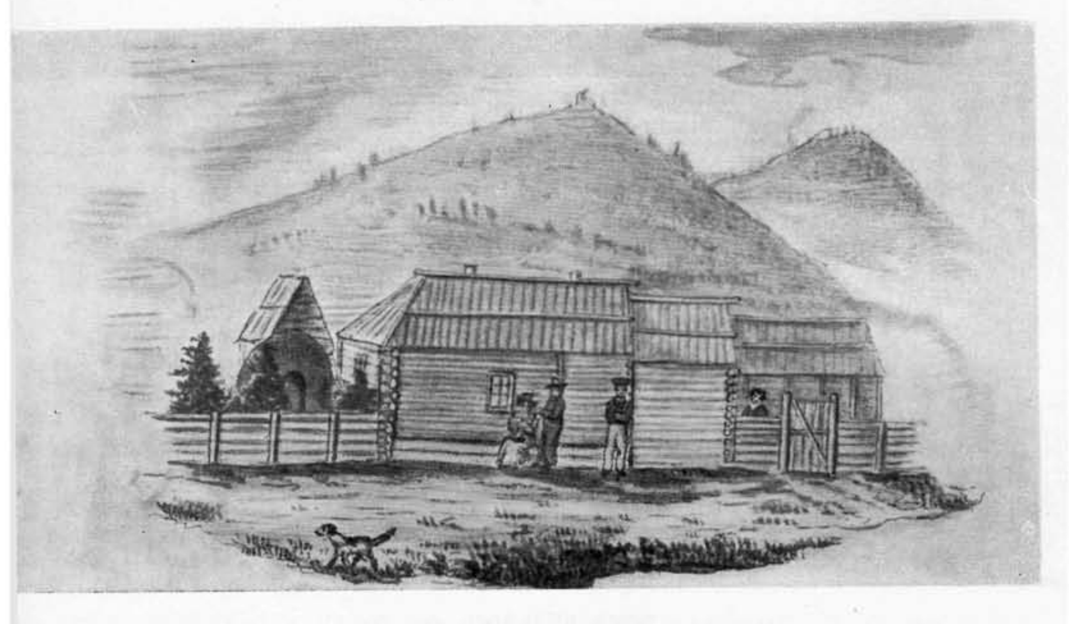
По записям М. И. Семевского были опубликованы стихотворения «Однажды жил коллежский регистратор...», «Однажды серенький паук...» и «Николосор» (М. А. Бестужев ошибся, стихотворение называется «Николосарос»). Басни Бестужев вспомнил очень приблизительно и сообщил их текст неточно. Вследствие этого они публикуются вновь по материалам Центрального государственного исторического архива [12], позволяющим устранить стилистические небрежности и логические ошибки, имеющиеся в записях Семевского. Третье стихотворение — «Николосарос» (содержание которого в достаточной мере определено его заголовком, то есть Николай самодержец российский) здесь не перепечатывается, так как достаточно известно и в 1950—51 гг. дважды помещалось в сборниках литературных произведений декабристов [13]. Следует лишь заметить, что стихотворение «Николосарос» является незаконченным произведением, отрывком из сатирической поэмы («„Николосор"— в 20 или 30 строф. Прекрасная едкая шутка»,— записал Семевский со слов М. А Бестужева) [14], которой Давыдов заклеймил Николая I. В полном объеме поэма не сохранилась.

Публикуемые ниже стихи Давыдова показывают его как сатирика. Только одно из этих произведений — послание к И. И. Пущину — является стихотворной шуткой, заменой юмористического письма. В них Давыдов выступает с полными едкой иронии намеками на общественное неравенство («Однажды в сумрачную пору...»), против верного слуги царя и злейшего мракобеса, министра просвещения графа С. С. Уварова («Однажды старенький паук...»).

К сожалению, из большого количества рукописных стихотворений Давыдова сохранилось лишь несколько сатирических экспромтов и импровизаций, возникших в сибирской ссылке, в общении с его товарищами-декабристами. Но и те стихотворения Давыдова, с которыми мы знакомимся, обогащают наши представления об их авторе.

I

Однажды в сумрачную пору,
Когда зверь нору
оставляет,
Вдруг подлетает
К кому-то муха
И говорит: «Старуха,
К чему ты в свет родилась?»
Она перекрестилась,
Не повернувши уха.



В. Л. и А. И. ДАВЫДОВЫ В ЧИТЕ
Акварель А. И. Якубовича в письме А. И. Давыдовой к детям, 1829—1830 гг.
Исторический музей, Москва

«О, умная старуха»,
— сказала муха, —
И полетела,
Куда хотела.
На свете вечно так —
Есть грош и есть пятак.

II

Когда-то жил коллежский регистратор
Превосходительный он был —
Не потому, что много пил,
А так... что римский император
К нему на задний двор ходил.

III

Однажды старенький паук
Бежал ужасно торопливо
Из Академии наук.
Другой, который горделиво

С высот
Своих тенет
На мир с презрением глядел,
Вскричал: «Смотри, какой пострел,
Он всюду и везде поспел,
А ведь не знает назначенья,
Что велено его поймать
Для министерства просвещенья».
Тут ясно все... и нужно-ль добавлять?

IV

И. И. ПУЩИНУ

Почто, прельстив нас до безумья,
Далеко ты от нас сидишь?
И полон сладкого раздумья
На небо синее глядишь.
Или ты дружбе изменяешь,
Или не знаешь, как любим,
И время попусту теряешь,
Как Жукова прескверный дым.
Но, может быть, с пером во длани
Ты к Трубецкому пишешь Ване,
Волконских грамотой живишь
Иль просто на судне сидишь.
Оставь поносные мечтанья,
С тобою жаждем мы свиданья,
Приди, в чертог наш не златой
О, Пущин, милый, дорогой!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Дело В. Л. Давыдова.—ЦГИА, ф. № 48, д. 400, лл. 4, 6 об., 8, 15, 35 об., 36 об. См. также: ВД, т. I, стр. 325; т. IV, стр. 175, 178; т. X, стр. 183—249; С. Я. Гессен. Пушкин в Каменке.—«Лит. современник», 1935, № 1, стр. 193—194.

[2] ВД, т. IV, стр. 117.

[3] Там же, стр. 142—143, 148—149. — Еще задолго до опубликования следственных дел Пестеля и Волконского, в 1870-х годах, сведения о «цареубийственном замысле» Пестеля, Муравьева-Апостола, Давыдова и других проникли в печать (см. ⟨М. И. Богданович⟩ История царствования императора Александра I и России в его время, т. VI. СПб., 1871, стр. 457, 468—469).

[4] Н. К. Пиксанов. Из архива декабриста Василия Львовича Давыдова. Неизданные письма.— «Историк-марксист», 1926, № 1, стр. 176—177.

[5] Б. Е. Сыроечковский. Записка Бошняка. — «Красный архив», 1925, № 2, стр. 195—225.

[6] ВД, т. IV, стр. 10, 14—15.

[7] С. Я. Штрайх. Декабристы на каторге и в ссылке.—«Декабристы на каторге», стр. 20—22; Н. К. Пиксанов. Указ. соч., стр. 177—183; «Гоголь в неизданной переписке современников (1833—1853)». Публикация и комментарии Л. Р. Ланского.—«Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 598, 604, 681—682.

[8] Н. К. Пиксанов. Указ. соч., стр. 183.

[9] «Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 598, 682.— Подлинник на франц. яз.

[10] Бестужевы, стр. 393—394.

[11] М. К. Азадовский. Эпиграммы декабриста В. Л. Давыдова. —«Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском гос. университете им. В. И. Ульянова-Ленина», 1929, т. XXXIV, вып. 3-4, стр. 186—188.

[12] ЦГИА, ф. № 279 (Якушкиных), ед. хр. 1006, лл. 1—3. Басни—списки того времени, послание И. И. Пущину — автограф Давыдова.

[13] «Поэзия декабристов». Вступит. статья и примеч. Б. С. Мейлаха. Л., 1950; «Декабристы. Поэзия. Драматургия Проза. Публицистика. Литературная критика». Составил Вл. Орлов. М.—Л., 1951, стр. 198.

[14] Бестужевы, стр. 394.

Г. С. БАТЕНЬКОВ-ЛИТЕРАТОР

Статья Т. Г. Снытко

I

В истории русской литературы имя декабриста Гавриила Степановича Батенькова упоминается лишь в связи со стихотворением «Одичалый». Много раз публиковался «Одичалый» и всегда с сопровождением стереотипного введения, сообщающего читателю, что Батеньков литератором не был и написал за свою жизнь единственное стихотворение[1].

Распространенность этого взгляда можно объяснить лишь незнакомством с богатым литературным наследием Батенькова, хранящимся в Отделе рукописей Библиотеки СССР им. В. И. Ленина и в государственных архивах[2].

Не повезло Батенькову и в иных отношениях.

Буржуазные историки — В. И. Семевский, М. В. Довнар-Запольский и другие — создали Батенькову славу «самого умеренного» из декабристов, «убежденного монархиста», «сторонника аристократическо-бюрократической олигархии» и т. д. Внимание историков привлекала главным образом трагическая судьба Батенькова, но, в сущности, и она оставалась не выясненной до конца. М. О. Гершензон доказывал, что Батеньков двадцать лет провел в одиночном заключении по собственному желанию; возражая ему, Б. Л. Модзалевский заявлял, что Батеньков «в продолжении 20 лет был умалишенным»[3].

Правда, биография Батенькова еще не написана, но о нем опубликовано несколько десятков работ — больше, чем о Пестеле. Однако обилие напечатанных материалов не проясняет истинного лица этого крупного деятеля декабристского движения. Буржуазные историки, относясь недостаточно критически к материалам Следственной комиссии по делу декабристов, характеризовали взгляды Батенькова, основываясь на его показаниях. Все положения, высказанные им на следствии, они принимали за его истинные взгляды. Мемуарные свидетельства о Батенькове полны легенд, кривотолков и необоснованных предположений, которые можно опровергнуть, обратившись к документальным материалам.

Мы не ставим себе целью написать биографию Батенькова, однако напомнить об основных этапах его жизни необходимо. А. А. Сабуров, характеризуя Батенькова как «представителя крупной торгово-промышленной буржуазии в движении декабристов»[4], мотивировал свою точку зрения соответствующим происхождением Батенькова и его связями с купечеством, однако это не точно.

Отец Батенькова — дворянин, отставной офицер; мать происходила из купеческой среды, но из семьи очень небогатой; между родственниками Батенькова мы встречаем священников, приказчиков, мещан и даже «солдатскую жену Аграфену Морозову». После амнистии Батеньков отказался восстанавливать генеалогию своего рода и был внесен в дворянские книги Калужской губернии на том основании, что имел чин подполковника[5]. Ни земельными угодьями, ни каким-либо другим недвижимым

имуществом семья Батеньковых не владела и жила только на пенсию отца, повидимому, весьма скромно.

Систематического образования Батеньков не получил. Читать он научился самостоятельно, а затем его определили в военно-сиротскую школу в Тобольске. В 1811 г. Батеньков поступил в дворянский полк при Втором кадетском корпусе в Петербурге. Здесь он усиленно занимался историей, географией, литературой, математикой, языками и теорией военного дела.

В корпусе Батеньков подружился с В. Ф. Раевским. Дружеские отношения и переписку с Раевским Батеньков поддерживал до самой смерти.

В мае 1812 г. Батеньков был выпущен из Кадетского корпуса с чином прапорщика и откомандирован в 13-ю артиллерийскую бригаду. Принять участие в Бородинском сражении он не успел, но активно участвовал в преследовании наполеоновской армии и в боях с французами в Польше и Силезии, где в мае 1813 г. был впервые ранен. В январе 1814 г. в бою у Монмираля он получил десять штыковых ран и был в бесчувственном состоянии взят в плен. Через несколько дней французский госпиталь, где лежал Батеньков, захватили русские войска и Батеньков был освобожден. По излечении он принял участие в военных действиях 1814 г. и во втором походе во Францию.

Не поладив с начальством, стремившимся установить в армии аракчеевские порядки, Батеньков подал в отставку и летом 1816 г. был уволен из армии в чине поручика. В октябре 1816 г. он блестяще выдержал экзамен при институте инженеров путей сообщения, получил звание инженера 3-го класса и, по собственному желанию, был назначен инженером 10-го (Сибирского) округа путей сообщения — в Тобольск.

У Батенькова были широкие планы развития путей сообщения в Сибири. Однако заниматься этим делом ему почти не пришлось. Вначале сибирский генерал-губернатор И. Б. Пестель поручил ему руководить работами по благоустройству Томска, затем он был назначен исполняющим обязанности начальника 10-го округа путей сообщения, а прибывший на смену Пестелю новый генерал-губернатор М. М. Сперанский сделал Батенькова своим доверенным лицом и одним из помощников по общеадминистративным делам.

После отъезда Сперанского в Петербург Батеньков тоже уехал в Россию. Прожив несколько месяцев на Кавказе и в Москве, Батеньков явился к Сперанскому и, по ходатайству последнего, был назначен правителем дел Сибирского комитета. Председателем этого комитета был Аракчеев. Оценив способности Батенькова, Аракчеев сделал его сначала чиновником для поручений, а затем членом Совета военных поселений по отделению военных кантонистов. Хотя занятия Батенькова и не имели отношения к военным «экзерцициям» (он занимался топографической съемкой и руководил строительством), все же служба у Аракчеева тяготила его. Жестокости, издевательства, чинимые Аракчеевым в военных поселениях, вызывали в Батенькове отвращение, будили в нем протест и желание мести. Батеньков не раз обращался к Сперанскому с просьбой перевести его на какую-либо другую службу. Желание Батенькова осуществилось неожиданно. За то, что он одобрительно и с насмешкой говорил об убийстве любовницы Аракчеева Настасьи Минкиной, он был 6 ноября 1825 г. уволен от занимаемых должностей и откомандирован в распоряжение Управления путей сообщения, где и числился до дня своего ареста. После увольнения Батеньков не имел определенных служебных обязанностей. Располагая свободным временем, он начал все чаще посещать дом директора Российско-Американской компании И. В. Прокофьева, предложившего Батенькову должность управляющего русскими колониями в Северной Америке. В том же доме жил и Рылеев; с ним Батеньков познако-

мился еще в 1824 г., а еще раньше подружился с Николаем и Александром Бестужевыми, Корниловичем и другими членами Северного общества.

Члены Тайного общества высоко ценили Батенькова и, рассчитывая на поддержку военных поселенцев, стремились вовлечь его в Общество еще в бытность Батенькова в Совете военных поселений. Но, хотя

Г. С. БАТЕНЬКОВ
Литография К. А. Зеленцова, 1822 г.
Местонахождение оригинала неизвестно

в беседах с Рылеевым, Бестужевым и другими Батеньков показал себя сторонником борьбы против самодержавия, они далеко не сразу доверились ему. Лишь осенью 1825 г. Александр Бестужев спросил Батенькова, как он поступил бы, если бы узнал, что в России существует Тайное общество, ставящее себе целью изменить государственный строй и ввести конституционный образ правления. Батеньков ответил, что он «не был бы русским, если бы отстал от них»[6]. После этого разговора Бестужев (с согласия Рылеева) принял Батенькова в Тайное общество.

Свободомыслие присуще было Батенькову с юности. «Либеральное мнение мне было по душе и укоренилось в ней с самого детства»,— писал

он в 1860 г.[7] Неясные мечты о борьбе за свободу родины, зародившиеся еще в кадетском корпусе, сделались за время 1812 г. и походов в Европу твердым убеждением Батенькова. Служба в Сибири и в военных поселениях укрепила уверенность Батенькова в том, что изменить политический и социальный строй России необходимо, а протест против самодержавия, назревавший во всех слоях населения, заставлял его думать, что революция близка и неизбежна. «В январе 1825 г.,—писал он,— пришла мне в первый раз мысль, что поелику революция в самом деле может быть полезна и весьма вероятна, то непременно мне должно в ней участвовать»[8].

Еще во время службы в военных поселениях Батеньков вечерами занимался разработкой конституции для России; тогда же, еще не будучи членом Тайного общества, он обдумывал планы государственного переворота, возможности массового выступления и «жалел, что у нас географическое положение не представляет никакой удобности к восстанию»[9].

Вступив в Тайное общество, Батеньков сразу сделался одним из видных и авторитетных его членов. Позже А. А. Бестужев в письме к Николаю I характеризовал Батенькова как «человека изо всех нас ⟨декабристов⟩ с здравейшей головой». В беседах с Рылеевым, Трубецким, Бестужевыми, Якубовичем и другими декабристами Батеньков обсуждал вопросы переустройства России, давал практические советы по организации восстания. Он подробно разработал тактику поведения членов Тайного общества в случае успеха. На следствии Трубецкой показал, что Батеньков считал необходимым захватить Петропавловскую крепость и предлагал вести солдат на площадь непременно с барабанным боем, чтобы привлечь туда побольше народа[10]. Ценя ум, деловые качества и красноречие Батенькова, декабристы выдвинули его кандидатуру в состав будущего временного правительства и в состав делегации, которая в случае победы восстания должна была явиться в Сенат. Батенькову поручено было произнести речь в Сенате и потребовать издания указа об учреждении временного правительства.

Батеньков выдвигал планы и других форм выступления. Трубецкому он предлагал «возмутить народ» при помощи подложного манифеста: «У нас легко сделать перемену,— говорил он,— ибо вся Россия повинуется печатному повелению, из Петербурга присланному, а потому и нужно токмо иметь в своем распоряжении сенатскую типографию»[11]. С Якубовичем, с которым он особенно подружился, Батеньков неоднократно обсуждал вопросы организации восстания солдат и народа на тот случай, если Тайное общество не выступит. Он говорил, что «нельзя в чем-нибудь на них ⟨на членов Тайного общества⟩ надеяться», что «вернее будет закричать перед толпою народа в пользу удаляемого государя ⟨Константина⟩ и ежели погибнуть, то, по крайней мере, оставить воспоминание». Батеньков убеждал Якубовича, чтобы он «отстал от молодежи, которая на словах только храбра, а лучше бы сам собрал толпу и заставил бы, по крайней мере, кого-нибудь из членов царской фамилии вести с собой переговоры»[12]. Следует подчеркнуть, что во всех проектах переворота, предлагавшихся Батеньковым, роль главной силы отводилась «толпе», то есть народу.

14 декабря Батеньков, видя, что членам Тайного общества удалось собрать на Сенатской площади лишь небольшую часть петербургского гарнизона, очевидно, счел выступление неудавшимся и не вошел в каре, хотя присягать Николаю I и отказался. Арестован он был только 28 декабря. На первых допросах Батеньков упорно заявлял, что членом Тайного общества не был, ссылаясь на то, что прием в какую-либо ассоциацию обычно сопровождается обрядами, а никакого обряда при нем не совершали. Он признался лишь в «вольных разговорах»—на тему о желательности изменений в социальном и политическом строе России, причем добавлял,

что подобные разговоры ведутся по всей стране. Желая произвести впечатление если не «верноподданного», то, во всяком случае, «весьма умеренного» сторонника реформ, Батеньков написал в крепости проект монархической конституции, которая почти не ограничивала самодержавную власть царя. Этот проект он выдавал за тот самый, который он разрабатывал в Грузине. Раздел проекта «Меры обеспечения незыблемости нового строя», предусматривающий административное устройство России на основе автономии отдельных областей, превращение военных поселений в «народную стражу», передачу Петропавловской крепости в распоряжение петербургского городского самоуправления, свободу печати, независимость университетов, независимость судебных властей и их право контролировать деятельность административных учреждений, ревизовать финансовую отчетность, рассматривать представления о наградах и т. д., более радикален, чем другие части проекта. Возможно, что этот раздел был написан Батеньковым, действительно, на основании «грузинского» проекта, который, надо полагать, отличался от написанного в тюрьме и предназначавшегося для прочтения царем.

В своих конституционных проектах Батеньков отводит видную роль «вельможам». Это выражение члены Следственной комиссии и историки (включая и советских историков) понимали в общепринятом смысле, между тем как Батеньков вкладывал в него иное значение. В 1828 г. в «Тюремной песни» он писал:

И будут...
...*словно важные планеты,*
Сияньем из себя одеты
Вельможи видные ступать
По предначертанным орбитам
Народной волей...[13].

Эту же мысль повторяет А. А. Бестужев, излагая свой разговор с Батеньковым о будущей «правительственной аристократии», в состав которой должны были войти активные деятели переворота.

Тактика, примененная Батеньковым для своей защиты, могла бы дать хорошие результаты, но благополучному исходу дела помешало начавшееся следствие о связях декабристов со Сперанским. Дознание по этому делу, по свидетельству Боровкова и Батенькова, велось в тайне от членов Следственной комиссии. Допрашивал Батенькова сам царь. Николай I обещал немедленно освободить Батенькова, если он даст откровенные показания об отношениях между Сперанским и Тайным обществом. Но Батеньков, как говорит Ф. Ф. Вигель, «не выдал друга». Материалы секретного следствия не сохранились: по приказанию Николая I они были уничтожены Боровковым, единственным чиновником Комиссии, знавшим об этом следствии.

Взбешенный упорством Батенькова, Николай I посулил ему такие грозные кары, что тот счел участь свою решенной. Сначала у Батенькова возникла мысль о самоубийстве, «но вскоре,— писал он 5 апреля 1826 г.,— явилась необычайная твердость, и мне пришла мысль искать, по крайней мере, историческую славу»[14].

18 марта 1826 г. Батеньков прислал Следственной комиссии свое знаменитое заявление. С прямотой, на которую не решился ни один из декабристов, Батеньков характеризовал восстание 14 декабря как первое революционное выступление в России. «Тайное общество наше отнюдь не было крамольным, но политическим,— писал Батеньков.— Оно, выключая, разве, немногих, состояло из людей, коими Россия всегда будет гордиться. Ежели только возможно, я имею полное право и готовность раз-

делить с членами его всё, не выключая ничего⟨...⟩ Цель покушения не была ничтожна, ибо она клонилась к тому, чтобы ежели не оспаривать, то, по крайней мере, привести в борение права народа и права самодержавия, ежели не иметь успеха, то, по крайней мере, оставить историческое воспоминание. Никто из членов не имел своекорыстных видов. Покушение 14 декабря — не мятеж, как, к стыду моему, именовал я его несколько раз, но первый в России опыт революции политической, опыт, почтенный в бытописаниях и глазах других просвещенных народов. Чем менее была горсть людей, его предпринявших, тем славнее для них, ибо хотя по несоразмерности сил и по недостатку лиц, готовых для подобных дел, глас свободы раздавался не долее нескольких часов, но и то приятно, что он раздавался. Я желал сделать такое же покушение и 27 ноября, но не можно было по краткости времени и по недостатку сил»[15].

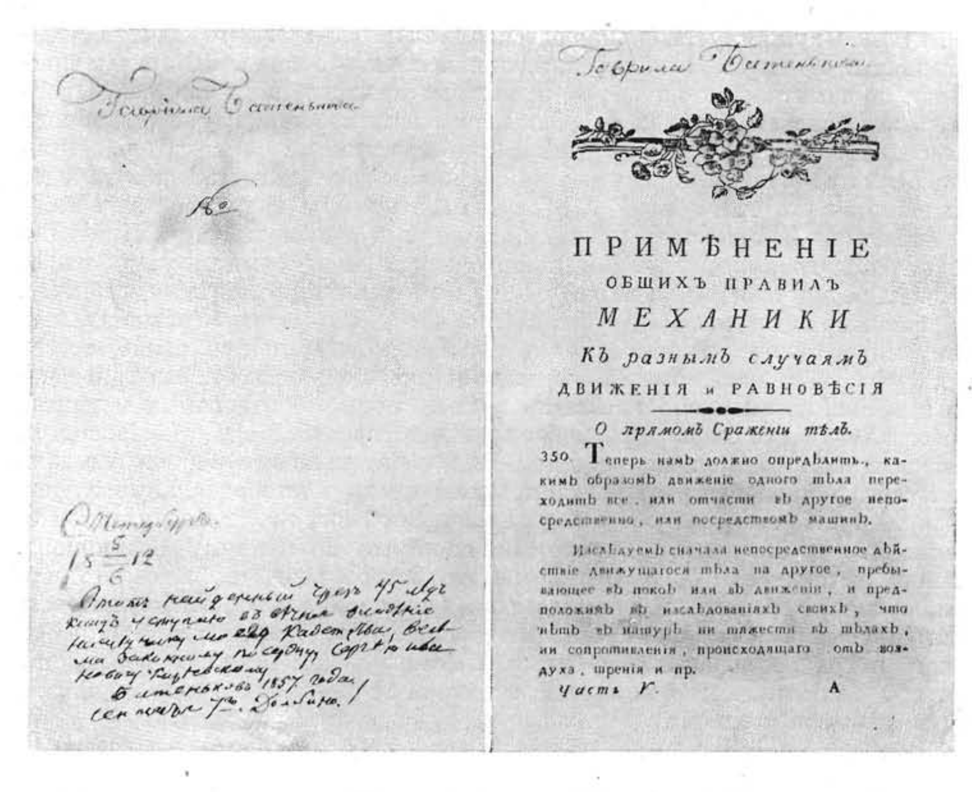
Друзья Батенькова — С. Т. Аргамаков, В. В. Погодин, А. А. и А. П. Елагины, В. А. Жуковский и другие были, конечно, в курсе хода следствия по делу Батенькова. Узнав о заявлении 18 марта, они переполошились и потребовали от Батенькова, чтобы он взял обратно этот самоубийственный документ. Батеньков попытался исполнить требование друзей. Вначале он пробовал смягчить выражения, а затем стал утверждать, будто заявление было написано им в состоянии психического расстройства. Но ничто уже не могло помочь; Батеньков был предан суду и осужден по третьему разряду — на двадцать лет каторжных работ. Николай I снизил наказание осужденным по этому разряду сначала до 15 лет, потом до 10, но Батенькова царские «милости» не коснулись. После конфирмации приговора он был отвезен на Аландские острова и посажен в крепость Свартгольм. В июне 1827 г. Батеньков, по его прошению, был переведен обратно в Петропавловскую крепость. Он рассчитывал, что отсюда ему легче будет связаться с влиятельными друзьями и добиться досрочного освобождения; но надежды его не оправдались — Николай I не забыл своих угроз. Он приказал заключить Батенькова в Алексеевский равелин в качестве «секретного арестанта № 1», фамилия которого отныне должна была быть известна лишь коменданту крепости и начальнику III Отделения[16].

Из многих гипотез о причинах содержания Батенькова в Алексеевском равелине в течение 19 лет наиболее правдоподобной нам представляется та, которая связывает этот факт с делом Сперанского: в строжайшей изоляции Батенькова были заинтересованы и Николай I, и «принесший повинную» ему Сперанский, и многие другие. Это понимал и Батеньков; позже он писал: «М. М. имел друзей и врагов. На этот раз они согласились, то есть считали всего удобнее послать меня в ссылку»[17].

Вспоминая о суде над декабристами и о своем заключении, Батеньков в 1860 г. писал: «М. М. и не усиливался освободить меня из-под креста, тревожась только, что не достанет во мне твердости снести его»[18]. Батеньков не знал, что «М. М.» не только «не усиливался» спасти его: в первых проектах «разрядных списков» Сперанский вписал Батенькова в число подлежащих смертной казни, а при окончательном голосовании высказался вместе с большинством за вечную каторгу, хотя 18 членов суда подали голоса за менее тяжелое наказание.

В первые дни заключения в равелине Батеньков, по выражению коменданта Сукина, «оказывал временами разные непристойные поступки в действиях и словах», за что на него несколько раз надевали смирительную рубашку. В марте 1828 г. Батеньков отказался принимать пищу и даже воду. Донося об этом Бенкендорфу, генерал Сукин писал: «Врач Элькан утверждал, что Батеньков умышленно решил кончить самоубийством путем истощения». Ничего не добившись, Батеньков на пятый день прекратил голодовку[19].

В начале 1835 г. Батеньков написал Николаю I несколько писем в стиле библейских пророчеств, в которых всячески поносил царя и насмехался над ним. На основании этих писем и некоторых тюремных записей Батенькова многие историки стали доказывать, что Батеньков во время заключения был умалишенным. Б. Л. Модзалевский, например, даже определил форму заболевания — mania grandiosa с отдельными momenta lucida*.



ПРИМѢНЕНІЕ
ОБЩИХЪ ПРАВИЛЪ
МЕХАНИКИ
КЪ разнымъ случаямъ
ДВИЖЕНІЯ и РАВНОВѢСІЯ

О прямомъ Сраженіи тѣлъ.

350 Теперь намъ должно опредѣлить, какимъ образомъ движеніе одного тѣла переходитъ все, или отчасти въ другое непосредственно, или посредствомъ машинъ.

Изслѣдуемъ сначала непосредственное дѣйствіе движущагося тѣла на другое, пребывающее въ покоѣ или въ движеніи, и предположимъ въ изслѣдованіяхъ своихъ, что нѣтъ въ натурѣ ни тяжести въ тѣлахъ, ни сопротивленія, происходящаго отъ воздуха, тренія и пр.

Часть V. А

КНИГА «ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩИХ ПРАВИЛ МЕХАНИКИ», ПРИНАДЛЕЖАВШАЯ Г. С. БАТЕНЬКОВУ С ЕГО ВЛАДЕЛЬЧЕСКИМИ НАДПИСЯМИ 1812 г. И ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ С. И. КИРЕЕВСКОМУ 1857 г.

«Этот найденный через 45 лет клад уступаю в вечное владение наследнику моего кадетства, весьма законному по сердцу, Сергею Ивановичу Киреевскому. Батеньков 1857 года, сентября 7-го. Долбино»

Историческая библиотека, Москва

Однако документы III Отделения не подтверждают этого. То, что Батеньков не был умалишенным, засвидетельствовал лейб-медик Элькан, неоднократно обследовавший состояние его здоровья; о том же заявлял комендант крепости генерал Скобелев. Генерал Сукин, занимавший должность коменданта Петропавловской крепости до Скобелева, два раза выразил сомнение в психической нормальности Батенькова: в рапорте по поводу его голодовки в 1828 г. и в рапорте, сопровождавшем упомянутые письма Батенькова Николаю I. Но и он подозревал, что поведение заключенного — симуляция: «...слышал говоренные им ⟨Батеньковым⟩ в исступлении слова, показывающие человека в уме помешанного (если только произнесены оные были не притворно, ибо при первоначальном с ним разговоре он никакого исступления не показывал)» [20].

---

* мания величия с отдельными моментами просветления ⟨сознания⟩ (лат.).

Врач Элькан прямо заявил, что «он ⟨Батеньков⟩ намеренно производит перед начальством о себе мнение, будто он теряет или потерял рассудок»[21]. Наконец, нельзя игнорировать и свидетельство смотрителя Алексеевского равелина Яблонского, который наблюдал Батенькова в течение 17 лет и за все это время не заметил помешательства[22].

Сам Батеньков утверждал, что у него не было провалов в памяти,— он помнил даты и события тюремной жизни за все время своего заключения. Е. И. Якушкину Батеньков рассказывал в 1850-х гг., что «письма сумасшедшего» он писал Николаю I, желая посмеяться над ним, причем приводил по памяти одно из писем, в котором называл царя свиньей. Правда, этого письма в делах III Отделения нет, но есть другие подобного же содержания. В одном из них Батеньков писал: «Ревнитель Илия словом истребил дом царский, а слушай, как доселе он славен в народе. Надобно же его превысить ⟨...⟩ Государь, ты дурак. И тут же кнут»[23].

Приятель Батенькова, известный полярный путешественник М. М. Геденштром, говорил, что Батеньков симулировал сумасшествие, чтобы вырваться из каземата и попасть хотя бы в психиатрическую лечебницу.

Таковы свидетельства друзей Батенькова, его самого и официальных документов. Если уж брать все их в какой-то мере под сомнение, то, во всяком случае, нельзя признать правильным мнение Б. Л. Модзалевского о полной невменяемости Батенькова и лишь об отдельных моментах просветления его сознания. Скорее можно согласиться с С. Н. Черновым, высказавшим предположение о том, что у Батенькова в период его многолетнего одиночного заключения могли иметь место отдельные случаи потери душевного равновесия и затемнения рассудка[24]. Двадцатилетнее одиночное заключение не могло не повлиять на психику Батенькова. Выйдя из равелина, он страдал расстройством речи, не выносил тишины, отличался многими странностями. Осталась у него также и тюремная привычка к «жизни умом», к изощренному самоанализу; пробыв много лет в заключении, он отвык выражать свои мысли в форме, понятной для других; рукописи Батенькова 1840—1860-х годов поражают туманным изложением.

В «Тюремной песни» (1828) Батеньков свое состояние в Алексеевском равелине описывает так:

Еще я мощен и творящих
Храню в себе зачатки сил
Свободных, умных, яснозрящих.
Не подавит меня кумир.
Не раз и смерть своей косою
Мелькала мне над головою —
Я не боюсь ее. Сразит
Свое, чему нельзя быть вечно,
Иду, навстречу ей беспечно,
А дух, забыв ее, парит...[25]

После смерти Бенкендорфа начальником III Отделения стал А. Ф. Орлов, в прошлом близкий знакомый Батенькова. Он облегчил узнику режим заключения и в январе 1846 г. доложил Николаю I, что III Отделению неизвестно, почему Батеньков содержится в крепости, в то время как другие осужденные по третьему разряду уже десять лет живут на поселении. Николай I ответил, что Батеньков находится в тюрьме по причине умственного расстройства. Комендант крепости генерал Скобелев в своем рапорте отметил, что ни он, ни смотритель равелина, состоявший в этой должности семнадцать лет, умственного помешательства у Батенькова не заметили. Только после этого Николай I дал согласие отправить Батенькова в ссылку[26].

Прибыв в Томск 9 марта 1846 г., Батеньков приобрел себе заимку неподалеку от города и построил там дом, «Соломенный дворец»[27]. Он завязал оживленную переписку с С. П. Трубецким, С. Г. Волконским, Н. А. Бестужевым, Е. П. Оболенским, И. И. Пущиным, В. И. Штейнгелем, В. Ф. Раевским и другими сосланными декабристами. Особенно же подружился он с петрашевцем Э. Г. Толлем, отбывавшим здесь ссылку, и с сыном И. Д. Якушкина — Евгением Ивановичем, с которым познакомился, когда тот приехал в Сибирь для свидания с отцом. В дружеских отношениях был Батеньков также с семьей Менделеевых, особенно с братом Д. И. Менделеева — Иваном Ивановичем.

Кроме сельского хозяйства, Батеньков в Томске занимался переводами, писал статьи, очерки и исследовательские работы.

После амнистии Батеньков в 1857 г. поселился в имении А. П. Елагиной—вдовы друга его молодых лет, матери братьев Киреевских. Денежная помощь известного томского богача Асташева, а также те деньги, которые были конфискованы казной и потом возвращены ему, дали Батенькову возможность купить себе домик в Калуге, где он и прожил до самой смерти в 1863 г.

II

Возвратившись из ссылки, Батеньков рассчитывал жить литературным трудом. Он усиленно занимался переводами, писал публицистические и критические статьи, очерки, рецензии и т. д., но из всего им написанного были напечатаны только автобиографические «Данные» (в «Русском архиве»), и то лишь в 1881 г.

Следственное дело и большинство рукописей Батенькова не опубликованы. Поэтому в исторической литературе до сих пор господствует та оценка взглядов Батенькова, которая была сформулирована буржуазными историками, хотя она дает искаженное представление об этом своеобразном мыслителе.

Взгляды Батенькова в течение его долгой жизни менялись, но он всегда оставался противником абсолютизма, сторонником политических преобразований.

Любовь к родине и народу привела Батенькова в ряды декабристов. Он гордился Россией, понимая, само собою разумеется, под этим словом не царскую империю. «Россия,— писал он В. А. Арцимовичу,— как ни мало она устроена, все же сильный дух, солидарный в самосохранении. Нельзя о ней судить по одним сливкам и по сыворотке»[28]. Отстаивая самостоятельные пути развития России, Батеньков в то же время отрицательно относился к идеализации порядков древней Руси, свойственной некоторым декабристам, и к теориям славянофилов.

Не отрицая необходимости использовать достижения западных народов в области науки и общественного устройства, Батеньков вместе с тем ратовал за то, чтобы Россия неизменно проводила собственную независимую национальную политику. В 1826 г. на следствии он признался, что в разговорах с декабристами осуждал реакционный Священный Союз, который «ограничивал самостоятельность России»[29]. В 1845 г. Батеньков выразился еще более категорически: «Я не вхожу в рассмотрение дел Западной Европы, ибо и не знаю их, но нам необходимо стать особо (однако не так, чтобы отвергать их науку, политику, свободу)»[30]. Позже, в 1855 г., Батеньков выражал неудовлетворенность политическим развитием Западной Европы. Так, он писал Е. И. Якушкину: «Отнюдь я не поклонник Запада и ничего не ищу в его формах. Прошло это время исторически. Однако правда и то, что у них было движение»[31].

Батеньков, как и большинство декабристов, требовал уничтожения самодержавия и отмены крепостного права. Рассказывая на следствии о разногласиях в Северном обществе по вопросу о будущей форме правления в России, Батеньков заявил: «Мы согласились в том желании, чтобы приостановить действие самодержавия»[32]. Тогда же он признался, что в беседе с Трубецким перед восстанием 14 декабря говорил о необходимости прежде всего отменить крепостное право, в котором видел «непреодолимое препятствие» к «введению свободного правления в России».

И позже Батеньков продолжал считать самодержавно-крепостнический строй отжившим, «мертвым». В 1845 г. он писал: «Чего желаем мы? Желаем отвержения этой мертвой формы. Без того нет ни утешения, ни примирения. Все успехи ложны, ибо идут во имя нашего ничтожества, но что в тысячу лет уже умерло, для чего же нам нести на себе»[33].

Распространенное мнение, будто Батеньков был «убежденным монархистом», основано на недостаточно глубоком и некритическом изучении следственных материалов. Прежде всего надо указать, что ответы допрашиваемых никогда нельзя брать на веру. Даже Рылеев в своем показании по делу Батенькова заявлял, что в Северном обществе «все согласно полагали, что представительное монархическое правление для России самое удобное и самое приличное». С другой стороны, следует обратить внимание и на то обстоятельство, что возражения Батенькова против республики носили не принципиальный, а, так сказать, тактический характер. В одном показании говорится: «... республика устоять не может»; в другом: «еще не дозрели люди»; в третьем Батеньков утверждает, что конституционная монархия нужна как переходный этап: «Я с своей стороны доказывал ⟨Рылееву⟩ ⟨...⟩ что, по крайней мере для перехода, нужна сперва монархия». Необходимость переходной формы правления Батеньков видел в том, что многовековое господство самодержавия поработило народ не только физически, но и духовно; верховная власть, по его выражению, стала «идеей», а идеи одним актом не отменяются. «Я ничего не говорил решительного,— показывал Батеньков 22 марта 1826 г.,— но доказывал только, что верховная власть яко идея не легко может быть присвоена, что одною силой утвердить ее в новом виде трудно»[34]. Эту же мысль он высказывал и в сороковых годах: «Самодержавное порабощение наше, без сомнения, несравненно глубже, нежели возможно достигнуть туда наукою»[35]. Кроме того, надо напомнить, что Батеньков высказывался за сохранение лишь видимости монархического правления. По его мнению, на престоле следовало оставить или кого-нибудь из женщин царской семьи, или малолетнего сына Николая I. Именем такого номинального монарха он и считал возможным провести социальные и политические преобразования России. 1 февраля 1826 г. Батеньков, отвечая на вопросы следствия, писал: «Ведя разговор о том, что обеспечение представительного правления на твердой земле составляет важный вопрос, потому что монарх-завоеватель легко может оное ниспровергнуть, объявил свою мысль, что вопрос сей разрешается без труда, а именно возведением на престол особы женского пола»[36]. После вступления на престол Александра II Батеньков склонен был пересмотреть свое отношение к неограниченной монархии.

В письмах к Е. И. Якушкину он допускал возможность общественной поддержки «умного деспотизма» при условии, если деспотизм изменит методы управления государством, на что он, впрочем, не надеялся. Он писал: «необходимо было бы улучшить начала, не почитать Россию огромным поместьем и всех нас имуществом, не стремиться обратить его в военную славу и не полагать главным цементом уголовный кодекс, тюрьмы и арестантские роты. Но это пути сообщения тирании,

она влюбилась уже в них как все большинство в железные рельсы — по ним легко двигаться на простых парах и надобно только разветвлять и размножать»[37].

Характеристика Батенькова как поклонника английской конституции тоже не совсем верна. Действительно, в период следствия Батеньков говорил о своем уважении к английской конституции, однако возможность ее применения в России, как и возможность применения любой другой иностранной конституции, отрицал из-за ее несоответствия русским условиям. Более того, признавая федеративное устройство наиболее рациональным

ТОМСК
Этюд маслом П. М. Кошарова, 1860-е годы
Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

для России, Батеньков считал, что каждая автономная часть федерации должна иметь свою конституцию, разработанную применительно к местным условиям. 1 февраля 1826 г. Батеньков признавался, что в беседах с декабристами говорил: «конституция есть не что иное как нравы ⟨...⟩ местные различия всегда важнее в таком обширном государстве, как Россия» [38]. В письме к Е. И. Якушкину в 1856 г. он повторил ту же мысль: «Априорические конституции всегда являются миражем» [39].

В другом письме того же года он пишет: «Сами видите, законодательство наше отрицает или, по крайней мере, не признает ни истории, ни этнографии, ни климатологии и не ищет никаких данных в основание» [40]. В 1845 г. Батеньков считал еще, что английская конституция может явиться для России «первой буквой», но через десять лет заявил: «... ясно стало, что Англия выразила свободу только на срок и так неполно, что в самой себе содержит неотвратимое разрушение. Через нее можно усомниться и в Америке» [41].

Весьма интересны высказывания Батенькова о войне. Войны и завоевания Батеньков порицал, заявляя, что государства, основанные на завоеваниях, непрочны, что войны дурно отражаются на моральных качествах народов, что военные расходы отягощают народное хозяйство. Справедливыми и допустимыми Батеньков считал лишь «войны за свободу». Образцом миролюбивого народа Батеньков называл китайцев. Возражая против взглядов на китайцев как на «варваров», он признавал закономерность особых путей развития Китая.

Мировоззрение Батенькова необходимо изучать на основе его документального наследия. Выполнить эту задачу нелегко: с одной стороны, нормальный процесс развития взглядов Батенькова был нарушен его двадцатилетней изоляцией; с другой — в его высказываниях немало противоречий. Кроме того, неясность, или, как он сам говорит, «трансцендентность», выражений «с пиитическими подмостками и реактивами» нередко мешает правильному пониманию его высказываний.

Батеньков называл себя философом и всю свою долгую жизнь занимался изучением философских систем. Однако его нельзя безоговорочно назвать сторонником какой-либо определенной философской школы. В ранней молодости (1812—1813) Батеньков усердно изучал произведения Канта, Шеллинга, Фихте, затем с неменьшим интересом увлекался учением французских материалистов XVIII в., позже изучал Гегеля. С молодых лет Батеньков интересовался моралистическими теориями масонов и был членом масонских лож в Петербурге и Томске. В философских записках Батенькова (а их сохранилось немало) встречается множество противоречивых высказываний, вследствие чего трудно охарактеризовать систему философских взглядов Батенькова. Одно несомненно — он стоял на идеалистических позициях, но отрицал крайние его течения.

Некоторые философские положения, усвоенные Батеньковым в молодости, оставались его твердыми убеждениями в течение всей жизни. К ним в первую очередь относится учение о естественном праве человека и учение о роли и значении идей. К этому последнему вопросу Батеньков возвращается во многих своих работах. Говоря об истории государств, он утверждает, что царства разрушались лишь потому, что «не имели в основании идей. Делом стояли они»[42]. Говоря о правительстве, обществе, литературе, он требует, чтобы в основу их была положена идея. «Идея,— говорит он,— сильнее оружия», «идея подобна воздуху — чем больше утесняется, тем сильнее»[43]. Батеньков имеет в виду прогрессивные идеи, двигавшие общественное развитие вперед. Реакционные ложные теории и движения Батеньков считал обреченными: «все ложное и мертвое необходимо ⟨неизбежно.— *Т. С.*⟩ минет»; «все минувшее можно назвать несовершенным»; «действительно — разумное»; «вольные и либеральные мысли, дела, оппозиции, реформы, изменения форм и порядков стали быть законными, правом, долгом и неоспоримо благотворными»,— писал он[44].

Выше уже было сказано, что Батеньков имел незаурядные математические способности. В молодости он изучал высшую математику и воспринял эту науку как метод, который и распространил на изучение философии, социологии, литературы, искусства и т. д. «Современники,— говорит Батеньков,— мне первому приписывали введение математического приема к выражению всякого рода мыслей»[45]. Философию же он призывал на помощь для разрешения проблем математики: науку эту без философии он рассматривал как «чистое рукоделье».

В начале двадцатых годов Батеньков намеревался всецело посвятить себя математике, он собирался даже преподавать ее в высших учебных заведениях. Она была для Батенькова не только философией, но и поэзией: ей он посвятил стихи, ею вдохновлялся и, восхищаясь ее могуществом, в стихотворении «К математике» предсказывал, что

она раздвинет горы, проложит дороги под реками и будет вести по морям «корабли над кораблями»:

Чтоб царь земли прошел спокойно
По всем владениям своим,
Велишь горам, чтобы покорно
Челом ударили пред ним.
Края ты бездны съединяешь,
С громами тучи отгоняешь,
Корабль над кораблем ведешь...[46]

Много занимался Батеньков и изучением истории. Правда, больших работ по истории Батеньков не оставил, если не считать переводов, но отдельные его записки говорят о том, что он хорошо знал историю России, древнего мира, средневекового Запада, Востока. Почти каждой своей работе Батеньков предпосылал обстоятельный исторический очерк. В записке «Нечто об истории» Батеньков так определял сущность истории: «История—не приложение к политике или пособие по логике и эстетике, а сама политика, сама логика и эстетика, ибо нет сомнения, что история премудра, последовательна и изящна». В отличие от многих декабристов Батеньков не идеализировал вечевые порядки и политическое устройство древней Руси, но, так же как Н. М. Муравьев, высоко оценивал реформы Петра I.

Прочитав «Историю государства Российского» Карамзина, Батеньков, отдавая должное ее литературным достоинствам, заявил, что «в ней немного истории». Такую «историю», где все совершается героями, Батеньков называл «подложной историей»,— не потому, что документы, на основе которых она писалась, были подложными, а «потому что они неудовлетворительны, сомнительны, потому что не выносят ученой критики». «В старое время так думали,— пишет он,— что было бы, еслиб такой-то князь перешел на такое-то место, еслиб у такого-то царя был сын, еслиб такой-то герой не родился ⟨...⟩ Вот бы пропали то!»[47]

Большой интерес проявлял Батеньков к географии и этнографии. Еще в юношестве он мечтал о полярных путешествиях, и когда во время службы в Сибири познакомился с путешествовавшим по Северу М. М. Геденштромом, намеревался даже осуществить свои мечты. Только приезд Сперанского и новые перспективы отвлекли его от этой мысли.

В стихотворении 1815 г. он писал:

В стране Борея вечно льдистой,
Где нет движенья веществу,
Где магнетизм владеет чистый,
Все смерти дань, как божеству.
Где солнце полгода сияет,
Но косо падая на льдах,
Луч яркий в радужных цветах
Скользит — и тотчас замерзает...[48]

Работы Батенькова по этнографии представляют собой весьма солидные исследования. Особенно надо отметить его большой (700 страниц) труд «О заселении Сибири» и статью, напечатанную в «Сыне отечества» в 1822—1823 гг. (чч. 81, 83, 84, 85),— «Общий взгляд на Сибирь». Эти работы ценны богатыми статистическими данными, собранными и обработанными автором.

Многие труды Батенькова посвящены экономическим вопросам. Правда, его записки по политической экономии не оригинальны, в них много заимствованного у Адама Смита; когда же он пытается сказать что-либо новое, то теории его оказываются далеко не научными (напри-

мер, «Деньги есть ближайшая реализация числа в фактах цивилизации»). Однако практические экономические работы Батенькова интересны и ценны. Особенно много в этом отношении уделял Батеньков внимания Сибири, которую он называл «маховым колесом для движения неизмеримого нашего отечества». Кроме того, Батеньков написал несколько исследований о золотопромышленности, финансах России, о путях сообщения, о сельском хозяйстве, народнохозяйственных задачах правительства, о статистике и т. д.

С 1819 г. Батеньков под руководством М. М. Сперанского начал изучать право и вскоре приобрел большие познания в области государственного права и законодательства. Об этом говорят написанные им уставы («о ссыльных», «о ясашных» и пр.) и некоторые неопубликованные работы — «Мысли о своде законов», «Краткое обозрение хода работ и предположений по составлению кодекса законов о наказаниях», «Опыт теории правительственных установлений» (1846) и др.

Невозможно перечислить все отрасли знаний, которыми занимался Батеньков. Отметим еще лишь некоторые работы по педагогике и лингвистике. Записки и заметки Батенькова о просвещении и образовании оригинальны и содержат мысли безусловно прогрессивные для своего времени. Установив прежде всего разницу между просвещением и образованием, Батеньков говорит, что русский народ уже нельзя назвать «непросвещенным». «В русском народе,— писал он в 50-х годах,— примечается не то, что называем в тесном смысле просвещением (наукою). В нем есть уже просвещение в обширном смысле, то есть частию сознание, частию безотчетное чувство того положения, которое занимает он в мире и к которому шел последовательно в продолжение десяти веков. Это и есть дух народный»[49]. Батеньков утверждал, что «наше просвещение есть русское, национальное». Кроме того, тезис о просвещенности русского народа, как видно, являлся для Батенькова политическим аргументом в борьбе с теми, кто откладывал изменение государственного строя в России до какого-то неопределенного времени, когда «русский народ станет просвещенным народом». Из сказанного выше нельзя сделать вывод, что Батеньков противопоставлял просвещение образованию или недооценивал образования. Наоборот, он весьма решительно ратовал за распространение образованности в народе и, в частности, предлагал повсеместно применить в начальных школах популярный тогда метод взаимного обучения; особенно упорно отстаивал он необходимость среднего образования, которое, по его мнению, «одно может служить широким национальным основанием». Постановку учебного дела в средних школах Батеньков жестоко критиковал. Гимназические программы, планы и учебники он считал совершенно неудовлетворительными. «Все они до одного,— писал он,— не исключая закона божьего, достойны на растопку камина. В них ни мало не было в виду дать ребенку прочные понятия, любовь к науке, удовлетворение первого его любознания и легкого склона к занятию во всю жизнь наукой. Высокоученые ⟨мужи⟩ вытряхнули в них всю свою начитанность, переполнили школьными спорами, размножением систем, цитатами, собственными именами, цифрами на каждой строчке, тысячами технических названий и энциклопедических формул и фраз. Никакой нет возможности са́мому прилежному и даровитому дитяти иметь успех, и тяжело смотреть на труженика, выучивающего наизусть по десять и более страниц на непонятном для него языке и забывающего всё через неделю». Говоря о школьных делах, Батеньков иронически замечает: «Право, лучше уж, не уча русской грамоте как составляющей уже теперь частный вид, прямо начинать с санскрита»[50].

Батеньков призывал всех писателей и ученых, «по примеру знаменитого Новикова, серьезно приняться за дело не весьма блистательное, но

решительно необходимое»: составить учебники и книги для школы. Наряду с этим он требовал расширения сети средних и высших специальных учебных заведений, чтобы удовлетворить потребность страны в технической и иной интеллигенции. В частности, он предлагал учредить при университетах факультеты географии и этнографии и ввести в начальных школах преподавание основ геометрии.

Уделяя много времени занятиям языками, Батеньков самостоятельно изучил французский, немецкий, латинский, греческий и древнееврейский. Принято считать, что древние языки Батеньков изучал в заключении.

КНИГА Г. С. БАТЕНЬКОВА «О ЕГИПЕТСКИХ ПИСЬМЕНАХ». ЭКЗЕМПЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА А. А. ЕЛАГИНУ, 1824 г.

«[Елагину] покорнейшее приношение от автора [...]»

Фамилия Елагина зачеркнута, вероятно, после декабря 1825 г. Принадлежность книги Елагину устанавливается пометами позднейшего владельца С. Д. Полторацкого, получившего ее в подарок от Кс. Полевого.

Титульный лист и форзац книги

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

Это не совсем верно. Древними языками Батеньков занимался еще в 1817—1825 гг., о чем свидетельствуют словари и книги на древних языках, названные в описи его библиотеки. В тюрьме, где ему разрешали читать только евангелие, он выписал эту книгу на многих древних языках, очевидно, для того, чтобы, читая тексты, параллельно углублять свои познания в древних языках. Батеньков знал также английский и татарский языки. С татарским Батеньков познакомился еще в детстве и, по его словам, писать начал не по-русски, а по-татарски. Пытался Батеньков даже научиться разбирать древнеегипетские иероглифы, которыми интересовался Сперанский. Они вдвоем несколько раз в течение 1819—1825 гг. возвращались к изучению их.

Внимание Батенькова привлекала история и теория русского языка. Он посвятил этим вопросам несколько самостоятельных записок и часто

касался их в статьях, заметках и письмах. Совместно с Гречем и Полевым Батеньков участвовал в составлении грамматики русского языка. «Должен был прочесть всю систему спряжений Полевого и Греча,— писал он в марте 1824 г. А. А. Елагину.— Долго было бы толковать, в чем они правы, в чем не правы, где умничают и где дурачатся ⟨...⟩ Греч обещается прислать на днях и остальные свои тетради...»[51].

Как и многие декабристы, Батеньков был противником замены русских слов иностранными, однако считал, что, при отсутствии в русском языке соответствующих слов для наименования тех или иных отвлеченных новых понятий или предметов, лучше не выдумывать русские, а употреблять иностранные слова, разработав лишь правила их правописания и произношения. Резко выступал Батеньков против другой крайности — против теорий А. С. Шишкова, которого он иронически называл «поборником фиты и ижицы, мощным карателем оборотного „э“ и беззаконного „е“ с двумя точками». Когда Шишков занял должность министра просвещения, Батеньков выразил опасение, что он авторитетом власти попытается воздействовать на русский литературный язык. В присущей ему сатирической манере Батеньков в мае 1824 г. писал А. А. Елагину: «... из русского лексикона хлынут эмигранты, принадлежащие к шайке инсургентов новой школы. *Влияние* уступит *навождению*, *гений* заменится *розмыслом*, *уважению* явится на смену *главенство* ⟨?⟩ и *соображение* запищит под пятою *умозаключения*.—„Быша“ и „убо“ всплывут наверх, яко елей на источнике водном, имена займут принадлежащее им место на правом, а все глаголы на левом фланге периодов и таким образом устроится боевой порядок против нечистой силы карамзинизмов, жуковскоизмов, пушкинизмов...»[52]. В том же письме Батеньков заявлял, что не желает употреблять ни «оного» ни «сего», и действительно, в его рукописях мы почти не встречаем этих слов.

Литературный язык Батеньков делил на язык художественной литературы и язык научных трактатов, юридических и официальных актов, считая, что каждая из этих ветвей русского литературного языка может и должна иметь только ей присущие особенности и свои собственные пути развития. Выдающееся место в истории развития литературного языка юридических официальных документов Батеньков отводил Сперанскому, чьи заслуги в этой области он сравнивал с заслугами Карамзина и Пушкина в художественной литературе.

Интерес к литературе пробудился у Батенькова еще в отрочестве. В своих воспоминаниях он писал, что, получив после смерти отца свободу, он подружился с подмастерьями и часто бегал в иконописную мастерскую одного своего родственника (с материнской стороны), где в перерывы или во время работы читали книги, «а после, как умели, старшие разбирали их». «Живительнее всего,— пишет Батеньков,— были сочинения Карамзина „Путешествие“, „Аглая“, „Безделки“. Иногда восторгались и парили с Державиным и находили ближе к сердцу Дмитриева, Богдановича, Долгорукова»[53]. Во время учения в корпусе влияние на литературные интересы Батенькова имела дружба его с В. Ф. Раевским. Даже в Сибири, в пору многосторонней деятельности Батенькова, его интерес к литературе не угас. Поддерживая постоянную переписку с А. А. Елагиным и В. Ф. Раевским, Батеньков получал литературные новинки. 20 июля 1817 г. он писал Елагину: «Тебе известно, что я люблю словесность и следственно прочесть хорошее творение всегда мне приятно. Зачем же прямо не прислал всего того, что Жуковский тебе сообщил?» В том же письме Батеньков просил Елагина письменно познакомить его с Жуковским, что, очевидно, тот и сделал.

Приехав в 1821 г. в Петербург, Батеньков был введен Сперанским в общество высших чиновников, а зятем Сперанского, Багреевым — в

светский круг. Однако не чиновничество и не «свет» интересовали Батенькова. «Мне хотелось,— пишет он, — познакомиться с учеными и литераторами. Начал с Воейкова, через Жуковского, а потом встречал всех у Греча. У последнего были приятные вечера, исполненные ума, острот и откровенности. Здесь узнал я Бестужевых и Рылеева»[54]. С Гнедичем, Н. И. Тургеневым, Н. А. Бестужевым и некоторыми другими литераторами Батеньков познакомился на «четвергах» у Сперанского. Особенно сблизился Батеньков с Жуковским, Николаем Бестужевым, Корниловичем, Дельвигом и автором «Дурацкого колпака», В. С. Филимоновым. Вспоминая впоследствии эту пору жизни, Батеньков писал: «я 〈...〉 пустился в литературу, в политические толки и, рассеявшись в суетности, почти расстался с математикой, с делами и со Сперанским»[55]. И действительно, с мая 1823 г. и до конца 1825 г. Батеньков был непременным участником литературных вечеров и вообще литературной жизни Петербурга. Из сохранившейся переписки его с Елагиным мы видим, что он был в курсе всех литературных событий и новостей. Известную агитационную песню Рылеева «Ах, где те острова...», которая, по мнению литературоведов, сочинена была в начале 1824 г., Батеньков цитировал уже в первых числах марта 1824 г.

Мысли Батенькова о современной ему литературе отражают мнения прогрессивных литераторов, с которыми он общался. В его письмах рассеяны насмешки над Тредьяковским, Шишковым, Хвостовым, Каченовским, Булгариным и т. п. «Битва между Булгариным и Измайловым продолжается,— писал он в мае 1824 г.— Ежели правда, что судьба предоставляет решительную победу одной правой стороне, то нам не дождаться конца сей чернилопролитной брани». Сообщая Елагину о своем недомогании, Батеньков в декабре 1824 г. в шутку объяснял ему, что причина болезни — сон: он видел во сне приятеля Елагиных, П. С. Граве, «с тюком каченовщины, со стихами на губах и с Дураковым в сердце».

Батеньков не только наблюдал события литературной жизни, но и активно участвовал в них. В начале 1825 г. он писал Елагину: «На „Телеграф“ собирается сильная экспедиция: всячески стараюсь смягчить ее удары и чуть уже не поссорился с польским выходцем 〈Булгариным〉, который, мимоходом сказать, что-то поморщился, когда я постращал его Одоевским».

Иногда литераторы собирались у Батенькова на «холостяцкие вечера». «У меня сегодня весь петербургский Парнас»,— писал он 20 января 1825 г. Здесь вели литературные и политические дискуссии, читали новые произведения, иногда музицировали. На одном из таких вечеров в начале 1825 г. была исполнена «Черная шаль» Верстовского на слова Пушкина[56].

С Пушкиным Батенькову познакомиться не удалось, но он высоко ценил гений Пушкина и уже в начале двадцатых годов считал поэта главой нового, романтического направления в литературе.

Вернувшись из сибирской ссылки в Россию, Батеньков снова пытался войти в литературный круг. Он переписывался с Гоголем, Некрасовым, Полевыми, Краевским, Аксаковым, Хомяковым, Бартеневым, встречался с московскими литераторами на вечерах у М. С. Щепкина. Но такой активной роли, как в двадцатых годах, Батеньков играть уже не мог.

III

Еще в молодости Батеньков начал писать стихи, называя себя «военно-походным поэтом». Геденштром рассказывает, что Батеньков «легко и много писал стихов; я много читал его басен, но и тут только сатира, сарказм, более на известных лиц и нравы»[57]. Эту особенность признавал

за собой и Батеньков. «... люблю обнаруживать смешное во всем, где бы оное ни скрывалось»,— писал он Елагину. Поэтическое творчество, по словам Батенькова, давалось ему не так легко, как полагал Геденштром, и редко оставался он доволен своими произведениями. «Я все же попрежнему не перестану писать,— заявляет он Елагину.— Жаль только, что в упрямстве сего рода не превзойду автора Андромахи и бессмертного певца Телемака. Разве тем перещеголяю их, что

Я и то люблю писать,
Чего не примут и в печать»[58].

Важнейшая тема творчества Батенькова — любовь к родине.

Я — русский, гордо бьется сердце
При имени России...

Батеньков считал, что именно в поэзии с особой силой проявляется красота русского языка, что поэт своим творчеством способствует прославлению родины.

Когда без всякого покрова
Певец увидит красоту
И звуками родного слова
Оденет легкую мечту,
Он все отечество возносит...[59]

Стихотворения Батенькова, посвященные России, это не только хвалебные гимны красоте и величию страны, где никогда «не перестает сиять светило дня»,— в стихах выражается уверенность в великой судьбе русского народа. Народ

Становый горб столкнет надменный,
Торопца лоб взнесет смиренный,
Лишит Сибирь потопных вод,
Прорвет Хвалынского преграды,
Все Черное сожмет в ограды,
Пересоздаст Яфетов род...[60]

Даже в мрачном каземате Алексеевского равелина Батеньков славил родину, предсказывая ей светлое будущее:

Светися, красная, светися
В холмах седых, Россия мать!
До пальм Сиона вознесися.
Его с тобою благодать.
В тебе да будет непорочность,
В тебе да будет силы прочность,
Богатство, слава притекут,
Урал под золотом прогнется,
В алмазах Волга разольется,
Зев Дона жемчуга́ запрут[61].

Отводя поэтам важную роль — освещать своими пророческими стихами будущность России —

Твои певцы тебе укажут
Судеб господних глубину...

АВТОГРАФ ОТРЫВКОВ ИЗ «ТЮРЕМНОЙ ПЕСНИ» Г. С. БАТЕНЬКОВА, СОЧИНЕННОЙ В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАВЕЛИНЕ В 1828 г. И ПОЗДНЕЕ ВОСПРОИЗВЕДЕННОЙ ПО ПАМЯТИ

Лист рукописной тетради, подаренной Батеньковым С. П. Трубецкому

Центральный исторический архив, Москва

— Батеньков предсказывал расцвет русской поэзии:

Исчезнут слабые творенья.
Как Тенериф, свой пик взнесут
Певцы великого размера
И можно там спросить Гомера,
Где лавры для венцов растут...[62]

Интересно отметить, что в патриотических стихотворениях Батенькова мы не встречаем ни шовинизма, ни восхваления завоеваний, ни даже похвалы безусловно заслуженной славе русского оружия. Все его желания и стремления относятся к переустройству внутренней жизни России. Главное в жизни России, — по мысли Батенькова, — это ее движение к великому будущему.

Самым большим по объему стихотворением Батенькова, написанным во время одиночного заключения, является «Тюремная песнь» (1828). Батеньков рассказывал, что в Алексеевском равелине ему не давали ни бумаги, ни чернил, и поэтому он сочинял стихи «на память». Позже, выйдя из крепости, он частично восстановил и записал их. Сохранилось несколько записей «Тюремной песни», сделанных Батеньковым в разные периоды жизни. Наиболее обширная из них — та, которая была подарена Батеньковым С. Н. Бибиковой — дочери Никиты Муравьева.

В конце тетради, содержащей этот вариант песни, Батеньков написал: «Это была полная, законченная песнь. Не было средств записать ее. Составленная на память ⟨она⟩ невозвратно забыта. Здесь представляются отрывки. Есть и другие песни, но изменяет во многом воспоминание. Здесь только ответ на вопрос, как можно человеку жить в тесном заключении одному почти четверть века в цветущие лета жизни»[63].

«Тюремная песнь» в том виде, в каком Батенькову удалось ее вспомнить, состоит из 50 строф, а каждая строфа из 10 строк. Написана «Песнь» четырехстопным ямбом, строки рифмуются в таком порядке: первая с третьей, вторая с четвертой, пятая с шестой, восьмая с девятой и седьмая с десятой. Эта строфа характерна для большинства стихотворений Батенькова.

«Тюремная песнь» — то произведение Батенькова, на котором наиболее сильно сказалось влияние Державина. Начало «Песни», строки, посвященные «богине светлой» («вдохновению»), звучит совсем по-державински:

...Богиня светлая предстала,
«Я мать певцов, — она сказала, —
И, вняв усердный глас мольбы,
Тобою к небу возносимый,
Даю удел, тобой просимый,
И жезл переломлю судьбы.
Будь жив дарами вдохновенья,
Из них текут людей умы,
Небесного благословенья
Принять не могут дети тьмы.
Да будет путь твой — просвещенье,
Да будет вышнему служенье,
Воззри на свет моих миров!»
Молился я и удивлялся,
Как весь состав мой изменялся,
И темный пал с очей покров[64].

«Песнь» состоит из картин, мало связанных одна с другой. Сам Батеньков располагал их в разное время по-разному и часто пользовался отдельными строфами для иллюстрации своих мыслей.

В «Тюремной песни» отразилась романтическая теория вдохновения:

Когда, земное оставляя,
Душа бессмертная парит,
По воле все располагая,
Мир новый для себя творит,
Мир светлый, стройный и священный,
Когда один я во вселенной,
Один — и просто божий сын.
Как пульс огнем, не кровью бьется,
Тогда и песнь рекою льется,
И языка я властелин[65].

Следует отметить, что только в своих тюремных стихах Батеньков требовал от поэтов, чтобы они оставляли «все земное». До заключения и после него он обыкновенно осуждал мифологические сюжеты, выспренность и ходульность, присущую стихам некоторых его современников. Но и среди пышных аллегорий, которыми наполнены строфы «Тюремной песни», встречаются картины, вполне конкретного содержания; «видения» Батенькова часто таят в себе скрытую за цветистыми фразами социальную идею:

Смотри! там лаву по долине
Седая Этна пролила,
И много лет прошло доныне,
Как лава в пламени была.
Там розу девушка срывает,
Там земледелец хлеб снимает,
Там ратник точит ржавый меч.
Как тихо здесь успокоенье...
Но в глубину пусть вникнет зренье —
Огонь все продолжает течь[66].

Из лирических стихотворений Батенькова сохранились до нашего времени (главным образом в архиве Елагиных) немногие: «Ты что-то читаешь...», «Люблю я тебя, молодая...». Сохранились также переводы псалмов. Подбор их, фразеология, принятая Батеньковым, не оставляют сомнения в том, что в псалмах он хотел выразить не религиозные идеи, а возмущение несправедливыми общественными делами и порядками:

Зачем волнуются языки
И люди учатся тщете?
Везде бессмысленные лики
И поклоненье темноте.
　　Цари сбираются земные
　　С толпою низких их рабов,
　　Горой упасть стремятся злые
　　На бога и его сынов...
...Цари и сильные, внимайте!
Ищите жизни вы в делах,
Со страхом божьим управляйте
И трепещите на пирах![67]

Если сравнить стихотворный перевод с текстом псалма, то цель Батенькова станет вполне ясной. Две последние строчки первой строфы

Батеньков вставил от себя, в тексте псалма их нет. В начале второй строфы он строку, в которой, после царей, говорилось о совещаниях князей, заменил строкой, говорящей о низких царских рабах. Две последние из приведенных строк соответствуют следующим словам подлинного текста псалма: «Служите господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Как мы видим, Батеньков коренным образом изменил их.

Мы привели отрывки лишь из некоторых поэтических произведений Батенькова; сохранилось их значительно больше («Песнь девы», «Отрывок», «Таинство», «Песнь Симеона» и др.). Поэтическому творчеству Батеньков посвящал немало времени, но свои стихи он не всегда находил удачными. «Я поэт, — писал он, — но поэзия моя не легче моей философии»[68].

Из прозаических произведений Батенькова сохранились лишь отрывки «Нескладного романа». По содержанию чернового письма Батенькова к А. А. Краевскому видно, что в конце сороковых годов он посылал Краевскому нечто вроде романа в форме переписки трех друзей.

Из драматических произведений Батенькова до нас дошло только второе действие пьесы «Борис Годунов». Кроме того, сохранился перечень действующих лиц и план драмы «Ум в форме драматической». Действие драмы «Ум» должно было развертываться в Риме в I в. н. э. Эту драму Батеньков называл автобиографической. Главные действующие лица: «Христианин Гавриил» (Батеньков), «государственный муж Михаил» (Сперанский), «поэт пророк Аполлос» (Рылеев?) и какое-то «главное лицо» — «Дионисий». Кого имел в виду Батеньков, когда создавал Дионисия, трудно понять, не зная текста. Батеньков замаскировал «главное лицо» довольно тщательно, а оно-то как раз и представляет наибольший интерес. Первое действие озаглавлено «В семействе Гавриила»; оно, как видно, должно было воспроизвести жизнь Батенькова в Сибири. Второе действие — «В Комитете», очевидно, отражало события 1825—1826 гг.; третье действие — «В тюрьме» — одиночное заключение. По названию четвертого действия, «Обращение Дионисия», и пятого, «Развязка», трудно судить об их содержании. В форме аллегории Батеньков мог бы сказать больше, чем рискнул сказать в своих мемуарах, вот почему утрата этой пьесы — весьма существенная потеря для исследователя.

Вторую пьесу о событиях в Московском государстве в начале XVII в. мы называем «Борис Годунов» условно, руководствуясь лишь пометой Батенькова на полях рукописи: «Из Бориса». Сохранившиеся десять листов второго действия этой пьесы (а написано было больше) показывают, что при основательном знании истории, а также языка и быта начала XVII в., при явном стремлении Батенькова сделать драму сценичной (сложная интрига, хоры и т. п.) она все же как драматическое произведение слаба. Монологи слишком растянуты, вся пьеса мало динамична и вообще недоработана. Действующие лица, кроме Годунова, Шуйского и некоторых других, обозначены буквами и цифрами: «боярин А», «боярин Б», «дворянин I», «дворянин II» и т. д. В то же время эта пьеса, в отличие от других литературных произведений Батенькова, написана простым языком, без присущей Батенькову туманности выражений. И в ней — хотя и косвенно — отразились события «нового смутного времени» — 1825 г.[69]

Занимался Батеньков и литературной критикой. Он воспитывался на литературе XVIII в. и первых годов XIX в., но тем не менее был непримиримым врагом классицизма. Среди поэтов XVIII в. он признавал только Державина, которому подражал во многих своих стихах («В стране Борея», «Тюремная песнь», переводы псалмов и т. п.). В конце двадцатых годов, вопреки насмешливой критике, которой подвергала литературная молодежь поэзию Державина, Батеньков писал:

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ Г. С. БАТЕНЬКОВА «К МАТЕМАТИКЕ» И ОТРЫВКА ИЗ «ТЮРЕМНОЙ ПЕСНИ»

Лист рукописной тетради, подаренной Батеньковым С. П. Трубецкому

Центральный исторический архив, Москва

Когда восторженной душою
Державин звезды с выши здел,
Как в мразный ясный день зимою
Пылинки инея, удел
Ему, тот дан для миллионов,
Чтобы возвысить дух Солонов,
Мелькнувших в Севере тогда...[70]

В первой половине двадцатых годов Батеньков считал себя сторонником романтизма. В 1824 г., когда А. С. Шишков был назначен министром просвещения и некоторые литераторы оценивали его назначение как победу классицизма, Батеньков писал Елагину: «Итак, наконец, судьба романтической поэзии решена. Сие исчадие модных лет, сей баловень безбородых пестунов обязан обратиться в первобытное свое небытие. Седой классицизм возьмет принадлежащие ему права»[71]. С течением времени романтическая поэзия, и в частности произведения Жуковского, перестала удовлетворять Батенькова. В 1849 г. он писал Елагиной: «Поэзия теперь окована схоластическими и мифологическими формами: она в куколке, труп минувших веков еще не убран»[72].

Батеньков был высокого мнения о роли поэзии и призвании поэта. Поэт

Такую должен класть печать,
Что в тоне, красках песнопенья
Без святотатства и смятенья
Нельзя и черточки отнять[73].

Предъявляя высокие требования к поэзии, Батеньков, вместе с тем, осуждал поэтов и писателей за то, что пишут они «лишь для людей образованных» и не стремятся сделать свои произведения доступными для народа. «Новые писатели, — писал он Ф. В. Чижову в 1858 г., — при всем их огромном достоинстве обращаются вообще в кругу читателей, получивших университетское образование 〈...〉 При всей высоте и изяществе их языка, они не тяготеют и не проницают в глубину 〈общества〉»[74]. Батеньков не ограничивался отдельными критическими высказываниями о литературе своего времени, но и пытался (в конце 40-х годов) обобщить историческое развитие новой русской литературы, «первым меридианом» которого он считал XVIII век.

В истории новой русской литературы Батеньков видел три вершины, три «шпиля», по его выражению: это Ломоносов, Карамзин, Пушкин. Каждый из них был главою русской литературы в определенный период ее развития. Эпоху Ломоносова Батеньков назвал «эпохой образования костей, в состав которых вошли: просвещение, живая вода и органичность великого народа». Рассматривая историю литературы более широко — как «историю словесности», Батеньков заявлял, что произведения Ломоносова неполно отражают развитие литературы того времени. «Ломоносов, — пишет он, — вместе со своим веком значит обновление словесности в духе, идее и форме. Он выразил это обновление как представитель и с тою естественною неполнотою, которая свойственна всякому представителю. Полноты этой не могло быть ни в гении его, ни в деле уже по тому одному, что он не занимал центрального места в обществе. Он не видел или едва видел по проспектам политическому и церковному». Батеньков считал, что полноту развития русской словесности в XVIII в. могло бы отразить лишь «слияние» или «эксцентричное соединение» Ломоносова с Петром I. «Слейте Ломоносова с Петром — точно будет уже средоточие». Время Карамзина Батеньков характеризовал как такой период, когда «исправление и усовершенствование готового основания» не могло уже удовле-

творить «потребности в расширении и углублении литературы». Этим потребностям, по словам Батенькова, и удовлетворял Карамзин, который «обильнее напитался живой водой, доводит ее до самого городского населения и открывает, что в общем тоне просвещения уже она туда достигла».

Пушкинский период Батеньков определил как время господства в литературе общественных идей. Для того чтобы яснее понять это определение, данное Батеньковым в весьма замысловатой формулировке, надо остановиться на выражении Батенькова «живая вода», употребленном здесь несколько раз. Сам он по каким-то причинам, быть может из боязни цензуры, не расшифровывает этого выражения; если же проанализировать мысли Батенькова, высказанные в данных отрывках, то можно предположить, что «живая вода» должна, очевидно, означать — живой дух, то есть идейное содержание.

О Пушкине Батеньков говорит так: «Пушкин довел живую воду до своего „я". Так и следовало, ибо в его время эгоизм поглощен уже был и растворен в массе государственной жизни»[75]. Повидимому, мысль Батенькова была такова: социальные идеи стали основным содержанием произведений Пушкина; идеи, присущие ему как индивидуальности, личности, являлись отражением тогдашней общественной жизни России.

В том же смысле употребляет Батеньков формулу «живая вода» и в своей статье о творчестве Гоголя, публикуемой ниже.

Об отношениях Батенькова к Гоголю надо сказать особо. С произведениями Гоголя он ознакомился после освобождения из Алексеевского равелина, в 1846—1847 гг. Повести и комедии Гоголя, а в особенности «Мертвые души» Батеньков считал «прекрасными», «своевременными», «удовлетворяющими вопиющей потребности». Однако он полагал, что Гоголь должен был идти дальше, подняться на высшую ступень, перейти к обличению «пошлости второй степени» — социального и политического строя России.

Прочитав «Исповедь» Гоголя, Батеньков увидел, что великий писатель заблуждается, что талант его в опасности. В своих «Данных» Батеньков сообщал: «... зная вполне его состояние, желал я изъяснить ему его: написал сряду два к нему письма; одно, и лучшее, не дошло. На другое он отвечал, благодарил и обещал не почитать свои „Мертвые души" ни слишком великим делом, ни грехом смертным»[76].

Переписка эта, повидимому, не сохранилась. В бумагах Батенькова есть лишь отрывок из одного письма к Гоголю; в этом письме он развивает ту мысль, что Гоголю необходимо дальнейшее идейное развитие, чтобы наполнить новым содержанием вторую и третью части «Мертвых душ».

«Выше тебе замечено, — пишет Батеньков, — что не издал в свое время вдруг всей поэмы. Ты в своих героях имеешь уже дело с людьми известными, проглядывающими в историю, с людьми, принадлежащими всему государству. Оставаясь просто поэтом, ты нам уже ничего не скажешь. Надобно перестановить мысль и возвысить пошлость уже во вторую степень. Предстанут тебе не взятки, а дурное расположение дел, ложное об них понятие ⟨...⟩ Пожалуй, и эта, второй степени пошлость уместится в губернском городе, но корни-то ее уже не тут. Они в общем бассейне народного быта. Нет губернского города, который бы был самим собою. Эти нити, которые связывают его со столицею, ужели никогда не темнеют и не ржавеют. По ним и идет тон ⟨...⟩ Ты резко напал на взятки и усвоение казны ⟨казнокрадство. — *Т. С.*⟩ и хорошо сделал, но хорошо для первой только части. На тебе лежит еще долг подняться во вторую, да ведь так подняться, что надобно и первую-то поднять с собою и в меру возвышения углубиться». Далее Батеньков выражает сомнения в действенности обличений

в литературе, утверждая, что все равно царское правительство не будет бороться со взяточничеством из боязни ослабить свою власть. «...Думаете⟨...⟩ достигнуть цели через поношение и уничижение? Едва ли. Чорт не выгоняет чорта ⟨...⟩ взятки у нас необходимое ⟨то есть неизбежное.— *Т. С.*⟩ последствие исторического развития. Оно в существе наших форм ⟨...⟩ неразумно было бы форме ослаблять себя простыми слабительными и потогонными»[77].

Те же мысли мы видим и в публикуемой ниже статье Батенькова по поводу появившихся в печати сообщений о предстоящем выходе в свет второй части «Мертвых душ». Особенно примечательны заключительные фразы статьи: «... нам страшно, что Гоголь впадает в мистицизм, прямой или патриотический. С этого камня преткновения нельзя сойти иначе, как напившись до полного насыщения живой воды».

Послал ли Батеньков эту статью в какое-либо повременное издание — неизвестно; но то, что она предназначалась для печати, подтверждается наличием нескольких черновиков. Один черновик переписан рукой неизвестного, очевидно — писарем.

Гораздо позднее — 14 ноября 1857 г. — в письме к Е. И. Якушкину Батеньков жаловался на то, что написанные им большие работы пропали в разных редакциях, в том числе «у ⟨В. Д.⟩ Корнильева — Гоголь»[78].

Часто писал Батеньков мелкие критические статьи и заметки для «Отечественных записок» (он считал этот журнал самым передовым), для «Русского инвалида», «Русской беседы» и других повременных изданий; большинство критических статей носит публицистический характер.

Надо заметить, что Батеньков не причислял себя к профессиональным литераторам или компетентным литературным критикам. «Не беру я на себя, — писал он Ф. В. Чижову, — писать роскошным и украшенным слогом, не ищу места между литераторами ex professo. Мне свойственна только простая, так сказать, линейная, рескриптивная часть и, пожалуй, того же рода критика»[79].

Впрочем, один вид литературного труда — переводы — Батеньков после возвращения из ссылки собирался сделать своей профессией, но это ему не удалось — ни одна из его переводных работ не была напечатана.

Переводами Батеньков начал заниматься еще до 1825 г., находясь на службе в Сибири. Переводил он главным образом с французского. В 1817 г. он перевел книгу Буланже об исторических корнях суеверий, обычаев и обрядов. В Томске Батеньков переводил статьи из периодических изданий. После амнистии он усердно занимался переводом исторических трудов, рассчитывая их опубликовать. Им были переведены: «Призвание писателя» Шарля де Ремюза, «Старый режим и революция» Токвиля, «История Франции XVI в.» Мишле и огромный труд Лебо — «История Византийской империи».

В конце пятидесятых годов Батеньков просил Е. И. Якушкина подыскать ему издателя для переводов с французского. Подбирая книги для перевода, Батеньков руководствовался не «спросом», а соображениями о «пользе просвещения». Так, например, книгу Токвиля он считал не только интересной, но «во многом наставительной». Необходимость перевода истории Византии Батеньков доказывал соображениями образовательными (связь с историей Руси) и тем, что Лебо, как историк, принадлежит к критическому направлению; очевидно, труд Лебо привлекал внимание Батенькова главным образом детальным исследованием причин упадка и краха империи. Надо думать, что и это произведение Батеньков считал «наставительным».

Батеньков охотно переводил сочинения XVIII в., причем, хорошо зная

АВТОГРАФ «ТЮРЕМНОЙ ПЕСНИ» Г. С. БАТЕНЬКОВА, СОЧИНЕННОЙ В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАВЕЛИНЕ. 1828 г.

Первая страница рукописной тетради стихотворений Батенькова, подаренной автором С. Н. Бибиковой

Центральный архив литературы и искусства, Москва

русский и французский языки, старался сохранить в переводе колорит оригинала. Если, кроме того, учесть, что стиль самого Батенькова носил на себе печать некоторой архаики, то совершенно естественно, что переводы его в шестидесятых годах казались устарелыми. Впрочем, Батеньков и не старался сделать свой язык более современным. В 1858 г. он писал Чижову: «Мои выражения всегда обдуманны и ежели встречаются в них необычные, я неохотно их уступаю, ибо не хочу пускаться и по прекрасному, но не своему току»[80].

Итак, Батеньков был причастен к литературному движению декабристской поры. Правда, бо́льшая часть из дошедших до нас его произведений относится уже к сороковым — пятидесятым годам, но и они собственно не выходят из круга идей декабризма. Надо учесть, что Батеньков, на целых двадцать лет исключенный из общественной жизни, а затем на десять лет удаленный в ссылку, «остался», по выражению Е. И. Елагиной, «на уровне тридцатилетнего». И это верно. По своим воззрениям Батеньков и в начале пятидесятых годов был носителем идей декабризма. В последние годы своей жизни Батеньков понял, что в новых условиях декабристские планы военной революции не осуществимы. Незадолго до смерти Батеньков говорил Е. И. Якушкину: «Теперь идти этим ⟨декабристским. — *Т. С.*⟩ путем уже невозможно, уже нельзя овладеть управлением так легко, как в наше время. Теперь, может быть, только одно средство и есть — *пропаганда*»[81].

Советские историки и литературоведы должны изучить литературное наследие Батенькова, деятельность и мировоззрение этого видного декабриста, которого Рылеев охарактеризовал как «человека с обширными сведениями, любящего свое отечество и готового жертвовать собою для его блага...»[82].

ПРИЛОЖЕНИЕ

<СТАТЬЯ Г. С. БАТЕНЬКОВА, НАПИСАННАЯ В СВЯЗИ С СООБЩЕНИЯМИ О ВЫХОДЕ В СВЕТ ВТОРОЙ ЧАСТИ «МЕРТВЫХ ДУШ» ГОГОЛЯ (1849)> [83]

Новый литературный подарок Гоголя его прежние друзья, а еще более ветхие денми, встретят с наслаждением и благодарностию. Истина его таланта сомкнет свой круг; обуревающее его беспокойство предстанет побежденным; оправдано будет делом нравственное требование. Он странствовал в себе, а такие туристы, особенно грамотные, крайне редки. Мы иметь будем от умного, искусившегося свидетеля слово в подкрепление нашего убеждения, что перст, развивший новые мысли в двух половинах столетий с их добром и злом, в их дидактической важности и в их игривых красотах, действовал не в умножение грехов наших и не в обременение бедной совести. Да хотя бы и то и другое, все же во исполнение общей меры по требованию вечной правды, по которой лицо необходимо слагает часть своей ответственности на целый род.

В самом деле, первая часть поэмы была своевременна, удовлетворяла вопиющей потребности. Трудно и выразить, как веселила она душу живою игрою молодого наблюдательного ума, вырвавшегося на широту гражданской жизни, созревшей и готовой к принятию всего впечатления.

Но не должно ошибаться и в том, что целую громаду жизни время сдвинуло с прежней черты и далеко, далеко унесло от желаний и ожиданий, которыми она была повита; унесло, верно, уже невозвратно. Едва ли не все теперь чувствуют, что время сообщило всю свою скорость делам и, поглотив их историческую громаду, само под ними отяжелело. Действуя некогда на бытия отдельные, оно пожирало их разрушенными; теперь стремится быстро пожрать собственные свои тысячелетние звенья со всем их произведением. Должно знать время, когда принимаешься писать. Чего теперь хотят? Кто будут читатели Гоголя? Чего пожелают от изящного литературного произведения? И что особенно потребно для возникающего вновь поколения, чтоб сообщить ему себя, а не увлечь авторитетом на ложный путь? Вот вопросы, которые решить нелегко. Прелесть новости «Мертвые души» иметь уже не могут, а вместе с тем не будут иметь и свежей силы, ежели после паузы не возникла она вновь сама из себя. Большинство примет книгу, как недоимку, несвоевременно заплаченную, и потребует от современного поэта, чтоб рассек (Гордиев) узел, затянувшийся из новых прядей.

Надобно отгадать современное направление экваториально и открыть его наклонение к прежнему. Тут полярная звезда никому неизвестна и чрез отрицание только предполагается.

Между тем цивилизация стареет и стареет, уносит с собою в гроб всё накопленное богатство, ничего не оставляя в наследство. Кажется, ничего еще не начато, а будущая тысяча лет грозит наступлением и на прежнюю ни в чем походить не должна. Напрасно будем ссылаться на вечные законы ума и порядка, они точно еще не открыты, а может быть еще и не созданы. Бог ничего не повторяет. Напрасно прибегать будем и к последовательности явлений. Это уже было и, кроме реформ логики, далее никакой последовательности не представляет с этой точки зрения. Человек представляется в будущем жителем новым на земле. Жилище не его, история ему чуж<д>а, нравы сгладились, наука громадна и не им самим составлена и изобретена, все учреждения общественные чрезмерны и для него уже не концентричны.

Хотя петербургские критики трухнули при имени Гоголя и отрыли на справку, что он предвидел в похождениях Чичикова странствие его

с самим автором, однако нынешний Парнас, погрязнув в прозаической письменности и осудив, яко анахронизм, всякую склонность к поэзии, едва ли будет в силах встретить, как должно, новый труд известной знаменитости, хотя бы и добросовестно натуживался проявить на это свою волю. Так было при появлении последних песней Жуковского. В самом деле, как-то книга письменностию-то своею становится ощутительнее, нежели самое яркое ее содержание, и, чтоб писать с успехом, надобно точно дать почувствовать, что письменность тут только средство. А для этого Моисей теперь потребен, чтоб громами Синая разбудил спящую натуру и прошел по ее пустыням огненным столпом прежде, нежели кастальские воды заструятся.

Настоящее поколение оглушено временем и пространством. Железные колеи, по которым катится общество, издают свой собственный шум и свист, гонят гармонию, и трудно быть такому звонкому дисканту, который бы через весь вакарм * мог быть слышен. Поэзия Гоголя проникала прежде до внутренности души. Юности, богатой наследием предков и еще не разлучившейся с непосредственным прогрессом и с движением ожившего предания, восхитительно было группироваться около такой прелестной невесты и действительно окружать ее силою и блеском. Теперь уже насильственно или естественно, но дух убит, сердце переродилось, ум иначе организовался, всё стало — хозяин с хозяйкой — то золотой песок, то с наливкой бутыли. Юмор против течения ничего не может. Станется, что в новом моменте жизни, пронеся крест и осмотрев обе стороны (лицевую и изнанку) своего дара, поэт наш, уже чуждый страха, удовлетворит всем требованиям и победоносно их направит. По крайней мере этого не мертвые души все желают.

Эскиз так представляется: в 1849 году Чичиков уже важное лицо. Вся Россия знает его: Гоголь публиковал необыкновенную его историю. Это должно иметь решительное влияние на особу героя и на все последующие дела и обстановки — и всё опять должно быть современным.

К счастию, с пошлым человеком далеко можно теперь унестись; это, вероятно, поэт и предвидел; по крайней мере, во времени такт его верен.

В Гоголе побывал теперь Чичиков в Палестине, побывал в Риме — знаменитый человек! Всё переменилось: теперь едва ли уже Хлестаков не городничим, и дух его едва ли не вознесся до парения в департаментах. Ежели есть потребность лести, то надобно уже лесть новую, небывалую, с концепцией, с выводом. Главное — надобно веровать. Чувство, доброе и светлое, ум последовательный, хотя бы растворен был пошлою жизнию до насыщения, всегда от бога и должен быть предпочтен страху, ложному стыду и сомнению, которым найдется всегда в книге довольно места, волею и неволею. Ежели свободный дар стала перевешивать громада — положительная, простая тысячелетняя давность, неосмысленный авторитет, требование личного опыта, — то необходимо усилить концепцию. Тогда, по свойству света, она (концепция) и новый путь себе проложит через непрозрачность явлений и прогонит окрестную тьму, отбросив, где следует, стройные тени. Они по самой истине их уже не укоризненны, а свойство тьмы есть пугать и смешивать. Эта концепция должна быть та же, что была (ибо Гоголь в прежних творениях точно прекрасен), та же, но непременно в новом моменте. Может быть, ниже, басистее, но зато несравненно глубже.

С течением новых понятий вошло у нас много иностранных слов и оборотов. Это было нужно, чтоб изъясниться формулами и дать речи новые исходные точки. А как язык должен содержать в себе полное слово, удовлетворять всем потребностям народа, то далее дело писателей отделить

---

* оглушительный шум (франц.).

и выразить изящное и оставить формулы при их символах как достояние философии. Слог Гоголя неукоризненно разумен, у него не найдешь нечистой фразы, где бы метафорическое выражение показывалось не помнящим своего родства или гипербола и с наставками короче была бы простого смысла. О! как часто нам доводится встречать выражения: «религиозные верования», «религия играет роль», «мимолетное наслаждение России», «животрепещущее вдохновение», «вдохновение свое небу посвятил», «обожает музыку», «обожает бога» и проч. и проч. Писатели забыли, что ткать из всех ниток без разбору Моисей запретил.

В отдыхе 8 лет можно удовлетворительно вместить всякий перелом. Но как это средство употребил уже раз Сервант, то опять ума требуется разойтись с ним. Впрочем, этот автор сам, кажется, меньше участвовал в событии, и надобно пройти контролем: сохранил ли он естественные размеры? А целое общество не могло в то время так быстро и невозвратно изменяться. Тогда много давал опыт и понятия прямо текли из науки.

Третья часть «Мертвых душ» не отделится временем. Там ожидаем: силы, идеи, реакции.

Наконец не скроем: нам страшно, что Гоголь впадает в мистицизм, прямой или патриотический. С этого камня преткновения нельзя сойти иначе, как напившись до полного насыщения живой воды.

ПРИМЕЧАНИЯ

Таково, например, предисловие к «Одичалому» в сборнике «Поэзия декабристов». Под ред. Б. С. Мейлаха («Библиотека поэта». Большая серия). М., 1950 (в краткой биографической справке Батеньков назван здесь Гавриилом Семеновичем).

«Одичалый» в нашей статье не рассматривается, т. к. принадлежность этого стихотворения Батенькову документально не доказана.

Об утраченных произведениях Батенькова упоминает в своем обзоре М. К. Азадовский («Лит. наследство», т. 59, стр. 690, 697). См. также выше, стр. 110, 137—138.

[2] В целях облегчения дальнейшего и более глубокого изучения деятельности и творчества Батенькова считаем необходимым привести краткие сведения о неопубликованных рукописях Батенькова и документах о нем, хранящихся в архивах.

В ЦГИА, в фонде Следственной комиссии и Верховного уголовного суда по делу декабристов, хранятся: следственное дело о Батенькове (№ 359), содержащее не только материалы допросов Батенькова и показания о нем, но также довольно подробную его автобиографию (до 1826 г.), послужной список, письма к Николаю I и членам Следственной комиссии; дело о рукописи Батенькова «Теория государственных учреждений» (№ 264); следственные дела других декабристов, а также журналы и донесения Комиссии (№№ 6, 11, 25, 26, 30, 293, 295, 296, 298, 302—304, 314, 315, 360, 454 и 470).

В фонде 1-й экспедиции III Отделения имеется «наблюдательное» дело о Батенькове (№ 61, ч. 71 за 1826 г.), содержащее документы о заключении Батенькова в Алексеевском равелине, о ссылке в Сибирь, о полицейском надзоре после амнистии и т. д. В этом деле хранятся письма Батенькова к Николаю I из крепости, А. Ф. Орлову из Томска, В. А. Долгорукову и др. В секретном архиве III Отделения имеются агентурные донесения о суде над Батеньковым (в 1826 г.), о его поведении и переписке в конце 1850-х годов.

В фонде Муравьевых (№ 1153) имеются: «Тюремная песнь» Батенькова (ед. хр. 166), письма его к М. И. Муравьеву-Апостолу и сведения о нем в переписке М. И. Муравьева-Апостола с М. И. и С. Н. Бибиковыми (ед. хр. 274, 278 и др.).

В фонде С. П. Трубецкого (№ 1143) хранятся письма Батенькова к нему и к его сыну, Ивану Сергеевичу (ед. хр. 48, 161). К письмам к С. П. Трубецкому приложены стихотворения Батенькова: «К математике», отрывки из «Тюремной песни», переводы псалмов и др. Сведения о Батенькове дает также переписка Трубецкого с Е. П. Оболенским, М. И. Муравьевым-Апостолом, Н. Д. Свербеевым, И. Д. и Е. И. Якушкиными.

Фонд Н. Д. Свербеева (№ 1063) содержит его переписку с Батеньковым 1854—1856 гг. (ед. хр. 63) и сведения о Батенькове в переписке Свербеева с Трубецкими и декабристами.

В фонде Якушкиных (№ 279) хранятся письма Батенькова к И. Д. Якушкину (ед. хр. 53) и Е. И Якушкину (ед. хр. 459). Кроме того, ценные сведения о Батенькове содержатся в письмах Е. И. Якушкина и в переписке И. Д. Якушкина и других декабристов, хранящейся в этом же фонде.

В фондах В. В. Левашева (№ 973) и В. А. Арцимовича (№ 815) имеются обращенные к ним письма Батенькова.

В фонде рукописного отдела Библиотеки Зимнего дворца (ф. № 728) хранятся черновики воспоминаний Батенькова о Сперанском и письма Батенькова к М. А. Корфу, в связи с работой последнего над биографией Сперанского. Воспоминания Батенькова имеют гораздо более широкий диапазон, чем можно судить по их наименованию (здесь Батеньков приводит много данных о Сибири, по истории золотопромышленности и т. д.).

Наибольшее количество рукописей Батенькова хранится в семейном архиве Елагиных в Отделе рукописей ЛБ. Здесь сосредоточена значительная часть личного архива Батенькова: его записки, наброски по вопросам философии, экономики, истории, литературы, статистики, этнографии. Крупными работами Батенькова являются записка «О заселении Сибири», а также «Томск» и работа по истории золотопромышленности в Сибири. В этом же фонде хранится часть переписки Батенькова и черновики его переводов трудов французских историков.

Небольшое количество писем Батенькова имеется также в ЛБ в фонде Ф. В. Чижова. Кроме того, рукописи Батенькова находятся в архиве ИРЛИ, а документы о Батенькове — в ЦГВИА (ф. № 36). Материалы, относящиеся к служебной деятельности Батенькова, хранятся в ЦГИАЛ и сибирских госархивах (Томском, Иркутском и др.).

[3] М. О. Гершензон. Г. С. Батеньков.— «Русские пропилеи», 1916, т. II, стр. 22—25 (в дальнейшем: «Русские пропилеи»); Б. Л. Модзалевский. Декабрист Батеньков.— «Русский исторический журнал», 1918, № 5, стр. 107—108.

[4] «Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля». М., 1936, стр. 13 (в дальнейшем: «Письма»).

[5] Письмо Батенькова к С. П. Трубецкому от 11 апреля 1858 г. — ЦГИА, ф. № 1143, ед. хр. 48, л. 15 об.

[6] ЦГИА, ф. № 48, д. 359, л. 114.

[7] «Русские пропилеи», стр. 103.

[8] ЦГИА, ф. № 48, д. 359, л. 112.

[9] Там же. — Сравнивая Россию (в географическом отношении) с Испанией, Италией и Грецией, Батеньков находил, что в горной и пересеченной местности восстания не так легко могут быть подавлены как на равнине.

[10] ВД, т. I, стр. 66.

[11] ЦГИА, ф. № 48, д. 359, лл. 158, 91 об.

[12] Довнар-Запольский. Мемуары, стр. 182—183.

[13] ЦГИА, ф. № 1153, ед. хр. 166, л. 4.

[14] Там же, ф. № 48, д. 359, л. 136—136 об.

[15] Там же, лл. 102—103.

[16] Секретных арестантов в Петропавловской крепости в 1830—40-х гг. было только двое. Секретным арестантом № 2 был организатор тайного общества «Русские рыцари» (1830-е годы) П. Г. Карпов, который провел в одиночном заключении 16 лет, сошел с ума и умер в больнице для умалишенных в 1852 г.

[17] «Русские пропилеи», стр. 42.

[18] Там же, стр. 102.

[19] ЦГИА, ф. № 48, д. 461, л. 36.

[20] Там же, д. 61, 1826 г., ч. 71, лл. 1—2.

[21] Там же, л. 3.

[22] Там же, л. 22.

[23] Там же, лл. 5—9, 11—13.

[24] С. Н. Чернов. Г. С. Батеньков и его автобиографические припоминания.— «Воспоминания и рассказы деятелей Т. О.», т. II, стр. 59—67.

[25] Там же, ф. № 1153, ед. хр. 166, л. 7.—Позже Батеньков неоднократно говорил, что он «уходил в себя» и «жил умом», вполне сознательно стремясь сохранить жизнь и рассудок («Русские пропилеи», стр. 43; воспоминания Батенькова «О старом масонстве»— в кн. А. Н. Пыпина «Русское масонство». Пг., 1916, стр. 458—468 и др.).

[26] Николай I весьма неохотно согласился выпустить Батенькова из крепости. Сначала он потребовал медицинского освидетельствования Батенькова, а затем предложил отсрочить отправку в Сибирь до лета. Батеньков же настаивал на немедленном отъезде. Орлов и Скобелев поддержали его. Именно об этом писал Батеньков в письме к неизвестному: «И хотя располагался 846 год весь пробыть ⟨в крепости⟩ ⟨...⟩, но почувствовал крайнюю усталость, почти дряхлость и начало цынготной болезни. Это заставило меня в генваре уже настоять об отправлении в Томск. В два дня всё и кончили» («Русские пропилеи», стр. 44). М. О. Гершензон, однако, в этой цитате увидел подтверждение своей гипотезы о добровольном пребывании Батенькова в Алексеевском равелине в течение 20 лет (там же, стр. 22).

[27] Свою заимку Батеньков назвал «Соломенным дворцом» еще тогда, когда он приобрел участок земли и сколотил из теса «горенку», набив в стены между досками солому. Позже он выстроил дом в пять комнат.

[28] ЦГИА, ф. № 815, ед. хр. 365, л. 3 об.

[29] Там же, ф. № 48, д. 359, л. 90.

[30] Там же, оп. 4, д. 113, л. 8—8 об.

[31] Там же, ф. № 279, ед. хр. 459, л. 11 об.

[32] ЦГИА, ф. № 48, д. 359, л. 117.
[33] Там же, оп. 4, д. 113, л. 7 об.
[34] Там же, д. 359, лл. 59—61, 117, 64, 115.
[35] Там же, оп. 4, д. 113, л. 6 об.
[36] Там же, д. 359, л. 89 об.
[37] Там же, ф. № 279, ед. хр. 459, лл. 9 об.—10.
[38] Там же, ф. № 48, д. 359, л. 89 об.
[39] Там же, ф. № 279, ед. хр. 459, л. 16.
[40] Там же, л. 15.
[41] Там же, л. 10.
[42] Там же, ф. № 48, оп. 4, д. 113, л. 11 об.
[43] Там же, л. 11.
[44] Там же, лл. 1 об., 2, 8.— Здесь же, говоря о том, что Европа наводнена «ложными» законами, идеями и порядками, Батеньков заявляет: «... конституция тем уже не ложна, что конституция она ⟨...⟩ Плоха гишпанская конституция, однако скорее половина Гишпании погибнет, нежели бросит конституцию» (там же, л. 12).
[45] Письмо к Ф. В. Чижову от 26 июля 1858 г.—ЛБ. Шифр: Чиж. 17/8, л. 2.
[46] ЦГИА, ф. № 1143, ед. хр. 48, лл. 34 об. — 35 об.
[47] ⟨Заметки по истории⟩.—ЛБ. Шифр: Бат. 5/16, л. 1—1 об.
[48] «Письма», стр. 58.
[49] ⟨Заметки о просвещении⟩.—ЛБ. Бат. 5/17, л. 8.
[50] ЦГИА, ф. № 279, ед. хр. 459, л. 31.
[51] «Письма», стр. 139.
[52] Там же, стр. 144.
[53] Г. С. Батеньков. Данные. —«Русский архив», 1881, т. II (2), стр. 263.
[54] ЦГИА, ф. № 48, д. 359, л. 110 об.
[55] Там же, л. 111.— Об отношениях Батенькова с В. С. Филимоновым — см. стр. 574—576 настоящего тома.
[56] «Письма», стр. 139, 145, 147, 150, 151.
[57] «Воспоминания Э. Стогова». — «Русская старина», 1878, № 11, стр. 512—528.
[58] «Письма», стр. 134.— «Автор Андромахи» — Д. И. Хвостов; «бессмертный певец Телемака» — В. К. Тредьяковский.
[59] ЦГИА, ф. № 1153, ед. хр. 166, л. 5.
[60] Там же, л. 6.
[61] Там же, л. 3—3 об.
[62] Там же, л. 4 об.
[63] Там же, л. 10—10 об.
[64] Там же, л. 2.
[65] Там же, л. 4—4 об.
[66] Там же, л. 8 об.
[67] Там же, ф. № 1143, ед. хр. 48, л. 36.
[68] «Нескладный роман».— ЛБ. Бат. 1/7, л. 1.
[69] ЛБ. Бат. 6/15 и 6/16.
[70] ЦГИА, ф. № 1153, ед. хр. 166, л. 5—5 об.
[71] «Письма», стр. 144.
[72] «Русские пропилеи», стр. 61.— Замечание о «схоластических и мифологических формах» поэзии явно относится к Жуковскому, так как здесь же Батеньков помещает довольно обширный отзыв о поэме Жуковского «Рустем и Зораб».
[73] ЦГИА, ф. № 1153, ед. хр. 166, лл. 5—6.
[74] Письмо к Ф. В. Чижову от 26 июля 1858 г.— ЛБ. Чиж. 17/8, л. 1—1 об.
[75] ЛБ. Бат. 6/19, л. 2.
[76] Г. С. Батеньков. Данные. — «Русский архив», 1881, II (2), стр. 261.
[77] ЛБ Бат. 6/19, лл. 4—4 об., 5.
[78] ЦГИА, ф. № 279, ед. хр. 459, л. 25.—Кстати надо указать, что Батеньков иногда писал под псевдонимами «Ф. Остатков» или «$\sqrt{-1}$».
[79] Письмо к Ф. В. Чижову от 26 июля 1858 г.— ЛБ. Чиж. 17/8, л. 2.
[80] Там же.
[81] Сб. «Декабристы на поселении (Из архива Якушкиных)». Л., 1926, стр. 46.— Курсив наш.
[82] ЦГИА, ф. № 48, д. 359, л. 60 об.
[83] ЛБ. Бат. 6/25 (написано рукой неустановленного лица с вставками и исправлениями Батенькова).

ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА

СТИХОТВОРЕНИЕ АНДРЕЯ ТУРГЕНЕВА «К ОТЕЧЕСТВУ» И ЕГО РЕЧЬ В «ДРУЖЕСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ»

Статья Ю. М. Лотмана

Расцвет политической лирики в 1810-х годах и в первой половине 1820-х годов, жанра, наиболее полно выразившего литературную программу декабристов, связан с формированием общественно-политических воззрений дворянских революционеров и отражает этапы и пути развития их идеологии. Однако работы советских исследователей показали, что декабристы в борьбе за высокую гражданскую поэзию сознательно ориентировались на определенные литературные традиции. Поэзия декабризма связана с русской вольнолюбивой поэзией и, прежде всего, с гражданской лирикой первого десятилетия XIX в.[1] Без изучения этих связей невозможна и подлинно историческая оценка литературной программы декабристов. Несмотря на ряд ценных работ последних лет, некоторые интереснейшие поэтические произведения этой эпохи все еще находятся вне поля зрения исследователей. К числу последних следует отнести стихотворение Андрея Ивановича Тургенева (1784—1803) «К отечеству»[2], опубликованное в 1803 г. в «Вестнике Европы»:

К ОТЕЧЕСТВУ

Сыны отечества клянутся,
И небо слышит клятву их!
О, как сердца в них сильно бьются!
Не кровь течет, но пламя в них.
Тебя, отечество святое,
Тебя любить, тебе служить:
Вот наше звание прямое!
Мы жизнию своей купить
Твое готовы благоденство.
Погибель за тебя — блаженство,
И смерть — бессмертие для нас!
Не содрогнемся в страшный час
Среди мечей на ратном поле,
Тебя, как бога, призовем,
И враг не узрит солнца боле,
Иль мы, сраженные, падем —
И наша смерть благословится!
Сон вечности покроет нас;
Когда вздохнем в последний раз,
Сей вздох тебе же посвятится[3].

Появление такого яркого патриотического стихотворения закономерно вытекало из всей литературной программы Андрея Тургенева, во многом предвосхищавшей декабристские воззрения на литературу. Анализ этой программы, без которого невозможна и историко-литературная оценка стихотворения «К отечеству», подводит нас к рассмотрению внутренней жизни «Дружеского литературного общества» — литературной организации, атмосфера которой во многом определила развитие взглядов Андрея Тургенева.

Обстоятельная работа В. М. Истрина «Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев»[4] и две специально посвященные «Дружескому литературному обществу» статьи[5] не вскрыли во всей полноте картины внутренней жизни Общества. Рассматривая его как этап на пути от «Дружеского ученого общества» к «Арзамасу», автор совершенно игнорирует политические интересы ведущей группы членов «Дружеского литературного общества». Яркие политико-патриотические выступления он рассматривает лишь как досадные и не играющие большой роли пережитки старого.

«Оно ⟨общество⟩ не могло еще отделаться от старых привычек — произносить речи на моральные и политические (патриотические) темы; но участники Общества чувствовали, что идти лишь по старой дороге невозможно, им становилось скучно; отсюда возникало недовольство...»[6]. Итак, противники политической направленности Общества объявляются борцами против масонских влияний. Изучение материалов Общества заставляет отвергнуть подобное толкование.

Замечания о «Дружеском литературном обществе» разбросаны также в работах, посвященных Жуковскому[7]. Однако в этом случае Общество привлекалось лишь в плане изучения литературного окружения Жуковского и рассматривалось как этап в развитии русского сентиментализма, как своеобразное проявление экзальтированного культа дружбы.

Существование «Дружеского литературного общества» было кратковременным. 12 января 1801 г. состоялось его первое заседание, а в ноябре того же года Общество уже, видимо, перестало существовать.

Распад его был вызван не только внешними причинами (отъезд Андрея Тургенева из Москвы сначала в Петербург, а затем за границу), но и напряженной внутренней борьбой, которая разгорелась в Обществе с первых же заседаний.

Расхождение мнений между отдельными членами очень скоро вызвало раскол Общества на два противоположных лагеря: «...с сердечным сожалением вижу я, — отмечал Андрей Тургенев на собрании 16 февраля 1801 г., — что мы разделены, так сказать, на две части, и та и другая порознь в короткой связи между собою, между тем как некоторые из нас недовольно еще между собою сближены» («Речи, говоренные в собраниях Дружеского литературного общества». — Архив Тургеневых, л. 43. — В дальнейшем, при цитатах из этого источника, мы указываем только листы)[8].

Каковы же были эти группы и в чем заключалось расхождение между ними?

Отвечая на этот вопрос, не следует забывать, что по целому ряду причин борьба в кружке Андрея Тургенева, — а она отражала развитие противоречий в литературе 1800-х годов, — не достигла еще той степени, при которой теоретические столкновения приводят к разрыву личных дружеских связей. Кроме того, на жизнь Общества накладывала отпечаток крайняя молодость младшей группы участников, чьи взгляды не отличались достаточной устойчивостью.

Члены первой группы, в которую входили сам Андрей Тургенев, Андрей Кайсаров и А. Ф. Мерзляков (позиция которого имела, впрочем,

некоторые отличия), видели в литературе средство пропаганды гражданственных, патриотических идей, а сама цель объединения мыслилась ими не только как литературная, но и как общественно-воспитательная. «Разве нравственность и патриотизм не составляют также предмета наших упражнений?» — спрашивал Мерзляков, обращаясь к товарищам по Обществу (л. 20 об.). Материалы заседаний показывают, что недалек от позиции этих членов в ту пору был и А. Ф. Воейков.

Вторую группу составляли Жуковский, Михаил Кайсаров, Александр Тургенев и, несколько позднее, С. Е. Родзянко. Здесь господствовали связанные с карамзинской школой — проповедь интимно-лирических тем в поэзии, покорности провидению и интерес к субъективно-идеалистической философии, а в речах Родзянко — прямой пиетизм. Вполне естественно, что при такой противоположности мнений не замедлила завязаться полемика.

По глухим намекам можно предполагать, что разногласия возникли уже в связи с первым актом деятельности Общества — избранием председателя. Об этом свидетельствуют в речи Мерзлякова разъяснения прав «первого члена», имеющие характер явной защиты от чьих-то нападок. Это же отразилось в черновых набросках выступления Андрея Тургенева, хранящихся в архиве Жуковского. Оратор отводит высказанные кем-то обвинения в «тирании» со стороны «первого члена». Основные столкновения, однако, связаны были с более принципиальными вопросами.

На первых двух заседаниях выступал с речами Мерзляков. Главное содержание обоих выступлений — проповедь гражданственного служения отечеству. Цель оратора — «возжечь» в слушателях «энтузиазм патриотизма». «Каждый из нас, — говорил Мерзляков, — человек, гражданин, каждый из нас — сын отечества» (л. 12). Оратор доказывал, что деятельность собрания нельзя ограничивать рамками чисто литературных споров.

«Мал тот, — продолжал он, — кто хочет быть только астрономом; несчастливые братья его на земле, а не на планете сатурновой; мал тот, кто хочет быть только героем; кровь не украсит лаврового венца его, когда станет он пред престолом правды, звук побед его не заглушит проклятий разоренного, сердце его не согреется от бриллиантовой звезды, которая украшает его грудь; мал тот, кто хочет быть только оратором, стихотворцем, сочинения его холодны, если не воспламенит их любовь сердечная, советы его не отрут слез угнетенной невинности, прекрасные мысли его не утолят голода нищему» (л. 15—15 об.).

Такое начало определило дальнейший ход заседаний. Выступлением Мерзлякова инициаторы Общества недвусмысленно заявили, что рассмотрение литературных вопросов интересует их лишь как часть самовоспитания в духе гражданственности и патриотизма. В последовавшем затем выступлении Воейкова вопросы литературы вообще не были затронуты.

Воейков произнес речь, посвященную деятельности Петра III. Значение и смысл этого выступления в литературе в должной мере не оценены. В. М. Истрин характеризует ее как «сплошной панегирик» [9]. На оценку эту, вероятно, оказало влияние отношение к личности Воейкова в значительно более позднее время. Анализ позиции Воейкова в Обществе подводит к иной характеристике этого выступления.

Прежде всего следует остановиться на уточнении времени произнесения речи. В сборнике речей она помещена под № 3 без указания даты. Поскольку № 2 — речь Мерзлякова — помечена 19 января 1801 г., а № 4 — речь Михаила Кайсарова — 26 января, то, если вспомнить, что заседания происходили раз в неделю, следует сделать вывод, что речь Воейкова была, видимо, произнесена на том же заседании 19 января, на котором

выступал и Мерзляков. Этим, по всей вероятности, и объясняется отсутствие перед ней даты. Итак, речь Воейкова была произнесена в последние месяцы царствования Павла I. Тема речи не могла возбудить подозрения властей: восхваление Петра III соответствовало официальным тенденциям. Однако из этого не следует, что речь Воейкова была официозной. Дело в том, что характер правительственной деятельности Петра III подвергался в последней трети XVIII в. довольно часто весьма своеобразному освещению.

К. В. Сивков на основании детального изучения материалов Тайной экспедиции приходит к выводу, что «неправильное толкование манифеста 18 февраля 1762 г. о дворянской вольности и свободе, как такого акта, за которым должно было последовать и освобождение крестьян от работы на помещика, указ о разрешении старообрядцам, бежавшим в Польшу и другие заграничные земли, возвратиться в Россию, ⟨...⟩ уничтожение Тайной канцелярии ⟨...⟩ — все это создавало ему своеобразную популярность и порождало надежды, что с возвращением его на престол осуществятся народные чаяния о воле, земле, освобождении от рекрутчины, тяжелых налогов и т. п. Отсюда многочисленные попытки использовать имя Петра III в классовой борьбе того времени»[10]. Не только крестьянская масса, но и некоторые представители передовой общественной мысли были склонны именно в таком направлении толковать характер деятельности свергнутого императора. Как указывает тот же автор в неопубликованной диссертации «Очерки по истории политических процессов в России последней трети XVIII в.» (хранится в ЛБ), в бумагах Кречетова была обнаружена интересная запись: «Объяснить великость дел Петра Третьего».

Однако, чтобы определить справедливость оценки, данной В. М. Истриным речи Воейкова, обратимся к ее тексту. За что же прославляет Воейков Петра III? Прежде всего за уничтожение Тайной канцелярии. В условиях террористического режима Павла I, Воейков под видом прославления отца царствующего императора дает ему смелую памфлетную характеристику. Тайную канцелярию он называет «тиранским трибуналом, в тысячу раз всякой инквизиции ужаснейшим», «в ужас сердца наши приводящим судилищем, обагрившим Россию реками крови». Призывая слушателей «бросить патриотический взор на Россию» до Петра III, оратор рисует красноречивую картину, бесспорно вызывавшую в эпоху Павла I ассоциации с современностью: «...мы увидим ее ⟨Россию. — *Ю. Л.*⟩, обремененную цепями, рабствующую, не смеющую произнести ни одного слова, ни одного вопля против своих мучителей; она принуждена сплетать им лживые хвалы тогда, когда всеобщее проклятие возгреметь готово ⟨...⟩ Коварство и деспотизм, вооруженные сим варварским словом ⟨«слово и дело». — *Ю. Л.*⟩, острили косу смерти, чтоб еще посекать цвет сынов России, еще продолжить царствование свое на престоле, из героев и костей невинных россиян воздвигнутом» (лл. 26 об. — 27).

Далее автор обращается к другой заслуге Петра III — дарованию вольности дворянской. Вопрос этот тоже звучал актуально. Постоянное нарушение Павлом I (стремившимся в страхе перед революцией подавить даже дворянский либерализм) вольности дворянской (например, известное дело прапорщика Рожнова) чрезвычайно раздражало дворянское общество. Оно усиливало столь типичную для павловского царствования атмосферу бесправия и неуверенности. Насколько болезненными были эти настроения, свидетельствует то, что одним из первых актов правительства Александра I было подтверждение жалованной грамоты дворянству и уничтожение Тайной экспедиции 2 апреля 1801 г.

Воейков не прошел мимо важнейшего вопроса эпохи — крепостного права. Поводом для этого была своеобразно истолкованная секуляризация

церковных земель. Этот акт оратор объяснял как шаг к полному освобождению крестьян: «...мудрое, человеколюбивое, великое дело, поставляющее в храме добродетели имя Петра III подле имен величайших законодавцев, есть отобрание деревень монастырских; четвертая часть сынов России — миллионы полезных рук — кормили праздных паразитических членов государства — монахов, и сии тунеядцы из любви ко... ⟨многоточие в рукописи. — *Ю. Л.*⟩ отягчали добрых, бесхитростных поселян тяжелыми цепями. Петр III, оживленный великим предприятием, снял с них оковы, рек им: вы свободны!» (л. 28—28 об.).

ВИД НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА ОТ ФОНТАНКИ
Акварель А. Е. Мартынова, 1800-е гг.
Эрмитаж, Ленинград

Свою речь Воейков заканчивал призывом встретить, в случае надобности, ради отечества смерть на эшафоте. Обращаясь к Петру III, Воейков говорил: «Воззри на собравшихся здесь юных россиян, оживленных пламенною любовию к отечеству! И если нужна кровавая жертва для его счастия, вот сердца наши! Они не боятся кинжалов! Они гордятся такою смертию. Самый эшафот есть престол славы, когда должно умереть на нем за отечество!»[11] (лл. 29 об.—30).

Подобные выступления имели настолько неприкрыто-политический характер, что Андрей Тургенев даже был вынужден напомнить об осторожности. На собрании 16 февраля 1801 г. он, возможно имея в виду и неизвестные нам прения вокруг выступления Воейкова, предостерегал: «Отчего говорим мы так часто о вольности, о рабстве, как будто бы собрались здесь для того, чтобы разбирать права человека?» (л. 41).

Однако, как выясняется из дальнейшего текста его речи, Андрей Тургенев сам призывал товарищей по Обществу готовить себя к тому времени, «когда отечество наше, когда страждущая, притесненная бедность будет требовать нашей помощи» (л. 41—41 об.).

Стремление некоторых членов придать заседаниям политический, общественно-воспитательный характер встретило противодействие. Андрей Тургенев имел все основания утверждать, что споры по вопросам политики «нарушают согласие нашего собрания» (л. 41). В самом деле, часть членов, разделявшая политико-философские воззрения Карамзина, предприняла попытку изменить характер деятельности Общества.

26 января, на следующем после выступления Воейкова заседании, произнес речь Михаил Кайсаров. Мерзляков, Андрей Тургенев, Воейков в своих речах привлекали внимание членов Общества к насущным вопросам окружающей действительности, к гражданскому служению общему благу; М. С. Кайсаров же доказывал субъективность человеческих представлений, делая из этого вывод о бесцельности всякого рода общественной деятельности. Считая, что «удовольствия существенные, в сравнении с теми благами, которыми воображение заставляет нас наслаждаться», не имеют никакой цены, Кайсаров отказывался признавать значение общественной деятельности: «Если бы я хотел входить в дальнейшие исследования, если бы хотел коснуться общественных постановлений, коснуться правил религии, тогда стал бы я утверждать систему Беркилаеву ⟨Беркли⟩, который говорит, что все видимое, весь мир, все миры и мы все — не что иное, как мечта» (лл. 31, 35).

Мысли, высказанные Михаилом Кайсаровым, связаны с широко распространившейся в дворянской литературе тех лет тенденцией. В последние годы XVIII в., столь богатые революционными событиями в России и на Западе и сопровождавшиеся усилением правительственной реакции, писатели карамзинского направления развивались в сторону умеренного консерватизма. Одной из сторон этого процесса было усиление субъективистских элементов в философии, сближение с воззрениями кружка А. М. Кутузова 1780-х годов. Сближение это четко обозначилось в содержании сборника «Аглая». В дальнейшем, в годы павловского царствования, философская позиция Карамзина окончательно приобрела законченность.

Агностические рассуждения проходят через весь «Пантеон иностранной словесности», издававшийся Карамзиным. Впечатления человека определяются не объективными свойствами предметов, а субъективным состоянием наблюдателя: «Внутреннее расположение сердца изливается на наружные предметы»[12]. В записной книжке Карамзина за те же годы находим: «Время — это лишь последовательность наших мыслей»[13].

Из этих предпосылок следовали совершенно определенные общественно-политические выводы. Их высказал Карамзин еще в послании «К Дмитриеву» (1794). Это — убеждение в бессмысленности попыток разумного переустройства мира и отказ от общественной деятельности. Внимание человека должно быть направлено не на объективную действительность (которую Карамзин называл «китайскими тенями своего воображения»), а лишь на внутренние, субъективные переживания[14].

Взгляды представителей карамзинской школы не могли встретить сочувствия у людей типа Андрея Тургенева или Мерзлякова, относившихся в это время к позиции Карамзина резко отрицательно. Сторонник демократической литературы XVIII в., Мерзляков враждебно относился к дворянской эстетике карамзинистов. В разборе «Россиады» Хераскова он отрицательно отозвался о карамзинском направлении в литературе: «В чем же мы по сие время подвинулись?— конечно, во многих *мелких* ⟨курсив мой.— *Ю. Л.*⟩ приятных сочинениях, вообще в чистоте и наружной изящности слога ⟨...⟩ Отчего главное богатство новейших произведений состоит токмо в романах, в эпиграммах, в шутливых посланиях, в водевилях, песенках и в пиэсах, которые совсем не знаешь, к какому

отнести роду?»[15]. Следует указать также на антикарамзинский памфлет А. С. Кайсарова «Свадьба Карамзина». На позиции Андрея Тургенева в этом вопросе мы остановимся в дальнейшем.

Тем более декларативный характер приобретало выступление Жуковского 24 февраля 1801 г., пропагандировавшего программные принципы Карамзина. Выступление свое Жуковский начал с пространной цитаты из послания Карамзина «К Дмитриеву», а затем перешел к анализу центральных положений программного предисловия к сборнику «Аглая». Достаточно сравнить начало обоих документов.

У Жуковского: «Мы живем в печальном мире и должны — всякий в свою очередь — искать горести, назначенные нам судьбою...».

У Карамзина: «Мы живем в печальном мире, но кто имеет друга, тот пади на колени и благодари всевышнего.

Мы живем в печальном мире, где часто страдает невинность, где часто гибнет добродетель...»[16].

Или:

Мы живем в печальном мире,
Всякий горе испытал,
В бедном рубище, в порфире...[17].

Выступление Жуковского на осталось без ответа. Спор разгорелся вокруг понятия дружбы. Жуковский с идеалистических позиций, считая жертву основой морали (а за этим стояло убеждение в исконной противоположности общих и частных интересов), отказывался признать дружбой союз, не основанный на «бескорыстном» самопожертвовании. «Вы, конечно, согласитесь со мною,— обращался он к членам Общества,— что человек соединен с человеком некоторым внутренним чувством родства, данным ему от природы, а может быть еще больше своими *собственными выгодами* ⟨...⟩, но вы согласитесь также, что сей союз, сколь он, впрочем, ни силен, *не может называться именем дружбы*» ⟨курсив мой.— *Ю. Л.*⟩ (л. 45—45 об.).

Против Жуковского выступил Мерзляков. «*Польза*,— говорил он,— тот магнит, который собрал с концов мира рассеянное человечество ⟨...⟩ *Польза*, друзья мои, то существо, которое соединило нас здесь. Мы одевали его, по обычаю всего света, в разные пышные одеяния, давали ему многоразличные имена, поклонялись ему под видом дружбы, под видом братства и проч..., может быть от того самого терял он свою силу. Полно мечтать о будущем! Перестанем искать причину нашей холодности или причину нашей привязанности к собранию в отдаленных облаках, рождаемых воображением нашим — что же делать? *Надобно раскрывать пользу, которую всякий из нас надеется получить от собрания*» ⟨курсив мой.— *Ю. Л.*⟩ (л. 53—53 об.). Центром борьбы сделалась оценка карамзинизма.

Выступление Андрея Тургенева (видимо, на заседании 22 марта) было направлено на развенчание Карамзина.

Борьба в Обществе усложнилась выступлениями С. Е. Родзянко. Андрей Тургенев считал, что о религии здесь «никогда бы упоминать не должно» (л. 41), и даже Михаил Кайсаров выражал сомнение в бессмертии души и загробной жизни. Родзянко же был настроен откровенно-мистически. Об отношении к нему ведущей группы членов Общества свидетельствует высказывание А. С. Кайсарова в письме к Андрею Тургеневу: «Как бы ты думал, о чем мне случилось говорить с Родзянкою? О боге. Он много в⟨рал? верил?⟩ и потому он не нашего поля ягода»[18].

В такой кипучей, противоречивой атмосфере Общества складывалась литературная программа Андрея Тургенева. За свою короткую жизнь он пережил стремительную идейную эволюцию. Масонские идеи, в кругу

которых вращалось старшее поколение тургеневского дома, очень скоро перестали его удовлетворять. Андрей Тургенев, бесспорно, мог бы присоединиться к словам своего брата Александра, писавшего в 1810 г. Николаю: «Я не принадлежу и не буду принадлежать ни к одной» ⟨ложе.— *Ю. Л.*⟩[19].

1790-е годы отмечены для Андрея Тургенева влиянием Карамзина. В этом отношении характерен черновой набросок, хранящийся в архиве Жуковского. Андрей Тургенев развивает здесь любимую мысль Карамзина о субъективности человеческих представлений и заканчивает прямой апологией Карамзину: «По большей части вещи кажутся нам хороши или худы не потому, что они таковы в самом деле, но по расположению души нашей истинно прекрасная вещь может казаться нам то прекрасна, то посредственна и даже худа...». Далее он говорит о том, что впечатление от литературных произведений определено субъективным состоянием читателя. В минуту счастья надо читать Карамзина. «Тогда песнь „К милости“ извлечет тихие, блаженные слезы из глаз твоих, и „Цветок на гр⟨об⟩ м⟨оего⟩ А⟨гатона⟩“ исполнит душу твою ни с чем не сравненными ощущениями»[20].

Однако очень скоро Карамзин перестал быть в глазах Андрея Тургенева непререкаемым авторитетом. Эпоха павловской реакции была для него временем обострения интереса к политике. Идеалом его становится не проповедь отказа от общественной борьбы, а деятельная любовь к отечеству.

Осознание несправедливости существующего строя сочеталось у Андрея Тургенева с формированием всепоглощающего чувства любви к родине, которое оказало влияние также на его младших братьев и определило известное высказывание Николая Тургенева: «Ни о чем никогда не думаю, как о России. Я думаю, если придется когда-либо сойти с ума, думаю, что на этом пункте и помешаюсь»[21]. Андрей Тургенев, как и его брат Николай, «одну Россию в мире» видел. Это делает его путь чрезвычайно напоминающим политическое развитие декабристов. Принимая участие в организации «Дружеского литературного общества», Андрей Тургенев считал, что цель его — «возжигать сердца наши священным патриотизмом ⟨...⟩ в сии священные минуты каждая мысль, каждое биение сердца в нас да будет посвящено отечеству» (л. 41 об.).

Интересно, что в числе героев-патриотов, следовать которым Тургенев призывает современников, он называет не только Леонида и Аристида, но и убийцу тирана, республиканца Брута, и Кодра, добровольно пожертвовавшего царским саном и жизнью ради спасения Афин и установления в них республики.

«Ах! Может быть — с восторгом произношу слова сии — может быть, воссияет тут в сердцах наших луч того небесного огня, который согревал сердца Леонидов, Кодров, Брутов и Аристидов. Какое блаженство! друзья мои! Оживлять в груди своей, в нашем тесном кругу тень оных великих времен прошедших, когда всякий человек был ревностным гражданином, сыном отечества, которое с любовью прижимало его к своему сердцу, которому с любовью приносил он в жертву жизнь и все блаженство жизни своей... Проснитесь, дышите в нас величие, бессмертные мужи! веселитесь тем, что чрез целые тысячи лет пример ваш служит светильником на пути нашей жизни!» (л. 42—42 об.). Высокий патриотический пафос, «священный энтузиазм» речей Андрея Тургенева роднит их с публицистическими выступлениями декабристов.

Все силы Андрея Тургенева были направлены на искание истины. Патриотический пафос его в начале 1800-х годов приобретает свободолюбивую окраску.

В дневнике его находим строки: «там только, где страдает и теснится невинность, там буду я говорить всегда громко; в таком случае девиз мой: Ни перед кем, ни для чего!».

В том же дневнике Андрей Тургенев записал интересный разговор с А. С. Кайсаровым. Последний рассказал ему о случае издевательства офицера над человеческим достоинством солдата, который должен был являться молчаливым свидетелем поругания своей супружеской чести: «Если бы он в этом терзательном, снедающем адском молчании заколол его! Мог ли бы кто-нибудь, мог ли бы сам бог обвинить его? Молчать! Запереть

ВИД МОЙКИ
Акварель А. Е. Мартынова, 1809 г.
Эрмитаж, Ленинград

весь пламень клокочущей геенны в своем сердце, скрежетать зубами, как в аду, смотреть, видеть всё и — молчать! Быть мучиму побоями, быть разжаловану по оклеветаниям этого же офицера! Дух Карла Моора! И в этом состоянии *раба*, *раба*, удрученного той тяжестью рабства, какое *сердце*, какая нежность, *какие чувства*!»[22]. В речи на торжественном заседании «Дружеского литературного общества» Андрей Тургенев, обращаясь к отечеству, подчеркнул свободолюбивый характер своего понимания патриотизма: «Цари хотят, чтоб пред ними пресмыкались во прахе рабы; пусть же ползают пред ними льстецы с мертвою душою, здесь пред тобою стоят сыны твои! Благослови все предприятия их! Внимай нашим священным клятвам! Мы будем жить для твоего блага». Любовь к отечеству, пишет автор, «заставляет презирать смерть, дабы или здесь соделать отечество свое благополучным, или в небесах найти другое отечество». В письме к Жуковскому от 9 марта 1802 г. Андрей Тургенев сообщал о своих впечатлениях от книги Архенгольца «Annalen der britischen Geschichte»: «Какая воспламенительная книга! Чтó французская вольность?

Что́ Бонапарт? A propos*: как, брат, умаляется этот великий Бонапарте, которого я любил, которому я удивлялся! Славны бубны за горами, или

Когда какой герой в венце не развратился»[23].

Есть основания полагать, что Андрей Тургенев не ограничился критикой политического угнетения — внимание его привлекали также вопросы социальной несправедливости и, прежде всего, крепостного права. Следует помнить, что ранняя смерть не дала развернуться этой стороне его воззрений. Мы можем, в этом случае, скорее говорить о направлении развития, а не о законченной системе воззрений. При решении этого вопроса не нужно забывать о дальнейшем пути ближайшего друга и единомышленника Тургенева — Андрея Кайсарова, ставшего ярым противником крепостного права. Некоторые материалы для решения этого вопроса может дать перевод Андреем Тургеневым пьесы А. Коцебу «Негры в неволе». Политический и литературный облик Коцебу достаточно хорошо известен, поэтому в настоящем случае имеет смысл говорить не о самой пьесе, написанной, однако, под прямым влиянием Рейналя (на это указывал сам автор), а об истолковании ее русским читателем. Какое впечатление производили в России, и в частности в семье Тургеневых, наполняющие пьесу пламенные монологи против рабства, можно судить по дневнику Н. И. Тургенева. В феврале 1809 г. он записал: «Сегодня читал с Рандом „Негры в неволе“, соч⟨инение⟩ Коцебу. Это чтение, хотя и приятное в некоторых отношениях, возродило во мне чрезвычайно неприятные мысли. О Россия, Россия! Если бы жизнь моя могла быть в сем случае полезна славному, доброму русскому народу, сейчас рад бы пожертвовать оною тысячу раз»[24].

В пьесе Коцебу, переведенной Андреем Тургеневым, читатель находит и ужасающие картины угнетения рабов-негров, и яркие монологи о равенстве людей. Карамзин, приблизительно в те же годы, в «Вестнике Европы» использовал описание положения негров (статьи о Тусене-Лювертюре) для подкрепления своей мысли о том, что освобождению должно предшествовать длительное просвещение, что невозможно предоставить свободу «дикому», «непросвещенному» народу. В пьесе вопрос этот решался в противоположном смысле: «Неволя подавляет всякую душевную способность», и, следовательно, никакое «просвещение» невозможно в условиях рабства. На утверждение рабовладельца: «Негры родятся невольниками», — следует ответ: «Неправда! Никто невольником не родится».

В связи с русской действительностью пьеса Коцебу получала антикрепостнический смысл и не могла не вызывать у читателя тех ассоциаций, которые возникали у Николая Тургенева. Аналогию с положением крепостных в России вызывали и картины избиений негров плантаторами, и рассуждения об отсутствии у негров права собственности. На предложение искать правды в суде негр Труро отвечает: «Суда? мы не можем быть и свидетелями, не только доносчиками. Негр никогда не бывает прав. Всякий европеец, даже иноземец, может бить его, не страшась наказания, а если негр только руку на него поднимет, то он должен умереть немедленно».

Поэтому особенно острый смысл приобретало обращенное к неграм восклицание противника рабства Джона: «О, если б она ⟨кровь негров⟩ закипела, если б отчаяние превратило ее в пламень и вы умертвили бы ваших тиранов»[25].

О том, что положение крепостных крестьян привлекало внимание членов Общества, свидетельствует и другой интересный факт — участие

* Кстати (франц.).

их в постановке яркой антикрепостнической драмы «Солдатская школа». Как указывал В. И. Резанов[26], еще Сушков высказал предположение о том, что автором этого произведения был Н. Сандунов. Советские исследователи, обратившие внимание на эту антикрепостническую пьесу, высказывались также в пользу этого предположения. Письма А. С. Кайсарова к Андрею Тургеневу не только позволяют окончательно определить авторство Сандунова, но и устанавливают до сих пор не известный и весьма значительный факт постановки этого произведения в Московском благородном пансионе. До сих пор исследователи полагали, что пьеса не смогла увидеть света рампы и поэтому имела сравнительно небольшой общественный резонанс.

Обстоятельства дела, по письмам А. С. Кайсарова к Андрею Тургеневу, рисуются в следующем виде: произведения Н. Сандунова, привлекавшие внимание современников, были известны и в кружке Андрея Тургенева. 12 июля 1801 г. Кайсаров сообщал: «Я достал некоторые драмы Николая Сандунова и теперь их с Есиповым на скорую руку списываем»[27]. Пьесы обсуждались участниками Общества, следствием чего, вероятно, и явилась идея постановки «Солдатской школы» на сцене пансиона.

Все вышеизложенное позволяет говорить о неправильности характеристики В. М. Истрина, считавшего, что Андрей Тургенев воспитан «в традициях безусловной покорности власти» и что «для него не так важен был протест против зла и тирании, сколько правдивое и талантливое его литературное изображение»[28].

Одновременно с усилением вольнолюбивых настроений Андрей Тургенев из сторонника Карамзина превращается в его сурового критика. Произнесенная им на заседании «Дружеского литературного общества» речь замечательна своим сходством с основными пунктами литературной программы декабристов. В речи «О русской литературе» Андрей Тургенев выступил с резким осуждением карамзинского направления: «Он ⟨Карамзин⟩ более вреден, нежели полезен нашей литературе...». В чем же заключается вред Карамзина? По мнению Тургенева, прежде всего в отказе от гражданственной тематики и, во-вторых, в отсутствии национальной самобытности творчества: «... пусть бы русские продолжали писать хуже и не так интересно, только бы занимались они важнейшими предметами, писали бы оригинальнее, важнее...»[29]

Требуя оригинального, не заимствованного ни откуда содержания литературы, выражения в литературе народной жизни, Андрей Тургенев смело отвергает существовавшую литературную традицию, противопоставляя ей народное творчество: «Что́ можешь ты узнать о русском народе, читая Ломоносова, Сумарокова, Державина, Хераскова, Карамзина; в одном только Державине найдешь очень малые оттенки русского; в прекрасной повести Карамзина „Илья Муромец“ также увидишь русское название, русские стопы[30] и больше ничего ⟨...⟩ Теперь только в одних сказках и песнях находим мы остатки русской литературы, в сих-то драгоценных остатках, а особливо в песнях, находим мы и чувствуем еще характер нашего народа. Они так сильны, так выразительны в веселом ли то или в печальном роде, что над всяким непременно должны произвести свое действие. В большей части из них, особливо в печальных, встречается такая пленяющая унылость, такие красоты чувства, которых тщетно стали бы искать мы в новейших подражательных произведениях нашей литературы». Особо примечательна мысль Тургенева о связи литературы и жизни. Он считает, что характер современной литературы изменился бы только с изменением действительности: «Для сего нужно, чтобы мы и в обычаях, и в образе жизни, и в характере обратились к русской оригинальности».

Итак, Тургенев требует, чтобы содержание литературы было «великое, важное и притом истинно русское». Обосновывая необходимость вы-

сокой торжественной поэзии, он противопоставляет Карамзину Ломоносова и даже Хераскова. Реформатором русской литературы «должен быть теперь второй Ломоносов, а не Карамзин. Напитанный русской оригинальностью, одаренный творческим даром, должен он дать другой оборот нашей литературе; иначе дерево увянет, покрывшись приятными цветами, но не показав ни широких листьев, ни сочных, питательных плодов»[31].

В критике Карамзина и в противопоставлении ему Ломоносова позиции Андрея Тургенева и Мерзлякова, видимо, совпадали, но дальше начинались различия. Неприязнь Мерзлякова к Карамзину и его симпатии к литературе XVIII в. были определены общим демократическим характером его мировоззрения. Дворянскому, карамзинскому идеалу «внутренней свободы» Мерзляков противопоставлял требование общественно-полезной деятельности. Здесь между ним — в будущем профессором-разночинцем, представителем университетской науки — и Андреем Тургеневым, в сознании которого, видимо, зрели элементы дворянской революционности, можно отметить существенное различие. Отрицательно относясь к современной ему дворянской литературе, Мерзляков считал Ломоносова непререкаемым авторитетом. Литературная программа Андрея Тургенева была иной: она включала требование поэзии не только торжественной, но и свободолюбивой. С этих позиций он критиковал и Ломоносова. В речи «О поэзии и о ее злоупотреблении» он утверждал: «Смею сказать, что Ломоносов, творец российской поэзии, истощая все дарования на похвалы монархам, много потерял для славы своей. Бессмертная муза его должна бы избирать и предметы столь же бессмертные, как она сама. Все почти оды его писаны на восшествие, на день рождения и тому под⟨обное⟩»[32].

Таковы были литературные взгляды Андрея Тургенева. Анализ их объясняет появление столь яркого гражданственного, патриотического произведения, как стихотворение «К отечеству»,— произведения, сыгравшего известную роль в подготовке гражданской поэзии декабризма[33].

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЧЬ АНДРЕЯ ТУРГЕНЕВА ⟨О ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ⟩[34]

Любовь к отечеству есть то сердечное чувство, которое с самых нежнейших лет наших привязывает нас к нашей родине, укрепляется, развивается в нас с летами и, наконец, обращается для нас в природу и сливается, так сказать, с душою нашею. Сперва оно есть только чувство; не зная еще, что такое отечество, мы уже любим его; но мало-помалу, когда разум начинает в нас действовать, мы видим, что должны следовать сердечному нашему движению, что мы должны любить его, потому что оно приняло нас прежде всего в свои недра, потому что в нем научились мы любить людей, потому что в нем живут, к нему принадлежат те, которым обязаны мы сохранением, украшением бытия нашего,— одним словом, потому что оно наше отечество.

Нужно ли спрашивать: добродетель ли *любовь к отечеству*? Посмотрите на ее действия! Если добродетель состоит в великих пожертвованиях, если главное свойство ее есть забвение, пренебрежение самой себя для счастия братий своих, то что же больше патриотизма имеет право на сие титло? Не им ли одушевляемы были величайшие герои древности, которых память, и поныне для нас священная, подобно чистому пламени, воспаляет нас к великим делам, заставляет презирать смерть, дабы или здесь соделать отечество свое благополучным, или в небесах найти другое отечество.

Есть люди, которые, любя всем сердцем страну своего рождения, обманывают самих себя и, следуя софизмам острого разума, утверждают, что для истинно просвещенного человека нет отечества, что он не есть патриот, а гражданин вселенной...

О вы, которые, вопреки своему мнению, любите, может быть, свое отечество и всею душею ему преданы, уверьтесь, что нельзя быть гражданином вселенной, не будучи патриотом, что одно только наше отечество может привязать нас ко всей вселенной так, как маленький уголок земли, в котором родились мы, связывает нас с нашим отечеством. Тщетно, оторвавшись от своей родины, от своего отечества, стали бы вы искать его во вселенной, вы бы пробежали глазами целый мир и возвратились бы беднее в сердце своем, нежели были прежде. Разве не чувствуете вы, что с самого детства вашего до глубокой старости отечество ваше имеет для вас какой-то тайный, но внятный голос, которого не могут заглушить ревущие моря, который следует за вами чрез степи непроходимые и часто, несясь с какой-нибудь печальной, снежной горы, из бедной хижины, окруженной мрачными соснами, постигает вас на бархатных коврах, на ложах розовых, под тению благовонных мирт; ничто не может заглушить его, потому что источник его в вашем сердце. Чей же голос будете заглушать вы, заглушая голос любви к отечеству? Не глас ли природы, не тот ли священный, неизменяемый глас, из которого проистекли все законы общественные?

Положим, что я бы согласился с вами. Что же тогда для меня все те великие мужи, богоподобные по своей добродетели, которых жизнь должна бы и для меня служить некогда образцом, которых дела красноречивее всех учений философии наставляли мою душу, имели на нее самое доброе, самое спасительное влияние? Герои сокрылись; я вижу младенцев, которые, гонясь за мечтою, не видят под собою бездны, покрытой для них цветами.

Любовь к отечеству — мечта; подите ж, уверяйте этому Кодра, когда он идет принести жизнь свою на жертву отечества; уверяйте его, что он лишается жизни для одной химеры, что для истинного философа все народы земные равны, что если отечество его падет, то он спокойно может перейти к победителям и вместе с ними на развалинах Афин наслаждаться жизнию...

Взгляните с сострадательною улыбкою на сего божественного Регула, на сих спартанцев, которые навеки отреклись от жизни. Истребите в них эту блаженную мысль, что все те, которые связаны с ними святейшими узами родства, дружбы, которых одна земля с ними питала, будут проливать слезы пламенной благодарности над их могилою; потушите в них это пламя, которое их ослепляет, раскройте глаза им. Пусть философия вознесется над развалинами патриотизма. Мы увидим в них просвещенных, ясновидящих философов; но где же будет герой, полубог? где будет добродетель? Ах, может ли она существовать в одном разуме; может ли один холодный разум побудить нас к тем великим пожертвованиям, которые добродетель делают добродетелию?

Какую священную, неизъяснимую силу имеет над нами место нашего рождения! Если бы мы были несправедливо отвергнуты нашим отечеством, если бы мы в изгнании, в удалении от него влачили жизнь свою, если бы оно поступило с нами не так, как с сынами нежными, но как с мятежными рабами, и тогда одно слово его было бы для нас наградою за все претерпенное, одно слово проникнуло бы сердца наши, мы бы забыли всю несправедливость его и с новым жаром, с новым усердием устремились бы на его помощь. Но мы, любезные друзья! мы наслаждаемся благими дарами его; мы получаем от него все, что оно дать нам может, и, оставя все прочее, благодарность одна велит уже нам быть верными его сынами.

Патриотизм некогда и самих злодеев посвящал в геройство.

О ты, пред которым в сии минуты благоговеют сердца наши в восторге радости! Цари хотят, чтоб пред ними пресмыкались во прахе рабы; пусть же ползают пред ними льстецы с мертвою душою; здесь пред тобою стоят сыны твои! Благослови все предприятия их! Внимай нашим священным клятвам! Мы будем жить для твоего блага; ты, может быть, забудешь, оставишь детей, но дети твои никогда, нигде тебя не забудут.

Л⟨юбезные⟩ д⟨рузья⟩, не допустим, чтобы это радостное торжество было одною детскою забавою; да обратится оно для нас в нечто важнейшее, да освятит оно навсегда сердца наши любовию к отечеству. В согласии наших душ поклянемся пред ним быть его сынами, с опасностию всего жертвовать его благоденствию; может быть, некогда сей священный энтузиазм погаснет в бурях мира, сердца наши охладеют, но горе нам, если мы когда-нибудь забудем этот день, в который мы свободно произнесли обеты наши пред алтарем отечества.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. об этом главу «Из истории гражданской поэзии 1800-х годов». — В кн.: В. Н. Орлов. Русские просветители 1790—1800-х годов. М., 1953, стр. 360—493; статью И. Н. Медведевой «Гнедич и декабристы». — «Декабристы и их время», 1951, стр. 101—154, и ряд других работ.

[2] Характерна ошибка составителя сборника «Декабристы. Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика» (М.—Л., 1951), В. Н. Орлова, включившего находящуюся в дневнике Н. И. Тургенева короткую цитату из этого стихотворения, под условным названием «Родине», в раздел произведений Н. И. Тургенева (стр. 179). Следует отметить, что и запись в дневнике, на которую ссылается составитель, сделана не Н. И. Тургеневым, а его младшим братом Сергеем (см. об этом в подстрочном примечании — «Архив Тургеневых», т. II, вып. 3, стр. 7), и, следовательно, аттрибуция этих стихов Н. И. Тургеневу представляет явное недоразумение. В напутствии на дорогу брату Сергей Тургенев цитировал, бесспорно, хорошо известные в семье, стихи Андрея Тургенева.

[3] «Вестник Европы», 1803, № 4, стр. 277 (в 1806 г. издано отдельной листовкой). Написано, видимо, несколько ранее. В 1803 г., вернувшись из-за границы, Андрей Тургенев напечатал некоторые произведения периода 1800—1802 гг.

[4] «Архив Тургеневых», вып. 2.

[5] В. М. Истрин. Дружеское литературное общество 1801 г. (По материалам архива братьев Тургеневых). — «Журнал Министерства народного просвещения», 1910, № 8, стр. 272—307; его же. Из архива братьев Тургеневых. I. Дружеское литературное общество 1801 г (Дополнение). — Там же, 1913, № 3, стр. 1—15.

[6] «Архив Тургеневых», вып. 2, стр. 101.

[7] См., например, работу В. И. Резанова «Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского». СПб., 1906. — Как отмечал В. М. Истрин, «Резанов не дает ⟨...⟩ истории общества, хотя в его книге обширный отдел, стр. 176—275, и носит заглавие „Дружеское литературное общество“» (В. М. Истрин. Указ. статья, стр. 273). В 1916 г. В. И. Резанов опубликовал второй выпуск своего исследования, в котором воспользовался документальными находками Истрина. Автор обильно процитировал речи членов «Дружеского литературного общества», однако убедительного анализа идейной жизни этой организации не дал, присоединившись к словам А. А. Фомина (см. прим. 30), что содержание речей Андрея Тургенева «не требует никаких объяснений и может вызывать только восторг пред молодым критиком» (В. И. Резанов. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, вып. II. Пг., 1916, стр. 145). Ни методология работы, ни выводы, к которым приходит автор, не могут быть признаны научно обоснованными.

[8] ИРЛИ. Архив Тургеневых, ф. № 309, ед. хр. 618, л. 43.

[9] «Архив Тургеневых», вып. 2, стр. 51.

[10] К. В. Сивков. Самозванчество в России последней трети XVIII в. — «Исторические записки», т. VI, 1950, стр. 90.

[11] Открыто тираноборческий характер имели и другие выступления Воейкова. 8 марта 1801 г., за несколько дней до убийства Павла I, он произнес речь «О героизме», а 11 мая 1801 г. — ровно через два месяца после дворцового переворота — в речи «О предприимчивости» говорил: «... Предприимчивость свергает с престола тиранов, освобождает народы от рабства, обнажает хитрости обманщиков, открывает ослепленным народам и жрецам их — коварных тунеядцев, в богах — истуканов... Предприимчивость для суеверия есть всемогущий бог, громами поражающий» (л. 110—110 об.)

Более откровенный тон последней речи объясняется общим изменением политической атмосферы после 11 марта 1801 г.

[12] «Ленвиль и Фанни».— «Пантеон иностранной словесности», 1798, ч. I, стр. 157.

[13] Н. М. Карамзин. Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862, стр. 199 (подлинник на франц. яз.).

[14] Взгляды Карамзина переживали эволюцию. В данном случае мы имеем в виду лишь его мировоззрение конца 1790-х годов.

[15] А. Ф. Мерзляков. Россиада, поэма эпическая г. Хераскова. (Письмо к другу).— «Амфион», 1815, январь, стр. 52.— Статья, как указывал сам автор, отражала споры в «Дружеском литературном обществе». «Я намерен,— писал Мерзляков,— изображать здесь тогдашние наши размышления о Россиаде ⟨...⟩ в память бесценных бесед наших» (стр. 45—46).

Отрицательное отношение Мерзлякова к Карамзину не дает еще, конечно, основания зачислять его в сторонники Шишкова. См., например, его статью «Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии».— «Труды Общества любителей российской словесности», 1812, ч. I, стр. 55—110.

[16] «Аглая», ч. II, посвящение.

[17] Н. М. Карамзин. Веселый час.— Сочинения, т. I. М., 1903, стр. 35.

[18] «Архив Тургеневых», вып. 2, стр. 46.— Конъектура В. М. Истрина.

[19] Там же, стр. 430.

[20] ГПБ. Архив Жуковского, оп. 2, ед. хр. 320, л. 2—2 об.

[21] «Письма Н. Тургенева», стр. 200.

[22] «Архив Тургеневых», вып. 2, стр. 80, 83.

[23] А. Н. Веселовский. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». Пг., 1918, стр. 53.— Увлечение Бонапартом — республиканским генералом столь же типично, как и последующее разочарование. «Кто от юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом»,— вспоминал С. Н. Глинка (Записки С. Н. Глинки. СПб., 1895, стр. 194).

[24] «Архив Тургеневых», вып. 1, стр. 210.—Ср. отрывок В. В. Попугаева «Негр». Анализ этого произведения см. в кн.: В. Н. Орлов. Русские просветители 1790—1800-х годов. М., 1953, стр. 206—209. Здесь же дается перечень связанных с этой темой материалов и высказываний. К приводимым В. Н. Орловым данным можно было бы прибавить, например, пересказ «Несчастья от кареты» Княжнина, содержащийся в записках С. Н. Глинки: «Была беда и от смычков гончих и борзых собак, на которых обменивали семьи крестьян; была беда и от торгашей; переселяли на лицо земли русской перекупы негров» (Записки С. Н. Глинки. СПб., 1895, стр. 95).

[25] «Негры в неволе. Историко-драматическая картина...» М., 1803, стр. 41—43. Рукопись перевода пьесы (писарский текст с авторской правкой) хранится в Научной библиотеке Московского гос. университета им. М. В. Ломоносова.

[26] В. И. Резанов. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1906, стр. 48.

[27] ИРЛИ, Архив братьев Тургеневых, ф. № 309, ед. хр. 50, л. 193 об.

Работа над постановкой вызвала, видимо, сопротивление со стороны директора пансиона Прокоповича-Антонского. 18 ноября 1801 г. Кайсаров сообщал другу, что в прошлое воскресенье спектакль не состоялся: «Опять нашлись историко-энциклопедические причины» ⟨Антонский преподавал «Историю и энциклопедию»⟩ (там же, л. 40). Смысл этих «причин» Кайсаров разъяснил в письме от 19 декабря 1801 г.: Антонский «боится развратить своих питомцев светскими пьесами» (л. 58). Однако постановка все же была осуществлена, руководил ею сам Сандунов. «Прошлую пятницу,— сообщает Кайсаров,— была у нас проба, на которой был Ник. Сандунов, который нас учил» (л. 40 об.). Первое представление пьесы, видимо, состоялось 8 декабря 1801 г. На другой день Кайсаров писал другу в Петербург. «Брат! Брат! Для чего тебя тут не было! Для чего не был ты свидетелем моего триумфа?... Я играл вчера Стодума в „Сол⟨датской⟩ школ⟨е⟩“ — и уверяют будто совершенно. Сам Санд⟨унов⟩, с которым мы незадолго перед этим крепко побранились, сам он прыгал от радости... Батюшка ⟨И. П. Тургенев⟩ вчера мне сказал: „Ну, брат Андрехан, vous avez surpassez mes attentes“»*.

Пьеса шла несколько раз, так как в конце декабря Кайсаров сообщал об изменении состава участников. Постановка не прошла незамеченной. Кайсаров писал Тургеневу: «Достигла слава об игре моей до Померанцова, и он жалеет, что не видал меня. Во второе представление, которое имеет быть на святках, непременно приглашу его» (л. 145 об.). Боевой, антикрепостнический характер пьесы объясняет смысл записи в дневнике Николая Тургенева: «Да, я помню те времена, когда я не спал ночей, думая все о блаженной минуте, когда я пойду в университетский театр» («Архив Тургеневых», вып. 3, стр. 180—181).

[28] «Архив Тургеневых», вып. 2, стр. 82, 83.

---

* вы превзошли мои ожидания (франц.).

[29] А. А. Фомин. Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров.— «Русский библиофил», 1912, № 1, стр. 29.— Требование самобытности литературы для единомышленников Андрея Тургенева имело программный характер. В речи «О трудности учения» Мерзляков говорил: «Кажется, вкус по зернышку рассыпан по всем краям света. Итак, чтобы собрать его, поезжай в Англию, во Францию, в Германию и пр. <...> бедный молодой человек теряет свой собственный дух, дух своего языка, пишет по-французскому и по-немецкому, на русском лишается навсегда истинной части оригинала. Мне скажут, что благоразумное внимание к красотам иностранным может избежать сих пороков. Не знаю <...> Представим русского — мы не имеем еще собственных образцов во всех родах сочинений, все наши писатели рождаются, так сказать, во французской библиотеке <...> воспитывают нас иностранно, начиная от катехизиса, от календаря — все на иностранном» (лл. 104 об.— 105 об.).

[30] В публикации Фомина ошибочно: «стоны». Исправляем по рукописи.

[31] Там, же, стр. 26—30.

[32] Речь хранится в ИРЛИ. Цитирую по черновому наброску.— ГПБ. Архив Жуковского, оп. 2, ед. хр. 326, л. 19.

[33] Любопытно, что В. К. Кюхельбекер в дневнике, написанном в крепости, отметив, что «никогда не знавал» «рано отцветшего Андрея Тургенева», «которого память была мне всегда, не знаю почему, особенно любезна», писал: «Несчастна Россия насчет людей с талантом; этот юноша, который в Благородном пансионе был соперником Жуковского и, вероятно, превзошел бы его, умер, не достигнув и 20-ти лет». Поэзия Андрея Тургенева в начале XIX в. пользовалась известностью. В том же дневнике Кюхельбекер записал: «С удовольствием я встретил в „Вестнике“ известную элегию покойного Андрея Тургенева (брата моих приятелей). Еще в лицее я любил это стихотворение, и тогда даже больше „Сельского кладбища“, хотя и был в то время энтузиатистом Жуковского» («Дневник Кюхельбекера», стр. 63, 64, 66).

[34] ГПБ. Архив Жуковского, оп. 2, ед хр. 326. Черновая рукопись на нескольких листах в следующей последовательности: лл. 9, 10, 11, 8. Заглавие условное.

Обнаруженная в архиве Жуковского черновая рукопись речи Андрея Тургенева не вошла в рукописный сборник речей, произнесенных на очередных заседаниях «Дружеского литературного общества». Между тем сборник, как явствует из неопубликованной переписки Андрея Кайсарова и Андрея Тургенева, включает в себя полностью все речи, произнесенные на регулярно проходивших дружеских встречах. Речь, видимо, была подготовлена с другой целью. Установить эту цель позволяют следующие данные. Параграф LIII «Законов» «Дружеского литературного общества» требовал, чтобы сверх обычных встреч «всякие три месяца» происходили «экстраординарные собрания, или торжества. Каждый из сих праздников может носить на себе особенное имя. Иной посвящается отечеству, другой — какой-нибудь из добродетелей, третий, например,—поэзии...». Как было установлено В. М. Истриным, первое торжественное заседание происходило 7 апреля 1801 г. и было посвящено отечеству. Обстановка этого «экстраординарного собрания» восстанавливается из более позднего письма Андрея Тургенева. Говоря о дружеском вечере в Петербурге, Тургенев пишет находящимся в Москве друзьям по Обществу: «Мы разгорячились, как тогда, *когда праздновали торжество наше в честь отечеству*. Вспомните этот холодный еще, сумрачный апрельский день и нас в развалившемся доме, окруженном садом и прудами. Вспомните гимн Кайсарова, стихи Мерзлякова, вспомните себя и, если хотите, *и речь мою* <курсив мой.— *Ю. Л.*>, шампанское, которое вдвое нас оживило, торжественный, веселый ужин, соединение радостных сердец» (В. М. Истрин. Указ. соч., стр. 277).

Андрей Тургенев рассматривал это заседание как центральное событие в жизни Общества и предлагал друзьям ежегодно отмечать 7 апреля как день памяти «Дружеского литературного общества». Истрин считал, что «гимн Кайсарова и речь Тургенева до нас не дошли» (указ. соч., стр. 279). Обнаружение текста последней не только восполняет существенный пробел в документальном фонде исследователя «Дружеского литературного общества», но и позволяет по-новому оценить торжество 7 апреля 1801 г. Истрин связывает заседание с получением университетом «милостивых рескриптов» императора. Не смущаясь хронологической неувязкой (рескрипты были получены позже, чем состоялось дружеское торжество), автор пишет: «Повидимому, члены Дружеского литературного общества, узнав заранее о рескрипте, устроили свое торжественное собрание... Такое событие, как ожидаемое получение рескрипта университету, где директором был отец-Тургенев, и воспламенило наших сочленов» (там же, стр. 278—279).

Текст речи Андрея Тургенева позволяет восстановить совсем иную картину. Торжество не имело официального характера. Вольнолюбивая, направленная против тиранов речь Андрея Тургенева, видимо, отражала общий дух заседания 7 апреля 1801 г., дух свободолюбия и патриотизма. В этом смысле особенно знаменательны выпады против царей и льстецов, содержащиеся в речи Андрея Тургенева.

«РАССУЖДЕНИЕ О НЕПРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНАХ» Д. И. ФОНВИЗИНА В ПЕРЕРАБОТКЕ НИКИТЫ МУРАВЬЕВА

Публикация К. В. Пигарева

Одним из писателей, пользовавшихся наибольшей популярностью в кругах декабристов, был Д. И. Фонвизин. Александр Бестужев посвятил ему следующие строки в своем «Взгляде на старую и новую словесность в России»: «*Фон-Визин*, в комедиях своих *Бригадире* и *Недоросле*, в высочайшей степени умел схватить черты народности ⟨...⟩ Его критические творения будут драгоценными для потомства как съемок (facsimile) нравов того времени»[1]. Народность творчества Фонвизина ценил и Пушкин, называвший его «русский весельчак», «из перерусских русский»[2]. Декабрист В. И. Штейнгель, отвечая Следственной комиссии на вопрос об истоках своего вольномыслия и о книгах, которые он читал, показывал: «Теперь трудно упомнить все то, что читал, и какое сочинение наиболее способствовало к развитию либеральных понятий; довольно сказать, что двадцать семь лет я упражнялся и упражняюсь в беспрестанном чтении: я читал Княжнина „Вадима“ (даже печатный экземпляр), Радищева „Поездку в Москву“, сочинения Фонвизина...»[3]

Из произведений Фонвизина к началу двадцатых годов XIX в. неизданными оставались очень немногие, но и они были доступны декабристам, ибо рукописное наследие писателя находилось в руках его племянников М. А. и И. А. Фонвизиных; старший из них, генерал-майор М. А. Фонвизин, был членом Союза Спасения; младший, полковник И. А. Фонвизин,— членом Союза Благоденствия. Известны были также в декабристских кругах изустные предания о Фонвизине, сохранившиеся в семье его потомков. Такова версия об участии Фонвизина в политическом заговоре, целью которого было ограничение самодержавия.

В своих записках декабрист М. А. Фонвизин рассказывает, что гр. Н. И. Панину, «первоприсутствующему» в Коллегии иностранных дел и воспитателю наследника Павла Петровича, «хотелось ограничить абсолютизм твердыми аристократическими институциями». По указанию Панина, Д. И. Фонвизин, служивший в то время под его начальством, составил проект конституционного акта, согласно которому полная законодательная власть в России предоставлялась Верховному сенату, состоявшему частью из несменяемых членов, назначавшихся монархом, частью из выборных представителей дворянского сословия. Сенату должны были подчиняться губернские и уездные дворянские собрания, получавшие право совещаться с ним об общественных и местных нуждах и предлагать на обсуждение Сената новые законы. Монарху предоставлялась исполнительная власть. Конституционный проект предусматривал постепенное освобождение крепостных. Составление этого проекта М. А. Фонвизин относит к тому времени, когда воспитанник Н. И. Панина, в. к. Павел Петрович, достиг совершеннолетия,— то есть к 1773 г. Тогда же якобы был образован заговор в пользу Павла. Участниками заговора против Екатерины М. А. Фонвизин называет в. к. Наталью Алексеевну, братьев Н. И. и П. И. Паниных, Д. И. Фонвизина, кн. Е. Р. Дашкову, кн. Н. В. Репнина, П. В. Бакунина и ряд других лиц. Павел будто бы скрепил свой

подписью проект конституции и поклялся соблюдать ее. Заговор был открыт П. В. Бакуниным фавориту Екатерины, Г. Г. Орлову. Она вызвала к себе сына. «Павел испугался, принес матери повинную и список всех заговорщиков. Она сидела у камина и, взяв список, не взглянув на него, бросила бумагу в огонь и сказала: *я не хочу и знать, кто эти несчастные*. Она знала всех по доносу изменника Бакунина. Единственною жертвою заговора была великая княгиня Наталья Алексеевна: полагали, что ее отравили или извели другим способом»[4]. Далее М. А. Фонвизин сообщает, что Н. И. Панин «был удален от Павла с благоволительным рескриптом», П. И. Панин и Е. Р. Дашкова отошли от двора и переселились в Москву, а Н. В. Репнин уехал в смоленское наместничество. Судьба же самого конституционного проекта была такова. Список с него хранился у брата Д. И. Фонвизина, Павла, директора Московского университета. В 1792 г., после ареста Новикова, П. И. Фонвизин, ожидавший у себя обыска, уничтожил конституционный акт и лишь «введение» к нему было спасено случайно находившимся тут же третьим братом Д. И. Фонвизина, Александром. Это «введение», писанное рукою Д. И. Фонвизина, хранилось впоследствии у его племянника, М. А. Фонвизина, и было похищено у него одним книгопродавцем. Однако до этого оно получило рукописное распространение в кругу друзей М. А. Фонвизина. Копия с этого документа и была отобрана у М. А. Фонвизина при его аресте после восстания.

Сведения о заговоре и о судьбе его участников, сообщаемые М. А. Фонвизиным, в значительной степени недостоверны. Рассказ М. А. Фонвизина вызывает ряд недоумений. В 1773 г. Григорий Орлов уже не был фаворитом Екатерины и находился вдали от двора. Не жила в Петербурге и Е. Р. Дашкова. П. И. Панин удалился в свою подмосковную еще в 1770 г., обиженный на то, что не получил за взятие Бендер чина фельдмаршала, и до пугачевского восстания оставался не у дел. Наместничества были учреждены только в 1775 г., а потому сообщение об отъезде Н. В. Репнина в смоленское наместничество — анахронизм. Наконец, лишен всяких оснований слух об отравлении в. к. Наталии Алексеевны: она умерла в апреле 1776 г. от родов.

Но если версия М. А. Фонвизина о планах дворцового переворота, в которых участвовал его дядя, и не подтверждается историческими фактами, то все же нет дыма без огня. В монографии о Фонвизине Вяземский пишет: «Рассказывают, что он, по заказу графа Панина, написал одно политическое сочинение для прочтения наследнику. Оно дошло до сведения императрицы, которая осталась им недовольною и сказала однажды, шутя в кругу приближенных своих: „худо мне жить приходит: уж и г-н Фонвизин хочет учить меня царствовать“»[5].

«Политическое сочинение», упоминаемое Вяземским, это и есть то «введение» к проекту государственных реформ, о котором сообщает в записках М. А. Фонвизин и которое было впервые напечатано Герценом в «Историческом сборнике Вольной русской типографии в Лондоне» 1861 г. под заглавием «О праве государственном Фонвизина». В предисловии к сборнику Герцен рассказывает о заговоре Паниных, пользуясь при этом неизданными еще тогда записками М. А. Фонвизина.

В начале девятисотых годов в фондах бывшего Государственного архива был обнаружен автограф этого же сочинения Фонвизина и ряд документов, выясняющих время и обстоятельства его возникновения. Все эти материалы опубликованы Е. С. Шумигорским в приложении к его книге «Император Павел I. Жизнь и царствование» (СПб., 1907). Политическая записка, писанная рукою Д. И. Фонвизина, озаглавлена: «Найденное в бумагах покойного графа Никиты Ивановича Панина Рассуждение о непременных государственных законах». Из документов, среди которых находится этот автограф, явствует, что он был передан Д. И. Фонвизиным после смерти своего бывшего начальника Н. И. Панина его брату, П. И. Панину. По свидетельству последнего, «Рассуждение» написано в последний год жизни Н. И. Панина, то есть в 1782—1783 гг. Таким образом, устанавливается существенное расхождение с рассказом М. А. Фонвизина,— расхождение в датировке на целое десятилетие. По свидетельству П. И. Панина, его брат считал «долгом своим примыслить ⟨...⟩ форму государственного правления и фундаментальные законы, свойственные существительному ⟨то есть существующему.— *К. П.*⟩ положению к правам обитателей отечества своего».

В самом «Рассуждении» содержится намек на то, что оно мыслилось как своего

рода «введение» к проекту государственных преобразований: «При таком соображении, каковы могут быть первые фундаментальные законы, прилагается при сем особенное начертание». Тут же, на полях, рукою П. И. Панина помечено, что смерть помешала его брату ссставить это «начертание».

Сохранившееся «Рассуждение» является, таким образом, лишь первой частью предпринятого Н. И. Паниным труда и писано Фонвизиным по его указаниям — «из

О необходимости Законовъ.

Верьховная власть вверяемая Государю, для единаго блага его подданныхъ. Сiю истинну Тираны знаютъ, добрые Государи чувствуютъ. Самодержавный Государь самъ познать долженъ, что власть дѣлать зло есть несовершенство, и что онъ тогда только облекается истиннымъ величiемъ, когда самъ у себя онуго отъемлетъ. Устремя всѣ свои намѣренiя и дѣянiя, къ единому благу отечества и тѣмъ уподобленъ благотворному Божеству, неужели онъ унижаетъ достоинство свое! Богъ потому только и совершенъ что не можетъ дѣлать ничего кромѣ блага, поставя для себя непреложные законы, которыхъ неможетъ преступать не притавъ быть Богомъ... Равно и Го=

ПЕРЕРАБОТКА Н. М. МУРАВЬЕВА «РАССУЖДЕНИЯ О НЕПРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНАХ» Д. И ФОНВИЗИНА. СПИСОК, ПРИНАДЛЕЖАВШИЙ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. НАЧАЛО 1820-х гг.

Список озаглавлен «О необходимости законов». Под заглавием приписка рукою П. А. Вяземского: «Извлечение из сочинения Ф. Визина ‹...›, вероятно, составлено было одним из участников 14-го декабря, или членом Тайного общества»

Лист 1

Центральный архив литературы и искусства, Москва

преподаваемых словесно только покойным назнаменований». Убедительным доказательством того, что «Рассуждение» было передано Фонвизиным П. И. Панину без какого бы то ни было продолжения, содержащего конкретный проект реформ государственного управления, служат дополнения или «примышления», приложенные к записке Фонвизина П. И. Паниным. В них он перечисляет круг тех вопросов, которые брат некогда обсуждал с ним. Однако никаких намеков на ограничение самодержавия эти «примышления» не содержат. «Рассуждение о непременных государственных

законах» и дополнения к нему были предназначены П. И. Паниным для вручения Павлу в момент его вступления на престол. В сопроводительном письме, адресованном Павлу и датированном 1 октября 1784 г., П. И. Панин титулует наследника не «высочеством», а «величеством». Однако воцарение Павла представляется П. И. Панину в более или менее отдаленном будущем: по крайней мере, он сомневается в том, что доживет до этого события. П. И. Панин, действительно, не дожил до воцарения Павла (он умер в 1789 г.), и пакет с «Рассуждением» и приложенными к нему дополнениями попал снова в руки Д. И. Фонвизина.

О дальнейшей судьбе этого пакета мы узнаем из документа, хранящегося в бумагах Следственной комиссии по делу декабристов. В секретном донесении начальнику Главного штаба И. И. Дибичу от 8 мая 1826 г. московский военный генерал-губернатор Д. В. Голицын сообщал, что по его приказанию произведено «освидетельствование» книг и рукописей, принадлежащих московскому мещанину Петру Егоровичу Котельникову, «который назад тому лет 30 был содержателем типографии в городе Калуге при Приказе общественного призрения и покупает манускрипты». Среди обнаруженных у Котельникова рукописей оказался «манускрипт, содержащий в себе очень смелые выражения». Вместе с другими бумагами, отобранными у Котельникова, он был препровожден Дибичу и находится в делах Следственной комиссии. «Манускрипт» этот — не что иное, как копия «Рассуждения о непременных государственных законах», не имеющая заглавия и содержащая ряд небольших отличий (преимущественно стилистических) от общеизвестного текста. О происхождении найденного у него «манускрипта» Котельников показал, что «он получил его в 1818 году от Михайлы и Ивана Александровичей Фон Визиных в том самом виде, как оный есть теперь переписанный и *оконченный собственною рукою Ивана Александровича Фон Визина*. Первый сочинитель сей бумаги был Денис Иванович Фон Визин, находившийся секретарем при графе Никите Ивановиче Панине. По смерти Дениса досталась бумага сия его брату Павлу Ивановичу, от сего брату же их Александру Ивановичу, а по смерти оного наследовали уже дети его, Михайло и Иван, у коих Котельников сам лично видел сию бумагу в поллиста, писанную собственною рукою Дениса Ивановича. Сверх сего Котельников показал, что точно такая же бумага в запечатанном конверте была оставлена Денисом Ивановичем Фон Визиным г-же Пузыревской (коей муж был в С.-Пбурге губернским прокурором) для представления сего конверта государю императору Павлу Петровичу. От г-жи Пузыревской Котельников слышал лично, что тот конверт она представила его величеству и за сие всемилостивейше пожалована ей пенсия». В конце своего донесения Дибичу Голицын уведомляет, что «сей Котельников находится теперь под надзором полиции»[6].

Рассмотрев отобранные у Котельникова бумаги, Следственная комиссия «положила оставить их при делах своих», хотя и установила, что они «ничего относящегося до злоумышленного Общества в себе не заключают»[7].

Итак, из объяснений Котельникова явствует, что «Рассуждение» Фонвизина было вручено Павлу уже после его вступления на престол.

Впоследствии, в 1831 г., рукопись «Рассуждения» вместе с сопровождающими ее бумагами была найдена Николаем I в секретном ящике бюро Павла I и тогда же передана в Государственный архив в запечатанном конверте с надписью: «Хранить, не распечатывая без собственноручного высочайшего повеления». В архиве Зимнего дворца сохранилась писарская копия с этих документов, сделанная, повидимому, в начале XIX в. и переплетенная в зеленый сафьян. На лицевой крышке переплета вытиснена золотом надпись: «Письмы с приложениями графов Никиты и Петра Ивановичей Паниных блаженной памяти к государю императору Павлу Петровичу»[8].

Несмотря на то, что записка Д. И. Фонвизина в подлиннике озаглавлена: «Рассуждение о непременных государственных законах», в современных нам изданиях она печатается под заглавием: «Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой формы государственного правления и от того о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей»[9]. Это не принадлежащее Фонвизину заглавие извлечено из письма П. И. Панина к Павлу: «Вашему императорскому величеству сведомо, что покойный мой брат министр граф Панин сочинял к поднесению Вашему величеству рассуждение

о истребившейся в России совсем всякой формы государственного правления и от того о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей»[10].

Как явствует из приведенной цитаты, строки, принятые советскими исследователями в качестве заглавия записки Фонвизина, в контексте письма звучат скорее как резюме ее содержания.

Сила составленного Фонвизиным документа заключается в обличительной его части — в картине безграничного господства произвола, охватившего все отрасли государственного управления феодально-крепостнической империи Екатерины II. Меньший интерес представляет политико-теоретическая часть рассуждения, варьирующая круг идей, которые характерны для идеологов «просвещенного абсолютизма».

Конкретных политических требований, за исключением требования строжайшей законности и подчинения монарха закону, «Рассуждение» Фонвизина не содержит. Следует ли из этого, что передаваемая в записках М. А. Фонвизина версия о задуманных Паниными преобразованиях, в частности о предоставлении законодательной власти дворянскому Верховному сенату и о постепенном освобождении крепостных крестьян, является сплошным вымыслом? Можно допустить, что эти мероприятия, действительно, обсуждались Паниными в кругу близких лиц, но приурочивались к более или менее отдаленному будущему. Ведь и в «Рассуждении» говорится о предварительном «приуготовлении» нации к тем «преимуществам, коими наслаждаются благоучрежденные европейские народы». Поэтому П. И. Панин в своих «примышлениях» перечисляет лишь «*первые* фундаментальные законы», которые имеет в виду и «Рассуждение» Фонвизина. Но возможно, что Фонвизин приложил к остававшемуся у него тексту «Рассуждения» известные ему соображения о Верховном сенате и о постепенной ликвидации крепостничества и что именно этот документ и был впоследствии уничтожен его братом»[11].

Являясь одним из замечательнейших памятников русской публицистики XVIII столетия, «Рассуждение о непременных государственных законах» в качестве острого памфлета против самодержавия сыграло значительную роль в развитии русского политического свободомыслия.

В записках М. А. Фонвизина упоминается о том, что копия «Рассуждения» была передана им Никите Михайловичу Муравьеву, который переработал его, «приспособив содержание этого акта к царствованию Александра I». По словам М. А. Фонвизина, «разошлось несколько экземпляров сочинения, которое, явясь под именем настоящего автора, было приписано мне»[12].

До последнего времени эта переработка «Рассуждения» Д. И. Фонвизина оставалась неизвестной. Теперь мы располагаем двумя ее списками, сравнительно мало отличающимися один от другого. Первый список обнаружен в бумагах Остафьевского архива Вяземских[13]. Он сделан писарским почерком в записной книжке П. А. Вяземского и озаглавлен: «О необходимости законов». Под заглавием приписано в скобках рукою Вяземского: «Извлечение из сочинения Ф⟨он-⟩Визина, писанного, сказывают, по заказу Панина для велик⟨ого⟩ князя, которое ходило по рукам в последние годы царствов⟨ания⟩ Александра и, вероятно, составлено было одним из участников 14-го декабря или членом тайного общества». После текста этого сочинения помещен список «Разговора любопытного», принадлежащего Н. М. Муравьеву. Другой список «Рассуждения» найден в бумагах полярного исследователя Ф. П. Литке[14]. Он озаглавлен «О законах» и имеет помету перед текстом, достаточно прозрачно указывающую на авторство Муравьева: «Соч. Вьеварума» (прочитанная справа налево фамилия Муравьева).

Сравнение этих списков с «Рассуждением» Д. И. Фонвизина показывает, что Н. М. Муравьев значительно сократил (почти наполовину) фонвизинский текст и местами ограничился его пересказом. Сокращения произведены преимущественно за счет отвлеченных политико-теоретических размышлений автора о свойствах «идеального» монарха. Совершенно опущена заключительная часть «Рассуждения», в которой излагается характерная для дворянских просветителей XVIII в. мысль о «благонравии государя», образующем «благонравие народа». Устранены некоторые намеки, понятные для современников Фонвизина, но ко времени декабристов уже утратившие

свою злободневность (выпады против Потемкина); несколько смягчены строки о Пугачеве и др. Среди чисто стилистических изменений, внесенных Муравьевым в текст Фонвизина, обращает внимание замена слов иностранного происхождения русскими: «народ» вместо «нация», «условия» вместо «пункты», «нравственный» вместо «моральный», «общественный» вместо «публичный», «основной» вместо «фундаментальный», «судилище» вместо «трибунал». В тех случаях, когда Муравьев прибегает к пересказу фонвизинского текста, он, однако, не вносит в него ни одной мысли, которая бы не находила соответствия в подлиннике. Каких-либо дополнений, содержащих конкретные намеки на политическую обстановку последних лет царствования Александра I, в муравьевском тексте «Рассуждения» не имеется. Самый же выбор произведения Фонвизина в качестве политико-агитационного документа, подходящего для распространения в среде деятелей Тайного общества, был, несомненно, обусловлен тем, что нарисованная Фонвизиным картина самодержавного деспотизма Екатерины заключала в себе типические черты, присущие самодержавному строю вообще. Вследствие этого «Рассуждение» Фонвизина полностью сохраняло свою обличительную силу и в позднейшее время. Даже негодующие строки против фаворитизма, превзошедшего всякие границы именно при Екатерине, и те звучали более чем современно в условиях самовластия Аракчеева.

Переработка «Рассуждения» Н. М. Муравьевым и рукописное распространение как сокращенной, муравьевской, редакции этого документа, так и полного, фонвизинского, текста — яркое доказательство того, что русские дворянские революционеры считали Д. И. Фонвизина своим политическим союзником. Убедительным свидетельством агитационного значения сочинения Фонвизина является показание декабриста А. П. Беляева. На вопросы Следственной комиссии: «С которого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, т. е. от сообщества ли или внушений других, или от чтения книг или сочинений в рукописях и каких именно? Кто способствовал укоренению в вас сих мыслей?»— Беляев отвечал: «Понятие ⟨...⟩ о законах и правах человека получил от чтения в 1824 году на фрегате Проворном, где прочитал и списал русскую рукопись у Н. Бестужева о необходимости законов Фонвизина. Также после имел и другие»[15].

Одним из распространителей «Рассуждения» был, повидимому, Рылеев. По крайней мере известно, что осенью 1825 г. он собирался послать «рукописное сочинение Фонвизина *о необходимости законов*» Н. А. Антропову[16]. С «Рассуждением», несомненно, знаком был и А. А. Бестужев. В известном письме к Николаю I, написанном в Петропавловской крепости, говоря о разгуле казнокрадства и лихоимства в царствование Александра I, Бестужев почти дословно цитирует Фонвизина: «...в казне, в судах, в комиссариатах, у губернаторов, у генерал-губернаторов, везде, где замешался интерес, *кто мог, тот грабил, кто не смел, тот крал*»[17] (ср. в «Рассуждении» Фонвизина: «Головы занимаются одним примышлением средств к обогащению. *Кто может — грабит, кто не может — крадет*»).

Страстный памфлетно-полемический тон кишиневских заметок Пушкина по русской истории XVIII в. наводит на мысль, что «Рассуждение» Фонвизина не только было ему известно, но и в какой-то мере помогало разоблачить в его глазах «славную память» Екатерины. Слова Пушкина: «...развратная государыня развратила и свое государство»[18]— конкретизируют общие положения Фонвизина об ответственности монарха за пороки своих подданных. И когда Пушкин в первой главе «Евгения Онегина» называл Фонвизина «сатиры смелым властелином» и «другом свободы», он, очевидно, объединял в своем восприятии автора «Недоросля» и автора гневного политического трактата против самодержавного произвола. Пушкинское крылатое слово — «друг свободы» — выражает и декабристское представление о великом русском сатирике.

Оба списка «Рассуждения» Фонвизина в переработке Н. М. Муравьева изобилуют большим количеством разного рода неточностей, особенно список из архива Вяземского. Ниже печатается сводная редакция обоих списков, в основу которой положен список из бумаг Ф. П. Литке, и параллельно полный текст подлинного «Рассуждения» Д. И. Фонвизина. Курсивом выделены строки и слова, измененные Н. М. Муравьевым; в прямые скобки заключены места, им опущенные; в ломаные скобки — варианты.

ТЕКСТ Д. И. ФОНВИЗИНА:

Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, *а* добрые государи чувствуют. *Просвещенный ясностию сия истины и великими качествами души одаренный монарх, облекшись в неограниченную власть и стремясь к совершенству поскольку смертному возможно*, сам *тотчас ощутит*, что власть делать зло есть несовершенство, и что *прямое самовластие тогда только вступает в истинное свое* величе*ство*, когда *само* у себя отъемлет *возможность к соделанию какого либо зла. И действительно, все сияние престола есть пустой блеск, когда добродетель не сидит на нем вместе с государем: но вообразя его таковым, которого ум и сердце столько были б превосходны, чтоб никогда не удалялся он от общего блага, и чтоб сему правилу подчинил он все свои намерения и деяния, кто может подумать, чтоб сею подчиненностию беспредельная власть его ограничивалась? Нет. Она есть одного свойства со властию существа вышнего.* Бог потому и *всемогущ*, что не может делать ничего *другого*, кроме блага; *а дабы сия невозможность была бесконечным знамением его совершенства, то постановил он правила вечные истины для самого себя* непреложные, *по коим управляет он вселенною и коих*, не престав быть богом, *сам* преступить не может. Государь, *подобие бога, преемник на земле вышней его власти*, не может *равным образом ознаменовать ни* могущества, *ни достоинства своего* иначе, как *постановя в государстве своем правила непреложные, основанные на благе общем, и которых не мог бы нарушить сам, не престав быть достойным государем.*

Без *сих правил, или, точнее объясниться, без непременных государственных законов*, не прочно ни состояние государства, ни состояние государя. Не будет *той* подпоры, на которой *бы* их общая сила утвердилась. *Все в намерениях* полезнейшие *установления* никакого основания иметь не бу-

ТЕКСТ Н. М. МУРАВЬЕВА:

Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, добрые государи чувствуют. *Самодержавный государь* сам *познать должен*, что власть делать зло есть несовершенство, и что *он тогда только облачается истинным* величием, когда сам у себя *оную* отъемлет *и употребляет все свои намерения и деяния к единому благу отечества. Уподобляясь тем благотворному божеству, неужели он унижает достоинство свое?* Бог потому *только* и *совершен*, что не может делать ничего, кроме блага, *постановив для себя* непреложные *законы, которых* не может преступить, не престав быть богом. *Равно и* государь не может иначе *освятить своего* могущества, как *признав над собою владычество непреложных законов.*

Без *сего* не прочно ни состояние государства, ни состояние государя. Не будет подпоры, на которой общая их сила утвердилась. Полезнейшие *постановления* никакого основания иметь не будут. Кто оградит их прочность? Кто поручится, чтоб преемнику

дут. Кто оградит их прочность? Кто поручится, чтоб преемнику не угодно было в один час уничтожить все то, что *во все* прежние царствования установл*яемо* было. Кто поручится, чтоб сам законодатель, окруженный неотступно людьми, затмевающими пред ним истину, не разорил того сегодня, что созидал вчера? Где же произвол одного *есть* закон верховный, *тамо* прочная общая связь и существовать не может; *тамо* есть государство, *но* нет отечества; есть подданные, *но* нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей. Одно пристрастие *бывает подвигом всякого узаконения*; ибо не нрав государя приноравливается к закон*ам*, но законы к его нраву. Какая *же* доверенность, *какое почтение* может быть к законам, не имеющим своего естественного свойства, *то есть*, соображения с общею пользою? Кто может *дела свои* располагать *тамо*, где без всякой справедливой причины завтр*е* вменится в преступление то, что сегодня не *за*прещается? Тут каждый подвержен *будучи* прихотям и неправосудию сильнейших, не считает себя *в обязательстве* наблюдать того с другими, *чего* другие с ним не *на*блюдают. Тут, с одной стороны, на законы естественные, на истины ощутительные, дерзкое невежество требует доказательств и без указа им не повинуется, когда, с другой стороны, безумное веление сильного с рабским подобострастием непрекословно исполняется. Тут, кто может, повелевает, но никто ничем не управляет, ибо править долженствовали бы законы, кои выше себя ничего не терпят. Тут подданные порабощены государю, а государь обыкновенно своему недостойному любимцу. *Я назвал его недостойным потому, что* название любимца не *приписывается* никогда достойному мужу, оказавшему отечеству истинные заслуги, а *принадлежит обыкновенно* человеку, достигшему высоких степеней по удачной своей хитрости нравиться государю. В таком развращенном положении зло-

не угодно было в один час уничтожить все то, что *в* прежние царствования установл*ено* было? Кто поручится, чтоб сам законодатель, окружённый неотступно людьми, затмевающими пред ним истину, не разорил того сегодня, что созидал вчера? Где же произвол одного — закон верховный, прочная общая связь и существовать не может. *Там* есть государство — нет отечества; есть подданные — нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей. Одно пристрастие *управляет законодателем*, ибо не нрав государя приноравливается к закон*у*, но законы к его нраву. Какая доверенность может быть к законам, не имеющим своего естественного свойства — соображения с общею пользою? Кто может располагать *своими делами там*, где без всякой справедливой причины завтр*а* вменится в преступление то, что сегодня не *вос*прещается? Тут каждый подвержен прихотям и неправосудию сильнейших *и* не считает себя *обязанным* наблюдать того с другими, *что* другие с ним не *со*блюдают. Тут, с одной стороны, на законы естественные, на истины ощутительные, дерзкое невежество требует доказательств и без указа им не повинуется, когда, с другой стороны, безумное веление сильного с рабским подобострастием непрекословно исполняется. Тут, кто может, повелевает, но никто ничем не управляет, ибо править долженствовали бы законы, кои выше себя ничего не терпят. Тут подданные порабощены государю, а государь обыкновенно своему недостойному любимцу — *недостойному, ибо* название любимца никогда не *принадлежит* достойному мужу, оказавшему отечеству истинные заслуги, а *приписывается только* человеку, достигшему высоких степеней по удачной своей хитрости нравиться государю. В таком

употреблен*ие* самовластия восход*ит* до невероятности *и уже пре*стает всякое различие между государственным и государевым, между государевым и любимцевым. От произвола сего последнего все зависит. Собственность и безопасность каждого колебл*ется*. Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок *и* презрителен. Пороки любимца *не только* входят в обычай, *но бывают* почти единым средством к возвышению. [*Если любит он пьянство, то сей гнусный порок всех вельможей заражает. Если дух его объят буйством и дурное воспитание приучило его к подлому образу поведения, то во время его знати поведение благородное бывает уже довольно заградить пути к счастию*]. Но если провидение в *лютейшем* своем гневе *к человеческому роду* попускает душою государя овладеть чудовищу, которое все свое любочестие полагает в том, чтоб государство неминуемо было жертвою насильств и игралищем прихотей его; если все уродливые движения души влекут его первенствовать только богатством, титлами и силою вредить; если взор его, осанка, речь ничего другого не знаменуют, как: «боготворите меня, я могу вас погубить»; если беспредельная власть его над душою государя препровождается в его душе бесчисленными пороками; если он горд, нагл, коварен, алчен к обогащению, сластолюбец, бесстыдный, *ленивец*, тогда нравственная язва становится всеобщею, *все сии пороки разливаются* и заражают двор, город и *наконец* — государство. [*Вся молодость становится надменна и принимает тон буйственного презрения ко всему тому, что должно быть почтенно*.] Все узы благочиния расторгаются; к крайнему соблазну ни век, изнуренный в служении отечеств*а*, ни сан, приобретенный истинною служб*ой*, не ограждают почтенного человека от нахальства и дерзости *едва из ребят вышедших и одним случаем поднимаемых негодниц*. Коварство и ухищрение приемлется главным правилом поведения. Никто нейдет стезею себе свой-

развращенном положении злоупотреблен*ия* самовластия восход*ят* до невероятности; *пере*стает всякое различие между государственным и государевым, между государевым и любимцевым. От произвола сего последнего все зависит. Собственность и безопасность каждого колебл*ют*ся. Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок, презрителен. Пороки любимца входят в обычай *и становятся* единым почти средством к возвышению. Но если провидение в гневе своем попускает овладеть душою государя чудовищу, которое все свое любочестие полагает в том, чтоб государство было неминуемо жертвою его насильств и игралищем прихотей; если все уродливые движения души влекут его первенствовать *одним* только богатством, титлами и силою вредить; если взор его, осанка, речь ничего другого не знаменуют, как: «боготворите меня, я могу вас погубить»; если беспредельная власть его над душою государя препровождается в его душе бесчисленными пороками; если он горд, нагл, коварен, алчен к обогащению *и* бесстыдный сластолюбец, тогда нравственная язва становится всеобщею, зараж*ает* двор, город и *все* государство. Все узы благочиния расторгаются, *и* к крайнему соблазну ни век, изнуренный в служении отечеств*у*, ни сан, приобретенный истинною служб*ою*, не ограждают почтенного человека от нахальства и дерзости. Коварство и ухищрение приемл*ю*тся главным правилом поведения. Никто нейдет стезею себе свойственною. Никто не намерен заслуживать, всякий ищет выслужив*аться*. В сие *благоприятное* недостойным людям время какого воздаяния могут ожидать истинные *мужи*, или паче *остается* ли способ *служить* мыслящему и благородное любочестие имеющему гражданину? Какой чин, какой знак почести, какое место государственное не *иска-*

ственною. Никто не намерен заслуживать; всякий ищет выслужи*вать*. В сие *благоспешное* недостойным людям время какого воздаяния могут ожидать истинные *заслуги*, или наче *есть* ли способ *оставаться в службе* мыслящему и благородное любочестие имеющему гражданину? Какой чин, какой знак почести, какое место государственное не *изгажено скаредным* прикосновением пристрастного покровительства? *Посвятив жизнь свою военной службе, лестно ли дослуживаться до полководства, когда вчерашний капрал, неизвестно кто и не ведомо за что*, становится *сегодня* полководцем и принимает начальство над заслуженным и *ранами покрытым офицером? Лестно ль* быть судьею, когда правосудным быть *не позволяется? Тут* алчное корыстолюбие довершает общее развращение. Головы занимаются одним *примышлением* средств к обогащению. Кто может — грабит, кто не может — крадет; и когда государь без непреложных *государственных* законов зиждет на песке свои здания и, выдавая непрестанно частные уставы, думает истребл*ять* вредные государству откупы, тогда не знает он того, что в государстве его ненаказанность всякого преступления давно на откупу, что для *бессовестных* хищников стало делом единого расчета исчислить, что принесет *ему* преступление и во что милостивый указ стать *ему* может. Когда же правосудие претворилось в торжище и можно бояться потерять без вины *свое* и надеяться без права взять чужое, тогда всякий спешит наслаждаться без пощады тем, что в его руках, угождая *развращенным* страстям своим. И что может остановить стремление порока, когда идол самого государя, пред очами целого света, в *самых* царских чертогах, водрузил знамя беззакония и нечестия; [*когда, насыщая бесстыдно свое сластолюбие, ругается он явно священными узами родства, правилами чести, долгом человечества и пред лицом законодателя божеские и человеческие законы попирать дерзает?*] Не *вхожу я* в *подробности* гибельного

жено ⟨*помрачено*⟩ *единым* прикосновением пристрастного покровительства? *Можно ли быть воином*, ⟨*и*⟩ *искать начальства, когда неопытный юноша* становится полководцем — *сказать стыдно за что*, и принимает начальство над *испытанным* и заслуженным *человеком*? *Можно ли* быть судьею, когда правосудным быть *запрещается*? Алчное ⟨*личное*⟩ корыстолюбие довершает общее развращение. *Все* головы занимаются одним *приисканием* средств к обогащению. Кто может — грабит, кто не может — крадет; и когда государь без непреложных законов зиждет на песке свои здания и, выдавая непрестанно частные уставы, думает истреб*ить* вредные государству откупы, тогда не знает он того, что в государстве его ненаказанность всякого преступления давно на откупу, что для хищников стало делом единого расчета исчислить, что принесет *им* преступление и во что милостивый указ стать может. Когда же правосудие претворилось ⟨*превратилось*⟩ в торжище и можно бояться потерять без вины и надеяться без права взять чужое, тогда всякий спешит наслаждаться без пощады тем, что в его руках, угождая *развратным* страстям своим. И что может остановить стремление порока, когда идол самого государя, пред очами целого света, в *виду* царских чертого*в* водрузил знамя беззакония и нечестия? Не *буду входить* в гибельно*е* состояни*е* дел, исторгнутых им под особенное начальство.

состояния дел, исторгнутых им под особенное *его* начальство; [*но вообще видим, что если, с одной стороны, заразивший его дух любоначалия кружит все головы, то с другой — дух праздности, поселивший в него весь ад скуки и нетерпения, распространяется далеко, и привычка к лености укореняется тем сильнее, что рвение к трудам и службе почти оглашено дурачеством смеха достойным.*]

После всего мною сказанного и живым примером утверждаемого не *ясно* ли *видим*, что не тот государь самовласт*нейший*, который на недостатке государственных законов чает утвердить свое самовластие. Порабощен одному или нескольким рабам своим, почему он самодержец? Разве потому, что самого держат в кабале недостойные люди? Подобен будучи прозрачному телу, чрез которое *насквозь* видны действующие *им* пружины, тщетно пишет он новые законы, возвещает благоденствие народа, прославляет премудрость своего правления: новые законы его будут не что иное, как новые обряды, запутывающие старые законы, народ все будет угнетен, дворянство *уничтожено*, и, несмотря на собственное его отвращение к тиранству, правление его будет правление тиранское. ***Нация*** тем не менее страждет, что не сам государь принялся *ее* терзать, а отдал на расхищение извергам себе возлюбленным. Таковое положение долго и устоять не может. При крайнем ожесточении сердец все частные *интересы*, *раздробленные* существом деспотического правления, нечувствительно в одну точку соединяются. Вдруг все устрем*ляются* расторгнуть узы нестерпимого порабощения. И тогда что есть государство? Колосс, держа*вш*ийся цепями. Цепи разрываются, колосс упадает и сам собою разрушается. Деспоти*чество*, рождающ*ее*ся от анархии, весьма редко в *нее* опять не возвращается.

Для отвращения *таковые* гибели государь должен знать во всей точ-

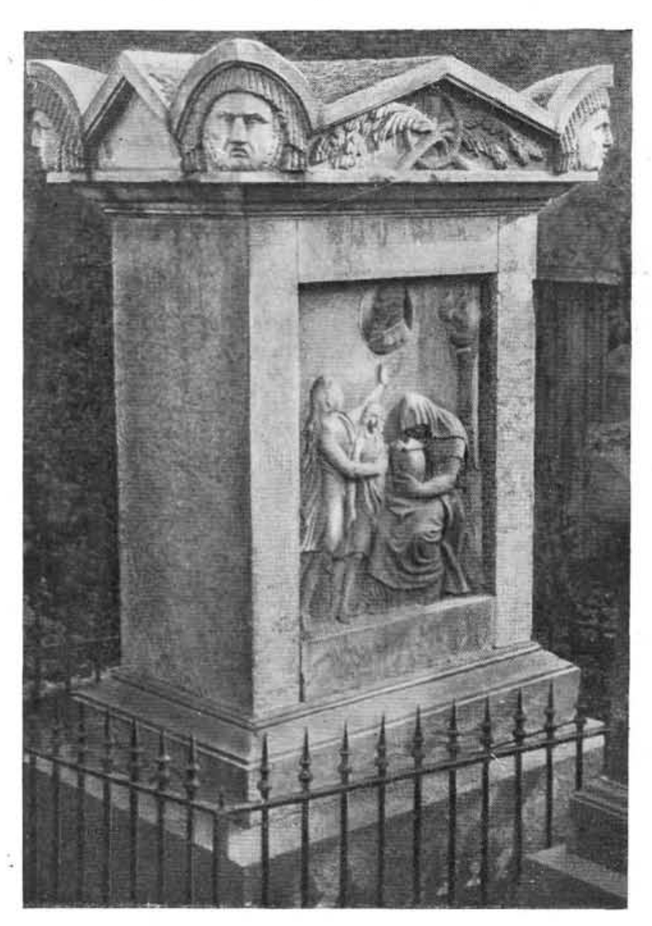
После всего мною сказанного и живым примером утверждаемого не *явствует* ли, что не тот государь самовласт*ный*, который на недостатке государственных законов чает утвердить свое самовластие. Порабощен одному или нескольким рабам своим, почему он самодержец? Разве потому, что самого держат в кабале недостойные люди? Подобен будучи прозрачному телу, чрез которое видны действующие пружины, тщетно пишет он новые законы, возвещает благоденствие народа, прославляет премудрость своего правления: новые законы его будут не что иное, как новые обряды, запутывающие старые законы, народ все будет угнетен, дворянство *унижено*, и, несмотря на собственное его отвращение к тиранству, правление его будет правление тиранское. *Народ* тем не менее страждет, что не сам государь принялся *его* терзать, а отдал на расхищение извергам себе возлюбленным. Таковое положение долго и устоять не может. При крайнем ожесточении сердец все частные *выгоды*, *разделенные* существом деспотического правления, нечувствительно в одну точку соединяются. Вдруг все устрем*ят*ся расторгнуть узы нестерпимого порабощения. И тогда что есть государство? Колосс, держа*щ*ийся цепями. Цепи разрываются, колосс упадает и сам собою разрушается. Деспоти*зм*, рождающ*ий*ся *обыкновенно* от анархии, весьма редко опять в *оную* не *обращается*.

Для отвращения *толикой* гибели государь должен знать во

ности *все* права *своего величества*, дабы,*первое, содержать их у своих подданных в почтении, и второе, чтобы самому* не преступить пределов, ознаменованных *его правам* самодержавнейшею всех на свете властию, *а именно* властию здравого рассудка. *До первого достигает государь* правотою, *до второго* — кротостию.

Правота и кротость суть лучи божественного света, возвещающие людям, что правящая ими власть поставлена от бога и *что* достойна *она* благоговейного *их* повиновения: следственно всякая власть, не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не от бога, *но* от людей, *коих* несчастии времян *попустили, уступая силе, унизить* человеческое *свое* достоинство. В таком гибельном положении *нация*, буде находит средства разорвать свои око-

всей точности права *свои*, дабы не преступить пределов, ознаменованных самодержавнейшею *из* всех властей на свете — властью здравого рассудка. *Он должен во всех поступках руководствоваться* правотою *и* кротостью, *убеждающими* людей, что правящая ими власть поставлена от бога и достойна благоговейного повиновения. Следственно всякая власть, не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не от бога, *а* от людей, *которым* несчастие времен *дозволило унижать* человеческое достоинство *в себе подобных*. В таком гибельном положении *народ*, буде находит средства разорвать свои оковы тем



ПАМЯТНИК НА МОГИЛЕ М. Н. МУРАВЬЕВА—ОТЦА ДЕКАБРИСТОВ НИКИТЫ И АЛЕКСАНДРА МУРАВЬЕВЫХ, 1807 г.

Фотография 1954 г.

Музей-некрополь (ранее Александро-Невская лавра), Ленинград

ИЗОБРАЖЕНИЯ М. Н. МУРАВЬЕВА, ЕГО ЖЕНЫ И СЫНОВЕЙ — БУДУЩИХ ДЕКАБРИСТОВ НИКИТЫ И АЛЕКСАНДРА МУРАВЬЕВЫХ В БАРЕЛЬЕФЕ НАДГРОБНОГО ПАМЯТНИКА М. Н. МУРАВЬЕВА, 1807 г.

Фотография 1954 г.

Музей-некрополь (ранее Александро-Невская лавра), Ленинград

вы тем же правом, каким на *нее* наложены, весьма умно делает, если разрывает. Тут дело ясное. Или *она* теперь вправе возвратить свою свободу, или никто не был вправе отнимать у *ней* свободы. Кто не знает, что все человеческие общества основаны на взаимных добровольных обязательствах, кои разрушаются так скоро, как *их* наблюда*ть* перестают. Обязательства между государем и подданными суть равным образом добровольные, ибо не было еще в свете *нации*, котор*ая* насильно принудил*а* бы кого стать *ее* государем; и если *она* без государя существовать может, а без *нее* государь не *может*, то очевидно, что первобытная власть *была* в *ее* руках и что при установлении государя не о том дело было, чем он *нацию* пожалует, а какою властию *она* его обле*кает*. Возможно *ль же*, чтобы *нация добровольно* постановил*а* сам*а* закон, разрешающий государя делать неправосудие безотчетно? Не стократно *ли* для *нее* лучше не иметь никаких законов, нежели иметь такой, который дает право государю делать всякие насильства? [*А потому и должен он быть всегда наполнен сею великою истиною, что он установлен для государства и что собствен-*

же правом, каким на *него* наложены, весьма умно делает, если разрывает. Тут дело ясное: или *он* теперь вправе возвратить свою свободу, или никто не был вправе отнимать у *него* свободы. Кто не знает, что все человеческие общества основаны на взаимных добровольных обязательствах, кои разрушаются так скоро, как *скоро* перестают *быть* наблюда*емы*. Обязательства между государем и подданными суть равным образом добровольные, ибо не было еще в свете *народа*, котор*ый* бы насильно принудил кого-*либо* стать *своим* государем; и если *оный* без государя существовать может, а без *него* государь не *существует*, то очевидно, что первобытная власть *находится* в руках *народа* и что при установлении государя не о том было дело, чем он *народ* пожалует, а какою властию *народ* его обле*чет*. *Но* ⟨*И*⟩ возможно *ли*, чтобы *народ* постановил сам закон, разрешающий государ*ю* делать неправосудие безотчетно? Не *стократно ль* для *него* лучше не иметь никаких законов, нежели иметь такой, который дает право государю делать всякие насильства?

ное его благо от счастия его подданных долженствует быть неразлучно.]

Рассматривая отношения государя к подданным, первый вопрос представляется разуму, что есть государь?

Душа правимого им общества. Слабая душа, если не умеет управлять прихотливыми стремлениями тела. Несчастно тело, над коим властвует душа безрассудная, которая чувствам, своим истинным министрам, или вовсе вверяется, или ни в чем не доверяет. Положась на них, беспечно принимает он кучу за гору, планету за точку, но буде презирает она их служение, буде возмечтает о себе столько, что захочет сама зажмурясь видеть и, заткнув уши, слышать, какой правильной разрешимости тогда ожидать от нее можно и в какие напасти она сама себя не завлекает!]

Государь, душа политического тела, *равной судьбине подвергается*. Отверзает ли он слух свой *на* всякое внушение, отвращает ли оный от всяких представлений, уже истина его не просвещает: но если он сам *и* не признает верховной *ее* власти над собою, тогда все отношения его к государству в источниках своих развращаются: пойдут различия между его благом и государственным; *тотчас* поселяется к нему ненависть; скоро сам *он* начинает бояться тех, *которые* его *боятся*, *словом*: *вся* власть его становится беззаконная; *ибо не может быть законна власть, которая ставит себя выше всех законов естественного правосудия.*

[*Просвещенный ум в государе представляет ему сие заключение, без сомнения, во всей ясности, но просвещенный государь есть тем не больше человек. Он как человек родится, как человек умирает и в течение своей жизни как человек погрешает, а потому и должно рассмотреть, какое есть свойство человеческого просвещения. Между первобытным его состоянием в естественной его дикости и между истинного просвещения расстояние толь велико, как от неизме-*

Рассматривая отношения государя к подданным, первый вопрос представляется разуму, что есть государь?

Душа политического тела. Отверзает ли он слух свой всякому внушению, отвращает ли оный от всяких представлений, уже истина его не просвещает. Но если он сам не признает верховной власти над собою, тогда все отношения его к государству в источниках своих развращаются: пойдут различия между его благом и государственным; поселится к нему ненависть; скоро сам начнет бояться тех *людей, кои* его *ненавидят, и ненавидеть тех, которых боится*. Власть его становится *властию* беззаконною.

римой пропасти до верху горы высочайшей. Для восхождения на гору потребно человеку пространство целой жизни, но, взошед на нее, если позволит он себе шагнуть чрез черту, разделяющую гору от пропасти, уже ничто не останавливает его падения, он погружается опять в первобытное свое невежество. На самом пороге сея страшныя пропасти стоит просвещенный государь. Стражи, не допускающие его падения, суть право́та и кротость. В тот час, как он из рук их себя исторгает, погибель его совершается, меркнет свет душевных очей его, и, летя стремглав в бездну, вопиет он вне ума: «всё мое, я всё, всё ничто».]

Державшийся правоты и кротости просвещенный государь не поколеблется никогда в истинном своем *величестве*; ибо свойство правоты таково, что *самое* ее никакие предубеждении, ни дружба, ни склонности, ни самое сострадание поколебать не могут. Сильный и немощный, великий и малый, богатый и убогий — все на одной чреде *стоят*; [*добрый государь добр для всех, и все уважении его относятся не к частным выгодам, но к общей пользе. Сострадание производится в душе его не жалобным лицом обманывающего его корыстолюбца, но истинною бедностию несчастных, которых он не видит и которых жалобы часто к нему не допускаются.*] При всякой милости, *оказуемой* вельможе, *должен* он весь свой народ иметь пред глазами. Он должен знать, что государственным награждается одна заслуга государству, что не повинно оно платит за угождения его собственным страстям и что всякий налог, взыскуемый не ради пользы государства, есть грабеж в существе своем *и форме*. Он должен знать, что *нация*, жертвуя частию естественной своей вольности, вручи*ла* свое благо его попечению, его правосудию, его достоинству; что он отвечает за поведение тех, кому *вручает* дел правление, и что, следственно, их преступлении, им терпимые, становятся его преступлениями. Тщетно государь помыслил бы оправдать-

Просвещенный государь не поколеблется никогда в истинном своем *величии*, ибо свойство правоты таково, что ее никакие предубеждения, ни склонности, ни дружба, ни самое сострадание поколебать не могут. Сильный и немощный, великий и малый, богатый и убогий — все на одной чреде *пред ним*. При всякой милости вельможе он *обязан* иметь весь народ свой перед глазами. Он должен знать, что государственным награждается одна *только* заслуга государству, что не повинно оно платить за угождение его собственным страстям и что всякий налог, взыскуемый не ради пользы государства, есть грабеж в существе своем. Он должен знать, что *народ*, жертвуя частию своей вольности естественной, вруч*ал* свое благо его попечению, его правосудию, его достоинству; что он отвечает за поведение тех, кому *вверяет* дел*а* правления и что, следственно, их преступления, им терпимые, становятся его преступлениями. Тщетно государь помыслил бы оправдаться тем, что сам он пред отечеством невинен и что тем долг свой перед ним исполняет. Нет! невинность его есть платеж, коим он сам себе должен, но государству все еще должн*ым* остается. Он повинен ему отвечать не только за

ся тем, что сам он пред отечеством невинен и что тем *весь* долг свой пред ним исполняет. Нет, невинность его есть платеж *долгу*, коим он сам себе должен: но государству все еще должн*иком* остается. Он повинен отвечать ему не только за *дурно*, которое сделал, но и за добро, которого не сделал. Всякое *попущение* — его вина; всякая жестокость — его вина; ибо он должен знать, что послабление пороку есть *одобрение* злодеяниям [*и что, с другой стороны, наистрожайшее правосудие над слабостьми людскими есть наивеличайшая человечеству обида. К несчастию подданных, приходит иногда на государя такая полоса, что он ни о чем больше не думает, как о том, что он государь; иногда ни о чем больше, как о том, что он человек. В первом случае обыкновенно походит он в делах своих на худого человека, во втором бывает неминуемо худым государем. Чтобы избегнуть сих обеих крайностей, государь ни на один миг не должен забывать ни того, что он человек, ни того, что он государь. Тогда бывает он достоин имени премудрого. Тогда во всех своих деяниях вмещает суд и милость. Ничто за черту свою не преступает. Кто поведением своим возмущает общую безопасность, предается всей строгости законов. Кто поведением своим бесчестит самого себя, наказывается его презрением. Кто не рачит о должности, теряет свое место. Словом, государь, правоту наблюдающий, исправляет всечасно пороки, являя им грозное чело, и утверждает добродетель, призывая ее к почестям.*

Правота делает государя почтенным; но кротость, сия человечеству любезная добродетель, делает его любимым. Она напоминает ему непрестанно, что он человек и правит людьми. Она не допускает поселиться в его голову несчастной и нелепой мысли, будто бог создал миллионы людей для ста человек. Между кротким и горделивым государем та ощутительная разница, что один заставляет себя внутренно обожать, а другой — наружно боготворить; но кто принуждает себя боготворить, тот

зло, которое сделал, но и за добро, которого не сделал; всякое *упущение* — его вина; всякая жестокость — его вина; ибо он должен знать, что послабление пороку есть *ободрение* злодеяниям.

внутри души своей видно чувствует, что он человек. Напротив того, кроткий государь не возвышается никогда унижением человечества. Сердце его чисто, душа права, ум ясен. Все сии совершенства представляют ему живо все его должности. Они твердят ему всечасно, что государь есть первый служитель государства; что преимущества его распространены нациею только для того, чтоб он в состоянии был делать больше добра, нежели всякий другой; что силою публичной власти, ему вверенной, может он жаловать почести и преимущества частным людям, но что самое нацию ничем пожаловать не может, ибо она дала ему все то, что он сам имеет; что для его же собственного блага должен он уклоняться от власти делать зло и что, следственно, желать деспотичества есть не что иное, как желать найти себя в состоянии пользоваться сею пагубною властию. Невозможность делать зло может ли быть досадна государю? А если может, так разве для того, что дурному человеку всегда досадно не смочь делать дурно.] Право деспота есть право сильного: *но и разбойник то же право себе присвояет.* И кто не видит, что изречение право сильного выдумано в посмеяние. В здравом разуме сии два слова никогда вместе не встречаются. Сила принуждает, а право обязывает. Какое же *то* право, *которому повинуются не по должности, а по нужде и* которое в *тот момент* у силы исчезает, когда большая сила сгоняет ее с места? [*Войдем еще подробнее в существо сего мнимого права*]. Потому, что я не в силах [*кому-нибудь*] сопротивляться, следует ли из того, чтоб я *морально* обязан был признавать *его* волю правилом моего поведения? [*Истинное право есть то, которое за благо признано рассудком и которое, следственно, производит некое внутреннее чувство, обязывающее нас повиноваться добровольно. В противном случае повиновение не будет уже обязательство, а принуждение.*] Где *же* нет *обязательства*, там нет и права. Сам бог в одном своем качестве существа

Право деспота есть право сильного, и кто не видит, что изречение «право сильного» выдумано в посмеяние. В здравом разуме сии два слова никогда вместе не встречаются. Сила принуждает, а право обязует. Какое же право, которое в *то мгновение* у силы исчезает, когда большая сила сгоняет ее с места? Потому, что я не в силах сопротивляться, следует ли из того, чтобы я *нравственно* был обязан признавать *угнетающую меня* волю правилом моего поведения?

Где нет *обязанности*, там нет и права. Сам бог в одном своем качестве существа всемогущего не

всемогущего не имеет ни малейшего права на наше повиновение. Вообразим себе существо всемогущ*ее*, которое не только ко всему принудить, но и вовсе истребить *нас* может, [*которое захотело бы сделать нас несчастными или, по крайней мере, не захотело бы никак пещись о нашем благе, когда*] чувствовали *ли* бы мы в душе обязанность повиноваться сей вышней воле, [*клонящейся к нашему бедствию или нас пренебрегающей?*] Мы уступили *бы* по нужде *ее всемогуществу*, и между богом и нами было бы ни что иное, как *одно* физическое отношение. Все право на наше благоговейное повиновение имеет бог в качестве существа всеблагого. Рассудок, *признавая* благим употребление его всемогущества, *советует нам сображаться с его волею и влечет сердца и души ему повиноваться*. Существу всеблагому может ли быть приятно повиновение, вынужденное одним страхом? *И* такое гнусное повиновение прилично ли существу рассудком одаренному? Нет, оно не достойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Сила и право совершенно различны как в существе своем, так и в образе *действования*. Праву *потребны* достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железа, топоры. [*Совсем излишне входить в толки о разностях форм правления и разыскивать, где государь самовластнее и где ограниченнее.*] Тиран, *где бы он ни был, есть* тиран, [*и право народа спасать свое бытие пребывает вечно и везде непоколебимо.*

Истинное блаженство государя и подданных тогда совершенно, когда все находятся в том спокойствии духа, которое происходит от внутреннего удостоверения о своей безопасности. Вот прямая п о л и т и ч е с к а я в о л ь н о с т ь нации. Тогда всякий волен будет делать все то, чего позволено хотеть, и никто не будет принуждать делать того, чего хотеть не должно; а дабы нация имела сию вольность, надлежит правлению быть так устроену, чтоб гражданин не мог страшиться злоупотребления власти; чтоб никто не мог быть игралищем

имеет ни малейшего права на наше повиновение. Вообразим себе *какое-нибудь нам враждебное* существо всемогущ*им*, которое *нас* не только ко всему принудить, но и вовсе истребить может, чувствовали бы мы в душе *своей* обязанность повиноваться сей вышней воле?

Мы уступили *б* по нужде и между *таким* ⟨*таковым*⟩ богом и нами было бы не что иное, как физическое отношение. Все право на наше благоговейное повиновение имеет бог в качестве существа всеблагого. Рассудок *наш признает* ⟨*признав* благим⟩ употребление его всемогущества *и мы с радостью ему покоряемся* ⟨*с радостию ему покоряется*⟩. Существу всеблагому может ли быть приятно повиновение, вынужденное одним страхом? Такое гнусное повиновение прилично ли существу рассудком одаренному? Нет, оно недостойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Сила и право совершенно различны как в существе своем, так и в образе *действия*. Праву *нужны* достоинства, дарования, добродетели... Силе надобны ⟨*нужны*⟩ тюрьмы, железа, топоры... Тиран *везде* тиран, *под каким бы названием он ни скрывался.*

насильств и прихотей; чтоб по одному произволу власти никто из последней степени не мог быть взброшен на первую, ни с первой свергнут на последнюю; чтоб в лишении имения, чести и жизни одного дан был отчет всем и чтоб, следственно, всякий беспрепятственно пользоваться мог своим имением и преимуществами своего состояния.

Когда же свободный человек есть тот, который не зависит ни от чьей прихоти, напротив же того, раб деспота тот, который ни собою, ни своим имением располагать не может и который на все то, чем владеет, не имеет другого права, кроме высочайшей милости и благоволения, — то по сему истолкованию политической вольности видна неразрывная связь ее с правом собственности. Оно есть не что иное, как право пользоваться; но без вольности пользоваться, что оно значит? Равно и вольность сия не может существовать без права, ибо тогда не имела бы она никакой цели; а потому и очевидно, что нельзя никак нарушать вольности, не разрушая права собственности, и нельзя никак разрушать права собственности, не нарушая вольности.]

При исследовании, в чем состоит величайшее благо государств и народов и что есть истинное намерение всех систем законодательств, найдем необходимо два главнейших *пункта*, а именно [*те, о коих теперь рассуждаемо было*]: *вольность* и собственность. Оба сии преимущества, [*равно как*] и форма, каковою *публичной* власти действовать, должны быть устроены сообразно с физическим положением государства и *моральным* свойством *нации*. Священные законы, определяющие сие устройство, разумеем мы под именем *фундаментальных*. [*Ясность их должна быть такова, чтоб ни малейшего недоразумения никогда не повстречалось, чтоб из них монарх и подданный равномерно знали свои должности и права.*] От *сих точно законов* зависит общая [*их*] безопасность, следственно они и должны быть непременными.

Теперь *представим себе* государство, объемлющее пространство, ка-

При исследовании, в чем состоит величайшее благо государств и народов и что есть истинное намерение всех систем законодательства, найдем необходимо два главнейшие *условия*, а именно: *свободу* и собственность. Оба сии преимущества и форма, каковою *общественной* власти действовать, должны быть устроены сообразно с физическим положением государства и *нравственных* свойств *народа*. Священные законы, определяющие сие устройство, разумеем мы под именем *основных законов*. От *них* зависит общая безопасность, следственно они и должны быть непременными.

Теперь *сравним с сказанным* ⟨*Помня все выше сказанное, обратим*

кового ни одно на всем известном земном шаре не объемлет и *какового* по *мере его обширности* нет в свете малолюднее; государств*о*, раздробленное *с лишком на тридцать* больших областей и состоящее, можно сказать, из двух только городов, из коих в одном живут люди большею частию по нужде, в другом большею частию по прихоти; государство, *многочисленным и храбрым* своим воинством страшное, [*и которого положение таково, что потерянием одной баталии может иногда бытие его вовсе истребиться*]; *государство, которое* силою и славою своею обраща*ет* на себя внимание целого *света* и которое *мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся,* никем не *предводимый*, *может* привести, *так сказать*, в несколько часов на *самый* край *конечного разрушения и* гибели; государство, дающее чужим землям царей и которого собственный престол зависит от отворения кабаков для зверской толпы буян, охраняющих безопасность царск*ия* особы; государство, где есть все политические людей состояния, но где ни которое не имеет никаких преимуществ и одно от другого пустым только именем *раз*личается; государство, движимое *все*дневными и часто друг другу противоречущими указами, [*но не имеющее никакого твердого законоположения*]; государство, где люди составляют собственность людей, где человек одного состояния имеет право быть вместе истцем и судьею над человеком другого состояния, где каждый, [*следственно*], может быть завсегда или тиран или жертва; государство, *в котором почтеннейшее из всех состояний, долженствующее оборонять отечество купно с государем и корпусом своим представлять нацию, руководствуемое одною честию, д в о р я н с т в о уже* именем *только существует и* продается *всякому подлецу, ограбившему отечество*; [*где знатность, сия единственная цель благородныя души, сие достойное возмездие заслуг, от рода в род оказываемых отечеству, затмевается фавором, поглотившим всю пищу истинного любочестия*;] государство не

взоры наши на государство, объемлющее⟩ *состояние* государств*а*, объемлющ*его* пространство, какового ни одно не объемлет на всем известном земном шаре и *которого* по *содержанию* нет в свете малолюднее; государств*а*, раздробленн*ого* ⟨государство, раздробленное⟩ на *пятьдесят с лишком* ⟨больших⟩ областей и состоящ*его* ⟨состоящее⟩, можно сказать, из двух только городов, из коих в одном живут большею частию люди по нужде, в другом большею частию по прихоти; государств*а* ⟨государство⟩, воинством своим страшн*ого* ⟨страшное⟩, силою и славою своею обраща*ющего* ⟨обраща*ющее*⟩ на себя внимание целого *мира* и которое *бродяга* никем не *наущенный* ⟨*ненаученный*⟩ *мог* привести в несколько часов на край гибели; государств*а*, дающ*его* ⟨государство, дающее⟩ чужим землям царей и которого ⟨*коего*⟩ собственный престол зависит от отворения кабаков для зверской толпы буян ⟨*от долготерпения вооруженных мучеников*⟩, охраняющих безопасность царск*ой* особы; государств*а* ⟨государство⟩, где есть все политические людей состояния, но где ни которое не имеет никаких ⟨*должных*⟩ преимуществ и одно от другого пустым только именем *от*личается; государств*а* ⟨государство⟩, движим*ого* ⟨движимое⟩ *еже*дневными, *весьма* часто друг другу противоречащими ⟨*противными*⟩ указами; государств*а* ⟨государство⟩, где люди составляют собственность людей, где человек одного состояния имеет право быть вместе истцем и судьею над человеком другого состояния, где каждый может быть завсегда или тиран или жертва; государств*а* ⟨государство⟩, *где дворянское звание, одним* именем *существующее*, продается *каждому грабителю*; государств*а* не деспотического ⟨государство не деспотическое⟩, ибо *народ* никогда не отдавал себя государю в само*властное* управ-

деспотическое: ибо *нация* никогда не отдавала себя государю в *самовольное его* управление и всегда *имела трибуналы* гражданские и уголовные, обязанные защищать невинность и наказывать преступления; не монархическое, ибо нет в нем *фундаментальных* законов; не аристократия, ибо верховное в нем правление есть бездушная машина, движимая произволом государя; на демократию же и походить не может земля, где народ, пресмыкаяся во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства.

[*Просвещенный и добродетельный монарх, застав свою империю и свои собственные права в такой несообразности и неустройстве, начинает великое свое служение немедленным ограждением общия безопасности посредством законов непреложных. В сем главном деле не должен он из глаз выпускать двух уважений: первое, что государство его требует немедленного врачевания от всех зол, приключаемых ему злоупотреблением самовластия; второе, что государство его ничем так скоро не может быть подвергнуто конечному разрушению, как если вдруг и не приуготовя нацию, дать ей преимущества, коими наслаждаются благоучрежденные европейские народы. При таковом соображении, каковы могут быть первые фундаментальные законы, прилагается при сем особенное начертание*.*

В заключение надлежит признать ту истину, что главнейшая наука правления состоит в том, чтоб уметь сделать людей способными жить под добрым правлением. На сие никакие именные законы не годятся. Узаконение быть добрыми не подходит ни под какую главу Устава о благочинии. Тщетно было бы вырезывать его на досках и ставить на столы в управах; буде не врезано оно в сердца, то все управы будут плохо управляться. Чтоб устроить нравы, нет нужды ни в каких пышных и торжест-

* Сего начертания не допустила Панина сочинить скоропостижная ему кончина. — *Приписка на полях рукою П. И. Панина.*

ление и всегда им*ел судилища* гражданские и уголовные, обязанные защищать невинность и наказывать преступления; не монархическ*ого* ⟨не монархическое⟩, ибо нет в нем *основных* законов; не аристократи*ческого* ⟨не аристократи*ческое*⟩, ибо верховное в нем правление есть бездушная машина ⟨*махина*⟩, движимая произволом государя; на демократию же и походить не может земля, где народ, пресмыка*ясь* во мраке глубочайшего невежества, носит ⟨*несет*⟩ безгласно бремя жестокого рабства.

венных обрядах. Свойство истинного величества есть то, чтобы наивеличайшие дела делать наипростейшим образом. Здравый рассудок и опыты всех веков показывают, что одно благонравие государя образует благонравие народа. В его руках пружина, куда повернуть людей: к добродетели или к пороку. Все на него смотрят, и сияние, окружающее государя, освещает его с головы до ног всему народу. Ни малейшие его движения ни от кого не скрываются, и таково есть счастливое или несчастное царское состояние, что он ни добродетелей, ни пороков своих утаить не может. Он судит народ, а народ судит его правосудие. Если же надеется он на развращение своей нации столько, что думает обмануть ее ложною добродетелию, сам сильно обманывается. Чтоб казаться добрым государем, необходимо надобно быть таким; ибо как люди порочны ни были б, но умы их никогда столько не испорчены, сколько их сердца, и мы видим, что те самые, кои меньше всего привязаны к добродетели, бывают часто величайшие знатоки в добродетелях. Быть узнану есть необходимая судьбина государей, и достойный государь ее не устрашается. Первое его титло есть титло честного человека, а быть узнану есть наказание лицемера и истинная награда честного человека. Он, став узнан своею нациею, становится тотчас образцом ее. Почтение его к заслугам и летам бывает наистрожайшим запрещением всякой дерзости и нахальству. Государь, добрый муж, добрый отец, добрый хозяин, не говоря ни слова, устрояет во всех домах внутреннее спокойство, возбуждает чадолюбие и самодержавнейшим образом запрещает каждому выходить из своего состояния. Кто не любит в государе мудрого человека? а любимый государь чего из подданных сделать не может? Оставя все тонкие разборы прав политических, вопросим себя чистосердечно: кто есть самодержавнейший из всех на свете государей? Душа и сердце возопиют единогласно: тот, кто более любим.]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Полярная звезда» на 1823 г., стр. 11—12.

[2] Пушкин. Тень Фонвизина (т. I, стр. 156); письмо к П. А. Вяземскому от первой половины ноября 1824 г. (т. XIII, стр. 121).

[3] Нечкина. Грибоедов, стр. 430.

[4] «Русская старина», 1884, № 4, стр. 60—63.

[5] П. А. Вяземский. Фон-Визин.— Полн. собр. соч., т. V. СПб., 1880, стр. 185 См. также запись Вяземского в «Старой записной книжке» — т. IX. СПб., 1884, стр. 37.

[6] ЦГИА, ф. № 48, ед. хр. 265, ч. I, лл. 9—11.

[7] Там же, л. 14.

[8] Там же, ф. № 728, оп. 1, ед. хр. 565.

[9] Д. И. Фонвизин. Избранные сочинения и письма. Подготовка текста и комментарии Л. Б. Светлова. Гослитиздат, 1947; Русская проза XVIII века, т. I. Гослитиздат, 1951; Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века, т. II. Госполитиздат, 1952.

[10] Е. С. Шумигорский. Император Павел I. СПб., 1907, прилож., стр. 2.

[11] «Общественные движения», стр. 10.

[12] «Русская старина», 1884, № 4, стр. 62.

[13] ЦГЛА. ф. № 195, ед. хр. 1108, лл. 62—75.— Некоторые из переписанных в записной книжке материалов датированы 1823, 1825 и 1826 гг., что указывает на время, когда она заполнялась. Несомненно, что текст «О необходимости законов» был внесен в записную книжку до восстания 14 декабря 1825 г.(Там же хранится и список подлинного «Рассуждения» Д. И. Фонвизина, полученный Вяземским от его племянников).

[14] Находится у Н. Ф. Литке (Ленинград). В том же архиве Ф. П. Литке сохранилась записка «Нечто о возмущении Семеновского полка». См. далее, стр. 363—364.

[15] ЦГИА, ф. № 48, д. 363, лл. 1—2.

[16] «Лит. наследство», т. 59, 1954, стр. 179.

[17] Довнар-Запольский. Мемуары, стр. 132—133.

[18] Пушкин. ⟨Замечания по русской истории XVIII века⟩— т. XI, стр. 16.

ЗАПИСКА «НЕЧТО О ВОЗМУЩЕНИИ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА»

Публикация С. Б. Окуня
Вступительная статья И. В. Пороха

Восстание солдат лейб-гвардии Семеновского полка, происшедшее 16—18 октября 1820 г., явилось крупным политическим событием первой четверти XIX в.

16 октября первая «государева рота» семеновцев, самовольно собравшаяся на вечернюю перекличку, выразила негодование командиру роты капитану Кошкареву по поводу жестокого обращения с ними полковника Шварца. Грубый и невежественный аракчеевец, Шварц, назначенный в Семеновский полк навести «порядок» и вытравить «либеральный» дух, только за пять месяцев своего командования наказал палками 44 солдата. Шварц заставлял солдат плевать в лицо провинившимся. Особенно мучительными были введенные им у себя на квартире «десяточные» смотры, во время которых он подвергал солдат нечеловеческим истязаниям.

Протест, выраженный первой ротой, был поддержан всеми солдатами и вылился в открытое выступление Семеновского полка, направленное не только против Шварца, но и против крепостнических порядков, процветавших в армии [1].

Несмотря на то, что члены Союза Благоденствия, офицеры полка, не принимали непосредственного участия в подготовке и проведении восстания семеновцев, это событие сыграло большую роль в развитии взглядов декабристов на роль военного восстания в будущей революции[2]. Из состава Семеновского полка вышли такие выдающиеся деятели Южного общества, как С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин, сумевшие сохранить в бывших семеновцах революционный энтузиазм и использовать их для воздействия на солдатские массы армейских полков [3].

Восстание Семеновского полка произвело ошеломляющее впечатление на весь государственный аппарат. М. И. Муравьев-Апостол, бывший офицер Семеновского полка, очень часто обращавшийся в позднейшей переписке к «семеновским» событиям, в письме от 16 января 1860 г. к М. И. Бибикову оставил любопытное свидетельство о панических настроениях в армии. «Во время Семеновского события,— писал М. И. Муравьев-Апостол,— петербургский генералитет весь потерял голову; первые меры, ими принятые, были: арестование почт и данное запрещение газетам не упоминать о случившемся в Семеновском полку. Полк еще не был отвезен в Петербургскую крепость, когда курьер скакал в Троппау»[4].

Александр I, заседавший в это время на конгрессе Священного Союза в Троппау, узнав о восстании Семеновского полка, понял, что незыблемая опора самодержавия, какой он считал армию, заколебалась. Царь беспощадно расправился со своим «любимым» полком, шефом которого он был. По его приказу от 2 ноября 1820 г., Семеновский полк был расформирован: личный состав и большинство офицеров переведены в армейские полки, а главные виновники событий понесли тяжелые наказания [5].

Выступление Семеновского полка и появившиеся вслед за тем политические прокламации, призывавшие к свержению самодержавия и уничтожению крепостного права, серьезно обеспокоили Александра I. В армии усилился тайный политический надзор, а за бывшими офицерами и солдатами Семеновского полка было установлено особое наблюдение. Начальник главного штаба П. М. Волконский писал 7 января 1821 г.

из Лайбаха главнокомандующему первой армией генералу Ф. В. Сакену: «Государю императору угодно, чтобы ваше превосходительство предписали полковым командирам секретно приказать чрез ротных командиров или чрез нижних же чинов стараться во всех полках чрез разговоры с поступившими нижними чинами выведывать из них о настоящем начале происшествия, бывшего в Семеновском полку, чтó подало повод тому, не были ли они подучаемы и кем именно? И о таковых разговорах каждого чина немедленно доносили бы»[6]. Но узнать что-либо от бывших семеновских солдат правительственным агентам не удалось. Позднее семеновцы приняли активное участие в подготовляемом декабристами революционном выступлении против самодержавия.

В настоящее время имеется довольно много различных свидетельств о возмущении Семеновского полка, среди которых наибольшую ценность представляют воспоминания и рассказы бывших семеновских офицеров [7]. Интересные сведения сохранились в дневниках, записках, письмах и показаниях декабристов. Подробно рассказали о восстании в своих записках М. И. Муравьев-Апостол [8], Н. И. Лорер[9] и П. Н. Свистунов [10].

Но первое место в ряду всех свидетельств, бесспорно, принадлежит талантливо написанному политическому очерку «Возмущение старого лейб-гвардии Семеновского полка», автором которого принято считать Рылеева[11]. Очерк этот не лишен некоторых фактических неточностей, что, однако, ни в какой мере не снижает его исключительной ценности.

Автор очерка сумел верно и политически остро определить причины, обусловившие восстание Семеновского полка. Самодержавно-крепостническая система управления армии с ее палочной дисциплиной и циничной жестокостью, стремление «превратить войско в машину, приятную глазам» — вот что, по мнению автора, вызвало открытый протест семеновцев.

Публикуемый отрывок «Нечто о возмущении Семеновского полка» очень близко примыкает к очерку, приписываемому Рылееву. Свою задачу автор отрывка видит в том, чтобы сохранить для истории живое впечатление современника. Отрывок обрывается на событиях 17 октября и аресте первой «государевой роты». Автор показывает, как самодержавно-крепостнические порядки душат крестьян в деревне и крестьян в солдатских шинелях.

«Как в деревне приучен он,— пишет автор о крестьянине,— думать, что создан для того, чтобы кормить помещика, или составлять его дворовую челядь, или доставлять для его прихотей деньги, так тут ⟨в армии⟩ видит он все свое назначение в том, чтобы или забавлять глаза своего начальника, или гонять сквозь строй тех, кои вздумают избавиться от этого бремени».

В отрывке очень много мыслей, близких к взглядам декабристов. В вводной части отрывка автор называет свое время «периодом переворотов», которые служат «как бы преддверием к каким-то важным, небывалым событиям, которых мы еще можем сделаться свидетелями». Эти слова невольно воскрешают в памяти высказывания П. И. Пестеля, назвавшего период двадцатых годов — эпохой открытых революционных потрясений в Европе и готовящегося революционного выступления в России [12]. В рассуждении о влиянии Отечественной войны 1812 г. на рост политического самосознания солдатской массы звучат те же ноты, что и в письмах А. А. Бестужева из Петропавловской крепости и во многих других декабристских документах.

Но особенно близок отрывок, как уже указано, к очерку, приписываемому Рылееву. Близость эта не ограничивается присущей обоим документам резкой антикрепостнической направленностью,— текстуально совпадают некоторые места. Так, в обоих документах при характеристике александровской армии употребляется эпитет «бездушная машина»; в одном и том же смысле фигурируют Кульм и Бородино; в обоих очерках слова «дух времени» (кстати сказать, типичное для декабристов выражение) означают «умонастроение»; даже само заглавие очерков очень сходно: «Возмущение» и «Нечто о возмущении».

Отрывок «Нечто о возмущении Семеновского полка» обнаружен в «Особой записной книге» известного ученого, полярного исследователя Ф. П. Литке [13]. «Книга» эта была начата им в Категате 10 августа 1820 г., во время плавания. В первые годы

Литке, тогда еще молодой офицер флота, заносил в нее все, что ему казалось наиболее примечательным как из потаенной литературы, так и из появлявшихся в печати произведений. На полях он обычно помечал место и дату копирования того или иного произведения, а если переписывание производилось в несколько приемов — место и дату каждой записи. Рядом с сатирой Рылеева «К временщику» в тетрадь вписана ода «Вольность» Пушкина; письмо Волро (то есть М. Ф. Орлова) к «Сочинителю истории походов россиян в XVIII в.» и ответ Волро на возражения Бутурлина и др.

Судя по пометкам на полях, отрывок «Нечто о возмущении Семеновского полка» был получен Ф. П. Литке в Петербурге и переписывался с перерывами с 11 февраля по 9 марта 1822 г.

Восстание Семеновского полка произвело на Литке сильное впечатление и надолго сохранилось в его памяти. Он не только переписал в свою «Особую записную книгу» публикуемый ниже отрывок, но и в автобиографии, написанной в 1865—1868 гг., дважды упомянул об этом событии. Первый раз, сообщая о том, что осенью 1820 г. произошла «семеновская история», Литке высказал искреннее удовлетворение тем, что неожиданный отъезд из Кронштадта (где он жил с братом Александром) в Петербург избавил его от участия в «очень неприятной кампании» — перевозке одного из батальонов Семеновского полка в Свеаборг [14]. Вторично Литке вспоминает о семеновской истории в связи с восстанием декабристов на Сенатской площади. «14 декабря,— писал он,— когда уже начинало смеркаться, работу мою прервал поспешно вошедший денщик. „Ваше высокоблагородие! *Семеновский полк* бунтует!“ (тогда у всех в памяти была семеновская история 20 года)» [15].

Кто автор публикуемого отрывка, точно установить не удалось. Первоначально, вполне естественно, может возникнуть мысль, что, поскольку перед нами автограф самого Литке, он и является автором. Известно к тому же, что Литке вообще был склонен к составлению мемуарных записей и даже оставил описание событий 14 декабря, к сожалению, до нас не дошедшее. Восстание же в Семеновском полку, как уже отмечалось выше, произвело на него сильное впечатление. И все же более внимательное чтение текста «Нечто о возмущении Семеновского полка» и выяснение политической биографии Литке приводят нас к мысли, что не он был автором отрывка [16]. На наш взгляд, имеется больше оснований предполагать, что очерк «Нечто о возмущении Семеновского полка» написан Н. А. Бестужевым.

«Критическое отношение к крепостному строю и аракчеевскому режиму,— отмечает исследователь декабризма,— было характерно для всей семьи Бестужевых. Эти настроения шли, прежде всего, от отца их, Александра Федосеевича Бестужева, который в значительной степени был связан с оппозиционными группировками и радикальной мыслью предыдущего царствования»[17]. Старший из пяти сыновей А. Ф. Бестужева, Николай, глубоко воспринял эти настроения отца и в условиях русской действительности первой четверти XIX в. открыто выступил против самодержавия и крепостничества.

Николай Бестужев довольно рано проявил интерес к литературной деятельности. В 1818 г. в первой книжке «Благонамеренного» появились его ответы на вопросы, заданные редакцией читателям. В этих ответах Н. Бестужев определял литературу как одно из важнейших общественных занятий, подчеркивая при этом особую роль критики для ее успешного развития [18].

Внимательно присматриваясь и сравнивая внутреннее положение России после Отечественной войны 1812 г. с другими странами, в которых ему приходилось бывать во время своих частых плаваний (Голландия, Франция, Англия, Испания), Н. Бестужев приходит к выводу о превосходстве конституционного правления. Свои наблюдения и впечатления Н. Бестужев изложил в ряде литературных произведений. В 1821 г. сначала в журнале «Соревнователь просвещения», а затем отдельным изданием появились его «Записки о Голландии 1815 года». Начиная с марта 1821 г. Н. Бестужев принимал активное участие в деятельности Вольного общества любителей российской словесности, на заседаниях которого с 9 января 1822 г. он встречался с Рылеевым [19].

Н. Бестужев показывал на допросе, что он целиком «посвятил себя для сочинения Российской морской истории, и потому главнейший предмет моего усовершенство-

вания состоял в истории, и наиболее — в истории морских держав» [20]. Этот глубокий интерес к истории составляет одну из специфических черт литературного творчества Н. Бестужева. Почти в каждом из своих произведений Н. Бестужев уделяет большое внимание вопросам истории и политики. Так в «Записках о Голландии 1815 года» он приводит содержательную историческую справку о возникновении голландского государства; в повести «Русские в Париже 1814 г.» верно раскрывает существо реставрации Бурбонов; в рассказе «Гибралтар» высказывает сочувственное отношение к испанской революции 1820—1823 гг. и ее руководителю Риэго и т. п.

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ

Литография К. П. Беггрова с рисунка Саббата и Шифляра, 1820-е годы

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Одна из задач революционной деятельности членов Тайного общества, как ее определил на следствии Н. Бестужев, состояла в том, чтобы способствовать распространению просвещения и образования, «давая средства людям *читать, сравнивать и замечать*», что «необходимо должно было приводить их к понятиям о правах каждого и общих политических правилах, на которых благосостояние государств основано» [21]. Н. Бестужев считал необходимым записывать наиболее важные мысли и наблюдения для того, чтобы впоследствии сделать их достоянием других [22].

В связи с приведенными выше высказываниями Н. Бестужева обратимся к тексту публикуемого очерка. Автор его, определяя свое отношение к окружающей действительности, пишет: «Жить и не замечать современных событий, по моему понятию, не значит жить». При этом он подчеркивает, что нужно не просто замечать, а «замечаниям своим давать такой вид, чтобы они рано или поздно могли сообщаться и другим».

В этом единстве подхода Н. Бестужева и автора «Нечто о возмущении...» к определению обязанностей «всякого, желающего быть полезным гражданина», мы усматриваем одни и те же исходные принципы литературного творчества, которые едва ли могут быть просто случайным совпадением. Идейно близки, а подчас текстуально сходны с публикуемым отрывком и некоторые показания Н. Бестужева на следствии [23].

Обращение Н. Бестужева к истории восстания Семеновского полка вполне естественно. Восстание целого полка, взбудоражившее весь Петербург, не могло остаться вне внимания такого наблюдательного человека, каким был Н. Бестужев. Как человека военного, и к тому же занимающегося историей, его особенно интересовали подобные события. Н. Бестужев не мог, конечно, не сопоставлять положение во флоте с положением в армии. Произвол, казнокрадство, аракчеевщина в одинаковой мере процветали в армии и во флоте. Об этом он открыто заявил на следствии.

Характерной особенностью творчества Н. Бестужева, как и вообще всех декабристов-литераторов, является политическая заостренность произведений, многие из которых с успехом могли быть использованы в пропагандистских целях. Сравнивая «Нечто о возмущении Семеновского полка» с произведениями Н. Бестужева, мы приходим к заключению, что и идейно и стилистически публикуемый отрывок очень напоминает многое из того, что было написано автором «Рассказов и повестей старого моряка».

В пользу выдвинутого нами предположения о принадлежности отрывка перу Н. Бестужева служит и ряд других фактов. Определенную роль играет личная долголетняя близость Н. Бестужева с Ф. П. Литке, которому он, конечно, мог дать свои заметки о событиях в Семеновском полку [24]. О том, что Н. Бестужев дарил свои произведения Литке, свидетельствует сохранившийся экземпляр его книги «Записки о Голландии 1815 года» со следующей надписью: «Ф. П. Литке от сочинителя» (см. воспроизведение титульного листа книги на стр. 369 настоящего тома).

Важно отметить и то обстоятельство, что Н. Бестужев,— как это было установлено на следствии,— широко знакомил близких ему людей с имевшимися в его распоряжении рукописными произведениями на политические темы [25]. При этом следует подчеркнуть, что в 1824 г., во время плавания на фрегате «Проворный» к берегам Испании, Н. Бестужев распространял среди передового офицерства корабля «Рассуждение» Д. И. Фонвизина «О необходимости законов» в переработке Никиты Муравьева (один из экземпляров этого переработанного текста найден в настоящее время в бумагах Литке). Данные об этом имеются в следственном деле А. П. Беляева, который показывал, что «понятия о законах и правах получил он от чтения книг», и тут же добавлял, что в 1824 г., во время плавания на фрегате «Проворный», он прочитал и списал взятую у Н. Бестужева рукопись Д. И. Фонвизина «О необходимости законов» [26]. Приведенное свидетельство Беляева и наличие в бумагах Литке списка «Рассуждения о непременных государственных законах» в переработке Муравьева дают нам основание высказать предположение, что названное произведение попало к Литке именно через Н. Бестужева. Это еще одно косвенное, но очень веское подтверждение того, что аналогичным путем мог попасть к Литке и отрывок «Нечто о возмущении Семеновского полка», написанный самим Н. Бестужевым.

Отрывок, найденный в «Особой записной книге» Литке, был написан ранее, чем очерк, приписываемый Рылееву. Очерк был закончен в конце 1822 или в начале 1823 г.[27] В связи с отмеченным сходством публикуемого отрывка и очерка «Возмущение старого лейб-гвардии Семеновского полка 1820 г.» вполне естественно предположить, что Рылеев мог читать «Нечто о возмущении...». В творчестве декабристов не единичны примеры, когда незавершенные кем-либо произведения служили для других членов Общества стимулом к написанию аналогичных по форме и сходных по содержанию произведений. Одним из таких примеров может служить «Любопытный разговор» Н. М. Муравьева, который, конечно, сыграл определенную роль в создании С. И. Муравьевым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым «Православного катехизиса». Возможно, что это произошло и в данном случае, и отрывок «Нечто о возмущении Семеновского полка» подтолкнул Рылеева к написанию исторического очерка на ту же тему. Познакомиться же с публикуемым отрывком Рылеев мог или через самого автора, Н. Бестужева, или через его брата, Александра [28].

Независимо от того или иного решения вопроса об авторе «Нечто о возмущении Семеновского полка», публикуемый отрывок, давая богатый материал для характеристики настроений передовой части дворянской интеллигенции начала двадцатых годов, обогащает литературу о восстании Семеновского полка новым ценным свидетельством современника.

НЕЧТО О ВОЗМУЩЕНИИ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА *

Жить и не замечать современных событий, по моему понятию, не значит жить. Для человека, не внимательного к тому, что совершается пред ним, старость не приносит опытности, ибо опытность состоит в возможно большей сумме сделанных в сей жизни замечаний и выведенных из того заключений. Попугай, пред глазами коего промелькнуло несколько поколений, не сделался от того умнее; он родился и умер попугаем, не научась ничему и не научив никого. Замечание современных происшествий наипаче занимательно в наше смутное время, которое по справедливости можно бы назвать периодом переворотов и которое служит как бы преддверием к каким-то. важным, небывалым событиям, которых мы еще можем сделаться свидетелями.

Но у нас, где все совершающееся среди нас тут же, так сказать, утопает в мрачной бездне неизвестности, где или не хотят, или не любят, или не смеют знать и слышать об этом, где или какое-то несносное равнодушие или страх *мешка* препятствует событиям доходить до общего сведения открытыми путями и в настоящем виде, у нас мало того, чтобы только замечать — должно замечаниям своим давать такой вид, чтобы они рано или поздно могли сообщаться и другим, и это становится непременным долгом всякого желающего быть полезным гражданина. Многие происшествия сами по себе не слишком важные, но носящие на себе печать духа своего времени или бывшие необходимым следствием течения дел в то время, или изображающие характеры лиц, тогда действовавших, или состояние нравов двора и пр. и пр. и которые суть настоящие основания истории и составляют необходимые материалы для историка,— потеряются невозвратно, если не сохранятся в записках современников, в открытых, буде можно, тайных, если нельзя.

К сему роду происшествий принадлежит бунт л⟨ейб⟩-г⟨вардейского⟩ Семеновского полка в октябре 1820 года, происшествие замечательное, как по необыкновенности своей, так и потому, что оно обнаруживает к чему способен русский солдат, когда нравственные его способности не угнетены неуместною строгостью.

Бóльшая часть наших солдат взимается из крестьян, такого класса людей, который не знает другого состояния, кроме неволи. Крестьянин родится и умирает под палкою, работает под палкою, часто женится под палкою, так что, наконец, не может не понимать, чтобы деяниям человеческим могла быть другая побудительная причина, кроме палки. Он делается совершенно бездушным орудием в руках другого. То же самое, когда жребий или дурное поведение, иногда даже корыстные виды помещика заставят его перейти в военное состояние. Начнут с того, что закуют его в кандалы, забреют ему лоб и повлекут в депо. Тут он знает, чего ожидать, и получает, чего ожидает; при первом случае покажут ему, что значит палочная дисциплина, и с помощью этого средства делают его или мастеровым, или музыкантом, или фрунтовым солдатом без духа, без энергии, без гордости, одним словом, безо всех тех моральных добродетелей, которых начало находится в каждом человеке, особенно в каждом русском, и которые в нашем солдате подавлены сим унижающим человечество обхождением. Как в деревне приучен он думать, что создан для того, чтобы кормить помещика, или составлять его дворовую челядь, или доставлять для его прихотей деньги, так тут видит он все свое назначение в том, чтобы или забавлять глаза своего начальника, или гонять сквозь строй тех, кои вздумают избавиться от этого бремени и т. д. Но о настоящем своем

---

* Право опубликования этого документа любезно предоставлено проф. С. Б. Окуню Николаем Федоровичем Литке (Ленинград).

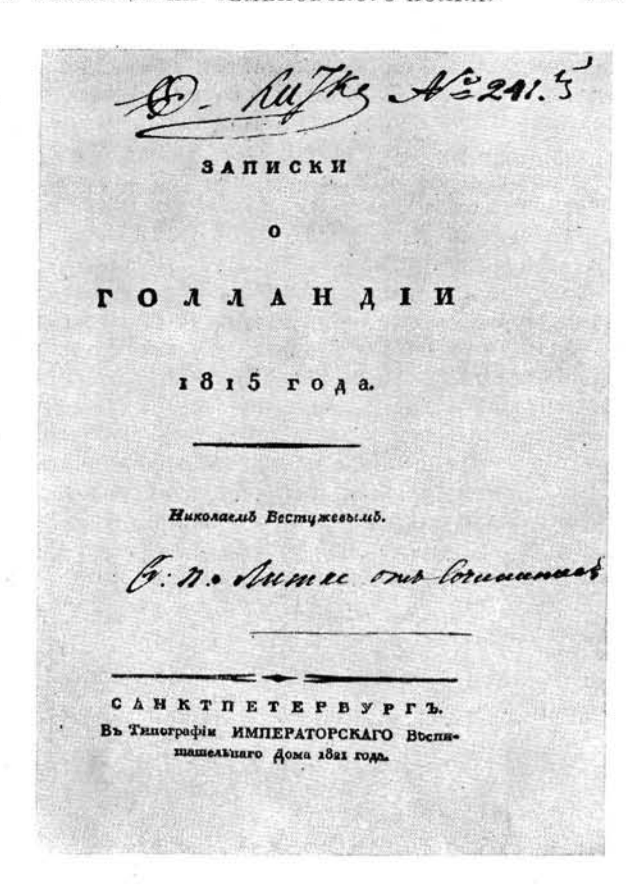
предопределении — быть оплотом отечества, быть славою его — об этом он не думает да и не может думать, ибо слава отечества не может состоять в куклах с усами, одетых в зеленые кафтаны; не блестящая игра носков знаменует истинных сынов отечества, но дух их, патриотизм и стремление к славе.

К счастию, терпение и доброта — две отличительные черты характера русского солдата — одерживают всегда верх над угнетительным капральством. Лучшее с ним обращение и меньшая взыскательность на мелочи при начале всякого военного похода тотчас возвышают его дух; он начинает чувствовать себе цену; а если увидит в начальнике своем человека попечительного, охотно разделяющего с ним труд, то привязывается к нему, как сын к отцу; ободряемый примером его, не находит он ничего, что бы могло его устрашить; он проходит с ним сквозь огонь и воду, преодолевает самую природу, ничто не может потрясти его непоколебимой стойкости. Каждая война представляет нам бездну таковых примеров.

Но никогда в последние времена одушевление сие не достигало до такой степени, никогда не делалось столь общим, как в 1812 году и следующих— владельцы познали, наконец, что все их имущество лежит в духе народа; что в нем одном могут они найти себе защиту от грозных успехов всемирной монархии; что войско бывает сильно не числом, составляющим оное рабов, но привязанностью своею к отечеству и главе оного. Тогда увидели мы единственное зрелище — царя русского, взывающего к своему народу, возбуждающего энтузиазм его <к> спасению царя и родины, к освобождению себя от чуждого ига, и добрый народ с восторгом простер длани к монарху, которого он обожал; с беспримерным отчуждением самих себя жертвовали все состояния всем, покидали всё, стекались под хоругвь отечества, и скоро одна только опустошенная полоса земли, усеянная костьми вражескими, напоминала о страшном нашествии. Не удовольствуясь изгнанием врагов из собственных пределов, поспешили российские войска к освобождению и других народов. Победы, следовавшие одна за другою, лестные отзывы монарха, радушные приемы от народов освобожденных—все более и более возвышало дух русского солдата; к тому же частое обращение с иностранными войсками; он увидел как там обращаются с подобными ему и научался более и более ценить свое состояние, он перестал видеть в себе бездушную машину, обязанную только плясать по дудке своего начальника. Все сие, но еще в пространнейшем смысле, разумеется о полках гвардейских. Играя всегда первую роль, оберегая всегда особы монархов, осыпавших их знаками своего благоволения, составленные из лучших людей из всей армии, управляемые офицерами из лучших фамилий в государстве, восчувствовали они в полной мере ту благородную гордость, которая есть необходимое качество воина-гражданина.

Увенчанные лаврами спасители Европы возвратились наконец в недра отечества своего.

Тут ожидало их вовсе иное поприще; совершенно другие занятия, другая роль; качества, коими они отличались на полях Бородина и Кульма, сделались для них не нужны; им стало нужно хорошо равняться и вытягивать носки. Тот, кто в состоянии был долее простоять по-гусиному на одной ножке, предпочтен был герою, украшенному сединами и медалями всех наций, которому и раны и следы десяти или пятнадцати кампаний и даже чувство собственного достоинства не позволяли отличаться подобными пустяками. Для большего усовершенствования и распространения сей системы капральства сделаны были начальниками первых двух гвардейских бригад в<еликие> к<нязья> Н<иколай> и М<ихаил>, которые в сем отношении дошли до невообразимой степени педантства. С офицерами, которые по большей части также отвыкли от этих мелочных занятий,



КНИГА Н. А. БЕСТУЖЕВА «ЗАПИСКИ О ГОЛЛАНДИИ 1815 ГОДА». ЭКЗЕМПЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА Ф. П. ЛИТКЕ, 1821 г.

«Ф. П. Литке от сочинителя»

Собрание И. М. Саркизова-Саразини, Москва

обращаемость была не лучше, чем с солдатами. Каково это долженствовало подействовать на расположение тех и других, можно легко себе представить. От этого с самого начала происходили в разные времена неприятные явления в некоторых гвардейских полках, которые смотря по большему или меньшему расположению к ним и к начальникам их высшей власти, сходили им с рук более или менее дешево.

Наиболее благоприятствуем в сем отношении был Семеновский полк, второй по старшинству, но первый, как по истинному своему достоинству, так и по приязни к нему государя. Люди лучшие как по наружности, так и поведением; офицеры из первых фамилий, благовоспитаннейшие и благороднейшие. Под начальством молодого и храброго Потемкина, предводительствовавшего им в продолжение всей последней войны, любимого равно всеми, как солдатами, так и офицерами, наслаждался полк сей наибольшею противу прочих свободою. Личное расположение государя к Пот⟨емкину⟩ побуждало его смотреть на это сквозь пальцы, пока неприятность, происшедшая в начале 1820 г. между одним из батальонных командиров и его офицерами, заставила его переменить свое снисхождение на строгость; он захотел переделать и этот полк на свой лад. И потому вскоре потом генерал-адъютант Потемкин уволен от управления Семеновским полком; ему всемилостивейше поручена была дивизия, а Семеновским полковым командиром сделан, по рекомендации бригадного командира в. к. М⟨ихаила⟩, полковник Шварц, известный своим капральством, суровостью и необразованностью [29]. Шварц принялся переучивать семеновцев по-своему: офицеров, привыкших при прежнем начальнике к нежному, деликатному и благородному обхождению, трактовал он, как даточных фельдфебелей [30], с которыми

век свой в армии обращался; солдаты, привыкшие видеть в начальнике своего отца, увидели в нем своего мучителя. Бесполезно и отвратительно рассказывать все плоские мерзости, коими он в краткое время своего командования отличался; довольно, что наконец всеобщее против него огорчение дошло до высочайшей степени, и солдаты решились просить инспекторского смотра.

Накануне одного дни, в который Семеновскому полку надлежало вступить в караул, назначено было по обыкновению разводное ученье. Поутру фельдфебели приказывают своим ротам готовиться, но солдаты первой роты первого батальона объявили своему фельдфебелю, что они на ученье не идут, но требуют инспекторского смотра. На все увещания его ответствовали они только настоятельно, чтобы он сие требование их передал ротному командиру, сей последний довел оное до сведения полкового командира и так далее. Тотчас положено было (как по большей части бывает у нас в таком случае, когда подчиненный просит защиты против притеснений начальника) решить все дело par coup de main*, безо всякого суда и расправы — велено было привести после обеда первую роту в манеж, что на Дворцовой площади; под предлогом, что там будет ей сделан инспекторский смотр, в манеже окружили ее два батальона других гвардейских полков с примкнутыми штыками, отвели в крепость и заперли в казематы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Изложение фактического хода событий см.: В. И. Семевский. Волнение в Семеновском полку в 1820 году.— «Былое», 1907, №№ 1—3; Семевский, стр. 128—166; С. Я. Штрайх. Восстание Семеновского полка в 1820 году. Пб., 1920; С. Я. Гессен. Мятежники 1820 года. М., 1937.— Часть следственных документов о «Семеновском деле» была опубликована А. И. Яковлевым в сб. «Декабристы». Л., 1926 (Всесоюзн. б-ка им. В. И. Ленина), стр 104—247.

[2] Сведения о том, почему члены Тайного общества не участвовали в подготовке выступления семеновских солдат, имеются в показаниях А. М. Булатова. 9 декабря 1825 г. он сказал Рылееву, что «партия их упустила в 821 году самый удобный случай во время возмущения Семеновского полка». Рылеев ответил, что «они тогда не так были сильны, но теперь совсем готовы» («Лит. наследство», т. 59, стр. 214). На вопрос члена польского Патриотического общества подполковника Крыжановского, как «произошло замешательство в Семеновском полку» и было ли оно организовано «с ведома офицеров», С. И. Муравьев-Апостол отвечал, что «может быть они знали о нем, но в нем не участвовали» (Семевский, стр. 648). См. также: В. А. Федоров. Солдатское движение в годы декабристов (1816—1825). Автореферат кандидатской диссертации. М., 1953, стр. 13.

Волнения в Семеновском полку укрепили мнение декабристов относительно готовности армии к революционным действиям и тем самым способствовали тому, что была единодушно принята тактика военной революции для проведения государственного переворота.

[3] Сразу же после событий 16—18 октября 1820 г. С. И. Муравьев-Апостол, сочувственно отнесшийся к действиям солдат, пытался установить связь с теми из них, которых отправляли в армейские полки (см. «Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма». Предисловие и примечания С. Я. Штрайха. Пг., 1922, стр. 41). В беседе с пострадавшими С. И. Муравьев-Апостол знакомил их с одной из прокламаций, найденных в конце октября 1820 г. во дворе казарм Преображенского полка (см. «Лит. наследство», т. 59, стр. 120—121).

Следующие известные нам действия Муравьева-Апостола по установлению связи с бывшими семеновцами относятся к ноябрю — декабрю 1824 г., когда первый батальон Черниговского полка нес караульную службу в Житомире. Об этом показывал на следствии капитан Фурман: «Каких солдат Муравьев приглашал к возмущению, я не известен, а когда мы были в 1824 г. с батальоном в корпусной квартире в Житомире в карауле, приходили к нему солдаты 8-й дивизии, служившие в Семеновском полку с ним вместе, из коих некоторые были его роты» (ЦГИА, ф. № 48, д. 422, л. 15). В том же плане следует рассматривать попытку М. П. Бестужева-Рюмина в марте 1825 г. подготовить через капитана Рачинского бывших семеновских солдат, служивших в то время в Муромском полку, к участию в восстании, намечаемом на лето 1826 г. (ВД, т. IX, стр. 122).

---

* решительно, одним махом (франц.).

Особенно оживленными были сношения руководителей Васильковской управы с бывшими семеновцами во время пребывания их в лагере в Лещине, летом 1825 г., когда в палатку к Муравьеву-Апостолу приходило по десяти человек (ВД, т. VI, стр. 206—207). Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин надеялись с их помощью воздействовать на солдат других полков. Как показывал рядовой Ф. Н. Анойченко, Муравьев-Апостол призывал семеновцев «склонять прочих армейских нижних чинов, лучших в полку, чтобы и они пристали к его, Муравьева, *делу*, которому он однако ж названия никакого не давал; но я, как и все без исключения семеновские нижние чины 8-й пехотной дивизии<...>понимали, что это должно клониться к бунту против царской власти» (ВД, т. VI, стр. 227—228). Интересно отметить, что в своей пропагандистской работе среди бывших семеновских солдат Муравьев-Апостол был тесно связан с капитаном Пензенского полка А. И. Тютчевым, также служившим ранее в Семеновском полку. Тютчеву принадлежит ярко выраженная мысль о преемственной связи между намерениями декабристов и восстанием семеновцев. «Мы, было, начали в Петербурге дело,— говорил Тютчев семеновским солдатам,— но не кончили,—здесь надо кончить. А вы постарайтесь подговаривать своих товарищей к сему» (ВД, т VI, стр. 354). Семеновцы живо откликнулись на эти революционные призывы, обещая помощь и участие. За это после восстания декабристов многие из них были вновь жестоко наказаны.

[4] ЦГИА, ф. № 1153, оп. 1, д. 229, л. 10.— Аналогичные сведения мы находим у Ф. Н. Глинки, служившего в то время адъютантом петербургского генерал-губернатора Милорадовича. В течение двух недель после происшествия в Семеновском полку были приняты «все меры» для охраны города: ночью, через каждые полчаса являлись квартальные, «чрез каждый час частные пристава привозили донесения изустные и письменные, раза два в ночь приезжал <обер-полицмейстер> Горголи, отправляли курьеров, беспрестанно рассылали жандармов и тревога была страшная» (Семевский, стр. 147—148).

[5] Семевский, стр. 163—165; ср. С. Я. Штрайх. Восстание Семеновского полка в 1820 году, стр. 32—37.

[6] ЦГВИА, ф. № 343, д. 139, лл. 1 об.— 2; ср. С. Н. Чернов. Из истории солдатских настроений в начале 20-х годов.— «Бунт декабристов», стр. 128.

[7] Значительный интерес представляют «Записки полковника И. Ф. Вадковского», бывшего командиром третьего батальона Семеновского полка во время событий в октябре 1820 г. («Русская старина», 1873, № 5, стр. 635—652). «Записки» эти восстанавливают общую картину волнения, а близкие к ним по содержанию «Воспоминания одного из офицеров полка» дополняют их рядом любопытных деталей («Дела и дни», 1920, кн. 1, стр. 113—121).

К числу воспоминаний бывших семеновцев относится и «Записка подполковника Василия Рачинского о происшествии 1820 года лейб-гвардии в Семеновском полку» («Русский архив», 1902, № 11, стр. 411—423). «Записка» является ответом на просьбу, с которой обратился историограф лейб-гвардии Семеновского полка П. П. Карцов к В. И. Рачинскому в письме от 14 июля 1852 г. Официозным назначением записки Рачинского объясняется и ее верноподданническая фразеология.

[8] Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма. Предисловие и примечания С. Я. Штрайха. Пг., 1922, стр. 41—49.— М. И. Муравьев-Апостол, как и многие другие декабристы, уже после возвращения из сибирской ссылки продолжал интересоваться событиями в Семеновском полку. В одном из писем к М. И. Бибикову он писал: «Напомни Евгению Ивановичу <сыну декабриста Якушкина> обещание дать прочесть описание события Семеновского покойного полка» (ЦГИА, ф. № 1153, д. 228, л. 62 об.).

[9] Лорер, стр. 57—65.

[10] Воспоминания П. Н. Свистунова см. в кн.: Лорер, стр. 401—402.

[11] Очерк был намечен к опубликованию в 10-й книжке «Русской старины» 1871 г., но появился, при этом с большими цензурными искажениями, только в 11-й книжке за тот же год (стр. 533—548). В 1907 г. очерк в исправленном виде был напечатан в Полном собрании сочинений К. Ф. Рылеева, т. II. М., «Библиотека декабристов» (стр. 42—59). Редакция сопроводила его небольшой сводкой отзывов современников о событиях в Семеновском полку.

[12] ВД, т. IV, стр. 105; ср. стр. 90—91.

[13] Биограф Ф. П. Литке, В. П. Безобразов, получивший после смерти Литке, согласно завещанию покойного, доступ ко всем его бумагам, заметил по поводу описания событий 14 декабря в автобиографии Литке: «о 14-м декабря остались еще другие, более подробные, воспоминания графа Ф. П., записанные им в особой тетради, в которую он (независимо от своих записок<...>) заносил разные особые эпизоды, происшествия, рассказы и проч. К сожалению, эта тетрадь, сохранившаяся в его архиве, после его кончины, и нами читанная, впоследствии затерялась и до сих пор еще не отыскана» (В. П. Безобразов. Граф Федор Петрович Литке. Приложение к т. LVII Записок имп. Академии наук. СПб., 1888, стр. 111). Мы думаем, что обнаруженная ныне «Особая записная книга» и является частью той «особой тетради», которую Безобразов считал утерянной (ср. там же, стр. XXXII).

[14] В. П. Безобразов. Указ. соч., стр. 98—99.

[15] Там же, стр. 108—109.

[16] Несмотря на то, что Ф. П. Литке безусловно был близок к декабристам (С. П. Трубецкой называл его даже членом Тайного общества. — Трубецкой, стр. 34; ср. неопубликованные черновые заметки Трубецкого к его запискам.— ЦГИА, ф. № 1143, оп. 1, ед. хр. 8, л. 106), все же для него характерно иное отношение к окружающей действительности. Как сообщает Литке в автобиографии, он часто спорил с Н. Бестужевым, когда тот резко критиковал существующие крепостнические порядки и самодержавную форму правления. Этими несогласиями Литке и объясняет тот факт, что он оказался непричастным к делу декабристов (см. В. П. Безобразов. Указ. соч., стр. 110).

[17] М. К. Азадовский. Мемуары Бестужевых... — В кн.: Бестужевы, стр. 597.

[18] Н. А. Бестужев. Статьи и письма. М., 1933, стр. 175—176.

[19] Базанов, стр. 352, 369—370 и др.

[20] ВД, т. II, стр. 64.

[21] Там же, стр. 71.— Курсив наш.

[22] Там же, стр. 82—83.

[23] Там же, стр. 63, 71—72.

[24] «Я был знаком со многими из заговорщиков,— писал Литке в автобиографии, — а с Бестужевыми даже в тесной дружбе с самого детства» (В. П. Безобразов. Указ. соч., стр. 110).

[25] ЦГИА, ф. № 48, дд. 363, 392.

[26] См. в настоящем томе публикацию К. В. Пигарева, стр. 344.

[27] Заканчивая очерк, автор писал: «Полтора года продолжалось изгнание гвардии. Наконец, после смотра под Бешенковичами, где был дан великолепный обед от офицеров царю, они были возвращены» (К. Ф. Рылеев. Полн. собр. соч., т. II. М., 1907, стр. 59). Гвардия же, как известно, была в западных губерниях с конца апреля 1821 г. по октябрь 1822 г.

[28] В связи с этим значительный интерес представляют данные об отношении Александра Бестужева к восстанию Семеновского полка, приведенные В. Г. Базановым в его книге «Очерки декабристской литературы» (М., 1953): «Показателен и тот факт, что Александр Бестужев в тревожные осенние дни 1820 года отправляется в Кронштадт, чтобы там встретиться и поговорить с семеновцами, которые ждали отправки в Свеаборгскую крепость». В письме к Е. А. Бестужевой от 27 ноября 1820 г. Бестужев обронил важное признание: «Я был у семеновцев также на другой день их отправки на несколько часов,— но теперь они в Свеаборге» (стр. 184). Этот факт еще раз подтверждает особый интерес, который проявляли Бестужевы к событиям в Семеновском полку.

[29] О каком конкретном столкновении, происшедшем в Семеновском полку между одним из командиров батальонов и его офицерами, упоминается в данном случае, нам установить не удалось. Однако, как сообщает автор новейшего исследования, посвященного восстанию Семеновского полка, с апреля 1818 до второй половины 1819 г. в полку происходило официальное разбирательство поведения некоторых младших офицеров (прапорщиков и подпрапорщиков), которые открыто выразили протест против бесчеловечного отношения к солдатам командира роты капитана Скобельцына, позорившего тем самым, по их мнению, честь семеновского мундира (см. М. И. Атюрьевская. Восстание Семеновского полка в 1820 г. Автореферат кандидатской диссертации. М., 1954). Возможно именно этот случай и имел в виду автор «Нечто...» тем более, что он не прошел бесследно не только для участников этого протеста, но и для командира полка генерала Потемкина, которого раздраженный Александр I постарался поскорее заменить более «надежным» командиром—полковником Шварцем.

[30] Эпитет «даточный» восходит к известному в истории термину — «даточные люди». Так называлась определенная категория ратников Московского государства XVI в., насильственно отдаваемых на военную службу. Посылка «даточных людей» была одной из наиболее тяжелых и ненавистных повинностей, лежавших на крестьянских и посадских общинах. Бессрочная изнурительная военная служба и грубое обращение со стороны начальников-феодалов — таков был удел «даточных людей».

В записке «Нечто о восстании Семеновского полка» автор вводит выражение «даточный фельдфебель» для того, чтобы показать пренебрежительное отношение полковника Шварца к офицерам полка. При этом оскорбление чести и достоинства офицеров осуществлялось Шварцем посредством принижения их командирских прав. С этой целью он отдавал все приказания и распоряжения в ротах через фельдфебелей, которых обыкновенно собирал к себе по 3—4 раза в день. Подобный метод управления приводил к столкновениям между командиром и подчиненными офицерами, что обостряло и без того напряженную обстановку в полку (см. П. П. Карцев. Событие в лейб-гвардии Семеновском полку в 1820 г. — «Русская старина», 1883, № 3, стр. 690). Видимо, учет этих действий Шварца и обусловил появление в тексте «Нечто...» выражения «даточный фельдфебель».

НОВОЕ О СВЯЗЯХ ПИСАТЕЛЕЙ С ДЕКАБРИСТАМИ

«ДЕРЕВНЯ» ПУШКИНА И АНТИКРЕПОСТНИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ КОНЦА 1810-х ГОДОВ

Статья Г. М. Дейча и Г. М. Фридлендера

I

Стихотворение «Деревня», написанное летом 1819 г., — один из самых выдающихся памятников вольнолюбивой лирики Пушкина, отразившей подъем освободительной мысли декабристов. Со страстным негодованием и глубокой убежденностью молодой Пушкин выступил в «Деревне» против крепостного права. Продолжая обличительную антикрепостническую традицию радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву», Пушкин нарисовал здесь проникнутую негодованием и протестом, поразительную по точности и бичующей силе каждого слова, картину крепостного рабства:

Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь *барство* дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.

Несмотря на то, что «Деревня» создана в раннюю пору развития дворянской освободительной мысли, в период Союза Благоденствия, и несет на себе печать своего времени, стихотворение это принадлежит к числу наиболее значительных произведений всей гражданской поэзии эпохи декабризма, направленных против крепостного права. Из произведений, отразивших идеи следующего периода в развитии дворянских революционеров, рядом с «Деревней» можно поставить только «Горе от ума» и агитационные песни Рылеева и Бестужева. «Деревня», сразу же после своего появления широко разошедшаяся в списках, сыграла огромную агитационную роль и оказала исключительное влияние на идейное развитие участников декабрьского восстания. И. Д. Якушкин и И. И. Пущин, перечисляя в своих записках стихотворения Пушкина, которые были известны наизусть всякому «живому человеку» в России в годы, предшествовавшие восстанию, ставят «Деревню» на первое место [1].

Выдающееся значение в борьбе с крепостным правом «Деревня» сохранила и после восстания 14 декабря. В 1856 г. она была опубликована Герценом в «Полярной звезде». «Автору „Деревни“ удалось с такой потрясающей силой сказать о доле крепостного народа, какой после Радищева до Некрасова» не было выражено, — справедливо утверждал Н. Л. Бродский [2]. Но и после Некрасова, наряду с произведениями великого поэта крестьянской демократии 60-х годов, «Деревня», так же

как и другие стихотворения Пушкина, отразившие подъем передовой дворянской мысли 1810-х годов, продолжала сохранять свою огромную воспитательную роль для многих поколений, которым она внушала сочувствие к народным массам, свободолюбие и ненависть к угнетению человека человеком.

Стихотворение «Деревня» написано в Михайловском, куда Пушкин приехал из Петербурга 12—13 июля 1819 г. и где он провел около месяца — до 11—12 августа[3]. Исследователи жизни и творчества поэта не раз отмечали, что в первой половине стихотворения дано обобщенное, но при этом и «совершенно точно, с натуры воспроизведенное изображение природы, окружающей село Михайловское»[4]. Еще современники высказывали мысль, что в основу картины «дикого» барства и «тощего» рабства в «Деревне» легли непосредственные, живые впечатления молодого Пушкина от псковской крепостной деревни. «Пушкин возвратился из деревни, которую описал», — сообщал 26 августа 1819 г. А. И. Тургенев своему младшему брату С. И. Тургеневу[5]. А в письме к П. А. Вяземскому, написанном в тот же день, А. И. Тургенев спрашивал: «Прислал ли я тебе „Деревню“ Пушкина? Есть сильные и прелестные стихи, но и *преувеличения на счет псковского хамства*»[6].

Термин «хамство» имел в кружке братьев Тургеневых специфическое значение. «Хамами» Н. И. Тургенев и его братья называли реакционеров, в особенности, помещиков-крепостников[7]. Указывая, что в «Деревне» отразилось негодование Пушкина, вызванное картинами «псковского хамства», А. И. Тургенев (основываясь, без сомнения, на рассказах самого поэта) прямо связывал данное Пушкиным изображение «тощего» рабства с впечатлениями, вызванными поездкой поэта в Михайловское.

Из анализа записок и показаний декабристов вытекает естественный вывод, что росту антикрепостнических настроений у очень значительного числа участников декабристского движения способствовали жизнь в деревне и непосредственное столкновение с проявлениями крепостнического произвола. Так, член Южного общества Н. А. Крюков заявил во время следствия: «На съемке в Подольской губернии увидел я, до какой степени простирается угнетение крестьян помещиками». Другой декабрист, Н. В. Басаргин, показал: «в 1819 г., будучи на съемке в Московской губ., мне случилось стоять в деревне у одного помещика, коего обращение с крестьянами дало мне первую мысль или, лучше сказать, желание сделать их свободными»[8]. Чрезвычайно ярко протест, вызванный столкновением с крепостнической действительностью во время пребывания в деревне, отразился в дневнике, который вел член Союза Благоденствия восемнадцатилетний А. А. Тучков, летом 1818 г., во время командировки в Тульскую губернию. Дневник этот во многом непосредственно перекликается с пушкинской «Деревней»[9]. В. К. Кюхельбекер показал во время следствия, что одной из причин, приведших его в Тайное общество, было «угнетение истинно ужасное (говорю не по слухам, а как очевидец, ибо живал в деревне не мимоездом), в котором находится бóльшая часть помещичьих крестьян»[10]. В свете этих показаний Кюхельбекера не трудно понять, какую большую роль должна была сыграть жизнь в Михайловском для молодого Пушкина.

До своего посещения Михайловского в 1817 г. Пушкин бывал в деревне лишь в детстве. Во время поездок в Михайловское в 1817 и 1819 гг. поэт впервые мог длительно наблюдать жизнь крепостной русской деревни. В эти годы, а также позднее, в 1824—1826 гг., когда Пушкин безвыездно жил в Михайловском, под влиянием окружавшей поэта действительности формировались его взгляды на русского крестьянина, о котором Пушкин позднее с гордостью писал: «Есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышленности и говорить

нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны»[11]. Картины псковской крепостной деревни отразились не только в стихотворении «Деревня», но и в «Евгении Онегине», и в «Дубровском», и в «Истории села Горюхина»[12].

Между тем, и в литературе о Пушкине, и в специальной исторической литературе мы находим лишь случайные, очень скупые сведения об экономике и быте псковской деревни 1810—1820-х годов. Несколькими яркими, но разрозненными штрихами, характеризующими быт дяди Пушкина, П. А. Ганнибала, и двух-трех соседей поэта, ограничивается тот материал, который собран до сих пор о крепостной псковской деревне эпохи Пушкина и который вошел в биографическую литературу о поэте[13]. Обращение к неизданным материалам, хранящимся в центральных и местных архивохранилищах, позволяет значительно расширить круг наших сведений о жизни крепостной псковской деревни времен Пушкина, отразившейся в стихотворении «Деревня» и в других, позднейших произведениях великого поэта.

II

Псковская губерния принадлежала в начале XIX в. к числу тех губерний, где положение крепостных крестьян было особенно тяжелым. Это были вынуждены признавать даже представители правительственной администрации. После того как в Псковской губернии в 1826 г. прокатилась волна крестьянских волнений, из которых многие были столь значительны, что не могли не вызвать серьезного внимания правительства[14], псковский генерал-губернатор и рижский военный губернатор Ф. О. Паулуччи подал в «Секретный комитет» (созданный 6 декабря 1826 г. Николаем I для обсуждения тех мероприятий, которые нужно провести в России, чтобы приостановить развитие революционного движения) три записки по крестьянскому вопросу. В одной из них, от 4 февраля 1828 г., Паулуччи в осторожной форме высказывал мысль, что причиной крестьянских волнений в Псковской губернии было невыносимо тяжелое положение крестьян и произвол помещиков.

«В Псковской губернии, — писал Паулуччи, — помещичьи крестьяне, по совершенно беззащитному положению своему, внушают искреннее участие. Отечественное законодательство предоставило их с весьма малым ограничением произволу помещиков, которые, большею частию вышед в малый чин в государственной службе, потому что по непросвещению своему не могут надеяться занять когда-либо важных степеней, возвращаются в свои поместья и стараются над бедными, подвластными им поселянами поселить страх, заменяющий им в глуши деревни уважение света.

Жестокое обращение и почти мучения, которые помещики заставляют претерпевать своих крестьян, хотя уже слишком известны, но при всем том еще должны показаться невероятными»[15].

Паулуччи был вынужден признать, что жалобы крепостных на помещиков оканчивались неизменно наказанием крестьян, помещики же всегда оставались безнаказанными. Особенно тяжелое положение псковского крестьянства требовало, по мнению Паулуччи, принятия сверх общих мер по крестьянскому вопросу еще особых мер местного характера. Паулуччи предлагал Комитету три практических меры: 1) ограничить в имениях, отданных опекой в аренду, власть арендаторов над крестьянами; 2) запретить продажу крестьян без земли; 3) специально для Псковской губернии отменить положение от 3 марта 1822 г., возвратившее помещикам право ссылать крестьян без суда на поселение в Сибирь. Все три записки Паулуччи были оставлены Комитетом без последствий[16].

Псковская губерния принадлежала к числу тех нечерноземных губерний России, где основную массу крестьянского населения составляли помещичьи крестьяне[17], а подавляющая масса земли была сосредоточена в руках средних и мелких помещиков. Тут преобладала наиболее тяжелая — барщинная — форма эксплуатации крестьянства. В отличие от других нечерноземных губерний, где в первой половине XIX в. барщина как форма феодальной эксплуатации крестьянства постепенно заменялась оброком, в Псковской губернии даже к середине XIX в. барщина продолжала господствовать в 77% всех помещичьих имений. По степени развития оброчной системы эксплуатации Псковская губерния к 1861 г. занимала среди нечерноземных губерний последнее место[18].

Развитие капитализма в недрах феодально-крепостнического строя и приспособление помещичьего хозяйства к потребностям растущего рынка приводило здесь, как и повсюду, не к ослаблению, а, наоборот, к еще большему усилению эксплуатации крестьянства. Уже в XVIII в. сельское хозяйство Псковской губернии специализировалось на производстве льна, составлявшего одну из главных товарных культур в условиях крепостного хозяйства. Близость Псковской губернии к столице, развитие торговли льном, хлебом и другими сельскохозяйственными продуктами, рост дворянских потребностей побуждали псковских помещиков, так же как и помещиков других губерний, расширять господскую запашку, уменьшая крестьянские наделы, увеличивать барщину и другие повинности. В результате систематической отрезки помещиками земли у крестьян (при одновременном росте крестьянского населения) крестьянские наделы были недостаточными для того, чтобы обеспечить прокормление крепостных и их семей. В то же время, как указывал Паулуччи, крестьяне Псковской губернии не имели «кроме земледелия никакого другого промысла»: в Псковской губернии, в условиях господства барщины, не получили широкого развития кустарные промыслы, которые издавна существовали в центральных и в ряде северных губерний[19].

В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин рассказывает о помещике, которого знал в молодости (возможно, поэт имел при этом в виду одного из своих псковских соседей): «Сделавшись помещиком двух тысяч душ, он нашел своих крестьян, как говорится, избалованными слабым и беспечным своим предшественником. Первым старанием его было общее и совершенное разорение. Он немедленно приступил к совершению своего предположения и в 3 года привел крестьян в жестокое положение. Крестьянин не имел никакой собственности — он пахал барскою сохою, запряженной барскою клячею, скот его был весь продан, он садился за спартанскую трапезу на барском дворе; дома не имел он ни штей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавались ему от господина...». Помещик этот «был убит своими крестьянами во время пожара».

В цитированной выше записке Паулуччи приводится ряд фактов, наглядно свидетельствующих о том, что хозяйство описанного Пушкиным помещика не было исключением. Так, из изложенного в ней дела о смерти от голода в 1824 г. трех крепостных помещика Караулова Торопецкого уезда явствует, что Караулов кроме «непомерных работ» изнурял крестьян «голодом», отобрав у них землю и выдавая им свой хлеб, который заключал «может быть только $1/_6$ часть ржаной муки, прочее же состояло из соломы и овсяной пыли». В жалобе, поданной в 1812 г. крестьянами помещика Опочецкого уезда Я. П. Бухвостова, доставшимися после смерти его наследникам, говорится, что последние «крестьян привели в крайнее разорение и домы отобрали от некоторых, себе построили сельцы и некоторых взяли в господские дворы, а имущество отобрали в свои пользы»[20]. Псковские помещики, чтобы расширить свою запашку, старались захватить не только землю своих крестьян, но и земли,

1

Деревня

2

1819

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ПУШКИНА «ДЕРЕВНЯ», 1819 г.

Листы первый и последний

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

принадлежавшие государственным крестьянам. В 1815—1817 гг. в Псковской губернии имели место многочисленные волнения государственных крестьян, вызванные отрезкой у них земель в пользу помещиков. Волнения эти были настолько серьезны, что Александру I пришлось издать специальное распоряжение о прекращении отрезки на неопределенное время. Однако наделы крестьян и в дальнейшем продолжали сокращаться. В записке о положении государственных крестьян Псковской губернии, внесенной в 1826 г. в Комитет министров, Паулуччи указал, что «крестьяне казенного ведомства живут весьма бедно» и что главнейшей причиной этого является недостаток земли[21]. Следует иметь в виду, что положение помещичьих крестьян было хуже положения государственных крестьян: по данным Паулуччи, на ревизскую душу государственных крестьян приходилось земли по 3—4 десятины, тогда как наделы помещичьих крестьян не превышали в среднем 1—2 десятин.

Наряду с уменьшением крестьянских наделов шло усиление эксплуатации. Редкий помещик Псковской губернии ограничивался трехдневной барщиной. Заставляя крестьян работать на барщине до 4—5 дней в неделю (а в отдельных случаях предоставляя крестьянам возможность работать на их собственных участках лишь после окончания работ на господской земле), помещики сверх этого налагали на них денежные и натуральные поборы, требовали, чтобы они выполняли различные сезонные и домашние работы. Иногда помещики посылали своих крестьян отбывать барщину в другие уезды и даже губернии, а также использовали их на различных подрядах.

Тяжелым было положение не только барщинных, но и оброчных крестьян, так как величина оброка в начале XIX в. непрерывно возрастала. О том, в каких размерах и какими быстрыми темпами совершалось в первой четверти XIX в. повышение оброка, мы можем судить по материалам дела о волнении крестьян порховского помещика Ф. С. Кашталинского (1818—1822). Вступив в 1817 г. во владение имением (принадлежавшим его умершему дяде), Кашталинский увеличил оброк со своих 550 крестьян с 11 000 до 25 000 руб. и при этом потребовал уплаты его сразу за два года. Кроме того, Кашталинский ввел дополнительные натуральные и денежные платежи. В результате угроз и прямого насилия им было собрано с крестьян только деньгами 61 746 руб. Увеличение оброка вызвало протест крестьян, отказавшихся повиноваться помещику. Не ограничиваясь посылкой ходоков к Александру I в Петербург и в Царское село, крестьяне Кашталинского несколько раз останавливали экипаж царя при проезде его через Псковскую губернию (на пути из Петербурга в Варшаву) и просили о переводе в казну. Часть из них оставила свои дома и скрывалась в лесах. Для подавления волнения на территорию имения Кашталинского была введена воинская команда, а само имение отдано в опеку, однако уже вскоре опека была снята и крестьяне возвращены под управление помещика [22].

Характерно, что впоследствии, в «Путешествии из Москвы в Петербург», говоря, что обычно крестьянский оброк «не разорителен», Пушкин в скобках замечает: «кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев» [23]. В этом мимоходом брошенном замечании можно видеть также и отражение псковских впечатлений поэта.

III

Молодого Пушкина при посещениях Псковской губернии должны были поразить не только нищета и угнетение, но и полная бесправность крестьян. Из крестьянских жалоб и донесений местных властей мы узнаем

о разлучении семей и продаже крепостных по одиночке, о сдаче «провинявшихся» в рекруты и ссылке в Сибирь по требованию помещиков, о продаже крестьян на фабрики и т. д. В 1820 г. один из псковских соседей Пушкина, Н. С. Креницын (в имении которого бывали С. Л. и Н. О. Пушкины [24]), продал в Петербург на чугунный завод Берда 50 мужчин и 39 женщин. Продажа крестьян Креницыным явилась одним из толчков, вызвавших в том же году специальное обсуждение в Государственном совете вопроса о запрещении продажи крестьян без земли. Из-за противодействия крепостников это обсуждение, одним из инициаторов которого был Н. И. Тургенев, не дало никакого положительного результата [25].

Широко распространены в Псковской губернии были жестокие наказания и истязания крестьян.

Убийство крестьянина помещиком произошло во время пребывания поэта в Михайловском в 1819 г. Этот случай мог сделаться известным Пушкину, так как в качестве свидетеля при расследовании дела привлекался его дядя, владелец села Петровского, П. А. Ганнибал.

Из записки по делу о жестоком обращении с крестьянами порховского помещика генерал-майора А. А. Баранова мы узнаем, что «Порховскому нижнему земскому суду Карачуницкого погоста 6-й и 8-й сотские от 30 июля 1819 г. рапортом донесли, что с. Жирного помещик Александр Александров сын Баранов 〈...〉 крепостного своего крестьянина дер. Липотяги Григория Иванова наказывал немилосердным образом батожьями, отчего под наказанием тот Иванов в то же время и умер. Сверх сего тем Барановым еще 2 крестьянина так сильно наказываемы были, что находятся в отчаянности...». Григорий Иванов умер после того, как его в течение четырех часов секли розгами несколько крепостных при участии самого помещика, который то бил дубиной умиравшего крестьянина, то пускал ее в ход против «нерадивых» слуг, наносивших Иванову недостаточно сильные, по его мнению, удары. Для этого избиения помещик приказал заготовить пять тележек с розгами, требуя, чтобы сломанные пучки непрерывно заменялись свежими. После девятилетних блужданий «дела Баранова» по разным инстанциям Сенат в 1828 г. окончательно вынес ему оправдательный приговор, ограничившись лишь передачей дела духовным властям для наложения на Баранова церковного покаяния. Допрошенный среди других свидетелей (в 1819—1822 гг.) «поручик Петр Ганнибал» показал, что «генерал-майор Баранов поведения очень хорошего и правил честнейших; что же касается до обращения его с своими крестьянами, то об оном неизвестен». Большая часть других свидетелей-помещиков высказалась в пользу Баранова [26].

О жестоком избиении и убийствах крестьян помещиками говорит и ряд других дел. В январе 1819 г. в Великолукском уезде возникло дело о смерти крепостного помещицы Абрютиной — Трофимова. Трофимов был четыре раза наказан дворовыми и самой помещицей кнутом. «После чего приказала надеть на шею рогатку, а на ноги железы. А сверх того и руки цепями прикрепить к ножным кандалам крестообразно и цепью приковать к стене и давать ему ежедневно фунт хлеба с водой». Через три дня Трофимов умер от ран и истощения. Как и Баранов, Абрютина была в 1824 г. оправдана Сенатом [27].

Издевательствам и мучительным истязаниям крестьян подвергали не только помещики, но и представители дворянской администрации. 5 июня 1819 г. псковский губернский прокурор был вынужден подать министру юстиции Д. И. Лобанову-Ростовскому рапорт, в котором он доносил о жалобе на «противозаконные действия» и «жестокости» порховского земского исправника Андреева. Насильственно облагая крестьян платежами в свою пользу и вынуждая их к уплате денег, Андреев крестьян

и крестьянок «при допросах вешал, привязавши за персты тонкой веревкой, с наложенными на ноги и на шею колодками, бил розгами и батогами до тех пор, что оные неоднократно доходили до беспамятства» [28].

Одна из характерных черт крепостнического быта, на которой Пушкин с негодованием останавливается в «Деревне», — принуждение крестьянских девушек и женщин к сожительству с помещиком. В Псковской губернии Пушкин мог слышать о большом числе фактов этого рода. В 70 верстах от Михайловского находилось Богдановское — имение Д. Н. Философова (известного в литературе о Пушкине) [29]. Философов был не только убежденный крепостник (в одном из своих писем к старосте он приказывал доносить ему о крестьянах, не исправившихся после «неоднократного домашнего наказания» «для их истребления вовсе» [30]), но и владелец крепостного гарема. Со своим гаремом он не расставался даже во время путешествий в Петербург или к «святым местам». Сын Д. Н. Философова, В. Д. Философов (1820—1894), сенатор времен Александра II и муж либеральной общественной деятельницы А. П. Философовой, вспоминал, как он, во время посещения Пушкиным Богдановского, «будучи совсем маленьким» читал в присутствии поэта первую главу «Евгения Онегина» [31]. Очевидно, это посещение поэтом имения Философовых надо отнести ко времени не ранее 1826—1827 гг. Но о порядках, существовавших в имении «богдановского феодала», поэт мог знать уже в 1819 г., когда он писал «Деревню», так как Философов был знаком с родителями Пушкина. Кроме того, он был приятелем товарища Пушкина по «Зеленой лампе» Я. Н. Толстого. В сборнике стихотворений последнего — «Мое праздное время» (СПб., 1821) — рядом с посланием к Пушкину мы находим послание к Д. Н. Философову [32].

В 15 верстах от Михайловского находилось имение псковского предводителя дворянства А. И. Львова, который в 1826 г. давал Бошняку сведения о жизни Пушкина [33]. Сыновья Львова, по рассказам современников, отличались не только самодурством, но и развращенностью. Один из них отдал крепостную девушку, которая не захотела стать его фавориткой, на растерзание своему псу [34]. Из дела об островском помещике Горяинове видно, что в имении Горяинова фактически существовало право первой ночи. Крестьяне жаловались не только на насилия Горяинова над девушками, вступающими в брак, но и на растление им малолетних [35].

Жестокое угнетение, насилия и издевательства помещиков вызывали отпор псковских крестьян. В 1814 г. был убит своими крестьянами псковский помещик Окунев. В том же году крестьяне подожгли дом помещика Худякова. В 1815—1817 гг. происходили волнения казенных крестьян из-за отрезки у них земель, в 1818—1822 гг. — волнения в имении Кашталинского. С 1818 по 1830 г., т. е. более десяти лет, продолжались волнения государственных крестьян деревни Лютые Болота Псковского уезда и т. д. Отдельные вспышки крестьянского возмущения в 1826 г. охватили несколько уездов Псковской губернии [36].

IV

Содержание пушкинской «Деревни» не исчерпывается, конечно, воспроизведением картины одного лишь местного, псковского крепостного быта: оно несравненно шире. Но то, что и в псковской деревне начала XIX века жестокий крепостнический произвол приобрел большое распространение и что здесь имело место много крестьянских волнений, не прошло бесследно для великого поэта. Наблюдения, сделанные в Михайловском, помогли Пушкину понять общие условия русской жизни того времени.

Зрелость мысли молодого Пушкина проявляется в «Деревне» в том, что поэт выражает негодование не по поводу произвола и безмерного угнетения крестьян в отдельных имениях, а по поводу общего положения вещей. «Убийственный позор» невежества и рабства в пушкинском стихотворении поэт — «друг человечества», находясь в деревне, «печально замечает» «*везде*». В «Деревне» уже намечен тот обобщающий вывод, который Пушкин сформулировал несколько позднее, в 1822 г., находясь на юге: «политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестиян» [37].

Псковская губерния дала Пушкину запас жизненных впечатлений, на основе которых он мог создать проникнутую чувством и мыслью картину крепостнической действительности; с другой стороны, создание «Деревни» не было бы возможным без связи молодого Пушкина с идейной жизнью той поры, когда создавалось стихотворение, — поры раннего декабризма.

Крестьянский вопрос стоял в центре внимания уже первой декабристской организации — Союза Спасения и ее непосредственной предшественницы — Священной артели [38]. Но лишь в 1818—1819 гг., в период Союза Благоденствия, в связи с теми пропагандистскими задачами, которые ставила перед собой эта общественная организация, декабристы развернули широкую агитацию в пользу освобождения крестьян.

В марте—апреле 1818 г. часть реакционных кругов и цензура испытывали известную растерянность. 15 (27) марта Александр I выступил в Варшаве, в связи с открытием польского сейма, с той речью, которую Пушкин трезво охарактеризовал в своем «Ноэле» как «сказки». В этой речи царь в туманно-неопределенной форме заявил о своем намерении ввести в будущем в России «законно-свободные постановления», то есть даровать конституцию. Замешательство крепостников усиливалось тем обстоятельством, что в 1816—1817 гг. правительство, по требованию прибалтийских помещиков, провело безземельное освобождение крестьян в Эстляндии и Курляндии и подготовляло такое же безземельное освобождение лифляндских крестьян. На этом фоне слухи о том, что правительство намерено приступить к подготовке отмены крепостного права и в России, не казались абсолютно неправдоподобными.

Некоторые из декабристов заявляли Следственной комиссии, что речь Александра I в Варшаве сыграла определенную роль в их идейном развитии. Это был тактический ход, выбивавший оружие из рук обвинителей декабристов (что не помешало В. И. Семевскому и другим либерально-буржуазным историкам принять эти показания за чистую монету). Однако к подобной тактике декабристы прибегали не только во время следствия. В первые же дни после появления в печати речи Александра I некоторые декабристы обращались к содержавшимся в ней конституционным обещаниям как к прикрытию для пропаганды своих идей. В. И. Семевский доказал, что уже в 1818 г. Пестель воспользовался речью Александра I в целях пропаганды; он уверял, что «воля монарха стремится к развитию конституционных идей в русском юношестве и в войсках» [39].

Аналогичную попытку сделал в начале 1818 г. Н. И. Тургенев, воспользовавшийся кратковременной растерянностью цензуры после речи Александра I, чтобы развернуть агитацию в печати за освобождение крестьян.

2 апреля 1818 г. Н. И. Тургенев писал брату Сергею за границу о впечатлении, которое произвела в Петербурге речь Александра I, и о своем скептическом отношении к ней: Английские клубисты толкуют речь по-своему! „Добираются до нас“, — говорят они; а я им отвечаю: „К несчастию вряд ли доберутся!“». Но, выражая свое недоверие к конституционным обещаниям царя, Н. И. Тургенев тут же намекал, что речь

Александра I создает на время благоприятные условия для пропаганды антикрепостнических взглядов: «Можно, по крайней мере, надеяться, что свободнее можно будет об этом писать, если кто захочет 〈...〉 Однако и за то спасибо» [40].

Учитывая открывшуюся возможность «писать, если кто захочет», и понимая, что возможность эта продлится очень недолго, Н. И. Тургенев прежде всего спешит с опубликованием своего «Опыта теории налогов». В упомянутом письме к брату он добавляет: «Я наконец решился напечатать мою теорию налогов и завтра отдаю в цензуру. Так как у меня есть слòва два-три о рабстве, то я надеюсь, в случае затруднения от цензора, сослаться на речь варшавскую».

О том, как торопился Н. И. Тургенев, чтобы не упустить благоприятный момент, свидетельствует то, что он уже через три дня добился цензурного разрешения на выпуск книги и поспешил сдать рукопись в типографию. «Сегодня Тимковский 〈цензор〉 подписал пропуск моей книге, и сегодня же я отдал ее Гречу, и сегодня же написал предисловие», — записывает он 6 апреля 1818 г. в дневнике [41].

Н. И. Тургенев побуждает своего друга, профессора Царскосельского лицея, учителя Пушкина, А. П. Куницына, написать для «Сына отечества» статью «О состоянии иностранных крестьян», направленную против крепостнических статей «Духа журналов» и посвященную изображению преимуществ, которые имеет положение свободных крестьян перед крепостными. Написанная очень резко и смело статья Куницына, появившаяся в 17 № «Сына отечества» (ценз. разр. 23 апреля), привлекла к себе широкое внимание, вызвала много толков и посеяла тревòгу среди крепостников [42]. 10 мая Н. И. Тургенев с удовлетворением констатирует в дневнике, что статья Куницына произвела «замечательное впечатление»; через несколько дней, в письмах к П. А. Вяземскому и к брату, он обращает их внимание на эту статью и сообщает, что она написана по его просьбе [43].

О впечатлении, вызванном статьей Куницына, мы можем судить по тому, что издатель «Духа журналов» Г. М. Яценков не решился на нее отвечать. Судя по позднейшему объяснению Яценкова, представленному в цензуру, он считал, что статья Куницына была одобрена правительством. Появление этой статьи он воспринял как свидетельство перемены правительственного курса в крестьянском вопросе и поспешил сам соответственно переменить курс: еще в начале апреля в «Духе журналов» была помещена статья «Что значит слово *раб?*», восхвалявшая крепостничество; в следующей книжке после появления статьи Куницына журнал напечатал речь малороссийского военного губернатора Н. Г. Репнина, обращенную к полтавскому и черниговскому дворянству, автор которой, хотя и не посягал на крепостное право, однако призывал помещиков к добровольному ограничению крестьянских повинностей [44].

Публикация статьи Куницына и — под непосредственным влиянием этого — публикация в «Духе журналов» речи Репнина, также, возможно, инспирированной в определенной степени декабристскими кругами (правителем канцелярии Репнина был член Союза Благоденствия М. Н. Новиков, адъютантом Репнина — М. И. Муравьев-Апостол; сам Репнин был старшим братом С. Г. Волконского), вызвали немедленное вмешательство высших властей. 14 мая министр народного просвещения А. Н. Голицын издал известное предписание, запрещавшее цензуре впредь пропускать в печать статьи «ни в защищение, ни в опровержение вольности или рабства крестьян, не только здешних, но и иностранных» [45].

В. И. Семевский высказал предположение (перешедшее механически во многие позднейшие работы), что непосредственной причиной этого предписания было появление речи Репнина [46]. Однако более, чем речь Репнина,

вызвала тревогу властей статья Куницына «О состоянии иностранных крестьян». Об этом писал 30 октября 1818 г. Вяземскому А. И. Тургенев: «Не „Дух журналов“ запрещен, а запрещено, по случаю напечатания в „Сыне отечества“ пиесы в пользу крестьян, писать pro и contra* свободы мужиков, как наших, так и иностранных, дабы тем не произвесть пустых толков и не навлечь плетей на московских и провинциальных хамов» [47].

В тех же антикрепостнических целях использовал цензурное облегчение писатель-радищевец С. К. фон Ферельтц, автор сатиры «Путешествие критики», книга которого вышла в 1818 г., хотя она была разрешена цензурой за восемь лет до того [48].

После мая 1818 г. открыто выступать в печати с критикой крепостного права стало надолго невозможным. Лишь в отдельных книгах научно-теоретического характера, вышедших в 1819—1820 гг., проскользнули замечания, направленные против крепостничества (так, в 1819 г. был переиздан «Опыт теории налогов» Н. И. Тургенева, тогда же вышла вторая часть «Начертания статистики Российского государства» К. И. Арсеньева, в 1820 г. — «Естественное право» А. П. Куницына). Однако, несмотря на то, что попытки Н. И. Тургенева выступить против крепостного права сразу же натолкнулись на серьезные препятствия, это отнюдь не означало, что декабристские круги отказались от дальнейших попыток воздействия на более широкое общественное мнение в пользу освобождения крестьян. Эти попытки принимают в следующий период лишь другую форму.

К апрелю—маю 1818 г. относится записка по крестьянскому вопросу одного из организаторов Союза Спасения и видного участника Союза Благоденствия (впоследствии отошедшего от декабристского движения) А. Н. Муравьева [49]. Записка эта была представлена им Александру I. Но назначение ее было, повидимому, шире: написанная в ответ на речь калужского губернского предводителя дворянства, крепостника Н. Г. Вяземского, записка Муравьева, так же, как и речь Вяземского, распространялась в копиях. Это видно из того, что о ней упоминает в своих «Записках» С. П. Трубецкой [50] и что скрытая цитата из записки Муравьева, как нам удалось установить, содержится в упоминавшемся выше дневнике, который вел летом 1818 г., находясь в Тульской губернии, А. А. Тучков [51]. В своей записке Муравьев (примыкавший к правому крылу Союза Благоденствия) подвергал резкой критике утверждения крепостников о якобы патриархальном характере отношений между помещиком и крестьянами; но в своих конечных выводах он склонялся к довольно умеренному требованию, чтобы «появления помещиков и подвластных совершенно были определены справедливым, непременным, постоянным законоположением». Позднее, уже после появления пушкинской «Деревни», в декабре 1819 г., Н. И. Тургенев, по инициативе Ф. Н. Глинки, также пишет для представления Александру I записку «Нечто о крепостном состоянии в России», содержащую всестороннее изображение положения крепостных и дворовых, анализ наиболее тяжелых форм угнетения крестьян и программу самых необходимых первоочередных мер по крестьянскому вопросу, которые могли бы послужить подготовкой к будущему освобождению [52].

Записки о положении крестьян, подававшиеся Александру I и одновременно предназначавшиеся для более или менее широкого распространения в обществе, — такова одна из форм легальной деятельности декабристов в 1818—1819 гг., направленной к освобождению крестьян. Другая форма ее — стремление повлиять на общественное мнение путем личного примера. К лету 1819 г. относится известная попытка И. Д. Якушкина

* за и против (лат.).

освободить своих крепостных. Написанное Якушкиным в связи с этим заявление вместе с его «Мнением смоленского помещика об освобождении крестьян от крепостной зависимости» распространялись им как образец для желающих последовать его примеру [53]. Несколько раньше, вероятно в конце 1818 или в начале 1819 г., аналогичный опыт, по свидетельству Д. И. Завалишина, предпринял другой видный декабрист — М. С. Лунин, с которым Пушкин в это время был уже знаком (с Якушкиным поэт познакомился в начале 1820 г.). Натолкнувшись на сопротивление властей, Лунин был вынужден отказаться от плана самому освободить крестьян и составил завещание, в котором поручал осуществление этого плана брату [54]. Наконец, Н. И. Тургенев вместе с своим старшим братом, А. И. Тургеневым и П. А. Вяземским пытался в начале 1820 г. реализовать более широкий план: с помощью привлечения группы влиятельных аристократов, сторонников крупного капиталистического землевладения, он хотел добиться у правительства разрешения на организацию легального общества, члены которого получили бы право на добровольных началах отпускать на свободу своих крепостных [55].

Таким образом, 1818—1819 гг. были не только годами общего подъема пропагандистской деятельности декабристов, но и годами разнообразных, постоянно возобновлявшихся попыток со стороны декабристских кругов способствовать «распространению убеждения в необходимости освобождения крестьян» (в соответствии с теми задачами, которые ставил перед ними устав Союза Благоденствия) [56]. На этом историческом фоне и должна восприниматься «Деревня».

Следует напомнить, что в 1819 г. Пушкин был связан с Союзом Благоденствия не только через «Зеленую лампу», но и через журнальное общество, собиравшееся у Н. И. Тургенева [57]. Одной из главных целей, которую ставил Тургенев перед проектируемым им в это время журналом, была борьба против «рабства» [58]. Намечая издание журнала с 1820 г., Н. И. Тургенев требовал, чтобы участники его готовили материал за полгода вперед, а в письме к брату от 24 января 1819 г. указывал, что будущие участники журнала «разделили между собою работу» [59]. В записке «Нечто о крепостном состоянии в России» Н. И. Тургенев (ссылаясь на полемику «Сына отечества» с «Духом журналов» 1818 г. и вызванное ею министерское запрещение) требовал у правительства «гласности в отношении крепостного состояния крестьян» [60], имея при этом в виду, несомненно, проектируемый журнал. Невольно напрашивается предположение о непосредственной связи «Деревни» с участием Пушкина в подготовке неосуществленного журнала Н. И. Тургенева.

Говоря о связи «Деревни» с идеями раннего декабризма, следует в заключение подчеркнуть одну особенность позиции молодого Пушкина в освещении крестьянского вопроса. Особенность эта осталась неотмеченной исследователями творчества поэта.

Выступая в «Деревне» против «дикого барства», Пушкин защищает не только личную свободу крестьянина, которая должна быть ограждена «законом», но и его «собственность». Давая обобщающую характеристику рабства, Пушкин наделяет его эпитетом «тощее», то есть нищее, голодное, обобранное помещиком. Пушкин характеризует «рабство» не только как юридическое, но, прежде всего, как материальное угнетение крестьянина. Возмущение поэта вызывает не только то, что крепостной крестьянин лишен права свободно распоряжаться своей жизнью и своим трудом, что над ним тяготеет «ярем» помещичьей власти, но и то, что он лишен собственности: он работает в поле, «склонясь на чуждый плуг», да и самое поле, — «бразды», по которым он ведет свой плуг, — принадлежит не ему, а «неумолимому владельцу».

Этот протест молодого Пушкина против помещика — «неумолимого владельца» не только личности крестьянина, но и крестьянской пашни — заслуживает особого внимания. В 1818—1819 гг., в пору написания «Деревни», большая часть членов Союза Благоденствия еще отстаивала идею безземельного освобождения крестьян. Опыт общественной жизни не успел еще в это время показать, что освобождение крестьян без земли было выгодно лишь помещику и неизбежно сыграло бы на руку реакции. Идею безземельного освобождения выдвигали в это время не только Якушкин и Лунин, но и Пестель, и Н. И. Тургенев, несмотря на колебания последнего в этом вопросе [61]. Лишь в следующий период, в 1821—1823 гг., наиболее передовые и выдающиеся из декабристов склоняются к тому, что освобождение крестьян должно сопровождаться наделением их земельными участками.

Несомненно, молодой Пушкин в 1819 г. не размышлял над крестьянским вопросом так разносторонне и углубленно, как П. И. Пестель, Н. И. Тургенев и другие руководители Союза Благоденствия. И однако в освещении темы крепостного права уже в «Деревне» сказалась реалистичность, свойственная мышлению Пушкина. Непосредственность пушкинского протеста, близость поэта к действительности, его внимание к нуждам и настроениям народных масс подсказали ему, что, трудясь на земле помещика, крестьянин не может быть реально-свободным. В этом заключается одна из очень важных сторон исторического значения пушкинской «Деревни».

V

Как известно, «Деревня» была осенью 1819 г. представлена Александру I, который лицемерно велел передать поэту благодарность за добрые чувства, которые он вызывает. Это не помешало Александру I через полгода сослать Пушкина на юг за «возмутительные стихи», к которым причислена была и «Деревня».

Однако литературно-общественная борьба вокруг «Деревни» началась еще до ссылки Пушкина, сразу после ознакомления со стихотворением ближайшего окружения поэта. Из записок и показаний декабристов мы знаем, что «Деревня» сыграла значительную роль в формировании их революционных взглядов; с другой стороны, уже с первых дней после возвращения Пушкина в 1819 г. из Михайловского его новое стихотворение вызвало критические возражения, исходившие от группы его друзей старшего поколения, не принадлежавших к освободительному лагерю. Этот эпизод из жизни Пушкина не привлекал к себе до сих пор внимания биографов поэта.

Выше цитировалось письмо А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 26 августа 1819 г., в котором Тургенев находил в «Деревне», наряду с «сильными и прелестными стихами»,— «преувеличения». Этот отзыв А. И. Тургенева о «Деревне» отражал его устойчивое отношение к пушкинскому стихотворению: сообщая Вяземскому через несколько дней (3 сентября) о чтении у А. И. Голицыной, в присутствии Пушкина, стихотворения Вяземского «Сибирякову» (посвященного крепостному поэту И. С. Сибирякову, за выкуп которого его помещик Маслов требовал 10 000 рублей), А. И. Тургенев писал: «Пушкин бесится, что ты отнял у него такой богатый сюжет, а я этому рад, ибо он *пересолил бы самое негодование*» [62]. Не может быть сомнения, что эти слова, написанные через неделю после вышеприведенного отзыва Тургенева о «Деревне», находятся в непосредственной связи с отношением его к пушкинской трактовке крепостного права: более умеренную трактовку этой темы Вяземским Тургенев противопоставлял бичующему негодованию Пушкина.

В стихотворении «Сибирякову» Вяземский, как и молодой Пушкин, выступает против крепостнического произвола. Он с негодованием обрушивается на ту знать, которая «нагло торгует» «кровью ближнего» и думает, что бог дал «черни» одни «спины», а барству — «души». Но Вяземский не идет дальше проповеди гуманности, вполне мирящейся с сословным неравенством и даже с существованием крепостного права.

Свобода не в дворцах, неволя не в темницах;
Достоинство в душе...

— заявляет он почти в духе Жуковского: «Свобода в нас самих...».

В стихотворении Вяземского защита прав человека уживается с дворянско-аристократическими сословными представлениями:

Жалею я, когда *судьбы ошибкой злой*
Простолюдин рожден с возвышенной душой... [63].

Достаточно вдуматься в смысл приведенных строк, чтобы понять, насколько значительна была та грань, которая отделяла гневный протест молодого Пушкина против крепостного права от стихотворения Вяземского с его проповедью отвлеченного «душевного благородства».

Отсюда и вытекало различное отношение А. И. Тургенева к пушкинской «Деревне» и к стихотворению Вяземского. Что это было именно так, свидетельствует письмо А. И. Тургенева к брату Сергею от 8 сентября 1819 г. в Париж. Посылая стихотворение Вяземского, А. И. Тургенев писал о нем: «Много есть сильных стихов; но долго еще не удастся их напечатать; да теперь бы они и Сибирякову во вред послужили и не достигли бы цели своей. Жуковский справедливо замечает, что эта пиеса должна действовать на общее мнение; надобно, чтобы она говорила более чувству, более пробуждала душу величием предмета, нежели унижала ее оскорблением. Поэт хочет познакомить грубые души с прекрасным — пусть он представит им это прекрасное, — растолкать их сон; не отвращать их от *жизни*, говоря им с сильным красноречием, что они *мертвецы*; перелить в них эту жизнь живым словом убеждения; а не убийственным словом презрения или негодования. Надобно нашим *хамам* (техническое слово, введенное во всеобщее употребление брат⟨ом⟩ Николаем) представить необходимость уважать достоинство человека и свободы и разбудить, wie gesagt *, ее чувством, а не оскорблением. Язык чувства украсит высокую должность примирителя и защитника прав человечества и сблизит враждующие партии. Язык оскорбления только произведет взаимное ожесточение; а светильник поэзии не должен быть зажигателем. Он должен согревать, светить и оживлять. Это рассуждение и справедливо и прекрасно. В нем *вся душа слышна* Жуковского» [64].

Из письма А. И. Тургенева к Вяземскому от 3 сентября 1819 г. видно, что стихотворение, посвященное Сибирякову, было переслано Тургеневым, по просьбе Вяземского, Жуковскому в тот же день [65]. Следовательно, приводимый Тургеневым в письме к брату отзыв был дан Жуковским между 3 и 8 сентября. Незадолго до этого Жуковский, как и А. И. Тургенев, повидимому, познакомился с «Деревней». Скорее всего, это произошло во время встречи Пушкина и Жуковского у А. И. Тургенева, 20 августа 1819 г. или несколько дней спустя, 25—26 августа, когда Пушкин вместе с А. И. Тургеневым приезжали из Царского села к Жуковскому в Павловск [66]. Невольно напрашивается мысль, что сопоставление «Деревни» и стихотворения Вяземского лежало не только в основе отзыва о Пушкине в цитированном выше письме Тургенева к Вяземскому, но

* как сказано (нем.).

и в основе декларации Жуковского, сочувственно воспринятой А. И. Тургеневым как его единомышленником.

Но даже если отказаться от предположения, что сохраненный Тургеневым отзыв Жуковского о стихотворении Вяземского (как это, несомненно, имело место в отзыве Тургенева) непосредственно полемически заострен против пушкинской «Деревни», все же этот отзыв и оценка его старшим Тургеневым, как «справедливого» и «прекрасного», представляют значительный интерес для изучения «Деревни» и отношения представителей старшего поколения к взглядам молодого Пушкина.

Муза Пушкина в 1818—1819 гг. — «гроза царей», «свободы гордая певица» («Вольность»). В «Деревне» Пушкин выражает сожаление о том, что ему не дан судьбой «витийства *грозный* дар». В противоположность этому Жуковский и А. И. Тургенев в 1819 г. выдвигают совсем иную поэтическую программу, распространяя свои требования на освещение в поэзии темы крепостного права. Из литературно-эстетической программы, сформулированной в письме, — выступать «примирителем», а не возбуждать «негодование», — и вытекали упреки Тургенева Пушкину, что он в «Деревне» допустил «преувеличения», а в послании крепостному поэту «пересолил бы самое негодование».

Так в 1819 г., в связи с обсуждением вопроса о поэтическом освещении темы борьбы с крепостным правом, выявилась резкая противоположность двух общественно-литературных программ — программы молодого Пушкина, объединявшей его с декабристами, и программы бывших «старших» арзамасцев — Жуковского и А. И. Тургенева. Жуковский и А. И. Тургенев предназначали поэту роль не борца, а «примирителя», апеллирующего к добрым чувствам дворянского общества. Молодой Пушкин в «Деревне» (хотя отдавая дань своему времени, он еще верил в возможность освобождения крестьян «сверху») выступает непримиримым противником, беспощадным, грозным обличителем рабства.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Якушкин, стр. 41; Пущин, стр. 114.— П. А. Бестужев, говоря на следствии о «различных рукописях», способствовавших зарождению у него «мыслей свободных», поставил на первое место «Вольность», на второе — «Деревню» (П. Е. Щеголев. Пушкин. Очерки. СПб., 1912, стр. 231).

[2] Н. Л. Бродский. А. С. Пушкин. Биография. М., 1937, стр. 129.

[3] М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951, стр. 184, 186.

[4] Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина (1813—1826). М.—Л., 1950, стр. 171; ср. А. М. Гордин. Пушкинский заповедник. М.—Л., 1952, стр. 42—44.

[5] «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», вып. I. М.—Л., 1936, стр. 198.

[6] «Ост. архив», т. I, стр. 296 (курсив наш). Вяземский отвечал Тургеневу в конце августа: «Ты мне Пушкина стихов не присылал: давай!» (там же, стр. 298).

[7] «Письма Н. Тургенева», стр. 15, 257, 259 и далее.

[8] Семевский, стр. 106—108.

[9] «Вестник Европы», 1900, № 8, стр. 685—696.

[10] ВД, т. II, стр. 166.

[11] Пушкин, т. XI, стр. 258.

[12] Интересное мемуарное свидетельство об отражении псковского быта в творчестве Пушкина см. в кн.: П. П. Соколов. Воспоминания. Л., 1930, стр. 56.

[13] П. В. Анненков. А. С. Пушкин в александровскую эпоху. СПб., 1874, стр. 12—13; Д. В. Философов. Старое и новое. М., 1912, стр. 125—137; А. В. Тыркова. А. П. Философова и ее время. Пг., 1915, стр. 18—27, 89—90. Наиболее полная сводка опубликованного фактического материала о быте и нравах псковского барства и о положении крепостных крестьян в связи с анализом «Деревни» и позднейших произведений Пушкина дана в статье М. Столярова (С. Ашевского) «Псковская губерния в поэзии Пушкина» (в кн. «Познай свой край». Сборник Псковского общества краеведения, вып. 1, 1924, стр. 26—39). Из биографических работ о Пушкине собранный Ашевским фактический материал полнее других учтен в кн.: Л. П Гроссман. Пушкин. М., 1939 (серия «Жизнь замечательных людей»), стр. 186—187.

[14] См. нашу статью «Пушкин и крестьянские волнения 1826 года». — «Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 195—210.

[15] ЦГИАЛ, ф. № 1167, 1828 г., оп. 28, д. 135, л. 6—6 об.

[16] Записки Паулуччи были рассмотрены Комитетом 27 февраля 1829 г. Отвергнув предложение Паулуччи запретить псковским помещикам без суда ссылать крестьян в Сибирь, Комитет отмечал, что злоупотребление помещичьей властью «приметно уменьшилось и впредь уменьшаться будет» и что «существующие в государственном устройстве недостатки не могут быть исправлены переменами внезапными, иногда подвергающими опасности общее спокойствие». Журнал заседаний Комитета 23 апреля 1829 г. был утвержден Николаем I (см. «Сборник Русского исторического общества», т. 74. СПб., 1891, стр. 376—378).

[17] Население Псковской губернии в 1816 г. составляло около 780 000 чел. (К. И. Арсеньев. Начертание статистики Российского государства, ч. I. СПб., 1818, стр. 54). По 6-й ревизии (1812) в Псковской губернии было помещичьих крестьян: одного мужского населения 216 750; следовательно, всего около 430 000 чел. (К. Герман. Статистические исследования относительно Российской империи, ч. I. СПб., 1819, стр. 115).

[18] И. И. Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. Л., 1925, стр. 73—75.

[19] ЦГИАЛ, ф. № 1263, 1826 г., оп. 45, д. 458, л. 274 об.

[20] Пушкин, т. XI, стр. 267; ЦГИАЛ, ф. № 1167, 1828 г. оп. 28, д. 135, л. 7 об.; там же, ф. № 1286, 1819 г., оп. 2, д. 191, л. 19.

[21] ЦГИАЛ, ф. № 1263, 1826 г., оп. 45, д. 458, л. 274 об.; ср. Н. М. Дружинин. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, т. I. М.—Л., 1946, стр. 89—91.

[22] Там же, ф. № 1286, 1818—22 гг., оп. 2, д. 302, лл. 180—208, 375—383, 485—488. Краткое изложение дела Кашталинского дано в кн.: С. М. Середонин. Исторический обзор деятельности комитета министров, т. I. СПб., 1902, стр. 337—338. Подробное описание волнений крестьян Кашталинского см. в статье: И. И. Игнатович. Крестьянское движение в России в первой четверти XIX в. — «Вопросы истории», 1940, № 9, стр. 56—62.

[23] Пушкин, т. XI, стр. 257.

[24] Д. В. Философов. Указ. соч., стр. 131—137.

[25] В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века, т. I. СПб., 1888, стр. 468—476.

[26] Государственный архив Псковской области (ГАПО), ф. псковского губ. прокурора, 1824 г., оп. 1, д. 42, лл. 2—10. — В 1826 г. в имении Баранова произошло волнение крестьян (см. нашу указанную выше статью, стр. 204).

[27] ГАПО, ф. псковского губ. прокурора, 1819—23 гг., оп. 1, д. 8, лл. 33—35. — О положении крестьян Абрютиной великолукский уездный предводитель дворянства доносил 2 апреля 1819 г.: «... обращается с ними очень строго, и самомалейшая вина не проходит без наказания, крестьяне отягощаются господскими работами в рассуждении хлебопашества, и ⟨...⟩ ни один крестьянин не имеет способов заняться во-время своей пашней и уборкой хлеба, не окончá господской, и почти все без изъятия по окончании господской работы и по праздникам ходят, прося подаяние...» (там же, лл. 28—29). О том, что́ вменялось в вину крестьянам, мы можем судить на основании следующих красноречивых документов. В феврале 1826 г. возникло дело о покушении на самоубийство дворовой женщины новоржевских помещиков Нелединских, Агафьи Демидовой. При рассследовании она показала: «... с начала ее в сельцо Кошелево прибытия находилась она при детях госпожи ее нянькой, а прошлого 1825 г. определена кухаркой. В сие время неоднократно, и даже случалось что в неделю раз до трех, была наказываема от госпожи ее плетьми и розгами чрез дворовых людей Митрофана, Семена и мальчика Степана единственно за то, будто бы, что она не умеет готовить для них кушанья, отчего неоднократно и имела знаки от побоев, чего не вытерпя, прошлого 1825 г. в великом посту решила утопиться, влезла в колодец, отколь дворовые женки Анна и Надежда уже вынули ее без чувствия. А сего месяца, назад тому недели с полторы, сготовила она яблочный пирог, подала на стол во время обеда, который будто бы дурно изготовлен, была она нещадно наказана розгами, чего не вытерпя в прошлую субботу решилась кончить сама себе жизнь ⟨...⟩ и сделала сама себе два в живот удара ножом» (ГАПО, ф. канцелярии псковского губернатора, 1826—27 гг., оп. 1, д. 758, лл. 2—5 об.).

[28] ГАПО, ф. псковского губ. прокурора, 1819—22 гг., оп. 1, д. 9, лл. 1—2.

[29] См. указ. соч.: Д. В. Философова (стр. 130), А. В. Тырковой (стр. 18—30), М. Столярова (стр. 36).

[30] А. В. Тыркова. Указ. соч., стр. 18.

[31] Д. В. Философов. Указ. соч., стр. 130.

[32] Я. Н. Толстой. Мое праздное время, или собрание некоторых стихотворений. СПб., 1821, стр. 33—34 (послание к Пушкину — там же, стр. 48—51); Б. Л. Модзалевский. К истории «Зеленой лампы». — «Декабристы и их время», I, стр. 16.

[33] М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I, стр. 716.

[34] А. В. Тыркова. Указ. соч., стр. 89—90.

[35] ЦГИАЛ. ф. № 1167, 1828 г., оп. 28, д. 135, л. 8; ГАПО, ф. псковского губ. прокурора, 1826—28 гг., д. 48; ф. канцелярии псковского губернатора, 1832—33 гг., оп. 1, д. 1063.— О жестоком обращении Горяинова с его рязанскими крестьянами см.: А. Д. Повалишин. Очерки крепостного права. Жестокое обращение помещиков со своими крепостными.— «Труды Рязанской ученой архивной комиссии», т. XI, вып. 2, 1896, стр. 117—118.

[36] Материалы по истории крестьянского движения в Псковской губернии в 1797—1861 гг. подготовлены к изданию в виде отдельного сборника группой работников Псковского гос. педагогического института и Гос. архива Псковской области. С разрешения редакции сборника в настоящей статье использованы некоторые его материалы, за что мы приносим благодарность.

[37] Пушкин, т. XI, стр. 15.

[38] См. исследования М. В. Нечкиной: «Союз Спасения» («Исторические записки, вып. 23, 1947, стр. 149, 151, 156 и др.) и «Священная артель» («Декабристы и их время», 1951, стр. 174—180).

[39] Семевский, стр. 273.

[40] «Письма Н. Тургенева», стр. 255.

[41] «Архив Тургеневых», вып. 5, стр. 122.

[42] «Сын отечества», 1818, № 17, стр. 162—186.— Указанная статья Куницына, так же, как две другие его статьи, напечатанные непосредственно вслед за ней в «Сыне отечества» — «О конституции» (1818, № 18, стр. 202—211; под статьей дата: «9 апреля») и «Рассмотрение речи г. президента Академии наук и попечителя СПб. учебного округа, произнесенной <...> 22 марта 1818 г.» (1818, № 23, стр. 136—146), в которых Куницын выступал в защиту конституции и представительного правления, не раз привлекали к себе внимание исследователей (см., например: В. И. Семевский. Н. И. Тургенев о крестьянском вопросе в царствование Александра I.— «Вестник Европы», 1909, № 2, стр. 557 и его же «Политические и общественные идеи декабристов», стр. 274—275; А. Н. Шебунин. Н. И. Тургенев. М., 1925, стр. 65; Базанов, стр. 133—134). Однако исследователи обычно рассматривали эти три статьи раздельно и поэтому не обратили внимания на то, что они являются звеньями единого тактического замысла: Куницын стремился использовать в них неопределенные обещания Александра I, на которые он ссылался во всех трех статьях, как своего рода ширму для пропаганды идей освобождения крестьян и конституционной монархии. Этот общий замысел Куницына был подсказан ему, повидимому, Н. И. Тургеневым: о первой из статей Куницына Тургенев сообщал, что она была написана «по его просьбе»; со статьей Куницына о речи Уварова Н. И. Тургенев, как видно из его письма к брату Сергею от 15 июня 1818 г., ознакомился в рукописи, до прохождения ее через цензуру («Письма Н. Тургенева», стр. 263). Пользуемся случаем исправить неточность, вкравшуюся в книгу В. Г. Базанова «Вольное общество любителей российской словесности»: комментируя роль Н. И. Тургенева в создании статьи о иностранных крестьянах, Базанов называет Тургенева уже в это время «одним из руководителей Союза Благоденствия» (стр. 133); между тем Н. И. Тургенев вступил в Союз Благоденствия позже, в конце 1818 г. (см. об этом: А. Н. Шебунин. Н. И. Тургенев в тайном обществе декабристов. — «Декабристы и их время», I, стр. 130).

[43] «Архив Тургеневых», вып. 5, стр. 124; «Ост. архив», т. I, стр. 102; «Письма Н. Тургенева», стр. 263.

[44] «Беседы в Обществе любителей российской словесности при имп. Московском университете», 1871, вып. 3, стр. 21—24; «Дух журналов», 1818, ч. XXVI (кн. 14 от 3 апреля) — «Что значит слово *раб*?», стр. 103—118; ч. XXVII (кн. 20 от 15 мая)— «Речь, произнесенная г. малороссийским военным губернатором генерал-адъютантом кн. Н. Г. Репниным <...> в Полтаве 3-го, а в Чернигове 20 января 1818 г.», стр. 125—136.

[45] М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. I. СПб., 1889, стр. 429 и 519; В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в., т. I. СПб., 1888, стр. 405. Предписание это было подтверждено в 1821 г. Комитетом министров.

[46] В. И. Семевский. Крестьянский вопрос..., т. I, стр. 404—406; К. А. Пажитнов. Экономические воззрения декабристов. М., 1945, стр. 73.

[47] «Ост. архив», т. I, стр. 137; ср. там же, стр. 102 и «Письма Н. Тургенева», стр. 261, 263, 267.

[48] А. В. Кокорев. «Путешествие критики» — социальная сатира писателя-радищевца.— В кн.: «Путешествие критики» ...Сочинение С. фон. Ф. Изд. МГУ, 1951, стр. 8.

[49] «Ответ сочинителю речи» О защищении права дворян на владение крестьянами».— «Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1861, кн. 3, отд. V, стр. 43—50.

[50] Трубецкой, стр. 18.

[51] 6 августа 1819 г. А. А. Тучков писал: «Свобода не замедлит привести в цветущее состояние сословие людей (по словам одного почтенного человека), *прокормляющее и обогащающее всю Россию, сословие, дающее самое большое число защитников отечеству*, и потому сословие, достойное уважения» («Вестник Европы», 1900, № 8, стр. 695—696). Это — слова А. Н. Муравьева (из его записки, стр. 44).

[52] «Архив Тургеневых», вып. 5, стр. 219—222, 416—433.

[53] Якушкин, стр. 463—466 и прим. к ним, стр. 688—690.

[54] Д. И. Завалишин. Декабрист М. С. Лунин.— «Исторический вестник», 1888, № 1, стр. 149; «Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма». Ред. и прим. С. Я. Штрайха. СПб., 1923, стр. 85—87; М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I, стр. 165 и 202.

[55] «Ост. архив», т. II, стр. 13—22; А. Н. Шебунин. Пушкин и «Общество Елизаветы».— «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», вып. I. М.—Л., 1936, стр. 87—89 (там же указана предшествующая литература); ср. также: Базанов, стр. 194—195.

[56] Трубецкой, стр. 20.

[57] А. Н. Шебунин. Н. И. Тургенев в тайном обществе декабристов, стр. 130—131; его же. Братья Тургеневы и дворянское общество александровской эпохи.— В кн.: «Письма Н. Тургенева», стр. 70—75; Пущин, стр. 116.

[58] «Письма Н. Тургенева», стр. 273—274; ср. позднейшие указания Н. И. Тургенева об этом же в его второй оправдательной записке.— «Красный архив», 1925, № 6, стр. 78—79.

[59] «Письма Н. Тургенева», стр. 273—274.

[60] «Архив Тургеневых», вып. 5, стр. 432—433.

[61] К. А. Пажитнов. Экономические воззрения декабристов, стр. 43—44 66—70, 81—82.

[62] «Ост. архив», т. I, стр. 303—304.— Курсив наш.

[63] П. А. Вяземский. Избранные стихотворения. Редакция, статья и комментарии В. С. Нечаевой. М.—Л., 1935, стр. 144—147. — Курсив наш.

[64] ИРЛИ, ф. № 309, архив братьев Тургеневых, ед. хр. 384, л. 39 об. — С неправильной датировкой (2 сентября) и с мелкими неточностями это письмо цитировалось в вышеуказанной статье А. Н. Шебунина «Братья Тургеневы и дворянское общество александровской эпохи», стр. 62.

[65] «Ост. архив», т. I, стр. 302.

[66] М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I, стр. 188—189.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛЬНОЛЮБИВЫХ СТИХОВ ПУШКИНА КАВЕРИНЫМ И ЩЕРБИНИНЫМ

Сообщение Л. А. Мандрыкиной и Т. Г. Цявловской

В архиве III Отделения нами обнаружено дело «О показании подпрапорщика Курилова о слышанных им разговорах между майором Кавериным и г. Щербининым. 1828 года»[1]. Свидетельства доносчика бросают яркий свет на политические настроения двух близких приятелей Пушкина в дни, предшествовавшие восстанию декабристов. Новые документы показывают еще раз, какую огромную жизненную силу несли в себе вольнолюбивые стихотворения Пушкина, как дороги и важны были декабристам и лицам, сочувствовавшим их делу, слова поэта, выражавшие мысли самых передовых людей эпохи.

Ценные показания о вольнодумстве Каверина находятся и в деле братьев Критских[2]. Все эти новые материалы углубляют наше представление о незаурядной личности приятеля Пушкина.

I

Воспитанник Московского и Геттингенского университетов, участник кампании 1813—1815 гг., друг Н. И. Тургенева, Петр Павлович Каверин (1794—1855)[3], человек живой и горячий, вернувшись из похода, естественно, оказался среди той части военной молодежи, которая не могла мириться с существующим в России рабством крестьян и отсутствием политической свободы.

Переведенный в 1816 г. в лейб-гвардии Гусарский полк, стоявший в Царском селе, Каверин близко сошелся с учившимся в лицее Пушкиным. Гениальный юноша успел уже снискать среди офицеров полка друзей и поклонников, между которыми были Н. Н. Раевский, П. Х. Молоствов, В. Д. Олсуфьев, И. Е. Меллин, Я. В. Сабуров, П. А. Нащокин, М. Г. Хомутов, П. Д. Соломирский, П. Я. Чаадаев, А. Н. Зубов и др. Отношения Пушкина со многими из этих людей закрепились на всю жизнь. На первом месте надо назвать Раевского и Чаадаева. Дружба Пушкина с Кавериным не была столь глубокой, длительной и постоянной, как с Николаем Раевским. Нельзя, конечно, и сравнивать влияния Каверина на юного Пушкина с силой умственного воздействия на него такого выдающегося мыслителя, каким уже в ту пору был Чаадаев.

Но и Каверин вправе гордиться поэтическими свидетельствами дружбы к нему Пушкина. Ему написано известное послание «К Каверину» (1817) — одно из немногих лицейских стихотворений, внесенных требовательным к себе художником, наряду со зрелыми произведениями, в его позднейшие сборники. Пушкин написал к Каверину и о Каверине еще несколько стихотворений. Тут и экспромт:

Я сам в себе уверен,
Я умник из глупцов,
Я маленький Каверин,
Лицейский Молоствов

— говорящий о том, что прославленный гусар являлся для юного поэта неким образцом. Тут и надпись «К портрету Каверина»:

В нем пунша и войны кипит всегдашний жар,
На Марсовых полях он грозный был воитель,
Друзьям он верный друг, красавицам мучитель,
И всюду он гусар.

Каверин оказывается и среди «юных друзей» в стихотворении «27 мая 1819», он является одним из «рыцарей лихих» «любви, свободы и вина», одним из тех «младых» союзников поэта, для которых «надежды лампа зажжена» («Юрьеву» — «Здорово, Юрьев, именинник!..»). Наконец, ему посвящено несколько слов в «Евгении Онегине» и в стихах, обращенных к Сабурову. Если прибавить к этому те не сохранившиеся «минутной резвости нескромные стихи» (одна из строф дошедшего лишь в виде фрагментов «Ноэля на лейб-гусарский полк»)[4], впечатление от которых Пушкин старался загладить своим посланием «Забудь, любезный мой Каверин...», то насчитывается восемь прямых обращений или упоминаний о приятеле-гусаре в стихах Пушкина. Уже это одно дает право на интерес к этому человеку. А если вспомнить, что Каверин был членом Союза Благоденствия, что среди его друзей и приятелей были такие люди, как Грибоедов, вместе с которым он учился в Московском университете, как Н. И. Тургенев, с которым он дружил со времен Геттингенского университета, как Чаадаев, а может быть и Лермонтов[5], то надо сказать, что Каверину принадлежит известное место в истории русской культуры.

Любопытна лаконичная и выразительная характеристика Каверина в черновой редакции «Евгения Онегина»:

К Talon примчались — он уверен,
Что ждет уж там его К⟨аверин⟩,
Шалун ⟨?⟩, политик ⟨?⟩ и поэт [6].

Поэтом Каверин был более чем скромным, — Пушкину нравилась, вероятно, самая любовь его к искусству слова, отзывчивость к поэзии.

Каверин был рьяным собирателем подпольных стихотворений Пушкина. Свидетельством тому является его тетрадь, в которую, наряду с афоризмами о нравственности, рабстве и равенстве людей, вошли «Братья разбойники», «Послание Горчакову», «Морю», «Ода на свободу», «Деревня», «Сказки» («Ура! в Россию скачет...»), «Паситесь, добрые народы...», «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «О муза пламенной сатиры...», «Послание цензору». По утверждению современников, подкрепляемому и близостью текстов копий Каверина к первоначальным редакциям стихотворений Пушкина, можно думать, что Каверин списывал их с авторитетных копий, полученных от друзей поэта (тетрадь Каверина относится к годам ссылки поэта, когда они лично не встречались)[7].

Дружба поэта с Кавериным протекала в годы юности Пушкина, когда Каверин был близок и с Грибоедовым, с которым в эту же пору познакомился Пушкин[8]. Замечателен характерный эпизод из жизни Каверина, о котором мы узнаем из письма Н. И. Тургенева. С негодованием

сообщая брату Сергею о том, как родственник их, Борис Тургенев, истязал своего старого слугу, Николай Тургенев восклицает: «Сравни же с этим поступок *повесы* Каверина, которому кучер принес 1000 рублей и просил за это свободы. Он ему отвечал, что дал бы ему свои 1000 р. за одну идею о свободе, но не имея денег, дает ему отпускную. В сем последнем поступке нет ничего удивительного для человека благомыслящего, а у нас это редкость» [9].

Этот рассказ относится к маю 1818 г. Он выразительно рисует облик передового деятеля времени возникновения Союза Благоденствия, в члены которого и вступил Каверин. Имя Каверина как члена Союза

М. А. ЩЕРБИНИН

Автопортрет, 1820-е гг.

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Благоденствия внесено в «Алфавит декабристов», но дело его было «высочайше повелено оставить без внимания», потому что он «не участвовал в тайных обществах, возникших с 1821 года»[10]. В 1826 г. Каверину была даже разрешена военная служба, однако без права производства в генералы (как говорит семейное предание)[11].

Каковы были в действительности взгляды и настроения Каверина в 1825 г., когда он уже был в отставке, то есть оторван от передовой военной молодежи, выясняется из новых материалов.

Отношения Пушкина с Кавериным не изменились и в дальнейшем. Так, просьбу о присылке рукописи «Бориса Годунова» в Тифлис Грибоедов обращает в конце 1826 г. через Бегичева к Чаадаеву и Каверину[12]. Сохранились и две дружеские записки Пушкина к Каверину, относящиеся к последнему десятилетию жизни поэта (1827 и 1836 гг.)[13]

Именно в этот период, после русско-турецкой войны 1828—1829 гг., далеко не богатый Каверин пожертвовал значительную сумму для крестьян, переселяющихся из Турции в Россию[14]. Этот факт раскрывает политические тенденции демократа и патриота Каверина.

Все прямые и косвенные свидетельства о Каверине воссоздают яркий и привлекательный образ этого человека. Темпераментный, великодушный, верный друг, человек горячего сердца, искристого ума и неистощимого юмора, Каверин привлекал Пушкина и других прежде всего непреодолимой силой личного обаяния. Лежащее же в основе их отношений единомыслие политическое объясняет прочность пронесенной сквозь всю жизнь связи Пушкина с Кавериным.

Прекрасно понимал и Каверин, какого друга подарила ему судьба. Голос искренней печали слышится в его письме к Вяземскому после смерти Пушкина. Трогает в нем и то серьезное чувство ответственности, которое испытывает Каверин, сознавая, что на друзей Пушкина ложится долг донести до потомства неискаженным образ великого поэта: «... Смерть Пушкина поразила меня. Как рано он умер для своей славы! И неужели он не достоин, чтобы о нем кто-нибудь сказал более, чем то, что мы, провинциалы, читали в „Пчеле" и „Петербургских ведомостях". Неужели Вы не уделите несколько времени от Ваших занятий — почтить память, смею сказать, бессмертного. Вы знали его коротко и с дурной и с хорошей стороны, а свет во многом порицает его. Мне кажется, что с славой поэта неразлучны достоинства нравственные. Шалости — не пороки, а Пушкин много в молодости шалил; неужели современники и потомство только на них оснуют свое мнение о нравственности нашего поэта? Здесь носится слух о какой-то дуэли — неужели он справедлив? Ужасно, если правда. Умоляю, напишите два слова об этом. Вы знаете, что Пушкин мне был близок, и я душевно грущу...»[15].

II

Сведения, которыми мы располагаем о Михаиле Андреевиче Щербинине (1793—1841), довольно скудны[16]. Участник Отечественной войны (1812—1815), он входил в состав посольства в Персию, возглавлявшегося Ермоловым (1816—1817), сопровождал Александра I в его путешествии 1818 и 1819 гг. С сентября 1819 г. командирован в канцелярию генерал-квартирмейстера Главного штаба, еще дважды переводился в другие военные части и 22 марта 1824 г. уволен со службы «по домашним обстоятельствам».

Он был одним из минутных друзей «минутной младости» Пушкина. Это ему адресовано послание поэта 1819 г. — «Житье тому, любезный друг...». П. Е. Щеголев обратил внимание на то, что «из всего цикла стихотворений 〈которые он считал обращенными к членам кружка Зеленой лампы〉 встречаем только одно послание М. А. Щербинину, совершенно свободное от каких-либо политических намеков»[17]. Это наблюдение создавало впечатление, что Щербинина не коснулся тот подъем политического сознания, который охватил передовую молодежь конца десятых — начала двадцатых годов, что ему безразличны были основные вопросы тогдашней действительности: абсолютизм и рабство крестьян в России.

Казалось, что с Щербининым, «другом забавы», отношения у Пушкина были поверхностными, что их связывали одни лишь легкие спутники «дней младых» — «Амур», «шалости», «вино».

Однако из архивов извлекаются новые данные, которые позволяют пересмотреть установившиеся ранее представления. В недавние годы Литературный музей приобрел альбом Щербинина, в который вписаны стихотворения Пушкина, преимущественно вольнолюбивого характера: «Деревня», «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Товарищам» («Промчались годы заточенья...»), «А. Орлову», «Вольность», «На Стурдзу» («Холоп венчанного солдата...»), «Горчакову» («Питомец мод...»), откинутое поэтом первоначальное окон-

чание этого послания «Но я не тот...», «Елизавете» («На лире скромной, благородной...»), «Каверину» («Забудь, любезный мой Каверин...»), «На женитьбу генерал-адъютанта Сипягина», «Черная шаль».

Ценность альбома определяется находящимися в нем двумя автографами Пушкина: посланием «Житье тому, любезный друг...», обращенным к владельцу альбома (с неизвестной дотоле датой— «1819. 9 июля») и стихотворением «Веселый пир»[18].

В альбоме недостает больше половины листов. «Если бы альбом сохранился полностью, — писал М. А. Цявловский, — мы имели бы документ исключительной важности для установления как состава, так и текста политических свободолюбивых стихотворений Пушкина, создавших поэту славу певца освободительных идей и послуживших поводом к ссылке его на юг»[19].

Конечно, одно собрание вольнолюбивых стихов не может еще говорить о свободомыслии собирателя. Так, одним из самых усердных собирателей противоправительственных стихотворений Пушкина был его лицейский товарищ Горчаков, впоследствии дипломат и государственный канцлер, человек никогда, даже в молодости, не отличавшийся вольнолюбием. Но альбом политических стихотворений Пушкина, составлявшийся Щербининым, оказывается лишь одним из звеньев, воссоздающих передовые убеждения приятеля Пушкина.

III

Обращаемся к новым архивным данным — доносам на Каверина и доносу на Щербинина.

Доносчик — двадцатилетний юнкер школы армейских подпрапорщиков при штабе Гренадерского поселенного корпуса в Калуге, Порфирий Федорович Курилов, дворянин Орловской губернии (род. в 1808 г.), пасынок владельца крепостного театра в Орле, генерала, графа Сергея Михайловича Каменского, известного своим самодурством[20].

После окончания московского пансиона Готвальда (в 1823 или в 1824 г.) Курилов был определен юнкером в 6-й карабинерный полк и поступил в двухгодичную школу армейских подпрапорщиков при штабе Гренадерского поселенного корпуса.

Окончив школу, Курилов вернулся в тот же полк. И когда в 1827 г. в Москве было раскрыто тайное общество братьев Критских, занимавшихся агитацией среди студенчества, солдат и офицеров московского гарнизона, — то среди привлеченных к делу оказался и Курилов. Следственная комиссия, пытаясь установить связи Критских в армии, арестовала Курилова, так как фамилия его была названа Н. И. Лушниковым на допросе 9 сентября. По словам Лушникова, Курилов вел вольные разговоры с членами кружка и говорил Лушникову о полковнике, который «сбирая к себе всякий раз на ужин офицеров и юнкеров, внушает им свободные мысли...». Первое показание Курилов давал 13 сентября, через два дня после того, как был доставлен в Москву[21]. Он сообщил, что говорил летом 1827 г. Шахлареву, одному из участников кружка братьев Критских, о своем знакомстве с отставным полковником П. П. Кавериным. Курилов добавил, что познакомился с Кавериным летом 1825 г. в Калуге, на балу в доме Панина, а на другой день, по приглашению Каверина, был у него «в комнате». Показания свои Курилов закончил сообщением о полученном им от Каверина стихотворении вольного содержания — «Паситесь, вольные народы, вас не разбудит чести клич».

15 сентября, на очной ставке с участниками кружка — Лушниковым и Шахларевым, Курилов вынужден был признать свое знакомство и с

Лушниковым, от которого он отпирался, на допросе 13 сентября, и вольные разговоры, происходившие между ними. Тут же подтвердил он и свой прежний рассказ Лушникову и Шахлареву о полковнике Каверине, который «имеет вольные мысли». Но разговор свой с Лушниковым о том, что Каверин «таковые мысли внушал офицерам и юнкерам», Курилов категорически отрицал. И Лушников и Шахларев показания Курилова подтвердили[22].

Однако через двое суток Курилов изменил тактику. 17 сентября он, по собственной инициативе, дал Следственной комиссии письменное показание, в котором сообщил, что в школе армейских подпрапорщиков в Калуге среди юнкеров и преподавателей-офицеров распространялись вольные стихи. «В бытность свою в школе армейских подпрапорщиков при Гренадерском корпусе, находясь за болезнью в госпитале, — писал Курилов, — слышал от приходившего навещать его портупей-юнкера 5-го карабинерного полка Павла Лукина» следующие стихи:

Если б вместо фонаря,
Часто гаснущего от непогоды,
Повесить русского царя,
То возблистал бы луч свободы!..

Стремясь показать Комиссии искренность своего раскаяния, Курилов назвал ряд фамилий юнкеров школы, среди которых, по его сведениям, распространялись вольные стихи. Прочитав показания Курилова, Комиссия сделала заключение, что проступок Лукина не имеет никакой связи с делом Критских, и поручила генерал-адъютанту М. Е. Храповицкому расследование нового дела — «О распространении противоправительственных стихов в школе армейских подпрапорщиков»[23].

В октябре 1827 г. следствие по делу Критских было закончено. По мнению Следственной комиссии, арестованный «юнкер Курилов, — как и многие другие, доселе арестованные, — не принадлежали к Обществу и сокровенных преступных намерений оного не знали, но прикосновенны ⟨...⟩ тем, что, видаясь с умышленниками, слыхали от них, а другие и сами говорили непозволительное»[24].

По представлению Комиссии, утвержденному Николаем I, Курилов был освобожден из-под ареста и возвращен на прежнюю службу.

IV

Прошло около года. 13 августа 1828 г. в III Отделении было получено сообщение из канцелярии петербургского обер-полицмейстера о том, что в петербургский ордонансгауз доставлен юнкер 6-го карабинерного полка Порфирий Курилов. По сообщению правителя канцелярии, Курилов заявил командиру штаба поселенного Гренадерского корпуса, генерал-майору В. О. Гурко, что он хочет открыть генерал-адъютанту Храповицкому государственную тайну. Командир корпуса генерал от инфантерии И. Л. Шаховской распорядился отправить Курилова в сопровождении офицера в Петербург, что и было сделано в тот же день.

С 15 августа начались допросы Курилова в канцелярии петербургского обер-полицмейстера, где он и открыл свою «тайну». Это было продолжение показаний Курилова о Каверине, данных им за год до этого в Москве. Новый донос касался, однако, уже не одного Каверина, но и друга его, Щербинина. По словам Курилова, Каверин и Щербинин вели в его присутствии вольные разговоры и говорили о том, что «скоро желание нашего Союза исполнится». Разговоры эти происходили в августе 1825 г.

Щербинину.

Житье тому, любезный другъ,
Кто страстью глупой не болѣнъ,
Кому влюбиться недосугъ,
Кто занятъ всѣмъ и всѣмъ доволенъ,
Кто Надиньку, подъ вечерокъ,
За тайнымъ ужиномъ ласкаетъ,
И жирный Страсбургской пирогъ
Виномъ душистымъ запиваетъ;
Кто удаливъ заботы прочь,
Какъ вѣрный сынъ Пафосской вѣры,
Проводитъ набожную ночь
Съ младой монашенкой Цитеры.
По утру сладко дремлетъ онъ,
Читая листикъ Инвалида; NB
Весь день веселью посвященъ.
А въ ночь — вновь царствуетъ Киприда

И мы не такъ ли дни ведемъ,
Щербининъ, рѣзвый другъ забавы,
Съ Амуромъ, шалостью, виномъ,
Покамѣстъ молоды и здравы.
Но дни младые пролетятъ,
Веселье насъ покинетъ,
Желанья чувства измѣнятъ
Сердца изсохнутъ и остынутъ
Тогда — безъ пѣсенъ, безъ подругъ,
Безъ наслажденій, безъ желаній,
Найдемъ отраду, милый другъ,
Въ туманномъ снѣ воспоминаній!
Тогда, качая головой
Скажу тебѣ у двери гроба:
"Ты помнишь Фанни, милый мой?"
И тихо улыбнемся оба.

1819
9 июля

АВТОГРАФ ПОСЛАНИЯ ПУШКИНА «ЩЕРБИНИНУ», 1819 г.
Центральный архив литературы и искусства, Москва

в Калуге, в доме помещика Е. А. Панина (куда Курилов был приглашен Кавериным), в присутствии дочерей Панина — княгини Вяземской и генеральши Демидовой. Сопровождались разговоры чтением «преступных» стихов «Паситесь, дикие народы»* и других произведений, содержания которых Курилов не помнил. На другой день после встречи у Панина Курилов по приглашению Каверина был у него дома. Неизвестно, где и когда видались Каверин и Курилов после этой встречи, но знакомство их не прерывалось. И когда Курилов в сентябре или октябре 1825 г. уехал в Орел, Каверин прислал ему письмо, к которому были приложены стихи Пушкина «Паситесь, дикие народы...». К сожалению, это письмо до нас не дошло.

Выделим самые важные обвинения Курилова:

«Щербинин и Каверин разговаривали про какую-то секту, говоря: скоро желание нашего Союза исполнится, — да к тому же весьма вольно и даже дерзко говорили про правительство, повторяли стихи весьма дерзкие насчет оного, которые я долгом поставляю открыть вашему превосходительству:

Паситесь, дикие народы,
Вас не разбудит чести клич,
Для вас ничто дары свободы,
Наследство вам из рода в роды
Ярмо с гремушками и бич.

Судя по этим стихам и другим такого же смысла, которые находились в портфейле господина Щербинина и кои вероятно и теперь у него, можно заключить, что они имеют какие-либо тайные сношения и злые умыслы».

Так заявлял Курилов в своем первом показании.

15 августа Курилов сообщил на допросе, что им было «замечено» «в городе Калуге, в доме помещика Панина, злоупотребление, заключающееся в каком-то союзе, имеющем, как произнесли отставной подполковник Каверин и г. Щербинин, бывший у г. Панина в гостях, в присутствии княгини Вяземской 〈...〉 в непродолжительном времени удачнее свершиться, прочитывая между тем громогласно, с приметною отвратительностию, пасквильные насчет правительства и государя императора сочиненные неизвестно мне кем стихи, последним со слов Каверина выписанные, и из оных, как припомнить могу, то суть следующего содержания: «Паситесь, дикие народы, вас не разбудит чести клич; наследство вам из рода в роды ярмо с гремушками и бич»».

23 августа Курилов раскрыл свою «тайну» на допросе еще подробнее:

«Тайна моя состоит в том, что в бытность мою в корпусной квартире в городе Калуге, я был знаком с майором в отставке Кавериным, который однажды пригласил меня в дом господина Панина; это было в 1825 году, в августе месяце, не могу припомнить которого именно числа; говоря, что к нему приехала из Петербурга сестра его с мужем Щербининым.

Я, будучи в доме г. Панина, был свидетелем дерзких разговоров насчет правительства между г-ном Кавериным и Щербининым, причем были также занимавшие в то время дом г-на Панина дочери его, княгиня Вяземская и генеральша Демидова. Разговор между г-ном Кавериным и Щербининым был следующий: что Россия имеет гнусное и притеснительное правление, не имеет никаких законов, и повторяли даже дерзкие выражения насчет самого государя, в следующих стихах, коих всех вспомнить не могу, начало же оных припомнить могу:

---

* Пушкинский эпитет к слову «народы» — «мирные», «мудрые» (в черновике — «хладные»), заменяется в распространявшихся записях отрывка эпитетом «добрые», «дикие», «вольные», «русские».

Паситесь, дикие народы,
Вас не разбудит чести клич,
Наследство вам из рода в роды
Ярмо с гремушками и бич [25].

По сим стихам заключить должно, что он имеет дерзкие и вольные мысли; господин же Щербинин, коего я не знаю совершенно и в первый только раз видел, по словам его проезжал в город Харьков, где, как говорил, имеет жительство; говорил про какой-то тайный союз, утверждая, что оный в скором времени совершится» [26].

Из этих слов доносчика можно во всяком случае вывести заключение, что он утверждал принадлежность Щербинина и Каверина к какому-то тайному союзу, который в августе 1825 г. предполагал в недалеком времени революционное выступление.

Сообщения Курилова требуют критической проверки.

Путают карты его слова «союз имеет в непродолжительном времени удачнее свершиться». В них кроется недоговоренная мысль: удачнее, чем неудавшееся восстание 14 декабря. Вспоминать о восстании в августе 1825 года Каверин, понятно, не мог. Повидимому, Курилов, знавший (от Лушникова и Шахларева) о тайном обществе братьев Критских, 1827 года, смешал, год спустя, известные ему данные об этом кружке и воспоминания трехлетней давности о разговоре Каверина с Щербининым.

Путаница эта, однако, ни в какой мере не может поставить под подозрение всего, сообщенного в доносе Курилова. Слишком многие конкретные обстоятельства, изложенные Куриловым, подтверждаются. Так, Каверин в самом деле жил в 1825 г. в Калуге и был подполковником в отставке. Все названные Куриловым лица, которых он встретил у Каверина, — люди, реально существовавшие и находившиеся между собою в том родстве, которое указывает Курилов [27]. Щербинин, действительно, подолгу живал в своем имении под Харьковом, с тех пор как женился (в 1821 г.) на сестре Каверина, Елизавете Павловне.

То, что все эти сведения, сообщенные Куриловым в доносе, соответствуют действительности, так же как и описание характерных примет обстановки комнаты Каверина, не позволяют отводить рассказа Курилова о посещении им Каверина.

Каверин должен был держать себя свободно в присутствии юнца и не стесняться в выражении своих чувств и мыслей,— едва ли отказался старый член Союза Благоденствия от своей привычной тактики — открыто критиковать власть.

Правдоподобны и показания о Щербинине, извлекающем из портфеля вольнолюбивые стихи. Пылкость этого человека известна. И то волнение, с которым он читал стихи «Паситесь, добрые народы...» («громогласно, с приметною отвратительностию», по словам Курилова),— естественно. Щербинин, очевидно, только что познакомился с этими стихами («выписал их со слов Каверина», который и сам записал их всего за два месяца до разговора в свою тетрадь, «17 июня 825»)[28].

Наиболее значительным является сообщение Курилова — о высказываниях Каверина и Щербинина об их «союзе» и о словах их: «скоро желание нашего Союза исполнится». К сожалению, мы не располагаем никакими другими, прямыми или косвенными, доказательствами, подтверждающими или отрицающими это сообщение.

И все же, несмотря на все эти оговорки, при чтении доноса Курилова в памяти всплывают многозначительные слова Пушкина из десятой главы «Евгения Онегина», до сих пор не поставленные в связь с исторической действительностью:

Везде беседы недовольных...
Узлы к узлам...
И постепенно сетью тайной
Россия...

V

Как мы видели, одним из серьезнейших пунктов доноса Курилова было чтение и распространение Кавериным и Щербининым стихов «Паситесь, дикие народы...». Судя по этим стихам, «можно заключить, что они имеют какие-либо тайные сношения и злые умыслы», — говорил Курилов.

Эти стихи уже не раз фигурировали в делах Министерства внутренних дел: еще до организации III Отделения Бенкендорф получил донесение (от 8 марта 1826 г.) своего агента — московского жандармского полковника Бибикова, где, между прочим, было сказано: «Сообщаю здесь стихи, которые ходят даже в провинции и которые вам докажут, что есть еще много людей злонамеренных:

Паситесь, русские народы,
Для вас не внятен славы клич,
Не нужны вам дары свободы,—
Вас надо резать или стричь»[29].

Вновь прочитал эти стихи Бенкендорф, а вслед за ним и Николай I, в материалах, изъятых у штабс-капитана 37-го Егерского полка Мозевского, арестованного в Симферополе в декабре 1827 г. по доносу мичмана Дюмутье.

Из всех стихотворений, взятых у Мозевского («Ода на свободу», «Деревня», «Паситесь, добрые народы...» Пушкина и «К временщику» Рылеева), Николая I заинтересовали одни лишь стихи «Паситесь, добрые народы...». На запрос о них Мозевский ответил: «Сии стихи я слышал из уст 37-го Егерского полка от подпоручика Малиновского в 1817 году, который умер в 1821 г. Стихи же сии я писал своей рукой, когда еще учился писать, которые помнится мне, что говорил Малиновский, что оные сочинены каким-то Пушкиным».

Ссылка на мертвого сыграла свою роль. Стихи «Паситесь, добрые народы...» подписи не имели. Следствие по этому вопросу было прекращено[30].

Как известно, штабс-капитан Мозевский нес караул при сидевшем на гауптвахте в Тирасполе майоре Раевском. Он был обвинен в распространении между офицерами и частными людьми «возмутительных сочинений» Раевского («Послание друзьям в Кишинев», центральные строфы которого обращены к Пушкину, имя которого, впрочем, не названо).

Это позволяет предположить, что стихи «Паситесь, добрые народы...» Мозевский получил от Раевского. Здесь следует напомнить, что эти строки, заканчивающие стихотворение «Свободы сеятель пустынный...» входили прежде в черновое стихотворение «[Мое] беспечное незнанье...». А стихотворение это, как уже установлено в печати, вызвано размышлениями Пушкина над горячим призывом Раевского из тюрьмы продолжать борьбу с самодержавием[31]. Это было тогда, когда страстная вера Пушкина в успех революционного дела была подорвана крушением революционных восстаний на Западе. Испанский, пьемонтский и неаполитанский очаги революции были затушены Священным союзом. Реакция распространилась по Европе и России. Арест В. Ф. Раевского,

смещение М. Ф. Орлова и П. С. Пущина — все эти действия, обезглавившие Кишиневскую управу Южного общества, лишили Пушкина опоры в Кишиневе.

Мысль о преждевременности революционного дела в России, ослабевшего в эпоху реакции 1823 г., посетила Пушкина в эти горчайшие дни упадка духа.

Созданное в это время стихотворение «Паситесь, мирные народы...» и отражает это тяжелое состояние Пушкина в пору реакции 1823 года. Но разочарование поэта выражается в такой яркой картине, оно окрашено таким убийственным сарказмом, что до сознания читателей-современников дошла не безнадежность, которая продиктовала поэту эти стихи, а тот неумирающий дух свободы, который прорывается и сквозь видимое отчаяние.

Облитые «горечью и злостью», стихи эти возбуждали протест у передового читателя, который принимал жестокие упреки поэта на свой счет. Заложенное же в строфах Пушкина чувство презрения к присмиревшим борцам рождало противодействие, и стихи «Свободы сеятель пустынный...» служили делу революции, как и многие другие произведения великого поэта.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ЦГИА, архив III Отделения, ф. № 109, 1 эксп., 1828 г., д. 360, лл. 1—9.

[2] ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 4, ч. II; ЦГВИА, ф. № 36, оп. 5/848, д. 188.

[3] Основные источники сведений о Каверине собраны в книге его внучатого племянника Ю. Н. Щербачева «Приятели Пушкина М. А. Щербинин и П. П. Каверин». М., 1912. См. также ВД, т. VIII, стр. 322 и кн.: Нечкина. Грибоедов (по указателю имен).

[4] «Пушкин в Noël на лейб-гусарский полк,— писал Каверин в своей тетради,— не прочтя мне, поместил и на мой счет порядочный куплет и, чтоб извиниться, прислал чрез несколько дней следующее послание; — оригинал у меня». После этих слов следует текст послания Пушкина «Забудь, любезный мой Каверин...» (Ю. Н. Щербачев. Укав. соч., стр. 60).

[5] Каверина имеет в виду Лермонтов в словах об одном из «самых ловких повес прошлого времени, воспетом некогда Пушкиным» («Герой нашего времени». — Лермонтов. Полн. собр. соч., т. V. М.—Л., 1937, стр. 277).

[6] Пушкин, т. VI, стр. 228.

[7] Ю. Н. Щербачев. Указ. соч., стр. 64—65. —Тетрадь Каверина известна нам лишь по этой публикации. До нашего времени она не дошла.

[8] «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году», — писал Пушкин («Путешествие в Арзрум». Глава вторая.— Пушкин, т. VIII, стр. 461).

[9] «Письма Н. Тургенева», стр. 261 (письмо от 29 мая 1818 г.).

[10] ВД, т. VIII, стр. 90.

[11] Ю. Н. Щербачев. Указ. соч., стр. 57.

[12] А. С. Грибоедов. Полн. собр. соч., т. III. Пг., 1917, стр. 196.

[13] Пушкин, т. XIII, стр. 319; т. XVI, стр. 88.

[14] Ю. Н. Щербачев. Указ. соч., стр. 50.

[15] «Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 140—141.

[16] Данные о Щербинине известны из его формулярного списка, впервые использованного Б. Л. Модзалевским в статье «Я. Н. Толстой» («Русская старина», 1899, № 9, стр. 589), а затем в примечаниях к посланию Пушкина Щербинину в Собр. соч. Пушкина, под ред. С. А. Венгерова (т. I, 1907, стр. 528—532). Кроме формулярного списка Щербинина, никаких более или менее значительных биографическо-архивных материалов не было и в распоряжении его внука и биографа — Ю. Н. Щербачева (в названной книге).

[17] П. Е. Щеголев. Зеленая лампа. — «Пушкин и его современники», вып. VII. СПб., 1908, стр. 23.

[18] Альбом был приобретен (в июле 1939 г.) Гос. Литературным музеем в качестве альбома неизвестного. В настоящее время он хранится в ЦГЛА.

[19] Подготовленная к печати статья М. А. Цявловского «Альбом М. А. Щербинина», где установлено и то, что кроме двух текстов, написанных рукою Пушкина, все остальные тексты написаны рукою М. А. Щербинина. Из той же статьи заимствуем все данные об альбоме.

[20] Имя Курилова известно в печати в связи с делом братьев Критских 1827 г. Первый историк этого дела П. А. Ефремов анонимно писал (аноним вскрыт М. К. Лемке в его статье «Тайное общество братьев Критских».— «Былое», 1906, № 6, стр. 41) об этой организации в статье «Братья Критские и их товарищи в Москве», входящей в виде второй главы в публикацию «Рассказы о временах Николая» («Полярная звезда на 1862», кн. VII, вып. I. Лондон, 1861, стр. 98—106).

Перечислив основных членов кружка — Николая Лушникова (18 лет) и трех братьев Критских (от 17 до 21 года), арестованных в ночь с 14 на 15 августа 1827 г. в Москве, он называет взятых и посаженных дополнительно, после 16 августа, когда начался разбор дела, и среди них «6-го карабинерного полка юнкера Курилова» (стр. 99).

Несколько больше сказал о Курилове М. К. Лемке: «Тогда же в половине сентября ⟨1827 г.⟩ Лушников оговорил подпрапорщика 6-го карабинерного полка Порфирия Курилова (18 лет) в произношении дерзких слов против правительства и государя, но Курилов совершенно этого не признал» («Былое», 1906, № 6, стр. 44). Лемке сообщает, что «подпрапорщик Курилов ⟨у Лемке ошибочно: Кирилов⟩ признан был следственной комиссией не принадлежащим к Обществу и не знавшим о преступных его намерениях. Почему он не включен в доклад — неизвестно» (там же, стр. 52).

[21] ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 4, ч. II, лл. 71—76 об.

[22] Там же, лл. 85—86, 90—91 об.

[23] ЦГВИА, ф. № 36, оп. 5/848, д. 188, лл. 197—203 об. и др. — По расследовании оказалось, что стихи эти, кроме юнкера Лукина, знали юнкер Юдин и портупей-прапорщики Гренадерского имени Румянцева-Задунайского полка Шаталов и Вишнев. На докладе начальника Главного штаба И. И. Дибича «О происшествии в школе армейских подпрапорщиков» Николай I наложил резолюцию — простить молодых офицеров «во уважение их молодости». Однако он заинтересовался: «каким образом сии стихи могли столь долго таиться между учениками и не были открыты учителями, что дает повод сомневаться вообще насчет духа в школе армейских подпрапорщиков при Гренадерском корпусе состоящей». Новое следствие по этому делу было поручено главнокомандующему 1-й Армией Ф. В. Сакену.

В октябре 1827 г. были снова допрошены юнкера Лукин и Юдин и прапорщик Шаталов. Последний показал, что стихи эти слышал «за сочинение Пушкина в феврале месяце 1826 г. от проезжавшего из Москвы чрез Калугу отставного капитана, служившего в Отдельном кавказском корпусе, Дунаевского». На допросах были названы также и фамилии знакомых Дунаевского — офицеров различных гренадерских полков. Делу был дан ход. Допрошенный генералом Храповицким, дворянин Орловской губернии отставной штабс-капитан Дунаевский от обвинения в чтении и распространении стихов категорически отказался. Привлеченные к следствию офицеры гренадерских полков также отреклись от обвинения в получении стихов от Дунаевского. Материалы следствия были направлены Дибичу, который, повидимому, прекратил дело.

[24] ЦГИА, ф. № 109, 1 эксп., 1827 г., д. 209, л. 33—33 об.

[25] Слова «наследство вам из рода в роды ярмо с гремушками да *бич*», казалось бы, говорят о крепостном праве (вспомним поэтическую фразеологию Пушкина в самом пламенном антикрепостническом стихотворении его: «склонясь на чуждый плуг, покорствуя *бичам*»). Однако эти слова, как мы видим, были восприняты как характеристика царской власти. Для этого были некоторые основания: в известных стихах, пересланных еще в 1822 г. Раевским из тюрьмы друзьям, именно правящая царская династия была обозначена словами: «Над ним бичей кровавый род / И мысль и взор казнит на плахе». Мы знаем, со слов И. П. Липранди, что Пушкин высоко оценил эту убийственную характеристику русского царствующего дома, сделанную Раевским: «Он повторил последнюю строчку, *присовокупив: „Никто не изображал еще так сильно тирана: И мысль и взор — казнит на плахе“. Хорошо выражение и о династии: „Бичей кровавый род“, — присовокупил он...*» (М. А. Цявловский. Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Ф. Раевскому.— «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», вып. VI. М.—Л., 1941, стр. 47).

[26] ЦГИА, ф. № 109, 1 эксп., 1828 г., д. 360, лл. 1—9.

[27] Егор Александрович Панин — капитан-лейтенант флота; Вера Егоровна Демидова, рожд. Панина (1800—1870), третья дочь Е. А. Панина, жена генерал-майора Николая Петровича Демидова; Софья Егоровна Вяземская, рожд. Панина, старшая дочь Е. А. Панина, по первому мужу Тимашева-Беринг, во втором браке жена Н. Г. Вяземского (1769—1846), действительного тайного советника.

[28] Ю. Н. Щербачев. Указ. соч., стр. 113.

[29] Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925, стр. 16—17.

[30] П. С. Бейсов. Дело Мозевского.— «Ульяновский сборник», стр. 58—73.

[31] М. А. Цявловский. Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Ф. Раевскому.— «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», вып. VI. М.—Л., 1941, стр. 41—50; И. Н. Медведева. Пушкинская элегия 1820-х годов и «Демон».— Там же, стр. 51—71.

СТИХОТВОРЕНИЕ ПУШКИНА ПАМЯТИ СЫНА С. Г. ВОЛКОНСКОГО

Сообщение Н. И. Удимовой*

I

Известно четверостишие Пушкина: «Эпитафия младенцу ‹кн. Н. С. Волконскому›»:

В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца [1].

Эпитафия сыну Сергея Волконского — еще одна попытка Пушкина нарушить молчание, созданное вокруг декабристов, и заговорить об их подвиге. В «Эпитафии младенцу» слышится отзвук чувства «искреннего восхищения», которое Пушкин, по свидетельству Волконской, испытывал перед «добровольным изгнанием» жен декабристов [2].

Мария Николаевна Волконская, уезжая вслед за мужем в Сибирь, вынуждена была оставить в Петербурге на руках у родных мужа—Волконских—своего единственного годовалого сына Николая (род. 2 января 1826 г.). Спустя год после отъезда матери, 18 января 1828 г. ребенок умер [3].

Отношение Пушкина к подвигу жен декабристов может быть правильно понято и оценено, если учесть, что одобрили и поддержали их тогда очень немногие. Нападки на Волконскую, оставившую сына на чужих руках, несомненно, еще усилились, когда ребенок умер. Пушкин в своем стихотворении стал на защиту Волконской, создав образ младенца, не осуждающего мать, но «благословляющего» ее.

Эпитафия произвела сильное впечатление на ее первых читателей. Отец Волконской, Н. Н. Раевский, писал дочери 2 марта 1829 г., посылая ей стихи Пушкина: «Хотя письмо мое, друг мой Машенька, несколько заставит тебя поплакать, но эти слезы будут не без удовольствия; посылаю тебе надпись надгробную сыну твоему, сделанную Пушкиным; он подобного ничего не сделал в свой век» [4]. Письмо заканчивалось словами: «Это будет вырезано на мраморной доске. Все сие принадлежит попечению Кат‹ерины› Алексеевны» [5].

Волконская отвечала отцу (11 мая 1829 г.): «Я читала и перечитывала, дорогой папа, эпитафию моему дорогому ангелочку. Она прекрасна, сжата, *полна мыслей, за которыми слышится столь многое.* Как же я должна быть благодарна автору; дорогой папа, возьмите на себя труд выразить ему мою признательность...» [6].

Вновь возвращается к этому стихотворению Волконская в письме к брату Николаю от 28 сентября 1829 г.: «В моем положении никогда нельзя быть уверенной, что доставишь удовольствие, напоминая о себе. Тем не менее скажи обо мне А‹лександру› С‹ергеевичу›. Поручаю тебе повторить ему мою признательность за эпитафию Николино. Слова

---

* Написано при участии Т. Г. Цявловской.

утешения материнскому горю, которые он смог найти — выражение его таланта и умения чувствовать»[7].

Раевские не только передали Пушкину благодарность Марии Николаевны, но и сделали для него выписку из ее письма к брату. И поэт до конца своих дней хранил листок с глубоко проникновенными словами Волконской.

II

Появление первых сведений о стихах через год после смерти ребенка побуждает нас пересмотреть вопрос о времени создания стихотворения и о тех обстоятельствах, в которых оно создавалось. До сих пор принято было считать, что «Эпитафия младенцу» написана Пушкиным в феврале или в марте 1828 г. Так она и датировалась в Академическом издании.

Но если бы Пушкин написал стихи непосредственно под впечатлением смерти мальчика, он не стал бы, надо думать, облекать их в традиционные фразеологические формы христианских эпитафий.

Иное дело, если Пушкин сочинял эпитафию с определенной целью — для того, чтобы она была помещена на надгробии. Тут он был стеснен условными канонами. Именно в последнем случае становится естественной и понятной поэтика стихотворения.

Приведенный текст письма Раевского к Волконской от 2 марта 1829 г. не оставляет сомнений, что Раевский сообщает дочери новые стихи Пушкина, созданные в эти дни.

Не была ли эпитафия младенцу Волконскому написана Пушкиным по просьбе генерала Раевского? Нужно вспомнить, с какой сердечностью отзывался Пушкин о Николае Николаевиче Раевском. «Я не видел в нем героя, славу русского войска, — писал он, только что расставшись с Раевскими в 1820 г., — я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года; чело-

2е Марта 1829 — С:П:
Хоть письмо мое друг мой Машинька нечаянно заставит тебя поплакать, но сии слезы будут не без удовольствия, посылаю тебе надпись надгробную сыну твоему, сделанную Пушкиным, он подобного ничего не делал в свой век.
в сияньи, в радостном покое,
у трона вечного творца,
с улыбкой он глядит, в изгнание земное!
благословляет мать, и молит за отца!
Это будет вырезано на мраморной доске. Все сие принадлежит попечению Кат. Алексеевны.

ПИСЬМО Н. Н. РАЕВСКОГО К ДОЧЕРИ, М. Н. ВОЛКОНСКОЙ ОТ 2 МАРТА 1829 г.
С ТЕКСТОМ «ЭПИТАФИИ МЛАДЕНЦУ» ПУШКИНА
Автограф
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

ПИСЬМО М. Н. ВОЛКОНСКОЙ К БРАТУ Н. Н. РАЕВСКОМУ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 1829 г.
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПУШКИНУ ЗА ЕГО «ЭПИТАФИЮ МЛАДЕНЦУ»
Копия рукою С. Г. Волконского
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

век без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества»[8].

Когда Раевский встретился с Пушкиным в 1829 г. в Петербурге, генерал только что приехал с Украины, где жил постоянно. Пушкин давно не видал его. Как страшно изменилась за это время судьба семейства, среди которого поэт, по его собственному признанию, провел «счастливейшие минуты жизни»![9]. Оба зятя Раевского оказались причастными к делу 14 декабря. М. Ф. Орлов был спасен от Сибири лишь заступничеством брата, а Волконский пошел на каторгу.

Во время встреч Раевского с Пушкиным в эти зимние дни 1829 г.[10] старик, естественно, не мог не поделиться своими волнениями с таким близким его семье человеком. В решении дочери ехать в Сибирь он усматривал «влияние волконских баб, которые похвалами ее геройству уверили ее, что она героиня, — и она поехала, как дурочка»[11], отец видел в ней «жертву невинную»[12].

Печалила старика Раевского и смерть «единородного сына» его дочери, которого она «оставила без слезинки» на руках у Волконских, и то, что через год после смерти внука еще нет памятника на могиле. Пушкин, глубоко благодарный Раевскому за дружеские заботы о нем в годы ссылки, растроганный его горем, написал «Эпитафию младенцу».

Итак, эпитафия была написана поэтом не сразу после смерти ребенка, а тогда, когда Пушкин в 1829 г. встречался с Раевским, точнее после приезда Раевского в Петербург, то есть в середине февраля 1829 г.[13], во всяком случае не позднее 2 марта 1829 г., когда стихи были отправлены М. Н. Волконской в Сибирь.

III

Воспроизвел ли Раевский эпитафию на надгробии внука? Никаких описаний или изображений этого надгробия не существовало, и самая могила до настоящего времени была затеряна[14].

Ленинградский музей городской скульптуры решил разыскать памятник мальчика-Волконского, чье имя в свое время было занесено в рукописный «Хронологический список особ, погребенных в Александро-Невской лавре» (за № 1591, с отметкой «Лазаревское кладбище»). Летом 1952 г. автору этих строк удалось обнаружить в южной части кладбища небольшой гранитный саркофаг, повалившийся набок и так глубоко ушедший в землю, что можно было прочесть только последние буквы первых двух строк в надписи[15]. Саркофаг был выкопан из земли, и оказалось, что на нем высечена *эпитафия Пушкина. Теперь саркофаг установлен* на новом фундаменте, и на граните ясно виден весь текст стихотворения.

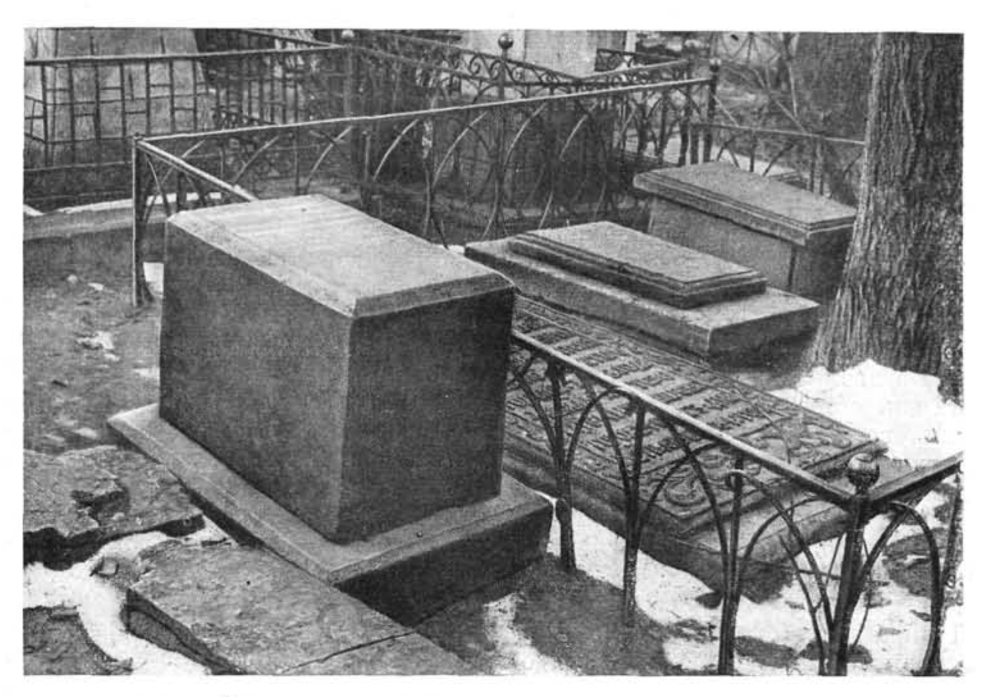
Редакция стихотворения, запечатленная на памятнике и приведенная в письме Раевского к дочери, кое-чем отличается от печатной, принятой в Академическом издании на основе первой публикации Анненкова. Первый стих напечатан Анненковым так:

В *сиянии и в радостном покое,*

тогда как на надгробии и в письме Раевского он читается иначе:

В сияньи, в радостном покое.

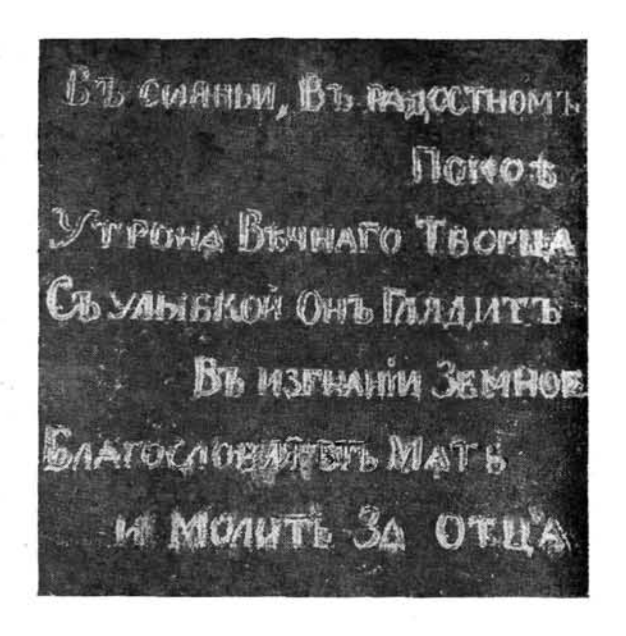
Эта редакция совпадает с вариантом, приведенным в рукописном сборнике Лонгинова—Полторацкого и в «Записках» М. Н. Волконской[16]. Последнее совпадение вполне естественно, — и Волконская, и безвестный



НАДГРОБНЫЙ ПАМЯТНИК НИКОЛАЮ ВОЛКОНСКОМУ, СЫНУ ДЕКАБРИСТА, С «ЭПИТАФИЕЙ МЛАДЕНЦУ» ПУШКИНА, 1829 г.

Фотография, 1954 г.

Музей-некрополь (ранее Александро-Невская лавра), Ленинград



«ЭПИТАФИЯ МЛАДЕНЦУ» ПУШКИНА, ВЫСЕЧЕННАЯ НА НАДГРОБИИ НИКОЛАЯ ВОЛКОНСКОГО, СЫНА ДЕКАБРИСТА, 1829 г.

Фотография, 1954 г.

Музей-некрополь (ранее Александро-Невская лавра), Ленинград

гранитчик, высекавший надпись, получили текст из одних и тех же рук — от генерала Раевского. Раевский же получил стихотворение непосредственно от Пушкина. Эти факты дают основание предпочесть вариант Раевского тексту, напечатанному Анненковым, так как источник анненковского текста неизвестен.

Буквы надписи на саркофаге имеют характерные для двадцатых—тридцатых годов начертания, что подтверждает время сооружения памятника. Вероятно Е. А. Константинова, выполняя поручение Раевского поставила надгробие на могиле мальчика в том же 1829 году.

Таким образом, стихотворение, при жизни Пушкина не напечатанное, оказалось обнародованным вскоре после того, как оно было написано. Многочисленные посетители Лазаревского кладбища Александро-Невской лавры могли ознакомиться со стихами Пушкина, высеченными на надгробии (эти кладбища упоминаются во всех сочинениях, посвященных Петербургу, а во многих из них подробно описаны [17]). Традиционная форма эпитафии прикрывала актуальное политическое содержание. Ни имени и фамилии младенца, ни дат его жизни, ни подписи Пушкина на гробнице не было. Все это вместе дало возможность Пушкину обойти цензурные оковы и донести до современников и потомков глубокое сострадание к томящимся на каторге декабристам.

Стихотворение полно конкретного содержания. Последний стих

Благословляет мать и молит за отца—

обладая всей красотой поэтического обобщения и не противореча религиозным образам, обязательным для эпитафий, напоминает о тяжелой доле родителей умершего ребенка.

То же относится и к предыдущему стиху:

С улыбкой он глядит в изгнание земное.

«Земное изгнание» — это одно из основных религиозных понятий христианского учения. Но Пушкин писал о младенце, отец которого, участник Тайного общества, был сослан на каторгу, а мать, преодолев все препятствия, добровольно разделила изгнание мужа. В этом стихе слово «изгнание» имеет двойной смысл.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Пушкин, т. III, стр. 95 (текст), 645 (варианты), 1156 (примечания).

[2] Записки М. Н. Волконской. СПб., 1914, стр. 62.

[3] В примечаниях к десятитомному изданию соч. Пушкина (1949, т. III, стр. 493) сообщается, что ребенок умер в феврале 1828 г. Но М. Н. Волконская писала 19 января 1829 г.: «Третьего дня была у меня страшная годовщина» («Русские пропилеи», т. I. М., 1915, стр. 60 и 61). С. М. Волконский называет днем смерти ребенка тоже 17 января 1828 г. (см. «Архив декабриста С. Г. Волконского», т. I. Пг., 1918, стр. XXVIII). Дата 18 января указана в «Хронологическом списке особ, погребенных в Александро-Невской лавре» (рукопись в Музее городской скульптуры. Ленинград).

[4] Архив С. Г. и М. Н. Волконских (ИРЛИ, ф. № 57, оп. 1, ед. хр. 386, л. 11; см. воспроизведение на стр. 406).—Отзыв Раевского был ранее известен в пересказе С. М. Волконского, содержащемся в предисловии к «Архиву декабриста С. Г. Волконского», т. I. Пг., 1918, стр. XXVIII и в цитате, неточно приведенной С. М. Волконским без указания на дату письма (С. Волконский. О декабристах. Пб., 1922, стр. 39).

[5] Катерина Алексеевна — Е. А. Константинова (1774—1847)— сестра матери М. Н. Волконской.

[6] Архив С. Г. и М. Н. Волконских (там же, л. 36). Подлинник на франц. яз. Впервые, в неточном переводе, опубликовано О. И. Поповой в статье «История жизни М.Н. Волконской».— «Звенья»,III-IV,1934, стр. 67.

[7] Впервые опубликовано И. А. Шляпкиным в его книге «Из неизданных бумаг Пушкина». СПб., 1903, стр. 129 (с предположительной датой 1828—1829 гг. и без указания адресата). Описанный им «клочок без подписи, в продолговатую четверку», принятый им за собственноручную записку М. Н. Волконской, в действительности— копия приписки, сделанной ею к письму, адресованному брату. Копия была снята для Пушкина и сохранилась в архиве поэта (ИРЛИ, ф. № 244, оп. 3, ед. хр. 20).

Адресат и дата установлены О. И. Поповой в статье «Неизданные письма М. Н. Волконской».— «Труды Государственного исторического музея», вып. II. М., 1926, стр. 24 (подлинник на франц. яз.). Оригинал хранится в ГИМ'е, ф. П. И. Щукина (шифр: Щ 3262, п. л. 731).

Существует и копия этого письма, сделанная рукою С. Г. Волконского (Архив С. Г. и М. Н. Волконских, л. 134; см. воспроизведение на стр. 407).

[8] Письмо Пушкина к брату от 24 сентября 1820 г. (Пушкин, т. XIII, стр. 19).

[9] Там же.

[10] Письмо Н. Н. Раевского к сыну Николаю от 3 апреля 1829 г. из Милятина Калужской губ.: «Я возвращаюсь из Петерб<урга> <...> Пушкин хотел из Петербурга к тебе ехать, потом из Москвы, где нездоровье его еще раз удержало, я ожидаю его извещения, и письмо сие назначено к отправлению с ним» («Архив Раевских», т. I. СПб., 1908, стр. 441—442).

[11] Письмо Н. Н. Раевского к одной из дочерей, Е. Н. Орловой, от 20 марта 1827 г.— М. О. Гершензон. История молодой России. М.—Пг., 1923, стр. 70.

[12] См. последнее письмо от 17 декабря 1826 г. Н. Н. Раевского из Милятина к уезжающей в Сибирь Марии Николаевне.— «Звенья», III-IV, 1934, стр. 60.

[13] Время пребывания Раевского в Петербурге можно уточнить. Отъезд его из Москвы в Петербург, приезд в Петербург и отъезд из Петербурга в Москву в газетах не упомянуты, но сообщение о приезде на обратном пути в Москву имеется в «Московских ведомостях» от 23 марта 1829 г., № 24 (стр. 1164). В «Известиях о приехавших в сию столицу и выехавших из оной осьми классов особах» «с 18-го по 21-е марта» среди прибывших из Петербурга указан и «генерал от кавалерии Раевский», который «ост<ановился> в Мясницкой ч<асти>». Если Раевский прибыл в Москву между 18 и 21 марта, значит выехал он из Петербурга между 15 и 18 марта. В письме к сыну Николаю от 3 апреля 1829 г. он сообщал: «... прожив больным в Петербурге месяц, я представился и откланялся, и чрез два дня уехал» («Архив Раевских», т. I, стр. 442). Значит, на приеме у Николая I Раевский был между 12 и 15 марта, а приехал он в Петербург за месяц, то есть между 12 и 15 февраля.

[14] В «Петербургском некрополе» (1912—1913 гг.) могила не упомянута. Внук декабриста, С. М. Волконский, уже не мог ее отыскать («Архив декабриста С. Г. Волконского», стр. XXVIII; С. Волконский. О декабристах, стр. 39).

[15] Саркофаг находится поблизости от могил детей Н. Г. Репнина-Волконского — родного брата декабриста (см. «Архив Раевских», т. I, стр. 279).

[16] См. Пушкин, т. III, кн. 1, стр. 95; кн. 2, стр. 645, 1156.

[17] См., например: П. П. Свиньин. Достопамятности Петербурга и его окрестностей. СПб., 1818.—Кладбища и усыпальницы б. Александро-Невской лавры превращены советской властью в Музей-некрополь — один из отделов Ленинградского музея городской скульптуры.

МИЦКЕВИЧ НАКАНУНЕ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

МИЦКЕВИЧ В ОДЕССЕ

Статья С. Я. Борового

Мицкевич прожил в Одессе с февраля по ноябрь 1825 г., того самого года, когда «Россия впервые видела революционное движение против царизма»[1]. Эти девять месяцев были значительным этапом в творчестве великого польского поэта.

Прибыв в ссылку как бы на смену своему великому русскому собрату Пушкину (уехал из Одессы 31 июля 1824 г.), Мицкевич создал там немало замечательных произведений. Жизнь в Одессе дала поэту множество новых впечатлений, укрепила его разнообразные связи с представителями братских народов — русского и украинского.

Одесский период жизни Мицкевича рассматривался до сих пор преимущественно в плане изучения его личной биографии. Между тем этот период важен и с точки зрения общественно-политической деятельности поэта.

Материалы, хранящиеся в Одесском государственном областном архиве (в фонде Одесского лицея), до сих пор не опубликованные полностью, а также официальные документы, письма и мемуары, оставшиеся неисследованными, дают возможность воссоздать конкретно-историческую обстановку жизни Мицкевича в Одессе и выяснить его общественные связи.

Изучая жизнь Мицкевича в Одессе, мы, несмотря на неполноту сохранившегося материала, находим нити, которые тянутся к событиям и людям, так или иначе связанным с декабризмом.

Тема «Мицкевич в Одессе», рассматриваемая в общественно-политическом плане, неизбежно перерастает в тему «Мицкевич накануне восстания декабристов», и в этом ее особый научный интерес.

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Исследователи буржуазно-националистического толка, изучая биографию Мицкевича, уделяли немало внимания его жизни в Одессе (Влад. Мицкевич, Хмелевский, Калленбах, Ржонжевский, Шпотанский и др.)[2]. В этих работах собран большой фактический материал, который может служить комментарием к циклу лирических произведений, написанных Мицкевичем в Одессе. Но эти работы почти ничего не дают для идейно-политической биографии поэта: наоборот, на их основе возникает ложное и одностороннее представление о внутренней жизни поэта в одесский период, который биографы сводят к одним только любовным увлечениям. Связям Мицкевича с представителями передовой русской и польской общественности, а также характеристике общественно-политической жизни Одессы того времени в этих работах не уделено внимания.

В этом плане показательным примером служит труд Ю. Клейнера, который как бы подводит итоги буржуазного мицкевичеведения. В первом томе своей монографии Клейнер подробно анализирует лирические произведения Мицкевича, написанные в Одессе. На этих страницах рассыпано много ценных наблюдений. Жизнь же поэта в Одессе описана всего на четырех страницах, причем автор самой подробной из существующих биографий Мицкевича обходит *полным молчанием* вопрос об общественном окружении поэта в Одессе, о его связях с представителями польских и русских политических течений. Та же односторонность свойственна и этюду Ю. Третьяка, известного исследователя творчества Мицкевича, «Мицкевич в Одессе»[3].

В 1857 г. на страницах ноябрьской книжки журнала «Biblioteka Warszawska» появилась глава из воспоминаний Фр. Ковальского «Одесса. Ад. Мицкевич и Пушкин»[4]. В мемуарной литературе трудно найти другой образец столь грубого искажения фактов. Так, Ковальский рассказывает, будто в первый же день пребывания в Одессе он, ужиная с друзьями в ресторане гостиницы «Du Nord», предложил выпить за здоровье Мицкевича и Пушкина. Он пригласил присоединиться к тосту двух незнакомцев, сидевших за соседним столиком. Каково же было его удивление, — продолжает рассказывать Ковальский с невозмутимостью барона Мюнхгаузена, — когда на другой день он узнал, что тот, с кем он чокнулся за здоровье Пушкина, был Мицкевич, а тот, с кем чокнулся за здоровье Мицкевича, — Пушкин. Нужно ли напоминать, что Мицкевич приехал в Одессу через *семь месяцев* после отъезда Пушкина[5].

На хронологические несообразности, заключавшиеся в воспоминаниях Ковальского, указал тогда же профессор Одесского лицея К. П. Зеленецкий. Использовав материалы лицейского архива в специальной «Заметке о Пушкине и Мицкевиче», он привел точные даты пребывания Мицкевича в Одессе в доказательство того, что Мицкевич с Пушкиным встретиться там не мог[6].

Ковальский в письме в редакцию журнала вынужден был признать свою ошибку. Он оправдывался тем, что — по его словам — в Одессе в 1825 г. имена Пушкина и Мицкевича «назывались всегда рядом, так что невозможно было отделить одного от другого»[7].

К сожалению, не много материала дают и воспоминания друга Мицкевича — Кароля Качковского, участника восстания 1831 г., встречавшегося с поэтом в Одессе[8]. И в этих воспоминаниях, наряду с действительными фактами, повторяется легенда об одесских встречах Мицкевича с Пушкиным. В воспоминаниях содержатся и другие неточности. Так, например, Качковский утверждает, будто среди участников известного путешествия в Крым был и Малевский.

Отдельные факты, относящиеся ко времени пребывания Мицкевича в Одессе, можно извлечь из записок его дочери Марии, которая записала некоторые рассказы, слышанные ею из уст отца еще в детстве[9].

В 1884 г. в журнале «Ateneum» была опубликована работа А. Ржонжевского (под псевдонимом Аёr)[10]. Эта статья в кратком изложении И. Кучинского скоро сделалась известной русскому читателю[11]. Ржонжевский очень ограничил свою задачу: он совершенно не затронул политической биографии Мицкевича. Дав литературный анализ произведений, написанных в Одессе, Ржонжевский попытался раскрыть «секреты» интимной жизни поэта.

В основу своего труда Ржонжевский положил сведения, полученные им от Каролины Собаньской, с которой он встретился в Париже. Героиня одесского романа Мицкевича (а за год до этого, по многим данным, предмет увлечения Пушкина[12]), в момент встречи с Ржонжевским приближалась уже к концу девятого десятка, но сохраняла, по словам ее собесед-

АДАМ МИЦКЕВИЧ
Рисунок А. О. Орловского, 1828 г.
Русский музей, Ленинград

ника, «доброе здоровье и полную память»[13]. Впрочем, Собаньская в беседе с Владиславом Мицкевичем (сыном и биографом поэта) сама дезавуировала ценность того, что было ею рассказано Ржонжевскому. По ее словам, Ржонжевский пришел к ней с рекомендательным письмом князя Чарторыского и—поясняет она—«говорила я с ним только чтоб ничего не сказать» («mais avec lui je n'ai parlé que pour ne rien dire»)[14].

Довольно скудные сведения об одесском периоде жизни поэта можно найти в переписке Мицкевича, а также в письмах его друга Малевского[15].

Документальный материал, освещающий жизнь Мицкевича в Одессе, впервые был опубликован профессором Варшавского университета Ф. Вержбовским в 1898 г.[16] Вержбовский напечатал основные документы, касающиеся Мицкевича, из числа тех, что сохранились в архиве Одесского лицея. Каких-либо комментариев к напечатанным документам Ф.Вержбовский не дал. Как показали наши поиски в том же архиве, несколько важнейших документов остались, из цензурных соображений, вовсе неопубликованными или были опубликованы не полностью. Так, ненапечатанными оказались интересные документы, связанные с политической слежкой за Мицкевичем.

Более широкую задачу поставил перед собой А. А. Рябинин в статье «Адам Мицкевич в ссылке в Одессе в 1825 г.», помещенной в 1925 г. в «Былом»[17]. Положив в основу документы, хранящиеся в одесском архиве, но не исчерпав материалы архива до конца, автор попытался дать очерк жизни Мицкевича в Одессе. Однако литература вопроса осталась Рябинину совершенно неизвестной. Он даже не подозревал о существовании публикации Вержбовского. Незнакомство с биографическими материалами (даже с теми, которые приводятся в популярных жизнеописаниях поэта) не позволило исследователю правильно истолковать некоторые факты, впервые установленные им самим.

Других статей, специально посвященных пребыванию Мицкевича в Одессе, мы не знаем.

Следует отметить, что в новых работах советских исследователей (Д. Д. Благой, М. А. Цявловский, М. Ф. Рыльский, М. С. Живов, Г. Д. Вервес и др.) особенно большое внимание уделено выяснению вопроса о влиянии декабристов на формирование мировоззрения Мицкевича и правильно констатируется большое значение одесского периода в политической биографии великого польского поэта[18].

Литературоведы народной Польши, поставив перед собою задачу создания подлинно научной биографии Мицкевича, написанной с позиций марксизма-ленинизма, отдают себе отчет в том, что важнейшим условием успешного осуществления этой большой задачи является тщательнейшее и углубленное изучение годов пребывания Мицкевича в России и на Украине. Шляхетское и буржуазно-националистическое мицкевичеведение, создавая реакционную легенду о Мицкевиче, всячески искажая его подлинный общественно-политический облик, особенно много «потрудилось» над тем, чтобы создать ложное, находящееся в вопиющем противоречии с исторической правдой представление именно об этом важнейшем — в идеологическом и творческом плане — этапе жизни Мицкевича.

Как пишет в своем программном труде, намечающем основные задачи современного мицкевичеведения, Ст. Жулкевский, буржуазные историки создали совершенно ложный облик Мицкевича в годы его пребывания в России. Они изображали его «в виде внимательного ученика польских мистиков в Петербурге, завсегдатая дамских будуаров в Одессе, а потом одиноким в Москве». Жулкевский указывает, что буржуазные литературоведы нарочито обходили молчанием важнейшие моменты биографии Мицкевича, в частности вопрос о его связях с декабристами. Так, напри-

мер, — отмечает этот автор, — Ю. Клейнер в своей обширной биографии Мицкевича вопрос о связях Мицкевича с декабристами изложил на двух страницах, а «проблеме» личных взимоотношений поэта и К. Собаньской уделил значительно больше места. Действительно, знакомство с основной литературой о Мицкевиче подтверждает правильность утверждения Жулкевского, что «буржуазная историография не интересовалась биографией там, где это нужно было, а там, где это не нужно было, злоупотребляла биографическим методом» [19].

Необходимо подчеркнуть, что литературоведы народной Польши (М. Яструн, Л. Подгорский-Околув, С. Фишман, Л. Гомолицкий, Г. Шипер и другие) много сделали для преодоления ложных концепций буржуазно-националистической историографии. В частности, они провели большую работу по выявлению, популяризации и осмыслению скудных данных о пребывании Мицкевича в России и на Украине. В их работах справедливо подчеркивается исключительное значение для общественно-политического развития Мицкевича этого периода, его интенсивного приобщения к наиболее передовой идеологии своего времени, особой роли, которую сыграла связь с декабристами — этими лучшими сынами братского русского народа, —в духовном развитии поэта. Современное мицкевичеведение все более укрепляется в убеждении, что месяцы пребывания в Одессе были первым шагом на путях Мицкевича к реализму [20].

Однако в рамках этих работ советских и новых польских литературоведов одесский период мог рассматриваться только в общих чертах, без привлечения к исследованию значительного фактического материала.

Таким образом, приходится констатировать, что до сих пор в огромной литературе о Мицкевиче нет работ, в которых была бы дана достаточно полная сводка фактов, рисующих конкретно-историческую обстановку жизни Мицкевича в Одессе, и были бы прослежены его общественные связи.

В свете приведенной краткой историографической справки видно, что эта задача является одной из важнейших среди тех, которые поставлены сейчас перед биографами Мицкевича. В предлагаемом очерке сделана посильная попытка хотя бы частично выполнить эту задачу.

II. НАКАНУНЕ ССЫЛКИ В ОДЕССУ

В конце 1823 г. в Вильне царским правительством были раскрыты польские патриотические тайные организации филаретов и филоматов; 23 октября был арестован и Мицкевич, один из организаторов кружка филоматов.

В нашей работе останавливаться подробно на выяснении роли этих кружков в общественно-политической жизни Польши было бы неуместно, тем более что при современном состоянии изучения этого вопроса многое остается еще неясным. «Трудно со всей точностью определить революционную роль организации филоматов и филаретов», — пишет новейший биограф Мицкевича [21].

Тем не менее совершенно ясно, что общество филоматов (создано в 1817 г.) и общество филаретов (создано в 1820 г.) должны рассматриваться как важнейшие проявления нового подъема национально-освободительного движения в Польше. Общества объединили передовую молодежь, оппозиционно и даже революционно настроенную по отношению к царскому правительству и критически — по отношению к социально-политической действительности тогдашней Польши. Эта молодежь стремилась отстоять польскую национальную самобытность в борьбе с царской деспотической властью и антинациональными космополитическими тенденциями польского магнатства, склонного к сговору с царизмом; в царизме

магнаты видели лучшего защитника крепостнических порядков и своих классовых привилегий.

Однако преувеличивать роль филоматов и филаретов в развитии революционного движения и революционной мысли в Польше было бы ошибочно. Некоторым членам этих организаций действительно были присущи демократические тенденции и склонность к революционным решениям, но в мировоззрении большинства сохранялись сильнейшие элементы шляхетской классовой ограниченности, реакционные националистическо-романтические иллюзии. Многие из членов общества филоматов и филаретов стояли на весьма консервативных позициях в важнейших вопросах тогдашней польской действительности (в частности, в вопросе о взаимоотношениях с русским, украинским и белорусским народами и в крестьянском вопросе).

Мицкевич, которому в те годы было немногим более двадцати лет (он родился в 1798 г.), оказался на голову выше подавляющего большинства участников шляхетского национально-патриотического движения двадцатых годов. Ему в гораздо большей степени, чем им, удалось преодолеть шляхетскую ограниченность и выработать передовые взгляды на коренные социальные и национальные проблемы, поставленные перед Польшей ходом исторического развития. Поэтому следует говорить не столько о влиянии филоматов и филаретов на формирование мировоззрения Мицкевича, сколько об идейном влиянии Мицкевича на членов этих кружков, о той роли, какую он играл в развитии наиболее прогрессивных взглядов участников этих обществ[22]. Это ни в какой мере не умаляет, конечно, роли филоматского и филаретского обществ в биографии Мицкевича. Именно здесь Мицкевич впервые приобрел практическую закалку как общественный деятель и укрепился в сознании национально-политической и общественной значимости своего литературного пути.

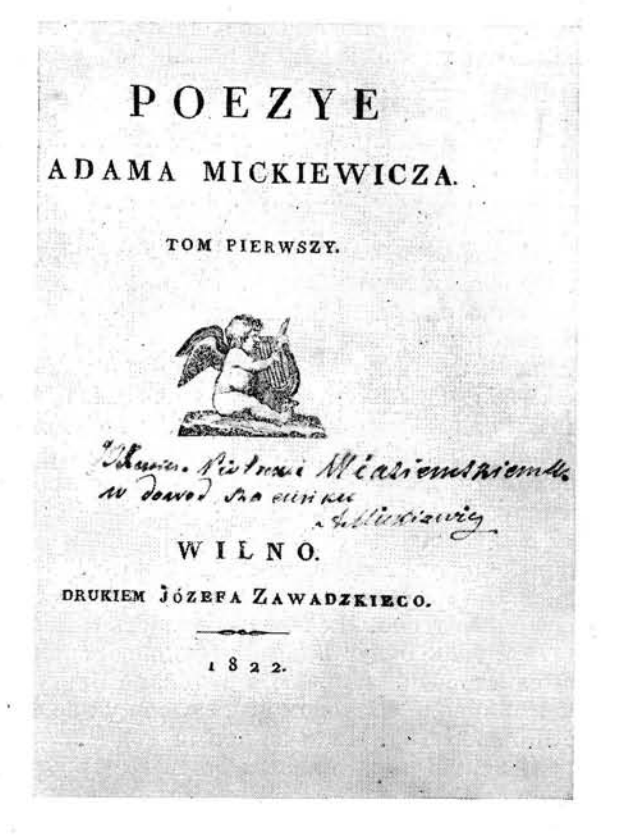
Мицкевич был не только одним из организаторов филоматского кружка. Его литературная деятельность, которая объективно знаменовала собой новый этап в идейной и общественной жизни Польши, началась за несколько лет до ареста. Поэзия Мицкевича самой своей сущностью отрицала окостенелые литературные каноны реакционных польских классицистов — их абстрактную рассудочность, их отрешенность от реальных противоречий жизни. Уже в первый, так называемый виленско-ковенский период в творчестве Мицкевича, несмотря на нечеткость его политических взглядов, громко звучат демократические и патриотические идеи. Во второй части «Дзядов» Мицкевич с глубоким негодованием заклеймил крепостное право, которое разъедало организм старой Польши и порождало непримиримую классовую рознь между польским панством и польским крестьянством[23].

Следующий этап творческой биографии Мицкевича — пора пребывания в России и на Украине (Петербург — Одесса — Москва — Петербург) — стал порою наибольшего приближения его общественно-политических взглядов к передовой идеологии эпохи. Это было, в первую очередь, результатом общения с лучшими представителями братского русского народа.

Напомним в самых общих чертах события, которые привели Мицкевича через Петербург в Одессу.

В виленской тюрьме Мицкевич находился до конца октября 1824 г.

В «Журнале Комитета, высочайше учрежденного для рассмотрения дел, относящихся до беспорядков, случившихся в Виленском университете», судьба Мицкевича и его ближайших товарищей была определена следующим образом: «Десять человек филоматского общества, кои посвятили себя учительскому званию, а также и тех из филаретов, кои оказались деятельнейшими по предосудительным видам сего общества, не ос-


POEZYE

ADAMA MICKIEWICZA.

TOM PIERWSZY.

WILNO.

DRUKIEM JÓZEFA ZAWADZKIEGO.

1822.

«СТИХОТВОРЕНИЯ» АДАМА МИЦКЕВИЧА, ИЗДАНИЕ 1822 г., ВИЛЬНО. ЭКЗЕМПЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Перевод: «Князю Петру Вяземскому в знак уважения. А. Мицкевич»

Титульный лист первого тома

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

тавляя в польских губерниях, где они думали распространить безрассудный польский национализм посредством обучения, предоставить министру народного просвещения употребить по части училищной в отдаленных от Польши губерниях, впредь до разрешения им возвратиться на свою родину»[24].

Освобожденный из виленской тюрьмы, Мицкевич, вместе с несколькими товарищами по университету и филоматскому обществу, был направлен в Петербург, в распоряжение министра народного просвещения.

Как известно, Мицкевич во время своего короткого пребывания в Петербурге (с ноября 1824 г. по январь 1825 г.) успел завязать дружеские связи с видными представителями передовой русской общественности и литературы, в том числе с декабристами Александром Бестужевым и Рылеевым.

Развитию дружеских отношений между Мицкевичем, Бестужевым и Рылеевым, возникших на основе близости их литературно-общественных и идейных интересов, особенно способствовало то обстоятельство, что Бестужев и Рылеев владели польским языком[25]. Рылеев хорошо знал польскую литературу, высоко ценил ее и перевел несколько произведений польских поэтов. С творчеством Мицкевича Рылеев познакомился в то время, когда Мицкевич только начал выступать на литературном поприще и еще до личной встречи с ним перевел его стихотворение «Лилии».

Недавно была высказана догадка, что указанное стихотворение Мицкевича Рылеев получил при посредничестве профессора русского языка и литературы Виленского университета Ивана Николаевича Лобойко (1786—1861). Бывший член «ученой республики» (Вольного общества любителей российской словесности), хороший знакомый Рылеева, Лобойко был также дружески связан с Мицкевичем и его сотоварищами по обществу

филаретов. Не лишено вообще основания предположение, что Лобойко мог сыграть известную роль как связующее звено между филаретами и декабристами[26].

Возможно, что во время первого своего пребывания в Петербурге Мицкевич познакомился и с Грибоедовым. М. В. Нечкина, говоря о письмах Рылеева и Бестужева к Туманскому, справедливо заключает: «... дата письма и дружеский круг, в котором оно возникло, дают все основания поставить вопрос о знакомстве Грибоедова с Мицкевичем»[27].

В новый дружеский круг Мицкевич вошел не один. С Бестужевым и Рылеевым сблизились тогда же Малевский и Ежовский.

Ежовский и Малевский были близкими друзьями Мицкевича и по Виленскому университету, и по филоматско-филаретскому делу. Они были среди тех четырех, которым он посвятил свою первую книжку «Поэзий» (1822 г.). В приговоре имена Мицкевича и Ежовского стояли почти рядом (номера 109 и 112), а их «вина» была сформулирована совершенно одинаково: «...он сознался, что находился членом в обществе филоматов, а, не будучи якобы членом филаретов, бывал иногда на заседаниях их»[28].

Быть может, это совпадение в показаниях свидетельствовало о предварительном сговоре между друзьями.

В Петербурге Мицкевич, Ежовский и Малевский сошлись, очевидно, еще более тесно. Их общая близость к Бестужеву, считавшему этих троих друзей (как будет показано дальше) своими единомышленниками, засвидетельствована записью в дневнике Бестужева. 31 декабря 1824 г. Бестужев записал: «Вечером до 11 часов у нас сидели Мицк⟨евич⟩, Еж⟨овский⟩ и Малев⟨ский⟩. Пили за новый год»[29].

В эти месяцы пребывания в Петербурге, в период интенсивного общения Мицкевича с деятелями русской культуры, в официальных канцеляриях решалась его ближайшая судьба.

Министр народного просвещения Шишков, выяснив, что присланные в его распоряжение лица в большинстве своем, «по несовершенному знанию русского языка, не могут преподавать наук на сем языке и, следственно, не могут принести большой пользы русским училищам», возбудил ходатайство о направлении их на учительские должности в польские губернии. Фактически это означало бы полную амнистию. Но ходатайство Шишкова было отклонено. Министр получил подтверждение прежней резолюции: «здесь в Петербурге никого не оставлять, а разместить по их желанию и способностям в другие, только не в Польше, города, сделав нужные для них пособия»[30].

В ответ на соответствующий запрос Мицкевич и Осип Ежовский ответили, что они желают «отправиться в Одессу или в Харьков и определиться на службу», которой соответствовали бы их способности. Через некоторое время Мицкевич более точно выразил свое желание, сделав на заявлении следующую приписку (на русском языке): «Нижеподписавшийся объявил желание служить при Ришельевском лицее. Адам Мицкевич»[31].

Биографами Мицкевича уже отмечалось, что Шишков обнаружил по отношению к поэту и его друзьям известную снисходительность. Некоторые в этой снисходительности увидели проявление славянофильских тенденций [32]; другие говорили о заступничестве жены министра, польки по происхождению[33]. Скорее всего в данном случае решающую роль сыграло влияние русских друзей Мицкевича из литературной среды. Николай Малиновский вспоминал: «...новые друзья поэта чрезвычайно ловкими, хоть и тайными, путями сумели придать делу такое направление»[34]. Цитируя эти слова мемуариста, Владислав Мицкевич указывает, что Малиновский ошибся, приписав Волконскому, Жуковскому и Вяземскому заслугу заступничества за поэта, так как Мицкевич сблизился

с ними уже после возвращения из Одессы. По словам сына писателя, остается неизвестным, кто был действительным ходатаем за Мицкевича[35].

Так или иначе, но Мицкевич, выбирая место жительства, получил возможность руководствоваться собственным желанием, в тех рамках, которые предоставлял ему приговор.

Можно считать установленным, что мысль об Одессе и Харькове, как о наилучших местах ссылки, пришла Мицкевичу и Ежовскому еще до их отъезда в Петербург. Сравнительно недавно был обнаружен черновик письма ректора Виленского университета Твардовского (от 24 сентября 1824 г.) Новосильцеву. Ректор писал, что Ежовский и Мицкевич, ссылаясь на состояние своего здоровья, требующего благоприятного климата, настойчиво просят предоставить им работу в Одесском лицее или Харьковском университете. Ректор обращал внимание Новосильцева на то, что Мицкевич является «даровитым польским писателем» («un bon ecrivain polonais»), а в Харьковском университете есть кафедра польской литературы, и Мицкевич был бы счастлив, если бы она была ему доверена. В случае отказа Мицкевич просил предоставить ему должность библиотекаря в Одессе, а если и в этом было бы отказано, — хотел заняться изучением восточных языков в Казанском университете[36].

Что же влекло Мицкевича в Харьков и в Одессу и почему он остановил окончательный выбор на Одессе?

Харьков и Одесса были единственными городами из расположенных поблизости от так называемых «бывших польских губерний», где находились высшие учебные заведения. Хотя в Одессе, в отличие от Харькова, не было тогда университета, а был только лицей, она должна была привлечь Мицкевича репутацией оживленного культурного города, одного из центров оппозиционных и революционных настроений.

Но, может быть, кроме этих основных соображений Мицкевич и Ежовский выбрали Одессу еще и по другой причине. Мицкевич не мог не узнать из разговоров с Шишковым, что Одесский лицей был в 1823 г. изъят из ведения попечителя Харьковского учебного округа и, в виде исключения из всех правил и прецедентов, передан в непосредственное управление начальнику военных поселений резервной кавалерии генерал-лейтенанту графу Витту. У нас нет данных, говорящих о том, что у Мицкевича или Ежовского были рекомендательные письма к Витту. Но можно предположить, что более опытные в житейских делах люди могли внушить им такую мысль: попечитель лицея, поляк по происхождению, окажет им доброжелательный прием и всяческое содействие[37].

Одним из спутников Мицкевича был, как указывалось выше, Осип Ежовский — молодой ученый-классик. В 1822 г. в Вильне им были напечатаны в качестве учебного пособия для изучающих латинский язык оды Горация с комментариями. Впоследствии он в течение некоторого времени преподавал в Московском университете греческий язык[38]. Вторым спутником Мицкевича был Франтишек Малевский (1800—1870), сын бывшего ректора Виленского университета, магистр права[39]. Малевский получил назначение в Одессу на службу в канцелярию новороссийского генерал-губернатора. Впоследствии он сделал крупную карьеру чиновника-юриста[40].

Мицкевичу и Ежовскому были выданы «прогонные деньги» и сверх того, по «бедному состоянию», 300 рублей каждому на путевые издержки[41].

Малевский, совершивший ранее поездку за границу, считался человеком опытным. Ему товарищи поручили хлопоты по организации путешествия. Он купил дорожный тарантас, лошадей же решено было брать на почтовых станциях. Из Петербурга отправились 7 или 8 января 1825 г. (ст. ст.). Предстояло долгое путешествие по плохой зимней дороге (до самого Витебска не было снега)[42]. По пути в Одессу товарищам

надлежало заехать в Елисаветград (ныне Кировоград). Там был расположен штаб южных военных поселений и там они должны были предстать перед генералом Виттом.

Биографы Мицкевича собрали все немногочисленные свидетельства о путешествии поэта в Одессу, и здесь нет нужды их повторять. Отмечу только, что по пути Мицкевич со своими спутниками останавливался в с. Стеблево у помещика Головинского, с которым и он и его друзья впоследствии поддерживали знакомство. В литературе высказывалось такое предположение: не для того ли Мицкевич и его друзья посетили Стеблево, чтобы встретиться там с соседями Головинского, братьями Проскурами, впоследствии арестованными по делу декабристов? Однако документальных данных для обоснования такого предположения нет. По пути в Одессу Мицкевич и его друзья заехали в Киев; прибыли они туда 5 февраля 1825 г. [43], то есть сейчас же после январской ярмарки. На «контракты» (так называлась ярмарка) 1825 г., как всегда, съехалось множество поляков-помещиков со всей Правобережной Украины; среди них были и участники тайных польских революционных организаций. Туда приехали, как известно, многие представители Южного общества. На этих «контрактах» состоялась вторая (и последняя) встреча представителей «южан» (Пестеля и Волконского) и представителей польского тайного общества (кн. Яблоновского и Гродецкого) [44]. Встретился ли тогда Мицкевич с кем-нибудь из декабристов или членов польского общества? Мы не располагаем никакими сколько-нибудь достоверными данными для ответа на этот вопрос, представляющий первостепенную важность при изучении связей Мицкевича с русскими и польскими революционными обществами [45].

Дорога до Елисаветграда отняла более месяца. О назначении Мицкевича и Ежовского на службу в Одесский лицей Витт был предупрежден заблаговременно. Еще 16 декабря 1824 г. министр народного просвещения сообщил ему об этом в пространном «отношении», где писал: «В доставленной от г. попечителя Виленского учебного округа отметке сказано против имени Ежовского, что он мог бы преподавать греческую и римскую словесность, а также педагогику и философию на латинском языке. Против имени Мицкевича, что он мог бы преподавать словесность древних языков и эстетику на немецком, французском, латинском и русском языках. Посему, приказав Ежовскому и Мицкевичу отправиться к Вашему сиятельству, покорнейше прошу Вас, милостивый государь мой, предписать начальству Ришельевского лицея принять их в сие учебное заведение для преподавания тех наук, коим они обучались в Виленском университете, и назначить им приличное жалованье. Буде же, по каким-либо причинам, не найдется удобности определить их в лицей, в таком случае покорнейше прошу предоставить им приискать для себя другие места, сообщив тогда начальствам, где они служить пожелают, памятуя состоявшееся о них высочайшее повеление об определении их в службу не в польских, но в отдаленных от Польши губерниях, с классами, ученым степеням их присвоенными. По получении на сие извещения Вашего, сделаю я распоряжения и о доставлении, куда следовать будет, из Виленского университета свидетельств на полученную ими степень кандидата» [46].

Хотя Витт должен был получить это сообщение, по крайней мере за месяц до приезда в Елисаветград Мицкевича и Ежовского, но ко дню их приезда он еще не выяснил, имеются ли вакансии в лицее. К лицею он, кстати сказать, вообще интерес не проявлял. Проводя очень много времени в Одессе, Витт в здании лицея побывал только один раз: в 1828 г., во время посещения лицея императрицей [47].

Итак, к середине февраля 1825 г. Мицкевич и Ежовский приехали в Елисаветград и впервые встретились с Виттом. О встречах Мицкевича

с Виттом будет рассказано подробнее дальше. Об общительности Витта свидетельствует Малевский, по службе с генералом не связанный, писавший позже из Одессы, что «генерал Витт меня принимает у себя»[48].

В одесской жизни Мицкевича Витт сыграл зловещую роль. Необходимо напомнить, что представлял собою тогдашний попечитель Одесского лицея, известный как один из шпионов, следивших за декабристами.

Витт был сыном польского генерала и красавицы-гречанки, в детстве выкупленной в Константинополе из рабства. Ян (в православии—Иван)

ВИД ОДЕССЫ. СПУСК В ПОРТ
Офорт Френцеля с рисунка П. Р. Фурмана, 1820—1830-е гг.
Музей западного и восточного искусства, Одесса

Витт с юных лет начал чрезвычайно успешно делать военно-придворную карьеру. Но опозорив себя двусмысленными, едва ли не предательскими действиями во время Аустерлицкого сражения, он вынужден был выйти в отставку. Вскоре он открыто изменил России, перешел на службу к Наполеону и участвовал в сражениях при Асперне и Ваграме. Прошло еще немного времени, и Витт (с 1811 г.) принял на себя в герцогстве Варшавском обязанности русского тайного агента, возможно, выполняющего поручения и французского правительства. В 1812 г. он снова возвратился на службу в русскую армию.

К 1825 г. служебная карьера Витта складывается самым блестящим образом. Один из основных деятелей по организации военных поселений, не оставлявший в то же время своей тайной специальности, он снискал особое расположение императора[49]. Витт продолжал поддерживать в провокаторски-шпионских целях дружеские связи с виднейшими представителями польской знати.

Конечно, всего этого Мицкевич не знал. Через много лет, в 1842 г., вспоминая Витта, Мицкевич говорил: «...сын польского генерала и гречанки — он был неизвестно какого племени и какой религии»[50].

Но это было сказано уже после того, как Мицкевич получил возможность в течение довольно продолжительного времени лично наблюдать этого предателя, после того, как Витт открыто выступил в роли одного из главных душителей польского восстания 1831 г.

По сохранившимся сведениям, Витт встретил Мицкевича и Ежовского в высшей степени любезно[51]. Они представляли для него интерес не только как будущие преподаватели во «вверенном» ему учебном заведении, но и как участники политического процесса филоматов. В 1826 г., в записке «О поручениях, в которых был употреблен императором Александром I», Витт писал: «того же 1819 г. 〈...〉 повелено мне было наблюдение за губерниями: Киевскою, Волынскою, Подольскою, Херсонскою, Екатеринославскою и Таврическою и в особенности за городами Киевом и Одессою»[52]. Понятно, что наблюдать за ссыльными польскими деятелями входило в его прямые обязанности.

Не выяснив положения дел в лицее, Витт 14 февраля 1825 г. отправил в правление бумагу, составленную в самом категорическом тоне: «Я предлагаю правлению сделать немедленно распоряжение о предоставлении им 〈Ежовскому и Мицкевичу〉 соответственно знаниям и способностям кафедр в лицее. Я полагаю, что Ежовский и Мицкевич с пользою могут преподавать уроки древних языков; впрочем, правление не оставит войти в соображение, какие предметы можно именно им предоставить, смотря по удобности. По назначении помянутым двум кандидатам занятий, производить им жалованье из остающихся сумм от кафедр, не замещенных преподавателями, или из определенных сумм на жалованье адъюнктам. На первый раз можно производить каждому из них годовые оклады от 600 до 750 руб.»[53].

Одновременно в письме к директору лицея Витт сообщал: «Кандидатам сим я приказал уже отправиться в Одессу и по прибытии туда явиться к Вашему высокоблагородию. Не оставьте сделать распоряжение, дабы с приездом Ежовского и Мицкевича в лицей была им отведена квартира в заведении и дабы они пользовались столом наравне с прочими преподавателями»[54].

Содержание, которое Витт предлагал выплачивать Мицкевичу и Ежовскому, было немногим меньше того, какое получали штатные адъюнкты лицея[55].

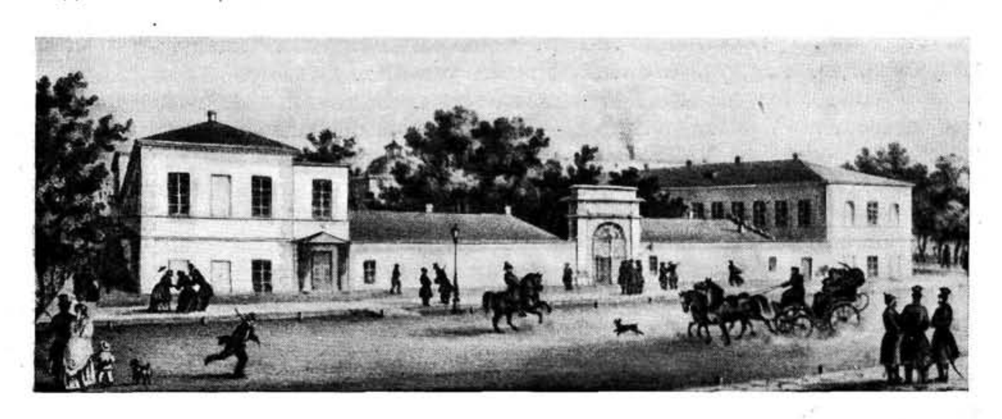
17 февраля 1825 г. Мицкевич и его спутник прибыли в Одессу[56].

Повидимому, Мицкевич и Ежовский прямо заехали в лицей, где рассчитывали получить работу, квартиру и стол.

Через день — 18 февраля — в канцелярии лицея было получено предписание Витта о назначении Мицкевича и Ежовского преподавателями лицея. Назавтра же (19 февраля) состоялось заседание правления лицея, на котором это предписание было рассмотрено. На заседании было выяснено, что «в лицее для помещения кандидатов Ежовского и Мицкевича никаких вакантных мест не имеется, на коих они могли бы быть определены»; указывалось, что кафедры греческой и латинской словесности и грамматики замещены преподавателями, которые «с успехом» и «с пользою» преподают. Поэтому правление лицея предполагало «предоставить упомянутым кандидатам Виленского университета отыскать для себя другие места и по приискании о них уведомить правление. Во уважение же недостаточного состояния их снабдить их квартирою и столом до приискания ими мест, о чем донести его сиятельству г. управляющему лицеем. Впрочем, предоставить на благоусмотрение его сиятельства, что если сии места не были заняты, то Ежовский мог бы заняться преподаванием риторики и словесности греческой, а Мицкевич — греческой и латинской грамматики»[57]. (Полностью это постановление печатается в приложении.)

Когда для Мицкевича стало ясным, что он не может рассчитывать на работу в лицее, у него зародилась мысль об отъезде в Тбилиси. Очевидно, этот план появился у него под влиянием Дашкевича, товарища по филоматскому делу, с которым он встретился в Одессе[58]. Однако, сколько можно судить, Мицкевич ничего не сделал для осуществления этого плана, от которого он вообще скоро отказался. И Мицкевич остался жить в Одессе в неопределенном положении кандидата на должность преподавателя лицея.

Но в тот момент ни преподаватели лицея, ни—что более удивительно—даже Витт не подозревали, что сам царь распорядился об отмене решения министра народного просвещения о назначении Мицкевича и Ежовского в Одесский лицей.



ОДЕССА. РИШЕЛЬЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ
Литография, 1840-е гг.
Научная библиотека им. А. М. Горького, Одесса

2 февраля 1825 г. начальник Главного штаба Дибич писал Шишкову: «Государь император, усмотрев из рапорта о проезжающих, что 26 минувшего генваря выехали отсюда в Елисаветград определенные в Ришельевский лицей кандидаты Виленского университета Ежовский и Мицкевич,— высочайше повелеть соизволил, чтобы кандидатов и профессоров Виленского университета, выписанных оттуда по последним происшествиям, не определять в Ришельевский лицей и вообще в южные провинции, но в самые внутренние, как-то: в Пермскую, Вятскую, Вологодскую и прочие»[59].

Этим предрешался вопрос о педагогической «карьере» Мицкевича в Одессе. И все же Мицкевич прожил в Одессе, в здании лицея, почти целый год.

Что же представлял собою тогда Одесский лицей, с которым Мицкевичу предстояло близко соприкоснуться?

III. ОДЕССКИЙ ЛИЦЕЙ, ЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ

Одесский (по официальному наименованию — Ришельевский) лицей был учебным заведением необычного типа. К моменту приезда Мицкевича он успел проделать своеобразную эволюцию.

Через десять лет после основания Одессы, в 1804 г., было решено открыть в этом молодом, но необычайно быстро растущем городе «коммерческую гимназию», которая должна была состоять из трех отделений:

приходского и уездного училищ и собственно гимназии. Эта гимназия была задумана, в соответствии с «правилами народного просвещения» 1804 г., как «всесословное» учебное заведение. Но тогдашний новороссийский генерал-губернатор герцог Ришелье, ярый легитимист и консерватор, использовал все свое влияние, чтобы воспрепятствовать учреждению «коммерческой гимназии». Открыли только приходское и уездное училища. В 1811 г. частный пансион и частный женский институт были преобразованы в правительственные «Благородные воспитательные институты», а в 1817 г. — мужской «благородный институт» в «Ришельевский лицей», учебное заведение сословного характера, куда, кроме дворян, принимали детей только богатейших «негоциантов», а также — в виде особого исключения — детей иммигрантов-греков. По своей структуре лицей представлял чрезвычайно сложное учебное заведение. Оно состояло из : а) собственно лицея, б) «начального по ланкастерской методе училища», в) двух дополнительных училищ, г) пансиона и д) педагогического института на 24 воспитанника. В начальном училище было три класса, в собственно лицее — пять классов. Кроме того, было дополнительное училище, состоявшее из двух параллельных классов: одного, в котором обучали «правоведению и политическим наукам», второго, где учили «коммерческим наукам». В лицее и в дополнительных училищах обучение в каждом классе продолжалось по два года. Вольноприходящие были строго отделены от пансионеров; они, по словам историка лицея, были «вне всякого сообщения с внутренними воспитанниками, даже сообщение между воспитанниками разных классов в то время строго воспрещалось». Таким образом, было как бы два параллельных лицея: «внутренний» и «внешний». Педагогический институт был только при «внутреннем».

В 1823 г. управление лицеем было реорганизовано. Он был изъят из ведения Харьковского учебного округа и поставлен, как уже было сказано, под непосредственное начальство генерал-лейтенанта Витта, который числился номинально и председателем правления лицея. Само же правление состояло из четырех членов, избиравшихся из среды родителей или опекунов учащихся. Директор лицея, а также два инспектора имели право только совещательного голоса. Правление (с 1821 г.) делилось на две части: учебную и хозяйственную, оно по представлению директора избирало профессоров, адъюнктов и надзирателей, утверждало счета, отчеты и т. д.[60]

В то время, когда Мицкевичу пришлось соприкоснуться с жизнью лицея, это учебное заведение переживало, быть может, самый тяжелый период своей истории. Н. Мурзакевич, в течение многих лет профессор и директор лицея, начавший служить в нем вскоре после отъезда Мицкевича, писал: «...первоначально прекрасно устроенное учебно-воспитательное заведение 〈...〉 снизошло до той степени, ниже которой уже не могло опуститься»[61].

За несколько дней до приезда Мицкевича директор лицея Гейнлет был уволен, и на место директора Витт назначил близкого ему человека — управляющего одесской таможней К. И. Дитрихса. Однако по приказу сената он вынужден был в конце июня уйти из лицея за «беспорядки по одесской таможне».

Наступила длительная полоса «безначалья», тянувшаяся до 1826 г., то есть в течение всего времени пребывания Мицкевича в лицее[62].

После устранения Дитрихса дела лицея вел в качестве временного директора профессор по кафедре философских наук и «непременный член правления по нравственно-учебной части» Иван Дудрович. О тяжелой обстановке в лицее свидетельствует сохранившееся в лицейском архиве заявление Дудровича. Отказываясь принять место директора, Дуд-

рович писал: «Взяв во внимание затруднительное в разных отношениях положение заведения, я нахожу, что никто из чиновников лицея, имеющий в виду благосостояние оного, а не частные свои выгоды, не должен, при нынешнем состоянии заведения, искать и принимать на себя звания директора» [63].

Следует сказать, что при просмотре дел лицея «эпохи Мицкевича» на каждом шагу наталкиваешься на документы, говорящие об интригах, склоках, злоупотреблениях, доносах; атмосфера в лицее была удушливая. Ревизии «экономической части» и делопроизводства лицея обнаруживали большие злоупотребления и запущенность дел.

Итак, 17 февраля 1825 г. Мицкевич и его спутники приехали в Одессу. Малевский, поступивший на службу в канцелярию генерал-губернатора, в письме к сестре жаловался, что в Одессе, где питание дешево, квартира, напротив, обходится чрезвычайно дорого: за комнату с передней он платил 25 рублей в месяц [64]. Мицкевичу и Ежовскому, как мы уже знаем, была предоставлена в здании лицея квартира со столом, что было для них серьезным материальным подспорьем.

В свое время для лицея собирались построить здание-дворец на берегу моря, и Монферан, строитель Исаакиевского собора в Петербурге, изготовил соответствующий проект, который был опубликован в 1817 г.[65] Этот проект, однако, остался неосуществленным, и лицей расположился в значительно более скромном, хотя и обширном здании, где раньше предполагалось поместить коммерческую гимназию. Перестройка производилась в 1819—1820 гг. [66] Как свидетельствуют официальные документы (публикуемые ниже), Мицкевич и Ежовский занимали «квартиру во внутренней части лицейского здания». К. П. Зеленецкий, окончивший лицей в 1833 г., вспоминал, что «между старейшими воспитанниками лицея некоторое время оставалась в памяти та комната, в которой жил Мицкевич» [67]. К сожалению, Зеленецкий не дал более точных указаний. Другие источники (в частности, воспоминания Ржонжевского) говорят, что он жил «на втором этаже, направо от лестницы» [68]. Ковальский рассказывает, что в соседней комнате поселился Ежовский [69]. Впрочем, Ковальский, о многочисленных неточностях мемуаров которого мы уже писали, поселил там же и Малевского, а между тем Малевский в лицее не жил, а снимал квартиру.

Здание, в котором тогда помещался лицей, существует и сейчас. Оно расположено в самом центре города и выходит на три оживленнейшие улицы: Дерибасовскую, К. Маркса (бывш. Екатерининскую) и Ласточкина (бывш. Ланжероновскую). Здание подвергалось значительным перестройкам и, хотя оно сохранило явственные черты архитектуры начала XIX в., сейчас, пожалуй, в нем нельзя точно указать то место, где жил Мицкевич.

Обнаруженная нами рукопись неизданных воспоминаний некоего Е. Клименко воспроизводит внешний облик лицея в 20—30-х годах XIX в.:

«Здание, которое занимал лицей, принадлежит в настоящее время Вагнеру. Это всем хорошо известный двухэтажный дом на Дерибасовской улице, такой же, каким он был во времена лицея. Таким он остался и на Ланжероновской улице. Во времена лицея на Екатерининской улице не было двухэтажного, как теперь, дома, а был каменный забор с воротами; по концам забора были двухэтажные боковые фасады домов, выходящих на Дерибасовскую и Ланжероновскую улицы. В этом здании помещался пансион учеников гимназии и студентов, а также все другие помещения как гимназии, так и лицея, как то: церковь, аудитории, классные комнаты и т. д. 〈...〉 Вошедший в главный вход с Екатерининской улицы будет иметь с левой руки столовую для пансионеров, с правой — соответствующие

службы. Далее идет так называемая колоннада — это длинный, широкий коридор, с окнами с обеих сторон, который вел в вестибюль. В последнем были направо и налево коридоры с аудиториями лицея, а прямо была лестница, которая вела на второй этаж, где была церковь и помещалась гимназия с пансионом. На этом втором этаже классные комнаты гимназии выходили окнами на Ланжероновскую улицу, а на Дерибасовскую выходили окна ученических спален. Столовая всех пансионеров была общая, при входе в лицей, как сказано выше. В нижних этажах домов помещались, кроме аудиторий, правление лицея и квартиры служащих 〈...〉 Таким Ришельевский лицей был, сколько мне известно, первые 20 лет, с 1817 г. по 1837 г.» [70].

Хотя ни Мицкевич, ни Ежовский не были привлечены к педагогической деятельности, все же, живя в лицее и пользуясь там столом, связанные различными деловыми переговорами с управлением лицея, они не могли не соприкасаться с его преподавательским составом.

В списке профессоров в 1825 г. значились: И. Дудрович (философские науки), Виард (физико-математические), магистр Гриневич (латинская словесность, русская и латинская риторика), Пиллер (итальянский язык и словесность), Петш (немецкий язык), Лоран (французская словесность), Симанович (коммерческие науки), Ковалевский (правоведение и политическая экономия), Лепка (французский язык), Аргиропуло (греческая грамматика). Адъюнктами состояли: Нодо, Бабичев, Пиципио. Кроме того, в лицее были учителя «приятных искусств»: Пахман (музыка), Рыбников и Белоусов (рисование), Буш (танцы), Пелетье (фехтование) и врач Карузо [71].

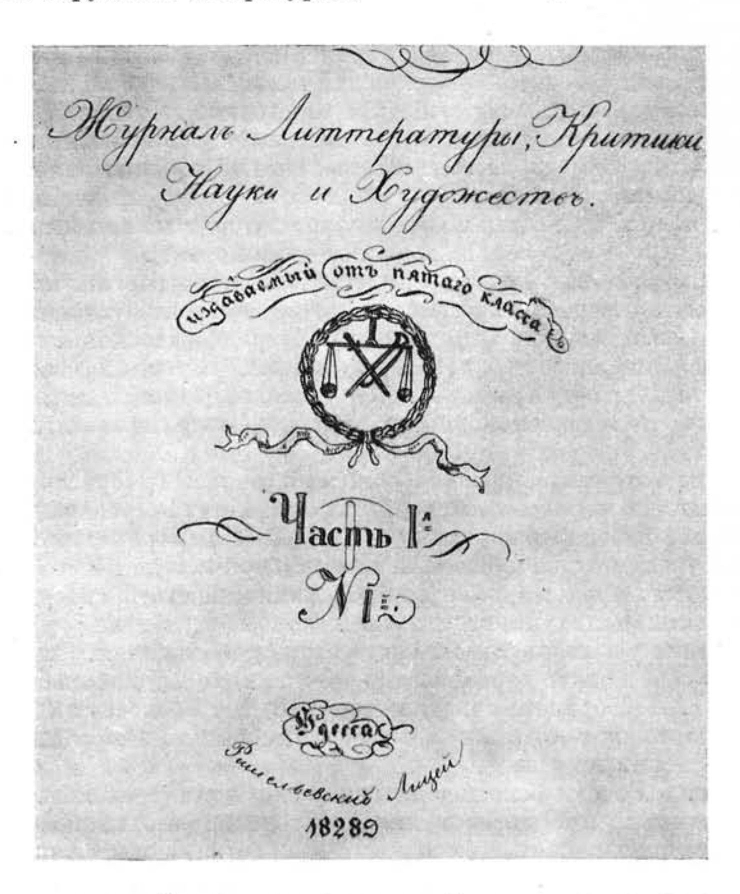
Иностранцы-педагоги, работавшие в России, в своем подавляющем большинстве не обладали специальными знаниями, общей культурой и чувством уважения к той стране, деятелями просвещения которой они стали волей случая. Таковы были по большей части и иностранцы-преподаватели Одесского лицея. То же можно сказать и об инспекторах лицея «молдаво-валахе» Калинеску и Кеппене и еще о многих педагогах [72]. Кеппен, по словам мемуариста, отличался «страстью к интригам» [73].

Биографы сообщают, что в Одессе Мицкевич овладел итальянским языком. Возникает вопрос, не пользовался ли Мицкевич помощью Пиллера, изучая итальянский язык и литературу? Пиллер был тоже «поэтом», однако стихи его, архаические по форме и реакционные по содержанию (занимался он главным образом славословием начальства), могли вызвать со стороны Мицкевича лишь ироническое и отрицательное отношение [74].

Пиллер был не единственным «поэтом» среди преподавателей лицея. Правовед профессор Ковалевский тоже подвизался на поэтическом поприще. Но его творчество также носило, сколько нам известно, официальный характер. Он писал кантаты, оды и тому подобные произведения. Так, на публичном акте лицея в 1824 г. он выступил с чтением своего «Гимна благодарности». В 1825 г., в день поминания Ришелье (это было незадолго до приезда Мицкевича), он выступил со стихотворением, в котором были такие строки, посвященные Одессе: «Ты, Одесса, юга слава,/ Берегов Евксинских честь,/ Горда, пышна, величава... /Ты слывешь Сидоном, Тиром/ И Афинами теперь...» [75].

Дурно было поставлено в Одесском лицее преподавание русской литературы. Профессор И. Ф. Гриневич, преподававший латинскую словесность и риторику, обучал, так сказать «по совместительству», и «русской риторике». Педагогические и научные интересы Гриневича лежали не в сфере русской литературы, а главным образом в сфере латинской словесности: его немногочисленные печатные труды (опубликован-

ные в Харькове между 1816 и 1819 гг.) представляли собою переводы из Горация [76]. 13 февраля 1824 г. он прочитал речь на латинском языке на торжественном акте в лицее [77]. Современники рисуют Гриневича в крайне непривлекательном виде: «пьяница, взяточник и тиран со своими крепостными слугами». Этот же мемуарист сообщает: Гриневич был «скорее невежественным, чем знающим» [78]. Таким образом, общение с Гриневичем не могло представить интереса для Мицкевича и расширить его знакомство с русской литературой.



РУКОПИСНЫЙ ЖУРНАЛ, ИЗДАВАВШИЙСЯ ВОСПИТАННИКАМИ РИШЕЛЬЕВСКОГО ЛИЦЕЯ

Титульный лист первого выпуска журнала за 1828 г.

Научная библиотека им. А. М. Горького, Одесса

Кстати отметим, что в начале 1824 г. пытался получить должность преподавателя в Одесском лицее В. К. Кюхельбекер. Он рассчитывал на содействие Грибоедова [79]. План этот, однако, остался неосуществленным.

Наряду с педагогами-иностранцами, в Одесском лицее служили и «харьковцы» (питомцы единственного тогда на Украине университета): Дудрович, Гриневич, Ковалевский и др. В последующие годы среди преподавателей Одесского лицея можно было найти немало видных для своего времени деятелей культуры (А. Зотов, К. Зеленецкий, Н. Мурзакевич, Ф. Брун, В. Григорьев и др.). Но, перечитывая список преподавателей лицея 1825 г., мы и среди «харьковцев» не можем, к сожалению,

назвать ни одного, кто сыграл бы хоть сколько-нибудь заметную роль в культурной жизни нашей родины. В лучшем случае это были знатоки своего предмета, способные передать некоторый запас знаний своим ученикам.

Сведения, которыми мы располагаем, не дают нам права считать кого-либо из преподавателей лицея тех лет представителями передовых кругов общества. В большинстве своем это были педагоги-чиновники, бесконечно далекие от Мицкевича по своим общественно-политическим взглядам. Следует, однако, предположить, что не все оказались глухи к общественному движению своего времени. Так, многие преподаватели лицея были членами одесской масонской ложи «Понт Эвксинский» (Пиллер, Калинеску, Ковалевский и некоторые другие). Эта ложа, основанная в 1817 г. (одновременно с лицеем), была самой многолюдной масонской ложей в России. Она входила в «Союз великой провинциальной ложи». По своему составу одесская ложа не носила чисто аристократического характера, членами ее были по преимуществу богатые негоцианты, врачи, преподаватели и — в небольшом числе — офицеры [80].

Конечно, эта ложа, подобно другим масонским организациям, была далека не только от революционности, но даже от какой-либо оппозиционности по отношению к правительству. Но среди одесских масонов были и люди явно «неблагонадежные». Во всяком случае в конце 1821 г. начальник штаба 2-й Армии П. Д. Киселев отмечал, что в одесской ложе ведутся политические дебаты, в которых принимают участие офицеры.

В ответ на это заявление новороссийский генерал-губернатор граф Ланжерон, сам член масонской ложи «Понт Эвксинский», утверждал: в одесской ложе нет ни одного из чинов 2-й Армии. Ланжерон объяснял далее, что, состоя членом этого Общества, присутствуя всегда на его собраниях, он может удостоверить: в ложе не происходит ничего предосудительного, о политических делах никогда и ни в каком случае не рассуждают [81]. Есть основания усомниться в точности этого утверждения. Отметим такой знаменательный факт: организатор Общества Соединенных Славян декабрист П. И. Борисов показал, что в 1818 г. в Одессе он был принят в масонскую ложу и «отстал от оной, когда вышло запрещение принадлежать масонским ложам» [82].

В 1822 г. в России был издан указ о закрытии всех масонских лож. Однако несколько профессоров лицея в течение многих лет оставались под сильным подозрением, как вероятные участники масонских кружков. В 1823, 1825 и 1826 гг. у некоторых преподавателей лицея, бывших масонов, власти брали повторную расписку в том, что они обязуются не входить ни в какую тайную масонскую ложу. Повидимому, Ежовский, начиная с 1821 г., состоял в масонских организациях [83]. Если это верно, можно предположить, что Ежовский, ближайший друг и сосед Мицкевича, был звеном, более тесно связывавшим поэта с некоторыми из преподавателей лицея.

Но как бы ни было, Мицкевич, который постоянно жил в помещении лицея, не мог не встречаться с преподавателями, а с некоторыми из них завязал, вероятно, и более близкое знакомство.

Лицей в ту пору хотя и переживал период упадка, но все же был крупнейшим культурным центром на юге страны. Коллектив лицейских преподавателей, в силу своих прямых профессиональных обязанностей, не мог оставаться совершенно чуждым научным и культурным интересам. Лицей, наконец, обладал библиотекой, единственным тогда местом в Одессе, где можно было найти книги по важнейшим разделам гуманитарных наук. Вероятно, Мицкевич не упустил возможности воспользоваться книжными богатствами лицея.

Но лицей — это не только чиновники и преподаватели. Лицей — это и учащаяся молодежь, студенты.

Что же представляли собой одесские лицеисты того времени? К сожалению, у нас очень немного данных, чтобы ответить на этот вопрос, до сих пор даже не поставленный в литературе. Однако отдельные факты, которыми мы располагаем, позволяют сказать с уверенностью, что хотя организаторы лицея педагоги-иезуиты (аббат Николь и др.) и сменившие их представители казенного реакционного «просвещения» сделали все возможное, чтобы превратить лицей в питомник послушных чиновников, до конца осуществить свое намерение им не удалось.

В лицей, как и в другие закрытые учебные заведения того времени, проникали голоса жизни. Разумеется, далеко не все лицеисты откликались на них. Одни рассматривали свое пребывание в этом учебном заведении только как досадный, но неизбежный этап на пути к карьере офицера или чиновника; другие с нетерпением ожидали окончания курса лицейских наук, чтобы вернуться в родовые поместья или в конторы своих родителей-«негоциантов». Но были в лицее и другие студенты: они с жадностью прислушивались к отголоскам общественно-политической борьбы, проникавшим сквозь стены лицея. Конечно, общественно-политическая борьба воспринималась воспитанниками раньше всего как столкновение литературных направлений.

Следует напомнить, что с первых же дней существования одесского «благородного пансиона» и лицея учащиеся этих заведений стали выпускать рукописные журналы («Песья муха», «Парнасский выходец», «Сорока» и др.). Эти журналы до нас не дошли, но, как мы узнаем из статьи, помещенной в сохранившемся номере рукописного лицейского журнала «Ареопаг» за 1830 г., в утраченных журналах можно было прочесть разбор стихотворений, печатавшихся на страницах тогдашних русских периодических изданий.

В 1819 г. лицеисты создали «Литературное общество», одним из деятельных членов которого был С. Д. Полторацкий, обучавшийся в лицее в 1817—1820 гг. Сейчас же по окончании лицея, в 1821 г., Полторацкий выступил пропагандистом Пушкина на страницах французского журнала (это было вообще первое упоминание о Пушкине в иностранной печати).

Из сохранившихся номеров «Ареопага» (см. воспроизведение заглавного листа первого номера на стр. 427) видно, что его редакторы и сотрудники занимали прогрессивную позицию в общественно-литературной борьбе тех лет. Хотя «Ареопаг» выходил на несколько лет позже того времени, когда в здании лицея жил Мицкевич, все же, как нам представляется, его страницы могут в некоторой мере служить материалом для характеристики передовой части лицейского студенчества и в интересующую нас пору.

В первом же номере журнала за 1828 г. была опубликована своеобразная декларация — изложение взглядов редакции в виде статьи «О классической и романтической поэзии». Редакция выступает здесь как страстный защитник полноценности и богатства русской литературы. «Вопреки многочисленным вестовщикам, которые беспрестанно кричат, что русская литература бедна, что она не имеет ничего собственного, оригинального, что наши поэты ничего сами не говорят, а подражают или французам или немцам, мы постараемся доказать несправедливость этих мнений».

В Одесском лицее, руководители которого так долго и так последовательно воспитывали антипатриотические и космополитические настроения, в лицее, где и в годы издания «Ареопага» большинство преподавателей были иностранцами, такая декларация имела особый смысл: она доказывает, что утверждение самобытности и полноценности русской

национальной культуры являлось важнейшей составной частью идеологии передовой молодежи того времени.

Сотрудники «Ареопага» внимательно следили за новинками русской литературы. Как правильно отмечает В. С. Алексеев-Попов, «они хорошо ориентировались в напряженной борьбе тогдашних литературных течений ⟨...⟩ Наряду с глубоким и пристальным вниманием издателей лицейского журнала к произведениям Пушкина, должно быть отмечено многократное цитирование на его страницах жгучих стихов „Горе от ума“, используемых лицеистами особенно часто для характеристики различных реакционных, отрицательных сторон и явлений тогдашней русской действительности». Конечно, имя Грибоедова и название его комедии не упоминались: «Горе от ума» было еще под цензурным запретом.

То, что редакция «Ареопага» занимала совершенно определенную позицию в литературной борьбе, видно из следующего факта. Редакция отказалась поместить критический разбор перевода на новогреческий язык «Марьиной рощи» В. Жуковского (этот перевод, выполненный студентом лицея Г. Попандопуло, был помещен в «Ареопаге») «по причине несправедливых суждений автора о романтической поэзии, о „Руслане и Людмиле“ Пушкина и еще кой о чем»[84].

Сильное увлечение русской литературой, понимание литературы как важнейшего фактора национальной идейно-политической жизни развивалось в явной борьбе передовой части студенчества с реакционными преподавателями лицея.

Лицеисты двадцатых годов не изучали современной русской литературы. Один из воспитанников лицея, А. Сумароков, вспоминал: из русской литературы, «кроме казенной хрестоматии, мы ничего не читали». Сумароков рассказывает: «В 1824 г., в июле месяце, числа не помню, во время каникул, я, воспользовавшись данной нам, оставшимся в заведении воспитанникам, свободой, отправился, после завтрака, в свой класс, чтобы *секретно* прочитать принесенную мне из города поэму Пушкина „Руслан и Людмила“, а из предосторожности взял речи Цицерона на случай внезапного посещения начальства...». В то время, как он читал «Руслана»,— рассказывает далее Сумароков,— в класс вошла «незнакомая особа», оказавшаяся Пушкиным. Между поэтом и лицеистом,— если верить мемуаристу,— произошел следующий диалог: «Как ваша фамилия?» — «Сумароков».— «Славная фамилия! Вы верно пишете стихи». — «Нет». —«Читали вы Пушкина?» — «Нам запрещено читать его сочинения»[85]. Независимо от того, достоверен ли самый рассказ,— одно в нем бесспорно: Пушкин, — как и вообще современная русская литература в лицее 1824—1825 гг.,— был в опале. И все же лицеисты увлекались передовой русской литературой и она формировала мировоззрение лучшей части студенчества. Важно отметить, что в лицее читались не только напечатанные и оказавшиеся по воле местного начальства запрещенными стихи Пушкина, но и его произведения, распространявшиеся в рукописном виде. Об этом вспоминает лицеист Н. Г. Тройницкий, один из редакторов «Ареопага». Произведения Пушкина, «перечитывали, переписывали, затверживали на память; некоторые из его ненапечатанных стихов ходили у нас по рукам, в рукописи, как запрещенные»[86]. В рукописном виде было знакомо лицеистам и «Горе от ума».

Трудно предположить, однако, что интересы лицеистов ограничивались только чисто литературной сферой, что студенты лицея не задумывались над коренными вопросами общественной жизни и не разделяли чувства враждебности к самодержавию и крепостничеству, которое объединяло передовых людей того времени.

Из среды питомцев одесского «благородного пансиона» и лицея вышли будущие декабристы (А. Поджио, А. Корнилович и др.); некоторые

Monsieur

Mr Chuard est venu me demander des renseignemens sur la législation qui régit les brevets d'inventions en Russie. Il vient d'inventer une machine qu'il croit être très utile pour l'exploitation des mines, et voudrait en introduire l'usage dans les pays du nord. Comme il s'agit ici d'une question scientifique et qui doit intéresser l'industrie de votre pays Monsieur, je prends la liberté de vous adresser Mr Chuard. Vous apprécierez l'invention et si elle vous paraît importante vous ne refuserez pas sans doute d'aider l'inventeur de vos conseils. Je dois ajouter que Mr Chuard m'est connu comme homme d'honneur et de probité, et que des savants professeurs du collège de France m'ont parlé de sa découverte avec éloge.

Veuillez bien Monsieur agréer l'assurance de mes sentimens les plus distingués

Adam Mickiewicz.

Paris ce 6. février 1842.
Rue d'Amsterdam I.

à Monsieur
Monsieur
Alexandre Tourgeneff.
Conseiller d'Etat de S. M. Russe
Paris. Rue neuve de Luxembourg.
Nr. 12.

АВТОГРАФ ПИСЬМА АДАМА МИЦКЕВИЧА К А. И. ТУРГЕНЕВУ ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 1842 г. И КОНВЕРТ ПИСЬМА

Написано по-французски. Мицкевич рекомендует Тургеневу изобретателя Шюара

Собрание К. В. Пигарева, Москва

студенты Одесского лицея были связаны с деятелями греческого национально-освободительного движения, а сыновья гетеристов — с русскими тайными обществами (например, двоюродные братья Булгари).

Обо всем этом нельзя забывать, говоря о студентах Одесского лицея, с которыми Мицкевич должен был в течение нескольких месяцев ежедневно встречаться в коридорах, на лестнице и во дворе. Кроме того, не следует упускать из вида, что по возрасту Мицкевич был ближе к студентам старших классов, чем к большинству преподавателей.

Увидел ли Мицкевич в одесских лицеистах отпрысков «молодой России», ту среду, из которой вышли и на поддержку которой могли рассчитывать лучшие сыны России — дворянские революционеры-декабристы? Этот вопрос мы должны, к сожалению, оставить пока без ответа.

Нашел ли Мицкевич в Одессе близких ему по устремлениям, по общественно-политическим взглядам людей за стенами лицейского здания? Этому вопросу посвящена следующая глава.

IV. ОБ ОДЕССКОМ ОКРУЖЕНИИ МИЦКЕВИЧА

Одесса, основанная в последние годы XVIII в. (1794), превратилась к концу первой четверти XIX в. в один из крупнейших экономических, административных и культурных центров страны.

Одесса росла необычайными для того времени темпами. Уже в 1817 г. в городе насчитывалось 32 тысячи населения, к концу двадцатых годов количество жителей превысило 50 тысяч, а к середине века Одесса заняла третье по населенности место среди городов империи.

Интенсивная и содержательная общественно-политическая жизнь молодого города объяснялась особенностями социально-экономического развития степной Украины, а не мнимым либерализмом одесских «градоправителей», на который любили ссылаться дворянские и буржуазные историки Одессы.

Говоря о культурно-политической жизни Одессы того времени — и это в равной мере относится к любому городу прошлого, — мы должны отличать официальную, реакционную Одессу, представленную чиновниками, помещиками, купцами-толстосумами, «негоциантами», ростовщиками и т. д., от Одессы прогрессивной, передовой и «вольнолюбивой».

Для царских властей не было секретом, что среди передовой части населения Одессы сильны антиправительственные и антикрепостнические настроения. Одесса рисовалась им «демократической республикой», «карбонарским городом». Александр I в специальном рескрипте на имя новороссийского генерал-губернатора Воронцова от 2 мая 1824 г. писал: «Я имею сведение, что в Одессу стекаются из разных мест и в особенности из польских губерний и даже из военнослужащих, без позволения своего начальства, многие такие лица, кои, с намерением или по своему легкомыслию, занимаются одними неосновательными и противными толками, могущими иметь на слабые умы вредное влияние»[87]. Настороженное отношение к Одессе перешло от Александра I к Николаю I. 12 декабря 1825 г., то есть за два дня до восстания и уже после того, как о наличии заговора стало известно, Николай I утверждал: «... по всему делу видно, что в Одессе должно быть гнездо заговорщиков»[88]. Такого же мнения придерживался и в. к. Константин Павлович; 31 декабря 1825 г. он писал, что в свое время обращал внимание Александра I «на Киев и Одессу как на очаг всех этих происков»[89].

В высших правительственных сферах были склонны даже преувеличивать роль Одессы в развитии революционного движения. Что же создавало Одессе репутацию одного из очагов восстания?

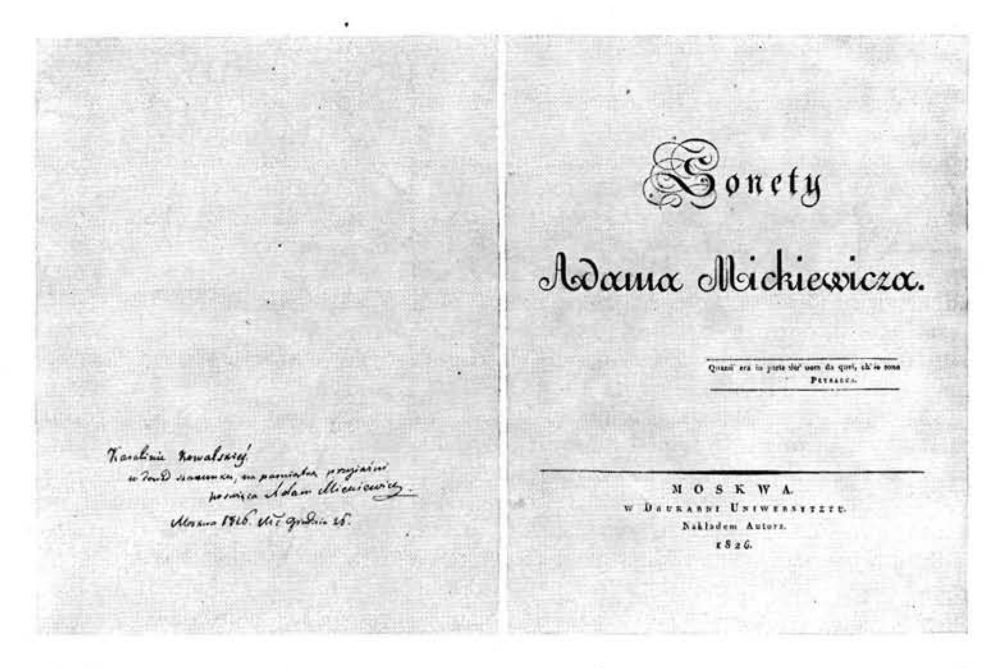
Тревогу внушал властям тот факт, что заметная часть одесского населения состояла из беглых крепостных. В 1819 г. одесский градоначальник писал министру полиции: «Три четверти мещан и многие русские купцы суть беглые господские крестьяне»; градоначальник утверждал, что большинство «не переменило ни прежнего образа жизни своей, ни чувствований». Отсюда он делал следующий вывод: «таковое соединение людей требует полиции деятельной и бдительной и большой строгости в градоначальнике ⟨...⟩ послабления, какие можно допускать в других городах и для других жителей, не могут иметь места в Одессе. Если бы позволено было описанным выше классам людей вмешаться в управление города, то бы скоро все пришло в беспорядок, и это было бы истинно скопище для возмущения народного спокойствия» [90]. Начальство относилось к бывшим крепостным, в особенности из числа беглых крестьян, с большой подозрительностью даже в тех случаях, когда им удавалось достигнуть более или менее заметного общественного положения. Приведем характерный пример. В 1819 г. на собрании одесских «первостатейных» купцов одним из директоров одесского отделения Коммерческого банка был выбран купец Крамаров. Однако его не утвердили, так как выяснилось, что Крамаров «из числа беглых князя Мещерского людей и хотя сделался теперь довольно богатым, но без всякого образования и весьма худую имеет репутацию» [91].

Свидетельством роста оппозиционных настроений в Одессе были «политические дебаты» в масонских ложах, о чем говорилось выше. Кроме того, в Одессе в начале двадцатых годов существовал тайный кружок «Общество независимых», в который входили и разночинцы. Организатором Общества был В. И. Сухачев, принадлежавший «к сословию бендерского малороссийского общества», служивший в одесской торговой фирме. Участниками были: Аристов, служивший у нотариуса, купеческий сын Спасский, мелкие чиновники Радулов и Леонтьев. Среди бумаг, принадлежавших членам Общества, нашли такие, например, записи: «Следовать природе. Монаршей власти не признавать, а быть всем равными, признавать натуру творцом всего». Во время обыска у Сухачева были найдены отрывки из произведений Радищева, нелегальные стихи Пушкина и т. п. Исследователи предполагают некоторую идеологическую близость «Общества независимых» к Обществу Соединенных Славян, тоже связанному (через своего организатора Борисова) с Одессой [92].

О том, что в Одессе в конце первой половины двадцатых годов происходили сборища «вольнолюбцев», в той или иной мере разделявших настроения и чаяния передовых людей «преддекабрьской» России, говорит факт, занесенный Шервудом на страницы его «Исповеди»: «Случилось мне быть в доме таможенного начальника в Одессе, Плахова, где обыкновенно всегда бывали вечера ⟨...⟩ на одном вечере случилось несколько офицеров из 2-й Армии ⟨...⟩ эти господа до такой степени вольно говорили о царе, о переменах, которые ожидает Россия, о каком-то будущем блаженстве, так что я уже почти никакого сомнения не имел, что что-нибудь да кроется...» [93]. Как ни осторожно нужно подходить к показаниям шпиона и провокатора, все же слова эти являются важным свидетельством об общественной жизни Одессы тех лет.

Следует напомнить, что в годы, предшествующие 14 декабря, в Одессе жили в течение более или менее продолжительного времени или бывали по служебным или иным делам многие видные участники декабристских организаций. Назовем некоторых из них, не преследуя цели перечислить всех.

Братья Поджио были сыновьями одесского подлекаря. А. О. Корнилович, как уже указывалось, был воспитанником Одесского лицея. Жителями Одессы были С. Н. и Н. Я. Булгари. П. П. Трубецкой, член Союза



«СОНЕТЫ АДАМА МИЦКЕВИЧА», ИЗДАНИЕ 1826 г. МОСКВА. ЭКЗЕМПЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА КАРОЛИНЕ КОВАЛЬСКОЙ

Перевод: «Каролине Ковальской в знак уважения, на память о дружбе, посвящает Адам Мицкевич. Москва. 1826 декабря 26»

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

Благоденствия, брат «диктатора», был в 1824 г. назначен начальником одесского таможенного округа. Посещали Одессу, оставаясь там иногда на продолжительный срок, Пестель, М. Ф. Орлов, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, М. С. Лунин, М. А. Фонвизин, И. Г. Бурцов, Н. В. Басаргин, А. П. Юшневский, С. Г. Волконский, И. И. Сухинов, П. А. Муханов, И. П. Липранди, П. С. Пущин и др. Побывал в Одессе и виднейший деятель Северного общества Никита Муравьев. В одном варианте своего проекта федеративного переустройства России он предназначал Одессе роль столицы «Черноморской державы».

Часто посещал Одессу в те годы А. А. Шишков. Писатель и друг Пушкина, Шишков был тесно связан с Южным обществом [94]. Шервуд, рассказывая о слежке за участниками тайных обществ, писал: «Я отправился в Одессу, где был у меня хороший знакомый, поэт, Александр Шишков, которого я сильно подозревал...»[95].

Нет сомнения, что участники тайных обществ оказывали идеологическое и политическое влияние на тех, с кем они общались в Одессе. Так, например, известно, что С. Г. Волконский во время своего пребывания в Одессе завербовал в Союз Благоденствия адъютанта военного губернатора Мейера и офицера корпуса путей сообщения Бухновского [96].

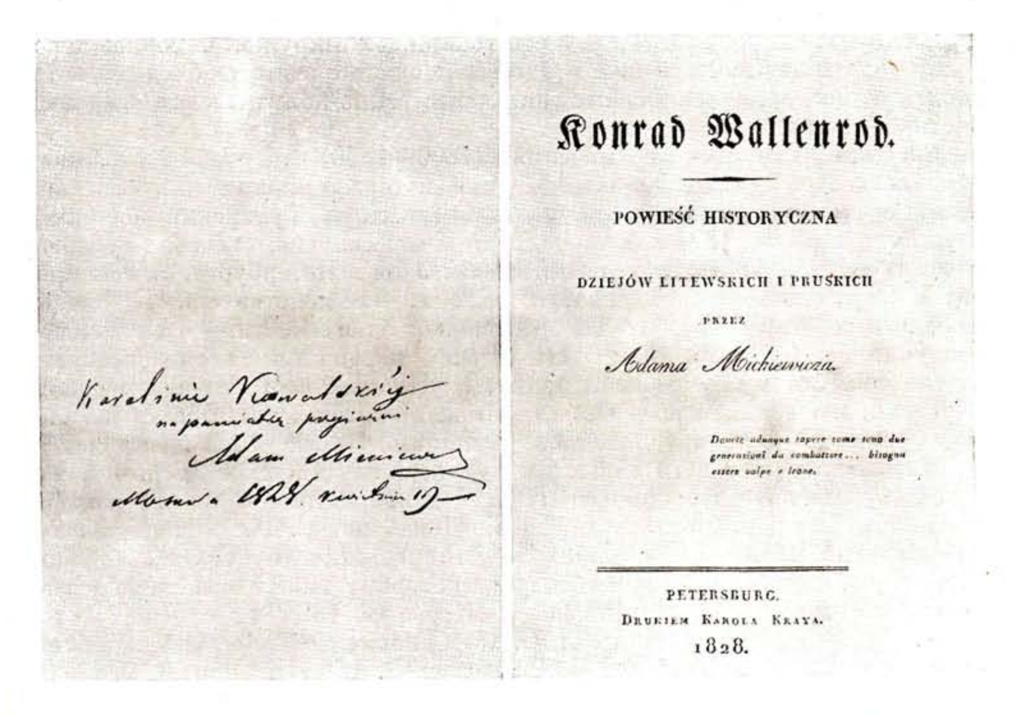
В распространении идей декабристов особенно заметную роль должны были играть в Одессе члены кишиневской управы, во главе которой стоял М. Ф. Орлов и с которой общался Пушкин. Кишинев в административном отношении был подчинен Одессе, как центру генерал-губернаторства, и члены кишиневской управы часто посещали Одессу по служебным и личным делам.

Несомненно, громадную роль в приобщении передовых людей Одессы к идеям декабристов играл Пушкин. Его вольнолюбивые произведения переписывались и ходили в городе по рукам еще до приезда поэта в Одессу[97].

Еще бо́льшую роль сыграл Пушкин в годы своей одесской ссылки (1823—1824). Бесспорно, что Воронцов, добиваясь высылки Пушкина из Одессы, желал избавиться от поэта в первую очередь как от виднейшего представителя антиправительственных, революционных настроений. В своем известном письме к Нессельроде (от 28 марта 1824 г.) Воронцов писал, что Пушкин в Одессе приобретает еще множество восторженных поклонников своей поэзии, которые, полагая, что «выражают ему дружбу лестью, служат ему этим злую службу». Воронцов просил выслать Пушкина из «Новороссийского края» куда-нибудь в другое место, где «он нашел бы для себя среду менее опасную и больше досуга для занятий». По лицемерному заявлению Воронцова, высылка Пушкина из Одессы должна была принести пользу и самому поэту, так как «это удалит его от того, что может ему сделать столько зла. Я говорю о лести и о столкновении с сумасбродными и опасными идеями» [98].

Декабристские настроения, очевидно, оказали влияние и на гетеристов, деятелей греческого национально-освободительного движения. В Одессе был их центр. Сын видного гетериста Булгари, а также и его племянник, были активными декабристами. Одесса являлась также центром деятельности тех болгарских патриотов, которые понимали, что Болгария сможет добиться освобождения только с помощью русского народа. Обо всем этом необходимо напомнить, переходя к изучению вопроса об общественных связях Мицкевича в Одессе.

Когда Мицкевич приехал в Одессу, у него не было там близких людей. «Никто не встречал меня на пороге», — вспоминал поэт в стихотворении «Размышления в день отъезда». Правда, он еще до приезда в Одессу указал друзьям адрес некоего аптекаря Цибульского [99], но об этом аптекаре мы ничего не знаем.



КОНРАД ВАЛЛЕНРОД» АДАМА МИЦКЕВИЧА, ИЗДАНИЕ 1828 г. ПЕТЕРБУРГ. ЭКЗЕМПЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА КАРОЛИНЕ КОВАЛЬСКОЙ

Перевод: «Каролине Ковальской в память дружбы. Адам Мицкевич. Москва. 1828, апреля 19»

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

Со временем у Мицкевича в Одессе образовался значительный и разнообразный круг знакомых. Прежних биографов Мицкевича мало занимал вопрос о его общественных связях в Одессе. Они перечисляли представительниц польского «высшего света», пытаясь найти среди них таинственную Д. Д., к которой обращено несколько лирических посланий поэта, написанных в Одессе; в лучшем случае, они давали характеристику одесских польских аристократических салонов.

В результате картина получалась искаженная. В угоду националистическим тенденциям фальсифицировался важнейший вопрос о связях Мицкевича с представителями братских народов — русского и украинского. Вместе с тем создавалось ложное представление о месте Мицкевича в польской идейно-политической жизни. В трактовке прежних биографов Мицкевич одесской поры оказывался оторванным от польского демократического и национально-освободительного движения.

Вопрос об одесском окружении Мицкевича необходимо внимательно изучить и пересмотреть. Однако ограниченность и некоторая односторонность материала не дает возможности осветить эту проблему во всей полноте.

Первый и самый важный вопрос, который возникает перед нами при изучении одесских связей Мицкевича, —это вопрос о том, встречался ли поэт в Одессе с представителями передовой русской общественности? Биографы об этом умалчивали. Но неопровержимым свидетельством соприкосновения Мицкевича с лучшими людьми русского общества в Одессе служит один знаменательный факт. Направляясь в Одессу, в город, где у него не было ни друзей, ни знакомых, Мицкевич заручился рекомендательным письмом: это был листок почтовой бумаги, на одной стороне которого 15 января 1825 г. написал несколько слов А. А. Бестужев, а на другой —К. Ф. Рылеев. Письмо было адресовано В. И. Туманскому [100].

Письмо вводило Мицкевича и его товарищей в кружок наиболее передовой русской интеллигенции в Одессе. В связи с этим необходимо остановиться несколько подробнее на общественно-политической характеристике Туманского.

Василий Иванович Туманский (1800—1860)[101], родом украинец, один из поэтов пушкинской плеяды, имя которого упомянуто в «Евгении Онегине» («Одессу звучными стихами наш друг Туманский описал»), служил с 1823 по 1828 г. в канцелярии новороссийского генерал-губернатора. В августе 1821 г., во время пребывания в Петербурге, он был принят в сотрудники (а с 18 декабря 1822 г. — в действительные члены) Вольного общества любителей российской словесности — этой «ученой республики», которая, как установлено новейшими исследованиями, «после событий в Семеновском полку, в условиях наступившей реакции и усиленного полицейского сыска», «была призвана использовать легальные условия для продолжения традиций Союза Благоденствия»[102]. Активный член Вольного общества Туманский установил тесные связи с некоторыми литераторами — будущими декабристами и до 14 декабря продолжал поддерживать эти связи. Декабрист С. Н. Кашкин назвал Туманского человеком «горячих чувств и пылкого ума»[103]. Туманский переписывался с Кюхельбекером, которому как-то в Париже оказал денежную помощь [104], встречался в Киеве в 1824 г. с декабристом П. А. Мухановым[105], дружил с А. О. Корниловичем[106]. Но особенно близко сошелся он с Бестужевым и Рылеевым [107]. Выступления Туманского как члена Вольного общества показывают, что на его взгляды имели большое влияние идеи декабристов [108]. Незадолго до переезда в Одессу Туманский с негодованием отозвался о А. Г. Родзянко, который написал и распространил эпиграмму, направленную против Пушкина. Туманский говорил: «...неприлично и неблагодарно нападать на людей,

находящихся уже в опале царской...»[109]. В Одессе, как известно, Туманский близко сошелся с Пушкиным. В качестве представителя «ученой республики» он вел с Пушкиным переговоры об его участии в «Полярной звезде» и в «Соревнователе»[110]. Впоследствии Туманский распространял копии предсмертных писем Пестеля и Рылеева[111] — это факт, очень существенный для его характеристики. Поэтическое творчество Туманского — это в основном чистая лирика, элегически окрашенная, лишенная каких-либо общественных мотивов. Написал он немало стишков и куплетов салонного характера. Но в Одессе Туманский создал несколько произведений, резко отличавшихся по тону и по идейной направленности от других его стихов. Это — стихи, посвященные борцам за национальное освобождение Греции: «Греческая ода» (1823), «Греция (Два сонета)» (1825). Общеизвестно, что лучшие люди России к борьбе Греции за освобождение от турецкой тирании относились с большим сочувствием. Следует также учесть, что Одесса была важнейшим центром организации восстания.

Некоторые строки в стихотворениях Туманского, относящиеся к 1823—1825 гг., например:

> Восстал, восстал великий дух свободы
>
> («Греция»)

или:

> И станут кровью наши воды,
> Доколь не выкупим свободы—
>
> («Греческая ода»)

должны были восприниматься в самодержавно-крепостнической России как призыв к борьбе.

Известный интерес представляет стихотворное обращение Туманского «Одесским друзьям. (Из деревни)», написанное в 1826 г. В нем содержатся некоторые элементы критической характеристики тогдашнего одесского «общества». Особое внимание в этом произведении привлекают следующие строки:

> Здесь тишины моей ничто не возмутит.
> Не завернет ко мне бродяга-езуит,
> Народа русского служитель чужеземный,
> Россию осквернять хвалой своей наемной.

Надо полагать, что этими строками Туманский метил прежде всего в тех иезуитов, которые в свое время свили гнездо в Одесском лицее. Но независимо от конкретного повода, вызвавшего эти строфы, ясно, что в них звучит общий для передовых людей тогдашней России мотив — борьба за самостоятельность и достоинство русской культуры.

Когда Мицкевич приехал в Одессу, Туманский состоял в оживленной переписке с Рылеевым и Бестужевым. Что переписка между ними была посвящена не только литературе, но и касалась самых острых политических вопросов, видно из слов, которыми начиналось письмо Бестужева, привезенное в Одессу Мицкевичем: «Пожалуйста, не сердись, любезный Туманский, что я не писал долго тебе. По почте невозможно и скучно, а другим путем не было случая. Да и ты сумасшедший: выдумал писать такие глупости, что у нас дыбом волосы встают. Где ты живешь, вспомни, в каком месте и веке! У нас что день, то вывозят с фельдъегерями кое-кого». Дальше Бестужев писал: «Рекомендую тебе Мицкевича, Малевского и Ежовского. Первого ты знаешь по имени, а я ручаюсь за его душу и талант. Друг его Малевский тоже прекрасный малый. Познакомь их и наставь, да приласкай их бедных».

Рылеев написал только несколько строк, но они имеют для нас первостепенное значение: «... полюби Мицкевича и друзей его, Малевского

и Ежовского: добрые и славные ребята. Впрочем, и писать лишнее — по чувствам и образу мыслей они уже друзья, а Мицкевич к тому же поэт — любимец нации своей»[112]. «По чувствам и образу мыслей они уже друзья» — значит, Рылеев, так же как и Бестужев, считал Мицкевича и его товарищей людьми, близкими ему в идейно-политическом отношении.

Несомненно, Мицкевич встречался в Одессе с Туманским: он передал ему рекомендательное письмо, которое и сохранилось в бумагах русского поэта. Туманский берег этот листок и в ту пору, когда всякое доказательство личной и общественной близости к «государственным преступникам» было чревато опасностями — одно это обстоятельство говорит о многом. Часто ли они встречались? Для ответа на этот вопрос у нас, к сожалению, нет материала. Но трудно представить, чтобы в Одессе, городе тогда сравнительно небольшом, где круг интеллигенции был невелик, Мицкевич и его друзья не встречались время от времени с Туманским, человеком чрезвычайно общительным. Следует отметить, что Малевский был сослуживцем Туманского по канцелярии генерал-губернатора. Трудно сомневаться и в том, что Мицкевич был знаком с ближайшими друзьями и товарищами Туманского — представителями того небольшого кружка чиновничьей интеллигенции, которая тогда группировалась вокруг канцелярии Воронцова. К этому кружку следует причислить Якова Ивановича Сабурова, находившегося в переписке с Пушкиным[113], Бларамберга, Брунова, Казначеева, Левшина, Лекса, Лонгинова и др.[114] Некоторые из них были причастны к литературной и научной деятельности (Бларамберг, Левшин и др.). Естественно предположить, что Туманский сблизил Мицкевича с этим кружком одесских русских интеллигентов, в среде которых еще живы были воспоминания о Пушкине, покинувшем Одессу только за полгода до приезда Мицкевича.

Пребывание в одесской ссылке должно было обострить интерес Мицкевича и его друзей к Пушкину, к его личности и литературно-политической деятельности[115], тем более что о Пушкине, отдавшем свой поэтический дар борьбе с самодержавием, знали в кружке Мицкевича задолго до высылки польского поэта в Россию. Еще в ноябре 1820 г. польский студент В. Пельчинский в письме из Петербурга, адресованном Ежовскому в Вильно, писал о появлении в России «не малого поэтического таланта» одного «девятнадцатилетнего юноши, несколько стихотворений и одна небольшая поэма которого счастливо удались и написаны сильно, но, так как муза его плохо знала законы, его выслали за то на границу Персии»[116]. В Одессе же в 1825 г. все помнили Пушкина. Сюда приходили его письма (Туманскому и другим), которые, несомненно, становились широко известными в кругах, причастных к литературе. Туманский в июле 1825 г. написал стихотворение «На кончину Ризнич», посвященное Пушкину, и хотя это стихотворение было напечатано только в 1827 г., оно стало, очевидно, тогда же известным в одесских литературных кругах. В том же 1825 г. на страницах «Дамского журнала» (№ 15) появилась поэма Кобозева «Одесса», в которой были строки, посвященные «любимейшему поэту» (издатели разъяснили, что речь идет о Пушкине). Напомним, что гр. Г. Олизар, с которым Мицкевич познакомился в 1825 г., незадолго до того написал на польском языке поэтическое послание «Пушкину»[117]; Олизар восторженно приветствовал «поэта могучего севера» и стремился возбудить в нем сочувствие к Польше.

Предположение, что Мицкевич и его друзья, общаясь с кружком Туманского, должны были познакомиться и с теми произведениями Пушкина, которые из-за цензуры не могли появиться в печати, не кажется нам слишком смелым. В Одессе ходили по рукам списки нелегальных произведений Пушкина. У Туманского был рукописный список

«Гавриилиады». В дневнике А. В. Никитенко рассказано, что А. С. Норов, за год-полтора до женитьбы Пушкина, посетил поэта и застал у него в гостях Туманского. Туманский сказал Пушкину: «Знаешь ли, Александр Сергеевич, кого ты обнимаешь? Ведь, это твой противник. В бытность свою в Одессе он при мне сжег твою рукописную поэму». «Дело в том,— пояснял Никитенко,— что Туманский дал Норову прочесть в рукописи известную непристойную поэму Пушкина. В комнате тогда топился камин и Норов, по прочтении пьесы, тут же бросил ее в огонь»[118].

И когда Мицкевич через шестнадцать лет в своих парижских лекциях о славянских литературах говорил, что «имя Пушкина становится лозунгом для всех недовольных элементов России. Его стихи переходили из

АДАМ МИЦКЕВИЧ
Миниатюра, 1840-е гг.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

рук в руки, о них говорили повсюду — от Петербурга до Одессы»[119],— он, повидимому, имел в виду Туманского и его друзей. В этой связи уместно вспомнить слова Ковальского, утверждавшего, что в Одессе «во всех домах имена Мицкевича и Пушкина произносились рядом, так что до сих пор мне представляется, что они как бы жили одновременно в Одессе»[120].

Как ни скуден изложенный нами материал, все же он дает право утверждать: Мицкевич в Одессе общался с представителями передовой русской интеллигенции. Это факт, на который до сих пор не обращали внимания исследователи жизни и творчества великого польского поэта.

Пытаясь с возможной полнотой определить, каково было одесское окружение Мицкевича, нельзя не вспомнить о гр. Авдотье Петровне Гурьевой[121]. Она была женой одесского градоначальника и вращалась среди представителей одесской русской знати и административной верхушки[122]. Гурьева — предмет одного из увлечений Мицкевича. Это делает вероятным предположение, что и в среде русской знати у Мицкевича должны были быть знакомства.

Известно, что сейчас же по приезде в Одессу Мицкевич подружился с Рыковым — генералом, выслужившимся из солдат (прототип генерала Рыкова в поэме «Пан Тадеуш»)[123].

К одесским знакомым Мицкевича предположительно может быть отнесен и гр. Олизар, второстепенный польский поэт, связанный с тайными польскими обществами. Он поддерживал знакомство с представителями русских общественных кругов и одесской колонии поляков. Знакомец Пушкина и Раевских, он был позднее привлечен к следствию по делу декабристов. В мемуарах Олизара содержится сообщение о встречах с Мицкевичем в Крыму[124], поэтому можно было считать, что в Крыму они встретились впервые. Однако в воспоминаниях д-ра Р. Ли, личного врача Воронцова, в списке лиц, отправившихся вместе с Воронцовым 11 августа 1825 г. из Одессы в Крым, значится и Олизар[125]. Если верно, что Олизар был в Одессе во время пребывания там Мицкевича, есть все основания предполагать, что они там встречались, так как их объединяли не только поэтические, но и общественные интересы. Сообщения Ли отличаются педантичной точностью (он пользовался при составлении мемуаров своими поденными записями), и потому трудно сомневаться, что Олизар действительно был в Одессе в одно время с Мицкевичем.

У Мицкевича, естественно, должны были установиться разнообразные связи и с представителями одесской польской колонии. Переходя к этому вопросу, мы должны подчеркнуть, что поляки — жители Одессы — не представляли собою, конечно, чего-то единого в социально-классовом и идейно-политическом отношении. При всей немногочисленности этой колонии мы увидим в ней, с одной стороны, носителей реакционной, польско-панской культуры, а с другой — носителей нарождающейся польской демократической и социалистической культуры, представленных участниками патриотических, национально-освободительных и революционных кружков разночинной молодежи.

Поляки составляли ничтожную часть населения Одессы; коренными ее жителями были украинцы и русские. Но в так называемом «высшем свете» Одессы поляки как раз в те годы занимали весьма видное место. Это объяснялось определенными социально-экономическими причинами. Через Одессу украинскому хлебу открывался выход на мировые рынки. Ф. Ф. Вигель, описывая Одессу тех лет, вспоминал польских помещиков, которые привозили в Одессу «свою пшеницу, родившуюся на русской земле, обработанной русскими руками, и поддерживали там хлебную торговлю»[126]. В Одессе обосновалось довольно много поляков-землевладельцев из Подолии, Волыни, Правобережной Украины. Польских крепостников, богатевших за счет эксплуатации украинских крестьян, влекли в Одессу не только коммерческие интересы. Они рвались из своих сельских захолустий в крупный город, где можно было шумно и весело пожить. По-шляхетски беспечные и расточительные, по-магнатски сумасбродные и неудержимые в прихотях, они своим мотовством задавали тон одесской аристократии. Миновало еще немного времени, и все это отошло в прошлое. Конъюнктура на хлебном рынке значительно ухудшилась, хлебная торговля оказалась захваченной более цепкими и более умелыми руками представителей торговой буржуазии; восстание 1831 г. подорвало позиции польского землевладения на Украине. Но в дни пребывания Мицкевича в Одессе все это еще было впереди. И ему суждено было близко познакомиться с бытом одесской польской знати, находившейся в апогее своего эфемерного блеска.

Биографы Мицкевича отмечают, что поэт, выросший в скромном кругу польско-литовской мелкой шляхты, в Одессе впервые оказался вовлеченным в светскую среду. Однако аристократические круги одесской польской колонии всегда оставались ему глубоко враждебными своим космополитизмом (в польских аристократических салонах, например, говорили почти исключительно по-французски), национальным ренегат-

ством, пустотой, лицемерием и легкомыслием. Что у Мицкевича одесской поры не было тесных связей с аристократической верхушкой одесского польского общества, в этом не может быть никаких сомнений. Достаточно вспомнить общественно-политические воззрения Мицкевича того времени. Мицкевич приехал в Одессу как автор «Дзядов»; в этом произведении он с такой революционной страстью заклеймил крепостничество, что даже через 30 лет после крестьянской реформы в России царский цензор, возражая против издания «Дзядов» в переводе на украинский язык, писал: «Пьеса эта, кроме пропагандирования коммунистических начал, очевидно, написана с тою целью, чтобы восстановлением в памяти простого народа печальных событий крепостничества возбудить в низшем сословии ненависть к высшему»[127]. Какая же идейная близость, какие дружеские связи могли существовать между автором «Дзядов» и магнатами-крепостниками? Мицкевич был сослан в Одессу как участник тайного национально-патриотического общества, а в аристократических салонах Одессы он встретил людей, ставших на путь отречения от своего народа, равнодушных к его национальным интересам. В Одессе Мицкевич написал «Привал в Упите. Истинное происшествие» — рассказ в стихах, в котором он заклеймил антигосударственную и антинациональную роль польского магнатства. В Одессе же на шумных пиршествах польских баричей Мицкевич на каждом шагу мог встретить духовных потомков пана Сицинского, заклейменного им в этом произведении. В Одессе Мицкевич задумал и частично написал «Конрада Валленрода», в котором была поставлена проблема патриотического подвига, самопожертвования во имя блага народа, а среди одесской польской знати он встречал панов, поступивших на службу к царизму, душителю национальной независимости Польши, крепостников, видевших в царизме лучшую гарантию сохранения своих классовых привилегий. Мицкевич приехал в Одессу, духовно обогащенный встречами с передовыми людьми России, в гостиных же польских помещиков он видел людей, которые в подавляющем большинстве были бесконечно далеки от передовых идей своего времени.

Общественный и моральный уровень своих аристократических знакомых Мицкевич оценивал весьма невысоко. Об этом свидетельствует такой факт: через много лет после отъезда из Одессы, в 1837 г., Мицкевич в Париже написал пьесу «Барские конфедераты» (на французском языке). По его собственным словам, прототипами выведенных в пьесе магнатов-предателей были посетители одесского салона Собаньской.

В аристократических салонах одесского польского общества у Мицкевича были знакомые. Здесь он приобрел многообразный и горький опыт личной жизни. Из кого же состояла аристократическая верхушка польского общества в Одессе?

В 1824 г. одесскую светскую жизнь наблюдал семнадцатилетний М. Д. Бутурлин. Он писал: «Было также и польское общество, собиравшееся часто у Каролины Собаньской. Из этого общества жили довольно открыто г. Залевский (или Залеский) с женою ⟨...⟩ Бывали мужские обеды у Александра Собаньского, брата Исидора ⟨...⟩ Этот Александр Собаньский записался тогда, не в пример другим польским помещикам юго-западного края, по 1-й гильдии, чтобы свободнее вести заграничную торговлю пшеницею, и участвовал позднее в польском восстании 1831 года. Из знакомых мне поляков (кроме гг. Залевского и Собаньского) были полковник Блондовский, граф Олизар, г⟨раф⟩ Грушецкий (или Грушевский); последний из них был не из крупного польского дворянства. Заслуженный полковник Блондовский ⟨...⟩ бросился опрометью в польское восстание»[128]. С некоторыми из перечисленных здесь лиц Мицкевич, несомненно, встречался; о встречах с другими можно говорить лишь предположительно.

Ржонжевский, со слов Собаньской, записал имена тех представителей польского «света», с которыми встречался Мицкевич в Одессе: Бонавентура Залеский, Иероним Собаньский, гр. Генрик Ржевуский (брат Каролины Собаньской), Новомейский, Подгораденский, Шемиоты, Загорские, Менчинские, Монюшко [129]. Упомянутый в этом списке Генрик Ржевуский (1791—1866) — известный польский писатель. Летом 1825 г. в Киеве находился Грибоедов, который специально собирался в Бердичев на ярмарку, чтобы познакомиться с Ржевуским. Мы вряд ли будем далеки от истины, предположив, что свидание это вызвано было стремлением декабристских кругов установить связи с участниками польских национально-патриотических организаций [130].

К числу знакомых Мицкевича из одесского польского аристократического круга принадлежал и гр. Кароль Спибор-Мархоцкий. О дружбе его с Мицкевичем интересные, хотя и требующие проверки данные сообщает М. Дубецкий, автор статьи «Об одесских впечатлениях». Дубецкий записал, между прочим, свои беседы с людьми, встречавшимися с Мицкевичем в Одессе. Среди них был Шемиот, ребенком видавший Мицкевича в доме своей матери [131]. По словам Дубецкого, Мицкевич поехал вместе с Мархоцким в поместье Любомля, принадлежавшее графу. Поместье было расположено в устье Днестра, напротив Аккермана. Они побывали и в самом Аккермане (ныне Белгород-Днестровский). В Аккермане Мицкевич встретился со своим знакомым «казенным лекарем» С. Гациским, окончившим Виленский университет. В литературе высказывалось предположение, что Гациский был связан с филоматскими кружками. Если это так, то поездку Мицкевича в Аккерман [132] можно рассматривать как одну из попыток восстановить и расширить связи с польскими революционными кружками. В результате этой поездки и появился бессмертный сонет «Аккерманские степи», открывающий книгу «Крымских сонетов» [133].

Можно также высказать предположение, что Мицкевич встречался в Одессе с гр. Петром Мошинским и кн. Антонием Яблоновским, деятелями польского тайного общества, которые вели переговоры с декабристами [134]. Мошинский по должности волынского губернского маршала (предводителя дворянства) должен был посещать Одессу, куда на зимний сезон, как отмечалось выше, съезжалась почти вся польская знать с Волыни. Имя князя Яблоновского встречается в одесской светской хронике тех лет (однако неизвестно, идет ли речь именно об Антонии).

Бывал в Одессе преддекабрьского периода и другой член тайного польского общества — Дембовский. С ним в Одессе встречался С. Г. Волконский [135]. Знал ли Дембовского Мицкевич? Об этом у нас, к сожалению, нет сведений.

В польско-помещичий круг Мицкевича ввел Бонавентура Залеский, богатый помещик [136]. В его гостеприимном доме, где всегда было людно, Мицкевич проводил много времени. Жена Залеского, относившаяся к Мицкевичу с большим участием, сурово упрекала его в легкомыслии и предостерегала от опасных увлечений [137]. У Мицкевича с супругами Залескими установилась тесная связь; это видно хотя бы из того, что он посвятил им своего «Конрада Валленрода», начатого в Одессе.

До сих пор, когда заходила речь об одесских друзьях Мицкевича, на первом месте называлось имя Каролины Собаньской, причем до недавнего времени большинство исследователей считало стихи, посвященные Д. Д., обращенными к ней [138]. Однако сейчас, когда стала известна истинная роль Собаньской,— тайного осведомителя,— уместнее будет остановиться на ней в главе, посвященной политическому надзору за Мицкевичем.

Польской знатью далеко не исчерпывались связи Мицкевича с одесской польской колонией. Нет сомнения, что Мицкевич гораздо теснее был связан с разночинно-шляхетской средой.

ОДЕССА. ТЕАТР
Литография К. Бассоли, 1830-е гг
Всесоюзный музей А. С. Пушкина, Ленинград

К этой разночинно-шляхетской среде Мицкевич, конечно, был ближе по своему социальному происхождению, воспитанию, привычкам, по своим национальным, политическим и культурным интересам. Это была именно та общественная среда, из которой вышла основная масса повстанцев 1831 г. Здесь же надо искать и тех, кто оказался в той или иной степени связанным с организациями декабристов или кружками, находившимися под их идейным влиянием.

К сожалению, мы очень мало знаем об одесском шляхетско-разночинном окружении Мицкевича. Беглое и поверхностное представление об этой среде дают упомянутые нами выше воспоминания Ковальского. К этому кругу принадлежал сам Ковальский, бывший воспитанник Кременецкого лицея, товарищ Мицкевича по Виленскому университету, врач Кароль Качковский, мемуарист и автор описания путешествия в Крым, совершенного Мицкевичем в том же 1825 г., Малиновский и др.[139]

К одесским знакомым Мицкевича из шляхетско-разночинного круга принадлежал также Маврикий Гославский[140]. Выходец из мелкой подольской шляхты, Гославский (1802—1834) окончил Кременецкий лицей, потом в течение некоторого времени был учителем в богатом польском доме и вместе со своими учениками переехал в Одессу[141]. Впоследствии он оказался одним из самых мужественных участников восстания 1831 г. Он принадлежал к самому радикальному, левому крылу повстанцев. Гославский весьма деятельно занимался литературой. За свою недолгую жизнь, трагически оборвавшуюся в австрийской тюрьме, он написал много поэтических произведений (собрание его стихов занимает том в 310 страниц убористой печати). В 1826 г., живя еще в Одессе, он написал стихотворение «На смерть Пестеля, Муравьева и других мучеников русской свободы»[142]. Этот факт ярко характеризует его общественно-политические настроения и может, как нам кажется, служить еще одним свидетельством той идейной близости, которая связывала одесские разночинные польские кружки с русскими дворянскими революционерами.

К кругу одесской разночинно-шляхетской интеллигенции следует отнести Дашкевича, сотоварища Мицкевича по филоматскому делу. Дашкевич, очевидно, совсем недолго пробыл в Одессе. Его план отъезда на Кавказ, в Тбилиси (как мы отмечали выше, в какой-то момент Мицкевич собирался присоединиться к нему), не осуществился, и он уехал раньше своих товарищей, получив назначение на службу в банк[143].

Сейчас мы не в состоянии привести весь список знакомых и друзей Мицкевича из разночинной среды. Многие имена утрачены. Качковский в своих воспоминаниях говорит о «домах общих знакомых», в которых он встречался с Мицкевичем[144], но мы не располагаем материалом, который дал бы нам возможность расшифровать указание мемуариста.

Отдельных представителей этой среды Мицкевич мог встречать и в самом лицее. Так, в его время среди служителей лицея числился «шляхтич Войцех Феликсович Комаровский»[145]; в лицее служили также («по счетной части») шляхтичи Матвей Каношевский и Франц Яворский[146]. Поляком, выходцем из безземельной шляхты Каневского повета, был и эконом лицея Богданович, на квартире которого Мицкевич и Ежовский иногда обедали и ужинали. Жена Богдановича была в родстве с польским поэтом Богданом Залеским (1802—1886), виднейшим представителем так называемой польско-украинской школы романтиков[147]. Возможно, что общение с Богдановичем было для Мицкевича не лишено интереса, так как от него Мицкевич мог получать некоторые сведения о деятельности Залеского. Ведь с Залеским Мицкевич поддерживал литературные связи (впоследствии, в 1841 г., он даже обратился к нему со стихотворным посланием). Следует, однако, напомнить, что Богдан Залеский

представлял правое крыло польско-украинской школы. Между тем Мицкевич (так же как Словацкий), высоко ценя творчество Северина Гошинского, руководителя левого крыла школы, резко критиковал правых, реакционных польско-украинских романтиков[148].

Мицкевич часто встречался со своими друзьями шляхтичами-разночинцами. В их беседах, несомненно, затрагивались острые политические вопросы. Качковский рассказывал, что при встречах с Мицкевичем и его друзьями-филаретами следовало соблюдать осторожность, «чтобы им и себе не натворить хлопот». Поэтому им приходилось встречаться тайно. Первая встреча Качковского с Мицкевичем и Малиновским произошла при очень характерных обстоятельствах. Качковский, приехав в Одессу, неожиданно увидел в опере Мицкевича, сидевшего в партере рядом с Малиновским. Качковский и Малиновский вышли из театра вместе, а Мицкевич, который, по словам Качковского, находился под бдительным надзором полиции, поджидал в театральном подъезде. «Я не мог пойти к ним,—продолжает Качковский,— а они ко мне, поэтому они отправились на берег моря и там долго беседовали». Заканчивая свой рассказ о встречах с Мицкевичем в Одессе, Качковский свидетельствует: «Мы встречались еще несколько раз, по преимуществу тайно, боясь взаимно друг другу причинить беду»[149].

Можно думать, что именно с шляхетско-разночинным кругом друзей Мицкевич делился теми мыслями, идеями и настроениями, которые были навеяны ему общением с Рылеевым и Бестужевым. Мицкевич мог быть звеном, соединявшим передовых людей России с небольшим кружком польской интеллигенции, группировавшейся в Одессе.

V. МИЦКЕВИЧ ПОД ПОЛИТИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ

Не успел Мицкевич обосноваться в лицее, как было получено отношение Министерства народного просвещения (от 6 марта 1825 г.), в котором говорилось, что «Комитет, высочайше учрежденный для рассмотрения дел, относящихся до беспорядков, случившихся в Виленском университете ⟨...⟩, признал нужным усугубить надзор за привозимыми в пределы России книгами на польском и других иностранных языках, дабы в числе их не могли распространяться сочинения вредные и запрещенные»[150]. Письмо это, разосланное в циркулярном порядке во все учебные заведения страны, в Одесском лицее должно было быть воспринято с особым вниманием, так как лицей приютил в своих стенах двух из виновников «беспорядков, случившихся в Виленском университете». Совершенно понятно, что к Мицкевичу и Ежовскому начальство лицея начало относиться с известной настороженностью.

Вскоре дирекция лицея получила от графа Витта письмо, датированное 19 марта 1825 г., со следующим распоряжением: «Государь император высочайше повелеть соизволил вызванных в С.-Петербург по последним происшествиям студентов Виленского университета, не оставляя на службе в Ришельевском лицее и вообще в южных губерниях, переместить в другие российские губернии, по собственному их избранию, и в такой род службы, какой они пожелают сами; также, по недостаточному их состоянию, сделать им нужное по сему случаю пособие. Вследствие сего, предлагаю вам, милостивый государь, от кандидатов Виленского университета Ежовского и Мицкевича, отправленных в Ришельевский лицей, отобрать сведение: в которую из российских губерний, исключая южных, и в какой род службы поступить они желают? Требуемого мною сведения я буду ожидать от вас непременно с первою почтою, со дня получения вами сего моего предложения»[151]. Начиная с 1824 г. правительство было

обеспокоено политическими настроениями в южной части страны — в районах деятельности Южного общества, Общества Соединенных Славян и польских организаций. Ранним симптомом этого беспокойства был цитированный выше рескрипт Александра I на имя Воронцова от 2 мая 1824 г.

О запрещении оставаться в Одессе и вообще на юге Мицкевич, так же как его товарищи по ссылке, был немедленно извещен. Все трое, не желая расставаться, попросили разрешения переселиться в Москву: Ежовский — в качестве преподавателя в университете, Малевский — в качестве чиновника канцелярии генерал-губернатора. Мицкевич же подал 25 марта такое заявление: «Вследствие объявленного мне предписания его сиятельства г. попечителя Ришельевского лицея, я имею честь изъявить желание определиться в Московский архив коллегии иностранных дел. При этом я осмеливаюсь просить о снабжении меня дарованным высочайшею милостью пособием»[152].

Как видно из сохранившейся на подлинном документе отметки, предписание, касающееся Мицкевича и его товарищей, было получено в лицее 25 марта, а уже 26 марта Мицкевич объявил о своем решении [153]. Если предположить, что Мицкевичу это предписание было представлено в тот самый момент, когда оно было получено, все же ему оставалось не более суток для размышлений и советов с друзьями. Представляется поэтому особенно знаменательным тот выбор, который он сделал.

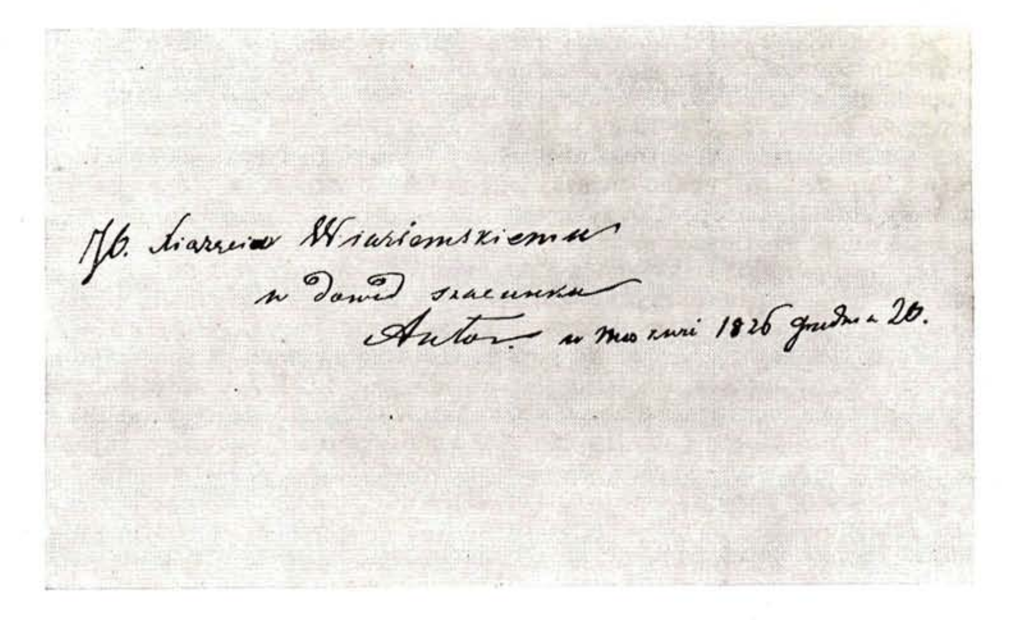
Московский архив коллегии иностранных дел был не только средоточием ценнейших исторических памятников, которые могли служить источником для разнообразнейших научных исследований. Архив в то время был одним из центров научной жизни страны. Именно в те годы вокруг него группировался знаменитый в истории русской культуры кружок историков и археографов (Малиновский, Калайдович, Строев, Востоков и др.), известный под именем «румянцевского кружка»[154]. Служба в этом архиве была даже чем-то вроде моды среди лучших, склонных к литературным и научным занятиям представителей аристократической молодежи («архивные юноши»). Следует напомнить, что среди «архивных юношей» тех лет (1824—1825) мы встречаем замечательного поэта Д. В. Веневитинова, а также известных в истории русской литературы И. В. Киреевского, С. П. Шевырева и некоторых других участников Общества любомудрия. Известно, что со многими членами этого кружка был связан в то время Кюхельбекер, редактировавший вместе с В. Ф. Одоевским «Мнемозину». То обстоятельство, что Мицкевич сразу же решил ходатайствовать о зачислении на службу в этот архив, свидетельствует не только об его определенных писательских и научных планах, но и о том, что он хорошо ориентировался в культурной жизни России.

Но Мицкевич не стал «архивным юношей». Началась неторопливая ведомственная переписка. О просьбе Мицкевича директор лицея известил Витта, Витт «отнесся» к министру народного просвещения, тот написал управляющему коллегией Дивову. 28 апреля Дивов ответил, что «по великому числу людей, состоящих в ведомстве сего архива, я не нахожу удобности поместить при оном кандидата Мицкевича. При том же Московский архив не имеет нисколько свободной суммы, из которой можно бы было назначить Мицкевичу даже и самое малое жалованье, отчего многие, с давнего уже времени служащие при архиве чиновники и поныне оного не получают»[155]. Этот ответ, пройдя в обратном порядке через все бюрократические каналы, дошел до Одессы только 13 июня 1825 г. 9 июня, излагая содержание письма Дивова, Витт писал директору лицея: «...посему предписываю вам объявить о сем Мицкевичу и, истребовав от него сведение, куда он определен быть желает, донести мне беззамедлительно для представления г. министру народного просвещения»[156].

На этот раз Мицкевич с ответом не торопился. Только через две недели — 28 июня 1825 г.— он представил дирекции лицея следующую бумагу: «Вследствие объявленного мне нового предписания относительно выбора службы, я имею честь изъявить желание служить в канцелярии г. Московского военного генерал-губернатора. Притом я осмеливаюсь просить о снабжении меня дарованным высочайшей милостью пособием и о истребовании из Виленского университета аттестатов о прежней моей службе»[157].

И опять пошли письма и «отношения»[158].

Между тем в начале августа уехал Ежовский, вскоре за ним и Малевский. Не дождавшись решения своей судьбы, Мицкевич принял



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ АДАМА МИЦКЕВИЧА П. А. ВЯЗЕМСКОМУ НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ «СОНЕТОВ», ИЗДАНИЕ 1826 г. МОСКВА

Перевод: «Князю Вяземскому в знак уважения. Автор. В Москве. 1826, декабря 20»

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

участие в путешествии Собаньской с ее друзьями в Крым (с 17 августа по 16 октября). Под влиянием этого путешествия были написаны «Крымские сонеты».

Пока шла официальная «явная» переписка о Мицкевиче и место его дальнейшего пребывания и службы обсуждалось в соответствующих инстанциях, о нем шла не менее интенсивная тайная переписка, в известной мере отразившая результаты непрерывной слежки за ссыльным поэтом. Нет сомнения, что до сих пор обнаружены не все документы, зафиксировавшие результаты наблюдений над Мицкевичем, но и дошедшие до нас представляют большой интерес.

Наряду со слежкой за Мицкевичем и Ежовским, которую организовал Витт с первого же дня их пребывания в Одессе, за ссыльными поляками велось наблюдение и по указаниям других органов власти. Поводом для этого явился один случай. Мицкевич перевел в Одессе стихотворение «Хор стрельцов» (из либретто оперы Вебера «Фрейшютц», которую он слышал в одесском оперном театре). Поэт подарил перевод Малевскому, а тот переслал его своей сестре Софье с просьбой переписать музыку. Софья Малевская исполнила просьбу брата и послала в Одессу каллиграфически переписанный ею текст хора с нотами. По случаю

ее именин Ежовский послал ей поздравление, выполненное в виде шутливой грамоты на владение «Черноморским королевством», украшенной соответствующими эмблемами и картой Черного моря. Мицкевич, со своей стороны, поблагодарил Малевскую письмом, в котором в шутку обращался к ней как к «монархине» «королевства Черноморского»[159]. Это невиннейшее послание было перехвачено, и власти обнаружили в нем «тайный смысл». Сам Новосильцев, фактический глава русской администрации в Польше, бывший, к слову сказать, инициатором репрессий против филаретов, счел нужным сообщить о подозрительном документе наместнику Царства Польского, в. к. Константину Павловичу.

30 мая 1825 г. Новосильцев писал, что «учрежден в Вильне секретным образом надзор за перепиской высланных по высочайшему повелению из польских губерний главнейших и деятельнейших членов филаретского общества 〈...〉 ныне получил я из Вильны присланное бывшим филаретом Ежовским, жительствующим в Одессе, к дочери бывш〈его〉 ректора Виленского университета девице Софье Малевской, поздравление к ее именинам, которое, будучи адресовано к ней без письма и содержа разные чисто графические знаки, возбудило внимание рассматривающего в Вильне помянутую переписку почтового чиновника 〈...〉 При первом взгляде на поздравительный листочек, у сего представляемый, кажется он быть только небольшой худо нарисованной картой Черного моря, на берегах которого Ежовский живет. Но если принять в уважение нынешний образ мыслей Ежовского 〈...〉, то рисунок Ежовского является в ином виде и заставляет думать, что под малозначущим начертанием скрывается тайный смысл 〈...〉 По предложениям суетных умов простирается польская держава — страна отечественной славы и неотъемлемое достояние польского народа — от берегов Балтики до берегов Черного моря. Сии последние изображены на карточке Ежовского. Она окружена эмблемами: сверху графская корона, отличительный знак древних воевод польских, два скипетра, цветами и лавровыми листами обвитые, по сторонам якори, эмблемы надежды, а внизу корабли, плывущие с попутным ветром, означающие успех»[160].

Константин Павлович тоже отнесся к этому документу с полной серьезностью. Он немедленно переслал его в Одессу к Воронцову с просьбой организовать секретный надзор над одесскими филоматами: «Долгом поставляю просить Ваше с〈иятельст〉во не оставить приказать иметь за поведением Ежовского ближайшее наблюдение с тем, чтобы по примеру принимаемых обыкновенно мер в отношении к людям подобного образа мыслей, учрежден был секретный надзор за перепиской его с жителями присоединенных от Польши губерний, и если сим способом открыто будет что-либо непозволительное или заключающее в себе тайный иносказательный смысл, то сообразно важности сего открытия, принимая такие к отвращению могущего возникнуть зла средства, какие признаны будут необходимыми, доставлять ко мне о всем том надлежащие сведения. Ожидая о последующем по сему вашего уведомления, имею честь присовокупить, что о содержании настоящего моего отношения сделано мною его имп. в〈еличест〉ву донесение»[161].

Воронцов переадресовал предписание великого князя одесскому градоначальнику. Правящий должность градоначальника Могилевский попытался наладить слежку двумя путями: он потребовал, чтобы полицмейстер доставлял ему копии всех писем, отправляемых и получаемых Ежовским, и одновременно предложил дирекции лицея «учредить за поведением Ежовского самый бдительный надзор».

Любопытно отметить, что попытка организовать перлюстрацию писем ссыльных поляков оказалась неосуществленной. Пока не было

создано III Отделение, перлюстрация писем не практиковалась в широких размерах. Одесский почтмейстер Македонский в своем отношении от 14 июля отказался выполнить предписание полицмейстера, поскольку «на исполнение такового требования не имеется предписания от высшего начальства». Воронцов не настаивал, но об ответе почтмейстера сообщил Константину Павловичу, а также главноуправляющему почтовым департаментом Голицыну. Голицын вполне одобрил действия одесского почтмейстера. 9 июля 1825 г. он писал Воронцову: «Одесский почтмейстер, по своей должности, не имеет никакого права распечатывать ни получаемых во вверенной ему почтовой конторе, ни посылаемых через оную писем; а потому и невозможно сделать ему такового препоручения, как вы изволили предполагать относительно писем Осипа Ежовского»[162].

Несколько бо́льшие результаты, однако с полицейской точки зрения совершенно бесполезные, дал надзор, осуществлявшийся директором лицея. 3 июля «правящий должность» директора Ришельевского лицея получил от «правящего должность» одесского градоначальника следующее «отношение» (публикуется впервые):

Секретно

Господину правящему должность директора
Одесского Ришельевского лицея

Его императорское высочество государь-цесаревич, уведомляя г. новороссийского генерал-губернатора и полномочного наместника Бессарабии, что по высочайшему повелению высланы из польских губерний главнейшие и деятельнейшие члены открытого в оных тайного общества, под именем филаретов, имевшего возмутительную цель, и что из числа их Осип Ежовский, жительствующий ныне в Одессе, как обнаружено с пособием принятых секретных мер, продолжает с некоторыми из жителей тех губерний переписку, скрывающую в себе ту же цель, требует приказать иметь за поведением Ежовского ближайшее наблюдение.

Его сиятельство граф Михаил Семенович Воронцов дал мне знать о таковых требованиях государя-цесаревича, предписывает с моей стороны немедленно учредить за поведением Осипа Ежовского секретный и самый бдительный надзор так, чтобы каждый его шаг известен был начальству, но чтобы он о сем нисколько сведущ не был, о наблюдениях же по сему предмету уведомить его сколько можно чаще.

По нахождению помянутого г. Ежовского при Ришельевском лицее я покорнейше прошу вас, милостивый государь, согласно изъясненному предписанию г. генерал-губернатора как о поведении г. Ежовского, так и о связях его, меня теперь же уведомить и впредь уведомлениями Вашими не оставлять по меньшей мере один раз в неделю для донесения его сиятельству.

Правящий должность градоначальника
статский советник С. Могилевский[163].

Надо, однако, отдать справедливость дирекции лицея: она не обнаружила ни вкуса, ни особой охоты к сыскной деятельности и не сделала попыток выйти за рамки чисто внешних наблюдений, которые не могли скомпрометировать поднадзорных. Дошедшие до нас два донесения директора лицея Дудровича, в которых неоднократно упоминается Мицкевич, несмотря на обстоятельность и мнимую конкретность, представляли всего лишь формальную отписку. Сыску они не давали ничего, в плане же чисто биографическом они имеют большой интерес, так как сообщают некоторые бытовые подробности жизни Мицкевича.

Ниже мы помещаем эти два документа, которые до сих пор появлялись в печати в неполном виде:

Секретно

Г⟨осподину⟩ правящему должность одесского градоначальника статскому советнику и кавалеру Ст. И. Могилевскому

На отношение вашего высокородия от 3 июля № 4500 долгом себе поставляю теперь же ответствовать.

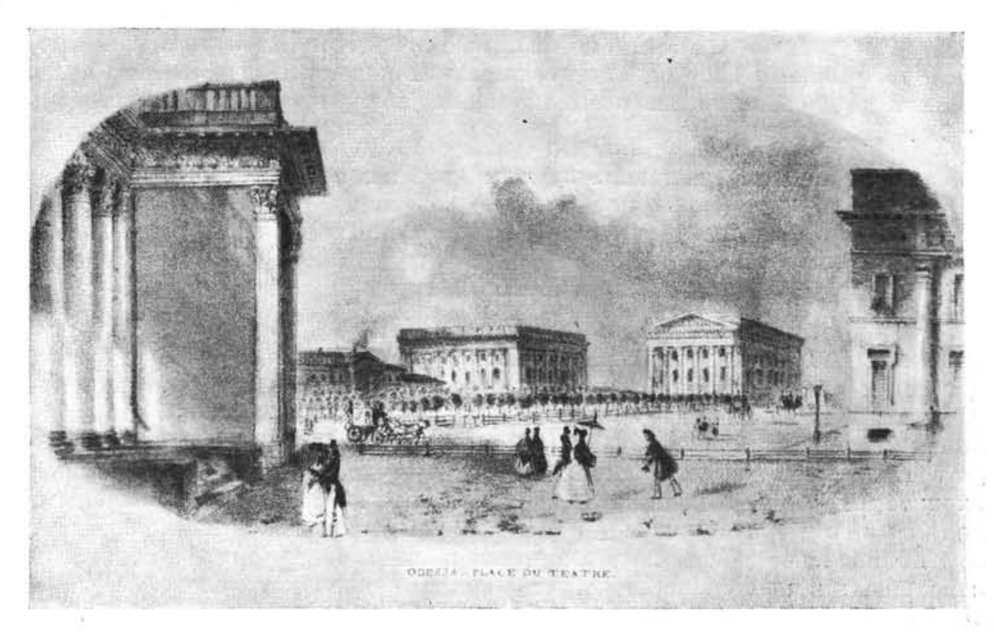
Согласно с высочайше конфирмованным в день 14 августа 1824 г. журналом комитета высочайше учрежденного для рассмотрения дел, относящихся до беспорядков, случившихся в Виленском университете, кандидат сего университета Осип Ежовский прислан был министром народного просвещения на службу в Ришельевский лицей. Но правление сего учебного заведения за неимением вакантных мест принять его не могло, дозволив ему, сообразно предписания его сиятельства г. управляющего лицеем, пользоваться в лицее столом и квартирою впредь до приискания себе должности. Затем государь император высочайше повелеть соизволил переместить его, Ежовского, в другие российские губернии, не оставляя в Ришельевском лицее. Вследствие сего его сиятельство предписать изволил об отобрании от него желания: где и какой род службы избрать он пожелает. Во исполнение такового предписания г. управляющего Ришельевского лицея отобрано было от него предместником моим сведение и препровождено на благоусмотрение начальства.

Г. министр народного просвещения по учинении надлежащих отношений с начальствами тех мест, где Ежовский служить пожелал, уведомил, что он может быть помещен в Московский университет на кандидатский оклад с тем, чтобы со временем занять ему учительское место в какой-либо из гимназий Московского округа или в самом университете.

О сем немедленно было мною объявлено Ежовскому согласно с предписанием г. управляющего Ришельевским лицеем, и он 28 июня представил мне отзыв, коим изъявил желание отправиться в Москву, о чем на другой день сообщил я его с⟨иятельст⟩ву г. управляющему лицеем и буду иметь честь просить ваше высокородие о выдаче ему, Ежовскому, подорожной на проезд его в Москву, как скоро правление лицея сделает свое распоряжение о выдаче ему прогонных денег, и 300 рубл⟨ей⟩ на путевые издержки, согласно с предписанием г. управляющего лицеем.

Что же касается до поведения Ежовского и связей его, долгом себе поставляю уведомить ваше высокородие, что как он не состоит на службе при лицее, а только пользуется квартирою и пищей до приискания себе должности, то я до получения вашего отношения не мог иметь за ним особенного наблюдения. Поэтому относительно сего теперь могу довести до сведения вашего высокородия только, что Ежовский занимает квартиру во внутренней части лицейского здания вместе с товарищем своим кандидатом Виленского университета Адамом Мицкевичем, который на том же вышеозначенном основании был прислан от г. министра в Ришельевский лицей и оставлен в оном без должности в ожидании разрешения начальства о поступлении его на службу сообразно его желания при г. Московском генерал-губернаторе, и что он, Ежовский, большею частью находится в отлучке из дому лицея вместе с товарищем своим, иногда только обедает или ужинает у эконома лицея.

Доводя о сем до сведения вашего высокородия, долг имею присовокупить, что по причине беспрерывного почти отсутствия кандидата Ежовского из дому лицея градская полиция удобнее может доставить потребные сведения о поведении его и о связях в городе, согласно предписания г. генерал-губернатора, а я со своей стороны соответственно



ОДЕССА. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Гравюра К. Бассоли, 1830-е гг.
Научная библиотека им. А. М. Горького, Одесса

тому же предписанию с сего времени впредь до отъезда в Москву не премину иметь ближайшее наблюдение за его поступками в самом доме заведения и буду иметь честь по меньшей мере один раз в неделю давать о том сведения вашему высокородию.

Исправляющий должность директора
надвор⟨ный⟩ советник
Дудрович

№ 679
3 июля 1825 г. [164]

Через неделю Дудрович доносил следующее:

Секретно

Господину правящему должность одесского градоначальника
статскому советнику и кавалеру Ст. И. Могилевскому

На отношение вашего высокородия от 3 июля текущего ⟨года⟩ № 4500, я тогда же имел честь ответствовать. Согласно оному, имев наблюдение за поступками кандидата Виленского университета Осипа Ежовского в самом доме лицея в течение недели, то есть с 4-го по 11-е число текущего июля месяца, заметил я, что Ежовский часто выходил в город один или с товарищем своим г. Мицкевичем, в течение дня неоднократно возвращался на квартиру, в иные дни — позже 10 часов вечера, также один или с означенным товарищем. К ним обоим на квартиру часто приходил некто из филаретов г. Малевский, приехавший в Одессу вместе с ними для поступления на службу к г. новороссийскому генерал-губернатору. Сверх того заходили к ним иногда два неизвестных мне поляка. Знакомства и связей его, Ежовского, с чиновниками лицея я доселе не заметил никаких, кроме того, что за отсутствием во время, назначенное в заведении для обеда и ужина, иногда заходил он обедать или ужинать к эконому лицея г. Богдановичу, а обыкновенно, сколько мне возможно было проведать,

обедает и ужинает в гостинице, называемой клубом, вместе с упомянутыми товарищами своими, Мицкевичем и Малевским. О чем имею честь донести до сведения вашего высокородия, согласно отношения ко мне от 3 июля.

Исправ⟨ляющий⟩ должность директора Ришельевского лицея
надвор⟨ный⟩ советн⟨ик⟩ проф.
⟨Д у д р о в и ч⟩

Июля 11-го дня 1825 г.
Одесса[165].

Очевидно, полицмейстер попытался какими-то другими путями организовать наблюдение за Ежовским. Во всяком случае до нас дошло донесение «градской полиции» (от 14 июля)[166], в котором имя Мицкевича не упоминается. Но интересно отметить, что в то время как директор лицея Дудрович подчеркивал «беспрерывное почти отсутствие кандидата Ежовского из дому лицея» — полиция доносила, что он «бывает вхож только в дом помещика Залеского» (о дружбе которого со ссыльными поляками, в первую очередь с Мицкевичем, мы уже упоминали выше). Это полицейское донесение было тоже вполне благоприятным для поднадзорных: в нем сообщалось, что «ничего подозрительного не замечено».

Но особенно тщательный надзор за Мицкевичем был организован Виттом, этим опытнейшим мастером политического шпионажа и провокаций. Нет сомнений, что Витт организовал надзор за Мицкевичем и Ежовским с первого же дня их приезда.

В записке «О поручениях, в которых был употреблен императором Александром I» (уже частично цитированной нами), Витт писал: «...его величество изволил поручить мне употреблять агентов, которые никому не были бы известны, кроме меня, обо всем же относящемся до сей части, никому, как самому императорскому величеству, доносить было не позволено»[167]. О результатах своих наблюдений Витт ничего не сообщал местным властям и в свою очередь не пользовался материалами, собранными ими.

По распространенному мнению (во всяком случае, Вигель писал об этом с полной определенностью), Витту было поручено наблюдать за поступками Воронцова, «подозреваемого в либерализме»[168]. Интриговавший против Воронцова и сам мечтавший занять его пост, Витт, конечно, был рад всякому случаю противопоставить полицейскую бесталанность мнимого либерала Воронцова своей сыщицкой опытности. Между чиновниками новороссийского генерал-губернатора и подчиненными Витта существовала полная отчужденность и даже враждебность[169].

Естественно, что агенты Витта вели слежку за Мицкевичем и Ежовским совершенно независимо от слежки, организованной по поручению Воронцова. Как мы знаем, Воронцов не проявил в данном случае собственной инициативы, а действовал по прямому поручению в. к. Константина Павловича.

Сейчас не может быть никаких сомнений в том, что известную роль в осуществлении тайного политического надзора над Мицкевичем играла Каролина Собаньская. Мы не будем заниматься историей ее личных отношений с Мицкевичем; над этим достаточно потрудились биографы поэта. Но при изучении политической биографии Мицкевича необходимо заглянуть в ту сферу деятельности Собаньской, которая до сих пор оставалась либо недостаточно освещенной его биографами, либо вовсе не известной им.

Каролина-Розалия-Текла Собаньская, урожденная гр. Ржевуская (1794—1885), сестра писателя Генрика Ржевуского и Эвелины Ганской,

ставшей впоследствии женой Бальзака[170], к тому времени, когда с ней встретился Мицкевич, находилась в двусмысленном положении невенчанной жены генерала Витта. Вигель, наблюдавший ее как раз в эти годы, дает обстоятельную характеристику Собаньской, из которой мы заимствуем важнейшие данные:

«Причиною особого ко мне благоволения Витта была незаконная связь его с одною женщиною и ею мне оказываемая приязнь. Каролина Адамовна Собаньская, урожденная графиня Ржевуская, разводная жена, составила с ним узы, кои бы легко могли быть извиняемы, если бы хотя немного прикрыты были тайной. Сколько раз видели мы любовников, пренебрегающих законами света, которые покидают его и живут единственно друг для друга. Тут ничего этого не было. Напротив, как бы гордясь своими слабостями, чета сия выставляла их на показ целому миру. Сожитие двух особ равного состояния предполагает еще взаимность чувств: Витт был богат, расточителен и располагал огромными казенными суммами. Собаньская никакой почти собственности не имела, а наряжалась едва ли не лучше всех и жила чрезвычайно роскошно — следственно, не гнушалась названием наемной наложницы, которое иные ей давали ⟨...⟩ Ей было уже лет под сорок, и она имела черты лица грубые, но какая стройность, что за голос и что за манеры! Две или три порядочные женщины ездили к ней и принимали у себя, не включая в то число графиню Воронцову, которая приглашала ее на свои вечера и балы единственно для того, чтобы не допустить явной ссоры между мужем и Виттом; Ольга же Нарышкина-Потоцкая, хотя по матери и родная сестра Витту, не хотела иметь с ней знакомства, все прочие также чуждались ее. В этом унизительном положении какую твердость умела она показывать и как высоко подыматься даже над преследующими ее женщинами! Мне случалось видеть в гостиных, как, не обращая внимания на строгие взгляды и глухо шумящий женский ропот негодования, с поднятой головой она бодро шла мимо всех прямо к последнему месту, на которое садилась, ну право, как бы королева на трон. Много в этом случае помогали ей необыкновенная смелость (ныне ее назвал бы я наглостию) и высокое светское образование. Она еще девочкой получила его в Вене, у родственницы своей, известной графини Розалии Ржевуской ⟨...⟩ Салон этой Розалии некогда слыл первым в Европе по уму, любезности и просвещению его посетителей. Нашей Каролине захотелось нечто подобное завести в Одессе, и ей несколько удалось. Пален и Потоцкий часто бывали то на утренних, то на вечерних ее беседах и веселостию ума оживляли на них разговор; Витта считать нечего, он имел собственный дом, а проводил тут дни и ночи ⟨...⟩ Вообще из мужского общества собирала она у себя все отборное, прибавляя к тому много забавного, потешного ⟨...⟩ Из Вознесенска, из военных поселений приезжали к ней на поклонение жены генералов и полковников, мужья же их были перед нею на коленях»[171].

Но Собаньская была не просто «роковая женщина», «опытная кокетка», «опасная обольстительница» и т. п., как ее характеризовали наблюдатели и мемуаристы, — она была также политической шпионкой.

Недавно в архиве III Отделения было найдено подлинное письмо Собаньской, дающее ясное представление о ее деятельности в качестве агента и осведомителя по польским делам. В письме на имя Бенкендорфа (в 1832 г.) она между прочим писала: «...смею сказать, что никогда женщине не приходилось проявить больше преданности, больше рвения, больше деятельности в служении своему монарху, чем проявленное мною, часто с риском погубить себя»[172].

Это письмо относится к несколько более позднему периоду, чем тот, который мы сейчас рассматриваем. Однако можно не сомневаться, что

и во время пребывания Пушкина и Мицкевича в Одессе Собаньская была также причастна к этого рода «деятельности». Злой и недоброжелательный, но очень наблюдательный и обычно хорошо осведомленный, Вигель, заключая уже цитированную выше характеристику Собаньской, писал: «Из благодарности питал я даже к ней нечто похожее на уважение; но когда несколько лет спустя узнал я, что Витт употреблял ее и серьезным образом, что она служила секретарем сему в речах столь умному, но безграмотному человеку, и писала тайные его доносы; что потом из барышей поступила она в число жандармских агентов, то почувствовал необоримое от нее отвращение. О недоказанных преступлениях, в которых ее подозревали, не буду и говорить. Сколько мерзостей скрывалось под щеголеватыми ее формами!»[173]. Что имел в виду Вигель, говоря о «недоказанных преступлениях» Собаньской, — мы не знаем.

Таков был подлинный облик женщины, с именем которой мы так часто встречаемся на страницах одесской главы биографии Мицкевича. Нет, конечно, нужды доказывать, что ни Мицкевич, ни кто-либо другой не имели никакого представления о причастности Собаньской к политическому сыску. Она была так тщательно законспирирована, что сам царь в течение долгого времени не знал ее истинной роли и даже подозревал, что она была членом тайных польских патриотических кружков[174].

Мицкевич, по мнению новейшего биографа, очевидно, полагал, что частые посещения салона Собаньской, пребывание в обществе самого Витта отвлекали от него подозрения в связях с русскими и польскими революционными и оппозиционными кружками[175]. Мицкевич не подозревал, что именно в салоне Собаньской он непосредственно оказывался в самом фокусе наблюдения соглядатаев Витта[176].

VI. СВЯЗИ МИЦКЕВИЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ

Какие же результаты дала слежка за Мицкевичем?

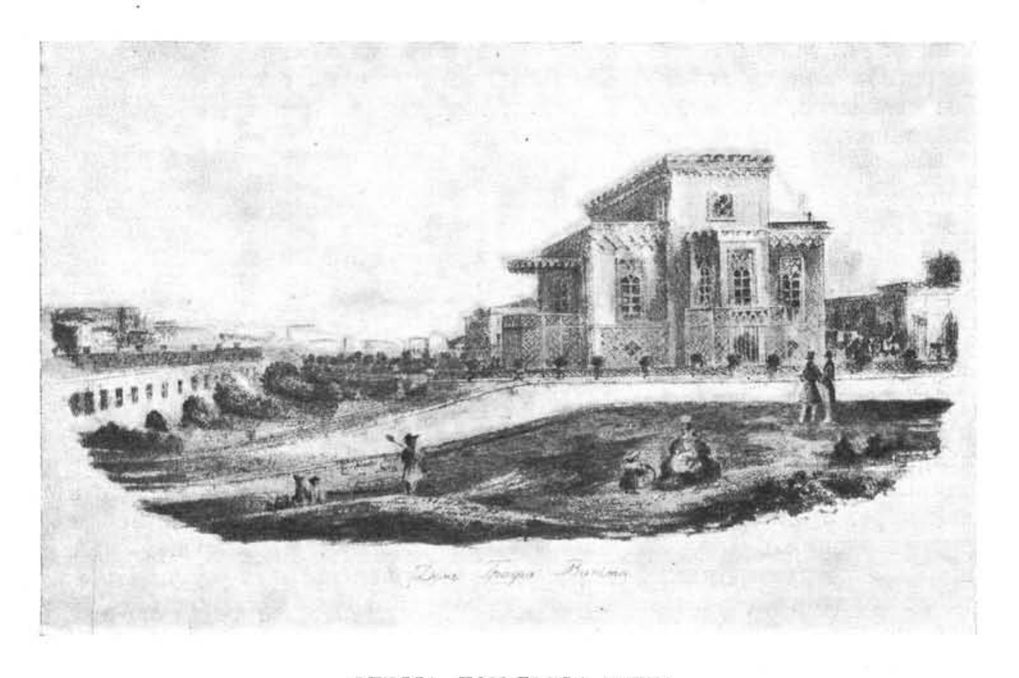
В письме к Александру I от 13 августа 1825 г. Витт сообщал: «Государь! Так как в Ришельевский лицей, в Одессу, были присланы из Петербурга два виленские профессора, замешанные в деле, случившемся на Литве, то я счел долгом поручить строгий надзор за ними тайным агентам».

Это письмо Витта было опубликовано без каких-либо комментариев еще в 1882 г. на страницах «Русской старины». Далее Витт сообщал: «Несколько времени спустя после их приезда, министр народного просвещения предписал мне объявить им, что они не могут оставаться в Одессе, но что им разрешается взять место внутри России; в ожидании ответов, которые должны были получиться, в Одессе собралось множество жителей польских губерний, что вынудило меня следить за ними с особенной строгостью, но здесь поведение их оказалось вполне безупречным»[177].

Непосредственно за этим следуют строки, которые придают документу исключительное значение: «Стараясь открыть причину недовольства там, где оно могло скрываться, мои агенты, по счастливой случайности, напали на след гораздо более важного и серьезного дела, могущего иметь самые печальные последствия, так как тут идет, государь, о спокойствии Вашего императорского величества. В письме, написанном мною генералу Дибичу в Варшаву, я коснулся слегка одного дела, по поводу которого он желал иметь от меня некоторые сведения, но в то время я сам был еще по пути к открытию истины, теперь же имею все сведения, знаю также цель, которую желают достигнуть, и потому осмеливаюсь просить Ваше величество аудиенции, так как дело касается вещей, которые не

могут быть переданы письменно и которые возможно сообщить лишь Вашему императорскому величеству — Вы будете, государь, на пути к разъяснению многих событий». Чтобы скрыть истинную цель своей поездки, Витт просил Александра I, предполагавшего отправиться в Таганрог, заехать по пути в военные поселения: там Витт должен был встретить его в порядке выполнения своих служебных обязанностей.

В этот момент «открытие» было как нельзя больше на руку Витту. Отношения его с Аракчеевым к тому времени вконец испортились на почве служебной конкуренции. К тому же в военных поселениях обнаружились крупные денежные злоупотребления[178]. «Хозяйственная часть» всегда была слабым местом Витта. За ним постоянно числились



ОДЕССА. ДОМ ГРАФА ВИТТА
Автолитография К. Бассоли, 1830-е гг.
Научная библиотека им. А. М. Горького, Одесса

крупные недостачи казенных сумм, но, как говорил Вигель, «все сходило ему с рук, и он вымаливал их уплату»[179]. Однако на этот раз дело принимало, повидимому, особенно неприятный оборот. С 1823 г. Витт добивался у царя аудиенции, но до осени 1825 г. безуспешно[180].

Здесь же следует отметить факт, любопытный в бытовом и психологическом плане: через четыре дня после того, как было послано упомянутое донесение, Витт отправился в увеселительное путешествие в Крым, сопровождая Собаньскую, а среди небольшой группы его спутников был один из «виленских профессоров» — Мицкевич.

Встреча Витта с императором состоялась в Таганроге 19 октября 1825 г. Как известно, во время этой встречи Витт доложил, что, действуя с помощью Бошняка, он напал на след тайного революционного общества. Генерал Дибич в донесении от 4 декабря 1825 г. писал, что 18 октября Витт сообщил о существовании Общества, «которое значительно увеличилось в обеих армиях и старалось, но тщетно, с помощью генерал-лейтенанта Мих. Орлова и сыновей генерала Раевского заразить и Черномор-

ский флот, что бывают часто собрания в фамилии Давыдовых, кои все заражены сим духом». Витт назвал тогда же несколько имен деятельнейших членов Общества: Муравьева, Бестужева, Рылеева, сообщил, что «18 пехотная дивизия в особенности заражена сим духом и что в оной играет главную роль ⟨...⟩ полковник Пестель». Витт изложил тогда же Александру I свои дальнейшие провокаторские планы, в частности он рассчитывал получить важнейшие сведения на предстоящих «киевских контрактах». Выслушав сообщения Витта, государь, по словам Дибича, приказал ему «продолжать открытия свои и изволил отправиться в Крым»[181]. В высших правительственных сферах не оспаривали у Витта заслуг по разоблачению Тайного общества, о существовании которого к тому времени были получены уже сведения и от Шервуда. Как немного позже писал член Следственной комиссии (в будущем военный министр) Чернышев: «...если бы стекшиеся обстоятельства ⟨смерть Александра I⟩ не остановили действий г. Бошняка, то, при руководстве гр. Витта, он, без сомнения, достигнул бы предложенной цели, и тогда услуга, им оказанная, имела бы важнейшие последствия»[182].

В только что цитированном письме Витта многое остается неясным. Может даже показаться, что первая и вторая части письма имеют совершенно самостоятельное значение и чисто механически и случайно оказались объединенными в рамках одного донесения. Однако, как нам представляется, между первою и второю частями документа есть какая-то внутренняя связь, иначе ни с логической, ни с психологической точки зрения, ни даже с точки зрения тогдашнего делопроизводства было бы неоправданным упоминание о «виленских профессорах».

Какая же связь была между «открытием» Виттом Тайного общества и слежкой за Мицкевичем и Ежовским? Прежде всего следует отбросить предположение, будто наблюдение над Мицкевичем и Ежовским явилось для Витта толчком к открытию заговора. Как известно, Витт, по крайней мере, с января 1825 г., то есть за месяц до встречи с Мицкевичем, имел сведения о «подозрительных» связях В. Л. Давыдова. Начальник штаба 2-й Армии Киселев еще раньше стал подозревать о существовании тайной организации в армии. Материалы архива Киселева свидетельствуют, что он уже в январе 1825 г., во время киевских «контрактов», заметил «связь Пестеля, Барятинского и Юшневского с киевским помещиком отставным полковником Давыдовым, пользовавшимся уже репутацией вольнодумца; *в том смысле говорил с ним и граф Витт, бывший также тогда в Киеве* ⟨курсив наш. — *С. Б.*⟩. Следствием этих объяснений было учреждение посредством тайных агентов надзора за Пестелем и Давыдовым»[183]. Агенты Витта продолжали действовать, и вскоре после приезда Мицкевича в Одессу в распоряжении Витта оказались точные данные о существовании Тайного общества.

Как известно, по следам этого «открытия» Витт пустил свою ищейку — Бошняка.

Рассказывая о поручениях Витта, с которым его связывали «одинакие чувства, одинакие мнения», Бошняк в своей «Записке» свидетельствует: «Итак, в апреле прошлого 1825 года приступлено было к самому делу»[184]. В «Алфавите декабристов» указано, что Витт в апреле 1825 г. поручил Бошняку «проникнуть в мрак, скрывающий злодеев»[185]. По словам Бошняка, Витт указал ему на семью Давыдовых и на В. Н. Лихарева, который по своим связям с Давыдовыми может ему открыть доступ в это «гнездо крамолы»[186]. Получив указания, Бошняк приступил к «исследованиям». Эта же версия подтверждается С. Г. Волконским; в своих «Записках» он дал точное описание «деятельности» Витта — Бошняка[187].

Осуществляя наблюдения над участниками Тайного общества, Витт, безусловно, не прекращал слежку за Мицкевичем и Ежовским. Инстинктом сыщика он не только угадал в них лиц «подозрительных», но все время настойчиво пытался установить непосредственное участие Мицкевича в тайных обществах. Витт, как мы убеждены, имел достаточно данных о связях Мицкевича и Ежовского с людьми, в той или иной мере причастными к тайным обществам, и не упускал из поля зрения «виленских профессоров», надеясь, что сможет их уличить. У нас нет возможности приоткрыть завесу над сыщицкой деятельностью Витта, и поэтому мы не знаем, известно ли ему было истинное отношение Мицкевича к декабристам, но мы видим, как он настойчиво искал нитей, которые дали бы основание прямо связать Мицкевича с участниками заговора. Слежку за ними и наблюдение за Мицкевичем Витт вел с помощью одних и тех же наблюдателей. Эти два «дела» были у него в производстве одновременно, он подозревал наличие между ними внутренней связи, но не мог обосновать ее — это-то и отразилось в его донесении, цитированном выше.

То обстоятельство, что Витту тогда не удалось обнаружить связей Мицкевича с декабристами и членами польских революционных кружков, впоследствии некоторые друзья поэта считали «чудом». Так, например, Леонард Реттель, имевший возможность неоднократно беседовать с Мицкевичем, писал в 1880 г.: «О связях Мицкевича с русскими литераторами и даже конспираторами слышал я много подробностей при разных обстоятельствах от него самого ⟨...⟩ И поистине чудом Мицкевич, ведя близкое знакомство с декабристами и рассуждая с ними об их проектах будущей конституции, не был замешан в восстании, уцелел и потом, во время правительственного террора, когда велось следствие».

Вспоминая через много лет о настроениях в России накануне восстания на Сенатской площади, Мицкевич говорил, что тогда «открыто создавались заговоры». В этом утверждении, думается, были обобщены и одесские наблюдения [188].

Сыщики Витта не прекращали слежку за Мицкевичем и его друзьями. Так, Малевский в письме от 12 августа, рассказывая, что Витт принимает его у себя, тут же сообщал о некоем Г., который, по общему мнению, является шпионом [189]. У Витта были соглядатаи и в самом лицее. В этой роли, по словам Мурзакевича, выступал, например, «аудитор Суходольский, поселившийся в здании лицея и питавшийся на его счет» [190].

Но знаменательно другое: у нас есть все основания утверждать, что Мицкевич в течение длительного времени был в сфере наблюдений Бошняка, хотя в «Записках» этого шпиона нет никаких упоминаний ни о Мицкевиче, ни о Ежовском [191].

Б. Е. Сыроечковский рассказал о существовании рукописи «Биографические сведения об А. К. Бошняке», составленной в 1901 г. родственником Бошняка. Автор, воссоздавая на основании семейных преданий биографию предателя, «изображает его бесхарактерной жертвой хитрого Витта»; вся роль Бошняка в раскрытии Тайного общества сводилась якобы к тому, что он разбалтывал у Собаньской слышанное им от своих сочленов по Обществу, а Собаньская все передавала Витту [192]. Нет надобности опровергать эту насквозь лживую версию, но в ней есть один важный штрих, который бесспорно отражает нечто из реальной действительности: это упоминание о Собаньской и ее салоне и о роли Собаньской как осведомителя Витта. Трудно сомневаться и в наличии контакта, а может быть, и «делового сотрудничества» между Собаньской и Бошняком. Как все лица, связанные в деловом или личном плане с Виттом, Бошняк был завсегдатаем салона Собаньской. Помимо всего

прочего, это было удобно и с точки зрения конспирации. Как мы знаем, Мицкевич часто посещал гостиную Собаньской. И именно Мицкевич, а не Ежовский. Ежовский почти никогда не появлялся в аристократических салонах, где его, по словам Собаньской, считали «смертельно скучным ученым» [193].

Но Бошняк был не только постоянным посетителем салона Собаньской, он был и одним из участников поездки в Крым. Напомним, что в этой поездке, в которой принимал участие Мицкевич, Собаньскую сопровождала «свита» в составе ее бывшего мужа — Иеронима Собаньского, брата — графа Генрика Ржевуского и неизменного спутника — Витта, которого, в свою очередь, сопровождал Бошняк. Витт, имевший срочные дела, характер которых нам уже известен, должен был оставить общество Собаньской значительно раньше конца увеселительной прогулки. Как долго сопровождал «путешественников» Бошняк — мы не знаем. Собаньская, весьма подробно рассказавшая о своей крымской прогулке (ее рассказ лег в основание работы Ржонжевского) [194], перечисляя состав участников, умолчала о Бошняке, и это умолчание само по себе чрезвычайно красноречиво.

О Бошняке как участнике поездки в Крым рассказали сын и дочь Мицкевича. Дочь поэта — Мария — во фрагментах своих мемуаров «Воспоминания о моем отце» рассказывает: «...когда отец с Ежовским были в Крыму, генерал Витт пригласил их на непродолжительную поездку по тому прекрасному краю ⟨...⟩ К обществу, в котором было несколько дам, присоединился какой-то ученый немец, энтомолог, чрезвычайно скромный и незаметный, неряшливо одетый, в очках, на которого никто не обращал внимания. Быстро завязалось знакомство между ним и двумя поляками; беседовали о разном». «Энтомолог», между прочим, «расспрашивал» их «о месте их рождения, об их занятиях, положении дел в крае ⟨Польше? — *С. Б.*⟩, причинах их пребывания в Крыму и т. д. Но, — продолжала Мария, — они, выученики базилианов, придерживались правила, которое отец позже сформулировал в „Дзядах" словами: „ничего не знаю, ни о чем не расскажу"». Через две недели после того, как они возвратились в Одессу, Мицкевич и Ежовский были приглашены на званый обед к Витту, и «отец с удивлением узнал немца, который сменил скромную одежду на парадный мундир с орденами». Он оказался крупным полицейским чиновником. Дочь Мицкевича записала те остроумные и двусмысленные реплики, которыми обменялись Витт и Мицкевич: — «Кто же, наконец, этот господин? Я полагал, что он занимался только ловлей мошек? — О, да, — ответил генерал, — он нам помогает в ловле мошек всякого рода» [195].

С другой версией этого же рассказа мы встречаемся в книге «Жизнь Адама Мицкевича», написанной его сыном Владиславом [196]. Хотя Владислав в этом случае ссылается на рассказ сестры, как на единственный источник, его повествование заключает в себе и некоторые новые данные. По словам Владислава, разговор о мошках произошел не в Одессе, а в Крыму. Но в повествовании Владислава шпион фигурирует не в качестве «немца» (источник ошибки Марии Мицкевич ясен: отчество Бошняка звучало не по-русски: Карлович); здесь он назван своим подлинным именем. Но самое интересное другое. В то время как дочь Мицкевича писала, что Мицкевич и Ежовский в разговоре с Бошняком были необычайно сдержанны, Владислав пишет: позже, «когда они ⟨Мицкевич и Ежовский⟩ узнали, что это за „птица" Бошняк, они испугались, вспомнив, какие суждения ими высказывались в его присутствии».

Нет сомнения, что обе версии восходят к одному и тому же источнику — к рассказу самого поэта. Но надо учитывать, что рассказывал он через много лет после совершившихся событий, а записан его рассказ был еще

64

Свидѣтельство.

№ 1137

Объявитель сего Кандидатъ Виленскаго Университета Адамъ Мицкевичъ, по распоряженію Начальства, отправленъ въ Москву для опредѣленія тамъ къ должности въ Канцелярію Его Сіятельства Господина Московскаго Военнаго Генерал-Губернатора Князя Дмитрія Васильевича Голицына, почему Г. Г. Командующихъ на заставахъ благоволятъ чинить ему свободный пропускъ. Въ засвидѣтельствованіе сего дано ему сіе отъ Одесскаго Ришельевскаго Лицея за надлежащимъ подписаніемъ и приложеніемъ печати онаго. Въ Одессѣ Ноября 12 дня 1825 года.

Подписалъ Исправляющій Должность Директора Членъ Правленія Лицея Надворный Совѣтникъ

Вѣрно: Въ должности Управляющаго Канцеляріею Ришельевскаго Лицея Коллежскій Секретарь Ялинскій

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЛЯ ПРОЕЗДА ИЗ ОДЕССЫ ДО МОСКВЫ, ВЫДАННОЕ АДАМУ МИЦКЕВИЧУ 12 НОЯБРЯ 1825 г.

Одесский областной архив

позже. Таким образом, в данном случае надо делать двойную поправку на «ошибки памяти». Запамятовать кое-что мог и рассказчик и те, кто через много лет записали его рассказ. Безусловно, Владислав соблюдал бо́льшую точность в изложении фактов, чем Мария. В отличие от сестры, он был не только мемуаристом, но и исследователем и много лет жизни потратил на собирание материалов для биографии отца. Живя в Париже, в центре польской политической эмиграции, он имел возможность проверить воспоминания, сопоставив их с сообщениями очевидцев и хорошо осведомленных лиц. Ему нетрудно было установить, кто скрывался под личиной «ученого немца» в воспоминаниях его сестры. Позорная слава Бошняка была еще жива в памяти, и, следует тут же заметить, это зловещее имя было названо самим Мицкевичем. Трудно также усомниться, что рассказ сына-биографа о той тревоге, которая охватила поэта, когда он узнал, что находился в течение долгого времени под наблюдением шпиона, совершенно обоснован.

Как видим, и Мария и Владислав сообщают, что под наблюдением Бошняка в Крыму, наряду с Мицкевичем, был и Ежовский. Но в действительности Ежовский в крымской поездке не участвовал. Трудно предположить, что имя Ежовского в данной связи названо совершенно ошибочно. Скорее всего в цитированном выше рассказе слились воспоминания о Крыме и об Одессе, где Бошняк мог встречаться с Ежовским.

В 1842 г. в парижских лекциях о славянских литературах Мицкевич, рассказывая, как был раскрыт заговор декабристов, уделил много внимания Витту и Бошняку. Он ни одним словом не упомянул о своем знакомстве с генералом Виттом и с его агентом, и только то непропорционально большое место, которое он уделил этим лицам в своем коротком рассказе, и подробности, сообщенные о них, могут свидетельствовать об особом интересе Мицкевича к этим двум «героям» недавних исторических событий.

Хотя в заговоре, говорил Мицкевич с кафедры в Сорбонне, участвовали сотни людей, среди русских и поляков не нашлось ни одного предателя. «Доносчиком был иностранец, по имени Щервуд ⟨...⟩, который сообщил о всем Витту ⟨...⟩, который и до донесения Шервуда имел сведения о заговоре, представленные одним агентом, имя которого не называет ни один официальный документ, ни материалы следствия. Этот предатель, наиболее ловкий шпион из всех известных героев этого рода, даже шпиона романа Купера, назывался Бошняк ⟨...⟩ Выдавая себя за писателя и под видом натуралиста, он сопровождал всюду генерала Витта. Он обладал хорошими манерами, владел иностранными языками ⟨...⟩ Осведомленный им ген⟨ерал⟩ Витт не спешил, однако, уведомить правительство. С одной стороны, он ненавидел Аракчеева, который стоял во главе государственных дел; с другой стороны, он хотел раньше подробнее узнать, каковы были планы и средства заговорщиков, чтобы решить, быть ли с ними или быть против них, но донесение Шервуда заставило его послать рапорт в Петербург» [197].

Все изложенное выше не оставляет сомнений в том, что Витт, организуя слежку за участниками тайных обществ, вел одновременно наблюдение за Мицкевичем и Ежовским, стремясь найти следы их связей с заговорщиками. Витту, вероятно, помогали в этом деле, кроме мелких шпионов, Бошняк и Каролина Собаньская.

Но шпионам все же не удалось ухватиться ни за одну из тех нитей, которые связывали Мицкевича с тайными обществами.

Нам кажется, что этих нитей было много. Вспомним о письме Бестужева и Рылеева к Туманскому, которое привез Мицкевич. К счастью для Мицкевича, а также для Туманского, сделавшего безмятежную чинов-

ничью карьеру, письмо это не было перехвачено. Между тем, если бы оно было обнаружено, оно навело бы шпионов на важный след и послужило бы серьезным свидетельством близости Мицкевича к заговорщикам.

Весьма вероятно, что Мицкевичу пришлось встречаться в Одессе и с представителями польских тайных обществ, вступивших в переговоры с «южанами».

Как указывалось выше, по пути в Одессу Мицкевич с друзьями побывал в Киеве, тотчас же после «контрактов», на которых состоялась встреча «южан» с представителями тайных польских обществ. Мы также уже отмечали, что, повидимому, Мицкевич встречался в Одессе с Олизаром, Мошинским и Яблоновским, вступившими в политический контакт с декабристами и осужденными после разгрома восстания.

Нам представляется, что нити, тянувшиеся от Мицкевича к декабристам, шли не через польские аристократические гостиные, а через кружки шляхетско-польской интеллигенции, с которой Мицкевич, как мы знаем, был наиболее тесно связан и в социальном и в идейно-политическом отношении. Члены Южного общества установили контакт с польскими национально-революционными организациями, хотя и отказывались принимать членов этих организаций в состав своего Общества [198]. В Обществе Соединенных Славян было немало поляков, выходцев из мелкой шляхты. Интересно, кстати, заметить, что в «Алфавите декабристов» упомянут «староконстантиновский помещик» Качковский, у которого были найдены «правила Славянского Общества на польском языке» [199]. Не родич ли он того Качковского, с которым Мицкевич встречался в Одессе? По царскому указу от 2 мая 1824 г., как мы знаем, был учрежден особый надзор за стекавшимися в Одессу «неблагонадежными лицами», в особенности из польских губерний. К категории этих лиц был отнесен и Ф. Ковальский, с которым Мицкевич поддерживал дружеские отношения. Ковальский вместе с двумя другими поляками был арестован. Хотя их обвиняли всего только в отсутствии паспортов, этим делом занялся сам Александр I. 30 сентября 1825 г. из Таганрога пришло распоряжение царя выпустить их из крепости и разрешить им вернуться на родину; другими словами, они были высланы из Одессы [200].

Здесь же следует снова напомнить, что Маврикий Гославский, один из представителей одесской польской шляхетско-разночинной интеллигенции, был автором стихотворения, которое может считаться первым в польской литературе поэтическим откликом на восстание декабристов. Его перу принадлежала написанная в 1826 г. в Одессе элегия «На смерть Пестеля, Муравьева и других мучеников русской свободы». В этом стихотворении, несмотря на условно-сентиментальную форму (девушка, стоящая у гроба и раздирающая себе грудь, и т. д.), ясно выражены общественно-политические симпатии автора; это стихотворение, конечно, характеризует не только Гославского, но и ту общественную среду, к которой он принадлежал. Не случайным, как нам кажется, было и то, что, называя «мучеников русской свободы», Гославский упомянул двух руководителей Южного общества. Ведь именно с «южанами» устанавливали связи польские революционные и патриотические организации.

Нами было уже приведено свидетельство Качковского о тайных встречах и собраниях, в которых участвовал Мицкевич. И нет, конечно, сомнения в том, что поэт разделял настроения этой среды.

15 октября 1825 г. Мицкевич возвратился в Одессу из Крыма.

Затянувшаяся переписка об определении Мицкевича на новое место службы закончилась. 20 октября в лицее было получено и рассмотрено на совещании правления 31 октября письмо Витта от 15 октября. Он сообщал о согласии московского военного генерал-губернатора

кн. Д. В. Голицына зачислить Мицкевича в свою канцелярию. Одновременно предписывалось снабдить Мицкевича прогонными деньгами [201].

Мицкевич не очень торопился с отъездом [202]. Но 12 ноября ему была выписана подорожная [203] (см. воспроизведение на стр. 459 настоящего тома), и он отправился в путь [204].

* * *

На предшествующих страницах мы изложили все, что нам известно о связях Мицкевича с декабристами в одесский период его биографии. Сделаем некоторые выводы.

Одесса 1825 г. была одним из видных центров революционных и антиправительственных настроений. Николай I, как мы знаем, даже склонен был, сильно преувеличивая роль Одессы в революционном движении того времени, считать этот город «гнездом заговорщиков». Приведенные выше сведения не дают права утверждать, что Мицкевич был непосредственным участником деятельности заговорщиков, но этот материал говорит о том, что Мицкевич был связан с ними.

В этой работе мы стремились держаться только тех фактов, которые засвидетельствованы документами. Мы, конечно, далеки от мысли, что приведенные нами материалы дают возможность осветить со всей полнотой важнейший вопрос политической биографии Мицкевича — вопрос о его связях с тайными обществами накануне восстания декабристов. Многое еще остается неясным, недоказанным, оставляя почву для всякого рода предположений. Будем надеяться, что дальнейшие исследования дадут бо́льшие результаты. Окончательную же ясность смогут внести только новые документальные находки.

Некоторый материал по вопросу об идейно-политическом развитии Мицкевича одесской поры может дать углубленный анализ его произведений, написанных или задуманных в Одессе. Не ставя перед собой такой задачи, мы позволим себе, однако, отметить, что внимание исследователя особенно должен привлечь «Привал в Упите». В этом написанном в Одессе произведении Мицкевич со всей страстью писателя-патриота проклинает пана Сицинского, который

Отравлял людей, владел чужой казной,
И королям мешал, и край губил родной!

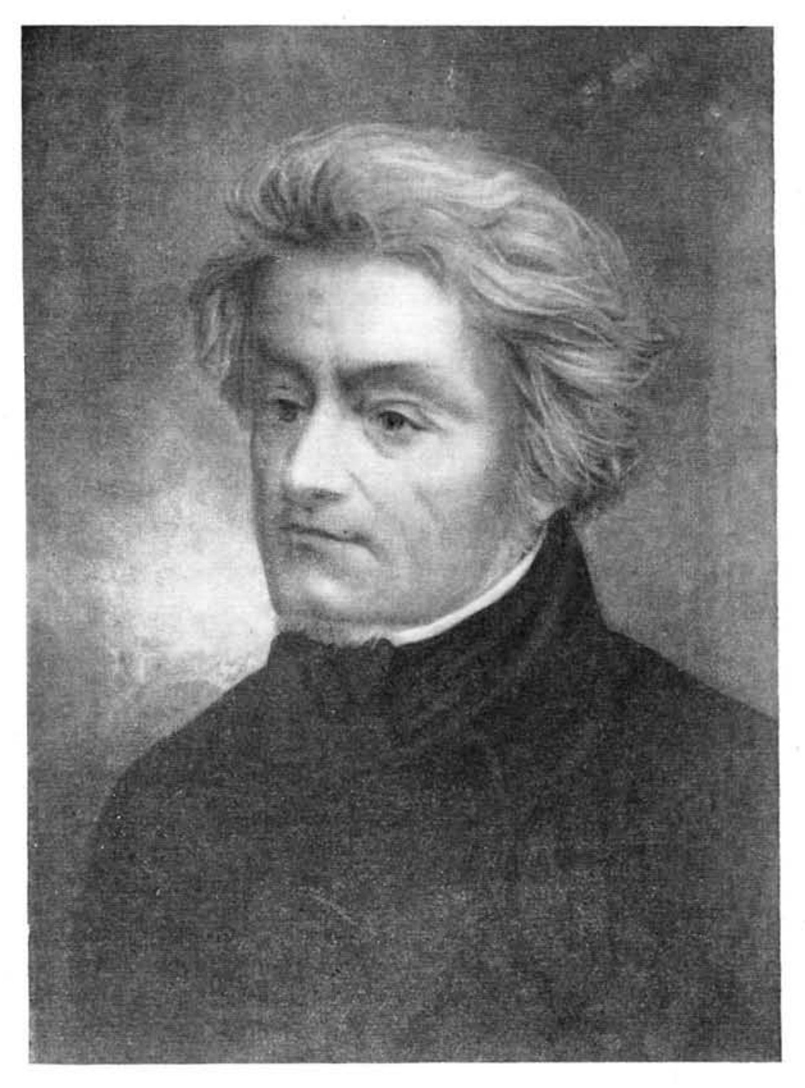
По словам Мицкевича, Сицинский, депутат сейма от Упиты (1652), первый подал пример срыва решений сейма незаконным применением вето, чем нанес сокрушительный удар королевской власти, а страну поверг в водоворот шляхетской анархии. В лице Сицинского Мицкевич выносил гневный обвинительный приговор магнатству, которое своей классово-своекорыстной, антинациональной политикой, антипатриотическими, предательскими делами расшатало польское государство и сделало неизбежной его гибель.

Не менее плодотворным в этом же плане может быть анализ такого сложного произведения Мицкевича, как «Конрад Валленрод».

Исследователю одесской главы биографии Мицкевича очень важно было бы окончательно установить, не в Одессе ли написано стихотворение «Чин» (одни датируют его 1825 г., другие — 1829). В этом стихотворении Мицкевич беспощадно осудил представителей реакционной шляхты, верно служивших злейшему врагу польского и русского народов — царскому самодержавию [205].

При всей ограниченности результатов, к которым мы пришли, мы все же думаем, что материалы, приведенные в этой работе, представляют известный принципиальный интерес. Во время пребывания

в России Мицкевич вступил на новый творческий путь и впервые осознал необходимость революционного действия, идею борьбы за социальную правду: «Я люблю весь народ... Я хочу его сдвинуть, осчастливить...», — восклицал он устами Конрада. И именно в России проснулась в нем священная ненависть к варварскому деспотизму,



АДАМ МИЦКЕВИЧ

Портрет маслом неизвестного художника, 1840-е гг.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

к порабощению миллионов людей немногими имеющими власть тиранами — все равно, касалось ли это поляков или русских[206].

Нет сомнения, что первый этап пребывания Мицкевича в России и последние этапы (Петербург 1824 г., Москва — Петербург 1826—1829 гг.) сыграли наибольшую роль в его духовном развитии. В столицах России он вступил в общение с крупнейшими представителями русской общественной мысли и культуры, с декабристами — Рылеевым и Бестужевым, с писателями — Грибоедовым и Баратынским, Веневитиновым

и многими другими и, наконец, с Пушкиным, в беседах с которым, — по словам великого русского поэта, — Мицкевич

...говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

Но можно ли, исследуя процесс духовного развития Мицкевича, вычеркивать одесские месяцы? Как ни мало мы знаем об идейной и общественной жизни Мицкевича в Одессе, но общий ход его развития ясно говорит, что и в одесский период оно продолжало идти в том же направлении: патриотическо-демократические и революционные взгляды польского поэта укреплялись и углублялись. И в этом процессе, так же как и на всех других этапах пребывания Мицкевича в России, громадную роль сыграло общение с представителями передовой русской общественности. Среди людей, окружавших Мицкевича в последние годы жизни, зародилась лживая легенда об отрицательном отношении Мицкевича к декабристам. Она была подхвачена польскими реакционерами, которые тщательно собирали все, что могло способствовать розни между братскими народами, польским и русским. Эта легенда находится в совершенном противоречии с высказываниями Мицкевича о русских дворянских революционерах, полными чувства глубокой симпатии и уважения. Еще более ярким свидетельством близости Мицкевича к декабристам являются строки его послания «Русским друзьям»:

О где вы? Светлый дух Рылеева погас,
Царь петлю затянул вкруг шеи благородной,
Что, братских полон чувств, я обнимал не раз.
Проклятье палачам твоим, пророк народный!

Нет больше ни пера, ни сабли в той руке,
Что, воин и поэт, мне протянул Бестужев
С поляком за руку он скован в руднике,
И в тачку их тиран запряг, обезоружив.

(Пер. В. Левина) [207]

Пристальное изучение событий одесской жизни Мицкевича говорит о возможности связей между Мицкевичем и участниками тайных обществ; оно доказывает также, что вне декабристского контекста не может быть вообще понята эта глава биографии поэта, которую до сих пор трактовали преимущественно в личном плане. Одесская глава жизни Мицкевича показывает, наконец, как многочисленны и многообразны нити, связывавшие великого польского поэта с лучшими людьми русского народа, который в лице своего героического сына — Рылеева видел в Мицкевиче друга — «по чувствам и образу мыслей».

ПРИЛОЖЕНИЯ

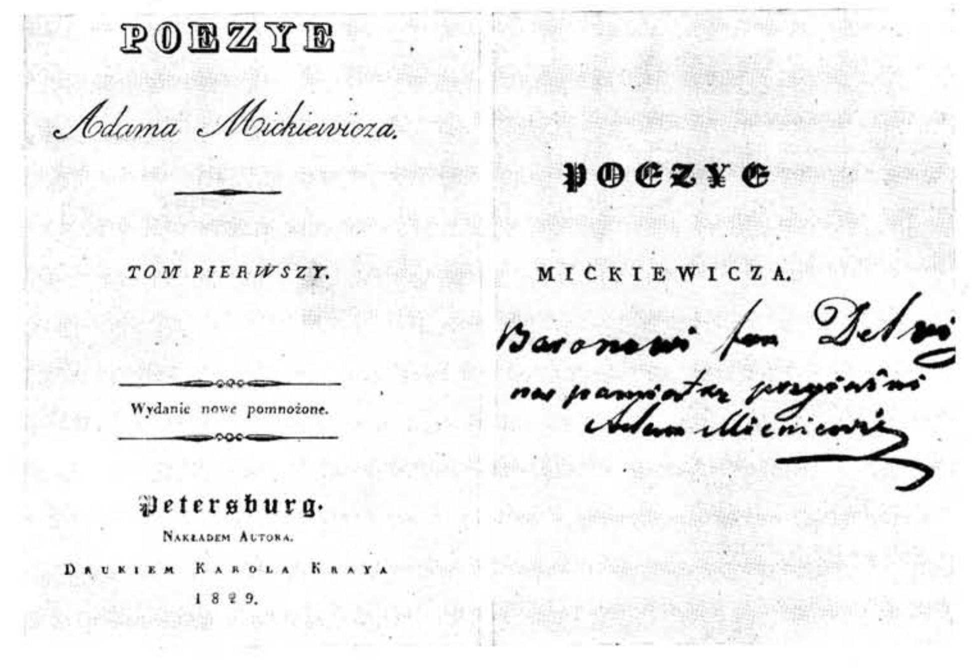
‹I›

‹ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОДЕССКОГО ЛИЦЕЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ПРИБЫТИЮ МИЦКЕВИЧА И ЕЖОВСКОГО›

1825 года февраля 19-го дня в правление Одесского Ришельевского лицея прибыли гг. члены по учебной части: полковник и кавалер В. Х. Христофоров, первый инспектор надворный советник М. М. Калинеску, магистр профессор И. Ф. Гриневич, кандидат профессор И. И. Дудрович, константинопольский банкир дворянин С. А. Костанда и исправляющий должность директора надворный советник Карл Иванович Дитерихс; в сие заседание прибыл законоучитель Ришельевского лицея протоиерей Исидор Гербановский по приглашению г. исправляющего должность директора.

Слушали:

А) Предложение его сиятельства г. управляющего Ришельевским лицеем генерал лейтенанта графа Ивана Осиповича Витта от 14 февраля сего года № 47, при коем препровождая копию отношения к нему г. министра народного просвещения от 16 декабря прошлого года № 3638, касательно принятия в Ришельевский лицей для преподавания наук кандидатов Виленского университета Ежовского и Мицкевича, его сиятельство предлагает правлению сделать немедленно распоряжение о предоставлении им соответственно знаниям и способностям кафедр в лицее. Его сиятельство полагает, что Ежовский и Мицкевич с пользою могут преподавать уроки древних языков; впрочем, предлагает правлению войти в соображение, какие предметы можно именно им предоставить



«СТИХОТВОРЕНИЯ АДАМА МИЦКЕВИЧА», ИЗДАНИЕ 1829 г. ПЕТЕРБУРГ. ЭКЗЕМПЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА А. А. ДЕЛЬВИГУ

Перевод: «Барону фон Дельвигу в память дружбы. Адам Мицкевич»

Собрание К. В. Пигарева, Москва

смотря по удобности. По назначении сим двум кандидатам занятий производить им жалование из оставшихся сумм от кафедр, незамещенных преподавателями, или из определенных сумм на жалование адъюнктам с тем, чтобы на первый раз назначить каждому из них годовые оклады от 600 до 750 рублей и о распоряжениях по сему предмету предлагает правлению донести ему без всякого замедления, для доведения о том до сведения г. министра народного просвещения.

Б) Отношение г. министра народного просвещения к управляющему Ришельевским лицеем графу Ивану Осиповичу, от 16-го декабря 1824 года за № 3638, последовавшее о том, что высочайше конфирмованным в 14 день августа 1824 года журналом комитета, высочайше учрежденного для рассмотрения дел, относящихся до беспорядков, случившихся в Виленском университете, между прочим постановлено: 1. Десять человек филоматского общества, кои посвятили себя учительскому званию, а также из тех филаретов кои оказались деятельнейшими по предосудительным видам сего общества, не оставляя в польских губерниях, где они думали распространить безрассудный польский национализм посредством обучения, предоставить министру народного про-

свещения употребить по части училищной в отдаленных от Польши губерниях, впредь до разрешения им возвратиться на свою родину. Во исполнение сего г. попечитель Виленского учебного округа, выслав сих студентов в Петербург, доставил ему именной им список *с отметкой против каждого имени, к какому занятию или в какую должность* по своим способностям и собственному желанию кто из них употреблен быть может. Рассмотрев сии объяснения, он, г. министр, нашел, что большая из них часть по несовершенному знанию русского языка не может преподавать наук на сем языке и, следовательно, не могут принести большой пользы русским училищам. Донеся о сем всеподданнейше государю императору, испрашивал он, г. министр, всемилостивейшего его дозволения из числа сих студентов, тех, кои пожелают быть учителями, принять на учительские вакансии вне польских губерний, а другим разрешить определение на службу его императорского величества, по собственному их желанию здесь в С.-Петербурге или в других отдаленных от Польши губерниях, предоставя всем им право вступить на службу классами, соответствующими той ученой степени, которую они получили в Виленском университете. На сие получил он, г. министр, высочайшее его императорского величества повеление: «Здесь в Петербурге никого не оставлять, а разместить по их желанию и способностям в другие, только не в польские, города, сделав нужные для них пособия». Во исполнение сей высочайшей воли приказал он, г. министр, отобрать от сих студентов сведения: *в какой род службы и куда именно кто из них поступить желает*. Вследствие сего кандидаты философии Осип Ежовский и Адам Мицкевич объявили, что желают служить при Ришельевском лицее. В доставленной же от г. попечителя Виленского учебного округа отметке сказано: против имени Ежовского, что мог бы преподавать греческую и римскую словесность, а также педагогику и философию на латинском языке; против имени Мицкевича, что он мог бы преподавать словесность древних языков и эстетику на немецком, французском, латинском и русском языках. По сему он, г. министр, приказал Ежовскому и Мицкевичу отправиться к г. управляющему лицеем просить его предписать начальству Ришельевского лицея принять их в сие учебное заведение для преподавания тех наук, коим они обучались в Виленском университете, назнача им приличное жалование. Буде же по каким причинам не найдется удобности определить их в лицей, в таком случае предоставить им приискать для себя другие места, сообщив тогда начальникам, где они служить пожелают, помянутое состоявшееся об них высочайшее повеление об определении их в службу, не в польских, но в отдаленных от Польши губерниях, с классами, ученым степеням им присвоенными. По получении на сие извещения, он, г. министр, сделает распоряжение и о доставлении куда следовать будет из Виленского университета свидетельств на полученную ими степень кандидата. При сем его высокопревосходительство, г. министр народного просвещения, уведомляет, что, по бедному состоянию Ежовского и Мицкевича, выдано им, сверх прогонных денег до Елисаветграда, на путевые издержки по триста рублей каждому.

В) Предписание его сиятельства г. управляющего лицеем графа Ивана Осиповича Витта от 14 февраля сего года № 48, последовавшее на имя г. исправляющего должность директора лицея надворного советника Дитерихса о том, дабы с приездом в Одессу, для преподавания в сем заведении учебных предметов, двух кандидатов Виленского университета, Ежовского и Мицкевича, и по прибытии в лицей была им отведена квартира в заведении и дабы они пользовались столом наравне с прочими преподавателями.

Определили: Так как в лицее для помещения кандидатов Ежевского и Мицкевича никаких вакантных мест не имеется, на коих они могли бы быть определены, потому что по части латинской и греческой словесности, кроме чиновников, утвержденных г. министром, класс латинской грамматики с пользою занимается исправляющим должность профессора коммерческих наук Симановичем; класс греческий грамматики занят с ведома его сиятельства по распоряжениям правления титулярным советником Аргиропуло, который также преподает с пользою, а класс риторики и словесности греческой, по предложению его сиятельства, г-ном Пиципио, который также с успехом продолжает преподавание сих предметов,— т. е. представить упомянутым кандидатам Виленского университета отыскать для себя другие места и по приискании о них уведомить правление.

Во уважение же недостаточного их состояния снабдить их квартирою и столом до приискания ими мест, о чем донести его сиятельству г. управляющему лицеем. Впрочем, предоставить на благоусмотрение его сиятельства, что, если сии места не были заняты, то Ежовский мог бы заняться преподаванием риторики и словесности греческой, а Мицкевич греческой и латинской грамматики.

Управляющий ⟨подпись⟩

Фонд Ришельевского лицея, д. 95, Журнал правления лицея по учебной части, лл. 35—38.

⟨II⟩

⟨ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОДЕССКОГО ЛИЦЕЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ВЫДАЧЕ МИЦКЕВИЧУ И ЕЖОВСКОМУ ПРОГОННЫХ ДЕНЕГ⟩

20 октября 1825 г.

Предложение его сиятельства г-на управляющего Ришельевским лицеем от 15 октября сего года № 448, коим изъяснив, что по донесению г-на исправляющего должность директора, надворного советника Дудровича, от 29-го июня сего года о желании кандидата Мицкевича служить в канцелярии г-на московского военного генерал-губернатора, его сиятельство входил с представлением к г-ну министру народного просвещения, который по учиненному сношению с князем Дмитрием Владимировичем Голицыным уведомил его сиятельство от 26 минувшего сентября, что Мицкевич может быть определен в его канцелярию. Вследствие того его высокопревосходительство предписал распорядиться об отправлении Мицкевича в Москву, снабдить его казенною подорожною, прогонными на две лошади, деньгами и пособием таким, какое получил кандидат Ежовский, т. е. 300 рублей, с тем, что деньги сии всего 465 руб. 61 коп. в свое время будут возвращены в правление лицея. Сообразно таковому предписанию г-на министра народного просвещения его сиятельство предлагает г-ну исправляющему должность директора, надворному советнику Дудровичу, объявить кандидату Мицкевичу и доложить о сем правлению Ришельевского лицея для должного со стороны оного распоряжения и исполнения.

Определили: Согласно с предложением его сиятельства отнестись к его превосходительству г-ну одесскому градоначальнику о выдаче кандидату Виленского университета Мицкевичу подорожной на две лошади для проезда из Одессы в Москву причитающиеся же Мицкевичу прогонные на две лошади деньги 165 руб. 61 коп. да на путевые издержки 300 рублей, всего 465 р. 61 коп. выдать по получении из таможни как сказано во 2-ой статье определения сего журнала такой же суммы 465 р. 61 коп., выданной на тот же предмет кандидату Виленского университета Ежовскому и следуемой в возврате лицею, записав оную по надлежащему приходом из таможни, а потом расходом в выдачу Мицкевичу, по той же кассе, из которой сии деньги вынуты заимообразно для отправления Ежовского. По возвращении лицею сих 465 руб. 61 коп., к выдаче Мицкевичу следуемых, просить его сиятельство г-на Управляющего лицеем снестись по своему благоусмотрению.

Фонд Ришельевского лицея, д. 95, Журнал правления лицея по экономической части, лл. 262—263.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. И. Ленин. Соч., т. 23, стр. 234.

[2] L. Mickiewicz. Adam Mickiewicz, sa vie et son oeuvre. Paris, 1888, стр. 66—71; его же. Żywot Adama Mickiewicza, t. I. Posnań, 1890, стр. 209—232; P. Chmielowski. Ad. Mickiewcz, t. I. Warszawa, 1886, стр. 324—336; А. Л. Погодин. Адам Мицкевич. Его жизнь и творчество, т. I. М., 1912, стр. 324—363; S. Szpotanski. Ad. Mickiewicz i jego epoka, t. I. Warszawa, 1921, стр. 151—152; J. Kallenbach. Adam Mickiewicz, t. I. Lwów. 1926, стр. 330—345.

[3] J. Kleiner. Mickiewicz, t. I. Lwów, 1934, стр. 432—435 (последнее изд.: Lublin, 1948); J. Tretiak. Mickiewicz w Odessie. — В кн.: «Szkice literackie». Serya I. Kraków, 1896, стр. 86—114.

[4] Pamiętniki Fr. Kowalskiego. Глава «Odessa. Ad. Mickiewicz i Puszkin».— «Biblioteka Warszawska», 1857, t. IV, стр. 347—381 (отрывок из этой главы появился в 1857 г. в «Русском инвалиде», № 277).

Книга воспоминаний Фр. Ковальского («Wspomnenia 1810—1823. Pamiętniki», первое изд.: Киев, 1859) не дает материалов по интересующему нас вопросу.

[5] Ковальский рисует даже «портрет» Пушкина, который представляет материал для истории «мифа о Пушкине»: «Несколько тучный, крепкого сложения, видимо геркулесовой силы, ибо возле него стояла железная палка, которой он размахивал, как перышком. Он был одет просто, в зеленый сюртук, застегнутый доверху так, что нельзя было заметить галстука на его короткой шее. Его приятное бритое лицо было округленным и румяным, глаза голубые, лоб выпуклый, волосы на голове короткие, темный блондин, руки широкие, сильные, пальцы длинные с никогда нестриженными, но чистыми ногтями...» (Указ. соч., стр. 352).

[6] К. П. Зеленецкий. Заметка о Пушкине и Мицкевиче.— «Одесский вестник» от 13 февраля 1858; то же — «Русский инвалид», 1858, № 44; на польском языке — «Biblioteka Warszawska», 1858, t. III, стр. 166—169; перепечатано в книге «Ришельевский лицей и имп. Новороссийский университет. Сборник, изданный бывшими воспитанниками лицея и университета», ч. I. Одесса, 1898, стр. 85—88.

[7] «Biblioteka Warszawska», 1858, t. IV, стр. 259.

[8] Kar. Kaczkowski. Wspomnienia z papierów pozostalych..., t. II. Lwów, 1876, стр. 115—117.

[9] Marya z Mickiewiczów Gorecka. Ze wspomnień o moim ojcie.— «Pamiętnik Towarzystwa literackiego im. Ad. Mickiewicza», t. II. Lwów, 1888, стр. 238—240.

[10] Работа эта вышла отдельным изданием под названием: Aёr «Mickiewicz w Odessie i jego twórzcość z tego czasu». Warszawa, 1898.

[11] И. К. ‹Кучинский›. Мицкевич в Одессе.— «Исторический вестник», 1898, № 3, стр. 1046—1053. Работа Ржонжевского-Аэра изложена в еще более сокращенном виде в статье М. Попруженко «Мицкевич в Одессе».— «Одесский листок» от 25 декабря 1905 г. Абсолютно ничего не дает исследователю статья Ф. Неслуховского «Мицкевич в России» («Исторический вестник», 1880, №№ 4 и 5). С одесским периодом автор разделался одной фразой: «Мы не имеем никаких положительных известий об образе жизни и положении Мицкевича, равно как и лицах его окружающих» (№ 5, стр. 24). В заметке П. Б. ‹Бартенева› «Адам Мицкевич. (Записано со слов покойного М. А. Максимовича)» («Русский архив», 1898, № 7, стр. 480) Одессе посвящена тоже только одна строка и та совершенно ошибочная: Мицкевич «получил место в Одессе чиновником у графа Воронцова, супруга которого по отцу была полька».

[12] См. комментарий Т. Г. Зенгер к письмам Пушкина к Собаньской.— В кн.: «Рукою Пушкина». М.—Л., 1935, стр. 198—208.

[13] А ё г. Указ. соч., стр. 6.

[14] L. Mickiewicz. Ad. Mickiewicz, sa vie..., стр. 19.

[15] Dzieła wszystkie Ad. Mickiewicza, t. XIII. Warszawa, 1936, стр. 250—258; ср. А. Мицкевич. Собр. соч., т. V. М., 1954, стр. 353—356, 614.

[16] Ф. Вержбовский. К биографии Адама Мицкевича в 1821—1829 гг. СПб., 1898 (отд. оттиск из т. 66 «Сборника Отделения русского языка и словесности Академии наук»).

[17] А. А. Рябинин-Скляревский. Адам Мицкевич в ссылке в Одессе в 1825 г.— «Былое», 1925, № 4, стр. 154—162.— Эта же статья почти без всяких изменений была опубликована на украинском языке как раздел VI работы «Таємні товариства на півдні в епоху декабристів».— «Рух декабристів на Україні». Харьков, 1926, стр. 147—155.

[18] См. в особенности: М. С. Живов. Адам Мицкевич. Вехи жизни и творчества.— Собр. соч. Мицкевича, т. I. М., 1948, стр. 31—33; М. Рыльский. Великий польский поэт-революционер.— «Коммунист», 1955, № 16; ср. также: С. Я. Боровой. Мицкевич и декабристы — газ. «Большевистское знамя» (Одесса) от 24 декабря 1948 г.; И. Зайцева. Мицкевич и декабристы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологич. наук. Моск. обл. пед. институт. М., 1952. В статьях М. А. Цявловского («Мицкевич и его русские друзья».— «Новый мир», 1940, № 11-12), Д. Д. Благого («Мицкевич в России». — «Красная новь», 1940, № 11-12) одесскому периоду посвящено только несколько строк. Немного подробнее об этом говорит А. Чаковский («Адам Мицкевич».— «Октябрь», 1940, № 12). Г. Вервес в своей работе «Мицкевич на Украине», включенной в его книгу «Адам Міцкевич в українській літературі». Киев, 1952 (стр. 26—44), исходит из правильной концепции, что «знакомство и дружба с декабристами имели совершенно исключительное значение для Мицкевича» (стр. 13), но автор не поставил перед собой задачу дать конкретно-исторический анализ общественных связей Мицкевича во время его пребывания на Украине и посвятил «одесской главе» немногим более двух страниц (стр. 26—28).

[19] St. Żółkiewski. Spór o Mickiewicza. Wrocław, 1952, стр. 81, 83.

[20] См. работы: Л. Подгорский-Околув (L. Podhorski-Okólów). Ludzilem despotą.— «Odrodzenie», 1949, № 8; Л. Гомолицкий. Dziennik pobytu Ad. Mickiewicza w Rosji. Warszawa, 1949; его же. Mickiewicz wśród rosjan. Warszawa, 1950; С. Фишман. Mickiewicz w Rosji. Warszawa, 1949; Г. Шипер. Ad. Mic-

kiewicz. Poeta i człowiek czynu. Warszawa, 1950; М. Я с т р у н. Mickiewicz. Warszawa, 1955, стр. 134—146 и др.

[21] М. С. Живов. Указ. соч., стр. 27.

[22] См. об этом Д. Б. Кацнельсон. К вопросу об отношении Адама Мицкевича к народному творчеству (1820—1829). — «Ученые записки Института славяноведения», т. VIII. М.—Л., 1954, стр. 187—197.

[23] С. С. Советов. Творческий путь Адама Мицкевича.— «Ученые записки Института славяноведения», т. II. М.—Л., 1950, стр. 119—122.

В постановке вопроса о роли филоматов и филаретов в формировании мировоззрения Мицкевича я имел возможность использовать ценные замечания С. С. Советова, которому выражаю глубокую благодарность.

[24] Ф. Вержбовский. К биографии А. Мицкевича..., стр. 26; ср. также: Одесский гос. областной архив. Фонд Ришельевского лицея (в дальнейшем обозначается: ФРЛ), д. 21 «О кандидатах Виленского университета Ежовском и Мицкевиче», л. 5.

[25] В письме к Войдзевичу от 13 февраля 1823 г. Бестужев писал: «По-польски я еще разумею порядочно и перевожу не редко, но писать уже не осмеливаюсь» («Летописи», стр. 69). Знакомство Рылеева с польским языком началось еще в годы обучения в кадетском корпусе; усовершенствовался он в знании языка, живя в 1815 г. в Несвиже. Рылеев настолько хорошо владел польским языком, что даже писал по-польски (см. его письмо к автору «Исторических песен» Юл. Немцевичу.—Рылеев. Соч., стр. 466). Подробнее о знакомстве Рылеева с польским языком см.: В. И. Маслов. Литературная деятельность Рылеева. Киев, 1912, стр. 174—179. Из недавно опубликованного рассказа рассыльного «Полярной звезды» мы узнаем, что Рылеев владел и разговорной польской речью («Лит. наследство», т. 59, 1954, стр. 255).

[26] См. С. Фишман в предисловии к воспоминаниям И. Лобойко о процессе филаретов, опубликованным в переводе на польский яз. в журн. «Kwartalnik Instituto Polsko-Radzieckiego», 1953, № 2-3, стр. 112.— О Лобойко см. также во вступительной заметке В. В. Данилова к публикации «Воспоминания о Рылееве И. Н. Лобойко».— «Декабристы и их время», 1951, стр. 23—24.

[27] Нечкина. Грибоедов, стр. 596.— О встречах Мицкевича с Грибоедовым в 1828 г. см. в письме П. А. Вяземского к В. Ф. Вяземской от 12—17 мая 1828 г. («Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 79).

[28] Ф. Вержбовский. К истории тайных обществ и кружков среди литовско-польской молодежи в 1819—1823 гг. Варшава, 1898, стр. 90—91 (отд. оттиск из «Варшавских университетских известий», 1898).

[29] «Памяти декабристов», I, стр. 70.

[30] Ф. Вержбовский. К биографии А. Мицкевича..., стр. 27.

[31] Там же, стр. 25—26.

[32] А. Л. Погодин. Указ. соч., т. I, стр. 323.

[33] Ципринус. Калейдоскоп воспоминаний.— «Русский архив», 1872, стб. 1900.— По словам мемуариста (его подлинная фамилия — Пшеславский), именно он, приятель Мицкевича по Вильнюсу, как родственник жены Шишкова, ввел Мицкевича в дом министра. Однако этот рассказ, часто повторяемый биографами поэта (ср., например, P. Chmielowski. Указ. соч., т. I, стр. 319), не заслуживает доверия. Еще Владислав Мицкевич указал, что Шишков женился только в 1826 г. («Żywot Adama Mickiewicza», t. I, стр. 198).

[34] «Ustęp z pamietników Mik. Malinowskiego» напеч. в «Korespondencyi Ad. Mickiewicza», t. IV, стр. 9.

[35] L. Mickiewicz. Żywot Adama Mickiewicza, t. I, стр. 199.— Один из друзей Мицкевича по Вильнюсу — Лозинский — писал 18 марта 1825 г. из Петербурга, что «царь рассердился на министра» за то, что тот разрешил Ежовскому и Мицкевичу поехать в Одессу (см. неизд. письмо к Петрашкевичу, члену филоматского общества, цит. в кн.: J. Kleiner. Указ. соч., стр. 433).

[36] J. Kleiner. Указ. соч., стр. 414.

[37] И. И. Михневич. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 по 1857 г. Одесса, 1857, стр. 29.—О Витте говорили, что он как попечитель лицея оказывал покровительство полякам. Н. Н. Мурзакевич вспоминал: при Витте «штат казеннокоштных воспитанников ⟨лицея⟩ наполнился детьми шляхты, бывшей управителями имений, ему родственных польских панов» («Автобиография». СПб., 1886, стр. 70).

[38] Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета, ч. I. М., 1856, стр. 325.

[39] J. Tretiak. Młodość Mickiewicza, t. II, 1898, стр. 284.

[40] Ципринус. Указ. соч., стб. 1928.

[41] Ф. Вержбовский. К биографии А. Мицкевича..., стр. 30; ФРЛ, д. 21, л. 40.

[42] Аёг. Указ. соч., стр. 3—4.

[43] P. Chmielowski. Указ. соч., т. I, стр. 323.— О роли киевской «контрактовой» ярмарки в общественной жизни польской шляхты на Украине см. H. Ułaszyn. Kontrakty Kijowskie. Szkic historyczno obyczajowy. P., 1900, стр. 36 и сл.

[44] И. И. Беккер. Декабристы и польский вопрос. — «Вопросы истории», 1948, № 3, стр. 69; см. также: «Pamiętniki Olizara». Lwów, 1892, стр. 162; показания Пестеля — ВД, т. IV, стр. 80, 106—108; Л. А. Медведская. Южное общество декабристов и польское патриотическое общество. — В сб. «Очерки из истории движения декабристов». М., 1954, стр. 299—301.

[45] П. Хмелевский (указ. соч., т. I, стр. 323) высказал предположение, что Мицкевич встретился в Киеве с Бестужевым и Рылеевым, но это неверно.

[46] Ф. Вержбовский. К биографии А. Мицкевича..., стр. 27—28; ФРЛ, д. 21, л. 5.

[47] Н. Н. Мурзакевич. Указ. соч., стр. 70.

[48] L. Mickiewicz. Adam Mickiewicz, sa vie..., стр. 77.

[49] Наиболее полная биографическая сводка материалов о Витте сделана Н. П. Чулковым в «Сборнике биографий кавалергардов 1761—1801», т. II. СПб., 1904, стр. 448—458. — Ядовитая, но очень содержательная характеристика Витта дана Ф. Ф. Вигелем («Записки», ч. VI. М., 1892, стр. 136—137).

[50] Ad. Mickiewicz. Literatura słowianska, t. II, стр. 286 («Dzieła», wyd. Pini. Lwów, s. a., t. VI).

[51] Аёг. Указ. соч., стр. 5.

[52] Н. К. Шильдер. Император Николай I, т. I. СПб., 1903, стр. 526.

[53] Ф. Вержбовский. К биографии А. Мицкевича..., стр. 1—32; ФРЛ, д. 21, л. 4.

[54] Там же, стр. 31; ФРЛ, д. 21, л. 6.

[55] Ср. ФРЛ, д. 91 (1824) «О выдаче жалованья».

[56] L. Mickiewicz. Żywot Adama Mickiewicza, т. I, стр. 207.

[57] Ф. Вержбовский. К биографии А. Мицкевича..., стр. 33—34; ФРЛ, д. 95 (1825) «Журнал по учебной части», лл. 35—38.

[58] J. Kleiner. Указ. соч., стр. 433.

[59] ЦГВИА, ф. № 36, оп. 3/847, св. 10, д. 8, л. 3. — Цит. по статье Б. Ф. Стахеева «Среди русских друзей». — «Иностранная литература», 1955, № 4, стр. 186.

[60] И. И. Михневич. Исторический очерк, стр. 24—26, 30, 39—40.

Вопреки утвердившейся в дореволюционной литературе апологетической оценке Благородного института, обучавшийся в нем декабрист Поджио вспоминал: «Я воспитывался в Одесском институте, существовавшем еще при покойном дюке де Ришелье. Сие училище относительно к наукам и к получаемому в нем образованию ума и нравственности, было самое ничтожное» (ВД, т. XI, стр. 36).

[61] Н. Н. Мурзакевич. Указ. соч., стр. 70. — Об упадке лицея в те годы см. также П. Свиньин. Взгляд на Одессу. — «Отеч. записки», 1830, январь, стр. 30 и сл.

[62] Там же, стр. 78; И. И. Михневич. Указ. соч., стр. 30.

[63] ФРЛ, д. 19 (1825) «О выборе директора».

[64] Ad. Mickiewicz. Korespondencya, т. II, стр. 9.

[65] Атлас планов неосуществленного здания опубликован в качестве приложения к кн.: «Etablissement du lycée Richelieu». Paris, 1817.

[66] И. И. Михневич. Указ. соч., стр. 11.

[67] «Ришельевский лицей и имп. Новороссийский университет...», ч. I, вторая пагинация, стр. 86.

[68] Аёг. Указ. соч., стр. 5.

[69] «Biblioteka Warszawska», 1857, т. IV, стр. 369.

[70] Одесский гос. областной архив, фонд Линниченко, д. 295, лл. 143—144.

[71] ФРЛ, д. 13 (1826) «О назначении директора»; ср. также д. 39 (1825), д. 79 (1825).

[72] Характеристика преподавателей лицея тех лет дана А. Сумароковым в «Воспоминаниях об Одесском Ришельевском лицее с 1822 по 1828 гг.» — «Одесский вестник», 1885, № 259 и сл. Почти полностью перепечатано в кн.: «Ришельевский лицей и имп. Новороссийский университет», ч. I.

[73] Н. Н. Мурзакевич. Указ. соч., стр. 77.

[74] Антонио Пиллер род. в Палермо в 1776 г.; в 1813 г. опубликовал в Москве (на французском языке) учебник итальянского языка, в 1817 г. — итальянскую хрестоматию «Miscellanea». Эти книги в течение долгого времени были в России основными пособиями для изучения итальянского языка. В делах лицея сохранился собственноручно составленный Пиллером список его печатных произведений.

[75] ФРЛ, д. 19 (1824) «Об экзаменах в Одесском Ришельевском лицее 1824 года и о торжественном акте по случаю окончания 2-го учебного курса», л. 14.

[76] Там же, д. 23 (1826) «О получаемых книгах».

[77] Там же, д. 19 (1824).

[78] «Ришельевский лицей», стр. 61—62. — Отрицательную характеристику Гриневича дает также М. Чалый в воспоминаниях («Киевская старина», 1889, № 10, стр. 123). См. о нем: ФРЛ, д. 83 (1824) «О чиновниках»; д. 79 (1825) «О формулярах».

[79] См. письмо В. К. Кюхельбекера от 15 января 1824 г. — «Летописи», стр. 165.

[80] А. В. Флоровский. Состав масонской ложи «Понт Эвксинский» в Одессе. — «Известия Одесского библиографического общества», т. I, 1913, стр. 351—356; ср. «Рух декабристів на Україні». Харьков, 1926, стр. 127—129. См. также заметку «Масони Рищельєвського ліцею» («Вісник Одеської комісії краєзнавства», ч. 2-3, 1925, стр. 134—140). Хотя эта заметка и основана на архивных материалах, но содержит нелепые утверждения. Так, например, Витт изображен в ней как «передовой человек...», сочувствовавший декабристам.

[81] Семевский, стр. 318.

[82] М. В. Нечкина. Общество Соединенных Славян. М.—Л., 1927, стр. 191.

[83] «Вісник Одеської комісії краєзнавства», ч. 2-3, стр. 135, 139.— Не делая никаких ссылок на источники, автор этой заметки утверждает, что принадлежность Ежовского к масонам засвидетельствована подпиской, данной им в Москве в 1826 г.

[84] Рукописные номера «Ареопага» до сих пор не подвергались достаточно углубленному изучению. Наиболее подробные сведения об этом журнале см.: В. С. Алексеев-Попов. Пушкин и литературная жизнь Одессы.— Сб. «Пушкін в Одесі». Одесса, 1949, стр. 126—133; ср. также статью А. И. Кирпичникова в кн.: «Одесса 1794—1894». Одесса, 1895, стр. 589—592 (перепечатана в его книге «Очерки по истории новой русской литературы», изд. 2, т. I. СПб., 1903, стр. 462—464); А. М. Де-Рибас. «Ареопаг» о Пушкине.— Сб. «Пушкин. Статьи и материалы», I. Одесса, 1925, стр. 63—65.

[85] А. Сумароков. К чествованию памяти Пушкина.— В кн.: «Отзывы о Пушкине с юга России... собрал В. Яковлев». Одесса, 1887, стр. 154—156.

[86] «Отзывы о Пушкине с юга России...», стр. 10.

Н. Г. Тройницкий (впоследствии редактор «Одесского вестника»), окончивший лицей в 1832 г., вспоминал, что лицеист А. Яворский, который выполнил несколько рисунков для «Ареопага», «снял и портрет в профиль с молодого тогда Мицкевича, водворенного на жительство в лицее, во время его ссылки» («Ришельевский лицей и Новороссийский университет», стр. 84, прим.). К сожалению, портрет этот не сохранился, однако самый факт его существования знаменателен.

[87] «Русская старина», 1904, № 2, стр. 358; см. также: А. Флоровский. Собрание высочайших грамот и указов в архиве упраздненного Новороссийского и Бессарабского генерал-губернаторского управления. Одесса, 1912.

[88] Н. К. Шильдер. Николай I, т. I. СПб., 1903, стр. 247.

[89] «Сборник Русского исторического общества», т. 131. СПб., 1910, стр. 19.

[90] Опубликовано Ю. Г. Оксманом в статье «А. В. Кольцов и тайное „Общество независимых“».— «Ученые записки Саратовского гос. университета», т. XX, 1948, стр. 67—68.

[91] ЦГИАЛ, ф. № 586, оп. 2, д. 1336, лл. 105—107.

[92] Подробнее см.: Ю. Г. Оксман. Одесские вольнодумцы пушкинской поры.— «Былое», 1923, № 21, стр. 49—56; его же. Отзвуки декабрьских событий 1925 г. в Новороссии.—Сб. «Декабристы. Неизданные материалы и статьи». М., 1925, стр. 75—80; его же. А. В. Кольцов и тайное «Общество независимых», стр. 57—70.

[93] «Исповедь Шервуда-Верного».— «Исторический вестник», 1895, № 1, стр. 70.

[94] В. С. Шадури. Друг А. Пушкина А. Шишков. Тбилиси, 1951, стр. 107—115.

[95] «Исповедь Шервуда-Верного», стр. 81.

[96] Волконский, стр. 409.

[97] В. В. Стратен. Одесский список оды «Вольность».— «Пушкин. Статьи и материалы», II. Одесса, 1926, стр. 1—4. Подробнее см. в статье В. С. Алексеева-Попова «Пушкин и литературная жизнь Одессы».— Сб.: «Пушкін в Одесі». Одесса, 1949, стр. 104—106.

[98] «Красный архив», 1930, № 1, стр. 174 и сл.— В данной публикации это письмо было ошибочно датировано 24 марта. Обоснование новой, исправленной, датировки см.: «Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 42.

[99] Dzieła wszystkie Ad. Mickiewicza, t. XIII. Warszawa, 1936, стр. 250.

[100] Это письмо опубликовано впервые Н. Ш.<угуровым>.— «Киевская старина», 1899, № 3, стр. 297—302. Оно хранилось в собрании рукописей П. Дорошенко (В. И. Маслов. Литературная деятельность Рылеева. Киев, 1912, стр. 49).

[101] См. о нем: С. Н. Браиловский. В. И. Туманский.—В кн.: В. И. Туманский. Стихотворения и письма. СПб., 1912, стр. 7—41. Новый чрезвычайно ценный материал для характеристики общественно-политических воззрений Туманского см.: Базанов, стр. 277—280.

[102] Базанов, стр. 257, 407.

[103] ВД, т. I, стр. 513.

[104] Письмо В. И. Туманского к Кюхельбекеру.— В. И. Туманский. Стихотворения и письма. СПб., 1912, стр. 252—253; см. также: Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, стр. 462—463.

[105] Об этом Туманский писал С. Г. Туманской («Стихотворения и письма», стр. 266); ср. также: «Пушкин. Статьи и материалы», III. Одесса, 1926, стр. 76.

[106] См. письмо В. И. Туманского к Булгарину («Стихотворения и письма», стр. 274).

[107] Кроме писем, опубликованных Браиловским, см. также: письмо Туманского к Бестужеву от 18 сентября 1823 г.— «Русская старина», 1888, № 11, стр. 319—320; письмо Рылеева к Туманскому — Рылеев. Соч., стр. 472—474; а также упоминание о Туманском в дневнике Бестужева (от 29 января 1824 г.)— «Памяти декабристов», I, стр. 62.

[108] Базанов, стр. 279.

[109] В. И. Туманский. Стихотворения и письма, стр. 250.

[110] Базанов, стр. 277.

[111] В. И. Туманский. Стихотворения и письма, стр. 292—293.

[112] «Киевская старина», 1899, № 3, стр. 299—300.

[113] О Сабурове, чиновнике канцелярии Воронцова, и о его переписке с Пушкиным см.: «Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 38.

[114] Обстоятельные биографические справки о них можно найти в «Материалах для биографического словаря одесских знакомых Пушкина» («Пушкин. Статьи и материалы», III. Одесса, 1926).

[115] Интересно напомнить, что после отъезда из Одессы Малевский встречался с Пушкиным (в 1827 г.). См. публикацию Т. Г. Цявловской «Пушкин в дневнике Франтишка Малевского».— «Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 263—268.

[116] М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951, стр. 266.— Познакомившись с нашей статьей в рукописи, М. В. Нечкина высказала интересное предположение — не является ли этот ошибочный рассказ о ссылке Пушкина «на границу Персии» результатом контаминации: рассказчик невольно соединил в памяти ссылку Пушкина и отъезд Грибоедова в Персию?

[117] «Литературный архив», т. I. М.—Л., 1938, стр. 143—146. Принадлежность стихотворения Олизару обоснована в заметке В. Чернобаева (там же, стр. 146—148).

[118] А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. II. СПб., 1905, стр. 240.

[119] Цитирую по русскому переводу в Собр. соч. Мицкевича, т. IV. М., 1954, стр. 383.

[120] F. Kowalski. List do redakcyi.— «Biblioteka Warszawska», т. IV, 1858, стр. 255.

[121] Ср. М. Д. Бутурлин. Записки.— «Русский архив», 1897, № 8, стр. 571; Аёг. Указ. соч., стр. 29, 31.

[122] Подробные биографические справки об одесском «свете» см. также в «Материалах для биографического словаря одесских знакомых Пушкина» («Пушкин. Статьи и материалы», III. Одесса, 1926).

[123] J. Tretiak. Указ. соч., стр. 95.

[124] Olizar. Pamiętniki. Lwów, 1892.— Мемуары Олизара малосодержательны и для решения интересующего нас вопроса не дают почти ничего. Об Олизаре см. также в «Материалах для биографического словаря одесских знакомых Пушкина», стр. 70—71; Л. А. Медведская. Указ. соч., стр. 296—297.

[125] R. Lee. The last days of the emperor Alexandre. S. a., s. l. («Последние дни императора Александра I»).—Редчайшая брошюра, вышедшая без обозначения места и года издания на правах рукописи. Пользуюсь экземпляром, принадлежавшим Николаю I (хранится в отделе «Россика» ГПБ).

[126] Ф. Ф. Вигель. Указ. соч., ч. VI, стр. 186.

[127] С. С. Советов. Указ. соч., стр. 122.

[128] М. Д. Бутурлин. Записки.— «Русский архив», 1897, № 5, стр. 24.

[129] Аёг. Указ. соч., стр. 11.

[130] Грибоедов. Полн. собр. соч., т. III. Пг., 1917, стр. 176, 332. —О поездке Грибоедова в Киев летом 1825 г. и о политических целях этой поездки см.: Нечкина. Грибоедов, стр. 450—481.

[131] M. Dubiecki. Na kresach i za kresami. Киев, 1914, стр. 308.

Впрочем, к сообщениям Дубецкого следует относиться критически. Так, он причислял историка А. Скальковского, с которым беседовал в Одессе, к лицам, лично встречавшимся с Мицкевичем в Одессе. Между тем нам известно, со слов самого Скальковского, что он приехал в Одессу только в 1828 г. (см. «Отзывы о Пушкине с юга России». Одесса, 1887, стр. 150).

[132] П. Н. Берков. «Аккерманские степи» Мицкевича.— «Доклады и сообщения Филологического института ЛГУ», вып. 3, 1951, стр. 270.— Об Аккермане как об одном из очагов революционного движения двадцатых годов XIX в. см.: П. Н. Берков. Заметка к биографии А. Пушкина.—«Вестник Ленинградского гос. университета», 1949, № 6, стр. 140—144.

[133] M. Dubiecki. Указ. соч., стр. 315.

[134] «Алфавит декабристов», стр. 128, 215.

[135] ВД, т. X, стр. 127.

[136] Ср. подробнее в воспоминаниях Фр. Ковальского.—«Biblioteka Warszawska», 1857, т. IV, стр. 362—363.

[137] Аёг. Указ. соч., стр. 15.

[138] М. С. Живов. Адам Мицкевич. Вехи жизни и творчества.— В Собр. соч. Мицкевича, т. I. М., 1948, стр. 32.

[139] Kar. Kaczkowski. Указ. соч., стр. 115.
[140] P. Chmielowski. Указ. соч., т. I, стр. 326.
[141] Сводку биографических данных о нем см.: «Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej», t. III. Warszawa, 1910, стр. 379—382.
[142] Напечатано в кн.: «Poezye M. Goslawskiego». Лейпциг, 1864, стр. 230—231.— Под стихотворением обозначено: «1826 г. Одесса».
[143] S. Szpotański. Указ. соч., стр. 151—152.
[144] Kar. Kaczkowski. Указ. соч., стр. 117.
[145] ФРЛ, д. 39 (1825) «О служителях при доме Ришельевского лицея», л. 9.
[146] Там же, д. 34 (1824) «Об обревизовании счетных дел», лл. 3 и сл.
[147] «Былое», 1925, № 4, стр. 159—160.
[148] Г. Вервес. Адам Міцкевич в українській літературі. Киев, 1952, стр. 32—33.
[149] Kar. Kaczkowski. Указ. соч., стр. 115—117.
[150] ФРЛ, д. 30 (1825) «Об изъятии некоторых учебных книг из употребления в Ришельевском лицее и о запрещении ввозить иностранные», л. 3.
[151] Там же, д. 21, л. 8; ср.: Вержбовский. К биографии А. Мицкевича..., стр. 34—35.
[152] Там же, л. 14 (в этом деле сохранилась только копия заявления Мицкевича; подлинник находится в бывш. архиве Министерства народного просвещения); ср. Вержбовский. Указ. соч., стр. 35.
[153] S. Szpotański пишет (указ. соч., стр. 151), будто Мицкевич пытался получить должность в Тифлисе, но это сообщение не находит никакого подтверждения в известных нам материалах.
[154] Ср. И. Л. Маяковский. Очерки по истории архивного дела в России, ч. I. М., 1941, стр. 223.
[155] См. документы, опубликованные Вержбовским, стр. 36—41.
[156] ФРЛ, д. 21, л. 10; ср. Вержбовский. Указ. соч., стр. 41.
[157] ФРЛ, д. 21, л. 12; ср. Вержбовский. Указ. соч., стр. 41.
[158] Соответствующие документы опубликованы Вержбовским в указ. соч., стр. 44—50.
[159] Ad. Mickiewicz. Korespondencya, t. I, стр. 8. Письмо это издатель ошибочно датировал 1824 г.— Интересно отметить, что опера Вебера, в которой широко использованы поэтические образы народного творчества, имела громадный успех у передовых, демократически настроенных слушателей. В частности, она была чрезвычайно популярна в среде декабристов (см. М. Ю. Барановская. Декабрист Николай Бестужев. М., 1954, стр. 33).
[160] Опубликовано Г. Мосцицким «Przyczynek do pobytu filomatów w Odessie (1825)».— «Kwartalnik historyczny», 1905, стр. 64—67.
[161] «Былое», 1925, № 4, стр. 157.— Автору этой публикации осталась неизвестной работа Мосцицкого, поэтому он недостаточно полно осветил причины, вызвавшие письмо в. к. Константина Павловича к Воронцову.
[162] Там же, стр. 158.
[163] ФРЛ, д. 21, л. 20.
[164] Там же, л. 21.—У Вержбовского этот документ не опубликован. В «Былом» (стр. 159) опубликован отрывок из письма полицмейстера на имя Воронцова, составленного на основании донесения Дудровича.
[165] Там же, л. 44; ср. Вержбовский. Указ. соч., стр. 43.
[166] Опубликовано в «Былом», 1925, № 4, стр. 160.
[167] Н. К. Шильдер. Император Николай I, т. I. СПб., 1903, стр. 526.
[168] Ф. Ф. Вигель. Записки, ч. VI, стр. 137.
[169] Ф. Ф. Вигель. Указ. соч.; М. Д. Бутурлин. Записки.— «Русский архив», 1897, № 5, стр. 19; см. также: «Архив Воронцова», т. 39, стр. 31, 155 и др.
[170] Наиболее полная биография Собаньской дана Т. Г. Зенгер в кн.: «Рукою Пушкина». М.—Л., 1935, стр. 184—208.— Этот содержательный очерк посвящен в основном анализу отношений Собаньской с Пушкиным; ср. также: «Архив Раевских», т. II. СПб., 1909, стр. 311 — 314.
[171] Ф. Ф. Вигель. Указ. соч., ч. VII, стр. 184—185.
[172] Т. Г. Зенгер. Указ. соч., стр. 193.
[173] Ф. Ф. Вигель. Указ. соч., ч. VII, стр. 186.
[174] Т. Г. Зенгер. Указ. соч., стр. 193 и сл.; Н. П. Чулков. — Сборник биографий кавалергардов, т. II. СПб., 1904, стр. 453—454.
[175] М. С. Живов. Указ. соч., стр. 32.
[176] О Мицкевиче в салоне Собаньской см.: Аёг. Указ. соч., стр. 13.
[177] «Русская старина», 1882, № 7, стр. 148—149.— Подлинник на французском языке.— Под «ними», конечно, надо понимать не «жителей польских губерний», а Мицкевича и Ежовского. Не вполне грамотный русский перевод должен был, очевидно, воспроизвести стиль неграмотного французского оригинала (до сих пор не опубликованного). Безграмотность Витта засвидетельствована Вигелем, писавшим не менее определенно: «...тем удивительнее казалось, что при его безграмотности,

он так сладко и так складно умел говорить» (Ф. Ф. Вигель. Указ. соч., ч. VI, стр. 136).

178 Ср. «Красный архив», 1925, № 2, стр. 198.

179 Ф. Ф. Вигель. Указ. соч., ч. VI, стр. 137.

180 С. Ковбасюк. Шебелинское восстание (гл. I. Граф Витт и реформа военных поселений).— «Сборник научных работ исторического факультета Одесского гос. университета», т. II, 1947, стр. 12.

181 Н. К. Шильдер. Император Николай I, т. I, стр. 238—239; его же. Император Александр I, т. IV. СПб., 1903, стр. 411.

182 Н. П. Чулков. Сборник биографий кавалергардов, т. II, стр. 425.

183 А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф Киселев и его время, т. I. СПб., 1882, стр. 243.

184 «Красный архив», 1925, № 2, стр. 204, 205.

185 ВД, т. VIII, стр. 42.

186 Интересно отметить, что Витт, фиксируя внимание шпионов на Лихареве и Давыдове, наносил этим удар по своим личным врагам. Дело в том, что Лихарев попал временно на службу в военные поселения, где он, по его словам, «был окружен отбросами общества и в первый раз почувствовал весь ужас существования». Он написал записку о военных поселениях, с которой ознакомил В. Л. Давыдова (своего дядю), а Давыдов передал ее Пестелю. Лихарев написал даже письмо Александру I о военных поселениях, чтобы «раскрыть ему, насколько он обманут своими вероломными слугами и насколько страдают интересы народа» (ср. Семевский, стр. 175).

187 Волконский, стр. 423—424.

188 Л. Реттель. Александр Пушкин.— «Звенья», III-IV, 1934, стр. 209—210; A. Mickiewicz. Les slaves, t. III. Paris, 1849, стр. 289.

189 L. Mickiewicz. Adam Mickiewicz, sa vie..., стр. 77; его же. Żywot Adama Mickiewicza, т. I, стр. 220.

190 Мурзакевич. Указ. соч., стр. 70.

191 «Красный архив», 1925, № 2, стр. 204—216.

192 Там же, стр. 198.

193 Аёг (указ. соч., стр. 13) приписывает Собаньской следующие слова о Ежовском и Малевском: «ce sont des savants, mais ennuyants à faire mourir».

194 Аёг. Указ. соч., стр. 13—16.

195 Marya z Mickiewiczów Gorecka. Ze wspomnien o moim ojcie.— «Pamiętnik towarzystwa literackiego im Ad. Mickiewicza». Rocznik II. Lwów, 1888, стр. 238—240. Во французском оригинале (беседа между Мицкевичем и Виттом велась, как всегда, по-французски) содержится непереводимый каламбур: «mais, qui est donc ce monsieur? Je ne le croyais occupé qu'à prendre des mouches».— «Oh, il nous sert à prendre toutes sortes des mouches».— «Prendre des mouches» кроме буквального смысла «ловить мошек» (намек на энтомологические занятия Бошняка) значит также «сердиться по пустякам».

196 L. Mickiewicz. Żywot Adama Mickiewicza..., t. I, стр. 226.

197 Ad. Mickiewicz. Dzieła, t. VI (wyd Pini. Lwów), стр. 287.

198 М. В. Нечкина. Общество Соединенных Славян. М.—Л., 1927, стр. 70.

199 ВД, т. VIII, стр. 92.

200 «Былое», 1925, № 4, стр. 160.

201 ФРЛ, д. 21, л. 75; ср. Вержбовский. Указ. соч. стр. 51.

202 Малиновский (см. отрывки из его воспоминаний, напечатанных в «Korespondencyi», т. IV, стр. 9) рассказывает: «По возвращении в Одессу, Мицкевич был окружен все возраставшей толпой поклонников; об этом дошел слух до Вильны, и Пеликан (ректор Виленского университета, главный враг филаретов) донес об этом Новосильцову». Как правильно указал А. Л. Погодин (Адам Мицкевич. Его жизнь и творчество, т. I, стр. 348), эта версия находится в полном противоречии с фактами.

203 ФРЛ, д. 2, л. 64; ср. Вержбовский. Указ. соч., стр. 57.

204 Аёг говорит (указ. соч., стр. 40), что Мицкевич уехал из Одессы 10 ноября утром. Это, конечно, неверно. Витт в своем донесении от 17 декабря писал, что Мицкевич «отправлен из Одессы в Москву» 12 ноября (Ф. Вержбовский. Указ. соч., стр. 58). Но трудно представить себе, что Мицкевичу удалось выехать в тот самый день, когда была выписана подорожная. В те времена обычно отправлялись в дальнюю дорогу с раннего утра. Скорее всего он выехал через день-два.

205 См. Д. Б. Кацнельсон. Указ. соч., стр. 206.

206 С. С. Советов. Указ. соч., стр. 130.

207 А. Мицкевич. Собр. соч., т. III. М., 1952, стр. 285.—Послание «Русским друзьям», запрещенное царской цензурой, было хорошо известно русским революционерам. Еще при жизни Мицкевича оно было переведено петрашевцем Момбелли (см. «Дело петрашевцев», т. I. М., 1937, стр. 296).

НОВОЕ О ГРИБОЕДОВЕ И ДЕКАБРИСТАХ

I. ГРИБОЕДОВ ПОД СЛЕДСТВИЕМ И НАДЗОРОМ

Статья М. М. Медведева

Вопросы идейной и личной близости Грибоедова к декабристам и степень его причастности к деятельности Тайного общества не раз уже привлекали внимание исследователей. В результате разысканий, проведенных за последнее время в Центральном государственном историческом архиве и в Центральном государственном военно-историческом архиве в Москве, мы располагаем теперь новыми публикуемыми здесь документами, расширяющими наши фактические сведения о «декабристских» этапах биографии Грибоедова.

I

Самым ранним из публикуемых нами документов является письмо А. А. Бестужева к Павлу Александровичу Муханову[1], известное лишь по нескольким цитатам[2].

Приводим его полностью:

Петер⟨бург⟩. 17 июня 1825 г.

Очень, очень грустно было, любезный ⟨...⟩[3] выезжать мне из Белокаменной. У заставы купил я калач, но он показался мне горек — это было последнее вещественное воспоминание о Москве... она скрылась скоро из виду. Ни толчки дилижанса, ни говор спутников-купцов не выводили меня из задумчивости. Когда и как въеду я опять в нее, зачем и с чем ее оставлю? Вот что вертелось в уме, но уже как обожженная бабочка около свечки. Четыре вековых дня был я на колесках, закупорен в душном ящике, но мне стало еще душнее, когда загремели передо мной цепи петербургского шлагбаума. Неприятные вести ждали меня у порога. Впрочем, это домашнее — герцог[4] принял меня очень ласково, и все обошлось и *все* переменится. Ну что у вас нового? весело ли ты поезживаешь на дачи? и как сердечные ноты разыгрываются? и часто ли даешь ты концерты, в которых увертюр после финала? Зная, что ты скромничаешь, я наперед за тебя отвечаю.

Про мое житье-бытье и про наши вести расскажет тебе Оржицкий[5] — мы его сплавили в Одессу ... хочет отведать тамошней скуки; показалось ему, что он хочет служить, но опыт разуверит его, я думаю, очень скоро, если Софья[6] не вовсе сделала его софистом. Скажи, не получаешь ли ты писем от Грибоедовых? Если да, что они*? — Когда же писать к ним

* В подлиннике: оне. Женский род указывает на то, что речь идет о матери и сестре Грибоедова.— *Ред.*

станешь, не забудь примолвить и обо мне словечко... Я часто о них вспоминаю. От А⟨лександ⟩ра[7] получили ⟨!⟩ Одоевский[8] письмо недавно из Киева; он там восхищается природой. Марье Сергевне[9] скажи, que mon coeur brûle pour Moscou comme un plumpudding enflammé et qu'il y a un petit grain d'amour pour qui—elle voudra supposer... etc. etc. etc.* Кстати о том... меня в Питере женили было... Слепцов[10] привез эти новости, а здесь их осуществили. — Готовятся ли ваши московские невесты на выводку перед гвардейцов ... говорят, наверное, к осени они к вам нагрянут. Il faut prendre garde à la garde**. Впрочем, не нам отчаиваться, — и я со снегом, как снег на голову, полечу в ваши края. Пиши, когда придет охота, — дай подышать московскими новостями, они вдвойне утешат меня, процедясь сквозь твое перо. Поклон Бахметеву[11], Трубецкому[12], Шаховскому[13]. Будь счастлив.

Твой Александр

Адресат этого письма, Павел Александрович Муханов (1797—1871), родной брат декабриста Петра Муханова, повидимому, был дружески связан не только с самим Грибоедовым, но и с его семьей. По окончании Московского университета и Муравьевского училища колонновожатых Павел Муханов служил в лейб-драгунах, так что был однополчанином А. А. Бестужева[14].

С юных лет Муханов увлекался историей и был всю жизнь неутомимым собирателем старых рукописей. На этой почве и происходило, очевидно, его дружеское общение с Грибоедовым.

Утверждение Д. И. Завалишина, что проездом через Москву, в конце мая 1825 г., Грибоедов виделся с Петром Мухановым, по просьбе которого делал в Киеве и в Крыму записи по истории, несомненно, следует отнести к Павлу Муханову. В мае 1825 г. Петр Муханов был на Кавказе, куда ездил из Киева, пытаясь попасть на службу к А. П. Ермолову. Пробыл он там до начала июля. Следовательно, встретиться в Москве с Грибоедовым он тогда не мог[15].

Позднее Муханов посвятил себя археографии[16] и был преемником А. С. Норова в должности председателя Археографической комиссии[17].

В молодости Муханов вращался в кругу передовой молодежи и не только испытал влияние идей декабристов, но и был осведомлен о деятельности Тайного общества.

Выскобленное до дыры обращение в приведенном письме Бестужева к Муханову навело М. В. Нечкину на соображение: «Возможно, что тут было какое-то прозвище, которое адресату позже показалось необходимым скрыть»[18].

Следует напомнить, что Н. Н. Оржицкий в своем показании Следственному комитету 10 января 1826 г. в качестве предполагаемых членов Тайного общества назвал среди других Грибоедова и двух братьев Мухановых[19].

II

Следующий публикуемый документ — это записка Д. Н. Бегичева (брата ближайшего друга Грибоедова) к Я. И. Ростовцеву, любопытная прежде всего тем, что на этого предателя декабристов, еще пользовавше-

---

* что мое сердце пылает любовью к Москве, подобно плум-пуддингу, охваченному пламенем, и что в нем сокрыта крупинка любви, к кому — она не откажется угадать... и т. д. и т. д. и т. д. (франц.).

** Надо остерегаться гвардии (франц.). Игра слов: garde — гвардия, prendre garde—остерегаться.

гося доверием заговорщиков, возлагается забота всячески выгораживать подследственного Грибоедова:

Почтеннейший Яков Иванович.

Представьте, кому следует и кому можно, что Грибоедов осмеял[20] и либералов и тайные сборища, о которых, вероятно, по слуху только знал. Он даже не хотел вступить в Общество любителей российской словесности под председательством Ф. Н. Глинки, опасаясь, нет ли какой политической цели. Во время бытности Грибоедова в Петербурге он избегал знакомства с Рылеевым, говорил, что он порет вздор и рассуждает о политике, как князь Енгалычев в своем лечебнике о медицине[21] и проч. и проч. NB Что Грибоедов ненавидел Якубовича и стрелялся с ним[22].

Надо думать, что эта не датированная Бегичевым записка была отправлена Ростовцеву после того, как арестованный Грибоедов проездом через Москву (то есть около 6—7 февраля 1826 г.) увиделся с братьями Бегичевыми[23], от которых, бесспорно, получил точные сведения о ходе дознания по делу 14 декабря и об арестах, связанных с этим процессом. Публикуемая записка — свидетельство того, что Грибоедов успел при свидании с Бегичевыми наметить тактику своей защиты на предстоящих допросах.

То обстоятельство, что Грибоедов на допросах ссылался на созданный им образ Репетилова для доказательства, что он не разделял взглядов декабристов, подтверждают воспоминания Д. И. Завалишина. «Возвратясь однажды от допроса в комитете, — пишет Завалишин, — Грибоедов сказал нам, что его „мучили", доказывая ему на основании комедии, что он был также членом тайного общества, и что он, на том же основании, доказывал противное»[24].

Использовал Грибоедов и аргумент о своем долговременном нежелании вступать в Общество любителей российской словесности, правда, объясняя это не политической осторожностью, а тем, что «поэзию почитал истинным услаждением» своей «жизни, а не ремеслом»[25].

Ход допроса, очевидно, подсказал Грибоедову отказ от намеченного в записке Бегичева утверждения, что он избегал знакомства с Рылеевым, осуждая его политические взгляды. Такое показание изобличило бы, что эти взгляды были ему известны.

Имя А. И. Якубовича Грибоедов в своих показаниях обошел совсем. Фраза о Якубовиче приписана Бегичевым в записке к Ростовцеву позже составления всей записки и, видимо, уже без участия в этом Грибоедова, уехавшего из Москвы. По мысли Бегичева, она должна была выгородить Грибоедова от подозрения в близости к Якубовичу.

III

К пребыванию Грибоедова под арестом в Петербурге относится несколько документов, извлеченных из двух дел фонда Канцелярии дежурного генерала Главного штаба е. и. в., хранящегося в Центральном государственном военно-историческом архиве. Из общего числа имеющихся здесь тринадцати грибоедовских документов семь (№№ 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10) уже известны полностью или частично в специальной литературе, остальные шесть (№№ 4, 5, 6, 11, 12 и 13) публикуются впервые.

Нам представляется целесообразным объединить здесь в хронологической последовательности обнаруженные нами документы с документами из того же фонда, которые уже привлекались исследователями. Это отвечает стремлению возможно точнее и нагляднее документировать пребывание Грибоедова в заточении.

1. КОПИЯ С ОТНОШЕНИЯ ВОЕННОГО МИНИСТРА А. И. ТАТИЩЕВА К КОМАНДИРУ КАВКАЗСКОГО ОТДЕЛЬНОГО КОРПУСА ГЕНЕРАЛУ А. П. ЕРМОЛОВУ ОТ 2 ЯНВАРЯ 1826 г. ЗА № 51

По воле государя императора покорнейше прошу Ваше высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при Вас чиновника *Грибоедова* со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под благонадежным присмотром прямо к его императорскому величеству[26].

2. ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТА В. В. ЛЕВАШЕВА К ДЕЖУРНОМУ ГЕНЕРАЛУ ГЛАВНОГО ШТАБА ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ А. Н. ПОТАПОВУ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 1826 г. (ВХОДЯЩИЙ № 305)

Государь император приказать изволил коллежского асессора Грибоедова поместить в штабе по примеру прочих.

Генерал-адъютант Левашев

12 февраля.

На записке помета: Исполнено. 12 февраля[27].

3. ОТНОШЕНИЕ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМЕНДАНТА ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТА А. Д. БАШУЦКОГО К ДЕЖУРНОМУ ГЕНЕРАЛУ ГЛАВНОГО ШТАБА ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ А. Н. ПОТАПОВУ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 1826 г. ЗА № 76 (ВХОДЯЩИЙ № 289)

Стоящий в карауле на Главной гаубвахте лейб-гвардии Егерского полка штабс-капитан Родзянко 3-й представил ко мне при описи вещи, отобранные им от арестованного, по высочайшему повелению, коллежского асессора Грибоедова, которые при сем к Вашему превосходительству препроводить честь имею.

Генерал-адъютант Башуцкий

На отношении расписка Грибоедова: Вещи и деньги, мне принадлежащие, мною от капитана Жуковского приняты.

Коллежск⟨ий⟩ асес⟨сор⟩
Александр Грибоедов[28].

4. СПИСОК ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД АРЕСТОМ В ДОМЕ ГЛАВНОГО ШТАБА НА 14 МАРТА 1826 г.

В доме Главного штаба содержатся под присмотром

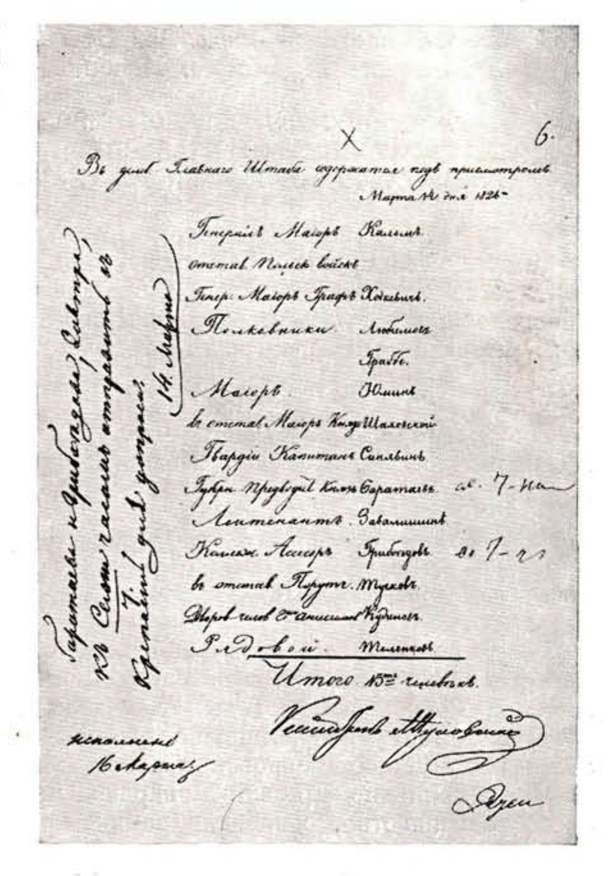
марта 14 дня 1826-го

Генерал-майор Кальм[29]
Отстав⟨ной⟩ польск⟨их⟩ войск генерал-майор граф Ходкевич[30].
Полковники: Любимов[31].
Граббе[32].
Майор Юмин[33].
В отстав⟨ке⟩ майор князь Шаховской[34].
Гвардии капитан Синявин[35].
Губерн⟨ский⟩ предводит⟨ель⟩ князь Баратаев[36] — в 7 час⟨ов⟩.
Лейтенант Завалишин[37].
Коллеж⟨ский⟩ асессор Грибоедов — в 7 ч⟨асов⟩.
В отстав⟨ке⟩ поруч⟨ик⟩ Тучков[38].
Дворов⟨ый⟩ челов⟨ек⟩ г⟨оспо⟩жи Анисимов⟨ой⟩ Кудинов.
Рядовой Теленков.
Итого 13 человек.

Капитан Жуковский

СПИСОК ЛИЦ, СОДЕРЖАВШИХСЯ НА 14 МАРТА 1826 г. ПОД АРЕСТОМ В ПОМЕЩЕНИИ ГЛАВНОГО ШТАБА. СРЕДИ АРЕСТОВАННЫХ УКАЗАН А. С. ГРИБОЕДОВ

Центральный военно-исторический архив, Москва



6.

Въ домѣ Главнаго Штаба содержатся подъ присмотромъ
Марта 14 дня 1826

Генералъ Маіоръ Кальмъ
отстав. Польск. войскъ Генер. Маіоръ Графъ Ходкевичъ
Полковники Любимовъ
Граббе
Маіоръ Юшневскій
въ отстав. Маіоръ Князь Шаховской
Гвардіи Капитанъ Сенявинъ
Губерн. Предводит. Князь Баратаевъ
Лейтенантъ Завалишинъ
Коллеж. Ассесоръ Грибоѣдовъ
въ отстав. Порутч. Жуковъ
Рядовой
Итого 15 человѣкъ.

исполнено 16 марта

На списке пометы рукой капитана Жуковского: Баратаева и Грибоедова завтра, к семи (7) часам, отправить в крепость для допроса. 14 марта.— Исполнено 16 марта[39].

5. ПРЕДПИСАНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТРА А. И. ТАТИЩЕВА ДЕЖУРНОМУ ГЕНЕРАЛУ ГЛАВНОГО ШТАБА ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ А. Н. ПОТАПОВУ ОТ 15 МАРТА 1826 г. ЗА № 473 (ВХОДЯЩИЙ № 460)

Секретно

Покорнейше прошу Ваше превосходительство приказать содержащегося при Главном штабе коллежского асессора Грибоедова препроводить сего дня, к восьми часам пополудни, в Комитет о злоумышленных обществах для отобрания допросов, по окончанию которых он возвращен будет обратно.

Военный министр Татищев

На отношении помета: Исполнено 15 марта[40].

6. ОТНОШЕНИЕ ШЕФА ЖАНДАРМОВ А. Х. БЕНКЕНДОРФА К ДЕЖУРНОМУ ГЕНЕРАЛУ ГЛАВНОГО ШТАБА ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ А. Н. ПОТАПОВУ ОТ 15 МАРТА 1826 г. (ВХОДЯЩИЙ № 462)

Генерал-адъютант Бенкендорф, свидетельствуя почтение свое его превосходительству Алексею Николаевичу, покорно просит приказать прислать в высочайше учрежденный Комитет завтра, в 1-м часу, капитана Сенявина и коллежского асессора Грибоедова.

Генерал-адъютант Бенкендорф

15 марта 1826.

Его пр⟨евосходительст⟩ву А. Н. Потапову.

На письме пометы — рукой А. Н. Потапова: Исполнить 16 марта *и рукой капитана Жуковского:* Исполнено 16 марта[41].

7. ПРЕДПИСАНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТРА А. И. ТАТИЩЕВА ДЕЖУРНОМУ ГЕНЕРАЛУ ГЛАВНОГО ШТАБА ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ А. Н. ПОТАПОВУ ОТ 2 ИЮНЯ 1826 г. ЗА № 768 (ВХОДЯЩИЙ № 899)

Секретно

Покорнейше прошу Ваше превосходительство, по освобождении из-под ареста содержавшегося при Главном штабе коллежского асессора Грибоедова, приказать представить его г⟨осподину⟩ начальнику Главного штаба его императорского величества при офицере.

Военный министр Татищев

На предписании пометы — рукой А. Н. Потапова: Исполнить г⟨осподину⟩ С. А. Яковлеву 2 июня *и рукой капитана Жуковского:* Исполнено 2-го июня[42].

8. ПРЕДПИСАНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТРА А. И. ТАТИЩЕВА ДЕЖУРНОМУ ГЕНЕРАЛУ ГЛАВНОГО ШТАБА ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТУ А. Н. ПОТАПОВУ ОТ 2 ИЮНЯ 1826 г. ЗА № 765 (ВХОДЯЩИЙ № 900)

Государь император высочайше повелеть соизволил освободить с аттестатом содержащегося при Главном штабе под арестом коллежского асессора Грибоедова, который был взят по подозрению в принадлежности к тайному злоумышленному обществу, но по исследованию оказался к тому неприкосновенным.

Во исполнение таковой монаршей воли покорнейше прошу Ваше превосходительство, освободив из-под ареста упомянутого Грибоедова, приказать ему явиться в высочайше учрежденную Комиссию для изыскания о злоумышленном обществе для получения надлежащего аттестата.

Военный министр Татищев

На отношении помета рукой капитана Жуковского: Исполнено. 2 июня[43].

9. КОПИЯ ОТНОШЕНИЯ ДЕЖУРНОГО ГЕНЕРАЛА ГЛАВНОГО ШТАБА А. Н. ПОТАПОВА К ВОЕННОМУ МИНИСТРУ А. И. ТАТИЩЕВУ ОТ 3 ИЮНЯ 1826 г. ЗА № 966

Вследствие поручения г⟨осподина⟩ начальника Главного штаба его величества, прошу покорнейше Ваше высокопревосходительство доставить ко мне список всем освобожденным на сих днях из-под ареста чиновникам по делу о злоумышленном обществе.

Список сей нужен для представления их в будущее воскресенье государю императору.

Генерал-адъютант Потапов[44]

10. ОТНОШЕНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТРА А. И. ТАТИЩЕВА К ДЕЖУРНОМУ ГЕНЕРАЛУ ГЛАВНОГО ШТАБА А. Н. ПОТАПОВУ ОТ 4 ИЮНЯ 1826 г. ЗА № 781 (ВХОДЯЩИЙ НОМЕР № 935 ОТ 6 ИЮНЯ 1826 г.)

Секретно

Вследствие отношения Вашего превосходительства № 966 имею честь уведомить, что 4-го числа сего июня освобождены по высочайшему повелению из-под ареста содержавшиеся по делу о злоумышленном обществе

нижеследующие лица: л⟨ейб⟩-г⟨вардии⟩ Конного полка: поручик князь *Голицын*[45], корнет *Плещеев* 2-й[46], отставной подполковник Михаил Николаев сын *Муравьев*[47], коллежский асессор *Грибоедов*, поручик конноартиллерийской № 6 роты *Врангель*[48] и служащий в Департаменте внешней торговли надворный советник *Семенов*[49].

Военный министр Т а т и щ е в[50]

11. КОПИЯ ОТНОШЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА БАР. И. И. ДИБИЧА К МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ КН. Д. И. ЛОБАНОВУ-РОСТОВСКОМУ ОТ 8 ИЮНЯ 1826 г. ЗА № 1020

Государь император всемилостивейше соизволил ведомства Государственной коллегии иностранных дел коллежского асессора Грибоедова пожаловать в следующий чин.

Сию высочайшую государя императора волю имею честь сообщить Вашему сиятельству для предложения правительствующему Сенату.

Начальник Главного штаба Д и б и ч[51]

12. ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО ЧИНОВНИКА В. ПОЛЯКОВА К ДЕЖУРНОМУ ГЕНЕРАЛУ ГЛАВНОГО ШТАБА А. Н. ПОТАПОВУ ОТ 8 ИЮНЯ 1826 г. ЗА № 4054

Милостивый государь Алексей Николаевич!

На записку Вашего превосходительства от 6-го числа сего июня под № 1620-м имею честь ответствовать, что коллежскому асессору

ОТНОШЕНИЕ А. Х. БЕНКЕНДОРФА К ДЕЖУРНОМУ ГЕНЕРАЛУ ГЛАВНОГО ШТАБА А. Н. ПОТАПОВУ ОТ 15 МАРТА 1826 г. С ВЫЗОВОМ А. С. ГРИБОЕДОВА 16 МАРТА НА ДОПРОС В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Центральный военно-исторический архив, Москва

Грибоедову, числящемуся при главноуправляющем Грузиею, производится жалованья по двести пятидесяти червонных голландских в год.

Имею честь быть с совершенным почтением и преданностию Вашего превосходительства покорнейшим слугою

В. Поляков[52]

К письму на отдельном сложенном вдвое полулисте приложена справка, написанная рукой Грибоедова:

С 1822 года с января ** числа служу в Восточном департаменте в чине коллежского асессора, жалования получаю 250 червонцев, за выслугу лет должен был быть представлен к чину.

Живу в Военно-счетной экспедиции в доме Энгельмана у А. А. Жандра[53].

13. КОПИЯ ОТНОШЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА БАР. И. И. ДИБИЧА В КАБИНЕТ ЕГО ИМП. ВЕЛИЧЕСТВА ОТ 10 ИЮНЯ 1826 г. ЗА № 1023

Государь император всемилостивейше пожаловать соизволил нижепоименованным офицерам и чиновникам невзачет годовое их жалованье: лейб-гвардии Конного полка поручику князю Голицыну 780 рублей и корнету Плещееву 2⟨-му⟩ 690 рублей, конно-артиллерийской № 6 роты поручику Врангелю 690 рублей, служащим: в Министерстве иностранных дел коллежскому асессору Грибоедову 250 червонных ⟨рублей⟩, в Министерстве финансов надворному советнику Семенову 1500 р⟨ублей⟩ ассигнациями.

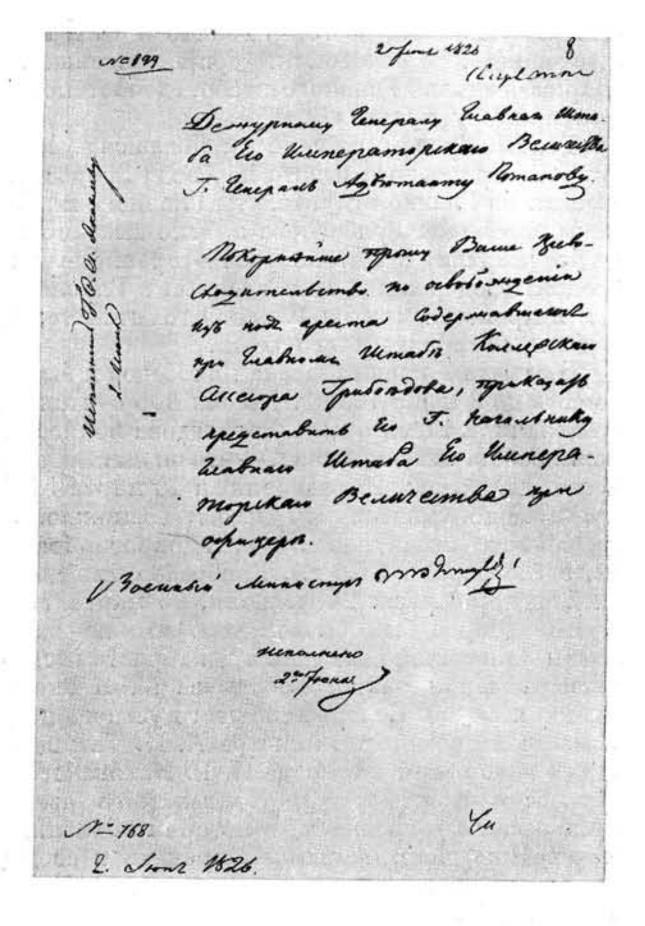
Высочайшую волю сию сообщая Кабинету его величества, покорнейше прошу причитающуюся сумму три тысячи шестьсот шестьдесят рублей ассигнациями и двести пятьдесят червонных приказать отпустить под расписку экзекутора и казначея Инспекторского департамента 5-го класса Гошата.

Начальник Главного штаба Дибич[54]

Приведенные тринадцать документов уточняют некоторые даты, связанные с пребыванием Грибоедова под следствием. Прежде всего выясняется дата первого допроса, который до сих пор относили предположительно к 11 февраля[55].

Дело в том, что во время пребывания под арестом Грибоедов содержался в двух местах: сначала на Главной гауптвахте Главного штаба, а затем в помещении самого Главного штаба, в одной из комнат, которая служила приемной, кабинетом и спальней начальника штаба 1-й Армии генерал-адъютанта К. Ф. Толя. Здесь, вследствие переполнения крепости, содержались арестованные, менее замешанные, по мнению следователей, в деле. Канцелярия дежурного генерала Главного штаба была местом, куда доставлялись с петербургских застав арестованные в других городах декабристы. Исключение составляли (до 23 января 1826 г.) только те декабристы, которые конвоировались жандармскими и другими офицерами, получившими приказание везти арестованных прямо во дворец. 23 января 1826 г. дежурный генерал Главного штаба А. Н. Потапов отношением своим петербургскому коменданту генерал-адъютанту А. Д. Башуцкому за № 189 изменил порядок следования арестованных декабристов:

«Из числа привозимых сюда арестантов те, которых привозят фельдъегери, следуют прямо от застав ко мне, прочих же, при коих находятся жандармские и прочие офицеры, вследствие данных им при отправлении с места приказаний, везут нередко прямо во дворец. По сему случаю,


№ 139

2 июня 1826

Дежурному Генералу Главного Штаба Его Императорского Величества Г. Генерал Адъютанту Потапову.

Покорнейше прошу Ваше Превосходительство по освобождении из под ареста содержавшегося при Главном Штабе Коллежского Асессора Грибоедова, приказать представить его Г. Начальнику Главного Штаба Его Императорского Величества при офицере.

Военный Министр

исполнено 2го Июня

№ 768.

2. Июня 1826.

ПРЕДПИСАНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТРА А. И. ТАТИЩЕВА ОТ 2 ИЮНЯ 1826 г. ДЕЖУРНОМУ ГЕНЕРАЛУ ГЛАВНОГО ШТАБА А. Н. ПОТАПОВУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ А. С. ГРИБОЕДОВА ИЗ-ПОД АРЕСТА

Центральный военно-исторический архив, Москва

вследствие поручения начальника Главного штаба его величества, прошу покорнейше Ваше превосходительство сделать распоряжение Ваше, чтоб, как фельдъегери, так и все офицеры военные и полицейские, привозящие сюда арестантов, отправляемы были с ними от заставы с казаками прямо в мою канцелярию, а отнюдь не во дворец. Дежурный генерал Потапов» [56].

Следовательно, привезенный 11 февраля 1826 г. в Петербург с фельдъегерем Грибоедов от заставы должен был быть доставлен не в Зимний дворец, а в канцелярию Главного штаба, откуда А. Н. Потапов в тот же день и отправил его к А. Д. Башуцкому «для содержания на Главной гауптвахте» [57]. Очередность последующих событий указал сам Грибоедов в письме от 15 февраля 1826 г. к Николаю I, где он сообщал, что, будучи привезен в Петербург на перекладных, был «посажен под крепкий караул, потом был позван к генералу Левашеву...» [58]. Публикуемая записка В. В. Левашева от 12 февраля 1826 г. (№ 2) прежде всего свидетельствует о состоявшемся в этот день разговоре его с Грибоедовым, после чего Левашев пришел к выводу, что Грибоедов, как менее замешанный в деле, может быть помещен не в крепость, а в здание Главного штаба. Разумеется, без разговора с Грибоедовым Левашев к такому выводу придти не мог. Тот факт, что Левашев писал к Потапову от имени Николая I, свидетельствует, что допрос Грибоедова происходил в Зимнем дворце и, надо полагать, для него в этом отношении никаких исключений сделано не было. Неофициальная форма записки Левашева от 12 февраля 1826 г., написанной на сложенной осьмушке бумаги, не имеющей исходящего

номера, указывает на то, что записка была послана не через канцелярию, а, очевидно, с человеком, сопровождавшим Грибоедова из Зимнего дворца в здание Главного штаба, где Потапов и должен был его поместить «по примеру прочих»[59].

Таким образом, из записки Левашева устанавливается и дата первого допроса Грибоедова и дата перевода Грибоедова, после допроса его Левашевым, из Главной гауптвахты Главного штаба в здание Главного штаба. Этим переводом Грибоедова и было вызвано отношение Башуцкого (№ 3, от 13 февраля) к Потапову об отправке ему вещей, отобранных у Грибоедова. Содержание арестованных в Главном штабе было менее строгим, чем в крепости или на Главной гауптвахте; именно поэтому Грибоедову и были возвращены его вещи.

В здании Главного штаба Грибоедов просидел до своего освобождения, то есть до 2 июня 1826 г. До сих пор считалось — в полном соответствии с сохранившимися в деле Грибоедова вопросными пунктами и датированными ответами Грибоедова, — что он вызывался в Следственную комиссию[60] всего два раза: 24 февраля и 15 марта 1826 г.[61] На основании публикуемых документов мы имеем возможность утверждать, что, помимо указанного выше первого его допроса Левашевым (происходившего не 11, а 12 февраля 1826 г.), Грибоедов был допрошен Следственной комиссией еще *три* раза: 24 февраля, 15 марта (№№ 4 и 5) и 16 марта (№ 6)[62]. Третий допрос был вызван тем, что на важнейшие для следствия вопросы о киевском свидании с декабристами летом 1825 г. и о возможности существования тайного общества на Кавказе Грибоедов отвечал сдержанно и скупо. Содержание этого устного допроса Грибоедова уясняется из записки военного министра А. И. Татищева на имя Николая I. В записке говорится, что после П. Г. Каховского и Е. П. Оболенского члены Комиссии *слушали*: «3) Коллежского асессора *Грибоедова*: согласны с словесным показанием, в котором объявил, что в Грузии никакого Сухачева[63] не знал. *Положили*: принять к сведению»[64]. В этом же заседании 16 марта 1826 г. был допрошен вызванный вместе с Грибоедовым Н. Д. Сенявин (№ 6)[65].

Ответы Грибоедова, вероятно, не удовлетворили Следственную комиссию, так как представление Николаю I об освобождении Грибоедова было возобновлено только 31 мая 1826 г.[66]

Публикуемый нами документ № 7 сообщает фамилию плац-адъютанта С. А. Яковлева, в сопровождении которого Грибоедов был представлен 2 июня 1826 г., по освобождении из-под ареста, начальнику Главного штаба Дибичу. Из документа № 12 мы узнаем, что Грибоедов сразу же после освобождения из-под ареста жил у своего друга А. А. Жандра который не только прятал у себя после восстания 14 декабря А. И. Одоевского, но в ходе следствия над Грибоедовым помогал последнему деньгами и участвовал в передаче Грибоедову сведений с воли. До сих пор было известно со слов Булгарина, что в это время (8 июня 1826 г.) Грибоедов находился на даче Булгарина, «в уединенном домике на Выборгской стороне, видался только с близкими людьми»[67]. Отныне это утверждение Булгарина следует или признать неверным, или отнести к более позднему времени.

IV

Новый документ, обнаруженный в бумагах начальника Главного штаба Дибича, характеризует взаимоотношения Грибоедова с А. П. Ермоловым. Это — записка, которая принадлежит управляющему III Отделением М. Я. Фон Фоку и написана им собственноручно (автор установлен по почерку). Предназначалась она для Дибича. Записки

аналогичного характера, обобщающие донесения агентов, всегда писались Фон Фоком собственноручно и обычно не имели подписи. Они передавались через Бенкендорфа Дибичу, который по своему усмотрению мог представлять их для прочтения Николаю I. Такой порядок прохождения агентурных отчетов Фон Фока сохранялся до смерти Дибича в 1831 г.

Записка Фон Фока, датируемая, на основании пометки Дибича, 24 октября 1826 г., составлена по донесению агента, беседовавшего о Ермолове с приезжавшим в Петербург его адъютантом Иваном Дмитриевичем Талызиным. Основная часть записки составлена в форме рассказа Талызина, записанного впоследствии агентом. Сообщаемые в рассказе сведения тем более заслуживают внимания, что Талызин — человек, не только близкий к Ермолову: он находился в дружеских отношениях и с Грибоедовым. Именно Талызин, по свидетельству Дениса Давыдова и Н. В. Шимановского, был в числе лиц, помогавших Грибоедову перед арестом уничтожить компрометирующие бумаги[68].

⟨ЗАПИСКА М. Я. ФОН ФОКА О ЕРМОЛОВЕ И ГРИБОЕДОВЕ⟩

24 октября ⟨1826 г.⟩

К свед⟨ению⟩. К очер⟨едному⟩ до⟨кладу⟩ *

Вот что узнать можно было от веры достойного человека, насчет пребывания здесь *Талызина* **, который уже десять дней, как уехал обратно.

Списываются собственные слова рассказа:

«Я изучал характер *Ермолова* ** как лица исторического и нахожусь в приятельских связях с весьма близкими к нему особами. На Ермолова никто не имеет влияния, кроме его собственного самолюбия. Он некоторым своим любимцам позволяет говорить себе *иногда* правду и даже требует этого — но *никогда* не следует их советам. Чем умнее человек, находящийся при нем, тем он менее следует его влиянию, чтобы не сказали, что им управляют. Таким образом сбыл он с рук нынешнего бессарабского губернатора Тимковского, который утруждал его своими планами и советами. Более всех Ермолов любит Грибоедова за его необыкновенный ум, фанатическую честность, разнообразность познаний и любезность в обращении. Но сам Грибоедов признавался мне, что *Сардарь-Ермулу*, как азиатцы называют Ермолова, упрям, как камень, и что ему невозможно вложить какую-нибудь идею. Он хочет, чтобы все происходило от него и чтобы окружающие его повиновались ему безусловно. Отчасти Ермолов и прав, ибо в отдаленном крае, который всегда на неприятельской ноге, будучи всегда окружен шпионами горных народов и владетелей азиатских областей, малейший вид, что кто-нибудь действует умом на Сардаря-Ермулу, унизит его в глазах азиатцев. Ермолов имеет необыкновенный дар привязывать к себе близких к нему людей, и привязывать безусловно, как рабов. Они знают слабости его и недостатки, но любят его. В шутку Ермолов разделяет своих приближенных на две части: одних называет *моя собственность*, а других — *моя личная безопасность*. *Первые* суть те, которым он делает поручения, а иногда доверенности; *вторые* — удальцы и наездники, вроде Якубовича. Он так величает их и в письмах. Офицеры и солдаты весьма любят Ермолова за весьма малые вещи: он позволяет солдатам на переходах и вне службы ходить

---

* *Карандашные пометы*: 24 октября. К свед⟨ению⟩. К очер⟨едному⟩ до⟨кладу⟩ — *сделаны рукой Дибича. Год* — 1826 — *проставлен карандашом в левом нижнем углу первой страницы записки.— Ред.*

** Фамилии подчеркнуты карандашом, вероятно Дибичем.— *Ред.*

в шароварах и широком платье, офицерам — в фуражках и кое-как; мало учит и восхищает своими bons-mots *. В нужде делится последним. Важная добродетель Ермолова, что он не корыстолюбив и не любит денег. Оттого статские чиновники не любят его и, хотя он не весьма бдительно истребляет лихоимство и злоупотребления, но зато, если откроет, беда! и его боятся, как огня. *Талызин*, по своему положению при Ермолове и по сведениям, не мог иметь других поручений, как *поразнюхать*, что говорят о нем здесь и как судят. Кажется, он поехал отсюда не с весьма благоприятными известиями. Известно, что Ермолова публика обвиняет в одном: зачем не знал о нападении персов, другие обвиняют в многом, но каждый человек имеет своих друзей и врагов; первые смотрят на ошибки в *уменьшительное*, другие — в *увеличительное* стекло. Средина есть истина»[69].

В публикуемой записке представляет особенный интерес сообщение о неудавшемся стремлении Грибоедова внушить Ермолову некую идею, которая, повидимому, как всякая попытка повлиять на него, задевала в какой-то степени самолюбие Ермолова. О содержании этой идеи едва ли представится возможность сказать что-либо определенное до того, как будет тщательно разработан вопрос о позиции самого Ермолова накануне восстания 14 декабря [70]. Любопытно и указание Талызина (по словам агента) на декабриста Якубовича (вспомним, что это говорилось в октябре 1826 г.), как на одного из людей, которым Ермолов доверял свою личную безопасность. Не лишено интереса и предположение агента о цели приезда Талызина в Петербург: Ермолова мог интересовать вопрос об отношении к нему в Петербурге в связи с позицией, занятой им во время восстания, и военными действиями против персов.

V

Следующая группа публикуемых документов состоит из трех анонимных записок, относящихся к 1828—1831 гг. и написанных собственноручно М.Я. Фон Фоком (автор установлен по почерку). Первая записка обнаружена при разборке 1-го секретного архива III Отделения среди бумаг, оставшихся после смерти Бенкендорфа (1844). Вторая записка — черновик агентурного обзора — найдена в бумагах, оставшихся после смерти Фон Фока (27 августа 1831 г.). Третья записка, представленная Фон Фоком Бенкендорфу и через него — К. В. Нессельроде, обнаружена в делах 1-й экспедиции III Отделения.

Первая записка по времени относится к концу апреля 1828 г. и отражает «рассуждения и толки» в Петербурге по поводу указа Николая I Сенату от 25 апреля 1828 г., согласно которому Грибоедов был назначен полномочным министром в Персию.

‹ЗАПИСКА М. Я. ФОН ФОКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРИБОЕДОВА В ПЕРСИИ›

Возвышение Грибоедова на степень посланника произвело такой шум в городе, какого не было ни при одном назначении. Все молодое, новое поколение в восторге. Грибоедовым куплено тысячи голосов в пользу правительства. Литераторы, молодые способные чиновники и все умные люди торжествуют. Это победа над предрассудками и рутиною. «Так Петр Великий, так Екатерина создавали людей для себя и отечества», — говорят в обществах. Возвышение Дашкова [71] и Грибоедова (при сем вспоминают о Меншикове [72], Сухтелене [73] и других способных людях,

* остротами (франц.).

заброшенных в прежнее время[74]) почитают залогом награды дарованиям, уму и усердию к службе. Должно прибавить, что Грибоедов имеет особенный дар привязывать к себе людей своим умом, откровенным, благородным обращением и ясною душою, в которой пылает энтузиазм ко всему великому и благородному. Он имеет толпы обожателей везде, где только жил, и Грибоедовым связаны многие люди между собою. Приобретение сего человека для правительства весьма важно в политическом отношении. Натурально, что при сем случае появилось много завистников, но это — глас, вопиющий в пустыне. Вообще теперь раскрыта важная истина, что человек с дарованием может всего надеяться

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ. 12 ФЕВРАЛЯ 1826 г. ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИЛ ПЕРВЫЙ ДОПРОС А. С. ГРИБОЕДОВА ГЕНЕРАЛОМ В. В. ЛЕВАШЕВЫМ

от престола, без покровительства баб и не ожидая, пока преклонность лет сделает его неспособным к службе, когда длинный ряд годов выведет его в министры. Везде кричат: «Времена Петра!»[75]

Эта записка составлена Фон Фоком в расчете на то, что ее прочтет Николай I, который, ознакомясь с ней, должен был представить, что назначение Грибоедова в Персию расценивается в городе не как удаление из России[76] (как это было в действительности: сам Грибоедов рассматривал свое назначение именно как политическую ссылку)[77], а как воздаяние должного человеку с дарованиями, как политический шаг, благожелательно настраивающий по отношению к правительству молодое поколение. Николай I, прочтя записку, должен был утвердиться в мнении, что в обществе «все умные люди» отдают предпочтение его царствованию перед царствованием Александра I.

Публикуемая записка, как и другие записки Фон Фока, представляет значительный интерес, так как в ней обобщались сведения, поступавшие к нему от многочисленных, работавших во всех слоях населения

агентов. После 14 декабря политический контроль в стране должен был осуществляться более тонкими методами, чем применявшиеся до того. Фон Фок и являлся вполне пригодным для этого лицом. Он возглавлял Особенную канцелярию министра внутренних дел, которая была предшественницей III Отделения и существовала с 25 июня 1811 г., сначала как Особенная канцелярия при министре полиции, а с 4 июня 1819 г. — при министре внутренних дел. С 3 июля 1826 г. она была преобразована в III Отделение[78]. Анонимный автор комментария к публикации донесений Фон Фока Бенкендорфу за июль — сентябрь 1826 г. пишет: «Директором канцелярии III-го отделения собственной его величества канцелярии назначен был человек», имевший «обширное знакомство и связи в высшем обществе Петербурга», которые «давали ему возможность видеть и знать, что̀ делалось и говорилось в среде тогдашней аристократии, в литературных и прочих кружках населения столицы»[79].

Вторая публикуемая в данном разделе записка Фон Фока написана не ранее середины 1830 г., когда происходили отраженные в ней события, и не позже 27 августа 1831 г. (дата смерти Фон Фока, в бумагах которого записка и обнаружена). Подлинник на французском языке* . Приводим из него отрывок:

«...Литераторы, замеченные в антимонархическом направлении и в духе отрицания, сплотились в союз под руководством Жуковского и князя Вяземского. Их перья никогда ни слова не написали в пользу правительства и, когда несколько новых адептов сделали попытку сочинить оды во славу последней кампании, они их высмеяли и не пропустили в печать. Не будем касаться некоторых частностей, которые могли бы служить этому подтверждением.

Начавший свою литературную карьеру под покровительством Вяземского, редактор „Телеграфа“ Полевой, позволил себе в свое время напечатать несколько статей, противоречащих видам правительства. За это именно взятый на замечание, после нескольких дней пребывания в Петербурге одумался и, вступив в дружеские отношения кое с кем из наших благонамеренных авторов, совершенно изменил тон. Он публично признался в этом в своем журнале, сказав, что Вяземский плохо влиял на него. Но сразу после его обращения партия начала его всячески преследовать и дискредитирует его до настоящего времени.

Первые дни после ареста Греча и Булгарина партия попыталась сбросить маску. Окружали вниманием эти так называемые литературные жертвы, чтобы завладеть ими. Но, встретив чрезмерную холодность и опасливость, недавно только от них отступились и теперь с новой силой начнут разыгрывать с ними шутки и создавать им настоящие неприятности до тех пор, пока они будут писать в правительственном духе.

Совершенно то же происходило, когда существовал Союз Благоденствия **.

Оппозиция в Москве, многолюдные посещения арестованного цензора, сборища у тех шалунов, которые были наказаны за то, что учинили шум в театре, громкие возгласы против правительства подтверждают предположение, что Союз не уничтожен, но продолжает существовать, хотя и без объединяющего центра. Покойный Грибоедов, беседуя со мной, говорил мне, что заговорщики, находившиеся в свое время в крепости, считая его своим сообщником, сказали ему, что великая тайна умерла вместе с Пестелем и Муравьевым.

---

* Перевод этого и других французских текстов в настоящей публикации выполнен Е. Н. Рунич.

** *Слова*: Союз Благоденствия *написаны по-русски.*

Не подлежит, стало быть, сомнению, что существует большая партия недовольных, мечтающих о перемене образа правления в России, но единомышленники распространяют свое влияние различным образом, различными способами, однако без организационного ядра. Одни волнуются в политическом смысле, другие облекаются плащом так называемого патриотизма. Люди с весом ищут поддержки в мнимом содействии Варшавы, а мелкие чиновники опираются на влияние тех, кто держит власть в своих руках» [80].

В этой записке Фон Фок отмечает резкий антагонизм, разобщивший в конце двадцатых годов деятелей русской литературы и расколовший их на две группы — передовую и реакционную, «благонамеренную» в понимании Фон Фока. Касается он и проявленного обеими группами отношения к турецкой войне 1828—1829 гг. Точка зрения официозного лагеря была выражена в словах Булгарина: «...Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир, и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, и мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными» [81]. Представители передовой русской литературы считали, что завоевательная война 1828—1829 гг. не является делом национальным, каким была война 1812 г. Эта точка зрения и родила противодействие Пушкина критике, ждавшей от него песен во славу русского оружия [82]. Отразилась она и в замечании Вяземского в одном из его писем: «У нас ничего общего с правительством быть не может. Je n'ai plus ni chants pour toutes ses gloires, ni larmes pour tous ses malheurs» * [83].

Характеризуя деятельность Полевого, Фон Фок останавливается на первом периоде ее в «Московском телеграфе», стяжавшем Полевому кличку «журнального Дантона». Этот период отмечен статьями, ниспровергавшими установившиеся в литературе авторитеты. Особенно нашумела статья 1829 г., направленная против Карамзина. «Статьи, противоречащие видам правительства», хорошо были известны Фон Фоку по доносам на Полевого, поступавшим с 1827 г. в III Отделение [84].

Слова Фон Фока о травле Полевого антимонархически настроенными литераторами являются официозной интерпретацией журнальной полемики по поводу «Истории русского народа» Полевого между «Московским вестником» и «Литературной газетой», с одной стороны, и «Московским телеграфом», блокировавшимся с «Сыном отечества» и «Северной пчелой», — с другой.

Греч и Булгарин были арестованы за статью с резкими выпадами против Загоскина, появившуюся 30 января 1830 г. в № 13 «Северной пчелы». Эта статья была выпущена после того, как Николай I через Бенкендорфа предложил Булгарину умерить непристойный тон его критики по адресу Загоскина. Арестом Греча и Булгарина преследовались две цели: припугнуть издателей «Северной пчелы» (поэтому они тут же и были выпущены [85]) и пресечь широко распространившуюся молву об их связи с III Отделением и вызванной этим безнаказанности.

Переходя к проявлениям оппозиции в Москве, Фон Фок вспоминает арест цензора С. Н. Глинки, посаженного в середине 1830 г. на гауптвахту за то, что он пропустил в альманахе «Денница» элегию Серафимы Тепловой на смерть утопившегося студента: эта элегия была истолкована как стихи, посвященные памяти Рылеева. Арест Глинки, бывший закономерным следствием нового цензурного устава 1828 г., вызвал бурный общественный протест, вылившийся в настоящую демонстрацию. У Глинки за три дня перебывало около трехсот посетителей с И. И. Дмитриевым во главе [86], чем и возмущается Фон Фок.

---

* У меня нет более ни песен для его славы, ни слез для его несчастий (франц.).

Слова декабристов: «великая тайна умерла вместе с Пестелем и Муравьевым», — сказанные Грибоедовым Фон Фоку, в сопоставлении с догадками Фон Фока о том, что Тайное общество до конца не уничтожено и единомышленники декабристов продолжают существовать, могут быть поняты в том смысле, что со смертью вождей Южного общества потеряны лишь нити, тянувшиеся с мест к организационному центру. Слова о «великой тайне» могли быть услышаны Грибоедовым от сосланных на Кавказ декабристов; можно допустить, что еще до восстания Грибоедов, находившийся в дружеских отношениях со многими видными членами Северного общества, немало знал о связях тайных обществ с представителями высших чиновных кругов в Петербурге. В этом случае ссылка на казненных была лишь облеченным в дипломатическую форму ответом на вопрос Фон Фока, — ответом, скрывающим связи, о которых Грибоедов мог знать или догадываться.

Беседа Грибоедова с Фон Фоком могла происходить только во время пребывания Грибоедова в Петербурге (14 марта — 5 июня 1828 г.), куда он приехал после заключения Туркманчайского мира. Именно в это время Фон Фока интересовал вопрос о связях Тайного общества. По доносу Булгарина, для выяснения этих связей был спешно привезен из Нерчинска А. О. Корнилович и 15 февраля 1828 г. посажен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где ему 18 февраля были предложены первые вопросные пункты.

Третья записка Фон Фока — «Разные рассуждения и толки между короткими друзьями Грибоедова» — основана на содержании писем, полученных от Грибоедова Булгариным, активно сотрудничавшим в III Отделении. Записка составлена 22 марта 1829 г. (повидимому, в день получения III Отделением известия о гибели Грибоедова); копия с этой записки в тот же день была препровождена министру иностранных дел Нессельроде:

РАЗНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ И ТОЛКИ МЕЖДУ КОРОТКИМИ ДРУЗЬЯМИ ГРИБОЕДОВА

В последнем письме несчастного Грибоедова из Тавриса в Петербург к друзьям находятся следующие строки: «Наблюдаю, чтоб отсюда не произошла какая-нибудь *предательская мерзость* во время нашей схватки с турками. Взимаю контрибуцию довольно успешно. Друзей не имею никого и не хочу. Должно прежде всего заставить бояться России и исполнять то, что велит государь Николай Павлович, и уверяю вас, что в этом я поступаю лучше, чем те, которые бы желали действовать мягко и втираться в персидскую бездушную дружбу. Всем я грозен кажусь, и меня прозвали *Сахтгир*, т. е. твердое сердце. К нам перешло 8 т⟨ысяч⟩ армянских семейств, и я теперь за оставшееся их имущество не имею ни днем, ни ночью покоя; однако охраняю их достояние и даже доходы, все кое-как делается по моему слову».

Вот некоторое объяснение той ненависти, которую возымели к Грибоедову персидские чиновники и двор, желавшие отсрочить уплату контрибуции, удержать выдачу имущества выходцев и даже воспрепятствовать выходцам свободный пропуск в Россию.

Один друг Грибоедова, пред которым сей последний не имел ничего тайного и поверял все свои мысли и чувства, часто с ним разговаривал о делах персидских, и вот что он слышал от Грибоедова пред его отъездом.

Против Аббаса-мирзы [87] есть сильная партия при дворе, которая хотела бы удалить его от наследства престола. Эта партия боится, чтоб Россия не покровительствовала Аббасу-мирзе, и потому старалась и будет стараться всегда очернять его пред российским двором. Назначение

в Персию посланником приятеля Аббаса-мирзы или, по крайней мере, человека, который знает все интриги двора, не могло быть приятным этой партии, и она будет стараться по возможности вредить послу. Но как персияне подлы и трусы, то одною твердостию можно удержать их в узде. Вот как говорил покойный Грибоедов.

Один член английского посольства в Персии, выехавший почти в одно время с Грибоедовым из Петербурга, говорил ему в присутствии друга: «Берегитесь! вам не простят Туркманчайского мира!» — И так многие заключают, что Грибоедов есть жертва политической интриги [88].

Как уже говорилось, копия с публикуемой записки Фон Фока в пятницу, 22 марта 1829 г., была отослана Бенкендорфом министру иностранных дел Нессельроде. В тот же день был получен ответ Нессельроде (подлинник на французском языке):

Я возвращаю Вам, любезный друг, суждения несчастного Грибоедова. Его друзья, приводя их для его оправдания, не проявляют большой прозорливости. Они должны производить впечатление совершенно противоположное и доказывают, что, несмотря на несколько лет, проведенных в Тавризе, и беспрестанные столкновения с персами, он плохо узнал и плохо оценил народ, с которым имел дело.

Тысяча приветствий

Пятница. Нессельроде [89]

Записка Фон Фока «Разные рассуждения и толки между короткими друзьями Грибоедова», составленная на основании выдержки из письма

ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО ШТАБА. ЗДЕСЬ С 11 ФЕВРАЛЯ ПО 2 ИЮНЯ 1826 г. СОДЕРЖАЛСЯ ПОД АРЕСТОМ А.С. ГРИБОЕДОВ

Грибоедова к В. С. Миклашевич и разговоров самого Булгарина с Грибоедовым, интересна не только как свидетельство того, что поступавшие от Грибоедова известия Булгарин представлял в III Отделение. В записке Фон Фока и в письме Нессельроде от 22 марта 1829 г. выражены *два противоположных* мнения о причинах гибели Грибоедова, причем первое мнение основано, несомненно, на подлинных письмах Грибоедова; второе состоит в желании объяснить разгром русской миссии в Тегеране поведением самого Грибоедова. Последнее толкование восходит непосредственно к Николаю I.

Первая версия о причине гибели Грибоедова указывает вполне определенно на недовольство персидских чиновников неукоснительным взиманием контрибуции на основании Туркманчайского договора и на происки англичан в Персии, раздраженных льготными для России условиями Туркманчайского мира. Короче говоря, первая версия, содержащаяся в составленной Фон Фоком записке, объясняет смерть Грибоедова как следствие соединенных англо-персидских политических интриг против России. Эта версия подтверждается изучением и других документов, в частности донесений Грибоедова Паскевичу о ходе взимания контрибуции, а также изучением инструкции самого Нессельроде, которая была дана Грибоедову для руководства 1 мая 1828 г. Грибоедову предлагалось взыскать к определенному сроку не только $^{8}/_{10}$ всей наложенной контрибуции, но и оставшиеся два курура туманов (4 миллиона рублей серебром), причитавшиеся лично с Аббас-мирзы [90]. Выполняя эту инструкцию, Грибоедов не мог не вызвать недовольства персидских чиновников. Относительно участия англичан в провоцировании убийства в Тегеране говорил Паскевич (не имея еще в руках донесения И. С. Мальцева от 18 марта) в письме к Нессельроде от 20 февраля 1829 г.: «Можно предполагать, что англичане не вовсе были чужды участия в возмущении, вспыхнувшем в Тегеране, хотя, может быть, они не предвидели пагубных последствий оного (ибо они неравнодушно смотрели на перевес нашего министерства в Персии и на уничтожение собственного их влияния)» [91].

На неприязненное отношение англичан к Грибоедову указывал и оставшийся в живых первый секретарь посольства И. С. Мальцев в донесении к Паскевичу из Тавриза от 4 июня 1829 г.: «...Я достоверно узнал, что по прибытии сюда тела покойного нашего посланника, никто из англичан не выехал ему навстречу. По их настоянию тела не ввезли в город Тавриз, а поставили в маленькой загородной армянской церкви, которой также никто из англичан не посетил. От Наиб-султана не было оказано телу покойного Грибоедова никаких почестей, даже не был приставлен почетный караул. Аббас-мирза так поступил в угодность Макдональду; признаюсь, что я такой низости никогда не предполагал в английском посланнике; неужели и в этом находит он пользу для ост-Индской компании, чтобы мстить человеку даже после его смерти» [92].

Через четыре дня после получения от Бенкендорфа записки Фон Фока, 16 марта 1829 г., Нессельроде писал Паскевичу о впечатлении, произведенном на Николая I вестью о гибели Грибоедова, и одновременно подсказывал угодную Николаю I версию о виновности Грибоедова в своей смерти, то есть ту же мысль, которую Нессельроде проводит в публикуемом письме к Бенкендорфу: «При сем горестном событии его величеству отрадна была бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному и бесчеловечному умыслу, и что сие происшествие *должно приписать* опрометчивым порывам усердия покойного Грибоедова, несоображавшего поведение свое с грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской...» [93] (курсив наш. — *М. М.*). В том же письме Нессельроде сообщал о разрешении Николая I на отсрочку

платежа 9 и 10-го курура контрибуции. Фактически виновники гибели Грибоедова остались ненаказанными, дело ограничилось приездом в Петербург с извинениями Хозрева-мирзы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ЦГИА, ф. № 728, оп. 1, ед. хр. 1230, лл. 3—4.

[2] Нечкина. Грибоедов, стр. 57, 150, 563.

[3] Обращение выскоблено. То, что адресатом является Павел Муханов, не вызывает сомнений: письмо хранится в его бумагах.

[4] Герцог — Александр Виртембергский, у которого Бестужев был с 7 июля 1823 г. адъютантом.

[5] Н. Н. Оржицкий. См. о нем: «Лит. наследство», т. 59, стр. 194, а также стр. 227 настоящего тома.

[6] Софья Федоровна Крюковская — невеста, а с 1834 г.— жена Н. Н. Оржицкого.

[7] Александр — Грибоедов.

К именам двух декабристов — Н. Н. Оржицкого и А. Н. Муравьева, — с которыми, как известно, встречался Грибоедов во время своего двухмесячного пребывания в Симферополе, мы теперь можем прибавить еще имя М. Ф. Орлова, приехавшего в Крым из Одессы в середине июля 1825 г. Орлов пишет жене из Симферополя 19 июля 1825 г.: «Завтра еду на побережье вместе с Грибоедовым, которого я наконец разыскал и который со мной очень любезен». Описывая природу Крыма, Орлов продолжает: «Я приветствовал Чатыр-Даг криком восторга. Грибоедов без ума от Крыма» (ЦГИА, ф. № 1711, оп. 1, ед. хр. 59, л. 13—13 об. — Подлинник на франц. яз.). В следующем письме из Симферополя от 24 июля 1825 г., описывая жене свое путешествие по южному берегу Крыма, Орлов сообщает: «Я путешествовал совершенно один, так как Грибоедов почувствовал себя нездоровым» (там же, л. 15. — Подлинник на франц. яз.).

[8] А. И. Одоевский. — Письма Грибоедова к нему из Киева и Крыма до нас не дошли.

[9] Мария Сергеевна Грибоедова, по мужу Дурново (1793—1856)— сестра Грибоедова, пианистка, ученица Фильда.

[10] Николай Сергеевич Слепцов (1798—1831)— лейб-гусар. См. о нем: ВД, т. VIII, стр. 396—397. Там же, стр. 34, читаем, что А. А. Бестужев «в 1825 поступил в верхний круг, т. е. в разряд убежденных» Северного общества. Возможно, что Бестужев намекает Муханову именно на это вступление.

[11] Алексей Николаевич Бахметев (1801—1861) — ротмистр лейб-гвардии конного полка, впоследствии (с 1858 г.) попечитель Московского учебного округа.

[12] С. П. Трубецкой.— Его брат П. П. Трубецкой, член Союза Благоденствия, в это время был начальником Одесского таможенного округа. Не к нему ли ехал служить Оржицкий?

[13] Федор Петрович Шаховской (1796—1829)— член Союза Спасения и Союза Благоденствия.

[14] В дальнейшем Павел Муханов участвовал во многих кампаниях, занимал ряд гражданских должностей в Варшаве, был членом Государственного совета.

В том же архиве (ЦГИА, ф. № 728, оп. 1, ед. хр. 1230, л. 2) хранится более раннее письмо А. А. Бестужева к Павлу Муханову:

Любезному товарищу по полку и собрату по эксельбанту Бестужев желает здравия.

Сделай одолжение, любезный Павел Александрович, полюби Оржинского, который принесет тебе эту записку, и познакомь его, коли можно, в хороших домах московского общества, чем много обяжешь и его и любящего тебя

Александра Бестужева

Генв‹аря› 15 дня
1825.

[15] Д. И. Завалишин. Воспоминания о Грибоедове.— «Древняя и новая Россия», 1879, № 4, стр. 320—321; то же в сб. «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». Ред. Н. К. Пиксанова. Комментарии И. С. Зильберштейна. М., 1929, стр. 173; А. А. Сиверс. П. А. Муханов. Материалы для биографии. — «Памяти декабристов», I, 1926, стр. 153—159.

[16] «Русская старина», 1882, № 4, стр. 179, 181.

[17] Литературу о Павле Муханове см. в кн.: А. А. Сиверс. Материалы к родословию Мухановых. СПб., 1909, стр. 121—135.

[18] Нечкина. Грибоедов, стр. 150, 563 (прим. 83).

[19] Там же, стр. 410.

[20] В «Горе от ума».

[21] Парфений Николаевич Енгалычев (1769—1829)— шацкий уездный предводитель дворянства, составивший «Простонародный лечебник» (изд. 3-е, 1808).

[22] ЦГИА, ф. № 1155, оп. 1, ед. хр. 392, л. 1.

[23] «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». М., 1929, стр. 228—229; Нечкина. Грибоедов, стр. 490—492.

[24] «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников», стр. 169—170.— Подробный анализ образа Репетилова см. в главе XIII названной книги Нечкиной, стр. 365—380.

[25] ЦГИА, ф. № 48, оп. 1, д. 174, л. 19— из показания от 24 февраля 1826 г.

[26] ЦГВИА, ф. № 36, оп. 4/847, св. 16, д. 112 —«Дело о коллежском асессоре Грибоедове», л. 1; Щеголев. Декабристы, стр. 104; Нечкина. Грибоедов, стр. 481.

[27] ЦГВИА, ф. № 36, оп. 4/847, св. 16, д. 112, л. 2. — Этой записке В. В. Левашева к А. Н. Потапову предшествовала секретная записка последнего от 11 февраля 1826 г.: «Имею честь донести вашему высокопревосходительству, что сего числа привезен из крепости Грозной коллежский асессор Грибоедов, который и отправлен к генерал-адъютанту Башуцкому для содержания под арестом на главной гаубвахте» (ЦГИА, ф. № 48, оп. 1, д. 31, л. 5; Щеголев. Декабристы, стр. 107; Нечкина. Грибоедов, стр. 492).

[28] Там же, л. 3 (копия этого документа хранится в ГИМ, Щук., св. 457, ед. хр. А 819); Нечкина. Грибоедов, стр. 489.

[29] Федор Григорьевич Кальм (1788—1839)— член Союза Благоденствия.

[30] Александр Ходкевич (ум. 1838)— отставной генерал-майор польской службы, член польского тайного общества.

[31] Роман Васильевич Любимов (1784—1838)— член Союза Благоденствия.

[32] Павел Христофорович Граббе (1789—1875)— член Союза Благоденствия.

[33] Иван Матвеевич Юмин — член Союза Благоденствия.

[34] О Шаховском см. прим. 13.

[35] Николай Дмитриевич Синявин (179?—1833); привлекался к делу декабристов. См. о нем: ВД, т. VIII, стр. 176 и 395.

[36] Михаил Петрович Баратаев (1784—1856); привлекался к делу декабристов. См. о нем: ВД, т. VIII, стр. 28 и 273.

[37] Дмитрий Иринархович Завалишин (1804—1892)— член Северного общества. О пребывании с Грибоедовым под арестом в Главном штабе оставил интересные воспоминания (см. в сб. «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников», 1929, стр. 153—174).

[38] Алексей Алексеевич Гучков (1800—ок. 1879) — член Союза Благоденствия.

[39] ЦГВИА, ф. № 36, оп. 4/847, св. 16, д. 112, л. 6.

[40] Там же, л. 4.

[41] Там же, л. 7.

[42] Там же, л. 8.— В этот же день были освобождены и представлены через плац-адъютанта штабс-капитана Трусова начальнику Главного штаба Дибичу заключенные в Петропавловской крепости — М. Ф. Голицын, А. А. Плещеев 2-й и Ф. Е. Врангель (см. рапорт коменданта Петропавловской крепости генерал-адъютанта Сукина на имя Николая I от 2 июня 1826 г.—ЦГВИА, ф. № 36, 1826—1828 гг, оп. 4/847, св. 20, д. 265, л. 3). Копия публикуемого документа (№ 7) хранится в ЦГИА, ф. № 48, оп. 1, д. 37, л. 17 и частично использована в кн.: Нечкина. Грибоедов, стр. 512—513.

[43] Там же, л. 9; Щеголев. Декабристы, стр. 123. Копия документа находится в ЦГИА, ф. № 48, оп. 1, д. 37, л. 16 и полностью приводится в кн.: Нечкина. Грибоедов, стр. 512.

[44] Там же, св. 20, д. 265, л. 4—4 об. Воскресенье после 3 июня 1826 г. приходилось на 6 июня 1826 г. Подлинник документа хранится в ЦГИА (ф. № 48, оп. 1, д. 32, л. 129) и полностью приводится в кн.: Нечкина. Грибоедов, стр. 513.

[45] Михаил Федорович Голицын (1800—1873); привлекался по делу декабристов. См. о нем: ВД, т. VIII, стр. 66—67 и 306.

[46] Александр Александрович Плещеев 2-й (1802—1848); привлекался по делу декабристов. См. о нем: ВД, т. VIII, стр. 150 и 376.

[47] Михаил Николаевич Муравьев (1796—1866)— впоследствии Муравьев-Виленский; член Союза Спасения и Союза Благоденствия.

[48] Фаддей Егорович Врангель; привлекался по делу декабристов. См. о нем: ВД, т. VIII, стр. 58—59 и 299.

[49] Алексей Васильевич Семенов (1799—1864)— член Союза Благоденствия.

[50] ЦГВИА, ф. № 36, 1826—1828 гг., оп. 4/847, св. 20, д. 265, л. 5.— Против фамилии Грибоедова, подчеркнутой дополнительно карандашом, повидимому Дибичем, стоит карандашная отметка, напоминающая букву «ч». О происхождении ошибочной даты «4-го числа сего июня освобождены»— см. в кн.: Нечкина. Грибоедов, стр. 514, где опубликован с купюрой и настоящий список (стр. 513).

[51] Там же, св. 16, 1826 г., д. 112, л. 9.—Аналогичное отношение Дибича (копия)

к Нессельроде имеется в этом же деле (л. 11). Публикуемый документ точно указывает на 8 июня 1826 г., как на дату производства Грибоедова в чин надворного советника.

[52] Там же, св. 20, д. 265, л. 10. Грибоедову, как дипломату, жалование выплачивалось в «червонных», то есть в золотых рублях.

[53] Там же, л. 10 (в документе число отсутствует). Собственноручная справка Грибоедова датируется приблизительно 7—8 июня 1826 г.

[54] Там же, св. 16, д. 112, л. 12—12 об.

[55] Щеголев. Декабристы, стр. 109; Нечкина. Грибоедов, стр. 493, 499—500.

[56] ЦГВИА, ф. № 36, оп. 4/847, св. 15, д. 66, л. 1. Копия.

[57] ЦГИА, ф. № 48, оп. 1, д. 31, л. 5; Щеголев. Декабристы, стр. 107; Нечкина. Грибоедов, стр. 492.

[58] Там же, д. 174, л. 2; Полн. собр. соч. Грибоедова, т. III, Пг., 1917, стр. 189.

[59] В этот же день Следственная комиссия получила из Главного штаба отношение Ермолова к Дибичу об аресте и отправлении Грибоедова в Петербург (ЦГИА, ф. № 48, оп. 1, д. 31, л. 4, № 590 от 12 февраля 1826 г.; см. также воспроизведение отношения Ермолова от 23 января 1826 г. в «Лит. наследстве», т. 47-48, 1946, стр. 105). Если бы Грибоедова выводили из Главного штаба на допрос 11 февраля, то Следственная комиссия была бы уведомлена Левашевым (бывшим на заседании 11 февраля) в тот же день. Гораздо более вероятно, что отношение Ермолова было отправлено Потаповым (появившимся, кстати говоря, на заседании комиссии 12 февраля) к Левашеву, как члену Следственной комиссии, 12 февраля 1826 г., одновременно с отправкой к нему на допрос Грибоедова. Вечером Левашев занес отношение в Комиссию, где оно и было зарегистрировано за № 590.

[60] ЦГИА, ф. № 48, оп. 1, 1826 г., д. 27 (вход. № 1150 от 1 июня 1826 г.) — о получении Следственным комитетом отношения Дибича от 29 мая о переименовании по приказу Николая I Следственного комитета в Следственную комиссию.

[61] Там же, д. 174, лл. 15—19 об. и 21—23; Нечкина. Грибоедов, стр. 495 и 496.

[62] Там же, д. 26, лл. 226, 228 об., 263, 267—267 об.

[63] О В. И. Сухачеве Грибоедова допрашивали еще 15 марта 1826 г. Нужно отметить, что вслед за Грибоедовым о том же Сухачеве допрашивали в тот же день и А. И. Якубовича.

В протоколах Следственной комиссии записано, что 15 марта допрашивали: «... 4. Коллежского асессора *Грибоедова* вторично, для узнания, не был ли он известен о намерениях захваченного в Ростове близ Таганрога *Сухачева* и об Обществе в Грузии, к коему сей последний, по собственному признанию, принадлежит. Объявил, что не только не знал, но даже никогда не слыхал о Сухачеве, как в Грузии, так и в других местах. *Положили*: дать ему допросные пункты. 5. Капитана *Якубовича* по тому же предмету: показал, что в Грузии никакого *Сухачева* не знал, а был знаком четыре года тому назад с *Сухановым*, служившим там в суде расправы, который пользовался всеобщим уважением и доверенностию генерала Ермолова, делавшего ему неоднократно значительные порученности. *Положили:* взять в соображение и дать ему допросные пункты» (ЦГИА, ф. № 48, оп. 1, д. 26, л. 263).

О Сухачеве см.: ЦГИА, ф. № 48, оп. 1, д. 155; «Декабристы. Неизданные материалы и статьи». Под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана. М., 1925, стр. 75—80; «Былое», 1923, № 21, стр. 49—56; «Ученые записки Саратовского гос. университета», т. XX, 1948, стр. 50—91.

[64] ЦГИА, ф. № 48, оп. 1, д. 25, л. 210.—Заседание Следственной комиссии в этот день (16 марта) началось в 6 часов вечера и кончилось в 12 часов ночи (там же, л. 211 об.); в связи с этим необходимо обратить внимание на то, что Бенкендорф вызывал Грибоедова 16 марта 1826 г. к 1 часу дня (№ 6), то есть за 5 часов до начала заседания.

[65] Там же, л. 211 об.

[66] Там же, д. 26, л. 538 об.

[67] «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников», стр. 29.

[68] Там же, стр. 147—149, 183; письмо Грибоедова к В. К. Кюхельбекеру от 27 ноября 1825 г.—Полн. собр. соч. Грибоедова, т. III. Пг., 1917, стр. 183; Нечкина. Грибоедов, стр. 202, 482—484.

[69] ЦГВИА, ф. ВУА (коллекция Военно-ученого архива Главного штаба), секретная опись 10 с, 1826 г., д. 4, лл. 88—89 об.

[70] Нечкина. Грибоедов, стр. 476—478.

[71] Дмитрий Васильевич Дашков (1788—1879)— дипломат, литератор, один из основателей «Арзамаса», с 1826 г. товарищ министра внутренних дел. 25 апреля 1828 г. назначен состоять при Николае I во время его поездки в действующую армию. Об этом «возвышении» и говорится в записке. Впоследствии Дашков — министр юстиции и член Государственного совета (см. о нем также стр. 29).

[72] Александр Сергеевич Меншиков (1787—1869). С 1813 г. находился в свите Александра I, но участие его в составлении совместно с Новосильцевым и М. С. Воронцовым в 1821 г. проекта освобождения крестьян вызвало нерасположение к нему царя, и Меншиков был вынужден выйти в отставку. Карьера Меншикова

возобновилась при Николае I. Впоследствии — адмирал и генерал-адъютант, командовал войсками в Крымскую кампанию.

[73] Павел Петрович Сухтелен (1788—1833)— участник всех войн александровского царствования, в 1828 г.— один из представителей России при заключении Туркманчайского мира, впоследствии — оренбургский военный губернатор.

[74] То есть при Александре I.

[75] ЦГИА, ф. № 109, 1 секр. архив, оп. 4, ед. хр. 14, л. 1—1 об.

[76] О разговоре Грибоедова с Николаем I в марте 1828 г. (во время пребывания Грибоедова в Петербурге) в пользу осужденных декабристов см. в воспоминаниях Петра Бестужева — Бестужевы, стр. 362.

[77] Письмо Грибоедова к Булгарину от ноября 1828 г.—Полн. собр. соч. Грибоедова, т. III. Пг., 1917, стр. 232.

[78] «Полное собрание законов Российской империи», т. XXVII, стр. 30, 406; т. XXXV, стр. 27, 964; «Министерство внутренних дел. Исторический очерк. 1802—1902». СПб., 1901, стр. 51, 97—98.

[79] «Русская старина», 1881, № 9, стр. 165.

[80] ЦГИА, ф. № 109, 1 секр. архив, оп. 1, ед. хр. 1900, лл. 3 об.— 4.

[81] «Северная пчела», 1830, № 35 от 22 марта.

[82] Пушкин. Предисловие к «Путешествию в Арзрум» (т. VIII, стр. 443).

[83] Письмо к В. Ф. Вяземской от 18 марта 1828 г.— «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», вып. II. М.—Л., 1936, стр. 58.

[84] «Н. Полевой». Редакция, вступительная статья и комментарий Вл. Орлова. Л., 1934, стр. 468—473; М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1908, стр. 253—260.

[85] М. К. Лемке. Указ. соч., стр. 273—274.

[86] «Ост. архив», т. III, стр. 209, 566—567.

[87] Аббас-Мирза (1782—1833)— с 1816 г. наследник персидского престола; впоследствии правитель иранского Азербайджана с резиденцией в Тавризе («Русская старина», 1872, № 6, стр. 188—189).

[88] ЦГИА, ф. № 109, 1 эксп., 1829 г., д. 147, лл. 1—2.—Фон Фок приводит цитату (с небольшими разночтениями) из письма Грибоедова к В. С. Миклашевич из Тавриза от 3 декабря 1828 г. (ср. Полн. собр. соч. Грибоедова, т. III, стр. 237). «Один друг Грибоедова...» —Булгарин, связанный с III Отделением и любивший афишировать свои отношения с Грибоедовым. Эти отношения, позволявшие Грибоедову быть в курсе многих событий и настроений в правительственных кругах, часто являлись предметом иронических замечаний со стороны окружающих. Так, И. С. Мальцев писал из Тавриза к С. Д. Нечаеву 30 ноября 1828 г.: «Пишу к Булгарину. Он, надеюсь, тиснет *про всех* в „Северной пчеле" — мы, кажется, с ним в ладах» (ЦГИА, ф. № 1012, оп. 1, ед. хр. 149, л. 4 об.).

[89] Там же, л. 4—4 об.

[90] «Русская старина», 1874, № 11, стр. 521—523.

[91] Там же, 1872, № 8, стр. 189.

[92] Там же, стр. 192.

[93] Там же, стр. 193—194.

И. С. Мальцев писал С. Д. Нечаеву из Тифлиса 10 мая 1829 г.: «... Каких ужасов был я свидетелем в Персии!— истинно мои похождения могли бы послужить материалом Шпизу для какого-нибудь ужасного романа, а Шекспиру для кровопролитной драмы» (ЦГИА, ф. № 1012, оп. 1, ед. хр. 149, л. 5). Любопытно, что это письмо имеет карандашную пометку рукой Мальцева: «По прочтении просим возвратить». Возможно, что письма с описанием разгрома русской миссии в Тегеране были возвращены С. Д. Нечаевым обратно Мальцеву и уничтожены последним. Это предположение подтверждает и перерыв в письмах И. С. Мальцева с 30 ноября 1828 г. по 10 мая 1829 г., и то обстоятельство, что правдивое описание событий убийства Грибоедова находилось бы в противоречии с официальной версией Нессельроде — Николая I, опровергнуть которую Мальцеву, как чиновнику Министерства иностранных дел, было бы небезопасно.

Сохранился отклик И. А. Мальцева на смерть Грибоедова, который встречался с ним в Симферополе. 27 марта 1829 г. Мальцев пишет из Москвы в Петербург С. Д. Нечаеву: «Любезнейший друг, Степан Дмитриевич, бог неисповедимыми судьбами спас нашего секретаря по беспредельной своей милости; дошедшая ужасная весть о несчастном Грибоедове в то же время известила нас о сохранении Вани. Я душевно сожалею о покойнике, с которым проведенные десять дней в Крыму возродили навсегда к нему в душе моей уважение...» (ЦГИА, ф. № 1012, оп. 1, ед. хр. 148, л. 4).

Ваня — Иван Сергеевич Мальцев (1807—1880) сопровождал Грибоедова в Персию в качестве первого секретаря русского посольства. Во время разгрома посольства в Тегеране 30 января 1829 г. единственным оставшимся в живых был И. С. Мальцев, спрятавшийся в доме знакомого персиянина. Обстоятельства, связанные с убийством Грибоедова, исследованы А. П. Берже в статье «Смерть А. С. Грибоедова».— «Русская старина», 1872, № 8, стр. 163—207.

II. СПИСОК «ГОРЯ ОТ УМА» ДЕКАБРИСТА А. И. ЧЕРКАСОВА

Сообщение О. И. Поповой

Несколько лет тому назад Государственный Литературный музей приобрел экземпляр комедии Грибоедова, переписанный рукою члена Северного и Южного обществ Алексея Ивановича Черкасова. Это — первый известный нам список «Горя от ума», сделанный декабристом.

Тексту комедии в списке Черкасова предшествует неизвестный портрет Грибоедова работы художника-любителя первой половины XIX в. — Модеста Дмитриевича Резваго[1].

Тот факт, что список комедии был сделан именно А. И. Черкасовым, устанавливается сличением почерка, которым переписана комедия и сделана дарственная надпись на списке, с автографами Черкасова, находящимися в делах декабристов.

Дарственная надпись находится наверху первого листа рукописи. Приводим ее целиком:

Милостивой государыне Софье Павловне Дарауер сия комедия в вечное и потомственное владение от начавшего копировать ее. Апреля 30 дня 1825. С. П.бург, вечер 9 часов.

Черкасов

Подпись под дарственной надписью тщательно зачеркнута. Очевидно, владельцы рукописи вычеркнули подпись уже после 14 декабря, когда боялись произносить имена декабристов, когда уничтожались документы, свидетельствующие о близости с ними. Подпись удалось прочитать лишь с помощью профессора С. М. Потапова в криминалистической лаборатории Института права Академии наук СССР[2].

Биографические данные о Софье Павловне Дарауер разыскать не удалось.

* * *

Декабрист Алексей Иванович Черкасов (род. в 1799 г.) — сын белевского помещика, секунд-майора барона И. П. Черкасова.

«В университетском благородном пансионе в Москве я пробыл 3 года», — говорил Черкасов в своих показаниях[3]. В 1816 г. Черкасов определился в Муравьевскую школу колонновожатых, где в 1817 г., после выдержанных им испытаний, был произведен в прапорщики. Дальнейший свой служебный путь Черкасов охарактеризовал следующими словами: «Быв откомандирован в главную квартиру 1-й Армии, пробыл в оной 2 месяца. Из оной был послан в главную квартиру 2-й Армии; был на высочайшем смотре 7-го корпуса в Старом Константинове и потом находился при 3-й Драгунской дивизии. 1819 года 22 марта прибыл на съемку Подольской губернии, где пробыл до начала 1825 года. В сем же году поступил на съемку Киевской губернии. Под судом и штрафом не бывал до 1826 года»[4].

В первом показании Черкасов отрицал свою принадлежность к Тайному обществу, но затем признался, что был «принят в Тайное общество в 1824 г. капитаном Филипповичем» в Тульчине[5]. О принадлежности Черкасова к Тайному обществу показали также М. П. Бестужев-Рюмин, А. П. Барятинский, В. П. Ивашев, один из братьев Заикиных, один из братьев Бобрищевых-Пушкиных, Юшневский и Пестель[6].

Вступить в Тайное общество побудило Черкасова, как он показал на следствии 20 января 1826 г., «желание видеть в России хорошие законы».

Отбыв срок наказания на Нерчинских рудниках, Черкасов был поселен сначала в г. Березове Тобольской губернии, а затем в Ялуторовске. В 1837 г. он был зачислен рядовым в Тенгинский полк на Кавказе. В 1843 г. Черкасов был уволен от службы и поселился в Белевском уезде, в имении своей мачехи, состоя под строгим секретным надзором полиции. До полной амнистии декабристов Черкасов не дожил. Он умер в апреле 1855 г.

* * *

С текстологической стороны список комедии «Горе от ума», сделанный рукою Черкасова, не представляет особого интереса. Восходит он в основном к «Жандровскому списку» и отличается от текста комедии, напечатанного в издании Академии наук, лишь незначительными разночтениями, повторяющими те, которые были уже опубликованы Н. К. Пиксановым[7].

Ценность списка заключается главным образом в том, что он принадлежал декабристу, и в том, что в рукопись вклеен прижизненный портрет Грибоедова работы художника М. Д. Резваго.

Прижизненная иконография Грибоедова небогата: акварельный портрет В. И. Мошкова 1827 г. и миниатюра П. А. Каратыгина, рисованная, как гласит надпись на обороте ее, «с натуры в марте 1829 года». Между тем в марте 1829 г. Грибоедова уже не было в живых. Возникает вопрос: что же является ошибкой в этой надписи? Утверждение ли, что портрет сделан «с натуры», или дата? Повидимому, дата. К прижизненным портретам, быть может, следует отнести портрет работы Горюнова (?), принадлежавший одному из Всеволожских, а также портрет, приписываемый кисти Робильяра (вделанный в переплет списка «Горя от ума», подаренного Грибоедовым Булгарину). Существуют еще два рисунка Пушкина, изображающих Грибоедова в профиль (1823 и 1831 гг.) и гравюра Н. И. Уткина (1829 г.)[8].

Д. И. Завалишин писал: «... из всех портретов Грибоедова я не видел до сих пор ни одного, который напомнил бы мне остроумную физиономию автора „Горя от ума"; по крайней мере того Грибоедова, каким я знал его в 1824 и 1825 годах»[9].

При такой бедности грибоедовской иконографии[10] новый портрет писателя, к тому же исполненный в своеобразной трактовке, представляет большой интерес.

Портрет, помещенный в бумажную рамку, наклеен на обороте первого листа рукописи. Грибоедов изображен здесь в профиль, без очков. На рамке, внизу, нарисован нотный свиток, а на свитке — очки Грибоедова.

Портрет выполнен карандашом. Под портретом характерная для художника Резваго подпись — монограмма из французских букв «MR»[11] и дата — «1825 г.».

Модест Дмитриевич Резваго (1807—1853) — военный и общественный деятель николаевского царствования, сын героя Отечественной войны 1812 г. — в 1825 г. окончил Главное инженерное училище. С 1835 г. он преподавал историю в старших классах Инженерного училища. В 1849 г. в чине полковника был вице-директором Строительного департамента Морского министерства. Таков служебный путь Резваго[12].

Но интересы Резваго не ограничивались только службой. Он был, кроме того, любителем-художником и музыкантом. Художник-дилетант, Резваго рисовал портреты главным образом своих друзей и знакомых[13].

Большую дань отдавал Резваго музыке. В качестве виолончелиста он принимал участие в петербургских музыкальных вечерах. Известен он был и своими музыкальными рецензиями, печатавшимися в «Северной

А. С. ГРИБОЕДОВ

Рисунок М. Д. Резваго, 1825 г.

Вклеен в список «Горя от ума», собственноручно сделанный декабристом А. И. Черкасовым

Литературный музей, Москва

пчеле». В. Ф. Одоевский признавал за Резваго большие заслуги в деле развития музыкального образования в России. Одоевский ценил его как «глубокого знатока музыки» и «талантливого сочинителя», считая, что Резваго «установил впервые наш технический музыкальный язык»[14]. Заслуги Резваго в области музыки отмечены были в 1842 г. Академией наук: при избрании Резваго в члены-корреспонденты Отделения русского языка и словесности ему поручено было составить музыкальный словарь[15].

Ранее того, 19 сентября 1839 г., в торжественном собрании Академии художеств, «коллежский асессор Модест Дмитриевич Резваго, известный любовию к искусствам и отличными успехами его к рисованию и музыке», признан был «почетным вольным общником»[16].

Оба — и Грибоедов и Резваго — принадлежали к одному и тому же кругу петербургского общества, обоим присущи были музыкальные интересы, оба, в частности, бывали в доме издателя «Северной пчелы». В 1825 г. (дата, указанная на портрете) они действительно могли встречаться в Петербурге. Это был последний год длительного служебного отпуска Грибоедова, проведенного им частью в Москве, частью в имении С. Н. Бегичева в Тульской губернии — Дмитриевке, частью в Петербурге. С января по 18 мая 1825 г. Грибоедов жил в Петербурге. Таким образом, Резваго исполнил портрет Грибоедова, повидимому, между январем и серединой мая 1825 г. В конце мая Грибоедов был уже в Киеве, возвращаясь на Кавказ.

Как и почему портрет Грибоедова работы Резваго оказался вклеенным в список «Горя от ума», сделанный декабристом Черкасовым? Принадлежал ли портрет действительно Черкасову или вклеен был в список позднейшими владельцами рукописи? Этого мы не знаем.

* * *

Кроме списка «Горя от ума», сделанного Черкасовым, Государственный Литературный музей почти одновременно приобрел список комедии, принадлежавший семье Ушаковых.

Семья Ушаковых была одной из наиболее просвещенных московских дворянских семей. Их дом посещали представители и старой и новой литературы: от П. И. Шаликова до П. А. Вяземского и, наконец, Пушкина, посвятившего дочерям Ушаковых несколько стихотворений и нарисовавшего им множество рисунков в известном «Ушаковском альбоме».

Мы вправе предполагать поэтому, что список «Горя от ума» семьи Ушаковых мог держать в своих руках частый посетитель ушаковской семьи в 1827 г. — Пушкин[17].

Семья Ушаковых была музыкальна. Быть может, здесь бывала Мария Сергеевна, музыкально одаренная сестра Грибоедова? А может быть, бывал и сам Грибоедов во время своих наездов в Москву? Нельзя не вспомнить, что младшая дочь Ушаковых, Елизавета Николаевна, в 1830 г. вышла замуж за Сергея Дмитриевича Киселева, брата друга Грибоедова, Николая Дмитриевича.

В свете этих предположений ушаковский список комедии «Горе от ума» приобретает для нас особую ценность. Судя по почерку, комедия переписывалась Екатериной Николаевной, Елизаветой Николаевной Ушаковыми и еще одним лицом (быть может, их отцом — Н. В. Ушаковым)[18].

При сравнении ушаковского списка с текстом «Горя от ума», опубликованным в издании Академии наук под редакцией Н. К. Пиксанова, который для установления канонического текста комедии пользовался рукописями С. Н. Бегичева, А. А. Жандра, Ф. В. Булгарина, а также отрывками текста «Горя от ума», напечатанными в 1825 г. в «Русской Та-

Милостивой Государынѣ Варварѣ Павловнѣ Дарауеръ сія комедія въ вѣчное и потомственное владѣніе отъ начавшаго переписывать ее. — Апрѣля 30 дня 1825 / С. П. бургъ. вечеръ 9 часовъ — [redacted]

Горе отъ ума

Комедія

въ 4х дѣйствіяхъ въ стихахъ

Дѣйствующіе.

Павелъ Афонасьевичъ Фамусовъ, управляющій въ казенномъ мѣстѣ
Софья Павловна, дочь его.
Лизанька, служанка
Алексѣй Степановичъ Молчалинъ, секретарь Фамусова живущій въ его домѣ. —
Александръ Андреевичъ Чацкій.
Полковникъ Скалазубъ, Сергѣй Сергѣевичъ
Антонѣа Дмитріевна, молоденькая дама } Горичевы
Платонъ Михайловичъ, мужъ ея
Князь Тугоуховскій и
Княгиня жена его съ шестью дочерьми.
Графиня бабушка Хрюмина
Графиня внучька
Антонъ Антоновичъ Загорѣцкій
Старуха Хлестова, своячиница Фамусова
Г. N.
Г. D.
Репетиловъ.
Петрушка и нѣсколько говорящихъ слугъ
Множество гостей всякаго разбора и ихъ лакеевъ при разъѣздѣ. —
Официанты Фамусова. —
Дѣйствіе въ Москвѣ въ домѣ Фамусова

СПИСОК «ГОРЯ ОТ УМА», СОБСТВЕННОРУЧНО СДЕЛАННЫЙ ДЕКАБРИСТОМ А. И. ЧЕРКАСОВЫМ

Был подарен Черкасовым С. П. Дарауер 30 апреля 1825 г. Подпись Черкасова в дарственной надписи зачеркнута, вероятно, владельцем рукописи после 14 декабря

Лист 1

Литературный музей, Москва

лии», мы находим ряд, неизвестных до сих пор, разночтений. Приводим наиболее существенные из них:

ТЕКСТ ИЗДАНИЯ АКАДЕМИИ НАУК	ТЕКСТ УШАКОВСКОГО СПИСКА
Действие I.	
Явление 4.	
Молчалин	
Я только нес их для докладу,	
Что в ход нельзя пустить без справок, без иных,	Что в ход нельзя пустить без справок *и* без *книг*,
Явление 5.	
Лиза	
Лечился, говорят, на кислых он водах,	
Не от болезни, чай, от скуки, — повольнее.	Не от болезни, чай, от скуки, *там вольнее...*
Явление 7.	
Чацкий	
Что я Молчалина глупее? Где он, кстати?	Что я Молчалина глупее... кстати:
Еще ли не сломил безмолвия печати?	Еще *он* не сломил *молчания* печати?
Явление 10.	
Фамусов	
. . . .	
Ну, виноват. Какого-ж дал я крюку!	Ну, виноват. Как*ую* ж дал я *рюху!*
Действие II.	
Явление 2.	
Фамусов	
. . . .	
Раскланяйся, тупеем не кивнут.	Раскланяйся, *путем и* не кивнут.
Действие IV.	
Явление 2.	
Наталья Дмитриевна	
Мой ангел, жизнь моя,	Мой ангел, жизнь моя!
Бесценный, душечка, Попошь[19], что так уныло?	Бесценный *душенька*, что *смотришь* так уныло?
(Целует мужа в лоб.)	*(Целует его в лоб)*

Пунктуация в ушаковском списке на протяжении всего текста комедии в очень многих случаях отступает от пунктуации академического издания и рукописей Жандровской и Булгаринской. Особенно часты случаи замены вопросительного знака — восклицательным и наоборот.

Кроме того, в списке встречаются разночтения и в ремарках. Есть пропуски отдельных слов. В 3-м явлении III действия в ушаковском списке, так же как и в булгаринском, пропущена часть диалога между Чацким и Молчалиным. Характер разночтений текста комедии восходит в основном к Жандровской и Булгаринской рукописям.

Ушаковский список тем более интересен, что архивный материал, относящийся к творческой истории комедии, дошел до нас далеко не весь[20].

47

Гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ.
Карету мнѣ! Карету!
(Уходитъ)

Явленіе 15.

Тѣже, кромѣ Чацкаго.

Фамусовъ.

Ну что? Не видишь ты, что онъ съ ума сошелъ
Скажи сурьозно:
Безумный! Что онъ тутъ за чепуху моловъ!
Низкопоклонникъ! тесть! и про Москву такъ грозно!
А ты меня рѣшилась уморить?
Моя судьба еще ли не плачевна?
Ахъ! Боже мой! что станетъ говорить
Княгиня Марья Алексѣвна!

Конецъ.

СПИСОК «ГОРЯ ОТ УМА», СОБСТВЕННОРУЧНО СДЕЛАННЫЙ ДЕКАБРИСТОМ А. И. ЧЕРКАСОВЫМ

Лист последний

Литературный музей, Москва

Несохранившиеся рукописи Грибоедова могли содержать неизвестные нам варианты текста комедии. Это соображение обязывает исследователей с сугубой внимательностью относиться к многочисленным спискам «Горя от ума»: часть их могла быть сделана с не дошедших до нас рукописей, ценных в текстологическом отношении.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Фамилия М. Д. Резваго в разных печатных источниках пишется по-разному: Резвой, Резваго.

[2] Приношу С. М. Потапову большую благодарность за произведенную им трудную и сложную работу для прочтения зачеркнутой подписи декабриста Черкасова.

[3] ЦГИА, ф. № 48, д. 428, л. 15.

[4] Там же, лл. 14—15. «Формулярный список поручика барона Черкасова 1826 года» дополняет показания декабриста. Из этого формулярного списка мы узнаем, что Черкасов был «колонновожатым» с 1 февраля 1817 г., прапорщиком — с 26 ноября 1817 г., подпоручиком — с 8 апреля 1821 г. и, наконец, поручиком — с 26 ноября 1823 г.; в 1824 г., «с 25 января на два месяца», был в отпуску (там же, лл. 16—17). Формулярный список обрывается на 1824 г.

Из писем С. М. Салтыковой, гостившей в имении своего дяди, декабриста П. П. Пассек (в Крашневе, Смоленской губ.), мы узнаем, что летом 1824 г. в Крашневе дважды гостил «барон Черкасов». Повидимому, это был А. И. Черкасов (Б. Л. Модзалевский. Роман декабриста Каховского. Л., 1926, стр. 34, 42). Пассека в этот год, по свидетельству Салтыковой, посещали многие декабристы, в том числе: И. Д. Якушкин, И. С. Повало-Швейковский (подольский помещик), В. К. Кюхельбекер, П. Г. Каховский.

[5] Там же, л. 21.— Н. И. Филиппович — капитан квартирмейстерской части; умер в марте 1825 г. Повидимому, Черкасов для того назвал имя покойного Филипповича, чтобы иметь возможность не называть имен живых членов Тайного общества.

[6] Там же.

[7] Грибоедов. Полн. собр. соч., т. II. Пг., 1913; Н. К. Пиксанов. Творческая история «Горя от ума». М.—Л., 1928, стр. 75—152.

[8] Грибоедов. Полн. собр. соч., т. III. Пг., 1917, стр. 326.

[9] Д. И. Завалишин. Воспоминания о Грибоедове.— «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». М., 1929, стр. 174.

[10] О прижизненной иконографии Грибоедова см. в изд.: «Пушкин и его друзья. Портреты». Редакция и вступительная статья И. С. Зильберштейна. М., изд. Гос. Лит. музея, 1937, стр. 31—33.

[11] В. Я. Адарюков. Очерк по истории литографии в России. — «Аполлон», 1912, № 1, стр. 34.

[12] «Список членов имп. Академии наук. 1725—1907 гг., составленный Б. Л. Модзалевским». СПб., 1908, стр. 199.— Портрет М. Д. Резваго (с миниатюры неизвестного) воспроизведен в «Старых годах», 1913, апрель, стр. 28.

[13] Перечень портретов работы Резваго дается в «Очерке по истории литографии в России» В. Я. Адарюкова (см. прим. 11).

[14] «Лит. газета», 1845, № 11, от 15 марта.

[15] Отдельным изданием словарь М. Д. Резваго не вышел. Он вошел составной частью в «Словарь церковно-славянского и русского языка», изданный 2-м Отделением имп. Академии наук (СПб., 1847). В I-м томе указанного словаря читаем: «Для музыкальных терминов М. Д. Резвый сообщил Отделению в рукописи составленный им музыкальный словарь» (стр. XV).

[16] «Сборник материалов для истории имп. С.-Петерб. Академии художеств за 100 лет ее существования», ч. II. Изд. под ред. П. Н. Петрова и с его примечаниями. СПб., 1865, стр. 387.

[17] Список «Горя от ума», принадлежавший Ушаковым, писан на бумаге с водяным знаком 1826 г.

[18] Автографы Н. В. Ушакова в архивах отсутствуют, поэтому точно ответить на этот вопрос нельзя.

[19] Наименование «Попошь», обращенное Н. Д. Горичевой к мужу, имеется лишь в Жандровском списке. Не есть ли это французское слово «popote» (что есть «домосед»), неверно прочитанное переписчиком в грибоедовских «брульонах», хранившихся в архиве А. А. Жандра?

[20] См. Н. К. Пиксанов. Творческая история «Горя от ума». М.—Л., 1928, стр. 104—105, 131—133; Полн. собр. соч. Грибоедова, т. III. Пг., 1917, стр. 196; ср. В. А. Парсамян. А. С. Грибоедов и армяно-русские отношения. Ереван, 1947, стр. 229—230.

III. ЕСТЬ ЛИ ПРОПУСК В РУКОПИСИ ВОСПОМИНАНИЙ А. А. БЕСТУЖЕВА О ГРИБОЕДОВЕ?

Сообщение В. А. Архипова

В 1860 г. М. И. Семевский опубликовал в «Отечественных записках» рукопись воспоминаний А. А. Бестужева о Грибоедове — «Знакомство А. А. Бестужева с А. С. Грибоедовым»[1]. В этой публикации после слов: «С этих пор мы были уже нечужды друг другу» следовало многоточие, а в примечании сообщалось: «Пропуск в подлиннике». Во всех без исключения дальнейших перепечатках сохранялись как многоточие, так и примечание Семевского[2].

Все это породило чуть ли не целую литературу. Не было историка, критика, литературоведа, который, занимаясь Грибоедовым, не высказывал бы недоверия к примечанию Семевского или не огорчался бы по поводу «утраченного» отрывка воспоминаний выдающегося декабриста о великом драматурге, не строил бы предположений о содержании недошедшего до нас отрывка и, наконец, не ссылался бы на «выразительное многоточие» как на наиболее сильный аргумент в пользу тесных связей Грибоедова и декабристов. Насколько далеко ушли ученые в данном направлении, можно судить по следующему рассуждению М. В. Нечкиной.

«В указанном пропуске и многоточии первопечатного текста,— читаем мы в книге «А. С. Грибоедов и декабристы»,— нельзя не усмотреть косвенного опровержения показаний того же А. Бестужева на следствии; значит, о чем-то сам Бестужёв не счел возможным говорить, когда писал воспоминания. Но почему же не опубликовать факта, что Грибоедов *не был* членом тайного общества? Очевидно, речь шла о каком-то другом, противоположном, факте»[3].

Иными словами, в этом многоточии М. В. Нечкина «усмотрела» доказательство того, что Грибоедов был членом Тайного общества. Странно, что для выяснения сомнительного места М. В. Нечкина не обратилась к автографу воспоминаний, хранящемуся в ИРЛИ.

Только в 1951 г. М. К. Азадовский после тщательного изучения рукописи Бестужева, сообщил, что М. И. Семевский опубликовал бывший у него текст полностью. Вопрос же о пропуске в оригинале М. К. Азадовский оставил открытым. Был ли, «действительно, пропуск, сказать трудно,— пишет он.— Фразой „мы были нечужды друг другу..." заканчивается часть тетради, находящаяся в переплете № 5576; часть же тетради в переплете № 5581 начинается со следующей фразы 〈«Обладая всеми светскими выгодами...»—соответственно публикации М. К. Азадовского.— *В. А.*〉. Возможно, что несколько листов оказались утраченными»[4].

Это наиболее авторитетное суждение. Оно не пересматривалось до настоящего времени. Обращение к рукописи Бестужева заставляет, однако, несколько уточнить мнение М. К. Азадовского.

Семевский, действительно, опубликовал полностью, но не рукопись Бестужева, а копию, снятую с нее сестрой декабриста Еленой Александровной Бестужевой. Последняя же, снимая копию, опустила одну фразу, открывавшую вторую тетрадь, и поставила вместо нее многоточие. Вот эта фраза: «и тем чаще я мог быть с ним». Она начинается со строчной буквы, следовательно, является обрывком чего-то. Чего?—этого вопроса Е. А. Бестужева не могла решить и сделала пропуск. Так появилось «выразительное многоточие» и родилась версия об утраченных «нескольких листах» рукописи. Но если мы отрешимся от гипноза многоточия, которого в рукописи Бестужева нет, соединим «разрозненные» тетради (что позволяют сделать значки, поставленные Бестужевым в конце первой тетради и

открывающие вторую тетрадь) и будем читать так, как написано в оригинале, то у нас получится:

«С этих пор мы были уже нечужды друг другу и тем чаще я мог быть с ним».

Таков подлинный бестужевский текст, в нем нет никакого пропуска.

Восстановленное место при всей его краткости имеет немалое значение. Оно говорит о частых встречах Грибоедова в 1825 году (!) с одним из руководителей Северного общества. Данное свидетельство самого Бестужева — драгоценно. Если же мы будем держаться точного смысла слов «тем чаще я мог быть с ним», то увидим, что они несут особую смысловую нагрузку: в них речь идет не о встречах в компании друзей, не о беседах при третьих лицах, а о разговорах глаз на глаз, вдвоем («я» «с ним»), что характерно. Наконец, восстановленная фраза свидетельствует о том, что дружба Бестужева и Грибоедова, приведшая к частым встречам, возникла на основе идейной общности.

Таково, в общих чертах, значение восстановленного текста.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Отечественные записки», 1860, № 10, стр. 633—640.

[2] См. «Воспоминания братьев Бестужевых». Редакция П. Е. Щеголева. Пг., изд. «Огни», 1917, стр. 352; «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». Ред. Н. К. Пиксанова. Комментарии И. С. Зильберштейна. М., 1929, стр. 139; «А. С. Грибоедов, его жизнь и гибель в мемуарах современников». Редакция и примечания Зин. Давыдова. Л., 1929, стр. 52; Бестужевы, стр. 529.

[3] Нечкина. Грибоедов, стр. 407—408.

[4] Бестужевы, стр. 803, 805—806.

В этом издании воспоминаний М. К. Азадовский ошибочно поместил фразу: «Обладая всеми светскими выгодами...» не на свое место. В автографе она следует после слов: «и тем чаще я мог быть с ним».

К ИСТОРИИ ЗНАКОМСТВА ЛЕРМОНТОВА С ДЕКАБРИСТАМИ*

Сообщение Д. А. Гиреева и С. И. Недумова

21 июня 1837 г. военный министр А. И. Чернышев сообщил секретно П. А. Клейнмихелю, шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу и командиру Кавказского корпуса Г. В. Розену о высочайшем повелении относительно шести «государственных преступников». Государь «повелеть соизволил находящихся на поселении государственных преступников *Нарышкина*, *Лорера*, *Лихарева*, *Назимова*, *Розена* и *Фохта* определить рядовыми в Отдельный кавказский корпус, назначив их в разные батальоны под строгий присмотр и с тем, чтобы они непременно несли строевую службу по их званию и без всяких облегчений»[1].

22 июня было послано дополнительное извещение, касающееся судьбы А. И. Одоевского. «Высочайшее повеление» о нем было более лаконичным: «...Находящегося на поселении государственного преступника Одоевского определить рядовым в Отдельный кавказский корпус»[2]. От напутствия о «строгом присмотре» и суровых условиях службы Одоевский был избавлен. Так же было сформулировано и «высочайшее повеление» о декабристе А. И. Черкасове. Он был определен рядовым в один из полков Кавказского корпуса 28 июля 1837 г.[3]

Переводу Одоевского и Черкасова предшествовали длительные хлопоты их родственников. В делах Военного министерства имеется прошение мачехи Черкасова от 19 июля 1837 г. на имя наследника о переводе ее пасынка на Кавказ[4]. Таким образом, в июне—июле 1837 г. из Сибири на Кавказ получили перевод восемь декабристов. Но один из них,

---

* В 1837 г., когда Лермонтов был выслан на Кавказ за стихи на смерть Пушкина, в Отдельный кавказский корпус была переведена значительная группа декабристов, находившихся до тех пор на поселении в Сибири. Со многими из них Лермонтов познакомился, с некоторыми подружился.

Встречи великого поэта с представителями первого поколения русских революционеров, несомненно, имели для него большое значение. Достаточно вспомнить стихотворение «Памяти О<доевско>го» или глухое упоминание в «Княжне Мэри» о «философско-метафизическом» споре «в многочисленном и шумном кругу молодежи» в городе «С...». Доказано, что Лермонтов имел здесь в виду Ставрополь, где в 1837 г., как мы знаем из воспоминаний современников, он встретился с декабристами.

Длительны ли были эти встречи? Когда и кого именно из декабристов видел Лермонтов на Кавказе? Об этом мы имеем самые сбивчивые мемуарные свидетельства, и это вполне понятно: воспоминания о ставропольском периоде жизни Лермонтова писались через тридцать — сорок лет после событий и припомнить по месяцам, а тем более по дням, где и когда был мемуарист на Кавказе, затруднительно. Подлинные документы о пребывании декабристов на Кавказе в 1837 г. обнаружены Д. А. Гиреевым и С. И. Недумовым в Пятигорском архиве, в Государственном историческом архиве Грузинской ССР и в некоторых московских архивах.

Сопоставляя эти документы с хронологической канвой жизни Лермонтова, авторы сообщения высказывают ряд убедительных догадок о возможности встреч поэта с декабристами и опровергают некоторые предположения об одном из интересных эпизодов в биографии великого поэта, бытующие до сих пор в литературе.— *Ред.*

Фохт, «по причине крайне расстроенного здоровья, согласно высочайшей воле», был «оставлен в г. Кургане на прежнем основании»[5].

Еще задолго до того, как декабристы должны были прибыть из Сибири, кавказское начальство стало готовиться к приему «государственных преступников». Было решено, чтобы вновь вступавшие в Отдельный кавказский корпус ехали обязательно через Ставрополь, где находился Штаб войск Кавказской линии и Черноморья.

28 июля начальник корпусного штаба генерал-майор Вольховский послал начальнику штаба войск Кавказской линии и Черноморья секретное предписание относительно четырех из переведенных декабристов: государь «повелеть соизволил находящихся на поселении государственных преступников *Нарышкина*, *Лорера*, *Лихарева* и *Назимова* определить рядовыми в Отдельный кавказский корпус, назначив их в разные батальоны, из которых г. корпусной командир назначил первого в Навагинский, второго — в Тенгинский пехотные, Лихарева — в Куринский и Назимова — в Кабардинский егерские полки, причем, прося об отправлении их по назначению прямо в полки присовокупляет, что воинскому в Екатеринограде начальнику предписано в случае, если они направлены будут из Сибири на Екатериноград, то обратить их в Ставрополь»[6].

Начальник штаба войск, в свою очередь, отдал 5 августа секретное распоряжение коменданту Ставрополя о том, чтобы названные лица по приезде «...тотчас представлены были в штаб сей для отправления по назначению. Люди сии будут присланы в Кавказский корпус из Сибири ⟨...⟩ потому не угодно ли будет приказать, чтобы они не проследовали в Тифлис?»[7]

В Ставрополь декабристы приехали только в октябре. Видимо, где-то в пути группа их разбилась на партии. Первыми прибыли Нарышкин, Назимов и Одоевский. 10 октября из штаба войск доносили командующему Кавказским корпусом: «...Из числа трех государственных преступников, следовавших из Сибири в г. Тифлис в сопровождении казака Тобольского русского городового казачьего полка Тверетинова, Нарышкин и Назимов ⟨...⟩ сданы в штаб войск Кавказской линии и немедленно отправлены будут по назначению: Нарышкин — в 5-й батальон Навагинского пехотного полка, а Назимов — в Кабардинский егерский полк; Одоевский же в сопровождении Тверетинова вместе с сим отправился в дальнейший путь...»[8]

Назимов и Нарышкин, действительно, были «сданы исправно» в штаб 10 октября, как свидетельствует об этом квитанция, выданная казаку Тверетинову, а из «сопроводительной» к их личным делам, адресованной капитану Сердаковскому, выясняется, что они «прибыли 8 числа сего месяца в Ставрополь и находятся в ведении штаба сего на квартире в доме Постникова под наблюдением урядника Моздокского казачьего полка Кулешова»[9].

Несомненно, что 8 октября вместе с Нарышкиным и Назимовым прибыл в Ставрополь и Одоевский. Ведь он тоже следовал под охраной казака Тверетинова. Да и Назимов впоследствии вспоминал, что он ехал из Сибири в одном экипаже с Одоевским, передавая при этом подробности по поводу создания стихотворения Одоевского «Куда несетесь вы, крылатые станицы?...». «Этот экспромт сказан Одоевским при виде станицы журавлей, летевших на юг, когда он ехал со мною в одном экипаже из Сибири на Кавказ в октябре 1837 года. Стихотворение это тогда же было записано мною на ближайшей станции со слов моего друга Одоевского»[10].

Одоевский был назначен в Нижегородский драгунский полк, стоявший в Карагаче под Тифлисом, куда он и отправился 10 октября. В тот же день Нарышкин сообщал родным: «Пишу вам из Ставрополя, куда мы

В. Н. ЛИХАРЕВ

Рисунок А. Б. Гибаля, 1823 г. Внизу — сделанные рукой Гибаля надписи по-французски: (справа) «Ново-Миргород, 1823. А. Гибаль» и (слева позднейшая надпись) «Лихарев, сосланный в Сибирь»*

Литературный музей, Москва

кой-как дотащились по весьма грязной и затруднительной дороге. Здесь расстаюсь я с добрыми моими сопутниками и каждый из нас получает особенное назначение. Мы назначены в полки, которые расположены по сю сторону Кавказа и потому уже не поедем в Тифлис, на который нам очень хотелось взглянуть хотя мимоходом и познакомиться с совершенно новою для нас страною ⟨...⟩ место моего пребывания кажется теперь будет в Прочном окопе, в 60-ти верстах отсюда» [11].

Итак, 8—10 октября в Ставрополе находилось трое декабристов, из которых Назимов «близко знал и любил» [12] Лермонтова, а Одоевский позднее стал его другом.

Не было ли положено начало этой дружбе именно в октябрьские дни 1837 г.? «Нужно раз и навсегда отвергнуть версию о том, будто Лермонтов и Одоевский встретились в октябре 1837 года в Ставрополе»,— утверждает автор одного из последних исследований о пребывании Лермонтова на Кавказе [13]. Теперь, когда мы знаем точную дату пребывания Одоевского в Ставрополе (8, 9 и 10 октября), это категорическое утверждение исследователя, ничем, кстати сказать, не аргументированное, можно считать сильно поколебленным. Напротив, у нас есть все основания полагать, что первое знакомство Лермонтова с декабристами произошло именно в Ставрополе в октябре 1837 г.

---

* Публикуемый здесь портрет В. Н. Лихарева предоставлен редакции М. Н. Задемидко, обнаружившей его в альбоме (1818—1840 гг.) художника-дилетанта А. Б. Гибаля. Альбом находится в собраниях Государственного Литературного музея.

Проследим даты странствий Лермонтова в это время.

Известно, что после лечения на Минеральных водах Лермонтов направился в Тамань, чтобы попасть в действующий отряд. Но, по распоряжению Николая I, осенняя экспедиция была отменена, и 25 сентября войска выступили на зимние квартиры.

29 сентября Лермонтов явился в действующий отряд в Ольгинское укрепление (близ Геленджика). «...Я предписываю вам отправиться в свой полк; на проезд же ваш от укрепления Ольгинского до г. Тифлиса препровождаю при сем подорожную № 21-й, а прогонные деньги извольте требовать по команде с прибытием вашим в полк»,— писал в распоряжении Лермонтову начальник «походного дежурства штаба войск Кавказской линии и в Черномории» в тот же день, 29 сентября[14].

Путь из Ольгинского укрепления в Тифлис лежал через Ставрополь. Когда же Лермонтов приехал в Ставрополь и сколько времени он там пробыл?

В связи с плохим состоянием тогдашних дорог можно предположить, что он должен был приехать в Ставрополь в первых числах октября, возможно — 3-го или 4-го.

В Ставрополе Лермонтов остановился у своего родственника П. И. Петрова. А Петров и был начальником штаба войск Кавказской линии, которому Лермонтов был подчинен. Вполне вероятно, что Лермонтов задержался в Ставрополе на несколько дней. Если же 8 октября он был еще в Ставрополе, то мог встретиться там с Нарышкиным, Назимовым и Одоевским.

Через два дня, как мы знаем, Одоевский под охраной казака Тверетинова направился в Тифлис в Нижегородский драгунский полк. Туда же ехал и Лермонтов. В царском приказе о переводе Одоевского на Кавказ не было указано на необходимость строжайшего присмотра за ним, естественно поэтому допустить, что казак Тверетинов не препятствовал совместному путешествию Одоевского и Лермонтова к своему полку.

Путешествие это могло затянуться: в Екатеринодаре иногда подолгу приходилось ждать оказию. Из материалов же об Одоевском мы знаем, что в Нижегородском драгунском полку на лезгинской кардонной линии он служил лишь с 7 ноября 1837 г.[15]

Это совместное путешествие обоих поэтов от Ставрополя до Тифлиса и могло положить начало той дружбе, о которой впоследствии Лермонтов вспоминал: «Я знал его — мы странствовали с ним в горах Востока...».

* * *

Новые данные о проезде группы декабристов в октябре 1837 г. через Ставрополь позволяют нам проверить правильность многих сведений, имеющихся в позднейших мемуарах.

Прежде всего необходимо остановиться на воспоминаниях Н. М. Сатина. Широко известен рассказанный им эпизод о встрече декабристов с царской процессией во время проезда Николая I через Ставрополь. Главным героем этого эпизода Сатин называет Одоевского.

Сатин красочно изображает сильную непогоду 17 октября 1837 г., в день приезда Николая I в Ставрополь, описывает, как декабристы, привлеченные криками «ура», вышли на балкон. «Вдали,— продолжает Сатин,— окруженная горящими (смоляными) факелами двигалась темная масса. Действительно, в этой картине было что-то мрачное. „Господа!— закричал Одоевский.— Смотрите, ведь это похоже на похороны! Ах, если бы мы подоспели!...“ И, выпивая залпом бокал, прокричал по-латыни: „Ave, imperator, morituri te salutant“*»[16].

---

* Славься, император, обреченные умереть тебя приветствуют (лат.).

Не говоря о том, что поведение Одоевского (как оно дано в изображении Сатина) очень мало согласуется с характером поэта-декабриста, мы теперь имеем возможность установить несоответствие воспоминаний Сатина документальным данным о времени пребывания Одоевского в Ставрополе.

Одоевский, как сказано, 10 октября уехал из Ставрополя, а Николай I был там только один день — 17 октября.

Но мало этого: именно накануне приезда царя, 16-го числа, из Ставрополя были спешно отправлены и другие декабристы. Ознакомимся с новыми документами.

13 октября ставропольскому коменданту было направлено из штаба войск Кавказской линии секретное предупреждение об ожидающемся прибытии декабриста Черкасова, назначенного в Тенгинский пехотный полк[17]. 16 октября Черкасова, действительно, привезли вместе с Лорером и Лихаревым. Сопровождавшему эту партию урядинку Петру Горшкову тотчас был дан приказ о немедленной сдаче «государственных преступников» в штаб войск. Это было исполнено: 16 октября Горшков получил квитанцию в том, что преступники «сданы им исправно»[18]. В тот же день, не дав передохнуть измученным путникам, их отправили в Екатеринодар под охраной урядника Конова.

Конов получил самые строгие предписания относительно условий поездки декабристов. Приказ от 16 октября гласил: «Предписываю тебе, по получении сего, отправиться из Ставрополя в г. Екатеринодар с государственными преступниками Лорером, Черкасовым и Назимовым, определенными, согласно высочайшей воле, рядовыми: первые два в Тенгинский, а последний — в Кабардинский егерский полки, и, по прибытии туда, явиться в дежурство 20-й пехотной дивизии, где и сдать вместе с конвертами ⟨...⟩ под квитанцию. Во время пути ты должен наблюдать, чтобы помянутые рядовые нигде без особой законной причины не останавливались, на довольствие же их имеешь выдавать каждому из них по 50 копеек ассигн. в сутки под собственные их расписки...»[19].

Вспомним, что приехавшие 8 октября вместе с Одоевским Назимов и Нарышкин оставались еще в Ставрополе. Теперь Назимов был отправлен одновременно с Лорером и Черкасовым к месту своего назначения. В тот же день, 16 октября, был отправлен и Нарышкин. Его повез в крепость Темнолесскую рядовой Чупик. В письме командиру пятого батальона Навагинского полка Миронову предписывалось «зачислить рядового сего ⟨Нарышкина⟩ в роту, расположенную в Прочном окопе, дабы доставить ему более случая в деле против горцев загладить свое преступление»[20].

Таким образом, из шести переведенных на Кавказ декабристов 17 октября, в день приезда Николая I, в Ставрополе остался только один Лихарев. Надо думать, что его задержали лишь потому, что боялись встречи царя (подъезжавшего к Ставрополю со стороны Пятигорска) с декабристом.

Как нам известно, Николай I пробыл в Ставрополе только один день. 18 октября он уже отправился в Новочеркасск. А 19 октября урядник Кулешов повез Лихарева в штаб Куринского егерского полка в крепость Грозную, получив такое же строгое предписание, как и урядник, увозивший Лорера, Черкасова и Назимова[21].

Разумеется, что вся приведенная переписка была секретной: она обнаружена нами в «Журнале секретных исходящих бумаг» штаба войск Кавказской линии и Черноморья.

Итак, ставропольские власти приняли все меры, чтобы во время пребывания царя в городе не оставались бывшие «бунтовщики». Однако есть некоторые основания предполагать, что распоряжения о вывозе декабристов из Ставрополя не были осуществлены в силу тех или иных

обстоятельств (отсутствие лошадей, опасения, что они в пути встретятся с царем, и т. д.).

В своих воспоминаниях Сатин с большими подробностями изображает приезд в Ставрополь той самой группы декабристов, маршрут которой мы только что проследили.

«Однажды мы у него завтракали,— описывает Сатин свои встречи с генералом Зассом в Ставрополе.— Завтрак уже кончился, и мы сидели за стаканами кахетинского в веселой дружеской болтовне.

Взошел адъютант и, подавши Зассу пакет, объявил, что привезли из Сибири шестерых разжалованных в солдаты.

— Это декабристы!— сказал Засс,— просите их сюда.

Через несколько минут в палатку вошли шесть человек средних лет в полудорожных костюмах и несколько сконфуженных. Но Засс тотчас ободрил их; он принял их не как подчиненных, а как товарищей. Подали еще вина, и скоро разговор сделался общий и оживленный. Эти декабристы были: Нарышкин, Лорер, барон Розен, Лихарев и поэт — князь Александр Одоевский. Фамилию шестого теперь не могу припомнить»[22].

Можно ли полностью доверять мемуарам Сатина,— который, кстати сказать, писал их через тридцать лет после событий,— если он так беззаботно манипулировал именами и фактами? Конечно, нет.

Необходимо внести поправки также и в мемуары Н. И. Лорера. По его воспоминаниям выходит, что приехавших в Ставрополь декабристов прежде всего принял командующий войсками Кавказской линии генерал А. А. Вельяминов, пообещавший им даже свою протекцию. По документам же видно, что 16 октября, в день приезда Лорера в Ставрополь, Вельяминова там не было: он поехал встречать царя. Далее Лорер рассказывает о событиях, которые якобы происходили на следующий день: «Вечером нас потребовали в штаб для объявления, кто из нас в какой полк назначен. Государь повелел разместить нас непременно по разным местам. Одоевскому, как бывшему кавалеристу, досталось в Тифлисе в Нижегородский драгунский полк, мне — в Тенгинский полк, квартирующий в Черномории. В эту же ночь должны мы были отправиться по полкам. Нам дали прогоны каждому на руки. В первый еще раз, с выезда из Сибири, мы отправились без провожатых и только оттого, что уже рядовые, принадлежим государю и вошли в состав армии. Была туманная, черная ночь, когда несколько троек разъехались в разные стороны...»[23]

Мы теперь знаем, что декабристы выехали из Ставрополя не одни, а в сопровождении урядников. Что же касается назначения Одоевского, то об этом Лорер мог узнать только от других: он приехал в Ставрополь после отъезда Одоевского в Тифлис. Возможно, однако, что Вельяминов пожелал лично познакомиться с декабристами, попавшими во вверенные ему полки, и вызвал их, спустя некоторое время, в Ставрополь.

Нам остается добавить еще несколько подробностей, почерпнутых из неопубликованных архивных документов относительно других декабристов. Их, по традиции, считают знакомыми Лермонтова, с которыми он якобы общался в Ставрополе осенью 1837 г. Со слов Сатина, обычно называют семь имен: В. М. Голицын, С. И. Кривцов, Н. И. Лорер, М. А. Назимов, М. М. Нарышкин, А. И. Одоевский и А. Е. Розен[24].

Лорер познакомился с Лермонтовым только в 1840 г.[25]; об Одоевском, так же как и о Назимове и Нарышкине, мы говорили уже выше. Что касается Розена, то он, повидимому, не встречался с Лермонтовым в Ставрополе. Переписка секретной части Инспекторского департамента Военного министерства уточняет обстоятельства перемещения Розена из Тифлиса в Пятигорск. 16 декабря 1837 г. Бенкендорф направил военному министру А. И. Чернышеву секретное отношение, в котором сообщал, что

«государь император, по донесению исправляющего должность военного полицмейстера в Кавказском крае, подполковника корп⟨уса⟩ жандармов Гринфельда, о болезненном положении назначенного на службу в Отдельный кавказский корпус государственного преступника Розена, который ходит лишь с помощью костылей, — высочайше повелеть изволил: Розена поместить в Пятигорск, где он найдет все способы лечения».

18 декабря Чернышев уведомил об этом командующего Отдельным кавказским корпусом, дополнительно запросив: «Куда именно вы Розена назначите?». Командующий Кавказским корпусом отвечал 25 января 1838 г.: «...рядового Мингрельского егерского полка из государственных преступников, Розена, вследствие высочайшей воли ⟨...⟩ я назначил на службу в Кавказский линейный № 3 батальон, в Кисловодске расположенный»[26].

Совершенно очевидно, что при таких обстоятельствах Розен не мог быть в Ставрополе в декабре 1837 г., когда там несколько дней, проездом в столицу, жил Лермонтов.

Обнаружены новые данные и о В. М. Голицыне[27]. Одновременно с Лермонтовым он летом 1837 г. был в Пятигорске: в книге ванных билетов под датой 24 мая 1837 г. записано: «Выдано 10 билетов унтер-офицеру Валерьяну Голицыну»[28]. Голицын служил в Кабардинском егерском полку, стоявшем под Ставрополем, а в Пятигорске был в отпуску[29]. Таким образом, в 1837 г., когда Лермонтов проездом в Петербург задержался в Ставрополе, он, вероятно, встретил в кружке декабристов и своего знакомого В. М. Голицына. Встреча Лермонтова с Голицыным в Пятигорске летом 1837 г. разъясняет еще одно недоразумение. В 1883 г. в печати появились недоброжелательные по отношению к поэту воспоминания Раевской о причинах дуэли Лермонтова с Мартыновым[30]. Автор статьи ссылался на свидетельство В. М. Голицына, который якобы находился в Пятигорске в 1841 г. одновременно с Лермонтовым. Между тем по документам III Отделения выяснилось, что Голицын в 1839 г., выйдя в отставку, жил под надзором в Орле[31]; следовательно, он не мог быть свидетелем дуэли Лермонтова в 1841 г. Теперь мы знаем, что Голицын, действительно, жил одновременно с Лермонтовым в Пятигорске, но не в 1841, а в 1837 г. Это обесценивает его рассказы о взаимоотношениях Лермонтова с Мартыновым, о которых он мог судить только по впечатлениям 1837 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ЦГВИА, ф. № 395, оп. 268/856, св. 192, д. 69 (Военного министерства, инсп. департамента Канцелярии 2-го стола по секретной части).

2 Там же.

3 Там же.

4 Там же, ф. № 1, оп. 1, д. 1150, л. 2.

5 Там же, ф. № 395, оп. 268/856, св. 192, д. 69.— Н. И. Лорер вспоминал, что 21 августа из Кургана на Кавказ выехали: сам мемуарист, Нарышкин, Назимов, Лихарев, Фохт и Розен («после за нами, однако, последовавший»,—добавляет Лорер, стр. 177). Возможно, что Фохт выехал, но вернулся, так как просьба его и высочайшее повеление об оставлении в Кургане относятся уже к ноябрю 1837 г.

6 Центральный гос. исторический архив Груз. ССР, ф. № 1083, оп. 8, д. 22, запись № 2 от 4 августа.

7 Там же, ф. № 1025, оп. 2, д. 652, л. 3.

8 Там же, л. 5 об.

9 Там же, л. 6, запись № 19 от 12 октября.

10 «Русская старина», 1870, № 6, стр. 575—576.

11 ЛБ, ф. Муз., шифр М. 5808/1, л. 3.

12 «Голос», 1875, № 56 от 25 февраля; ср. Л. Иванова. Лермонтов и декабрист М. А. Назимов.— «Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 436.

13 Ираклий Андроников. Лермонтов. М., 1951, стр. 195.

[14] «Документы о пребывании М. Ю. Лермонтова на Кавказе, обнаруженные в Центральном государственном архиве Грузинской ССР».— «Лермонтов. Временник Государственного музея „Домик Лермонтова"», I. Пятигорск, 1947, стр. 64.

[15] ВД, т. VIII, стр. 367.

[16] Из воспоминаний Н. М. Сатина.— «Почин». М., 1895, стр. 242.

[17] Центральный гос. исторический архив Груз. ССР, ф. № 1025, оп. 2, д. 652.

[18] Там же, л. 7.

[19] Там же.

[20] Там же.

[21] Там же.

[22] Н. М. Сатин. Указ. соч., стр. 250; ср. В. Кандиев. Лермонтов в оценке Белинского.— «Ученые записки Северо-Осетинского Гос. пед. института им. Хетагурова», 1940, т. 11/XV, вып. 1, стр. 109; Н. Л. Бродский. Лермонтов и Белинский на Кавказе в 1837 году.— «Лит. наследство», т. 45-46, 1948, стр. 737 и 738.

[23] Лорер, стр. 189—190.

[24] Ср. А. В. Попов. Лермонтов на Кавказе. Ставрополь, 1954, стр. 103—107.

[25] Лорер, стр. 241; ср. С. А. Андреев-Кривич. Лермонтов и Кавказ.— «Новый мир», 1941, № 1, стр. 254.

[26] ЦГВИА, ф. № 395, оп. 268/856, св. 195, д. 145.

[27] Уже было высказано предположение, что Голицын был летом 1837 г. в Пятигорске: Белинский в письме к Сатину упоминал о каком-то их общем пятигорском знакомом Голицыне. Н. Л. Бродский утверждал, что это — декабрист Валериан Михайлович Голицын, и охарактеризовал письмо критика как «единственное свидетельство о встрече Белинского на Кавказе с одним из бывших декабристов» («В. Г. Белинский и его корреспонденты». М., 1948, стр. 273).

[28] Пятигорский гос. архив, ф. № 325, «Книга ванных билетов».

[29] Центральный гос. исторический архив Груз. ССР, ф. № 1083, оп. 10, д. 45.

[30] Е. Раевская. Из памятной книги.— «Русский архив», 1883, № 2, стр. 295.

[31] Эмма Герштейн. Лермонтов и семейство Мартыновых.—«Лит. наследство», т. 45-46, 1948, стр. 702, 706.

СООБЩЕНИЯ

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ В. Ф. РАЕВСКОГО (1816—1822)

Сообщение Ю. Г. Оксмана

1. ПЕРВЫЕ ЖУРНАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СТИХОТВОРЕНИЙ В. Ф. РАЕВСКОГО

22 марта 1822 г. в Одессе был арестован младший брат В. Ф. Раевского, отставной корнет Малороссийского кирасирского полка Григорий Федосеевич Раевский. В бумагах, отобранных у него при обыске, оказалась пачка стихотворных произведений, из которых особенное внимание следственных органов привлекли следующие: 1) «Мой жребий», 2) «Элегия на смерть юноши», 3) «К моим пенатам», 4) «Сетование», 5) «К П. Г. Приклонскому»[1].

На первых допросах Г. Ф. Раевский автором всех этих произведений называл себя, но в процессе дальнейшего дознания выяснилось, что черновики большей части из перечисленных выше стихотворений сохранились в записных книжках и тетрадях В. Ф. Раевского, к которому и переадресовано было обвинение в «некоторых вольнодумных выражениях», замеченных в отобранных у его брата рукописях.

Из пяти названных в «деле» Г. Ф. Раевского произведений три уже давно вошли в научный оборот: «Элегия на смерть юноши» («Давно ль сей юноша счастливый...»), «Сетование», «К П. Г. Приклонскому»[2],— а четвертое может быть легко расшифровано — это «Подражание Горацию», распространявшееся в списках под заглавием «Мой жребий»[3]. Более интересна судьба послания «К моим пенатам». Оно до 1952 г. оставалось вовсе не известным биографам Раевского, хотя и было напечатано им в 1817 г. в июльской книжке журнала «Украинский вестник»[4]. Подпись «В... Р-ий», отметка «Днестр» (В. Ф. Раевский служил в 1816—1817 гг. в Каменец-Подольске на Днестре), самый заголовок и характернейшие для «первого декабриста» особенности идейно-тематического, образного и языкового строя послания не оставляют сомнений в том, что в бумагах Г. Ф. Раевского в 1822 г. были обнаружены именно эти стихи.

Послание «К моим пенатам», судя по его тематике и времени публикации, написано было Раевским в конце 1816 г., перед уходом в отставку и возвращением на родину.

В стихотворении всего три строфы. Первая из них особенно значительна:

От отческих полей, от друга отлученный,—
Игра фортуны злой, коварной и страстей,
Мечтой обманчивой в свет бурный увлеченный,
Свидетель суеты, неравенства людей,
Сражаясь сам с собой,— я вижу преткновенье

На скользком сем пути и бездны пред собой.
Пенаты милые! Услышьте голос мой,
Внемлите странника бездомного моленье:
Вы, в юности меня хранившие от бед,
Теперь от роковых ударов защитите
И к дому отчему скорее возвратите:
Уже я видел бурный свет!

Отставке Раевского предшествовали какие-то тяжелые личные и служебные столкновения будущего декабриста с высшими чинами корпусного штаба (он был адъютантом начальника артиллерии 7-го пехотного корпуса), причем основания этих столкновений, имевшие определенный политический смысл, хорошо освещены в его известных мемуарных высказываниях [5].

Послание «К моим пенатам»— лирический отчет о настроениях Раевского той самой поры, когда «железные кровавые когти Аракчеева» сделали службу в армии «тяжелой и оскорбительной» [6].

Послание «К моим пенатам» — это третье по счету печатное произведение Раевского. Первые два — «Послание к Ник⟨олаю⟩ Степ⟨ановичу⟩ Ахматову» («Оставя тишину, свободу и покой...») и «Князю Андрею Ивановичу Горчакову» («Вождь смелый, ратных друг, победы сын любимый...»)— опубликованы были им в 1816 г. в «Духе журналов» [7]. Каким образом стихи «К моим пенатам» появились в органе Харьковского университета «Украинский вестник», выходившем с 1816 по 1819 г., установить можно только предположительно. В 1817 г. Раевский находился в отставке и жил в усадьбе своего отца в селе Хворостянке Старооскольского уезда Курской губернии. Для семьи Раевских Харьков с его учебными заведениями, театром, магазинами и ярмаркой являлся ближайшим крупным культурным и торговым центром, с которым они связаны были многолетними и многообразными отношениями. Эти связи стали еще более тесными после переезда в Харьков одной из сестер Раевского, Надежды Федосеевны Бердяевой [8] и перехода на службу в Чугуевские военные поселения А. Ф. Раевского, старшего его брата [9].

Все биографы Раевского обычно обходят молчанием вопрос о его литературных и политических связях, выходящих за рамки Тульчина и Кишинева. При полном отсутствии документальных данных об этом представляет большой интерес самый факт близости Раевского в 1817 — 1819 гг. с его старшим братом, Андреем Федосеевичем Раевским, статьи и стихотворения которого пользовались некоторой известностью в литературных кругах конца 10-х годов. Воспитанник Московского благородного пансиона, в котором он учился одновременно с М. В. Милоновым, И. Г. Бурцовым и Н. И. Комаровым, А. Ф. Раевский, как и В. Ф. Раевский, был активным участником Отечественной войны, по окончании которой перешел на службу в Петербург. Здесь он быстро выдвинулся как один из организаторов и ближайших сотрудников «Военного журнала», издававшегося в 1817—1819 гг. при штабе войск гвардейского корпуса. Переводчик «Правил стратегии» эрцгерцога Карла (СПб., 1818) и автор «Воспоминания о походах 1813 и 1814 гг.» (М., 1822), действительный член С.-Петербургского Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (избран 15 ноября 1817 г., вместе с В. К. Кюхельбекером), А. Ф. Раевский известен был и как поэт. Его произведения печатались в лучших русских журналах, а стихотворение «Бегство Елены (из Мильвуа)» вошло даже в «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах», изданное «Обществом любителей отечественной словесности» в 1822 г. (ч. VI, стр. 253—255). В Петербурге А. Ф. Раевский познакомился и сблизился со многими из будущих декабристов,

но тот факт, что он не был членом ни Союза Благоденствия, ни какой-либо из его периферийных организаций, свидетельствует о том, что, несмотря на свое тяготение к общественной деятельности, политической активностью молодой литератор не отличался. Однако в кругах передовой молодежи, в том числе и разночинной, А. Ф. Раевский пользовался большим уважением и авторитетом. Об этом свидетельствуют материалы о связях с ним Н. А. Полевого (их встречи происходили в 1817—1820 гг. в Курске) и А. В. Никитенко (они познакомились в Чугуеве в 1821 г.).

Двадцати восьми лет от роду, 1 марта 1822 г., то есть через три недели после ареста в Кишиневе его брата, А. Ф. Раевский умер от изнурительной чахотки. В 1824—1825 гг. его стихи печатались в «Украинском журнале» вместе с перечисленными выше произведениями В. Ф. Раевского. Вероятно, через своего старшего брата Раевский связался в 1817—1819 гг. и с передовой харьковской профессурой, принимавшей участие в «Украинском вестнике».

1 ноября 1819 г. В. Ф. Раевский писал своему приятелю П. Г. Приклонскому: «Выпиши на этот год, 1820, „Украинский вестник", который издают при Харьковском университете, там иногда увидишь слабые опыты моего пера. Я прилагаю записочку и адрес. Это будет стоить 18 рублей, а найдешь все, что и в других журналах» [10].

Планы Раевского печататься в «Украинском вестнике» не осуществились. Этот журнал прекратил в 1819 г. свое существование. Возродился «Украинский вестник» только в 1824 г. под названием «Украинский журнал». Именно в этом двухнедельнике в 1824 и 1825 гг. опубликовано было еще четыре стихотворения Раевского («Подражание Горацию», «Бесплодная любовь», «Песнь невольника» и «Картина бури»). Однако ввиду того, что сам поэт в эту пору давно уже находился в заключении, можно думать, что издатель «Украинского журнала» воспользовался рукописями тех произведений Раевского, которые присланы были им в редакцию «Украинского вестника» еще в 1819 г. [11]

2. ОДА «ГЛАС ПРАВДЫ»

Рукописи Раевского позволяют установить, что еще в 1815 г., то есть, вероятно, незадолго до своих первых выступлений в печати, молодой поэт занялся пересмотром своих произведений и перепиской наиболее зрелых из них в особую тетрадь. В эту тетрадь вошли стихотворения «Глас правды», «Свиданье» («В гроте темном, под горой...»), «Идиллия» («Как можно свободу на цепи менять...»), «К Лиде», «К ней же» («Что значит взор суровый твой...»), «К Нисе», «Послание Б***» («Когда над родиной моей...»), «Час меланхолии» [12].

Самый характер отбора и размещения текстов в новом сборнике, а особенно выдвижение на первое место в нем подчеркнуто-декларативной оды «Глас правды», с ее стандартными для этой поры славословиями в честь Александра I, свидетельствуют о том, что перед нами не обычная рабочая тетрадь, а рукопись, намечавшаяся для печати. Однако не только сборник в целом, но и ни одно из включенных в него произведений не было опубликовано при жизни Раевского. Видимо, сам поэт остался не удовлетворенным первыми итогами своей литературной работы. Об этом можно судить прежде всего по той тщательной правке, которой подвергнут был весь материал сборника — сперва над строками и на полях стихотворений, а затем, когда рукопись из беловой превратилась в черновую, еще и на отдельных листах, заполненных исчерканными вариантами новых редакций отвергнутых текстов.

Из произведений Раевского, включенных в сборник 1815 г., особенно пристального внимания исследователей требует ода «Глас правды» [13]. Эта

ода дошла до нас в двух редакциях, из которых первая являлась законченным лирическим произведением высокого стиля, а вторая представляла собою незавершенный опыт позднейшего переосмысления, сатирического заострения и перестройки начального текста.

Время создания первой редакции оды мы относим к периоду 1814—1815 гг. В пользу этой датировки свидетельствуют, во-первых, самая патетика оды (еще очень живые впечатления поэта от свержения Наполеона и распада французской империи), во-вторых, некоторые особенности еще совершенно некритического усвоения автором официозной концепции событий Отечественной войны (противопоставление «кровавого тирана» Наполеона «отцу граждан» Александру I, рвущему «цепи рабства») и, наконец, предельно обнаженное литературное ученичество Раевского, широко пользующегося готовыми поэтическими штампами: с одной стороны, Гнедича («Общежитие», 1804), Мерзлякова («На разрушение Вавилона», 1805), Милонова (сатира «К Рубеллию», 1810), с другой — Карамзина (ода «Освобождение Европы и слава Александра I», 1814).

Идейно-тематически ода «Глас правды» очень близка общим политическим установкам посланий Раевского, опубликованных в 1816 г. в «Духе журналов». Однако художественные недочеты оды (примитивность изобразительных средств, обилие заимствований из общеизвестных образцов, неслаженность композиции, логические неувязки и стилистические срывы) ясно свидетельствуют о том, что «Глас правды» относится к более раннему периоду творчества Раевского, чем его послания к А. И. Горчакову и Н. С. Ахматову [14].

Работая над второй редакцией оды (мы относим эту редакцию к концу 1816 г.), Раевский последовательно уничтожает весь ее прежний конкретно-исторический колорит, отказывается от упоминаний о Наполеоне, снимает панегирическое обращение к Александру I и за счет этих сокращений развивает сатирическую характеристику «бездушного сибарита», тщеславного и лицемерного «друга царя», грубо злоупотребляющего доверенной ему властью [15]. Этот образ присутствовал и в первой редакции оды, но самая функция его была еще не очень ясна и самому автору. Во второй же редакции «Гласа правды» образ «вельможи», глумящегося над народом, приобретает центральное значение, что́ трудно было бы объяснить, если бы Раевский не имел в виду определенных политических ассоциаций. В самом деле, именно в 1816 г. перестает быть тайной исключительная роль в государственном аппарате Российской империи А. А. Аракчеева. Жестокий, властный и лицемерный временщик успел очень скоро вооружить против себя не только всю передовую общественность, но и самые широкие круги армии и трудового народа.

«Этот приближенный вельможа, — свидетельствовал декабрист Н. А. Бестужев,— под личиной скромности устраняя всякую власть, один, незримый никем, без всякой явной должности, в тайне кабинета, вращал всею тягостью всех дел государственных, и злобная, подозрительная его политика лазутчески вкрадывалась во все отрасли правления. Не было министерства, звания, дела, которое не зависело бы или оставалось бы неизвестно сему невидимому Протею — министру, политику, царедворцу; не было места, куда бы не проник его хитрый подсмотр 〈...〉 Все государство трепетало под железною рукою любимца-правителя. Никто не смел жаловаться: едва возникал малейший ропот и навечно исчезал в пустынях Сибири или в смрадных склепах крепостей» [16].

Историческая характеристика Аракчеева, данная Н. А. Бестужевым, очень близка в своих основных частях обличительным строкам и позднейших воспоминаний и ранней сатиры Раевского. Оба автора имели в

виду одного и того же ненавистного им обоим политического деятеля и оба пользовались для его разоблачения художественными средствами русской лирики и сатиры конца XVIII и начала XIX столетия.

Напомним наиболее разительные черты «временщика» во второй редакции «Гласа правды»:

Вельможа, друг царя надежный,
Личиной истины прямой
Покрыл порок корысти злой
И ухищренья дух мятежный.

Злодей, ужель и сирых робкий стон,
И рабства гибельный закон,
И слезы страждущих в темнице,
И в рубищах народ простой,
К тебе молящий со слезой,
Не видишь ты под багряницей?..

А вы, ничтожные рабы
Пороков, зла и ухищрений,
Склонивши выю и колени,
Почто возносите мольбы
К творцу добра, не преступлений!
И клирный глас и псалмопенье
Ярем позорный не сотрут![17]

Не трудно установить, что и во второй редакции оды вся ее политическая проблематика, не получив должной конкретизации, в конечном счете, растворилась в абстрактно-моралистических виршах о «судеб уставах», одинаково подчиняющих себе и царей и рабов. В этом контексте и памфлетные черты живого образа Аракчеева оказались заслоненными традиционными чертами тиранов и вельмож, обличаемых в одах Державина, Гнедича и Мерзлякова. Архаичность и примитивность всей внутренней и внешней структуры «Гласа правды» была понята и самим Раевским, забраковавшим вторую редакцию оды еще быстрее, чем первую.

Политическая ограниченность молодого Раевского, еще не избавившегося от либерально-дворянских иллюзий, еще далеко не овладевшего поэтическим мастерством, не позволила ему создать в 1816—1817 гг. художественно полноценную памфлетную характеристику Аракчеева. Эту задачу через несколько лет успешно выполнили Пушкин (в эпиграммах «Холоп венчанного солдата...» и «Всей России притеснитель...») и Рылеев (в сатире «К временщику»). Но в политической и литературной биографии Раевского представляется нам очень существенным самый факт его выхода еще в 1816 г. за пределы легальной тематики в целях открытой борьбы со всесильным временщиком, в котором он усмотрел живое воплощение всех зол антинародного деспотического режима.

3. ПОСЛАНИЕ к П. С. ПУЩИНУ

Послание Раевского к П. С. Пущину печатается нами по тексту белового автографа, сохранившегося без заголовка в бумагах поэта, отобранных при аресте его в Кишиневе 6 февраля 1822 г.:

Оставя жизни бурной
Неласковый прием
И блеск честей мишурный,
Ты истинным путем
О! П...., друг свободы,

Под сень святой природы
С беспечностью идешь,
Где время золотое
В довольстве и покое
И в неге проведешь!
Ни громы в отдаленьи,
Ни ядер звонких шум
В минуты сладких дум,
В часы отдохновенья
Тебя не воззовут.
Там с милою семьею
Все радости с тобою
И мудрости приют!..[18]

Фамилия Пущина обозначена в пятой строке послания лишь одной буквой «П» и четырьмя точками, но расшифровка этого инициала не представляет затруднения: П. С. Пущин, бригадный генерал 16-й пехотной дивизии, был товарищем Раевского и по Союзу Благоденствия и по кишиневской масонской ложе «Овидий»[19]. Легко определяется и повод этого обращения Раевского к Пущину, а тем самым и его дата.

Время наиболее тесного общения автора и адресата послания — последние месяцы 1821 г. В ноябре этого года по требованию Александра I должна была прекратить существование масонская ложа, организованная и руководимая Пущиным, а в декабре последний стал хлопотать о предоставлении ему долгосрочного отпуска по болезни. 14 января 1822 г. начальник штаба 2-й Армии генерал-майор П. Д. Киселев писал о Пущине дежурному генералу Главного штаба А. А. Закревскому, ходатайствуя о том, чтобы за Пущиным, как командиром «деятельным и полезным службе», сохранен был на все время отпуска полный оклад его жалованья[20]. Таким образом, отъезд Пущина из Кишинева приурочивается к концу января — началу февраля 1822 г. К этому же времени следует отнести и прощальные стихи Раевского.

Послание к Пущину никак нельзя, однако, считать произведением, характерным для поэтического мастерства Раевского начала 20-х годов, ибо текстуально оно почти не отличается от аналогичного обращения будущего декабриста к одному из его однополчан еще в 1817 г. Мы имеем в виду строфы, посвященные Кисловскому, в послании Раевского «Мое прости друзьям. К⟨исловскому⟩ и П⟨риклонскому⟩»[21].

Штабс-капитан Кисловский и поручик Приклонский — офицеры штаба 7-го пехотного корпуса. Как свидетельствует обвинительный акт по делу Раевского, оба они, вместе с доктором Диммером и штабс-капитаном Губиным, входили в 1816—1817 гг. в дружеский кружок, организованный Раевским в Каменец-Подольске[22]. Этот «союз сердец святой», как называл его Раевский, не имел сколько-нибудь определенных политических целей, не располагал уставом, не налагал на своих членов никаких обязанностей. Правда, вольнолюбие самого Раевского (еще совершенно абстрактное в эту пору) и критическое его отношение к крепостнической действительности разделялось, видимо, всеми членами кружка (иначе ведь они и не могли бы стать друзьями поэта), но весьма симптоматично, что ни один из этих единомышленников Раевского не оставил никакого следа в общественно-политической жизни 10-х и 20-х годов. Ни один из них не стал и декабристом. Даже те «железные кольца», которые, как отмечалось в «деле» Раевского, носили члены его каменец-подольского кружка «для утверждения их связи», свидетельствовали вовсе не об особых формах нелегальной спайки, а о полном пренебрежении в этом объединении самыми элементарными правилами конспирации.

Железные кольца, волновавшие воображение обывателей Каменец-Подольска, подобно кольцам членов петербургской «Зеленой лампы», играли некоторую роль только в дружеских пирушках. Об этом вспоминал и Пушкин:

Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно
В густое вино
Заветные кольца бросайте! [23]

В январе 1822 г., готовясь к проводам Пущина, Раевский вспомнил о своих старых стихах, писанных перед его разлукой с каменец-подольскими друзьями. Из большого послания он извлек восемнадцать стихов, обращенных к Кисловскому («Кисловский, друг свободы...»), и после небольшой литературно-технической отделки переадресовал их Пущину («О! Пущин, друг свободы...»). Послание, переменив фамилию адресата, получало более широкий общественно-политический резонанс: Пущин, один из виднейших членов Союза Благоденствия, «грядущий наш Квирога», как назвал его перед тем Пушкин, имел гораздо более прав и на то высокое звание «друга свободы», которое присвоено было Раевским в 1817 г. Кисловскому.

Перемонтированные стихи остались в бумагах их автора без дальнейшего движения: Пущин, находившийся на особом учете у царя как один из уже уличенных в революционных настроениях боевых генералов, не получил разрешения на выезд из Кишинева, и проводы его пришлось отменить. После же ареста Раевского он был отстранен от командования бригадой, а 28 марта 1822 г., по именному повелению Александра I, уволен без прошения в отставку и навсегда удален из армии [24].

4. САТИРА «СМЕЮСЬ И ПЛАЧУ»

Сатира «Смеюсь и плачу» является самым значительным стихотворным произведением Раевского последнего периода его агитационно-пропагандистской работы. Стихи эти в авторской рукописи не датированы. Но тесная тематическая их связь с политическим трактатом «О рабстве крестьян», который закончен был Раевским зимою 1820—1821 г. [25], не позволяет отнести сатиру к более раннему времени. Дата написания «Смеюсь и плачу» может быть определена еще точнее, если мы ее свяжем с расшифровкой одного из намеренно не дописанных Раевским стихов сатиры:

Иль Сумарокова, Фонвизина, Крылова,
Когда внимаю я, и вижу вкруг себя
Премудрость под седлом, Скотинина,...
    Тогда смеюсь и я.

Нет никаких сомнений в том, что многоточие в предпоследнем из этих стихов обозначало пропуск чьей-то фамилии с окончанием на «ов», причем носитель этой фамилии явно должен был принадлежать к числу ближайших знакомцев или сослуживцев поэта («и вижу *вкруг себя*»).

Письма, дневники, мемуары и официальные документы о Кишиневе начала 20-х годов дают основание утверждать, что в сатире Раевского попутно был задет командир 33-го егерского полка С. Н. Старóв, тот самый полковник Старóв, с которым в эту же пору стрелялся Пушкин. Именно этого своего противника великий поэт увековечил в шуточной записке к А. П. Полторацкому о результатах поединка:

Я жив,	
Старов	Дуэль
Здоров.	Не кончен [26].

Мемуарист И. П. Липранди, характеризуя С. Н. Старова как лихого фронтовика, но человека исключительно низкого культурного уровня, иронически отмечал, что этот живой прототип Скалозуба не принадлежал к числу людей, могущих «оценить какое бы то ни было литературное произведение. С. Н. Старов знал, что Пушкин *писатель*, но что он пишет и в какой степени достоинства,— он не мог того знать»[27]. Не понимая значения Пушкина, Старов не мог правильно ценить и людей, подобных Раевскому, который в своей записке «О солдате» следующим образом определял таких командиров, как «Скотинин-Старов»: «Участь благородного солдата всегда почти вверяется жалким офицерам, из которых большая часть едва читать умеет, с испорченной нравственностью, без правил и ума»[28].

Раевский был переведен из Аккермана в Кишинев в последних числах июля 1821 г. Как начальник дивизионных юнкерской и солдатской школ он и познакомился в Кишиневе со Старовым, имя которого до этого времени очень мало значило для него самого и ничего не говорило читателям и слушателям его стихов. Судя же по тому, что к моменту ареста Раевского работа над отделкой сатиры еще не была доведена им до конца, время создания ее следует отнести к зиме 1821—1822 гг.[29]

Правда, сам Раевский, отвечая на вопросные пункты Военно-судной комиссии в крепости Замостье, утверждал 14 февраля 1827 г., что сатира «Смеюсь и плачу», равно как и другие его стихотворные произведения, остановившие на себе внимание следственных органов, написана была им «до 1819 года», так как после этого времени он уже якобы «стихотворением не занимался». Однако, независимо от доказательств, приведенных выше, мы имеем все основания считать это показание Раевского таким же неискренним, как и его отказ признать себя автором рассуждения «О рабстве крестьян», как отрицание им его агитационно-пропагандистской работы в школе для юнкеров, как его утверждение, что он ни в какую тайную организацию не входил.

Раевский продолжал писать стихи до самого своего ареста. Об этом свидетельствуют не только его рукописи. Так, например, до нас дошел рассказ И. П. Липранди, мемуариста исключительно точного, об инициативной роли и активном участии Раевского в создании памфлетной песни, направленной против известного «фрунтовых дел мастера», подполковника Адамова, командира образцового учебного батальона при штабе 2-й Армии. Этот специалист по части вытягивания носка «под метроном» был глубоко ненавистен передовому офицерству и всей солдатской массе. Понятно поэтому, что неожиданная смерть Адамова в Тульчине в конце мая 1821 г. дала материал не для элегии, а для сатиры. Как передает Липранди, на одной из вечеринок в его холостой квартире (это было не раньше конца июля 1821 г.) Раевскому «пришла мысль переложить известную песню Мальборуга, по поводу смерти подполковника Адамова. Раевский начал, можно сказать, дал только тему, которую стали развивать все тут бывшие и Пушкин». Песня имела большой успех и получила широкое распространение. Однако, «несмотря на то, что, может быть, десять человек участвовали в этой шутке, один Раевский поплатился за всех: в обвинительном акте военного суда упоминается и о переложении Мальборуга. В Кишиневе все, да и сам Орлов, смеялись; в Тирасполе то же делал корпусный командир Сабанеев, но не так думал начальник его штаба Вахтен, который упомянут в песне, а в Тульчине это было принято за криминал. Хотя вначале песни этой в рукописи и не было, но потом записанная на память и не всегда верно, она появилась у многих и так достигла до главной квартиры чрез Вахтена»[30].

К сожалению, ни Липранди, ни сам Раевский не сочли нужным хотя бы частично передать утраченный текст песни об Адамове, из которой до сих пор не известно ни одной строки.

Характеризуя «Смеюсь и плачу» как «подражание Вольтеру», Раевский имел в виду некоторые особенности тематики и структуры известной сатиры «Jean qui pleure et qui rit»[31]. Но мизантропические строфы Вольтера поэт-декабрист использовал как канву для совершенно других узоров. Противоречия русской крепостнической действительности определяли патетику стихов «Смеюсь и плачу» в гораздо большей степени, чем абстрактная проблематика «мировой скорби», а характерная для Вольтера скептическая поза почти нейтрального наблюдателя «предрассуждений века» никак не уживалась с пламенной верой поэта-декабриста в неизбежность и близость гибели всех «знатных вертопрахов» и «бездушных пустословов», глумящихся над «человечеством». Можно не сомневаться в том, что и самая мысль об использовании своих впечатлений и рассуждений в форме якобы «подражания Вольтеру» родилась у Раевского в порядке превентивной самозащиты, как обычное в эту пору прикрытие именем иноземного автора политически острого русского материала. Именно этот русский материал, особенности использования которого уже как бы предвосхищали один из монологов Чацкого в «Горе от ума», привлек к себе внимание следственных органов во время разбора «дела» Раевского в Военно-судной комиссии при Литовском корпусе. Сопоставляя первую строфу сатиры «Смеюсь и плачу» с трактатом «О рабстве крестьян», обнаруженным в бумагах Раевского, Комиссия признала, что оба эти произведения должны принадлежать одному автору. Это заключение базировалось прежде всего на следующих строках трактата: «Кто дал человеку право называть человека *моим* и *собственным*; по какому праву тело, имущество и даже душа одного может принадлежать другому? Откуда взят закон торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить подобных себе человеков? Не из источника ли грубого, неистового невежества, злодейского эгоизма, скотских страстей и бесчеловечия? Взирая на помещика русского, я всегда воображаю, что он вспоен слезами и кровавым по́том своих подданных; что атмосфера, которою он дышет, составлена из вздохов сих несчастных; что элементы его суть корысть и бесчувствие»[32].

Предъявляя Раевскому 14 февраля 1827 г. эту выписку, Комиссия тщетно добивалась того, чтобы подсудимый, не отрицавший принадлежности ему сатиры «Смеюсь и плачу», признал себя автором и трактата «О рабстве крестьян»: «Разница та, — увещевали Раевского его судьи, — что в одном месте вы изложили оное прозою, а здесь стихами; для чего же вы одно и то же называете своим и не своим?». Однако Раевский упорно отказывался подтвердить это заключение, не отрицая, впрочем, того, что он заимствовал некоторые положения сатиры «Смеюсь и плачу» из рукописного рассуждения «О рабстве крестьян», которым воспользовался, не зная имени его автора[33].

Автограф сатиры «Смеюсь и плачу» сохранился в бумагах Раевского, приобщенных к материалам секретного дознания о нем, начатого 6 февраля 1822 г. При подшивке к «делу» листы рукописи были соединены в самом произвольном порядке — четвертая и пятая строфы (л. 78 и 78 об.) предшествовали первой (л. 88 об.), второй (л. 89) и третьей (л. 89 об.). Из пяти строф Раевский успел перебелить только I и III; строфы II и IV находились в стадии правки, а строфа V представляла собою исчерканный черновой набросок. Десять стихов сатиры (от строки «Как знатный вертопрах, бездушный пустослов» до «Я слезы лью») впервые опубликованы были в книге В. И. Семевского «Политические и общественные идеи декабристов» (1909). Без заключительного восьмистрочного куплета, без строфического членения подлинника и с некоторыми неточностями в основном тексте сатира «Смеюсь и плачу» дважды была опубликована в 1949 г. в специальных работах о Раевском

В. Г. Базанова и П. С. Бейсова, откуда перешла без изменений в «Стихотворения» В. Раевского (1952) и во все новейшие антологии, посвященные произведениям декабристов [34].

Приводим по автографу выпавший из всех этих публикаций текст заключительного восьмистишия сатиры «Смеюсь и плачу»:

Друзья, вот наш удел в сей бездне треволнений.
Рабы сует, мечты, обычаев, страстей,
Мы действуем всегда по силе впечатлений,
Творенья слабые, в ничтожности своей
За призраком бежим излучистой стезею
И часто скучный Гераклит
Обласканный судьбою
Смеется и смешит, как страшный Демокрит.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ЦГВИАЛ, ф. № 9, дело Аудиториатского департамента Военного министерства, 1827 г., оп. 11, № 42, т. II, лл. 9—10 (первой пагинации). Как было установлено следственными органами, восемнадцатилетний Г. Ф. Раевский, проживая в Одессе по документам своего брата Петра, предполагал пробраться в Кишинев для того, чтобы как-нибудь установить связь с арестованным В. Ф. Раевским. По именному повелению Александра I от 19 апреля 1822 г., Г. Ф. Раевский отправлен был из Одессы в Шлиссельбургскую крепость, где и находился в одиночном заключении до 14 августа 1826 г. В Шлиссельбурге он сошел с ума, что не помешало Военно-судной комиссии, пересматривавшей в Замостье дело его брата, вновь заняться и его делом. Признанный по конфирмации Николая I от 15 октября 1827 г. «не прикосновенным к делу В. Ф. Раевского и подлежащим освобождению от ареста», он осенью 1827 г., как душевнобольной, доставлен был в имение отца, где вскоре и умер. В. Ф. Раевский в своих заметках 1844 г. ошибочно относит арест Г. Ф. Раевского к 1823 — 1824 гг. («Русская старина», 1873, № 3, стр. 376—379). См. о нем выше, стр. 103—104, 125.

[2] Эти три произведения (первое, правда, без заголовка) опубликованы в 1949 г. по беловым автографам Раевского в «Ульяновском сборнике», стр. 256, 268 и 257—259.

[3] «Подражание Горацию» впервые опубликовано в «Украинском журнале», 1824, № 3, стр. 31—32; за подписью: Вл. Раевский.

[4] «Украинский вестник», 1817, июль, стр. 82—84. Дата ценз. разр. 3 июля 1817 г. Перепечатано в «Стихотворениях» В. Раевского («Библиотека поэта». Малая серия, изд. 2). Л., 1952, стр. 106—107. Комментарии исчерпываются справкой: «Написано под несомненным влиянием Батюшкова» (стр. 255).

[5] Щеголев. Декабристы, стр. 13.— Автограф этой редакции записок Раевского, известной только по нескольким цитатам в книге Щеголева, до нас не дошел. См. выше, стр. 115—116, 128.

[6] О «железных когтях» Аракчеева, еще в бытность его начальником Главного артиллерийского управления и военным министром, в передовых офицерских кругах впервые заговорили в 1808 г., под впечатлением борьбы с ним А. П. Ермолова (см. «Записки» П. Х. Граббе.— «Русский архив», 1873, кн. 5, стб. 827). Об отношении будущих декабристов к дальнейшему выдвижению Аракчеева см. переписку Н. И. Тургенева, относящуюся к февралю и марту 1816 г. («Письма Н. Тургенева», стр. 165 и 170).

[7] Первое печатное произведение Раевского — послание, обращенное к самому младшему из его сослуживцев — прапорщику 22-й артиллерийской бригады Н. С. Ахматову, имеет подпись «Владимир Раевский» и отметку «Тульчин» («Дух журналов», 1816, кн. 41, стр. 705—708). Этот самый Ахматов (род. в 1799 г.) впоследствии был «инспектором студентов» Казанского университета (с 1840 по 1845 г.) и одним из самых придирчивых членов Петербургского Цензурного комитета (с 1850 г.). См. о нем: «Записки и дневник А. В. Никитенко», т. I. СПб., 1905, стр. 417 и 452; А. М. Скабичевский. Очерки по истории русской цензуры. СПб., 1892, стр. 370; «Русская старина», 1899, № 9, стр. 625—627.— Предположение о том, что Н. С. Ахматов — «один из боевых друзей Раевского, участник Отечественной войны 1812 года» («Стихотворения» В. Раевского. Л., 1952, стр. 245), лишено всякого основания.

Второе печатное произведение Раевского — послание «Князю А. И. Горчакову» («Дух журналов», 1816, кн. 51, стр. 1175—1176) — имеет дату «Днестр. 30 ноября» и подпись «Вл. Ра....ий». Послание обращено к генерал-лейтенанту А. И. Горчакову (1766—1855), участнику походов Суворова и Отечественной войны. Этот начальник

Раевского, по характеристике А. М. Горчакова, лицейского товарища Пушкина, был «человеком весьма храбрым, богатым, но весьма и весьма недальним» («Русская старина», 1883, № 10, стр. 161). Сатиры Раевского, не предназначавшиеся к печати (особенно послание «К другу», где Горчаков заклеймен был как «князь с ослиными ушами»), свидетельствуют о резко отрицательном отношении поэта к его начальнику.

[8] Надежда Федосеевна Бердяева (1798—189?) играла видную роль в харьковской общественной жизни начала 20-х годов (о ней см. в «Русской старине», 1902, № 3, стр. 600). Возможно, что именно она способствовала распространению в Харькове нелегальных произведений Раевского, написанных им уже в крепости (см. «Голос минувшего», 1917, № 7-8, стр. 78).

[9] Краткая некрологическая характеристика А. Ф. Раевского (родился 15 января 1794 — умер 1 марта 1822) дана в статье Н. П<олевого> «Память доброму поэту» («Отеч. записки», 1822, № 24, стр. 21—24). Менее значимы биографические данные о нем в книге В. Соца «Опыт библиотеки для военных людей», изд. 2. 1826, стр. 343—344; ср. «Revue encyclopédique», 1826, t. XXX, p. 559. Беглые упоминания об А. Ф. Раевском сохранились в книге Н. В. Сушкова «Московский Университетский благородный пансион». М., 1858; в воспоминаниях И. П. Липранди («Русский архив», 1866, № 9, стб. 1430); в записках А. В. Никитенко (т. I, 1905, стр. 103—104). Большой автобиографический материал заключен в послании А. Ф. Раевского «К ***» («Чем стих к тебе начну? Растерзанный тоскою, К одру страдания недугом пригвожден...»), опубликованном в «Вестнике Европы», 1822, № 3, стр. 177—179. В автобиографии Н. А. Полевого (опубликованной в «Очерках русской литературы». СПб., 1839, ч. I, стр. XXXVIII—XLI) имя А. Ф. Раевского не упоминается, как и ряд других запретных или «сомнительных» имен раннего периода его жизни.

[10] «Ульяновский сборник», стр. 302.— В письме Раевского речь идет о какой-то особой «записочке», приложенной им к адресу редакции «Украинского вестника». Судя по контексту, эта записка могла быть обращена только к кому-нибудь из ближайших сотрудников журнала. Скорее всего это был сам редактор «Украинского вестника» Е. М. Филомафитский (1791—1831), адъюнкт-профессор Харьковского университета по кафедре всеобщей истории, магистр изящных искусств. О журнале «Украинский вестник» см. публикацию Л. Н. Назаровой в «Лит. наследстве», т. 59, стр. 302—311.

[11] В бумагах Раевского из этих четырех произведений сохранилось только одно — «Картина бури» (в начальной редакции, относящейся к 1816—1817 гг.). Особого внимания из публикаций Раевского в «Украинском журнале» требует и по своей тематике и по высокому уровню мастерства «Песнь невольника». Возможно, что это произведение относится к периоду пребывания Раевского в крепости и попало в журнал какими-то неизвестными нам нелегальными путями.

[12] ЦГВИАЛ, ф. № 9, 1827 г., оп. 11, д. 42, литера В, т. II («Черновые разные бумаги, отобранные от маиора Раевского»), лл. 169—178.— Все листы использованы для письма с обеих сторон. Произведения, вошедшие в этот рукописный сборник, впервые были частично и очень неточно опубликованы в 1949 г. П. С. Бейсовым («Ульяновский сборник», стр. 266—270) и В. Г. Базановым («Раевский», стр. 149—150 и 171—175). Более полно, но с теми же искажениями эта тетрадь использована в «Стихотворениях» В. Раевского. Л., 1952, стр. 80—81, 110—120, 199—203. Послание «К Нисе» (подражание Буало), не вошедшее в это издание, опубликовано (во второй редакции под названием «К Хлое») в «Ульяновском сборнике», стр. 270. Элегия «Час меланхолии» («Меня ничто не веселит...») вошла в изд. 1952 г. без своих заключительных 18 стихов («Так ложною мечтой доселе ослепленный» и пр.), которые вопреки смыслу и показаниям автографа напечатаны были как самостоятельное произведение (стр. 118).

[13] Первая редакция оды «Глас правды», впервые опубликованная В. Г. Базановым в кн.: «Раевский» (стр. 149—151), была перепечатана без изменений в «Стихотворениях» Раевского, 1952, стр. 80—81. В эту публикацию вкрались следующие ошибки: в строфе I, ст. 9 вм. «Где царства падшие искать» напечатано: «Где царств подножие искать»; в строфе II, ст. 7 вм. «Ты вслед стремился за мечтой» напечатано: «Ты вслед стремишься за мечтой»; в строфе V, ст. 6 вм. «Как вкруг свободу и законы» напечатано: «Как вдруг свободу и законы». В этой же строфе в стт. 9 и 10 слова «Тебя» и «Тебе», подчеркнутые в автографе как обращение к Александру I, имя которого прямо ни разу не называлось в печати, остались невыделенными, что привело к полному затемнению конкретного политического смысла концовки. Не учитывая ни места оды в тетради ранних поэтических опытов Раевского, ни примитивности ее художественного оформления, редактор стихотворений приурочил время создания «Гласа правды» к концу 1820 г., на том основании, что две строки этого произведения («Народ цепями отягченный/ Ждет с воплем гибели твоей») якобы напоминают (в действительности никакого сходства здесь нет) один стих («Народ тиранствами ужасен разъяренный») в сатире Рылеева «К временщику», 1820 г.

Не установив правильной датировки оды, ее первый комментатор утверждал, что «Глас правды» представляет собою «революционную оду», в которой Раевский пользуется «символикой библейской поэзии» для «псалмодических пророчеств»

(Базанов. Раевский, стр. 149—151). Между тем в «Гласе правды» идет речь вовсе не о «псалмодических пророчествах» и не об абстрактном «тиране», а о совершенно конкретных впечатлениях молодого поэта от гибели Наполеона:

Тиран, как гордый дуб, упал,
Перуном в ярости сраженный,
И свет, колеблясь, изумленный
С невольной радостью взирал,
Как шаткие менялись троны.

Или:

Ты вслед стремился за мечтой
И пал!.. Где ж лавр побед и славы?
Я зрю вокруг следы кровавы
И глас проклятий за тобой!

Противопоставляя затем «тирану» Наполеону Александра I как «отца граждан», защитника «свободы и законов», Раевский, вопреки толкованиям В. Г. Базанова, полностью еще был во власти монархических иллюзий, процесс изживания которых начался не раньше 1817—1818 гг. Об отношении Раевского к Наполеону см. выше в его записках, стр. 85, 121.

[14] См. прим. 7. В послании к Н. С. Ахматову Раевский развивает те же положения которые характеризуют официальную политическую платформу «Гласа правды»:

Колосс надменный пал! Европа в удивленьи
Зрит Победителя, свободу и закон!
Благословляя мир, повсюду в восхищеньи
Благословляет русский трон.

[15] Вторая редакция оды «Глас правды» опубликована в «Ульяновском сборнике», стр. 264—265. О незаконченности этой редакции оды свидетельствует черновой автограф отдельных ее частей в том же «деле» Раевского, в котором сохранился его рукописный сборник стихов 1815 г. (лл. 139—140).

[16] Бестужевы, стр. 11—12. — О репутации Аракчеева в 1816 г. см. прим. 6.

[17] См. прим. 15. Характерно, что во второй редакции «Гласа правды» Раевский усваивает не только общий идейно-тематический план, образную систему и поэтический словарь оды Гнедича «Общежитие», но и некоторые особенности ее интонации, использованные впоследствии в «Размышлениях у парадного подъезда» Некрасова. Мы имеем в виду, с одной стороны, обращение Раевского к временщику в строфах «А ты, бездушный сибарит» и «Злодей, ужель и сирых робкий стон...», а с другой — следующие строки Гнедича:

Ты наслаждаешься, а тысячи сирот
Страдают там от глада;
Вдовицы, старики подле твоих ворот
Стоят — и падают, замерзнувши от хлада.
Ты спишь,— злодей уж цепь, цветами всю увив,
На граждан наложил, отечество терзает;
Сыны отечества, цепей не возлюбив,
Расторгнуть их хотят,— вопль слух мой поражает.
Какой ужасный стон!
Не слышишь ты его — прерви, прерви свой сон!
Несчастный, пробудися,
Взгляни на сограждан, там легших за тебя,
Взгляни на их вдовиц, детей — и ужаснися,
Взглянувши на себя!

Политическая лирика Н. И. Гнедича объективно связывала поэтические традиции Радищева с легальной и нелегальной лирикой и сатирой поэтов-декабристов. О близости Гнедича к литературным кругам, контролируемым Союзом Благоденствия, а также о роли его в политическом и литературном воспитании Рылеева см. наши комментарии к «Стихотворениям» Рылеева (1934, стр. 283—284), а также материалы «Дневника В. К. Кюхельбекера» (стр. по указателю) и книги Г. А. Гуковского «Пушкин и русские романтики» (Саратов, 1946, стр. 151—153 и 200—204). Менее значимы для этого круга проблем данные интересной работы И. Н. Медведевой «Н. И. Гнедич и декабристы» («Декабристы и их время», 1951, стр. 101 — 154). Близкие отношения Гнедича с П. А. Катениным, сослуживцем его с 1806 г. по департаменту народного просвещения, документируются перепиской Гнедича (П. Тиханов. Н. И. Гнедич. СПб., 1884, стр. 41), Батюшкова и Н. М. Муравьева («Лит. наследство», т. 16-18, стр. 631). При содействии Гнедича опубликованы были в 1810 г. в «Цветнике», издававшемся членами Вольного общества А. Е. Измайловым и П. А. Никольским, первые произведения Катенина. Именно Гнедич, как свидетельствуют воспоминания

Катенина, познакомил последнего в 1817 г. с Пушкиным. К школе Гнедича восходили не только ранние поэтические опыты Раевского («Глас правды»), но и такие зрелые его произведения, как «Смеюсь и плачу» и «Певец в темнице». Сатира Гнедича «Перуанец к гишпанцу» («Рушитель моея отчизны и свободы») широко использована была в агитационно-пропагандистской работе Раевского в 1821—1822 гг.

[18] ЦГВИАЛ, ф. № 9, 1827 г., оп. 11, д. 42, литера В, т. II («Черновые разные бумаги, отобранные от маиора Раевского»), л. 76.— В автографе послания только две помарки. Одна в стихе 7-м: вм. «С беспечностью» начато и зачеркнуто «И в» (описка, след начатого 10-го стиха «И в неге проведешь»); другая в стихе 16-м — зачеркнуто «Под» и «И» в начале строки.

[19] Павел Сергеевич Пущин (1785—1865) — член Союза Благоденствия, основатель и руководитель масонской ложи в Кишиневе. Об этом писал Пушкин в январе 1826 г. Жуковскому: «В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым. Я был масон в Кишиневской ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи» (Пушкин, т. XIII, стр. 257). Концом июня 1821 г. надлежит датировать послание Пушкина «Генералу Пущину» («В дыму, в крови, сквозь тучи стрел...»). Это послание вызвано приказом о концентрации частей 16-й пехотной дивизии у границ Молдавии и слухами о предстоящей войне с Турцией.

[20] Переписка П. Д. Киселева с А. А. Закревским о предоставлении отпуска Пущину опубликована в «Сборнике Русского исторического общества», т. 78. СПб., 1891, стр. 59, 95,262.

[21] В. Раевский. Стихотворения. Л., 1952, стр. 94.— Важнейшие отличия ранней редакции от текста 1822 г.: ст. 5-й: Кисловский, друг свободы; ст. 6-й: Под сень самой природы; ст. 7-й: Нетрепетно идешь; ст. 9-й: В беспечности, покое; ст. 10-й: Ты мирно проведешь; ст. 16-й: Под кровлею родною; ст. 17-й: Там счастие с тобою; ст. 18-й: Там дружества приют.

[22] Краткие сведения об этом кружке получили отражение во «всеподданнейшем докладе» по делу Раевского в 1827 г. (Щеголев. Декабристы, стр. 60). В книге В. Г. Базанова высказано предположение о том, что каменец-подольский кружок Раевского мог быть «отделением Союза Спасения» (Базанов. Раевский, стр. 31). Однако это предположение, во-первых, противостоит всем критически установленным фактам истории Союза Спасения; во-вторых, никак не вяжется с материалами политической биографии самого Раевского; наконец, в-третьих, никак не согласуется с теми данными о каменец-подольском кружке, которые сохранились в стихотворных посланиях Раевского к членам этого дружеского объединения и в переписке Раевского с П. Г. Приклонским.

[23] «Вакхическая песнь» Пушкина (1825).— Герой «Барышни-крестьянки» Алексей Берестов, пленявший во второй половине 10-х годов уездных девиц рассказами «об утраченных радостях и об увядшей своей юности», носил «черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии» (1830). Ср. заметку Н. О. Лернера «Кольцо Зеленой лампы» («Русская старина», 1909, № 4, стр. 197—199).

[24] Дата распоряжения Александра I об увольнении Пущина от службы — 28 марта 1822 г.—устанавливается в материалах Н. К. Кульмана «К истории масонства в России» («Журнал Министерства народного просвещения», 1907, № 10, стр. 371). До Кишинева сведения об этом дошли только через три недели. 20 апреля 1822 г. в дневнике П. И. Долгорукова отмечалось: «В городе разнеслась молва, что бригадный командир Пущин отставлен. Он просил отпуска и вместо того получил совершенное увольнение. Долой генеральские эполеты! Полагают, что всё это последствия Сабанеевского гнева на 16 дивизию, а отчасти и меры, предпринимаемые против либералистов» («Звенья», IX, 1951, стр. 71).

[25] ЦГВИАЛ, ф. № 9, 1827 г., оп. 11, д. 42, литера В, т. II, л. 3. Отметка на перебеленном неизвестной рукою «Вступлении» к трактату Раевского «О рабстве крестьян»: «1820 года, декабря 12 дня».

[26] О дуэли Пушкина с С. Н. Старовым (1786—1856), датируемой 6 января 1822 г., см. новейшую сводку мемуарных и документальных данных в примечаниях М. А. Цявловского к дневнику П. И. Долгорукова («Звенья», IX, 1951, стр. 134—135); ср. «Письма Пушкина», т. I. М.—Л., 1926, стр. 239—240.

[27] «Русский архив», 1866, № 9, стб. 1447—1448, а также стб. 1418.

[28] «Декабристы», 1926, стр. 23.— В «Послании П. Г. Приклонскому» Раевский еще в 1817 г. отзывался о командном составе армии так же, как и в записке «О солдате» и в стихах «Смеюсь и плачу»:

Сословие невежд, гордящихся породой,
Без знаний, без заслуг, но с рабскою душой,
Но с знаньем в происках до степени высокой,
Идет надменною и быстрою стопой.

[29] П. С. Бейсов относит время написания сатиры «Смеюсь и плачу» к 1818—1822 гг. («Ульяновский сборник», стр. 342); В. Н. Орлов — к 1815—1821 гг. («Декабристы»,

1951, стр. 57). В. Г. Базанов, сперва вовсе отказавшись от датировки послания, а затем приняв хронологию Бейсова, выдвинул предположение, что, ввиду направленности сатиры Раевского «против русского деспотизма», стих «Премудрость под седлом, Скотинина...» «в сознании поэта» оформлялся, «вероятно, так: „Премудрость под седлом Скотинина на троне“» («Раевский», стр. 154). Эта же несостоятельная догадка повторена в «Стихотворениях» В. Раевского, 1952, стр. 239.

[30] «Русский архив», 1866, стб. 1256—1257.— Неправильно понятые данные воспоминаний Липранди позволили С. И. Черепанову утверждать, что Раевский «был сослан единственно за перевод на русский язык известной песни: „Мальбрук в поход поехал“» («Древняя и новая Россия», 1876, № 8, стр. 382). О широком распространении народной песни о Мальбруке в период наполеоновских войн см. в специальной работе В. М. Жирмунского («Известия Отделения общественных наук», 1935, № 9, стр. 790—797). В заметке Н. О. Лернера «Пушкинский „Мальбруг“» («Звенья», V, 1935, стр. 50—58) смешаны данные о двух Адамовых — командире Камчатского полка в Кишиневе и командире учебного батальона в Тульчине. Ошибочна и справка И. П. Липранди о том, что песенка о Мальбруге упоминается в материалах дознания и в обвинительном акте по делу Раевского.

[31] Стихотворение Вольтера «Jean qui pleure et qui rit» (1772), как и сатира Раевского, имеет пять строф, в четырех из которых сменяются рефрены «Je pleure» и «Je ris». В сатире Вольтера всего 68 стихов. В обоих произведениях использована антитеза «смеющегося Демокрита» и «плачущего Гераклита», восходящая к античным и средневековым олицетворениям двух исконно антагонистических философских систем и жизнеощущений. В русской литературе до Раевского это противопоставление использовано было в анонимной брошюре «Смеющийся Демокрит, или поле честных увеселений, с поруганием меланхолии» (М., 1769), в комедии Клушина «Смех и горе» (1793), в «Гимне глупцам» Карамзина (1802), в журнале «Харьковский Демокрит» (1816), после же Раевского — в водевиле П. А. Каратыгина «Демокрит и Гераклит, или философы на Песках» (1843), в сатирических журналах 1857 и 1858 гг. и, наконец, в рецензиях Добролюбова этой же поры: «Между тем как Москва сетует и плачет в лице своего Гераклита, г. М. Дмитриева, в Петербурге каждый день появляются новые Демокриты, потешающие серьезную столицу своей веселостью» («Уличные листки», 1859); см. об этом же в отклике Добролюбова на «Московские элегии» М. А. Дмитриева (Полн. собр. соч. Добролюбова, т. I. М.—Л., 1934, стр. 434; т. III, 1936, стр. 387).

[32] Цитата из трактата «О рабстве крестьян» («Дело Раевского», 1827, т. II, лл. 1—2). Мы приводим эти строки по рукописи, так как они опубликованы не совсем точно и В. Г. Базановым («Раевский», стр. 108) и П. С. Бейсовым («Ульяновский сборник», стр. 248).

[33] Базанов. Раевский, стр. 53—54.

[34] Там же, стр. 155—156; П. С. Бейсов. Новое о В. Ф. Раевском.— «Ульяновский сборник», стр. 288—289; В. Раевский. Стихотворения. Л., 1952, стр. 73—75. Перепечатано с теми же ошибками в антологии «Поэзия декабристов». Ред. Б. С. Мейлаха. Л., 1950, стр. 469—470; «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов», т. II. Сост. С. Я. Штрайх. М., 1951, стр. 361—362; «Декабристы». Ред. В. Н. Орлова. М.—Л., 1951, стр. 57.

Подлинник хранится в ЦГВИАЛ, ф. № 9, 1827 г., оп. 11, д. 42, литера В, т. II, лл. 88 об., 89, 89 об., 78 и 78 об. Первоначальный вариант заголовка зачеркнут: «Гимн природе (Подражание французскому)». Зачеркнутые варианты — строфа I, ст. 11: Как юных поселян отнявши у отцов; ст. 14: Как изверг лицемер, презря святой закон; ст. 15: В молитвах поседев, гарем по праву власти; строфа II, ст. 7: В награду прежних мук; строфа IV, ст. 2: Не кредитор стоит, но вестник с письмецом; ст. 8: Вдруг вижу чудеса и вдруг опять проснусь. О других особенностях автографа см. выше, стр. 525. В строфе III отмечается Херил из Ияса в Карии, бездарный греческий поэт IV века (а не драматург VI века, как полагает Б. С. Мейлах, комментируя сатиру Раевского в сб. «Поэзия декабристов». Л., 1950, стр. 822). О милостях, которыми Херил незаслуженно пользовался при дворе Александра Македонского, см. в «Посланиях» Горация, кн. 2, посл. I, ст. 232—234.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ С. И. МУРАВЬЕВА-АПОСТОЛА

Сообщение В. Н. Орлова

Публикуемая нами дарственная надпись Семена Капниста на книге «Лирические сочинения» его отца — известного поэта В. В. Капниста, адресованная С. И. Муравьеву-Апостолу, вносит новый небезинтересный штрих в далеко не полную картину дружеских и литературных связей и отношений вождя восстания Черниговского полка.

Вот эта надпись:

Любезному Сергею Ивановичу
Муравьеву-Апостолу
проводившему в могилу отца моего, 1-го ноября 1823 года.
Семен Капнист

Биография С. И. Муравьева-Апостола разработана недостаточно. Мы мало знаем об этом блестящем, разносторонне одаренном и обаятельном человеке, производившем на редкость сильное впечатление на всех, кто имел случай узнать его близко. В частности, мы располагаем крайне скудными, отрывочными и случайными данными о художественных вкусах и литературных интересах Сергея Муравьева.

Братья Муравьевы-Апостолы выросли в семье, где литературу не только высоко ценили и тонко понимали, но где ею занимались практически, профессионально. Отец их, видный дипломат И. М. Муравьев-Апостол (1765—1851), был вместе с тем довольно заметным в свое время писателем, деятельным участником Беседы любителей русского слова, автором оригинальной комедии «Ошибки, или Утро вечера мудренее» (1794) и широко известной книги «Путешествие по Тавриде» (1823), переводчиком Шеридана («Школа злословия», 1794), Аристофана («Облака», 1821)[1] и греческих поэтов.

И. М. Муравьев-Апостол был близок со многими русскими писателями. Живые литературные связи поддерживали и его сыновья. Так, например, Сергей Муравьев дружил с К. Н. Батюшковым (они были, кроме того, в дальнем родстве). Особенно тесно сошлись они во время заграничного похода 1813—1814 гг. Уцелевшие отрывки из переписки Сергея Муравьева с Батюшковым ясно свидетельствуют об общности их интеллектуальных и художественных интересов. Из писем Сергея Муравьева к Батюшкову до нас дошло лишь одно — от 22 февраля 1816 г., из Москвы[2]. Письмо это весьма знаменательно. Оно написано в характерной для той поры эпистолярной манере — нарочито имитирует тон непринужденной салонной болтовни, изобилует перифразами, метафорами, мифологическими уподоблениями, откликами на злобу дня литературного быта (упоминания о А. Ф. Мерзлякове и Д. И. Хвостове).

Основная тема письма — обличение «скуки». В духе и стиле времени юный Муравьев поучает своего старшего приятеля (Батюшков был старше его на восемь лет): «К сожалению, милый мой Константин, я — не поэт, не философ, не эпикуреец; я только твой старый боевой товарищ, горячо

тебя любящий, да к тому же увалень попрежнему. Итак, я не мог бы поведать тебе все эти мудрые речи, а скажу попросту: очень худо, что ты скучаешь,— лучше было бы, если б ты веселился». Попутно Муравьев сообщает своему корреспонденту о том, что познакомился с поэтом В. Л. Пушкиным.

Повидимому, в ту пору он и сам пробовал писать стихи, хотя и говорил о себе: «я — не поэт». Во всяком случае, известно, что он владел стихотворной формой. До нас дошло (в устной передаче) одно замечательное стихотворение Сергея Муравьева, написанное по-французски (в 1823 г.)[3].

О том, что литературные интересы Сергея Муравьева были не только постоянными, но и достаточно глубокими и самобытными, со всей убедительностью свидетельствует хотя бы в высшей степени интересное письмо его к m-lle Гюеннэ от 18 ноября 1825 г.[4] Оно было написано по частному поводу: Муравьев подверг острой, разрушительной критике один французский роман, в котором по всей справедливости усмотрел клевету на вождей и героев французской буржуазной революции XVIII века. Но смысл и значение этого письма гораздо шире, нежели обличение реакционного и пошлого литературного произведения. Наиболее важна в этом письме его позитивная сторона.

Как правильно отметил Б. Е. Сыроечковский, в письме Сергея Муравьева к m-lle Гюеннэ, по существу, развернута целостная и стройная концепция революции как героического деяния, которое вызывает к жизни и питает своими идеями высокое и героическое, проникнутое духом гражданской морали революционное искусство. В революции Муравьев видит могучую силу, освобождающую духовную, творческую энергию человека и закаляющую его характер. В испытаниях освободительной борьбы небывало активизируются мысль и чувство человека. Героика борьбы формирует героические характеры. Революция помогает человеку осознать подлинное свое призвание, она воодушевляет его на смелые подвиги во имя торжества великих и благородных идей, во имя «общего блага». И такая революция, по мысли Муравьева, должна породить новую, революционную поэзию — поэзию освободительной борьбы.

Из письма Сергея Муравьева к m-lle Гюеннэ еще раз проясняются глубокие и прочные преемственные связи декабристов с первым поколением русских просветителей, выступившим на сцену в эпоху подготовки буржуазной революции.

В этом свете знаменательными и, конечно, далеко не случайными представляются близкие, дружеские отношения, которые связывали братьев Муравьевых-Апостолов с семьей Капнистов — не только с ее молодыми представителями, но и с В. В. Капнистом.

Семьи Муравьевых-Апостолов и Капнистов жили в постоянном и самом тесном общении. Впоследствии они и породнились: младшая сестра декабристов, Елена, в 1823 г. вышла замуж за Семена Капниста. Родовые поместья Муравьевых (Хомутец) и Капнистов (Обуховка), расположенные по соседству (на расстоянии около 20 верст), были самыми заметными культурными гнездами на Украине.

В воспоминаниях дочери В. В. Капниста, С. В. Скалон[5], нарисована широкая и яркая картина бытового и культурного уклада этого поместного гнезда. Жившее здесь многочисленное молодое поколение поголовно увлекалось литературой и искусством. Но здесь предавались также и жарким спорам на самые актуальные общественно-политические темы.

В Хомутце и в Обуховке зачастую гостили товарищи Муравьевых-Апостолов по Тайному обществу: М. П. Бестужев-Рюмин, Н. И. Лорер, Никита и Александр Муравьевы, М. С. Лунин, А. В. Поджио, А. Ф. Бригген и другие. Бывал здесь и вождь южных декабристов П. И. Пестель[6].

В обстановке Обуховки оживала и приобретала реальные и конкретные формы преемственная связь между старшим поколением русских

просветителей и декабристами. Связь эта воплощалась в личности самого владельца Обуховки.

В. В. Капнист (1757—1823)— видный деятель русского литературного движения последних десятилетий XVIII в., ближайший друг и литературный соратник Державина, пользовался высоким уважением в передовых кругах русского общества. Декабристы ценили упрочившуюся за Капнистом репутацию пылкого гражданского поэта и смелого сатирика, автора знаменитой обличительной комедии «Ябеда» (1798). Передовой молодежи, конечно, был близок и понятен антикрепостнический пафос не менее известной «Оды на рабство» (1783), которою Капнист откликнулся на указ о закрепощении украинских крестьян:

Воззрите вы на те народы,
Где рабство тяготит людей;
Где нет любезныя свободы
И раздается звук цепей:
Там к бедству смертные рожденны,
К уничтоженью осужденны,
Несчастий полну чашу пьют;
Под игом тяжкия державы
Потоками льют пот кровавый
И зляе смерти жизнь влекут...

Упрочению за В. В. Капнистом репутации смелого, вольнолюбивого писателя способствовали некоторые знаменательные обстоятельства его общественно-литературной биографии. «Ода на рабство» в свое время не была дозволена к напечатанию и появилась только в 1806 г., в недолгий период официального «либерализма», в сборнике Капниста «Лирические сочинения» (любопытно, что в 1848 г. цензура изъяла эту оду из нового издания сочинений Капниста). «Ябеда» же произвела при своем появлении на свет впечатление открытой общественной манифестации против чиновничьих нравов и порядков, господствовавших в судебных учреждениях. После четырех представлений (прошедших с громким успехом) комедия была снята со сцены по личному распоряжению Павла I; издание ее было конфисковано, а сам автор едва избежал серьезных репрессий (впоследствии запрещение «Ябеды» было отменено).

Не приходится сомневаться в том, что автор «Ябеды» и «Оды на рабство» не раз вступал с будущими декабристами в беседы и споры по самым острым социально-политическим вопросам современности.

Характерно, что Сергей Муравьев, только что возвратившись в Хомутец из Петербурга, спешит известить о своем прибытии В. В. Капниста и сообщить ему, что он привез из столицы политические новости, которые нельзя доверить посторонним лицам: «...приятнейшею обязанностью себе поставляю приехать в Обуховку, дабы лично засвидетельствовать Вам, милостивый государь, истинное мое почтение, ⟨...⟩ а новостей-то, новостей!..— с три короба! Только что они тяжелы, нельзя с нарочным верховым послать»[7].

Правда, старый просветитель либерального толка, повидимому, не всегда находил общий язык с молодыми дворянскими революционерами, замыслившими добыть свободу вооруженной рукой. Так, С. В. Скалон рассказывает в воспоминаниях, что однажды (в 1819 г.) В. В. Капнист довольно зло подсмеивался над горячими спорами «о политических делах и о разных предположениях и преобразованиях», которые вели в его присутствии Муравьевы-Апостолы, Лунин и Н. М. и А. М. Муравьевы. Напомним в этой связи, что Сергей Муравьев-Апостол отличался

особенной горячностью суждений и принадлежал к числу самых пламенных и нетерпеливых деятелей декабристского подполья.

Муравьевы-Апостолы и их соратники должны были гораздо чаще находить общий язык в беседах с младшими Капнистами — сыновьями поэта. Их было трое: Семен, Алексей и Иван. И каждый из них в той или иной мере оказался причастным к декабристскому движению.

Алексей Васильевич Капнист (1797—1869) с 1814 г. служил в гвардии, в Измайловском полку, а с 1822 г.— в Киеве, адъютантом генерала Раевского. Он состоял членом Союза Благоденствия. Из показаний офицера лейб-гвардии Измайловского полка Миклашевского, рассказавшего о тайном объединении офицеров (преимущественно измайловцев), выясняется, что А. В. Капнист (вместе с братом Семеном) посещал собрания этого кружка и принимал участие в вольных разговорах «о законах, правлениях, парламентских спорах, испанской и неаполитанской революциях»[8]. Известно, что в двадцатые годы А. В. Капнист неоднократно встречался с С. И. Муравьевым-Апостолом и другими южными декабристами — в Каменке, Хомутце, Киеве. В середине января 1826 г. А. В. Капнист был арестован и отправлен в Петербург, где просидел в крепости до 24 апреля и был выпущен за отсутствием улик.

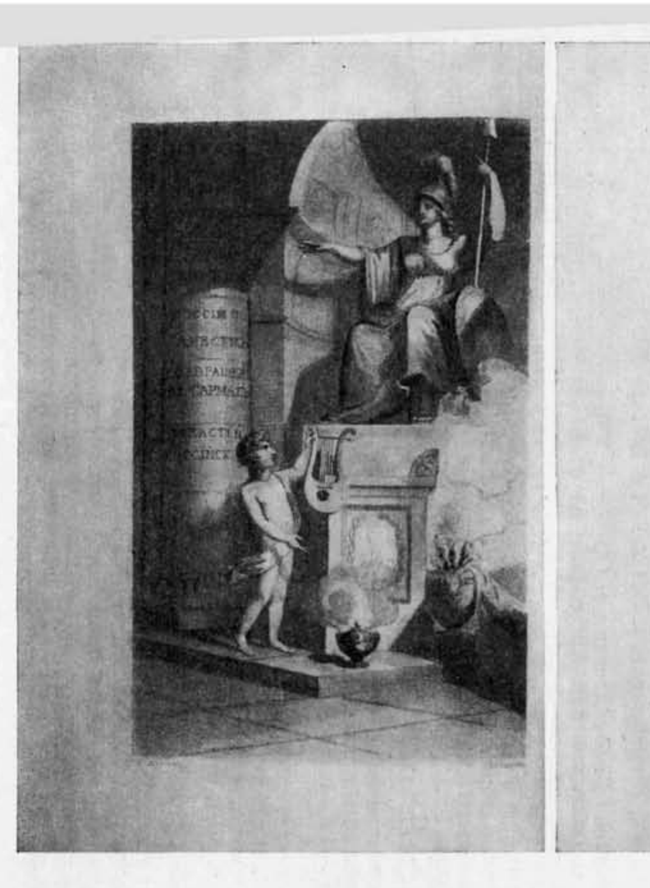
Другой брат — Иван Васильевич Капнист (ум. в 1860 г.)— был знаком с Пестелем, часто беседовал с ним и, как можно догадываться, пользовался авторитетом в кругу декабристов. Сохранилось предание, что последние намечали И. В. Капниста, в случае удачи своего дела, в состав «временного правления»[9].

Наконец, старший из братьев Капнистов — Семен Васильевич (1791—1843), который и подарил С. И. Муравьеву-Апостолу книгу своего отца,— был связан с декабристскими организациями не только идейно, но и формально. С 1814 по 1822 г. он служил в Петербурге (по гражданской части), а впоследствии на юге (в Одессе и в Полтаве), был кременчугским уездным предводителем дворянства и кончил свой жизненный путь директором гимназий и училищ Полтавской губернии. По характеристике некролога, это был «редкий гражданин, редкий человек ⟨...⟩ и много заботился о бедных»[10]. Семен Капнист состоял членом Союза Благоденствия. По формулировке «Алфавита декабристов», он «принадлежал к числу членов Союза Благоденствия, но уклонился и не участвовал в тайных обществах, возникших с 1821 года», почему и было «высочайше повелено оставить его без внимания»[11].

В молодые годы Семен Капнист писал стихи и кое-что даже печатал (в «Чтениях в Беседе любителей русского слова», в «Журнале древней и новой словесности»). Одно его стихотворение — «Вечер в Тавриде»— вошло в известную хрестоматию «Образцовые русские стихотворения» (ч. IX, 1824, стр. 253—254). С. В. Капнист, очевидно, принимал некоторое участие в столичной литературной жизни. Он состоял членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств — в прошлом прогрессивного литературного объединения, деятельность которого началась «под знаком Радищева». В архиве Вольного общества в «деле» С. В. Капниста сохранилось его неизданное стихотворение «Совет»[12].

Поэтические способности Семена Капниста были весьма скромны. Судя по некоторым его произведениям, он иногда пытался, хотя и в самой общей форме, выразить на языке поэзии воодушевлявшие его идеи истины и справедливости, человеколюбия и патриотического долга. Такова его ода в честь известного вельможи Д. П. Трощинского, дружески связанного со старшим поколением Капнистов и Муравьевых-Апостолов.

В этой оде, написанной в 1812 г. по случаю возвращения Трощинского на служебное поприще, юный поэт воспевал «трудный путь» государственного служения, строго осуждал «корысть, самоуправств разврат,



ЛИРИЧЕСКІЯ

СОЧИНЕНІЯ

ВАСИЛІЯ КАПНИСТА.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.
Съ дозволенія Цензурнаго Комитета.
Печатано въ Типографіи Ф. Дрехслера.
1806.

Любезному Сергѣю Ивановичу
Муравьеву-Апостолу.
Проводившему въ могилу
отца моего, 1го ноября 1823 года
Семенъ Капнистъ

«ЛИРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ» В. В. КАПНИСТА. ЭКЗЕМПЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ С. В. КАПНИСТА С. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

«Любезному Сергею Ивановичу Муравьеву-Апостолу, проводившему в могилу отца моего, 1-го ноября 1823 года. Семен Капнист»

Собрание В. Н. Орлова, Ленинград

крамолы, смуты и раздоры» и характеризовал ушедшего в свое время на покой Трощинского как мудрого человека, равнодушного к «пышным титлам», как честного деятеля, который удалился на лоно сельской тишины, не желая мириться с непорядками, укоренившимися в государстве. Однако как только разразилась Отечественная война, как только «буря брани заревела», гражданский долг призвал престарелого вельможу «вновь на поприще вступить», и поэт видит в этом высокий пример для подражания:

Твоим усердьем оживленны,
Мы плуг перековали в меч...

В 1823—1825 гг. Семен Капнист поддерживал самые тесные дружеские и родственные отношения с Муравьевыми-Апостолами. Уцелело два письма (от 24 апреля и 21 мая 1824 г.) С. И. Муравьева-Апостола к С. В. Капнисту из Василькова. Письма очень дружеского характера. В одном из них нашли отражение интересы корреспондентов: Муравьев по просьбе Капниста сообщает ему свой перевод греческих надписей IV века до нашей эры, демонстрируя незаурядную эрудицию в области античной истории и философии[13].

В публикуемой нами дарственной надписи Семена Капниста С. И. Муравьеву-Апостолу говорится о смерти В. В. Капниста. Текст надписи находит дополнительное освещение в воспоминаниях С. В. Скалон. В. В. Капнист скончался 28 октября 1823 г. в имении Д. П. Трощинского — Кибенцы, где он остановился проездом и внезапно захворал. Среди лиц, бывших при кончине поэта, находился и С. И. Муравьев-Апостол. С. В. Скалон пишет: «Двое суток мы все, из сторонних—Сергей Иванович Муравьев и доктор Lan, которые любили и уважали его, как самого близкого им человека, и толпа рыдавшего народа окружали гроб его...»[14]

На следующий день, 29 октября 1823 г., С. И. Муравьев-Апостол проводил тело Капниста в Обуховку, где состоялись похороны. Об этом именно и говорит надпись на книге.

Никаких помет владельца в книге нет.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В собрании В. А. Десницкого (Ленинград) хранится книга И. М. Муравьева-Апостола «Облака, комедия Аристофана, на афинском театре» (СПб., 1821), принадлежавшая сыну автора—декабристу М. И. Муравьеву-Апостолу. Помимо надписи фамилии владельца, в конце предисловия (на стр. XVI) его же рукою приписаны инициалы автора и дата: «Хомутец. 16 декабря 1819».

[2] «Русская старина», 1893, № 5, стр. 404—408 (на франц. яз.).

[3] «Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика». Составил Вл. Орлов. М.—Л., 1951, стр. 187 и 626.

[4] Б. Е. Сыроечковский. Два письма С. И. Муравьева-Апостола.— «Красный архив», 1928, № 5, стр. 217—225.

[5] «Воспоминания и рассказы деятелей Т. О.», т. I, стр. 302—311.

[6] См. П. И. Капнист. Сочинения, т. I. М., 1901, стр. 32.

[7] И. Ф. Павловский. Из прошлого Полтавщины. К истории декабристов. Полтава, 1918, стр. 19.

[8] Семевский, стр. 247.

[9] И. Ф. Павловский. Указ. соч., стр. 24.

[10] «Полтавские губернские ведомости», 1844, № 39.

[11] ВД, т. VIII, стр. 91.

[12] Фундаментальная библиотека Ленинградского государственного университета, д. 70.—Другое в свое время не опубликованное стихотворение С. В. Капниста, записанное им в 1814 г. в альбом сестры (С. В. Скалон),—см. в «Воспоминаниях и рассказах деятелей Т. О.», т. I, стр. 406.

[13] И. Ф. Павловский. Указ. соч., стр. 20—22.—Подлинники писем С. И. Муравьева-Апостола накануне Великой Октябрьской социалистической революции находились в имении М. В. Капнист (деревня Пузиково, Кременчугского уезда).

[14] «Воспоминания и рассказы деятелей Т. О.», т. I, стр. 363.

ПОСЛАНИЕ «К АРТЕЛЬНЫМ ДРУЗЬЯМ» И ЕГО АВТОР*

I. НОВОЕ О ПОЭТЕ А. И. МЕЩЕВСКОМ

Сообщение Н. А. Роскиной

Внимание исследователей давно уже привлекала загадочная судьба поэта Александра Ивановича Мещевского (род. около 1791 — ум. около 1820)[1]. Еще в шестидесятых годах, печатая письма Жуковского, П. И. Бартенев заинтересовался человеком, имя которого часто встречалось в переписке арзамасцев в 1816—1819 гг., но стал втупик перед невозможностью уяснить себе существенные черты его биографии. Известно было только, что Александр Мещевский находился в ссылке в Оренбурге, откуда присылал Жуковскому горестные письма, и Жуковский старался, чем мог, помочь ему. Напоминания о том, что Мещевский нуждается в поддержке, мы читаем в письмах Жуковского к А. И. Тургеневу и к Вяземскому, Тургенева и Вяземского — друг к другу; с просьбой послать Мещевскому денег Жуковский обратился даже к А. П. Киреевской, и она исполнила эту просьбу[2]. Мещевский получал деньги и от Вяземского.

«Надобно помнить и о том, что ближе к „Арзамасу“,— писал Жуковский Тургеневу в конце 1816 или в начале 1817 г.,— Мещевский в Сибири, а вы, друзья, очень весело поживаете в Петербурге!..»[3] «Надобно вытащить его из бездны»,— взывал Вяземский к Тургеневу[4] и т. д.

Итак, арзамасцы не только посылали Мещевскому деньги; они пытались «вытащить его из бездны», то есть хлопотать о его возвращении, но усилия их оказались тщетными, и вызволить Мещевского из Оренбурга не удалось. Добавим, однако, что, как это ни странно, дело Мещевского было известно его петербургским доброжелателям, повидимому, не более подробно, чем позднейшим исследователям эпохи. «Оренбургский поэт (как человек, и молодой человек), без сомнения, достоин жалости; но как вмешаться в *дело, которого не знаем*?»[5]— писал 18 февраля 1817 г. Жуковскому Карамзин (арзамасцы пытались вовлечь и его в хлопоты о Мещевском). Таким образом, из многочисленнных упоминаний о «приемыше

---

* Два сообщения, печатаемых ниже, по-новому решают вопрос о том, кто был автором послания «К артельным друзьям»,— послания, обращенного, как убедительно доказала М. В. Нечкина, к членам Священной артели (см. М. В. Нечкина. Священная артель. Кружок Бурцова и Колошина в 1814—1817 гг.— «Декабристы и их время», 1951, стр. 156—160). Впервые печатается и полный текст этого стихотворения, ранее известного лишь в отрывке. До сих пор автором послания считался А. Мещевский. Исходя из этого, М. В. Нечкина предположила, что Мещевский был членом Священной артели. Новонайденные документы (полный текст стихотворения «К артельным друзьям» и автографы писем Мещевского) доказывают, что Мещевский не был членом преддекабристской организации и что послание «К артельным друзьям» написал Петр Колошин. Доказательству этих положений и посвящены предлагаемые работы.— *Ред.*

Арзамаса» в опубликованной переписке современников[6] мы не можем почерпнуть ничего, что хоть сколько-нибудь пролило бы свет на обстоятельства, при которых Мещевский был сослан. Вяземский пишет о «государстве, где Озеровы принуждены для куска хлеба служить в Лесном департаменте и где найдешь не одного Мещевского, а сотни»[7],— и даже в таком контексте, обобщая свое отношение к аракчеевской России, Вяземский не сказал ни одного слова, позволявшего предположить, что ссылка поэта была вызвана мотивами политическими. Следовательно, даже тем, кто сочувствовал Мещевскому и хлопотал за него, не были известны ни причины, по которым он был сослан, ни обстоятельства, в которых он перед этим находился.

В 1867 г. редактор «Русского архива» обратился к читателям с просьбой сообщить хоть что-нибудь о судьбе поэта, сгинувшего в глуши, в ссылке. Вскоре в «Русском архиве» была напечатана заметка — отклик некоего Н. Б.[8], сообщавшего, что в «Записках» А. С. Шишкова[9] напечатано стихотворение «К артельным друзьям», приписываемое Мещевскому. Заметка эта не проясняла, однако, темную историю ссылки Мещевского,— историю, интерес к которой со стороны исследователей декабризма не был утрачен и в нашем веке. В 1927 г. Ф. Шипулинский написал о Мещевском статью: собрав все имеющиеся в литературе сведения, он попытался воссоздать жизненный и творческий путь «забытого поэта»[10]. Первые упоминания о Мещевском в письмах Жуковского и близких ему людей появились в 1816 г. Ф. Шипулинский исходил из этой даты, и у него не было никаких сомнений, что именно тогда поэт и был сослан в Оренбург. Оттуда,— умозаключал Шипулинский,— разлученный со своими товарищами и единомышленниками, он прислал им послание «К артельным друзьям» — живые и сильные стихи, проникнутые вольнолюбивым настроением, свойственным передовой поэзии тех лет. Послание это, под которым стояла дата «1817 год» и «имя сочинителя означено: *Мещевский*», должно было появиться в «Новостях литературы», но вызвало возражения цензора и было представлено министру народного просвещения А. С. Шишкову,— об этом докладывал сам Шишков в своем письме к Александру I. Стихи пропущены в печать не были.

Излагая историю Священной артели[11], М. В. Нечкина, на основании этих слов Шишкова, справедливо заключает, что послание «К артельным друзьям» обращено к членам Священной артели. Оснований сомневаться в достоверности слов Шишкова об «имени сочинителя» у М. В. Нечкиной не было. Поэтому она допускает, что именно Мещевский — автор послания — и был упомянут Кюхельбекером в его позднейшей зачеркнутой записи в дневнике рядом с Бурцовым, Колошиным, Вольховским и другими друзьями его юности[12].

Такова история вопроса.

Однако в действительности Мещевский не был автором стихов «К артельным друзьям» и никакого отношения к Священной артели не имел.

Как выясняется из сохранившихся писем Мещевского к Вяземскому и Жуковскому[13], он был сослан в Оренбург значительно ранее, чем было принято считать,— еще в 1812 г., во время Отечественной войны, и причиной ссылки послужил недостойный поступок молодого офицера. Сам Мещевский так рассказывает о нем Вяземскому в письме от 6 февраля 1817 г.: «Вы благородны — этой доверенности довольно, чтобы избавить меня от жестокого смятения — не имею нужды тронуть Вас оправдательными причинами моего проступка, когда могу сказать Вам, что я *доволен моими чувствами*. От мысли к мысли, от места к месту, гонимый всеми исступлениями молодости, ожесточенной, но чувствительной, бросился я наконец в военную службу — в Астраханский кирасирский полк юнкером — в 1812 году; воображение произвольной смерти, очевид-

ной в тогдашнее время при неумении управлять конем и палашем, слившиеся мысли о ранее претерпенных мною несчастиях внушили мне бедственное желание сбросить с себя еще лишние оковы — оковы необдуманной службы и оставить полк — чрез месяц вступления в оный. Четыре года несчастия заплатили уже моей бедственной опрометчивости — я нахожусь рядовым в Оренбургском гарнизонном полку — в бумаге сказано: *разжалован навсегда*, но о лишении дворянства ничего не сказано — и на милость образца нет. Ах! Ваше сиятельство! Самый порочнейший человек, самый вредный не мог бы быть наказан более, как наказана опрометчивость сердца, бывшего только мягким к впечатлению свободы и обольщающих неопытность страстей, вредных только *самому себе*»[14].

14 декабря 1817 г. Мещевский писал Жуковскому: «...*пяти* летам беспрестанной и тяжелой думы принесена не бедная жертва здоровья».

Итак, даже не зная подробнее всех обстоятельств разжалования Мещевского, можно представить себе, чем оно было вызвано: Мещевский выразил желание оставить полк в военное время, что приравнивалось к дезертирству. Таким образом, представляется несомненным главное: никакой связи с образовавшейся в 1814 г. Священной артелью Мещевский, к тому времени уже два года безотлучно служивший в Оренбургском гарнизоне, иметь, естественно, не мог.

Что же касается послания «К артельным друзьям», то, как теперь доказано, написал его не Мещевский, а Петр Иванович Колошин[15].

А те стихи, которые бесспорно принадлежат Мещевскому, не дают нам никакого материала для заключения о близости их к декабристской лирике. Это стихи, повторяющие излюбленные мотивы эпигонов сентиментализма десятых годов — о пастушке, месяце и уединении[16]. Попытка Ф. Шипулинского отыскать в этих стихах проблески социального протеста кажется нам несостоятельной.

Знакомство Мещевского с Жуковским до ссылки было, вероятно, весьма поверхностным. В 1809 и 1810 гг. Жуковский печатал произведения Мещевского у себя в «Вестнике Европы». В фонде Жуковского сохранились три письма Мещевского этих лет. Они касаются преимущественно его житейских неурядиц и безденежья: в них неизменно присутствуют просьбы о деньгах. В первые годы ссылки Мещевский к Жуковскому не обращался, и переписка между ними возобновилась лишь в 1816 г., что и ввело в заблуждение исследователей. В том же году Мещевский, по совету Жуковского, вступил в переписку с Вяземским,— лично знакомы они не были. Молодость сосланного поэта (в 1816 г. Мещевскому, как он сообщает в письме к Жуковскому, было двадцать пять лет), трудности его оренбургского житья, бедность и непосильная работа, — именно это, а не какие-нибудь идейные соображения,— вызывали сочувствие старших собратьев по перу, старавшихся доставить ссыльному литературный заработок. Жуковский даже послал ему свою сказку «Марьина роща», которую Мещевский переложил в стихи. Он предлагал также Мещевскому записывать и присылать местные оренбургские предания и сказки. Насколько можно судить по переписке, Мещевский этим предложением не воспользовался.

Последнее письмо, посланное Мещевским Вяземскому, датировано 3 декабря 1819 г. Мещевский пишет о своей тяжелой болезни (чахотке) и о предчувствии близкой смерти. Повидимому, вскоре он и скончался; в дальнейшей переписке современников имя его не упоминается.

Шишков пишет в своих «Записках», что Воейков считал Мещевского умершим несколько лет назад. Надо думать, что Воейков не лгал; не желая называть истинного автора вольнолюбивых стихов и тем самым подвергать опасности Петра Колошина, Воейков приписал послание «К артельным друзьям» Мещевскому, которого к тому времени уже не было в живых. Не исключена также и возможность, что Воейковым

руководили какие-то чисто коммерческие соображения (см. об этом ниже в сообщении А. Ю. Вейса). А вернее всего, что сам Колошин, передавая стихи в «Новости литературы» и предугадывая цензурные осложнения, постарался заранее направить внимание цензуры по ложному следу[17].

Итак, причислять Мещевского к идейным предшественникам декабристов нет оснований.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Имя и отчество Мещевского выясняются из его писем, о которых см. стр. 538—539. Эти же письма позволяют приблизительно установить годы рождения и смерти Мещевского, неверно указанные С. А. Венгеровым («Критическо-биографический словарь русских писателей и ученых», изд. 2, т. II. Пг., 1915, стр. 105).

[2] «Русская старина», 1883, № 9, стр. 537—538, 541.

[3] «Русский архив», 1867, стб. 811.

[4] «Ост. архив», т. I, стр. 53.

[5] «Русский архив», 1869, стб. 1386.— Курсив наш.

[6] «Русский архив», 1867, стб. 815.— Об отношении арзамасцев к Мещевскому см. подробнее в книге: М. С. Боровкова-Майкова. Арзамас. Л., 1933 (стр. по указателю).

[7] «Ост. архив», т. I, стр. 53.— Речь идет о писателе В. А. Озерове.

[8] «Русский архив», 1867, стб. 811; там же, 1868, стр. 938—939. Не Н. П. Барсуков ли подписался своими инициалами?

[9] «Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова», т. II. Берлин, 1870, стр. 266—268.

[10] Ф. Шипулинский. А. Мещевский (Забытый ссыльный поэт).— «Искусство», 1927, кн. II-III, стр. 171—198.

[11] «Декабристы и их время», 1951, стр. 159—160.

[12] Запись эта факсимильно воспроизведена в «Лит. наследстве», т. 16-18, 1934, стр. 329. М. В. Нечкина, впрочем, допускает, что фамилия, оставшаяся нерасшифрованной в этой густо зачеркнутой записи, может читаться и как «Искритский». Но это мнение опровергается данными, приведенными в напечатанном ниже сообщении А. Ю. Вейса «Петр Колошин — автор послания „К артельным друзьям"». Мы же заметим, что, независимо от наших изложенных далее аргументов, те буквы зачеркнутого слова, которые удается разобрать, не дают основания читать «Мещевский» (опираемся на мнение специалиста—текстолога Т. Г. Цявловской).

[13] ЦГЛА, ф. № 195 (Вяземских), ед. хр. 2308 и ф. № 198 (Жуковского), ед. хр. 110.

[14] Здесь же Мещевский пишет «о рекомендательном письме» оренбургского генерала Д. И. Герценберга; оно являлось, очевидно, ходатайством о смягчении участи ссыльного. 14 февраля 1817 г. Мещевский подтверждает, что ходатайство Герценберга и копия с него для Жуковского (которую Жуковский послал затем Тургеневу — см. В. А. Жуковский. Сочинения, изд. 7, т. VI. СПб., 1878, стр. 405) отправлены Вяземскому; но эти документы в архивах Жуковского и Вяземского не сохранились — несомненно, потому, что были переданы по назначению. Не удалось разыскать и приказ о разжаловании Мещевского.

[15] См. сообщение А. Ю. Вейса в настоящем томе, стр. 541—554.

[16] Перу Мещевского принадлежит немало стихотворений (некоторые появились в печати уже после его смерти), например: «Уединение» в «Избранных сочинениях из „Утренней зари"», ч. I. М., 1809; три стихотворения в январской книжке «Вестника Европы», 1810 г.; «Горесть пастушки» в «Опыте русской антологии», 1828 г.; «Месяц» в «Невском альманахе» на 1826 г. В 1817 г., стараниями Жуковского и Вяземского, вышла в свет поэма «Наталья, боярская дочь» — автор ее был скрыт под инициалами А. М. Печатались и другие стихи и переводы Мещевского.

[17] Стихи Колошина не единственный раз появились под именем Мещевского (см. вышеупомянутое сообщение А. Ю. Вейса). Со своей стороны, выскажем еще одно предположение. В «Сыне отечества» (1822, № 10, стр. 129—131) было напечатано послание: «К сочинителю поэмы: Руслан и Людмила», подписанное А. М. Известно, что под инициалами А. М. печатались произведения Мещевского. Однако по самому своему духу послание «К сочинителю поэмы: Руслан и Людмила» никак не может быть приписано Мещевскому (да и хронологически — вряд ли Мещевский мог успеть откликнуться на поэму, вышедшую в свет в 1820 г.). Автор призывает Пушкина сбросить «чувственной неги позорное бремя» и воспевать подвиги героев. Замысел послания и строй стиха очень близки стихам Петра Колошина. Таким образом, закономерно допустить мысль, что именно Колошин и написал стихотворение; разумеется, это не более как предположение.

В сборнике «Декабристы», составленном В. Н. Орловым (М.—Л., 1951, стр. 136—137 и 624), это стихотворение без аргументации приписано А. Марлинскому.

II. ПЕТР КОЛОШИН — АВТОР ПОСЛАНИЯ «К АРТЕЛЬНЫМ ДРУЗЬЯМ»

Сообщение А. Ю. Вейса

I

Священная артель — одна из организаций, предшествовавших возникновению декабристских тайных обществ. В нее входили братья Муравьевы, Колошины, Пущины, Бурцов и другие. Документы, касающиеся деятельности Священной артели, очень немногочисленны: несколько страниц в воспоминаниях И. И. Пущина[1], Н. Н. Муравьева-Карского[2], А. Е. Розена[3] и несколько строк в дневнике В. К. Кюхельбекера[4].

Известно только одно художественное произведение, посвященное Священной артели,— это послание «К артельным друзьям». До сих пор из него было опубликовано всего 28 стихов. По словам А. С. Шишкова[5], послание было подписано фамилией «Мещевский». Между тем это не соответствует истине, и новонайденные материалы дают возможность установить имя настоящего автора.

В Институте русской литературы Академии наук СССР, в архиве И. Е. Великопольского (1797—1868), нам удалось обнаружить полный текст послания (113 стихов). Он записан рукою Великопольского в тетради, озаглавленной «Избранные места из разных писателей». Под текстом стихотворения тою же рукою четко выведено: «Петр Калошин»[6]. Приводим послание полностью:

К АРТЕЛЬНЫМ ДРУЗЬЯМ

Друзья! В приют свой удаленный
От света тяжких уз,
Мечтаньем сладким увлеченный,
Я к вам перенесусь.
Леса дремучие и горы,
И реки между нас;
Не тешат дружбы разговоры,
Не бьет беседы час.
Но что возможет мысль крылату
В пути остановить?
И душу, чувствами богату,
Что может охладить?

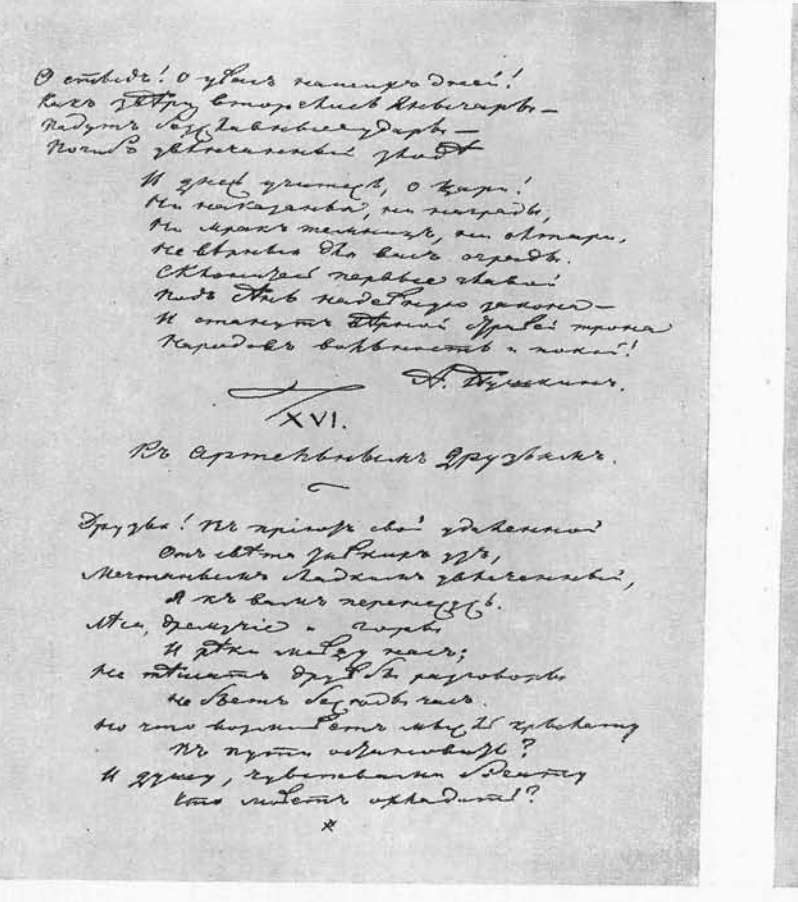
Артель святая! Где гуляешь
Порывом беглых дум?
Чем сердце днесь увеселяешь?
В чем пищу видит ум?
Природы ль зря во всем созданье
Ненарушимый строй,
Ты утопаешь в созерцанье,
Блаженствуя душой?
Иль окружен⟨ная⟩ тенями
Из древности седой
Ты красишь мудрыми гостями
Свой уголок простой?
Иль мыслию склоняясь долу
К родимой стороне,
Бродящих дум по произволу
Блуждаешь в сладком сне
Прошедшего в странах блаженных?..

Почто ж вслед мыслей окрыленных
Я сам не возмогу лететь,
Спуститься в милый круг почтенных
И сердце дружбой отогреть?
Здесь все так хладно, безответно,
Все душу робкую страшит;
Здесь время сном тяжелым спит,
И жизнь влачится неприметно...

Ужель на радость нам даны
Лишь беглые минуты,
А груды лет посвящены
На грусть и скорби люты?
Все в мире держится одной
Десницею незримой;
Везде согласный, дивный строй,
Во век ненарушимый.
И прах взметенный, и светил
Бесчисленные сонмы
Глагол единый подчинил
Под равные законы.

И сей водимые рукой
Блаженствуют вселенны,
Везде согласный дивный строй
Все счастием прельщенны.
Один лишь смертный мира чужд,
Отверженный твореньем,
В борьбе страстей, в грызенье нужд,
Забытый провиденьем,
Влекомый пламенной душой —
Не находя, желает,
Везде зрит счастья дивный строй —
И счастия не знает.

Друзья! Вот стон души моей
Скорбящей, одинокой!
Мечта златая ранних дней
Еще от нас далеко.
Еще в тумане скрыта цель
Возлюбленных желаний.
Кто ж благотворную артель,
Источник всех мечтаний,
Высоких чувств и снов златых
Для счастия отчизны —
Кто ж в шуме радостей пустых
Мне заменит в сей жизни?
Я с вами — и в душе горит
Добра огонь священный!
Без вас — иной все кажет вид,
Столь низкий и презренный.
Но час пробьет, услышим мы
Отчизны призыванья!
Тогда появятся из тьмы
Душ пламенных желанья.



ПОСЛАНИЕ «К АРТЕЛЬНЫМ ДРУЗЬЯМ». СПИСОК, СДЕЛАННЫЙ И. Е. ВЕЛИКОПОЛЬСКИМ, С ОБОЗНАЧЕНИЕМ: «ПЕТР КАЛОШИН»

Стихотворение написано в 1817 г.

Листы первый и последний

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Сплетенные рука с рукой,
    На путь мы ступим жизни,
И пылкой полетим душой
    Ко счастию отчизны.
И кто возможет положить
    Преграды нам в полете?
Кто для отчизны хочет жить,
    Тот выше бедствий в свете.
Судьба! Вознаградишь ли ты
    Счастливо ожиданье?
Быть может, сладостны мечты,
    Младых сердец желанья
Пройдут, как утра легкий сон,
    Как беглых струй теченье,
И мы, завистных слыша стон,
    Зря злобы исступленье,
Беспечность слабых и к другим
    Их хладное участье,
Лишь вздохом горести почтим
    Всеобщее несчастье.
Друзья! Блажен, кто в жизни сей
    На возмущенном море,
Искусный кормчий средь зыбей
    Стихий в упрямом споре,
Отважно плыл и вел других
    Десницей благотворной.
Но кто зрит слабость сил своих
    Средь бури непокорной —
Тот счастлив, коль дрожащий челн
    Извел из вод смущенных
И зрит спокойно ярость волн
    О берег раздробленных.

Переписывая какое-либо сочинение в свою тетрадь, Великопольский почти всегда указывал, откуда оно взято, и проставлял имя автора. В тех же случаях, когда автор был ему неизвестен, Великопольский определял его имя предположительно. Так, например, под текстом стихотворения «Омир» (на лл. 15 об.—16) в скобках указано: «Из журнала Невский зритель, № 1, 1821-й г. Имя автора не подписано, но кажется Плетнев».

В эту же тетрадь Великопольский переписал вольнолюбивые стихотворения Пушкина «Деревня» и «Ода на свободу» («Вольность»), а также «Трумф» Крылова и указал имена авторов. Не сделал он исключения и для Петра Колошина. А чтобы не спутать его с Павлом, братом Петра, он предусмотрительно написал имя полностью: Петр Калошин.

Многое Великопольским было переписано из «Невского зрителя» за 1821 г.; встречаются в его тетради и вещи, напечатанные ранее. Судя по этим записям, можно предположить, что тетрадь велась в начале двадцатых годов. Наиболее поздняя запись в тетради — это отрывок из «Послания к цензору» Пушкина, относящегося к 1822 г. Таким образом, ясно, что стихотворение «К артельным друзьям» было написано не позднее 1822 г.

Откуда же мог Великопольский получить стихотворение Колошина?

Оставив Московский университет, Великопольский переехал в Петербург и 2 мая 1815 г. поступил в лейб-гвардии Семеновский полк. В Петербурге Великопольский занялся литературным трудом и по-

степенно вошел в литературные круги: в первой половине 1819 г. он был принят в действительные члены Общества любителей словесности, наук и художеств, а 23 августа 1820 г. избран в члены-сотрудники Вольного общества любителей российской словесности[7].

В эти же годы в Петербурге служил при Гвардейском генеральном штабе прапорщик Петр Иванович Колошин, член Священной артели. Во второй половине 1817 г. он был командирован в качестве преподавателя математики в московское училище для колонновожатых (муравьевское)[8]. Великопольский, служа в лейб-гвардии Семеновском полку, безусловно, знал об артели полка, закрытой в 1815 г. по царскому приказу, и, вероятно, знал и о Священной артели. После восстания Семеновского полка репрессии коснулись и Великопольского. Его перевели в пехотный полк, в провинцию[9]. Здесь он встретился с И. И. Пущиным, который был участником похода, совершенного гвардией после восстания Семеновского полка: гвардия была послана в этот поход в наказание за «вольнолюбивый дух».

Вполне допустимо, что Великопольский, офицер Семеновского полка, знакомый Пущина[10], родственника Колошиных[11] и члена Священной артели, знал от друзей-«артельщиков» стихотворение «К артельным друзьям» и, заинтересовавшись им, переписал его именно в ту тетрадь, где находятся произведения Пушкина и Крылова.

Чем же объяснить историю, изложенную А. С. Шишковым?

Рассказывая о том, что в 1824 г. А. Ф. Воейков предполагал напечатать в своем журнале отрывок из послания, Шишков сообщает следующее: «...я велел цензорам при малейшем сомнении относиться ко мне. Многое останавливал. Напоследок, пришедший раз цензор принес ко мне поступившие к нему стихи и спрашивает, велю ли я их пропустить. Стихи сии присланы под следующим заглавием: Послание к артельным *друзьям.* Год поставлен *1817.* Имя сочинителя означено *Мещевский.* Слова *артельные друзья* само собою показывают, что *послание* сие относится не ко всем вообще читателям, но к какой-то артели, то есть неизвестному или тайному обществу. Год *1817* есть тот самый, с которого стали наиболее печатать и распускать книги, явным образом возмутительные против веры и правительства». Далее Шишков пишет: «Я призвал к себе журналиста (Воейкова) и спросил у него: как смел он такие стихи принять с намерением издать в своем журнале? Он сперва покушался дать им благовидный смысл; но когда увидел, что сего невозможно, то в извинение свое отвечал мне, что не смеет присылаемых к нему стихов не принимать, опасаясь, что его вызовут за то на поединок. Потом, когда я у него спросил, кто такой Мещевский, подписавшийся под сими стихами, где он живет и откуда прислал их? то он мне сказал, что этот Мещевский года три или четыре тому назад умер и оставил у него свои сочинения. И так, по словам его, опасался он, что и мертвый вызовет его на поединок! Цензор тоже боится, что если он не пропустит, то его разругают или прибьют. Вот до чего простирается дерзость таковых писаний и требований!»[12].

Шишков не разрешил напечатать отрывок. То, что отрывок был подписан фамилией Мещевского, можно объяснить только некоторыми особенностями Воейкова как редактора. О них мы скажем ниже.

II

Для того чтобы установить с полной очевидностью, кто был автором стихотворения «К артельным друзьям», необходимо изучить творчество Петра Колошина и Александра Мещевского, сопоставить произведения обоих поэтов и остановиться на редакторской деятельности А. Ф. Воейкова.

Но прежде надо точно установить, кто был автором стихотворений, опубликованных в «Сыне отечества» за подписью: «П. Колошин 1» и «П. Колошин».

В «Критико-биографическом словаре» С. А. Венгерова имеются сведения о том, что стихи писал Павел Колошин, о Петре же Колошине сказано, что он был переводчиком[13]. В данном случае, как будет видно ниже, Венгеров допустил неточность.

Остановимся на двух стихотворениях, опубликованных в «Сыне отечества». Одно из них— «Воспоминание и надежда»—подписано «П. Колошин 1» [14].

Петр Колошин родился в 1794 г. и был старше брата Павла на пять лет, поэтому резонно считать П. Колошиным первым именно Петра.

Второе стихотворение— «Счастие»—подписано: «П. Колошин» [15]. Так же как и первое, оно, безусловно, принадлежит Петру Колошину. В этом нас убеждают прежде всего автобиографические подробности, содержащиеся в стихотворении:

Я финские видел бесплодные скалы,
Гарумны, Секваны роскошны брега...[16]

Обратимся к воспоминаниям Муравьева-Карского: «Мария Николаевна ⟨мать братьев Колошиных⟩ упросила князя Волконского, чтобы командировали второго сына ее, Петра[17], на съемку в Финляндию, куда он и отправился ⟨...⟩ в полночь ⟨28 мая 1815 г.⟩ прибыл на станцию Кипень. Под самый бой стенных часов вошел в комнату Петр Колошин, который выехал из Петербурга в один день со мной, следуя по почте в Париж...»[18].

Именно Петр Колошин, избороздивший во время топографической съемки Финляндию и побывавший во время похода 1815 г. в Европе, мог писать в своих стихах о финских «бесплодных скалах» и «роскошных брегах» Гаронны и Сены.

Кроме этих двух стихотворений, в «Сыне отечества» в 1819 г. было напечатано еще стихотворение под заглавием «Призрак»[19], подписанное цифрами: «16. 11.», что обозначает «П. К.», то есть 16-я и 11-я буквы тогдашнего русского алфавита. Принадлежность стихотворения Петру Колошину сомнений не вызывает, так как тематически и стилистически оно явно примыкает к «Счастию» и другим стихам Колошина[20]. Именно это стихотворение Петра Колошина, так же как и его стихотворение «Деревня» и послание «К артельным друзьям», надо думать из-за редакторского произвола Воейкова, были связаны с именем Мещевского.

В декабре 1825 г. А. Ф. Воейков перепечатал в «Новостях литературы»[21] стихотворение «Призрак» с подписью: «Мещевский». Современный исследователь журналистики интересующего нас периода, Н. И. Мордовченко, указав на положительную сторону деятельности Воейкова как критика и полемиста, неизменно выступавшего на стороне Пушкина и его друзей, писал: «В деятельности Воейкова было много и отрицательных черт: он был литературным дельцом, и коммерческие интересы своих изданий ставил на первый план. Он бесцеремонно относился к литературной собственности и зачастую, без всякого ведома авторов, перепечатывал их произведения в своих журналах. В 1820-е годы вошел в обиход даже особый термин „воейковствовать“, „воейковщина“, имевший определенный предосудительный смысл»[22]. По всей вероятности, именно эти, не вполне благовидные редакторские «привычки» Воейкова позволили ему не только перепечатать уже опубликованное стихотворение Петра Колошина «Призрак» под фамилией Мещевского, но и впервые опубликовать стихотво-

рение Колошина «Деревня» в октябрьской книжке «Новостей литературы» 1825 г. под тем же именем[23]. В 1824 г. Воейков, как видим из свидетельства А. С. Шишкова, предполагал напечатать в «Новостях литературы»[24] послание «К артельным друзьям», опять-таки под фамилией Мещевского.

Воейков, однокашник Жуковского и Мещевского по Московскому университетскому пансиону, разумеется, не хуже Жуковского был осведомлен о судьбе ссыльного и воспользовался смертью Мещевского для опубликования и перепечатки стихов Колошина, вероятно без его ведома, по соображениям чисто коммерческим.

Эти редакторские манипуляции Воейкова ввели в заблуждение Ф. Шипулинского, который безоговорочно считал автором стихотворений «Призрак» и «Деревня» Мещевского[25]. Шипулинский не подозревал, что «Призрак» был опубликован впервые, очевидно, самим Колошиным в том же самом журнале, где за год до «Призрака» были напечатаны два других стихотворения Колошина — «Воспоминание и надежда» и «Счастие». Не знал Шипулинский и того, что стихотворение «Деревня», вероятно также с ведома автора, было напечатано спустя год после декабрьских событий 1825 г., в альманахе «Северная лира на 1827 год», с подписью «К—н». Этот криптоним раскрыт М. Н. Лонгиновым на принадлежавшем ему экземпляре альманаха, ныне хранящемся в библиотеке ИРЛИ. В подписи под стихотворением Лонгинов приписал карандашом: «[Петр Иванович] К[олоши]н».

Как и подобает настоящему библиографу и библиофилу, Лонгинов не только сделал эту важную приписку, но и обосновал ее. На листке перед фронтисписом рукою Лонгинова сделана карандашом помета: «Все имена выставлены по указанию Д. П. Ознобишина. Москва. 5 мая 1861. М. Лонгинов»[26]. Это свидетельство чрезвычайно важно: Ознобишин был не только соредактором Раича по «Северной лире», но и хорошо знал Петра Колошина, участвуя вместе с ним в литературном кружке Раича в 1823 г. в Москве[27].

Это свидетельство, а также автобиографические детали, тема и самый стиль стихотворения «Деревня» подтверждают авторство Колошина:

Как часто я беглою мыслью прошедшего мир обтекаю:
И волжски приветные воды, и фински седые туманы,
И шумная роскошь Парижа, и мирные Эльбы прибрежья,
Все розовым облаком счастья в дни юности было одето,
И даже теперь вспоминаньем печальной душе благотворно.

Лирический герой стихотворений Колошина — это человек своего времени, жадно всматривающийся в мир, размышляющий о судьбах людей, о познании истины, о социальной неправде:

Иль в тихой, бестрепетной сени ученья
Водимый слепцами ты истину ловишь?
О, младости милой товарищ моей!
О, юноша телом, но старец душою,
Склонися к моленью стенящего друга:
Скажи мне, где счастье найти под луной?

(«Счастие»).

Я зрел человека в довольстве, в свободе
И к тяжкой неволе привыкших рабов;
С палат нисходил под соломенны кровы —
И видел не счастье, но счастья личину...

(«Счастие»).

Где ты, неотлучный, пленяющий призрак?
Кто ты одинокой веселье души?
И труд, и забавы, и скорби, и радость,
И шумное людство, и мирная сень:
Все твой мне являет возлюбленный образ.
Проснется ли утро, и сердце летит
Дохнуть упоеньем воскресшей природы —
Ты, мнится, порхаешь в прохладном дыханье,
И ты в возникающих сердца мечтах! ⟨...⟩

Когда ж восхищаюсь красою созданья,
Всемощною мыслью парю в небесах,
И чувство бессмертья во мне отзовется;
Я вижу твой взор: он весельем блистает,
Величье мое отражается в нем.

Чей образ ты носишь? Кто, смертная, может
Такую небесную прелесть иметь?
Что значит всесильное сердца стремленье?
Ужели ты призрак из будущих дней?

(«Призрак»).

Общие черты, присущие лирическому герою всех стихотворений, о которых упоминается выше, а также и лирическому герою послания «К артельным друзьям», дают основание утверждать, что автором их было одно и то же лицо, именно Петр Колошин.

III

Остановимся на стихотворении «К артельным друзьям». Все, что М. В. Нечкина говорит об авторе послания, характеризуя живые воспоминания поэта об артели, с которой он разлучен[28], следует отнести к Петру Колошину. Петр Колошин, как уже указывалось выше, откомандированный из Петербурга в Москву, был разлучен с артелью с сентября 1817 г.[29] Настроения, вызванные разлукой с «артельными друзьями», нашли живое отражение в стихах Колошина:

Друзья! В приют свой удаленный
От света тяжких уз,
Мечтаньем сладким увлеченный,
Я к вам перенесусь.
Леса дремучие и горы,
И реки между нас;
Не тешат дружбы разговоры,
Не бьет беседы час.

Вероятно, в данном случае московское училище для колонновожатых и было приютом, удаленным от «тяжких уз» петербургского света. В Петербурге же для «артельщиков» этим приютом, этим святым местом была артель[30]. Недаром Петр Колошин называет ее «артель святая»; Н. Н. Муравьев называл ее «святое братство»[31].

Н. Н. Муравьев говорит о Священной артели: «Для порядка в обществе нашем были приняты правила с общего согласия; я был избран в казначеи и артельщики. Мы обедали большею частью дома, жили порядливо, умеренно и были довольны. Занимаясь поутру службою или образованием своим, мы проводили вечера вместе, в беседе»[32].

Позже, сравнивая артель на Кавказе, имевшую характер чисто бытового содружества, со Священной артелью, Н. Н. Муравьев писал:

«Я искал хоть чем-нибудь вспомнить старую артель нашу, но не удалось: не те люди, не то единообразие в обычаях, мыслях, не та связь» [33].

Эти слова, так же как и стихотворение «К артельным друзьям», написаны по живым следам, поэтому их значение для исследователей истории Священной артели безусловно. Стихотворение вероятнее всего надлежит датировать 1817 годом. Наиболее острый период разлуки с «артельными» друзьями был пережит Петром Колошиным в конце 1817— в самом начале 1818 гг.; вскоре же, в начале 1817 г., в московское училище для колонновожатых был откомандирован также М. Н. Муравьев, и с его приездом ощущение одиночества, которым был охвачен Колошин, надо полагать, исчезло.

Воспоминания об артели, написанные много времени спустя (запись В. К. Кюхельбекера в Свеаборгской крепости сделана 11 января 1835 г. [34], то есть почти через 20 лет, а строки И. И. Пущина, посвященные артели в «Записках о Пушкине» [35], написаны почти через 40 лет), тоже свидетельствуют, что бывшие члены артели сохранили о ней благодарную память. «Артель святая» оказывала на своих членов «благотворное» и сильное воздействие.

Испытал его на себе и Петр Колошин:

Кто ж благотворную артель,
Источник всех мечтаний,
Высоких чувств и снов златых
Для счастия отчизны —
Кто ж в шуме радостей пустых
Мне заменит в сей жизни?

Всем приведенным выше стихам, автором которых был Петр Колошин, присуща стилистическая общность. Как одну из стилистических особенностей творчества Колошина отметим наличие в его стихах вопросительных предложений. В стихотворении «Воспоминание и надежда» в первой строфе читаем:

Давно ли беспечный, как воздуха житель,
Несытой душею я радость ловил?
Давно ли мне мир сей был счастья обитель?
Давно ли я сердцем все в мире любил?
Ужели и сонмы волшебных мечтаний
Исчезли на веки, о юность, с тобой?
Ужели и прелесть безвестных желаний
Не будет тесниться в груди молодой?
Ужели на веки рукою железной
Рассудок волшебны покровы сорвал,
И мир не воскреснет мечтою любезной?
Ужель невозвратно век счастья пропал?

Сравним эту строфу с последней строфой «Счастия»:

Где ж юности милый, обманчивый призрак?
Где с голосом сердца согласный ответ?
Ужели так рано проститься с мечтою?
Ужель все надежды исчезли, как дым?
Что ж в жизни осталось?— С бесчувственным сердцем
Не ведать ни грусти, ни слез упоенья,
И в мире пустыню лишь видеть одну!
Ужели на то нас судьба сотворила,
Чтоб многие годы быть каменным, мертвым,
Чтоб в темну могилу, не живши, сойти?

Наконец, сравним эти отрывки с уже приводившимися стихами Колошина и убедимся в их стилистической и смысловой близости.

Отдельные стихи «Счастия» и послания «К артельным друзьям» особенно близки и по смыслу и по стилистическим особенностям.

СЧАСТИЕ

Скажи мне, где счастье найти под луной?

. . . .

Все счастия ищут — никто не находит...

. . . .

Ничто не излечит *грызенья забот*...

. . . .

Иль горести смертным одни суждены?

К АРТЕЛЬНЫМ ДРУЗЬЯМ

Один лишь смертный мира чужд,
Отверженный твореньем,
В борьбе страстей, в *грызенье нужд*,
Забытый провиденьем,
Влекомый пламенной душой —
Не находя, желает,
Везде зрит счастья дивный строй —
И счастия не знает 〈Курсив наш.— *А. В.*〉.

Таким образом, в то время как фразеологии и синтаксису стихотворений «Воспоминание и надежда», «Счастие», «Призрак», «Деревня» и «К артельным друзьям» присущи одни и те же особенности,— ни по содержанию, ни по идейным устремлениям ни одно из них не имеет ничего общего со стихами Мещевского:

Покоясь у ручья, под тéнистою ивой,
Пастух, мечтаешь ты в беспечности счастливой
О радостях твоих — овечках, иль плодах,
Блестящих для тебя на пышных деревах [36].

Это типичный для большинства поэтов школы Карамзина призыв устраниться от борьбы, смириться и искать пристанища в уединении.

Гонялись долго мы за алчной суетою,
За пышной славою, сим призраком пустым;
Не лучше ли нам жить с беспечною душою?..
Земное счастие проходит так, как дым.

Уединение, о друг души бесценный,
Обитель радостей, каких на свете нет!
Страдалец, и людьми и роком угнетенный,
В тебе надежное пристанище найдет [37].

Те же мысли автор высказывает и в следующих стихах:

Учись терпеть, Меналк; терпенье — наша доля!
Быть счастливым, страдать,— на то есть божья воля!
(«Меналк и Дамет»).

Быть счастия игрою
Нам рок определил;
Теперь оно с тобою,
А завтра — след простыл [38].

Покорность, смирение перед роком,— разве об этом писал в своих стихах Колошин?

Но что возможет мысль крылату
В пути остановить?
И душу, чувствами богату,
Что может охладить?
(«К артельным друзьям»).

Таким образом, биографические данные, а также идейная и стилистическая близость стихотворений «Воспоминание и надежда», «Счастие», «Призрак» и «Деревня» к вновь найденному тексту послания «К артельным друзьям», с одной стороны, с другой — их идейные и стилистические отличия от стихотворений Мещевского убеждают нас в том, что автором послания был член Священной артели, поэт и переводчик Петр Иванович Колошин.

К пяти рассмотренным стихотворениям Петра Колошина нужно причислить эпиграмму на Н. В. Неведомского, которую долгое время приписывали Пушкину:

Неведомский — поэт, не ведомый никем,
Печатает стихи, неведомо зачем [39].

Датировать стихи Петра Колошина надлежит в такой последовательности:

1. «Воспоминание и надежда» — написано до 1817 г., ранее стихотворения «Счастие».

2. «Счастие»—написано, повидимому, еще до разлуки автора с артелью, иначе этот важный факт получил бы в стихах отражение. Первая строфа обращена либо к М. Н. Муравьеву, отлучавшемуся не раз на Кавказ в 1814—1815 гг. [40], либо к Н. Н. Муравьеву, уехавшему в Грузию летом 1816 г. [41]; таким образом, оно написано до 1817 г.

3. «К артельным друзьям» — 1817 г.

4. «Эпиграмма на Н. В. Неведомского» — 1819 г.

5. «Призрак» — 1819 г.

6. «Деревня» — не позднее октября 1825 г.

На этом заканчивается первый период творчества поэта, связанный с эпохой Священной артели и Муравьевским училищем колонновожатых. Лучшим произведением Колошина явилось в этот период послание «К артельным друзьям».

IV

Второй период творчества Колошина связан с Вольным обществом любителей российской словесности, одним из литературных филиалов Союза Благоденствия.

Из опубликованного В. Г. Базановым «Журнала ученых упражнений ⟨...⟩ Вольного общества любителей российской словесности» видно, что в 1824 г. Колошин присутствовал на одиннадцати заседаниях Общества и на пяти из них читал стихотворения: четыре переводных и одно оригинальное:

1. «Сон Гюона». Перевод из «Оберона» Виланда. Прочитан 14 января 1824 г. [42]

2. «Монастырь св. Бриггиты». Перевод из «Оберона» Виланда (до нас не дошел). Прочитан 11 февраля 1824 г.

3. Неизвестный отрывок. Перевод из «Разбойников» Шиллера (до нас не дошел). Прочитан 10 марта 1824 г.

4. Неизвестный отрывок. Перевод из «Оберона» Виланда (до нас не дошел). Прочитан 24 марта 1824 г.

5. «Пароход». Прочитан 11 августа 1824 г.[43]

Как явствует из записей в «Журнале...», все эти произведения получили от членов Общества одобрение и были единогласно «избраны к печати»[44].

Между прочим, Н. П. Барсуков указывает, что Колошин в 1823 г. в Москве состоял членом литературного кружка, группировавшегося вокруг С. Е. Раича; участниками кружка были М. П. Погодин, С. П. Шевырев, Андрей Н. Муравьев, В. П. Титов, Д. П. Ознобишин, В. И. Оболенский, В. П. Андросов, Н. В. Путята, А. Ф. Томашевский, В. Ф. Одоевский и др[45]. В другом месте, говоря об этом сообществе, Барсуков подчеркивает, что Петр «Колошин мечтал перевести всех греческих и римских классиков и пр⟨очих⟩»[46]. Переводческую деятельность Колошина в Вольном обществе, очевидно, надо рассматривать как одну из попыток осуществить эти мечтания.

17 декабря 1823 г. Петр Колошин был избран в члены-сотрудники Вольного общества, а в 1824 г.— в действительные члены; в журнале Общества появился его перевод из Виланда и стихотворение «Пароход»[47].

«Пароход» — одно из лучших и наиболее зрелых стихотворений Колошина. Ни в одном из его произведений не сказались с такой силой реалистические тенденции:

Здесь — все для твоего пера
И пища и воспоминанье:
Здесь каждый камень есть созданье
И прочный памятник Петра.
Не он ли первый опрокинул
Погибель на плеча врагам?
Не он ли захотел и двинул
Россию к финским берегам?
Давно ль, одеянный туманом,
Забытый гордым океаном,
Сей уголок морей дремал
Среди болот непроходимых?
Жилища бурь неукротимых,
Пловец его не посещал —
И птиц морских печальны крики
Иль финской песни голос дикий
Один в пустынных берегах
Примету жизни означали.
Теперь в болотах и скалах
Роскошны города восстали:
Богатства от концов земли
Рекой в путь новый поспешили,
И чужеземны корабли
Залив пустынный заселили.

Нельзя не отметить близость образа города в стихотворении Колошина к панораме Петербурга во вступлении к «Медному всаднику».

* * *

Петр Колошин, автор послания «К артельным друзьям», поэт, основными чертами своего творчества близкий лучшим традициям декабристской поэзии, должен занять среди поэтов-декабристов то место, которое ему принадлежит по праву.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Пущин, стр. 74—75.

[2] Н. Н. Муравьев. Записки.— «Русский архив», 1885, № 9, стр. 30 и др.; 1886, № 2, стр. 142; № 4, стр. 461—462.

[3] Розен, стр. 240.

[4] Ю. Н. Тынянов. Пушкин и Кюхельбекер.— «Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 330.

[5] «Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова», т. II. Берлин, 1870, стр. 266—267.

[6] ИРЛИ. Архив И. Е. Великопольского. 32129/CCLI, б. 17, лл. 23—25.

[7] Б. Л. Модзалевский. И. Е. Великопольский.— Сб. «Памяти Леонида Николаевича Майкова». СПб., 1902, стр. 339, 340, 342 (существует отдельный оттиск с особой пагинацией); Базанов, стр. 408.

[8] ⟨Н. В. Путята.⟩ Николай Николаевич Муравьев.— «Современник», 1852, № 5, отд. II, стр. 9; ЦГИАЛ, ф. № 19, оп. 1, ед. хр. 2554, л. 7 об.

[9] Б. Л. Модзалевский. Указ. соч., стр. 344.

[10] В ИРЛИ, в архиве И. Е. Великопольского (шифр 32101/CCXI, б. 17. II, тетрадь № 7, лл. 25—26) сохранился автограф написанного им стихотворения: «Отрывок из письма к Ив. Ив. Пущину. Динабург. Июля 28-го, 1824 года». Это стихотворение с изъятием четырех строк опубликовано Б. Л. Модзалевским (указ. соч., стр. 350—351).

[11] Пущин, стр. 74; ЦГИА, ф. № 48, д. 224, л. 3 об.

[12] А. С. Шишков. Указ. соч., т. II, стр. 266, 268.

[13] С. А. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, изд. 2, т. I. Пг., 1915, стр. 388.

[14] «Сын отечества», 1818, № 38, стр. 267—268.

[15] Там же, № 46, стр. 35—37.

[16] Гарумна, Секвана — латинские названия рек Гаронны и Сены.

[17] Петр был вторым сыном после Михаила, умершего во время Отечественной войны 1812 г.

[18] Н. Н. Муравьев. Указ. соч., 1886, № 2, стр. 136.

[19] «Сын отечества», 1819, № 13, стр. 38—40.

[20] Указанию на это стихотворение в «Сыне отечества», как на произведение Петра Колошина, я обязан М. К. Азадовскому.

[21] «Новости литературы», 1825, № 12, стр. 182—184.

[22] «Очерки по истории русской журналистики и критики», т. I, изд. Лен. гос. ун-та, 1950, стр. 243—244.—См. также об этом стр. 224 настоящего тома.

[23] «Новости литературы», 1825, № 10, стр. 79—80.

[24] Примечание в книге А. С. Шишкова (указ. соч., т. II, стр. 268), указывающее на то, что Воейков занимался в это время (то есть в 1824 г.) изданием «Сына отечества», вводит читателей в заблуждение. В это время Воейков редактировал «Русский инвалид» и издавал «Новости литературы», соредактором же «Сына отечества» вместе с Гречем он был в 1821 г.

[25] Ф. Шипулинский. А. Мещевский (Забытый ссыльный поэт).— «Искусство», 1927, кн. II-III, стр. 171—198.

[26] Этот экземпляр альманаха указан нам Я. Л. Левкович. Стихотворение «Деревня» напечатано на стр. 109—113 альманаха.

[27] Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1. СПб., 1888, стр. 212.

[28] М. В. Нечкина. Священная артель. Кружок Бурцова и Колошина в 1814—1817 гг.— «Декабристы и их время», 1951, стр. 160.

[29] ⟨Н. В. Путята.⟩ Н. Н. Муравьев.— «Современник», 1852, № 5, отд. II, стр. 9; Н. Н. Муравьев. Записки.— «Русский архив», 1886, № 2, стр. 142, 145, 146; № 4, стр. 452; Д. А. Кропотов. Жизнь графа М. Н. Муравьева в связи с событиями его времени и до назначения его губернатором в Гродно. СПб., 1874, стр. 95.

[30] На основании изучения материалов Ленинградского областного исторического архива нами установлено, что дом генеральши Христовской, где с 1815 г. жили участники Священной артели (Н. Н. Муравьев. Записки.— «Русский архив», 1886, № 2, стр. 142; Д. А. Кропотов. Жизнь графа М. Н. Муравьева. СПб., 1874, стр. 87), находился на месте теперешнего дома № 11 по ул. Марата, почти напротив дома А. Н. Радищева.

[31] М. В. Нечкина. Указ. соч., стр. 156.

[32] Н. Н. Муравьев. Указ. соч., 1886, № 2, стр. 142.

[33] Там же, № 4, стр. 462.

[34] Ю. Н. Тынянов. Указ. соч., стр. 330.

[35] Пущин, стр. 92.

[36] А. Мещевский. Эклога «Меналк и Дамет».— «Вестник Европы», 1810, № 1, стр. 37.

[37] А. Мещевский. Уединение.— «Избранные сочинения из „Утренней зари". Труды благородных воспитанников университетского пансиона», ч. I. М., 1809, стр. 263.

[38] А. Мещевский. Дружба.— «Вестник Европы», 1810, № 1, стр. 42.

[39] Эпиграмма была написана после выхода в свет сборника стихов Н. В. Неведомского «Воин-поэт». Сборник вышел в начале 1819 г., следовательно, датировать эпиграмму следует 1819 г. Историю эпиграммы — см. в «Заметке об Исаковском издании Сочинений Пушкина» Н. В. Путяты и в комментариях к ней К. В. Пигарева.— «Звенья», VI, 1936, стр. 161—167.

В биографической справке о Колошине, составленной К. В. Пигаревым, содержатся два ошибочных утверждения. Так, в справке говорится, что Колошин дослужился «до чина гвардии подпоручика» (стр. 167). Это неверно: Петр Колошин уже в 1821 г. был подполковником; умер он в 1849 г. в чине тайного советника (ВД, т. VIII, стр. 327; см. также: Список гражданским чинам первых шести классов по старшинству. СПб., 1849, стр. 47). Ссылаясь на «Список лиц, прикосновенных по разным случаям к делу о тайных обществах, которые не были требованы к следствию» и на «Записки» графа М. В. Толстого, Пигарев говорит о Петре Колошине, тогда как приведенные в «Списке лиц» и в «Записках» факты касаются не Петра, а его младшего брата Павла. Именно Павел Колошин сидел в крепости, именно ему был запрещен въезд в столицы (разрешение жить в Москве он получил только в 1831 г.; здесь он и умер и похоронен на Новодевичьем кладбище).

[40] Д. А. Кропотов. Указ. соч., стр. 86.

[41] Н. Н. Муравьев. Указ. соч., 1886, № 2, стр. 145—146.

[42] «Соревнователь просвещения и благотворения», 1824, ч. XXV, стр. 139—141.— В архиве ИРЛИ (шифр 9642, VII б. 2) хранится тетрадь Н. А. Селиванова под заглавием: «Собрание разных мелких стихотворений, пиэс, мыслей и отрывок театральных», где на стр. 114—116 переписан этот перевод.

[43] «Соревнователь просвещения и благотворения», 1824, ч. XXVII, стр. 346—348.— Стихи посвящены А. О. Корниловичу. Впервые высказал предположение, что эти стихи принадлежат Петру Колошину, А. Г. Грум-Гржимайло в статье «Декабрист А. О. Корнилович» («Декабристы и их время», II, стр. 355).

[44] Базанов, стр. 392, 394, 396, 397, 401.

[45] Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1. СПб., 1888, стр. 212.

[46] «Старина и новизна», кн. 7. СПб., 1904, стр. 195.

[47] Базанов, стр. 407; «Соревнователь просвещения и благотворения», 1824, ч. XXVII, стр. 90.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ИЗДАНИЕ «ВОЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАПИСОК»

ПРОЕКТ ЧЛЕНОВ СВЯЩЕННОЙ АРТЕЛИ

Публикация В. Н. Молодшего

Публикуемое письмо «шести обер-офицеров» относится к небольшому числу прямых свидетельств, характеризующих деятельность Священной артели в 1815—1816 гг.

Письмо адресовано к начальнику штаба Гвардейского корпуса генералу Н. М. Сипягину. Самый факт обращения «шести обер-офицеров» в штаб с просьбой об издании «Военно-математических записок» был известен по упоминанию в брошюре Ф. Н. Глинки «Краткое начертание военного журнала» 1816 г. Но ни имена этих офицеров, ни проект издания до сих пор известны не были. Все шестеро офицеров, подписавшие письмо, имеют отношение к движению декабристов: Александр Муравьев, Никита Муравьев, Петр Колошин, Иван Бурцов—члены первой декабристской организации — Союза Спасения; Михаил Муравьев — член Священной артели, один из активных организаторов Союза Благоденствия; Николай Николаевич Муравьев (будущий Карский) — активный участник Священной артели.

Письмо подтверждает предположение М. В. Нечкиной, что если Никита Муравьев и не был членом артели и не был полностью осведомлен о ее деятельности, то все же идеи и замыслы ее членов не составляли для него тайны. Оно еще раз доказывает, что будущие декабристы — члены Священной артели—не только обсуждали между собой коренные вопросы русской жизни (вопрос об освобождении крестьян от крепостной зависимости и другие), но и старались развернуть борьбу за прогресс культуры и передовое военное искусство.

Обращает на себя внимание тот факт, что члены артели ратовали за распространение точных знаний, особенно математики, среди русских офицеров.

В литературе известен интерес семьи Муравьевых к математике и военным наукам. Из организованного ими математического общества впоследствии — в 1815 г.— возникло московское училище колонновожатых. Публикуемый документ показывает, что члены Священной артели стремились найти в журнале «Военно-математические записки» легальную трибуну, с которой можно было бы пропагандировать передовые идеи. Но издание это не состоялось. На проект была только наложена резолюция: «Принято к сведению».

В деле канцелярии начальника Генерального штаба (ЦГВИА, ф. № 35, оп. 1/242, св. 16, д. 1, 1815—1816 гг.) сохранилось два документа, которые мы ниже публикуем.

‹1›

ПИСЬМО 6-ТИ ОБЕР-ОФИЦЕРОВ КВАРТИРМЕЙСТЕРСКОЙ ЧАСТИ С НАЧЕРТАНИЕМ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИМИ ИЗДАНИЯ «ВОЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАПИСОК»

Ваше сиятельство
милостивый государь!

Желая принести какую-либо пользу обществу своими знаниями и удостоверясь примером издателя «Военного журнала», сколь таковое

сочинение может для просвещения быть полезно, мы решились выдавать Военно-математические записки, имеющие целию распространение военной науки, и зная, что все полезное обращает внимание Вашего сиятельства, честь имеем при сем представить общее начертание предполагаемого нами издания, лаская себя надеждой, что Ваше сиятельство удостоит оное своим покровительством. Таковое издание, требуя карт и планов для изъяснения предполагаемых статей, необходимо требует и больших средств в самом начале, то есть прежде нежели может собраться подписка; почему и обращаемся к Вашему сиятельству с просьбою представить сие начертание к высочайшему одобрению и исходатайствовать нам способы, без коих не можем дать хода нашему предприятию, и должны прекратить столь полезное намерение при самом его открытии.

С истинным почтением и совершенною преданностию честь имеем быть Вашего сиятельства милостивого государя наипокорнейшие слуги

Петр Колошин
Никита Муравьев
Иван Бурцов
Михайло Муравьев
Николай Муравьев
Александр Муравьев

⟨2⟩

ОБЩЕЕ НАЧЕРТАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИЗДАНИЯ «ВОЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАПИСОК»

Многочисленные и долговременные опыты показали необходимость познаний для военного человека, желающего вполне удовлетворить возлагаемым на него обязанностям. Попечительное правительство, в продолжение нескольких веков, не утомлялось доставлением средств к обучению молодых людей и к изготовлению их на поприще воина. Одни настоящие времена очевидно показывают нам сию щедрую заботливость начальства. Просвещение разливается по всем краям обширного нашего отечества; столицы государства соделались совокуплением всего к образованию удобного, и даже во мраке отдаленнейших стран России возникают полезнейшие учебные заведения. Но сколь бы далеко ни простиралась предусмотрительность просветителей, она не может обнять течения жизни каждого из воспитанников, и первые его годы не могут служить порукою за все последующие. Молодой офицер, выходя из училища, начинает жизнь совершенно новую и свободную; развлекаемый бесчисленными предметами, внимание его обращающими, он забывает поучения; и веселости, всегдашние первых лет сопутницы, самая должность службы, не много оставляют ему времени для наполненных трудностию занятий. Сверх того, на нашем языке столь мало сочинений, могущих руководствовать им в изучении военного искусства, что он, желая просветиться, непременно должен прибегнуть к иностранным сочинениям, перерыть множество книг, перечитать тысячи разных и друг другу противоречащих мнений, и наконец по долговременном рассуждении и опытности поставить себе некие постоянные правила. Какой же молодой человек согласится приятное для него бездействие променять на столь трудные занятия? Кто будет столь непоколебим в своих занятиях, что, невзирая на многие препятствия, неутомимо стремиться к предполагаемой цели? Кто возможет иметь столь проницательный и верный взгляд, дабы избрать всегда полезное и презирать ненужное?

Из сего видеть можно, сколь бы полезно было, еслиб офицер, оставляя училище, где прошел одни начальные основания, мог в сочинениях, на отечественном языке писанных, находить правила военной науки во всем

ŒUVRES

COMPLETES

DE MONTESQUIEU,

NOUVELLE ÉDITION,

AVEC DES NOTES D'HELVÉTIUS SUR L'ESPRIT DES LOIS.

TOME TROISIÈME.

A PARIS,

Chez PIERRE DIDOT L'AÎNÉ, Imprimeur, rue Pavée-des-Arcs, n°. 28.

L'AN III^e DE LA RÉPUBLIQUE.

CHAPITRE III.

Ce que c'est que la liberté.

IL est vrai que dans les démocraties le peuple paroît faire ce qu'il veut; mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l'on veut. Dans un état, c'est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir, et à n'être point contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir.

Как.

Il faut se mettre dans l'esprit ce que c'est que l'indépendance, et ce que c'est que la liberté. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent; et si un citoyen pouvoit faire ce qu'elles défendent, il n'auroit plus de liberté, parceque les autres auroient tout de même ce pouvoir.

Je crois cette définition [illegible]. Si les lois sont oppressives suis-je libre? Si tout ce que je fais est seulement faisable avec l'autorisation des magistrats - si d'autres jouissent d'avantages qui me sont refusés - s'ils peuvent même sans mon consentement disposer de ma [illegible] puisse me considérer toujours comme libre. Avec cette définition le paysan russe est libre - il a le droit de se marier etc.

CHAPITRE VII.

Des monarchies que nous connoissons.

LES monarchies que nous connoissons n'ont pas, comme celles dont nous venons de parler, la liberté pour leur objet direct; elles ne tendent qu'à la gloire des citoyens, de l'état et du prince. Mais de cette gloire il résulte un esprit de liberté qui, dans ces états, peut faire d'aussi grandes choses, et peut-être contribuer autant au bonheur que la liberté même. Quelle sottise!

Les trois pouvoirs n'y sont point distribués et fondus sur le modèle de la constitution dont nous avons parlé; ils ont chacun une distribution particulière selon laquelle ils approchent plus ou moins de la liberté politique; et, s'ils n'en approchoient pas, la monarchie dégénéreroit en despotisme.

«ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ МОНТЕСКЬЕ». ИЗДАНИЕ 1795 г., ПАРИЖ. ЭКЗЕМПЛЯР ИЗ БИБЛИОТЕКИ Н. М. МУРАВЬЕВА С ЕГО ПОМЕТАМИ НА РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ

Титульный лист и страницы тома третьего, содержащего трактат «О духе законов»

Библиотека при Московском университете им. М. В. Ломоносова

ее пространстве взятой, и сверх того мог бы ими руководствоваться в выборе книг, нужных для распространения его познания в столь необходимой науке.

Издатели «Военно-математических записок», движимые усердием к пользе общей и руководствуемые желанием распространить столь полезную науку, решились, не взирая на предлежащие трудности и неудобства, стремиться к предначертанной цели.

Теория военной науки с различными ее применениями; рассуждения касательно частных предметов оной и описание военных событий, особенно новейших, будут составлять сущность сего издания. Сверх того, предлагаемы будут статьи, почерпнутые из математики, касательно большой и малой съемки, описания и употребления нужных для сего орудий, топографических карт и т. п. Так же будут помещаемы разборы сочинений, касающихся до военных и математических наук. К сему изданию присоединяемы будут карты и чертежи для изъяснения излагаемых статей.

Годовое издание разделится на 12 книжек, в четвертую долю листа, из коих в каждую будут помещаемы статьи военные и статьи математические. В порядке изложения рассуждений касательно сих обеих наук, будет сохраняем порядок, удобнейший для изучения оных.

Издатели почтут за особое удовольствие, если кто из любителей сих наук пожелает им сообщать свои рассуждения, касающиеся до упомянутых предметов.

Предполагаемые сочинения будут напечатаны, если не отступать от цели, в издании предполагаемой. В числе сообщаемых статей могут быть также любопытные происшествия какой-нибудь отечественной войны, черты характера, достопамятные военные дела великих государей и полководцев, прославивших Россию.

К ПРЕБЫВАНИЮ В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА ЗА ГРАНИЦЕЙ В 1821 г.

Сообщение В. Н. Орлова

В Государственном архиве Министерства иностранных дел (XI, № 1170, л. 45—45 об.) хранится записка Н. А. Старынкевича о Кюхельбекере. Записка эта не датирована, но, несомненно, относится к первым месяцам 1826 г., к периоду следствия по делу декабристов. Автор ее либо по доброй воле, либо отвечая на запрос начальства, сообщает сведения о привлеченных к следствию М. Ф. Орлове, Н. И. Тургеневе, А. Н. Раевском и В. К. Кюхельбекере, с которыми он был так или иначе связан.

Николай Александрович Старынкевич (1784—1857) — сын шкловского протопопа из дворян, учился в Шкловском кадетском корпусе и в Московском университете (одновременно с Н. И. Тургеневым). В дальнейшем он служил в Военной коллегии, в Министерстве юстиции и в Министерстве полиции, а в 1812—1813 гг. состоял при штабах Багратиона, Милорадовича, Кутузова и Барклая. С конца 1819 г. по октябрь 1825 г. Старынкевич находился в отставке, а в дальнейшем служил в Царстве Польском, где сделал успешную карьеру (в 1844 г.— сенатор и тайный советник).

По отзывам современников, это был человек неглупый, веселый, кутила и картежник. В начале 1820-х годов он спустил с рук все, что имел, и имущество его было описано за долги. В молодости Старынкевич занимался литературой: в 1806 г. сотрудничал в журнале «Любитель словесности», издававшемся Н. Ф. Остолоповым, а в 1808 г. издал свой перевод английского нравоучительного романа Амалии Опи «Отец и дочь, или Пагубные следствия обольщения» (2-е изд.— 1815 г.).

В 1820—1821 гг. Старынкевич находился в Германии. Здесь он встретился и познакомился с Кюхельбекером. Вот что он рассказал об этом в своей записке:

«Коллежского асессора Кюхельбекера видел я в первый раз в жизни во Франкфурте на Майне в ноябре или декабре 1820 года. Он состоял тогда секретарем при г. обер-камергере Нарышкине, который, ехав в то время в Париж, оставался несколько дней во Франкфурте. Имев честь быть у него ежедневно, узнал я г. Кюхельбекера и, заметив особенную его пылкость и некоторые неосновательные мнения, поставил долгом сказать г. Нарышкину, что не излишне бы было иметь в Париже ближайший надзор за его поведением.

В начале июня 1821 г. был г. Кюхельбекер опять во Франкфурте на Майне. Он возвращался из Парижа в Россию с молодым человеком его лет, г. Туманским, ездившим во Францию с г. сенатором князем Щербатовым. На вопрос мой, почему оставил г. обер-камергера Нарышкина, рассказал он мне, за что потерял он свое место; признался, что сам был тому виною, и изъявлял большое сожаление, что мог подать повод к неудовольствию. Справедливость заставляет меня сказать, что я нашел его тише и скромнее прежнего. Я не входил с ним в ближайшие объяснения насчет его жизни в Париже, и из слов его только то упомню, что был он

там знаком с полковником князем Трубецким. Кюхельбекер и Туманский, пробыв в Франкфурте два дня, отправилися в Дрезден в возвращавшейся туда наемной коляске, в которой взяла место одна незнакомая им немка.

Вскоре после них прибыл в Франкфурт г. обер-камергер Нарышкин, и первые его ко мне слова были те, что замечание мое насчет г. Кюхельбекера оказалося справедливо, что он был недоволен его поведением в Париже и принужденным нашелся отпустить его».

На основании этой записки можно уточнить время отъезда Кюхельбекера из Парижа (очевидно, самое начало июня 1821 г.).

Туманский, о котором идет речь,— Василий Иванович, известный поэт.— Трубецкой — Сергей Петрович, декабрист. Кюхельбекер был знаком с Трубецким до поездки за границу; как он сам показал на следствии, в Париже он «возобновил» это знакомство (ВД, т. II, стр. 142).

Новонайденный документ дополняет уже известные данные о пребывании Кюхельбекера в Париже, положенные в основу статей Ю. Н. Тынянова «Французские отношения В. К. Кюхельбекера. I. Путешествие Кюхельбекера по Западной Европе в 1820—1821 гг.» («Лит. наследство», т. 33-34, 1939, стр. 331—362) и П. С. Бейсова «Лекция Кюхельбекера о русской литературе и языке, прочитанная в Париже в 1821 г.» («Лит. наследство», т. 59, 1954, стр. 345—354).

ПОЭТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Я. А. ДРАГОМАНОВА

Сообщение И. Я. Айзенштока

I

Среди поэтов-декабристов имя Я. А. Драгоманова обычно не упоминается; его произведений нет ни в одной из антологий поэзии декабристов. Между тем, в литературе уже давно существовали неясные указания на поэтические увлечения Драгоманова, указания, опиравшиеся на семейные предания, а иногда вовсе лишенные какого-либо определенного источника.

Так, М. П. Драгоманов в автобиографических «припоминаниях» говорил о поэтических склонностях отца и дяди, то есть Петра и Якова Акимовичей Драгомановых. Последний, по его словам, «в Петербурге даже написал поэму из народной украинской жизни, и отец мой декламировал мне впоследствии оттуда некоторые стихи, совсем не плохие»[1].

Сестра М. П. Драгоманова, О. П. Косач (выступавшая в украинской литературе под псевдонимом Олена Пчилка), привела в автобиографии ряд дополнительных подробностей, отражавших, впрочем, не столько факты, сколько предания о них. Отметив, что «оба Драгомановых были хорошо образованы и обладали литературными склонностями», О. П. Косач продолжала: «Их произведения охотно печатались в тогдашних журналах и альманахах. Яков писал стихи, а Петр, кроме того, и рассказы. У нас был альманах „Гирлянда“, где был помещен рассказ П. Драгоманова „Ямщик“, сентиментально народнического содержания, о любви,— очень несчастливой,— молодого ямщика и молодой крестьянской девушки; рассказ, для своего времени, написан по-новому, в реалистических тонах. Стихи оба Драгоманова писали довольно хорошо, хорошим литературным языком. 〈...〉 Петр, хорошо зная иностранные языки, печатал переводы старых французских романтиков, вроде Ламартина, Шатобриана, Леконт де Лиля. Яков Драгоманов писал свои стихотворения, посвящая их „моему гению — Греции“...»[2].

В настоящее время можно определеннее представить себе идейно-творческий облик Я. А. Драгоманова.

Яков Акимович Драгоманов родился в 1802 г., в семье небогатого гадячского помещика[3]. Отец декабриста в течение многих лет служил в различных канцеляриях военного ведомства и вышел в отставку с чином коллежского асессора. Как вспоминает О. П. Косач, у него была в Петербурге, в военном министерстве, сильная «рука»,— и он отправил своих сыновей, Якова и Петра, в Петербург — первого служить, второго учиться[4].

В своих показаниях Я. А. Драгоманов сообщал, что в 1817 г. поступил на службу в Совет военного министерства, потом перевелся в канцелярию

военного министра и прослужил здесь «с лишком 3 года», получив чин коллежского регистратора. В 1820 г. он, «по домашним обстоятельствам увольняясь в отпуск, заболел и не имел состояния отправиться на прежнюю службу⟨...⟩, но, горя желанием по выздоровлении продолжать оную, где бы то ни было, определился в Полтавский пехотный полк»[5]. В течение шести лет он был юнкером и только в январе 1826 г. был произведен в прапорщики. Здесь же в полку он был принят в члены Общества Соединенных Славян.

В Обществе Я. А. Драгоманов не занимал сколько-нибудь видного положения. «Алфавит декабристов», суммируя собственные его показания, сообщает, что он «вступил в Славянское Общество весною 1825 года. Знал только то, что целью оного есть улучшение правительства. Читал клятвенное обещание славян. Был два раза в собрании членов у Андреевича и другого не известного ему артиллерийского офицера в лагере близ местечка Лещина, где слышал тот же разговор о преобразовании правления. Сам в Общество никого не ввел и между нижними чинами ничего предосудительного не рассевал»[6]. Существенную роль при определении судьбы Драгоманова сыграло то, что Полтавский полк квартировал в Бобруйске и не принял непосредственного участия в восстании Черниговского полка; сам же Драгоманов с конца декабря 1825 г. находился в госпитале.

Личность Драгоманова была значительно интереснее и содержательнее этой официальной характеристики. И. И. Горбачевский, например, так характеризует Драгоманова: «Природные его дарования были развиты занятиями, деятельною жизнью и желанием образовать себя еще более. Вступив в Общество, он был ревностнейшим членом оного, участвовал во всех совещаниях в лагере под Лещиным и знал условия, на коих соединились два общества ⟨то есть Общество Соединенных Славян с Южным обществом⟩. Хотя он был недоверчив и не полагал, что можно так скоро освободить Россию, однакож верил силе Южного общества и надеялся на успех замышляемого переворота. Будучи убежден, что для возмущения полка необходимо принять в Общество ротных командиров, способных действовать на солдат, и зная, что в Полтавском полку, кроме полкового командира Тизенгаузена, поручика Усовского и Бестужева-Рюмина, нет ни одного члена, он решился тотчас после Лещинского лагеря увеличить число оных. Вследствие сего намерения он принял в Общество двух ротных командиров: поручика Троцкого и подпоручика Трусова, пылких и решительных молодых людей; сообщил им все известное о делах и намерениях Тайного общества, взял обещание действовать по общему плану и поднять знамя свободы при первом знаке к восстанию»[7].

Не представляет труда понять разницу между характеристикой, сделанной осведомленным мемуаристом, и приведенной выше официальной характеристикой. Данные следственного дела убеждают, что Драгоманову на допросах удалось значительно преуменьшить свое участие в Обществе, сведя его лишь к двукратному посещению собраний. Сославшись на свою неосведомленность о целях и задачах Общества, он объяснил ее «тремя причинами», показавшимися Следственной комиссии вполне убедительными: «что не уверялись в скромности и преданности его ⟨Драгоманов пишет в показаниях о себе в третьем лице⟩», «что он не был в последнем собрании, о котором говорили при выходе из первого, и в котором хотели ⟨...⟩ сделать настоящие переговоры; или же, наконец, что по малозначительности своей не сочли за нужное объявлять ему о точной цели сего Общества, и средствах к достижению оной»[8].

Объяснения эти казались Следственной комиссии тем более убедительными, что о Драгоманове почти не упоминали в своих показаниях другие

КНИГА «ОПЫТ СОБРАНИЯ СТАРИННЫХ МАЛОРОССИЙСКИХ ПЕСНЕЙ». ИЗД. 1819 г. ЭКЗЕМПЛЯР С ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ НАДПИСЬЮ К. Ф. РЫЛЕЕВА

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

изъ Книгъ К. Рылѣева

ОПЫТЪ

СОБРАНІЯ

СТАРИННЫХЪ

МАЛОРОССІЙСКИХЪ ПѢСНЕЙ.

И гробы праотцовъ, обычай ихъ простой
И стѣны, камни, все, и даже самый дымъ
Жилищъ отеческихъ, я сердцу чту святымъ.

Траг. Пожарскій. Дѣйст. II. Явл. I.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,
въ типографіи Карла Крайя.
1819.

члены Общества Соединенных Славян; в частности, вовсе не упомянули о нем находившиеся под его влиянием офицеры Троцкий и Трусов, которые, после получения сообщений о восстании Черниговского полка, пытались присоединить к нему гарнизон Бобруйской крепости [9].

Не много внимания было уделено Драгоманову и в специальной литературе, посвященной декабристам. Если не считать устаревшей, весьма поверхностной статьи И. Ф. Павловского [10], о Драгоманове коротко упомянула М. В. Нечкина в монографии об Обществе Соединенных Славян [11] и дала сводку разбросанных в разных местах мемуарных высказываний и документальных упоминаний О. Д. Багалей-Татаринова в предисловии к публикации следственного дела Драгоманова.

Все эти отрывочные, разрозненные замечания и характеристики в совокупности довольно согласно рисуют облик захудалого провинциального дворянина-неудачника. Драгоманов получил хорошее по тому времени воспитание в столице, но недостаточность средств заставила его тянуть лямку юнкера в глухой провинции, где он пробыл шесть лет вместо положенных четырех, дожидаясь производства в первый офицерский чин. Возможность какой бы то ни было «карьеры» на ином поприще исключалась тою же недостаточностью средств.

Бедность и личные неудачи, крепко уязвлявшие самолюбие, подготовили Драгоманова к усвоению пропаганды Общества Соединенных Славян, о чем рассказал на следствии в 1826 г. сам Драгоманов. Комиссионер Иванов, — показывал он, — «приглашая» его «ко вступлению в Общество, стремящееся ко благоденствию России», много говорил о том, что «в отечестве нашем, России, не находили во многом точного исполнения законов и видели многие отступления от оных и даже злоупотребления»,

что «крестьяне владельцами их для корыстолюбивых видов угнетены до бесконечности и даже так, что, имея самое малое время на труды для собственных нужд или вовсе оного не имея, доведены до постыдного человечеству нищенства», что «солдаты, при всей тягости долговременной службы, будучи за малые вины, а иногда и по одному капризу низшего начальства, весьма строго наказываемы, самую службу сию несут нередко гораздо более положенного государем императором 25-летнего времени, а если уже и доживут оного, то, пожертвовав службе отечества здоровьем своим, наконец, дряхлые, немощные и старые бедняки сии, не могущие питаться собственными трудами, скитаются почти без пропитания, а нередко и без приюта».

II

Хотя в скудных мемуарных свидетельствах о Драгоманове неизменно упоминалось о его литературной деятельности [12], однако никаких попыток точнее выяснить ее объем и характер до сих пор не делалось.

Нами обнаружена в архиве А. В. Никитенко (ИРЛИ) рукопись двух стихотворений Драгоманова — «Родным могилам. Элегия» и «В альбом Е. Ш...берг» [13].

РОДНЫМ МОГИЛАМ

Элегия

Посвящена брату моему П. А. Д.

Далеко видит взор с обрывистой горы,
Где ветхий монастырь убогою главою
Глядит на пышные окрестные ковры,
На прелесть дикую. Под этою горою
Кипит и плещется великолепный Псёл.
Как мило вы над ним, дремучие дубравы,
Склонились с берегов! Но волны величавы,
Оставя вашу сень, плывут в зеленый дол
Искать других картин, искать и новой славы.

Великодушный Псёл, ты пощадил меня,
Когда, томимый зноем дня,
Плескался юноша прохладными струями
И утопал в тебе. Ты добрыми волнами
На берег выбросил питомца своего...
Зачем, безжалостный, ты пощадил его?..
Оставим прошлое.
Меж дикими холмами
Прибережной горы пустеет дикий сад,
Питомец старика. Убогие стоят
В нем два креста и две могилы.
Отец и сын в них рядом спят,
И делят смерти сон, как жизни сон делили!
Могилы бедные! заглохли вы травой,
И нет тропинки к вам! Знать, нет у вас родимых,
Нет никого, кто б подарил слезой
Кто б сострадательной рукой
Украсил смертный дом друзей непробудимых!

И сколько там еще таких могил,
У монастырских стен! Но и они ветшают!..
И к ним никто тропы не проложил!..
Что мне родней того, что сокрывает

Могилы те? Тот прах святой мне мил.
Но я не знал, иль позабыл
И имена родных, и время их покоя:
Девятилетним сиротою
Меня оставила родимая моя,
И память юная сиротки не успела
Святого затвердить; но живо помню я,
Как, оставляя мир, она об нас скорбела.

Покинув дикий шум, шум славы боевой,
Два раза посещал я милые могилы
И мирный кров родной.
Бродил в развалинах, угрюмый и унылый,
С тоскующей, с растерзанной душой.
Нашел ли я там сердцу утешенье?
Там пусто все, там ветер завывал;
И одр, где старец сон вкушал,
Где жизни тягостной оставил сновиденья,
Развалин сын, паук пустынный засновал!
Дом опустелый мне вселял
Какой-то в душу страх, — и близок он к па-
денью,
И скоро он падет! Помедли, кров родной,
Дай сирому укрыться под тобой;
Не долго под твоей приветной сенью
Страдалец будет отдыхать:
Он скоро в сад к родным пойдет сном креп-
ким спать!

В АЛЬБОМ

Е. Ш...берг

Когда задумчиво-грустна,
По ризе голубого свода,
Станицей звезд окружена,
Гуляет светлая луна
И спит красавица-природа;
Когда привычная тоска
Души чувствительной слегка
Эфирным крылышком коснется, —
Вам как-то сладостно взгрустнется
И ваша легкая рука,
Как поцелуем ветерка,
Разбудит струны клавикордов...
Не правда ли, что грудь вздохнет
И вздох украдкою сольет
С последним ропотом аккордов?
Не правда ли? — Зачем таить? —
Вы этот вздох хотите скрыть
Под кружевом прозрачной дымки?
Но, верьте, все изменит вам:
И мольный тон, любимец дам,
И флёр трепещущей косынки.
. . . .
. . . .
. . . .

Они сокрылись вдалеке,
Они исчезли, эти грезы;
Теперь цветут в моем венке
Одни обрывки дикой розы!
На каждом бледном их листке
Блестят, как дань моей тоске,
Меланхолические слезы.
И муза, верный спутник мой,
Бежит надежд, бежит от славы
И, бросив призрак их пустой,
Сливает с тяжкою тоской
Свои бемольные октавы.
Ей милы грохоты громов,
Порывной бури завыванье,
И молний блеск, и волн плесканье,
И говор пасмурных лесов,
И над безмолвием гробов
Берез пустынные шептанья.

О путях, какими попала в бумаги Никитенко настоящая рукопись, можно только догадываться. Личное знакомство Драгоманова с Никитенко, отнюдь не невозможное само по себе, не подтверждается данными архива и дневника последнего. Возможно, что стихотворения были переданы ему кем-либо из знакомых поэта для устройства в печати: Никитенко охотно принимал подобные поручения и успешно выполнял их, пользуясь широкой известностью в литературных кругах и будучи близок ко многим журналам как редактор или цензор.

С сохранившимися в рукописи двумя стихотворениями Драгоманова непосредственную связь имеет третье — «Шанфари. Арабская кассида», напечатанное в «Сыне отечества» (1838, т. II, март, стр. 6—10; подпись: Яков Драгоманов). Стихотворение это могло попасть в журнал через Никитенко, который был хорошо знаком с его редактором, Н. И. Гречем. «Шанфари», напечатанное как оригинальное стихотворение Драгоманова, является в действительности переводом известной «касыды с арабского» Мицкевича.

Заслуживает внимания самый факт опубликования в 1838 г. в русской печати стихотворения Мицкевича. В сентябре 1834 г. И. Ф. Паскевич писал Уварову, что при рассмотрении, по его приказанию, книг, изданных в Царстве Польском во время восстания 1831 г. и после него, особенное внимание обратили на себя в цензурном отношении «стихотворения известного польского поэта Адама Мицкевича», широко использовавшиеся «мятежниками» в агитационных целях. Особенно выделялись, писал Паскевич, «послание к Лелевелю, где сей главнейший крамольник назван исправителем сердец и просветителем умов юношества и где излиты все чувства приверженности и уважения к нему всех его читателей», а также «Конрад Валленрод». Паскевич настойчиво подчеркивал, что самый «дух сих сочинений таков, что их распространять не должно».

Уваров тотчас же ответил, что стихотворения Мицкевича, изданные в России в 1829 г., не будут впредь перепечатываться; равным образом запрещен был настрого ввоз изданий, выпущенных за границей[14]. Запрещение это автоматически распространилось и на переводы из Мицкевича: две баллады последнего в переводе Пушкина («Будрыс и его сыновья» и «Воевода»), напечатанные в «Библиотеке для чтения» (1834, т. II), были обозначены — первая как «литовская баллада», вторая — как «польская баллада», и только в оглавлении журнала было глухо добавлено: «Из М—а».

Приведенные справки подчеркивают значительность появления стихотворения Драгоманова в «Сыне отечества»: перевод из Мицкевича удалось напечатать, обойдя цензурные запреты. Перевод был сделан тщательно, с большим приближением к подлиннику; о характере перевода могут дать представление начальные строки «кассиды»:

Друзья! Поднимайте верблюдов на ноги скорей:
Шанфари к врагам отъезжает из ваших степей.
Укладены вьюки; ремень их к горбам притянул;
Вперед! Ночь спокойна, и месяц пустынный блеснул.
В дорогу! Когда же ночные туманы сойдут,
Бесстрашному всюду от козней найдется приют.
Не тесно нигде мне, когда я рассудком владею,
И роскошь изгнать, и горе размыкать сумею.
Найду я друзей и верней и надежнее вас:
То волк сиво-бурый, то пестро-узорчатый барс,
С добычей, растерзанной в пасти, хромая гиена;
Они мне друзья: у них неизвестна измена!
Нет ложного друга, что тайны в устах не хранит,
В пустыне заблудшего брата с насмешкой бежит.
У них за обиду есть месть, за насилие — бой!
Отважны — но им не сравниться в отваге со мной.
Я первый навстречу врагам вырываюсь в поле,
В разделе ж добычи последний являюсь за долей.
Великостью мысли и воли вы мне не равны:
Кто чувствует цену себе, тот стоит цены!

Находка стихотворения с подписью Я. Драгоманова в журнале тридцатых годов подтверждает основательность неясных намеков и относительно других литературных его выступлений. В процессе дальнейших поисков подтвердились также воспоминания О. П. Косач о «Гирлянде», в которой печатались произведения братьев Драгомановых. Правда, альманаха с подобным названием не существовало, но в 1831—1832 гг. М. А. Бестужевым-Рюминым издавался «журнал словесности, музыки, мод и театров» под этим названием. На страницах «Гирлянды» оказался ряд оригинальных и переводных произведений Я. А. и П. А. Драгомановых, в стихах и прозе[15]. В этом издании не нашлось, правда, рассказа под заглавием «Ямщик», «реалистические тона» которого запомнились мемуаристке на всю жизнь, но вряд ли мы ошибемся, если предположим, что в данном случае имелась в виду «пикардская легенда» «Золотой кубок».

Ряд стихотворений и прозаических переводов братьев Драгомановых обнаружен нами также в «Северном Меркурии»[16]. Возможно, что именно Бестужев-Рюмин, издатель и «Гирлянды» и «Северного Меркурия», пробудил у Драгомановых желание увидеть свои имена в печати. Об этом свидетельствует и послание П. А. Драгоманова «М. А. Б⟨естуже⟩ву-Р⟨юми⟩ну» («Северный Меркурий», 1830, № 5), положившее начало сотрудничеству обоих братьев в его журналах.

На что тебе мои мечты,
Безвестной музы сновиденья?.. —

спрашивает «гонимый непостижным роком» поэт адресата, который, как далее выясняется, собственно, и приобщил его к кругу «парнасских рыцарей столицы».

Как ни скудно выявленное поэтическое наследие братьев Драгомановых, оно дает возможность судить об отличительных чертах дарования

каждого из них, в частности Я. А. Драгоманова. Десять известных нам в настоящее время стихотворений последнего пронизаны меланхолией, грустным ощущением ушедшей безвозвратно молодости, невозможностью отдаться поэтическому творчеству:

Давно уже, окован суетами,
Бессильная добыча тяжких дум,
Я не будил послушными перстами
В забвении дремавшей лиры струн,—

писал он в стихотворении «К гению», объясняя дальше тщетность своих творческих исканий житейскими невзгодами и разочарованиями:

И что мог петь с растерзанной душою?
Что оживлять в угаснувших страстях?
Куда летать с разрушенной мечтою
На скованных страданьями крылах?
Нет, гений мой, насильным вдохновеньем
Упорного бессмертья не стяжать:
Мне рок судил в безвестности страдать —
И я не льщусь неверным сновиденьем.

Аналогичным настроением продиктовано также стихотворение «Самоубийца»:

Он пал добычей добровольной
Неотразимого свинца:
Знать, сердцу бедного певца
На белом свете было больно?
Один, в глуши пустынных мест,
Над ним тоскует верный крест.

Элегии Драгоманова в значительной степени являлись посильной данью поэзии «грусти нежной», получившей такое распространение в двадцатых—тридцатых годах и вызвавшей резкое замечание Кюхельбекера о том, что «чувств у нас уж давно нет: чувство уныния поглотило все прочие. Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях»[17].

Однако в стихотворениях Драгоманова отмеченные мотивы могли диктоваться также обстоятельствами его личной биографии. Выше говорилось о тяжелой юности Драгоманова. В последующие годы положение поэта не изменилось. Просидев, по приказу Николая I, в крепости в течение трех месяцев, переведенный затем прапорщиком в Староингерманландский пехотный полк «под строгий надзор полкового, бригадного и дивизионного начальства», Драгоманов уже в феврале 1828 г. был уволен в отставку «с оставлением под строгим секретным наблюдением»[18]. Предполагалось при этом, что, получив отставку, Драгоманов поселится на родине, в Гадячском уезде. В марте 1828 г. малороссийский генерал-губернатор Н. Г. Репнин получил от министра внутренних дел Ланского уведомление о высылке на родину отставного прапорщика Драгоманова; одновременно сообщалось предписание «иметь за ним секретно строгое наблюдение полиции». На соответствующий запрос Репнина земский комиссар, осуществлявший функции полицейского надзора в уезде, в апреле того же года донес, что Драгоманов еще не прибыл на родину и что, как только он появится, комиссар сочтет «неукоснительным долгом иметь за ним самое строгое наблюдение». Однако служебное рвение комиссара оказалось напрасным: как показывают повторные неоднократ-

ные запросы полтавской администрации, Драгоманов так и не появился в Гадячском уезде[19].

О причинах этого можно только догадываться. К 1828 г. отец Драгомановых уже умер; материальное положение семьи было крайне тяжелым. С младшим братом Алексеем, принявшим на себя, после смерти отца, хозяйственные заботы, Я. Драгоманов, видимо, имел очень мало общего. Понятно, что при таких обстоятельствах он не был склонен возвращаться на родину и предпочитал жить вместе с братом Петром либо в непосредственной к нему близости (хотя и на полулегальном положении, так как любая легализация тотчас же получила бы отражение в официальных документах). Понятно также, что подобное существование не могло не отразиться на содержании поэтического творчества Драгоманова, обусловив мотивы тяжелой меланхолии, вплоть до мыслей о самоубийстве[20].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] М. Драгоманов. Австро-руські спомини (1867—1877), I. Львів, 1889 стр. 4—5; ср. «Автобиография М. П. Драгоманова».— «Былое» 1906, № 6, стр. 182—183.

[2] Олена Пчілка. Оповідання з автобіографією. Харків, 1930, стр. 7.— В другом месте Косач сообщала еще, что «оба юноши, Яков и Петр, присоединились к передовым кругам тогдашней столичной молодежи» (Олена Пчілка. Спогади про Михайла Драгоманова.— «Украïна», 1926, кн. 2-3, стр. 41).

[3] См. «Украïна», 1927, кн. 6, стр. 107—109.

[4] «Украïна», 1926, кн. 2-3, стр. 41.— Вряд ли справедливо сообщение Косач о том, что Я. А. Драгоманов окончил в Петербурге какую-то военную школу: сам он в своих показаниях об этом не упоминает; противоречит этому и шестилетняя его служба юнкером.

[5] О. Багаліïвна-Татаринова. Справа Якова Драгоманова.— «Декабристи на Украïні», т. II. Киïв, 1930, стр. 162.

[6] ВД, т. VIII, стр. 80.

[7] Горбачевский, стр. 198—199.

[8] «Декабристи на Украïні», т. II. Киïв, 1930, стр. 161.

[9] Об этом эпизоде см.: Горбачевский, стр. 200—204, а также: ВД, т. VI, стр. XXXV.

[10] И. Ф. Павловский. Декабрист Яков Драгоманов.— «Украïна», 1907, № 5, стр. 218—220.

[11] М. В. Нечкина. Общество Соединенных Славян. М., 1927, стр. 44—46 и др. (по указателю).— Портрет Я. А. Драгоманова (из собраний Гадячского музея) опубликован в журнале «Украïна», 1927, кн. 6, стр. 109.

[12] См. прим. 1 и 2; ср. также: С. А. Венгеров. Источники словаря русских писателей, т. II. СПб., 1910, стр. 309.

[13] ИРЛИ (19445, CXXXб1).— Рукопись эта не отмечена в обзоре В. В. Данилова («Декабристы и их время», 1951, стр. 251—279).

[14] ⟨В. В. Стасов.⟩ Цензура в царствование императора Николая I.— «Русская старина», 1903, № 5, стр. 385—386; ср. там же, № 12, стр. 686.

[15] П. Др—в. Золотой кубок. Пикардская легенда (Из «Mercure des salons») («Гирлянда», 1831, № 4, стр. 103—106); Наследственная кукла. Рассказ. С немецкого Я. Д—в (№ 6, стр. 141—154); Прощание (из Борнса). С английского П. Драгоманов (№ 6, стр. 155—156); П. Др—нов. Могила славного (№ 10, стр. 244); П. Драгоманов. Горбатый. Испанская повесть. 1863 (Соч. Генриха Бертуда). Из «La Mode» (№ 12, стр. 285—293; № 13, стр. 309—318); Я. Драгоманов. Морлах в Венеции (Мысль из сербской песни) (1832, № 3-4, стр. 68—69). Сокращенные подписи братьев Драгомановых раскрыты в «Оглавлении», приложенном к № 16 «Гирлянды» 1831 г.

[16] В «Северном Меркурии» напечатаны следующие стихотворения Я. А. Драгоманова: «В альбом N.» (1830, № 7, стр. 28; подпись: N.— Авторство устанавливается близостью к стихотворению «В альбом Е. Ш...берг», публикуемому нами по рукописи из архива Никитенко); «К гению» (1830, № 77, стр. 308; подпись: Я. Др—в); «Самоубийца. Романс» (1830, № 90, стр. 46—47; подпись: Я. Др—в); «Завещание» (С немецкого) (1830, № 109, стр. 122—123; подпись: Я. Д—в); «Родные могилы. Элегия» (1830, № 122, стр. 174—175; подпись: Я. Д—в); «Книга» (1831, № 23, стр. 96; подпись: Я. Драгоманов); «Ода анакреонтическая (Подражание Монкрифу)» (1831, № 65, стр. 263; подпись: Я. Д—в); «Истина» (1831, № 71, стр. 287; подпись: Я. Др—в); «Морлах в Венеции (Мысль из сербской песни)» (1832, № 1, стр. 4—5). Там же напечатано два сделанных Я. А. Драгомановым перевода художественной прозы: «Башня

Неслинская (1308)» (Из «Petit Courier des dames») (1830, № 70, стр. 277—280; подпись: Я. Др—в); «Араб и перс. Восточное предание». С фр⟨анцузского⟩ (1831, № 55, стр. 222—223; подпись: Я. Др—в). В «Северном Меркурии» опубликованы также стихотворения Петра Драгоманова, оригинальные и переводные.

[17] «Мнемозина», 1824, ч. II, стр. 36—37.

[18] ВД, т. VIII, стр. 80, 314—315.

[19] И. Ф. Павловский. Из прошлого Полтавщины. К истории декабристов. Полтава, 1918, стр. 23.

[20] Все сказанное служит как бы реальным комментарием к опубликованной нами элегии «Родным могилам», особенно характерному образцу лирики Драгоманова. Автобиографические мотивы очень отчетливо звучат также в стихотворении «Морлах в Венеции», «мысль» которого, по свидетельству поэта, заимствована «из сербской сказки». В действительности стихотворение является свободным переводом «песни» из сборника Мериме «Гузла» или, что вероятнее, переделки Мицкевича, вызвавшей замечание Пушкина, что «Мицкевич перевел и украсил эту песню» (Пушкин, т. III, стр. 364; см. также пушкинский перевод стихотворения «Влах в Венеции»). Драгоманову оказались близкими переживания «морлаха» (то есть серба-далматинца), который поверил уговорам друзей, переселился в Венецию («Отчизну сменял на пустые громады») и захирел от тоски по родному краю:

Здесь хлеб мне насущный, как яд, нездоров,
Здесь воздух чужой не навеет прохлады,
Здесь волю купи, и дыханье купи —
Я чахну, прикован, как пес, на цепи.
. . . .
Тут самые горцы, мои земляки,
Забыли язык и обычай родные;
Я здесь, как тростник, пересаженный в зной:
Сожжет его солнцем и сломит грозой.

СЕКРЕТНОЕ ДОЗНАНИЕ О В. С. ФИЛИМОНОВЕ

К ИСТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДЕКАБРИСТОВ ПОСЛЕ 1825 г.

Сообщение Ю. Б. Неводова

Реакция, наступившая после поражения декабристов, обусловила новые организационные формы подпольной кружковой работы.

Идейным центром, воспитывавшим во второй половине 1820-х — начале 1830-х годов революционные настроения, стал Московский университет. Студенты объединялись в полулегальные и нелегальные кружки, беседовали на политические темы, читали и распространяли запрещенную литературу, обсуждали достижения передовой философской мысли Запада, пели революционные песни Рылеева и Бестужева. Эти кружки не были изолированы один от другого и члены их находились между собой в постоянном общении. Так, Я. И. Костенецкий, участник кружка Н. П. Сунгурова, был хорошо знаком не только с Герценом, Сатиным и Огаревым, но и с Я. М. Неверовым и Н. В. Станкевичем. Неверов завязал в 1831 г. отношения с кружком Н. С. Селивановского, в котором представители старшего поколения московской передовой разночинной интеллигенции (братья Н. А. и К. А. Полевые, М. С. Щепкин, П. С. Мочалов, А. Ф. Вельтман и другие) встречались с В. П. Боткиным, Н. Х. Кетчером, а впоследствии и с Белинским[1].

В июне 1831 г. московской агентурой III Отделения была открыта тайная организация, объединявшая некоторых студентов Московского университета и его бывших воспитанников, с Н. П. Сунгуровым во главе. Судя по секретным донесениям студента Ивана Поллонина[2], выдавшего тайную организацию, члены ее стремились к введению в России конституции, а лучшим средством для достижения этой цели считали вооруженное восстание. Поллонин сообщил властям о связях членов кружка с офицерами московского гарнизона и об их надеждах привлечь на свою сторону широкие массы крестьян. Он же писал о том, что сунгуровцы планировали поход на Тулу для захвата оружейного завода и рассчитывали поднять против самодержавия не только некоторые воинские части, но и «возмутить находящихся на фабриках людей и всю чернь московскую»[3].

В числе лиц, привлеченных по делу Сунгурова, неожиданно оказался и архангельский гражданский губернатор В. С. Филимонов, старый литератор и переводчик, автор поэмы «Дурацкий колпак»[4], сверстник и приятель Жуковского[5], Воейкова, Батюшкова[6]. В апреле 1818 г. Филимонов был избран почетным членом Петербургского Вольного общества любителей российской словесности, объединявшего в своих рядах передовых литераторов, близких к первым тайным организациям декабристов[7]. В Москве Филимонов подружился с братьями Н. А. и К. А. Полевыми[8], в Петербурге сблизился с А. А. Бестужевым и принимал участие в «Полярной звезде»[9]. В рядах оппозиционной литературной общественности

Филимонов остался и после 14 декабря. Пушкин увековечил автора «Дурацкого колпака» в известном послании «В. С. Филимонову» («Вам музы, милые старушки, /Колпак связали в добрый час...»)[10]. Послание полно политических намеков и свидетельствует о том, что Пушкин имел все основания считать Филимонова своим единомышленником. К числу близких знакомых Филимонова принадлежал в конце 1820-х годов и П. А. Вяземский[11].

Ни по возрасту (ему в 1831 г. было 44 года), ни по происхождению, ни по материальному и служебному положению (Филимонов был помещиком, владельцем водочного завода, имел чин действительного статского советника и занимал, как мы уже упоминали, пост архангельского гражданского губернатора) этот крупный чиновник и известный писатель, казалось бы, ничего не мог иметь общего ни с самим Сунгуровым, ни с революционной молодежью из его кружка. Для Филимонова, тесно связанного с кругами дворянской оппозиционной интеллигенции, примыкавшей к декабристам, сунгуровцы были людьми иной среды, представителями чуждого ему поколения революционеров. Органических связей и идейной близости никогда между ними не было. Это не помешало, однако, руководителям кружка попытаться использовать имя и авторитет малознакомого им архангельского гражданского губернатора для укрепления престижа своей организации. Что же касается самого Филимонова, то он, видимо, вовсе не был осведомлен о конкретных политических планах революционного кружка Сунгурова.

О причастности Филимонова к тайной организации Сунгурова в доносах И. Поллонина сообщалось немного. Поллонин утверждал, что архангельский гражданский губернатор «сочувствовал этому обществу и просил прислать к нему на службу кого-нибудь из членов». Несколько подробнее на роли Филимонова Поллонин остановился при изложении планов Сунгурова: «...13 июля ⟨1830 г.⟩ еще Сунгуров говорил, что если же эти все планы их не исполнятся, то тогда им можно будет очень легко бежать, только пробраться до Архангельска, а там, как гражд⟨анский⟩ тамошний губернатор Филимонов в их обществе и сам должен будет опасаться открытия и бежать, то он приготовит им корабли, и они могут бежать в Англию или куда им будет угодно»[12].

Филимонов был арестован в Архангельске в первых числах июля 1831 г. и по личному распоряжению Николая I препровожден не в Москву, где производилось в это время дознание по делу Сунгурова и его сообщников, а в Петербург, в Петропавловскую крепость. Следствием по делу Филимонова руководил сам царь, опираясь на аппарат Главного штаба. По окончании «дела» Филимонова все материалы о нем частью переданы были из канцелярии Главного штаба в архив Главного аудиториата, частью осели в фондах III Отделения[13].

19 июля 1831 г. начальник Главного штаба от имени Николая I предложил Филимонову откровенно рассказать все известное ему о «преступном сообществе», членом которого он якобы состоял:

«По случаю нового открытия некоторых злоумышленников против законной власти, стремившихся нарушить общее спокойствие к достижению своей цели, правительству стало известно, что Ваше превосходительство принимаете участие в сем преступном сообществе. Государь император тем с бóльшим соболезнованием получил известие о таковом несчастном событии, что не ожидал оного от лица, коему по особой монаршей доверенности поручено начальство и охранение благосостояния обывателей в целой губернии. Не менее того, однако ж, его величество уважал звание Ваше и пост, Вами занимаемый, и желая с отеческим милосердием найти в собственном Вашем чистосердечном признании возможность облегчить участь Вашу, соизволил высочайше повелеть нам

ПРОЗА и СТИХИ

ВЛАДИМІРА ФИЛИМОНОВА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ПРОЗА.

МОСКВА,
ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА.

1822.

ПРОЗА И СТИХИ
В. Филимонова

Въ С. Петербургѣ
1822

Его Сиятельству
Графу Федору Петровичу
Толстому

от
искренно преданного ему
В. Филимонова
Мая 18
1822
С. П. бург

«ПРОЗА И СТИХИ» В. С. ФИЛИМОНОВА. ИЗД. 1822 г.
ЭКЗЕМПЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА Ф. П. ТОЛСТОМУ

«Его сиятельству графу Федору Петровичу Толстому от искренно преданного ему *В. Филимонова. Мая 18, 1822, С. П.бург*»

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

объявить Вашему превосходительству, дабы вы, прежде нежели дан будет формальный ход сему делу, изъяснили нам письменно, со всею откровенностию, все подробности, касающиеся до участия Вашего в сообществе злоумышленников; показали все лица, сообщество сие составляющие, и открыли все их действия и намерения. Если, впрочем, Вы желаете открыть одному токмо государю императору все, что известно Вам по сему предмету, то высочайше позволяется Вам написать об оном прямо его величеству в запечатанном пакете, который будет в таком виде доставлен в собственные его величества руки»[14].

Филимонов в самой решительной форме отверг предъявленные ему обвинения в причастности к тайной организации и в течение нескольких месяцев настаивал на том, что он является жертвой злостной клеветы.

11 августа 1831 г. шеф жандармов Бенкендорф обратился с письмом в Московскую следственную комиссию, предлагая сообщить ему показания обвиняемых по делу Сунгурова «касательно прикосновенности к их замыслам архангельского гражданского губернатора»[15]. Во исполнение этого предписания Московская следственная комиссия 21 августа 1831 г. отправила в Петербург специальную «выписку» о Филимонове[16]. В ноябре следующего года эта выписка была дополнена справкой, посланной в Аудиториатский департамент и вытребованной затем оттуда графом А. И. Чернышевым для Бенкендорфа[17].

В этих документах получил отражение весь ход московского дознания, приведшего к снятию с Филимонова подозрений, послуживших поводом к его аресту.

На следствии вскрылась несостоятельность доноса Поллонина и непричастность Филимонова к тайной организации. Главные подсудимые— Н. П. Сунгуров и Ф. П. Гуров — категорически отвергли утверждения Поллонина о тесном сотрудничестве Филимонова с сунгуровцами и о его якобы готовности помочь им в случае провала их планов[18]. Сунгуров, как выяснилось, вообще не был знаком с Филимоновым и не имел с ним никакой связи[19]. Рядовые члены подпольного кружка либо совершенно не слышали об архангельском губернаторе, либо знали и судили о нем лишь со слов Сунгурова и Гурова[20]. Непродолжительное же знакомство Филимонова с Гуровым и приятелем последнего Д. А. Козловым было обусловлено, по признанию обеих сторон, совершенно случайными обстоятельствами[21].

Филимонов мог бы рассчитывать на полную реабилитацию, если бы в самом же начале следствия дело его не осложнилось и не выдвинулись новые подозрения, перед которыми старые отошли на второй план.

В бумагах, отобранных у Филимонова при аресте и находившихся на рассмотрении в Петербурге, в Главном штабе, неожиданно обнаружены были письма к нему декабристов Г. С. Батенькова и А. Н. Муравьева, копия с письма декабриста В. И. Штейнгеля Николаю I, тетрадь с цитатами из проекта конституции Н. М. Муравьева, 65 заметок о государственном управлении и другие документы[22].

Находки, сделанные в личном архиве Филимонова, направили секретное дознание о нем по новому руслу. Бумаги Филимонова, а равно и их описи лично просматривал Николай I, который среди прочих документов особо выделил письма Муравьева, Батенькова и копию с письма Штейнгеля[23] и тем самым определил характер и содержание последующих допросов.

1 августа 1831 г. Бенкендорф, исполняя повеление царя, приказал коменданту Петропавловской крепости получить от Филимонова письменные ответы на специальные вопросные пункты, приложенные к записке Бенкендорфа[24]. Приводим полностью этот документ с вопросными пунктами и ответами на них Филимонова.

⟨Вопрос первый:⟩

Между Вашими бумагами находится:

1) Копия письма отставного подполковника барона Штейнгеля, от 11-го января 1826 года, писанного на высочайшее имя во время заключения его в Петропавловской крепости.

Объявите где, от кого именно и по какому поводу получили Вы эту копию?

⟨Ответ Филимонова:⟩

1) Сей список снят в Москве, с такого же, полученного мною от г. генерал-адъютанта Потапова, по поводу тому, что я всегда старался приобретать бумаги любопытные, в особенности касающиеся до России. Самого Штейнгеля я никогда не знал.

⟨Вопросы второй и третий:⟩

2) Пять записок, писанных рукою бывшего полковника Батенкова и 3) Письмо Александра Муравьева, из коих явствует, что Вы состояли с ними в близких и дружеских связях.

Объясните откровенно: в каких именно сношениях находились Вы с Батенковым и А. Муравьевым и не знали ли или не подозревали ль Вы чего-либо о принадлежности их к злоумышленным обществам, до совершенного открытия оных правительством?

⟨Ответы Филимонова:⟩

2) В прошедшую французскую войну я был адъютантом генерала графа Толстого. Когда мы находились в окрестностях Гамбурга, А. Муравьев приезжал на несколько недель к отцу своему, служившему при графе же Толстом; я провел с ним это время весьма приятно. Знать или подозревать его в злоумышлении я не мог, ибо он едва ли и был тогда злоумышленником. Главная цель наша была: веселиться. По возвращении в Россию я видел его только раз, с 1816 г. совершенно потерял ⟨...⟩ из виду: он жил в деревне, я служил в Новгороде

и 3) В 1821 г. мне объявлено было высочайшее предназначение меня губернатором в Енисейскую губернию. По сему случаю М. М. Сперанский предоставил мне получать разные сведения, до Сибири относящиеся. Батенков был правителем дел сибирских. Получая от него упоминаемые сведения, я вошел с ним в сношение: он посещал меня часто. Но едва ли желалось ему видеть меня губернатором Енисейским — вместо меня назначен был г. Степанов. Причина сей перемены до сих пор осталась для меня тайною. С того времени Батенков посещал меня весьма редко. Я уехал из П⟨етер⟩бурга. По возвращении моем в оный в 1824 г. сношения мои с Батенковым были очень холодны, я виделся с ним не более трех раз: я был унижен — он занимался важными делами у графа Аракчеева и г. Сперанского. Еще я виделся с ним два раза в Москве, куда приезжал он на несколько дней. В бытность мою в П⟨етер⟩бурге, на самое короткое время, в начале 1825 г.,— Батенков слишком был занят государственными делами, чтобы делить время с человеком, правительством отвергнутым, я был у него раз, он у меня совсем не был. Сим ограничиваются сношения мои с Батенковым. Знать о злоумышлении его я не мог, ибо мы никогда не были откровенны: я никак не мог приглядеться к его сибирским глазам ⟨...⟩ Впрочем, хотя глаза Батенкова не внушали доверия, я не имел повода подозревать его в злоумышлении; однакож всегда удивлялся: как мог он в одно время приспособляться к двум противоположным мнениям, гр. Аракчееву и г. Сперанскому? Умоляю: вывести меня из унизительного положения, в коем я нахожусь уже целый месяц. Я переносил бы его легче, если б оно не терзало людей, мне близких,

лишенных всякого со мной сношения и всякого пособия, которое для них необходимо. Уверяю честью: я не преступник. Причина оклеветания моего: мои излишняя правота и излишнее усердие к выгодам службы.

Действительный статский советник

Филимонов[25]

Августа 2. 1831 г.

Филимонов отрицал, таким образом, свои идейные связи с Муравьевым и Батеньковым и настойчиво подчеркивал свою неосведомленность относительно принадлежности этих лиц к тайным обществам декабристов.

Николай I, неудовлетворенный ответами Филимонова, приказал Бенкендорфу потребовать от Филимонова дополнительные сведения о его знакомстве с Батеньковым. Однако новые ответы Филимонова не внесли существенных коррективов в освещение его отношений с декабристами[26]. Ввиду отсутствия более конкретных материалов обвинения вопрос о связях Филимонова с Муравьевым и Батеньковым не получил дальнейшего развития и был затем снят[27].

Руководители следствия целиком сосредоточили свое внимание на копии с письма Штейнгеля, тем более что разъяснения Филимонова по поводу происхождения этой копии казались мало удовлетворительными. Между тем, самый факт нахождения копии с секретного документа в портфеле частного лица представлялся не только криминальным, но и загадочным.

Барон В. И. Штейнгель, участник Отечественной войны, отставной подполковник, бывший управляющий канцелярией московского генерал-губернатора, был видным членом Северного общества. Штейнгель известен как автор проекта приказа декабристов по войскам и одного из вариантов введения к манифесту, составленному утром 14 декабря. Осужденный по 3-му разряду, Штейнгель был приговорен к 20 годам каторжных работ[28]. Письмо, копия с которого оказалась в бумагах Филимонова, было написано Штейнгелем в крепости 11 января 1826 г.[29] Характеризуя в этом письме причины появления революционных организаций в России, Штейнгель дал яркий очерк развития свободомыслия и оппозиционных настроений в стране, начиная с деятельности Новикова и кончая выступлением декабристов. Штейнгель выражал твердую уверенность в неистребимости идей, зароненных декабристами: «Сколько бы ни оказалось членов Тайного общества или ведавших про оное, сколь бы многих по сему преследованию ни лишили свободы, все еще останется гораздо множайшее число людей, разделяющих те же идеи и чувствования». Штейнгель выступал как откровенный враг самодержавия и крепостничества. Он обращался к царю со смелыми упреками: «Правительство отделяло себя от государства и, казалось, верило, что оно может быть богато и сильно, хотя все сословия государственные и особенно народ в изнеможении. Правительство имело, кажется, правилом, что развратным и бедным народом легче и надежнее управлять, нежели имеющим гражданские добродетели и в довольстве живущим, а потому не прислушивалось к народному мнению, не входило в его нужды: повелело и требовало безусловного повиновения, хотя бы от того все разорилось ⟨...⟩ Должно ли после сего удивляться, что правительство потеряло народную доверенность и сердечное уважение и возбудило единодушное общее желание перемены в порядке вещей»[30].

Письмо Штейнгеля — программный документ большого общественно-политического значения. Обнаружение в бумагах Филимонова копии с этого документа необычайно обеспокоило следственные органы. 10 сентября 1831 г. военный министр А. И. Чернышев, выполняя распоряжение Николая I, предложил начальнику 1-го Округа корпуса

жандармов генерал-майору Балабину, чтобы он, за отсутствием в Петербурге в это время Бенкендорфа, отобрал у Филимонова «самое обстоятельнейшее сведение о том, когда, от кого и каким образом получил он найденное в отобранных у него бумагах письмо полковника Штейнгеля»[31]. 12 сентября 1831 г. Филимонов снова получил специальные вопросные пункты, на которые он немедленно дал требуемые от него ответы:

Вопросные пункты действительному статскому советнику Филимонову:

В отобранных у Вашего превосходительства бумагах найдено всеподданнейшее письмо полковника Штейнгеля, писанное им во время содержания его в С.-Петербургской крепости, по происшествию 14-го декабря 1825-го года. По сему случаю потребно от Вас откровенное и самое обстоятельное сведение:

1-е. Когда именно получили Вы помянутую бумагу?

2-е. От кого именно и каким образом?

3-е. На какой предмет помянутое письмо было к Вам доставлено?

⟨Ответы Филимонова:⟩

В Москве (как я имел уже случай отвечать), 1826 года, во время коронования его императорского величества.

От генерал-адъютанта Потапова; списана мною с списка же, ему возвращенного, единственно из любопытства. Переписывала же ее искренний друг мой, женщина, которой уже нет, а что эта рука ее, легко сличить по письмам сей женщины.

Я получил его, как и прежде объяснял, из желания иметь любопытные бумаги, особенно до России касающиеся.

Действительный статский советник

Филимонов[32].

С.-Петербург.
Сентября 12-го дня 1831 года.

Генерал-адъютант А. Н. Потапов, от которого Филимонов достал список с письма декабриста Штейнгеля,— дежурный генерал Главного штаба, член Следственной комиссии 1825—1826 гг., один из наиболее близких в ту пору к царю военных администраторов. По требованию Николая I, генерал Потапов в специальной докладной записке «на высочайшее имя» должен был рассказать о причинах, обусловивших его близость к Филимонову:

Двоюродная сестра моя в замужестве за племянником Филимонова; эта родственная связь была началом моего с ним знакомства. В последствии времени, когда с вверенным мне лейб-гвардии Конно-егерским полком квартировал я в Новгороде, где Филимонов был несколько лет вице-губернатором, знакомство наше сделалось еще короче. Образованным умом, разнообразными сведениями, непринужденным характером, но преимущественно своим пламенным усердием к государю и отечеству, он снискал мою доверенность и взаимная приязнь наша, основанная на сих чистых отношениях, была столь искренна, что я весьма сожалел, когда он, получив увольнение от должности вице-губернатора, оставил Новгород. В 1826 году, если не ошибаюсь, мы опять встретились в Петербурге, и как он находился еще в отставке, а бывший тогда правитель канцелярии дежурного генерала Главного штаба Вашего императорского величества Ноинский предназначался в генерал-аудиторы, то я, разумея Филимонова за человека благонадежного и весьма способного занять

место сие, не предварив однако ж его о моем намерении, решился доложить о нем покойному графу Дибичу Забалканскому, который лично и давно знал Филимонова (служив некогда со старшим братом его капитанами лейб-гвардии в Семеновском полку), одобрил мой выбор и приказал мне иметь его в виду. С сего времени я уже решительно прочил Филимонова служить вместе со мною — и, готовя ему самые близкие к себе отношения по званию правителя канцелярии,— старался благовременно ознакомить его с родом занятий дежурного генерала; испытывал образ его суждений и для сего нередко с полной откровенностию говорил с ним о делах службы. Не могу утвердительно сказать, где именно: в Москве ли, во время священного коронования Вашего императорского величества, или здесь, в Петербурге, но очень помню, что однажды вечером, разбирая вместе со мною большое количество бумаг, сданных мне начальником Главного штаба, в числе коих некоторые относились и до происшествия «14 декабря» 1825 года, он между ними нашел список со всеподданнейшего письма полковника Штейнгеля. Это письмо показалось ему столъ любопытным, что он убедительно просил меня позволить ему взять оное на дом, для внимательного прочтения. Удостоверенный многократными опытами в скромности Филимонова, я согласился; но притом внушил ему всю важность подобной тайны и строжайше подтвердил хранить оную. На другой день, утром, получив обратно письмо Штейнгеля, я даже не подозревал, чтоб в столь короткое время можно было успеть списать копию. По обстоятельствам намерение мое не исполнилось, ибо г. Ноинский долго еще оставался правителем канцелярии, а Филимонов между тем определился в Министерство внутренних дел. Повергая к стопам Вашего императорского величества сие по возможности краткое, но подробное и чистосердечное донесение, я осмеливаюсь умолять Вас, всемилостивейший государь, не вменить мне в преступление моей доверчивости, быть может излишней, но совершенно благонамеренной.

Генерал-адъютант Потапов[33].

Николай I выразил неудовольствие по поводу неосторожности Потапова, из-за которой в руки частного лица попал секретный политический документ[34].

В рапорте царю от 20 сентября 1831 г. генерал-майор Балабин доносил:

«Управляющий Главным штабом Вашего императорского величества генерал-адъютант граф Чернышев предписанием от 17-го числа сего сентября месяца за № 216 объявил мне высочайшее Вашего величества повеление: чтобы генерал-адъютант Потапов в присутствии моем внушил содержащемуся в крепости действительному статскому советнику Филимонову, сколь он неблагородно употребил во зло доверенность его, списав без его ведома копию с письма полковника Штейнгеля, как с такого акта, который по важности своей принадлежит к секретным делам высшего правительства; а мне повелено объявить г. Филимонову, что уже и один сей столь неблагонамеренный поступок, независимо от прочих предметов его обвинения, вполне доказывает справедливость принятых против него мер строгости»[35].

Таким образом, подозрение о принадлежности Филимонова к тайной организации Сунгурова было заслонено новым обвинением, гораздо более конкретным, но, как и первое, недостаточно документированным. Уверения Филимонова в том, что он снял для себя копию с письма декабриста Штейнгеля, руководствуясь исключительно мотивами праздного любопытства, представлялись неубедительными. Однако формальных оснований для предания его суду не оказалось[36]. Он был только отрешен от службы и после четырехмесячного заключения в крепости выслан

в Нарву под надзор полиции. Через несколько лет этот полицейский надзор был с него снят. Но несмотря на полную реабилитацию, Филимонов до самой смерти ощущал на себе роковые последствия истории с письмом Штейнгеля [37].

* * *

Итак, в 1826 г. из секретных фондов канцелярии Главного штаба уходит такой значительный политический документ, как историческая записка декабриста В. И. Штейнгеля, адресованная Николаю I. Документ этот в течение нескольких лет оказывается в распоряжении человека, связанного с представителями передовой литературной общественности 1810—20-х годов. Самый факт хранения Филимоновым письма Штейнгеля не дал бы оснований утверждать, что это письмо сразу стало общественным достоянием, если бы мы не располагали сведениями о других списках с этого документа.

Так, например, П. И. Бартенев, публикуя в «Русском архиве» 1895 г. записку Штейнгеля по списку К. П. Победоносцева, отмечал, что в его распоряжении имелся и другой список с этого документа, принадлежавший М. И. Топильскому, зятю декабриста [38]. История происхождения обеих копий неясна, но гипотеза о восхождении хотя бы одной из них к списку Филимонова представляется нам весьма вероятной. Являясь обладателем такого интересного политического документа, Филимонов мог познакомить с его содержанием своих ближайших друзей и единомышленников.

После катастрофы, постигшей Филимонова в 1831 г., он прожил еще более двадцати лет, много писал и печатал, но сколько-нибудь заметного положения в литературе занять не мог. Его знали лишь как адресата одного из пушкинских посланий. Из всех произведений Филимонова только одна его старая поэма «Дурацкий колпак» получила положительный отзыв Белинского [39]. Одинокий и всеми забытый, переживший себя и свое поколение, Филимонов доживал свои дни вблизи Ораниенбаума. В 1853 г. с ним случайно познакомился И. И. Панаев, который оставил воспоминания об этом последнем периоде жизни Филимонова [40].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Общественно-политическая жизнь Москвы конца 20-х — начала 30-х годов освещена в работах: М. Я. Поляков. Студенческие годы Белинского («Лит. наследство», т. 56, 1950, стр. 303—416); Ю. Г. Оксман. Белинский и кружок Н. С. Селивановского («Ученые записки Саратовского гос. университета», т. XXXI, 1952, стр. 242—262); В. С. Нечаева. В. Г. Белинский. М., 1954, стр. 29—60; вводная статья В. И. Безъязычного к Сочинениям Александра Полежаева. М., 1955, стр. 10—18.

[2] Во всех работах и справочниках по истории революционного движения 30-х годов (в том числе и в статье Б.М. Эйхенбаума «Тайное общество Сунгурова».— «Заветы», 1913, № 3) предатель, выдавший тайную организацию Сунгурова, ошибочно назван Поллоником. В документах дознания фамилия доносчика точно обозначена как Поллонин (ЦГИА, ф. № 109, 1 эксп., секретное дело «О действительном статском советнике Филимонове», 1831 г., № 417, лл. 55, 132, 134 и др.).

[3] Б. М. Эйхенбаум. Тайное общество Сунгурова.— «Заветы», 1913, № 3, стр. 19.

[4] Владимир Сергеевич Филимонов (1787—1858)— сын богатого рязанского помещика, воспитанник Московского университета, участник Отечественной войны и заграничных походов 1813—1814 гг. С 1811 г. Филимонов служил чиновником в Коллегии иностранных дел, а в 1817 г. был назначен новгородским вице-губернатором. После ухода в 1822 г. в отставку он некоторое время жил в Москве, откуда в январе 1825 г. переехал в Петербург. В 1829 г. Филимонов получил назначение на пост архангельского гражданского губернатора и оставался в этой должности вплоть до своего ареста в 1831 г.

В литературу Филимонов вошел как поэт, переводчик, беллетрист и драматург. Он печатался почти во всех журналах и альманахах первой трети XIX в. Перу Филимонова, кроме многочисленных переводов из Горация и оригинальных стихотворений,

принадлежали также две поэмы («Дурацкий колпак» и «Обед»), несколько романов и пьес. В своих произведениях Филимонов не смог дать ни ярких поэтических образов, ни подняться до больших типических обобщений. Его критика дворянства как правящего класса была весьма умеренной и имела общепросветительский характер.

Свод биобиблиографических данных о Филимонове сделан С. А. Венгеровым в примечаниях к Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. IV. СПб., 1901, стр. 504—508. Биографические сведения о Филимонове дают также Б. Л. Модзалевский (Пушкин. Письма, т. I. М.—Л., 1926, стр. 397—399) и В. Н. Орлов («Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов». Л., ‹1934›, стр. 528).

[5] Филимонов писал о Жуковском, как о своем поэтическом наставнике, в примечаниях ко II части сборника «Прозы и стихов» (СПб., 1822). О близости Филимонова к Жуковскому — см. также прим. 11.

[6] О связях Филимонова с Воейковым — см. в примечаниях к I части его сборника «Прозы и стихов» (СПб., 1822), а также «Записки» И. П. Сахарова («Русский архив», 1873, кн. 1, стр. 942). С письмом Батюшкова к Гнедичу Филимонов приехал в Петербург из Москвы в 1811 г. («Константин Николаевич Батюшков в письмах к Ник. Ив. Гнедичу».— «Русская старина», 1883, № 4, стр. 111).

[7] В почетные члены Вольного общества любителей российской словесности Филимонов был избран одновременно с Крыловым, Жуковским, Батюшковым и М. М. Сперанским (см. Базанов, стр. 409). Благодаря Ф. Н. Глинке Общество, ко времени вступления в него Филимонова, стало центром по собиранию и вовлечению в политическую деятельность передовых литераторов, театралов и ученых (см. Рылеев. Стих., стр. XXIII—XXIV).

[8] С Н. А. Полевым, начинающим в ту пору журналистом, Филимонов познакомился в Москве в 1820 г., стал его литературным покровителем, а затем и компаньоном по владению водочным заводом. После переезда Филимонова в столицу отношения между ними поддерживались перепиской. Через Филимонова Полевой завязывал литературные связи и деловые знакомства (так, он познакомился с П. П. Свиньиным). Дружба между Филимоновым и Полевым неожиданно оборвалась в 1824 г. Причиной разрыва послужили, видимо, денежные недоразумения.

О взаимоотношениях Полевого и Филимонова — см. «Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого» Кс. А. Полевого («Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов». Ред. В. Орлова. Л., ‹1934›, стр. 131—135, 149, 151).

[9] Близость Филимонова с А. А. Бестужевым относится к 1824—1825 гг. В дневнике Бестужева находим запись от 11 июля 1824 г.: «Вечером у Филимонова» («Памяти декабристов», I, стр. 67). Кс. Полевой рассказывает эпизод, свидетельствующий о дружбе Филимонова с Бестужевым и об их размолвке около 1825 г. («Николай Полевой...», стр. 184—185).

[10] В марте 1828 г. Филимонов послал Пушкину первый выпуск своей поэмы «Дурацкий колпак» со стихотворным посвящением, написанным на обложке:

Вы в мире славою гремите.
Поэт! В лавровом вы венке.
Певцу безвестному простите:
Я к вам являюсь в колпаке.

Пушкин вскоре же ответил автору «Дурацкого колпака» посланием «В. С. Филимонову». Дружеское расположение к Филимонову не мешало, впрочем, Пушкину подчас насмешливо отзываться о его литературных упражнениях. Так, в одном памфлетном наброске 1827 г. Пушкин в явно пародийных целях использовал слова Филимонова из его объявления об издании им книги «Искусство жить».

«Сии-то ‹...› нападения принудили меня,— писал Пушкин,— в первый раз выступить на поприще писателей, надеясь быть полезным любезным моим соотечественникам, пока неумолимые Парки прядут еще нить жизни, как говорит г. Ф.‹илимонов› в одном трогательном газетном объявлении о поступившей в продажу книжке своего сочинения» (Пушкин, т. XI, стр. 62—63).

[11] В 1828 г. на вечеринке, устроенной Филимоновым, были Пушкин, Вяземский и Жуковский (см. Пушкин. Письма. Под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского, т. II. М.—Л., 1928, стр. 60—61 и 324—326, а также письма Вяземского к жене 1828 г.— «Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 75—76, 79).

[12] Б. М. Эйхенбаум. Тайное общество Сунгурова.— «Заветы», 1913, № 3, стр. 19, 20.

[13] Материалы секретного дознания по делу Филимонова были обнаружены Ю. Г. Оксманом в 1925 г. в архиве Главного аудиториата Военного министерства.

[14] ЦГИАЛ, ф. Главного аудиториата Военного министерства, секретное дело «О действительном статском советнике Филимонове». Начато 10 июля 1831 г., кончено 24 сентября 1831 г. (№ 541, литер А, лл. 5—6).

[15] ЦГИА, ф. № 109, 1 эксп., секретное дело «О действительном статском советнике Филимонове», 1831 г. Начато 14 июля 1831 г., кончено 12 августа 1847 г (№ 417, л. 46).

[16] Там же, лл. 54—56.

[17] Там же, лл. 131—137.— В этой более поздней справке (самый текст ее приведен на лл. 132—137) показания обвиняемых сунгуровцев представлены полнее, чем в предыдущей выписке. Кроме того, в справке приведены и ответы Филимонова.

[18] Показания Сунгурова и Гурова о Филимонове — там же, лл. 55, 56, 132—134. Гуров вообще усомнился в наличии у Филимонова революционных качеств и выразил это в краткой, но весьма примечательной характеристике: «...чтобы он, Филимонов, был членом какого-либо общества, он, Гуров, не смеет и думать» (там же, л. 133).

[19] Филимонов в своих показаниях также отрекся от знакомства с Сунгуровым (там же, л. 134).

[20] Так, Я. И. Костенецкий ссылался на Гурова, который будто бы «говорил ему в показание могущества Общества, что знаком с сим губернатором и что он в числе членов». Подпоручик Ф. Седлецкий, судя по его словам, «слышал от Сунгурова, что в Обществе состоит членом какой-то губернатор, кажется архангельский» (там же, л. 55). Эти показания, как и обмолвки Сунгурова и Гурова (например, Гуров показывал, что он, Гуров, «приглашаемым в Общество, не говорил ли о ласках к себе Филимонова и они не приняли ль того, что и он член Общества», л. 56), подтверждают высказанную выше мысль об известной заинтересованности руководителей кружка в Филимонове и об их попытках представить его своим союзником.

[21] Гуров и Козлов знали Филимонова несколько лет; оба встречались с ним в 1824 или в 1825 г. в Рязани и Москве, куда тот приезжал для продажи одного из своих имений камер-юнкеру Козлову, а последний, кроме того, виделся с Филимоновым в 1828 г. в Петербурге. Однако это знакомство, по утверждению как Филимонова, так и Козлова и Гурова, связано было лишь с упомянутой торговой сделкой (там же, лл. 56, 63, 64, 133—136).

[22] К сожалению, вещественные доказательства в «деле» не сохранились. Остались лишь описи бумаг и вся официальная переписка по делу Филимонова. Кроме перечисленных в тексте документов, в архиве Филимонова находились заметки о государственном устройстве, письмо Н. А. Полевого от 1822 г., какие-то запрещенные стихи Пушкина, записки и письма неизвестных лиц, содержащие в себе «вольные» политические мысли, а также вся служебная и частная корреспонденция Филимонова (см. описи бумаг Филимонова.— Там же, лл. 28—38).

[23] Отметки Николая I на лл. 30, 31.

[24] Там же, л. 40.

[25] Там же, лл. 43—44.

[26] Вопросный пункт о связи с Батеньковым и ответ Филимонова — там же, л. 49.

[27] Остальные документы, находившиеся в бумагах Филимонова, не обсуждались на следствии. Возможно, что в этом сказалось требование царя и руководителей следствия сократить слишком затянувшийся процесс.

[28] Биография В. И. Штейнгеля дана в статье В. И. Семевского «Барон Владимир Ив. Штейнгель».— «Общественные движения», т. I, стр. 281—320.

[29] Письмо Штейнгеля впервые опубликовано было при жизни автора — в «Историческом сборнике Вольной русской типографии в Лондоне», кн. I. Лондон, 1859, стр. 101—125; текст приводится в изд.: «Общественные движения», стр. 475—492 и в кн.: А. К. Бороздин. Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего устройства. СПб., 1906, стр. 55—72.

[30] А. К. Бороздин. Указ. соч., стр. 63—64, 69.

[31] ЦГИАЛ, секретное дело «О действительном статском советнике Филимонове», 1831 г., № 541, литер А, лл. 18—20.

[32] Там же, л. 22.

[33] Там же, лл. 26—27.

[34] В письме генерал-адъютанта Чернышева к Потапову отмечено, что «государь император, прочитав всеподданнейшее письмо Потапова и записку его же ⟨...⟩ изволит находить, что хотя г. Филимонов употребил во зло доверенность Вашу самым неблагородным образом, сняв без ведома Вашего копию с сей бумаги, не менее того его величество неосторожность Вашу в сообщении г. Филимонову сего секретного акта, даже и для прочтения, не мог усмотреть иначе, как с неудовольствием» (там же, л. 28).

[35] Там же, лл. 34—35.

[36] В «заключении» о Филимонове, сделанном генерал-аудиториатом и утвержденном царем в январе 1833 г., говорилось: «... хотя Филимонов и был знаком с подсудимыми Сунгуровым и Гуровым, но вины его по производству означенного дела никакой не обнаружено, а потому он и ответственности не подвергается». И далее: «Объяснившееся не вполне обстоятельство насчет списания им копии с письма Штейнгеля не представляет повода обвинить его в злонамерении, но скорее есть поступок необдуманный,

искупленный им потерею службы и тяжким наказанием» (ЦГИА, ф. № 109, 1 эксп., д. 417, лл. 249 и 252).

[37] Николай I всю жизнь не прощал Филимонову его поступка с письмом Штейнгеля. Это тяжело отразилось на дальнейшей судьбе Филимонова. Он остался без службы и средств к существованию, ему было запрещено жить в обеих столицах. Правда, в 1836 г. он получил разрешение поселиться в Москве, но Петербург до самой смерти оставался для него запретным (ЦГИА, ф. № 109, 1 эксп., д. 417, лл. 113, 127—128, 161—162, 170, 220).

[38] «Русский архив», 1895, № 2, стр. 161.

[39] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. Под ред. С. А. Венгерова, т. IV. СПб., 1901, стр. 55—58.— Отзывы Белинского о других произведениях Филимонова см. там же, т. V, стр. 225; т. VI, стр. 484—490; т. IX, стр. 358—360. Строгий суд Белинского будет понятен, если учесть метаморфозу, которую претерпел Филимонов после процесса 1831 г. Поэт, имевший успех в передовых общественных кругах 1820-х годов, к концу жизни выродился в литературного пустослова, стал графоманом.

[40] «Современник», 1858, № 9, стр. 112.

НЕИЗДАННАЯ БАСНЯ П. А. КАТЕНИНА

Сообщение В. Н. Орлова

В тридцатые годы творческая деятельность П. А. Катенина, замершая в предшествующие годы, несколько оживилась. В 1832 г. вышли в свет его «Сочинения и переводы», изданные при содействии Пушкина, а в 1834 г.— сказка в стихах «Княжна Милуша». В 1834—1835 гг. Катенин работает довольно интенсивно — пишет сонеты и басни, поэму «Инвалид Горев» и многое другое. Кое-что из написанного Катениным в это время до нас не дошло. Свои новые произведения Катенин настойчиво стремился продвинуть в печать. Находился он в эти годы на Кавказе (на военной службе). Оттуда он посылал стихи в Петербург своему ученику и приятелю В. А. Каратыгину, а также Пушкину, с просьбой содействовать появлению их в «Библиотеке для чтения». Здесь в 1835—1836 гг., действительно, появилось три катенинских произведения: басня «Предложение» (т. XII), большое стихотворение «Гнездо голубки» (т. XIV) и «Инвалид Горев» (т. XVII). Остальные стихи напечатать не удалось, главным образом, как выясняется из переписки Катенина с Пушкиным, в силу цензурных затруднений.

Так, например, не были напечатаны два сонета, посланные Катениным Пушкину в январе и в июне 1835 г. По поводу первого из них («Кавказские горы») Пушкин писал автору 20 апреля 1835 г.: «Твой сонет чрезвычайно хорош, но я не мог его напечатать. Ныне цензура стала так же своенравна и бестолкова, как во времена блаженного Красовского и Бирукова: пропускает такие вещи, за которые поделом ей голову моют, а потом с испугу уже ничего не пропускает. Довольно предпоследнего стиха, чтоб возмутить весь цензурный комитет против твоего сонета»[1]. Стих, на который ссылался Пушкин, звучит так: «Творенье божье ты, иль чортова проказа?» [2]

Катенин ответил Пушкину 16 мая из Ставрополя: «О бестолковой трусости цензуры имел я вести от Каратыгина, послав к нему для напечатания две басни; одна из них: „Предложение“ нравилась мне, но не пришлась по мерке прок⟨р⟩устовой кровати, и я безжалостно решился отрубить голову и ноги, чтоб не схоронить заживо сердца; не знаю, удовольствуются ли тем г-да скопители, но прошу тебя не судить о ней по торсу, а полюбопытствовать и посмотреть в целом: у Каратыгина достанешь» [3].

Таким образом, выясняется, что басня «Предложение» была напечатана в «Библиотеке для чтения» в неполном и искаженном виде. Подлинный текст ее неизвестен [4].

Вторая басня, о которой упомянул Катенин, также оставалась неразысканной. Нужно думать, что именно ее послал Катенин Пушкину 7 июля 1835 г. с сопроводительным письмом, в котором писал: «...прошу без промедления издать и прилагаемую при сем басню, в которой не вижу зацеп для г-жи Ценсуры, разве что в иных случаях правда борется со властью; но это старая аксиома, всего сильнее выраженная у набожного Паскаля в его Lettres provinciales *, и, кажется, сказанное им не ставится в грех никому. Я своей басней вообще доволен, но жду суда умного со стороны, для уверенности, и прошу тебя мне сказать: тогда я тебе скажу, что думаю вообще о баснях». Кончается письмо Катенина опять упоминанием о той же басне: «Прощай, любезнейший Александр Сергеевич, и коли басня тебе доставит хоть миг удовольствия, расплатись письмом» [5].

---

* Письма к провинциалу (франц.).— У Катенина заглавие приведено неточно.— *Ред.*

На следующий день, 8 июля 1835 г., Катенин писал Н. И. Бахтину: «...посылаю нынче к Пушкину для напечатания басню: „Топор"»[6]. В связи с этим письмом к Бахтину понятным становится следующее место в письме Катенина к Пушкину от 7 июля: «Кантата: Сафо рисуется прелестно в воображении, так и манит; но без топора не рубят дров...». Слова «без топора не рубят дров» — это, как увидим дальше, цитата из посланной Пушкину басни «Топор».

Ответное письмо Пушкина к Катенину до нас не дошло, поэтому неизвестно, как распорядился Пушкин катенинской басней. До настоящего времени текст ее разыскать не удавалось, почему она и не вошла в редактированное мною новое издание стихотворений Катенина (в малой серии «Библиотеки поэта»). Только сейчас басня обнаружена мной среди бумаг А. А. Краевского в отделе рукописей ГПБ [7].

Обнаруженная рукопись представляет собою беловой автограф Катенина, без подписи и даты. В начале рукописи имеются две пометы. Первая — карандашом, неизвестной рукой: «Печатать». Вторая — чернилами: «Направление этой статьи довольно ясно; потому я не полагаю, чтобы можно было ее напечатать. А. Крылов».

В рукописи 43-й стих сперва был подчеркнут карандашом сбоку, карандашом же была сделана помета NB. Затем этот стих был резко подчеркнут пером и тут же была поставлена чернильная NB, и, наконец, стих был замаран чернилами — настолько густо, что окончательному прочтению не поддается.

Легко удается прочесть только рифмующееся окончание этого стиха «со властью». Этим, вероятно, пришлось бы ограничиться, если бы не цитированное письмо Катенина к Пушкину, где слова «разве что в иных случаях правда борется со властью» оказываются цитатой из басни «Топор», хотя и не вполне точной. Во всяком случае, несомненно, что словам «со властью» в автографе басни предшествовали слова «правда борется» (это подтверждается и самим автографом — в той мере, в какой можно догадываться о начертании отдельных букв в зачеркнутой строке). Таким образом, для полноты искомого стиха (по стихотворному размеру равного предыдущему, как явствует из рукописи) не хватает лишь одного односложного слова. Учитывая все обстоятельства — палеографические и грамматические,— условно читаем это слово как: **«Где»**.

Как видим, опасения Катенина, высказанные им в письме к Пушкину, оказались не напрасными: цензура «зацепилась» именно за тот стих, который самому автору казался сомнительным, несмотря на авторитет «набожного Паскаля».

Крылов, обративший внимание на крамольный стих,—это А. Л. Крылов (1798—1853), профессор Петербургского университета и цензор Петербургского цензурного комитета, по характеристике А. В. Никитенко — «самый трусливый, а следовательно, и самый строгий из нашей братии»[8].

Возникает вопрос: когда же именно басню Катенина постигло цензурное запрещение? А. Л. Крылов цензуровал вместе с А. В. Никитенко и В. Н. Семеновым литературные материалы, поступавшие в редакцию «Библиотеки для чтения», но цензурные визы в книжках журнала за 1834—1835 гг. подписаны только Никитенко и Семеновым. Зато в 1836 г. Крылов подписал цензурные разрешения на выпуск всех четырех томов пушкинского «Современника». Сохранилось несколько писем Крылова к Пушкину, в которых, между прочим, стихи именуются, как и в помете на автографе Катенина, «статьями» [9].

Таким образом, возможно, что Крылов читал басню Катенина в 1836 г. в числе материалов, предназначенных для «Современника». Вероятно, Пушкину в свое время не удалось напечатать басню в «Библиотеке для чтения» и он попробовал сделать это годом позже. В таком случае обнаруженная нами рукопись Катенина — та самая, которую он послал Пушкину в июле 1835 г., а первая карандашная помета на рукописи: «Печатать» — может быть, принадлежит Пушкину.

От Пушкина рукопись катенинской басни легко могла попасть в руки А. А. Краевского, который, как известно, в 1836 г. помогал поэту в издании «Современника», а после смерти Пушкина принимал участие в разборе и описи его бумаг и библиотеки. Как рассказывал П. А. Плетнев, бывали случаи, когда Краевский, выполняя поруче-

ние Пушкина, отправлялся к нему в кабинет и «выбирал из поступивших к нему рукописей, что получше и поинтереснее». Известно также, что второй том «Современника», составлявшийся и набиравшийся в отсутствие Пушкина, готовили П. А. Плетнев и В. Ф. Одоевский, при ближайшем участии Краевского[10]

Новонайденная басня Катенина характеризует его как поэта, и на закате литературной деятельности сохранившего верность своим убеждениям. Видный и активный участник декабристского движения на раннем его этапе, Катенин в тридцатые годы сохранял позу вольнолюбивого поэта, не склонившего головы перед победившей реакцией. Об этом ясно говорят такие его стихи, как «Старая быль», «Элегия», «Гений и поэт». Автор «простонародных баллад», явившихся в десятые годы наиболее ярким проявлением идей романтической народности в русской поэзии, Катенин и в позднейшем своем творчестве обращался к теме народной, крестьянской жизни («Дура», «Инвалид Горев»).

Басня «Топор» дополняет наше представление о Катенине, еще раз свидетельствуя о большой чуткости и глубоком сочувствии, с которым относился он к положению и нуждам крепостного крестьянина.

ТОПОР

БАСНЯ

Хозяин по́звал батрака,
И говорит ему: «Поленница у бани
К исходу вся; возьми же, брат Лука,
Без подрезов большие сани,
И запряги в них сивку да гнедка.
В лес поезжай, дров привези-ко новых;
Да сплошь валить по роще не моги:
Осиновых или сосновых
Не надо даром мне; их сколько ни сожги,
Все жару нет; руби на выбор чистых
Березовых, но не болотных мшистых,
А соковых, чтоб кожа их была,
Что называется, как лайка,
Тонка, гладка, бела:
Сам знаешь; с богом же, ступай-ка.
Ну! что стоишь? пора».—
«Хозяин батюшка, пожалуй топора».—
«Какого?
На что?» — «Дрова рубить».— «Не затевай пустого.
Всех у меня их два; один слывет: топор,
А гож колоть лучину;
Так стар и худ, что, молвить не в укор,
Иного косаря не стоит вполовину.
Мне ведь не жаль; возьми его,
Но им не срубишь ничего».—
«Пожалуй нового».— «Тебе бы и в охоту;
Да лих, я не затем купил
И рубль целковый заплатил,
Чтоб вдруг пустить в тяжелую работу:
Хорошее и надобно беречь».—
«Но чем я?..»—«Сказано тебе: пустая речь.
Мне слушать надоело.
Распоряжать — хозяиново дело;
Ты знай свое: язык на привязи держи,
И как велят, так и служи».—

«Служить — моя, вестимо, доля,
И рад я и готов;
Но,— вся твоя, хозяин, воля,—
Без топора не рубят дров».

*

Пусть так; но что ж из этих вышло слов?
Чем дело кончилось? К несчастью,
Чем все кончаются дела,
⟨Где⟩ правда борется со властью:
За гривну (у него одна лишь и была),
Бедняк Лука у бедняка соседа
Взял напрокат топор, поехал в лес, рубил
И, не щадя последних сил,
Без завтрака и без обеда,
Привез уж в сумерки дров добрую сажень.
И от хозяина сухое съел спасибо?
Хозяин побранил за лень:
Дрова не так ровны, а лошади весь день
Не ели, оттого что либо пьян он, либо
С природы глуп, как пень.
На первый раз прощается покуда;
Но если де вперед...
Тогда пойдет другой черед,
И не прожить ему без худа.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Пушкин, т. XVI, стр. 431.

[2] П. А. Катенин. Стихотворения. Под ред. Вл. Орлова. Л., 1954 («Библиотека поэта». Малая серия), стр. 232.

[3] Пушкин, т. XVI, стр. 26.

[4] П. А. Катенин. Стихотворения, стр. 233—235 и 311—312.

[5] Пушкин, т. XVI, стр. 38—39.

[6] «Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину». СПб., 1911, стр. 228.

[7] ГПБ. Архив Краевского. Д — 196.

[8] А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I. СПб., 1905, стр. 271.

[9] Пушкин, т. XVI, стр. 143.

[10] Вл. Орлов. Литературно-журнальная деятельность А. А. Краевского в тридцатые годы.— «Ученые записки Ленингр. гос. университета», № 76, 1941, стр. 27—28

НЕИЗВЕСТНАЯ ЭЛЕГИЯ В. П. ИВАШЕВА «РЫБАК»

Сообщение Ел. К. Решко

В. П. Ивашев принадлежит к числу тех декабристов, чье литературное творчество не дошло до наших дней.

Разносторонне одаренный человек, Ивашев писал стихи, переводил с французского, был художником и музыкантом, обладал способностями строителя.

Семья Ивашева тщательно собирала все, что относилось к его памяти. Его сестры сохранили переписку с сосланным братом. Собирали материалы о декабристе и дочери его, главным образом Мария Васильевна Трубникова[1], а впоследствии и внучки. До нас дошла обширная переписка декабриста и его семьи, охватывающая период с 1826 до 1841 г.[2] Отдельные письма отражают литературные вкусы Ивашева, раскрывают его духовный облик.

Дошли до нас и художественные работы Ивашева: виды Читы и Петровского завода, интерьеры тюремных камер и комнат в доме жены, автопортреты, а также планы Читинского острога и Петровской тюрьмы, исполненные акварелью, тушью, карандашом и сепией, планы и фасады дома в Туринске[3]. Сохранились варианты проекта памятника работы Ивашева для могилы его жены[4]; один из этих вариантов был использован для установления памятника в Туринске, где похоронен и сам декабрист.

Учился Ивашев живописи сначала дома, в Симбирске, потом в Москве и Петербурге. Есть основание предполагать, что для занятий рисованием ему помогло знакомство с А. Н. Олениным, президентом Академии художеств, в доме которого он бывал; с сыном Оленина, Алексеем, Ивашева связывала общая деятельность в Союзе Благоденствия.

Близкое знакомство Ивашева с условиями жизни учеников Академии дает основание думать, что он был неофициальным учеником[5]. И, наконец, его художественное наследие свидетельствует о серьезных знаниях основ живописи[6].

Иначе обстоит дело с литературным творчеством Ивашева. До нас не дошли ни стихи, ни поэмы, ни одно из его произведений, на основании которых можно было бы судить о силе дарования Ивашева, кроме публикуемой здесь элегии, положенннрй им на музыку. Между тем о литературной деятельности Ивашева известно из ряда источников. Обратимся прежде всего к его собственному свидетельству, ясно определяющему его основную склонность к литературе, хотя в это же время музыка и живопись занимают далеко не последнее место в его интересах. Так, в ответах Следственной комиссии Ивашев сообщает: «Я приготовлял себя к военной службе, но занимался довольно и словесностью»[7].

Ответ Ивашева указывает и время, с которого литература становится одним из любимых его занятий. Об этом имеется и другое свидетельство: «...ты знаешь, что ты был мой единственный учитель русской

литературы, и так мне очень бы интересно знать, все так ли согласны наши вкусы»,— пишет ему сестра в Сибирь [8]. Следовательно, литературой Ивашев занимался еще в Симбирске.

О поэтическом даровании Ивашева, проявлявшемся еще в додекабрьский период, мы узнаем из «Записок» А. П. Беляева, который сообщает, со слов самого Ивашева, что тот писал стихи своей будущей жене во время пребывания в отпуске в Симбирске [9].

Влияние на формировавшиеся литературные вкусы и мировоззрение Ивашева, приведшее его в Тайное общество, оказала, несомненно, та среда, в которой он вращался в петербургский период своей жизни. В 1815 г. Ивашев из Пажеского корпуса выходит корнетом в Кавалергардский полк, служба в котором сразу вводит его в круг будущих декабристов. Однополчанин Ивашева С. Н. Бегичев в 1817—18 г. принимает его в члены Союза Благоденствия, знакомит с Никитой Муравьевым, Грибоедовым, А. Н. Олениным. В доме Оленина Ивашев встречается с Кюхельбекером, М. П. Бестужевым-Рюминым и другими членами Тайного общества. Близко знаком был Ивашев с Н. М. Языковым и Н. И. Тургеневым, его соседями по симбирскому имению и родственниками [10]. Ивашеву Тургенев показывает свое вступление к Уставу «Ордена русских рыцарей»: «...написав $1^1/_2$ листа вступления к ⟨...⟩ покажу В. И.». Тургенева интересует и мнение Ивашева: «... был у В. И. и прочел ему вчера написанное. Ему нравится, мне также...» [11].

В 1819 г. Ивашев приезжает в Тульчин, где находится главная квартира 2-й Армии, уже как член Союза Благоденствия и сразу попадает в революционно настроенную среду людей, «...несравненно более моего занимавшихся по предметам политическим», как сообщает он Следственной комиссии. Здесь он читает политические сочинения русских и западноевропейских писателей и, по поручению Пестеля, делает из них выписки. «Занятие, данное мне, Барятинскому и Крюкову (адъютанту Главнокомандующего 2-й армии), состояло в выписке из сочинений Барюеля о Вейсхауптовом тайном обществе, и особенно возложено было на меня...»,— показывает он на следствии. Ивашев — первый читатель «Русской правды» и свидетель ее создания: «Читанное мною из сочинений Пестеля, в то время как я жил на его квартире, состояло из отрывков, касающихся устройства министерств...» [12]. В это время Ивашев становится одним из ближайших друзей Пестеля, который оказывает на него сильнейшее влияние. После Московского съезда и ликвидации Союза Благоденствия Ивашев, по свидетельству Пестеля, «...был из первых членов Южного общества, оставшийся и при решении продолжения оного в 1821» [13].

Но в Тульчине Ивашев интересовался не только политикой. О его литературных и музыкальных занятиях того времени образно свидетельствует А. П. Барятинский в «Послании Ивашеву» [14]. Барятинский упрекает Ивашева в небрежении к талантам и призывает к вдохновению:

О ты, кем Лафонтен легко переведен,
Тебя вниманием приветил Аполлон,
Ему твои стихи читать всегда приятно
(Ведь там, в жилище муз, и наша речь понятна!).
А сам старик-поэт в твоих словах живых
С восторгом узнает им сочиненный стих
И в мирных тех местах, где обитают тени,
Пленяется игрой повторных превращений.
. . . .
Так было... Но твое воображенье спит.
Стыдись! Пусть мой упрек тебя расшевелит.

В. П. ИВАШЕВ
Автопортрет. Рисунок тушью и карандашом, 1815—1824 гг.
Собрание Ел. К. Решко, Москва

А если, Ивашев, боишься ты цензуры —
Вот пианино! Сядь, коснись клавиатуры,
Забудь мои стихи и горький мой упрек
И звуков разбуди бушующий поток!

Указание на цензуру, которой должен бояться Ивашев, позволяет предполагать, что он писал уже в то время стихи, носившие «непозволительный» политический характер. Указания на сатирические элементы в творчестве Ивашева встречаются в декабристской литературе, в частности в «Записках» Д. И. Завалишина, который приводит отрывок из сатирической песни Ивашева, высмеивающей неудачный поход Дибича в Польшу в 1831 г.[15] К сожалению, вся песня целиком не сохранилась и дошла до нас только в отрывке.

В «Послании Ивашеву» черпаем мы и первые сведения о его музыкальных композициях:

По пестрым клавишам, не ведая преграды,
Умеешь прокатить ты громкие рулады
И, наконец, аккорд тяжелый уронив,
В молчании следить, как замер твой мотив.
Твои фантазии и дум твоих волненье
Внимающих тебе приводят в восхищенье.

И дальше:

...Ты радость светлых дум и грусть раздумий черных
Умеешь передать на клавишах проворных.
Упреки тщетные! Что толку сожалеть!
Душа твоя во сне, не станут струны петь.
Увы! Ты за столом давно сидишь уныло.
Перо твое в пыли, и высохли чернила.
Бумажные листы, сверкая белизной,
Давно нетронуты, лежат перед тобой.

Опершись на руку и опустив ресницы,
Ты взгляда своего не сводишь со страницы.
Другая же рука, как будто в забытьи,
Отстукивает вновь мелодии свои
По гладкому столу, сверкающему лаком,
Послушно следуя безмолвным нотным знакам.

О музыкальных композициях Ивашева упоминает в письме из Сибири и его жена. Она пишет, что любит слушать «импровизации Базиля»[16]. О музыкальном даровании Ивашева вспоминает и А. П. Беляев: «... он был ⟨...⟩ прекрасно образован и к тому еще обладал редким музыкальным талантом...»[17]. Игре на фортепиано Ивашев учился у знаменитого Фильда, среди учеников которого были М. И. Глинка, А. Н. Верстовский, А. Л. Гурилев, В. Ф. Одоевский и др. Фильд гордился Ивашевым как своим учеником. К сожалению, музыкальных произведений Ивашева не сохранилось, кроме публикуемой ниже композиции.

Из следственного дела Ивашева известно, что он читал и распространял среди тульчинских членов Южного общества политические «стихи вполне преступного содержания», которые получил от В. Л. Давыдова в Линцах в доме у Пестеля в 1824 г.: «... после ужина, читая разные новые стихотворения, Давыдов вынул наконец те ⟨...⟩, о которых он сказал мне ⟨...⟩, что эти песни привезены из Петербурга. Я имел глупость их списать и, приехав в Тульчин, ⟨...⟩ показал их Пушкину 1-му и дал ему списать»[18]. Ивашев добавляет, что, «кажется», сжег их.

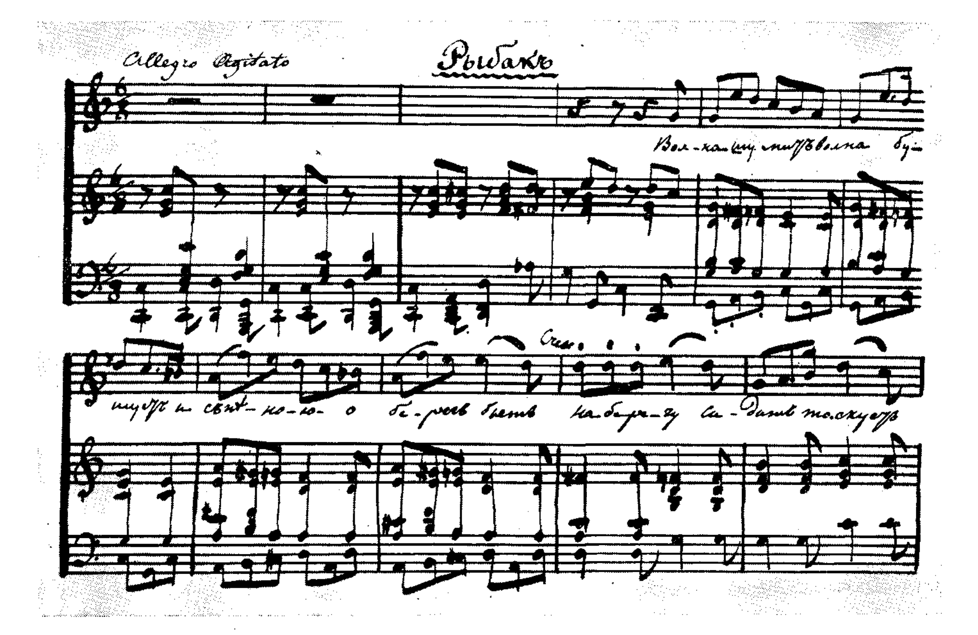
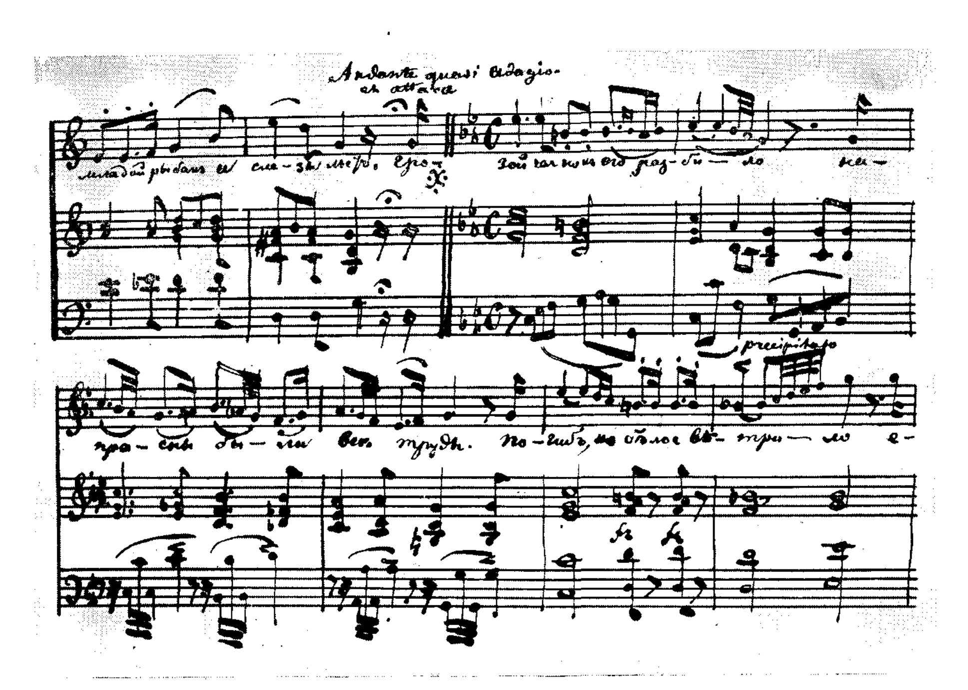
Если Ивашев сжег из осторожности не принадлежавшие ему антиправительственные песни, надо полагать, что он не пощадил и собственных стихов того времени, вероятно тоже имевших далеко не невинный характер. Естественно, что хороший конспиратор, скупо дававший показания Следственной комиссии[19], Ивашев в ожидании ареста уничтожил свои бумаги, с которыми, вероятно, погибли и его литературные произведения додекабрьского периода.

В читинской и петровской тюрьмах Ивашев поддерживает близкие отношения с Н. А. Бестужевым, Мухановым, Басаргиным, Одоевским, Беляевыми, Розеном, Пущиным, Волконским, Юшневским и другими декабристами, с которыми его роднят и сближают общность интересов, литературное и живописное творчество.

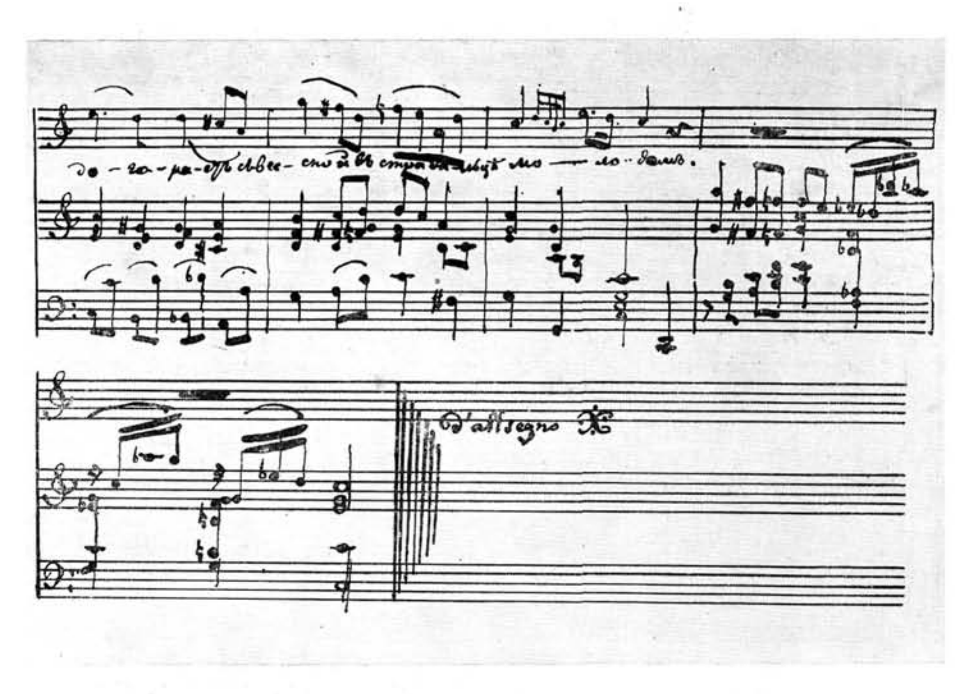
О литературной деятельности Ивашева периода каторги и поселения мы черпаем сведения из мемуарных источников. Так, Розен вспоминает: «Вдохновенными поэтами были у нас А. И. Одоевский, П. С. Бобрищев-Пушкин 2-й и В. П. Ивашев...». Он же сообщает о написанной Ивашевым большой поэме «Стенька Разин»[20]. Мы не сомневаемся, что поэма была окрашена политическими мотивами и из предосторожности уничтожена или самим Ивашевым или его товарищами.

Есть предположение, что Ивашевым написаны слова на музыку Пестеля. М. К. Азадовский обосновывает эту гипотезу тем, что среди ближайших друзей Пестеля поэтами были только Барятинский и Ивашев. Но Барятинский не писал стихов на русском языке. Автор названного стихотворения с предельным лаконизмом, в простых и скупых словах сумел выразить все величие спокойно ожидающего казни декабриста:

Заалел восток...
Зарей последней наслаждаюсь!
Пусть свершится рок,
Ему без спора покоряюсь
и т. д.[21]

Ивашев принимал также горячее участие в обсуждении и разборе произведений своих соузников. Об этом рассказывает А. П. Беляев,

АВТОГРАФ ЭЛЕГИИ «РЫБАК». МУЗЫКА И СЛОВА В. П. ИВАШЕВА, 1840 г.

Листы 1, 2

Центральный исторический архив, Москва

АВТОГРА ЭЛЕГИИ «РЫБАК». МУЗЫКА И СЛОВА В. П. ИВАШЕВА, 1840 г.
Листы 3, 4
Центральный исторический архив, Москва

вспоминая о таланте Одоевского: «Первыми его слушателями, критиками и ценителями всегда были мы с Мухановым и Ивашевым»[22].

На поселении в Туринске, куда Ивашев переехал с семьей в 1836 г., он много времени уделял музыке и живописи, а также литературной работе. По поручению отца он начал переводить на русский язык биографию Суворова, написанную Антингом с поправками П. Н. Ивашева, и привлек к этому Басаргина[23], но внезапная смерть Ивашева не дала ему закончить его труд. Работал Ивашев и над постройкой своего нового дома: «... по вечерам читаем ⟨...⟩, не то черчу свои планы и фасады...»[24].

Тяжелое душевное состояние Ивашева, вызванное смертью его родителей (в 1837 и 1838 гг.), подверглось новому потрясению, надломившему его здоровье,— в 1839 г. трагически скончалась его жена.

Но и в тяжелый год вдовства он не утрачивает способности к деятельности, хотя жизнь его явно угасает. По утрам он занимается чтением с пятилетней дочерью Машей, дает уроки на фортепиано дочери декабриста Анненкова Оле, остальное время до полудня пишет, читает, занимается живописью[25].

Оставшиеся после смерти Ивашева литературные, художественные и музыкальные произведения были увезены его родными из Сибири, а затем распылились и рассеялись. Е. П. Языкова жила в это время за границей и не могла воспрепятствовать расхищению бумаг брата, которые брали себе «на память» многочисленные родственники и знакомые. Часть осталась и в Сибири. Об этом свидетельствует Басаргин: «...у меня сохранились кое-какие бумаги и памятки покойного, которые будут для Вас драгоценными»,— сообщает он Языковой[26].

При публикации единственного сохранившегося поэтического музыкального произведения Ивашева мы не ставили себе целью дать исчерпывающий анализ его творческого наследия. Мы лишь дали краткий обзор литературной, художественной и музыкальной деятельности декабриста.

Публикуемый здесь автограф музыкальной композиции Ивашева в 1936 г. был передан автором этих строк в Гос. Литературный музей в Москве вместе с живописными произведениями декабриста и другими семейными реликвиями, почти целое столетие хранившимися у потомков Ивашева. Музыка и слова элегии «Рыбак» принадлежат Ивашеву. Первые строки элегии написаны под влиянием баллады Гёте «Рыбак», популярной в те годы в переводе Жуковского.

Приводим текст элегии:

РЫБАК

Волна шумит, волна бушует
И с пеною о берег бьет.
На берегу сидит, тоскует
Младой рыбак и слезы льет.
Грозой челнок его разбило,
Напрасны были все труды.
Погиб, но белое ветрило
Еще мелькает из воды.
То погрузится, то всплывает,
Как бы прощаясь с рыбаком,
Так пламень жизни догорает
С весной в страдальце молодом[27].

Подпись автора и дата в тетради отсутствуют. На обороте обложки сделана лишь надпись М. В. Трубниковой или Ек. К. Решко (внучкой декабриста): «Романс сочинения В. П. Ивашева». На листах альбома имеются водяные знаки 1819 года, которые отнюдь не определяют времени

написания романса. Вернее всего, что он был написан в последний год жизни декабриста (1840) и навеян смертью жены.

Композитор Ю. А. Шапорин, ознакомившись с произведением «Рыбак», нашел, что романс, написанный В. П. Ивашевым, «говорит о несомненной музыкальной одаренности декабриста. Мелодия этого романса широка и напевна. Гармония естественна и в то же время не лишена изобретательности».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Мария Васильевна Трубникова (1835—1897)— старшая дочь Ивашева, известная деятельница женского освободительного движения второй половины XIX в. О ней см.: О. К. Буланова. Три поколения. М.— Л., 1928, стр. 66—134.

[2] ЛБ. Письма Ивашевых. Отдельные письма находятся в гос. архивах и музеях СССР.

[3] Гос. Литературный музей (Москва). Отдельные работы — в музеях Москвы и Ленинграда, а также в моем собрании.

[4] Камилла Петровна Ивашева (рожд. Ле-Дантю) — род. в 1808 г., умерла в Туринске 30 декабря 1839 г. В 1933 г. памятник на могиле Ивашевых был неизвестно кем разрушен и сейчас восстановлен по фотографии.

[5] Письмо Ивашева к Е. П. Языковой от 29 ноября 1840 г.— ЛБ, М. 5790, л. 130—130 об.

[6] Об Ивашеве как художнике см. в статье М. Ю. Барановской «Художники-декабристы».— Сб. «Декабристы в Сибири». Новосибирск, 1952, стр. 192—193.

[7] ЦГИА, ф. № 48, д. 419 (Ивашева), л. 12.

[8] Письмо Е. П. Языковой к В. П. Ивашеву от 21 марта 1830 г. — ЛБ, М. 5782, л. 165 об.

[9] Беляев, стр. 218.

[10] Сестра декабриста, Е. П. Ивашева, была замужем за П. М. Языковым, братом поэта. С Тургеневыми же Ивашевых связывали близкие дружеские отношения и родственные узы — отец Н. И. Тургенева и отец В. П. Ивашева были двоюродные братья.

[11] «Архив Тургеневых», вып. 5, стр. 41 и 42.— По семейным преданиям известно, что «В. И.» — В. П. Ивашев. Такое же предположение высказано и А. Н. Шебуниным («Письма Тургенева», стр. 48).

[12] ЦГИА, ф. № 48, д. 419, лл. 12 об., 24, 27 об., 33 об.

[13] Там же, л. 46.

[14] «Epitre à Ivacheff. Quelques heures de loisir à Tulchin par le prince Bariatinskoy». М., 1824, стр. 10; сб. «Поэзия декабристов». Л., 1950, стр. 644—646 (перевод В. А. Рождественского), ранее—«Былое», 1926, № 1, стр. 11—12 (перевод Ф. К. Сологуба).

[15] Завалишин, стр. 273.

[16] О. К. Буланова. Роман декабриста. М., 1933, стр. 283.

[17] Беляев, стр. 219.

[18] ЦГИА, ф. № 48, д. 419, лл. 40 об.— 41. — Пушкин 1-й — декабрист Н. С. Бобрищев-Пушкин.

[19] Тщательное изучение следственного дела Ивашева позволяет определить основную линию, которой он придерживался во время допросов: сохранение конспирации. Ивашев дает очень расплывчатые и неясные показания, отговаривается незнанием, запамятованием, ссылается на долговременные отпуска. Но от ответственности Ивашев не уклоняется и просит считать его виновным наравне с другими: «В обвинение себе скажу, что я согласился на все сделанные тогда предложения и что не менее виноват других тут бывших членов,— наравне с другими виноват,если и решено даже было то, что теперь не помню...» (ЦГИА, ф. № 48, д. 419, л. 23).

[20] Розен, стр. 175.

[21] ЦГИА, ф. № 1463, оп. 1, ед. хр. 362 (на папке надпись: «Из архива Сабуровых»). См. также «Лит. наследство», т. 59, стр. 707.

[22] Беляев, стр. 206.

[23] П. Н. Ивашев (1767—1838) — бывш. начальник штаба Суворова, писал воспоминания о великом полководце. Отрывок из них опубликован в «Отеч. записках», 1841, т. XIV («Материалы для истории века Екатерины Великой. Из записок о Суворове»). У П. Н. Ивашева хранились и «своеручные записки гр. Суворова» (ЛБ, М. 5790, лл. 309—312.— Эти записки Суворова не дошли до нас).

[24] ЛБ. Письма Ивашевых. М. 5779, л. 33.

[25] Письмо Ивашева к Е. П. Языковой.—ЛБ. Письма Ивашевых за 1840 г. М. 5779, л. 122 (ср. О. К. Буланова. Указ. соч., стр. 357).

[26] Письмо Н. В. Басаргина к Е. П. Языковой от 4 апреля 1841 г.— О. К. Буланова. Указ. соч., стр. 371.

[27] ЦГИА, ф. № 1714, оп. 1, ед. хр. 1.— В автографе имеются нотные описки.

НОВОНАЙДЕННЫЕ ТЕКСТЫ И ПИСЬМА А. И. ПОЛЕЖАЕВА

I. ПОСЛАНИЕ ПОЛЕЖАЕВА Ф. А. КОНИ

Публикация В. И. Безъязычного

Среди бумаг известного водевилиста и журналиста Ф. А. Кони (1809—1879) нами обнаружен автограф стихотворения Полежаева «Федору Алексеевичу Кони», подписанный криптонимом «П...в» и имеющий помету «1832 года февраля 19 дня» [1].

Вероятно, это — ответ Полежаева на не дошедшее до нас стихотворение Кони, написанный поэтом-солдатом на Кавказе, в дни труднейшей зимней экспедиции в Чечню 1831—1832 гг. Именно к этому же времени относится и послание Полежаева к его московскому другу, А. П. Лозовскому («Бесценный друг счастливых дней...»), имеющее аналогичную помету («Крепость Грозная, 7 февраля 1832 г.»). Стихотворение «Федору Алексеевичу Кони» непосредственно примыкает к группе написанных в это же время произведений Полежаева («Демон вдохновения», «Раскаяние», а также отмеченное выше послание Лозовскому) — их объединяет манера напряженного лирического монолога с такой характернейшей для Полежаева стилистической особенностью, как большой период с применением лексических и синтаксических анафор. Упоминанию «гурий неги Гаафица» (то есть знаменитого персидского поэта Гафиза) близки образы древнеперсидских богов: Аримана и Оризмада в «Демоне вдохновения». Что касается эпиграфа на немецком языке, то это, очевидно, сделано в угоду склонности Кони к немецкой поэзии: «Кони, немец удалой»,— назвал его Д. Т. Ленский [2]. Это тем более вероятно, что для Полежаева характерны французские эпиграфы.

Ко всему сказанному следует привести некоторые неизвестные сведения о Кони периода его знакомства с Полежаевым, которые вносят в привычный литературный портрет водевилиста несколько новых штрихов, весьма характерных для человека, к которому опальный Полежаев обратился с дружеским посланием. Кони познакомился с Полежаевым, видимо, около 1825—1826 гг., когда поэт был слушателем словесного отделения Московского университета, а Кони — воспитанником благородного пансиона Чермака. На почве литературных и театральных интересов Кони уже в то время был близок с некоторыми студентами и слушателями университета, в числе которых были и приятели Полежаева. Так, например, известно, что Кони был связан тесной дружбой с Алексеем Галаховым, который в 1825 или 1826 г., будучи студентом, встречался с Полежаевым [3]. Другой фигурой, связывавшей Полежаева с Кони, мог быть Александр Ротчев, рано приобщившийся к московским литературным кругам.

Около 1826 г. Полежаев познакомился и с Лукьяном Якубовичем — поэтом, близко знавшим Кони. Сохранившиеся в бумагах будущего издателя «Репертуара и пантеона» списки некоторых стихотворений Полежаева, относящихся к этому времени, также могут служить одним из свидетельств знакомства Кони с их автором [4]. Когда по «высочайшей воле» Полежаев стал солдатом и в 1828 г. провел около года в заключении на гауптвахте Спасских казарм, молодежь близкого Кони круга живо интересовалась судьбой поэта и находила возможность получать от него стихотворения, написанные в каземате. В архиве Кони хранится тетрадка стихотворений Полежаева под следующим характерным названием: «Лира русского Шенье А. Полежаева»,

с посвящением: «Хороший приятель поэта приносит—как плод горестных часов, проведенных *в нетерпеливом ожидании* тебя из К.»[5]

В эти годы Кони, подобно многим представителям передовой московской молодежи, был настроен радикально. Столкнувшись в 1829 г. с одним из обычных в то время фактов бесчеловечного обращения с крепостными, он с горячим юношеским негодованием писал своему другу Галахову: «Нет, у негров, где люди продают друг друга в рабство, лучше, нежели у нас, в просвещенном европейском государстве, где рабство безмилосердно угнетает слабых, разрывает родство, отымает последнее у бедного!»[6] О вольнолюбивых настроениях молодого Кони свидетельствует и написанная им в ту пору пародия на официальный гимн «Боже, царя храни», в которой немало «дерзких» мыслей, вроде следующего обращения к «всевышнему»:

Чадо татарское,
Чванство боярское
Вздень на бревно![7]

В 1832 г., будучи вольным слушателем университета, Кони сочинил уничтожающий «Гимн в честь попечителя Московского университета Голохвастова» — одного из надежных проводников уваровской политики «оказенивания» науки. На копии этого гимна, написанного на французском языке, есть многозначительная позднейшая помета автора: «За что сам должен был покинуть университет, а товарищи пробыли лишний год»[8]. Обстоятельства вынужденного ухода Кони из университета неизвестны, но интересным и новым для характеристики друга Полежаева является то, что Кони был близок с поэтом Владимиром Соколовским, арестованным вместе с Герценом и Огаревым по делу «О лицах, певших пасквильные стихи» (1834).

Не подлежит никакому сомнению, что Кони был связан с членами кружков Герцена—Огарева и Соколовского, как и то, что цитировавшиеся выше сатирические куплеты Кони навеяны известными «пасквильными» сочинениями Соколовского. Сохранившиеся письма Соколовского к Кони, написанные всего за год до ареста их автора, позволяют предполагать, что друзья обменивались сокровенными мыслями, в том числе и на политические темы[9]. Как известно, Соколовский общался с Полежаевым в Москве зимой 1833/34 г.

Таков был Кони именно в те годы, когда он встречался с Полежаевым в Москве и мог переписываться с ним,— стихотворение «Федору Алексеевичу Кони», написанное на Кавказе, прислано поэтом или самому адресату, или передано через кого-либо из общих знакомых, с которыми опальный поэт поддерживал связь. По возвращении с Кавказа в Москву летом 1833 г. Полежаев встречался с Кони вплоть до переезда последнего в Петербург в 1836 г.; несомненным подтверждением этого служит запись четверостишия в альбом Кони, сделанная им вместе с Якубовичем[10].

Все это рисует молодого Кони передовым человеком, идейно близким Полежаеву. Конечно, за свою долгую жизнь Кони проделал весьма характерную для российских либералов эволюцию — от «продерзостных» сочинений и бесед на политические темы с завтрашними «государственными преступниками» до верноподданнических виршей в честь царя-«освободителя», до злобного выпада против Чернышевского[11].

Но важно отметить, что «на заре туманной юности» Федор Кони, подобно многим своим современникам, был настроен если не революционно, то во всяком случае безусловно прогрессивно, что он искал встреч и знакомств с такими людьми, как опальный Полежаев, *посвятивший ему задушевное послание, впервые публикуемое ниже.*

ФЕДОРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ КОНИ

Was sein soll—muss geschehen!*

Я не скажу тебе, поэт,
Что греет грудь мою так живо,
Я не открою сердце,— нет!
И поэтически, игриво,

* Чему быть — того не миновать! (нем.

Я гармоническим стихом,
В томленьи чувств перегорая,
Не выскажу тебе о том,
Чем дышит грудь полуживая,
Что движет мыслию во мне,
Как глас судьбины, глас пророка
И часто, часто* в тишине
Огнем пылающего** ока
Так и горит передо мной!
О, как мне жизнь тогда светлеет!
Мной все забыто — и покой
В прохладе чувств меня лелеет.
За этот миг я б все отдал,
За этот миг я бы не взял
И*** гурий неги Гаафица —
Он мне нужнее, чем денница,
Чем для рожденного птенца
Млеко родимого сосца!

Так не испытывай напрасно,
Поэт, волнения души,
И искры счастия прекрасной
В ее начале не туши!
Она угаснет — и за нею
Мои глаза закрою я,
Но за могилою моею
Еще услышишь ты меня.
Лишь с гневом яростного мщенья
Она далеко перейдет,
А все врага найдет
В веках грядущих поколеньях!

1832 года февраля 19 дня П . . . в

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ИРЛИ, ф. № 134, оп. 5, ед. хр. 177 («Неизвестных авторов стихотворения»), л. 27—27 об.

[2] Д. Т. Ленский. Эпиграммы, шутки, послания.—«Русская старина», 1880, № 10, стр. 449.

[3] И. А. Шляпкин. Заметка об А. И. Полежаеве.— «Русский библиофил», 1913, № 3, стр. 2—3.

[4] Например, «Новая беда» и «Рассказ Кузьмы или вечер в Кенигсберге (истинная повесть в стихах)», извлеченные из бумаг Кони В. В. Барановым (А. И. Полежаев. Стихотворения. М.—Л., «Academia», 1933, стр. 140—142, 322—339, 614, 635, 686).

[5] ИРЛИ, ф. № 134, оп. 5, ед. хр. 167.

[6] Там же, ед. хр. 31, л. 28 (письмо от 25 июня 1829 г.).

[7] Там же, ед. хр. 13, л. 6 об.

[8] Там же, ед. хр. 9, лл. 1—2.

[9] О близкой дружбе Кони с Соколовским свидетельствуют два письма Соколовского, хранящиеся в ИРЛИ (ф. № 134, оп. 5, ед. хр. 101). В письме, имеющем помету «28 марта 1833 г. Село Троицкое» (Мещовского уезда Калужской губ.), есть любопытная поправка Соколовского: «Не думай, однако ж, чтобы на этот раз было что-нибудь политическое...». Написав это, Соколовский, вероятно из опасения перлюстрации письма, исправил «политическое» на «литературное».

[10] См. ниже, стр. 614.

[11] «Н. Г. Чернышевский в донесениях агентов III Отделения (1861—1862)».— «Красный архив», 1926, № 1, стр. 121.

---

* *Первоначально*: что-то

** *Первоначально*: сверкающего

*** *В автографе описка*: Ни

II. «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ» НЕИЗВЕСТНЫЙ ОТРЫВОК ИЗ ПЕРЕВОДА ПОЛЕЖАЕВА

Публикация В. В. Баранова

Гонения цензуры на стихи Полежаева своим упорством и фанатизмом превосходят преследования, выпавшие на долю произведений его современников. Значительная часть литературного наследия Полежаева была замурована в недрах цензурного архива.

Каждый сборник произведений Полежаева подвергался цензурным гонениям. Запрещалось все, что выходило из-под его пера, и преждевременная смерть поэта не прервала, а, напротив, усилила травлю. Копии рукописей, сделанные другом его А. П. Лозовским, списки, не один раз представлявшиеся в цензуру их владельцами, скапливались в архиве Московского цензурного комитета, расходились по рукам, частью терялись, частью уничтожались. Такова судьба стихотворений, которые поэт в три последние года своей жизни, ценою некоторых уступок цензуре, стремился донести до читателя [1].

Более четверти всего известного нам литературного наследия Полежаева — художественные переводы. Им переведено свыше двадцати крупных стихотворений французских поэтов, принадлежащих к разным литературным направлениям: стихи Ламартина, Гюго, Панара, Делавиня и, наконец, Легуве. Переводы эти, в большинстве своем исполненные мастерски, не оценены, однако, критикой по достоинству. Существующую оценку следует признать поверхностной, условной и противоречивой [2].

* * *

Во всех изданиях сочинений Полежаева, начиная с издания Солдатенкова 1857 г. и кончая изданием Гослитиздата 1955 г., печатались два отрывка из поэмы французского поэта Легуве под заглавием «Последний день Помпеи» и небольшой, но очень выразительный отрывок из его же поэмы «Фалерий».

Обе драматические поэмы («La mort de Pompé» и «Fhalère») принадлежат французскому поэту-романтику Эрнесту Легуве (1807—1903) и входят в первый сборник его драматических поэм «Странные смерти» («Morts bizarres». Paris, 1832) [3].

Оба перевода, выполненные Полежаевым, свидетельствуют о том, что страстный интерес поэта к истории и литературе древнего Рима не исчез за двенадцать лет тяжелой военной службы. Образ Спартака, созданный поэтом в стихотворениях «Рок», «Видение Брута», «Марий», получил дальнейшее развитие в «Кориолане» (1834), большой поэме из римской жизни.

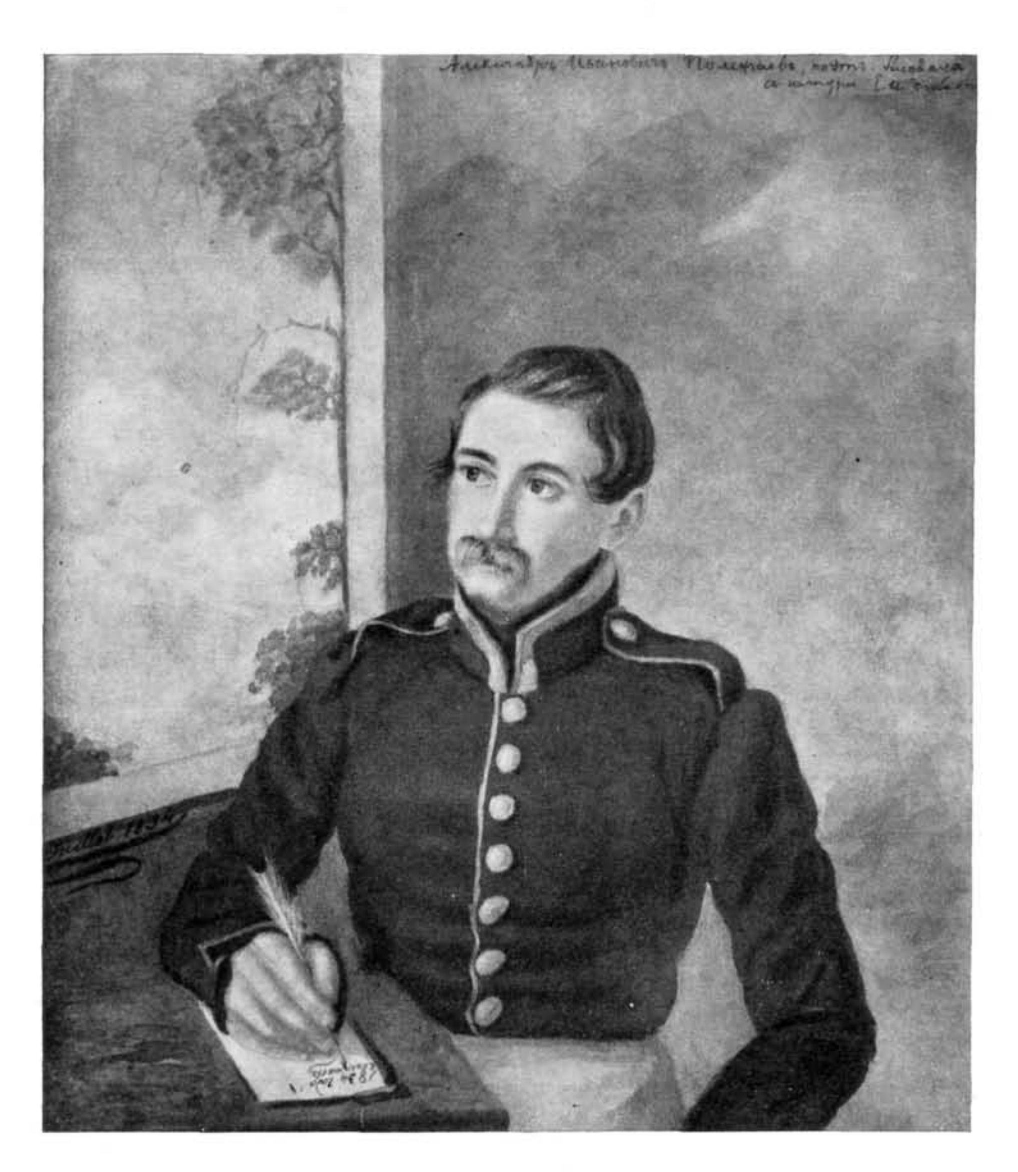
Вполне понятно, почему именно отдал предпочтение Полежаев названным поэмам среди других поэм Легуве: тема древнего Рима органически входила в круг давних интересов поэта, общих с интересами поэтов-декабристов, воспевавших политическую свободу и героизм римлян. К тому же картины смерти в этих поэмах Легуве соответствовали настроениям последних лет жизни Полежаева. Всего лишь полгода назад, в 1837 г., Полежаев создал цикл стихотворений «Венок на гроб Пушкина». Элегический эпилог «Последнего дня Помпеи» звучал как погребальная песнь, написанная поэтом себе самому.

Однако был и еще один стимул для этого выбора. Не подлежит сомнению прямая связь труда Полежаева с картиной К. П. Брюллова «Последний день Помпеи».

Прежде всего в самом названии поэмы Полежаев отступил от подлинника. В подлиннике поэма называется «Смерть Помпеи» («La mort de Pompé»).

Творчество Полежаева никогда не питалось абстракциями, порожденными поэтическим воображением, оно всегда было связано с реальной действительностью. Таково же было и творчество Полежаева-переводчика.

В первой четверти XIX в. в Италии начались раскопки древних городов, погибших в 79 г. до н. э. в результате сильного извержения Везувия. Катастрофа у Неаполитанского залива, прекратившая существование цветущих городов Геркуланума и Помпеи,



А. И. ПОЛЕЖАЕВ

Акварель Е. И. Бибиковой, июль 1834 г.

На портрете надпись неизвестной рукой: «Александр Иванович Полежаев, поэт. Рисовала с натуры Е. И. Бибикова»

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

впоследствии сделалась предметом внимания деятелей всех видов искусства. Итальянский композитор Пачини написал оперу «Ultima giorna di Pompei», Брюллов создал свое знаменитое полотно, а Легуве — драматическую поэму.

Картина Брюллова была закончена в 1834 г. и пользовалась в Риме огромным успехом. В том же году она была привезена в Петербург. В декабре 1835 г. Брюллов приехал в Москву и пробыл там несколько месяцев. Журналы, письма, мемуары современников свидетельствуют о восторженном приеме, оказанном художнику жителями обеих столиц. Появились воспроизведения знаменитой картины, в их числе известная литография Разумихина. Пушкин откликнулся на это событие художественной жизни стихами «Везувий зев раскрыл...».

Вполне естественно, что Полежаев, поэт с ярко выраженным общественным темпераментом, не остался чужд этому увлечению. К тому же среди молодых московских художников, сопровождавших великого мастера, были знакомые Полежаева: А. С. Ястребилов, Е. Д. Тюрин, Е. И. Маковский[4].

* *
*

Два известных ранее отрывка из перевода Полежаева—это введение и заключительная часть (эпилог) поэмы «Смерть Помпеи»[5]. Найденные отры[illegible], общим объемом в 88 стихов, представляют собою средние звенья поэмы.

Драматические картины «Смерти Помпеи», входящие во франц[illegible]ский оригина[illegible], следуют друг за другом в таком порядке:

1. Введение.
2. Плиний и Везувий.
3. Господин и раб в банях.
4. Невеста и жених.
5. Заблудившееся дитя.
6. Отец и сын.
7. Человек.
8. Заключение (эпилог).

В представленной в цензуру рукописи поэмы мы обнаружили два из шести недостающих звеньев перевода[6].

Успел ли Полежаев перевести «Фалерия» и «Смерть Помпеи» целиком? Существует ли где-нибудь полный список перевода или автограф? Найдутся ли когда-нибудь черновики отдельных картин «Последнего дня Помпеи», разошедшиеся по рукам случайных поверенных поэта и его кредиторов? Ответа на эти вопросы пока еще нет.

Ниже печатаются все известные до настоящего времени фрагменты переведенного Полежаевым текста в том же порядке, как и в подлиннике. Строки, публикуемые впервые, набраны крупным шрифтом.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ

(Из Легуве)

Печальна и бледна, с высокого балкона,
В полночной тишине внимала Дездемона
Напеву дальнему беспечного гребца,
И взор ее искал гондолы невид´мой,
С которой тихий звук гармонии любимой
К ней долетал, как звук пернатого певца.

И грустная, она блуждающее око
Вперяла на ладью, мелькавшую далеко
В пространстве голубом, над сонною волной,
Лишь изредка во мгле звездою озаренной,
Как будто мрак души, внезапно освещенный
Надежды и любви отрадною мечтой.

Все скрылося; она была еще вниманье...
Неистовой любви безумное страданье
Приходит ей на мысль — на арфе золотой
Поет она судьбу Изоры несчастливой.
И ей ли не понять тоски красноречивой,
Когда она поет удел свой роковой?
Потом, напечатлев, с улыбкою прощальной,
Лобзанье на челе наперсницы печальной,
«Прости!» — сказала ей, с слезою на очах,
И после, предана неизъяснимой муке,
Воздела к небесам младенческие руки
И пала пред лицом всевышнего во прах...

И, полная надежд и тайных ожиданий,
Отрады и тоски, молитвы и страданий,
На ложе мрачных дум и девственной мечты
Идет она, склонив задумчивые взоры —
И долго, долго тень унылая Изоры
Вилася над главой уснувшей красоты.

И как спала она в беспечности небрежной!
Как ласково у ней по груди белоснежной
Рассыпалась волна гебеновых кудрей,
Как пышно и легко покровы золотые
Лелеяли и стан, и формы молодые —
Создания любви и пламенных страстей!..

Порой мятежный сон тревожил Дездемону;
Она была в огне, и вздох, подобный стону,
Невольно вылетал из трепетной груди,
И яркая слеза, как юная зарница
В туманных небесах, скатившись по реснице,
Скользила и вилась вокруг ее руки.

Прорезав облаков полночных покрывало,
Казалося луна с участием взирала
На бледные черты прекрасного лица,
Как бы на памятник безвременной могилы
Или на горлицу, уснувшую уныло
Под сетью роковой жестокого ловца...

О, как она была божественно прекрасна,
Руками белыми обвивши сладострастно
Лилейное чело, как греческий амфор!
Как трогательно все в ней душу выражало,
Как все вокруг нее невинностью дышало —
Кто мог бы произнесть ей грозный приговор?..

И вдруг глубокое молчанье
Прервал глухой, протяжный гул,
Как будто крылья размахнул
Орел на бранное призванье,
Иль раздалось издалека
Рыканье тигра роковое,
Который бил, от злобы воя,
Громады знойного песка.
То был Отелло, мрачный, дикий,
Вошедший медленно в покой,
Бродящий с страшною улыбкой

Вокруг страдалицы младой.
Внезапный шум во мраке ночи
Тогда извлек ее от сна;
Подняв чело, открывши очи,
Невинной роскоши полна,
Еще с печалью сновидений
На отуманенном челе,
Полна тоски и наслаждений,
Как юный ангел на земле,
Она глядит и видит... Боже!
Свирепый, бледный, как злодей,
Бросая мутный взор на ложе,
Стоит Отелло перед ней,
Отелло с сталью обнаженной,
Отелло с молнией в очах,
Отелло с громом на устах:
«Погибель женщине презренной!..»
Бледна, как смерть, она встает —
Бежит, но он рукой железной
Предупреждает бесполезный
И поздновременный уход;
Бессильную, полуживую,
Ожесточенный не щадит,
И будто жертву молодую
На ложе брачное влачит...
Напрасны слезы и моленья;
Напрасно, в власти у врага,
Стан, полный неги, наслажденья,
Вился и бился как волна...
Не слышит он ее стенанья:
Он душит мощною рукой
Красу подлунного созданья,
И Дездемона — труп холодный и немой.

Так некогда, дыша прохладой ночи ясной,
Под небом голубым Италии прекрасной,
Внимая шуму волн на берегу морском,
На ложе из цветов, под миртовою тенью
Раскинута и вся предавшись наслажденью,
Помпея юная была объята сном.

Под ризой вечера в груди ее высокой
Рождался иногда протяжный и глубокий
Стон девственной мечты и тихо замирал;
И влажный блеск садов ее ветвистых,
Как будто бы венком из волосов душистых,
Прелестное чело ей пышно осенял...

О, как была она в рассеяньи приятном,
Похожа на звезду под небом благодатным,
Простертым с роскошью над ней!
С какою негой прихотливой
Ей навевал зефир ревнивый
На очи тишину и мирный сон детей!

О, как была она беспечна и покойна
Над влагою морской, раскинутою стройно
Под золотом луны, вокруг ее дворцов,

СМЕРТЬ ПЛИНИЯ
Сепия П. В. Басина, 1830-е гг.
Русский музей, Ленинград

Над этой влагою прозрачно голубою,
Одетою, как дух, огромной пеленою
Из мрака, туч и облаков.

О, пробудись, несчастное созданье!
Проснись — ужель не слышишь ты
Подземной бури завыванье
Под страшной ризой темноты?
Смотри, смотри — во мраке ночи
Зарделись огненные очи;
Повсюду гул, и гром, и звук...
Беги! То он, неодолимый,
Никем в боях непобедимый,
Волкан — твой пагубный супруг!..

Вот, озаряя свод надзвездный,
Встает огромный великан
Над истребительною бездной;
Взмахнул, как сильный ураган,
Своими жгучими крылами;
И смертоносными руками
Готовясь землю охватить,
С кровавым и отверстым зевом,
Пылая яростью и гневом,
Тебя идет он поглотить!..
Увы, несчастная Помпея!
Напрасно бледная, в слезах,
Ты извиваешься в когтях
Убийцы — огненного змея!
Как дикий лев, рассвирепев,
Играет он своею жертвой
И над бездушной, полумертвой,
Возлег, открыв широкий зев...
Его огни, как море, плещут
И, разливаясь, грозно мещут
Везде отчаянье и страх;
И пожирает ярый пламень
Кристалл, и золото, и камень,
Сверкая в молнийных лучах...

. . . .

Но я не на челе развалин драгоценных,
Но на челе существ, умом одушевленных,
В которых жили мысль и чувства и сердца,
Хочу узреть следы свирепого бойца!
На них он отразил с суровостью печальной
Чертами дивными свой ужас гениальный.
Что падший памятник!.. Разрушенный кумир
Но мертвое чело: идея, целый мир!..
О, дайте ж мне среди грозы и разрушенья
Искать у мертвецов восторга вдохновенья
И кистью слабою, но резкой и живой
Представить страшный вид картины роковой,
Унылой, горестной, великой, безотрадной,
Которой рамой был Везувий кровожадный!..
Взгляните ж, — в дымных облаках,
Вот мать с младенцем на руках!
Едва залог любви прекрасной,

Невинный сын увидел день,
Как разлилась над ним ужасно
И навсегда ночная тень.
Еще младенческие звуки
В его устах не раздались;
Ни разу трепетные руки
Вокруг родной не обвились;
Еще сама она впервые
Лобзала очи голубые
Кумира нежности своей
И, превратясь в очарованье,
Его невинное дыханье
Пила с блаженством матерей...
Как вдруг вулкан, суровый, дикий,
Завыл над светлою четой —
И мир ее души с любовью и улыбкой,
С слезою на очах и ласкою немой
Угас, как метеор, под ризою ночной!
А он, ручей блестящий и прозрачный,
Едва волну свою развил,
Едва хотел нестись долиной злачной,
Как первый вопль его уже последним был!
И так, унылый вид печали безнадежной,
Вид женщины с убитою душой,
Лишенной счастия быть ма́терью нежной,
Невинное дитя, сраженное судьбой
При гибели несчетного народа,
Вулкан обрушенный, как страшная невзгода,
На робкую главу, весенний цвет земли,
Которого б крыле зефиры унесли,
Все это для меня ужаснее паденья
Высоких пирамид, богатых городов.
Их вызовет опять для будущих веков
Великий гений просвещенья!
Воскреснут мрамор и гранит —
Их оживит могучее воззванье,
Но кто ей, матери, кто первое лобзанье
Младенца-сына возвратит?

КАРТИНА 1-ая

Плиний и Везувий

Плиний

Блистай еще, греми, Везувий ненасытный,
Открой твоих богатств источник любопытный!

Везувий

Довольно для тебя разрушенных дворцов,
Бунтующих стихий и пламенных валов,
Разлитых, как моря, между развалин диких!

Плиний

О, нет, во глубину пучин твоих великих
Проникнуть должен мой неустрашимый взор —
Увижу, оценю чудес твоих собор!..

Везувий

Несчастный, удались!

Плиний

Но кто ж тебя опишет?

Везувий

Смотри — мое жерло огнем и пеплом дышит!

Плиний

Я опишу их!

Везувий

Прочь, пока твое чело
Кипучей лавою еще не обожгло.

Плиний

Так в ней я омочу перо мое живое
И в книге разолью, как пламя огневое!

Везувий

Смотри: мильон огней я сыплю на тебя!..

Плиний

Еще!.. Везувий, вновь!.. Зевес, как счастлив я!
Заметил дым густой из пропасти безмерной,
Поднявшись, разливал над нею запах серный,
Как ель высокая, он в воздухе стоял,
Блеск молний...

Везувий

Так умри⟨ж⟩ на ребрах этих скал!..

Плиний

Еще, Везувий, вновь! Диктуй! Я продолжаю!.

Везувий

Надменную главу я снова поражаю!

Плиний

Я ранен! Кровь бежит из ран моих ручьем...
Но пусть! Иду к тебе!.. Я снова над жерлом!
Везувий!.. Я беру окровавленный камень.

(пишет)

Он черен и горяч... его извергнул пламень!

Везувий

Ты дальше не пойдешь.

Плиний

Быть может.

Везувий

Я сказал:
Ты дальше не пойдешь!..

Плиний

Но все ли я узнал?

. . . .

Когда в последний раз бесчувственные вежды
Сон вечный тихо осенит,
То облачают труп в печальные одежды,
И в гробе роковом ничто не говорит,
Кого скрывает он под черной пеленою;
Лишь руки, на груди лежащие крестом,
Колено, голова, рисуемые стройно
Прозрачно-тонким полотном,
Вещают в тишине, что гость его покойный
Был некогда с душой. Так точно и вулкан,
Как будто удручен печалию немою,
Помпею облачил в дымящийся туман
И скрыл ее чело под лавой огневою...
И где величие погибшей красоты?
Все пепел, уголь, прах — все истребили боги!
Кой-где, освободив главу от пыльной тоги,
Разбитый храм унылые мечты
Наводит и гласит, как голос эпопеи:
Здесь прах Помпеи!..

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О судьбе прижизненных изданий Полежаева и о роли в ней А. П. Лозовского см. статью В. И. Безъязычного «А. И. Полежаев и царская цензура (Из истории издания произведений Полежаева в 30-е годы XIX в.)». — «Научные труды Моск. заочного полиграфического института», вып. 3, 1955, стр. 59—73.

[2] См., например, статью Е. А. Боброва «Полежаев как переводчик».— «Русский филологический вестник», 1903, № 1-2.

[3] Всего в сборнике «Morts bizarres» восемь произведений: пять драматических поэм и три лирических стихотворения. Только две драматические поэмы посвящены жизни древнего Рима.

[4] Знакомство Полежаева с живописцем А. В. Уткиным и литографом А. С. Ястребиловым дает право говорить о связях поэта со средой московских художников. А. С. Ястребилов сделал отличный литографированный портрет Полежаева, приложенный к сборнику «Кальян». Согласно устному преданию, ястребиловская литография исполнена по портрету А. В. Уткина, где Полежаев изображен рядовым. Однако на литографии Ястребилова Полежаев представлен в мундире унтер-офицера — очевидно, Ястребилов исполнил ее в 1833 г., уже после возвращения поэта с Кавказа.

[5] Первые 156 строк поэмы, вступление и эпилог, набранные петитом, напечатаны в издании 1857 г. Для полноты впечатления мы воспроизводим их снова. Эпилог под странным названием «Кар...а» был напечатан также в изуродованном цензурой сборнике Полежаева «Часы выздоровления». М., 1842, стр. 65—67.

[6] Моск. обл. архив, ф. № 354 (Моск. цензурного комитета), 1838 г., д. 37. 2. 190. Рукопись, тетрадь в четвертую долю листа,—повидимому, извлечение из тетради большего объема: нумерация страниц сделана рукою Полежаева. В тетради 18 листов без водяных знаков. Вверху титула надпись: «Г. цензору Снегиреву. № 190. Поступила апреля 15 дня 1838 года. „Последний день Помпеи“». На обороте титула, то есть первого листа, написано: «Представлено от управляющего г-на Евреинова Егора Макарова Баркова, живущего в доме купца Логинова на Тверской улице. 1838 апреля 12 дня». Тут же рукою цензора И. М. Снегирева: «Мая 19, 1838 г. Ценсор и кавалер Иван Снегирев». На об. л. 18 зачеркнуто: «Картина II — Невеста и жених».

Как видно из описания тетради, она была продана поэтом отставному кавалерийскому офицеру Павлу Николаевичу Евреинову, так же как и другая тетрадь «Из Виктора Гюго», что с очевидностью явствует из цензурных надписей на титулах обеих тетрадей. Доверенным лицом Евреинова был его дворовый, Егор Макаров Барков.

О Евреинове и Баркове см. также указанную статью В. И. Безъязычного, стр. 65—66.

III. ПИСЬМА ПОЛЕЖАЕВА К Л. А. ЯКУБОВИЧУ

Публикация Т. Г. Динесман

Николай I отдал Полежаева в солдаты, чтобы пресечь его политическое влияние. Солдатчина не только убивала творческие силы поэта, но и разрушала его связи с друзьями. Вот почему исследователи жизни Полежаева располагают лишь скудными источниками для выяснения его биографии. Полежаев жил в казарме, подвергался всем жестокостям казарменного режима, к тому же его постоянно переводили с места на место. Бумаги Полежаева либо утеряны во время переездов, либо изъяты во время обыска. Материалы для биографии поэта ограничиваются несколькими официальными документами, некоторыми автобиографическими подробностями, рассеянными в его произведениях, да небольшим числом воспоминаний, ценность которых значительно снижается тем, что почти все они написаны людьми, не знавшими поэта близко. Наиболее же существенный для биографа источник — переписка — считалась до сих пор утерянной полностью.

При такой скудости биографических данных о Полежаеве два письма его, полученные в 1951 г. Государственным Литературным музеем в дар от П. А. Дубровского [1], приобретают особый интерес. Во-первых, это *единственные дошедшие до нас письма поэта*. Во-вторых, датированы они 1836 годом и относятся к пребыванию Полежаева в Калужской губернии и в Москве, то есть к последнему, наименее изученному периоду его жизни. До сих пор сведения о времени и обстоятельствах пребывания Полежаева в Калужской губернии основывались только на официальных данных о дислокации Тарутинского Егерского полка, в котором он служил с 1833 г.[2] Кроме того, известно, что стихотворение «На память о себе» написано Полежаевым во время его двухдневного пребывания в г. Мещовске (Калужской губ.) для И. Ф. Чупрова, смотрителя местного духовного училища [3], а два сатирических стихотворения [4] — в Жиздринском уезде; но эти сведения мало что дают биографу. Безуспешные попытки исследователей разыскать какие-либо новые данные о жизни Полежаева в Калужской губернии дали основание полагать, что на освещение этих лет жизни поэта вряд ли можно рассчитывать [5]. Очень мало известно и о последних годах жизни Полежаева в Москве. Документы о производстве в унтер-офицеры [6], воспоминания В. И. Ленца в передаче К. Н. Макарова [7], рассказ А. И. Герцена в «Былом и думах»[8] и воспоминания Е. А. Дроздовой-Комаровой в передаче Е. М. Белозерского [9] — вот основные источники, которыми располагают биографы. Публикуемые нами письма Полежаева не только содержат фактические данные об этом периоде его жизни, но до некоторой степени освещают личность самого поэта и дают материал для выяснения его дружеских связей, о которых до сих пор не было известно почти ничего.

«Луциан» или «Люциан» (к нему обращены письма) — один из друзей Полежаева, поэт Лукьян Андреевич Якубович. Утверждать это позволяют следующие данные. В «Записках» И. П. Сахарова есть упоминание о том, что Якубович был дружен с Полежаевым [10]. Ему же посвящены два стихотворения Полежаева: перевод думы Ламартина «Восторг» (1826) и «Прощанье с жизнью» (1835). Это уже дает некоторые основания полагать, что «Луциан» и Лукьян Якубович — одно лицо. Окончательно подтверждают наше предположение два факта. Во-первых, сообщение самого Полежаева в одном из писем о своем приезде в калужское имение родителей «Луциана» и упоминание имени его отца — Андрея Федоровича. Известно, что Лукьян Якубович был сыном литератора Андрея Федоровича Якубовича, который с 1817 г. служил в Калужской губернии и владел там небольшим имением [11]. Во-вторых, упоминание о предполагающемся издании стихов «Луциана»: именно в это время Якубович занимался подготовкой к печати сборника «Стихотворения», который вышел в свет в Петербурге в начале 1837 г.

Л. А. Якубович (1805—1839) окончил Московский Благородный пансион в 1826 г. и с 1828 г. начал печататься в «Атенее» М. Г. Павлова, затем в «Галатее» С. Е. Раича. Позднее стихи его постоянно появлялись на страницах многих журналов и альманахов: в «Телескопе». «Молве», «Литературной газете»; встречаются они даже в «Современнике» Пушкина. В 1837 г. вышел сборник стихотворений Якубовича.

Гражданинъ Лукіанъ!

Наканунѣ выступленія Тарутин-
скаго полка изъ Жиздры, я получилъ
твое позволеніе лично явиться
къ тебѣ въ Сосновку.— Надобно
думать что весь [illegible] Ту-
[illegible] принадлежитъ тебѣ, потому
что на каждой верстѣ встрѣчаешь
деревни и села подъ названіемъ
Сосновка — Наконецъ отыскиваю
истинную, скачу къ тебѣ и незастаю
дома — Знаешь ли что скажу тебѣ?
Я ничего о томъ незнаю: Когда
[illegible]

къ Стрижевымъ я еще неписалъ и
незнаю что о [illegible] касающемся
до меня [illegible]
[illegible] — Сдѣлай одолженіе пере-
дай меня поскорѣе [illegible]
Марьѣ [illegible] и Марьѣ [illegible]
больше — мнѣ пріятно все что [illegible]
[illegible] сторонѣ: [illegible]
[illegible]! — Прощай — [illegible]
[illegible] люди, которые [illegible]
[illegible]! — А. Полежаевъ
1836 г. февраля [illegible] —
Сосновка. —
[illegible] vis-à-vis — запертаго кабинета человѣка [illegible] —

NB. [illegible]

АВТОГРАФ ПИСЬМА А. И. ПОЛЕЖАЕВА К Л. А. ЯКУБОВИЧУ ОТ ФЕВРАЛЯ 1836 г.
Листы первый и последний
Литературный музей, Москва

По свидетельству И. И. Панаева, Якубович «пользовался <...> между журналистами и издателями альманахов значительной известностью. Без его стишков не обходился почему-то ни один журнал, ни один альманах» [12]. Существовал он почти исключительно уроками и литературными заработками, которые были ничтожны, всю жизнь очень нуждался и умер в крайней бедности.

У Якубовича, типичного эпигона романтизма, не было сколько-нибудь значительного дарования, и творчество его не представляет интереса[13]. Но общение с кругом сотрудников «Телескопа», «Литературной газеты», «Современника», а также знакомство с Пушкиным [14] не могли не отразиться на личности и взглядах Якубовича. Возможно, что Полежаев, оторванный от литературной и общественной жизни своего времени, был в курсе тех идей и проблем, которые стояли в центре внимания прогрессивных кругов русского общества тридцатых годов, именно благодаря Якубовичу.

Обстоятельства, при которых Полежаев сблизился с Якубовичем, остаются невыясненными, однако несомненно, что знакомство их состоялось не позднее 1826 г., так как в 1826 г. Полежаев посвятил Якубовичу перевод думы Ламартина «Восторг» [15]. Н. Л. Бродский полагает, что стихотворения Полежаева доходили до «Галатеи» (где они печатались в 1829 г.) через Якубовича и что через него же участники пансионского кружка С. Е. Раича доставали рукописные копии запрещенных произведений поэта [16].

В тридцатых годах Якубович жил в Петербурге, но иногда приезжал в Москву [17].

Якубовичу принадлежит одна из первых критических статей о стихотворениях Полежаева [18]. Не имея возможности из-за цензуры полнее охарактеризовать творчество своего друга и рассказать о его судьбе, Якубович отмечает в этой статье «поэтический взгляд, сильные чувства <...> и оригинальность» его поэзии (статья посвящена сборнику «Стихотворения» А. Полежаева, 1832).

До сих пор, говоря о дружбе Полежаева с Якубовичем, биографы опирались лишь на беглое свидетельство И. П. Сахарова: «Якубович был дружен с Полежаевым и горячо его любил»[19], и на два стихотворения, посвященные Якубовичу, о которых было сказано выше [20]. Публикуемые же письма — неоспоримое доказательство существовавшей между Полежаевым и Якубовичем тесной дружбы.

Первое письмо Полежаева, датированное февралем 1836 г., написано из имения родителей Якубовича в Калужской губернии, куда Полежаев приехал по приглашению друга. В это время Тарутинский полк, в котором он служил, стоял под Жиздрой, и такая поездка была для Полежаева вполне возможна. Не застав Л. А. Якубовича дома, он провел день в семье его родителей [21].

В письме содержатся некоторые подробности, проливающие свет на этот мало исследованный период жизни Полежаева. Известно, что с осени 1834 г. Тарутинский полк был расквартирован в Жиздринском уезде Калужской губернии. Известно также, что в 1836—1837 гг. часть полка несла караулы в Москве [22]. Воспоминания В. И. Ленца о встречах с Полежаевым, отрывочные и неясные, свидетельствуют о том, что в 1836 г. Полежаев находился в Москве [23]. Однако ни причины, ни время его пребывания там не были известны. Можно было только предполагать, как это и делает В. В. Баранов, что Полежаев жил тогда в Москве постоянно, находясь в тех частях полка, которые несли караульную службу [24]. Письмо Полежаева, в котором он сообщает о выступлении Тарутинского полка из Жиздры, не только подтверждает это предположение, но и позволяет довольно точно установить, когда Полежаев прибыл в Москву. Датируя письмо февралем 1836 г., Полежаев сообщает, что через двенадцать дней полк будет в Москве. Таким образом, покинув Жиздринский уезд в феврале, он был в Москве во второй половине того же месяца или в начале марта. Из этого же письма мы узнаем, что в Москве Полежаев вынужден был жить в Спасских казармах — в тех казармах, с которыми у него была связана память о годовом тюремном заключении.

Второе письмо, датированное 8 октября 1836 г., написано в Москве. Из воспоминаний В. И. Ленца было известно, что к этому времени здоровье Полежаева ухудшилось [25]; однако только из этого письма мы узнаем, что уже осенью 1836 г. наступило резкое обострение болезни, которое вынудило начальство перевести поэта в госпиталь.

Это письмо почти полностью посвящено попыткам Полежаева получить долю наследства, оставшегося после его дяди — А. Н. Струйского. Якубович был не только в курсе этого дела, но, очевидно, вел его, являясь посредником между Полежаевым и семейством Струйских.

Враждебное отношение Струйских к Полежаеву известно давно. Родственники видели в незаконном сыне Леонтия Николаевича Струйского возможного претендента на долю в имении. По-иному относились к поэту только бабушка его — Александра Петровна Струйская [26] и дядя — Александр Николаевич. О наследстве, оставшемся после Александра Николаевича, и идет речь в письме Полежаева [27]. До сих пор о том, что Полежаев претендовал на долю в имении Струйских, ничего известно не было.

ЗАПИСКА НИКОЛАЯ I К МИНИСТРУ ПРОСВЕЩЕНИЯ А. С. ШИШКОВУ ПО ПОВОДУ ПОЭМЫ А. И. ПОЛЕЖАЕВА «САШКА», АВГУСТ 1826 г.

В записке царь требует привести к нему Полежаева. За этим вызовом последовала сдача поэта в солдаты

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

Увенчались ли успехом попытки Якубовича добиться чего-либо от Струйских, не установлено.

Письмо Полежаева свидетельствует, что двоюродный брат его, Дмитрий Струйский [28], не порывал с ним связи и даже, по настоянию Якубовича, помогал ему. Об этом говорит не только сообщение Полежаева о полученных им от Дмитрия деньгах, но и то, что он просит сказать Дмитрию и Наталье (то есть матери Д. Струйского — Наталье Филипповне) о своей тяжелой болезни.

Таким образом, публикуемые письма содержат немало новых данных для биографии Полежаева.

1

⟨Февраль 1836 г. Сосновка.⟩

Гражданин Луциан!

Накануне выступления Тарутинского полка из Жиздры, я получил твое повеление лично явиться к тебе в Сосновку. Надобно думать, что вся Калужская губерния принадлежит тебе, потому что на каждой версте встречаешь деревни и села под названием: Сосновка. Наконец, отыскиваю истинную, скачу к тебе и не застаю дома. Знаешь ли, что скажу тебе? Я ни мало о том не жалею: после 10-тилетнего калмыцкого кочевания по белому свету я в лице твоих почтеннейших родителей нашел все родное,

все милое моему сердцу, провел 24 часа в такой новой, отрадной для меня сфере, что теперь пишу тебе эти строки, как будто с третьего неба, и с чувством душевного сожаления и тяжким вздохом снова приготовляюсь упасть на несчастную землю. Не буду говорить много: никогда не истребятся из моей памяти приятные минуты, проведенные мною в кругу твоего милого, редкого — чуть, чуть не сказал: моего собственного семейства! — Да, любезный Лупиан, теперь я тебе брат, потому что с сей поры не хочу почитать Андрея Федоровича иначе, как отцом моим. Благородный образ мыслей, живое истинное участие, оказанное мне всеми в вашем доме, налагают на меня священную обязанность так мыслить и сохранить эти мысли навсегда. В первом письме моем из Москвы разговорюсь с тобою поболее. Через 12-ть дней будем там, адресуй ко мне письма в Т<арутинский> Е<герский> полк в Спасские казармы на мое собственное имя. Пиши все, что вздумаешь,— никто не прочтет их, кроме меня. Кстати, к Струйским я еще не писал и не знаю об каком касающемся до меня деле хотел ты со мной объясниться. Сделай одолжение, порадуй меня поскорее несколькими строками — марай, марай и марай как можно больше, мне приятно все, что твое. С моей стороны заплачу́ тебе тою же монетою! Прощай — верь, что ты мало найдешь людей, которые бы тебя любили как я!

1836-го февраля дня
Сосновка.

А. Полежаев

В комнате твоего брата — vis-â-vis* — запертого кабинета *человека с кошачьими когтями.*

№. Хотел тебя немного поцарапать, да бог с тобою! Молись за дни твоих родителей — вот одно, в чем тебе завидую.

2

<8 октября 1836 г. Москва.>

Здравствуй милый, добрый мой Люциан!

Мы с тобой всегда нездоровы и по одной причине: *ради малого сокрушения!* Слава богу, что ты не отдал душу богу в дилижансе, но жаль, что и в Питере мучат тебя спазмы. Я не знал, что думать об твоем долгом молчании, как вдруг однажды приносят мне объявление на 100 р. денег. Я догадался, откуда они приплыли, и надеялся в письме увидеть и твоих двести строки. Не тут-то было: Дмитрий написал мне *весьма разумное слово* в форме эпистолы, желает мне всяких благ и, наконец, заключает тем, что он с фамилией покойника А. Струйского связей не имеет и советует мне отнестись с моими претензиями *на наследство* к прабабушке Еве — к Александре Петровне. Я внял совету благоразумного мужа и отрядил по почте к почтенной старушке горькое и слезное возрыдание. Надеюсь, что оно произведет желаемое действие и на днях доставит мне хоть пару сотенок. Все тебе, мое сокровище, обязан я за эти щедроты провидения и не знаю, как и чем воздать тебе! Сделай милость, не упускай случая болтнуть обо мне что-нибудь Дм<итрию> и Наталье... Это не мешает!.. Хотелось бы еще знать как они теперь расположены ко мне, уведомь, ради бога, и скажи им, что ты получил от меня письмо, исполненное чувств истинной признательности к их особам и проч. и проч., что я болен опаснее прежнего и опасаюсь последствий моей болезни.— Рад душевно, друг мой, что ты нашел в Питере старых знакомцев <...> Твое письмо получил я недавно и извини, что отвечаю поздно. Болел, окаянный, сильно болел спазмами и сердцебиением. Если б ты видел меня тогда, как я получил

---

* напротив (франц.).

и читал твое письмо, то верно умер бы со смеху — оно застало меня в полном упоении чувств и тела!!! Как скоро старушка меня приголубит деньжонками, то по первой же почте поделюсь с тобою ⟨...⟩ Скоро ли пустишь в свет свои стихи? Не медли, не робей и стяжай венок бессмертия! Ко мне пиши так же: в военный госпиталь и проч. В другой раз намараю побольше, но любить тебя более не могу! Я предан тебе весь и целую тебя в лоб ⟨...⟩ Прости, ради Христа! Теперь я настоящая ⟨...⟩— Письмо, приложенное здесь, передай Струйским и будь моим адвокатом... Прощай, будь здоров и весел. Это дороже всего. Пиши чаще и радуй душу мою.

Твой навсегда А. Полежаев

Москва 1836 г.
Октября 8-го дня.
Военный гошпиталь.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Государственный Литературный музей, шифр 25143/1—2.

[2] В. В. Баранов. А. И. Полежаев. Биографический очерк.— А. И. Полежаев. Стихотворения. М.—Л., 1933, стр. 105, 110, 120—121.

[3] А. И. Полежаев. Стихотворения. Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1889, стр. 539.

[4] «Село Печки» и «Нечто о двух братьях князьях Львовых».— А. И. Полежаев. Стихотворения. М.—Л., 1933, стр. 258, 262.

[5] В. В. Баранов. Указ. статья, стр. 121.

[6] Там же, стр. 127.

[7] К. Н. Макаров. Воспоминания о поэте А. И. Полежаеве. — «Исторический вестник», 1891, № 4, стр. 110—115.

[8] А. И. Герцен. Былое и думы (Герцен, т. XI, стр. 154—157; глава «Полежаев»).

[9] [Е. А. Дроздова-Комарова. Воспоминания об А. И. Полежаеве.] Е. М. Белозерский. К биографии поэта А. И. Полежаева.— «Исторический вестник», 1895, № 9, стр. 644—647.

[10] «Записки» И. П. Сахарова.— «Русский архив», 1873, кн. 1, стб. 955.— Там же указано, что в архиве Сахарова имеются письма к нему Якубовича, в которых говорится о Полежаеве. В обследованном нами архиве Сахарова (ГПБ) сохранились три письма Якубовича, датированные 1831 и 1836 гг., но имя Полежаева в них не упоминается. Нет упоминаний о Полежаеве и в письмах Якубовича к художнику Н. А. Степанову и к А. В. Никитенке (ИРЛИ).

[11] Там же, стб. 952—956; «Некролог» Якубовича.— «Северная пчела», 1839, № 269 от 28 ноября; В. В. Баранов. Указ. статья, стр. 107.

[12] И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Под ред. И. Г. Ямпольского М., 1950, стр. 65.

[13] Подробную характеристику поэзии Якубовича см. в книге: Н. Л. Бродский. М. Ю. Лермонтов. Биография, т. I. М., 1945, стр. 133—138.

[14] Якубович был знаком с Пушкиным. Несколько стихотворений Якубовича Пушкин опубликовал в альманахе «Северные цветы» на 1832 г., а затем в «Современнике» 1836 г. (т. IV). Имя Якубовича, безусловно, было хорошо известно Пушкину и раньше, так как отзыв Пушкина о «Вечерах на хуторе близ Диканьки» был опубликован в рецензии Якубовича на повести Гоголя («Лит. прибавления к Русскому инвалиду», 1831, № 79; см. также: Пушкин. Письма. Под ред. Л. Б. Модзалевского, т. III. М.—Л., 1935, стр. 406—408). В письме к Пушкину от 15 января 1837 г. М. Л. Яковлев— дядя Якубовича — говорит о племяннике, как о лице, Пушкину хорошо известном: «Племянник мой, много-известный тебе человек, желает тебе помогать в издании „Современника". Малый он с понятием, глядит на вещи прямо, суждение имеет свое, не дожидая: что́ скажет *такой-то*; а всего более трудолюбив. С такими качествами, может он быть тебе полезен *труда́ми*, а ты ему *деньга́ми*» (Пушкин, т. XVI, стр. 217). Вполне возможно, что после этого письма Пушкин ближе познакомился с Якубовичем и намеревался последовать рекомендации Яковлева. Во всяком случае, из дневника Н. И. Иваницкого («Пушкин и его современники», вып. XIII. СПб., 1910, стр. 32—33) и из записок И. П. Сахарова известно, что именно в январе 1837 г. Якубович бывал у Пушкина в доме. И. П. Сахаров вспоминает: когда за три дня до дуэли с Дантесом он посетил Пушкина, поэт «горячо спорил с Якубовичем» («Записки» И. П. Сахарова.— «Русский архив», 1873, кн. 1, стб. 955). Однако утверждение Сахарова, будто у Пушкина с Якубовичем «была дружба неразрывная», явно преувеличено. Следует отметить, что Якубович написал некролог Пушкина («Северная пчела», 1837, № 24 от 30 января). «Россия,— писал Якубович,— обязана

Пушкину благодарностию за 22-летние заслуги его на поприще словесности, которые были ряд блистательнейших и полезнейших успехов в сочинениях всех родов». За эти строки Н. И. Греч, как издатель «Северной пчелы», получил строгий выговор от Бенкендорфа (А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I. СПб., 1905, стр. 285).

[15] В. В. Баранов относит сближение Полежаева с Якубовичем к 1828 г. (В. В. Баранов. Указ. статья, стр. 107—108).

[16] Н. Л. Бродский. М. Ю. Лермонтов. Биография, т. I. М., 1945, стр. 200.

[17] «Записки» И. П. Сахарова. —«Русский архив», 1873, кн. 1, стб. 952—953.

[18] «Северная пчела», 1832, № 222 от 24 сентября.

[19] И. П. Сахаров. Указ. соч., стб. 955.

[20] Кроме того, известны четверостишия Полежаева и Якубовича в альбоме Ф. А. Кони (1833):

Что написать, ей-ей, не знаю —
Девиц и женщин не терплю,
Лишь душу, чувство уважаю,
И ум я искренно люблю...

А. Полежаев

Его стихи я продолжаю:
Девиц и женщин я люблю;
Тебя я просто — уважаю,
Скотов я просто — не терплю.

Л. Якубович

(А. И. Полежаев. Стихотворения. СПб., 1889, стр. 198, 539).

[21] А. Ф. Якубович родился в семидесятых годах XVIII в. Будучи студентом Московского университета, он сотрудничал в журналах «Приятное и полезное препровождение времени» и «Ипокрена, или утехи любословия». В 1804 г. Якубович выпустил в свет знаменитый сборник Кирши Данилова «Древние русские стихотворения»; издание это было предпринято им по поручению владельца рукописи, Ф. П. Ключарева. Ко времени знакомства с Полежаевым А. Ф. Якубович оставил литературную деятельность и служил почтмейстером в Калужской губернии (см. В. В. Баранов. Указ. статья, стр. 107—108; А. Н. Пыпин. История русской этнографии, т. I. СПб., 1890, стр. 226—227).

[22] В. В. Баранов. Указ. статья, стр. 120, 124.

[23] К. Н. Макаров. Воспоминания о поэте А. И. Полежаеве.— «Исторический вестник», 1891, № 4, стр. 110—115.

[24] В. В. Баранов. Указ. статья, стр. 124.

[25] К. Н. Макаров. Указ. соч., стр. 110—115.

[26] Александру Петровну Струйскую Полежаев называет «прабабушкой Евой», очевидно, потому, что она была главой многочисленного семейства, в котором пользовалась непререкаемым авторитетом. А. П. Струйская поддерживала отношения с внуком и постоянно, хотя и не регулярно, оказывала ему денежную помощь. Эти сведения, записанные со слов членов семьи Струйских (см. Е. А. Бобров. Семейная хроника рода Струйских в связи с биографиею поэта А. И. Полежаева.— «Русская старина», 1903, № 8, стр. 265—270; № 9, стр. 495—496), подтверждаются письмом Полежаева.

[27] Александр Николаевич Струйский, изображенный в поэме «Сашка», вначале принимал большое участие в воспитании Полежаева. Живя в Петербурге, он был далек от остальных членов семьи, не разделял их враждебного отношения к племяннику и поддерживал его в студенческие годы. Однако, когда Полежаев был отдан в солдаты, А. Н. Струйский резко изменился к нему. В тридцатых годах перемена обозначилась еще определеннее. Он перестал интересоваться судьбой племянника. Выйдя в отставку и поселившись в Рузаевке, А. Н. Струйский так жестоко обращался с крепостными, что заслужил прозвище «Страшный барин» и в 1834 г. был ими убит (см. Е. А. Бобров. Указ. соч. — № 8, стр. 275—280; И. А. Воронин. А. И. Полежаев. Жизнь и творчество. Саранск, 1941, стр. 101—102, 165—166).

[28] Д. Ю. Струйский (поэт и музыкант, писавший под псевдонимом Трилунный)— сын Юрия Николаевича Струйского, относившегося к Полежаеву враждебно. В свое время против воли родственников Ю. Н. Струйский женился на крепостной, Наталье Филипповне, и узаконил своих сыновей от нее — Сергея и Дмитрия. Этому предшествовала сложная интрига, которую он вел, чтобы не допустить женитьбы Леонтия Струйского на матери Полежаева. Отношения в семье так обострились, что Ю. Н. Струйский уехал из Рузаевки вместе с женой и детьми, порвав всякую связь с родными. Все это обусловило отчуждение между Полежаевым и молодыми Струйскими. Учась вместе в Московском университете, они оставались друг другу чужими. До сих пор считалось, что и впоследствии они не поддерживали друг с другом никакой связи (см. Е. А. Бобров. Указ. соч.— № 8, стр. 270—274; И. А. Воронин. Указ. соч., стр. 104—105); публикуемое письмо опровергает эту точку зрения.

ВСТРЕЧИ ДЕКАБРИСТОВ С ПЕТРАШЕВЦАМИ

Сообщение С. В. Житомирской

Взаимоотношения между декабристами, «старожилами сибирскими», как называл их И. И. Пущин, и петрашевцами, оказавшимися на каторге в Сибири в 1850 г., отражают путь развития, который прошло русское освободительное движение за четверть века.

Идейными учителями петрашевцев были Белинский и Герцен с их революционно-демократической и материалистической идеологией. Но выдающуюся роль в формировании мировоззрения петрашевцев сыграли также освободительные идеи и самый подвиг декабристов. Петрашевцы стремились знать о декабристах все, что можно было знать в тогдашних условиях.

В деле петрашевцев встречаются, например, указания на то, что Д. Д. Ахшарумову было известно предсмертное письмо С. И. Муравьева-Апостола к брату, ходившее по рукам в списках (Ахшарумов ошибочно называет его письмом Рылеева). Ахшарумов написал «сожаление о смерти» казненного декабриста; оно «оканчивается дерзким рассуждением в нескольких строках насчет смертного приговора» над ним[1]. В бумагах Н. А. Момбелли был обнаружен его перевод стихотворения Мицкевича «К друзьям русским»[2] — стихотворения, посвященного декабристам. Упоминания о приговоре над декабристами неоднократно встречаются в показаниях Петрашевского.

Петрашевцам были, несомненно, известны рассказы людей, которые лично встречались с декабристами. К кругу декабристов принадлежал отец Н. С. Кашкина. Офицер Д. И. Кропотов, посещавший собрания петрашевцев, лично знал Рылеева, о котором впоследствии написал воспоминания[3].

В деле петрашевцев встречается имя одного из сыновей декабриста М. А. Фонвизина — Дмитрия[4].

Петрашевцы живо интересовались не только прошлой деятельностью, но и современными взглядами ссыльных декабристов и расспрашивали «об их образе мыслей» приехавшего из Сибири золотопромышленника Черносвитова.

«Случалось говорить мне, — показывал привлеченный к следствию Черносвитов, — о государственных преступниках в Сибири, сосланных по 14 декабря, их вообще в Сибири называют декабристами; главные вопросы были об их образе мыслей, и постоянный ответ мой был, что они все теперь уже старики и жалеют о прошедшем»[5].

Расспрашивая Черносвитова, петрашевцы, конечно, пытались выяснить, способны ли декабристы воспринять новые революционные идеи. Спешнев на следствии показал, что, по словам Черносвитова, «все сосланные „глупы“, что они на той точке и остались, как были, что о фурьеризме и социализме и слышать не хотят»[6].

Петрашевцы критически относились к своим предшественникам. Идеология тех из петрашевцев, которые принадлежали к радикальному крылу кружка и представляли складывавшееся революционно-демократическое направление, характеризовалась новым отношением к народу, как к творцу истории и решающей силе в революционных переворотах. Петрашевцы осуждали политическую тактику декабристов, действовавших в отрыве от народных масс.

Суждение Петрашевского о декабристах дошло до нас только в изложении полицейского агента Антонелли, который своими вопросами заставил Петрашевского высказаться. Несмотря на специфический характер этого источника, не приходится сомневаться, что Антонелли в основном правильно передал слова Петрашевского. В ответ на замечание Антонелли, что «заговорщики 14 декабря поступили очень опрометчиво, приведя свои замыслы в исполнение, не приготовив сперва всех средств к обеспечению своего успеха», Петрашевский объяснил: «заговор 14 декабря не мог никаким образом иметь успеха, потому что главная его цель была известна только очень малому числу действующих лиц, между тем как другие действовали наобум; что этот заговор и лица, в нем участвовавшие, были уже известны правительству и их и без того ожидало наказание, оттого они и действовали по поговорке — авось лихая вывезет, и, наконец, случай к исполнению представился такой соблазнительный, что можно было даже и при недостаточности средств надеяться на успех. Но для верного успеха подобного рода предприятий должно, чтобы распоряжающиеся лица старались сперва преодолевать самые малые препятствия, иметь всегда успех в самых, с первого взгляда незначительных, обстоятельствах, и таким образом приобретая мало-помалу доверие и внушая всем и всякому необходимость нового порядка вещей — они могут надеяться на самый верный, самый блистательный успех ⟨...⟩. Хотя правительство обладает всеми средствами поставить преграды подобного рода успехам,— говорил далее Петрашевский,— но ⟨...⟩ масса всегда против правительства и ⟨...⟩ сверх того, когда этой массой будут распоряжаться люди, которые убеждены в своих мнениях и имеют полное доверие и друг к другу и к своим действиям, то правительство никакими средствами не в состоянии будет остановить общего потока и необходимо должно будет покориться новому порядку вещей. Но что, главное, не нужно спешить, но должно действовать осторожно, исподволь, и все полагать на время»[7].

Некоторым из декабристов была вполне ясна разница между их собственными идейными позициями и идейными позициями петрашевцев. «Социализм, коммунизм, фурьеризм,— замечает Н. Д. Фонвизина,— были совершенно новыми явлениями для прежних либералов и они дико как-то смотрели на новые жертвы новых идей». В письме к Н. Д. Фонвизиной от 18 апреля 1850 г. И. Д. Якушкин дал, однако, иную оценку социализма, указывающую на признание им ценности этого учения: «Вы глубоко правы, считая, что в социализме нет ничего нового, но то, что составляет его ценность, то, что в высшей степени истинно, истинно уже давно»[8]. Но это не помешало декабристам увидеть в каторжанах-петрашевцах своих единомышленников, продолжавших борьбу против самодержавия, начатую ими. Определеннее всех по этому поводу высказался тот же Якушкин: «Вот и в наше время все эти люди, которых называют сосиалистами, коммюнистами и так далее, несмотря на нелепые учреждения, предлагаемые ими взамен существующих учреждений теперешних обществ, оказали и оказывают положительную услугу человечеству, смело выступая против пошлых предрассудков, принимаемых их противниками за истину, потому только, что эти пошлые предрассудки облекают правом их своекорыстие. Сосиалисты по уму и по сердцу молодежь,

к усилиям которой я не могу не сочувствовать, это застрельщики, может быть и не всегда достойные той святой рати, которой все подвигается вперед за святое дело» [9].

Чрезвычайно показательна дружба Петрашевского с декабристом Д. И. Завалишиным. Дружеские отношения между этими двумя деятелями выходили за пределы личных и были основаны на единстве позиций, занятых ими в общественной борьбе в Сибири. Выступления Завалишина в печати с критикой сибирских административных порядков вызывали горячее одобрение Петрашевского, который, в свою очередь, находил у Завалишина неизменную поддержку в своей стойкой борьбе против всевластия бесконтрольной и особенно хищной сибирской бюрократии. Петрашевский писал Завалишину в 1860 г.: «Мои личные, материальные и нравственные интересы требуют того же, чего требует благо общественное, разумно понимаемые интересы всей страны, *положить законом пределы для безумного самовластительства сибирских пашей и сатрапов*» [10].

Вновь найденные документы освещают первую встречу двух поколений русских революционеров в Сибири и товарищескую поддержку, оказанную декабристами своим младшим братьям [11].

Ценность этих документов тем значительнее, что они весьма немногочисленны [12].

По конфирмации, объявленной петрашевцам на Семеновском плацу 22 декабря 1849 г. после совершения обряда смертной казни, пять человек из девяти — Петрашевский, Спешнев, Момбелли, Григорьев и Львов — были сосланы в рудники; Достоевский и Дуров сосланы на каторжные работы в Омскую крепость, а Толль и Ястржембский отправлены на заводы Сибири.

Первым, прямо с места казни, был отправлен в Сибирь Петрашевский; 24 декабря отправлены двумя группами — Спешнев, Григорьев, Львов, Толль и Достоевский, Дуров, Ястржембский. Последним, 12 января 1850 г., уехал Момбелли, задержавшийся в Петербурге из-за болезни. Путь их лежал на Тобольск, откуда их должны были распределить по назначенным пунктам.

Декабристы к этому времени давно жили на поселении. Следует отметить, что условия, в которых приходилось отбывать каторгу петрашевцам, сильно разнились от условий, в которых в свое время отбывали каторгу декабристы [13]. Петрашевцы оказались в общеуголовной тюрьме, не пользовались никакими привилегиями, многие из них были лишены какой бы то ни было материальной поддержки. Понятно, что братская помощь со стороны декабристов-поселенцев имела для них большое значение.

Ценным свидетельством братского отношения декабристов к младшему поколению политических каторжан является письмо Е. П. Оболенского к брату его, К. П. Оболенскому, написанное из Ялуторовска 8 января 1850 г., то есть в те дни, когда петрашевцы прибыли в Тобольск. Декабристы в Сибири уже знали о процессе петрашевцев. Как ни стеснена была цензурой их переписка, но вести с родины шли непрерывным потоком либо с оказиями, либо почтой — на имя друзей и знакомых из местной сибирской интеллигенции. Удавалось декабристам обходить цензуру и во взаимной переписке. Об этом свидетельствует и данное письмо. Оболенский пишет здесь о своем близком родственнике, двадцатилетнем Н. С. Кашкине, но готовность помочь новым осужденным проявлялась декабристами по отношению к петрашевцам и помимо родственных связей.

«Теперь поговорим с тобою насчет нашего *Сергея Кашкина* [14],— пишет Е. П. Оболенский. — Я имел уже известие об участи его сына Николень-

ки от *Пущина*, который в Иркутске виделся с одним из его товарищей, сосланным туда на службу, кажется без лишения чинов. По его словам, Николай был секретарем Общества и был призван государем, и довольно смело отвечал на сделанные ему вопросы. Теперь остается знать, какой участи он будет подвержен [15]. *Петрушевский* с товарищем уже в Тобольске. Их привез фельдъегерь в простой арестантской одежде — и кажется, велено им идти в партии до Нерчинских рудников,— и особенное иметь за ними наблюдение. По словам Петрушевского, осужденных в Нерчинск всех 9-ть человек: он назвал трех, но в числе их *Кашкина* нет. По словам Лобанова [16], переданным Пущиным, наш Николай осужден на трехлетнее заключение в крепости, а оттуда, без сомнения,— на Кавказ солдатом. Но так как это известие подлежит еще сомнению, и притом Николай был секретарем Общества, то немудрено, что он может отправиться в Нерчинск в числе девяти. В последнем случае передай Сергею, что он будет снабжен в Тобольске и деньгами, и всем нужным. Я таким образом распоряжусь, чтобы наши дали ему все, что будет возможно,— счеты же ты сведешь с Сергеем, а Наташа передаст мне тем путем, который она знает. Везде — по пространству всей Сибири, начиная от Тобольска,— в Томске, Красноярске, в Иркутске и далее, за Байкалом,— он найдет наших, которые все, без исключения, будут ему помощниками и делом и словом ⟨...⟩ Если Николаю суждено быть в Нерчинске, то пусть Сергей пишет прямо к Катерине Ивановне *Трубецкой*: лишь только я узнаю, что Николай в Тобольске, я сейчас сообщусь с Восточною Сибирью, и его везде встретят, как родного» [17].

В Тобольске петрашевцы пробыли около недели: Именно здесь и была оказана им помощь, обещанная Оболенским.

Известно письмо Достоевского к брату от 22 февраля 1854 г., в котором он вспоминает свое пребывание в Тобольске в 1850 г. и встречи с женами декабристов: «... ссыльные старого времени (т. е. не они, а жены их) заботились об нас, как о родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением. Мы видели их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылали нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас» [18]. Петрашевцы многие месяцы пробыли в крепости, в одиночестве,— и впечатление участия, дружбы, душевной близости, оставленное тобольскими встречами, было, очевидно, так сильно, что Достоевский много лет спустя неоднократно возвращался к этим встречам в своих произведениях [19].

В архиве Фонвизиных сохранился замечательный документ — письмо жены декабриста М. А. Фонвизина, Натальи Дмитриевны, написанное ею из Тобольска 18 мая 1850 г. к И. А. Фонвизину, брату декабриста.

Из письма видно, что декабристы оказали всяческую помощь петрашевцам, что они вступили в сношения со смотрителем тюрьмы и другим персоналом заранее и окружили прибывших всевозможными заботами.

«Пишу вам с верною оказиею, друг мой братец, а потому могу обо всем откровенно беседовать»,— начинает Н. Д. Фонвизина.

«...Недавно случилось мне сойтись со многими страдальцами, совершенно как бы чуждыми мне по духу и убеждениям моим сердечным. Признаюсь, что я даже не искала с ними сближения. Другие из наших и Michel [20] приняли деятельное участие в их бедствиях. Снабдили всем нужным — и сношения сначала этим только и ограничились. Между тем они были предубеждены против всех нас и не хотели даже принимать от нас помощи, многие, лишенные всего, считали несчастьем быть *нам* обязанными. Социализм, коммунизм, фурьеризм были совершенно новым явлением для прежних либералов и они дико как-то смотрели на новые

жертвы новых идей. Между тем говорили о доставлении тайно денег главному из них, Петрашевскому, который содержался всех строжее — доступ ко всем к ним был чрезвычайно труден. Я слушала все это равнодушно, даже, признаюсь, удивлялась своей холодности — и несколько упрекала себя, но как во мне ничего нет хорошего — собственно *моего* — то как нищая и успокоилась нищетою своею нравственною — негде взять и делать нечего — хлопоты и заботы других меня радовали. Обращаются ко мне с вопросом: нельзя ли мне попробовать дойти до бедного узника? Дом наш в двух шагах от острога. Не думавши много, я отвечаю: „Если считают нужным, попробую". Я даже не знала и не предполагала, как это сделать,— возвратясь домой, на меня вдруг напала такая жалость, такая тоска о несчастном, так живо представилось мне его горькое, безотрадное положение, что я решилась подвергнуться всем возможным опасностям, лишь бы дойти до него. Взявши 20 р. сереб., я отыскала ладонку бисерную с мощей, зашила туда деньги и образок, привязала снурочек и согласила няню[21], не говоря никому, на другой день идти в острог к обедне и попытаться дойти до узников — так и сделали. У няни в остроге есть ее знакомый — воспитанник Талызина, к которому она иногда ходит. Мы послали арестанта позвать его в церковь — я посоветовалась с ним.— Смотритель и семейство его были уже в сношении с нашими по случаю передачи съестных припасов, белья и платья нужного. От начальства беспрерывные повторения строгого надзора.— Отправивши нянина знакомого для разведывания в больницу, где был Петрашев⟨ский⟩, я молилась и предалась на все изволения божии, самое желание видеть узников не иначе считая, как его внушением. Нянина знакомого зовут Кашкадамов — он возвратился, говоря, что можно попробовать дойти туда под видом раздачи милостыни. После обедни, как я запаслась мелкими деньгами,— не подавая виду, я объявила, что желаю раздать милостыню, и отправилась прямо в больницу. Боже мой, в каком ужасном положении нашла я несчастного! Весь опутан железом, больной, истощенный. Покуда няня раздавала милостыню, я надела на него ладонку с деньгами и обменялась несколькими словами. Если он поразил меня, то, узнав мое имя, и я его поразила. Он успел сказать мне многое, но такое, что сердце мое облилось кровью — я не смела показать ему моей скорби, чтобы она не казалась ему упреком... Он уже и так был в крайнем бедствии. Но насилу устояла на ногах от горя, несмотря на то, не знаю, откуда взялась у меня нравственная сила отвечать спокойно на вопросы его, и искренно — право, искренно — благодарить его за участие...[22].

Его пытали и самым ужасным новоизобретенным способом. Следы пытки на лице — 7 или 8мь пятнышек или как бы просверленных кружочков на лбу, одни уже подсыхали, другие еще болели, иные были окаймлены струпиками. Пальцы на правой руке и на той же руке полоса вдоль— как бы от обожжения. В холодной комнате на лбу беспрестанно проступала испарина крупными каплями, веки глаз по временам страшно трепетали, глаза расширялись. Он бледнел в это время, как полотно, и потом опять принимал обыкновенный вид свой — вся нервная система, как видно, потрясена была до основания. Его допрашивал сам г⟨осударь⟩ посредством электрического телеграфа, из дворца проведенного в крепость, но в крепости к телеграфу была приделана гальваническая машина. Я полагаю, что его не то что пытали, но при допросах, как он сам рассказывал нам после, он отвечал довольно смело, не зная кто его спрашивает. Вопроситель, видно, рассердясь, ударил по клавишам и ток машины внезапно поразил его, он упал без чувств, вероятно на какие-нибудь острые снаряды пришелся лбом — и вот от чего знаки на лбу и на руке. Он, очувствова⟨в⟩шись, очутился уже сидящим на стуле и поддерживаемый

двумя — в отдалении от машины. — Tous les sens étaient surexcités*, — как он говорит, и ужасно томился жаждой. Ему подали стакан воды, но он заметил, что в воде что-то как бы распускается и струйками соединяется с водою — побоялся пить и при всех опустил в стакан пальцы и часть руки и вдруг почувствовал боль как от ожога. Вот какие дела! Бедный человек не может без трепета об этом говорить. При одном воспоминании ужасного ощущения он бледнеет, трясется и как бы входит в исступление. Ему кажется, что пагубный гальванический ток его и здесь преследует, уже мы его успокаивали, как могли. Что за страшные времена![23]

То, что сказал он мне при первой встрече моей с ним в больнице, относилось прямо ко мне, а не к нему, и поразило меня страшным горем. Но господь дал мне силы скрыть эту скорбь от бедного страдальца, который, несмотря на свои заблуждения, казался простодушным, как дитя. Фигурой и речью он напоминает покойника Никиту Мурав⟨ьева⟩ — тон и манеры чрезвычайно любезны, и естественная доброта и чувствительность сердца так и проглядывают в неискусственной речи. Тем жалче мне было огорчить его. — От него вышла я сама себя не помня от жгучей и давящей сердце скорби и в сопровождении Кашкадамова отправилась в другие отделения для раздачи. Пришли в одну огромную удушливую и темную палату, наполненную народом; от стеснения воздуха и сырости пар валил, как вот от самовара, — напротив дверь с замком и при ней часовой. Покуда няня говорила с Кашкадам⟨овым⟩, у меня мелькнула мысль — я сунула ей деньги мелкие и, сказав, чтобы раздала, выскочила — и прямо к часовому: „Отвори, пожалуйста, я раздаю подаяние". Он взглянул на меня, вынул ключ и, к великому моему удивлению, отпер преравнодушно и впустил меня. Четверо молодых людей вскочили с нар. Я назвала себя и спросила об именах их — то были Спешнев, Григорьев, Львов и Толль. *Спешнев* прекрасный и преобразованный молодой человек. Григор⟨ьев⟩ и Львов тоже премилые. Первый грустный и молчаливый, а второй живой, маленький и веселый. Толль претолстый молодой человек и по наружности кажется весьма ограниченным. Я уселась вместе с ними и, смотря на эту бедную молодежь, слезы мои, долго сдержанные, прорвались наружу — я так заплакала, что и они смутились и принялись утешать меня. Но вот что странно — что они, узнав, что я от Петрашевского, догадались о моей скорби тотчас — и не принимая нисколько на свой счет, утешали меня в *моем* горе. Это взаимное сочувствие упростило сейчас наши сношения, и мы как давно знакомые разболтались. Часовой за благо рассудил запереть меня с ними, видя, что я долго не выхожу. Няня между тем, окончив свое дело, осталась с Кашкад⟨амовым⟩ в сенях разговаривать. Мне так было ловко и хорошо с новыми знакомцами, что я забыла о времени. Между тем смена команды — и офицер новый. Часовой, ни слова не говоря, сдал ключ другому. Мы слышали шум и говор, но не обратили внимания — вдруг шум усилился, слышим, отпирают и входят дежурный офицер с жандармским капитаном. Няня так испугалась, что сделался понос — но подивитесь, что я не только не испугалась, но даже не сконфузилась и, привстав, поклонилась знакомому жандарму, назвав его по имени. Мне и мысли никакой не пришло о последствиях. Жандарм потерялся, стал расспрашивать о М⟨ихаила⟩ А⟨лександровича⟩ здоровье, я сказала, что была у обедни и зашла спросить у господ, не нужно ли им чего на дорогу. Он удивлялся, что я рано встаю, а я сказала, что как я встаю рано, то и поспеваю всюду — и, пошутив с ним, простилась с господами, сказав им *до свиданья*. Смольков, жандарм, говорил мне после, что моя смелость так его поразила, что он решился

---

* Все чувства были чрезмерно возбуждены (франц.).

содействовать нам — и сдержал слово*. Я было хотела и к последним пробраться, но было уже поздно. Возвратясь, отдала отчет в моем похождении Мишелю. Он, было, потревожился, но после благодарил бога, что все так устроилось.— После *этого* нам уже невозможно было не принимать живейшего участия во всех этих бедных людях и не считать их *своими*. Дамы наши явились ко мне узнать, удалось ли мне доставить деньги. Мы положили под вечер, переодевшись, в сопровождении няни ехать к смотрителю.— Офицер был из кадетов и предобрый юноша, тут же приехал один из служащих офицеров при строительной комиссии, короткий приятель Львову (теперь уже он покойный), и этот присоединился к нам в желании видеть узников. Смотритель и офицер согласились на нашу просьбу и сначала привели Петрашевского одного. Он был с нами довольно долго — мы его угощали, смотритель подчивал чаем. Он так сосредоточен в себе, что даже не замечает, что ест. Этого увели, привели 4-х, с которыми я сидела взаперти, их не приказано было сводить вместе с Петрашевским и с тремя остальными — нам стало жаль, что трое остальных как бы покинуты. Становилось поздно, и няня вздумала просить офицера, чтобы и остальных привели, не уводя еще этих. Тот взял на свой страх. Вдруг мы слышим звук цепей, все вскочили и, когда вошли, с криком бросились обнимать друг друга — описать вам восторга их при неожиданном свидании друг с другом невозможно. Мы все прослезились и даже смотритель. Им столько было сообщать друг другу, что мы оставили их на несколько времени и сами забились в уголок — с другом Львова. Поговорив и успокоившись, они бросились к нам с благодарностью, целовали нам платье, руки, как обрадованные дети. Один из последних троих, Дуров, 33 лет, растрогал меня своей ласковостью и чувствительностью, а няня просто рыдала. Ей представилось, что он как сын мой. Он сказал мне, что в семействе был нелюбим, что, может быть, он сам виною этому, но что мать предпочитала ему сестер. Отец был строг к нему, был дядя —и тот умер. Мать тоже умерла. Сестры замужем, но не любят его, а двоюродный его брат Ростовцев[24] судил и осудил его, и теперь у него решительно нет ни одной родной души. Он еще сказал мне, что он всегда помнил, как одна из наших дам, княгиня Волконская, маленького его ласкала, что это были единственные ласки, которые он помнит во время детства своего, и что он, узнав осуждение свое в Сибирь, ехал с надеждою встретить где-нибудь княгиню.— Мы уже знали, что он и Достоевский осуждены на крепостные работы в Омской крепости и с княгиней, поэтому, нет надежды ему свидеться. У меня мелькнула мысль, и я тут же сообщила ее ему — я предложила ему быть для него тем, чем была княгиня, выдать его за родственника, которого я помню маленьким, и таким образом быть ему сколько-нибудь полезной. Можете вообразить, с какою радостью и благодарностью принято мое предложение. Присутствующие точно удивлялись, что Д⟨уров⟩ особенно как-то все со мною как старинный знакомый, и даже спросили об этом — тут же и объявили мы всем положенное между нами тайно. Теперь во всей Сибири, особенно в Тобольске и Омске, никто в нашем родстве с Дур⟨овым⟩ не сомневается. Мишель, няня, да еще одна особа, а именно Маша Францева[25], только в секрете, все прочие, даже из наших, принимают родство за чистые деньги. Перед зарей, т. е. когда вечером бьют зорю, мы возвратились домой, но я продолжала посещать племянника и мне уже не препятство-

---

* Этот жандарм всем остальным передал тайные деньги, вделанные в книги, и показал каждому, как доставать и как опять заклеивать.— *Прим. Н. Д. Фонвизиной.*
⟨Ср. «Записки из мертвого дома», 1935, стр. 120: «Эту книгу с заклеенными в ней деньгами, подарили мне еще в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десятилетиями и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата».⟩

вали,— все офицеры наперерыв давали свиданья не только с Д⟨уровым⟩, но и со всеми его товарищами. Жандармский капит⟨ан⟩ предложил даже М⟨ихаилу⟩ А⟨лександровичу⟩ за рекою, при отправлении Дур⟨ова⟩ и Достоев⟨ского⟩, иметь с ними свиданье, и мы ездили. Я жандармов просила беречь доро́гой господ. Мы в Омск писали и рекомендовали бедных друзей наших,— как в родственнике нашем, так и в товарище его многие теперь в Омске принимают участие, доставляют даже по временам ему мои послания и от него ко мне. Я по целым часам в бытность их здесь с ними беседовала ⟨...⟩

Простите, если наскучила вам длинным письмом, как расписалась! Последний из привезенных был Момбелли. Славный молодой человек, но болезненный.— М⟨ихаил⟩ А⟨лександрович⟩ выезжал за реку с ним беседовать, а я на станцию. Он за болезнию был остановлен здесь на две недели, и я всякий день с ним виделась в острожной больнице ⟨...⟩

...Из Омска еще не имею ответа от княгини на Тункинские воды. Я и ей писала о Дурове, и она хлопотала. Осужденные на каторгу не работают, содержатся, как наши, в тюрьме в Акатуе — все пятеро вместе. Толль на заводе и Ястржембский в заводе же. Здешнее начальство, т. е. князь [26], из трусости личной прескверно поступает с этими бедными, такие мелочные строгости, что из рук вон, а Муравьев [27] напротив...» [28].

Когда петрашевцев увезли из Тобольска, по всему их пути им вслед полетели письма тобольских декабристов. Писали о них в Тобольск и декабристы из Ялуторовска, теснее других связанные с Тобольском.

Петрашевского, Спешнева, Львова, Григорьева и Момбелли везли в Иркутск, в Нерчинские заводы; Дурова и Достоевского — в Омский острог; Толля и Ястржембского — в Томск и Тару на заводы.

Петрашевский попытался отправить с дороги письмо к матери; оно было задержано и сохранилось в делах III Отделения. «Не буду говорить,— писал Петрашевский,— что вытерпел я во время моего содержания в крепости — это превосходит всякое вероятие. То же не дай бог терпеть лихому татарину, что потерпел я проездом ⟨не отдыхая⟩ ни часу в течение 11-дневного пути с курьером из Петербурга в Тобольск. И дальнейшее странствие от Тобольска не сладко — а просто. мучительно» [29].

24 февраля 1850 г. Петрашевский и его товарищи прибыли в Иркутск и сразу же были отправлены на заводы. Декабристы, поселенные вокруг Иркутска, считали своим естественным долгом о них позаботиться. Об этом свидетельствует письмо С. П. Трубецкого к И. И. Пущину от 7 июня 1850 г.; приводим ту часть письма, которая посвящена петрашевцам:

«Мы имели вести от Штубендорфа, который видел всех в заводах, и от к⟨н⟩. Лобанова, который видел Монбеля, Львова и Григорьева [30]. Последний совершенно уничтожен и телесно и нравственно, товарищи его избегли этого несчастья. Он, говорят, многого не помнит и делает иногда о себе вопросы, которые изумляют других. Вообще они трое в худшем против других положении. Перекрестов, начальник Кутомарского завода, кажется, человек без души и без сердца и сверх того, как слышно, и с правилами, которые вредят службе, и потому можно ожидать, что они скоро будут от него избавлены. Они ходят на работу и сами довольны тем, что она есть для них некоторое развлечение и средство дышать воздухом. Двое, которых я не назвал [31], в Шилкинском заводе, и там, говорят, человек благородный Габриель [32], который на днях произведен в подполковники. Там здоровье нравственное П⟨етрашевского⟩ поправилось и он уже не заговаривается. Сообщил вам подробно все, что знаю. Мне Муханов сказывал, будто слышал, что зять ваш говорил о некоторой надежде для них на облегчение. Дай бог, иначе я боюсь, чтоб положение Григорьева на других не возымело влияния» [33].

М. А. Фонвизин и жена его приняли особенное участие в Дурове и Достоевском, сосланным в Омскую крепость. Они использовали все свои связи, чтобы и в Омске быть полезными своим новым друзьям. Среди их омских знакомых был священник А. И. Сулоцкий, прежде живший в Тобольске и Ялуторовске и близко сошедшийся там с декабристами. В архиве Фонвизиных сохранилось несколько писем Сулоцкого, посвященных сосланным в Омск петрашевцам. Эти письма — живая иллюстрация к «Запискам из мертвого дома»; в них мы встречаемся с плац-майором Кривцовым, который увековечен Достоевским. Приводим из писем Сулоцкого то, что относится непосредственно к Дурову и Достоевскому. Первое письмо адресовано М. А. Фонвизину и датировано 1 февраля 1850 г.

«Письма — Ваше и добрейшей Натальи Дмитриевны,— пишет Сулоцкий,— навели на меня такую печаль, что целый вечер, по прочтении их, я не мог ни делать ничего, ни говорить с домашними. Бедственная участь мечтателей, Ваши просьбы, которые, скажу прямо, для меня священны, желание исполнить их и неимение ни малейшей к тому возможности,— вот что меня опечалило... Если бы письма Ваши пришли почтой раньше, я, может быть, по кр⟨айней⟩ мере в день получения их, мечтал бы, был бы в удовольствии от мыслей, что авось мне и удастся исполнить Вашу просьбу и тем — хотя немного — отблагодарить за радушие, с каким Вы всегда принимали меня, за приятное и интересное препровождение с Вами во времена оны времени и пр.— был бы в удовольствии от мыслей и о том, что, наконец, я найду в этих несчастных и в Омске таких же умных собеседников и добрых людей, каких я имел в Тобольске и Ялуторовске, но теперь этих мыслей, этой мечты уже никак нельзя было иметь мне: добрый Ив⟨ан⟩ Викентьич [34], вследствие письма Марьи Дмитриевны [35], тогда уже адресовался к разным лицам с распросами о возможности, о способах облегчить участь гг. Дурова и Достоевского и ото всех, от иных и при мне, слыхал одно, т. е. что нет никаких к тому способов, особенно вначале, теперь⟨...⟩ Но Вы скажете, что мой сан должен дать вход для меня в самые тюрьмы и остроги? Так, мы с Ив⟨аном⟩ Викентьичем и ухватились было за это, но нам ответили, что входить к заключенным имеет право священник только местный, определенный к тому, а этим лицом в Омске от⟨ец⟩ протопоп. По крайней мере, Вы спросите, нельзя ли чрез него чего-ниб⟨удь⟩ сделать? На этот вопрос вот что скажу: протоиерей Пономарев, несмотря на свою несчастную слабость, для Сергея Фед⟨оровича Дурова⟩ и Достоевского мог бы быть тем же, чем был и есть в своем месте и для известных лиц Степан Яковлич [36]; но он до крайности обременен приходом (8000 душ) и разными должностями,— свободы решительно не имеет. Года за три он даже по часу и более почти в каждый воскресный и праздничный день пред литургией беседовал с арестантами; но ныне он это делает по распоряжению начальства в батальоне кантонистов. Впрочем, Дмитрий Сем⟨енович⟩ [37] обещался разведать чрез кого следует и можно, нельзя ли известным лицам, напр⟨имер⟩ бывать у него, когда я приеду к нему или мне самому нельзя ли их в остроге посещать и пр. Думаю, что его старания не останутся вовсе бесплодными: плац-майор Кривцов у протопопа каждогодно выпивает, чай, не по одному ведру сивухи.— Моих хлопот доколе и только; но Ив⟨ан⟩ Викентьич два раза был уже у коменданта, а этот, по слову Ивана Викентьича, являлся ко князю [38] со спросом, как поступать со вновь присланными арестантами, можно ли чем-ниб⟨удь⟩ отличать их от других, делать им кой-какие снисхождения (разумеется, ни о Вашей просьбе, ни о хлопотах Ив⟨ана⟩ Викентьича тут не было упоминаемо),— и получил ответ: „по закону“. Добрый Ив⟨ан⟩ Викентьич хочет, наконец, обратиться прямо к плац-майору и просить его, чтобы он с теми господами

по кр⟨айней⟩ мере не обходился варварски. Что будет от его хлопот и моих чрез протопопа не знаю: Кривцов корчит роль превеликого монархиста, ругает и своих командиров, когда они обходятся ласково с полит⟨ическими⟩ преступниками, и обходится с ними зело не политично: присланного ныне осенью поляка, колл⟨ежского⟩ советника, профессора химии, прежестоко высек лозами единственно за то, что тот,— когда Кривцов, смотря на его бороду, отрощенную в дороге, назвал его бродягой,—сказал: „Извините, мил⟨остивый⟩ государь, я из полит⟨ических⟩ преступников, сослан за мнения, след⟨овательно⟩ бродягой называть меня нельзя". О Кривцове вот что скажу еще: еще на Кавказе в него спящего стрелял бывший в его команде донской казак; в Омске пред моим приездом один арестант сбил его с ног и порол ему горло нарочно отрощенным ногтем, да прошедшею осенью известный Сотников на говвахте тоже его колотил; наконец, за Кривцовым 16 дел! (Молчание! Достоевский с самого прибытия поступил в гошпиталь и пробудет там долго...)»[39].

11 февраля 1850 г. Сулоцкий писал М. А. Фонвизину: «Письмо мое, по всей вероятности, опечалило Вас, добрую Наталью Дмитриевну и других, принимающих участие в горькой доле С⟨ергея⟩ Фед⟨оровича⟩ Дурова и его товарища. Но что же делать? Я бессилен, а плац-майор именно таков, каким я описал его. Не мудрено вовсе, что Кривцов обругал их[40],— это совершенно в его духе; впрочем, в Омске об этом не слыхать, по кр⟨айней⟩ мере до моего слуха не дошло еще.— Не будут для Вас хотя малым утешением следующие сведения, полученные мною от Ив⟨ана⟩ Викентьича (он с неделю уже болен): г. Достоевский все в лазарете; главный лекарь Троицкий, по просьбе Ив⟨ана⟩ Викентьича, толковал с ним, предлагал ему лучшую пищу, иногда и вино; но он отказывается от всего этого, а просит только о том, чтобы принимать почаще в лазарет и помещать в сухой комнате ⟨...⟩ Г. Дурову поручено состоять при кузнице, действовать мехами и подкладывать уголья. Говорят, он рад этому, потому что, состоя при кузнице, удален от глаз зевак и что постоянно в сухом воздухе; но, по моему, Кривцов едва ли не для насмешки это сделал. — Протопоп все еще не видался с Кривцовым: этот хотя и заходил несколько раз к нему, но его не было дома...».

Перевести в лазарет — это, повидимому, в первое время после приезда Дурова и Достоевского в Омск, было единственным способом облегчить их участь. 15 февраля 1850 г. Сулоцкий писал Фонвизиным: «Сергей Фед⟨орович⟩ мел уже улицы, получил флюс и теперь в лазарете. Он и г. Дост⟨оевский⟩ очень благодарны, замечая, что главный лекарь принимает в них участие. Мы чрез Троицкого, наконец, добились позволения пересылать им по кр⟨айней⟩ ме⟨ре⟩ книги св. Писания и духовные журналы — и я отправил ныне Псалтырь на р⟨усском⟩ языке и „Хр⟨истианское⟩ чтение" за 1828, где статьи о последних днях земной жизни Спасителя, и за 1847-ой.— Кривцов пред протопопом выказывает себя сострадающим к несчастным и обещает их отпускать к нему при всяком приглашении. Авось, хотя это и неизвестно, когда будет, и я увижусь».

Вероятно, в лазарет и из лазарета передавались не только книги, но и нелегальные письма, а иногда и стихи, которые писал Дуров. Это видно, в частности, из письма Сулоцкого от 31 мая 1850 г.: «...Стихи Сергея Ф⟨едоровича⟩, без всякого сомнения, у Вас уже и для Вас отрадны[41].— Его я видел, даже перебросил с ним несколько слов; случай к этому был тот, что мне, за отсутствием протопопа, довелось приводить к присяге Троицкого и нек⟨оторых⟩ других лекарей. — Г. Д⟨остоевско⟩го навещает, хотя изредка, товарищ его по корпусу Осипов[42]. Сергей Фед⟨орович⟩ пожелал ознакомиться с историей р⟨усского⟩ раскола и я отправил ему для этого книги. Вот всё, что теперь могу сказать об этом».

В письме от 18 августа 1850 г. к М. А. Фонвизину Сулоцкий пишет: «О страдальцах только я и знаю, что они почти постоянно в лазарете и что, когда живут тут, пользуются столом от главного лекаря Троицкого. Слышал я еще от протопопа, что и он виделся и беседовал с ними; причем Достоевский просил достать для него Историю и Древности Иудейские Иосифа Флавия. Но в Омске этой книги не оказалось. Не пришлет ли ее Степан Михайлыч?[43] У него есть она на франц⟨узском⟩ языке (из книг покойного Афанасия[44]).— Слава богу, что Ив⟨ан⟩ Викентьич по своей доброте, ревности к добру и связям со многими достиг до возможности делать то, что теперь делается. Мне, при моей неловкости и при крайнем недостатке в порядочных знакомствах, никогда бы не достигнуть до подобных результатов».

Когда петрашевцы вышли на поселение, декабристы продолжали помогать им. Особую заботу о Ф. Г. Толле проявил Г. С. Батеньков, который обещал Пущину содействовать освобождению Толля с Керевского завода[45]. Толль не имел никаких средств к существованию; Батеньков поселил его у себя. Пущин писал Батенькову 23 июня 1852 г.: «Прекрасно сделали, что приютили Толля. По правде — это наше дело: мы, старожилы сибирские, должны новых конскриптов сколько-нибудь опекать, беда только в том, что не всех выдают. В Омске продолжается то же для них житье, хоть несколько помягче, после смены плац-майора Кривцова»[46].

Пущин принимал близко к сердцу участь «новых конскриптов». После амнистии, находясь уже в России и узнав об указе 17 апреля 1857 г.,— указе, который возвращал некоторым из петрашевцев права потомственного дворянства, — Пущин сообщил М. И. Муравьеву-Апостолу имена этих «девяти коммунистов»[47].

Толль поддерживал дружеские связи со многими декабристами, с которыми он познакомился в Томске, а затем, позже, в Твери. Понимая, что общение со старым поколением революционеров имеет интерес исторический, Толль записал слышанные им от декабристов рассказы[48].

Когда у Достоевского и Дурова кончился срок каторги, большую поддержку оказала им семья декабриста Анненкова. Перед тем как их отправили в Семипалатинск и Петропавловск солдатами в Сибирский корпус, Достоевский и Дуров провели в Омске, в доме зятя Анненковых К. И. Иванова, старшего адъютанта Отдельного сибирского корпуса, почти целый месяц. С горячей благодарностью вспоминает об Анненковых Достоевский в письме к П. Е. Анненковой из Семипалатинска от 18 октября 1855 г.[49]

Ближе других Достоевскому была религиозно настроенная Н. Д. Фонвизина; он продолжал переписку с ней и после отъезда Фонвизиных в Россию в 1853 г. Сохранился черновик письма Фонвизиной Достоевскому от 8 ноября 1853 г.— Наталья Дмитриевна выражала надежду на свидание с ним (очевидно, это был ответ на его письмо)[50]. Именно Н. Д. Фонвизиной писал Достоевский тотчас по выходе из Омского острога в феврале 1854 г., поверяя ей свои убеждения — «символ веры»[51].

Дуров сохранил крепкую дружбу с семьей Фонвизиных-Пущиных[52] на всю жизнь. Вернувшись в Россию, он подолгу жил в имении Фонвизиных Марьине, даже в отсутствие хозяев, на попечении старой няни[53]. Пущин с женой продолжали помогать ему и хлопотать за него. В письме к Пущину от 13 февраля 1858 г. из Одессы Дуров рассказывает о тяготах поднадзорного положения и просит свою названную «тетушку» хлопотать о снятии с него надзора.

«Вопрос, до меня лично касающийся,— писал он Пущину, иронически пользуясь терминами, широко распространенными в пору подготовки

крестьянской реформы,— это также, в некотором роде, вопрос об улучшении быта, чтобы не сказать, освобождении. *Что бы и как бы там ни было, но, кажется, годовая сиденка в равелине, четырехлетнее влачение кандалов в бесчеловечной каторге, двухлетняя солдатская лямка и, наконец, амнистия и возвращение дворянских прав могли бы, особенно в наше разумное и хваленое время, развязать мне руки, по крайней мере, на заработку насущного куска хлеба. Но, между тем, на самом деле мой аттестат и присмотр полиции связывают меня не только по рукам, но и по ногам* ⟨отчеркнуто Пущиным⟩. Куда ни кинь, везде клин. Преподавать — нельзя; писать под каким-нибудь псевдонимом — того и смотри, что попадешься под новую опалу на старости лет, вступить в коронную службу (к которой, впрочем, я не имею ни малейшего призвания) без чина — это значило бы толочь воду, потому что, при всем рачении и особенно при бескорыстии, едва ли в год заработаешь на какую-нибудь сажень дров. Остается — частная, конторская служба, но вообще народ промышленный и торговый себе на уме и далеко не тянется за теми, которые пользуются вниманием полиции. Вообще, в свете, нужно отдать ему полную справедливость, нас, опальных, встречают весьма благосклонно, даже предупредительно, но при этом ни как не должно забывать французской пословицы „qui trop embrasse mal etreint“*— иногда ошибешься в расчете: сила солому ломит.

Это-то безвыходное положение, которое, как червь, гложет сердце, и вынуждает меня просить Вас написать несколько слов тетушке,— не может ли она к бездне благодеяний, сделанных мне, прибавить еще одно — похлопотать через добрых людей о снятии с меня надзора, в существе ни к чему не служащего, как разве только камнем преткновения для меня.

Может быть, многоуважаемый Иван Иванович, Вам покажется неловким, что я обращаюсь с такой просьбой, но ведь утопающий хватается за соломку, к тому же неисчерпаемая доброта бесценной Натальи Дмитриевны на это меня отваживает. Конечно, вглядевшись несколько в настоящий ход вещей и сознавая всю рациональность моего искания, я бы, пожалуй, мог сам прямо обратиться с всеподданнейшей просьбой, но, к несчастию, у меня есть на примете *такое лицо в Петербурге* ⟨подчеркнуто Пущиным⟩, которое, не побоявшись ни бога, ни совести, готово, по *особенному* ко мне расположению, упрятать меня туда, куда Макар телят не гонял»[54].

Отправляя это письмо жене в Петербург, Пущин писал: «...Ты верно знаешь, кто этот гусь, которого я подчеркнул. Минуй его и хлопочи! бог поможет. Д⟨уров⟩ писал это письмо 13-го февраля, а я ему послал твои деньги 12-го и много с ним от души болтал, все об тебе. Значит, оно и придет к нему завтра. Поговори о Дурове с братом Михайлом. Он может с Долгоруковым, ш⟨ефом⟩ ж⟨андармов⟩, действовать, а Данзас — у Тимашева...».

Так декабристы, возвратившиеся в Россию, продолжали поддерживать своих сибирских друзей — петрашевцев.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Дело петрашевцев», т. III. М.—Л., 1951, стр. 141.
2 Там же, т. I. М.—Л., 1937, стр. 296.
3 Д. А. Кропотов. Несколько сведений о Рылееве.— «Русский вестник», 1869, № 3, стр. 229—245.
4 См. прим. 22.
5 «Дело петрашевцев», т. I, стр. 448.
6 Там же, т. III, стр. 459.

---

* кто многого хочет, малого добьется (франц.).

[7] Там же, стр. 394—395.

[8] ЛБ, ф. № 319, п. 4, ед. хр. 56.

[9] Письмо И. Д. Якушкина к М. А. Фонвизину от 2 января 1850 г.— Сб. «Декабристы. Новые материалы». Под ред. М. К. Азадовского. М., 1955, стр. 292.

[10] «Сборник старинных бумаг Щукина», т. X. М., 1902, стр. 267; там же письма Львова — стр. 237—259; см. также: В. И. Семевский. Петрашевский в Сибири.— «Голос минувшего», 1915, № 3, стр. 18—57; № 5, стр. 49—50.

[11] Сообщение основано главным образом на документах из фонда декабриста Фонвизина (хранится в Отделе рукописей ЛБ и, частично, в ЦГИА). Кроме фонда Фонвизиных, нами использованы неопубликованные материалы из фонда С. Д. Полторацкого (ЛБ) и из дела № 214 1-й эксп. III Отделения (ЦГИА).

[12] В этом сказался и контроль над перепиской декабристов, и тот суровый каторжный режим, которому были подвергнуты петрашевцы в Сибири. Многие письма декабристов, относящиеся к пятидесятым годам, утрачены; так, в архиве И. И. Пущина, разошедшемся по трем архивохранилищам Москвы (ЦГИА — 4 тома переписки за 1854, 1857 гг.; ГИМ — 1 том за 1858 г.; ЛБ— 12 томов за 1832—1855 гг.), отсутствуют письма за 1850 г. Между тем, обширная переписка Пущина со всем кругом декабристов, с родными и друзьями в России дала бы, вероятно, интересные сведения об отношении декабристов к петрашевцам и о судьбе петрашевцев на каторге.

[13] Об этом см.: М. Н. Гернет. История царской тюрьмы, т. II, изд. 2-е. М., 1951, стр. 230—231.

[14] Сергей Николаевич Кашкин (1799—1868) — отец петрашевца Н. С. Кашкина, двоюродный брат Е. П. Оболенского. Он привлекался по делу декабристов и был выслан в Архангельск.

[15] На квартире у Н. С. Кашкина собирался кружок молодежи; повидимому, именно этот факт дал основание для слуха о «секретарстве». Кашкин был сослан рядовым в Кавказские линейные войска.

[16] Лобанов — чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири.

[17] ЛБ, ф. № 233 (С. Д. Полторацкого), п. 10, ед. хр. 45. Копия рукой С. Д. Полторацкого. Письмо опубликовано в «Русской старине», 1887, № 11, стр. 479—482.

[18] Ф. М. Достоевский. Письма, т. I. М.—Л., 1928, стр. 135.

[19] «Дневник писателя» за 1873 г.; «Записки из мертвого дома», 1935, стр. 120.

[20] Michel — М. А. Фонвизин. В Тобольске жили в это время, кроме Фонвизиных, декабристы Анненков, Бобрищевы-Пушкины, Вольф, А. М. Муравьев, Свистунов, Семенов.

[21] Матрена Петровна Нефедова, последовавшая за Н. Д. Фонвизиной в Сибирь.

[22] Можно предположить, что Петрашевский говорил с Фонвизиной о ее сыне Дмитрии, оставленном ею в России. Д. М. Фонвизин, в это время уже смертельно больной туберкулезом, в августе 1849 г., по совету Пирогова, поехал лечиться на Кавказ. Это избавило его от ареста и допроса по делу петрашевцев — предписание об аресте Фонвизина было дано Дубельтом 28 августа, бумаги его были взяты при аресте Колошина, жившего вместе с ним, и возвращены Колошину в январе 1850 г. (ЦГИА, ф. № 109, 1 эксп., д. 214, ч. 123).

[23] Эта часть рассказа Петрашевского, сопровождающаяся, кроме того, домыслами Н. Д. Фонвизиной, свидетельствует о тяжелом болезненном состоянии, в каком он прибыл в Тобольск. Однако о пытках, применявшихся к петрашевцам на следствии, имеется гораздо более позднее и трезвое свидетельство Ф. Н. Львова и самого Петрашевского: в «Записке о деле петрашевцев», направленной ими Герцену для публикации в «Колоколе», есть прямые указания о том, что «Спешнева морили три дня голодом», а в отношении других, в том числе Петрашевского, «прибегли к систематической отраве наркотическими средствами, преимущественно белладонной», результатом которой были «галлюцинации, бешенство и продолжительные обмороки» («Лит. наследство», т. 63; печатается).

[24] О ненависти Дурова к Я. И. Ростовцеву свидетельствует П. К. Мартьянов, познакомившийся с ним на каторге. См. воспоминания Мартьянова «В переломе века».—«Исторический вестник», 1895, № 11, стр. 434—463.

[25] Мария Дмитриевна Францева — дочь губернского прокурора в Тобольске, приятеля декабристов. В своих «Воспоминаниях» («Исторический вестник», 1888, № 6, стр. 628—629) она подробно рассказывает о свидании Фонвизиной с Достоевским и Дуровым при их выезде из Тобольска в Омск. Францева передала жандарму для И. В. Ждан-Пушкина, инспектора Сибирского кадетского корпуса, письмо, в котором просила проявить участие к Дурову и Достоевскому.

[26] Петр Дмитриевич Горчаков — генерал-губернатор Западной Сибири. Княгиня — его жена, родственница Фонвизиной.

[27] Н. Н. Муравьев — генерал-губернатор Восточной Сибири. См. о нем стр. 158 настоящего тома.

[28] ЛБ, ф. № 319 (Фонвизиных), п. 1, ед. хр. 13. — Письмо дается в извлечениях. Небольшой отрывок из этого письма приведен нами в обзоре архива Фонвизиных

(«Записки Отдела рукописей» Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 14. М., 1952, стр. 22).

[29] «Былое», 1906, № 2, стр. 249.

[30] Лобанов и Ю. И. Штубендорф — чиновники особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири, знакомые декабристов.

[31] Петрашевский и Спешнев.

[32] Александр Иванович Габриель — управляющий Шилкинским заводом.

[33] ЛБ, ф. № 319, п. 3, ед. хр. 75.— Н. П. Григорьев в Сибири впал в «меланхолическое умопомешательство».

[34] Ив⟨ан⟩ Викентьич — Ждан-Пушкин, инспектор Сибирского кадетского корпуса.

[35] Марья Дмитриевна — Францева. См. о ней прим. 25.

[36] С. Я. Знаменский — священник, друг декабристов.

[37] Д. С. Пономарев — протоиерей в Омске.

[38] П. Д. Горчаков. См. о нем прим. 26.

[39] ЛБ, ф. № 319, п. 3, ед. хр. 67.

[40] См. письмо Достоевского к брату от 22 февраля 1854 г. (Достоевский. Письма, т. I. М.—Л., 1928, стр. 135).

[41] Речь идет, вероятно, о стихотворении «Когда пустынник Иоанн», датированном 14 марта 1850 г. Оно напечатано в воспоминаниях М. Д. Францевой («Исторический вестник», 1888, № 6, стр. 630—631).

[42] Вероятно, Г. А. Осипов, правитель дел Сибирского кадетского корпуса.

[43] Декабрист С. М. Семенов.

[44] Афанасий — архиепископ Тобольский и Сибирский (ум. в 1842 г.).

[45] См. письмо И. И. Пущина к Батенькову из Ялуторовска от 19 мая 1852 г.— сб. «Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля». М., 1936, стр. 243.

[46] Там же, стр. 245.

[47] ЦГИА, ф. № 279, д. 232.

[48] См. «Тетрадку Толля» в сб. «Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных». Л., 1926, стр. 121—145.

[49] Ф. М. Достоевский. Письма, т. I. М.—Л., 1928, стр. 162—163.— В упоминавшемся выше письме к брату Достоевский писал об Ивановых: «...Константин Иванович будет сам в Петербурге и в этом году, он тебе все расскажет. Что за семейство у него! Какая жена! Это молодая дама, дочь декабриста Анненкова. Что за сердце, что за душа и сколько они вытерпели!» (там же, стр. 139).

[50] ЦГИА, ф. № 1706, д. 38.

[51] Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 142.

[52] Овдовев в 1854 г., Н. Д. Фонвизина вышла замуж за И. И. Пущина.

[53] В этом имении, недалеко от г. Бронниц Московской губ., с Дуровым встречался в 1859 г. литератор В. П. Буренин, впоследствии реакционный публицист. Воспоминания Буренина о встрече с Дуровым, написанные в 1925 г., хранятся в ИРЛИ (ф. № 36, оп. 1, ед. хр. 41).

[54] ЛБ, ф. № 319, п. 1, ед. хр. 85.— Вероятно, Дуров имел в виду Я. И. Ростовцева. Дуров считал, что суровостью вынесенного ему приговора он в большой степени обязан Ростовцеву. Об отношении Дурова к Ростовцеву — см. прим. 24. Однако предположения Дурова были не совсем справедливы: Ростовцев несколько раз пытался добиться смягчения участи Дурова, но получал отказ (ЦГИА, ф. № 109, 1 эксп., д. 214, ч. 8, лл. 20, 36 и др.).

НЕИЗВЕСТНАЯ РАБОТА И. Г. ПРЫЖОВА О ДЕКАБРИСТАХ В СИБИРИ

Сообщение Л. Н. Пушкарева

Среди первых ученых и публицистов, заинтересовавшихся историей ссылки декабристов в Сибирь, был Иван Гаврилович Прыжов (1827—1885) — последователь революционных демократов, историк, публицист и этнограф, начавший с изучения народного быта, а кончивший революционной деятельностью, ссылкой и Сибирью.

Прыжов был сыном писаря «со средним окладом» и всю жизнь старался выбиться из нужды и отдаться любимому занятию — изучению народного быта. Числясь коллежским регистратором Московской палаты гражданского суда (где он проработал около четырнадцати лет), Прыжов бо́льшую часть времени уделял не службе, а научной и публицистической деятельности. За десять лет (с 1860 по 1869 г.) он опубликовал около пятидесяти книг, статей, заметок, рецензий на самые разнообразные темы — исторические, публицистические, этнографические. Уволенный со службы, Прыжов долго мыкался без работы, пробовал жить литературным трудом.

В 1869 году Прыжов связал свою судьбу с революционным движением.

Он был одним из тех, чье внимание еще в шестидесятые годы привлек рабочий класс, «фабричные».

Переход Прыжова от научной и литературной работы к революционной деятельности был вполне закономерен. Человек, который писал про себя:

«Я хотел собрать в одно целое не только археологические факты, но и все слезы, всю кровь, весь пот, пролитые когда-либо народом, собрать и высчитать, насколько вынесет это наука счисления»[1],— неминуемо должен был стать революционером.

Правда, он примкнул к нечаевской организации, методы борьбы которой обнаружили ее полную политическую несостоятельность и были осуждены ходом истории.

Свою революционно-агитационную деятельность Прыжов совмещал с научными занятиями. Он был в числе первых исследователей быта городских и сельских пролетариев; естественно поэтому, что Нечаев предложил ему «принять на себя организацию низшего класса городского населения, именно: дворников, извозчиков, будочников, хлебников и почталионов»[2]. Несмотря на то, что автобиография Прыжова, которую он написал для своего защитника на суде, полна самых горячих протестов против попыток отнести его к числу наиболее активных участников кружка Нечаева, мы в этом случае склонны больше верить другим документам, чем показаниям самого Прыжова. В нечаевском кружке Прыжов занимался не только агитацией: он был связан, кроме того, с зарубежными славянскими революционерами.

Арестованный в конце 1869 г., Прыжов вместе с другими нечаевцами прошел мучительную процедуру следствия и суда. Он держался мужественно, на вопросы следователей отвечал без лишней откровенности, старался не дать ни одной добавочной улики против кого бы то ни было. Суд над нечаевцами (1871) был первым в России гласным политическим процессом. Для Прыжова этот суд был единственной возможностью бросить в лицо врагу слова ненависти и презрения. Накануне суда он писал своему защитнику: «Сил еще много, хотелось что-либо сделать, хотелось доесть врагов и тогда умереть,— вырвите же мне возможное облегчение жизни; но извиняться перед ними, но просить, просить прощения, но сознаваться виноватым, когда преступники — они: никогда!!!» [3]. Выступления Прыжова на суде полны достоинства. В своем последнем слове Прыжов еще раз заявил о любви к «несчастному русскому народу» [4], сказал, что по-настоящему оценить сложные обстоятельства, приведшие его на скамью подсудимых, смогут только потомки. Выступление он закончил строками Гёте:

Жертвы валятся здесь,
Не телячьи, не бычачьи,
Но неслыханные жертвы — *человечьи*.

(«Коринфская невеста»).

15 июля кончился суд над первыми одиннадцатью нечаевцами, а 21 декабря над Успенским, Кузнецовым и Прыжовым был совершен обряд «публичной казни». И. Е. Деникер вспоминает: «...когда поп подавал целовать крест, к которому Успенский и Кузнецов приложились, Прыжов, махнув на него рукой и подобравши цепи, взошел первый на эшафот» [5].

В январе 1872 г. Прыжов был отправлен в Виленскую каторжную тюрьму, оттуда — в Сибирь, в Иркутск, а из Иркутска — на Петровский завод, где провел несколько лет на каторге, а затем — на поселении.

В 1881 г. Прыжов выписал из Москвы свои старые труды, хранившиеся у брата, и принялся за работу. Он посылал в периодические издания статьи (в «Вестник Европы», в «Порядок»), готовил к печати труды, над которыми работал всю жизнь («Граждане на Руси», «Собака в истории человечества» и т. д.), разрабатывал новые, сибирские темы («Декабристы в Сибири на Петровском заводе» и «Записки о Сибири»).

Подобно многим деятелям шестидесятых годов Прыжов сочетал в себе публициста, ученого и революционера. Научные интересы Прыжова широки и разносторонни. Он был прежде всего историком, но историком весьма своеобразным; он поставил перед собой задачу — изучить явления социального быта русского народа в их историческом развитии. Собирая всю жизнь материал по социальной истории, он предполагал разбить его на шесть больших томов: «1) народные верования (в первые дни культуры, в средних веках, теперь); 2) социальный быт (хлеб и вино, община и братство, поэзия, музыка и драма); 3) история русской женщины; 4) история нищенства в России; 5) секты, ереси, расколы; 6) Малороссия» [6]. В соответствии с каждым из этих тематических разделов Прыжовым к моменту ареста было уже опубликовано несколько работ, среди которых важнейшие: «Житие Ивана Яковлевича» (1860), «Нищие на святой Руси» (1862), «26 московских лжепророков» (1865) и «История кабаков в России в связи с историей русского народа» (1868). Немало работ осталось в рукописи — «История мещан», «Алеша Попович», «Смутное время и воры в Московском университете» и другие.

Приведенный перечень заглавий иллюстрирует собственные слова Прыжова о стоявших перед ним задачах: «Мне страшно хотелось напи-

РУКОПИСЬ
РАБОТЫ И. Г. ПРЫЖОВА
«ДЕКАБРИСТЫ В СИБИРИ
НА ПЕТРОВСКОМ ЗАВОДЕ»,
1882 г.

Лист с началом главы VI-й, посвященной жизни И. И. Горбачевского

Центральный архив литературы и искусства, Москва

сать три вещи: а) Поп и монах как первые враги культуры человека, б) Историю крепостного права, преимущественно по свидетельству народа, и в) Историю свободы в России»[7]. Темы, выбранные Прыжовым, были острыми и злободневными; его работы вызывали оживленные отклики в печати.

Прыжов был историком в самом широком смысле этого слова. Он занимался этнографией, собирал произведения народного творчества, выступал в качестве публициста и очеркиста. Попытка дать научно-исторический анализ современных явлений — характерная черта творчества Прыжова. Именно желание разобраться в сложной общественной обстановке шестидесятых годов, найти выход из создавшегося положения и привело к тому, что он «учился, выучился и достиг высших степеней науки — Петропавловской крепости»[8].

О том, каковы были общественно-политические взгляды Прыжова и как тесно переплетались они с его научными взглядами, красноречиво свидетельствует виньетка к «Истории свободы в России», задуманная Прыжовым и исполненная его братом: «... кругом шел бордюр из цепей, а по четырем углам были нарисованы виселица, топор и плахи, кандалы и плети и... Петропавловская крепость»[9]. Уже в первых своих трудах Прыжов выступает страстным обличителем правительства, дворянства, духовенства, резким критиком существующего строя. Писал ли он о кабаках или о нищих, о разоренной деревне или о голодающем городе — он всегда писал о народе, о его тяжелой судьбе, о его будущем. Критика для Прыжова — это только средство выступить в защиту народа, показать народу, какова его судьба в настоящем и чего он достоин в будущем.

Положительные идеалы Прыжова гораздо бледнее его критических суждений. Сбивчиво и туманно излагает он свои социальные и политические воззрения в «Исповеди», написанной накануне суда. Теория общественной жизни, излагаемая Прыжовым, сводится к тому, что общество только тогда развивается нормально и не нарушает социальной справедливости, когда в нем осуществлена гармония между умственными и социальными интересами. Такой гармонией, например, отличалось первобытное общество, затем она была нарушена в классовом обществе, в настоящее время человечество идет к гармонии; задача общественного деятеля — всемерно способствовать этому социальному движению.

Работы Прыжова свидетельствуют об ограниченности его взглядов на общественное развитие. Но хотя Прыжов и не был теоретиком, а всего лишь рядовым бойцом великой армии шестидесятников, он был бойцом верным, страстным, последовательным, опасным противником царского произвола. Все эти качества Прыжов сумел сохранить и на каторге, и в ссылке.

В 1881 г. Прыжов вышел на поселение и остался жить в Петровском заводе. Из его писем к Н. И. Стороженко видно, как активно и напряженно работал он в это время. Но условия, в которых жил Прыжов, тупая чиновничья среда, окружавшая его, постоянная бедность, смерть жены — все это привело его к преждевременному концу (1885 г.). После его смерти управляющий Петровским заводом, инженер И. Я. Аникин, сообщил Стороженко, что бумаги Прыжова находятся у него. Долгое время тем и ограничивались наши сведения о фонде Прыжова; это дало право некоторым исследователям предположить, что бумаги его утеряны. На самом деле они уцелели и поступили к П. И. Щукину, передавшему их в Государственный Исторический музей, где они и были занесены в инвентарную опись как фонд «Благовещенского» (Благовещенский — сибирский псевдоним Прыжова).

Это — довольно большой по объему фонд, насчитывающий 23 единицы хранения[10]. В него входят первоначальные варианты опубликованных работ (например, «Быт Малороссии по памятникам ее литературы с XI по XVIII век»), входят и написанные в шестидесятые годы, но так и не вышедшие в свет труды Прыжова (монографии о голубе, о собаке, «Первые следы социальной жизни на Руси», материалы по истории кабаков и т. д.) и, наконец, работы, написанные в восьмидесятые годы и подготовлявшиеся Прыжовым к печати («Записки о Сибири», «История тюрьмы», «Граждане на Руси», «Декабристы в Сибири на Петровском заводе» и другие). Последняя группа материалов наиболее значительна и по объему, и по содержанию. Первая группа представляет собой неизвестные ранее варианты уже опубликованных работ Прыжова (о которых он писал в «Исповеди» и в письме к Н. И. Стороженко) и ничего *принципиально* нового в себе не содержат. Последняя группа материалов показывает, кем стал Прыжов на каторге и в ссылке, позволяет раскрыть более полно и потому более верно его мировоззрение.

Общественно-политические темы в ненапечатанных трудах Прыжова занимают более значительное место, чем в его опубликованных работах. В шестидесятые годы Прыжов был в гораздо большей степени историком, этнографом, фольклористом и публицистом, чем политическим деятелем. Лишь к концу шестидесятых годов он стал профессиональным революционером, но его революционная деятельность продолжалась, как известно, очень недолго. На поселении Прыжов в своих литературных произведениях вернулся к общественно-политическим темам.

Среди работ, написанных, переделанных или законченных Прыжовым в восьмидесятые годы, наибольший интерес представляет огромное исследование (объемом около 30 печатных листов) «Граждане на Руси» (другой

вариант заглавия — «Русский народ»), в котором Прыжов разбирает понятие гражданственности в русской общественной мысли, начиная от декабристов и кончая Некрасовым. Одна из глав этого труда, отброшенная при обработке, называется «Славянофилы и Катков» и чрезвычайно важна для характеристики борьбы революционно-демократического направления со славянофильством и Катковым. Очень интересны работы Прыжова, посвященные сибирской ссылке и сибирской тюрьме; в этих статьях Прыжов выступает не только в роли исследователя, но и в роли наблюдателя.

Наконец, особое значение имеет работа Прыжова о декабристах, раскрывающая его общественно-политические взгляды и весьма характерная для его научной и писательской манеры.

Эта работа объединяет Прыжова-историка с Прыжовым-революционером и Прыжовым-публицистом. Он желал сохранить для потомства память о наиболее светлых деятелях — борцах за свободу, память о которых погасала в затхлой атмосфере сибирского провинциализма. Новый труд Прыжова был ответом на книгу С. В. Максимова «Сибирь и каторга», в которой автор, по мнению Прыжова, исказил отдельные стороны декабристского движения и с которой Прыжов страстно полемизирует. Это исследование явилось вместе с тем одной из первых попыток оценить с точки зрения революционного демократизма значение и смысл декабрьского восстания.

В работе «Декабристы в Сибири на Петровском заводе» слиты воедино и исторические изыскания Прыжова, и фактические данные, собранные Прыжовым по свежим следам, широко привлечен также газетный и журнальный материал для обрисовки той среды, в которой жили декабристы. Многие данные, почерпнутые Прыжовым из сибирской периодики,— данные, которые были использованы им в «Записках о Сибири»,—приведены и в этой работе; повидимому, автор рассматривал свой новый труд как некое обобщение сибирских впечатлений.

Бóльшая часть рукописных трудов Прыжова не вполне закончена; не закончена и работа о декабристах. Кроме того, не сохранилось ее начало. Рукопись начинается с полуфразы второй главы исследования, посвященной характеристике сибирского общества семидесятых — начала восьмидесятых годов. В дальнейшем тексте не хватает отдельных листов; характеристика одних декабристов закончена, других — лишь намечена, третьих —отсутствует.

Название работы «Декабристы в Сибири на Петровском заводе» дано самим Прыжовым; оно сохранилось на черновой обложке рукописи[11]. Рукопись вместе с приложением состоит из 162 исписанных с обеих сторон листов, формата конторской книги, и нескольких вставок (вырезки из газет, черновые записи и т. д.).

Название второй главы неизвестно, так как отсутствуют, как мы уже упоминали, ее первые страницы; содержание главы — характеристика сибирского общества и его отношения к ссыльным, начиная со Сперанского и кончая восьмидесятыми годами. Далее следует третья глава — «Петровский завод», в которой описывается сам завод, характеризуются управляющие заводом, местная интеллигенция («горные чиновники») и т. д. Небольшая четвертая глава — «Путь декабристов до Петровска»— сопровождается двумя эпиграфами из Некрасова:

Зачем, проклятая страна,
Нашел тебя Ермак?

Гремит, звенит и улетает,
Куда Макар телят гоняет...

Эта глава основана на печатных источниках и служит как бы вступлением к основной, пятой, главе исследования — «Декабристы в Петровском заводе», самой значительной по объему (60 двусторонних листов). Большой интерес представляет шестая глава — «Иван Иванович Горбачевский»; она содержит свежий материал для характеристики последних лет жизни этого замечательного декабриста. Заканчивается исследование Прыжова небольшой — седьмой — главкой «Ссыльные в Петровском после декабристов», в конце которой стоит дата окончания работы — 1882 г.

Таков план работы Прыжова. Что же касается ее содержания, то оно гораздо шире плана. Пользуясь формой исторического исследования, Прыжов постоянно возвращается к современности, пытаясь несколькими, как бы мимоходом брошенными фразами дать характеристику общественного строя и выразить своё отношение к нему. Например, говоря о ссыльных поляках тридцатых — сороковых годов, Прыжов добавляет: «Между тем умственное развитие на Руси продолжало совершать свое поступательное движение. Пришел 1848 год. Белинские, Грановские и многие другие тем только и спасались от Сибири, что умирали. Число ссыльных в Сибирь стало мало-помалу увеличиваться...»[12]. Вот что пишет Прыжов о своем отношении к реформе 1861 г.: «Между тем, начиная с рокового 1861, число ссыльных росло и росло. С началом 60-х годов мелькнула надежда на лучшую жизнь и обманула самым оскорбительным образом... Последствия были ужасны. Оглядываясь на это странное время,— говорит один писатель,— можно удивляться той необузданности надежд, которыми мы тогда были преисполнены»[13].

Работа Прыжова о декабристах—это горячее взволнованное повествование о судьбе дворянских революционеров, в которой было так много общего с судьбой самого Прыжова. Рассказывая о жизни декабристов в Сибири, Прыжов пишет: «Надо погодить — и всплывет наверх многое. Всплывут тюменские этапные инспекторы в палевых лайковых перчатках (1872), у которых массы арестантов гибли на баржах, как негры на негритянском корабле, всплывут „приемщики" на почте из кабашных сидельцев, понявшие, что политический, получающий письма от родных и газеты,— в их руках, грабят посылаемые ему деньги и стараются всячески напакостить, всплывет иркутская таможня, тоже из каких-то бродяг, которая грабит посылки или посылаемые по почте рукописи отправляет не по принадлежности, а куда вздумается. Всплывут инженеры, исправники и всякие чины, имевшие в своей власти арестантов, всплывут вещи, от которых у людей встанут волосы дыбом»[14].

Работа Прыжова и по форме представляет полуисторическое, полулитературное произведение. Автор часто прерывает рассказ цитатами из любимых поэтов. Например, описывая начало шестидесятых годов и не имея возможности прямо и достаточно ясно рассказать об иллюзорности реформ того времени, Прыжов прибегает к цитатам из Пушкина и Фета: «Тогда, говоря словами Пушкина, тоже, в свою очередь, оплакивавшего погибшие светлые дни ⟨восстание 14 декабря.— *Л. П.*⟩,

Тогда душой беспечные невежды,
Мы жили все и легче, и смелей,
Мы пили все за здравие надежды,
И радости, и всех ее затей.

Тогда каждый встречный на улице подходил к вам и говорил:

Я пришел к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало.

Солнце встало, потом солнце село. Совы и филины замахали крыльями и затянули свою мрачную похоронную песню. Наступали убийственные времена,

Когда свободно рыскал зверь,
А человек бродил пугливо»[15].

При описании жен декабристов Прыжов особенно часто обращается к поэме Некрасова «Русские женщины», черпая оттуда образы и сравнения, а для характеристики сибирского общества прибегает к сатирическим образам Салтыкова-Щедрина.

Изображение сибирского общества Прыжов предваряет кратким описанием той роли, какую сыграли в Сибири политические ссыльные. «Эти ссыльные, несмотря на самые несчастные условия жизни, часто совсем ужасные, гнусные, сделали для Сибири столько добра, сколько она сама не сделала бы в целые сто лет и больше. Окидывая взором все их труды, мы видим, что они исследовали Сибирь в антропологическом, естественном, экономическом, социальном и этнографическом положении,— словом, сделали несравненно больше, чем все, сделанное за это время для любой из других русских областей. Люди эти были истинными благодетелями Сибири и в нравственно-социальном, и в материальном отношении»[16]. После этого вывода Прыжов дает картину отношения чиновничьего сибирского общества к ссыльным: «...что тогда было, когда массы молодых людей, которые иногда оказывались мало в чем повинными, когда мужья с женами или одинокие женщины наводнили Сибирь?⟨...⟩ Вся

РУКОПИСЬ РАБОТЫ И.Г. ПРЫЖОВА «ДЕКАБРИСТЫ В СИБИРИ НА ПЕТРОВСКОМ ЗАВОДЕ», 1882 г.

Лист с описанием и рисунком могилы И. И. Горбачевского

Центральный архив литературы искусства, Москва

хищническая орда из Деруновых, Разуваевых, Косушниковых, Вздошниковых готова была сожрать этих „сицилистов“ живыми» [17].

С горечью и болью писал Прыжов об общественной жизни Петровского завода после того, как декабристы оставили завод: «Вся начинавшаяся здесь добрая жизнь с ее гуманными стремлениями, с многообещающей будущностью завода, с глубокими основами просвещения, которые заложены были здесь декабристами, погибла, тем более, что впоследствии управляющие были один другого хуже. Завод, устроенный Арсеньевым, разваливался, становился притчею во языцех, и вместо прежней просвещенной общественной жизни с ее обедами, пикниками и т. д. завладели жестокость, невежество, хищничество, и на Петровске повторилась та же участь, которую,— как мы увидим,— испытали Чита и Селенгинск, ожившие при декабристах и по отбытии их обращавшиеся в жалкие деревушки» [18]. Характеризуя жизнь Петровска в восьмидесятых годах, Прыжов пишет: «В заводе развиваются теперь пьянство, разврат, сплетня, получавшие начало в доме управляющих, и сплетня потом стекалась сюда, словно в помойную яму. Исчезало окончательно все благодатное влияние декабристов, мужчин и женщин, как будто эти истинные проповедники добра здесь никогда и не существовали» [19].

Переходя к описанию жизни декабристов в Петровском заводе, Прыжов прежде всего останавливается на источниках и начинает с перечисления устных: «Многое сообщил нам фельдшер Михаил Иванов, служивший при декабристах, ученик тогдашнего хорошего лекаря Янчуковского и главное — постоянный помощник благородного декабриста Артамона Муравьева, занимавшегося в заводе лечением больных ⟨...⟩ Некоторыми важными сведениями мы обязаны петровскому жителю, кяхтинскому купцу Борису Васильичу Белозерову, близкому когда-то к Бестужевым и к Горбачевскому. „Вот,— говорил он нам,— посмотрите на эти двери из залы в гостиную; двери эти из дома Бестужевых в Селенгинске, сделанные, может быть, их собственными руками“» [20]. И далее Прыжов постоянно приводит устные отзывы тех старожилов, которые в его время еще помнили декабристов. Помимо устных источников, Прыжов широко использовал дневники декабристов, их воспоминания, а также те исследования, которые в той или иной степени посвящены им [21]. Прыжов интересовался и документальными источниками — архивными делами и библиотекой декабристов (см. об этом ниже).

Описывая жизнь и быт декабристов в заводе, Прыжов особое внимание уделяет их культурной роли, рассказывает о том, как они учили детей, как лечили жителей. О школе декабристов еще во времена Прыжова помнили старожилы. Со слов петровского старожила М. С. Добрынина, Прыжов сообщает: «...декабристы сделали еще одно почтенное дело — завели у себя в казематах школу и нисколько не для чиновных, но для бедных нищих заводских мальчиков» [22]. В другом месте Прыжов пишет: «Мы счастливы, что можем привести следующий рассказ о Волконской петровского старожила М. С. Добрынина: „*Эта женщина должна быть бессмертна в русской истории.* В избу, где мокро, тесно, скверно, лезет, бывало, эта аристократка — и зачем? Да посетить больного. Сама исполняет роль фельдшера, приносит больным здоровую пищу и, разузнав о состоянии болезни, идет в каземат к Вольфу, чтоб он составил лекарство“» [23].

Интересны замечания Прыжова о судьбе некоторых портретов декабристов. Например, повествуя о декабристе Оболенском, он сообщает: «Портрет его, сделанный уже под старость ⟨...⟩ хранится у дочерей попа Поликарпа и выслан Оболенским уже из Калуги. Тут же хранится маленький образок — подарок от Оболенского с его собственноручной надписью» [24]. «До сих пор сохраняются в Кяхте „Мадонна“ у купца Луш-

никова, „Портрет девочки“, сделанный Бестужевым ⟨...⟩ — там же; у купцов Старцевых — портрет всей их семьи и *шестьдесят семь* портретов декабристов, которые он накидывал карандашом, по мере того как декабристы оставляли каторгу (каземат). Портреты эти были подарены им Горбачевскому. Если верить его дочери Александре Луцкиной, дело было так: Горбачевский, умирая, взял эти портреты и отдал ей, сказав: „Возьми их — у тебя будет кусок хлеба“. Она взяла их и заперла в сундуке; но однажды в ее отсутствие пьяница ее брат Александр, подобрав ключ к сундуку, утащил эти портреты, и они, несомненно, погибли бы, пропитые в кабаке, если б Б. В. Белозеров не купил их у него за пятьдесят рублей»[25].

Прыжов рассказал также о судьбе могил декабристов и о судьбе тех крестов, которые были расставлены декабристами на окружающих горах, а один крест,— так называемый Лунинский,— даже зарисовал. Иногда Прыжов сообщает об участи документов, которые до него не дошли, например, о бумагах Мозалевского: «*По доносу* у них был сделан обыск, отобрано много книг, бумаг, они почему-то остались у заводского полицмейстера Михайла Московского, лежали у него в амбаре и во время бывшего у него пожара все сгорели»[26].

Все приведенные высказывания Прыжова и сообщаемые им сведения взяты из той части рукописи, которая предшествует главе о И. И. Горбачевском и главе о ссыльных, живших в Петровске после декабристов. Не останавливаясь более подробно на содержании этих глав, следует все же отметить большое значение заключающегося в них материала о библиотеке декабристов и о жизни Горбачевского в последние годы. Интересны также сведения о судьбе других политических ссыльных в Сибири, приводимые Прыжовым. В частности, обращает на себя внимание, что Прыжов поверил в перевод Н. Г. Чернышевского из Вилюйска в Нижнеколымск, как об этом сообщила «Страна» (1881). На самом деле этого перевода не было.

Глава о Горбачевском, характеристике которого Прыжов уделил больше всего места, начинается эпиграфом из Горация: «А ты, моряк, не будь злым и не поскупись, скитаясь, бросить горсточку песку над непогребенными костями и черепом»[27]. Кратко сообщив общеизвестные теперь биографические сведения о Горбачевском, Прыжов на первой же странице пишет: «Горбачевский не изменил своих убеждений и в каземате, и до самой смерти, подобно Лунину, Батенкову и другим»[28]. Весь остальной рассказ о жизни Горбачевского в Петровском заводе является как бы раскрытием этой краткой характеристики. Большое место уделяет Прыжов описанию личной жизни и быта Горбачевского, причем и в характеристике, и в сообщении фактов значительно пополняет и исправляет других авторов, писавших о Горбачевском.

Интересны разделы той части работы Прыжова, в которых он рассказывает об общественной деятельности Горбачевского. «Когда Горбачевскому возвращены были права, он был избран в заводе в должность мирового посредника. Он чуть не заплакал, узнав, что 19-го февраля совершилось освобождение крестьян. „Вот уж тридцать лет,— сказал он тогда, — как я жду этого великого дня и наконец дождался!“ У него была большая библиотека и, должно думать, драгоценная, потому что она перешла к нему *на память* от других декабристов. Благородный Горбачевский пожертвовал эту библиотеку в пользу завода, как памятник, воздвигнутый от него декабристам, и перевез ее в большой дом Бахмута; потом устроил из нее уже настоящую „библиотеку для чтения“, получавшую несколько журналов и газет,— и все это пропало, все пошло прахом. Книг было много и их долго перевозили от Горбачевского в кошеве, „доверху переполненной“. Сначала растратил книги пьяница Малков,

которого пьяные жители завода толкнули в звание библиотекаря; ему подражали другие, и, наконец, решительно всю библиотеку растащили и *истребили на папиросы*. Как-то осталась от нее часть иностранных книг, но и те, как увидим, погибли в конторе завода! Горбачевский в свободное время учил детей, между прочим, французскому и немецкому языку» [29].

Далее Прыжов отмечает, что «как человек умный, добрый и простой, Горбачевский был любим здесь всеми мало-мальски порядочными людьми» [30], однако оговаривается, что заводская администрация, чиновники и вообще все заводское «общество» к Горбачевскому относились плохо, издевались над ним. Прыжов заканчивает свой очерк описанием портрета Горбачевского, последних дней его жизни и тех документальных материалов из жизни декабристов, которые он застал в Петровске [31]. «Как видно из его фотографического портрета, это под старость был обрюзглый старик, с большой головой, с косматыми обильными волосами, небрежно раскинутыми, и с умными, но суровыми чертами лица. Волкан, давно потухший. Еще сидя в каземате, он составлял записки о 14 декабря и читал их своим товарищам, но они не одобрили, сказав, что *это жестоко и грубо*, и Горбачевский свои записки бросил в печь. В последнее время он часто посылал страховые письма своему приятелю, полковнику Бутацу, а этот будто бы передал их Якобсону, а от Якобсона, как слышно было, они перешли к племянникам Горбачевского — Квистам. За четыре дня до своей смерти Горбачевский написал страховые письма упомянутому Бутацу и Павлу Андреевичу Иоссек, инженеру на Урале. Умирая, он все свои бумаги сжигал в камине в присутствии своей дочери Александры. Оставалось у него еще несколько книг, и он перед самой кончиной подарил их, вместо платы, своему доктору Александру Аполлоновичу Карпунову, доселе еще живущему в Селенгинске. Умер он 20 февраля 1869 г. от фистулы в боку, происшедшей от ущемления кишки 〈...〉. Крайне не хотелось ему умирать. При кончине была его дочь, и он торопил ее послать за волостным головой и писарем, чтоб успеть подписать завещание, которым оставлял ей вместе с братом Александром свой дом, потом попросил повернуть его к стене и тихо умер. Осталось после него денег 14 рублей. Ожидая смерти, он заранее закупил для похорон и поминок рыбы и всякой всячины; гроб сделали в казенной мастерской, а могила здесь бесплатна ... Незадолго до смерти, гуляя с Разгильдеевым, Таскиным и купцом Б. В. Белозеровым, Горбачевский просил положить его не на кладбище, а по соседству, в поле, на вершине холма, чтоб он мог смотреть оттуда на улицу, где, как бы он не жил, но жил ... так и сделали 〈...〉 Памятник ему поставил купец Б. В. Белозеров на деньги, высланные ему для этого сестрою Горбачевского. Дом, который он завещал дочери, сейчас же был продан, и все имущество расхищено. У Горбачевского хранилась, как „великая святыня", головная щетка Сергея Муравьева-Апостола, умершего на виселице 13 июля 1826 г. Он сумел сберечь ее даже в Петропавловской крепости, скрывая ее под шинелью, берег ее в дороге и во всю жизнь, и она пропала. Случайно спаслись от гибели портреты декабристов работы Н. Бестужева, приобретенные купцом Белозеровым, но принадлежащие теперь всей России.

Все дела о декабристах, находившиеся при штабе коменданта, отправлены в Петербург. В домах декабристок [32]— ни малейшего следа об их существовании — все истреблено, и не столько временем, сколько невежеством. Остатки расхищенной библиотеки декабристов хранились до последнего времени у наследников попа Поликарпа Сизых и в 1881 г. принесены в дар Читинскому архиерею. В числе их находятся: сочинения Горация с заметкой карандашом, приведенной выше, и французско-русский словарь Татищева с надписью на переплете: Александру Ивановичу

Одоевскому от Вар... Ив... Лан...[33] (бумажная обертка словаря, вся исписанная галлицизмами, здесь прилагается[34]). Другая часть книг декабристов, оставшаяся от публичной библиотеки, расхищенной в доме Бахмута, хранилась в конторе завода и была осмотрена нами в 1873 г., при секретаре Кожине, причем нами наскоро было сделано несколько выписок с переплетов. Книги все иностранные, большею частию французские, XVIII в. Всего было книг до трех сот. Многие книги с надписями декабристов, которым они принадлежали, с их заметками на полях страниц карандашом и пером, и непременно с дозволительной надписью Лепарского: „Видал. Лепарский“. Многотомные сочинения были разбиты, редких не было. Но при секретаре Иванове книги были отданы на сохранение конторскому „сторожу“ Пухову („квартальному“ во время крепостного права), а он их пропил в соседнем кабаке у Андрюшки Турутанова, бывшего учеником Обручева, где они ушли на верчение папирос. До заводского архива нас не допустили бы*, но и искать в архиве почти нечего было, ибо тот же сторож Пухов архивные дела пропивал в кабаке у Турутанова, продавал на обертку евреям, торговцу Подосёнову, и заводский переплетчик Василий Казанцев, вероятно, помнит еще, как он переплетал остальные разорванные и полуразграбленные дела. По старой описи этого архива, если только она не скрыта, в нем должны были храниться следующие дела, касающиеся декабристов и пропущенные Максимовым: № 254, 1832 г.; № 288, 1833—1835 г.; № 324, 1836 г.; № 359, 1828 г. (?); № 359, 1839 г. и № 337, 1837 г.— все „По содержанию государственных преступников“. № 311—1833 г.— „О сметах на дома Фон-Визиной и Нарышкиной“ и № 337, 1836 г.—„О срубленном кресте, поставленном государственными преступниками“. В той же описи значились дела: № 45, 1805 г. и № 60, 1810 г.— „Дело Елина“, № 78, 1813 г.—„Дело Елисафенкова“ и № 3, 1875 г.— „Дело о песне Обрезкова“ **».

Несмотря на то, что работа Прыжова о декабристах не является научным исследованием, она представляет все же известную ценность для декабристоведения. В ней мы находим новые данные о жизни и быте декабристов в Петровске, о судьбе Горбачевского, об отношении окружающих к декабристам и т. д. Но главное, что привлекает нас в работе Прыжова,— это самый факт ее появления. Рукопись Прыжова — это не просто дань уважения предшественникам по каторге и ссылке, это памятник *идейным* предшественникам, борцам за народ, памятник, поставленный революционером-разночинцем, взглянувшим на восстание 14 декабря с новых позиций. Работа Прыжова — это *одна из первых попыток* революционно-демократической мысли обратиться к наследию декабризма, оценить и понять его. В эпоху реакции измученный каторгой политический ссыльный смело высказал свое суждение о государственных преступниках и сделал все возможное, чтобы сохранить для потомков память об их жизни в Сибири.

Работе Прыжова не суждено было в те годы выйти в свет. Семьдесят лет пролежав в архиве, она лишь сейчас становится достоянием нашей науки. За это время декабристоведение далеко шагнуло вперед, работа Прыжова во многом устарела, но боевой революционный дух, которым она проникнута, и свежесть наблюдений, сделанных ссыльнопоселенцем, делают ее и для нашего времени значительной и интересной.

---

* *Далее зачеркнуто карандашом:* и если бы мы решились требовать, невежда управляющий ответил бы нам дерзостию. Пример подобной ненависти к людям — Обручев.

** При сем прилагается: портрет кн. Евг. Оболенского ⟨*зачеркнуто.— Л. П.*⟩, старый план завода, копия с него, приспособленная к нашему описанию, план каземата, прилож. № 1 с подписью Лепарского и обертка с словаря с заметками одного из декабристов. ⟨*Ничего не сохранилось.— Л. П.*⟩

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Исповедь.— И. Г. Прыжов. Очерки, статьи, письма. М.—Л., 1934, стр. 18.

2 Б. П. Козьмин. Нечаев и нечаевцы. Сборник материалов. М.—Л., 1931, стр. 102.

3 И. Г. Прыжов. Указ. соч., стр. 29.

4 Там же, стр. 419.

5 И. Е. Деникер. Воспоминания.— «Каторга и ссылка», 1924, № 4, стр. 33.

6 И. Г. Прыжов. Указ. соч., стр. 14.

7 Там же, стр. 13. — См. также Л. Н. Пушкарев. Критика церкви и духовенства в трудах И. Г. Прыжова. — «Вопросы истории религии и атеизма». М., 1954, вып. 2, стр. 128—154.

8 Там же, стр. 12.

9 Там же, стр. 13.

10 Более подробную характеристику фонда см.: Л. Н. Пушкарев. Рукописный фонд И. Г. Прыжова, считавшийся утерянным.— «Советская этнография», 1950, № 1, стр. 183—187.—Ныне фонд Прыжова передан в ЦГЛА.

11 ЦГЛА, ф. № 1227, оп. 1, ед. хр. 6

12 Там же, л. 6.

13 Там же, л. 7 об.

14 Там же, лл. 6 об.— 7.

15 Там же, л. 8.

16 Там же, л. 12.

17 Там же, лл. 20 об.— 21.

18 Там же, л. 38 об.

19 Там же, лл. 41 об.— 42.

20 Там же, л. 68.

21 В одном из примечаний к своей работе Прыжов резко критикует книгу С. В. Максимова «Сибирь и каторга»: «Кроме пособий, указанных в выносках, мы имели под руками труд С. Максимова „Сибирь и каторга“ т. III и другие, где он подробно говорит о декабристах. Самым фактом издания своей книги, где в кучу всякого мусора свалены и декабристы, Максимов их оскорбляет. П. Н. Свистунов ⟨в подлиннике ошибочно: Сылтуков.—*Л. П.*⟩ написал в 1870 г. опровержение на статьи Максимова о декабристах, помещенные в „О⟨течественных⟩ З⟨аписках⟩“ (эти гнусные либералы, чего зевали?) ⟨слова в круглых скобках зачеркнуты синим карандашом.— *Л. П.*⟩ в 1869 г., а Максимов пропускает это мимо в своем издании книги в 1871 г. Максимов пользовался, кроме записок М. Бестужева и Н. Басаргина, на которые и мы ссылаемся, еще не известными нам записками Е. ⟨в подлиннике ошибочно: А.—*Л. П.*⟩ Оболенского, И. Якушкина, барона Соловьева, Дм. Завалишина, барона Штейнгеля, автора книги „Мемуары декабриста“, и собственноручными письмами некоторых декабристов. Что всего дороже было для Максимова — так это личные „рассказы И. И. Горбачевского“, на которые он и ссылается, но ими-то он и не воспользовался или воспользовался неумело, или же покойный Горбачевский просто не считал приличным говорить с ним по сердцу. Хуже всего, что он воспользовался, так это записки Д. Завалишина, а также „материалы и данные, готовно и радушно“ переданные им Максимову. Пользуясь ими С. Максимов *запутал* историю декабристов в Сибири! В труде Максимова то и дело неточности, ошибки и крайне много небрежности ⟨...⟩ Вообще он прозевал многое, что теперь погибло и что восстановить уже нет никакой возможности. Максимов был в Петровском в 1859—61 г. Горбачевский умер в 1869 г., пишущий эти строки посетил завод уже в 1873 г.» (л. 70—70 об.).

22 Там же, л. 104 об. — Прыжов ошибается: в школе были дети чиновников, а также дети бурят.

23 Там же, л. 130.

24 Там же, л. 110.

25 Там же, л. 115.

26 Там же, л. 133 об.

27 Horatius. Carmina, liber I, carmen XXVIII, стихи 23—25.

28 ЦГЛА, ф. № 1227, оп. 1, ед. хр. 6, л. 143 об.

29 Там же, л. 149.

30 Там же, л. 151.

31 Там же, лл. 155—156 об.

32 Термин «декабристки» впервые встречается у Прыжова, а затем — в рукописях Некрасова.

33 Варвара Ивановна Ланская — тетка Одоевского.

34 В рукописи не обнаружена.

ПАМЯТИ М. К. АЗАДОВСКОГО

М. К. АЗАДОВСКИЙ

НЕКРОЛОГ

24 ноября 1954 г. русская наука понесла большую утрату — скончался в Ленинграде профессор Марк Константинович Азадовский, ученый исключительно широкого диапазона, один из крупнейших советских литературоведов, выдающийся фольклорист, искусствовед и этнограф, автор замечательных работ по истории русской литературы и общественной мысли XIX в., архивист и библиограф.

М. К. Азадовский родился 18 декабря 1888 г. в Иркутске, где в 1907 г. окончил гимназию. Высшее образование получил на историко-филологическом факультете С.-Петербургского университета, где специализировался по русской литературе и фольклору под руководством академика А. А. Шахматова и проф. И. А. Шляпкина. Оставленный в 1913 г. при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре русского языка и словесности, М. К. Азадовский работу в области истории литературы и искусства XIX в. совмещал с выполнением заданий Академии наук и Русского географического общества по собиранию и разработке фольклорных и этнографических материалов о культуре Восточной Сибири. Его учителями в эту пору были С. Ф. Ольденбург, А. А. Шахматов, Л. Я. Штернберг и, в известной мере, С. А. Венгеров.

С 1923 по 1930 г. М. К. Азадовский занимал кафедру русской литературы в Иркутском государственном университете, где развернул большую исследовательскую, преподавательскую и научно-издательскую деятельность, получившую высокую оценку в русской и зарубежной печати. На труды М. К. Азадовского весьма положительно откликнулся А. М. Горький, их сочувственно упомянул Ромэн Роллан («Очарованная душа», кн. IV).

С 1930 г., возвратившись в Ленинград, М. К. Азадовский руководил фольклорным сектором Института этнографии, а затем Института русской литературы АН СССР, принимая в то же время близкое участие в работах Пушкинской комиссии АН СССР, Комиссии по изучению деятельности декабристов, созданной при Ленинградском отделении Общества бывших политкаторжан и ссыльно-поселенцев, в редакции «Сибирской советской энциклопедии», в издательстве «Academia». С 1938 по 1949 г. М. К. Азадовский возглавлял им же организованную кафедру фольклора в Ленинградском государственном университете.

М. К. Азадовский внес значительный вклад в советское литературоведение, фольклористику, источниковедение и историографию. Широта теоретической мысли, богатство материала, литературное мастерство одинаково отличают как общеизвестные книги и статьи М. К. Азадовского — «Ленские причитания» (1922), «Беседы собирателя» (1924), «Сказки Верхнеленского края» (1925), «Поэтика гиблого места» (1927), сборники «Литература и фольклор» (1938) и «Очерки литературы и культуры в Сибири» (1947), «Народная песня в концепциях русских революционных просветителей» (1950), «Певцы» И. С. Тургенева (1954), — так и его многочисленные рецензии и тонкие критические оценки работ других специалистов. Некоторые из этих критических разборов уже неотделимы от работ, их вызвавших. Мы имеем в виду статьи М. К. Азадовского о справочнике С. Д. Балухатого «Теория литературы» («Литература и марксизм», 1929), о книгах Н. К. Пиксанова «Областные культурные гнезда» («Северная Азия», 1930) и Н. М. Ченцова «Библиография декабристов» («Каторга и ссылка», 1931)

о книге «Записки и письма И. Д. Якушкина», вышедшей под ред. С. Я. Штрайха («Новый мир», 1953) и многие другие.

В двадцатых годах М. К Азадовский редактировал один из лучших этнографических журналов — «Сибирскую живую старину» и собрал вокруг нее большой коллектив специалистов по этнографии, фольклору, краеведению и истории Сибири. Сибирская тема надолго осталась одной из ведущих в его научном творчестве (см. сборники «Ленские причитания», «Сказки Верхнеленского края», «Былины из разных мест Сибири», «Сказки из разных мест Сибири», «Сказки Магая» и др.).

В тридцатые-сороковые годы — годы его работы в Ленинграде — М. К. Азадовский становится не только одним из лучших знатоков русского народного творчества и фольклора зарубежных народов, но (вместе с покойным Ю. М. Соколовым) и признанным руководителем широко развернувшихся в эти годы работ по собиранию, изучению и изданию фольклора народов Советского Союза. По его инициативе и под его руководством осуществился целый ряд капитальных работ, вошедших в основной фонд русской фольклористики («Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева в изд. «Academia», «Сказки М. М. Коргуева», «Сказки Ф. П. Господарева», сб. «Былины Севера», семь выпусков сб. «Советский фольклор» и др.).

Особенно много сделано М. К. Азадовским в области изучения истории русской фольклористики в связи с историей общественной мысли. Так, например, им впервые была показана роль революционных демократов в развитии науки о фольклоре. К сожалению, его сводный труд — «История русской фольклористики» (она должна была составить три тома) — остался незаконченным. В тридцатые-сороковые годы М. К. Азадовский предпринимает серию фольклорно-литературных исследований, показавших значение народного творчества в развитии русской литературы XVIII—XIX вв. (см. его работы о Радищеве, декабристах, Пушкине, Лермонтове, Белинском и др.).

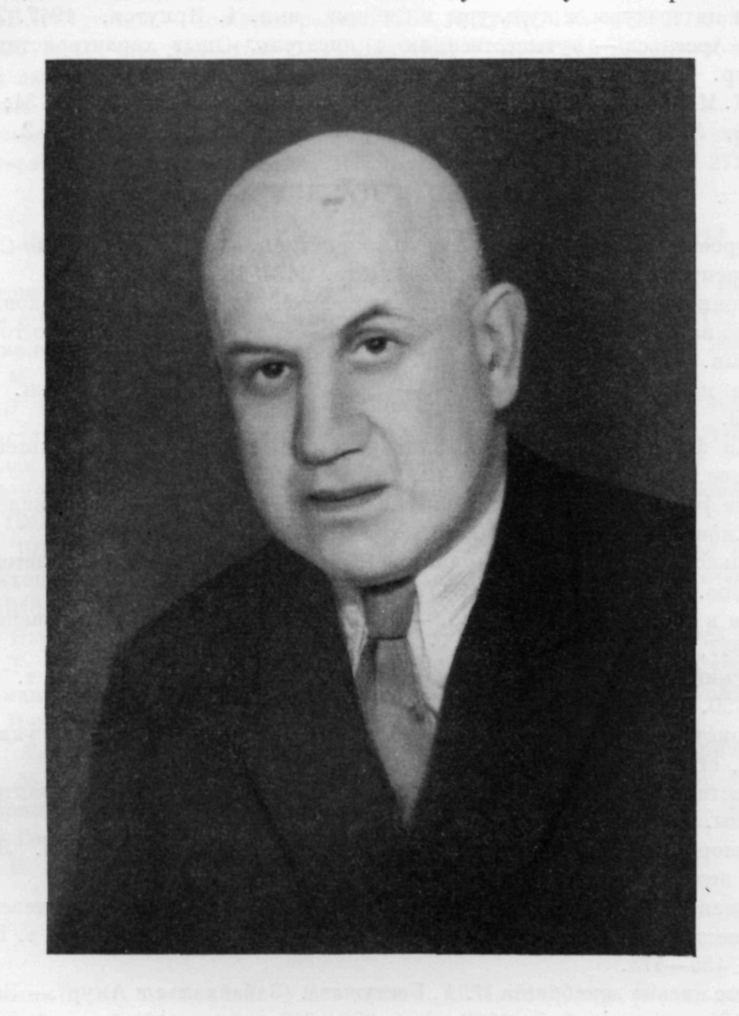
Фольклорные исследования, принадлежавшие перу М. К. Азадовского, неизменно отличались пристальным вниманием к художественным особенностям творчества мастеров русского фольклора (см. «Ленские причитания», «Русская сказка. Избранные мастера», т. I—II, «Eine sibirische Märchener Zählering» и др.). Основной принцип исследовательской деятельности в области современного народного творчества М. К. Азадовский видел в живом сочетании собирательской и исследовательской работы, обеспечивающем изучение не только фольклорных текстов, но и тех жизненных процессов, которые их порождают. В связи с этим он опубликовал несколько методических пособий по организации фольклорных экспедиций, к которым постоянно обращаются собиратели.

Труды М. К. Азадовского оказали благотворное влияние на развитие как советской, так и зарубежной фольклористики.Их хорошо знали и высоко ценили передовые западноевропейские ученые. Рецензии на книги и статьи М. К. Азадовского опубликованы в немецких, английских, французских, польских и чешских изданиях. Две большие его работы появились на немецком и чешском языках: книга о сибирской сказочнице Винокуровой (Хельсинки, 1928) и сборник записанных им верхнеленских сказок (Прага, 1928—1929). Неоднократные ссылки на материалы и наблюдения М. К. Азадовского мы находим и в капитальном труде о народной культуре славян польского ученого К. Мошинского.

В течение двадцати лет М. К. Азадовский являлся постоянным сотрудником «Литературного наследства», на страницах которого появились такие его работы, как переписка Н. М. Языкова с В. Д. Комовским (т. 19-21), «Фольклоризм Лермонтова» (т. 43-44), «Белинский и русская народная поэзия» (т. 55), «Воспоминания В. Ф. Раевского» (т. 60), «О литературной деятельности А. И. Якубовича» (там же), ряд статей о Кюхельбекере (т. 59). Особенно значительна одна из итоговых работ М.К. Азадовского, посвященная выяснению круга «Затерянных и утраченных произведений декабристов» («Лит. наследство», т. 59). Тщательно учитывая и анализируя все дошедшие до нас свидетельства об утраченных произведениях декабристов, их политической переписке, мемуарах и архивах, М. К. Азадовский ввел в исследовательский оборот огромный материал по истории легальной и нелегальной работы тайных обществ

десятых-двадцатых годов и наметил широкие перспективы дальнейших разысканий в области литературного и научного наследия деятелей первого периода освободительного движения в России.

Человек большого личного обаяния, исследователь-новатор, М. К. Азадовский был выдающимся педагогом. Его многочисленные ученики успешно работают преподавателями высших учебных заведений и в крупнейших научно-исследовательских институтах, развивая темы, которые впервые поставлены были их учителем.



Всего М. К. Азадовскому принадлежит свыше 350 печатных работ. Многие из своих книг и статей М. К. Азадовский не успел увидеть в печати — они выходят в свет после его смерти отдельными изданиями, публикуются в журналах, в историко-литературных сборниках. В числе этих не изданных еще работ особенно интересны «Очерки по истории русской фольклористики», широко использованные в рукописи многочисленными учениками и популяризаторами М. К. Азадовского.

В 1944 г. в Иркутске, в связи с тридцатилетием научной деятельности М. К. Азадовского, была опубликована «Библиография М. К. Азадовского. 1913—1943», составленная Н. С. Бер, под общей редакцией проф. В. Д. Кудрявцева. Эти основные библиографические данные о трудах М. К. Азадовского редакция «Литературного наследства» дополняет перечнем публикаций его работ за время с 1944 по 1956 г.

Редакция «Литературного наследства»

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК ПЕЧАТНЫХ РАБОТ М. К. АЗАДОВСКОГО ЗА 1944—1956 гг.

I. КНИГИ

Очерки литературы и культуры в Сибири, вып. 1. Иркутск, 1947. 203 стр.

В. К. Арсеньев — путешественник и писатель. Опыт характеристики. Чита, 1955. 87 стр.

Рец.: Д. Молдавский. — Ленинградская правда от 5 февраля 1956, № 31; Г. Гор. — Нева, 1956, № 3, стр. 176; И. Гурвич. — Сов. этнография, 1956, № 2.

II. СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

О построении истории русской фольклористики. — Труды Восточно-Сибирского гос. университета, т. II, вып. 4, 1944, стр. 113—135.

Ревизионистские тенденции западноевропейской фольклористики в конце XIX в. (Из курса по истории русской фольклористики).— Учен. зап. Иркутского гос. пед. института, вып. VIII, 1944, стр. 16--30.

Письма молодых фольклористов. — Новая Сибирь. Иркутск, кн. 15, 1945, стр. 73—93.

Русская фольклористика и славянские страны. — Научный бюллетень Ленинградского гос. университета, № 11-12, 1946, стр. 69—74.

Заметки фольклориста. I. Еще о песне «Славное море...» II. Старинная ямщицкая песня. — Сибирские огни, 1947, № 3, стр. 111—114.

Несколько новых строф и вариантов Некрасова. — Научный бюллетень Ленинградского гос. университета, № 16-17, 1947, стр. 12—18.

Якутия в творчестве Короленко. — В сб.: В. Г. Короленко в Амгинской ссылке. Якутск, 1947, стр. 5—25.

Белинский и русская народная поэзия. — Лит. наследство, т. 55, 1948, стр. 117—150.

Декабристская фольклористика. — Вестник Ленинградского гос. университета, 1948, № 1, стр. 74—91.

Неизвестная пьеса о губернаторстве Санчо-Пансы. — В сб.: Сервантес. Статьи и материалы. Л., изд. ЛГУ, 1948, стр. 149—157.

Фольклорная тема в «Путешествии...» Радищева. — Учен. зап. Ленинградского гос. пед. института им. Герцена, т. 67, 1948, стр. 71—78.

Народная песня в концепциях русских революционных просветителей 40-х годов. — Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка, т. IX, вып. 6, 1950, стр. 455—475.

Путевые письма декабриста М. А. Бестужева. (Забайкалье и Амур).— Забайкалье. Лит.-худ. альманах, кн. 5, 1952, стр. 206—242.

О принадлежности Рылееву рецензии на «Мнемозину». — Лит. наследство, т. 59, 1954, стр. 273—284 (за подписью: М. К. Константинов).

Литературная деятельность Кюхельбекера накануне 14 декабря. (По неизданным письмам А. Е. Измайлова).— Там же, стр. 531—540 (за подписью: М. К. Константинов).

Последняя статья Кюхельбекера. — Там же, стр. 547—554.

Затерянные и утраченные произведения декабристов. Историко-библиографический обзор. — Там же, стр. 601—777.

Рец.: А. Н. Соколов. — Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка, т. XIII, вып. 5, 1954, стр. 480—482; С. Б. Окунь. — Вопросы истории, 1954, № 12, стр. 137—141; Henryk Markiewicz. O radzieckim literaturoznawstwie. Zycie literackie, 1954, № 25 (127), str. 2; А. П. Селявская.—Новая Сибирь, кн. 33, 1955, стр. 266—276 (в рецензии Селявской дана оценка всех четырех работ М. К. Азадовского, напечатанных в т. 59 «Лит. наследства»).

«Певцы» И. С. Тургенева. — Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка, т. XIII, вып. 2, 1954, стр. 146—171.

Рец.: Marian Jakubiec.— Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego, 1954, № 3 (8), str. 169—173.

Из истории развития русской фольклористики. — В кн.: Русское народное поэтическое творчество. Пособие для вузов. Под общ. ред. П. Г. Богатырева. М., Учпедгиз, 1954, стр. 41—120, 135—140.

Рец.: Б. Н. Путилов.— Сов. этнография, 1955, № 2, стр. 155—158; Д. Молдавский.— Звезда, 1955, № 10, стр. 152—159; С. Г. Лазутин. — Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка, т. XIV, вып. 4, 1955, стр. 384—388.

Сборник Кирши Данилова. — Огонек, 1955, № 10, стр. 19.

«Воспоминания» В. Ф. Раевского. — Лит. наследство, т. 60, 1956, стр. 47—128.

О литературной деятельности А. И. Якубовича. — Там же, стр. 271—282.

III. РЕДАКТОРСКИЕ И КОММЕНТАТОРСКИЕ РАБОТЫ

Фронтовой фольклор. ⟨Записи, вступ. статья и комментарии В. Ю. Крупянской. Под ред. и с предисл. М. К. Азадовского. М., Гос. лит. музей⟩, 1944. 132 стр.

Русские сказки в Карелии. (Старые записи). Подготовка текстов, статья и комментарии М. К. Азадовского. Петрозаводск, 1947. 246 стр.

Рец.: Э. В. Гофман-Померанцева. — Сов. книга, 1947, № 11, стр. 109—110.

А. М. Астахова. Русский былинный эпос на Севере. ⟨Ред. М. К. Азадовского⟩. Петрозаводск, 1948. 396 стр.

Марийские сказки. Сборник К. А. Четкарева. Под ред. М. К. Азадовского. Йошкар-Ола, 1948. 182 стр.

А. А. Шахматов. Фольклорные записи ... В Прионежье. Статьи и примеч. А. М. Астаховой и С. А. Шахматовой-Коплан. Предисловие М. К. Азадовского. Петрозаводск, 1948. 92 стр., 2 л. портр.

Н. М. Языков. Собрание стихотворений. Вступ. статья, ред. и примеч. М. К. Азадовского. Л., 1948. XXXVI, 448, [I] стр. (Библиотека поэта. Большая серия).

Воспоминания Бестужевых. Ред., статья и комментарии М. К. Азадовского. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1951. 891 стр. с илл.

Рец.: А. Гранина. — Вост.-Сиб. правда от 23 декабря 1951; М. Марич. — Новый мир, 1952, № 9, стр. 281—284; Н. Самойлов. — Сов. моряк, 1952, № 18, стр. 16—17.

Декабристы. Новые материалы. Под ред. М. К. Азадовского. М., изд. Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 1955. 372 стр.

Рец.: В. Утков. — Сибирские огни, 1956, № 1, стр. 189.

IV. РЕЦЕНЗИИ

Сочинения В. К. Арсеньева. — Сов. книга, 1951, № 2, стр. 46—50.

М. Китайник. Библиография уральского фольклора. Свердловск, 1949. — Сов. этнография, 1951, № 3, стр. 196—199.

Декабристы — исследователи Сибири. ⟨По поводу книг Л. К. Чуковской: Декабристы — исследователи Сибири. М., 1951 и Декабрист Николай Бестужев — исследователь Бурятии. М., 1950⟩. — Сибирские огни, 1951, № 5, стр. 105—108.

Роман о Доржи Банзарове и декабристе Николае Бестужеве. ⟨По поводу кн.: Чимит Цыдендамбаев. Доржи Банзаров. Альманах «Байкал». Улан-Удэ, 1950⟩. — Сибирские огни, 1951, № 6, стр. 131—134.

Славянский фольклор. Материалы и исследования по исторической народной поэзии славян. Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия, т. XIII. М., 1951. — Сов. этнография, 1953, № 2, стр. 218—225.

Новая книга о декабристах в Сибири. ⟨По поводу кн.: Декабристы в Сибири. Ред. Е. Шарнина. Новосибирск, 1952⟩. — Сибирские огни, 1953, № 2, стр. 185—188.

Записки И. Д. Якушкина и комментарий к ним. ⟨По поводу кн.: Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. Ред. и комментарии С. Я. Штрайха. Отв. ред. М. В. Нечкина. М., 1951⟩. — Новый мир, 1953, № 3, стр. 253—256.

Сибирь в художественной литературе. ⟨По поводу кн.: Л. А. Коршунова. Сибирь в художественной литературе. Библиографический указатель. Новосибирск, 1953⟩. — Сибирские огни, 1953, № 5, стр. 188—190.

Приводим перечень некрологов М. К. Азадовского, появившихся в печати:

Лит. газета, № 147 от 11 декабря 1954 г.; Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка, т. XIII, вып. 6, 1954, стр. 574 (П. Н. Берков); Восточно-Сибирская правда, № 15 от 19 января 1955 г.; Сов. этнография, 1955, № 2, стр. 149—152 (В. Ю. Крупянская и Э. В. Померанцева); Известия Всесоюзного географического общества, 1956, № 1, стр. 93—94 (Н. И. Гаген-Торн); Сибирские огни, 1956, № 1, стр. 172—174 (М. А. Сергеев); Ethnographia. A Magyar. Néprajzi Tārsasāg. Folyōirata. Budapest, 1956, t. LXVII, 1-2, s. 180—181. (Ortutay Gyula).

Кроме того, памяти М. К. Азадовского посвящен сборник «Русская советская поэзия и народное творчество». Л., Изд-во «Сов. писатель», 1955. 417 стр.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

«Алфавит декабристов» — «Восстание декабристов», т. VIII. Под редакцией и с примечаниями Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., 1925.

«Архив Тургеневых» — «Архив братьев Тургеневых», вып. 1—6. СПб., 1911—1921.

Базанов.— В. Г. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949.

Базанов. Раевский — В. Г. Базанов. Владимир Федосеевич Раевский. Новые материалы. Л.— М., 1949.

Басаргин — Записки Н. В. Басаргина. Редакция и вступительная статья П. Е. Щеголева. Пг., 1917.

Беляев — А. П. Беляев. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. СПб., 1882.

Бестужевы — Воспоминания Бестужевых. Редакция, статья и примечания М. К. Азадовского. М.— Л., 1951.

«Бунт декабристов» — «Бунт декабристов. Юбилейный сборник 1825—1925». Под редакцией Ю. Г. Оксмана и П. Е. Щеголева. Л., 1926.

ВД — «Восстание декабристов. Материалы», тт. I—VI, VIII—XI. М.— Л., 1925—1954.

Волконский — Записки С. Г. Волконского (декабриста). СПб., 1901.

«Воспоминания и рассказы деятелей Т. О.» — «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ двадцатых годов», т. I. М., 1931; т. II. Л.— М., 1933.

Герцен — Полное собрание сочинений и писем А. И. Герцена. Под редакцией М. К. Лемке, т. I—XXII. Пг., 1919—1925.

Горбачевский — Записки и письма Горбачевского. Под редакцией Б. Е. Сыроечковского. М., 1925.

«Декабристы», 1926 — «Декабристы. Отрывки из источников». Составил Ю. Г. Оксман при участии Н. Ф. Лаврова и Б. Л. Модзалевского. М.— Л., 1926.

«Декабристы и их время», 1951 — «Декабристы и их время. Труды Моск. и Ленингр. секций по изучению декабристов и их времени», т. I. М., 1927; т. II. М., 1932.

«Декабристы и их время», 1951— «Декабристы и их время. Материалы и сообщения». Под редакцией М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха. М.— Л., 1951.

«Декабристы на каторге» — «Декабристы на каторге и в ссылке. Сборник новых материалов и статей». М., 1925.

«Дневник Кюхельбекера» — «Дневник В. К. Кюхельбекера. Материалы к истории рус. литературной и общественной жизни 10—40-х гг. XIX в.». Предисловие Ю. Н. Тынянова. Редакция и примечания В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. Л., 1929.

Довнар-Запольский. Мемуары.— М. В. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов. Киев, 1906.

Довнар-Запольский. Тайное общество.— М. В. Довнар-Запольский. Тайное общество декабристов. Киев, 1906.

Дружинин — Н. М. Дружинин. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933.

Завалишин — Д. И. Завалишин. Записки декабриста. М., 1906.

«Летописи» — «Летописи Государственного литературного музея», т. III. Декабристы. Редакция Н. П. Чулкова. М., 1938.

Лорер — Записки декабриста Н. И. Лорера. Приготовила к печати и комментировала М. В. Нечкина. М., 1931.

Нечкина. Грибоедов — М. В. Нечкина. Грибоедов и декабристы. Изд. 2-е. М., 1951.

«Общественные движения» — «Общественные движения в России в первую половину XIX века». Сост. В. И. Семевский, В. Я. Богучарский и П. Е. Щеголев, т. I. СПб., 1905.

Одоевский — Полное собрание сочинений А. И. Одоевского. Под редакцией И. А. Кубасова. М.— Л., «Academia», 1934.

«Ост. архив» — «Остафьевский архив князей Вяземских». Под редакцией и с примечаниями В. И. Саитова, тт. I—V. СПб., 1899—1913.

«Памяти декабристов» — «Памяти декабристов. Сборники материалов». I—III. Л., 1926 (Академия Наук СССР).

«Письма Н. Тургенева» — «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу». М., 1936.

Пушкин — А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI. Изд. Академии наук СССР. М.— Л., 1937—1949 (все цитаты из писем Пушкина приведены по названному изданию и печатаются без ссылок на него).

Пущин — И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма. Редакция и биографический очерк С. Я. Штрайха. М.— Л., 1927.

Розен — А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907.

Рылеев. Соч.— К. Ф. Рылеев. Полное собрание сочинений. Редакция, вступительная статья и примечания А. Г. Цейтлина. М.— Л., «Academia», 1934.

Рылеев. Стих.— К. Ф. Рылеев. Полное собрание стихотворений. Редакция, предисловие и примечания Ю. Г. Оксмана. Л., 1934 («Библиотека поэта». Большая серия).

Семевский — В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909.

Трубецкой — Записки С. П. Трубецкого. М., 1907.

«Ульяновский сборник» — «Ученые записки Ульяновского государственного педагогического института. Пушкинский юбилейный сборник», 1949.

Щеголев. Декабристы — П. Е. Щеголев. Декабристы. М.— Л., 1926.

Якушкин — Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. Редакция, статья и комментарии С. Я. Штрайха. М., 1951.

Архив Бестужевых — архив Бестужевых, хранящийся в Отделе рукописей Института русской литературы, ф. № 604.

ГИМ — Государственный исторический музей (Москва).

ГПБ — Государственная публичная библиотека РСФСР имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).

ЛБ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина (Москва).

ЦГАВМФ — Центральный государственный архив военно-морского флота (Ленинград).

ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов (Москва).

ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив (Москва).

ЦГВИАЛ — Центральный государственный военно-исторический архив (филиал в Ленинграде).

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (Москва).

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.

ЦГЛА — Центральный государственный литературный архив (ныне переименован в Центральный государственный архив литературы и искусства. Москва).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Составила Е. М. Львова

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОНАЙДЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. Ф. ОРЛОВА, В. Ф. РАЕВСКОГО, Н. А., А. А. и М. А. БЕСТУЖЕВЫХ, Ю. К. ЛЮБЛИНСКОГО, А. И. ОДОЕВСКОГО, А. И. ЯКУБОВИЧА, В. Л. ДАВЫДОВА, Г. С. БАТЕНЬКОВА

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ М. Ф. ОРЛОВА

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В. Ф. РАЕВСКОГО

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИКОЛАЯ, АЛЕКСАНДРА И МИХАИЛА БЕСТУЖЕВЫХ

ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА

НОВОЕ О СВЯЗЯХ ПИСАТЕЛЕЙ С ДЕКАБРИСТАМИ

В КНИГЕ 158 ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Одновременно выходит в свет вторая и последняя книга настоящего тома

«Литературное Наследство» № 60,
книга первая

*

Утверждено к печати
Отделением литературы и языка
Академии наук СССР

*

Редакторы издательства *Н. И. Игнатова* и *А. Т. Лифшиц*

Технический редактор *Г. Н. Шевченко*

Корректор *В. Г. Богословский*

*

РИСО АН СССР № 3-66В.
Сдано в набор 18/VII 1955 г. Подп. в печать 22/II 1956 г.
Формат бум. $70\times108\,{}^{1}/_{16}$. Печ. л. 42,25=57,58. Уч.-изд. лист. 61,5.
Т-01647 Тираж 8000 экз. Изд. № 623. Тип. зак. 1612.

Адрес редакции: Москва, Г-19, Волхонка, 18.
Телефон Г 5-29-66

Цена 38 р. 90 к.

Издательство Академии наук СССР. Москва, Б-64,
Подсосенский пер., д. 21

2-я типография Издательства АН СССР. Москва, Г-99
Шубинский пер., д. 10